Смерть Андрея Белого (1880–1934)

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Смерть Андрея Белого (1880–1934)

Смерть
Андрея Белого
(1880–1934)

Андрей Белый. Москва. 1924. ГМП

Смерть Андрея Белого (1880–1934)

Документы, некрологи, письма, дневники, посвящения, портреты

Составители:
Моника Спивак, Елена Наседкина

Москва
Новое литературное обозрение
2013

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2=441.2)53-8
С50

С50 **Смерть Андрея Белого (1880—1934)**. Сборник статей и материалов: документы, некрологи, письма, дневники, посвящения, портреты / Сост. М.Л. Спивак, Е.В. Наседкина. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 968 с.: ил.

ISBN 978-5-4448-0114-7

Смерть Андрея Белого (8 января 1934 г.) стала знаковым событием для культурного сознания эпохи, вызвала шквал откликов — эмоциональных, аналитических, восторженных, ругательных. Полемика о значении личности и творчества писателя захватила советские газеты и журналы, эмигрантскую и зарубежную печать, нашла отражение в переписке, дневниках, мемуарах современников. Громадный общественный интерес к смерти крупнейшего русского символиста подогревался каскадом политических скандалов, предшествующих его кончине и сопутствующих похоронам. Сами похороны стали апробацией будущего официального канона погребения советских писателей. В книге собраны материалы, как известные, так и публикующиеся впервые (из архивов, частных собраний, периодики). Они дают представление о том, как воспринимался Андрей Белый и о том, в какое время ему было суждено жить и умирать.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2=441.2)53-8

СМЕРТЬ АНДРЕЯ БЕЛОГО

> Мне кажется, смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее заключительное звено.
>
> *О.Э. Мандельштам*[1]

> Смерть художника не случайность, а последний творческий акт, как бы снопом лучей освещающий его жизненный путь...
>
> Почему удивляются, что поэты с такой прозорливостью предсказывают свою судьбу и знают, какая их ждет смерть? Ведь конец и смерть — сильнейший структурный элемент, и он подчиняет себе все течение жизни...
>
> *Н.Я. Мандельштам*[2]

Андрей Белый скончался на 54-м году жизни — 8 января 1934 г. Смерти предшествовала болезнь. Видимо, тлела она уже несколько лет, но внятно заявила о себе только летом 1933-го.

17 мая Белый с женой Клавдией Николаевной Бугаевой (1886–1970) отправились на отдых в Коктебель. Проведя в Ленинградском отделении писательского Дома творчества два месяца, они уже собирались обратно в Москву. Но накануне планировавшегося на 17 июля отъезда у Белого случился тепловой удар, обостривший и усугубивший все недуги, ранее дремавшие в организме. Как отмечала Клавдия Николаевна, Белый уже «все последние дни находился в состоянии крайней возбудимости и нервного напряжения. Очень много говорил, двигался»[3]. Однако это не слишком насторожило. 15 июля «Борис Николаевич и Клавдия Николаевна <...> сидели и беседовали со знакомыми в Доме. Борис Николаевич был оживлен, весел, он загорел, как негр. И вдруг — дурнота, тошнота, обморок...»[4]. Удар произошел в 6 часов вечера. Белый «сначала почувствовал жар в затылке, встал, пошатнулся и упал. Был без сознания несколько часов. Когда пришел в себя, было сильное возбуждение. Рвался идти гулять к морю, очень много говорил. <...> Появилась какая-то задержка, связанность в области шеи и верхней половине спины. Движения были гораздо более замедленные, чем ранее, со стороны психики была потеря чувства времени»[5]. Сам писатель называл случившееся «солнечным перепеком», а врачи, его лечившие, — артериосклерозом. Судя по симптоматике, это походило на замаскировавшийся под тепловой удар инсульт.

Вдова М.А. Волошина, Мария Степановна, забрала больного писателя из комнаты в Доме творчества в свой дом, где вместе с Клавдией Николаевной обеспечила ему уход и медицинскую помощь. Уже на следующий день, 16 июля, был со-

зван «консилиум трех врачей», работавших или отдыхавших в Коктебеле. Они диагностировали «солнечное перегревание» и «сильный склероз»[6]. А 20 июля из Феодосии осматривать Белого прибыл доктор М.С. Славолюбов, работавший в Институте физических методов лечения ВЦСПС. Это был знакомый врач, ранее лечивший М.А. Волошина от астмы и сердечной недостаточности[7]. Он «подтвердил результат консилиума» коктебельских врачей «и нашел еще крайнее нервное истощение»[8]. В справке, выданной им 23 июля, говорилось:

> «Настоящим удостоверяю, что т. Бугаев Борис Николаевич страдает истощением нервной системы в резкой степени.
>
> В период его отдыха и лечения в Коктебеле наблюдался кратковременный период головных болей и обморочного состояния (гиперемия мозга).
>
> Мною рекомендовано было больному продлить отдых до 1 августа сего года.
>
> По возвращении его к своей основной работе считаю необходимыми значительные изменения в ней как в количественном, так и в качественном отношении: работа спокойная, в спокойной обстановке в пределах нормального рабочего дня при освобождении его от всех нагрузок»[9].

Белый был «потрясен сознанием того, что он больной», крайне угнетен происшедшим — вплоть до «состояния депрессии»[10].

Однако устное заключение доктора Славолюбова звучало чуть более оптимистично, философично и даже понравилось Белому: «Ваша болезнь в том, что вы слишком молоды для своих лет»[11]. Вероятно, восприняв слова о своей молодости буквально, Белый уже 21 июля, преодолевая «перемежающиеся боли в голове, спине, ногах», постарался подняться и наладить жизненный ритм: «Избегает солнца: гуляет до восхода и после заката. По-прежнему общителен, но утомляется от разговоров»[12].

«Не знаю, что сказать о состоянии Б.Н., — сообщала К.Н. Бугаева из Коктебеля 23 июля. — Головные боли продолжаются, хотя и слабее. Но присоединились боли в спине и Т, которая к вечеру усиливается до 37,8, с утра же 37,4, 37,2. По-видимому, есть какое-то заболевание желудка. Но — какое, определить с точностью некому. Хороший врач есть в Феодосии. Его вызывали один раз. Но это такая сложная вещь, что повторить — нечего и думать. Вообще быть больным в здешних условиях крайне тяжело. Стремлюсь скорее привезти его в Москву. Врач же сказал, что раньше, чем в конце июля, трогаться нельзя. Волнуюсь, как поеду с ним одна и что буду делать, если вагонная тряска вызовет какое-нибудь осложненье. Ни одной ночи с 15-го он не спал нормально. Или засыпал к рассвету, прометавшись всю ночь, или вовсе не спал. Меня все успокаивают, но, зная Б.Н. и видя его таким, не могу быть спокойна»[13].

Через неделю, 29 июля, супруги Бугаевы все же решились выехать из Коктебеля в Москву.

«1 августа они приехали, — вспоминал его друг и добровольный литературный секретарь П.Н. Зайцев[14]. — Мы с Г.А. Санниковым встречали их и вечером были в Долгом. У Бориса Николаевича совсем больной вид. Гнетущее впечатление производит то, что он как-то пригибается, словно ожидает удара занесенного над ним копья»[15].

С Курского вокзала, на который прибывал поезд из Феодосии, Белого доставили домой, на Плющиху, в Долгий переулок, д. 53, кв. 1. «Там, в Долгом переулке, он жил с женой Клавдией Николаевной и ее родными. В восемнадцатиметровой комнате. Там стояли: рояль Клавдии Николаевны, его письменный стол, за шкафами – кровати. Окна – у самого потолка. В окнах – ноги проходивших по улице. Ноги выстраивались в очередь к молочной. Тени их двигались по потолку»[16]. Правда, и эта убогая квартира, находящаяся в темном полуподвале, квартирой Белого могла считаться лишь условно. Это была квартира доктора Петра Николаевича Васильева, первого мужа К.Н. Бугаевой. И в ней с давних пор проживали, помимо самого хозяина и Клавдии Николаевны, еще и мать Клавдии Николаевны – Анна Алексеевна Алексеева и сестра Анны Алексеевны – Екатерина Алексеевна Королькова (тетка Клавдии Николаевны).

Роман Клавдии Николаевны с Белым, начавшийся после возвращения писателя из берлинской эмиграции осенью 1923 г., внес существенные изменения в сложившийся в Долгом переулке строй жизни. Пока Белый снимал комнаты в доме Шиповых в подмосковном поселке Кучино (с 1925-го по 1931-й), Клавдия Николаевна вынуждена была метаться между Кучином и Москвой. Когда жизнь в Кучине стала невыносимой, Белый сделал попытку переехать в Детское Село (апрель–июнь и сентябрь–декабрь 1931 г.), но и там обосноваться надолго не удалось.

С января 1932 г. они опять поселяются в московской квартире П.Н. Васильева вместе с матерью и теткой Клавдии Николаевны. Сам П.Н. Васильев к этому времени из Долгого переулка съехал – нашел новую любовь и начал новую жизнь с другой женщиной (в 1933 г. у него родилась дочь). Свою жилплощадь он на время благородно оставил бывшей супруге, ее семье и именитому сопернику. Впрочем, Белый, хоть и вынужден был пользоваться благородством П.Н. Васильева, но ни на секунду не забывал о своей фактической бездомности и своем положении приживала.

Выход из этого неприятного положения был только один – покупка собственной квартиры. В июле 1932 г. Белый продал значительную часть своего архива в открывшийся недавно Литературный музей, чтобы на вырученные средства приобрести квартиру в строящемся кооперативном доме в Нащокинском переулке (д. 3/5; в 1933–1993 гг. – улица Фурманова). Дом заселялся по мере возведения – подъездами. В октябре 1933 г. счастливыми обладателями жилплощади в нем стали О.Э. Мандельштам, Г.А. Санников и многие другие советские писатели. Андрей Белый хотя и писал истерические письма в начальственные инстанции и искал тех, кто мог бы за него походатайствовать, но своей квартиры так и не дождался (ордер получит уже его вдова). Полуподвал доктора П.Н. Васильева в Долгом переулке, куда находящегося в тяжелом состоянии Андрея Белого друзья привезут с вокзала, так и останется его последним московским пристанищем, последним местом проживания.

* * *

Август 1933 г. Белый провел в борьбе с болезнью, проявлявшейся в мучительных приступах головной боли. Суть недуга, однако, по-прежнему была не вполне ясна ни докторам, ни самому больному, полагавшему, что «солнечный перепек» лишь выявил «давно подготовлявшуюся усталость» и «нервное истощение организ-

ма»[17]. Встревоженная и растерянная Клавдия Николаевна прежде всего обратилась за советом к П.Н. Васильеву; обратилась письменно, так как он, видимо, отсутствовал в это время в Москве. Бывший муж, сменивший ревность и обиду на дружеское расположение и трогательную заботу, принял в судьбе Белого самое активное участие. В письме к К.Н. Бугаевой от 11 августа 1933 г. он сформулировал свое видение проблемы и дал медицинские рекомендации: «Дорогая Клодя, <...> Б.Н. хорошо бы показаться невропатологу проф. И.Ю. Тарасевичу (живет в Долгом пер., д. 23). По тому, что ты пишешь, – по-видимому, дело идет о корешковых невралгических болях, это, возможно, тоже нервного происхождения. Думаю, что выходить можно, но лучше не откладывая показаться специалисту, кот<орый> уже решит»[18].

Впоследствии П.Н. Васильев неоднократно навещал и осматривал Белого, давал советы и даже выписывал рецепты, но его основным лечащим врачом стал, по совету того же П.Н. Васильева, невропатолог Иван Юльевич Тарасевич. В выписанной 16 августа справке Тарасевич сформулировал свои предписания и диагноз, лишь слегка подправляющий предыдущий: «Бугаев Борис Николаевич страдает церебропатией артериосклеротической с левосторонним гемипарезом и нуждается в полном отдыхе, систематическом лечении и соблюдении режима»[19].

На трудности предписанного режима Белый жаловался в письме к сестре К.Н. Бугаевой – Е.Н. Кезельман от 1 сентября 1933 г.: «Нелегки ежовые рукавицы режима: вставай – тогда-то, ложись – тогда-то; кури – столько-то, пей – столько-то с расстановками. Что ни шаг, то – методика»[20]. Тем не менее Белый, страстно желая победить болезнь, старался изо всех сил «соблюдать предписание врача» и «жил по твердому режиму»: «5½ папирос в день, ограниченно – чай, точно размеренные часы питания, прогулок... Статистика... записи, когда и сколько выкурил папирос»[21].

Борьба с курением стала одной из наиболее тяжелых составляющих нового образа жизни (тяжелее был только запрет работать, то есть писать, читать, думать). До болезни Белым, как отмечал П.Н. Зайцев, во время работы «всегда выкуривалось немилосердное количество папирос (до 60 штук в день!)»[22]. К.Н. Бугаева указывала, что 50 штук, и отмечала, что муж иногда для вкуса сам «ароматизировал» папиросы, добавляя в пачки немного нафталина, запах которого ему нравился[23]. Теперь приходилось от этой давней привычки отказываться, постепенно сокращая ежедневную норму и наглядно фиксируя процесс борьбы в специальной таблице:

«Кривая курения
(борьба с курением)

Прежде в день выкуривал в среднем 50 папирос.
С весны [лета – зачеркнуто] этого года понизил эту норму до 25–30 папирос.
Летом курил в среднем до 20 папирос.
С начала болезни – и того меньше.
Курение за август 1933 года:
24 августа выкурил 6½ папирос
25 августа " – " – " – 6 папирос

26 августа " – " – " – 5½ папирос
27 августа " – " – " – 5 папирос
28 августа " – " – " – 6 пап<ирос>
29 августа " – " – " – 5 папирос
30 августа – / – / – / – 4½ пап<иросы>
31 августа – / – / – / – 4 папиросы»[24].

Видимо, такая таблица велась по совету врача, однако внутренней природе Белого она скорее соответствовала, чем противоречила. Писатель всегда любил фиксировать и сортировать как события собственной жизни, так и явления мира природы и мира культуры. Не случайно даже само название таблицы – «Кривая курения» – отсылает не только к медицинским графикам, но и к стиховедческим построениям Белого, к его знаменитым «ритмическим кривым».

Своими немалыми достижениями в борьбе с курением Белый весьма гордился, однако на этом пути случались и срывы. Об одном из них он с юмором рассказывает в уже цитированном письме к Е.Н. Кезельман от 1 сентября:

«Дорогая, милая Е.Н. –
всего несколько слов!

Москва сказалась трудностью писать; каждый день отслаивается своими заботами: как корост, трудно пробиваемый словами.

О чем писать?

О шутливом.

Остается мне покичиться успехами в курении. Эти дни доходил до трех полпапиросок в день (1S); и вдруг нутро завопило:

– "Курриить!"

Я – оскоромился: унизился до 4½ папирос (в день) <...>.

Пожалейте меня, дорогая сестренка, меня бедного.

Жалующийся и слезы льющий Б. Бугаев».

Забегая вперед, отметим, что до конца от привычки курить Белый так и не избавился. Свою последнюю затяжку он сделал уже лежа в больнице, за несколько дней до смерти. Рассказывая о своем последнем посещении Белого 5 января 1934 г., Г.А. Санников обратил внимание на то, что «когда Кл<авдия> Ник<олаевна> закуривала, он руку подносил ко рту, как бы держа папироску, трогательно»[25]. П.Н. Зайцев, навестивший Белого на следующий день, 6 января 1934 г., за два дня до смерти отмечал в дневнике: «<...> я пришел в три часа дня <...>. Борис Николаевич был очень тих, приветлив, сиял своей светлейшей улыбкой. Я покормил его манной кашей с клюквенным киселем. Был он значительно слабее, чем раньше. Доев кашу, попросил покурить. Но сам уже не мог держать папиросу и сделал 2–3 затяжки из моих рук»[26].

Другой важнейшей составляющей назначенного Тарасевичем режима были ежедневные длительные прогулки[27]. Это предписание, в отличие от запрета на курение, доставляло, до определенного времени, скорее удовольствие. «Новая Москва» пленяет Белого «вновь выросшими группами домов нового стиля» и особенно обилием «цветников, парков и парчков, украшающих недавние пустыри»[28].

Излюбленный маршрут прогулок смертельно больного Андрея Белого представляется весьма символичным: он тот же, что и в юности, — через Девичье поле к кладбищу Новодевичьего монастыря:

Бывало: за Девичьим Полем
Проходит клиник белый рой;
Мы тайну сладостную волим,
Вздыхаем радостной игрой:
В волнах лучистого эфира
Читаем летописи мира.
Из перегаров красных трав
В золотокарей пыли летней,
Порывом пыли плащ взорвав,
Шуршат мистические сплетни...
Проходит за́-городом: лес
Качнется в небе бирюзовом;
Проснется зов: «Воанергес!»
Пахнёт: Иоанном Богословом...
И — возникает в неба ширь
Новодевичий Монастырь.

Огромный розовый собор
Подъемлет купол златозор;

А небо — камень амиант —
Бросает первый бриллиант;
Забирюзевший легкий пруд,
Переливаясь в изумруд,
Дробим зеркальною волной;
И — столб летает искряной...
Там небо бледное, упав,
Перетянулось в пояс трав;
Там бездна — вверх, и бездна — вниз:
Из бледных воздухов и риз;
Там в берега плеснет волной —
Молниеносною блесной...

Из мира, суетной тюрьмы, —
В ограду молча входим мы...[29]

Культ Новодевичьего монастыря и «дорогих могил», мистически и идеологически значимых, возник у Белого с начала 1900-х. Монастырское кладбище служило источником вдохновения и давало толчок развитию эсхатологических чаяний, столь значимых для молодых московских символистов вообще, а для Белого — в особенно сильной степени. В канун смерти писатель следует тем же путем, который им был избран в «годы зари» и мистически осмыслен как путь навстречу

воскресению — в «Симфонии (2-й, драматической)», в стихах «Золота в лазури», в поэме «Первое свидание» и многочисленных мемуарах.

«Часто под вечер идем мы гулять, долго бродим по пыльной Москве; Новодевичий монастырь — цель прогулок; заходим туда, посещаем могилы отца, Поливанова, Владимира Соловьева, М.С. и О.М. Соловьевых, совсем еще свежие <...>. Помолчавши, бывало, опять вызываем слова из молчанья: слова о последнем, о тихом, о нашем, о вовсе заветном <...>», — писал Андрей Белый в 1923 г. в «Воспоминаниях о Блоке» и предавался мечтаниям: «<...> хотел бы я там сложить свои кости»[30].

Незадолго до того, как эти провидческие слова воплотились, в сентябре 1933 г. туда же, на кладбище Новодевичьего монастыря, повел гулять Белый и приехавшую к нему Нину Ивановну Гаген-Торн и так же, как прежде, «рассказывал он о могиле Соловьевых, о воспоминаниях, связанных с Новодевичьим». По сложившемуся у нее впечатлению, Белый, «быть может, не до конца сознательно, но чувствовал — близость завершения итогов. Это было страшно ясно в последней прогулке с ним»[31].

Последнее зафиксированное в дневнике 1933 г. посещение Новодевичьего монастыря датировано 18 октября. Ровно через три месяца, 18 января 1934 г., урна с прахом писателя Андрея Белого будет захоронена на Новодевичьем кладбище. Но в августе и сентябре 1933-го близкие Белого, да и сам он, еще надеялись на счастливый исход болезни. Или — изо всех сил делали вид, что надеялись. Кроме надежды, им практически ничего и не оставалось, так как рекомендованное Тарасевичем «систематическое лечение» на первых порах преимущественно «соблюдением режима» и ограничивалось. По-видимому, знаменитый профессор-невропатолог недооценил серьезность ситуации. И хотя в сентябре самочувствие больного несколько улучшилось, но в октябре ухудшилось вновь. Только в начале октября Белый «в первый раз принял пилюли от головы».

Вскоре Тарасевича сменил или, скорее всего, «дополнил» другой знаменитый невропатолог — В.К. Хорошко. Подключилась к лечению физиотерапевт С.В. Марсова и другие доктора. Тогда же к «соблюдению режима» и пилюлям добавились пиявки и массаж головы. Эффект от всего этого был невелик. Очевидно, что более эффективные лекарства, выписанные Белому, в аптеке купить было невозможно (что-то прислала ему в конце октября из Ленинграда Н.И. Гаген-Торн), и надежды на исцеление он связывал с прикреплением к «Кремлевской аптеке» и «Кремлевской лечебнице». Право на эти привилегии давалось, как и в ситуации с получением квартиры, только при наличии начальственной воли и авторитетных ходатайств за «значимого писателя». Хлопотать о льготном медицинском обслуживании Белый начал еще в августе, но «кремлевские доктора» появились у него только в ноябре, а на получение путевки в рекомендованный «кремлевскими докторами» санаторий связей и сил уже просто не хватило.

В октябре и ноябре болезнь стремительно прогрессировала, жизнь Белого превращалась в муку, головные боли становились нестерпимыми. «Борис Николаевич сегодня плохо себя чувствует весь день. Невралгия лица, и ему трудно говорить. Сейчас Б.Н. лежит, но спать не может, а так в полусне постанывает», — описывала состояние мужа К.Н. Бугаева осенью 1933 г.[32]

8 декабря его наконец госпитализировали в Психиатрическое отделение Первой Московской клинической больницы. Эта клиника психиатрии была ста-

рейшим в Москве лечебным заведением такого профиля, входившим в систему Университетских клиник на Девичьем поле (с 1938 г. носит имя С.С. Корсакова; расположена на ул. Россолимо, д. 11, стр. 9).

Вставать в это время Белый уже не мог. К головным болям добавилась «невозможность владеть руками»[33]. В подтверждение этого П.Н. Зайцев привел в своих воспоминаниях текст больничной справки, выписанной 22 декабря: «Сим удостоверяется, что Бугаев Б. (Андрей Белый) по состоянию своего здоровья не может подписать сам доверенности (атаксия рук – органическое расстройство мозга)»[34].

Тем не менее диагноз все еще не был поставлен. «До сих пор докторам неясно, что с ним было в Коктебеле и что происходит теперь, – писал П.Н. Зайцев 18 декабря. – Существует два предположения: первое: это то, что в Коктебеле с ним произошел тепловой удар, был разрыв сосудов, и произошло кровоизлияние в мозг. Это явление склероза. И второе: что у него опухоль мозга. Второе опаснее и страшнее. При первом он может выжить, с риском перестать быть писателем. Второе грозит концом физическим... Не знаю, что страшнее для самого Б.Н. и для близких»[35]. Только 29 декабря было окончательно решено, что у писателя «кровоизлияние в мозг на почве артериосклероза»[36]. Однако определение характера заболевания уже не могло изменить ход событий.

У постели Белого «неотлучно дежурила» К.Н. Бугаева: «Белый халат ее то и дело мелькал по комнате. Она по взглядам Б.Н. улавливала его желания, не нужно ли поправить подушку, не хочет ли он воды»[37]. Изредка ее сменяли друзья (П.Н. Зайцев, А.С. Петровский) и подруги (А.М. Красновская, Л.И. Красильщик). Г.А. Санников, приходивший к Белому за несколько дней до смерти, вспоминал: «Я смотрел на его лицо. Оно было бледное, неподвижное, желтоватая тень непоправимой тяжелой болезни лежала на коже лица. Глаза глядели открыто и прямо, устало – спокойные, умные и внимательные. Чувствовал я, что он уже все продумал, решил про себя свою участь и теперь утомленным взглядом глядит на окружающих, на белые стены палаты, на свои худые и странно тяжелые руки, которыми трудно, почти не под силу шевелить, и в этом взгляде нет ни удивления, ни испуга: все ясно, все просто и все естественно. Даже вершины заиндевелых рождествен<ских> деревьев в переплетах окна уже не влекут его, не вызывают, как прежде, любви и жадности к жизни, с которой счеты покончены <...>. Весь последний период, с тех пор как он попал в больницу, он по деталям, по отдельным ничего не значащим зачастую словам врачей, по взглядам друзей, по их движениям изучал, определял свое положение. И надо было при встречах с ним уметь ни одним жестом, ни взглядом, ни словом не показать ему его обреченности. “Знаю ли я о его поконченных счетах с жизнью?” – казалось, хотел он узнать в эту встречу, ставшую последней. Вслушив<аясь> в слова, в интонацию, изучал, сопоставлял и, решив, что я ничего не знаю, не верю в его непоправимость, успокоенный, ровный, глядел на меня. Мы говорили немного, о самом обычном и несущественном. На литер<атурные> темы мы уже давно избегали разговаривать[38] <...>. Б.Н. разговаривать в этот раз было трудно; шепотом произносил он несколько слов, я или К<лавдия> Н<иколаевна> подхватывали и продолжали мысль, и, если угадывали, он одобрительно нам мигал глазами. Мы ничего словами не сказали друг другу значительного. Но минуты молчания нашего бывали значительней всяких слов. В этот раз мы простились обычней обычного, как будто мы оба и думать не

думали о неизбежном. Мы оба создали иллюзию, и нам обоим была она страшно необходима. Я пожелал ему скорее поправиться, а он, как будто бы и не сомневающийся в этом, ответил добрым и верящим взглядом. И была в этом взгляде дружба, и мудрость, и тихая, теплая грусть. Голова неподвижно покоилась на подушках, поверх одеяла белели худые руки с длинными пальцами. Желтоватая тень лежала на коже его изумительного лица. Я вышел от него, как выходят в соседнюю комнату. Я сохранял спокойствие человека, убежденного в непременном скором выздоровлении больного. А выйдя от него, я заплакал»[39].

Большую часть времени Белый находился в ясном сознании. Иногда бредил и говорил странные вещи[40]. Иногда говорил вещи пронзительные, проницательные и мудрые. Из записей Клавдии Николаевны известно, что в ночь с 7 на 8 января он был «занят мыслями о свете» и произнес загадочное: «Время отстало от света...»[41] В письме к Е.В. Невейновой от 2 февраля 1934 г. она вспоминала, что «две ночи подряд с 3го на 4ое и с 4го на 5/I он переживал свое рожденье»: «Переживал с огромной силой и радостью, как счастье. Он шептал мне о счастьи, о радости, о рожденьи. И какие-то невероятные волны любви шли от него. Потом три дня — 5, 6, 7ое он все слабел и слабел. Пока 8го утром не начался приступ головной боли — последний...»[42] И еще. По Москве ходил рассказ о том, что «в предсмертной болезни Белого был такой эпизод: он впал в долгое забытье, а после, очнувшись, сказал: “Я мог сейчас выбрать между жизнью и смертью. Я выбрал смерть”»[43].

Андрей Белый скончался 8 января в «12 часов 30 минут дня <...> от паралича дыхательных путей (сердце еще работало) в присутствии жены и врачей»[44]. «Смерть его была тиха и спокойна. Он умер-уснул»[45].

* * *

Важно отметить, что у болезни и смерти Андрея Белого была не только медицинская, физиологическая история, но также история психологическая и, что для нас особенно интересно, история общественно-политическая.

В свое последнее коктебельское лето Белый был серьезно озабочен целым рядом проблем, оказывавших негативное влияние на его душевное состояние и здоровье. Его волновало многое и разное: и судьба арестованных в 1931 г. друзей-антропософов, и собственная бездомность, и сложности с выходом отданных в Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ) книг, и, конечно, готовящийся Первый съезд советских писателей.

После успешного выступления осенью 1932 г. на Первом пленуме оргкомитета Союза советских писателей[46] Белый, как показали его дневники и письма, задумал выступить с докладом и на Первом съезде писателей. Это, он полагал, гарантировало бы ему, символисту и антропософу, вхождение в mainstream советской литературы и сопутствующие социальные, политические и прочие блага. Более того, Белый, издавна позиционировавший себя как методолог, мечтал стать если не единственным, то хотя бы одним из разработчиков метода социалистического реализма, — а именно эта задача и стояла перед съездом[47].

Политическая обстановка, как первоначально казалось, осуществлению этой «задумки» даже способствовала. Верноподданническая речь Белого на пленуме 1932 г. стала для чиновников козырем в их рапортах об успехах политики партии в области литературы. «Наметившийся на первом пленуме поворот правых писа-

телей в сторону советской власти (заявления Андрея Белого, М.М. Пришвина, Пантелеймона Романова, Рюрика Ивнева, Бор<иса> Пильняка, украинских писателей и др.) оказался более значительным, чем мы предполагали вначале», – рапортовал И.М. Гронский Сталину, Л.М. Кагановичу и А.И. Стецкому[48].

Сам Белый также с удовлетворением начал отмечать некоторое благоволение со стороны партийного и литературного руководства к его персоне. Особенно важным казалось сближение с Иваном Михайловичем Гронским (1894–1985). Крупный партийный деятель, член правительственной комиссии по ликвидации РАПП, ответственный редактор газеты «Известия» и журнала «Новый мир», Гронский в мае 1932 г. стал и председателем Оргкомитета Союза советских писателей. Именно Оргкомитет должен был руководить литературной жизнью страны в предсъездовский период, готовить проведение съезда писателей и разрабатывать – опять-таки к съезду – понятие «социалистический реализм».

Все это внушало Белому, твердо взявшему курс на сотрудничество с советской властью, оптимизм. Огорчало лишь то, что проведение съезда первоначально планировалось на середину мая, потом на 20 июня 1933 г. – то есть именно на то время, на какое у Белого была путевка в коктебельский Дом творчества. Примечательно, что, приехав в Крым и обнаружив, что погода неважная, а условия жизни не самые комфортные, Белый подумывал прервать отдых и вернуться в Москву[49]. Соблазн такого радикального решения состоял в том, чтобы лично принять участие в работе съезда. Но прерывать отдых не понадобилось. 28 мая 1933 г. от Г.А. Санникова Белый получил письмо, в котором сообщалось: «Из москов<ских> новостей: съезд писателей отложен на сентябрь мес<яц>. Это самая значительная новость»[50]. О том же информировал Белого в письме от 2 июля 1933 г. и П.Н. Зайцев: «Писатели готовятся к Съезду. Он состоится осенью. Время открытия съезда пока еще неизвестно»[51].

Изменению сроков проведения съезда Белый сначала откровенно обрадовался, о чем сразу же, в письме от 3 июня, сообщил Санникову:

> «Я очень рад, что съезд откладывается, долго писать, почему; мне кажется, что сейчас он был бы неуместен и что в отложении его И.М. <Гронский> руку приложил; а я очень *верю* И.М.: его *такту*. И кроме всего: я рад, что на съезде смогу быть, хотя б молчаливым свидетелем. От него многое зависит; и лучше его семь раз отложить, чем созвать без достаточной подготовки»[52].

Представляется, что единственной причиной для радости была открывшаяся перед Белым перспектива личного присутствия на съезде. Если еще совсем недавно он был готов ради участия в съезде прервать отдых, то теперь реальной становилась возможность и отдохнуть, и поучаствовать в столь политически важном мероприятии.

В остальном аргументация Белого кажется просто надуманной. Ведь о ходе подготовки к съезду он пока ничего не знал и апеллировал прежде всего к интуиции: «почему-то мне кажется», «я очень верю» и т.д. Однако именно интуиция в данном случае и подвела Белого: не И.М. Гронский «руку приложил» к переносу съезда, а, напротив того, перенос съезда на осень был связан с провалом политики И.М. Гронского и его отстранением от должности председателя Оргкомите-

та ССП. Официально о его отставке объявили в августе, но уже в мае решение по этому вопросу было принято и стало общеизвестно.

Информация о предсъездовских кадровых «перестановках» вскоре дошла и до Белого. В письме к Санникову от 12 июня былой восторженности нет и в помине, Белый убеждает себя отрешиться от «московской» суеты и погрузиться в думы о «вечном». В сферу «суетного» попадает писательский съезд, на котором не будет Гронского, но к думам о «вечном» парадоксальным образом присоединяются и мысли о социалистическом будущем:

> «Но эти размышления уже – “пена”: “суета сует”! А я – над ней; боюсь, что и немного над жизнью. Меня влекут ритмы тысячелетий (“социализм” через 500 лет, история старых культур), а не современность, не “злобы дня”; и менее всего писат<ельский> съезд после того, как я узнал, что И.М. покидает Оргкомитет (так здесь передали мне); и чувствую, он-то и был связующим звеном между литер<атурной> современностью и мною»[53].

Подробности о происходящих в Москве событиях Белый вскоре узнал из отправленного 3 июня 1933 г. письма Ф.В. Гладкова:

> «В литературе – перемены. Гронский хотя и остается до съезда председателем Оргкомитета, но de facto – не у дел. Во главе стал Фадеев со своей группой. Гронский проворонил и разбазарил все дело. А какие были возможности! Не создал около себя актива, а начал играть с отдельных персон. И вышло: “Сев на троне, ногами заболтал”. Два дня подряд он растерянно пускался со мною в разговор и не понял моих комментариев к истории его управления. А теперь в новых формах РАПП. Съезд будет в сентябре. За это время произойдет перестановка сил»[54].

Полученными от Гладкова сведениями и их недвусмысленной интерпретацией Белый был напуган не на шутку. Он горько оплакивал отставку Гронского и судьбу съезда:

> «Я знаю, что многим нужно было отстранить И.М. не потому, что он понимал упрощенно задачи Союза сов<етских> пис<ателей>, а потому что он был горяч, правдив и неподкупно честен. И я очень, очень скорблю. Более того: как-то не верится, что на съезде отдельные люди с верой в соц<иалистическое> будущее и с лейтмотивом правды в душе дадут нужный тон съезду. Опять пойдет чехарда подтасовки, лозунгов, и заранее переполнен гадливым отвращением»[55].

«Отдельные люди», способные, по мнению Белого, «дать нужный тон съезду», – это, конечно, те самые «отдельные персоны», с которых, как выразился Гладков, Гронский «начал играть». К этим «отдельным персонам», ставленникам Гронского, Белый причислял и себя. Поэтому выдвижение другой кандидатуры на роль главы советских писателей воспринималось им в перспективе собственной будущности, весьма мрачной. И Гронского, и себя Белый видит жертвами РАППа, пострадавшими во имя человечности, правдолюбия и «веры в социалистическое будущее»:

«Вероятно, И.М. Гронский не был организатором, вероятно, он не мог справиться со всеми минами и контрминами, закладываемыми неликвидированными группировками и т.д. Но я ему верил как человеку; и продолжаю верить; пусть его слова о правде, о реализме были примитивны и нас не удовлетворяли; но сквозь них я слышал порыв к *правде* в том смысле, в каком я косноязычно пытаюсь писать Вам; и поверив И.М., я его полюбил и знаю, что во главе Оргкомитета должен стоять социалист и че-ло-век, а не аппарат: человек правдивый, с интуицией момента, а не политиканствующий чиновник. <...> Мне 52 года. <...> мне терять нечего; можно и умирать; не страшно, коли замордуют (и мордовали, и перехваливали); карьера, спекуляция, желание играть роль – все это глубоко отвратительно мне. Я всегда слышал ритм революции и сам никогда от сов<етской> действительности не уходил <...>, нося в себе образ культурной революции, необходимо завершающей социальную; это меня *уходили*, а потом “приходили” литературные спекулянты.

Боюсь, что уход И.М. отразится на съезде тем, что неликвидированные группировки и этот значительный момент нашей жизни превратят в побоище при трамвайной подножке; опять будут и мордасы, и травли с инсинуациями. И заранее уж готовлюсь к этому, нащупывая себе зимнюю квартиру, где бы можно было укрыться от холода, ибо бороться с интригами, вести мины и контрмины не хочу»[56].

Белый практически отождествляет свою судьбу с судьбой впавшего в немилость И.М. Гронского, ставит знак равенства между «уходом» И.М. Гронского, то есть изгнанием его с поста председателя Оргкомитета, и своим «уходом» – правда, пока еще гипотетическим. Вопрос о том, «ушли» или не «ушли» Белого из современной литературы, решался им применительно к характеру его участия в съезде:

«<...> я со страхом рисую картину себя на съезде: быть или не быть, говорить или не говорить, участвовать или только присутствовать? В последнем случае – лучше отсутствовать»[57].

Страхи Белого, хоть и выраженные в несколько экзальтированной форме, все же назвать полностью надуманными нельзя. Ведь параллельно со стремительным падением влияния Гронского, в котором Белый видел своего покровителя, столь же быстро росло влияние Горького, которого Белый считал своим недоброжелателем и даже более того – серьезным врагом. Из фигуры номинальной – Почетного председателя Оргкомитета – Горький превратился в реального политика, практически единолично и властно руководившего подготовкой съезда. Как и опасался Белый, на ключевые посты Горький начал двигать своих людей, прежде всего бывших рапповцев[58], травли со стороны которых Белый так опасался.

Негативное отношение к Белому Горький открыто продемонстрировал в 1933 г. в статье «О прозе», опубликованной в первом выпуске альманаха «Год шестнадцатый». В ней Горький выступал за простоту и ясность языка художественного произведения: «Советский читатель не нуждается в мишуре дешевеньких прикрас, ему не нужна изысканная витиеватость словесного рисунка...» В качестве же первого и главного примера «засорения» литературы «словесным хламом» он выбрал роман «Маски»: «<...> в лице Андрея Белого мы имеем писателя, который совершенно лишен сознания его ответственности перед читателем»[59].

Подобные нападки носили в интерпретации Белого не столько литературный, сколько политический характер, а потому он надеялся на поддержку в кругу не литературном, а партийно-чиновничьем. «<...> ряд деятелей-коммунистов становятся прямо или косвенно на защиту меня от нападений Горького (Гронский, Стецкий, как передают мне, Каганович и т.д.); словом – я встречаю внимание и поддержку в партийных кругах», – писал он в дневнике за август 1933 г.[60], наивно принимая желаемое за действительное. Еще не точно осознавая, когда и с какой стороны Горький и его сподвижники нанесут новый удар, Белый, тем не менее, летом и осенью 1933 г. жил с ощущением грядущей угрозы. «Горький и Авербах – хмурятся на меня»[61], – фиксировал он в дневнике свои дурные предчувствия.

Гнетущая тревога, вызванная предсъездовскими кадровыми переназначениями, отставкой Гронского и активностью Горького, во многом способствовала развитию смертельной болезни Белого. По крайней мере, так он сам объяснял случившееся с ним в дневниковых записях за август–сентябрь 1933 г. «Если впредь, – сетовал Белый, – мой искренний порыв "*советски*" работать и высказываться политически, будет встречаться злобным хихиком, скрытою ненавистью и психическим "глазом", – ложись, умирай; и хоть выходи из литературы: сколько бы ни поддерживали меня, – интриганы, действующие исподтишка, сумеют меня доконать!»[62]

Однако Белый не хотел ни «ложиться», ни «умирать», ни «выходить из литературы». Для сопротивления «интриганам» ему необходимо было встать в строй и восстановить форму. И действительно, в конце августа – начале сентября Белый как будто почувствовал себя лучше и даже изобразил себя выздоровевшим – в форме автошаржа. К.Н. Бугаева сопроводила рисунок примечанием: «Б.Н. почувствовал себя хорошо и тотчас же нарисовал "свое состояние" – ему так хотелось быть снова здоровым»[63].

Уже в начале сентября, как только наступило временное улучшение самочувствия, писатель принялся вновь вести дневник, отвечать на корреспонденцию, читать, рисовать, ходить в гости и принимать гостей у себя, слушать музыку, и даже в Большой театр однажды выбрался...

Попытался Белый «не выпасть» и из общественной жизни, активизировавшейся в преддверии готовящегося съезда Союза советских писателей. Л.И. Красильщик вспоминала, что в сентябре «Борис Николаевич <...> выражал сильное желание "выйти в свет", показаться в ГИХЛе. Клавдия Николаевна его удерживала. Это было небезопасно для Бориса Николаевича, так как <...> всякое волнение было пагубно для больного»[64]. В октябре и ноябре удержать его стало уже невозможно, хотя каждый такой «выход в свет» заканчивался обострением болезни[65].

Преодолевая слабость и мучительные головные боли, Белый постарался вернуться к писательской работе, хотя именно этот род деятельности был ему врачами строжайше запрещен. При первой же возможности он начал строить творческие планы. «Весною и летом 1933 г. Андрей Белый неоднократно говорил о новой для себя форме творчества: производственном романе. В одном из иллюстрированных журналов он прочел о предполагавшемся строительстве железной дороги через Мамисонский перевал и решил взять темой романа строительство этой дороги на определенном участке: Мамисонский перевал – Шови – Гори», – отмечала К.Н. Бугаева[66]. «Чувствую явное облегчение после пьявок; опять закопошились эмбрионы мыслей; хотелось бы, если здоровье позволит, написать статью на

тему “Социалистич<еский> реализм”; придется ее диктовать милой; самому писать утомительно», – отметил он сам в дневнике 11 сентября[67]. К счастью для посмертной репутации Белого, «здоровье не позволило» развить «эмбрионы мысли», и обоим этим проектам, явно ориентированным на политику партии, сбыться было не суждено.

Зато над четвертым томом мемуаров, или – как Белый часто называл свой новый труд – над второй частью «Между двух революций», он трудился, можно сказать, героически. «*Сентября 22.* Начал работу над 2-й частью 3-го тома “Воспоминаний”. Заметна быстрая утомляемость», – отмечала К.Н. Бугаева[68]. «Плох он! Боюсь за него. У него склероз, бессонницы и кошмары по ночам. Профессор Тарасевич запретил ему курить, пить чай, заниматься, думать...[69] А он беспрерывно думает о четвертом томе воспоминаний, – сетовал П.Н. Зайцев. – Трудно, очень трудно этот четвертый том писать! И не только потому, что автор болен, а главным образом потому, что он подошел к такому периоду своей жизни, который стоит в резком противоречии с идейными установками сегодняшнего дня. *Борис Николаевич подошел к тупику*». Суть «тупика», по мнению Зайцева, состояла в следующем: «Годы, которые предстоит ему отразить в четвертом томе (1912–1916), связаны с его духовными поисками, со Штейнером. Писать о них для *печати* невозможно, немыслимо. Это и через цензуру не пройдет, и чуждо, не нужно широким кругам советских читателей. Все это нужно просто пропустить в мемуарах. Для книги останутся: его путешествие в Африку, литературные труды, отдельные моменты заграничной жизни. Но это малоинтересно и нединамично. А затем – 1916, 1917, 1918, 1919, 1920 и 1921 годы. Октябрь! Это тоже – нелегкая тема!»[70]

Трудность темы Белого не остановила. Сам он писать уже не мог, поэтому надиктовывал жене текст будущей книги мемуаров. По свидетельству К.Н. Бугаевой, «утром 2 декабря он закончил диктант последнего отрывка второй главы, вечером рассказывал, с чего нужно будет начать третью, а вечером со второго на третье начался новый приступ болезни <...>»[71]. 3 декабря, отмечала она в «Летописи жизни и творчества», Белый еще «правил текст (стилистически) “Воспоминаний”», а на следующий день к вечеру начался «сильнейший приступ головных болей», после которого он уже практически не вставал.

Так же, почти до самого конца, занимался Белый и своими издательскими делами. На осень 1933 г. приходятся его переговоры о передаче третьего тома мемуаров «Между двух революций» из ГИХЛа, тормозившего выпуск книги, в «Издательство писателей в Ленинграде»[72]. Однако все эти хлопоты не шли ни в какое сравнение с переживаниями Белого, связанными с подготовкой к изданию в ГИХЛе исследования «Мастерство Гоголя» и второго тома мемуаров «Начало века».

Уезжая в мае 1933 г. в Коктебель, Белый просил друзей, и прежде всего П.Н. Зайцева, присматривать за издательским процессом и информировать о происходящем. Зайцев, естественно, на роль посредника с готовностью согласился и регулярно писал ему о визитах в ГИХЛ и о состоянии дел в издательстве. Белый был очень признателен Зайцеву за хлопоты и работу, им проделанную, но при этом не скрывал своих волнений: «Заранее благодарю Вас за всю ту добрую помощь, которую Вы нам оказываете; и особенно сердечное спасибо за корректуры “Нач<ала> Века”. Кстати: меня беспокоит верстка “*Маст<ерства> Гоголя*”. А были ли корректуры конца книги? Я их не видел. Где они? Пришли ли они в Москву; кто их

правил, или кто будет править? <...>. За все это глубоко благодарю», — писал он 19 июня 1933 г.[73]

Белого, безусловно, волновали и сроки выхода книг, и правка, которую необходимо было спешно вносить, однако наибольшее беспокойство вызывало то, что автором предисловия к обеим книгам был Л.Б. Каменев, в недавнем прошлом — крупный партийный и государственный деятель.

Карьера Каменева в конце 1920-х начала клониться к закату: он был отстранен от ключевых постов, неоднократно исключался из партии и вновь восстанавливался. Назначенный в мае 1932 г. директором издательства «Academia», Каменев уже 11 октября был отправлен в трехлетнюю ссылку в Минусинск (формально оставаясь во главе издательства), однако в начале апреля 1933 г. досрочно из этой ссылки освобожден, возвращен в Москву и продолжил руководить издательством до декабря 1934-го[74].

Несмотря на ничтожность занимаемого Каменевым поста, его авторитет партийного идеолога и публициста по-прежнему был велик[75]. После нападок Горького на стиль «Масок» в статье «О прозе» (опубликованной в 1933 г. в альманахе «Год шестнадцатый») каменевские предисловия представлялись Белому принципиально важными: открывающими или, напротив, закрывающими для него путь в советскую литературу.

Волнение Белого вполне разделяли его друзья. «Предисловие Каменева набрано и уже заверстано в книгу. Вчера я вновь заходил <...>. Текст предисловия мне обещают дать для пересылки Вам», — сообщал о предисловии к книге «Мастерство Гоголя» Зайцев Белому в письме от 14 июня 1933 г.[76]

Целиком доверяя Зайцеву работу над именным указателем и правкой, Белый, тем не менее, хотел сам ознакомиться с предисловием к «Мастерству Гоголя». «Очень жду предисловия Каменева <...>», — торопил он П.Н. Зайцева в письме от 19 июня 1933 г.[77] Однако отправка предисловия в Коктебель не состоялась.

Зайцев в письме от 18 июня 1933 г. объяснял это виной издательства: «Простите, предисловие не посылаю. У них куда-то запропастился второй (контрольный) экземпляр, и они мне его не смогли найти. Обещают. Боюсь, что обещание выполнят как раз к Вашему возвращению»[78]. Вместо текста Каменева Зайцев посылал Белому обнадеживающие и утешающие слова: «Предисловие написано любезно, автор признает даже большие достоинства книги и ее нужность и ценность, особенно для советских писателей, работающих над художественным словом. В общем, предисловие приемлемо, учитывая ряд обстоятельств»[79]; «Но Вы, милый Борис Николаевич, не беспокойтесь. Его читали некоторые наши друзья <...> и находят его приемлемым. То же говорит и Накоряков»[80].

Зайцеву вторил Г.А. Санников: «Только вчера уладился вопрос с предисловием к “Началу века”. Л.Б. Каменев написал предисловие очень резкое. Надо было смягчить. Пришлось разговаривать с кем следует, а потом статью дали Л.Б. смягчить, и он кое-что сделал, исправил, изменил. Сегодня-завтра мне покажут, как это выглядит теперь[81]. Первой выйдет книга “Мастерство Гоголя”. Предисловие к ней значительно лучше, чем к “Началу века”. Возможно, что обе книги выйдут к съезду, т.е. 10–20 сентября»[82]. Правда, в попытках успокоить Белого Санников упомянул о том, о чем Зайцев хотел умолчать: о том, что предисловие к мемуарам «Начало века», датированное июнем 1933 г., также было уже написано и даже про-

читано московскими друзьями писателя. Очевидно, что предисловие к «Мастерству Гоголя» могло понравиться им только в сравнении с ужаснувшим предисловием к «Началу века». Однако ни тот ни другой отклик Каменева нельзя было назвать положительным. И московские друзья не спешили знакомить автора исследования о Гоголе и мемуаров с предисловиями к его книгам. Они опасались испортить Белому отдых и хотели отложить неприятные известия до его возвращения из Коктебеля.

Болезнь, как уже говорилось, задержала Белого в Крыму до конца июля, а по прибытии в Москву медицинская помощь была ему нужнее, чем посредничество в издательских делах. Как следует из дневника писателя, текст предисловия Каменева к «Мастерству Гоголя» был отдан ему на просмотр 20 октября. «Вечером были Паоло Яшвили и Пастернак; Пастернак читал свои переводы из Паоло и Тициана Табидзе; делились своими впечатлениями от ужасов фашизма <...>, – записал Белый в тот день в дневнике, – потом появился П.Н. Зайцев прямо из Гихла <...>. П.Н. принес Гоголя (верстку) со статьей Каменева о книге; статья вполне приличная, приятная для меня»[83].

Из записи Белого следует, что Зайцев принес верстку предисловия из издательства и сразу же отдал ее Белому. Однако из материалов, сохранившихся в архиве самого Зайцева, следует другое. В письме Зайцева от 18 декабря 1933 г., адресованном Л.В. Каликиной (антропософке, находившейся в ссылке в Орле), говорится: «Между прочим, я осенью решился показать Б.Н. предисловие к “Мастерству Гоголя”. И против моих ожиданий предисловие его мало задело. Он был очень спокоен и даже относительно доволен им»[84]. То есть получается, что статью Каменева Зайцев получил давно, но, опасаясь усугубить болезнь Белого, ждал подходящего момента для показа. Обрадовавший Белого визит Пастернака и Яшвили и стал таким подходящим моментом. «Мастерство Гоголя» Каменев оценил следующим образом: «Это – вывод, за который самый мягкий литературный трибунал должен был бы приговорить автора к самой суровой литературной казни. Белый уготовил себе эту неприятность исключительно тем, что в эпоху разложения атома и синтетического каучука продолжает пользоваться методами алхимии, тем, что пренебрег драгоценным орудием исследования – материалистической диалектикой». Тем не менее предисловие было воспринято Белым даже с удовлетворением.

С предисловием к «Началу века» дело обстояло еще сложнее. Его основная идея была сформулирована Каменевым уже в первом абзаце: «С писателем Андреем Белым в 1900–1905 гг. произошло трагикомическое происшествие: комическое, если взглянуть на него со стороны, трагическое – с точки зрения переживаний самого писателя. Трагикомедия эта заключалась в том, что, искренне почитая себя в эти годы участником и одним из руководителей крупного культурно-исторического движения, писатель на самом деле проблуждал весь этот период на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы. Эту трагикомедию Белый и описал ныне в своей книге “Начало века”».

И далее мысль о «полном банкротстве», к которому пришел Белый в результате «идейного хаоса и умственных метаний по задворкам культуры», развивалась на все лады.

И Зайцев, и Санников, и другие друзья писателя легко могли предположить, сколь болезненно воспримет Белый рассуждения Каменева о «задворках культу-

ры», «банкротстве», глухоте к революции и об «обреченности на гибель». Этим, видимо, и объясняется тот факт, что Зайцев почти полгода утаивал от Белого предисловие к «Началу века», а остальные друзья не давали знать, что содержание предисловия им известно.

О причинах, побудивших Зайцева к такой скрытности, и переживаниях, с этим связанных, он подробно рассказал в уже цитированном письме к Л.В. Каликиной. В момент написания письма (18 декабря) Белый еще был жив (лежал в больнице), что ценность данного эпистолярного свидетельства, на наш взгляд, увеличивает:

> «Это предисловие я получил на просмотр и для отсылки Б.Н. еще летом. Оно произвело на меня ужасное впечатление. Целую неделю я ходил ошеломленный, не зная, что делать. Посоветовавшись с друзьями, решил не посылать его Б.Н., а дать прочитать по приезде. Получив его в Коктебеле, Б.Н. разволновался бы, а сделать фактически ничего не смог бы, разве приостановить выход книги и запретить ее печатать, если нельзя выпускать без предисловия. Допускаю, что Б.Н. мог бы это сделать. Но если бы он это сделал, то такой жест испортил бы отношения его как писателя с издательством, возможно, закрыло бы пути для следующих книг. На расстоянии, из Коктебеля ему трудно было мирным путем разрешить создавшееся положение.
>
> По приезде Б.Н. в Москву я также не мог дать ему прочитать предисловие. Оставалось поставить его перед фактом выхода книги с *таким именно*, а не *худшим* предисловием.
>
> Предисловие, написанное другим критиком-редактором, могло быть еще хуже и еще более неприемлемо. Об этом мне говорили в ГИХЛе, когда я летом указывал на недопустимость этого предисловия. А без предисловия выпустить книжку И<здательст>во не могло, и не выпустило бы. Оно также было связано»[85].

В результате показать Белому верстку предисловия Каменева к «Началу века» Зайцев так и не решился. Писатель прочел его, только получив уже отпечатанный в типографии том. «Вышла книга “Начало века”. Предисловие Каменева – хамско-издевательское – произвело удручающее впечатление», – отметил он в дневнике 23 ноября.

Попытки друзей и близких успокоить писателя результатов не дали. Его реакция оказалась не только предсказуемой, но даже более болезненной, чем ожидалось. Травма, нанесенная Каменевым, со всей очевидностью просматривается в надписи на книге, подаренной Белым П.Н. Зайцеву 28 ноября 1933 г.: «Дорогому другу с горячей любовью этот искаженный предисловием Каменева экземпляр. Автор»[86].

В дневнике С.Д. Спасского в записи, сделанной со слов К.Н. Бугаевой сразу после смерти Белого, отмечено: «Предисловие к “Н<ачалу> Века” поразило. – Я никогда не был шутом. А он меня сделал шутом. – Как теперь я могу появляться в ГИХЛ. Не любил вспоминать о предисловии. Но однажды, вернувшись домой, обессиленный, прилег на кровать, свернувшись: – А все-таки ушиб меня К<аменев>»[87].

Не исключено, что теми же переживаниями К.Н. Бугаева делилась и с Г.А. Санниковым, отметившим в записной книжке: «Выход “Начала века”. Предисловие.

Слезы К<лавдии> Н<иколаевны>. Встреча и разговор. “Какой-то шут гороховый”»[88].

Н.И. Гаген-Торн в письме к Р.В. Иванову-Разумнику от 21 января 1934 г. рассказывала: «Очень сильно повлияло на него предисловие Каменева ко II т. воспоминаний (“Начало века”). Б.Н. был взбешен и выведен из себя. Случилось вторичное кровоизлияние 3/XII. 8-го декабря его отправили в больницу, а 8-го января – он умер»[89]. На то, что причиной смерти Белого могло стать это предисловие, указывал и Зайцев: «Первое кровоизлияние произошло в Коктебеле 15 июля 1933 года. Затем последовал ряд кровоизлияний: одно в конце ноября. Не связано ли оно с получением авторских экземпляров “Начала века”, к которым Л.Б. Каменев дал свое предисловие (о “задворках культуры”)? Не знаю... Последние кровоизлияния – 6-го и 8-го января 1934 года»[90].

Несомненным это было и для Санникова, отметившего прямую корреляцию между новым приступом болезни и переживаниями Белого, связанными с прочтением каменевского предисловия: «Заболевание 28 ноября. “Каменев меня доконал”»[91].

Губительная роль Каменева обсуждалась не только людьми из самого близкого окружения Белого, но и в широких литературных кругах. Так, например, Э.Г. Герштейн следующим образом передала взгляд Н.Я. Мандельштам на ситуацию с кончиной Белого и позицию Бориса Пастернака, сформулированную им в «привокзальной» беседе с Анной Ахматовой: «До отхода поезда оставалось еще время, они разговорились об Андрее Белом, отзывались критически о его последней прозе и принадлежности к обществу антропософов. Но когда речь зашла о статье Л.Б. Каменева, как утверждала Надя, убившей писателя, Борис Леонидович сразу: “Он мне чужой, но им я его не уступлю”. Дело в том, что в предисловии к последней книге Белого “Между двумя революциями” Каменев охарактеризовал всю его деятельность как “трагифарс”, разыгранный “на задворках истории”»[92].

Примечательно, что, перепутав название книги (не «Между двух революций», а «Начало века»), Герштейн точно процитировала самые обидные слова из «убившего» Белого предисловия Каменева. Очевидно, слова эти были, что называется, на слуху и сформулированное Н.Я. Мандельштам мнение о причине смерти Белого разделяли все его друзья. Любопытно, что история с каменевским предисловием со временем стала обрастать рядом фантастических подробностей и превратилась в миф. Со слов Н.Я. Мандельштам Э.Г. Герштейн детально описала его в мемуарах: «Умер Андрей Белый. Взволнованная Надя взволнованно рассказывала, что именно довело его до удара и кончины. Только что вышла из печати его мемуарная книга <...> с предисловием Л.Б. Каменева: он назвал всю литературную деятельность Андрея Белого “трагифарсом”, разыгравшимся “на задворках истории”. Андрей Белый скупал свою книгу и вырывал из нее предисловие. Он ходил по книжным магазинам до тех пор, пока его не настиг инсульт, отчего он и умер»[93].

Как известно, ничего похожего на это описание не было, да и быть не могло: к моменту выхода мемуаров «Начало века» Белый был уже неизлечимо болен. Однако в пересказе Герштейн–Мандельштам предсмертное поведение Белого подчиняется не логике реальности, а логике мифа: если Белого убила советская власть, а орудием преступления стало предисловие к книге, то и умереть писателю подобало в книжном магазине и со злополучной книгой в руках. Вольно или

невольно, но на советский миф о смерти Белого наложилась история с Гоголем, скупавшим и уничтожавшим тираж своей идиллической поэмы «Ганс Кюхельгартен». Только у Гоголя это было началом писательской карьеры, а у Белого – трагическим финалом. Не исключено, что именно эта «гоголевская» аллюзия отозвалась в стихах О.Э. Мандельштама на смерть Белого: «Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер, / Не Гоголь, так себе, писатель-гоголек»[94].

* * *

Вся вышеизложенная история с предисловием Каменева, доведшим Белого до могилы, вызывает некоторое недоумение. Возникает вполне закономерный вопрос: почему реакция Белого, знаменитого полемиста, закаленного в литературных боях и вполне стойко сносившего атаки советской критики, оказалась не просто болезненной, а столь болезненной? Почему Белый не мог, подобно П.Н. Зайцеву и другим московским друзьям, воспринять ужасное предисловие как своеобразное прикрытие, обеспечившее книге выход в свет, то есть как неизбежное зло, служащее в конечном счете во благо... Логику здравого смысла, напомним, сформулировал П.Н. Зайцев в уже цитированном письме к Л.В. Каликиной: «Предисловие, написанное другим критиком-редактором, могло быть еще хуже и еще более неприемлемо. Об этом мне говорили в ГИХЛе, когда я летом указывал на недопустимость этого предисловия. А без предисловия выпустить книжку И<здательст>во не могло, и не выпустило бы. Оно также было связано».

Примечательно, что эти специфические правила игры, прочно установившиеся в отношениях между писателем, издательством и советской властью, понимали и некоторые представители русской эмиграции. Так, с пониманием, в январе 1934 г. отреагировала на сопровождение мемуаров Белого статьей Л.Б. Каменева варшавская газета «Молва» (1932–1934) в анонимной заметке «“Начало века”: Воспоминание Андрея Белого» (№ 17/537):

> «Незадолго до смерти Андрея Белого вышла в Москве книга его воспоминаний “Начало века”. Книга обнимает собою годы 1900–1905 (Москва и Петербург). На страницах воспоминаний проходят вереницы людей, с которыми встречался Андрей Белый, тогда еще для большинства знавших его – Борис Николаевич Бугаев. Один перечень имен, приложенный к книге, занимает 20 страниц. Воспоминания предваряются предисловием Каменева, который видит главную ценность книги якобы в том, что она служит якобы доказательством “идейной беспомощности, исторической импотенции и духовного убожества целого слоя предвоенной интеллигенции”.
>
> Такого рода предисловия – вещь обязательная в СССР. Множество драгоценнейших воспоминаний не могло бы появиться, если бы, в качестве взятки существующему строю, они не сопровождались партийно-лакейскими предисловиями или примечаниями»[95].

Однако Белый почему-то к таким вполне очевидным аргументам прислушаться не захотел, хотя, безусловно, знал о подобной практике предисловий-оберегов и должен был бы радоваться тому, что его книга вообще увидела свет...

Соблазнительно объяснить чрезвычайно болезненную реакцию Белого на каменевское предисловие своеобразием душевного склада писателя-символиста, расшатанностью его нервной системы или, наконец, тем, что он был в то время сильно болен, почти при смерти. Однако ряд фактов позволяет если не полностью объяснить, то, как минимум, понять кажущуюся неадекватной реакцию Белого. Для этого нужно посмотреть на ситуацию в контексте приближающегося Первого съезда советских писателей и обратить внимание на предсъездовские кадровые перестановки, отставку беловского покровителя Гронского и рост влияния беловского недоброжелателя Горького.

В 1933 г. Каменев оказался среди тех, на кого Горький, стремящийся назначить на все важные управленческие места своих сподвижников, делал ставку. Именно по инициативе Горького в период подготовки Первого съезда Союза советских писателей начинается новый взлет каменевской карьеры – добавим, что взлет недолгий и, увы, последний. Уже после смерти Белого Каменев стал директором Пушкинского Дома и Института мировой литературы. Трудно сказать, насколько сильно взволновали бы Белого эти назначения.

Однако один горьковский проект, связанный с продвижением Каменева, оставить Белого равнодушным не мог. Горький лелеял мысль о назначении Каменева основным докладчиком на Первом съезде Союза советских писателей. И не только лелеял, но и предпринимал усилия для ее осуществления[96]. Так, началом августа 1933 г. датировано письмо Горького Сталину, в котором он недвусмысленно эту идею вождю предлагает:

> «Дорогой Иосиф Виссарионович. <...> С радостью увидел в “Правде” статью Л. Каменева, – писал Горький, имея в виду статью «О социализме в одной стране и об экономике в СССР», опубликованную 31 июля 1933 г. – Если б Съезд отложить – докладчиком по основному вопросу, может быть, назначили бы его?»[97]

Ради продвижения Каменева на роль основного докладчика на съезде Горький в данном случае был готов даже выступить с самокритикой, с целью отвести свою кандидатуру в пользу кандидатуры Каменева: «Я для этой роли не гожусь: “беспартийный” и косноязычен, да к тому же всех писателей обидел, и они на меня сердятся»[98].

Не исключено, что так обрадовавший ранее Белого перенос сроков проведения съезда был связан в том числе и с изложенной в этом письме инициативой Горького... Конечно, Белый не мог знать о содержании переписки Горького со Сталиным. Но планы по выдвижению Каменева на роль основного докладчика были достаточно широко известны в писательских кругах. Как об очевидном факте писал об этом в дневнике К.И. Чуковский:

> «Я вспомнил один эпизод на Съезде. Каменев жил на даче под Москвой. Об этом его жена Татьяна Ив<ановна>, которую я встретил в Колонном зале, сказала мне шепотом, т<ак> к<ак> считалось, что он где-то на Кавказе. Он *скрывался*, и скрывался так тщательно, что по целым дням не выходил из своей дачи, – не соблазняясь никакой погодой. Скрывался он вот почему: вначале было объявлено, что Каменев сделает на Съезде писателей доклад и что вообще ему будет принадлежать там, на

Съезде, ведущая роль. Потом, очевидно, в ЦК было решено не предоставлять ему этой роли, и он должен был притвориться отсутствующим. Я так и не побывал у него на даче, но <...> я получил от Т. Ив. письмо, где она говорит: простите мне ту грубость, с которой я разговаривала с вами на Съезде писателей, но я *была так огорчена, что Л.Б. не мог выступить там*»[99].

Белый точно так же мог быть в курсе того, что «Каменев сделает на Съезде писателей доклад и что вообще ему будет принадлежать там, на Съезде, ведущая роль». В таком случае болезненная реакция на предисловие к книге «Начало века» кажется более понятной. Ведь если бы Каменеву, определившему место Белому «на задворках культуры», удалось стать докладчиком на съезде, то Белый оказался бы сразу же меж двух огней: под угрозой атаки как со стороны Каменева, так и со стороны Горького. Оба они публично заявили о ненужности творчества Белого советскому читателю. При таком раскладе вред каменевского предисловия никак не искупался выходом книги мемуаров «Начало века», а Белому пришлось бы проститься как с амбициями методолога соцреализма, так и с планами на участие в работе писательского съезда, а возможно, и более того – с планами на участие в советской литературной жизни вообще...

Впрочем, пустыми оказались как страхи Белого, так и надежды Каменева. Белый умер, не дожив до Первого съезда ССП, а Каменев вскоре опять оказался не у дел, был арестован, судим и расстрелян.

* * *

Смерть Белого пришлась на горячее время: страна готовилась к XVII партийному съезду – съезду победителей, который должен был открыться 26 января[100]. В сфере «утрат» в общественной жизни также было немало событий, причем гораздо более важных, нежели смерть писателя-символиста и мистика, проблуждавшего всю жизнь по «задворкам культуры». В ноябре со всеми почестями у Кремлевской стены похоронили японского коммуниста Сен Катаяму. Еще не отзвучали слова скорби по умершему в декабре Луначарскому и не закончились мероприятия по увековечению его памяти. И уже не за горами маячило событие безусловной государственной важности – десятилетняя годовщина со дня смерти Ленина. В общем, было, конечно, не до Белого. Хотя не обошлось и без мелких удач.

Непосредственно в день кончины Белого, 8 января, происходило первое в 1934 году заседание Секретариата Оргкомитета Союза советских писателей. То есть все, с кем требовалось согласовывать процедуру похорон и прочие нюансы «увековечения», были на месте. Сохранился протокол этого заседания[101], проходившего под председательством П.Ф. Юдина, директора Института красной профессуры, главного редактора журнала «Литературный критик», ответственного секретаря Оргкомитета ССП, возглавлявшего также по совместительству и коммунистическую фракцию Оргкомитета. Присутствовали члены Оргкомитета В.В. Ермилов и В.Я. Кирпотин, известные писатели и издательские работники (Артем Веселый, Шалва Сослани, Иван Катаев, Ефим Вихрев, Г.Е. Цыпин и др.), а также представители ТАСС, центральных газет и журналов («Литературной газеты», «Вечерней Москвы», «Литературного критика»). В протоколе среди присутствовавших названы Б.А. Пильняк и Г.А. Санников, подошедшие, как следует из запис-

ных книжек последнего, уже после начала заседания. Вслед за ними появился и Б.Л. Пастернак: «В Оргкомитете происходило заседание секретариата. Юдин вызвал меня и Пильняка на заседание <...>. Почтили вставанием. Предоставили слово мне и Пильн<яку>. Образовали комиссию. Подошел Пастернак»[102].

На повестке дня стояли вопросы, вынесенные на рассмотрение, видимо, еще в конце 1933 г. Сначала слушали сообщение о работе литературного кружка ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института имени проф. Н.Е. Жуковского) и признали ее удовлетворительной. Потом разбирали доклад бригады писателей по изучению литературы Узбекской ССР. По итогам доклада постановили: «В плане реализации идеи А.М. Горького о создании сборников художественных произведений национальных литератур для показа прошлого и современного лица национальных республик – считать одной из основных задач комиссии к 10-летию УзССР выпуск сборника узбекской художественной литературы. С этой целью создать редакционную группу <...>. Включить в состав группы постпреда УзССР т. Турсун-Ходжаева[103]. К участию в работе группы привлечь палехского художника, которому поручить отразить 10-летие УзССР в живописи».

Далее должны были рассматриваться вопросы о неудовлетворительной работе с молодыми писателями Ленинграда, о необходимости подготовки выставки к готовящемуся Первому съезду Союза советских писателей, об итогах работы бригады по изучению литературы Севера. Однако перед ними вклинился незапланированный вопрос об Андрее Белом.

«Сообщение о смерти писателя было получено во время расширенного заседания секретариата всесоюзного Оргкомитета», – писала «Литературная газета» 11 января 1934 г. «После обсуждения узбекского вопроса Юдин объявил о случившемся», – отметил в записных книжках Санников[104]. В протоколе заседания зафиксировано следующее:

> «Слушали: Внеочередное заявление тов. Юдина о смерти писателя Андрея Белого.
>
> Тов. Юдин предлагает почтить его память вставанием.
>
> (*Все встают.*)
>
> Постановили: Для организации похорон Андрея Белого создать Комиссию в составе Пильняка, Санникова, Вихрева, Ермилова, Пастернака, Крутикова, Симмена.
>
> Поручить Комиссии поставить вопрос перед Оргкомитетом об отпуске средств на организацию похорон и об обеспечении семьи покойного».

В записных книжках Санникова отмечен ряд деталей этого заседания, не попавших в протокол: «Почтили вставанием. Предоставили слово мне и Пильн<яку>. Образовали комиссию. Подошел Пастернак. Наметили порядок»[105].

Итак, комиссия по организации похорон, как видно из протокола, была сформирована оперативно, прямо на заседании Секретариата Оргкомитета. Из близких Белому людей в нее вошли только Пильняк, Санников и Пастернак, прибывший в Оргкомитет специально, чтобы принять участие в организации похорон. Помимо них, из писателей в комиссию был введен молодой прозаик и искусствовед Ефим Федорович Вихрев, прославившийся работами о народных промыслах, прежде всего о Палехе. Нет сведений о том, что он вообще был знаком с Белым.

К тому же талант и карьера Вихрева развивались «под крылом» Горького, которого Белый в то время считал своим самым опасным врагом. На заседании Секретариата Вихрев оказался в связи с «узбекским вопросом». Его включили в редакционную группу по подготовке сборника узбекской литературы к 10-летию УзССР – вероятно, для того, чтобы найти палехского художника-иллюстратора. Заодно Вихрева привлекли и к похоронам Белого, включив в комиссию вместо отказавшегося в ней участвовать Ивана Катаева[106].

Писательское начальство в комиссии представлял критик и литературовед В.В. Ермилов, главный редактор журнала «Красная новь». В недавнем прошлом (с 1928 г.) он был одним из секретарей правления РАППа, но в 1932 г., после выхода Постановления ЦК ВКП(б) о ликвидации литературных группировок, раскаялся и стал активно проводить в жизнь новую политику партии. По инициативе Горького Ермилов, как и его соратник по РАППу Л.Л. Авербах, вошел в Оргкомитет ССП. Предоставление властных полномочий тем, с чьими именами прочно связывались громкие кампании идеологической травли писателей, приводило современников Белого к пугающим мыслям о том, что «теперь в новых формах РАПП». Такие тревоги выражал в письме к Белому в Коктебель от 3 июня 1933 г. Ф.В. Гладков[107]. Волнения по этому поводу одолевали и Белого: «<...> опять будут и мордасы, и травли с инсинуациями. И заранее уж готовлюсь к этому, нащупывая себе зимнюю квартиру, где бы можно было укрыться от холода, ибо бороться с интригами, вести мины и контрмины не хочу»[108]. Более того, уже после полученного удара и возвращения в Москву, анализируя в дневнике причины своего нервного истощения и болезни («Организм де здоров (данные анализа); а чувствую себя умирающим. Тут все сказалось...»), Белый указывал Ермилова в числе тех, кто довел его до такого удручающего состояния. По иронии судьбы Ермилов проводил летний отпуск 1933 г. там же, где и Белый, – в Коктебеле. Неизбежная встреча с ним отнюдь не обрадовала Белого. «Слет людей в июле превратил место отдыха в место мучений», – отмечал он в дневнике. В списке людей, превративших Коктебель «в место мучений», Ермилов стоит у Белого на первом месте[109].

Двое других членов комиссии – скорее чиновники от литературы, чем представители пишущей братии. Николай Яковлевич Симмен входил в правление ФОСП (1930), заведовал сектором печати ВЦСПС (сведения на осень 1932 г.). До переезда в Москву жил на Украине (Одесса, Полтава, Харьков), где был издательским работником и активным деятелем Всеукраинского союза пролетарских писателей[110]. А Николай Васильевич Крутиков был юристом, обслуживавшим сначала ФОСП, а потом Оргкомитет ССП и занимавшимся преимущественно авторскими правами. Вероятно, в комиссию он был введен для урегулирования возможных юридических формальностей.

Запись Санникова о том, что «наметили порядок», допускает двоякую интерпретацию. Возможно, здесь идет речь о тех действиях, которые согласованно решили предпринять Пастернак, Пильняк и Санников. Эти действия указаны: «Проехали в клинику, в анатомичку, оставили заявление о передаче мозга в Ин<сти>тут мозга[111]. Заехали к Кл<авдии> Ник<олаевне>. Вечером засели втроем за некролог»[112].

Однако более вероятно, что «порядок» был намечен не тремя друзьями покойного, а всей комиссией по организации похорон и тут же согласован с Оргкоми-

тетом ССП. Таким образом определился, что называется, чин, разряд мероприятия: место, время, характер освещения в прессе и пр. Тогда действия трех соавторов предстают не их личной инициативой, а обретают санкционированность.

Очевидно, уже 8 января было решено, что прощание с покойным проведут в зале Оргкомитета Союза советских писателей на ул. Воровского (д. 50) как мероприятие государственного значения и за государственный счет, что состоится гражданская панихида с назначенными ораторами и музыкантами, что у гроба выставят почетный караул, мозг усопшего передадут в Институт мозга, тело кремируют, а урну с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище и т.п. Вероятно, в «намеченный порядок» входило сообщение через ТАСС и центральные газеты о смерти и похоронах писателя, а также публикация того некролога-панегирика Белому в «Известиях», за работу над которым уже вечером 8 января «засели втроем» Пастернак, Пильняк и Санников – и который станет знаменитым. «И мне, и П<ильняку> не до содержания было: надо было задать тон всей последующей музыке, т.е. судьбе вдовы, произведений, самих даже похорон и пр.», – писал Б.Л. Пастернак М.И. Цветаевой 13 февраля 1934 г.[113]

Судя по всему, текст некролога написали быстро и вечером того же дня доставили в «Известия» на утверждение ответственному редактору И.М. Гронскому. Заметку вручили Г.Е. Цыпину, с которым все трое авторов встречались утром: он присутствовал на том заседании Оргкомитета, на котором «наметили порядок» организации похорон Белого. Видимо, тогда же с ним договорились и о публикации некролога в «Известиях», и о вечерней встрече в редакции.

Григорий Евгеньевич Цыпин (1899–1938) был в 1930-х достаточно видной фигурой в литературных кругах: до 1932 г. возглавлял газету «Вечерняя Москва», был также сотрудником «Известий» при Гронском, а в 1934 г., после отстранения И.М. Гронского от руководства «Известиями», стал одним из заместителей нового главного редактора Н.И. Бухарина. В 1936 г. его назначили директором Детиздата (Детгиза), правда, уже в 1937 г. уволили, а в 1938 г. расстреляли[114]. Цыпин считался опытным издательским работником, но в данном случае политическое чутье ему изменило. Он, по-видимому, оказался единственным начальником, которому хоть и с некоторыми оговорками, но понравился некролог, написанный Пастернаком, Пильняком и Санниковым: «В “Изв<естиях>” Цыпин сказал: “Замечательно написано”, возражал против перечисления классиков»[115].

Так что, возможно, именно Цыпину мы обязаны тем, что некролог-панегирик Белому, объявляющий его гением русской и мировой литературы, вообще увидел свет. Реакция И.М. Гронского, ознакомившегося с некрологом после Цыпина, была гораздо менее восторженной и, мягко говоря, неоднозначной:

«Пришел Гронский. Прослушал. – “Неправильная статья” <...> – “надо заказать для “Изв<естий>” еще одну”. Пильняк: “Отказаться легко, подберут другие”»[116].

По последней фразе Пильняка ясно, что в какой-то момент речь вообще шла об отказе от публикации сомнительного текста. Трудно предположить, что на решение могла повлиять угроза отдать некролог в другой печатный орган («подберут другие»). Но как бы то ни было, чаша весов склонилась в пользу публикации. И, конечно же, последнее слово здесь было сказано Гронским. Некролог, написанный Пастернаком, Пильняком и Санниковым, после небольшой редакционной правки (преимущественно сокращений и вычеркиваний)[117] был 9 января 1934 г. опубликован.

* * *

Нам представляется, что и Пастернак, и Пильняк, и Санников, сочиняя некролог, помнили о предисловии Каменева, ускорившем кончину писателя, и написали свой панегирик не просто в едином душевном порыве, но и в прямой полемике с каменевской оценкой творчества Белого.

Если Каменев доказывал, что автор «Начала века» всю свою жизнь «проблуждал <...> на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы», то «известинский» некролог был целиком посвящен утверждению обратного. По мнению Пастернака, Пильняка и Санникова, «8 января, в 12.30 мин. дня умер <...> замечательнейший писатель нашего века <...>». В черновом автографе эта мысль была сформулирована Пастернаком еще резче: «8-го января в половине первого скончался Андрей Белый. Умер величайший русский писатель, человек до конца несостарившейся гениальности, всю жизнь раздиравшийся противоречиями своих разнообразных задатков»[118].

Странный образ «несостарившейся гениальности», возможно, был полемичен по отношению к каменевскому тезису о том, что «у русской буржуазной идеологии не было буйной молодости», а потому, «пораженная в детстве болезнью старческого маразма, она не дала ни Вольтера, ни Гете, ни Байрона».

Каменев утверждал: «Глубокие потрясения всего организма страны, предвещавшие крушение капиталистического мира в России, и генеральная репетиция его в 1905 г. не создали ни Толстого, ни Достоевского». В «известинском» некрологе, напротив, выражалась твердая уверенность в том, что имя Белого «станет рядом с именами классиков не только русских, но и мировых». В черновом автографе некролога имена русских классиков, в ряд с которыми должно быть поставлено имя Белого, перечислялись: «Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Блок, Маяковский»[119].

Из звезд мировой, то есть зарубежной, литературы авторы некролога назвали лишь двух — не слишком популярных у широкой публики и совершенно неочевидных с точки зрения политической конъюнктуры: «Перекликаясь с Марселем Прустом в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, А. Белый делал это полнее и совершеннее. Джемс Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джемс Джойс — ученик Андрея Белого».

Не исключено, что выбор этих двух «сомнительных» имен был продиктован в том числе и желанием защитить умершего друга от той критики, с которой Каменев обрушился на манеру письма Белого — на усложненность стиля, словотворчество, особенности психологических и портретных характеристик персонажей.

Подвергся нападкам Каменева и «культурный багаж» Белого. Писателя-символиста и его окружение автор предисловия к «Началу века» уличил в «подлинном бескультурьи»: «<...> не спасает среду Белого тот факт, что — по собственному их мнению — они стояли на вершинах человеческой культуры, что они посвящали свое время и размышления "вечным проблемам", что на страницах их книг и статей мелькают то и дело имена гигантов мысли и творчества. Все это оказалось внешним»; «<...> книга Белого свидетельствует непреложно, что при всех этих фокусах исторический кругозор господ фокусников был — в вершок, связь с жизнью равнялась — нулю, объем опыта — исчерпывался десятком модных европей-

ских книг: от Форлендера до Риккерта и от Риккерта — до Форлендера»; «о нем мало сказать, что он был политически малограмотен, — он был просто культурно безграмотен, хотя бы на столе у него и лежали книги Канта, стихи Бодлера и рисунки Бердслея».

Пастернак, Пильняк и Санников постарались отклонить этот упрек, указав, что Белый — «человек, родившийся в семье русского ученого-математика, окончивший два факультета, изучавший философию, социологию, влюбленный в химию и математику при неменьшей любви к музыке <...>». В черновом автографе некролога эта мысль более развернута: указывается, что Белый изучал «Шопенгауэра, Канта, Гефдинга, Вундта наряду с физикой, химией и микробиологией»[120].

Развивая мысль о «задворках культуры», Каменев обличал представителей буржуазной интеллигенции начала века в том, что они пропустили процесс революционных преобразований в стране грядущего социализма, и дезавуировал попытки Белого «представить своих соратников предтечами нового <...>, “бунтовщиками”, способствовавшими хотя бы косвенно взрыву феодально-капиталистической культуры в России»: «Перелистывая книгу воспоминаний поэта, философа, публициста Б.Н. Бугаева <...>, иногда прямо диву даешься: где жили эти люди? что они видели? что они слышали? Или, верней, как умудрились они жить в великую эпоху, ничего не видя, ничего не слыша?»; «Ему хочется с Октябрьской революцией “родным счесться”. Благородное желание. Но — увы! — желание, ни на чем не основанное».

Авторы некролога начинают защиту Белого, риторически допустив возможность каменевских выводов: «Андрей Белый мог показаться принадлежащим к той социальной, интеллигентской, прослойке, которой было не по пути с революцией <...>». Однако тут же по пунктам доказывают ее необоснованность[121] и делают прямо противоположный вывод: «<...> не только сейчас же после Октябрьской революции Андрей Белый деятельно определил свои политические взгляды, заняв место по нашу сторону баррикады, но и по самому существу своего творчества должен быть отнесен к разряду явлений революционных. <...> Андрей Белый с первых дней революции услышал ее справедливость, ибо Белый умел слушать историю».

Для Пастернака, Пильняка и Санникова Андрей Белый — безусловный «гений», что искупает даже его ошибки, например то, что он «учился у Рудольфа Штейнера, последователи которого стали мракобесами в Германии»: «Как многие гениальные люди, Андрей Белый был соткан из колоссальных противоречий». Для Каменева Белый — типичный представитель буржуазной интеллигенции, носитель всех ее пороков, а потому его претензии на влияние в литературе и идеологии не только завышены, но вовсе не оправданны: «Мы знаем от автора, что и сам он носился с мыслью положить конец хаосу и бесплодию своей системой “символизма как мировоззрения”. Но никому из этих учителей никаких школ создать не удалось. Задача была неразрешима. Мысль буржуазной интеллигенции оказалась бессильной и перед надвинувшейся на нее катастрофой предстала разрозненной, разбитой на отдельные секты, школы и кружки».

Взять под защиту «символизм как мировоззрение» авторы «известинского» некролога по понятным причинам не решились, но попытались нейтрализовать

каменевские обвинения, указав, что Белый-символист «перерос свою школу, оказав решающее влияние на все последующие русские литературные течения»: «Придя в русскую литературу младшим представителем школы символистов, Белый создал больше, чем все старшее поколение этой школы, — Брюсов, Мережковские, Сологуб и др.».

В черновике некролога в списке представителей старшего поколения символистов после Мережковских фигурировал еще и Вячеслав Иванов, а завершалось предложение сообщением, что Белый сделал «никак не меньше, чем Блок»[122].

Думается, что не только по личному убеждению, но и в пику Каменеву в качестве основной заслуги Белого Пастернак, Пильняк и Санников демонстративно заявили о создании Белым литературной школы, причем школы «громадной»: «Имя каждого гения всегда отмечено созданием своей школы. Творчество Андрея Белого — не только гениальный вклад как в русскую, так и в мировую литературу, оно — создатель громадной школы». Более того, этот эпатажный тезис они постарались доказать на конкретных примерах: «Мы, авторы этих посмертных строк о Белом, считаем себя его учениками». Получилось смело, самоотверженно, но, увы, не очень впечатляюще. В черновом автографе некролога список учеников был больше и аргументация выглядела гораздо убедительней: «<...> равно как под его влиянием были — Есенин, Маяковский, Бабель, Олеша и очень, очень многие другие»[123]. Очевидно, что первоначальное желание авторов некролога представить Белого учителем признанных фигур советской литературы показалось «перебором» и поэтому перечисление было снято. Однако, несмотря на такое существенное сокращение, мысль о Белом как о гении и создателе «громадной школы» прозвучала внятно и полемично по отношению к предисловию Каменева.

* * *

Как отмечено Л.С. Флейшманом, помещение подобного некролога-панегирика в «Известиях» «стало возможным в силу личной близости И.М. Гронского с А. Белым в последний год его жизни, а также потому, что все трое авторов некролога принадлежали к авторскому активу “Нового Мира”»[124], журнала, которым Гронский также руководил.

Гронский, действительно, был осведомлен не только о творческих планах писателя (в том числе и о намерении написать о социалистическом реализме), но также о состоянии его здоровья и, как следует из дневниковых записей Белого за август—сентябрь 1933 г., старался помочь с прикреплением к «Кремлевской лечебнице» и к «Кремлевской аптеке ввиду болезни». Не меньшее значение для Белого имело то, что Гронский оказывал ему «гостеприимство в “Новом мире”». Этим «гостеприимством» Гронского Белый в 1932—1933 гг. пользовался весьма активно[125]. 8 сентября 1933 г. он, уже будучи совсем больным, получил экземпляр журнала с публикацией отрывков из еще готовящихся к печати, но уже «искаженных предисловием Каменева» мемуаров «Начало века»[126].

Напомним, что предисловие Каменева было написано в июне и уже вскоре прочитано и обсуждено в кругу друзей Белого. Трудно сказать, когда Гронский узнал о травмировавшем Белого предисловии: до выхода книги или уже после — и знал ли он о предисловии вообще. Однако с большой степенью вероятности можно пред-

положить, что Гронский был в курсе этой истории. По крайней мере, у него были все шансы узнать о предисловии как самому, так и от авторов некролога.

Еще труднее сделать выводы о том, насколько каменевский (точнее — антикаменевский) подтекст некролога был считан Гронским и что конкретно имел Гронский в виду, воскликнув после первого знакомства с некрологом: «Неправильная статья». Возможно, ему, как и членам Оргкомитета ССП, устроившим на следующий день скандал в связи с публикацией некролога в «Известиях», показалось, что панегирик Белому не согласуется с генеральной линией партии в области советской литературы. Однако «неправильной» статья Пастернака, Пильняка и Санникова могла выглядеть прежде всего на фоне той оценки жизни и творчества писателя, которая была дана накануне в каменевском предисловии. Косвенно наше предположение о том, что Гронский считывал каменевский подтекст принесенного ему некролога, подтверждается тем, что сразу после ознакомления с «неправильным» некрологом Пастернака, Пильняка и Санникова Гронский велел заказать второй, «правильный» некролог, дискуссионный по отношению к первому и одновременно уравновешивающий ситуацию в целом: «Пришел Гронский. Прослушал: — “Неправильная статья”: Селиху[127] “надо заказать для ‘Изв<естий>’ еще одну”»[128]. Важно при этом, что решение нейтрализовать «неправильную» статью «правильной» было принято еще вечером 8 января — еще до того, как разгорелся скандал. И особенно значимо, что «правильный» некролог было поручено сочинить именно Каменеву.

«Правильный» некролог появился в «Известиях» уже 10 января. Он был в три раза длиннее, чем некролог Пастернака, Пильняка и Санникова, и занял целый «подвал»; в нем повторялись основные тезисы предисловия к «Началу века», правда, в чуть смягченном виде. Вновь утверждалось, что «Андрей Белый был и оставался человеком старого, гибнущего мира», что «его стремление объявить себя одним из ранних предтеч и строителей социалистической культуры неправомерно и необоснованно», что «в вопросах общего мировоззрения он заканчивал линию Гоголя и Достоевского, а не зачинал новое». Справедливости ради надо отметить, что в финале статьи Каменев отметил, что Белый «не мирился с миром буржуазного мещанства, не воспевал его и не пытался в этом обреченном мире создать для себя уютный уголок, из которого спокойно и благодушно можно было бы наблюдать исторические катастрофы», что он «рвался к новому мировоззрению, инстинктивно чувствовал, что эта новая правда растет в коллективных усилиях людей, строящих социализм», чем и заслужил право на внимание потомков: «В этом залог того, что его книги не останутся бесплодно пылиться на полках библиотек, а будут сниматься с них и изучаться даже тогда, когда отраженная в них трагедия идеализма и индивидуализма станет для человечества давно прошедшим скверным сном»[129].

Однако маленькая хитрость Гронского не сработала. «Правильная» статья Каменева уже не могла загасить скандал, вспыхнувший на следующий день в связи с публикацией в «Известиях» «неправильного» некролога-панегирика Пастернака, Пильняка и Санникова.

* * *

Пока шло заседание Оргкомитета и принимались решения о «чине» погребения, в клиниках на Девичьем поле тоже по-своему готовились к похоронам. 8 ян-

варя в половине третьего тело Андрея Белого было перевезено в Анатомический корпус (то есть в морг — Абрикосовский переулок, д. 1; сейчас в этом здании находится кафедра судебной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова).

«Служитель провел меня в большое пустынное помещение, — вспоминал П.Н. Зайцев. — Там на огромном цинковом ложе я увидел смертное тело человека. Это было тем, что осталось от писателя Андрея Белого и — человека, Бориса Николаевича Бугаева. И — мое впечатление: это тело казалось не трупом, а было подобно совершенным созданиям гениального художника античных времен. Но художником была сама Природа, создавшая это совершенное тело»[130].

Вскоре в морг прибыли из Оргкомитета Пастернак, Пильняк и Санников, чтобы, как отмечено в записных книжках последнего, «оставить заявление о передаче мозга в Ин<сти>тут мозга»[131]. Думается, что это заявление было не причиной передачи мозга писателя в Институт мозга, а лишь необходимой формальностью. Решение о такой форме увековечения памяти покойного принималось не на дружеском, а на значительно более высоком уровне. Этой чести удостаивались только выдающиеся деятели партии и правительства, выдающиеся деятели науки (академики), выдающиеся деятели искусства. А решать, кто из собратьев по перу действительно выдающийся, положено было, конечно, не Пастернаку, Пильняку и Санникову, а начальственным инстанциям.

Основа знаменитой коллекции Института мозга была заложена за десять лет до кончины Андрея Белого. В 1924 г. после смерти В.И. Ленина «на основе опыта Берлинского института мозга была создана небольшая лаборатория под руководством профессора Фохта»[132]. В 1928 г. эту специальную лабораторию, занимавшуюся исключительно изучением мозга вождя, реорганизовали в институт. Перед сотрудниками нового научного заведения были поставлены грандиозные задачи, главная из которых — проникновение в тайну человеческого гения. «Московскому Институту мозга суждено приподнять острием своих выводов мистическую завесу, веками прикрывавшую проблемы мозговой коры. <...> Мозговая кора, этот сгусток индивидуального опыта, не представляет собой однородно построенного органа. Мозговая кора разделяется на так называемые территории и поля различных структур. И здесь, в этих структурных соотношениях, в архитектонике коры большого мозга, институт ищет истоки гениальности», — информировала население газета «Правда» в сентябре 1934 г.[133]

Чтобы обеспечить ученых материалом для работы, требовались мозги выдающихся людей, пусть не таких, как Ленин, но все-таки... В 1930-х сбор мозгов шел особенно интенсивно, попасть в коллекцию института считалось почетным и статусным, да и сама коллекция стала называться возвышенно — Пантеон. «Правда» писала, что «научный коллектив Института подготовил и уже изучает мозги Клары Цеткин, Сен Катаяма, Луначарского, Цюрупы, М.Н. Покровского, Маяковского, Андрея Белого, академика Гулевича». Позже собрание пополнилось мозгами режиссера Станиславского и певца Собинова, писателя Горького и академика Карпинского, поэта Багрицкого и других «выдающихся».

Население подробно информировалось о том, какие манипуляции проводились с мозгом в стенах института: «Кажется, что после смерти мозг еще продолжает жить здесь. Кажется, что он живет в этих лабораториях, в этом стильном

особняке, где сосредоточены научные усилия по глубокому изучению такого сложного органа, как мозг. <...> Прежде чем поступить на стол к ученому, мозг подвергается длительному исследованию. Подготовка одного мозга взрослого человека для научной работы продолжается около года. Мозг делится при помощи макротома — машины, напоминающей гильотину, — на куски; эти куски проходят уплотнение в формалине, в спирту и заливаются в парафин, превращаясь в белые застывшие блоки. Блоки разлагаются микротомом — машиной чрезвычайной точности — на огромное количество срезов. На каждый мозг приходится приблизительно 15 тысяч срезов толщиной в 20 микрон. Только после такой долгой и сложной подготовки препарат попадает под микроскоп»[134].

Впрочем, до исследования мозга Андрея Белого дело, как кажется, не дошло. В Институте мозга, который существует и сейчас, нам сообщили, что обработке микротомом, расчленяющим мозг на тысячи срезов, он не подвергался. Не исключено, что Белый проигрывал в сравнении с Луначарским или Сэн Катаямой, умершими примерно в то же время: все-таки символист, мистик, антропософ, буржуазный писатель, проблуждавший всю жизнь «на задворках культуры»... В итоге ограничились лишь уплотнением и заливкой парафином. В виде нескольких блоков, напоминающих небольшие кирпичики или куски хозяйственного мыла, мозг Белого хранится в коллекции Института и поныне[135].

Дополнительные нюансы этой истории обнаружились в письме М.Н. Жемчужниковой, отправленном 23 июня 1981 г. известному литературоведу Д.Е. Максимову. Он был дружен со вдовой писателя и после смерти Клавдии Николаевны постарался наладить контакт с ее подругами. Мария Николаевна Жемчужникова (1899–1987) сошлась с четой Бугаевых на почве увлечения антропософией, она была активной последовательницей идей Р. Штейнера, членом Московского антропософского общества, о работе которого написала мемуары[136]. Впоследствии у М.Н. Жемчужниковой возникли тесные доверительные отношения с Клавдией Николаевной, длившиеся годы. Естественно, что именно к М.Н. Жемчужниковой обратился Д.Е. Максимов с целым рядом вопросов, в частности с просьбой рассказать, что ей известно о смерти Андрея Белого. Непосредственно о смерти писателя Марии Николаевне, арестованной и посаженной еще в 1933 г., было известно немного, но зато со слов К.Н. Бугаевой она вспомнила следующее:

> «Существовало какое-то медицинское учреждение, специально занимавшееся исследованием мозга умерших людей (конечно, не всех подряд, а выдающихся). Туда был направлен и мозг Бориса Николаевича.
>
> Из этого заведения приходили сотрудники к Клавдии Николаевне и очень допрашивали — не был ли Борис Николаевич левшой. И очень удивлялись, что не был. Она тоже удивлялась их вопросу. Было бы интересно узнать, какие именно особенности этого мозга наводили их на мысль, что он был левшой»[137].

В середине 1930-х сотрудники Института мозга под руководством профессора Г.И. Полякова опрашивали не только К.Н. Бугаеву, но и других близких знакомых писателя (например, А.С. Петровского, Г.И. Чулкова, Г.А. Санникова). Изучали они также произведения Белого, его рисунки, личные документы. Результатом этой

работы стал внушительный труд – первая биография Андрея Белого, с описанием его «конституциональных особенностей», бытовых привычек, чудачеств, пристрастий и фобий[138]. Предполагалось, что в будущем будут найдены корреляции между структурой мозга гения и особенностями его личности, его одаренности. В случае с Андреем Белым эту связь не нашли, а точнее – не искали.

* * *

Но вернемся в январь 1934 г. Как записал П.Н. Зайцев[139], «мозг <...> поступил на исследование в Институт Мозга» «тотчас же после вскрытия», которое производил профессор А.И. Абрикосов на следующий день после смерти Андрея Белого, утром 9 января. Вместе с Зайцевым в тот день в морге с 10 утра дежурил А.С. Петровский, а к 12 часам в вестибюле «собралась группа близких друзей». Очевидно, все это время там же была и Клавдия Николаевна. Зайцев с В.О. Нилендером «помогли служителю одеть нашего дорогого друга и в присутствии Кл.Н. положили его в простой, обитый глазетом дубовый гроб. Положили несколько пучков белых цветов и зеленые ветки елки и туи, принесенные друзьями. В 1 час дня тело прибыло в Долгий» переулок, откуда Андрея Белого месяц назад увезли в клинику. «В квартиру стали приходить друзья и знакомые. Пришли Чулков, Рачинский, Пастернак, Пильняк, Цявловский, двоюродный брат Олег Георгиевич Бугаев». Кроме перечисленных Зайцевым друзей в квартире Бугаевых был также и Г.А. Санников. В его записных книжках отмечено, что во второй половине дня процессия тронулась с Плющихи к зданию Оргкомитета ССП и что гроб везла по заснеженной Москве лошадь: «Загнанная кляча – русская картина на Новинском бульваре»[140]: «Ты помнишь, мой друг, дорогу к Дому писателей. В кучке друзей и поклонников мы шли с тобою за гробом. Мы шли, нахлобучив глубоко шапки, мы шли и молчали. Уже вечерело. Новинский бульвар, занесенный снегом, отливал синью, впереди нас на катафалке покачивался гроб. Усталая лошадь едва шагала, иногда останавливалась – мертвому торопиться некуда и незачем – и, помнишь, мы с тобой начинали понукать, беспокоить ее, как будто она – эта лошадь – в своей философии была неправа... Ей-то – лошади – было совсем безразлично, что этот [мертвый – *зачеркнуто*] груз на катафалке был знаменитым писателем и нашим другом. Она тащила его по обязанности, так же, как всякого другого, как каждый день...»[141]

Вскоре гроб доставили на улицу Воровского (до 1923 г. и с начала 1990-х – Поварская) в здание Оргкомитета ССП и установили в большом зале, где должны были происходить выступления (гражданская панихида) и торжественное прощание.

Е.Ф. Вихрев зафиксировал в дневнике:

«Гражданская панихида по Андрею Белому. Бывшее помещение Оргкомитета. Зал, в котором происходила партийная чистка. Готический масонский зал, чем-то родственный Андрею Белому <...>.

Тяжелый дубовый гроб внесли в зал. Когда ставили на помост, – доски помоста по-человечьи взвизгнули. Робкие зимние оранжерейные кустики сирени. Подняли крышку, и все увидели прекрасное, умное мраморное лицо, на котором пребывает мысль. Два серебряных волоса на огромном лбу»[142].

Играл оркестр консерватории (струнный квартет?), разместившийся в соседней комнате (или на хорах). Собирались люди: писатели, антропософы, друзья, старые знакомые и вовсе незнакомые. Борис Пастернак, очень ответственно и нервозно отнесшийся к своему членству в комиссии по организации похорон, переживал, что народу мало: «На похоронах Б. было меньше народу, чем того ждали П<ильняк> и я. Мы были в похоронной комиссии, и я все это переживал с кровной деловитостью старух в семьях, где покойник (кто был, кого не было, сколько было цветов и пр. и пр.)», – писал он М.И. Цветаевой 13 февраля 1934 г.[143] На малочисленность публики сетовали и некоторые другие очевидцы, например тот же Е.Ф. Вихрев: «Я пришел, когда еще гроб был в пути – (от квартиры в Долгом пер.). В передней какие-то дамы. Семен Фомин. Езерский. И больше никого. Подошел Викторин Попов. С ним мы пошли навстречу катафалку. Тут тоже была немногочисленная процессия. Пильняк. Пастернак. С. Клычков. Санников <...>. Разговоры в кулуарах. Отсутствуют Жаров, Уткин, Безыменский, Кирсанов, Алтаузен». Тем не менее П.Н. Зайцев насчитал около 600 человек.

У гроба каждые пять минут сменялся почетный караул. В нем, как отмечали советские газеты, стояли В.В. Вересаев, Ф.В. Гладков, Л.М. Леонов, Б.А. Пильняк, В.Г. Лидин, Б.Л. Пастернак, В.В. Каменский, М.М. Пришвин, И.В. Евдокимов, В.М. Инбер, Г.А. Санников и др. А еще те, кого газеты не сочли нужным отметить: В.А. Милашевский, С.Д. Спасский, О.Э. Мандельштам, на которого в суматохе упала крышка гроба[144], скорее всего – А.С. Петровский, Г.И. Чулков, В.О. Нилендер и еще многие. Среди них метался и хлопотал П.Н. Зайцев, «сменяя караулы»[145].

Художники также толпились у гроба, делая ритуальные портреты писателя на смертном одре. Количество художников – более 20 человек – обращало на себя внимание и просто поражало. Большая часть пришла 9 января, но несколько человек пришли уже утром 10 января. Среди них были и именитые: В.А. Фаворский, Л.А. Бруни, М.М. Аксельрод, В.А. Милашевский и др.[146] Фотографы также запечатлевали важное событие: документировано присутствие на похоронах Л.М. Алпатова, старшего сына писателя М.М. Пришвина.

Прощание длилось пять часов. В 22 часа доступ в зал был закрыт, лишь самые близкие остались у гроба. Да некоторые художники продолжали работать всю ночь и разошлись только к 6 утра. Скульптор С.Д. Меркуров, признанный специалист по посмертным маскам, сделал слепок с лица и руки Андрея Белого[147].

10 января проводы продолжились. В 13.30 под звуки траурного марша гроб закрыли крышкой и вынесли из зала. В числе тех, кто нес гроб, были Б.Л. Пастернак, Б.А. Пильняк, Г.А. Санников, С.Д. Спасский, Л.П. Гроссман, П.Н. Зайцев и др. После того как гроб установили на запряженный лошадью катафалк, траурная процессия тронулась в неблизкий путь – от Дома писателей на ул. Воровского до Донского монастыря, где с 1927 г. на полную мощность работал Первый московский крематорий. По странному совпадению, крематорий обустроили в здании церкви Серафима Саровского, самого любимого святого Андрея Белого. «За гробом шли вначале несколько сот человек, но дорогой часть отстала»[148]. Клавдия Николаевна вместе с теткой Е.А. Корольковой прошла весь путь пешком. В 15 часов добрались до крематория. Там гроб вновь открыли. «В последний раз подходили, прощались. Наклонялись к цветам. Склонялись, передвигались. Была тихая музыка»[149]. Играли «Прелюдии» Шопена. Клавдия Николаевна что-то прошепта-

ла Белому на ухо. «И — тронулся гроб на возвышение, поплыл к разошедшимся створкам дверей. Ушел в глубину. И — задвинулись створки»[150].

Газета «Правда» сообщила, что в «3 час. 30 м. дня тело покойного было предано кремации».

* * *

Далее начались поиски подходящего места на кладбище. То, что могила Белого будет на Новодевичьем, решили, видимо, сразу — по ходатайству Оргкомитета ССП или другой высокой инстанции. С 1927 г. там дозволено было хоронить только лиц, чьи заслуги имели большое значение для страны, партии и правительства. Но в какой части кладбища можно получить участок — долгое время оставалось под вопросом. Первоначально вдова и друзья хотели похоронить Белого рядом с могилой Гоголя, чьи останки перенесли на Новодевичье с кладбища Данилова монастыря в 1931 г. Но места для Белого рядом с Гоголем не нашлось. Потом хотели просто «пристроиться» к участку, выделенному МХАТу. 14 января переговоры с руководством театра вел Б.А. Пильняк, но — неудачно: В.И. Немирович-Данченко отказал.

В результате «администрация кладбища отвела для могилы Бориса Ник<олаевича> местечко около могилы какого-то скромного комсомольца-летчика[151] в той аллее нового кладбища, которая идет вдоль стены старого кладбища и самого монастыря <...>». Клавдия Николаевна по этому поводу не расстроилась: «<...> могилка его на таком хорошем солнечном месте. Много света и воздуха. Хотели же его похоронить около Гоголя. Но там все занято. Да там и сыро. И темно. Под самой стеной. А здесь он весь на солнышке, которое так любил <...>»[152]. П.Н. Зайцев нашел утешение в том, что «направо в этой аллее, почти у самой стены — могила В.Я. Брюсова»[153].

16 января урна с прахом, «8-гр<анная>, сер<ая>, мр<аморная>, продолговатая, писателю т. А. Белому», была готова к выдаче. Расписка об этом сохранилась в бумагах П.Н. Зайцева[154], который, видимо, забирал урну из крематория.

17 января в газете «Известия» появилась краткая заметка: «Семья покойного Бориса Николаевича Бугаева (Андрея Белого) извещает близких и знакомых о том, что захоронение урны с прахом покойного состоится на кладбище Ново-Девичьего монастыря, 18 января, в 2 часа дня». На погребении точно присутствовали К.Н. Бугаева, ее сестра Е.Н. Кезельман, вырвавшаяся на несколько дней в Москву из Лебедяни, где она находилась в ссылке, и самый преданный друг П.Н. Зайцев. По свидетельству Е.Я. Архиппова, которое, впрочем, не может считаться вполне достоверным, «на погребении в Новодевичьем были: А.С. Петровский, Г. Санников, Н. Бруни, Г. Чулков, Л.П. Гроссман, Над. Павлович»[155]. Л.М. Алпатов-Пришвин сфотографировал для потомства свежую могилу.

* * *

Описание происходивших в те траурные дни событий не может считаться полноценным без учета двух важнейших факторов: человеческого (или — эмоционального) и, так сказать, общественно-политического. Относительно первого вряд ли стоит говорить пространно. Царила атмосфера скорби. Многие плакали, жалея Андрея Белого, себя и понимая, сколь огромную утрату понесла русская

культура с этой смертью. Все чувствовали, что присутствуют при историческом событии. Отсюда и такое количество мемуарных, эпистолярных, дневниковых свидетельств и откликов. Большинство очевидцев отмечало особое выражение, проступившее на лице умершего писателя: «<...> совершенно детская улыбка, которая на следующий день (говорит Кл. Ник.), когда его перевезли на Плющиху и потом в Оргкомитет<,> стала радостным, победным сиянием»; «Лицо Бор<иса> Ник<олаевича> <—> торжественное, величавое и мягкое в то же время. Рот почти улыбается. Говорят, в первые часы улыбка была заметней»; «Удивительный лоб. Лицо вождя. Освобожденное от постоянной подвижности, какая меняла его при жизни — полное содержания и строгой красоты — лицо мыслителя»[156]; «Он стал величавей и строже. <...> Сияющая светлость и мягкость уступили место величавой торжественности. <...> Сила и власть была в его лице <...>»[157] и т.д.

А вот на «общественно-политическом факторе» стоит остановиться поподробнее.

Композиционным центром траурной церемонии стала гражданская панихида, во время которой «была сделана попытка нащупать место Андрея Белого в истории русской литературы и в истории русской культуры»[158]. Она началась вскоре после установки гроба в зале Оргкомитета, в 18 часов 9 января.

Как отмечал в записных книжках Г.А. Санников, «на панихиду явились: Юдин, Кирпотин, Ермилов. Взялись составлять список выступающих». К тому времени, когда привезли гроб, они успели не только прочитать вышедший утром 9 января в газете «Известия» некролог, но и прийти от него в ужас. Их праведный начальственный гнев вылился на Санникова, единственного коммуниста из трех «подписантов»[159]: «Кирп<отин> отозвал меня, в присут<ствии> Ю<дина> и Е<рмилова>, заявил: “Я должен сказать вам, вы сделали большую полит<ическую> ошибку, подписав эту гнусн<ую> ст<атью> в “Изв<естиях>”, что за “гениальный”, “ученики” и т.п. Это безобразие, что вы подлаживаетесь”»[160].

Санников попытался — в надежде избежать конфликта на похоронах — перенести обсуждение «гнусной статьи» на более подходящее время:

«Я — “Это недопустимый тон, о статье мы поговорим особо”. Юдину — “Я надеюсь, что над гробом вы полемики вести не будете?”.

Но надежды не сбылись. Как, к слову сказать, ошиблись и Пастернак с Пильняком, полагавшие, что панегириком Белому в «Известиях» им удастся правильно «задать тон всей последующей музыке, т.е. судьбе вдовы, произведений, самих даже похорон и пр.»[161]. Впрочем, «тон всей последующей музыке» был ими задан, хотя и совсем не тот, на который рассчитывали авторы некролога.

По мнению В.Г. Лидина, В.В. Гольцева и, возможно, многих других литераторов, некролог в «Известиях» «сыграл свою, неожиданно — “ужасную” роль в отношении советской и писательской общественности к Андрею Белому. Не будь этого некролога, все могло быть иначе»[162]. Юрий Слезкин высказался еще более резко: «Услужливые друзья превознесли его до небес и объявили гением. Медвежья услуга»[163]. Однако что-либо изменить, смягчить, уладить было уже невозможно.

Как следовало из газет, траурное собрание открыл ответственный секретарь Оргкомитета ССП «товарищ Юдин». Затем от имени Оргкомитета произнес речь В.В. Ермилов, а вслед за ним выступили директор ГИХЛа Н.Н. Накоряков, Б.Л. Пастернак, Г.А. Санников и Л.П. Гроссман.

То, о чем говорили Юдин и Накоряков, почему-то ни у кого в памяти не задержалось. По свидетельству Ефима Вихрева, Накоряков выступал «бледно и тихо», зато Гроссман — «м<ожет> б<ыть> лучше всех»: «о величии А. Белого, о гениальности; сравнивал с Достоевским и Толстым». Из речи Гроссмана дошла также в пересказе Е.Я. Архиппова одна, весьма странная и нелепая фраза: «Склероз — это коршун, который клевал печень этого Прометея»[164].

Слова Пастернака на панихиде и в кулуарах известны в пересказах нескольких мемуаристов. Из дневника С.Д. Спасского следует, что он сказал: «Лицо Бор. Ник., “как медаль”», а после говорил о Белом как об «ударнике духа», то есть с использованием модной терминологии эпохи индустриализации. До Е.Я. Архиппова дошел еще один тезис из его выступления: «Смерть — это только этап в существовании Белого». Думается, что речь здесь шла не о реинкарнации или бессмертии души Белого, а об издании и переиздании его творческого наследия. Впрочем, как следует из дневниковых записей жены С.А. Клычкова В.Н. Горбачевой, Пастернак «говорил, что к гробу приходят не для того, чтобы говорить о работе, а для того, чтобы оплакивать, у гроба человек как бы вновь родится или путешествует — на жизнь смотрит иными глазами», а также — «о “нашей сумасшедшей Родине”, об “ударниках духа”, о том, что Белый работал на “зажиточность человеческого воображения”». По ее мнению, «изо всех речей, произнесенных у гроба, лучшая — Пастернака»[165].

В записях Санникова, сделанных в начале 1935 г. к годовщине со дня смерти Белого, содержится более подробное описание его выступления: «В Доме писателей мы вместе с тобою стояли у гроба, и ты, я помню, сказал: “Он вызвал нас к жизни, вооружил нас словом, сделал поэтами... а для чего? Кому это нужно?..” И это прозвучало у тебя не то упреком мертвому, не то упреком себе, живому, или еще кому-то, кого здесь не было... И когда ты с глазами, полными слез, и с дрожью в голосе говорил, обращаясь к присутствующим на панихиде, о том, кого мы с тобой потеряли, с кем мы прощаемся, кого потеряла литература, общество, вспыхнула сразу дискуссия даже здесь, перед мертвым на панихиде, дискуссия, сопутствовавшая всей писательской горькой судьбе нашего великого друга»[166].

Впрочем, дискуссия началась не после речи Пастернака, а до нее — с выступления Ермилова. Его речь подробно аннотировалась в газете «Вечерняя Москва», вышедшей 10 января:

> «Он подчеркнул громадную утрату, какую понесла русская литература в лице покойного поэта, романиста, теоретика искусства.
>
> Андрей Белый прошел творческий путь огромной содержательности и огромной поучительности.
>
> Художник, связанный с течениями русского буржуазного декаданса и с религиозными мистическими настроениями и отражавший их в своем творчестве, бывший учеником главы антропософов Рудольфа Штейнера, он в то же время сумел в ряде своих замечательных произведений показать подлинный лик буржуазного общества. В своем замечательном романе “Москва” А. Белый, например, показал те звериные черты буржуазии, которые с такой силой выражены сейчас в немецком фашизме.

> Художнику, который утверждал в своих сочинениях философию буржуазного идеализма, вместе с тем было дано почувствовать надвигающуюся катастрофу и гибель буржуазного мира, видеть его обреченность.
>
> Путь, пройденный А. Белым, показывает, как лучшие люди буржуазного общества, утверждавшие в своих произведениях его философию, приходят к пониманию, что подлинная культура возможна только на путях пролетарской революции».

Газета «За коммунистическое просвещение» (11 января) дала более яркое и детальное изложение его установочной речи:

> «Нет надобности говорить о том, как значительна эта утрата. Андрей Белый был поэтом, прозаиком и теоретиком искусства. Он прошел огромной содержательности и поучительности жизненный путь.
>
> Несмотря на то, что он своей философией утверждал идеологию, враждебную рабочему классу, ему было дано, как и Блоку, понимание подлинного дикарского лика буржуазной культуры.
>
> Достаточно вспомнить созданный Андреем Белым образ Мандро[167], этого обезьяньего чудовища, порожденного гнойными испарениями империалистической войны.
>
> Это – словно предчувствие дикарского образа фашизма. Между Мандро и ликом современного фашизма можно поставить знак равенства.
>
> Андрею Белому не удалось создать школы, хотя у него и было несколько учеников, ставших крупными писателями.
>
> Этим летом тов. Ермилову пришлось беседовать с Андреем Белым в Коктебеле.
>
> Писатель говорил о том, как интересно ему стало жить и как хотелось бы прожить еще хотя бы 10 лет. Он говорил о радостном ощущении того, что он органически включен в строительство не ложной, а подлинной, настоящей, не выдуманной культуры, реальных ценностей»[168].

В этой аннотации явственно чувствуется направленность речи Ермилова против «известинского» некролога. И Санников, конечно, на этот полемический выпад прежде всего и отреагировал в своих записных книжках: «Ерм<илов> – “Б<елый> никакой школы не создал” и т.п. – полемика против статьи, но с эпитетами – “замечательный, великий” и т.д.»[169].

Сам Санников после «выволочки», устроенной ему перед началом гражданской панихиды, от выступления попытался отстраниться, поскольку не хотел ни отказываться от того, что написал, ни произносить тех слов критики в адрес Белого, которых от него ждали Юдин, Кирпотин и Ермилов. Но его отказ не приняли: «Кирпотин: “Разумеется, но вы учтите, что вам сказано, вы должны выступать сегодня”. Я – “Нет, мне не хочется, я не смогу выступать сейчас, прошу меня вычеркнуть”. <...>. После речи Накорякова Юдин подозвал меня: “Тебе надо выступить, больше некому”. Я – “В таком случае согласен”»[170].

Санников выступил после Пастернака и перед Гроссманом. Видимо, выступил без вдохновения, но в надежде, что допущенную в некрологе «переоценку» творчества Белого он исправил «речью, которая по характеру ничем особенно не отличалась от официальной речи Ерм<илова>»[171]. Однако Ермилову так совсем не

казалось: «Речь С<анникова> не совсем совпадала с моей. Моя была целиком полемическая и разносная по отнош<ению> ко всем тезисам их статьи». Видимо, публично отрекаться от подписанного им некролога Санников не стал. В общем, загладить своей вины не удалось, и его пригласили на следующий день зайти в Оргкомитет для серьезного и ничего хорошего не предвещающего разговора: «После панихиды Юдин ко мне: “Завтра в 11 ч<асов> утра зайдите ко мне в Оргкомитет”»[172].

Утром 10 января скандал разгорелся с новой силой. В 11 часов утра, пока в зале еще продолжалось прощание с телом, началось заседание коммунистической фракции Оргкомитета, собранное специально по случаю публикации недопустимого некролога. Нападавших было немало. В поддержку уже известным действующим лицам – Ермилову, Юдину и Кирпотину – выступили Л.М. Субоцкий, Л.Л. Авербах, В.М. Киршон, А.И. Безыменский, В.В. Вишневский[173]. Коммунисту Санникову пришлось отвечать и за Пастернака, и за Пильняка, и за себя, пошедшего на поводу у беспартийных товарищей, и за Андрея Белого тоже.

Заседание началось с того, что Кирпотин вслух зачитывал куски из «известинской» публикации, акцентируя преступные с партийной точки зрения промахи и давая им партийную оценку. Не понравилось в некрологе следующее: «Имя каждого гения всегда отмечено созданием своей школы. Творчество Андрея Белого – не только гениальный вклад как в русскую, так и в мировую литературу, оно – создатель громадной литературной школы. <...> Джемс Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джемс Джойс – ученик Андрея Белого. <...> Он перерос свою школу, оказав решающее влияние на все последующие русские литературные течения. Мы, авторы этих посмертных строк о Белом, считаем себя его учениками. <...> не только сейчас же после Октябрьской революции Андрей Белый деятельно определил свои политические взгляды, заняв место по нашу сторону баррикад, но и по самому существу своего творчества должен быть отнесен к разряду явлений революционных. Этот переход определяется всей субстанцией Андрея Белого. <...> С 1921 по 1923 г. А. Белый за границей, в Берлине являлся литературным водоразделом, определявшим советскую и антисоветскую литературу, и утверждением советской культуры, знамя которой тогда он нес для заграницы. <...>. Андреем Белым написано 47 томов <...>».

Санников законспектировал и то, что вызвало наибольшее возмущение чтеца, и те комментарии, которые он озвучил от имени Оргкомитета: «Кирпотин, читая выдержки из статьи: “Гениальный”, “своя школа”, подымание на щит реакционного писателя Джем<са> Джойса. Влияние Б<елого> на все последующие течения. Выходит, что он настоящий основоположник совет<ской> литературы. А мы и партия считаем Горького. “Субстанция”, “был водоразделом за границей советской и антисоветской литературы” – что за издевательство, написал 47 томов – вклад в советскую культуру, три ученика – они наследники, выходит – безобразно <...>»[174].

На некролог общим объемом чуть более печатной страницы преступных промахов набралось очень много. Некоторые претензии выглядели вовсе не объяснимыми: например, почему так не понравилось, что Белый написал 47 томов? Или – чем «задело» слово «субстанция»? Может, в нем почудился налет мистицизма?

Более обоснованными кажутся претензии по поводу «подымания на щит реакционного писателя Джемса Джойса», которого авторы некролога сначала объявили «вершиной мастерства» в европейской литературе, а потом неожиданно отвели ему скромное место ученика Андрея Белого. Зачем было в некрологе для «Известий», газеты, выходившей миллионными тиражами, сравнивать Белого с Джойсом (а до того еще и с Марселем Прустом) – остается загадкой. Джойс еще практически не был переведен, подавляющая масса читателей «Известий» имени его даже не слыхала, да и в литературной среде с его творчеством были знакомы лишь единицы, да и они преимущественно понаслышке. Санников, по-видимому, в число знатоков Джойса не входил. Пастернак в ответ на несохранившееся письмо М.И. Цветаевой оправдывался: «Подбор имен был не только не мой, но мне наперекор» – и объяснял это тем, что «не до содержания было»[175]. Остается предположить, что идея восхвалить Белого путем сравнения с Джойсом и Прустом пришла в голову Пильняку, имевшему в виду или изображение «потока сознания» в повести «Котик Летаев», или смелые языковые эксперименты в романе «Москва», или антибуржуазный пафос...

В принципе идея сопоставления прозы Джойса и Пруста с прозой Андрея Белого не была так уж нова, даже для российской печати. Сравнение Белого с Прустом (причем в пользу Пруста) было проведено еще в 1928 г. А.К. Воронским в статье «Марсель Пруст: К вопросу о психологии художественного творчества»[176]. Как об очевидном факте говорилось о сходстве Джойса с Белым даже в 3-м томе «Литературной энциклопедии» (1930) в статье И.А. Кашкина: «Д. делает решительный шаг к разрушению формы романа. <...> Его творчество, продукт старой межнациональной культуры, необычайно остро изображает ее гипертрофию и распад в сознании декадентской буржуазии и богемы. В этом смысле Д. близок Прусту, Белому, Шпенглеру».

Сравнение Белого с Джойсом в январе 1934 г. еще не могло считаться криминальным, скорее – было политически недальновидным или попросту неумным. В августе 1934 г. на Первом съезде советских писателей в докладе Карла Радека «Современная мировая литература и задачи пролетарского искусства» Джойс будет разоблачен, низвергнут, обозван «кучей навоза» и, что еще страшнее, признан враждебным социалистическому реализму (Пруст окажется с ним в одной компании)[177]. А в начале 1930-х и даже в 1933 г. и начале 1934 г., официальная оценка Джойса еще не была четко сформулирована, и его творчество продолжало вызывать горячие споры[178].

10 января на заседании Оргкомитета присутствовали и поклонники Джойса, и его противники. Одним из самых ярых пропагандистов и защитников Джойса был автор «Оптимистической трагедии» (1933) Всеволод Вишневский. По кратким записям Санникова («Вишневский – о Дж. Джойсе, его никто не оборвал <...>»[179]) можно предположить, что и на заседании Оргкомитета он повторил то же, о чем неоднократно писал и говорил в 1933 г., например, в статье «Знать Запад!»: «Что представляет собой “Улисс”? Это абсолютно откровенный показ людей капиталистической эпохи. Это книга, которая бьет с великой сатирической силой буржуазный строй. Джойс показал изумительные тайны бытия и психики людей времен отходящей эпохи. <...> Произведение – оглушающее, лавиноподобно, эпохально <...>. Приемы анатомического вскрытия мышления блестящи.

И именно эти качества заставляют считаться с “Улиссом”, использовать его, *преодолевая, отфильтровывая, и усиливать поиски новых приемов* <...>»[180].

Однако Вишневский отнюдь не убедил коллег в том, что Джойс «вершина мастерства» и что его опыт полезен для советской литературы. И Кирпотин, первым забивший тревогу по поводу «поднимания на щит реакционного писателя Джемса Джойса», и Киршон, и другие участники заседания точку зрения Вишневского хорошо знали и уже давно не разделяли. В спорах о современной литературе Запада они занимали прямо противоположную позицию и жестко критиковали западнические пристрастия Вишневского[181]. С большой долей вероятности можно предположить, что заседавшие знали статью Д. Мирского «Джеймс Джойс», в которой он громил ирландского писателя, а вместе с ним и русских «словотворцев» (Белого и футуристов): «Словотворчество Джойса, конечно, превосходит собой все, что сделано в этом направлении в русской литературе. Но хотя словотворчество Белого и футуристов выросло из других корней, чем джойсовское, — стадия эта давно преодолена советским искусством вместе со всеми формами формализма, связанного с теми же моментами упадка буржуазии, которые у нас давно позади. <...> Единственный реалистический элемент джойсовского мастерства оказывается принципиально чужд тому реализму, к которому стремится советское искусство <...>»[182].

«Антиджойсовская» статья Мирского была опубликована в том же издании, что и получившая широкий резонанс «антибеловская» статья Горького «О прозе» — в первом альманахе «Год шестнадцатый»[183]. Альманах вышел «под редакцией М. Горького» и еще восьми надежных деятелей советской литературы. Трое из них — Авербах, Ермилов и Кирпотин — присутствовали на заседании Оргкомитета 10 января. Их политическое чутье было не в пример острее, чем у Пильняка, Пастернака и Санникова, вместе взятых. Это касалось не только вопроса о Джойсе.

По мнению Флейшмана, «обнародование некролога повлекло за собой целую административную бурю», так как «слишком многое задевало в нем больные вопросы текущей литературной полемики и выглядело вызовом»: «Уже троекратное употребление в краткой заметке эпитета *гений* вообще не вязалось с установившейся в газетах терминологией – вдвойне диким оно оказывалось в связи с А. Белым, не только не считавшимся центральной фигурой в складывавшейся культуре “социалистического реализма”, но до 1932 г. находившимся на периферии литературных отношений. Конечно, А. Белый был приобщен к деятельности Оргкомитета Союза советских писателей, но только как эффектная декорация и доказательство консолидации, а не как стилистический или идеологический эталон. Отнесение поэтому его творчества к “разряду явлений революционных” <...> не могло не выглядеть абсурдным»[184]. Столь же абсурдными выглядели и упоминания о «моментах близости поэта к социализму», сомнительных с официальной точки зрения, и о «колоссальных противоречиях» Белого (они расходилось «с укоренившимся в условиях 1930-х требованием “монолитности” идеологической системы художника»).

Однако основной гнев, как следует из записей Санникова, вызвали слова некролога о Белом как о гениальном писателе, создавшем свою школу и имеющем учеников и последователей. Кирпотин увидел в этих словах не просто «переоценку»

творчества писателя-символиста, но серьезную политическую ошибку, почти преступление: «Выходит, что он настоящий основоположник совет<ской> литературы. А мы и партия считаем Горького». Апелляция к имени Горького в преддверии Первого съезда ССП выглядит весьма симптоматичной. Если авторы некролога по мере сил и своего понимания ситуации старались «приподнять» Белого в общественном мнении, то члены Оргкомитета, как кажется, смотрели на Белого именно сквозь призму оценок Горького и – близких к горьковским оценкам Каменева, сформулированным в злополучном предисловии к «Началу века». Более того, нападки на Джойса в советской прессе шли, в принципе, в том же русле, что и нападки на Белого со стороны как Горького, так и Каменева.

В целом недопустимость некролога, написанного Пастернаком, Пильняком и Санниковым, не вызывала сомнения ни у кого. Из этого следовало, что надо выявить виновных, их примерно наказать и, главное, нейтрализовать вред, нанесенный линии партии «известинской» публикацией.

Самым виноватым оказался Санников. Это сформулировал в самом начале заседания Кирпотин: «<...> три ученика – они наследники, выходит – безобразно, спекуляция Пильняка и Пастернака, а С<анников> покрывает: подписывает, беря на себя роль фигового листка. Антипартийное поведение. С<анников> затруднял парт<ийное> руков<одство> Бел<ым>»[185].

Свою вину Санников признал лишь частично: «Ошибка, что я не согласовал с фракцией свое выступление вместе с беспартийными». Однако попытался объяснить, почему позволил «перехвалить» Белого: «Возможна переоценка в связи с дикой недооценкой со стор<оны> Оргкомитета». И даже привел доказательства «дикой недооценки»: «Примеры: и политические, и бытовые». Однако примеры, как кажется, никого не убедили. Киршон свел его аргументы к следующему: «Сан<ников> подписал потому, что Б<елому> не давали квартиры». Такая трактовка Санникова возмутила, и он попытался даже одернуть Киршона: «Не стоило бы, т. Киршон, заниматься демагогией». Как ни странно, но Киршон стал оправдываться: «Кирпотин разъясняет по кварт<ирному> вопросу – “Это от нас не зависело”».

В целом же попытка Санникова вступиться за Белого его собственное положение только осложнила. Предложения о том, как наказать Санникова обсуждались на заседании с горячностью. Киршон выдвинул предложение: «С<анникова> привлечь к парт<ийной> ответственности». Безыменский подтвердил, что Санников стал забывать о партийной дисциплине. В итоге Юдин вынес вердикт: «С<анникова> предупредить, что при первом подобном проявлении будет поставлен вопрос о его пребывании в партии. <...> Вопрос о поступке С<анникова> передать в ЦКК <...>». Авербаху этот вердикт показался слишком мягким: «Авербах – “А зачем откладывать?”» Он был готов применить суровое наказание к Санникову прямо сейчас, не дожидаясь новых проступков. В итоге Юдин решил «вопрос о поступке С<анникова> передать в ЦКК»[186].

Из партийных рядов Санникова все же не исключили. Но вскоре «двурушничество» коммуниста Санникова и Пильняка, его совратившего, Юдин заклеймил публично – в речи на Московской областной и городской партийной конференции, включив некролог «в один ряд с наиболее преступными проявлениями идеологической реакции в литературе последнего времени»[187]. Речь была опубликована 22 января в «Литературной газете»: «Выступление Пильняка со статьей о

Белом – явная вылазка против наших установок и оценок в литературе. А за Пильняком пошел и коммунист Санников. Партийность в литературе и классовая непримиримость – необходимое орудие писателя и критика, которое они должны все время оттачивать»[188]. В том же номере «Литературной газеты» Пильняку досталось за некролог и еще один раз: «Лучше своевременно предостеречь Пильняка от той стилистической трясины, в которой он, подымающий, как знамя, декадентскую стилистику Андрея Белого, – увязает, чем ограничиваться общими фразами о его мировоззрении»[189]. У Пастернака, как показано Флейшманом, никаких неприятностей, связанных с некрологом Белому, не было[190].

На заседании коммунистической фракции Оргкомитета ССП 10 января 1934 г. с еще большей «кровожадностью» говорили о необходимости наказать Гронского, дозволившего опубликовать «неправильную статью» в возглавляемой им газете. Его вина была очевидна практически всем участникам заседания.

Киршон предложил «привлечь к партийной ответственности <...> ред<актора> “Изв<естий>”». «О роли Гронского, которого тоже надо привлечь к ответств<енности>», выступил также и Вишневский. Безыменский эту мысль поддержал, а Субоцкий развил. Он не только отметил «роль “Изв<естий>”» (видимо, недопустимую), но и напомнил про имеющийся на редактора «Известий» компромат – «пьянки у Гронского». Слухи о «неформальных», сопровождавшихся потреблением спиртных напитков встречах Гронского с интеллигенцией (так называемых «пьянках»), в 1933 г. активно циркулировали в писательской среде[191] и даже дошли до Сталина, вызвав недовольство вождя. Гронский был вынужден перед Сталиным оправдываться, объясняться и просить защиты от губящих его репутацию сплетен[192]. Ни Белый, ни, как кажется, Санников в этих встречах участия не принимали, но упоминание в данном контексте о «пьянках» у Гронского лишь подливало масло в огонь и усиливало вину редактора «Известий» за публикацию «неправильного» некролога. Подводя итоги заседания, Юдин потребовал «признать необходимым, чтобы постановление фракции было учтено в отношении “Изв<естий>”»[193]. Не исключено, что и этот проступок сыграл свою роль в снятии Гронского с поста редактора «Известий» и назначении – уже 26 февраля 1934 г. – на эту должность Н.И. Бухарина.

Однако наиболее тяжелые и продолжительные последствия некролог Пастернака, Пильняка и Санникова, опубликованный при попустительстве Гронского 9 января в газете «Известия», имел для Андрея Белого, точнее – для его посмертной судьбы.

Тут же, на заседании коммунистической фракции Оргкомитета, были внесены некоторые изменения в ход похорон и провели «обсуждение кандидата на выступление от Оргкомитета в крематории». Нужен был такой оратор, который от линии партии не отступил бы и не допустил бы ни «переоценки» творчества Белого, ни славословия в адрес покойного. В результате единодушно приняли «решение: при выносе речей не устраивать, в крем<атории> выпустить одного Киршона», человека проверенного и надежного, способного авторитетно от имени писательской общественности опровергнуть то, что было накануне заявлено в некрологе Пастернака, Пильняка и Санникова – в частности, тезис о Белом как о создателе «громадной литературной школы»: «В Крематории Киршон: “Оргкомитет поручил мне сказать несколько слов” и т.д. “А<ндрей> Б<елый> – одиночка” и т.д.»[194]

Его речь произвела гнетущее впечатление. «Молчание. Вдруг, как диссонанс, — вышел К. Говорил избитые фразы, стараясь показаться удрученным. Никто не слушает», — свидетельствовал один из присутствовавших в крематории[195].

П.Н. Зайцев, еще не посвященный в закулисные интриги, воспринял происходящее следующим образом: «От имени Оргкомитета произнес речь драматург Киршон. Говорил очень плохо. Больше никто не выступал. Молчанье сквозь слезы было красноречивее всех речей...»

Судя по словам, сказанным Киршоном «по дороге в машине домой», он и сам ощущал, что вел себя несообразно ситуации, но злился при этом на авторов некролога, якобы вынудивших его выступить таким образом: «Конечно, об А<ндрее> Б<елом> можно было бы сказать гораздо значительней, но о чем можно говорить после этой гнусной статьи в “Изв<естиях>”». Но Ф.А. Березовский его успокоил и похвалил: «Вы блестяще справились со своей задачей»[196].

Впрочем, для нейтрализации вреда от «этой гнусной статьи» речи Киршона, произнесенной перед небольшой группой людей, оказалось явно недостаточно. К доведению до широких читательских кругов партийной точки зрения подключили прессу. На заседании Оргкомитета Л.М. Субоцкий, возглавлявший в «Правде» отдел литературы и искусства, изложил позицию главной газеты страны: «“Правда” решила ничего не давать». А П.Ф. Юдин, подводя итоги заседанию коммунистической фракции Оргкомитета ССП, постановил «дать задание “Литературке” полемизировать со ст<атьей> в “Изв<естиях>”»[197].

На следующий день, 11 января, «Правда» поместила краткое информационное сообщение ТАСС «Похороны А. Белого» — с ошибкой в дате смерти, которая будет многократно воспроизводиться в зарубежной прессе:

> «Вчера состоялись похороны скончавшегося 7 [так! — *М.С.*] января писателя Андрея Белого. К выносу тела собралась многочисленная группа писателей, поэтов и литераторов. У гроба — почетный караул, который несут друзья покойного. <...> Группа художников делает последние зарисовки. В 3 час. 30 м. дня тело покойного было предано кремации».

Одновременно с «Правдой» то же сообщение ТАСС с незначительными расхождениями воспроизвели и «Известия», и еще несколько газет.

«Известия» этим и ограничились. А «Правда» добавила к информации о похоронах Андрея Белого еще одну лаконичную заметку установочного характера, в которой была дана официальная оценка жизни и творчества писателя и определено его место в истории литературы:

> «Являясь крупнейшим представителем буржуазной литературы и идеалистического мышления, А. Белый за последнее время искренне стремился усвоить идеи эпохи социалистического строительства. Поворот широчайших кругов старой интеллигенции к советской власти захватил и А. Белого. В конце 1932 г. он выступил на пленуме Оргкомитета Союза советских писателей с заявлением о готовности поставить свое творчество на службу социализму.
>
> В лице А. Белого в могилу сошел последний из крупнейших представителей русского символизма. Важно отметить, что он не разделил судьбы других вожаков

> этого литературного течения (Мережковский, Гиппиус, Бальмонт), скатившихся в болото белогвардейской эмиграции. А. Белый умер советским писателем».

Даже беглое сопоставление этой идеологически отточенной заметки с «гнусной статьей в “Известиях”» наглядно показывает, какие серьезные ошибки – в дополнение к отмеченным в записях Санникова – допустили впопыхах авторы некролога: это и недостаточно резкое осуждение писателей-эмигрантов (Бальмонт, Мережковский), и недостаточно четкое определение классовой сущности таланта Белого, и оправдание «колоссальных противоречий», свойственных Белому как гению, и многое другое. Но, кажется, самым большим их проступком было не то, что они сказали или сказали неправильно, а то, чего они – сознательно или по забывчивости – не сказали вовсе. А не сказали они про то единственное, чем Белый, представитель «буржуазной литературы и идеалистического мышления», заслужил индульгенцию у советской власти, про его верноподданническое выступление в 1932 г. на Первом пленуме Оргкомитета Союза советских писателей. «Правда» эту ошибку устранила[198].

«Литературная газета», следуя указаниям Оргкомитета, также смогла оперативно включиться в полемику с «Известиями» – благо ближайший номер выходил на следующий день, тоже 11 января. Но, видимо, часть материалов, связанных со смертью Белого, для этого номера была собрана еще до скандала: небольшая биографическая справка, в которой доброжелательно рассказывалось о символистском прошлом Белого и его дружбе с Бальмонтом, Мережковским, Вяч. Ивановым, письмо с выражением «глубокого огорчения в связи со смертью крупнейшего представителя дореволюционного искусства» от «Издательства писателей в Ленинграде», информационные материалы, сопровождающиеся выражением «глубокой скорби» от Оргкомитета ССП, Государственного издательства художественной литературы и т.д.

Для проведения в жизнь установок, данных на заседании коммунистической фракции Оргкомитета, эти вполне отвечающие тематике номера и вовсе не полемические материалы предварили срочно написанной заметкой «От редакции». В ней, как и в «Правде», в качестве единственной заслуги Белого в первых же строках было названо то, что он «немного более года назад на пленуме Оргкомитета <...> выступил с речью о советской литературе и о той роли в ней, которую он играл до сих пор, и о той, которую намерен играть в дальнейшем». Далее следовала сокрушительная критика Белого в духе рассуждений Каменева о «задворках культуры»: «Он многого не понимал, последний представитель символизма. Он не понимал, что станок, на котором работал он до сих пор, перестал быть пригодным для новой работы, в новых условиях. Что вещи, которые были сделаны на этом станке, вещи, предельно далекие от вещей, сейчас его окружавших, определили структуру станка. Автор блестящих романов о начале века, он был творчески беспомощен в последние годы своей жизни».

Созданному Пастернаком, Пильняком и Санниковым образу писателя – основателя «громадной школы» – авторы «Литературной газеты» противопоставили образ писателя-одиночки, изо всех сил стараясь подчеркнуть, сколь чужд был Белый советской действительности и как он в современном мире «зажился»: «Он продолжал писать о прошедшем, об ушедших людях, о бывших когда-то вещах <...>.

Он жил между нами до странности архаичный. Участник постройки знаменитой некогда башни, долженствовавшей стать пристанищем одиноких, изолированных от жизни апостолов символизма, Андрей Белый только в последние годы своей жизни почувствовал, что писатель не может быть одинок. Но желание не быть одиноким осуществить ему не пришлось. Трудно сказать, удалось ли бы ему это, если бы не ранняя смерть».

С ходу аргументировать этот тезис авторы заметки не смогли, а потому пообещали вскоре вернуться к анализу творчества Белого. Видимо, требовалось поразмыслить, а возможно – и согласовать свои мысли с инстанциями.

Продолжением заметки от редакции стал некролог Константина Локса «Памяти Андрея Белого» в том же номере «Литературной газеты». Думается, этот некролог, как и ряд других материалов, был заказан и написан еще до того, как разразился скандал с публикацией «Известий». Первая часть статьи Локса состоит из красочных мемуарных фрагментов и рисует симпатичный, в чем-то забавный образ Белого-лектора, Белого-полемиста. Но затем в тексте появляются вкрапления, представляющие собой явные перепевы каменевского предисловия и, возможно, статьи Горького «О прозе»: «Кто же он? Что означает вся эта путаница? <...> Он был глубоко неисторичен <...>. Сам он, вероятно, очень бы удивился, если бы услышал, что его систематика – только плод пылкого воображения. Долгое время, целые годы он искал вождя и учителя, человека, который помог бы ему оформить внутренний хаос, клокотавший в нем. <...> А. Белый настойчиво ищет тех адекватных методов решения задачи, которые привели его к безнадежному словесному экспериментаторству ("Маски")» и т.д. Выносить окончательные оценки Локс, как и анонимные авторы редакционной заметки, не решился, предоставив это право более сведущим товарищам: «Последние годы его мировоззренческих опытов еще недостаточно ясны нам, чтобы говорить о них с полной определенностью».

К следующему номеру, к 16 января, определенность появилась. За проведение в жизнь партийной точки зрения рьяно принялся сам редактор и ответственный секретарь «Литературной газеты» А.А. Болотников. Он занял этот руководящий пост только осенью 1933 г. благодаря ходатайствам Горького и Юдина, а потому неудивительно, что к поручению Оргкомитета «Литературке» «полемизировать со ст<атьей> в «Изв<естиях>» отнесся со всей ответственностью. Взяв за методологическую основу статьи Ленина о Толстом («Лев Толстой как зеркало русской революции», 1908; «Лев Толстой», 1910), Болотников легко определил «роль и место Андрея Белого в нашей литературе», дал «классовый анализ его мировоззрения» и сформулировал основной вопрос, на который его статья должна была ответить: «Можно ли зачислить Белого <...> в число русских и мировых классиков литературы, назвать его гениальным художником нашего времени?» Уже сама эта формулировка указывает на то, что объектом критики Болотникова был не только сам умерший писатель-символист, но прежде всего Пастернак, Пильняк и Санников, неосмотрительно написавшие в первых же строках своего панегирика, что Белый «замечательнейший писатель нашего века, имя которого в истории станет рядом с именами классиков не только русских, но и мировых», и заявивших, что его творчество – «гениальный вклад как в русскую, так и в мировую литературу», а сам он – «создатель громадной литературной школы».

Нетрудно предположить, что Болотников, по пунктам доказав всю преступную неправоту авторов «известинского» некролога, пришел к прямо противоположному выводу: «Из сказанного становится ясным ответ на основной вопрос, поставленный нами о Белом. Реакционным утверждением было бы зачислять Белого в классики мировой литературы, так как такое утверждение не соответствует истинному положению вещей — Белый слишком индивидуалистичен и манерен в своем творчестве, чтобы создать особую школу, — и противоречит всем основным установкам теории советской литературы, исходящей из принципов социалистического реализма... Белый поучителен для нас во многих отношениях, но едва ли в наше время бурных темпов культурного роста широчайших слоев трудящихся масс на произведения Белого будет большой спрос. Произведения Белого этим массам просто несозвучны и малодоступны: они писались для других общественных слоев, на основе иных творческих предпосылок».

Этот вывод на многие годы вперед определил отношение к Белому и его творческому наследию. Отныне каждый, кто брался помянуть Белого или проанализировать его произведения, неизменно должен был добавить в характеристику писателя дозу критики. А если все же хотел похвалить, то неизменно повторял установки, данные 11 января газетой «Правда»[199]. «Гнусная статья в “Известиях”» была нейтрализована.

* * *

На этом идеологическом фоне кажется вполне закономерным, что Комитет по увековечению памяти Андрея Белого, созданный после похорон, ничего по увековечению этой памяти сделать не смог. Список членов комитета сохранился в бумагах Зайцева[200]:

«1. БУГАЕВА Клавдия Николаевна
2. ГОЛЬЦЕВ Виктор Викторович
3. ЕРМИЛОВ Владимир Владимирович
4. ЗАЙЦЕВ Петр Николаевич
5. КРУТИКОВ Николай Васильевич
6. ЛИДИН Владимир Германович
7. НАКОРЯКОВ Николай Никандрович
8. ПЕТРОВСКИЙ Алексей Сергеевич
9. ПАСТЕРНАК Борис Леонидович
10. ПИЛЬНЯК Борис Андреевич
11. САННИКОВ Григорий Александрович
12. СПАССКИЙ Сергей Дмитриевич (Ленинград)
13. ТАБИДЗЕ Тициан (Грузия, Тифлис)
14. ЭЙЗЕНШТЕЙН Сергей Михайлович
15. ТАРАСЕНКОВ Анатолий
16. ЯШВИЛИ Паоло (Грузия, Тифлис)».

Обычно деятельность подобного комитета заключалась в издании произведений, подготовке сборника воспоминаний (как тот, что был выпущен в память

Эдуарда Багрицкого[201], умершего вскоре после Белого — 16 февраля 1934 г.) и проведении вечеров, посвященных объекту увековечения[202].

Памятные вечера были самой простой и привычной формой «почитания». Друзья Белого рассчитывали на то, что серия таких вечеров пройдет сразу в нескольких городах. О неудаче в Ленинграде сообщал Зайцеву С.Д. Спасский в письме от 18 февраля 1934 г.:

> «С вечерами памяти Андрея Белого происходят странные вещи. Состоялся один, без афиш, в Доме печати, очень скромный и — неудачный.
>
> Должен был быть второй вечер — недавно, куда меня приглашали выступать, открытый, но его почему-то отменили. Теперь неизвестно, будет ли что-нибудь вообще»[203].

В Москве организацией такого вечера Зайцев начал заниматься сразу после похорон. Очевидно, что именно в этой связи он несколько раз встречался с О.М. Мандельштамом, передавшим ему датированный 16–21 января список стихотворения на смерть Белого «Утро 10 янв. 1934 года» («Меня преследуют две-три случайных фразы...)[204] — так называемый «список Зайцева», один из самых авторитетных списков в творческом наследии поэта этого периода[205].

Как первоначально казалось, дела по организации вечера в Москве шли вполне успешно. «29 января член группкома ГИХЛа Черевков завел со мной разговор об устройстве вечера памяти Андрея Белого, — записал в дневнике Зайцев. — Я стал намечать список участников вечера. И вот какие имена постепенно стали нарастать у меня в списке: Б.Л. Пастернак, Б.А. Пильняк, Татьяна Павловна Симсон (врач клиники имени Корсакова), лечившая Бориса Ник., Г.А. Санников, Ф.В. Гладков, В.Г. Лидин, Н.Г. Машковцев, А.М. Дроздов, Г.А. Шенгели, Ник. Никандр. Накоряков, Л.П. Гроссман, О.Э. Мандельштам, П.Н. Зайцев. Это докладчики, вспоминатели. Музыка, рояль: Н.С. Клименкова, Ефременков. Пение: Скрябина <...>, Малышев <...>. Чтение: Яхонтов».

1 февраля, как следует из записей Зайцева, вновь поступило «предложение группкома ГИХЛа об организации вечера памяти Андрея Белого». В том, что инициативу проявила именно эта инстанция, была своя логика: в июне 1932 г. Белого избрали членом бюро группкома, так что группкому ГИХЛа и надлежало чествовать умершего сотрудника.

Зайцев, естественно, отнесся к предложению группкома очень серьезно и поспешил представить в ГИХЛ намеченный им план вечера. Список участников, однако, не был одобрен. Об этом можно судить по тому, что в дневнике Зайцева вслед за первым списком, приведенным выше, следует «второй список, профильтрованный группкомом ГИХЛа: Н.Н. Накоряков, Г.А. Санников, Ф.В. Гладков, Б.А. Пильняк, Б.Л. Пастернак, А.М. Дроздов, Л.П. Гроссман, П.Н. Зайцев. Скрябина. Красин. Коренев».

Нетрудно заметить, что из «профильтрованного» списка исчезло несколько фамилий, в том числе и фамилия Мандельштама. Но подобная «редукция» не спасла проект. Оказалось, что члены группкома приняли решение о проведении мероприятия, не поставив в известность вышестоящие инстанции. 15 февраля Зайцев записал: «Отмена вечера в ГИХЛе оттого, что не согласовано с ячейкой и с Оргкомитетом по созыву Съезда писателей».

Однако на этом попытки провести вечер памяти Белого не прекратились. Вслед за «профильтрованным» списком в записях Зайцева идет «третий список 15–20 февраля», составленный, судя по датировке, сразу после отмены первого запланированного вечера и, вероятно, в надежде на то, что удастся все же мероприятие согласовать и организовать. В третий список вошли «Накоряков Н.Н., Л.П. Гроссман, Б.Л. Пастернак, Г.А. Санников, П.Н. Зайцев, Т.П. Симсон, врач, Ф.В. Гладков, В.Г. Лидин, П.Г. Антокольский, О.Э. Мандельштам». Очевидно, что Зайцев попытался вновь впихнуть в перечень выступающих тех, кто был ранее «отфильтрован», и среди них – Мандельштама. Судя по всему, устроители вечера решили сократить программу вечера и отказаться от музыкальной части. После перечня фамилий потенциальных выступающих записан лишь один оставшийся пункт программы вечера: «Чтение стихов».

Насколько нам известно, к февралю 1934 г. из представленных в списке поэтов стихи памяти Белого написали трое: сам П.Н. Зайцев, Г.А. Санников[206] и, конечно, Мандельштам. Но первые двое, по-видимому, не собирались их декламировать. Мандельштам, напротив, был готов к выступлению. Собственно говоря, он, не дожидаясь предоставления официальной трибуны, уже начал знакомить с ними своих друзей. В записях Зайцева отмечено: «26 января Мандельштам зашел к Пастернаку прочитать свои стихи о Борисе Ник. и просидел у него до двух часов ночи».

«Третьему списку», отданному в ГИХЛ на утверждение, на первый взгляд повезло чуть больше: он был снова расширен и лег в основу программы, черновик которой сохранился в бумагах Зайцева:

«**Правление ГИХЛ и Группком Писателей приглашают Вас на траурный вечер, посвященный памяти Андрея Белого.**

Вечер состоится 20 февраля 1934 г. в помещении издательства,
улица 25 октября (б. Никольская), д. 10.

ПРОГРАММА

Гладков Ф.В., Гроссман Л.П., Зайцев П.Н., Машковцев Н.Г., Накоряков Н.Н., Пастернак Б.Л., Пильняк Б. А., Санников Г.А., Симсон Т.П., Тарасенков А., Табидзе Тициан, Шенгели Г.А., Яшвили Паоло выступят с воспоминаниями.

Мандельштам Осип прочтет стихи, посвященные памяти Андрея Белого.

П. Антокольский
Гарин Э.П. (театр Мейерхольда)
Журавлев Д.Н., Майль, Синельникова – артисты театра им. Вахтангова.
Спендиарова Е.Г. – артистка Камерного театра
Яхонтов В.Н.
Прочтут стихи А. Белого и отрывки из романов “Петербург” и “Москва”.
Начало в 7 ч. вечера.

Правление группкома».

Судя по этому черновику, все уже было «на мази»: устроителями мероприятия значился не только группком, но и правление ГИХЛа, уже определились с точной датой, временем и местом проведения вечера, а также с составом участников. Фамилии участников идут в черновике программы в алфавитном порядке, что отражает, на наш взгляд, не только желание никого не обидеть, но подчеркивает официальный характер документа. «Прописана» и роль Мандельштама: «прочтет стихи, посвященные памяти Андрея Белого». Но опять, видимо, что-то посчитали несогласованным, недостаточно идеологически выверенным, и вечер не состоялся.

В мае в ГИХЛе опять вспомнили о вечере и спешно назначили новую дату проведения «Он намечается на 14-е». Причины, вызвавшие спешку, сформулировали внятно: «Вечер надо устроить обязательно и — до Съезда писателей, иначе будет неловко перед съездом, такой большой писатель — и замолчали его смерть».

Зайцеву, видимо, удалось получить предварительное согласие на участие в вечере у Вс.Э. Мейерхольда и его жены З.Н. Райх («Вчера был у Мейерхольдов. Говорил с Зинаидой Ник<олаевной> о предстоящем вечере памяти А. Белого в ГИХЛе <...>» — запись за 9 мая). Но в целом его дела шли очень неважно. «С конца апреля работал над подготовкой вечера памяти Бор. Ник. И опять — срыв: нет никого из исполнителей, участников... — сетовал он. — Погибло две недели. Еще погибнет две недели, а вечер опять не состоится. Сегодня у нас с Клавдией Ник<олаевной> был решительный разговор по этому поводу...»[207]

Сложности с подбором выступающих можно объяснить принципиальным изменением формата вечера. Помимо традиционных для подобных вечеров мемуаристов и артистов в проекте майской программы появился еще один пункт: «Докладчики: Болотников и Каменев». Очевидно, они были выбраны Оргкомитетом ССП, чтобы еще раз повторить уже высказанную ими ранее принципиальную партийную оценку жизни и творчества покойного писателя. Болотников на этом вечере мог изложить лишь тезисы своего погромного некролога в «Литературной газете» и статьи 1933 г. из журнала «Литературный критик» (№ 2) о романе «Маски» с выразительным названием «Неудавшийся маскарад», а Каменев — основные положения своих предисловий и некролога, напечатанного Гронским в «Известиях» 10 января вслед за некрологом Пастернака, Пильняка и Санникова. Очевидно, что они были назначены докладчиками исключительно для того, чтобы вновь не допустить уже раз случившуюся «переоценку» Белого. Неудивительно, что желающих поучаствовать в этой образцово-показательной порке, организованной под видом вечера памяти Андрея Белого, поубавилось. Справедливости ради следует отметить, что даже Каменев, как кажется, постарался избежать исполнения возложенной на него миссии: Зайцев отметил в дневнике, что Каменев от выступления «отказывается».

Организация запланированной ГИХЛом и Оргкомитетом ССП акции усложнялась еще и серьезным ужесточением критериев при выборе выступающих: друзья и мемуаристы теперь должны были соответствовать высокому идейному уровню докладчиков. В результате оказалось, что «выступать некому»: одних «отфильтровали», других не оказалось в Москве, а заменить их не представлялось возможным. Дневниковая запись отчаявшегося Зайцева рисует совершенно катастрофическую ситуацию, сложившуюся к 3 мая:

«Из писателей есть только Гладков – воспоминания, да Антокольский – чтение стихов, "Петербурга". Из намеченных еще – Шагинян и Санникова нет в Москве. Лидин и Пастернак отказались, по различным мотивам, каждый по своим. Пильняка не хотят и боятся. Гроссмана категорически отвели. Относительно стихов Мандельштама выразили большое сомнение. Г.Г. Шпетт не годится. В результате выступать некому.

– Хорошо бы Маяковского пригласить! – заметил кто-то. – Да только его трудно заставить!.. – Да, что делать, с сожалением добавил другой. – А хорошо бы выступил!.. – с чувством добавил третий. Г.И. Чулков, С.В. Шервинский – сомнительны. Шалва Сослани в Грузии. Н.С. Ангарский – в Греции торгпредом... Нет выступателей».

Неизвестно почему, то ли из-за отсутствия «выступателей», отвечающих строгим критериям идеологического отбора, то ли по какой-то иной причине, но вечер опять не состоялся.

Тем не менее «культурный след» в истории отечественной культуры от этих несостоявшихся мероприятий по увековечению памяти Андрея Белого все же, как кажется, остался. Думается, что с подготовкой одного из планируемых вечеров (февральского или майского) связаны отложившиеся в фонде ГИХЛа в РГАЛИ четыре листа со стихотворениями Мандельштама[208]. Они представляют собой недатированную, неавторизованную машинопись, кишащую опечатками самого комического свойства, – очевидно, что печатал с рукописи человек, неспособный понять ни почерк автографа, ни поэтики Мандельштама. Два листа занимает стихотворение «10 января 1934 года». Это то же самое стихотворение («Меня преследуют две-три случайных фразы...»), список которого (рукой Н.Я. Мандельштам и с авторской подписью) поэт подарил Зайцеву – но чуть иначе озаглавленное и в более ранней редакции. Особенностью гихловской машинописи является посвящение, сформулированное весьма странно: «Памяти Б.Н. Бугаева /Андрея Белого/». Такая формулировка посвящения – с одновременным указанием и имени, и псевдонима – выглядит как-то слишком официально и непривычно для поэтического текста: подобным образом Белого могли называть в гонорарных ведомостях или повестках на очередное «гихловское» заседание. К тому же, строго говоря, посвящение в данном стихотворении вообще излишне и, по сути, является тавтологией: ведь функцию посвящения выполняет указанный в заглавии день похорон... Видимо, оно адресовалось не столько умершему писателю, сколько тем чиновникам, которым мало что говорило число 10 января и потому требовалось наглядно объяснить связь стихотворения с днем похорон Белого.

Вслед за стихотворением «Меня преследуют две-три случайных фразы...» на листах 3 и 4 напечатан – под заглавием «Воспоминания» – цикл из четырех пронумерованных латинскими цифрами восьмистиший: I. «Люблю появление ткани...»; II. «О, бабочка, о, мусульманка...»; III. «Когда уничтожив набросок...»; IV. «Скажи мне, чертежник пустыни...». Традиционно эти стихи Мандельштама объединяют вместе с еще семью стихотворными отрывками по формальному признаку (количество строк) и публикуют под условным названием «Восьмистишия». В свете истории с вечерами памяти Андрея Белого в ГИХЛе это представляется не вполне отвечающим замыслу Мандельштама.

Безусловно, причина попадания в фонд ГИХЛа машинописи стихотворения «10 января 1934 г.» («Меня преследуют две-три случайных фразы...») с посвяще-

нием «Памяти Б.Н. Бугаева /Андрея Белого/» и «Воспоминаний», состоящих из четырех восьмистиший, может быть только одна: машинопись с произведениями для выступления на траурном вечере была передана в ГИХЛ (скорее всего, через П.Н. Зайцева) для утверждения руководящими органами[209]. Судя по отметкам в дневнике Зайцева, восторга стихи Мандельштама не вызвали и разрешение на их исполнение получено не было: «Относительно стихов Мандельштама выразили большое сомнение». Впрочем, шанса на выступление на вечере, намеченном на 14 мая, у Мандельштама все равно не было: в ночь с 13 на 14 мая его арестовали.

В итоге, до состоявшегося в августе 1934 г. писательского съезда, радикально перестроившего литературную жизнь страны, злополучный вечер организовать так и не удалось. Однако, как это ни парадоксально, идея проведения памятного вечера еще некоторое время теплилась, и, что примечательно, «в верхах». Последний раз – к годовщине смерти Белого. Написанная от руки программа этого мероприятия сохранилась в архиве Г.А. Санникова:

«ССП и Гослитиздат
Вечер памяти Андрея Белого
(Годовщина смерти 8 января)

Докладчики: Л.Б. Каменев, И. Луппол, А. Болотников

Воспоминания:
Вл. Лидин. О пребывании А. Белого в Германии.
Вс. Мейерхольд. Воспоминания.
Н. Накоряков. " – " – " – " – " – " –
Б. Пастернак. " – " – " – " – " – " –
Б. Пильняк. " – " – " – " – " – " –
М. Пришвин. " – " – " – " – " – " –
З. Райх. " – " – " – " – " – " –
Г. Санников. А. Белый в Московском Пролеткульте
и в последние годы жизни.
М. Сарьян. А. Белый в Армении.
Т. Табидзе. А. Белый в Грузии.
А. Тарасенков. Слово в стихах А. Белого.
А. Толстой. Воспоминания.
М. Шагинян. " – " – " – " – " – " –
П. Яшвили. Влияние А. Белого на грузинскую литературу.

Исполнение артистами произведений А. Белого, положенных на музыку.
Чтение стихотворений и отрывков из прозы»[210].

В этой программе многое обращает на себя внимание. Это и приподнявшийся уровень руководства проведением планируемого задуманного мероприятия – не группком и правление ГИХЛа, а сам Союз советских писателей. И громкие имена выступающих: все литераторы на тот момент – уважаемые члены ССП. Показательно, что даже верный друг Белого П.Н. Зайцев, не удостоившийся чести быть принятым в Союз, не был допущен к участию. Зато Каменеву, как видно, отказаться от доклада не удалось. Более того, партийные ряды упрочились – к Болотникову

и Каменеву добавился еще один докладчик – И.К. Луппол, член Правления ССП, член-корреспондент АН СССР, надежный (на тот момент, до ареста в 1941 г.) борец за марксистско-ленинскую методологию в литературоведении, истории и философии. В середине 1930-х он был также назначен главным редактором Гослитиздата (до 1934 г. – ГИХЛа).

Особенно парадоксальным этот набор имен выглядит в сочетании с именами авторов крамольного некролога-панегирика в «Известиях». Легко представить, что на вечере 8 января 1935 г. полемика между теми, кто год назад Белого переоценил, и теми, кто указал им на ошибки и не допустил «переоценки» Белого, могла бы вспыхнуть с новой силой. Хотя вряд ли авторы некролога решились бы в изменившихся условиях вновь пойти против линии партии, столь мощно представленной. Впрочем, к годовщине смерти Белого «линия партии» поредела: 16 декабря 1934 г. Каменев был арестован. Видимо, мероприятие планировалось заранее...

Вечер памяти Андрея Белого в очередной раз не состоялся – и, как кажется, к счастью для памяти Андрея Белого.

* * *

Неудивительно, что другие проекты по увековечению памяти писателя, более сложные и ответственные, нежели вечера, также не были проведены в жизнь. Друзьям, стоявшим у гроба Белого, планы по изданию и переизданию его богатейшего творческого наследия представлялись не только возможными, но и вполне естественными. Так, С.Д. Спасский 11 января 1934 г. отметил в дневнике: «<...> видел мельком Форш. Говорила о сборнике памяти Б.Н. Затем посидел у Пастернака. Говорили тоже, главным образом, о Белом». В тот же день П.Н. Зайцев сообщил Л.В. Каликиной: «В ближайшие дни будем говорить с издательствами о посмертном издании произведений Б.Н. Идет речь о сборнике воспоминаний, об избранном сборнике стихов...» Вместе с фотографом Л.М. Алпатовым-Пришвиным вдохновлялся он и идеей «составить альбом снимков памяти Бор. Ник.» (даже перечень обязательных фотографий набросал)[211].

Не отставал от Зайцева и Г.А. Санников, исписавший страницы, прикидывая, что стоит включить в «Избранное» Андрея Белого, как распределить по книгам стихи, прозу, мемуары, статьи разных лет и в какое количество томов можно «уложить» посмертное собрание его сочинений: менее десяти никак не выходило. Внушительный список возможных участников предполагаемого «Сборника памяти Андрея Белого» был у него тоже наготове: Б.Л. Пастернак, Б.А. Пильняк, Ф.В. Гладков, Вс.Э. Мейерхольд, С.М. Эйзенштейн, П.Н. Зайцев, Н.Н. Накоряков, Г.Г. Шпет, Ш. Сослани, Г.А. Санников, Паоло Яшвили, Тициан Табидзе, Гр. Робакидзе, Г.А. Шенгели, С.Д. Спасский, К.С. Петров-Водкин, Ал. Толстой, О.Д. Форш, М.С. Сарьян, В.О. Нилендер, И.М. Гронский, В.В. Каменский, П.В. Орешин, С.А. Клычков, Е.Ф. Никитина, Г.О. Винокур, Б.И. Ярхо, В.В. Ермилов и многие другие[212].

Очевидно, что дальше черновых набросков оглавления и разговоров в узком кругу друзей «Сборник памяти Андрея Белого» тогда не продвинулся. Что уж тут говорить об «альбоме снимков памяти Бор. Ник.». Не рассматривались никем всерьез и «наброски» к посмертному собранию сочинений.

С подготовкой к печати поэтического наследия дело обстояло много лучше: работа над ним началась сразу же после захоронения на Новодевичьем кладбище урны с прахом писателя, в январе 1934 г. Примечательно, что единственным издательством, изъявившим готовность выпустить посмертный сборник стихотворений Белого, оказалось издательство «Academia», возглавляемое тем самым Каменевым, которого Белый так боялся и на которого был столь обижен. Сборник запланировали с размахом: объемом 50 печатных листов, с аналитической статьей о Белом-поэте в начале сборника и с биографическими сведениями о Белом в конце, с включением произведений, ранее не публиковавшихся, с обстоятельными текстологическими комментариями и даже с иллюстрациями.

Казалось бы, напрашивается вывод о том, что Каменев хотел загладить вину за свои слова о «Мастерстве Гоголя» и мемуарах «Начало века». Но вряд ли подобная совестливость и сентиментальность лидерам коммунистической державы, даже отставленным, была свойственна. Скорее всего, Каменев, привыкший к грубости внутрипартийных дискуссий, попросту не заметил, что глубоко ранил больного Белого. Возможно, он даже полагал, что оказал пожилому писателю-символисту услугу: ведь книги с его погромными предисловиями вышли...

Как бы то ни было, но, по иронии судьбы, именно Каменев, которого, напомним, друзья и близкие Белого винили в преждевременной смерти писателя, предпринял и максимум усилий для увековечения его памяти. Думается, он понимал, куда дует политический ветер в стране и что с увековечением памяти Белого надо спешить. Об этом свидетельствует состоявшаяся 28 января 1934 г. его беседа с Зайцевым, пытавшимся выторговать большой гонорар вдове и увеличение тиража сборника стихов:

> « – Этого гонорара не выдержит книга, – заметил Каменев. – Какой тираж мы будем выпускать? Пять тысяч экземпляров. Цену выше 15 руб. за экземпляр книги (продажную) нельзя назначать. А при гонораре 3 рубля за строку книга будет стоить 40–50 рублей.
>
> – Надо печатать 10 000 экз., – заметил я.
>
> – 10 тысяч можно, – ответил Каменев.
>
> – А нельзя ли 15 тысяч экземпляров? – спросил я.
>
> – Таких тиражей у нас нет.
>
> – Ведь это первое полное собрание стихов Андрея Белого, – продолжал я.
>
> – Первое... (*пауза Каменева*)... Это будет последнее издание, – перевел Л.Б. Каменев».

Увы, и Каменев оказался недостаточно дальновиден. Довести начатое дело до конца ему не удалось. В декабре 1934 г., как уже говорилось ранее, Каменев был арестован. Без него работа над сборником по инерции продолжалась еще полгода, была доведена до стадии верстки и остановилась. С надеждами на посмертное издание собрания стихотворений Андрея Белого пришлось распрощаться...[213]

* * *

Известие о смерти Белого дошло до «заграницы» с некоторым опозданием[214]. Во Франции, где русская культурная диаспора была наиболее многочисленна

и активна, первые отклики появились лишь через четыре дня. В других странах — еще позже. Крайне скудная информация о случившемся была получена, видимо, лишь из заметок в советской печати.

12 января в газете «Последние новости» на первой странице поместили фотографию Белого с лаконичной подписью: «8 января в Москве скончался известный писатель Андрей Белый (Б.Н. Бугаев)». На второй странице был опубликован краткий некролог, написанный Михаилом Осоргиным[215]. Судя по всему, ему в руки попала только газета «Правда» за 11 января, где кратко сообщалось о прошедших похоронах и давалась жесткая идеологическая оценка творчеству Белого. На слова анонимного автора «Правды» о том, что «А. Белый умер советским писателем», Осоргин полемически откликнулся: «Он не был, конечно, “советским писателем”; был русским писателем крупнейшего калибра и замечательным человеком своей эпохи». Проявил Осоргин и немалую, даже поразительную осведомленность о драматических событиях, происходивших в жизни Белого и его окружения в 1931 году, — об аресте московских антропософов, о хлопотах писателя по освобождению из тюрьмы Клавдии Николаевны и ее первого мужа П.Н. Васильева:

> «В самые последние годы Белый жил в бедности, мало участвуя в общей писательской жизни. Его терпели, но зато все антропософское окружение было разбито и рассеяно. Лишь очень немногих ему удалось личными связями и ходатайствами спасти от преследований, тюрьмы и высылок».

Однако о том, что происходило с Белым в 1932–1933 гг., и о том, что послужило причиной его смерти, Осоргин знал настолько мало, что откровенно признался в собственной неосведомленности: «Мы не знаем, что свело Белого в могилу; не было известий о его болезни, и он не был стар (53 года)».

В.Ф. Ходасевич, опубликовавший днем позже, 13 января, краткий некролог в газете «Возрождение», в первой же строке указал официальный диагноз медиков: «8 января умер от артериосклероза Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев)»[216]. Такие сведения могли быть им почерпнуты из газеты «Известия» за 9 января: из некролога, написанного Б. Пастернаком, Б. Пильняком и Г. Санниковым (ср.: «8 января, в 12.30 мин. дня умер от артериосклероза Андрей Белый»).

В тот же день, 13 января, краткое добавление к вчерашним публикациям появилось в «Последних новостях»: «Как видно из советских газет, смерть Андрея Белого последовала от артериосклероза. Кремация состоялась 10 января».

За информационными сообщениями, публиковавшимися по мере поступления из СССР газет и сведений из неофициальных источников, последовали развернутые некрологи в газетах и журналах различного политического и художественного направления. От этого, равно как и от эстетических вкусов и познаний авторов некрологов, зависела общая оценка личности и творчества Белого. Диапазон мнений оказался чрезвычайно широк: от восхваления до поругания. Одни стремились через Белого воскресить ностальгическую атмосферу Серебряного века, другие же — поставить на вид умершему его сотрудничество с советской властью, третьи — переписывали на свой лад то, что было сказано о Белом другими. Однако все эти некрологи, глубокие и поверхностные, пространные и лаконичные,

оригинальные и смахивающие на плагиат, все же выполняли свою основную функцию — функцию поминовения. А помянуть — значит вспомнить.

Авторами многих некрологов были те, кто хорошо знал Белого лично или хотя бы присутствовал на его выступлениях, на лекциях и литературных вечерах. Делиться своими воспоминаниями, в отличие от советских коллег, они не только не боялись, но считали своим долгом. Поэтому значительная часть некрологов приобрела форму мемуарных очерков или же содержала мемуарные фрагменты-отступления. Именно в 1934 г. были написаны самые яркие, самые выразительные как с содержательной, так и с художественной точки зрения воспоминания о Белом (например, очерки Цветаевой, Ходасевича, Степуна, Осоргина и др.). Впоследствии многие из этих некрологов сами мемуаристы в частично переработанном виде включали в сборники своих воспоминаний.

Не было недостатка и в вечерах памяти Андрея Белого, на которых и мемуаристы выступали, и его произведения читали.

20 января в Париже, как сообщали «Последние новости»[217], «на Сергиевском подворье протоиереем проф. С.Н. Булгаковым была отслужена панихида по скончавшемся в Москве писателе Андрее Белом. На панихиде присутствовали некоторые из живущих в Париже русских литераторов. В числе них: Н.Н. Берберова, В.В. Вейдле, Н.Д. Городецкая, С.П. Ремизова-Довгелло, Р. Словцов, М.А. Струве, С.Г. Сумской, В.Ф. Ходасевич и М.И. Цветаева».

Именно в эмиграции, а точнее — в ее сердце, в Париже, был создан красивейший миф о Белом как о поэте-пророке и о его смерти не от прозаического артериосклероза, а от пущенных с неба солнечных стрел.

Мифологическая аура стала окутывать тему смерти поэта, как только до Парижа дошли первые сведения о картине произошедшего. Важнейшим мифопорождающим фактором оказалось известие о том, что смертельная болезнь внятно заявила о себе в Коктебеле, где, напомним, весной—летом 1933 г. Белый с женой отдыхали в писательском Доме творчества. Трудно сказать, насколько детально выяснили в эмиграции подробности болезни писателя и перипетии его лечения. Но точно узнали о коктебельском солнечном ударе. Для проживавших в Париже представителей русского Серебряного века, лично знавших Белого и прекрасно помнивших его творчество, этого было вполне достаточно для того, чтобы увидеть смерть поэта сквозь призму его поэзии.

В творческом наследии Белого произведений, посвященных смерти вообще и смерти собственной, множество. Однако в связи с реальной смертью поэта актуальность приобрело стихотворение «Друзьям»:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Не смейтесь над мертвым поэтом:
Снесите ему цветок.
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок.

Цветы на нем побиты.
Образок полинял.
Тяжелые плиты.
Жду, чтоб их кто-нибудь снял.

Любил только звон колокольный
И закат.
Отчего мне так больно, больно!
Я не виноват.

Пожалейте, придите;
Навстречу венком метнусь.
О, любите меня, полюбите —
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь —
Вернусь!

Стихотворение было написано еще в январе 1907 г., в Париже и опубликовано в том же году в журнале «Золотое руно» (№ 3). Оно вошло во второй поэтический сборник Белого «Пепел» (СПб., 1909) и в сборник «Стихотворения», выпущенный в 1923 г. в Берлине в «Издательстве З.И. Гржебина». Гржебинское издание в кругах русской эмиграции было наиболее распространено. В нем стихотворение было перемещено из раздела «Пепел» в раздел «Золото в лазури», им раздел завершался: лирический герой-солнцепоклонник умирал.

Стихотворение «Друзьям» и легло в основу мифа о поэте-пророке, загодя предсказавшем свою кончину и детально описавшем обстоятельства, к ней приведшие. То, что с момента заболевания до кончины прошло шесть месяцев, значения не имело: полгода не срок для мифологического сознания. Да и диагноз врачей — не авторитет и не указ, особенно если речь идет о смерти мистика и символиста, который, по собственному признанию, «думой века измерил».

Открытое недоверие к официальной версии смерти Белого высказал тот же Осоргин в очерке о писателе, опубликованном в «Последних новостях» 18 и 25 января[218]:

«Пишут, что Белый умер от артериосклероза; спросите медиков — они пожмут плечами: это не определение причины смерти. Не проще ли сказать: он физически истратился и устал жить. Истратился ли он и духовно — мы не знаем».

Решительно отвергая версию врачей, Осоргин противопоставил ей сначала версию социально-психологическую («устал жить»), а вслед за тем — мифологическую, ставшую вскоре основной:

«Его творчество изучают и будут изучать. Он — сок истории русской литературы и сам — история. Умер один из замечательнейших людей нашего поколения.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Не смейтесь над мертвым поэтом,
Снесите ему венок.
. . . .
Пожалейте, придите;
Навстречу венкам метнусь.
О, любите меня, полюбите —
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь —
Вернусь...»

Осоргин, видимо, был первым, кто процитировал стихотворение «Друзьям» применительно к смерти Белого. Причем процитировал знаково — стихотворением очерк завершается.

К моменту написания очерка Осоргин, конечно, успел уже не только ознакомиться с публикациями в советской прессе, но и узнать кое-что из других, неофициальных источников. На их наличие указывалось в заметке «Болезнь и смерть Андрея Белого», помещенной в «Последних новостях» за 19 января. Там же сообщалось о солнечном ударе:

> «По полученным из Москвы частным сведениям, летом 1933 года с покойным ныне Андреем Белым случился солнечный удар. Удар этот повлек за собой долго не прекращавшиеся, чрезвычайно сильные головные боли, от которых Белый лечился вплоть до самой осени в московских клиниках.
>
> Врачи, пользовавшие больного, впервые определили у него до того не дававший себя чувствовать сильнейший артериосклероз. Последний месяц жизни Белый вновь начал страдать головными болями. За ним неотступно ходила жена, К.Н. Васильева, пока писателя вновь не перевезли в одну из московских клиник, где он пролежал несколько недель. Скончался Белый 8 января в 4 часа дня в полном сознании»[219].

Эта информация мимо Осоргина безусловно пройти не могла, но в очерке о солнечном ударе он не упомянул. Поэтому читателю, не следящему за периодикой, могло остаться не вполне ясным, почему из всех произведений Белого было процитировано именно это. Скорее всего, очерк был уже полностью написан к 18 января (тогда была опубликована первая часть), за день до появления заметки о «Болезни и смерти Андрея Белого». В таком случае, вероятно, он заканчивался фразой, предшествовавшей стихотворению, «Умер один из замечательнейших людей нашего поколения». Осоргин по каким-то причинам не захотел или не успел внести правку и просто приписал к уже готовому финалу напрашивающийся стих. Кроме того, он не без основания мог полагать, что постоянный читатель «Последних новостей» способен сопрячь информацию о «Болезни и смерти Андрея Белого», появившуюся 19 января, со стихотворным финалом очерка, опубликованного 25 января.

* * *

Эстафета, начатая Осоргиным, была вскоре продолжена Ходасевичем: в газете «Возрождение» за 8, 13 и 15 февраля он напечатал очерк «Андрей Белый. Черты из жизни», также завершающийся цитатой из стихотворения «Друзьям».

В кратком некрологе от 13 января Ходасевич указал на диагноз смерти — артериосклероз. Но в февральском очерке он об этом как будто забыл. В отличие от Осоргина Ходасевич не только не стал оспаривать медицинский диагноз, но даже не упомянул о нем. Смерть «от солнечных стрел» Ходасевич представил как единственно возможное и уже общеизвестное объяснение кончины поэта. Осоргин в своем цитировании ограничился лишь намеком на связь стихотворения 1907 г. со смертью Белого. Ходасевич конструкцию Осоргина дополнил, сняв неопределенность и недоговоренность:

> «Умер он, как известно, от последствий солнечного удара. Потому-то он и просил перед смертью прочесть стихи <...>:
> Золотому блеску верил,
> А умер от солнечных стрел...»

Ходасевич фактически заменил, переформулировал диагноз смерти поэта: после его очерка об артериосклерозе как о непоэтической причине смерти поэта уже никто больше и не вспоминал.

* * *

«Набросок», сделанный Осоргиным, под пером Ходасевича превратился в цельную картину жизни и смерти поэта-символиста. Белый, оказывается, не только написал в 1907 г. стихотворение-предсказание, но просил прочитать его перед смертью и таким образом и диагноз сам себе поставил, и репутацию провидца подтвердил.

Несколько нарушало причинно-следственные связи лишь то, что стихотворение в сборнике «Пепел» было опубликовано с посвящением поэтессе Нине Ивановне Петровской, о чем Ходасевич знал лучше, чем кто бы то ни было. Ее неудачливый и трагический роман с Белым происходил на глазах у Ходасевича, и мемуарист на это указал: «Потому-то он и просил перед смертью прочесть стихи, некогда посвященные Нине Петровской».

Думается, что правдивость и библиографическая пунктуальность мемуариста, акцентирующего внимание читателя на этой якобы «нестыковке», — прежде всего художественный прием. В первой публикации, в журнале «Золотое руно», стихотворение входило в цикл «Эпитафия», целиком посвященный Зинаиде Гиппиус. Посвящения Петровской не было вовсе. При последующей переработке стихотворения для невышедшего сборника «Зовы времен» посвящение Петровской тоже было снято. Подобная неразбериха с посвящениями случалась нередко как у Белого, так и у многих его современников. Однако Ходасевичу важно было «нестыковку» с Петровской не снять, а, наоборот, акцентировать.

Готовя в 1938 г. очерк для сборника «Некрополь» (Брюссель: Петрополис, 1939), Ходасевич слегка подправил и финал. В книжной редакции он таков:

> «Умер он, как известно, 8 января 1934 года, от последствий солнечного удара. Потому-то он и просил перед смертью, чтобы ему прочли его давнишние стихи:
> Золотому блеску верил,
> А умер от солнечных стрел.

> Думой века измерил,
> А жизнь прожить не сумел.
>
> Слушая в последний раз эти пророческие стихи, он, вероятно, так и не вспомнил, что некогда они были посвящены Нине Петровской»[220].

По Ходасевичу получается, что биографические обстоятельства, породившие произведение, не раскрывают, тем не менее, его визионерского смысла и значат несоизмеримо меньше, чем предсказание поэтом своей судьбы.

В книжной редакции эта мысль выражена еще отчетливее, нежели в газетной. Мемуарист-мифолог заставил Белого не только говорить, но и слушать, и еще — попытался воссоздать предсмертные мысли поэта. Вероятно, по мнению Ходасевича, они отразились в тех двух стихотворных строках, которые были добавлены им в 1938 г. в сборник «Некрополь». В таком контексте роман с Н.И. Петровской, ставший поводом к написанию стихотворения, но позабытый Белым на смертном одре, соотносился с «жизнью, неумело прожитой», а способность «измерять думой века» — с даром пророчества.

Определение стихотворения «Друзьям» как стихотворения «пророческого» появилось у Ходасевича только в книжной редакции. Вероятно — под влиянием очерка Марины Цветаевой «Пленный дух», написанного в феврале 1934 г. и вышедшего в журнале «Современные записки» (1934. № 55)[221]. Ходасевич откликнулся на эту публикацию восторженной рецензией[222].

* * *

Очерк Цветаевой был посвящен Ходасевичу, что открыто декларировало преемственность «Пленного духа» по отношению к мемуарам Ходасевича. Вслед за Ходасевичем Цветаева продолжила мифологизацию смерти Белого. Ее строки, касающиеся кончины поэта, почти повторяют аналогичный фрагмент очерка Ходасевича:

> «Умер Андрей Белый “от солнечных стрел”, согласно своему пророчеству 1907 года.
>
> Золотому блеску верил,
> А умер от солнечных стрел... —
>
> то есть от последствий солнечного удара, случившегося с ним в Коктебеле, на бывшей даче Волошина, ныне писательском доме. Перед смертью Белый просил кого-то из друзей прочесть ему эти стихи, этим в последний раз опережая события: наше посмертное, этих его солнц, сопоставление: свое посмертье».

К тому, что писал Ходасевич, Цветаева добавляет всего пару мелких, но существенных деталей. Во-первых, называет место, где случился солнечный удар, — волошинский Коктебель был для многих овеян ореолом символическим и сакральным. Во-вторых, конкретизирует тезис Ходасевича о том, что поэт просил прочесть стихи перед смертью. У Ходасевича — он просто «просил перед смертью прочесть стихи». У Цветаевой — «Белый просил об этом кого-то из друзей». Думается, что это внешне незначительное отличие вряд ли может быть отнесено лишь к разряду стилистических разночтений. Скорее всего, Цветаева сознательно обы-

грала заглавие стихотворения – «Друзьям», таким образом еще сильнее актуализировав и «оживив» пророчество.

Однако еще более, чем добавленные Цветаевой детали, важны сделанные ею перестановки. У Ходасевича сначала говорится о причине смерти («от последствий солнечного удара»), а потом вводится поэтический образ, эту смерть символизирующий («от солнечных стрел»). У Цветаевой – наоборот. Ее Андрей Белый умер непосредственно «“от солнечных стрел”, согласно своему пророчеству». «От последствий солнечного удара» – это, по Цветаевой, лишь конкретная форма, в которой давнее пророчество поэта реализовалось.

Таким образом, Осоргин первым процитировал стихотворные строки Белого, Ходасевич первым переформулировал под эти строки диагноз смерти поэта, а Цветаева первая назвала их пророческими.

После выхода очерка Цветаевой миф о смерти поэта-пророка, умершего «от солнечных стрел», сложился окончательно и воспроизводился потом неоднократно.

* * *

Четверостишием «пророческого стиха» завершила краткую биографию Андрея Белого первая жена поэта Ася Тургенева:

> «Он умер 8 января 1934 года от последствий солнечного удара, который случился с ним летом на юге. Перед смертью он велел прочитать эпитафию, которую написал в юности:
>
> Золотому блеску верил
> А умер от солнечных стрел.
> Думой века измерил
> А жизни прожить не сумел»[223].

Те же строки попали и в научно-исследовательскую литературу. Их процитировал Константин Мочульский в конце своей монографии «Андрей Белый», вышедшей в издательстве «YMCA-Press» в 1955 г.:

> «<…> в Коктебеле Белого постиг солнечный удар: он скончался в Москве 8 января 1934 года. Смерть свою он напророчил в стихотворении 1907 года:
>
> “Золотому блеску верил,
> А умер от солнечных стрел.
> Думой века измерил,
> А жизнь прожить не сумел”…»[224]

Однако Мочульский не ограничился традиционным «заключительным» цитированием пророческих строк. Анализируя эволюцию лирики Белого, он также дал интерпретацию и этого стихотворения:

> «Лейтмотивом поэзии Белого в эпоху его трагической любви к жене Блока является тема смерти и погребения. Он видит себя в гробу, оплакивает, служит по себе панихиду, хоронит и произносит надгробные слова. <…> Из похоронного цикла

> выделяется стихотворение “Друзьям”, которое нельзя читать без мучительной жалости. Сколько в нем искреннего горя и тоски по любви, что мы забываем о безумиях и кощунствах и видим только несчастное человеческое лицо. <...> Трогательная детская беспомощность в этих словах: “Я быть может, не умер...”»[225]

Любопытно при этом, что исследователь проигнорировал посвящение стиха Н.И. Петровской, но, напротив, связал его тональность с Л.Д. Блок. Однако Мочульскому, как ранее и Ходасевичу, анализ данного стихотворения в контексте конкретных жизненных обстоятельств и других произведений из сборника «Пепел» показался, видимо, недостаточным. Приведя обширную стихотворную цитату, Мочульский сделал к строкам о смерти «от солнечных стрел» специальное примечание: «Эти строки оказались пророческими: Белый умер в Крыму от солнечного удара»[226].

Таким примечанием установилась еще одна традиция: не только иллюстрировать рассказ о смерти Белого строками из стихотворения «Друзьям», но и при публикации стихотворения отмечать в комментариях его визионерский смысл.

Однако еще более значимо, что в примечании к стиху откровенно исказились те факты, которые верно изложены в финале той же книги, через сто с небольшим страниц. Очевидно, что примечание писал мифолог, «уморивший» Белого «солнечными стрелами» прямо в Крыму. Тогда как в конце книги названа почти точная дата солнечного удара в Коктебеле (в июле 1933 г.)[227], а также точная дата смерти Белого — 8 января 1934 г. в Москве...

* * *

Предисловие к книге Мочульского писал Борис Зайцев, хорошо знавший Белого. Он тоже внес свой вклад в разработку мифологемы о смерти поэта. Мемуарный очерк «Андрей Белый» Борис Зайцев напечатал в 1938 г. в журнале «Русские записки» (№ 7), а после включил в сборник «Далекое», вышедший в Вашингтоне в 1965 г.

Б. Зайцев не только, согласно традиции, завершил мемуары «пророческой» цитатой, но и вспомнил, как Белый трагически и «символически» читал стихотворение в доме С.А. Соколова, где группа литераторов собралась на Пасху. По словам Б. Зайцева, толкнула Белого к выступлению ссора с критиком А.А. Койранским:

> «Белый начал волноваться, по русскому обыкновению, разговор скакнул с пустяков к серьезному. Смысл бытия, назначение поэта, дело его... Койранский подзуживал, разговор обострился.
>
> И вот Белый впал в исступление. Он вскочил, начал некую речь — исповедь-поэму:
>
> Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.
>
> Последняя строчка стихотворения этого (ему принадлежащего) и была, собственно, главным звуком выступления. Тут уже и Койранский, и все мы умолкли.

Белый прекрасно, с трагической силой и пронзительностью изображал горечь, незадачливость и одиночество жизни своей. Непонимание, его окружавшее, смех, часто сопровождавший, —

Не смейтесь над мертвым поэтом:
Снесите ему венок.
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок[228].
. . . .
Пожалейте, придите;
Навстречу венком метнусь
О, любите меня, полюбите,
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь,
Вернусь...

Да, то же рыдательное, что и в лучших его стихах, — будто сложная и богатая, на горестную сумятицу и неразбериху обреченная душа томилась перед нами. Что странней всего: в Святую ночь! Когда особенно дано человеку почувствовать себя в потоке мировой любви, единения братского. А он как раз тосковал в одиночестве»[229].

Таким образом, в очерке Бориса Зайцева стихотворение Белого «Друзьям» стало предсказанием не только о смерти, но и о жизни поэта. Что же касается самой смерти, то здесь Б. Зайцев выступил достойным продолжателем своих предшественников-мифологов:

«Он уехал в Россию в плохом виде, в настроении тягостном. <...>

Но в России революционной все же не преуспел. Видимо, оказался слишком диковинным и монструозным.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел...

Да, в Крыму, в Коктебеле. Жарился на солнце, настиг его солнечный удар»[230].

У Зайцева было множество возможностей узнать, где и когда скончался поэт (например, из финала той же книги Мочульского, предисловие к которой писал и на которую ссылался в своем очерке). Однако он решил, что в случае с поэтом-символистом не бытие определяет сознание, а наоборот — поэтическое пророчество определяет место и время смерти. Причем смерть Белого Б. Зайцев еще и обставил псевдореалистическими деталями, позволяющими читателю въяве представить случившееся: его Белый умер мгновенно, на солнце, когда загорал...

Устоявшуюся версию, согласно которой Белый просил кого-то из друзей прочитать ему его же пророческое стихотворение, Б. Зайцев заменил историей с образком-оберегом, «символически» врученным писателю перед его отъездом в 1923 г. из Германии в Россию:

«На прощанье жена моя повесила ему на грудь образок Богоматери и сказала:

– Не снимай, Борис. И помни: будешь в Москве, поклонись ей, и Родине нашей поклонись. <...>

И лишь в самое последнее время дошла до меня весть, что на пораженном “солнечными стрелами” нашли тот образок, который Вера повесила ему на грудь в Берлине.

Богоматерь как бы не покинула его – горестного, мятущегося, всю жизнь искавшего пристани».

Трогательная история с образком-оберегом провоцирует литературные ассоциации. Невольно напрашивается сравнение этого эпизода из мемуаров Б. Зайцева с описанием могилы поэта в стихотворении «Друзьям»:

На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок.

Цветы на нем побиты.
Образок полинял <...>.

Б. Зайцев не процитировал строфу, в которой указано, что на могильном кресте помимо венка висит образок. Может, потому, что счел это лишним, несущественным. А может, наоборот, именно потому, что придуманный Белым в 1907 году образок так пророчески был похож на тот, который, по версии Б. Зайцева, нашли на «пораженном “солнечными стрелами”».

* * *

Миф о смерти поэта нашел отражение не только в мемуарной литературе, но и в поэзии. В 1944 г., к своеобразному десятилетнему юбилею трагического события, на смерть Белого откликнулся Вячеслав Иванов – в первом августовском сонете «Римского дневника»[231]:

В ночь звездопад; днем солнце парит,
Предсмертным пылом пышет Лев.
Спрячь голову: стрелой ударит
Любовь небесная – иль гнев.

Был небу мил, кто дали мерил
Кометным бегом – и сгорел,
Кто “золотому блеску верил”,
Поэт, – и пал от жарких стрел.
<...>[232].

Иванов в полной мере обыграл миф о «солнечной» смерти поэта и даже в значительной степени его усовершенствовал, отбросив все то лишнее, что ненужными подробностями могло затушевывать мифологему. У Иванова нет упоминания

о предсмертных просьбах Белого, потому что пророческий статус поэта не нужно подтверждать – это и так очевидно, нет ни Крыма, ни болезни, ни «последствий солнечного удара», как, впрочем, нет и самого «солнечного удара». Есть только мгновенная смерть от «солнечных стрел», причем беловское достаточно вялое «умер» Иванов заменяет энергичным «пал».

Однако наиболее показательным в ивановском стихотворении является, конечно, то, что юбилейный сонет-некролог приурочен к августу. Как и Б. Зайцев, Иванов предпочел фактам логику мифа, датировав кончину поэта не холодным январем, а летом, и, по-видимому, интуитивно, – самым жарким месяцем, августом[233].

* * *

Итак, миф о смерти Белого начал формироваться уже в январе 1934 г. и жил на протяжении нескольких десятилетий. Сложилось устойчивое видение поэта-пророка, предсказавшего свою смерть «от солнечных стрел» в стихотворении «Друзьям» и умершего от солнечного удара. Любопытным в этой истории представляется то, что этот миф циркулировал прежде всего в кругах русской эмиграции, для которой «заветы символизма» были актуальнее, нежели для людей из «советского» окружения Белого. Ни в одном из некрологов, появившихся в советской печати, «пророческие» строки Белого не приводятся. Это не удивительно. Удивляет то, что нет их и ни в одном из тех многочисленных откликов на смерть Белого, которые для печати не предназначались.

Белый умирал не в одиночестве. Сохранились дневники друзей и отправленные по «горячим следам» письма, в которых достаточно подробно передаются его последние желания и слова. Но просьба Белого прочитать стихотворение о том, как он «золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел», не зафиксирована ни в одном из известных нам источников, датированных 1934 г. Впрочем, в них вообще не отмечено желание Белого послушать перед смертью собственные старые стихи.

Более того, сам Белый, как видно из его последнего дневника и писем, рассматривал «солнечный перепек» не как сбывшееся пророчество, а как одно из несчастий в череде предшествующих и последующих. Вслед за ним так же восприняли коктебельский недуг и его друзья. Они тоже пытались понять, что произошло с Белым в Коктебеле, однако их мысль шла не в сторону мифологизации солнечного удара, а, наоборот, в сторону его депоэтизации, деромантизации. Так, Н.И. Гаген-Торн, подобно Ходасевичу, Цветаевой и другим создателям мифа о смерти Белого, отвергла поставленный врачами диагноз (артериосклероз) и заменила его своим. Однако замена производилась ею в прямо противоположном направлении – исходя не из логики жизнетворчества поэта-символиста, а, напротив, из новейших достижений науки: артериосклероз был заменен не поэтической смертью «от солнечных стрел», а прозаическим инсультом:

> «Все считали тогда, что в Коктебеле, где они с Клавдией Николаевной прожили лето у М. Волошина, у него был солнечный удар: так врачи говорили. В те годы еще не было опыта в распознавании инсультов. Врачи не поняли, что в августе, в Коктебеле, был первый, предупреждающий, удар кровоизлияния в мозг. <...> По

возвращении из Коктебеля Клавдия Николаевна умоляла его не работать, побольше гулять, как предписали врачи. <...> Не знали тогда, что неподвижность была нужна, а не прогулки»[234].

Было и еще одно существенное отличие. Если в эмиграции временной разрыв между коктебельским ударом и датой кончины поэта намеренно сокращали, то в России, напротив, упорно стремились найти истоки болезни в событиях, предшествовавших роковому коктебельскому лету: «Лечение слишком запоздало. Полтора-два года назад нужно было приняться за серьезное лечение. Удар в Коктебеле, по словам проф. Абрикосова, только ускорил неизбежную развязку»[235].

«Советским» друзьям Белого важно было не столько связать солнечный удар и смерть поэта, сколько, напротив, развести их во времени и пространстве. П.Н. Зайцев уверял, что здоровье Белого надорвали аресты антропософов в 1931 г., Спасский отмечал плохое самочувствие Белого еще с весны. В том же русле анализировала события и Гаген-Торн, виня в болезни ужасный полуподвал на Плющихе, в котором Белый был обречен жить.

Причины столь различного, диаметрально противоположного подхода к одному явлению понятны. В эмиграции известие о кончине Белого опередило известие о ее причинах, а потому даже и психологически так легко было воспринять солнечный удар и смерть как события одновременные. Для близкого окружения писателя между началом болезни и ее концом прошли долгие шесть месяцев, полные надежд, ожидания, отчаяния и горя.

Впрочем, нельзя сказать, что мифологема, заданная стихотворением Белого «Друзьям», вовсе не была востребована в России. Строки из «пророческого» стихотворения цитировали в своих мемуарах и П.Н. Зайцев, и Н.И. Гаген-Торн.

П.Н. Зайцев, однако, не заменил ими медицинский диагноз, как сделали это Ходасевич, Цветаева и другие, а вставил их прямо в пересказ врачебных мнений:

«Солнечный удар в Коктебеле был всего лишь толчком, ускорившим смерть, — как говорили до вскрытия врачи. А я уверен, что этот удар доконал его, и без конца вспоминал старые стихи из “Пепла”:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел»[236].

Нет сомнения в том, что П.Н. Зайцев знал на память множество стихотворений Белого, в том числе и это, столь подходящее «к случаю». Однако примечательно, что стал вспоминать он именно это стихотворение только в мемуарах, работа над которыми началась лишь в конце 1960-х. В более ранних записях упоминаний о смерти от «солнечных стрел» нет вовсе. Зато в поздних мемуарах рассказывается о том, что толчком к их написанию стало знакомство в 1966 г. с книгой Константина Мочульского об Андрее Белом...[237]

Ситуация с воспоминаниями Н.И. Гаген-Торн на первый взгляд кажется более запутанной. Она описывает свой визит к Бугаевым осенью 1933 г., прогулку с Белым по кладбищу Новодевичьего монастыря и последнюю беседу с ним, во время

которой — если верить мемуаристке — Белый сам назвал стихотворение «Друзьям» пророческим и сам прямо на кладбище прочитал ей строки, предвещающие скорую смерть:

> «— Но я так люблю солнышко, — улыбнулся он, — вот и перегрелся. Давние стихи мои могли оказаться пророческими:
>
> Умер от солнечных стрел...
> Мыслью века измерил,
> В жизни — прожить не сумел.
>
> Он как-то блеюще похихикал... Переконфузился... Может, потому, что за шуткой уже стояло у него ощущение конца?»

Верить в этот рассказ не очень хочется, хотя бы потому, что, как и в случае с П.Н. Зайцевым, в ее описаниях болезни и смерти Белого, сделанных в 1934 г., никакой мифологизации нет и в помине:

> «Заболел Борис Николаевич еще в Коктебеле, летом — было кровоизлияние в мозг, на почве склероза, но как-то никто этого не сумел определить и приписал солнечному удару. Всю осень были мучительные головные боли, а лечили от невроза»[238].

Нам представляется, что в мемуары Н.И. Гаген-Торн, как и в мемуары П.Н. Зайцева, пророческое стихотворение попало из эмигрантской литературы, благо возможностей ознакомиться с зарубежной прессой у нее было больше, чем у П.Н. Зайцева.

В целом же «советское» окружение» Белого придерживалось не мифологической, а социально-политической версии смерти поэта: потрясение, связанное с репрессиями против антропософов, ужасные жилищные условия и, главное, идеологический приговор, содержащийся в предисловии Каменева к «Началу века». Красивый миф о поэте-пророке, павшем «от солнечных стрел», созданный в январе 1934 г. и активно циркулировавший в среде русской эмиграции, в Россию проник лишь десятилетия спустя.

Источник «советской» версии смерти поэта нет нужды устанавливать — за очевидностью. Источник эмигрантского мифа определить невозможно, если следовать прямым указаниям его создателей, якобы получившим сведения о последней просьбе Белого от неких неназванных информаторов. Однако если этим указаниям не следовать, то источник оказывается на поверхности.

Сам Белый цитирует первую строфу стихотворения «Друзьям» в предисловии к мемуарам «Начало века». Сначала он вспоминает свое увлечение идеалами символизма и энтузиастическое переживание «зорь», а потом — разочарование и перерождение «собственных зорь: в золу и в пепел». В качестве иллюстрации того давнего состояния души и приводит эти строки:

> «В последующих годах я сдвинулся с мертвой точки: в себе; пока же мое стихотворение 1907 года есть эпитафия себе:
>
> Золотому блеску верил,
> А умер от солнечных стрел;

Думой века измерил,
А жизни прожить не сумел»[239].

Предисловие датировано февралем 1932 г. Контекст, в который погружена цитата, не имеет отношения ни ко времени написания мемуаров, ни, тем более, к предчувствиям будущего; речь идет о давно минувшем. Однако в авторском предисловии к «Началу века» есть все то, что породило миф о поэте-пророке: и строки, ставшие «диагнозом», и ключевые слова — «эпитафия себе».

Актуализации «эпитафии» безусловно способствовало то, что книга была напечатана непосредственно перед кончиной Белого. Только 25 ноября 1933 г. П.Н. Зайцев принес автору «пробный» экземпляр. Тираж поступил в продажу еще позднее. Первый отклик в советской прессе появился в декабре 1933 г., в эмигрантской — уже после смерти автора, вслед за некрологами и одновременно с ними. На фоне переживаний о здоровье писателя, а потом — горя утраты воспринимали «Начало века» первые читатели. Скорее всего, от кого-то из них и пришли в эмиграцию сведения о просьбе Белого прочитать перед смертью стихотворение «Друзьям». Вероятно, так в процессе передачи трансформировался пересказ авторского предисловия к «Началу века». Впрочем, значимости мифа это отнюдь не умаляет.

Трудно сказать, какая из версий смерти поэта предпочтительнее — эмигрантская или отечественная. Сторонники первой видели в Белом поэта-пророка, поэта-мистика. Сторонники второй — советского писателя, ставшего жертвой советской действительности, советской идеологии и травли со стороны Каменева. И те и другие были правы, так как обе версии в какой-то степени отражали реальность. Мифологическая версия оказалась красивее, глубже и, уж точно, жизнеспособнее. «Каменевская» — трагичней, безысходней и, по-видимому, правдивей. Впрочем, решать читателю.

* * *

Как справедливо отметил стихотворец другой эпохи, «поэт в России — больше, чем поэт». И всем известно, что смерть поэта в России больше, чем смерть поэта. Смерть Андрея Белого 8 января 1934 г. стала знаковым, шоковым и, можно сказать, переломным событием для российского культурного сознания (причем как для собственно российского, так и для эмигрантского). Она вызвала шквал самых разнообразных откликов — эмоциональных, аналитических, восторженных, ругательных и пр., которые до сих пор не были собраны, сопоставлены, проанализированы.

Громадный общественный интерес к смерти крупнейшего русского символиста подогревался каскадом политических скандалов, предшествовавших его смерти и сопутствовавших его похоронам: 1) погромное предисловие Л.Б. Каменева к мемуарам Белого «Начало века»; 2) некролог Б. Пильняка, Б. Пастернака, Г. Санникова в газете «Известия» (9 января 1934 г.), объявлявший Белого гением и основателем советской литературы; 3) опровержения этого некролога в русле «дискуссии о переоценке», начатой прямо у гроба по заданию Оргкомитета ССП, и т.д.

Похороны Белого стали апробацией будущего официального канона погребения советских писателей. Впрочем, начавшись как невиданное доселе торжествен-

ное мероприятие (приглашенные художники, оркестр, почетный караул и пр.), закончились они тоже чуть ли не скандалом; крахом завершились и масштабные планы по официальному увековечению памяти Белого.

Зимой 1934 г. полемика о значении личности и творчества писателя захватила советские газеты и журналы (центральные, московские, ленинградские, провинциальные, республиканские) и вскоре перекинулась в эмигрантскую и зарубежную печать, отозвавшись эхом не только в русском Париже, но и по всему свету (Италия, Финляндия, Великобритания, США, Шанхай, Харбин, Эстония, Литва, Латвия, Швейцария, Болгария, Чехия и пр.).

Проблема активно обсуждалась в переписке современников, их дневниках, записных книжках и мемуарах, написанных не десятилетия спустя, а по горячим следам и под свежим впечатлением. События, связанные со смертью Белого, нашли отклик и в поэзии (О. Мандельштам, Вяч. Иванов. П. Зайцев, Н. Гаген-Торн и др.), и в изобразительном искусстве (жанр «на смертном одре», «Синтетический портрет» Ольги Форш, портреты К.С. Петрова-Водкина и пр.)

В результате проявленного мировой культурной общественностью интереса к кончине русского писателя-символиста получили широкое хождение мифы о смерти поэта, причем «мифология» советского окружения разительно отличалась от «мифологии» русской эмиграции.

Смерть Белого стала стимулом к рефлексии общества над своим «вчера, сегодня, завтра». Разнообразные отклики на это знаковое событие сложились, как элементы мозаики, в картину, рисующую состояние русского общественного сознания середины 1930-х.

Смерть Белого – в отличие от смерти Маяковского, Есенина, Гумилева, Мандельштама, даже Пушкина или Лермонтова – это не детектив, требующий расследования и выявления интриги. Белый не погиб в лагерях, как Мандельштам, не был расстрелян, как Гумилев, не покончил собой при не вполне ясных обстоятельствах, как Есенин или Маяковский...

Смерть Белого более всего сопоставима по научной и культурной значимости со смертью его сверстника А. Блока в 1921 г. Только Блоку повезло чуть больше, потому что эпоха была чуть лучше и дань памяти Блоку (вечерами, заседаниями, воспоминаниями и сборниками) отдать оказалось гораздо проще. И тем, кто остался жить «после Блока», было много проще, чем тем, кто остался «после Белого».

«Когда умер Блок, я переживал то же самое, но почему-то легче. Вероятно потому, что тогда был не в одиночестве, но также и потому, что тогда нас было еще много», – признавался в письме (от 27 января 1934 г.) к М.М. Пришвину из саратовской ссылки Иванов-Разумник[240].

Теоретический анализ «смерти поэта» в российском и советском культурном пространстве, равно как и напрашивающееся сравнение смерти Белого со смертями Блока, Маяковского, Есенина, Горького и др. – тема другой, может быть, – следующей книги. Эта – только об Андрее Белом.

* * *

В книге представлены документы и отклики на смерть Андрея Белого, собранные преимущественно по архивам (государственным, частным, зарубежным) и по труднодоступным периодическим изданиям. Известные отклики (Ходасевич, Сте-

пун) даются не по позднейшим, «приглаженным» редакциям, а по газетным и журнальным публикациям 1934 г.

Особый интерес представляют переводные материалы (с итальянского, английского, немецкого, чешского, болгарского, латышского, грузинского, эстонского и др.). Материалы сопровождаются послесловиями и комментариями разной степени обстоятельности.

Наряду с публикациями в сборник также включены аналитические и обзорные статьи, посвященные рецепции смерти Белого в разных европейских странах, восприятию его кончины рядом писателей и деятелей культуры, а также некоторым проблемам увековечения памяти писателя (посмертная маска, посмертный сборник стихотворений и др.).

Большая часть публикуемых текстов датирована 1934 г. Однако в ряде случаев приведены и тексты, написанные позднее. Это письма и фрагменты воспоминаний, непосредственно связанных с тематикой книги.

Идея такого сборника родилась в 2004 г., когда в гостиной Мемориальной квартиры Андрея Белого (филиал Государственного музея А.С. Пушкина) к 70-летию смерти писателя была открыта небольшая выставка «Мгла — лишь ресницами рождаемые пятна...». Тогда нам показалось занятным и полезным, учитывая неизученность и важность экспонируемых материалов, выпустить их небольшой брошюрой. В ходе подготовки этой брошюры стало понятно, насколько мы недооценили значимость и масштаб темы. От идеи выпуска брошюры пришлось отказаться, а концепцию издания кардинально пересмотреть.

И тем не менее материал, помещенный в сборнике, нельзя считать исчерпывающим тему. Ряд материалов не вошел в книгу из-за большого объема. К тому же у составителей не было доступа к ряду важных зарубежных и отечественных архивов, не удалось получить некоторые раритетные газеты и журналы, какие-то материалы могли оказаться попросту пропущенными. Этих «белых пятен» было бы несравнимо больше, если бы не бескорыстная помощь тех, кто помогал выявлять, переводить и готовить материалы для книги, давал ценные советы и указания. Прежде всего это авторы сборника, откликнувшиеся на наш призыв. Это и сотрудники научных и рукописных архивов РГАЛИ, РГБ, РНБ, ГЛМ, ГРМ, ГАРФ, РАХ. Это и коллеги из Москвы, Петербурга, а также других государств. Это и владельцы частных собраний. Особая благодарность Т.В. Анчуговой, В.В. Аристову, А.Б. Арсеньеву (Сербия), Н.А. Богомолову, Э.В. и А.А. Вихревым, М.С. Гомозковой, Т.М. Горяевой, И.Б. Делекторской, В.П. Енишерлову, С.Г. Исакову, С.В. Казачкову, Л.Ф. Кацису, О.А. Коростелеву, Вальтеру Куглеру (Швейцария), А.В. Лаврову, Н.М. Мирошниченко (Украина), Л.И. Морозовой, А.Я. Невскому, Х. Раму (США), Л.А. Рязановой, Е.Н. Сильверсван, В.С. Спасской, Н.А. Стрижковой, В.Ф. Тейдер, Л.С. Флейшману (США), П.В. Флоренскому, Л.А. Шевцовой, Х. Шталь (Германия).

Представленные ниже отклики на смерть Белого разнятся между собой и по художественному уровню (от признанных шедевров мемуарной прозы до анонимных информационных заметок и откровенной журналистской халтуры), и по характеру оценки умершего поэта (от панегириков до погромных статей). Нам представляется, что для понимания характера эпохи и рецепции личности и творчества Белого необходимо и то и другое.

Различаются опубликованные в книге материалы и по характеру литературоведческого осмысления (аналитические статьи, обзоры, публикации ознакомительного характера). Это объясняется тем, что ряд текстов впервые вводится в научный оборот, чтобы стать предметом серьезного изучения в будущем.

Мы надеемся, что и весь этот сборник, по форме кажущийся собранием голосов давно ушедшей эпохи, будет воспринят не как извращенное копание в трупном прошлом, а как обращение к будущему. В знаменитом некрологе Пастернака, Пильняка и Санникова, опубликованном в газете «Известия» 9 января 1934 г., за кратким рассказом о жизни и творчестве Андрея Белого следует вывод и одновременно призыв: «Все это — поле для больших воспоминаний и изучений...» Думается, что эти слова не потеряли актуальности и сегодня. Для «больших изучений» и собрана эта книга.

И последнее. Напомним, что о сборнике, посвященном памяти Андрея Белого, в январе 1934 г. мечтали друзья покойного, но их мечтам тогда не суждено было сбыться. Можно рассматривать настоящее издание как реализацию той давней мечты в новых исторических условиях. Эта книга — дань уважения Андрею Белому и всем тем, кто берег память о нем.

---

[1] Из статьи «Скрябин и христианство» (1915). См.: *Мандельштам О.Э.* Сочинения: В 2 т. / Сост. и подгот. текста С. Аверинцева и П. Нерлера; коммент. П. Нерлера. М., 1990. Т. 2. С. 157.

[2] *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания. [Кн. 1] / Подгот. текста Ю.Л. Фрейдина; прим. А.А. Морозова. М., 1999. С. 185.

[3] *Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества с указанием использованных для нее источников. Авторизованная машинописная копия (ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 107).

[4] *Зайцев П.Н.* Последние десять лет жизни Андрея Белого / Подгот. текста и прим. М.Л. Спивак // *Зайцев П.Н.* Воспоминания: Последние десять лет жизни Андрея Белого. Литературные встречи. М., 2008. С. 178.

[5] *Спивак М.* «Мозг отправьте по адресу...»: Владимир Ленин, Владимир Маяковский, Андрей Белый, Эдуард Багрицкий в коллекции Московского Института мозга. М., 2010. С. 361. Здесь и далее цитируются материалы характерологического очерка, составленного сотрудником Института мозга Г.И. Поляковым.

[6] *Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества.

[7] См. дневниковую запись М.А. Волошина за январь 1932 г.: «<...> я стал задыхать<ся> от холодн<ой> темп<ературы> и от всякого движения. Мы оба с Марусей около 24 дек<абря> поехали в город к врачам. Славолюбов мне сказал: “Это не астма. Астма у Вас бронхиальн<ая>. Это ослабление мускула сердца”» (*Волошин М.А.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. Кн. 2: Дневники 1891–1932. Автобиографии. Анкеты. Воспоминания. С. 199).

[8] *Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества.

[9] НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 40. Ед. хр. 5. Л. 1. Фрагмент справки, выданной М.С. Славолюбовым, приводится Белым в письме в Президиум Оргкомитета Союза советских писателей от 5 сентября 1933 г.: «<...> настоящим удостоверяю, что т. Бугаев... страдает истощением нервной системы в резкой степени... считаю необходимым... значительное изменение в работе... при освобождении от всяких нагрузок» (цит. по копии из собрания Мемориальной квартиры Андрея Белого (филиал Государственного музея А.С. Пушкина).

[10] *Спивак М.* «Мозг отправьте по адресу...». С. 362.

[11] *Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества.

[12] Там же.

[13] Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933 / Сост., предисл. и коммент. Д.Г. Санникова. М., 2009. С. 166. Письмо Г.А. Санникову от 23 июля 1933 г. (В публикации ошибочно «2 июля».)

[14] Петр Никанорович Зайцев (1889–1970) – поэт, издательский работник, близкий друг и фактически добровольный литературный секретарь Белого.

[15] *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 178.

[16] *Гаген-Торн Н.И.* Последняя встреча. Из воспоминаний об Андрее Белом. См. в наст. изд.

[17] Из дневника Белого 1933 г. См. в наст. изд.

[18] Мемориальная квартира Андрея Белого.

[19] НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 40. Ед. хр. 5. Л. 3. В несколько сглаженном виде фрагмент справки, выданной И.Ю. Тарасевичем, приводится Белым в письме в Президиум Оргкомитета Союза советских писателей, написанном 5 сентября 1933 г.: «Бугаев Борис Ник<олаевич> страдает... артериосклерозом... и нуждается в полном отдыхе, систем<атическом> лечении и соблюдении режима» (цит. по копии из собрания Мемориальной квартиры Андрея Белого).

[20] Цитируется по копии из собрания Мемориальной квартиры Андрея Белого. См. также публикацию писем Р. Кийзом в «Новом журнале» (1976. № 122. С. 151–166).

[21] *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 183.

[22] Дневниковая запись от 19 марта 1929 г. Частное собрание. Ср. также свидетельство Г.А. Санникова: «Он легко ходил по комнате, неутомимо курил и курил. Дешевые папиросы его, 3-го сорта "Бока", беспрестанно погасали, и он ежеминутно чиркал спички, складывая все попадающиеся в руки коробки спичек в карман. Он говорил, делая перерывы, чтоб затянуться» (*Санников Г.* Лирика: К 100-летию со дня рождения поэта / Сост. Д.Г. Санников, А.В. Смирнов. М., 2000. С. 101).

[23] *Спивак М.* «Мозг отправьте по адресу...». С. 403.

[24] Копия «Кривой курения», сделанная К.Н. Бугаевой, хранится в Мемориальной квартире Андрея Белого. См. также таблицы, фиксирующие процесс борьбы с курением: НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 40. Ед. хр. 6.

[25] Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 245.

[26] *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 188.

[27] См. записи о прогулках: НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 40. Ед. хр. 6.

[28] Из дневника Белого 1933 г. См. в наст. изд.

[29] Из поэмы «Первое свидание».

[30] *О Блоке 1997.* С. 44, 71.

[31] См. письмо Н.И. Гаген-Торн Иванову-Разумнику от 21 января 1934 г. в наст. изд.

[32] Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 168 (Письмо К.Н. Бугаевой к Г.А. Санникову).

[33] *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 187.

[34] Там же. С. 187.

[35] Из письма П.Н. Зайцева Л.В. Каликиной.

[36] *Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества.

[37] *Санников Г.* Лирика. С. 91.

[38] В другом мемуарном фрагменте из записных книжек Г.А. Санников, напротив того, сообщает, что Белый даже 5 января 1934 г. хоть и говорил уже «медленно и тихо», но со-

хранил интерес к жизни, в том числе и к литературной: «радовался заснеженным деревьям» и «приветам», которые ему передавали Н.Н. Накоряков, Ф.В. Гладков, Б.А. Пильняк» (Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 244).

[39] *Санников Г.* Лирика. С. 91–92.

[40] Ср., напр., записанную Г.А. Санниковым фразу Белого: «Это механический мир». Или: «О парикмахере сказал: “он из Швейцарии”, но спохватился: “да что это я”» (Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 244–245; подробнее см. в дневнике К.Н. Бугаевой в наст. изд.).

[41] *Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества.

[42] См. в наст. изд.

[43] *Мочалова О.А.* Голоса Серебряного века: Поэт о поэтах / Сост., предисловие и комментарий А.Л. Евстигнеевой. М., 2004. С. 33. Поэтесса Ольга Алексеевна Мочалова могла слышать об этом от П.Н. Зайцева, с которым была хорошо знакома.

[44] *Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества.

[45] Из письма П.Н. Зайцева Л.В. Каликиной от 11 января 1934 г., см. в наст. изд.

[46] См. републикацию выступления Белого на Первом пленуме Оргкомитета Союза советских писателей 30 октября 1932 г. в кн.: Андрей Белый: Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации / Сост. Ст. Лесневский, Ал. Михайлов. М.: Советский писатель, 1988. С. 679–682.

[47] Подробнее см.: *Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006. С. 423–436 (гл. «“Социалистический реализм” Андрея Белого: история ненаписанной статьи»).

[48] «Литературный фронт»: История политической цензуры 1932–1946 гг. Сборник документов / Сост. Д.Л. Бабиченко. М., 1994. С. 9. Письмо датировано публикатором: «ранее июня 1933 г.». Однако, судя по содержанию, оно написано после Второго пленума Оргкомитета (12–19 февраля 1933 г.) и скорее ближе к началу весны, чем к началу лета. Стецкий Александр Иванович (1896–1938) – партийный деятель, в начале 1930-х – заведующий отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП(б). Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991) – секретарь ЦК ВКП(б), член Политбюро и Оргбюро ЦК, в то время фактически второй после И.В. Сталина человек в государстве. А.И. Стецкий курировал деятельность И.М. Гронского по организации союза писателей, а Л.М. Каганович – работу А.И. Стецкого.

[49] *Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 428.

[50] Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 110.

[51] Андрей Белый и П.Н. Зайцев. Переписка / Подгот. текста и прим. Дж. Малмстада // *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 538.

[52] Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 121.

[53] Там же. С. 128–129.

[54] Переписка Андрея Белого и Федора Гладкова / Предисл., публ. и прим. С.В. Гладковой // Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 764.

[55] Там же. С. 768.

[56] Там же. С. 768–769.

[57] Там же.

[58] Подробнее о деятельности Горького на посту Председателя Оргкомитета см.: *Флейшман Л.* Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005. С. 168–174, 253–315.

[59] *Горький М.* О прозе // Год шестнадцатый. Альманах 1. М.: Советская литература, 1933. С. 328–330.

[60] См. в наст. изд.

[61] Дневниковые записи за август 1933 г. Леопольд Леонидович Авербах (1903–1937) – критик, с 1928 по 1932 г. генеральный секретарь РАППа, в 1932 г., еще в период «председательства» Гронского, он был введен в Оргкомитет ССП, а с мая 1933 г. стал ближайшим помощником и соратником Горького по работе. Рапповца (и шурина фактического руководителя ОГПУ Г.Г. Ягоды) Л.Л. Авербаха Белый считал своим опаснейшим врагом.

[62] Там же. Запись за 12 сентября 1933 г.

[63] Этот карандашный рисунок и примечание К.Н. Бугаевой к нему находятся на обороте записей о сокращении выкуренных сигарет за август и сентябрь 1933 г. (НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 40. Ед. хр. 6. Л. 5 об.).

[64] См. воспоминания Л.И. Красильщик в наст. изд.

[65] Ср., например, в составленной К.Н. Бугаевой «Летописи жизни и творчества» Андрея Белого: «Октября 31. Был на заседании научной секции Горкома писателей. – Вечером диктовал главку “Бердяев–Булгаков” <...>. Ноября 3–4. Головные боли усилились <...>. Ноября 9. С мигренью выехал на заседание в ГИХЛ вместе с Г.А. Санниковым».

[66] *Бугаева К., Петровский А., [Пинес Д.].* Литературное наследство Андрея Белого // Литературное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 609. См. об этом: *Лавров А.В.* «Производственный роман» – последний замысел Андрея Белого // Лавров А.В. Андрей Белый: Разыскания и этюды. М., 2007. С. 279–305.

[67] О замысле статьи на тему «Социалистический реализм» см.: *Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 423–435.

[68] *Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества.

[69] Одна из справок, выписанных И.Ю. Тарасевичем, гласила: «А. Белый (Бугаев) страдает стойким нервным истощением, осложненным артериокардиосклерозом, и нуждается в лечении и полном отдыхе в течение ½ года» (1933. XI. 28). См.: НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 40. Ед. хр. 5. Л. 7.

[70] *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 181.

[71] *Бугаева К., Петровский А., [Пинес Д.].* Литературное наследство Андрея Белого // Литературное наследство. Т. 27–28. С. 617.

[72] См. преамбулу к комментариям А.В. Лаврова: *МДР 1990.* С. 442–446.

[73] Андрей Белый и П.Н. Зайцев. Переписка // *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 531–532. Выделено Белым.

[74] О закате его карьеры см. в статье И. Розенталя в кн.: Политические партии России: конец XIX – первая треть XX века: Энциклопедия. М., 1996. С. 237–238. Об издательской деятельности и руководстве издательством «Academia» см.: *Крылов В.В.* Л.Б. Каменев и издание пушкинского наследия. Вопросы текстологии // Эдиционная практика и проблемы текстологии. М., 2002. С. 135–137; *Крылов В.В., Кичатова Е.В., Попов В.А.* Издательство «Academia». Люди и книги. 1921–1938–1991. М., 2004. С. 64–112.

[75] Остается все же не вполне ясным, почему именно Л.Б. Каменев писал предисловия к книгам Белого, выпускаемым в ГИХЛе. Как следует из конспективной и тоже не вполне ясной записи Г.А. Санникова, этому решению предшествовали интриги и конфликты в издательстве и Главлите: «История с предисл<овием>: Происки Усиевич. Новое обсуждение в Главлите. Посылка книги на предисл<овие> Каменеву в Сибирь. Сдача предисл<овия> в набор» (Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 243). Елена Феликсовна Усиевич (1893–1968) – литературный критик.

[76] Андрей Белый и П.Н. Зайцев. Переписка. С. 528.

[77] Там же. С. 532.

[78] Там же. С. 529.

[79] Там же. С. 532 (Письмо от 14 июня 1933 г.).

[80] Там же. С. 529 (Письмо от 18 июня 1933 г.). Николай Никандрович Накоряков (1881–1970) – крупный издательский работник, директор ГИХЛа.

[81] Ср. конспективную и тоже не вполне ясную запись Г.А. Санникова: «<…> пред<исловие> было получено в то время, когда Б.Н. наход<ился> в Кокт<ебеле>. Мой интерес к предисл<овию>. Знакомство. Разговор с Фроловым о поправках. Присутствовали Казин, Вадецкий. На другой день на докладе К<аменева> записки Фролова и Вадецкого “сделаны изменения”» (Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 243). Фролов – один из руководящих работников ГИХЛа. Василий Васильевич Казин (1898–1981) – поэт, один из учеников Белого по литературной студии Пролеткульта. Подробнее об их отношениях см.: *Богомолов Н.А.* Андрей Белый и советские писатели. С. 315–318, Борис Александрович Вадецкий (1906–1962), писатель, переводчик.

[82] Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 132. (Письмо от 16 июня 1933 г.). Г.А. Санников ошибся во всех прогнозах: мемуары «Начало века» вышли в ноябре 1933 г., «Мастерство Гоголя» – уже после смерти Белого, в апреле 1934 г., на август 1934 г. был перенесен и съезд писателей.

[83] Запись за 20 октября 1933 г. См. в наст. изд.

[84] См. в наст. изд.

[85] См. в наст. изд.

[86] Книга находится в собрании Мемориальной квартиры Андрея Белого.

[87] См. в наст. изд.

[88] Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 243.

[89] См. в наст. изд.

[90] См. в наст. изд.

[91] Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 244.

[92] *Герштейн Э.Г.* Мемуары. СПб., 1998. С. 126.

[93] Там же. С. 50.

[94] *Мандельштам О.* Стихотворения. Проза / Сост., вступ. статья, и коммент. М.Л. Гаспарова. М., 2001. С. 206.

[95] Цитируется по газетной вырезке, сохранившейся в РГАЛИ в фонде Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии (Ф. 2474. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 1 об.).

[96] О продвижении Горьким Каменева в руководство Союза писателей см.: *Флейшман Л.* Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 283–285.

[97] «Будьте здоровы, дорогой товарищ». Письма М. Горького И.В. Сталину / Публ. А.Д. Чернева // Исторический архив. 2005. № 3. С. 10.

[98] Там же.

[99] *Чуковский К.* Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 555–556.

[100] Согласно рассказу В.Н. Топорова, он впервые услышал о существовании Андрея Белого из радиовыпуска новостей: передача начиналась информацией о том, как страна готовится к съезду, а завершалась сообщением о смерти писателя.

[101] ОР ИМЛИ РАН. Ф. 41. Оп. 1. Ед. хр. 436. Копия протокола имеется также в РГАЛИ (Ф. 631. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 65). См. недавнюю публикацию этого важного документа в кн.: Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР: документы и комментарии. Т. 1. 1925 – июнь 1941 // Руководитель коллектива Т.М. Горяева; сост. З.К. Водопьянова, Т.В. Домрачева, Л.М. Бабаева. М., 2011. С. 273–275.

[102] *Санников Г.* Лирика. С. 103.

[103] Мухитдин Турсун-Ходжаев, постоянный представитель Узбекской ССР при Совнаркоме СССР в Москве.

[104] *Санников Г.* Лирика. С. 103.

[105] Там же.

[106] См. об этом в дневнике Вихрева в наст. изд.

[107] Переписка Андрея Белого и Федора Гладкова //Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 764.

[108] Там же. С. 768–769. Письмо от 17 июня 1933 г.

[109] Из дневника Андрея Белого. См. в наст. изд.

[110] В 1920-х выступал в печати со стихами и прозой. См., напр., его сборники «Ненужная лирика: Смерть и любовь» (Полтава, 1922), «Вселенщина» (Полтава, 1922), «Книга о бронзе и черноземе» (Харьков, 1929) и т.п.

[111] Подробнее об этом см.: *Спивак М.* «Мозг отправьте по адресу...», а также далее в статье.

[112] *Санников Г.* Лирика. С. 103.

[113] *Пастернак Б.Л.* Полн. собр. соч.: В 11 т. М., 2005. Т. VIII. С. 711.

[114] См. о нем: *Разгон Л.Э.* Плен в своем отечестве. М., 1994. С. 306–309.

[115] *Санников Г.* Лирика. С. 103. Об изъятии из газетного текста некролога перечня имен классиков русской литературы, в ряду с которыми должно стоять имя Белого, см. ниже.

[116] Там же.

[117] О характере правки стало возможным говорить после публикации сыном поэта Д.Г. Санниковым чернового автографа некролога. См.: *Санников Г.* Лирика. С. 104–108; Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 211–216.

[118] Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 211.

[119] Там же.

[120] Там же. С. 214.

[121] «Он не был писателем-коммунистом, но легче себе представить в обстановке социализма, нежели в какой-нибудь иной, эту деятельность, в эстетическом и моральном напряжении своем всегда питавшуюся внушениями точного знания, это воображение, никогда ни о чем не мечтавшее, кроме конечного освобождения человека от всякого рода косности, инстинктов собственничества, неравенства, насилия и всяческого дикарства»; «В 1905 г. Андрей Белый – сотрудник социал-демократической печати. В 1914 г. А. Белый – ярый противник “бойни народов” (выражение Белого того времени). В 1917 г., еще до Октября, А. Белый вместе с А. Блоком – организатор “скифов”. Сейчас же после Октября А. Белый – сотрудник и организатор ТЕО Наркомпроса. Затем – руководитель литературной студии Московского Пролеткульта, воспитавший ряд пролетарских писателей. С 1921 по 1923 г. А. Белый за границей, в Берлине являлся литературным водоразделом, определившим советскую и антисоветскую литературы, и утверждением советской культуры, знамя которой тогда он нес для заграницы. Последние десять лет – напряженнейший писательский труд, пересмотр прошлого в ряде воспоминаний, работа над советской тематикой, к овладению которой он приближался в последних своих произведениях от тома к тому». (Там же.)

[122] Там же. С. 214.

[123] Там же.

[124] *Флейшман Л.* Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 198. Там же (С. 196–201) о некрологе, опубликованном на 9 января в газете «Известия», и бурной полемике с ним в советской печати.

[125] См., например: *Андрей Белый.* Поэма о хлопке // Новый мир. 1932. № 11. С. 229–248; *Он же.* Культура краеведческого очерка // Новый мир. 1933. № 3. С. 257–273; *Он же.* Энергия // Новый мир. 1933. № 4. С. 273–291; *Он же.* Жан Жорес // Новый мир. 1933. № 10. С. 123–133.

[126] *Андрей Белый.* Из книги «Начало века». I. Валерий Брюсов. II. А. Блок // Новый мир. 1933. № 7/8. С. 260–293.

[127] У Санникова ошибочно: Семех. Имеется в виду Яков Григорьевич Селих (1892–1967), журналист, издательский работник и партийный деятель; в 1920-х член редколлегии, с середины 1930-х по 1941 г. – зам. главного редактора, и.о. главного редактора газеты «Известия». О нем см. статью Станислава Сергеева «Из резерва главного командования» (Известия. 2006. 28 ноября; www.izvestia.ru/retro/article3097086).

[128] *Санников Г.* Лирика. С. 103.

[129] См. в наст. изд.

[130] *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 189.

[131] *Санников Г.* Лирика. С. 103.

[132] *Рест О.* Московский институт мозга // Правда. 1934. 19 сентября.

[133] Там же.

[134] Там же.

[135] *Спивак М.* «Мозг отправьте по адресу...». С. 9–108.

[136] *Жемчужникова М.Н.* Воспоминания о Московском антропософском обществе / Публ. Дж. Малмстада // Минувшее: Исторический альманах. М., 1992. Т. 6. С. 7–53. См. также: «Или к “Маскам” возможен иной подход?»: Из переписки Д.Е. Максимова и М.Н. Жемчужниковой / Публ. Н.И. Жемчужниковой // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 74–77.

[137] Копия письма хранится в собрании Н.И. Жемчужниковой.

[138] *Спивак М.* «Мозг отправьте по адресу...». С. 320–457.

[139] См. фрагменты из его дневника и записных книжек в наст. изд.

[140] *Санников Г.* Лирика. С. 109. Санников отмечает там же и время выноса тела из квартиры: «В «5 ч<асов> в<ечера> тронулись в Оргкомитет». Но, видимо, ошибается. В газетах неоднократно указывалось, что доступ к гробу в здании Оргкомитета ССП был открыт с 16 часов и что гражданская панихида началась в 18 часов. См. «Официальные извещения и соболезнования» в наст. изд.

[141] Там же. С. 90.

[142] Запись за 9 января 1934 г. См. наст. изд.

[143] *Пастернак Б.Л.* Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 710–711.

[144] См.: О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936) / Вступ. статья А.Г. Меца и Е.А. Тоддеса; публ. и подгот. текста Л.Н. Ивановой и А.Г. Меца; коммент. О.А. Лекманова, А.Г. Меца, Е.А. Тоддеса // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год: Материалы об О.Э. Мандельштаме. СПб., 1997. С. 52. Письмо от 21 мая 1935 г.

[145] Из дневника С.Д. Спасского. См. в наст. изд.

[146] Подробнее о них см. в наст. изд.

[147] Подробнее о нем см. в наст. изд.

[148] Из письма П.Н. Зайцева Л.В. Каликиной от 11 января 1934 г. См. в наст. изд.

[149] *Гаген-Торн Н.И.* Последняя встреча. Из воспоминаний об Андрее Белом. См. в наст. изд.

[150] Там же.

[151] Виталий Владимирович Косухин (1906–1933) – летчик-полярник, погибший при исполнении служебных обязанностей.

[152] Из письма К.Н. Бугаевой к Е.В. Невейновой от 2 февраля 1934 г. См. в наст. изд.

[153] См. записи П.Н. Зайцева в наст. изд.

[154] Сейчас – в собрании Мемориальной квартиры Андрея Белого.

[155] См. фрагменты из записных книжек Е.Я. Архиппова в наст. изд. Возможно, в перечень вкралась описка и имеется в виду Л.А. Бруни, но не исключено, что и его жена Нина Константиновна Бальмонт-Бруни.

[156] Из дневника С.Д. Спасского.

[157] Из письма П.Н. Зайцева Л.В. Каликиной от 11 января 1934 г.

[158] Вечерняя Москва. 1934. 10 января.

[159] Поэт Г.А. Санников вступил в ВКП(б) еще в 1917 г. В 1918 г. был комиссаром в Красной армии, в 1919–1920 гг. служил в районном штабе Политуправления войск внутренней охраны (сначала начальником литературно-издательского подотдела, потом комиссаром Московского сектора войск внутренней охраны). В то же время он занимался в Литературной студии Пролеткульта. С 1920 г. находился исключительно на литературной работе: был ответственным редактором журнала «Октябрь» (1926–1927), заведующим редакцией журнала «Красная новь» (1927–1931), ответственным секретарем и редактором отдела поэзии журнала «Новый мир» (с декабря 1935 г. по апрель 1937 г.). С 1931 по 1935 г. Санников официально числился в творческом отпуске.

[160] *Санников Г.* Лирика. С. 109.

[161] *Пастернак Б.Л.* Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 711.

[162] Из дневника П.Н. Зайцева.

[163] См. его дневниковую запись от 10 января 1934 г. в наст. изд.

[164] См. фрагменты из дневника Е.Ф. Вихрева и из записных книжек Е.Я. Архиппова в наст. изд.

[165] См. в наст. изд. Ср. с пересказом речи Пастернака в дневнике Е.Ф. Вихрева: «Пастернак: интересная бессвязная речь, в которой было сказано нечто об ударниках.

– В нашей необозримой, необыкновенной сумасшедшей стране есть десятки тысяч ударников. Андрей Белый был ударником духа. Десятки тысяч, так же, как и Андрей Белый, борются за зажиточность человеческого воображения...

Вот все, что запомнилось из речи Пастернака».

[166] *Санников Г.* Лирика. С. 90–91. Предполагается, что это – неотправленное письмо к Б.Л. Пастернаку.

[167] Персонаж романа «Москва». См. также в дневнике Е.Ф. Вихрева: «Траурный митинг открыл Юдин. Первым говорит Ермилов. Запоминается одна хорошая мысль: Мандро – это прообраз фашизма; в руках Мандро – Димитров».

[168] Эту «мемуарную» часть речи Ермилова пересказывали (одними и теми же словами) также газеты «Заря Востока» (11 января) и «Тифлисский рабочий» (11 января): «Ермилов привел слова покойного, которые ярко свидетельствовали о глубоких переменах, происшедших в его идейных концепциях. Говоря о советской культуре, Андрей Белый сказал: “Я включился в строительство не ложной буржуазной, а подлинной культуры”».

[169] *Санников Г.* Лирика. С. 109.

[170] Там же.

[171] Там же.

[172] Там же.

[173] «10-го в 11 ч<асов> я в Оргком<итете>. Юдина нет. Появл<яются>: Ерм<илов>, Суб<оцкий>, Кирш<он>, Юдин, Безым<енский>, Авербах, Кирпотин. Начинается заседание фракции Оргкомитета» (Там же). Лев Матвеевич Субоцкий (1900–1959) – литературный критик, партийный функционер, секретарь Оргкомитета ССП, зав. отделом литературы и искусства в газете «Правда»; Владимир Михайлович Киршон (1902–1938) – писатель, один из руководителей РАППа и – до ареста в 1937 г. – Союза советских писателей.

[174] Там же. С. 110.

[175] *Пастернак Б.Л.* Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 711.

[176] *Воронский А.* Марсель Пруст: К вопросу о психологии художественного творчества // Перевал: Литературно-художественный альманах. М.; Л.: ГИЗ, 1928. С. 341–352.

[177] См.: Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934. С. 291–318.

[178] См.: *Корнуэлл Н.* Джойс и Россия. СПб., 1998.

[179] *Санников Г.* Лирика. С. 110.

[180] Литературный критик. 1933. № 7. См.: «Русская Одиссея» Джеймса Джойса / Под общ. ред. Е. Гениевой. М., 2005. С. 87–88 (там же и другие высказывания Вишневского).

[181] См.: «Русская Одиссея» Джеймса Джойса – раздел библиографии.

[182] Там же. С. 64.

[183] *Горький М.* О прозе // Год шестнадцатый. Альманах 1. М.: Советская литература, 1933. С. 428–450.

[184] *Флейшман Л.* Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 198–199.

[185] *Санников Г.* Лирика. С. 110.

[186] Там же. С. 111.

[187] *Флейшман Л.* Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 200.

[188] Новая, невиданная литература. Выступление тов. П. Юдина // Литературная газета. 1934. № 6. 22 января.

[189] *Лейтес А.* Профессия: литератор // Там же.

[190] *Флейшман Л.* Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 200–202.

[191] Ср. запись за 18 февраля 1933 г. в дневнике М.М. Пришвина в наст. изд.

[192] «<...> Дорогой Иосиф Виссарионович! Ваше указание о прекращении т.н. пьянок будет мною проведено точно и неукоснительно. <...> У меня довольно часто собирались писатели, художники, артисты, композиторы, инженеры и др. представители интеллигенции. На этих вечеринках (если логично их так назвать) бывало довольно много коммунистов. Цель, которую я ставил перед собой, это посредством общения коммунистов с беспартийными и посредством бесед коммунистов с беспартийными обрабатывать беспартийных в желательном для нас духе, тащить их к партии. Достигал ли я той цели, которую ставил перед собой? Да, достигал. Большое количество беспартийных, колебавшихся в выборе пути, удалось перетащить на нашу сторону, что у писателей, например, отразилось на их произведениях.

Само собой разумеется, что на этих вечеринках мы не только вели разговоры, но и выпивали, не напиваясь, однако, допьяна. <...> Я прекращу всякие пьянки, но встречать-

ся с представителями интеллигенции я должен и вести работу среди них обязан. Выпивать я не буду совершенно, но уничтожит ли это сплетни, которые создаются буквально на каждом шагу? Думаю, что это сплетни не уничтожит. На сплетни я никогда и никому не жаловался, но когда они превращаются в метод борьбы, о них нужно сказать» (Письмо датировано: «Не ранее 15 мая 1933 г.». См.: Большая цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956 / Под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. Л.В. Максименков. М., 2005. С. 292–293).

[193] *Санников Г.* Лирика. С. 110–111.

[194] Там же. С. 111.

[195] См. публикацию «Из дневника незнакомца, найденного К.Н. Бугаевой в почтовом ящике», в наст. изд.

[196] *Санников Г.* Лирика. С. 111. Феоктист Алексеевич Березовский (1877–1952) – писатель, партийный деятель, с 1934 г. председатель Ревизионной комиссии ССП.

[197] Там же.

[198] Любопытно и даже занятно, что в «Экономической газете» 10 января, то есть в день, когда в Оргкомитете ССП разрабатывались меры противодействия крамольному «известинскому» некрологу, тоже появилась заметка об умершем Андрее Белом. Однако в редакции «Экономической газеты», видимо, не знали о возникшем накануне скандале и поместили панегирический некролог, выдержанный в духе написанного Пастернаком, Пильняком и Санниковым (и даже с прямыми заимствованиями из него). В «Экономической газете» 10 января, так же как и в «Известиях» 9 января, было объявлено, что творчество Белого «оказало огромное влияние на ряд русских литературных течений» и что «многие современные советские писатели являются учениками Андрея Белого». См. в наст. изд.

[199] См., напр., некролог Тициана Табидзе в наст. изд.

[200] Сейчас – в собрании Мемориальной квартиры Андрея Белого. Не вполне ясно, был ли этот комитет, состоящий на 90 процентов из действительно близких Белому людей, официально утвержден в инстанциях или же остался лишь в проекте, в мечтах и планах Зайцева. Однако сам Зайцев считал себя членом Комитета по увековечению памяти Белого и изо всех сил старался добросовестно делать на этой ниве все, что от него зависело, привлекая к поминальной деятельности близких Белому людей.

[201] Эдуард Багрицкий: Альманах / Под ред. В.И. Нарбута. М., 1936.

[202] В случаях, когда увековечению подлежала фигура серьезная и общественно значимая, то комитет (или комиссия) занимался также установкой памятников и памятных досок, присвоением имени усопшего улицам, городам, пароходам и т.п.

[203] Цитируется по сделанной Зайцевым машинописной копии письма.

[204] Список (текст рукой Н.Я. Мандельштам; заглавие, подпись, дата рукой О.Э. Мандельштама), именуемый в научном обиходе «зайцевским» или «абрамовским», после смерти П.Н. Зайцева был продан его внуком В.П. Абрамовым коллекционеру И.Ю. Охлопкову; потом был приобретен у него Государственным музеем А.С. Пушкина для фондов Мемориальной квартиры Андрея Белого, где и находится в настоящее время.

[205] См. дневниковую запись Зайцева в наст. изд. «22/1 был у О.Э. Мандельштама. Он передал свои стихи, посвященные памяти Андрея Белого, разбил их на три части».

[206] См. в наст. изд.

[207] Ср. письмо К.Н. Бугаевой к Г.А. Санникову от 30 апреля 1934 г.: «Вечер памяти намечен 14 мая. Но состоится ли – трудно сказать» (Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 170).

[208] РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 1. Ед. хр. 4686.

[209] Подробнее о стихотворениях Мандельштама «Памяти Андрея Белого» и особенностях «гихловского» списка см. в наст. изд. См. также: *Спивак М.* О «гихловском» списке стихотворений Мандельштама «Памяти Андрея Белого» // «На меже меж Голосом и Эхом»: Сб. статей в честь Т.В. Цивьян / Сост. Л.О. Зайонц. М., 2007. С. 347–358; *Она же.* О.Э. Мандельштам и П.Н. Зайцев (К вопросу об истории, текстологии и прочтении стихотворного цикла «Памяти Андрея Белого») // «Сохрани мою речь...»: [Сб. материалов] (Записки Мандельштамовского общества) / Ред.-сост. И.Б. Делекторская и др. Вып. 4. В 2 ч. М., 2008. Ч. 2. С. 513–546.

[210] Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 158. В архиве Д.Г. Санникова также сохранился еще один список тех, кто, по его мнению, мог бы стать участником цикла «вечеров воспоминаний» о Белом в Москве: «Пастернак, Санников, Мейерхольд, Пильняк, Гладков, Лидин, Зайцев, Накоряков, Шпет, Гроссман, Гронский, Эйзенштейн, Вишневский, П. Яшвили, М. Шагинян, Н. Полетаев, П. Орешин, В. Гольцев, И.А. Новиков». Список не датирован, но, судя по тому, что в нем фигурирует И.М. Гронский, он, скорее всего, относится к январю–февралю 1934 г. Трудно сказать, по какой причине в этот список не попал О.Э. Мандельштам, на выступление которого делал ставку П.Н. Зайцев.

[211] См. в наст. изд.

[212] Архив Д.Г. Санникова.

[213] Справедливости ради следует отметить, что книга мемуаров «Между двух революций», отданная еще при жизни Белого в «Издательство писателей в Ленинграде», все же вышла – в апреле 1935 г. (на обложке – 1934 г.). А ГИХЛ (Гослитиздат) в 1935 г. выпустил сокращенную редакцию романа «Петербург» (9 мая 1934 г.).

[214] См. об этом подробнее: *Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 454–465.

[215] См. в наст. изд.

[216] См. в наст. изд.

[217] Последние новости. Париж. 1934. № 21 (4687). 21 января. С. 4.

[218] См. в наст. изд.

[219] Мы не будем акцентировать внимание на многочисленных фактических ошибках, объяснимых недостатком информации. О том, что происходило в действительности, см. в начале статьи.

[220] *Ходасевич В.Ф.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 67.

[221] См. в наст. изд.

[222] *Ходасевич В.* Книги и люди. «Современные Записки». Кн. 55 // «Возрождение». 1934. 31 мая.

[223] См. в наст. изд.

[224] См. перепечатку: *Мочульский К.В.* Андрей Белый. Томск, 1997. С 237.

[225] Там же. С. 117–118.

[226] Сам К.В. Мочульский умер в 1948 г., так что не исключено, что примечание к изданию 1955 г. могло быть сделано не им, а, например, автором предисловия к книге – Борисом Зайцевым.

[227] У Мочульского – 17 июля, в реальности – 15 июля.

[228] Цитируется журнальный вариант стихотворения («Золотое руно». 1907. № 3), с опечаткой «Снесите ему венок», перешедшей и в самый распространенный в эмиграции сборник «Стихотворения» (М.; Пб.; Берлин: Издательство З.И. Гржебина, 1923). В сборнике «Пепел» (1909): «Снесите ему цветок».

[229] *Зайцев Б.К.* Сочинения: В 3 т. Т. 3. М., 1993. С. 360.

[230] Там же. С. 366.

[231] «Римский дневник 1944 года» был опубликован только в 1962 г. в сборнике Вяч. Иванова «Свет вечерний». Цит. по: *Иванов В.И.* Стихотворения. Поэмы. Трагедия. Кн. 2. СПб., 1995 («Новая библиотека поэта»). С. 184.

[232] См. подробный анализ откликов В.И. Иванова на смерть Андрея Белого в статье А.Б. Шишкина в наст. изд.

[233] Примечательно, что Иванов невольно убедил в своей версии и публикатора О. Дешарт. См. ее примечание в изд.: *Иванов Вячеслав.* Собр. соч.: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 4: «Вторая строфа вспоминает Андрея Белого, который еще в 1907 г. сказал про себя в стихах: "Я золотому блеску верил / И умер от солнечных стрел". Андрей Белый (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева) род. в 1880 г. и умер в 1934 г. – от солнечного удара» (С. 860).

[234] *Гаген-Торн Н.* Последняя встреча. См. в наст. изд.

[235] Из письма П.Н. Зайцева Л.В. Каликиной от 11 января 1934 г.

[236] *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 190.

[237] Там же. С. 193.

[238] Из письма Н.И. Гаген-Торн Иванову-Разумнику от 21 января 1934 г. См. в наст. изд.

[239] *НВ 1933*. С. 11.

[240] См. в наст. изд.

Моника Спивак

I

ХРОНИКА УМИРАНИЯ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

[ИЗ ПРЕДСМЕРТНОГО ДНЕВНИКА]

Дневник месяца
(август 1933 года)

Август 1933 года для меня во многом переломный месяц; до него — [все те — зачеркнуто] события, которые привели меня к кризису, в результате которого окончательно рухнули нервы; и выявилось то [нервное — зачеркнуто] истощение организма, которое подготовлялось в годах; я стал ощущать насилие во внешней жизни: как будто некая злая рука раздавливает все мои начинания. Внешний повод [предлог — зачеркнуто] — солнечный перепек; но он, по словам докторов Славолюбова[1] и Тарасевича[2], — лишь предлог к тому, чтобы выявилась давно подготовлявшаяся усталость.

Коктебель — вместо места отдыха оказался местом тягостнейших переживаний. Слет людей в июле превратил место отдыха в место мучений (Ермилов, проф. Десницкий, Асеев, Горбачев, Бродский и т.д.)[3]: я почувствовал себя точно в кулуарах ответственного съезда, мгновенно оброс людьми, интервьюировавшими меня о всех событиях литер<атурной> жизни.

Приехавши в мае в Коктебель, мы попали в очень милый кружок людей (гл<авным> об<разом> служащие ГИХЛа и ОГИЗа); наше общество: милый, добродушный еврей, Петито (зав. «Музо» Ленинграда)[4], музык<альный> критик Исламей[5], дочь Римского-Корсакова (Штейнберг)[6] с сыном зоологом и т.д.; единственно кто нарушал {...}[7] вынужденно пыхтеть разговорами (за утр<енним> чаем, обедом, пятичасовым чаем, ужином); за это время прошел перед сознанием ряд лиц: поэт Мариенгоф, оказавшийся милым[8], Ада Аркадьевна Губер[9] и т.д.

Поместили нас в отдельном домике, оказавшемся очень милым, наши соседи тоже оказались очень симпатичными; сперва жила с нами рядом чета Канторович (муж — художник с «Сибирякова»; жена — артистка[10]); потом поселилась чета Томашевских (он — стиховед, она — тоже)[11], с которой произошло удивительное сближение: редкая, счастливая встреча, о которой вспоминаешь с благодарностью. Когда мы уехали, комнату занял академик Десницкий. С июля начинается моя болезнь (солнечное отравление[12]): рвота, обмороки, головные боли, жар и т.д.; и с тех пор (полтора месяца) я провожу в непрерывном лечении и в ряде страданий на нервной почве.

Но наряду с неприятностями приходится отметить [необычайное — зачеркнуто] внимание ко мне со стороны писателей, издательств и ряда общ<ественных> организаций:

ГИХЛ идет навстречу всем моим потребностям: переиздает «На рубеже» и берется печатать «Между двух революций»[13]; Накоряков[14] выдвигает по-новому вопрос[15] о квартире, обращаясь с письмом к Матэ Залка[16] о том, чтобы мне предо-

ставили жилплощадь не на четв<ертом> этаже[17], И.М. Гронский прикрепляет меня к Кремлевской лечебнице, оказывает гостеприимство в «Новом мире»[18], и теплейше идет навстречу всем моим планам; ряд деятелей-коммунистов становятся прямо или косвенно на защиту меня от нападений Горького[19] (Гронский, Стецкий[20], как передают мне, Каганович[21] и т.д.); словом – я встречаю внимание и поддержку в партийных кругах[22].

Горький и Авербах – хмурятся на меня.

В настоящее время я продолжаю болеть, но предстоит уже ряд новых работ и заданий.

Дневник (сентябрь 1933 г.)

1-ое сентября.

Правка последних гранок книги «Мастерство Гоголя»[23]. Письма Томашевскому[24], Елене Николаевне[25], Ефимову[26]. За это время читал [в Коктебеле – зачеркнуто] Марселя Пруста[27], Валентина Катаева «Время вперед»[28]; Тихонова «Кочевники»[29], литературу о Коктебеле, Саразини[30], Губер[31] и др., письма Макса Волошина (к Оболенской[32] и т.д.), Гонкуров[33], Ставского[34], Кухтина[35] и т.д. (теперь читаю статьи и книги Томашевского), журнал «Красная Новь» и журнал «Новый мир» (летние №№), Анатолийские рассказы Павленко[36], Брет-Гарта «Рассказы»[37], Боборыкин «Китай-город»[38], Артем Веселый «Россия, кровью омытая»[39] и т.д.

Ставлю перед собой задание: попробовать вернуться к стихам (пойдет ли?). Вечером была Л.И. Красильщик[40].

2-ое сентября.

Вечером ждали П.Н. Зайцева, Пастернака и Паоло Яшвили[41]; узнали, что Паоло приготовил нам помещение в Цинондалах (в Кахетии) на октябрь; но ввиду сложности режима, предписанного мне доктором, решили отказаться от поездки[42]; забота о пьявках; письмо М.А. Скрябиной[43] (из Ленинграда): она дает полезные советы о том, как обходиться с пьявками. Мысли в связи со статьей Томашевского о Пушкине[44]. И.М. Гронский обещается прикрепить меня к кремлевской аптеке в виду болезни; ГИХЛ всемерно идет на все мои предложения: печатает трилогию «На рубеже», «Начало века» и «Между двух революций»; Накоряков обращается к Матэ Залка с просьбой устроить меня в квартире ниже 4-го этажа. Выходит закон о жилплощади для научного работника[45] (члена Це-ку-бу)[46]. П.Н. Зайцев имеет переговоры с издательством «Сов. Литература» (б. Федерация)[47]; в результате которых последняя возвращает мне книгу «Между двух революций» для передачи ГИХЛу[48]. Узнаю, что циркулирует слух, будто Каганович меня ценит, как писателя (то же отчасти и Стецкий)[49]. Словом: узнаю ряд приятных, но и отчасти тревожных новостей. Между прочим: съезд сов<етских> писателей откладывается на май 1934 г.[50] Вечером был В.О. Нилендер[51].

3-ье сентября.

Продолжаем ждать Пастернака и П. Яшвили. Прогулка утром по Арбату. В Москве уже несколько дней гостит Эррио[52]. Подписание пакта о ненападении и друж-

бе Италии с СССР. Мысли о Франции и Италии[53]. Все эти дни мысли о Дале и заумном языке[54]. Как и следовало ожидать, компания «поэтов» не появилась[55]; тем лучше.

Письмо к К.П. Гусевой (в ГИХЛ)[56]. Позднее пришел П.Н. Зайцев (кстати: напомнить ему о Ефимове)[57]. Длинный разговор с ним о намерении его работать в кинематографии[58]; потом появились Г.А. Санников с Еленой Аветовной[59]. Пили чай вместе. Г.А. усталый... удрученный, очень скептически относящийся к Эррио.

Между прочим: Г.А. сообщил мне, что ему передавал Гронский, что он разговаривал обо мне со Стецким — вот о чем, ускользнуло: о квартире или о прикреплении меня к кремлевской аптеке? Потом — гуляли.

4-ое сентября (понед<ельник>).

Утром Е.А. Санникова занесла оттиски статей[60]. Написал П.Н. Зайцеву открытку, чтоб его подбодрить[61]; гулял час и десять минут. Утром был П.Н. Васильев[62]; говорил, что я слишком усердствую с режимом; можно смело курить по 5 папирос в день.

Кончил, наконец, перечитывать собрание сочинений В.Г. Короленко; и стал убежденным поклонником этого писателя. Короленко читал я еще гимназистом; и к сожалению не возвращался к нему, но всегда любил. В перечтении сызнова пережил ряд худ<ожественных> наслаждений, открывших мне новые достоинства, сблизившие мне творчество этого писателя, как это ни звучит парадоксально, — с Гоголем; его воспев Украйны — чисто гоголевский; поражает утонченность звуковой метафоры; потрясает *«Слепой музыкант»*, поэма о цветном звуке; здесь показ цветного слуха утонченней абстрактных вещаний о нем и символистов, и научных трактатов. Явленья сюнэстетизма соединяют научную постановку проблемы сюнэстетизма с художественным ея показом: в деталях; поражает и краеведческая постановка всех проблем публицистики Короленко; он и публицист-художник; и художник, приподнявший знамя публицистики на недосягаемую для его времени высоту. Он в последней — не открытый своим временем Белинский; и в художестве он, в культуре образа тенденции, не открытый никем последователь тенденций Гете; в нем научная точность образа пересекается с воплощением в тенденцию; самая тенденция у него — живо действующий образ. Не забуду отныне моих вечеров, посвященных чтению этого замечательного писателя, странно забытого недавним временем.

Перед Короленко для меня блекнут, например, Тургенев, Лесков и ряд других наших мастеров-классиков.

Хочется воскликнуть: «Назад от Тургенева, Гончарова, Лескова! Вперед — к Короленко!»...

Клодя[63] опять переписывает 1-ый том стихов[64].

Милая моя детка.

Этот месяц окрасился мне «Москвоведческими» интересами: незаметно выросла новая Москва, пленяя взгляд деталями [новых — зачеркнуто] контуров; посещая тот или иной квартал, поражаешься вновь выросшими группами домов нового стиля; и рядом цветников, парков и парчков, украшающих недавние пустыри; так:

около Дорогомилова, — прекрасный парчок; берега Москвы реки незаметно превращаются в ленты зелени; везде — клумбы; Девичье Поле для нас с Клодей неожиданно явилось местом новых узнаний: из очень недурного громкоговорителя с утра до вечера — текут вести; он — точно [стенная — зачеркнуто] газета; и кроме того: подчас [великолепные концерты — зачеркнуто] недурно исполняются оперы, концерты, слышишь певцов; за эти две недели слушали серии песен, отрывков из опер и симфоний: слушали исполнение италианцами, певшими великолепно, отрывков из Верди, Леонкавалло и т.<д.>; слушали Чайковского («Евг<ения> Онегина»), Вагнера («Лоэнгрин», «Моряк Скиталец»[65] и т.д.); слушали отрывки из симфонии Шуберта; слушали цикл песен из «Winterreise» (Шуберт)[66]; и т.д. Иногда забывались до того, что часами просиживали перед трубой. Меня восхищает тот факт, что случайным посетителям «Д<евичьего> П<оля>» (гл<авным> обр<азом> рабочим) систематически прививают классическую музыку; и слух приучают к [музыке — зачеркнуто] «высокому стилю». Ни одной кафе-кабарейной мелодии, развращающей муз<ыкальный> слух буржуазного запада.

В какой стране это возможно? Клодя этим восхищена. Мы на прогулках изучаем новую Москву: недавно специально ходили под стены Кремля, осматривать великолепную аллею, которую разбили под нею; сейчас едем в район Садовой, ставшей, по словам В.Н.[67], за это лето — улицей-садом.

...Сейчас объездили Москву (кольцо «Б»); Садовая восхитила меня; от Кудринской площади почти до Таганки, — не улица, а зеленый бульвар; сняты заборы; выступили сады; тротуар идет порой сплошным садом[68]. Сад порой углубляется в зеленую древесную глубину.

5-ое сентября 33 г.

Утром повестка от Оргкомитета о заседании[69]; написал ответ[70], сбегал к П.Н. Зайцеву с целью узнать способы передачи ответа на повестку; говорил по телефону с В.Г. Лидиным[71] (он лично и передаст ответ)...

Сегодня пристально слушал Моцарта (играла Клодя); и стало ясно — в который раз: бетховенская драматика вся [уже звучит — зачеркнуто] в Моцарте (Гайден — [не то — зачеркнуто] [тут ни при чем])!..

Сейчас горячий компресс... Надоел этот проклятый режим; в одном отношении по уверению докторов я-де здоров физически, а *de facto* ½ суток уходит на преодоление ряда сюрпризов, которые устраивает тебе ежедневно организм... Здоров, а — ложись да помирай! Того нельзя, этого нельзя. Хуже неизлечимо больного!..

Месяц назад, попавши больным в Москву, перечитал *«Мартина Чезльвита»* Диккенса (читал его раз 6); а сегодня кончил перечитывать [«Крошку Дорр<ит>» — зачеркнуто] *«Лавку древностей»* (не перечитывал с детства); впечатление от Диккенса — огромно. Ясна мне преемственность Вальтер Скотт — Диккенс — Ибсен. Ей противоположна преемственность «Шинель» и «Нос» Гоголя — Достоевский —

Пшибышевский — Ремизов. Нельзя Достоевского выводить из всего Гоголя, а только из двух-трех бредовых рассказов последняго. Я всецело за первую линию против второй.

Вот уже 2 месяца, как попал в ежовые руки докторов; прошел сквозь «огонь и воду»; но результат анализа крови, мочи и т.д. — абсолютно благоприятен. Нет в организме никаких признаков почечных заболеваний, сахарной болезни, туберкулеза и т.д.; реакция Вассермана[72] гласит, что нет никаких признаков «дурной болезни»; сердце — очень недурно для моих лет и т.д. Уязвимая пята лишь давление крови (приливы на почве склероза, неизбежного в моем возрасте)[73]; вся суть — *в нервном истощении* (почва — изнасилованность сознания). Лечили: д-р Славолюбов в Коктебеле и профессор Тарасевич лечит здесь (так же и П.Н. Васильев, которому очень верю). Проф. Тарасевич выразился: «Благодарите родителей за то, что они подарили вам такой крепкий организм»; в этом повинен, конечно, отец: (Бугаевы — [порода — зачеркнуто] сильные люди).

6-го сентября 33 г.
Отвезли Лидину письмо...[74]

Клодя, — не могу о ней говорить! Крик восторга — спирает мне грудь. В эти дни моей болезни вместо нея вижу — два расширенных глаза: и из них — лазурная бездна огня[75] [либо участия — зачеркнуто]. Она — мой *голубой цветок*[76], уводящий в небо.

Родная, милая, бесконечно близкая!

За эти три года я думал не раз: есть же предел близости, створения души с душой! И — нет: нет этого предела! Беспредельно слияние души с душой для меня. «Я», мое «я» — только отблеск ея взволнованной жизни:

> Мой вешний свет, [цвет — зачеркнуто]
> Мой светлый цвет, —
> Я полн тобой:
> Тобой, — судьбой.

И —

> Редеет мгла, в которой ты меня
> Едва найдя, сама изнемогая,
> Воссоздала влиянием огня,
> Сиянием меня во мне слагая[77].

Моя милая подарила меня семьей; мне тепло с новыми родными; к Анне Алексеевне у меня чувство сына к матери; Ек<атерина> Алекс<еевна> пленяет трогательной добротой; с Влад<имиром> Ник<олаевичем>[78] уютно. Спасибо, родная, и за семью!

7-ое сент<ября> 33 года.

Три недели неизливные дожди; Москва-река [разлилась – зачеркнуто], как в дни половодья; Минск затоплен. Всюду наводнения (в Китае и т.д.). Точно перед потопом... Циркулируют слухи: мы-де под угрозой несущегося на нас небесного тела, могущего сжечь землю.

8-ое сент<ября> 33 года.

Был Гр<игорий> Алекс<андрович> Санников; принес номер «Нового мира», где напечатан его «Каучук» и мои отрывки из «Начала века»[79]. Передавал о том, что Гронский лично просил прикрепить меня к кремлевской аптеке Стецкого; и что это будет на днях исполнено. Рассказывал о вчерашнем заседании Орг-комитета; советовал мне шутливо «вязать чулок», пока мне нужно спокойное механич<еское> времяпрепровождение; пока чулка [еще – зачеркнуто] не вяжу, а опять принялся за краски; сижу и сочетаю их, как умею; и связываются неожиданные «*забавности*». Все эти дни разбита голова; и напрягаются жилы; совсем расклеился [голова – зачеркнуто], а холодная, плаксивая, мозглая погода держит взаперти; и у меня настроение – «сплинное»; выдумываем с Клодей предлоги к прогулкам. Так: сегодня выдумали идти к Любовь Исаковне, чтобы было к кому спрятаться от дождя. А дождь – моросит, моросит, моросит; и у меня продолжаются [какие-то – зачеркнуто] предпотопные настроения [переживания – зачеркнуто]...

Не забыть: говорить с П.Н. <Зайцевым> о худ<ожнике> Ефимове и о фотографе (горкомском)[80].

С прошлого года прошел ряд страданий и докторов; началось с гриппов (до пяти – один за другим); потом открылся сухой катар носоглотки (слушал горловик); потом бронхит, грозящий осложниться воспалением (3 недели); приехал в Коктебель полубольной; и тут – началось это все: страдание с пальцем (свернул ноготь), раздражение [воспаление – зачеркнуто] кожи, отказ от действия желудка, потом – солнечный перегрев с новой серией сюрпризов (голова, желудок, боли в пояснице, раздражительность, неугомонная повышенность всех пережив<аний> и т.д.), от которых не могу отделаться до сей поры (терапевт, невропатолог и т.д.).

Были у Любовь Исаковны: слушали Скарлатти и Баха; очень созвучны со многим в Л.И.

9-ое сентября 33 г.

Утром поставили пьявки и уложили на сутки в постель, запретив всякие занятия, чтение и т.<п.>: тяжелая, бессонная ночь. Письмо от Томашевской[81]; письмо от Спасского[82]. Был С.М. Кезельман[83].

10-го сентября.

Приехал Гладков[84]; шлет мне привет... Весь день возня с последствиями пьявок; ранки все еще кровоточивы; всякие предосторожности и т.д. Была Маргарита Твердова[85], приехавшая из Орла лечиться от предполагаемого рака. Была у трех

докторов; рака, по-видимому, никакого нет; опухоль на нервной почве от истощения, недоедания и нервной измученности; уходили ея мытарства с паспортной неудачей весною: в Москве; Пешкова[86] взялась хлопотать за нее; уезжает обратно в Орел[87], где она получила хорошее место. Не знаю, как кончились [разрешились – зачеркнуто] хлопоты А.С. Петровского[88] о разрешении ему оставаться в Москве: ведь он же ударник (работал ответственно на беломорском канале[89]); [у него – зачеркнуто] все данные, чтобы ему разрешили остаться (за него хлопочет Невский[90]); в случае неудачи едет в Ясную Поляну (у него ответств<енная> работа по редактированию «*Дневников*» Толстого[91]; и какая-то работа для «Academia»).

11-го сентября.

Чувствую явное облегчение после пьявок; опять закопошились эмбрионы мыслей; хотелось бы, если здоровье позволит, написать статью на тему «Социалистич<еский> реализм»[92]; придется ее диктовать милой; самому писать утомительно; процесс письма убивает всякую мысль (доказательство: убогость этих записей); стоит заходить и ходя высказываться, мысль вспыхивает; присядешь к столу; и на бумагу падают вялости, точно убитые в воздухе птицы; для вдохновения мне нужно двигать ногами; а без вдохновения, – мысли вянут; я – философ-перипатетик по существу; и не только сидеть, а даже стоять не могу в процессе мысли; нет, – я не «*сто́ик*»: «сто́а» – не для меня[93]; я гераклитианец, переключающий энергию своей мысли в аристотелианство, вопреки Ницше, столь боявшегося, почти до ужаса, Аристотеля[94]; но это внесение Диониса в диалектику производит во мне вечный эффект перерождения восприятий[95]: «ясное» становится мне «неясным», и становится «неясное» внутренне ясным; музык<альная> мелодия мне понятней ея программного прикрепления к какому-нибудь ясно-логическому объяснению; последнее всегда – «обидная ясность»[96], припахивающая разложением; рассудочные истины – продукт разложения; они не ходят, а – «стоят». Но то, что стоит, то – остановилось; а всякая остановка – падение «*вверх пятами*»[97] в далекое прошлое.

Пишу Машеньке Скрябиной открытку [письмо – зачеркнуто]: благодарность за «пьявочницу»[98].

12 сент<ября>.

Ужасно трудная, абсолютно бессонная ночь (в связи с состоянием желудка); опять – дурная голова; не слишком ощущаются пьявки; легкая опухоль на шее; даже досадно, до чего измельчал: внимание привлечено к [ощущениям – зачеркнуто] телу; все время непроизвольно прислушиваешься к собств<енным> ощущениям; все – признаки страшного, нервного истощения, о котором согласно говорили [мне – зачеркнуто] и терапевт, Славолюбов, и невропатолог, Тарасевич. Кризис нервов подкрался незаметно; все сходило с рук; и вдруг – «хлоп»; и все органы и все функции организма расстроились. Организм-де здоров (данные анализа); а чувствую себя умирающим. Тут все сказалось [имело значение – зачеркнуто]: и двусмыслица Ермилова (не его, а нажимающего пружины РАППа исподтишка Авербаха[99]), и маленькие гадости «Литературки»[100], и рапповцы[101], и... «Максимыч»![102] И в результате – слом организма. Если впредь мой искренний порыв «*советски*» работать и высказываться политически будет встречаться злобным хихи-

ком, скрытою ненавистью и психическим «глазом», — ложись, умирай; и хоть выходи из литературы: сколько бы ни поддерживали меня, — интриганы, действующие исподтишка, сумеют меня доконать!

Невеселые прогнозы о будущем моей литер<атурной> работы!

13-го сент<ября> (33 г.).

Был Петр Николаевич Васильев; играл Моцарта. Дал мне ряд медицинских советов (забастовал желудок); нам было очень хорошо втроем; и невольно вспоминались те уже далекие времена, когда нам было втроем невыносимо (максимум тяжести 1925 и 1926 годы); так радостно, что трагедия, длившаяся так долго[103], так радостно разрешилась: 1) мой разрыв с Асей[104] 2) наш антагонизм с П.Н. (из-за Клоди) 3) нерешительность К.Н. развестись[105] [с П. — зачеркнуто]. [Странно, но — зачеркнуто] Арест Клоди в 31 году[106] и моя вынужденность говорить с Аграновым *на чистоту*[107], — шаги, определившие развод для К.Н. и «Закс» <так! – *М.С.*> со мною; собственно, — нас навсегда соединило с Клодей ГПУ [с ма<я> 1931 года — зачеркнуто][108].

Милое письмо от Томашевского[109]; что-то радостное и сердечное протянулось от нас к чете Томашевских; {точно[110] отделению от четы «Разумников»[111] соответствует эта обещающая встреча с Томашевскими; период дружбы с Разумником 1916 год — 1921-ый?, с 23 года отношения не углубляются, а скорее с усилием поддерживаются: что не идет вперед, то падает, разлагаясь; и уже с 26-го года во мне крепнет протест против Иванова-Разумника. К 30 году я вечно про себя злюсь на «ослиное упорство» Разумника, а 4 месяца, прожитых у него в Детском в 1931 году, обернулись ужасом [гневом — вписано сверху] и <*нрзб*> негодованием. Все рухнуло между нами в октябре 1931 года. С 31 года он для меня «конченный» человек[112]; и жена его тоже}.

13-го сент <ября> (33 г.).

Вечером был П.Н. Зайцев и делился опытом этого лета по беседам о литературе, которые он вел в «Парке Культуры и Отдыха»; страшный интерес к литер<атуре> среди рабочих, красноармейцев. Частые вопросы о «Масках»; так: последний вопрос от какого-то красноармейца-мордвина [зачеркнуто: чуваша]: «Отчего “Маски” звучат так музыкально; и есть ли последователи моей ритмической прозы?»[113] Б.Б. Красин[114] предлагает прислать нам билеты на любую оперу и любой концерт.

14-го сент<ября>.

Вечером была Л.И. <Красильщик>; разговор о Листе, в связи с книгой о Листе, которую она занесла прочесть: «Peter Raabe. Liszts Leben». 1931[115]. Когда мы воспринимаем музыку, то трудно соединить Гайдна и Листа, Керубини и Вагнера и т.д. Что общего? Между — столетие! [Между тем: ведь было время когда — зачеркнуто.] Но Керубини, Гайдн, Шуман, Шуберт, Бетховен, Шопен, Лист пересеклись в моменте времени; каждый каждому был современник: Лист и Гайдн вместе, — звучит неправдоподобно. История в абстр<актном> восприятии и история фактическая несоизмеримы: если бы я жил в обратном порядке, не с 1880 года до

1933-го, а с 1880 года до 1827 (188<0>–53), то меня отделяло бы от декабр<истского> восстания два года. Время [Понятие о времени – зачеркнуто] субъективно. Письмо Томашевскому[116].

15-го сент<ября> 33 г.

П.Н. Зайцев читал свою статью для «Молодой гвардии»[117]. Новый сюрприз: нарывчик на руке; повязки и т.д. Прицепились-таки ко мне всякие пакости!

16-го сент<ября> 33 г.

Был Г.А. Санников. Меня не застал. Зайдет на днях. Сегодня чистят[118] Ермилова.

17-го сент<ября>.

Была М.А. Скрябина (условиться, когда мы к ним). 3-ьего дня был Г.А. Санников, сидя без меня с Клодей, высказывал ей очень много теплых сердечных вещей; и еще: удивлялся тому, какая мы с ней радостная, дружная сердечная пара; он намекал, что редко бывает такая любовь, как между мной и Клодей [нами – зачеркнуто]: мы во всем – одно; и нас нельзя разделять: К. живо видна во всем том, что я пишу.

18-го сент<ября>.

С упорством, достойным лучшего применения, Орг-Комитет бомбардирует меня требованиями явиться *обязательно* на то или иное заседание, не имеющее ко мне прямого отношения; и это вопреки двум моим заявлениям о том, что на 2–3 месяца я вынужденно выключен из всякой работы; я привожу ссылки из справок докторов, запрещающих мне работать; ряд участн<иков> Орг-Комитета знают о моей болезни; Фадеев пишет: «Отдыхайте спокойно»[119]; Гронский обещает прикрепить к Кремл<евской> Аптеке. И вопреки этому, именно после 2-х моих заявок о невозможности бывать на заседаниях, – повестки с почти угрожающими требованиями: «Ваше присутствие необходимо». Бюрократизм налицо и здесь. А.А. <Алексеева> подала прошение за Е.Н. <Кезельман>[120].

Мои головные боли, вопреки лечению, пьявкам и т.д. угрожающе подчеркнуты. Если так далее будет продолжаться, то я – калека; работать и отбывать повинность при такой голове немыслимо!

20-е сент<ября> 33 г.

Была Елена Аветовна; передала от Г.А. Санникова: буду прикреплен к кремл<евской> аптеке на ближ<айшем> заседании Орг-ком<итета>; пока: рецепты будут подписаны в Орг-комитете. Мало кого вижу. Вчера должны были провести вечер у М.А. Скрябиной; но так занехотелось, что послали открытку с объяснением, что мне неможется (и это – правда: вчера болела голова). Начинаю продумывать 2-ую часть «*Между двух революций*»; вероятно, к мемуарам и перейду.

Вчера приятные слухи от Л.В.[121]: О.Н. Анненкова[122] освобождена. Будто бы Винавер[123] советует всем антропософам, отбывающим наказание, подавать прошения; сейчас-де в принципе решили ликвидировать дело об антропософах. Исключение – Моисеевы[124], как виновники процесса; и это – правда: только они обра-

зовали кружок [<*нрзб*> в агитацию – зачеркнуто]; и подвели под процесс 20 с лишним невинных людей[125]. За Е.Н. <Кезельман> уже подала прошение Анна Алексеевна (третьего дня).

Читаю «Большие ожидания» Диккенса (не перечитывал с детства).

23 сент<ября> 33 г.

Приглашение на собрание нашего строит<ельного> кооператива; вместо меня был П.Н. Зайцев, который сегодня доложил: по требованию Моссовета наш дом должен быть готов к середине ноября; и по заявлению Матэ Залка он готов будет[126]. Получил письмо от поэта Рождественского и снятые с нас карточки[127]; ответил ему. Вчера начал диктовать Клоде начало второй части «Между двух революций»[128]. Клодя виделась с Тарасевичем третьего дня[129]; и он подтвердил ей: лечение мое пока – режим; и – больше ничего.

Читаю на сон грядущий Дюма.

---

24 <сентября>.

Опять мигрень. Весь день плохо себя чувствую.

25-ое сент<ября> 33 г.

Отчаянное пробуждение: дикая мигрень. Был П.Н. Васильев, осматривал. Никуда не выходили. Вечером были С.М. Кезельман и Ишеф – из Лебедяни; передавал привет от Елены Николаевны. Вечером вторая, отчаянная вспышка мигрени. Потерял всякое равновесие; представилось, что – воспаление мозга. Вспыхнула зубная боль; заполаскивал рот шалфеем.

26-ое сент<ября> 33 г.

Вчера легли в 12 ч.; и встали в 12 часов. Неожиданно для себя много спал; помогли компрессы на голову, горчишники на затылок и горячая вода к ногам. Но остатки мигрени еще угрожают вспыхнуть.

27-ое сент<ября> 33 г.

Сегодня появился радостный, поюневший А.С. Петровский: «Я теперь полноправный; вот – паспорт, для проживания в Москве». Паспорт был готов ему уже 8-го сентября, а он – томился: «Еду в Ясную, – нагуляться в лесу: тянет в природу». Мы бурно ликовали с ним. Вечером был Г.А. Санников: посидел недолго; зайдет 29-го.

29 сент<ября> 33 г.

Вчера П.Н. Зайцев завез приглашение от Б.Б. Красина на «Пиковую даму»[130] (он, Красин, знает, как я эту оперу люблю); сегодня с Клодей явились в Большой театр; нас провели в директорскую ложу; Б.Б. встретил [любезно – зачеркнуто] весьма тепло и дружески; сам провел нас на наши места; и приходил к нам в антрактах; он приглашал меня [сделать – зачеркнуто] на получасовую беседу с артистами (на тему о литературном сегодня); я дал обещание, что, когда поправлюсь, постараюсь эту беседу провести. Мы с Клодей с большим наслаждением слушали

оперу. Б.Б. обещал нам в близком будущем приготовить билеты на «Псковитянку»[131]. Отправили открытки Томашевским[132]. Милый привет от Накорякова.

30 сент <ября> 33 г. Москва.

Была Нина Ив<ановна> Гагенторн[133], заехавшая по делам в Москву; очень звала нас к себе, в Ленинград. Завтра заедет к нам. Ночью опять томился (мигрень).

Октябрь 33 года.

1-ое октября 33 г.

Была Н.Ив. Гагенторн[134]. Те же ужасные гол<овные> боли. Вечером был у проф. Тарасевича[135]; жаловался на головн<ые> боли. Тарасевич: «Вы поправились». Каково было это слушать, кривясь от боли! Прописал электризацию токами высокого напряжения. Вечером и ночью – адские муки.

2 окт<ября>.

Адские боли; утром П.Н.[136]; потом В.С. Марсова[137]: осматривала голову; ея резолюция: «Не электризация, а массаж». Посылает меня к доктору Хорошко[138]. Ночь – мучение.

3 окт<ября>.

Утром П.Н. Васильев; в первый раз принял пилюли от головы (рецепт Тарасевича); стало как будто лучше; боль в боке. Оказалось, что не бронхит. Был Влад<имир> Алекс<андрович> Архангельский[139]; он устроит мое свидание с Хорошко. За последние пять дней переживал агонию; думал, что не выдержу болей, что это – конец.

4 окт<ября>.

Легче голова. Ночь – абсолютно бессонна: лег в 12 ч<асов>; до 6-ти ни минуты сна; в шесть пил кофе; с 6 до 7½ томился; к 8-ми – заснул; сквозь сон разговор с П. Ник., встал в 12½ (5-го).

5-го октября.

Гуляя, пошел навестить Санникова; застал все семейство перед дверью: они переехали[140]; шутливо поздравил их, назвав себя делегатом от Москвы. Была Ирина Ник<олаевна> Томашевская (проездом). Получил в подарок Державина и Дениса Давыдова[141].

6-го октября.

Был профессор Хорошко; любезно он сам навестил меня, вместо того, чтобы мне к нему тащиться; просидел более часу: «исследование» меня носило характер разговора; выслушал историю моей болезни, исследовал, расспрашивал о моих привычках, вкусах, быте. Относительно режима в общем не строг, но очень опечалил тем, что почти потребовал, чтобы я приучался к тому, чтоб вовсе бросить курение; электризацию отклонил, предписав массаж В.С. Марсовой. Вечером была Даня[142]; часов в 10 я пошел к Санниковым; сидели втроем страшно усталые. Чем

более я устаю с людьми, тем блаженней мне с милой, которая тоже склоняется к тому, чтоб ей бросить курить.

7 окт<ября>.

Тихий день; сегодня курил 1 папиросу 11 часов (с 10-ти до 9-ти): это шаги к ликвидации курева. Заходил А.С. Петровский, тоже бросивший курить. Написал письмо Томашевскому[143].

9 окт<ября>.

Была Ирина Ник<олаевна> Томашевская; сидела долго: весь вечер.

10 окт<ября>.

Была В.С. Марсова; делала впервые мне массаж головы. Вечером с Клодей сидели у Санниковых: сидели вчетвером; и опять-таки: очень усталые; впечатление, что нам вчетвером нечего делать друг с другом. Е.Н. <Кезельман> получила в Лебедяни паспорт.

11 окт<ября>.

Был С.М. Кезельман. От Санникова известие, что [в принципе — зачеркнуто] прикрепление к кремлевской аптеке состоялось[144] (ох, уж это прикрепление: что-то неладное с ним).

12 окт<ября>.

Дал Санникову доверенность на получение денег[145]; все дни пытаюсь работать; работа пока движется вяло. Был Николай Васильевич Кузьмин[146], художник: пришел просто так, — навестить. Все эти дни курю приблизительно по 1½ папиросы в сутки; и уже замечаю, как дыхание мое изменилось, очистилось; [очень — зачеркнуто] хочется вовсе бросить курить.

13 окт<ября>.

Был Влад<имир> Алекс<андрович> Архангельский (от Марсовой): сказать, что Марсова просит отсрочить массаж. Открытку К.С. Петрову-Водкину[147].

14 окт<ября>.

Была Мария Серг<еевна> Зайцева[148]: с запиской от П.Н.[149] Пошли в Девичий монастырь, чтобы подать бумагу с просьбой восстановить ограду на могиле отца, поставленную отделом Охраны памятн<иков>. У входа в монастырь слышу возглас: «Андрей Николаевич?» Поворачиваюсь — симпатичный юноша в очках: «Я по вопросу о могиле» — «Я несу вам бумагу». Мы пошли к могиле; юноша рассыпался в деликатностях: «Как же, — могила известного математика и притом отца Андрея Белого[150]. Мы поставим новую ограду, пошире: хотите включить в ограду это дерево, с которым, вероятно, связаны воспоминания?» Я: «Весьма признателен». Это был заведующий охраной могил, намеченных к сохранению, Иван Иванович Пожарский, литературовед; его товарищ, Иогансон, участвовал в прениях на моем реферате о Гоголе[151]. Я пригласил его с Иогансоном к себе. Оставил очень милое впечатление; поразила чуткость к памяти об отце; и деликатность его ко мне.

18 окт<ября> 33 г.

Были на кладбище; с могилой отца слажено; И.И.Пожарский любезно помог все оформить; а после свел нас к могиле Аллелуевой <так! — *М.С.*>; памятник великолепен[152].

Письмо от Гагенторн, что высылает лекарство.

20-го <октября>.

Вечером были Паоло Яшвили и Пастернак; Пастернак читал свои переводы из Паоло и Тициана Табидзе[153]; делились своими впечатлениями от ужасов фашизма[154]; с поэтами была жена профессора Асмуса[155], у которого я был в Киеве [в эпоху, когда я жил у кузин в Киеве[156] — зачеркнуто]; потом появился П.Н. Зайцев прямо из ГИХЛа (с чистки Санникова); Санников прошел победоносно; его очень тепло поддержали Гладков и Накоряков. П.Н. принес Гоголя (верстку) со статьей Каменева о книге; статья вполне приличная, приятная для меня[157].

21-го окт<ября>.

Сегодня был у Санникова: поздравил его. Он мне сказал: на днях Гладков, Кирпотин[158] и еще кто-то были приняты Булганиным, председателем Моссовета[159], как делегация от писателей; вдруг Гладков обратился к Булганину со словами обо мне (я-де значимый писатель, и живу в ужасных квартирных условиях: нельзя ли мне квартирно помочь); Булганин де очень тепло отнесся к словам Гладкова, обещал подумать обо мне. Спасибо Гладкову! От Гагенторн пришло лекарство. Извещение от Кремлевской аптеки (из «Оргкомитета»).

22-го окт<ября>.

Четвертый день боли в низу живота; ставлю грелки, пью белладонну. Сегодня Клодя написала открытку П.Н. <Васильеву>. По-моему, моя болезнь не перепек, не желудок, а именно чередование болей; как утихает одна, поднимается другая; заключаю из этого, что источник болезни — скрытый. Надоело это: вся весна, все лето, вся осень — чередование болей, метаморфоза болей!

23 окт<ября> 33 г.

Сегодня 5-ый массаж у Варвары Сергеевны <Марсовой>; пока что — массаж облегчает. Легче с болями в низу живота.

24 окт<ября> 33 г.

Был у Гр. Алекс. Санникова; разговор о кремлевской аптеке и о том, как «чистили» Воронского, Накорякова, условились встретиться сегодня на вечере «Оргкомитета», да мы с Клодей не пошли, чтобы не простудиться в холодных стенах; [сегодня — зачеркнуто] заходил П.Н. Зайцев, которому передал набор книги «М<астерство> Г<оголя>»; он говорил, что дней через 10 выйдет «Начало века» (пробный экземпляр)[160].

25 окт<ября> 33 г.

Был П.Н. Васильев: боли в низу живота оказались скоплением газов; есть толченый березовый уголь[161].

26 окт<ября> 33 г.

Сегодня минуло мне 53 года[162]; утром в постель принесла мне милая подарок от старушек[163]: вкуснейшие яблоки и две груши. Я страшно растрогался: столько в этом жесте было доброты и нежности; и Милая — чудо, а не человек; столько ласки, милой детскости; днем была Даня: пришла поздравить. Невеселые мысли о Г.А. <Санникове>; и вообще: невеселые мысли; у меня впечатленья: что меня под предлогом моих записок, писанных учреждениям, с указанием на запрещение мне работать, — уже сдали в архив; все очень обрадовались, что можно сбыть Андрея Белого: он же ведь уже продемонстрировал в пользу Советской власти; с него сорван магарыч; какой же вообще от него прок? Трудно отстаивать искусство там, где слишком много медных лбов; медные лбы не прошибаемы, как Кирпотин; пока бьешь по меди, ноги твои кусают ползающие ядовитые змеи (Авербахи); ни с медными лбами, ни с ехиднами мне борьба не под силу. И стало быть: надо с достоинством опять перейти на свое кучинское житие; за два с половиной месяца я выслушал столько приятных слов, мне переданных, что если бы хоть $^{1}/_{100}$ этих слов осуществилась бы, я жил бы как у Христа за пазухой; а жизнь наша — стоны: «*жалует царь, да не жалует псарь*»!

27-ое <октября>.

Был Григорий Алекс. Санников, передавал, что Гладков очень поддержал мой план приготовить для «Нового Мира» отрывки воспоминаний под стиль повести, но советует мне зайти в «Известия»: переговорить с Гронским.

29-ое <октября>.

Был утром П.Н. Васильев с радостной вестью; у него вчера родилась дочь; он хочет ее назвать Ириной. Вечером был у Марсовой; спрашивал про боли в ночь на 29; она полагает, что боль — еще не реакция, а просто от сырости. Хотел пойти на квартирное совещание при Оргкомитете, но побоялся [сырости — зачеркнуто] погоды.

30-ое <октября>.

31-ое <октября>.

Был на заседании, устроенном Горкомом С <оюза> П<исателей>; в нем собиралась секция научн<ых> работников, впервые организующихся под эгидой председ<ателя> Ефремина[164] (секретарь Благой[165]); происходили выборы «головки» (будущего совета); меня разглядели; из президиума послали Благого спросить, согласен ли бы я был, если бы меня выбрали в руководящую головку; я согласился; огласили кандидатов в будущий совет вместе с Ефреминым, Добрыниным, Благим, М. Шагинян, И.Н. Розановым, Усиевич[166] и прочими (до 17 человек); меня выбрали единогласно; после чего меня пригласили в Горком; и предлагали работать там. Я дал принципиальное согласие, указавши, что сперва надо сбросить с себя болезнь. Все очень внимательны ко мне. После этого был Г.А. Санников и выражал свой восторг перед «Между двух революций»; он читает рукопись сейчас вместо Гладкова, шла речь о переработке ея для «Нового Мира»; по-видимому, придется о рукописи скоро говорить с Гронским[167].

Отметки для памяти (ноябрь 33 года).

3 ноября.

Был у Гр. Ал. Санникова: рассказывал свой разговор в ГИХЛе о третьем томе моих воспоминаний: ГИХЛ-де должен их печатать[168]. Накоряков не имеет ничего против, Бахметьев[169] – очень за; лишь Фролов[170] сомневается. «Федерация»-де почему-то отказывается печатать; но решающее мнение – печатать. 9-го собираемся в ГИХЛе обсуждать, как должна себя вести делегация ГИХЛа к Молотову[171]; состав делегации: Накоряков, Фролов, Санников, Гладков, Бахметьев, я; разговор: эмансипировать ГИХЛ от ОГИЗа, вмешивающегося неправомерно в деятельность ГИХЛа[172]; следствием разговора может быть дальнейшее путешествие нас к Кагановичу, а может – и к Сталину.

6-ое ноября.

Получил анкету о жилищных условиях от Крутикова[173]. На каком основании? Не есть ли это следствие разговора Гладкова с Булганиным? Посоветоваться с Санниковым.

9-го – 14-го <ноября>.

Роковой день. Утром был у Санникова, ожидая автомобиля из ГИХЛа; вот он: поехали за Гладковым; лютый холод, дикая мигрень, гололедица. Санников и Гладков собирались было вернуть меня домой, но чувство долга пересилило. Поехали в ГИХЛ. Встреча с Накоряковым, Фроловым, Пришвиным, Ляшко[174], Бахметьевым и другими; собралось человек 15-ть; под конец оказался Ермилов. Мучительно заседали; все согласно решили рвать с ОГИЗом; выяснилось, что ГИХЛ идет на революцию высвобождения от системы ОГИЗа. Я развил мысль, что писателю ГИХЛа нужно войти в ГИХЛ до дна, качественно с ним слиться; ему надо линию своих выступлений слить с деятельностью ГИХЛа, а ОГИЗы и подучреждения лишь тормозят и издательство, и творчество писателей[175]. Решали принципиально, к кому идти: к Молотову, Кагановичу или Самому Сталину. Решили идти к Сталину. Кому? Пусть это решит комиссия. В 3 часа мы с Гладковым начали пробираться к автомобилю; ГИХЛ оказался отрезанным похоронами Катаямы[176]; вместо автомобиля нас с Гладковым милиция оттеснила глубоко в Замоскворечье; и мы лишь в 5-м часу оказались ок<оло> Преч<истенского> бульвара: но шли, опрокидывали<сь>; захлестывала гололедица; я 25 раз лежал на льду, вспотел; это был бред; думал, что схватываю воспаление; решительно отставил Гладков<а>; и вслух крича 1½ <часа> лупил и скользил до-дому; почти упал Клоде на руки со словами: «У меня дифтерит, или воспаление»[177]. 4 дня провалялся в бреду, едва сознавая, что со мною: были жары, бреды; и <непостижимые? – *нрзб*> узнания: одну ночь страдал страданиями Коминтерна; две ночи постигал ужасы фашизма. За это время появились кремлевские доктора; один прописал санаторию; другой (Вальтер) стал моим постоянным доктором[178]. Санников почти не выходил от меня.

14–17 <ноября>.

Дни выздоровления. Тихие вечера с Клодей. Вальтер рекомендовал тихий, подмосковный санаторий около Клина (Нагорное). Вчера долгий разговор об этом

с Санниковым; душа просит снежку, зорь, природы — надолго. Санников говорил, что у него был долгий разговор обо мне с Ив. Мих. Гронским, который с удивительной сердечностью обо мне отзывался («Он — наш; я верю ему» и т.<д.>). Вообще за этот период 9–17-ое произошло столько, что до сих пор не могу опомниться; впечатление, что — рубеж жизни: что зрело, мучило <с> 30 года, что разразилось мучительным кризисом, — то как будто <*нрзб*> в вовсе новую эру.

Будущее покажет, что это: смерть, или — возрождение.

20-е ноября.

Изумительный, золотой день; не прогулка — а рай; последнее время мы переживаем с милой иногда невыразимо-тихие состояния; все нам наперекор действительности говорит о родине, весне, тишине, деревне, из которой подымается что-то родное, забытое, милое; хочется что-то припомнить, что уходило куда; и вот теперь — возвращается с тихим позывом: «Ах, — вот я: иду к вам — снегом, цветами и днями, милые мои!» Мы сами не понимаем сути этих приходящих минут, навевающих почти что воспоминания о лицах, давно забытых, о словах родных, когда-то сказанных. И эти минуты бывают связаны с непреоборимой тягой в деревню, — в каку<ю>, на отдых (— какой?).

А в действительности пребываем в недоумении: Кремлевские доктора предписали мне санаторий; но я в санаторий не поеду без милой. Весь вопрос в том, на каком основании нам с милой оказаться в этом «чуемом» нам санатории; для этого надо что-то сделать. А вот что сделать, в какие учреждения обратиться — вот это заповедано.

Остается факт: я *больной писатель*, для исцеления которого санаторий — нужен; и он — возможен.

Но могут пройти месяцы; и никто пальцем не двинет, чтобы осуществить требуемое.

Посмотрим.

Мне же никаких Орг-комитетов не нужно: мне для исцеления нужна деревня; и — милая! Если это недостаточно и надо еще что-то выпыхтеть, то... больному Андрею Белому надо умереть, чтобы доказать свое право на отдых. Поживем, — увидим.

22-ое <ноября>.

Решили остаться в Москве и никуда не стремиться; нам лично попасть в санаторий не под силу.

23-го <ноября>.

Вышла книга *«Начало века»*. Предисловие Каменева — хамски издевательское — произвело удручающее впечатление. Долгий разговор о нем с Г.А. Санниковым (вечером).

25-го <ноября>.

Был П.Н. Зайцев[179].

26 <ноября>.

Была М.И. Сизова-Тегер[180]. Был доктор Вальтер. Опять советовал д<ом> отдыха.

27 ноября.

Вечером зашли к Санниковым. Узнал, что в начале декабря будет решаться Булганиным вопрос о квартирах некоторым писателям (мне, Мариэтте Шагинян и т.д.). Это – полный сюрприз для меня.

30 ноября.

Предложение от *«Издат<ельства> Пис<ателей> в Ленинграде»* на издание 2-го тома «Нач<ала> века»[181]. Веду переговоры с ГИХЛом об изъятии в ГИХЛе рукописей.

2 декабря.

Переговоры с ГИХЛом разрешили вопрос о передаче рукописи. ГИХЛ согласен передать рукопись «Между двух революций» «Издат<ельству> Пис<ателей> в Лен<инграде>». Вечером были Санниковы. Вчера – лютый мороз[182].

3-ье <декабря>.

Дикая затылочная боль[183].

Послесловие

Этот дневник – последнее произведение, вышедшее из-под пера Андрея Белого. Писатель вел его, будучи уже смертельно больным.

Как уже отмечалось во вступительной статье, 15 июля 1933 г. на отдыхе в Коктебеле Белого сразил недуг («солнечное отравление»); 29 июля Клавдия Николаевна Бугаева решилась выехать с ним в Москву. Август прошел в борьбе с болезнью, но, когда Белому стало казаться, что силы понемногу возвращаются, он вновь взялся за перо и продолжил записи в дневнике.

Первая публикуемая запись обозначена Белым как августовская, но о том, что происходило в августе, в ней не говорится ни слова. В «августовском» дневнике дается лаконичный ретроспективный обзор коктебельской жизни – с мая до приступа болезни. Там же сообщается, что с того момента, как он попал в руки докторов, прошло полтора месяца. Это позволяет датировать начало работы над дневником или самыми последними днями августа (что наиболее вероятно), или самыми первыми днями сентября (если записи за 1 и 2 сентября Белый делал одновременно с записью за август).

Начиная с 1 сентября записи ведутся достаточно регулярно; последняя – сделана 3 декабря, в момент сильнейшего приступа головной боли. Как отмечала К.Н. Бугаева, в этот день он еще пытался работать, а на следующий день (4 декабря) вышел на свою последнюю прогулку. Видимо, после он уже не мог не только писать, но и вставать с постели. 8 декабря 1933 г. Белого госпитализировали, а через месяц он скончался.

История «поэтапного» обнаружения последнего дневника Андрея Белого достаточно запутанна и требует некоторых пояснений.

О том, что в последние годы жизни Андрей Белый продолжал вести дневник, долгое время никто не знал. Существовало предположение, что в 1930-х Белый посчитал ведение дневника делом рискованным и отказался от него – прежде все-

го из страха скомпрометировать себя и своих друзей. Подобные опасения, безусловно, могли иметь место, так как произошли массовые аресты московских антропософов, а весной 1931 г. при обыске сотрудниками ОГПУ был изъят и увезен на Лубянку его личный архив, в котором главную ценность представлял дневник 1920-х. Однако главным аргументом в пользу версии об отсутствии поздних дневников Белого был сам эмпирический факт отсутствия этих дневников, а также каких бы то ни было упоминаний о них.

Но в 1993 г. Музеем-заповедником А.А. Блока «Шахматово» в известном московском антикварно-букинистическом магазине («Акция») был приобретен один лист из предсмертного дневника Андрея Белого — запись за август 1933 г. От кого поступил в продажу этот документ, так и осталось тайной, которую сотрудники магазина не захотели раскрывать. «Дневник месяца (август 1933 г.)» был вскоре напечатан в журнале «Литературное обозрение» (Публикация С.М. Мисочник; 1995. № 4/5. С. 41–43)[i].

К сожалению, и без того малый по объему текст сохранился не полностью: чуть более девяти строк автографа оказались «зачеркнуты насыщенными фиолетовыми чернилами <...> произошли разрывы от металлического пера, и текст в этом месте простому визуальному прочтению, за исключением отдельных слов, не поддается»[ii]. «Отдельные слова», поддающиеся прочтению, указывали на то, что в зачеркнутом фрагменте речь шла об О.Э. Мандельштаме и его жене, которые вместе с Белым отдыхали в Коктебеле и крайне его раздражали.

Шахматовский автограф породил множество вопросов, главным из которых был такой: а существует ли у дневника продолжение, и, если да, то где оно? Научное любопытство получило некоторое удовлетворение в конце 1990-х, когда в составе архива К.Н. Бугаевой в Мемориальную квартиру Андрея Белого поступила рукописная копия искомого дневника Белого, сделанная вдовой писателя. Копия включала текст шахматовского автографа и продолжалась далее — до 20 октября 1933 г. (всего — 10 листов с оборотами).

Как известно, Клавдия Николаевна Бугаева очень трепетно относилась к творческому наследию мужа. Переписывать его тексты она начала еще в период их совместной жизни, а после смерти писателя ею был проделан буквально титанический труд по копированию огромного массива рукописей. Переписыванию подлежали не только материалы, оставшиеся у нее, но и те, которые находились у друзей и знакомых, а также в государственных хранилищах. Не до конца доверяя советской власти, она даже ходила в архивы и рукописные отделы копировать сданные туда материалы (например, письма Белого к Блоку, Брюсову из НИОР РГБ и т.п.). На 99 процентов ее труд не имел смысла, но на 1 процент был бесценен, так как некоторые материалы Белого или пропали бесследно, или еще ждут своего обнаружения.

Копии К.Н. Бугаевой очень точны. В них воспроизводятся и авторская правка, и зачеркивания, и ошибки с описками. Однако в копии дневника 1933 г., как и в шахматовском листе автографа, к огромному сожалению, тоже был существенный дефект: также недоступен для чтения оказался фрагмент о Мандельштамах, только он был не густо замазан, а напрочь отрезан ножницами...

[i] Факсимильное воспроизведение автографа см.: Шахматовский вестник: Каталог. Вып. 1. 1996. № 6. С. 130.

[ii] Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 41.

Был вычеркнут в копии и еще один фрагмент дневника. К счастью, вымарывающая рука потрудилась над ним не столь добросовестно, как над фрагментом о Мандельштаме: большую часть текста возможно разобрать. Речь в нем идет об угасании давней дружбы с Ивановым-Разумником.

В том, что были вымараны именно эти два фрагмента, есть определенная логика. И о Мандельштаме, и об Иванове-Разумнике в дневнике 1933 г. говорится крайне недоброжелательно. Но оба они впоследствии оказались жертвами сталинских репрессий, окруженными ореолом мученичества в той культурной среде, с которой Бугаевы были связаны. Получалось не очень этично по отношению к Мандельштаму и Иванову-Разумнику. Так, видимо, сочла его вдова К.Н. Бугаева. Видимо, ее рукой двигало исключительно чувство такта, а еще — желание спасти репутацию мужа. Но только вот Белому такт и деликатность в описании прежних друзей были не очень свойственны, что проявилось, например, в характеристиках литераторов и общественных деятелей в его мемуарной трилогии. Кроме того, в 1933 г. Иванов-Разумник уже находился в ссылке, но это не пробудило в Белом дружеских чувств и не помешало поставить крест на дружеских отношениях. Писатель, конечно, не знал, что мытарства Иванова-Разумника по тюрьмам и ссылкам только начинаются, но все же если б действительно сильно переживал за него, то не писал бы в такой резкой тональности... Тем более Белый не мог знать о гибели Мандельштама. Зато у Клавдии Николаевны, осведомленной о трагической участи обоих, мотивы для «вымарывания» могли быть. К тому же ее чувства к бывшим друзьям в 1934 г., скорее всего, потеплели. Можно предположить, что с ними ее объединило горе утраты близкого человека. Ведь и тот и другой глубоко скорбели о кончине Белого и откликами на его смерть (см. стихи Мандельштама и письма Иванова-Разумника далее в настоящем издании) не могли не вызвать признательности вдовы...

Сопоставление листа «шахматовского» автографа с первым листом копии, сделанной К.Н. Бугаевой, показывает, что в момент переписывания текста строки о Мандельштаме не были зачеркнуты: в копии отрезанный кусок чуть меньше, чем фрагмент, вымаранный в автографе. Значит, попытки изъять из дневника «недоброжелательные» характеристики Мандельштама и Иванова-Разумника были предприняты не Белым, а К.Н. Бугаевой.

Как любящую вдову ее можно понять, как хранителя писательского архива — вряд ли. Впрочем, в данном случае текстологическое своеволие не полностью достигло цели. Зачеркнутые строки об Иванове-Разумнике удалось прочесть почти целиком, а суждения о коктебельском общении с Мандельштамом легко восстанавливаются по его откровенным письмам к друзьям: своим раздражением Белый поделился с П.Н. Зайцевым и Ф.В. Гладковым. Гораздо грустнее, что подобный факт не единичен и указывает на необходимость более настороженного отношения к той части наследия Белого, к которой прикасалась его жена.

По копии К.Н. Бугаевой дневник Белого был опубликован нами в журнале «Новое литературное обозрение» (2000 (6). № 46. С. 178–215)[i].

Однако надежда на то, что автограф последнего дневника Белого где-нибудь «всплывет», все же теплилась. И недавно — осуществилась. Автограф «нашелся» в

[i] См. также републикацию в кн.: *Спивак М.* Андрей Белый — мистик и советский писатель. М., 2006. С. 437–453.

рукописном отделе РГБ – в той части фонда Белого, которая с 1970-х не была описана и потому не внесена в читательские описи. Заново обретенный документ существенно отличался от копии К.Н. Бугаевой, прежде всего по размеру: в автографе дневник начинался задолго до августа 1933 г. (в 1932 г.) и заканчивался не 20 октября, как в копии, а 3 декабря.

К сожалению, фрагмент об Иванове-Разумнике в автографе тоже был зачеркнут. Причем в автографе он был вымаран более тщательно (до полной невозможности различить под слоем чернил слова), чем в копии (где все же можно кое-что прочитать), что, увы, еще раз подтверждает «виновность» Клавдии Николаевны в уничтожении беловского текста. А лист с вычеркнутым фрагментом о Мандельштаме (запись за август 1933 г.) в РГБ, естественно, отсутствовал: ведь он, как мы писали выше, с 1993 г. хранится в Шахматове. Остается гадать, был ли «отпавший» августовский лист вынут из общего корпуса текста до или уже после того, как последний дневник Андрея Белого поступил в Ленинку.

Все вышеизложенное объясняет, почему у воспроизводимого здесь дневника Белого за 1933 г. сразу три источника. Запись за август дается по шахматовскому автографу; записи за сентябрь–декабрь – по автографу из НИОР РГБ; зачеркнутый фрагмент об Иванове-Разумнике и частично о Мандельштаме – по копии К.Н. Бугаевой из Мемориальной квартиры Андрея Белого (отдел Государственного музея А.С. Пушкина).

Выражаю глубочайшую благодарность Л.А. Шевцовой за неоценимую помощь в работе.

---

[1] Михаил Сергеевич Славолюбов (1880–?) – консультант, затем заведующий Институтом физических методов лечения в Феодосии, был врачом М.А. Волошина, лечил Андрея Белого в Коктебеле. Выписанная им справка датирована 23 июля 1933 г.:

«Настоящим удостоверяю, что т. Бугаев Борис Николаевич страдает истощением нервной системы в резкой степени.

В период его отдыха и лечения в Коктебеле наблюдался кратковременный период головных болей и обморочного состояния (гиперемия мозга).

Мною рекомендовано было больному продлить отдых до 1 августа сего года.

По возвращении его к своей основной работе считаю необходимыми значительные изменения в ней как в количественном, так и в качественном отношении: работа спокойная, в спокойной обстановке в пределах нормального рабочего дня при освобождении его от всех нагрузок» (НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 40. Ед. хр. 5. Л. 1).

[2] Иван Юльевич Тарасевич (1871–1941) – невропатолог, профессор, лечил Белого после возвращения из Коктебеля в Москву. Бугаевы, видимо, обратились к нему за медицинской помощью 16 августа 1933 г., так как этим днем датирована первая выписанная им справка: «Бугаев Борис Николаевич страдает церебропатией артериосклеротической с левосторонним гемипарезом и нуждается в полном отдыхе, систематическом лечении и соблюдении режима» (НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 40. Ед. хр. 5. Л. 3).

[3] Владимир Владимирович Ермилов (1904–1965) – критик и литературовед, с 1932 г. главный редактор журнала «Красная новь»; Василий Алексеевич Десницкий (1878–1958) – литературовед, общественный деятель; Николай Николаевич Асеев (1889–1963) – поэт;

Георгий (настоящее имя – Григорий) Ефимович Горбачев (1897–1942) – критик; Николай Леонтьевич Бродский (1881–1951) – литературовед, автор работ по русской литературе XIX в.

[4] Валентин Дмитриевич Петитто – музыковед, сотрудник Ленинградского отделения «Музгиза», до того – председатель правления «Общества камерной музыки». Очевидно, имея в виду его, Белый в письме к Г.А. Санникову от 27 мая 1933 г. называет в числе отдыхающих «заведующего музыкальным издательством Ленинграда» (Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. М., 2009. С. 105).

[5] Исламей (настоящее имя и фамилия – Николай Петрович Малков; 1882–1942) – музыковед. В письме к Г.А. Санникову от 27 мая 1933 г. сообщает, что вместе с ними отдыхает приехавший из Ленинграда «критик музыкального издательства “Исламей”» (Там же).

[6] Надежда Николаевна Штейнберг (1884–1971) – дочь Н.А. Римского-Корсакова, жена профессора Ленинградской консерватории, композитора Максимилиана Осеевича Штейнберга (1883–1946).

[7] Текст в фигурных скобках не поддается прочтению. В сделанной К.Н. Бугаевой копии дневника Андрея Белого нижний край страницы отрезан. В «шахматовском» листе автографа дневника эти строки густо зачеркнуты. Однако оставшиеся по краям отрезанного фрагмента слова позволяют с уверенностью говорить, что в утраченном тексте речь шла об О.Э. и Н.Я. Мандельштам, отдыхавших в мае–июне 1933 г. в Коктебеле. Примерный смысл утраченного фрагмента можно восстановить с большой степенью вероятности, так как свое негативное отношение к совместному отдыху с четой Мандельштам Белый неоднократно высказывал в письмах к друзьям. «Все бы хорошо, если б не... Мандельштаммы <так! – *М.С.*> (муж и жена); и дернуло же так, что они оказались с нами за общим столиком (здесь столики на 4 персоны); приходится с ними завтракать, обедать, пить чай, ужинать. Между тем: они, единственно, из 20 с лишним отдыхающих нам неприятны и чужды» (Письмо Белого к П.Н. Зайцеву от 7 июня 1933 г. См.: Андрей Белый и П.Н. Зайцев. Переписка / Подгот. текста и прим. Дж. Малмстада // *Зайцев П.Н.* Воспоминания. М., 2008. С. 523–524. Или: «<...> с Мандельштамами – трудно; нам почему-то отвели отдельный столик; и 4 раза в день (за чаем, обедом, 5-часовым чаем и ужином) они пускаются в очень “умные”, нудные, витиеватые разговоры с подмигами, с “что”, “вы понимаете”, “а”, “не правда ли”; а я – “ничего”, “не понимаю”; словом: М. мне почему-то исключительно неприятен; и мы стоим на противоположных полюсах (есть в нем, извините, что-то “жуликоватое”, отчего его ум, начитанность, “культурность” выглядят особенно неприятно); приходится порою бороться за право молчать во время наших тягостных тэт-а-тэт’ов <...>» (Письмо Белого к Ф.В. Гладкову от 17 июня 1933 г. См.: Переписка Андрея Белого и Федора Гладкова // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 769).

[8] Анатолий Борисович Мариенгоф (1897–1962) отдыхал в 1933 г. в Коктебеле с женой и сыном.

[9] Ада Аркадьевна Губер (1892–?) – жена ленинградского литератора Петра Константиновича Губера (1886–1940). В юности была связана с кабаре «Бродячая собака» (сценический псевдоним А. Губер – Бартенева) и с Н.С. Гумилевым (в 1912–1913 гг.). 11 сентября 2010 г. на антикварно-букинистическом аукционе № 132 «Русская поэзия, рукописи и автографы» (Центральный дом журналиста; Москва. Никитский бульвар, 8а) был выставлен сборник стихов Гумилева «Жемчуга» (М.: Скорпион, 1910) с дарственной надписью: «Золотой птице Аде Аркадьевне Бартеневой автор». После возвращения из Коктебеля между ней и

семьей Бугаевых началась переписка. См. о ней в письме Белого к Г.А. Санникову от 28 июня 1933 г.: «<…> ходим на прогулках с тихой, милой, очень культурной дамой; <…>; это Ада Аркадьевна Губер, которая шлет Вам привет <…>» (Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 149).

[10] Лев Владимирович Канторович (1911–1941) – художник, прославился участием в знаменитой, возглавляемой О.Ю. Шмидтом полярной экспедиции 1932 г.: тогда впервые за одну навигацию на ледоколе «Александр Сибиряков» был совершен переход из Белого моря в Тихий океан. Это героическое деяние советских полярников широко освещалось в прессе. См. альбом рисунков Л.В. Канторовича «Поход “Сибирякова”» (М.; Л., 1933). Перед своим отъездом из Коктебеля Л.В. Канторович и его жена актриса Клавдия Васильевна Пугачева (1909–1996) оставили записку: «Дорогой Борис Николаевич и Клавдия Николаевна! Мы пришли вчера слишком поздно – Вы уже спали. Оставляем Вам прощальное послание. Одним из самых приятных обстоятельств в нашем коктебельском пребывании были наши соседи. Очень хотелось бы продолжать и дальше наше знакомство с Вами. В Арктике я буду часто вспоминать Ваши “каменные коллекции”, пропитанные морем и солнцем. Клавдия Васильевна, если это будет возможно, позвонит Вам в Москве. Если будете в Ленинграде, обязательно позвоните к нам. Наш телефон – 1–4–71. Крепко жмем руки. Желаем всего хорошего. Ваши – Лев Канторович, Клавдия Пугачева» (Мемориальная квартира Андрея Белого).

[11] Об истории отношений Белого с литературоведами Борисом Викторовичем Томашевским (1890–1957) и его женой Ириной Николаевной Медведевой-Томашевской (1903–1973) см. предисловие А.В. Лаврова: Б.В. Томашевский в переписке с Андреем Белым // Пушкинский Дом: Статьи. Документы. Библиография. Л., 1982. С. 224–239. Дружеские контакты, обмен книгами и интенсивная переписка Томашевских с Бугаевыми продолжались до самой смерти писателя, а теплые отношения с его вдовой сохранялись и многие годы спустя.

[12] Спровоцированный солнечным перегревом обморок случился у Белого 15 июля 1933 г.

[13] В ГИХЛе готовился к печати второй том мемуаров Белого «Начало века», а в начале августа из издательства пришел запрос о том, какие еще книги он хотел бы издать в 1933–1934 гг. «Спешу Вас уведомить, что я мог бы предложить ГИХЛу издать трилогию моих воспоминаний: “На рубеже двух столетий” (последнее издание разошлось в месяц), “Начало века” (когда первое издание исчерпается) и 3-й том “Между двух революций” <…>» (Публ. Дж. Малмстада. Минувшее. М.; СПб., 1994. Т. 15. С. 363), – писал Белый в ответном письме от 15 августа 1933 г. Белый очень надеялся на осуществление этого проекта, однако надежды не оправдались: в ГИХЛе в ноябре 1933 г. вышла только книга мемуаров «Начало века», отданная в издательство еще в начале 1931 г.

[14] Николай Никандрович Накоряков (1881–1970) – директор ГИХЛа.

[15] Текст в квадратных скобках воспроизводится по «шахматовскому» листу автографа: в копии он утрачен, так как оказался на оборотной стороне отрезанного фрагмента о Мандельштаме.

[16] Мате Залка (наст. имя и фамилия Бела Франкль; 1896–1937) – венгерский писатель-коммунист, в недавнем прошлом активный член РАППа. Мате Залка был председателем жилищно-строительного кооператива «Советский писатель», членом которого состоял Белый.

[17] Не имея собственной жилплощади, Белый вынужден был вместе с семьей (жена, ее мать и тетка) ютиться в квартире первого мужа К.Н. Бугаевой. Естественно, вопрос об обещанной ему квартире в строящемся кооперативном писательском доме сильно волновал Белого: денежные взносы были выплачены, а то, что ему предлагали, не вполне удовлетворяло с точки зрения площади, и уж вовсе не подходил высокий этаж. На протяжении всего 1933 г. писатель пытался отстаивать свои права. Так, 14 февраля 1933 г. он обратился в контору жилищно-строительного кооперативного товарищества с таким письмом: «Уважаемый товарищ! 1) Я записался в 1932 году на квартирную площадь размером 50 метров жилой площади (3 комнаты) для себя с семейством <...> 2) Мне была отведена квартира № 8 в 5-ом этаже; *и не в 50 кв. метр<ов>, а в 34 кв. метра.* Ввиду полной невозможности жить на пятом этаже мне было заявлено в ответ на заявление в Правление, что мне будет предоставлена квартира в 3-ьем этаже. Но до сих пор не имею никаких сведений по этому поводу. Прошу очень дать объяснение моей жене, ибо я болен. Не откажите передать мое заявление в Правление РЖСКТ “Советский писатель”. С уважением Андрей Белый (Борис Бугаев)» (копия рукой К.Н. Бугаевой – Мемориальная квартира Андрея Белого). В конце апреля, перед отъездом в Коктебель, им было написано подобное же, но более пространное по объему и резкое по тону заявление, которое в правлении кооператива отказались принять. «Квартирная» тема постоянно звучала и в его летних письмах в Москву. По возвращении Белый был вынужден искать поддержки в «высоких кругах», дабы оказать воздействие на правление ЖСКТ и на председателя кооператива Мате Залку. Ходатаем по делам Белого выступал П.Н. Зайцев:

«<...> я говорил с Накоряковым о квартирных трудностях Белого. Тут же было составлено следующее письмо Матэ Залка – председателю РЖАКТа Дома писателя:

“Писатель Б.Н. Бугаев (Андрей Белый) является членом РЖАКТа писателей и внес полностью всю сумму за свою квартиру в Нащокинском переулке. Квартира ему до сих пор фактически не предоставлена.

Товарищ Б.Н. Бугаев в настоящее время серьезно болен. Ему прописан врачами строгий режим, выполнение которого невозможно из-за отсутствия у него квартиры.

Состояние здоровья Андрея Белого внушает серьезные опасения. Квартира ему нужна срочно и неотложно.

Правление ГИХЛа и Групком писателей настойчиво просят Вас оказать содействие в срочном предоставлении Б.Н. Бугаеву (Андрею Белому) квартиры в Доме писателей в Нащокинском переулке, не выше третьего этажа, так как доктора по состоянию его здоровья запретили ему подъем на более высокие этажи”» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 179).

[18] Иван Михайлович Гронский (наст. фамилия: Федулов; 1894–1985) – партийный функционер; на 1931 – начало 1933 гг. приходится расцвет его могущества: член правительственной комиссии по ликвидации РАППа, председатель Оргкомитета Союза советских писателей (май 1932 – август 1933 г.), ответственный редактор газеты «Известия» (1930–1934; в 1928–1930 гг. и.о. главного редактора), журнала «Новый мир» и т.п. Белый считал Гронского своим покровителем, высоко чтил и активно пользовался предоставленным ему «гостеприимством в “Новом мире”» (см.: Новый мир. 1932. № 11; 1933. № 3, 4, 7–8, 10).

[19] Имеется в виду критика в адрес Белого в статье М. Горького «О прозе», опубликованной в первом выпуске альманаха «Год шестнадцатый» (М., 1933). Горький выступал за простоту и ясность языка художественного произведения: «Советский читатель не нуждается в мишуре дешевеньких прикрас, ему не нужна изысканная витиеватость словесного рисунка <...>» (цит. по: *Горький М.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 26: Статьи, речи, приветствия 1931–

1933. М., 1953. С. 393). В качестве первого и главного примера «засорения» литературы «словесным хламом» (Там же. С. 387) Горький выбрал роман «Маски»: «<...> в лице Андрея Белого мы имеем писателя, который совершенно лишен сознания его ответственности перед читателем» (Там же. С. 396). Атака со стороны Горького была для А. Белого тем более неприятна и опасна, что после отставки Гронского (фактически – в мае 1933 г., официально – в августе) Горький стал председателем Оргкомитета ССП (до того он считался почетным председателем и в работу Оргкомитета вмешивался мало).

[20] Александр Иванович Стецкий (1896–1938) – партийный деятель, в начале 30-х – заведующий отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП(б). По свидетельству К.Н. Бугаевой, Белый познакомился с ним на вечере у И.М. Гронского 10 февраля 1933 г. (*Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества).

[21] Лазарь Моисеевич Каганович (1893–1991) – секретарь ЦК ВКП(б), член Политбюро и Оргбюро ЦК, в тот период – по сути второй после И.В.Сталина человек в государстве. А.И. Стецкий курировал деятельность И.М. Гронского по организации Союза писателей, а Л.М. Каганович – работу А.И. Стецкого. И Каганович, и Стецкий, и Гронский входили в комиссию Политбюро по литературным вопросам, образованную в апреле 1932 г. для подготовки объединения советских писателей и проведения Первого писательского съезда (1934).

[22] Возможно, что «поддержку» и «защиту от нападений Горького» Белый усмотрел в том активном недовольстве, которое вызвал в партийном руководстве альманах «Год шестнадцатый». «Этот альманах следовало задержать, – сообщал А.И. Стецкий Л.М. Кагановичу и И.В. Сталину в докладной записке от 22 мая 1933 г. – Не сделал я этого оттого только, что он вышел как раз в день приезда Горького сюда и это было бы для него весьма неприятным сюрпризом». Однако причиной скандала, насколько нам известно, были отнюдь не нападки М. Горького на Белого, а помещение в альманахе «носящих издевательский характер» произведений В.З. Масса и Н.Р. Эрдмана. См.: «Литературный фронт»: История политической цензуры 1932–1946 гг. С. 158.

[23] Договор с ГИХЛом на исследование о «творчестве Гоголя» был заключен еще в августе 1931 г. и перезаключен в июле 1932 г. «Мастерство Гоголя» вышло в апреле 1934 г. после смерти Белого. Подробнее см. комментарий Дж. Малмстада к письму Белого П.Н. Зайцеву (конец июля – до 8 августа 1932 г.) в кн.: *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 498–499.

[24] В письме Б.В. Томашевскому, датированном 2 сентября 1933 г., Белый вспоминает время, проведенное вместе в Коктебеле, как «радостный подарок», и благодарит за присланные ему материалы – оттиск статьи Томашевского «Die Puškin – Forschung seit 1914» (Zeitschrift für slavischer Philologie. Bd. 2. Doppelheft 1/2. 1925. S. 236–261) и одну из первых книг, выпущенных в большой серии «Библиотеки поэта»: Ироикомическая поэма / Ред. и прим. Б.В. Томашевского; вступ. статья В.А. Десницкого. Л., 1933. См.: Б.В. Томашевский в переписке с Андреем Белым / Публ. А.В. Лаврова // Пушкинский Дом: Статьи. Документы. Библиография. Л., 1982. С. 231–232.

[25] Елена Николаевна Кезельман (урожд. Алексеева, 1889–1945) – сестра К.Н. Бугаевой, член антропософского общества. В мае 1931 г. была арестована и по приговору Особого совещания ОГПУ лишена «права проживания в 12 п. с прикреплением к определенному месту жительства сроком на три года, считая срок с 27/V–31 г.». Ссылку отбывала в Лебедяни, куда и адресовал ей письма Белый. Здесь, по всей видимости, имеется в виду следующее письмо:

«Дорогая, милая Е.Н. –

всего несколько слов!

Москва сказалась трудностью писать; каждый день отслаивается своими заботами: как корост, трудно пробиваемый словами.

О чем писать?

О шутливом.

Остается мне покичиться успехами в курении. Эти дни доходил до трех полпапиросок в день (1½); и вдруг нутро завопило:

– “Курриить!”

Я – оскоромился: унизился до 4½ папирос (в день). Нелегки ежовые рукавицы режима: вставай – тогда-то, ложись – тогда-то; кури – столько-то, пей – столько-то с расстановками. Что ни шаг, то – методика.

Пожалейте меня, дорогая сестренка, меня бедного.

Жалующийся и слезы льющий Б. Бугаев».

В нижнем левом углу Белый изобразил себя, «жалующимся и слезы льющим». Текст приведен по копии с чернового автографа, сделанной К.Н.Бугаевой (Мемориальная квартира Андрея Белого). Письмо датировано ею – «сентябрь–октябрь».

[26] Иван Семенович Ефимов (1878–1959) – художник, скульптор, театральный деятель. В 1918 г. организовал вместе с женой художницей Н.Я. Симонович-Ефимовой (1877–1948) первый советский театр кукол, в котором развивал традиции народного театра Петрушки и одновременно ориентировался на постановки классики мировой литературы. Упоминаемое письмо И.С. Ефимову – ответ на его приглашение посетить знаменитый спектакль театра кукол, шекспировского «Макбета». По состоянию здоровья Белый был вынужден отказаться. Письмо датировано 2 сентября: «Глубокоуважаемый Иван Ефимович <так! – *М.С.*>! Не сетуйте на мое запоздалое письмо; при всем желании посетить представление “Макбета”, это не удалось мне. Весной болел упорными гриппами; а летом лечился в Коктебеле. Оба билета были использованы нашим другом, ценительницей искусства; она – в полном восторге от тонкого мастерства исполнения. Как жаль, что я не мог присутствовать на представлениях. Примите уверение в совершенном уважении и преданности. Б. Бугаев» (черновой вариант, копия рукой К.Н. Бугаевой – Мемориальная квартира Андрея Белого).

[27] В конце 1920-х – середине 1930-х романы М. Пруста неоднократно переводились и издавались в СССР. См., напр.: *Пруст М.* В поисках за утраченным временем. Т. 1–2. Л.: Academia, 1927–1928; и др. В коктебельской библиотеке М.А. Волошина хранится роман М. Пруста «Под сенью девушек в цвету» (М.: Недра, 1927). Последнее издание, как следует из мемуаров П.Н. Зайцева, Белый читал еще в 1930 г.: «Привез я как-то Борису Николаевичу роман Марселя Пруста “Под сенью девушек в цвету”. Помню, что в следующий мой приезд он отдал мне книгу со словами: “Это бор-машина какая-то”» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 136). В статье «О себе как писателе», написанной в марте 1933 г. (впервые опубликована на польском языке в газете «Wiadomości literackie» 29 ноября 1933 г.), Белый заявлял: «Как читатель, я тянусь к простым формам: боготворю Пушкина, Гете, люблю Шумана, Баха, Моцарта, пугаюсь психологизма Пруста <...>» (*Андрей Белый.* О себе как писателе // Бугаева К.Н. Воспоминания о Белом / Edited, annotated and with an introduction by J. Malmstad. Berkley, 1981. С. 326).

[28] *Катаев В.П.* «...Время, вперед!». М.: Федерация, 1932 (в 1933 г. переиздано в издательстве «Советская литература»). См. отзыв о произведении Катаева в письме Белого

к Ф.В. Гладкову (от 17 июня 1933 г.): «<...> роман восхищает мастерством иных страниц; и тема соц<иалистического> соревнования проведена с большим захватом» (Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 770); ср. также в письме к П.Н. Зайцеву (от 19 июня 1933 г.): «Много читаю беллетристики. В совершенном восторге от романа В. Катаева «Время вперед»; непременно прочтите...» (Андрей Белый и П.Н. Зайцев. Переписка. С. 532).

[29] *Тихонов Н.С.* Кочевники. [Очерки Туркмении]. М.: Федерация, 1931 (переиздано в ГИХЛе в 1933 г.). См. отзыв в письме к П.Н. Зайцеву из Коктебеля (от 19 июня 1933 г.): «<...> наслаждался книгой Тихонова “Кочевники”» (Андрей Белый и П.Н. Зайцев. Переписка. С. 532).

[30] Имеется в виду Иван Михайлович Саркизов-Серазини (1887–1964), доктор медицинских наук, специалист по вопросам курортологии и лечебной физкультуры. См.: Крым: Путеводитель / Под общей редакцией члена президиума Московского физиотерапевтического о-ва и члена правления российского о-ва по изучению Крыма д-ра И.М. Саркизова-Серазини. М.; Л.: Земля и Фабрика, 1925. Для этого издания была написана статья М.А. Волошина «Культура, искусство, памятники Крыма». Крымский путеводитель, а также ряд других книг Саркизова-Серазини имеются в библиотеке Дома-музея М.А. Волошина.

[31] Не вполне понятно, какую работу имел в виду Белый. Можно лишь предположить (учитывая интерес Белого в Коктебеле к литературе производственной тематики), что он читал книгу Бориса Андреевича Губера (1903–1937) «Неспящие: Повесть о Борисовском зерносовхозе» (М.: Федерация, 1931), представляющую собой сборник очерков о сельском хозяйстве на Кубани.

[32] Юлия Леонидовна Оболенская (1889–1945) – художница, близкая знакомая М.А. Волошина, адресат его лирики, состоявшая с ним в многолетней переписке. Сейчас письма находятся в ОР ИРЛИ (Ф. 562) и РГАЛИ (Ф. 2080).

[33] Гонкуры Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870) – французские писатели. На сегодняшний день в библиотеке Дома-музея М.А. Волошина имеются роман Эд. Гонкура «Элиза» (М.: Польза, 1914) и два тома из выпущенного в 1911–1912 гг. издательством «Сфинкс» собрания сочинений Ж. и Эд. Гонкуров: Т. 2. М., 1911 («Братья Земгано»); Т. 6. М., 1912 («Мадам Жервезе»).

[34] Владимир Петрович Ставский (наст. фамилия: Кирпичников; 1900–1943) – советский писатель. В 1930-х было издано немалое количество повестей, рассказов, очерков В.П. Ставского, напр.: Станица: Кубанские очерки. Кн. 1. 4-е изд. М.; Л.: ГИХЛ, 1931; Колхозные записки. [Северный Кавказ]. М.; Л.: ГИХЛ, 1932; Сильнее смерти: Круг рассказов. М.: Федерация, 1932 (переиздано в ГИХЛе в 1933 г.); Разбег: Очерки. М.: Федерация, 1932 (переиздано в ГИХЛе в 1933 г.) и др.

[35] Петр Сидорович (Исидорович) Кухтин, автор романа «Гвардейцы» (1934). Скорее всего, речь идет о: *Кухтин П.* Последние казаки. Отрывки из поэмы // Звезда. 1932. № 3. С. 3–34 (указано А.Ю. Галушкиным).

[36] Петр Андреевич Павленко (1899–1951) – советский писатель. См.: *Павленко П.А.* Анатолия. Рассказы. Изд. 3-е. [Из книг: 1. Азиатские рассказы. 2. Стамбул и Турция]. М.: Федерация, 1932. См. также отзыв Белого в письме П.Н. Зайцеву из Коктебеля (от 19 июня 1933 г.): «<...> наслаждаюсь книгой Павленко (анатолийские рассказы)» (Андрей Белый и П.Н. Зайцев. Переписка. С. 533).

[37] Произведения американского писателя Фрэнсиса Брет Гарта (1836–1902) многократно издавались как в дореволюционной России (с 1873 г.), так и в СССР. См., напр.: *Брет-Гарт.* Полн. собр. соч.: В 12 т. / Вступ. статья Л. Гроссмана. Л.: Типография «Красной газеты», 1928.

[38] Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1931) – писатель. Роман «Китай-город» (1882) – самое значительное произведение П.Д. Боборыкина; многократно переиздавался.

[39] Артем Веселый (наст. имя и фамилия: Николай Иванович Кочкуров; 1899–1939) – писатель. См.: *Артем Веселый.* Россия, кровью умытая. Роман в два крыла. Фрагменты. М.: Федерация, 1932 (переиздано в 1933 г.).

[40] Любовь Исааковна Красильщик (1885–1964) – ближайшая подруга К.Н. Бугаевой (похоронена вместе с ее матерью, братом и другими родственниками), преподаватель музыки, жила неподалеку от Бугаевых, в одном из арбатских переулков; принадлежала к антропософам так называемого «первого призыва», ездившим, как и Белый, за границу слушать лекции Р. Штейнера; некоторое время была женой председателя Московского антропософского общества Т.Г. Трапезникова: «Его жена Любовь Исааковна, урожд. Красильщик, музыкантша. Прекрасное существо с прекрасными глазами библейской Рахили. В молодости она училась музыке в Дрезденской консерватории. Там они и встретились и поженились. Гармонии не получилось, слишком они были разные люди. До конца жизни (в 1960-х) она дружила с Клавдией Николаевной. Кроме антропософии их очень сближала еще и любовь к музыке» (*Жемчужникова М.Н.* Воспоминания о Московском антропософском обществе / Публ. Дж. Малмстада // Минувшее. Т. 6. С. 30).

[41] Паоло (Павел Джибраэлович) Яшвили (1895–1937) – грузинский поэт-символист, один из организаторов литературной группы «Голубые роги», в ближайшем будущем – делегат Первого съезда писателей, друг Белого и Пастернака.

[42] «Я в августе как-то днем на улице, возле Камерного театра, встретился с Борисом Леонидовичем. Мы перекинулись с ним десятком слов. Он сообщил, что в Москве сейчас Паоло Яшвили и что грузинские поэты приготовили Борису Николаевичу не то в Кахетии, не то в Имеретии отдых и осенне-зимнее местопребывание. Я отнесся к этому скептически. Но, оказывается, у Бориса Николаевича были какие-то неясные планы такой поездки. Поздней, в октябре, они с Клавдией Николаевной от них отказались. А для меня фантастичность этого замысла при тогдашнем самочувствии Бориса Николаевича была ясна с самого начала» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 181–182).

[43] Мария Александровна Скрябина (1901–1989) – дочь композитора А.Н. Скрябина, жена режиссера В.Н. Татаринова, актриса МХТ-II, антропософка. В 1931 г. была арестована и выслана из Москвы на три года; отбывала ссылку в городе Лебедянь, в апреле 1932 г. досрочно освобождена.

[44] Имеется в виду работа Б.В. Томашевского «Die Puškin – Forschung seit 1914» в сб.: Zeitschrift für slavische Philologie. Bd. 2. Doppelheft S. 1925. S. 236–261.

[45] Имеется в виду постановление ВЦИК и СНК от 20 августа 1933 г. «О жилищных правах научных работников», предоставляющее научным работникам целый ряд льгот, в том числе право на дополнительную комнату или 20 кв. м жилой площади. Спустя месяц, 20 сентября, вышло аналогичное постановление «О жилищных правах писателей», согласно которому на писателей распространялись привилегии, данные научным работникам. См.: Жилищный справочник: Сб. действующих законов и постановлений. М., 1936. С. 161–163.

[46] Центральная комиссия по улучшению быта ученых (Комиссия по улучшению быта ученых была учреждена в 1919 г., в 1921 г. преобразована в Центральную комиссию).

[47] В 1933 г. издательство «Федерация» (организовано в 1929 г.) было переименовано в издательство «Советская литература». В 1934 г. влилось в издательство «Советский писатель».

[48] Рукопись третьего тома мемуаров «Между двух революций» весной 1933 г. была отдана в издательство «Федерация». Однако с выпуском книги возникли серьезные проблемы (см. об этом в дневниках П.Н. Зайцева в наст. изд.), и Белый, обнадеженный расположением к нему Н.Н. Накорякова, решил передать ее в ГИХЛ. Сложность заключалась в том, что от «Федерации» был получен аванс. «Уважаемый Николай Никандрович <...>, – писал Белый Н.Н. Накорякову 15 августа 1933 г. – Чувствуя себя связанным с ГИХЛом, я конечно отдал бы эту книгу Вам, уведомив “Федерацию” об этом – при условии, если сам ГИХЛ выплатит “Федерации” 3000 рублей, данные ею в прошлом году в виде аванса мне» (Минувшее. Т. 15. С. 363). Эти проблемы были улажены, П.Н. Зайцев забрал рукопись, но ГИХЛ так и не смог ее напечатать. В ноябре 1933 г. Белый договорился о передаче книги в «Издательство писателей в Ленинграде», выпустившее ее уже после смерти писателя, в апреле 1935 г. См. комментарии А.В. Лаврова: *МДР 1990.* С. 442–443.

[49] Трудно сказать, насколько нравился Л.М. Кагановичу и А.И. Стецкому Андрей Белый как писатель; скорее всего, в верхах были довольны его идейной позицией. Весной 1933 г. И.М. Гронский в письме к И.В. Сталину, Л.М. Кагановичу, А.И. Стецкому сообщал: «Наметившийся на первом пленуме поворот правых писателей в сторону советской власти (заявления Андрея Белого, М.М. Пришвина <...> и др.) оказался более значительным, чем мы предполагали в начале» («Литературный фронт»: История политической цензуры 1932–1946 гг. М., 1994. С. 9).

[50] Первый съезд советских писателей состоялся в августе 1934 г., однако первоначально предполагалось провести его в середине мая 1933 г., потом в июне, потом – осенью и т.д. В августе 1933 г. было принято очередное решение о переносе съезда.

[51] Владимир Оттонович Нилендер (1883–1965) – филолог-классик, переводчик, друг Белого со времен учебы на филологическом факультете Московского университета, член кружка «аргонавтов»: «Среди моих однокурсников <...> Владимир Оттонович Нилендер, с которым впоследствии мы продружили лет двадцать (и ныне дружим) <...> он стал “аргонавтом” впоследствии» (*НВ 1990.* С. 386 и др.).

[52] Эдуард Эррио (1872–1957) – лидер радикал-социалистической партии Франции, неоднократно избирался премьер-министром (в частности – с мая по декабрь 1932 г.). В те периоды, когда Эррио возглавлял правительство, улучшались отношения Франции и СССР: 28 октября 1924 г. были установлены дипломатические отношения, 28 ноября 1932 г. состоялось подписание франко-советского пакта о ненападении. С 26 августа по 9 сентября 1933 г. Эррио совершал турне по СССР, в рамках которого 1 сентября прибыл в Москву. Информацией о поездке «французского друга», бывшего главы правительства, пестрели все газеты.

[53] 3 сентября 1933 г. Бенито Муссолини и полпред СССР в Италии Владимир Петрович Потемкин (1874–1946) подписали «пакт о дружбе, ненападении и нейтралитете между Италией и СССР». Тема советско-французских и советско-итальянских отношений поднималась в прессе в связи с угрозой со стороны нацистской Германии.

[54] Активизации мыслей о «Дале и заумном языке» мог способствовать выпущенный в 1933 г. «Издательством писателей в Ленинграде» пятый том «Собрания произведений Велимира Хлебникова», в который вошли его декларации и статьи об искусстве, в частности о «заумном языке». Сам Белый неоднократно заявлял, что источником его словотворчества является не поэтическая заумь, а вполне канонизированный «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. Однако апелляция «к Далю» не спасала Белого от претензий современников к его усложненному стилю и, более того, – от напрашива-

ющегося сопоставления с «заумным языком» В. Хлебникова. Так, например, Пастернак во время одного из последних выступлений Белого послал ему записку следующего содержания: «Как Вы относитесь к Хлебникову? (его проза и Ваша?)» (ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 34).

[55] «Встреча с Пастернаком и Яшвили в назначенный день не состоялась. Борис Леонидович был болен (растяжение мускулов), а Паоло Яшвили отсыпался после бессонных ночей» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 182).

[56] В письме к секретарю ГИХЛа Клавдии Павловне Гусиной (а не Гусевой) речь идет о корректуре «Мастерства Гоголя». Белый сообщает, что корректура была готова уже 1 сентября и что ввиду болезни он возвращает ее не сам, а «через посредство П.Н. Зайцева». Без указания адресата письмо опубликовано Дж. Малмстадом (Минувшее. Т. 15. С. 363–364).

[57] Ср. запись П.Н. Зайцева об Андрее Белом: «Вспоминал как-то Илью Семеновича Ефимова, своего товарища по университету, и написал ему письмо» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 183). По-видимому, Зайцев должен был отправить письмо Белого.

[58] Летом и осенью 1933 г. П.Н. Зайцев находился в постоянных поисках работы и денег, вел малоудачные переговоры о возможности получить место редактора и сценариста на киностудии «Мосфильм».

[59] Елена Аветовна Санникова (урожд. Назарбекян; 1891–1941) – жена Г.А. Санникова, подруга М.И. Цветаевой, покончила жизнь самоубийством после известия о ее смерти. См.: *Санников Д.* «Еще меня любите за то, что я умру...»: Марина Цветаева и Елена Назарбекян // Санников Г. Лирика. М., 2000. С. 115–122.

[60] Очевидно, имеются в виду оттиски статьи Белого о романе Ф.В. Гладкова «Энергия» из № 4 «Нового мира» за 1933 г. (С. 273–291). Журнал вышел в то время, когда Белый отдыхал в Коктебеле, и писатель надеялся его получить по возвращении.

[61] Письмо написано после состоявшейся 3 сентября беседы с П.Н. Зайцевым о его «намерении работать в кинематографе». В дневниках Зайцева зафиксированы обиды на невнимание Белого к этой проблеме. В открытке от 4 сентября 1933 г. Белый старается загладить свою вину и поддержать начинание своего друга: «<...> очень хорошо, что Вы сосредоточились на “Кино”; работа здесь – Ваше настоящее амплуа; пишу это письмо, потому что мне показалось, будто вчерашняя наша беседа оставила у Вас впечатление каких-то сомнений во мне этого Вашего пути <...> “Кино” – в линии Вашего творчества; и сегодня утром хочется еще раз Вам сердечно и убежденно сказать: “Бодрее, – за дело: этот путь творчества – для Вас!”» (см.: Андрей Белый и П.Н. Зайцев. Переписка. С. 542–543).

[62] Петр Николаевич Васильев (1885–1976) – врач, антропософ; с 1909 по 1931 г. был мужем К.Н. Бугаевой, в период последней болезни Белого проявлял о нем трогательную заботу, в частности именно он в письме К.Н. Бугаевой (от 11 августа 1933 г.) настойчиво рекомендовал обратиться к «специалисту»: «Дорогая Клодя <...> Б.Н. хорошо бы показаться невропатологу проф. И.Ю. Тарасевичу (живет в Долгом пер., д. 23). По тому, что ты пишешь – по-видимому, дело идет о корешковых невралгических болях, это возможно тоже нервного происхождения. Думаю, что выходить можно, но лучше не откладывая показаться специалисту, кот<орый > уже решит» (Мемориальная квартира Андрея Белого). Отмеченный в дневнике визит П.Н. Васильева был не первым: один из выписанных им рецептов датирован 19 августа 1933 г.

[63] К.Н. Бугаева.

[64] Имеется в виду сборник «Зовы времен» (1931), в который вошли переработанные стихотворения «Золота в лазури» (1904). Ср. запись П.Н. Зайцева: «Клавдия Николаевна переписывала новый вариант “Золота в лазури”. Борис Николаевич попросил у меня эк-

земпляр этой книги, его собственный кто-то взял почитать и “зачитал”» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 184).

[65] «Евгений Онегин» (1878); «Лоэнгрин» (1847); «Моряк-скиталец», или «Летучий голландец» (1843).

[66] «Зимний путь» (1827) – вокальный цикл Ф. Шуберта на слова В. Мюллера.

[67] По-видимому, Владимир Николаевич Алексеев (1895 или 1896–1938), брат К.Н. Бугаевой.

[68] Белый, вероятно, не понял, что заборы были сняты не для того, чтобы превратить улицу в сад, а чтобы расширить проезжую часть за счет вырубки садов и сноса ряда построек. До ликвидации «зеленого бульвара» на Садовом кольце писатель не дожил.

[69] Имеется в виду заседание 7 сентября 1933 г.: оно было посвящено организации бригадных поездок литераторов на окраины страны для подготовки Первого съезда Союза советских писателей.

[70] «В Президиум Оргкомитета.

Получив из Орг-комитета уведомление о том, что секретариат Орг-комитета считает совершенно необходимым мое присутствие на заседании, долженствующем быть 7/IX в шесть часов вечера, спешу ответить. Прошу секретариат Орг-комитета довести до сведения президиума, что я всемерно готов принимать участие в работе Орг-комитета, о чем я неоднократно уже заявлял; но не ранее, чем через 2–3 месяца, ибо состояние моего здоровья отрезает меня от этой работы в настоящее время; я имею удостоверение об этом 1) во-первых: от зав. Институтом физич<еских> методов лечения в Феодосии д-ра Славолюбова (“настоящим удостоверяю, что т. Бугаев... страдает истощением нервной системы в резкой степени... считаю необходимым... значительное изменение в работе... при освобождении от всяких нагрузок”); 2) во-вторых: имею справку от проф. Тарасевича из Москвы от 1933. VIII. 16: “Бугаев Борис Ник<олаевич> страдает... артериосклерозом... и нуждается в полном отдыхе, систем<атическом> лечении и соблюдении режима”. Лишь после курса лечения (2–3 месяца) я могу вернуться к той форме работы, которая ныне мне строго запрещена.

Примите уверения в совершенном уважении. Борис Бугаев / А. Белый». Цитируется по копии, сделанной К.Н. Бугаевой (Мемориальная квартира Андрея Белого).

[71] Лидин Владимир Германович (1894–1979) – писатель, давний знакомый Белого, автор мемуарного очерка о нем. См.: *Лидин В.Г.* Люди и встречи. М., 1965. С. 182–187.

[72] Реакция Вассермана, предложенная в 1906 г. немецким иммунологом Августом Паулем Вассерманом (1866–1925) для распознавания сифилиса по анализу крови, была введена в СССР в 1928 г.

[73] Упомянутые исследования проводились 19–21 августа 1933 г. (НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 40. Ед. хр. 5. Л. 2, 8, 10).

[74] Имеется в виду письмо в Оргкомитет ССП; к нему прилагалось письмо самому Лидину: «Дорогой Владимир Германович, доставляю Вам письмо для передачи в секретариат Орг-комитета (на заседании 7-го сентября); сердечно благодарю за услугу. Очень хочется как-нибудь встретиться с Вами. Не приглашаю пока Вас к себе, ибо занимая чужую жилплощадь не всегда могу рассчитывать на то, что нам будет удобно побеседовать у нас, но надеюсь, что Вы скоро посетите нас с женой на нашей квартире в Нащокинском переулке. Остаюсь искренно преданный и любящий Вас. Б. Бугаев». Датировано 6 сентября 1933 г. Приводится по копии с чернового автографа, сделанной К.Н. Бугаевой (Мемориальная квартира Андрея Белого).

[75] Ср.: «Люблю мечты моей созданье / С глазами, полными лазурного огня» из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Как часто пестрою толпою окружен» (1840). Белый неоднократно прибегал к цитированию и «символистскому» истолкованию этих лермонтовских строк, вошедших в его обиход через посредство Вл. Соловьева. «Очами, полными лазурного огня» глядела на Вл. Соловьева в поэме «Три свидания» (1898) встреченная в египетской пустыне Лучезарная Подруга – София. Так же характеризовал Белый в поэме «Первое свидание» свою Лучезарную Подругу – М.К. Морозову: «Так из блистающих лазурей / Глазами полными огня, / Ты запевающею бурей / Забриллиантилась в меня». См. интерпретацию этого образа в статье «Священные цвета» (1903): «Если бы Лермонтов до конца осознал взаимодействие между реальным созданием мечты “с глазами полными лазурного огня”, и его символом, которым становится любимое существо, он сумел бы перейти черту, отделяющую земную любовь от вечной. Брак и романтическая любовь только тогда принимают надлежащий оттенок, когда являются символами иных, еще не достигнутых, сверхчеловеческих отношений» (*Андрей Белый.* Символизм как миропонимание / Сост., вступ. статья и прим. Л.А. Сугай. М.: Республика, 1994. С. 207).

[76] Романтический и эзотерический символ вечной, идеальной любви, восходящий к роману Новалиса «Генрих фон Офтердинген» (изд. 1802).

[77] Первая строфа идентична последней строфе стихотворения «Антропософии» («Над ливнем лет...»; 1918). В сб. «Зовы времен» (1931) оно фигурирует под названием «Вешний цвет». Вторая строфа идентична второй строфе стихотворения «Сестре» («Не лепет лоз, не плеск воды печальный...»; 1926), посвященного в сб. «Зовы времен» К.Н. Бугаевой. По ее позднейшему свидетельству, посвящение было внесено «Б.Н. осенью 1933 г., когда были переписаны эти стихи». Под «мглой» подразумеваются полные разочарований годы пребывания в Берлине (1921–1923), куда Клавдия Николаевна – согласно автобиографическому мифу Белого – приехала, чтобы «спасти» писателя и организовать его возвращение в Россию.

[78] Анна Алексеевна Алексеева (1860–1942) – мать К.Н. Бугаевой; Екатерина Алексеевна Королькова (1864–1941) – сестра А.А. Алексеевой, тетка К.Н. Бугаевой, Владимир Николаевич Алексеев – брат К.Н. Бугаевой.

[79] *Санников Г.А.* Каучук: Поэма (Из документов пятилетки); *Андрей Белый.* Из книги «Начало века». I. Валерий Брюсов. II. А. Блок // Новый мир. 1933. № 7–8. С. 68–86; 261–263.

[80] Белый хотел получить собственные фотоснимки и надеялся, что П.Н. Зайцев вместо него заберет их у фотографа. Еще летом с аналогичной просьбой писатель обращался письмом из Коктебеля (от 21 июня 1933 г.) и к Г.А. Санникову: «И еще, милый друг, просьба: когда будете в Доме Герцена, если бываете там, зайдите к фотографу (помните, заходили вместе и он снимал) и попросите у них для меня обещанных карточек, – и тех, что снимали с меня осенью (на пленуме), и последних (тех, что снимали в мае); они обещали; а то – нет карточек; и при случае, когда необходимо карточку дать, я отвечаю отказом. Опять перегружаю Вас делами; но не думайте, что эти карточки мне нужны: просто так, если вспомнится Вам, когда будете в Доме Герцена, зайдите к фотографам» (см.: Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 138).

[81] И.Н. Медведева-Томашевская в письме от 6 сентября 1933 г. рассказывает о работе над изданием Е.А. Баратынского для большой серии «Библиотеки поэта» (*Баратынский Е.А.* Полное собрание стихотворений: В 2 т. Редакция, комментарий и биографические статьи Е. Купреяновой и И. Медведевой. Л., 1936). См.: Б.В. Томашевский в переписке с Андреем Белым. С. 233.

[82] Сергей Дмитриевич Спасский (1898–1956) – поэт, прозаик, антропософ, с середины 1920-х был с Белым в теплых, дружественных отношениях, переписывался. Здесь имеется в виду его ответ на письмо Белого от 5 сентября 1933 г. с просьбой спешно узнать «имя и отчество Сорокина (из “Изд<ательства> пис<ателей> в Лен<инграде>”)» и «немедленно известить меня открыткой». В открытке от 8 сентября 1933 г. Спасский, являвшийся сотрудником «Издательства писателей в Ленинграде», сообщает необходимые сведения о Григории Эммануиловиче Сорокине, заведующем «Издательством писателей в Ленинграде». С «Издательством...» в 1931 г. Белым был заключен договор о сдаче рукописи романа «Германия» до ноября 1932 г. Роман написан не был, и с Г.Э. Сорокиным Белый вел письменные переговоры о предоставлении ему отсрочки. С.Д. Спасский выступал своеобразным посредником в этих переговорах. 10 сентября Белый через С.Д. Спасского послал Г.Э. Сорокину письмо. См.: Письма Андрея Белого к С.Д. и С.Г. Спасским / Вступ. статья и прим. Н. Алексеева // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 642–662.

[83] Сергей Матвеевич Кезельман (1880–1940-е?) – адвокат, антропософ, в начале 1920-х стал мужем Е.Н. Кезельман (урожд. Алексеевой) – сестры К.Н. Бугаевой, но в 1930 г. их брак фактически распался. 7 января 1930 г. Белый записал в дневнике: «Печально волнующую весть передала К.Н. об Елене Николаевне, расходится с Сергеем Матвеевичем».

[84] Федор Васильевич Гладков (1883–1958) – писатель, с 1932 г. член редколлегии «Нового мира». См.: Переписка Андрея Белого и Федора Гладкова // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 753–772.

[85] Маргарита Александровна Твердова (1896–1983) – художница, в 1927 г. окончила Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), до начала 1930-х работала инструктором трудотерапии при психиатрической клинике 1-й клинической больницы; с 1922 г. исповедовала антропософские взгляды, в 1926 г. значилась в списке членов «Ломоносовской группы».

[86] Екатерина Павловна Пешкова (урожд. Волжина; 1876–1965) – председатель Московского комитета помощи полит. ссыльным и заключенным – Политического Красного Креста; в прошлом – жена Горького. О своем разговоре с Е.П. Пешковой, состоявшемся в 1931 г. в связи с арестами антропософов, Белый упоминает в середине марта 1932 г. в письме к А.С. Петровскому («Мой вечный спутник по жизни». Переписка Андрея Белого и А.С. Петровского: Хроника дружбы / Вступ. статья, сост., коммент. и подгот. текста Дж. Малмстада. М., 2007. С. 275).

[87] Орел – место ссылки М.А. Твердовой. В мае 1931 г. она была арестована по делу о «контр-революционной организации антропософов». Особое совещание при ОГПУ постановило выслать М.А. Твердову «в Казахстан сроком на три года, считая срок <...> с 27/V – 31 г.», однако вскоре Казахстан был заменен на другое место ссылки – Орел. Постановление о ее досрочном освобождении вышло 14 июля 1932 г. Хлопоты М.А. Твердовой по возвращению в Москву в конце концов увенчались успехом, но в апреле 1935 г. она была вновь арестована и приговорена к трем годам исправительно-трудовых лагерей и отбывала наказание в Карагандинском исправительно-трудовом лагере (Карлаге). См.: *Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 532–533.

[88] Алексей Сергеевич Петровский (1881–1958) – ближайший друг Белого со студенческих времен, искусствовед, переводчик, редактор, сотрудник Румянцевского музея, затем Библиотеки имени В.И. Ленина, являлся последователем учения Р. Штейнера с начала 1910–х. По делу 1931 г. о нелегальной контрреволюционной организации антропософов Петровский был арестован и приговорен «к заключению в концлагерь сроком на три года,

считая срок с 20/ V–31 г.». Из двадцати семи антропософов, представших перед судом, такая суровая мера наказания была применена лишь к двоим – А.С. Петровскому и Б.П. Григорову; приговор большинству ограничился высылкой. См.: *Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 415, 552.

[89] Петровский отбывал наказание на строительстве Беломорско-Балтийского канала, осуществлявшемся силами заключенных в 1931–1933 гг. Летом 1933 г. Беломорстрой был объявлен образцово-показательной стройкой, своеобразной школой-лабораторией по перековке, перевоспитанию заключенных. Тема Беломорстроя не сходила со страниц печатных изданий. Освобождающиеся с Беломорстроя считались более исправившимися, чем прочие, и пользовались в этом отношении льготами – в частности, при получении разрешения вернуться в Москву и остаться в Москве работать. Сохранился записанный рукой Белого адрес А.С. Петровского: «Мурм. ж/д. Станция Сорока (Выг. Остров) 8-ое отделение Бел.-Балт.-Лаг. 1-ый пункт. А.С. Петровскому». (Мемориальная квартира Андрея Белого). В лагерных сводках отмечалось, что Петровский «к работе относится с любовью. Работу проводит тщательно, продуманно. Дисциплинирован, активное участие принимает в культработе. Поведение хорошее», потому ему «за ударную работу на Белморстрое срок сокращен на 6 месяцев». Пересмотр дела Петровского начался уже в мае 1933 г.; выходило, что «конец срока по зачету рабдней 19/VII – 33 г.». В конце июля он, по-видимому, и освободился (Из материалов следственного дела 1931 г. о контрреволюционной организации антропософов: ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 27006).

[90] Владимир Иванович Невский (1876–1937) – партийный деятель из плеяды «старых большевиков». С начала 1920-х его карьера клонится к закату; с 1924 г. он понижен до должности директора Библиотеки имени В.И. Ленина. О желательности заступничества со стороны Невского как непосредственного начальника Петровского и как «старого большевика» Белый писал другу еще середине марта 1932 г.: «<...> разузнавали, с какого бока хлопоты за Тебя имели б успех, и отовсюду выясняется: только ходатайство с места службы в теперешних условиях могло бы изменить твое положение <...>. Невский и Библиотека – вот единственное место, которое сейчас могло бы поднять дело...» («Мой вечный спутник по жизни». Переписка Андрея Белого и А.С. Петровского. С. 275).

[91] Имеется в виду 46-й том (Дневник. 1847–1854. М., 1937) юбилейного Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого (В 90 т. М.; Л., 1928–1958). Как отмечалось в протоколе заседания Государственной редакционной комиссии от 14 июня 1931 г., Петровский – «один из основных редакторов этого полного собрания сочинений». К подготовке упомянутого 46-го тома и еще четырех «ответственнейших томов этого собрания сочинений Л.Н. Толстого» (т. 7, 67, 68, 69) А.С. Петровский приступил еще до ареста: «...редактор Петровский выверял корректуры, сличал их с текстами и делал тому подобную, совершенно необходимую и в высшей степени важную работу для этого издания», – говорилось в посланном 24 июля 1931 г. в ОГПУ ходатайстве об освобождении Петровского из-под стражи (из материалов следственного дела). Впоследствии он редактировал и комментировал также и другие тома (см., напр., т. 29, 47, 48, 52 и др.).

[92] Желание написать статью на тему «Социалистический реализм» сформировалось у Белого летом 1933 г. в связи с приближением Первого съезда Союза советских писателей, на котором должны были утвердить и узаконить новый литературный метод. Статьей о социалистическом реализме Белый намеревался укрепить свои позиции и войти в mainstream советской литературы. Замысел не был осуществлен. Подробнее см.: *Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 423–435 (Глава 14: «Социалистический реализм» Андрея Белого: история ненаписанной статьи).

[93] Перипатетики, стоики – названия древнегреческих философских школ. Однако Белому в данном случае важно указать не столько на наследуемую им философскую традицию, сколько на динамичный стиль и пластику собственного философствования. В примере со стоиками Белый откровенно каламбурит, осознавая, что термин произошел от греческого «стоа» (портик) и лишь случайно оказался созвучен русскому «стоять». В примере же с перипатетиками думает, что действительно обыгрывает этимологию слова: согласно распространенному (ошибочному) мнению, термин, давший имя школе последователей Аристотеля, произошел от греческого «прогуливаюсь» (по легенде, Аристотель беседовал с учениками – прогуливаясь). Ср.: «...я – перипатетик, развиваю походя свою философию жизни» (*НВ 1990.* С. 27).

[94] Белый подразумевает ярое неприятие в работах Ф. Ницше («Рождение трагедии из духа музыки», «Человеческое, слишком человеческое», «Ecce Homo» и др.) эстетики Аристотеля, классической для европейской культуры. Ницше формулировал собственную концепцию дионисийского происхождения трагедии как альтернативную аристотелевской теории трагедии, как родственную по духу гераклитианскому мирочувствованию. См.: *Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 135, 146, 154–155, 347 и др.; Т. 2. С. 568, 730–731 и др.

[95] Ср.: «Мы, дети рубежа <...> отдаваясь текучему процессу, были скорей диалектиками <...> мы были всегда гераклитианцами, несущими бунт в царство средневекового Аристотеля» (*НРДС 1989.* С. 201). Или: «Почему <...> мне не разрешено в линии дионисовых культов, борющихся с Олимпом, видеть наступление на Олимп динамизма, позднее перерожденного в диалектику Аристотеля, который был в одной из фаз мысли Греции кристаллизатором зреющей научной мысли, как стал он же позднее кристаллизатором средневекового склероза» (*НВ 1990.* С. 532).

[96] Идея антиномии и синтеза Гераклита и Аристотеля близка «позднему» Белому и реализуется в его творчестве в разных вариантах. Категории «неясного» и «ясного» становятся для писателя знаками-символами не только философских систем, но и типов мировидения, принципов подхода к жизни. Ср., напр.: «Взять в корне, – она, рациональная ясность, разъелась: из-под Аристотеля Ясного встал Гераклит Претемнейший: да, да, – очень дебристый мир!» (*Андрей Белый.* Московский чудак // *Андрей Белый.* Москва. М., 1989. С. 160); «Понял: отныне – никто никого не поймет: кончен век Аристотеля ясного. Встал – Гераклит» (*Андрей Белый.* Маски // Там же. С. 641). Или: «<...> отцы диалектического материализма видели в Гераклите “мистические темноты” и здоровую тенденцию будущего <...> темнота темноте – рознь; темнота от засора мысли не темнота от обилия не переваренного научно сырья» (*НВ 1990.* С. 532).

[97] Образ, восходящий к роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». См., напр., название 5 главы III книги: «Исповедь горячего сердца. “Вверх пятами”».

[98] «Милая Мария Александр<овна>! Огромное спасибо за Ваши столь тронувшие меня хлопоты, в результате которых явилась моя избавительница от мучительных мигреней и приливов, с милыми существами, ведущими свое происхождение от ласточек: “hirundo” (пьявка) – “ласточка” по-латыни, а целебное вещество, вводимое ей* в организм через укус – “гирундин”. Сегодня 3-ий день после пьявок; и – явное облегчение. Милая Мария Александровна, – позвольте нам с Клодей как-нибудь Вас навестить; вы назначьте сами, когда это возможно; шлем привет Вл <адимиру Николаевичу>; хотелось бы с ним повидаться; жаль, что Вы не застали нас. Еще раз спасибо. Остаюсь искренно любящий и благодарный [подпись:] Б. Бугаев». (Копия, сделанная К.Н. Бугаевой с автографа, сопровождает-

ся ее примечанием: «*ей – употребление в подобных случаях дательного падежа вместо творительного – постоянная особенность Б.Н». – Мемориальная квартира Андрея Белого.) В.М. Татаринов – муж М.А. Скрябиной.

[99] В.В. Ермилов с 1928 г. был одним из секретарей правления РАППа, но в 1932 г., после выхода постановления ЦК ВКП (б) о ликвидации литературных группировок, раскаялся и стал активно проводить в жизнь новую политику партии. По инициативе Горького В.В. Ермилов, как и ранее его соратник по РАППу Л.Л. Авербах, вошел в Оргкомитет ССП, стал занимать влиятельные посты в литературе. С именами бывших рапповцев вообще связывались громкие кампании идеологической травли писателей. У Белого же имелись свои веские причины опасаться Ермилова, неоднократно выступавшего против него. См., напр.: *Ермилов В.* Театр и правда: Дополненная стенограмма речи на втором пленуме Оргкомитета Союза советских писателей // Красная новь. 1933. № 2. С. 183–184.

[100] В 1933 г. в «Литературной газете» неоднократно печатались критические выступления в адрес Андрея Белого (см. выпуски за 29 апреля – *Нусинов И.* «Маски» в маске: Об Андрее Белом; за 29 мая – *Динамов С.* За ясность и простоту в искусстве). Примером «маленьких гадостей» может быть публикация в «Литературной газете» (1932. 11 ноября) неавторизованной стенограммы выступления Белого на 1-м пленуме Оргкомитета Союза советских писателей 30 октября 1932 г. Это вызвало негодование писателя. На следующий же день он обратился в редакцию с возмущенным письмом: «Уваж<аемая> ред<акция>, в № 51 от 11 н<оября> сего года появилась стенограмма моего выступления по докладам тт. Гр<онского>, Кирп<отина> и Субоцкого на Пленуме Оргкомитета. Стенограмма представляет собой сплошную неразбериху (грамматическую и логическую), которую я отказался править. Пришлось ее заново переписать, возвращая грамматику и логику неверно переданной речи. Передавая исправленный, заново переписанный от руки текст, я убедительно просил заведующую стенограммами *ни в коем случае* не показывать бессмыслицу первоначальной записи, а мое исправление, возвращающее к логике и грамматике. Между тем в вашей газете появился текст стенограммы, *которую я отказался править: он кем-то* наспех исправлен грамматически, да и то не везде; смысл же многих фраз отсутствует вовсе, извращая всю речь <…>» (копия К.Н. Бугаевой с письма от 12 ноября 1932 г.; Мемориальная квартира Андрея Белого).

[101] Отстранение И.М. Гронского от должности Председателя Оргкомитета ССП, предоставление властных полномочий бывшим членам Российской ассоциации пролетарских писателей (Авербаху, Ермилову и др.) приводило современников Белого к мысли о том, что «теперь в новых формах РАПП» (Письмо Ф.В. Гладкова Андрею Белому от 3 июня 1933 г. // Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 764). Волнения по этому поводу одолевали Белого еще в Коктебеле: «Авербахам ничего не стоит оглушить нас треском слов о “правде” <…>. Вероятно, И.М. Гронский не был организатором, вероятно, он не мог справиться со всеми минами и контрминами, закладываемыми неликвидированными группировками т.д. <…> опять будут и мордасы, и травли, с инсинуациями. И заранее уж готовлюсь к этому, нащупывая себе зимнюю квартиру, где бы можно было укрыться от холода, ибо бороться с интригами, вести мины и контрмины не хочу» (Письмо Белого к Ф.В. Гладкову от 17 июня 1933 г. // Там же. С. 768–769).

[102] А.М. Горький.

[103] Имеется в виду период с 1924 по 1931 г., когда К.Н. Бугаева (Клодя) фактически уже была женой Белого, но официально считалась женой П.Н. Васильева (до 1931 г. она носила фамилию Васильева). 1925–1926 гг. – начало совместного проживания Белого и К.Н. Бугаевой (тогда еще Васильевой) в Кучине.

[104] Анна Алексеевна Тургенева (1890–1966) – первая жена Белого, окончательный разрыв их взаимоотношений произошел весной 1922 г. в Берлине.

[105] Клавдия Николаевна не решалась развестись с мужем из-за активного противодействия своей матери – А.А. Алексеевой. Также ходили слухи о том, что этот развод не санкционировал Р. Штейнер.

[106] К.Н. Бугаева была арестована в Детском Селе 30 мая 1931 г. по делу о нелегальной контрреволюционной организации антропософов и 2 июня «направлена со спецконвоем <...> для ведения дальнейшего следствия» в Москву (Из материалов следственного дела, в котором она, естественно, фигурирует под фамилией Васильева). Белый поехал следом хлопотать о ее освобождении.

[107] Яков Саулович Агранов (1893–1938) – в то время начальник Секретно-политического отдела ОГПУ, то есть руководитель системы политического сыска. Разговор с Аграновым состоялся в июне 1931 г. и был связан с хлопотами писателя об освобождении Клавдии Николаевны и других арестованных антропософов. «27-го июня Агранов принял меня, позволил горячо, до конца высказаться, очень внимательно отнесся к моим словам, так что я вынес самое приятное впечатление от него...» – сообщал Белый В.Э. Мейерхольду, устроившему эту встречу (письмо от 4 сентября 1931 г. См.: Из переписки А. Белого: Письма В.Э. Мейерхольду и З.Н. Райх / Публ., вступ. статья и коммент. Дж. Малмстада // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 163). Белый считал, что этот «разговор (часовой) с А<грановым> способствовал отчасти освобождению К.Н.» («Мой вечный спутник по жизни»: Переписка Андрея Белого и А.С. Петровского. С. 276 – письмо от середины марта 1932 г.).

[108] Ср.: «<...> странный разговор, который и доселе стоит мне, как знак вопроса; еще страннее: он отчасти способствовал тому, что изменились судьбы наших отношений с К.Н. и П.Н., ибо я Агранову сказал всю правду о наших взаимоотношениях; и это способствовало, облегчило мне то, что казалось неисполнимым: Загс с К.Н». (Там же. С. 276). 3 июля 1931 г. Клавдия Николаевна и ее муж были отпущены из следственного изолятора, ввиду того что они, «находясь на свободе, не могут повлиять на ход следствия». 8 сентября решением Особого совещания при Коллегии ОГПУ К.Н. и П.Н. Васильевы были лишены «права проживания в 12 п. с прикреплением к определенному месту жительства сроком на три года», но приговор постановили «считать условным, из-под стражи их освободить» (из материалов следственного дела). Еще до окончания следствия Клавдия Николаевна развелась с первым мужем и 18 июля 1931 г. зарегистрировала брак с Б.Н. Бугаевым.

[109] В письме рассказывается о научных планах Б.В. Томашевского (заняться темой «Французская литература в восприятии Пушкина»), об очередных выпусках большой серии «Библиотеки поэта», приветствуется намерение Бугаевых приехать в гости в Ленинград. См.: Б.В. Томашевский в переписке с Андреем Белым. С. 234. (Письмо помечено в публикации 6 сентября 1933 г., однако очевидно, что оно было написано и отправлено на три-четыре дня позже: датированное 6 сентября письмо И.Н. Медведевой пришло уже 9 сентября, в нем говорится, что «Борис напишет в ближайшие дни».)

[110] Фрагмент, взятый нами в фигурные скобки, и в автографе, и в рукописной копии, сделанной К.Н. Бугаевой, зачеркнут. Печатаем то, что удалось разобрать под слоем чернил.

[111] Разумник Васильевич Иванов (1878–1946) – критик и публицист, писал под псевдонимом Иванов-Разумник; Варвара Николаевна Иванова (урожд. Оттенберг; 1881–1946) – его жена.

[112] Белый познакомился с Ивановым-Разумником в мае 1913 г. Дружба между писателем и критиком, возникшая после возвращения Белого в 1916 г. в Россию из Швейцарии, ба-

зировалась на общности литературных вкусов и идейных воззрений: «... темы народа, войны и революции были темами нашего сближения» (*Андрей Белый.* Почему я стал символистом... // Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 474). С 1919 г. их объединяла и работа в Вольной философской ассоциации, где Белый был председателем Совета Вольфилы, а Иванов-Разумник – товарищем председателя. В 1921 г. Белый уехал в Германию, что ослабило связь с Ивановым-Разумником, который в принципе неодобрительно относился к эмиграции, хотя, впрочем, для Белого готов был сделать исключение. После возвращения Белого в Россию в 1923 г. стало обнаруживаться различие идейных установок писателя, готового идти на компромисс с советской властью, и критика, продолжавшего стоять на позиции «духовного максимализма». Однако в дневниковой записи Белый преувеличивает конфликтность их взаимоотношений в то время: как явствует из обширной переписки, на протяжении 1920-х Иванов-Разумник по-прежнему остается ближайшим другом и интимнейшим корреспондентом Белого. Разлад обнаружился в 1931 г.: с 10 апреля по 23 июня и с 7 сентября по 30 декабря Белый жил в Детском Селе по соседству с Ивановым-Разумником, проводя большую часть времени в беседах с ним. Причиной разлада отношений стало неприятие Ивановым-Разумником конформистской позиции Белого, проявившееся в романе «Маски» и особенно – в книге «Мастерство Гоголя», работа над которой велась на глазах у Иванова-Разумника осенью 1931 г. Подробнее об отношениях Белого с Ивановым-Разумником см.: *Лавров А.В.*, *Малмстад Дж.* Андрей Белый и Иванов-Разумник: Предуведомление к переписке // Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., вступ. статья и коммент. А.В. Лаврова и Дж. Малмстада; подгот. текста Т.В. Павловой, А.В. Лаврова, Дж. Малмстада. СПб., 1998. С. 5–28; «Дорогая моя и любимая Варя...»: Письма Иванова-Разумника В.Н. Ивановой из саратовской ссылки / Публ. В.Г. Белоуса // Минувшее. Т. 23. СПб., 1998. С. 419–447.

[113] Имеются в виду «литконсультации», проводимые массовым отделом и групкомом писателей ГИХЛа в Парке культуры и ктдыха имени М. Горького. П.Н. Зайцев был внештатным литконсультантом при ГИХЛе и занимался работой с молодежью. Отчет об этой «литконсультации» П.Н. Зайцев поместил в газете: «Парк культуры и отдыха» [Орган ячейки ВКП (б) и профорганизаций ЦПКиО им. М. Горького и Фабрики-кухни № 7] (1933. 27 сентября. № 28 (56). С. 4). Там же описан и разговор о «Масках»: «Подошедший <... > красноармеец ждет терпеливо очереди <...>. Он мордвин из глухой деревушки. Призван в Красную армию. Попал в Москву. <...> В конце беседы задает вопрос о ритмической прозе и словесной инструментовке. Он прочитал роман “Маски” Андрея Белого. Мало их понял, но пленился музыкальным построением романа, его ритмом. Спрашивает, кто еще из советских писателей пишет ритмической прозой. Называю имена отдельных писателей».

[114] Борис Борисович Красин (1884–1936) – композитор и с 1900-х участник революционного движения, в советское время – руководящий работник в музыкальной сфере: возглавлял музыкальный отдел Пролеткульта, являлся председателем правления и директором-распорядителем Росфилармонии и т.п. В начале 1930-х – заведующий оперой Большого театра.

Б.Б. Красин был давним почитателем творчества Белого: в середине 20-х, после возвращения из Берлина, Белый у него на дому устраивал неофициальные вечера и выступления, что представляло некоторую опасность для хозяина. См.: *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 52.

[115] Немецкий композитор и дирижер, в 1930-х руководивший музыкальной деятельностью Третьего рейха, – Питер Раабе (1872–1945), был также музыковедом, автором ряда работ о Ф. Листе. Здесь имеется в виду его самое известное сочинение: *Raabe P.* Franz Liszt:

Leben und Schaffen. Stuttg.; Berlin, 1931. Bd. 1–2. В хранящемся в Мемориальной квартире Андрея Белого письме Е.Н. Кезельман к С.Д. Спасскому от 24 ноября 1944 г. сообщается, что «Кл<авдия> Ник<олаевна> сейчас <...> над очень трудным переводом книги о муз<ыкальной> технике Листа (для музея Скрябина)». Не исключено, что речь в письме шла об этой книге.

[116] Письмо датировано 16 сентября, а приписка К.Н. Бугаевой к письму Белого – 19 сентября. Белый пишет о своей любви к музыке и математике («у меня – “две тоски”; одна снедала меня в молодости: “Почему я не композитор?” <...> другая тоска – тоска старости: “Почему я не овладел теорией групп, теорией комплексного переменного <...>” Для ряда моих познават<ельных> проблем нуждаюсь в понимании идей Клейна и Абеля»), делится впечатлениями от «Слепого музыканта» В.Г. Короленко и от присланных ему Томашевским книг («Продолжаю читать Ваши статьи и примечания к Ирои-комической поэме; все фактические данные о линии от В. Майкова до Шаховского поучительны и интересны весьма. Что касается до “текста” поэм, то – увольте! <...> Статьи “Французские дела” и “Фр<анцузская> литер<атура> в письмах Пушкина” – крайне мне интересны рядом деталей, с которыми я не был знаком»). См.: Б.В. Томашевский в переписке с Андреем Белым. С. 235–237.

[117] Имеется в виду статья П.Н. Зайцева «Бытописательство и проблемы нового быта (Творчество М. Платошкина)» в литературно-художественном альманахе «Молодость» (М., 1934. Альманах 1. С. 179–190), выпущенном в издательстве «Молодая гвардия».

[118] Чистка – проверка и перерегистрация членов и кандидатов в члены ВКП(б), проводимая для освобождения («вычищения») партии от «чуждых», то есть от «мелкобуржуазных», «ненадежных, неустойчивых и примазавшихся элементов». К процедуре «чистки» партия прибегала неоднократно (в 1921 г., в 1929 г. и т.д.). «Чистка» предполагала поверку работы коммуниста специальной комиссией, его критику и самокритику на открытом собрании и могла грозить исключением из партийных рядов, смещением с должности и т.д. В начале 1933 г. (12 января) на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) была принята резолюция, одобряющая «решение Политбюро ЦК о проведении чистки партии в течение 1933 года и о приостановке приема в партию до окончания чистки». 28 апреля 1933 г. вышло постановление ЦК и ЦКК ВКП(б) «О чистке партии», в котором разъяснялись задачи этого массового мероприятия и определялись конкретные сроки его проведения: «<...> чистку начать в Московской, Ленинградской, Уральской <...> областях и закончить не позднее конца ноября текущего года» (Правда. 1933. 13 января; 29 апреля).

[119] Александр Александрович Фадеев (1901–1956) – писатель, в 1926–1932 гг. – один из руководителей РАППа. С конца мая по середину августа 1933 г. Фадеев находился на должности заместителя председателя Оргкомитета ВССП, а по сути возглавлял писательскую организацию: с мая председатель Оргкомитета И.М. Гронский был «не у дел», в середине августа официально объявили о его отставке. 30 июня 1933 г. Фадеев послал Белому в Коктебель запрос: «Напишите, когда можно Вас ожидать в Москве. Это нужно нам для того, чтобы знать, в какой форме мы можем привлечь Вас к работе по подготовке съезда <...>» (*Фадеев А.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1971. Т. 7. С. 68–69). Г.А. Санников постарался объяснить Белому, сколь политически значимы для него личные связи с новым лидером: «То, что Фадеев В<ам> написал письмо, – это хорошо. Значит, в Оргкомитете думают о Вас и капитал, сколоченный Ив<аном> Мих<айловичем>, растрачивать не хотят. <...> Фадеев, мне сдается, парень неплохой <...>. Зовут его Александр Александрович. Можно отвечать ему на Оргкомитет...» (Письмо от 28 июня 1933 г., Мемориальная квартира Андрея Белого. См.: Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 144). В «Дневнике» Белого

цитируется второе письмо Фадеева, посланное 22 августа в ответ на «отчеты» Белого о состоянии здоровья: «Уважаемый Борис Николаевич! В ответ на Вашу записку от 16 августа извещаю Вас о том, что в течение лета получил от Вас две открытки, которыми был вполне удовлетворен. Очень сожалею о Вашем нездоровье – спокойно лечитесь и не волнуйтесь ни о чем. Жму Вашу руку. А. Фадеев» (Вопросы литературы. 1972. № 1. С. 186). В это время Белый уже вряд ли мог рассчитывать на заступничество Фадеева, так как в середине августа он лишился прежней могущественной должности и уехал в длительную командировку на Дальний Восток.

[120] Имеются в виду прошения осужденных и их родственников о пересмотре дела и сокращении срока наказания. Несмотря на хлопоты, Е.Н. Кезельман не удалось быстро вернуться в столицу. Как следует из ее воспоминаний, в январе 1934 г. она ненадолго приезжала в Москву, а потом вновь вернулась в Лебедянь. Возможно, этот приезд ссыльной Е.Н. Кезельман был вызван подачей (15 января 1934 г.) ее собственного заявления с просьбой «досрочно освободить от ограничений и разрешить свободное проживание по СССР» (из материалов следственного дела).

[121] Лидия Васильевна Каликина (1888 –1955?) – подруга Бугаевых, антропософка, находящаяся в это время в ссылке в Орле. Подробнее о ней см. в послесловии к ее переписке с П.Н. Зайцевым в наст. изд.

[122] Ольга Николаевна Анненкова (1884–1949) – преподаватель в техникуме иностранных языков, переводчица; входила в число «ранних и ближайших учеников Штейнера»: «Ее престиж стоял очень высоко. Ведь именно ей Штейнер дал право “гаранта”, т.е. право принимать в общество. <...> Может быть потому, что ею был сделан перевод книги “Христианский акт и мистерии древности” <...> с ее именем связалась атмосфера мистерии, атмосфера “эзотерической школы”, в которой она, как это было известно, участвовала в Дорнахе» (*Жемчужникова М.Н.* Воспоминания о Московском антропософском обществе (1917–1923) / Публ. Дж. Малмстада // Минувшее. Т. 6. М., 1992. С. 26–27). После возвращения из Берлина в 1923 г. Белый жил в доме Анненковой и ее мужа на Бережковской набережной. Как и многие другие антропософы, Анненкова была в 1931 г. арестована и лишена «права проживания в 12 п. с прикреплением к определенному месту сроком на три года». Отбывала срок в Орле. Постановление о том, что Анненкову можно «досрочно от наказания освободить, разрешив свободное проживание по СССР», вышло 22 августа 1933 г. (*Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 555 и др.).

[123] Михаил Львович Винавер (1880–1942) – ближайший помощник Е.П. Пешковой, заместитель председателя Комитета помощи политическим ссыльным и заключенным (Политического Красного Креста).

[124] Владимир Михайлович Моисеев (1897–?), библиограф (работал старшим библиографом Научно-исследовательского института экономики и сельского хозяйства при академии сельскохозяйственных наук им. Ленина) и его сестра Наталья Михайловна Моисеева (1901–1987?), преподавательница музыки. Оба являлись членами антропософского общества с начала 1920-х, оба были приговорены к ссылке на Урал (Тобольск) сроком на три года. В октябре 1933 г. В.М. и Н.М. Моисеевым было отказано в просьбе о досрочном освобождении.

[125] После закрытия антропософского общества в 1923 г. его члены, следуя прямому указанию Р. Штейнера, приняли решение отказаться на время от какой-либо организационной, пропагандистской и другой общественной деятельности, а дух и традицию антропософии сохранять, встречаясь друг с другом частным образом и небольшими группка-

ми, не более чем по двое, по трое. Не все согласились с таким «пассивным» решением, в частности, В.М. Моисеев вел антропософский кружок для молодежи, Н.М. Моисеева занималась эвритмией с детьми. Впрочем, «нелегальную» кружковую работу вели не только они, но и другие члены общества. В результате, как отмечалось в докладе Секретно-политического отдела ОГПУ «Об антисоветской деятельности интеллигенции», в 1931 г. «в Москве была подпольная организация антропософов, состоявшая, главным образом, из педагогов средней и низшей школы и нескольких библ<иотечных> работников» (Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б)–ВКП(б), ВЧК–ОГПУ–НКВД о культурной политике 1917–1953 гг. / Сост. А. Артизов, О. Наумов. М., 1999. С. 162). Всего по делу 1931 г. о нелегальной контрреволюционной организации антропософов проходило 27 человек. Убеждение же Белого в том, что именно В.М. и Н.М. Моисеевы являются виновниками процесса, основано, вероятно, на том, что их арестовали на месяц раньше других антропософов – в апреле, а не в мае 1931 г.

[126] Белый не дожил до получения желанной квартиры. К.Н. Бугаева смогла въехать в нее только в марте 1934 г.

[127] Всеволод Александрович Рождественский (1895–1977) – поэт, проживал в Ленинграде. Белый виделся с ним в Коктебеле летом 1930 и 1933 гг. Письмо с коктебельскими фотографиями датировано 19 сентября:

«Дорогой Борис Николаевич!

Посылаю обещанные снимки. Они обманули мои ожидания (причина: моя неопытность и плохие пластинки), но все же они напомнят Вам коктебельские дни и нашу, так и не состоявшуюся, беседу. Когда я проезжал через Москву, у меня было большое желание повидаться с Вами, и не осуществил я его только потому, что остановка моя была слишком краткой. Я надеюсь это сделать в другой раз. А пока шлю Вам и К.Н. свои самые дружественные приветы. Всеволод Рождественский» (Мемориальная квартира Андрея Белого).

В ответ Белый писал: «Спасибо за открытки, которые страшно меня порадовали, как и за память. Я тщетно пристаю к жене вот уже два года, чтобы она для меня снялась, и не могу добиться от нее исполнения просьбы, а на одном из Ваших снимков она так удалась, что я отдаю этот снимок для репродукции. Очень скорблю, что нам не удалось поговорить и близко сойтись, несмотря на совместную жизнь в Коктебеле <...>» (см.: О Всеволоде Рождественском: Воспоминания. Письма. Статьи. М., 1974. С. 55–56).

[128] Белый диктовал К.Н. Бугаевой вторую часть мемуаров «Между двух революций» (или – IV том Воспоминаний) до 2 декабря 1933 г. Работа осталась незавершенной; он успел надиктовать первую главу и часть второй. См.: Из литературного наследства Андрея Белого: Воспоминания, том III часть II (1910–1912) / Публ. К. Бугаевой // Литературное наследство. Т. 27–28. М., 1937. С. 413–456. См. также восстанавливающую цензурные купюры публикацию А.В. Лаврова.: *МДР 1990.* С. 365–441.

[129] И.Ю. Тарасевич жил по соседству с Бугаевыми, в Долгом переулке (д. 23).

[130] «Пиковая дама» (1890) – опера П.И. Чайковского.

[131] «Псковитянка» (1872) – опера Н.А. Римского-Корсакова.

[132] В ответ на сообщение И.Н. Медведевой-Томашевской о возможном приезде в Москву К.Н. Бугаева пишет, что они будут рады ее видеть, Белый жалуется на головные боли, которые «в последние дни очень отрезывают от писем». См.: Б.В. Томашевский в переписке с Андреем Белым. С. 237–238.

[133] Об этнографе Нине Ивановне Гаген-Торн (1901–1986), учившейся у Белого в Вольфиле в начале 1920-х, см. в наст. изд. Перед отъездом в Москву Н.И. Гаген-Торн отправила К.Н. Бугаевой письмо:

«Ленинград, 15 сентября 33 г.

Дорогая Клавдия Николаевна!

Недавно вернулась из Хибин, где провела около месяца, собиралась заехать в Москву, но не попала. Думаю приехать в конце сентября или в начале октября. Очень хочется повидаться с Вами и с Борисом Николаевичем. Как его здоровье?

Мне очень хочется приехать в Москву так, чтобы можно было повидаться и поговорить, но боюсь, не будет ли сейчас Борису Николаевичу вреден сколько-нибудь длинный и серьезный разговор? Помните, год назад он как-то сказал, что хотел бы послушать, как он выразился, “курс этнографии”, т.е. мое этнографич<еское> credo. Мне бы очень много хотелось сказать: о символике в примитивной культуре, о переходе от магии к символу, как это видно <по> этнограф<ическим> материалам и т.д. Словом, мне бы страшно хотелось многое рассказать Вам и Борису Николаевичу, что продумалось за это время. И это – основное, для чего мне нужна сейчас Москва. <*Нрзб*> все дела – постараюсь приноровить к этому, если только Вам обоим, дорогая Клавдия Николаевна, к месту сейчас такой разговор и если он не утомителен для Бориса Николаевича. Напишите мне, пожалуйста, удобно ли Вам это сейчас? Я смогу приехать либо 24–25, либо 28–29 сентября. Если же лучше отложить, то приеду в октябре. Простите за бесцеремонность, лапидарность письма – как-то не пишется и очень хочется увидеть Вас и Бориса Николаевича. Очень много думала о Вас и тревожилась о его здоровье. Привет сердечный Анне Алексеевне. Ваша Н. Гаген-Торн» (Мемориальная квартира Андрея Белого).

[134] Свои впечатления от последней встречи с Белым Н.И. Гаген-Торн изложила в письме к Иванову-Разумнику от 21 января 1934 г. См. в наст. изд.

[135] См. выписанный И.Ю. Тарасевичем после осмотра Андрея Белого 1 октября 1933 г. рецепт: НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 40. Ед. хр. 5. Л. 5.

[136] Судя по «медицинскому» контексту, имеется в виду визит П.Н. Васильева, а не П.Н. Зайцева.

[137] Варвара Сергеевна Марсова (1879–1956) – сначала земский врач, в советское время психиатр, физиотерапевт; давняя знакомая Белого. «Вар<вара> Сер<геевна> Марсова – прекрасно лечащая массажистка <…>, – характеризовал ее Белый в письме к Иванову-Разумнику от 24 и 25 сентября 1926 г. – Это, так сказать, официальная сторона; неофициальная <…> которая – скрывается: Варвара Сергеевна – антропософка; она одновременно: работала у Корнелиуса и была ученицей доктора в Берлине (в 1912–1915 гг.) <…>» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 372).

[138] Василий Константинович Хорошко (1881–1949) – известный невропатолог, зав. неврологической клиникой Института физиатрии и ортопедии, впоследствии – председатель Всесоюзного медицинского общества невропатологов и психиатров, академик АМН СССР.

[139] Владимир Александрович Архангельский (1895–1958) – пианист, доцент Московской консерватории.

[140] Семья Санникова переехала в писательский дом в Нащокинском переулке (д. 5), тот самый, очереди на квартиру в котором дожидался, но так и не дождался Белый.

[141] *Державин Г.Р.* Стихотворения / Ред. и прим. Г. Гуковского, вступ. статья И.А. Виноградова. Л., 1933; *Давыдов Д.* Полное собрание стихотворений / Ред. и прим. В.Н. Орлова, вступ. статьи В.М. Саянова и Б.М. Эйхенбаума. Л., 1933. Обе книги выпущены в большой серии «Библиотеки поэта».

[142] Дарья Николаевна Часовитина (1896–1966) – человек, близкий семье Бугаевых, антропософка, ремингтонистка Белого, Б.Л. Пастернака, М.А. Волошина; перепечаткой

произведений Белого занималась постоянно. Анастасия Александровна Баранович-Поливанова рассказывала, что «ближайшим другом» ее матери Марины Казимировны Баранович «до конца жизни оставалась Дарья Николаевна Часовитина – внебрачная дочь Великого князя. Тот встретился с ее матерью в Узбекистане, когда занимался там ирригацией. В дальнейшем он следил за воспитанием дочери. Музыкальное образование она получила в Европе, ей прочили карьеру скрипачки-солистки, уговаривали не возвращаться в Россию – это было уже после октябрьского переворота, – но она вернулась. Сразу же начали таскать в ГПУ, не посадили, а какой-то следователь даже посоветовал: сидите дома и никогда не поступайте на службу. Купила машинку и всю жизнь проработала машинисткой. Печатала медленно (в отличие от мамы), но без единой опечатки, многие писатели-патриархи советской литературы ценили ее не столько за это – просто льстило, что им печатает не кто-нибудь, а дочь Великого князя. Во время гонений на антропософов – дружила с Волошиным, Белым – тоже уцелела, но всегда сплошной, как говорила про нее мама, комок нервов». См.: *Баранович-Поливанова А.А.* Оглядываясь назад. М.: Водолей, 2001. С. 15). «Великий князь» – Николай Константинович (1850–1918).

[143] Основная тема письма от 7 октября 1933 г. – плохое самочувствие писателя: «<…> переживал вновь страдания <…>, меня превращавшие почти в труп. <…> Мне хочется, как зверю, найти себе берлогу, чтобы там залечь <…> Словом: Замыслил побег / В обитель дальнюю труда и чистых нег». См.: Б.В. Томашевский в переписке с Андреем Белым. С. 238–239.

[144] Сохранилось несколько документов о получении Андреем Белым лекарств на бланках «Кремлевской аптеки санитарного управления Кремля при Управлении Делами С.Н.К»., ранний из них – от 10 октября 1933 г. См.: НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 40. Ед. хр. 5. Л. 14.

[145] Накануне, 11 октября, Б.Н. Бугаеву пришло извещение из Московского городского банка на получение авторского гонорара из журнала «Новый мир». Извещение и доверенность Г.А. Санникову на получение этих денег хранятся в ОР РНБ (Ф. 60. Ед. хр. 7).

[146] Николай Васильевич Кузьмин общался с Белым, когда по заданию ГИХЛа иллюстрировал роман «Маски» (М.; Л., ГИХЛ, 1932), о чем написал в мемуарах (см.: *Кузьмин Н.* Давно и недавно. М., 1982. С. 281–287); об этой встрече он не упоминает.

[147] Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) – художник, среди его работ – «Портрет писателя Андрея Белого» (1932; Государственная картинная галерея Армении). Белый знал его еще по работе в Вольной философской ассоциации; сближение произошло в 1931 г., когда Белый жил в Детском Селе; тогда же позировал для портрета. Как и Белый, К.С. Петров-Водкин стал объектом критики М. Горького в статье «О прозе» – за книгу «Пространство Эвклида. Моя повесть. Книга вторая» (Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1932). «Ал. Макс. Пешков поправляется. Вышел альманах "Год шестнадцатый" с его статьей о художественной прозе, – статьей бранчливой, сварливой и недовольной. Особенно досталось К.С. Петрову-Водкину за его пространство Евклида», – сообщал Белому в Коктебель П.Н. Зайцев 14 июня 1933 г. (Андрей Белый и П.Н. Зайцев. Переписка. С. 528). На упомянутое в дневнике послание Белого К.С. Петров-Водкин ответил 27 октября 1933 г.: «Наконец-то получил Вашу открытку и успокоился ото всяких слухов о Вашем здоровье, по-московски преувеличенных. Из Абастумана вернулся <…>. Не икалось ли Вам, не чертыхалось ли от всего, что с Вами проделываю: пишу Ваш портрет в группе случайно объединенных детскосельством (Вы, Федин, Толстой и Шишков). Пишу всех по памяти (не считая набросков пустяковых), и в этом трудная и интересная задача. Вот, вот приступлю (готовлюсь как на приступ) к 3-й книжке. Залихватская статья Алексея Максимовича, на-

поминающая лузг семечек под гармошку, еще больше подзадоривает меня к работе...» (опубликовано с сокращениями в кн.: *Петров-Водкин К.С.* Письма. Статьи. Выступления. Документы / Сост., вступит. ст. и коммент. Е.Н. Селизаровой. М., 1991. С. 279). Подробнее см. в наст. изд.

[148] Мария Сергеевна Зайцева (1891–1968) – жена П.Н. Зайцева.

[149] «Дорогой, милый Борис Николаевич!

Вот какая незадача с Бор<исом> Леонидовичем: он вчера слег в постель. Температура 38,2 – 38,4. Зин<аида> Ник<олаевна>, его жена, говорит, что это вероятно простуда. Сегодня у него будет доктор. Встреча, стало быть, опять откладывается. Зайду к Вам 16-го на минуточку вечером.

Сейчас выправляю свою статью, хочу завтра сдать ее в переписку.

Вчера не успел обменять карточку ЦЕКУБУ. Пойду завтра и 16 принесу Вам ее, а также и промтоварные книжки, если они будут получены в Горкоме. Обнимаю Вас крепко. Сердечный привет Кл<авдии> Ник<олаевне>. Любящий Вас П. Зайцев» (Письмо от 14 октября 1933 г. См.: Андрей Белый и П.Н. Зайцев. Переписка. С. 543).

[150] Николай Васильевич Бугаев (1837–1903) – математик, профессор, декан физико-математического факультета Московского университета.

[151] Имеются в виду прения по докладу Андрея Белого «Основные особенности творчества Гоголя», состоявшемуся в ГИХЛе 10 января 1933 г., или по докладу «Гоголь и “Мертвые души” в постановке художественного театра», проходившие во Всероскомдраме 26 января 1933 г.

[152] Надежда Сергеевна Аллилуева (1901–1932) – жена И.В. Сталина; возможно, покончила с собой; ее похороны проходили без пышности, в прессе вождю был выражен минимум соболезнований. На могиле установлено надгробие работы И.Д. Шадра и И.В. Жолтовского.

[153] Тициан Юстинович Табидзе (1895–937) – грузинский поэт-символист. Осенью 1933 г. Пастернак с увлечением занимался переводом грузинских поэтов и стремился войти в грузинскую комиссию при Оргкомитете ССП. «6 октября он посылает Б.Д. Жгенти для тифлисского журнала “Литература и Искусство Закавказья” четыре перевода – три стихотворения Табидзе (“Не я пишу стихи...”, “Если ты – брат мне...”, “Иду со стороны черкесской...”) и одно Яшвили – “На смерть Ленина”» (*Флейшман Л.* Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 784). См.: Грузинские лирики / Пер. Б. Пастернака. М., 1935; Поэты Грузии: В переводах Б.Л. Пастернака и Н.С. Тихонова / Вступит. ст., ред. и словарь Николо Мицишвили. Тифлис, 1935.

[154] Для Б.Л. Пастернака эта тема была окрашена личными переживаниями: в Германии находились его ближайшие родственники. За два дня до разговора с Белым, 18 октября 1933 г., Б.Л. Пастернак послал О.М. Фрейденберг письмо, в котором обсуждались необходимость спасения Л.О. Пастернака и семьи, план их переезда в Россию (*Пастернак Б.Л.* Полн. собр. соч. М., 2005. Т. VIII. С. 682). Подробнее см.: *Флейшман Л.* Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 166–168.

[155] Ирина Сергеевна Асмус (1893–1946) – первая жена Валентина Фердинандовича Асмуса (1894–1975), профессора, автора работ по истории философии, логике, эстетике. До середины 1920-х Асмусы жили в Киеве.

[156] Имеется в виду поездка в Киев в феврале–марте 1924 г. Белый тогда выступал с лекциями и жил у своих кузин Жуковых: Екатерины Александровны, Евгении Александровны и Веры Александровны.

[157] Лев Борисович Каменев (1883–1936) – партийный и государственный деятель; с конца 1920-х в опале, был отстранен от ключевых постов, неоднократно исключался из партии и вновь восстанавливался (последний раз восстановлен в 1933 г.). Л.Б. Каменев писал предисловия к «Началу века» и к «Мастерству Гоголя», что, естественно, тревожило Белого, так как идеологические оценки бывшего партийного вождя по-прежнему имели вес. «Кстати, меня беспокоит верстка “Маст<ерства> Гоголя” <...> Очень жду предисловия Каменева <...>», – писал Белый П.Н. Зайцеву 19 июня 1933 г. (Андрей Белый и П.Н. Зайцев. Переписка. С. 531–532).

[158] Валерий Яковлевич Кирпотин (1898–1997) – критик и литературовед, был секретарем Оргкомитета Союза писателей СССР (в 1932–1934 гг.) и сотрудником аппарата ЦК ВКП(б) – в 1932–1936 гг.

[159] Николай Александрович Булганин (1895–1975) с 1931 по 1937 г. был председателем Исполкома Моссовета и отвечал за реализацию Генерального плана реконструкции Москвы.

[160] О реакции Белого на получение «пробного экземпляра» с предисловием Каменева см. письмо П.Н. Зайцева Л.В. Каликиной и другие материалы наст. изд.

[161] Сохранился рецепт, выписанный П.Н. Васильевым Андрею Белому 26 октября 1933 г. См.: НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 40. Ед. хр. 5. Л. 12.

[162] Белый родился 14 октября 1880 г. по старому стилю, 26 октября по новому.

[163] От А.А. Алексеевой и Е.А. Корольковой.

[164] Александр Владимирович Ефремин (наст. фамилия: Фрейман; 1888–1937) – литературовед, критик, педагог; занимался преимущественно творчеством Демьяна Бедного.

[165] Дмитрий Дмитриевич Благой (1893–1984) – литературовед, пушкинист.

[166] Михаил Кузьмич Добрынин (1889–1955) – литературовед, впоследствии секретарь правления СП СССР (1946), зав. сектором литератур народов СССР Института мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР; зав. кафедрой литературы ГИТИСа (1937–1955). Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888–1982) – писатель. Иван Никанорович Розанов (1874–1959) – литературовед, коллекционер, собиратель библиотеки русской поэзии.

[167] После возвращения домой Белый попытался вернуться к работе: «Вечером диктовал главку “Бердяев–Булгаков” из 2-й части III тома “Воспоминаний”» (*Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества).

[168] Речь идет о мемуарах «Между двух революций».

[169] Владимир Матвеевич Бахметьев (1885–1963) – писатель, журналист, издательский работник; член РСДРП с 1909 г.; в 1923 г. вступил в литературную группу «Кузница», член редколлегии «Красной нови», делегат от Москвы на Первом съезде Союза писателей СССР. Как вспоминал П.Н. Зайцев, В.М. Бахметьев, Ф.В. Гладков и Г.А. Санников были членами Художественного совета и «качественной комиссии» ГИХЛа (см.: *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 172, 534).

[170] В записных книжках Г.А. Санникова Фролов упоминается как один из руководящих работников ГИХЛа: «Разговор в ноябре с Фрол<овым> и Накор<яковым> о “Между двух революций”». Отмечен им также «разговор с Фроловым о поправках», которые желательно было бы внести в предисловие Л.Б. Каменева к мемуарам «Начало века» (Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 243–244).

[171] Молотов Вячеслав Михайлович (настоящая фамилия Скрябин; 1890–1986), с 1930 по 1941 г. был председателем Совета народных комиссаров СССР.

[172] ОГИЗ (Объединение государственных книжно-журнальных издательств РСФСР») был создан при Наркомпросе РСФСР в 1930 г. для централизации, концентрации и упо-

рядочения издательского дела. Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ) было создано тогда же как предприятие, работающее в системе ОГИЗа. Суть тяжбы ГИХЛа с ОГИЗом изложена в письме П.Н. Зайцева Белому от 29 июня 1933 г.: «Вчера в ГИХЛе было заседание качественной комиссии группкома. Я был на этом заседании. Обсуждался план II и III кварт<алов> и предположенный план конца года и начала 34-го. В.М. Бахметьев сообщил о существующих в некоторых кругах и среди ответственных работников ОГИЗа предположениях типизировать ГИХЛ, возложив на него функции издания лишь классиков и современных писателей с “именами”. Это сообщение подверглось живому обсуждению. Комиссия единодушно признала типизацию ГИХЛа недопустимой и гибельной для издательства и ставящей ряд писателей в трудное положение. Судя по высказываниям, такая типизация едва ли встретит поддержку и в широкой среде писательской общественности.

Попутно развернулся вопрос о принципиальных позициях ГИХЛа и о его “лице”. Этому вопросу, вероятно, будет посвящен отдельный вечер.

ГИХЛ нуждается в конкретной, реальной помощи и поддержке со стороны писателей и группкомов, просит ее, но... не всегда эту помощь принимает» (Андрей Белый и П.Н. Зайцев. Переписка. С. 534).

[173] Николай Васильевич Крутиков – адвокат, по состоянию на 1936 г. его должность официально именовалась «заведующий Специальной консультацией по авторскому праву Московской областной коллегии защитников».

[174] Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954) – писатель. Николай Николаевич Ляшко (наст. фамилия: Лященко; 1884–1953) – прозаик, один из руководителей группы «Кузница».

[175] У Белого были и личные причины «бунтовать» против политики ОГИЗа, так как из-за нее оказался невозможен выход в ГИХЛе третьего тома мемуаров, «Между двух революций» (Белый часто называл его вторым томом «Начала века»). В письме к С.Д. Спасскому от 29 ноября 1933 г. он жаловался: «Но с осени выпускная способность ГИХЛа оказалась опять под ударом ввиду препятствий, оказываемых ОГИЗом, желающим, чтобы ГИХЛ, сосредоточась на классиках, занимался бы минимально совр<еменной> худ<ожественной> литературой; ГИХЛ вынужден отказаться от ряда намеч<енных> книг <...>, так что я волен распоряжаться “Началом Века”, как мне угодно, или опять ждать» (Письма Андрея Белого к С.Д. и С.Г. Спасским. С. 661).

[176] Сэн Катаяма (1859–1933) – деятель международного коммунистического движения (один из руководителей Коминтерна), организатор Коммунистической партии Японии (1922). В этом качестве пользовался доверием и гостеприимством как Ленина, так и Сталина. Он много лет прожил в России и умер в Москве 5 октября 1933 г. Его торжественные похороны состоялись 6 ноября, урна с прахом была захоронена у Кремлевской стены, мозг передан в Московский институт мозга.

[177] Ср.: «Ноября 9. С мигренью выехал на заседание в ГИХЛ вместе с Г.А. Санниковым. Обратно возвращался пешком с Ф.В. Гладковым» (*Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества). См. также описание этого события в письме К.Н. Бугаевой к Е.В. Невейновой от 25 ноября 1933 г. и в письме П.Н. Зайцева к Л.В. Каликиной от 18 декабря 1933 г. в наст. изд.

[178] По всей видимости, это московский терапевт Оскар Викентьевич Вальтер (1875–1941, расстрелян). Выписанные им рецепты на получение лекарств в Кремлевской аптеке датированы 17 и 27 ноября 1933 г. См.: НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 40. Ед. хр. 5. Л. 13, 15.

[179] По свидетельству К.Н. Бугаевой, Белый 26 ноября 1933 г. читал Зайцеву «отрывок “Египет” из 2-й части III тома “Воспоминаний”» (*Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества). См. подробнее в письме П.Н. Зайцева к Л.В. Каликиной от 18 декабря 1933 г. в наст. изд.

[180] Магдалина (Мария) Ивановна Сизова (1892–1969) – писательница, актриса и режиссер, художница, член антропософского общества, сестра друга юности Белого М.И. Сизова. Евгений Карлович Тегер (1890 – после 1942), востоковед, сотрудник Наркомата иностранных дел, работавший в российских представительствах в Китае и Афганистане (генеральный консул в 1922 г.), известный оккультист и член разнообразных тайных обществ (например, розенкрейцеров), был ее вторым мужем. Арестованный в 1928 г., Е.К. Тегер рассказал на допросе (20 февраля) и о своих отношениях с М.И. Сизовой: «После приезда из Афганистана в октябре 1922 г. в Москве женился на гражданке Магдалине Ивановне, урожденной СИЗОВОЙ, с которой был знаком еще с 1913 г. (скорее знал ее с того времени). <...> Я являюсь ее вторым мужем. Первым мужем был Владимир Михайлович ВИКЕНТЬЕВ, египтолог, который работал в Историческом музее <...>. Еще в 1921 г., а м.б. и раньше, ВИКЕНТЬЕВ разошелся с СИЗОВОЙ, но поддерживал с ней дружеские отношения. <...> Живет она в Ленинграде вследствие того, что она там работает режиссером в студии Драматического театра. <...> Раньше моя жена интересовалась оккультизмом, но последнее время стала смотреть на это отрицательно» (Розенкрейцеры в Советской России: Документы 1922–1937 гг. / Публ., вступ. статья, комментарии, указатель А.Л. Никитина. М., 2004. С. 84–85).

Визит М.И. Сизовой к Бугаевым мог быть связан с рассказами о Средней Азии (там находились в ссылке многие антропософы) и ее попытками добиться возвращения мужа в столицы. Е.К. Тегер был приговорен к 7 годам заключения в концлагере, но, благодаря хлопотам жены, в 1929 г. его перевели из Соловков в Казахстан (Петропавловск), а в 1930 г. – в Ташкент, куда переехала к нему и М.И. Сизова. 10 октября 1933 г. Тегер «был освобожден в Ташкенте с правом свободного проживания по СССР, однако не смог получить паспорт, чтобы закрепиться в Ленинграде или Петрозаводске, и вынужден был уехать на жительство в Киров (Вятка)» (Там же. С. 81). Весной 1934 г. на некоторое время он приезжал к жене в Москву (Эзотерическое масонство в Советской России: Документы 1923–1941 гг. / Публ., вступит. стат., коммент., указатель А.Л. Никитина. М., 2005. С. 484). К моменту следующего ареста в 1937 г. Тегер и Сизова уже расстались (Там же. С. 316 и др.).

[181] Белый узнал об этом через С.Д. Спасского. В письме к нему от 29 ноября 1933 г. Белый благодарил «за передачу любезного приглашения “Издат<ельства> Ленингр<адских> Писателей”, пожелавшего включить в план издания 1934 г. книгу мою “Начало века” (2-ой том), называющуюся “Между двух революций”; книга эта писалась для “Изд<ательства> Федерации” в эпоху, когда ГИХЛ, выпускавший 2 мои книги, не имел возможности выпустить третью. С прошлого года образовавшийся при “Гихле” Горком писателей предложил мне выпустить 2-ой том “Нач<ала> Века”, который я и взял из “Федерации” для ГИХЛа. Но с осени выпускная способность ГИХЛа оказалась опять под ударом <...>. Итак, с охотой навстречу предложению издательства; рукопись может в любое время быть отослана. Жду уведомления об этом» (Письма Андрея Белого к С.Д. и С.Г. Спасским. С. 661).

[182] По свидетельству К.Н. Бугаевой, «утром 2 декабря он закончил диктант последнего отрывка второй главы, вечером рассказывал, с чего нужно будет начать третью, а вечером со второго на третье начался новый приступ болезни <...>» (*Бугаева К., Петровский А., [Пи-*

нес Д.]. Литературное наследство Андрея Белого // Литературное наследство. Т. 27–28. С. 617)». Имеется в виду глава “Инцидент с “Петербургом”» (*МДР 1990*. С. 437–440).

[183] В этот же день, 3 декабря 1933 г., Белый, по свидетельству К.Н. Бугаевой, «правил текст (стилистически) “Воспоминаний”» (*Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества). Сохранилось также датированное 3 декабря письмо Белого к С.Д. Спасскому, в котором писатель обсуждает вопросы издания мемуаров «Между двух революций» и гонорар, на который он мог бы рассчитывать. В сделанной К.Н. Бугаевой копии имеется ее примечание: «Написано в день начала последнего приступа, после которого Б.Н. был перевезен в клинику. Письмо не было отправлено» (Мемориальная квартира Андрея Белого).

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

Л.И. КРАСИЛЬЩИК

[БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ АНДРЕЯ БЕЛОГО]
Из воспоминаний о Б<орисе> Н<иколаевиче>

Лето 1933 г. Я в Малом Ярославце получаю известие от Екатерины Алексеевны[1] – тетки К.Н. о серьезной болезни Б.Н. Заболел в Коктебеле, куда они в мае уехали с К.Н. Сначала предполагают солнечный удар. 14 мучительных дней и столько же бессонных ночей К.Н. проводит с тяжело больным Б.Н., вдали от близких и родных. Ухаживать за Б.Н. помогает ей Марья Степановна Волошина. В начале августа Б.Н. поправляется настолько, что может выехать из Коктебеля. Я вижу его, когда возвращаюсь в Москву, в начале сентября и тотчас же ощущаю: «Б.Н. не тот, что-то в нем коренным образом изменилось. Может быть, главным образом физически, но эта перемена пронизала весь его облик. Он ушел в себя. Беспокоен. Движения порывисты. Зароились печальные предчувствия: произошло что-то решающее. Нанесен удар. Есть ли возврат к прошлому?» И что-то внутри отвечало: «Нет». Как описать все последующее? События развертываются с катастрофической быстротой. Я забегаю к К.Н. и Б.Н. приблизительно раз в неделю, почти регулярно. Бориса Николаевича навещают друзья, знакомые, но ему в это время трудно часто видеться с людьми, трудно бывает говорить, устает. Хотя и оживляется в интересной для него беседе, но сквозь все чувствую: «Не тот». Его знакомый мне мир сознания, как молнией, прорезается теперь другим. Он четко, зорко, как все, что делает, прислушивается к решающему отрезку своей жизни в себе, вживается в скорбь и горечь предстоящей разлуки с К.Н., казалось, видит ее уже одну на земле, без него. Ее любовь и заботы о нем, ее мысли о нем, направленные к тем же темам, в безмолвии встречаясь с его мыслями, дают такое напряжение грозового молчания, что чувствуешь себя в нем как в лаве огненной скорби. Б.Н. от времени до времени бывает у проф<ессора> Тарасевича. Ему предписан строгий режим, который он старается соблюдать. И чувствуешь: и Б.Н., и К.Н. слабо верят в действенность этого режима, но молчат об этом и строго его проводят. Кажется, в октябре Б.Н. очень стремился в санаторий, в природу, надеялся, что он там скорее поправится[2]. Настойчиво говорил об этом, хотел очень поехать. К.Н., как всегда, с большой кротостью и большой нежностью поддерживала в нем эту надежду. Я так и слышу его голос, как он говорит с оживлением: «Ведь, знаете, там очень милые люди бывают. Тоже усталые, нуждающиеся в отдыхе. С ними будет хорошо. И зимой весь лес в снегу». И вопросительный взор, обращенный к К.Н. и означавший: «Ведь правда, Клоденька?» А К.Н. поспешно, ласково, с ободряющей улыбкой: «Ну, конечно, непременно поедем». А сама внутренне трепещет при мысли: как поехать ей одной с ним, таким слабым? Вдруг там опять приступ дикой, безумной головной боли? Что тогда делать?

Часов в 9½ Б.Н. обыкновенно совершал вечернюю прогулку. Выходил минут на 20. Я большей частью оставалась у Анны Алексеевны[3] в ее каморке. Так и вижу

миниатюрную фигурку К.Н., сосредоточенную, печальную, выпархивающую вслед за согбенным, страдальческим Б.Н. Иногда он выходил на площадку один. Я, бывало, спрашиваю: «Отчего же ты не пошла с ним?» — «Он оставил меня, чтобы я с тобой посидела». Мне всегда казалось, что он страдает от этих вынужденных прогулок. Все педантично предписанное извне так не гармонировало с его существом. Часто, возвращаясь несколько освеженный воздухом, приходил посидеть с нами в комнатке Анны Алексеевны рядом с кухней. Иногда он бывал оживлен, говорил о возможности продолжать работу. Особенно интересовался последними научными открытиями в области химии и физики, далекими научными экспедициями. Иной раз слушал, а раз как-то помню, очень оживился, затронув одну из своих любимых тем: Марбургская школа, Коген, Риккерт[4].

Но за осень 1933 г. таких вечеров в памяти у меня осталось мало. Больше всего помню Б.Н. молчаливым, слушающим, скорбным. Иногда несколько оживлялся в беседе, но вдруг взгляд его обращался вовнутрь, как бы ловя нить своей гаснущей жизни, то вдруг, как стрелой, прорезался страданием от вспышки головной боли. Лицо совершенно менялось. Он несколько откидывался в стуле назад, брался за висок, внезапно стихал и несколько испуганно говорил: «Что-то опять заболело», быстро вставал и уходил к себе.

Помню один такой вечер. Я после его ухода еще недолго просидела, оделась и собралась домой. Проходя мимо его комнаты, простилась с ним: «До свидания, Борис Николаевич». Он вышел проститься, почти шатаясь, в своей тюбетеечке, бледный как полотно, с искривившимися от боли губами, согбенный, но стараясь улыбнуться. Зачем он вышел? Я не хотела его тревожить. Мне стало неловко. Взглянув на него, подумала: «Такое лицо бывает только у человека, которому осталось недолго жить».

Как-то заговорили мы об «Энергии» Гладкова[5]. Б.Н. очень горячо сказал: «Как бы я хотел *просто* писать, а не умею. Мне не верят — а я действительно не умею».

Как-то К.Н. мне сказала: «Б.Н. хочет прийти к тебе в гости. Мы с ним проходили на днях мимо твоего дома. Я ему напомнила, что ты здесь живешь. Он сказал: «Ну вот хорошо. Когда ты будешь уходить к Л.И., я буду знать, где тебя искать и приду за тобой». (Когда К.Н. уходила из дому и несколько задерживалась, Б.Н. или сам шел за ней, или кто-либо из домашних, чтобы успокоить его, отправлялся ей навстречу.) Назначили день — это было начало октября 1933 г. — в разгар болезни Б.Н. Пришли с К.Н. в дождливый вечер[6]. Я их встретила словами: «А я думала, что вы из-за дождя не придете». Я знала, что в дождливую погоду Б.Н. любил «уютно» посидеть дома. «Нет, — ответила К.Н., — теперь Б.Н. рад в гости пойти».

Он был тихий в этот вечер, кроткий, уютный. Сел на стуле у двери. Сказал мягко К.Н.: «Хорошо здесь. Бери меня сюда с собой почаще». Я рада была это услышать. Так хотелось хоть ненадолго отвлечь его от мыслей, в которых мы все вместе с ним все это время жили. Б.Н. попросил меня поиграть, а сам пересел на край дивана и между тем, как я доставала ноты у пианино, сказал с большим, но сдерживаемым волнением: «Я не могу Вам передать, как я страдаю. Не знаю, что это? Нервы? Или что другое». И невероятное томление, вопрос выразились на лице. Руками охватил колени. Невозможно было слушать — *так* это было сказано. К.Н. сумела его успокоить. Б.Н. опять смягчился и стал слушать музыку. Как хорошо

было играть ему: он так умел слушать, помогал своим слушанием играть, как помогал говорить. Я в тот вечер играла Баха хоралы[7], Шумана *Nachtstücke F-dur* и *Abendleid Des-dur*[8]. В ноябре мы опять сговорились, что Б.Н. и К.Н. придут ко мне. Опять назначили вечер, но когда я уходила, К.Н., тревожимая предчувствиями, шепнула мне: «Если мы не придем, приходи ты к нам». Они не пришли. Это было 12 ноября – в период жестоких болей. Накануне мне дали знать, что Б.Н. слег.

Иногда Б.Н. говорил, что ему хотелось бы встреч с интересными людьми. Вспоминал Ленинград, Детское Село, вспоминал художника Петрова-Водкина и беседы с ним[9]. Под «интересными» людьми Б.Н. подразумевал таких, которые умели не только слушать его, но также активно противо<по>ставлять и открывать ему свое мировоззрение – остро, четко, независимо. Как только острые приступы головной боли оставляли Б.Н., он читал книги, газеты, диктовал К.Н., просил ее поиграть ему, рисовал.

В те же дни и недели во мне все настойчивее назревала одна мысль – мысль о том, какую огромную роль в моей интеллектуальной жизни, в проработке моего художественного вкуса сыграл Б.Н. и как я ему бесконечно благодарна за все, что получила от него. Я чувствовала, что необходимо сказать ему об этом, боялась, что не успею, и волновалась, что все не удается сказать. Помню как-то вечером Б.Н. сидел в уголке у окна в кухне. Он чувствовал себя бодрее обыкновенного, был мягкий, тихий. К.Н. стояла подле стола, я сидела против Б.Н. Чувствую, что волнуюсь, не знаю, как начать. Потом вдруг – сразу: «Б.Н., мне давно уже хочется Вам сказать, и все не приходилось. Я Вам страшно за все благодарна». На этом мое красноречие оборвалось! Но Б.Н. «догадался», «понял», ласково заулыбался и как-то торопливо и несколько смущенно сказал: «Да что Вы! Что Вы! Ну спасибо! А я сам так собой не доволен. Так много еще нужно сделать». Ну и я была довольна: сказала.

Больной, Б.Н. не хотел отказаться от посещения собраний то в ГИХЛе, то в Горкоме писателей[10]. Но дорого приходилось ему расплачиваться за такие посещения: приступами безумной головной боли, длившимися по 4–5 дней. Он не мог подняться с постели, не пил, не ел почти ничего. Приходилось вызывать врача. Но Б.Н. так стремился к общению, к встрече с людьми, к обмену с ними мыслями, что, едва оправившись после мучительного припадка, через несколько дней снова отправлялся на какое-нибудь заседание. И на другой день – новый приступ. Не помню, сколько таких приступов было с сентября по начало декабря, помню только, что каждый последующий все усиливался, бывал продолжительней и все больше истощал его слабеющие силы. Когда Б.Н. становилось очень плохо, Анна Алексеевна часто за мной посылала. Как живо помню я эти вечера. Возвращаюсь домой; мне передают: «С Плющихи за Вами приходили. Просили прийти». Как сжималось сердце! «Значит, опять плохо!» И мчишься на Плющиху! – Приходишь – и как передать эту все растущую тревожную тишину, легкие шаги, разговор шепотом. К.Н. неслышно перебегает из рабочей комнаты Б.Н. в кухоньку – то налить холодной воды в резиновый мешок – на голову положить больному, то лекарства налить, то попить приготовить – и все молча, без слов делает. Прибежит, поплачет неутешно, быстро сотрет слезы, чтоб не видел он, махнет рукой в ответ на какой-нибудь вопрос – и опять неслышно мчится туда, к нему. А мы с Анной Алексеевной в каморке шепотом говорим, она рассказывает мне подробно-

сти сегодняшнего или вчерашнего дня. Когда Б.Н. стихал или несколько забывался в дремоте, К.Н. приходила к нам выкурить папироску, перекинуться несколькими словами, передохнуть от напряжения. Говорит — а сама прислушивается, не слышно ли шороха или стона, вся — настороженность, вся — слух.

Как трудно было привыкнуть к этой притихшей жизни в квартире, которая всегда кипела, бурлила народом, движением, в которой всегда раздавался такой звонкий, наполняющий все углы голос Б.Н. Теперь все притаилось в ожидании, в томительной тишине и беспомощности. Вот встает в памяти один из таких вечеров приблизительно в середине ноября. Б.Н. очень страдает. Порошки плохо помогли. Все домашние в тревоге и крайнем напряжении. «Чем помочь? Что предпринять?» Какие-то невидимые нити идут к нам из комнаты Б.Н. в кухоньку и каморку Ан. Алекс. Приходит К.Н., говорит мне: «Иди к нему. Он просит». Помню, что я не сразу почему-то пошла, задержалась чем-то. Через несколько минут К.Н. снова приходит и повторяет: «Иди к нему, пусть он успокоится». Я обратила внимание на настойчивую интонацию слов и поняла, что нужно идти сейчас.

Б.Н. лежал за ширмой на постели, одетый. Я никогда не забуду его необыкновенно бледного и необыкновенно одухотворенного, нездешнего уже, страдальческого лица. Я очень быстро подошла к нему. Я не видела его несколько дней. Как он изменился! Как тонки стали черты его лица. Он тихо, ласково улыбнулся мне, поцеловал мою руку. Я с едва сдерживаемым волнением сказала ему: «Какое у Вас прекрасное лицо!», наклонилась над ним и поцеловала его в лоб. Он тихо, но очень внятно и спокойно сказал: «Я думаю только об одном: умереть во Христе. О воскресении не думаю сейчас». И опять очень настойчиво повторил: «Хочу только умереть во Христе». В интонации голоса были непреклонность и твердость. Так вот зачем он звал меня! И К.Н., и я к нему в огромном волнении: «Жить! Жить! Б.Н.!» Но, казалось, наши слова повисли где-то в воздухе и не звучали для него реальностью. Реальность была для него только — смерть. Мы чувствовали: вечность воплотилась в этом миге.

Повторяю: в эти осенние и зимние месяцы, когда с неумолимой стремительностью развивалась болезнь Б.Н., вся квартира, в которой он жил, была наполнена огненным, раскаленным молчанием. Чувствовалось: и Б.Н. им тяготится и не может его прервать. Все мы мало говорили и сквозь безмолвие слушали и ждали, и Б.Н. и К.Н. напряженнее всех, развязки. Бывало, зайдешь в рабочую комнату Б.Н. На столах лежали разложенные исписанные рукой Б.Н. и К.Н. (писавшей под его диктовку) листки и карандаши. На столе под зеленым стеклянным абажуром стояла высокая лампа: все как было раньше, но предметы казались скованными, как будто и они чего-то ждали. Б.Н. печальный, тихий. Приходил, садился в уголок дивана, мало говорил, мало слушал, хотя старался принять участие в разговоре, и беседа не клеилась. Слова слетали с уст об одном, а в мыслях было другое. Таким очень часто воспринимала Б.Н. в ту пору.

Как-то сидели мы у Ан. Алекс. в комнатке и в смежной кухне. Ан. Алекс. позвала всех к вечернему чаю. По обыкновению домашние стали сходиться. Б.Н. сел в комнатке на диване, измученный, страдающий, ожидающий. Прошелестела легко и присела против него на стуле К.Н. Опять — минутное молчание. К.Н. ласково с улыбкой погладила Б.Н. по плечу. Тихо прозвучали ее слова: «Ну, ничего, ничего!» Б.Н. стремительно откинулся на спинку диванчика и раздельно проговорил, гля-

дя на К.Н. так, как будто он давно ее не видел или смотрит на нее издалека: «О чем ты так убиваешься?» Потом быстро и взволнованно: «Вот знаете, она все молчит. Я ее все спрашиваю: «О чем ты молчишь?» А она не отвечает». И совсем раздельно и тихо: «Как Аглавэна»[11]. И оба быстро поднялись и вышли. Это было почти невыносимо.

К концу ноября состояние здоровья Б.Н. стало быстро ухудшаться. Он уже почти не вставал, не мог двигаться, и поворачивать его на постели приходилось одной К.Н. – он никому не разрешал это делать, стеснялся других, мучился этим. Ей же физически было не по силам справиться одной. Становилось ясно: необходимо, чтоб Б.Н. непрерывно находился под наблюдением врача, чтобы подле него была сестра милосердия в помощь изнемогающей К.Н. В момент обострения болезни несколько раз обращались за экстренной помощью к проф. Тарасевичу, у которого Б.Н. лечился и который жил рядом. Но тот отказался прийти. Тогда К.Н. обратилась к лично ей знакомой – врачу Татьяне Павловне Симсон[12]. Та немедленно пришла и приняла самое теплое участие в дальнейшей судьбе Б.Н. Предложила взять его в то отделение клиники, где она работает[13], обещала устроить его в отдельной комнате и выхлопотать для К.Н. возможность непрерывно находиться при Б.Н. Это значительно облегчило положение, так как Б.Н. очень мучительно принял решение о переезде в клинику.

В 5 ч. веч<ера> 8 декабря Б.Н. на носилках вынесли из квартиры (он порывался самостоятельно выйти, говоря: «Я могу ходить. Не делайте меня таким беспомощным»), куда живым ему уже не суждено было вернуться.

Послесловие

Любовь Исааковна Красильщик (1885–1964) – ближайшая подруга К.Н. Бугаевой, преподаватель музыки. Она принадлежала к антропософам так называемого «первого призыва», ездившим, как и Белый, за границу слушать лекции Р. Штейнера; некоторое время была женой председателя Московского антропософского общества Т.Г. Трапезникова: «Его жена Любовь Исааковна, урожд. Красильщик, музыкантша. Прекрасное существо с прекрасными глазами библейской Рахили. В молодости она училась музыке в Дрезденской консерватории. Там они и встретились – и поженились. Гармонии не получилось, слишком они были разные люди. До конца жизни (в 60-х гг.) она дружила с Клавдией Николаевной. Кроме антропософии их очень сближала еще и любовь к музыке», – вспоминала о ней М.Н. Жемчужникова[i].

В деятельности Московского антропософского общества она принимала активное участие: входила вместе с К.Н. Бугаевой и Андреем Белым в христианский кружок. В материалах следственного дела 1931 г. о «контрреволюционной организации антропософов» фамилия Л.И. Трапезниковой фигурировала, однако ни арестована, ни сослана она не была.

Л.И. Красильщик жила неподалеку от Бугаевых, в одном из арбатских переулков, чем отчасти и объясняется столь тесное общение с Белым и Клавдией Николаевной осенью 1933 г. Впрочем, ее дружба с Клавдией Николаевной и ее семьей

---

[i] *Жемчужникова М.Н.* Воспоминания о Московском антропософском обществе / Публ. Дж. Малмстада // Минувшее. Т. 6. М., 1992. С. 30.

не прекратилась со смертью Белого. Об этом красноречиво свидетельствует то, что Л.И. Красильщик была похоронена на Новодевичьем кладбище в одной могиле с матерью, братом и теткой К.Н. Бугаевой.

Выше публикуется вторая часть мемуаров Л.И. Красильщик, датированных 1936 г. Автограф находится в НИОР РГБ (Ф. 25. К. 40. Ед. хр. 24). Мемуары записаны в ученическую тетрадь, на обложке которой рукой неустановленного лица отмечено: «Воспоминания о Б.Н. Красильщик Любови Исааковны». Выражаю глубочайшую благодарность Л.А. Шевцовой за неоценимую помощь в работе.

---

[1] Е.А. Королькова, сестра А.А. Алексеевой, матери К.Н. Бугаевой.

[2] Ср. запись К.Н. Бугаевой: «Октября 8–12. В связи с разговорами с Григорием Александровичем Санниковым о возможности устроиться в санатории близ Демьянова (где прошло детство) – мечты о жизни в деревне и о творческой работе» (Андрей Белый. Летопись жизни и творчества).

[3] А.А. Алексеева, мать К.Н. Бугаевой.

[4] И Герман Коген (1842–1918), и Генрих Риккерт (1863–1936) являлись крупнейшими представителями неокантианства в немецкой философии рубежа XIX и XX вв., но Коген был основателем марбургской философской школы, а Риккерт – одним из основоположников баденской школы.

[5] См.: *Гладков Федор.* Энергия. М.: Федерация, 1933. Белый написал на роман «Энергия» хвалебную рецензию. См.: Новый мир. 1933. № 4. С. 273–291.

[6] Ср. запись в дневнике Белого от 8 сентября 1933 г.: «Так: сегодня выдумали идти к Любовь Исааковне, чтобы было к кому спрятаться от дождя».

[7] Ср. запись в дневнике Белого от 8 сентября 1933 г.: «Были у Любовь Исааковны слушали Скарлатти и Баха; очень созвучны во многом в Л.И.».

[8] Упоминаются «Ночные пьесы» (1839) Р. Шумана и его же «Вечерняя песня», часть Второй сонаты D-dur «На память Элизе» из цикла «Три фортепианные сонаты для юношества (Drei Klavier-Sonaten für die Jugend; 1853).

[9] Очевидно, имеется в виду жизнь Белого в Детском Селе весной и осенью 1931 г., где он работал над книгой «Мастерство Гоголя» и тесно общался с жившими в Детском Селе Ивановым-Разумником, А.Н. Толстым, В.Я. Шишковым, К.С. Петровым-Водкиным. В мае 1932 г. он позировал К.С. Петрову-Водкину для портрета. См. подробнее в наст. изд.

[10] Видимо, имеются в виду его выходы на заседания научной секции Горкома писателей 31 октября и в ГИХЛ 9 ноября 1933 г.

[11] Героиня драмы М. Метерлинка «Аглавэна и Селизета» (1896). Ее кажущаяся мудрость проявляется в демонстративном отказе от обращения к словам тогда, когда необходимо внимать «голосу молчания».

[12] Татьяна Павловна Симсон (1892–1960) – врач-психоневролог, психиатр; ученица Н.Н. Баженова; впоследствии доктор медицинских наук, заведующая детской клиникой Института психиатрии АМН СССР.

[13] Речь идет о Психиатрическом отделении Первой Московской клинической больницы (сегодня – Клиника психиатрии им. С.С. Корсакова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; ул. Россолимо, 11).

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

К.Н. БУГАЕВА

[ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АНДРЕЯ БЕЛОГО]
Из дневника

<начало декабря 1933 г.>[1]

<ус>троит его в спокойной палате, что меня будут пускать два раза в день... Б.Н. согласился, но сказал мне: «Как хочешь...» Когда Т.П.[2] ушла, было невыносимо... Ужас его перед разлукой со мной непередаваем. И еще... строго, серьезно, глядя прямо в упор, меня спрашивал: «А ты им доверяешь меня? Ты понимаешь, что делаешь? – ведь они с их методами...»

А что же иное могла? Ведь он уже бредил. Уже началось его «путешествие». Он оказывался в разных местах: то на Багдадской железной дороге, то еще в каких-то восточных странах... И слабость росла. Почти не мог встать... Видела, все равно: дома не справиться. Повторяла одно: «Голубчик, прости! Ненадолго это. Зато найдут причину боли. Поправишься, будет легче». Он только брал мою руку, прижимался и глядел... покорно. Но с таким страданьем... Сердце мое совсем уже разрывалось. – Вечером были Даня, Гриша, П. Нр.[3] Переложили Б.Н. по его желанию («Раккурсы не те...») головой в другую сторону, вынесли ширму и еще некоторые вещи. В комнате стало больше воздуха... «Вот теперь хорошо. Вот эти раккурсы... Я тебе говорил»... – О клинике больше не говорили. А 8-го утром забежала Т.П.: удалось устроить отдельную комнату, я могу переехать вместе с Б.Н. и быть при нем. – С каким восторгом выслушал это Б.Н.

Открыл глаза невеселый, затихший, точно приготовившийся принять неизбежное, страшное. – «Неужели! Какое счастье». И просиял... И сейчас же сразу заснул, как ребенок, держа мою руку со счастливым лицом... Нет, не могу писать дальше... Слишком... Не могу.

Часов в 12 пришла Р.Як.: заехала по пути к Д.М.[4] Б.Н. ей очень обрадовался. Стал извиняться, что не писал Д.М. Просил его адрес[5]. Но... «путешествие» уже началось. Прощаясь с Р.Я., говорил, что мы уезжаем на Багдадскую железную дорогу. Это «путешествие» длилось до начала января, когда сменилось темами успокоения, потом рождения и, наконец, темой света. Каждый раз, просыпаясь, особенно утром, он находил себя в новом месте. То это была Швеция, то литовская граница, то Египет, Швейцария, Баку, Ассирия, Египет. Сознание, что мы не в Москве, очень беспокоило. «Когда уже мы приедем в Москву»... постоянный вопрос. Только потом уже я поняла, что под Москвой он разумел Долгий («дом»... «домой»), куда так стремился. «Когда уже приедем домой, в Москву»... Беспокоило, что нас увезли обманом, что мы попали в подозрительное место. Стоило много труда каждый раз его успокоить. Чаще всего, чтобы доказать доброкачественность места нашего пребывания, ссылалась на Петю[6], что и он одобряет все, что здесь делается.

8-го к пяти часам стали готовиться к отъезду. Одели при помощи Гриши, Дани, П. Н-р. Еще встал и сделал несколько шагов — последних! — к носилкам... Невыносимо. Лег на них, мой родной... хотя сперва собирался сам подняться по лестнице до кареты. Милый, милый — опять не могу, прерываю...

2/II <1934 г.>[7]

Несколько минут переезда: от нас до клиники так близко. Он лежал тихо-тихо. Мы с Г.А.[8] сидели над ним. Захватила с собой его палку. Все казалось, если возьму ее — настанет время, когда он снова пойдет, на нее опираясь. Почти не говорили. Только рассказывала ему, где мы проезжаем. Плющиха — клуб каучук[9], повернули — аллеей нашей любимой «версальской»[10]... Еще повернули... еще, и в ворота. Сердце сжалось: в этом здании, налево, на улицу, скончалась А.Д.[11] Но отогнала эти мысли. — Остановились. Вышли санитары. Подняли. Понесли. Его — сразу наверх, с ним Г.А. Меня дежурный врач пригласил, чтобы записать «больного»...

Вот и я поднялась по широкой лестнице. Постучала... Няня открыла и повела. Вхожу... Комната длинная, узкая. Горит голая лампочка. Он уже лежал на постели... Родной! Он уже волновался, что меня задержали, и за мной посылал. «Ну вот и она... А Вы беспокоились», — кто-то сказал. Просиял... схватил руки... И стал говорить Г.А. обо мне и о нас... — Скоро Г.А. ушел.

О как одиноко! Как страшно. Все рванулось: Домой! Не помню, как потекли часы... Заревело радио. Шумели голоса, гремела посуда. В комнате холод. И — муки боли. Волненье, где мы, зачем. Так вся ночь. Он метался, а я сидела возле на стуле, сжавшись в комок. Только давала иногда выпить боржома. К восьми утра — затих. Но был подавлен всей обстановкой. Просил: «Уедем отсюда! Домой... Нас завезли в какое-то подозрительное место. Тебя обманули. Мы не в Москве. Поедем в Москву...»

9/XII

Утренний обход. Вошел Леонид Исаак<ович>[12]. — тихий и мягкий. Просила его успокоить Б.Н., что мы в Москве, что все благополучно. Немного повеселел. — Потом: Т.П. очень хорошо говорила с Б.Н. и его опять успокаивала. Но зато в три часа был очень тяжелый разговор с Ал.Н.[13] Родной мой заволновался, запутался в речи...

Нет, бросаю. Не могу прикоснуться. Запишу только вкратце.

14/XII

Стал говорить о своем «бреде»: «Еще вчера был бред? Почему я с таким упорством жду преследований. Будто бы уезжаешь далеко от всего этого и тем не менее ретроспективно ощущаешь преследование...

Почему это идет этапами какими-то... (то одна эпоха, то другая...).

Вспоминает «сердечных» старушек[14]. Захотел им записочку написать. «Зачем я не с ними...»

Опять начиналось «путешествие».

Боится, что движение не вернется. После разговора с Т.П. с большим интересом говорил о новых людях, с которыми столкнулся (врачи), о своем желании с ними работать (громко, горячо, сильно). Оживился, затанцевал руками и ногами. Едва успокоила. Потом начинал грустить: что я уйду домой.

15/XII

«Зачем мы здесь в этом доме.

Мы лишние. Тише, тише...

Какая это организация?

Моя душа не понимает мотивов (зачем мы здесь) и поэтому я чувствую себя неуверенно и тяжело».

Тоскливое настроение: «Неясный пункт, в который упираюсь каждый день».

16 </XII>

Все еще «путешествие».

Говорил о «Масках»[15]: «Который раз “Москва” по-авторски разыгрывается. Не мог же я подделать...»

Парикмахер[16] показался с «бакинской дороги... вроде Шишнарфне[17]».

«Что я больной – очень строптив?»

Вспоминал старушек и «полного любви» Вл. Ник. (Володю)[18]. Тосковал. Хотел опять писать им записки.

17/XII

О Раппопорте[19]: «Какое-то трезвое безумие».

«Совсем исчезли подземелья... Там какие-то стихии... А у тебя это тоже было. Или только у меня... Теперь нет этого... Тебе ведь легче от этого...»

Времени все так же не различает.

«А по-настоящему какое теперь декабря?»

«Расскажи мне, как ты идешь домой, входишь... всю картину...» (рассказываю). Слушает с напряженным интересом. Радуется, волнуется, хочет сам домой. «Старушки», видеть их.

«Давно ли мы здесь?» (Месяца не помнит).

«Мы с Т.П. идем в круговой песне. И знаешь кто еще идет? Санников».

18/XII

«Оно не растворяется во что-нибудь космическое? Оно укрепляется?»

Был очень тихий.

Заговорил о Кавказе, Паоло[20]. Мы еще поедем туда.

«Все слежалось. Больно» (Затылок).

«Французы... испортили... Ваян-Кутюрье...[21]»

«Бельгийские социалисты[22] испортили...»

19 </XII>

«Когда будет расширение дня? Когда оно пойдет на север?..»

«Будет всегда это сонное прозябание?»

Очень тихий, ласковый. Опять вспоминал старушек.

20/XII

Ласковый. Когда уже придет старушка? (тетя[23]).

Ждал Даню. Заснул. И очень рассердился, что она ушла, не повидавшись. Спрашивал про газеты, наш адрес.

Про Люсю: «Все еще?»[24]

«*Время* – в этом болезнь твоего больного кота».

21/XII

После пьявок: «Отпали все сомненья... Достигнута ясность». Счастливая улыбка.

«Какие-то победные звуки» (радио).

М.В.[25] тоже торжествует.

Тихий, ласковый.

Часов 10 вечера: жаловался и сердился, что сняли кальсоны: «Это сестры меня обнажили...»

22/XII

Мало говорил. Доволен, что «анализы хорошие».

23/XII

«Мы в районе Дорнаха?» (тревожно).

– «Нет, на Плющихе...» – «Как хорошо» со счастливой улыбкой.

Хочет увидеть Любочку[26], как знак того, что она в Москве: «Я все удостоверяюсь».

– Опять говорил с любовью об Ал. Ник.[27] Сердился на Гр. Ал.[28], что не заходит.

После 5 вечера – волновался:

«Я не могу года при тебе жить инвалидом... Как только узнаю, что движение не вернется – не буду жить...»

Убеждаю его, что поправится: «Смотри – я спокойна...»

– «Не вижу в тебе пессимизма... Но... тебе не говорят».

«Скажи Т.П.[29], что я из деликатности» (не говорю с ней как с врачом).

«Говори об этом (о болезни) со мною... Как будто отвеяло» (грусть).

Сравнивал ощущения рук: ладонь теплее... «Руки – холодные: эти ощущения... Давай об этом чаще говорить»... (легче).

«Отец Н.Ст.[30] лежит уже 15 лет...»

На мои уверения, что все будет хорошо: «Хочу верить, что в словах твоих настоящая вера, а не нервный подъем».

Опять волновался: потеряна способность движения. Дежурный врач успокоил. Тихо заснул.

24 </XII>

8 – пришла из дома. Встретил радостно. Доволен П.Н-чем[31], который с ним оставался.

Движения – крепче, немного сам помогает, когда переворачивают.

11 – желудок. Волновался неблагообразием. Острая боль сознания беспомощности. Взгляд... невыразимой грусти и отрешения...

Прочел записку от мамы («Ждем, когда вернетесь опять в кухоньку...»).

Грустно улыбнулся. Ничего не сказал.

Очень грустный: «Беспомощен...»

«Я не могу *так* долго жить... Как тебе жить... с *таким*, как я...»

Вечером опять те же темы:

«А не вычеркнуты ли мы с тобою из жизни...»

Ночью мучит<ельный> зуд в руках. Боязнь, что «заразили», отравили газами (иприт).

«Уяснилось существо “бреда”... Стало легче... А то – подозрения, что заражен (нарочно) чесоткой».

25 </XII>

«Москва отвалилась» – «Но мы в Москве...» – «Ну будем играть, что мы не в Москве...»

Приступы раздражительности.

Потом снова: грустный, тихий: «Мы с тобой убогенькие».

Вечером: со смехом вспоминал отца, называл его «Летаевым»[32]: «В лечебнице здесь какая-то летаевская действительность»[33]. Хохотал.

27 </XII>

Все еще «путешествие». Ассирия, Вавилон, Воины.

«Жутко среди этих стен. Что ты мечешься по этим коридорам? Египтянка ты, что ли?»

...Вот что значит путешествовать безответственно.

«Т.П. и Сан<ников> – в контакте. Уютно это».

За завтраком: «Жевательный семафор поднят» – шутливо.

Жаловался: «Можно разлениться, лежа».

«Ничего... ни культурной работы...»

Говорит мало.

Спросил: «Где Олс<уфьевский> переулок... Здесь дядя Ж.[34] жил. Как сживается прошлое... с настоящим...»

Задремал. Я сидела на диване. Несколько раз окликал: «Клоденька...»

– «Что тебе» – ласково, с улыбкой: «Ничего...»

Подходила, целовала...

Он ласкался, как ребенок...

– Опять бросаю.

Лучше буду над стихами возиться. Это еще не в силах...

«Символизм есть метод соединения отдельных черт разнообразных явлений, путем сопоставления этих случайных черт открывающий некоторое новое явление, обусловливающее элементы сопоставления. Случайный образ, в котором конечные черты в направлении, переносящем взор к тому, что за ними, начинают все более и более сквозить. Это просветляющее озарение придает образу неслучайную связь случайных черт». «Гриф», 1905[35].

---[36]

10/II <1934 г.>
Продолжаю.

27/XII
Отпустил меня неохотно.

Ночь была тяжелая. К 7 утра послал за мной Алешу[37], дежурившего с ним эту ночь.

28/XII
Встретил с нетерпением. Болела голова. В 8–30 заснул. Скоро начали ставить пьявки. Боль не проходила. Высказываний не было. Три раза – рвота, последний раз уже в 2 ночи. После 5 забылся.

29/XII
Весь день на камфоре. Молчалив. Но узнает. Только к 7 вечера стал говорить отдельные слова: да, нет.

В 9 был Раппопорт. Узнал. Был спокоен. (Диагноз)[38].

К 10 – вокруг: тихо, тихо, шутливо «тиф, тиф, тиф»... наша шутка. Так мы перекликались последнее время – с Коктебеля. – Ночь почти без сна.

30/XII
С улыбкой поздоровался. Очень тихий. Говорит очень тихо.

«Какой опыт мы проделываем»...

«Такого тщательного анализа...» (не кончил).

К 12 оживился. С Даней был веселый и ласковый.

Упоминал о Швеции. «Есть основания думать, что в Швеции получили последние импульсы...»[39]

Интерес к происходящему в соседней комнате (разговор сестер и врачей с больными).

К 7 стал волноваться: «Повисаем над смертельной опасностью...»

«Может быть, удастся пройти под кривым инцидента» (о болезни).

«...Может быть, не зацепится...»

Грустил: «Я такой бессознательный человек» (моча)... «Атрофированы эти способности...»

Говорит исключительно тихо, едва слышно. Приходится нагибаться низко, низко...

«Скажи мне тайны эмбриологии, которые ты знаешь лучше меня...»

Заснул в 2–30.

31/XII

Беспокоит (моча) бессознательность.

...«Пункт третий: перерождение сознания».

Вспоминал М.Ал. Чехова[40]; о Татаринове[41]: «Вл. Ник. с его точными формулировками».

Позднее опять вспоминал «братья Чеховы».

С иронией говорил о «научных сотрудниках». «Няни лучше, чем научные сотрудники...»

Со смехом «когда-нибудь войдет в комнату «Kräftige Tante»[42] (Т.П.)». Смеялся.

1/I <1934 г.>

Обрадовался Алексею Николаевичу[43], но связал его со Швецией.

Разговор со мною: «Раз объездить стоит земной шар».

К 4 с большим раздражением стал требовать: «Ну!» – «?» – «Когда же мы будем вставать? Едем отсюда. Давай мне туфли. Я хочу одеваться...»

Немного успокоился, когда переложили на другую кровать (эта была слишком коротка). Но потом опять заволновался: «Где мы? Уедем...»

Пришла Мария Вас<ильевна>[44]. Успокаивали: «Вы недалеко от дома... сад этот за окном, выходит к задней стене сада Льва Николаевича...»[45]

– «Как хорошо» – ласково, с улыбкой «так, значит, это Ясенки...»[46]. Очень, очень ласково.

Потом опять – волнение. Томление болезнью. Предостерегал меня: «Не очень доверяй».

«Войди в мое сознанье... Там ничего не произошло такого?..» – «Нет, только огромная усталость. Желанье покоя». – «Да, покоя... Они меня оставят завтра в покое...»

На мои уверенья, что здоровье вернется: «Откуда у тебя такая уверенность?»

Очень ласковый, тихий.

После 9 вечера: «Мне страшно отъединиться от себя...» (уговаривала его заснуть). «Возьми меня в сон с собою. Мне страшно, что я запятнал себя перед тобой (почти со слезами, невыразимо грустно, с болью... о болезни своей).

«Боюсь, что с разрушением времени разрушено [зачеркнуто: пространство] простое, родное... Буддийские эоны... Не хочу».

Сильная жажда – очевидно, после кровопускания. Сердился, когда я не решалась дать без разрешения сестры. «Скажи мне, какая ты?»

– Переходы к большой ласке, нежности. Снова раздраженье.

«Обдумай: последний акт этой картины кончится не так, как думают авторы» (о себе и докторах)...

2/I

Предостерегал (9 утра): «Под флагом романтического мифа ворвутся... Неизвестно, кто может ворваться...»

Беспокоится, что над ним производят научный эксперимент. Говорил об этом с Т.П. Как будто успокоился.

Очень грустный, тихий и спокойный. В это время решался вопрос о вливании глюкозы. Отменили. Б.Н. об этом ничего не знал. Но ему, верно, передалось мое состояние. Меня ужасала возможность новых страданий при поисках вены и во время вливания, как это было при кровопускании. — Сразу стало легко и спокойно. — Шутлив.

3/I

Спокойный, ласковый.

12–30 — «Из Тайфуна вырвались...» Все требовал, чтобы я вытерла на своей щеке какое-то черное пятнышко: «Поскорее покончи с черным», и успокоился, когда я это сделала.

После 2 опять заволновался: «Вставать! Когда же мне можно одеваться? Давай вставать! Едем... А где мы остановимся...»

И снова переходы от раздражения к ласке.

Тема путешествия перешла в тему возвращения в Россию, — большое удовлетворение.

4 — говорит много, но спокоен, ласков: ...ликвидируется, разрешается... проясняется: вот темы. Подробнее записать не успела.

«Т.П. и Ал.Н.[47] мне интимно близки».

Тема северного полюса: телеграммы, известия, которые мы должны получить оттуда, доктор Северцов[48].

После ужина (к 7 вечера) — очень тихий.

«...А это ничего, что мы одни?.. (было очень тихо, больные ушли, ни шума, ни голосов)... потому что я ухожу в сон...»

«Слишком приближаются эти шаги» (не поняла: какие).

После 8: начался порыв невероятной, невыразимой нежности, ласки, любви... Тянулся ко мне с сияющей улыбкой... обнял... хотел головушку свою на плечо мне положить: «как всегда».

12/II <1934 г.>

Продолжаю.

Тихо, шепотом с улыбкой счастья, так интимно, с такой невероятной силой любви: «Неужели я могу от тебя как-то зародиться?»... «Таинственно зарождаюсь от тебя...» (Разговор, который навсегда в сердце.) «Волненьем охвачен... Тепло любви... Приближаются души...»

После четырех ночи опять такой же порыв. «Проблемы нового сознания, перед которыми стоим... Надо разрешить... Подготовиться. Адамантовая, гранитная сталь проблемы духа... Должны быть сказаны совершенно новые слова... Перед огромностью их охватывает жуть...»

Слово «жуть» повторил несколько раз и также повторял об огромности... «Мы в каком-то смысле выходим...»

4/I

В час была тетя[49], потом парикмахер[50]. – Спокоен, ласков, но невеселый с утра.

5 вечера: «Так неужели уже роковое место пройдено?»

Меряя t° , я волновалась, что будет повышенная. И когда оказалось, что 36,7, то я, обрадованная, бросилась с невольным возгласом радости: «Поздравляю...» И в ответ получила сияющее радостное: «Родился... Ведь подлинно родился...» Это было так неожиданно.

Но я вспомнила ночь.

К девяти состояние ухудшилось. Мне начинало казаться, что болит голова... Б.Н. сердился на невропатологов, – если бы не они, все было бы хорошо. И на меня: когда же это кончится. – Положила холодное на голову – успокоился. Часов в десять со смехом, иронически говорил о боях с доктором Северцовым.

Вспоминал Люсю: «А Е.Н. представляет себе...» (разумея свою болезнь). – Ночью опять повторилось вчерашнее. Около часу – не спит... переполнен счастьем. «Осуществилось». Счастливая улыбка. Нежен...

Едва могу выносить, чтобы не рыдать. И опять этот поразительный шепот...

«Я ведь не знал счастья. Теперь оно сходит... ключами лестницы... Младенец шевелится[51]. Может быть – два... Спасибо тебе, Клодинька... Такая ночь...»

О... как разрывается сердце... Оставляю. Не могу. Нельзя касаться...

Послесловие

Клавдия Николаевна Бугаева (урожд. Алексеева, в первом браке Васильева; 1886–1970), с 1931 г. жена Андрея Белого, его самый близкий друг и помощница. «<...> мы с К.Н. вместе (и работаем, и морально мыслим, и вместе ищем, взявшись за руки) уже с 1918 года. И за десять лет Бог знает как стали близки: <...> все *мое* стало *ее* и все *ее* стало *моим* <...>», – писал Белый Иванову-Разумнику 16 августа 1928 г.[i]

Впервые они встретились в Дорнахе в 1913 г., а после возвращения в Россию работали вместе с ней в Московском антропософском обществе. Тесная дружба, возникшая между Белым и Клавдией Николаевной в Берлине в январе 1923 г., куда К.Н. Васильева приехала с желанием помочь Белому, переживавшему в это время тяжелейший кризис, вызванный разрывом с первой женой, Асей Тургеневой, и разочарованием в Рудольфе Штейнере, продолжилась после возвращения Белого из эмиграции. Летом 1924 г. они вместе отдыхали в Коктебеле, в 1925–1931 гг. проживали в подмосковном поселке Кучино.

Весной 1931 г. Белый и Клавдия Николаевна пережили тяжелое испытание. В мае были арестованы почти все московские антропософы. Арестовали и Клавдию Николаевну. Ценой невероятных усилий Белому удалось ее освободить[ii]. Это

[i] Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 608.

[ii] Подробно об этом см.: *Спивак М.Л.* Андрей Белый в следственном деле антропософов // Спивак М. Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006. С. 366–422.

трагическое событие помогло разрешить семейный конфликт: 18 июля 1931 г. Клавдия Николаевна развелась с первым мужем П.Н. Васильевым и зарегистрировала брак с Б.Н. Бугаевым[i].

Она была рядом с мужем до последней минуты.

Дневниковые заметки К.Н. Бугаевой дошли до нас не в полном виде: начальные листы тетради оторваны, записи начинаются с полуслова и охватывают последний период болезни Белого, когда было принято решение о госпитализации, и обрываются за четыре дня до его смерти.

«Дневник» К.Н. Бугаевой представляет собой небольшую записную тетрадь в кожаном переплете. Текст, по-видимому, предназначался для сохранения хроники последних дней жизни Белого и вносился в тетрадь ретроспективно, вскоре после смерти писателя, 2–12 февраля 1934 г. Однако в тексте имеются намеки, что этим записям могли предшествовать другие, сделанные прямо «с голоса» черновые наброски высказываний Белого – подобно тем, что записаны Клавдией Николаевной на последней фотографии Белого 1933 г.[ii]

На первых сохранившихся страницах (Л. 1–3 об.) тетради К.Н. Бугаева полностью перекопировала некролог Белому, написанный Б. Пастернаком, Б. Пильняком и Г. Санниковым. Эти страницы пронумерованы ею как «39–40» и «45–48», впоследствии авторская пагинация также имеет значительные разрывы, что никак не отражается на содержании текста: по-видимому, Клавдия Николаевна торопилась зафиксировать эти трагические события, и записи были начаты в старом, имевшемся под рукой блокноте. Листы 4–20 об. посвящены пребыванию Белого в больнице, далее следует несколько записей личного характера, относящихся к самой Клавдии Николаевне, и несколько стихотворений Белого, записанных ею по памяти.

«Дневник» К.Н. Бугаевой хранится в фонде Андрея Белого НИОР РГБ (Ф. 25. К. 48. Ед. хр. 1).

---

[1] Начало дневника отсутствует.

[2] Т.П. Симсон дружила с семьей Бугаевых и была своим человеком в их доме. Благодаря ее помощи Белого удалось госпитализировать. См. об этом в мемуарах Л.И. Красильщик, переписке П.Н. Зайцева с Л.В. Каликиной и др.

[3] Д.Н. Часовитина, Г.А. Санников, П.Н. Зайцев.

[4] Роза Яковлевна Мительман (1891–1937) – жена Дмитрия Михайловича Пинеса (1891–1937), библиографа, историка литературы, друга Андрея Белого со времен Вольной философской ассоциации.

[5] Д.М. Пинес был в 1933 г. арестован. «Особым совещанием при Коллегии ОГПУ 28 июня 1933 г. осужден по ст. 58–10–11 УК РСФСР на 2 года политизолятора. В 1935 г. выслан в Северный край на 2 года. Отбывал наказание в г. Архангельск, не работал, проживал: ул. К. Маркса, д. 28, кв. 2. Арестован 6 февраля 1937 г. как "активный эсер". Трой-

---

[i] Подробнее о К.Н. Бугаевой см. предисловие Дж. Малмстада к публикации ее мемуаров (*Бугаева К.Н.* Воспоминания об Андрее Белом. СПб., 2001. С. 5–35).

[ii] См. об этом в наст. изд.

кой УНКВД Архангельской обл. 23 октября 1937 г. приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 27 октября 1937 г.» (*Ленинградский мартиролог:* 1937–1938. Т. 6. СПб.: РНБ, 2007; см. электронную версию «Возвращенные имена: Северо-Запад России»: www.visz.nlr.ru:8101/search/lists/t6/239_1.html).

[6] П.Н. Васильев.

[7] Эти записи сделаны в феврале 1934 г., но в них по дням расписаны события предшествующих месяцев. Даты описываемых событий даны здесь полужирным курсивом, а даты самого записывания – без курсива.

[8] Г.А. Санников.

[9] Клуб завода «Каучук» (Дом культуры химиков завода «Каучук»), на Плющихе (д. 64), построен в 1927–1929 гг. архитектором К.С. Мельниковым.

[10] Речь, вероятно, идет о сквере на Девичьем поле, в котором Белый и К.Н. Бугаева гуляли осенью 1933 г. См. дневник Андрея Белого в наст. изд.

[11] Александра Дмитриевна Бугаева (1858–1922) – мать Андрея Белого; скончалась в «20-х числах октября, а может быть и ноября <...> в клинике Россолимо», как сообщала К.Н. Бугаева Д.Е. Максимову 22 августа 1936 г. (*Лавров А.* Штрихи к биографии Андрея Белого и К.Н. Бугаевой (По материалам архива Д.Е. Максимова) // Литература как миропонимание. Literature as a world view: Festschrift in honour of Magnus Ljunggren. Göteborg, 2009. С. 182). Григорий Иванович Россолимо (1860–1928) – зав. кафедрой и директор клиники нервных болезней, входивших в комплекс клинического городка на Девичьем поле.

[12] Леонид Исаакович Марогулов (1903–1964) – психиатр, работал в клинике нервных болезней врачом-ординатором. Подробнее см. в письме К.Н. Бугаевой к Л.И. Марогулову от 16 января 1934 г. в наст. изд.

[13] Алексей Николаевич Молохов (1897–1966) – психиатр, видимо, зав. отделением, в котором лежал Андрей Белый. Подробнее см. в письме К.Н. Бугаевой к А.Н. Молохову от 16 января 1934 г. в наст. изд.

[14] Анна Алексеевна Алексеева, мать К.Н. Бугаевой, и Екатерина Алексеевна Королькова, сестра А.А. Алексеевой, тетка К.Н. Бугаевой. Об отношении к ним Андрея Белого см. в его дневнике (запись за 6 сентября 1933 г.).

[15] Имеется в виду второй том романа «Москва». См.: *Андрей Белый.* Маски. М.; Л.: ГИХЛ, 1932.

[16] Парикмахера Куренкова привел к Андрею Белому П.Н. Зайцев. По его свидетельству, парикмахер был пьян и взял за работу дорого, 10 рублей. См. записи П.Н. Зайцева в наст. изд.

[17] Персонаж романа Андрея Белого «Петербург».

[18] Владимир Николаевич Алексеев, брат К.Н. Бугаевой.

[19] Михаил Юрьевич Раппопорт (1891–1967) – один из лечащих врачей Андрея Белого, в будущем известный невропатолог и невролог, профессор и заслуженный деятель науки (1953); с 1929 г. работал в Институте нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, с 1943 по 1952 г. – заместитель директора Института по научной части. См. о нем также в записях П.Н. Зайцева.

[20] Имеется в виду план Белого поехать осенью 1933 г. на Кавказ, куда его приглашал Паоло Яшвили. См.: *Зайцев П.Н.* Последние десять лет жизни Андрея Белого // *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 181–182.

[21] Поль Вайян-Кутюрье (1892–1937) – французский писатель (в 1920-х много переводился на русский), член социалистической партии, один из основателей Французской коммунистической партии, с 1926 г. главный редактор газеты ФКП «Юманите».

[22] Возможно, имеются в виду связанные с социалистическим движением политические и государственные деятели Бельгии: Эмиль Вандервельде (1866–1938), один из лидеров Бельгийской социалистической партии, с 1914 г. член правительства Бельгии, и Жюль Дестре (1863–1936), член Бельгийской рабочей партии и II Интернационала, депутат парламента (с 1894 г.) и министр науки и культуры правительства Бельгии (1919–1920). В 1917–1918 гг. Ж. Дестре был главой бельгийского дипломатического представительства в России. Белый общался с ним в 1912 г. в Брюсселе и неоднократно бравировал знакомством с «Жюлем Дэстрэ, социалистическим депутатом, близким другом известного Ван-дер-Вельде» (*МДР 1990.* С. 365). О встрече с Э. Вандервельде, вероятно единственной, Белый также упоминает: «Вот – в театре. <...> Ася, я и Дестрэ, и M-me Вандервельд; с ней меня познакомили; показывали и Вандервельда средь кресел партера; был скучный, простой разговор <...>» (*Андрей Белый.* Из воспоминаний «Начало века» («берлинская» редакция) // *Андрей Белый.* Собр. соч.: Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Воспоминания о Штейнере / Под общ. ред. В.М. Пискунова. М., 2000. С. 645).

[23] Е.А. Королькова.

[24] Речь идет о возвращении в Москву Е.Н. Кезельман, сестры К.Н. Бугаевой, антропософке, арестованной в 1931 г. и высланной в Лебедянь. Подробнее см. ее воспоминания в наст. изд.

[25] Неустановленное лицо. Как «Мария Васильевна» упоминается в записи за 1 января 1934 г.

[26] Вероятно, имеется в виду Л.И. Красильщик, см. ее воспоминания в наст. изд.

[27] Вероятно, речь идет о враче А.Н. Молохове.

[28] Г.А. Санников.

[29] Т.П. Симсон.

[30] Возможно, имеется в виду Степан Иванович Клименков (1870–?), потомственный врач, отец Надежды Степановны Клименковой (1896–1973), преподавательницы музыки, подруги Бугаевых. В 1931 г. она, как и большинство других членов Московского антропософского общества, была арестована и приговорена к 3 годам высылки. Однако 3 ноября 1931 г. приговор был пересмотрен и Н.С. Клименковой разрешили «свободное проживание по СССР» (*Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 417, 532).

[31] П.Н. Зайцев. См. описание этой ночи в его записях в наст. изд.

[32] Отец Андрея Белого Николай Васильевич Бугаев выведен в его автобиографических романах «Котик Летаев» и «Крещеный китаец» как математик Михаил Васильевич Летаев.

[33] Не исключено, что здесь имеется в виду атмосфера психиатрической лечебницы, в которую был помещен герой романа «Москва» Иван Иванович Коробкин. Его прототипом также послужил отец писателя.

[34] Георгий Васильевич Бугаев, брат Н.В. Бугаева, дядя Андрея Белого, жил в собственном доме № 5 по Олсуфьевскому пер.

[35] *Андрей Белый.* С нами Бог. Статья // Альманах книгоиздательства «Гриф». М., 1905. С. 190–195.

[36] Цитата, на которую К.Н. Бугаева, вероятно, отвлеклась, отделена от основного текста прочерком синим карандашом.

[37] А.С. Петровский.

[38] Слово «диагноз» вписано карандашом, вероятно, позже. В «Летописи жизни и творчества» Андрея Белого, составленной К.Н. Бугаевой, отмечено: «29 декабря <1933 г.>. Диагноз, поставленный проф<ессором> Раппопортом: кровоизлияние в мозг на почве артериосклероза» (ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 107. Л. 177). См. также обсуждавшиеся варианты диагноза в письме П.Н. Зайцева к Л.В. Каликиной от 18 декабря 1933 г. в наст. изд.

[39] Речь может идти о духовных откровениях, испытанных в октябре 1913 г. по дороге из Христиании в Берген (см.: *Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 65–67) и в Бергене, во время лекции Р. Штейнера: «<...> Христов Импульс стал ведом; в Бергене у меня были удивительные, необъяснимые переживания, связанные с встречей со Христом; мне объяснились теперь впервые отчетливо и мои юношеские, апокалиптические переживания 1898 года, и впечатление от разговора с Влад. Соловьевым в 1900 году; и узнания лета 1902 года о том, что 2-ое пришествие началось. Я глубоко взволнован: все мистические переживания моей жизни синтезированы теперь; я обрел мистику юношеских лет; но эта мистика во мне теперь уже не мистика, не экстаз, а – верное ведение; и вместе с тем: мне ясно, что А<нтропософское> О<бщество> подготовляет в человечестве импульс Христов; мы не просто антропософы; мы – Христиане; нас непосредственно ведет Христос к свету; <...> мне открывается значение слов об умении читать оккультные письмена; этими письменами являются мои поступки и жесты меня обстающих и посвященных в Христову тайну членов А.О.: мы – братство в братстве; мы – подлинные эзотерики» (*Андрей Белый.* Материал к биографии (интимный...) / Публ. Дж. Малмстада // Минувшее. Т. 6. С. 358–359). В то же время Белый мог подразумевать принятие себя и А.А. Тургеневой в июле 1914 г. в круг личных учеников Р. Штейнера, допущенных на «интимнейшие собрания у доктора для избранных членов, посвятивших себя духовной работе» (в так называемую ложу «Mystica Eterna»): «<...> доктор согласен нас допустить на собрания; но они бывают очень редко; в Дорнахе, например, они не предвидятся, но вот в начале июля доктор едет в Швецию и в городе Норчёпине читает шведам курс лекций; <...> если мы хотим попасть на них поскорее, то мы можем поехать в Швецию <...>; мы решаем в начале июля двинуться в Норчёпин»; «Более всего были охвачены мы переживаниями Норчёпинского курса; <...> его основная идея: закон кармы в христианском взятии в связи с идеей искупления Христом; доктор удивительно показал, что идеи кармы, перевоплощения и ответственности не только не противоречат идее искупления, но прямо вытекают из нее, если эту идею углубить и выпрямить из неправильных исторических и житейских искривлений ее; опять в волнах курса переживал я как бы омытие от всего грешного и земного <...>; вообще курс связался для меня с переживанием тепла благодарности, подлинного смиренья и любви; эта любовь как бы заливала все мое существо, переполняла меня; и я заставал себя – счастливо рыдающим, неизвестно почему» (*Андрей Белый.* Материал к биографии (интимный...). Минувшее. Т. 6. С. 396, 400). О значении этих событий в духовной биографии Белого см.: *Андрей Белый.* Линия жизни / Сост. М.Л. Спивак, И.Б. Делекторская, Е.В. Наседкина. М., 2010.

[40] Михаил Александрович Чехов (1891–1955) – актер, режиссер, руководитель театра-студии МХТ-2, друг Андрея Белого и его ученик в антропософии; с 1928 г. в эмиграции.

[41] Владимир Николаевич Татаринов (1879–1966) – режиссер МХТ-2, сподвижник М.А. Чехова, приятель Андрея Белого, антропософ; в 1931 г. был арестован и выслан в Иркутск.

[42] Сильная тетя (*нем.*).

[43] А.Н. Молохов.

[44] Неясно, о ком идет речь.

[45] Имеется в виду усадьба Л.Н. Толстого в Хамовниках.

[46] Название деревни и железнодорожной станции в 7 верстах от усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

[47] Т.П. Симсон и А.Н. Молохов.

[48] Могли иметься в виду как знаменитый зоолог и путешественник Николай Алексеевич Северцов (1827–1985), о котором Белый слышал с детства, так и его сын, тоже знаменитый зоолог Алексей Николаевич Северцов (1866–1936), которого Белый знал лично (см.: *НРДС 1989*. С. 110, 116; *НВ 1990*. С. 113; *МДР 1990*. С. 276).

[49] Е.А. Королькова.

[50] Ср. в записях П.Н. Зайцева в наст. изд. «Сегодня я привел ему нового парикмахера, тов. Соколова с Зубовской площади. Он лучше Куренкова и взял вдвое дешевле: только пять рублей». Об этом визите вспоминала К.Н. Бугаева:

«Помню, как в клинике <...> Б.Н. <...> глубоко поразил приглашенного к нему парикмахера. В это время он был уже настолько слаб, что сам не мог бриться, а отраставшие волосы его сильно беспокоили, и он с нетерпением ожидал “избавителя”.

Когда тот вошел и, поклонившись издали, хотел раскрывать свой чемоданчик, Б.Н. вдруг с ласковой улыбкой протянул к нему руку и едва сказал:

– Здравствуйте... спасибо сердечное... что пришли... – (он с трудом говорил).

Лицо парикмахера, молодого еще человека, покраснело и дрогнуло; он почти растерялся.

Эти слова, улыбка. Жест руки, исхудавшей и слабой, едва отделившейся от одеяла, взгляд синих внимательных глаз, серьезно и прямо к нему обращенных, – все это было так неожиданно, так непривычно.

Когда процедура бритья окончилась и молодой человек вышел, порывисто и как-то бурно пожав снова поднявшуюся к нему руку, Б.Н. взглянул на меня и, как бы извиняясь, – врачи запретили ему все лишние движения, – тихо, но твердо сказал:

– Нельзя, ведь человек...» (*Бугаева К.Н.* Воспоминания об Андрее Белом / Публ., предисл. и коммент. Дж. Малмстада; подгот. текста Е.М. Варенцовой и Дж. Малмстада. СПб., 2001. С. 251–252).

[51] Рождение младенца – постоянная тема «антропософского» Белого, тесно связанная с темой рождения «большого», духовного «Я». См., напр., в «Предисловии» к «Котику Летаеву»: «Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза и сломало все – до первой вспышки сознания; сломан лед: слов, понятий и смыслов; многообразие рассудочных истин проросло и охвачено ритмами; архитектоника ритмов осмыслилась и отряхнула былые мне смыслы, как мертвые листья <...>. Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза. Вижу там: пережитое – пережито мной; только мной; сознание детства, – сместись оно, осиль оно тридцатидвухлетие это, – в точке этого мига детство узнало б себя: с самосознанием оно слито; падает все между ними; листопадами носятся смыслы слов: они отвалились от древа: и невнятица слов вкруг меня – шелестит и порхает;

смыслы их я отверг; передо мной – первое сознание детства; и мы – обнимаемся: – “Здравствуй, ты, странное!”» (*Андрей Белый.* Собр. соч.: Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака / Под общ. ред. В.М. Пискунова. М., 1997. С. 26). В «Материале к биографии...» рождение младенца – знак «посвящения»: «<...> я себя ощущаю точно беременной женщиной, которой надлежит родить младенца; я ощущаю, что этот, рождаемый мною младенец – “Я” большое» (*Андрей Белый.* Материал к биографии (интимный...) // Минувшее. Т. 6. С. 363); «Я понял, что посвящение мое в рыцари – духовный факт, и что в сердце моем родился младенец; мне, как роженице, надлежит его выносить во чреве ветхого сознания моего; через 9 месяцев “младенец” родится в жизнь. Разумеется, я эти странные, невероятные переживания скрыл от всех; но я вернулся с лекции с сознанием, что Св. Дух зачат в моем ветхом “я”; теперь это ветхое “я” будет распадаться, и меня постигнет какая-то странная, священная болезнь» (Там же. С. 365). Ср. также в стихотворении «Антропософии» («Из родников проговорившей ночи...»; 1918): «Мы – вспыхнули, но для земли – погасли. / Мы – тихий стих. / Мы – образуем солнечные ясли. / Младенец – в них».

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной и М.Л. Спивак

II
ПОМИНОВЕНИЕ ПО-СОВЕТСКИ

Официальные некрологи

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Газета «Известия» (Москва).
1934. 9 января.

Оргкомитет Союза советских писателей СССР с глубокой скорбью извещает о смерти писателя АНДРЕЯ БЕЛОГО /Бориса Николаевича БУГАЕВА/

Гражданская панихида состоится 9 января в 6 час. веч. в помещении Оргкомитета Союза советских писателей (ул. Воровского, 50). Доступ к телу 9 января с 4–10 час. вечера там же. Вынос тела из клуба Оргкомитета 10-го в 1 час дня. Кремация 10-го в 3 ч. 30 мин.[1]

* * *

Газета «Экономическая жизнь» (Москва).
1934. 10 января.

Андрей Белый

8 января в 12 ч. 30 м. дня умер от артериосклероза известный советский писатель АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. Вынос тела покойного из клуба оргкомитета Союза советских писателей сегодня, 10 января, в 1 час дня. Кремация – 10 января в 3 ч. 30 м. дня.

* * *

Умер АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. Замечательный писатель нашей эпохи, выдающийся представитель молодого поколения символистов, прекрасный литературовед и публицист. Творчество его оказало огромное влияние на ряд русских литературных течений. Многие современные советские писатели являются учениками Андрея Белого. Стиль его отличается крайним своеобразием и причудливостью, богат образами и новообразованными словами и выражениями.

Андрей Белый родился в 1880 г. в семье профессора математика. Окончил Московский университет по естественному факультету (был потом и на филологическом). В 1905 г. принимал участие в социал-демократической печати. Годы 1906–1916 он почти целиком проводит за границей. В 1914 г. А. Белый – ярый противник империалистической бойни.

Неуравновешенный, мечущийся от одной доктрины к другой, А. Белый находился под сильным влиянием мистика Вл. Соловьева, Ницше, Шопенгауэра и, наконец, Р. Штейнера. Мистицизмом проникнуты его первые произведения: ранняя лирика «Золото в лазури» (1904 г.) и другие сборники поэтики, романы «Серебряный голубь» (1910 г.) и «Петербург» (1913 г.). В последнем писатель изобра-

жает революционеров и реакционные круги Петербурга в 1905 г. Из других романов значительны «Котик Летаев» и «Детство и отрочество». Критические и теоретические работы А. Белого: «Луг зеленый», «Символизм», «Арабески», «Поэзия слова». В своих работах о русском стихе он – зачинатель формальной поэтики.

Несмотря на свой яркий мистицизм и на принадлежность к той социальной интеллигентской прослойке, которой было не по пути с революцией, – А. Белый сразу после Октября остался по нашу сторону баррикад. В 1918 г. он – активный сотрудник ТЕО <Театрального отдела> Наркомпроса, руководитель литературной студии Пролеткульта и т.д. С 1921 г. по 1923 г. живет в Берлине, а затем снова возвращается в Москву, где выпускает романы «Московский чудак» и «Москва под ударом» (1926 г.), начинающие широко задуманный цикл «Москва». Одна из последних книг А. Белого – «Начало века», вышла в 1933 г.

Последнее время А. Белый все больше склонялся к советской тематике. Особенно повлияло на его взгляды известное постановление ЦК ВКП(б) о перестройке литературно-художественных организаций. За 33 года своей плодотворной работы он выпустил 47 томов произведений – ценный вклад в культуру русского языка.

* * *

<От Государственного театра имени Вс. Мейерхольда>

8-го января 1934 года
скончался
Андрей Белый
(Борис Николаевич Бугаев)

Тело покойного находится в зале дома Оргкомитета С<оюза> с<оветских> п<исателей>. (Улица Воровского 50, с 4 ч. дня.)

Гражданская панихида в 6 ч. вечера 10.I.34.

Государственный театр им. Вс. Мейерхольда с глубокой скорбью извещает о кончине писателя Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева), мастера слова, замечательного своими изысканиями в области новых речевых построений, крупного литературоведа, выдающегося драматурга и учителя[2].

* * *

<От коллектива Камерного театра А.Я. Таирова>
Телеграмма к К.Н. Бугаевой[3]

<Январь> 1934.

Коллектив Камерного театра и я лично глубоко опечалены смертью Андрея Белого. Разделяем Вашу скорбь тяжелой утраты.

Таиров[4].

* * *

От Шалва Сослани[5].

Телеграмма к К.Н. Бугаевой

Поти, Грузия. <Январь> 1934.

Глубоко потрясен смертью Бориса Николаевича.

Скорблю вместе со всеми современниками, потерявшими в его лице величайшего художника слова, светлого, отзывчивого друга молодежи. Его имя переживет поколения. Пусть живет оно, как день, среди нас.

Колхидстрой. Шалва Сослани[6].

* * *

Газета «Заря Востока» (Тифлис).
1934. 10 января[7].

Умер поэт Андрей Белый

Москва. (Собст<венный> корресп<ондент>) От артериосклероза умер поэт Андрей Белый.

* * *

Газета «Правда» (Москва).
1934. 11 января.

Похороны А. Белого

Вчера состоялись похороны скончавшегося 7 января[8] писателя Андрея Белого. К выносу тела собралась многочисленная группа писателей, поэтов и литераторов. У гроба – почетный караул, который несут друзья покойного. В последних сменах – писатели Евдокимов[9], Пришвин, Лидин, В. Инбер, Б. Пильняк, Г. Санников, Пастернак и другие. Группа художников делает последние зарисовки.

В 3 час. 30 м. дня тело покойного было предано кремации.

Являясь крупнейшим представителем буржуазной литературы и идеалистического мышления, А. Белый за последнее время искренне стремился усвоить идеи эпохи социалистического строительства. Поворот широчайших кругов старой интеллигенции к советской власти захватил и А. Белого. В конце 1932 г. он выступил на пленуме Оргкомитета Союза советских писателей с заявлением о готовности поставить свое творчество на службу социализму.

В лице А. Белого в могилу сошел последний из крупнейших представителей русского символизма. Важно отметить, что он не разделил судьбы других вожаков этого литературного течения (Мережковский, Гиппиус, Бальмонт), скатившихся в болото белогвардейской эмиграции. А. Белый умер советским писателем.

* * *

Газета «Известия».
1934. 11 января.

Похороны писателя Андрея Белого

ТАСС. 10 января состоялись похороны писателя Андрея Белого. Отдать последний долг покойному писателю собралась многочисленная группа писателей, поэтов, литераторов.

В последних сменах почетного караула – тт. Евдокимов, Пришвин, Лидин, Инбер, Пильняк, Санников и Пастернак.

В 1 ч. 30 м. дня под звуки траурного марша писатели Богданов[10], Пильняк, Зайцев, Гроссман, Пастернак и другие выносят гроб. Траурная процессия направляется в крематорий.

В 3 ч. 30 м. состоялась кремация.

* * *

«Литературная газета» (Москва).
1934. 11 января[11].

Умер Андрей Белый

От редакции «Литературной газеты» и писательских организаций

Умер Борис Николаевич Бугаев – Андрей Белый – один из последних представителей русского символизма. Немного более года назад на пленуме Оргкомитета Андрей Белый выступил с речью о советской литературе и о той роли в ней, которую он играл до сих пор, и о той, которую намерен играть в дальнейшем[12].

Он говорил, что всю силу своего мастерства он намерен отдать строительству социализма. Он говорил о громадной работе, которая предстоит ему на этом пути. Он говорил о том совершенном станке, которым овладел он в результате многолетней работы. И о готовности отдать этот станок на службу пролетариата[13].

Он многого не понимал, последний представитель символизма. Он не понимал, что станок, на котором работал он до сих пор, перестал быть пригодным для новой работы, в новых условиях. Что вещи, которые были сделаны на этом станке, вещи, предельно далекие от вещей, сейчас его окружавших, определили структуру станка.

Автор блестящих романов о начале века, он был творчески беспомощен в последние годы своей жизни.

Он продолжал писать о прошедшем, об ушедших людях, о бывших когда-то вещах, он изображал мир, до странности архаичный и вместе с тем столь недалеко отстоящий от нашего времени. Он жил между нами до странности архаичный.

Участник постройки знаменитой некогда башни, долженствовавшей стать пристанищем одиноких, изолированных от жизни апостолов символизма[14], Андрей Белый только в последние годы своей жизни почувствовал, что писатель не может быть одинок. Но желание не быть одиноким осуществить ему не пришлось.

Трудно сказать, удалось ли бы ему это, если бы не ранняя смерть. Ответ на этот вопрос может дать только пристальный анализ его работы.

Этот анализ мы дадим в одном из ближайших номеров[15].

---

8 января, в 12 час. 30 мин. дня умер от артериосклероза Андрей Белый.

Сообщение о смерти писателя было получено во время расширенного заседания Секретариата Всесоюзного Оргкомитета. По предложению т.п. Юдина[16] память умершего писателя была почтена вставанием.

Оргкомитет тут же создал комиссию по организации похорон из Б. Пильняка, Б. Пастернака, Г. Санникова, Е. Вихрева, Н. Симмена и Н. Крутикова[17].

9 января тело писателя было перенесено в Большой зал Оргкомитета. С 4 час. дня до 10 час. вечера был открыт доступ к телу покойного. Вечером в Оргкомитете состоялась гражданская панихида. Выступали с речами Н. Накоряков, Б. Пастернак, Г. Санников, В. Ермилов, Л. Гроссман.

Скульптор Меркулов[18] снял маску с лица Андрея Белого. Мозг писателя передан Государственному институту мозга[19].

Андрей Белый родился в 1880 году. Отец его — Николай Васильевич Бугаев — был выдающимся математиком, профессором Московского университета. Писатель рос в среде ученых, писателей, художников. Поступив в Московский университет, он избрал естественное отделение математического факультета. И символизм, к которому он был склонен уже до поступления в университет, вступил в борьбу с Дарвином и Миллем, имена которых были тогда начертаны на знаменах русского естествознания[20].

В 1903 году, окончив университет, А. Белый сближается с Бальмонтом, Брюсовым, а позднее с Мережковским, В. Ивановым и А. Блоком. В этом же году он поступает на филологический факультет, потом оставляет его и начинает сотрудничать в «Весах»[21]. В 1910–11 г. путешествует по Италии, Египту и Палестине, становится учеником Р. Штейнера, переходит от стихов к прозе. В Россию возвращается в 1916 году. В 1921 году уезжает в Берлин, где остается два года, сотрудничая, между прочим, в горьковском журнале «Беседа»[22].

За последние годы Белым написан ряд книг (скорее мемуаров, чем беллетристики), посвященных многочисленным встречам, знакомствам и дружбам с крупнейшими представителями русской интеллигенции начала века.

Группа писателей, объединенных вокруг «Издательства писателей в Ленинграде»[23], выражает чувство глубокого огорчения в связи со смертью крупнейшего представителя дореволюционного искусства, внесшего богатый опыт в строительство советской литературы, разностороннего и неутомимого деятеля на культурном фронте, поэта, писателя и теоретика Андрея Белого.

Федин, Слонимский, Козаков, Тихонов, Прокофьев, Тынянов, Браун, Дмитриев, Свирин, Спасский, Хаскин, Лебеденко, Черненко, Чумандрин, Сорокин, Груздев, Горелов, Лав-

рухин, Саянов, Чуковский, Добин, Баршев, Брыкин, Соболев, Шишков, Розенфельд, Гуковский, Берзин, Рождественский, Камегулов, Эйхенбаум, Форш[24].

Государственное издательство Художественной литературы и группком писателей с глубокой скорбью извещают о смерти члена бюро группкома[25] – писателя Андрея БЕЛОГО (Бориса Николаевича БУГАЕВА).

Оргкомитет Союза советских писателей СССР с глубокой скорбью извещает о смерти писателя Андрея Белого (Бориса Николаевича БУГАЕВА).

Гражданская панихида состоится 9 января в 6 час. веч. в помещении Оргкомитета Союза советских писателей (ул. Воровского, 50). Доступ к телу 9 января с 4–10 час. вечера. Там же о дне кремации будет объявлено особо.

* * *

Газета «За коммунистическое просвещение» (Москва). 1934. 11 января.

Памяти Андрея Белого

9 января в Оргкомитете Союза советских писателей состоялась гражданская панихида по умершему писателю Андрею Белому (Борису Николаевичу Бугаеву).

С краткой речью о творчестве покойного писателя от имени Оргкомитета выступил тов. Ермилов:

– Нет надобности говорить о том, как значительна эта утрата. Андрей Белый был поэтом, прозаиком и теоретиком искусства. Он прошел огромной содержательности и поучительности жизненный путь.

Несмотря на то что он своей философией утверждал идеологию, враждебную рабочему классу, ему было дано, как и Блоку, понимание подлинного дикарского лика буржуазной культуры.

Достаточно вспомнить созданный Андреем Белым образ Мандро[26], этого обезьяньего чудовища, порожденного гнойными испарениями империалистической войны.

Это – словно предчувствие дикарского образа фашизма. Между Мандро и ликом современного фашизма можно поставить знак равенства.

Андрею Белому не удалось создать школы, хотя у него и было несколько учеников, ставших крупными писателями.

Этим летом тов. Ермилову пришлось беседовать с Андреем Белым в Коктебеле[27].

Писатель говорил о том, как интересно ему стало жить и как хотелось бы прожить еще хотя бы 10 лет, он говорил о радостном ощущении того, что он органически включен в строительство не ложной, а подлинной, настоящей, не выдуманной культуры, реальных ценностей.

В последний период своей жизни Андрей Белый все ближе входил в активное строительство советской культуры.

С воспоминаниями об Андрее Белом выступили Б. Пастернак, Г. Санников, Л. Гроссман и др.

* * *

Газета «Заря Востока».
1934. 11 января.

Похороны Андрея Белого

9 января гроб с останками Андрея Белого был установлен в Большом зале Оргкомитета Союза советских писателей. На гражданской панихиде присутствовали: Пастернак, Пильняк, Леонов, Вересаев, Замойский, Ив. Катаев, Новиков-Прибой, Гладков[28] и др.

Траурное собрание открыл ответственный секретарь Оргкомитета ССП тов. Юдин.

От имени Оргкомитета с краткой речью выступил Ермилов, охарактеризовавший творчество Андрея Белого — писателя, поэта и исследователя. Ермилов привел слова покойного, которые ярко свидетельствовали о глубоких переменах, происшедших в его идейных концепциях. Говоря о советской культуре, Андрей Белый сказал: «Я включился в строительство не ложной буржуазной, а подлинной культуры».

Москва. 10 (ЗТА)[29]. 10 января состоялись похороны писателя Андрея Белого. К выносу тела собралась многочисленная группа писателей, поэтов и литераторов. У гроба — почетный караул, который несут друзья покойного. В последних сменах писатели: Евдокимов, Пришвин, Лидин, В. Инбер, Б. Пильняк, Б. Пастернак и др. Группа художников делает последние зарисовки.

В 3 ч. 30 м. дня состоялась кремация.

* * *

Газета «Тифлисский рабочий».
1934. 11 января[30].

Умер Андрей Белый

Скончавшийся 8 января писатель Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) принадлежал к числу крупнейших художников слова дореволюционной России.

Будучи одним из наиболее ярких и талантливых представителей литературной школы символистов, Андрей Белый оказал большое влияние на развитие литературной жизни России до Октябрьского периода.

С первых дней Октябрьской революции А. Белый — сотрудник и организатор ТЕО Наркомпроса, затем — руководитель литературной студии Московского Пролеткульта. Последние 10 лет своей жизни А.Б. много работал над советской тематикой.

Перу Андрея Белого принадлежат крупнейшие художественные произведения (47 томов), значительная часть которых переведена на иностранные языки. Кроме нескольких сборников стихов, он дал крупнейшие прозаические произведения, большие работы по вопросам теории искусства.

Вчера в 6 часов вечера гроб с останками Андрея Белого был установлен в большом зале Оргкомитета союза советских писателей.

Последний долг покойному пришла отдать вся литературная Москва.

На гражданской панихиде по Андрею Белому присутствовали писатели Пастернак, Пильняк, Леонов, Вересаев, Замойский, Ив. Катаев, Новиков-Прибой, Гладков и другие.

Траурное собрание открыл ответственный секретарь Оргкомитета ССП тов. Юдин.

От имени Оргкомитета с краткой речью выступил Ермилов, охарактеризовавший творчество Андрея Белого — писателя, поэта, исследователя.

Ермилов привел слова покойного, которые ярко свидетельствовали о глубоких переменах, происшедших в его идейных концепциях. Говоря о советской культуре, Андрей Белый сказал: «Я включился в строительство не ложной, буржуазной, а подлинной культуры».

Затем выступил поэт Борис Пастернак, Накоряков (ГИХЛ), поэт Г. Санников и критик Гроссман.

* * *

Москва. 10 января (ЗТА). 10 января состоялись похороны писателя Андрея Белого. К выносу тела собралась многочисленная группа писателей, поэтов и литераторов. У гроба — почетный караул, который несут друзья покойного. В последних сменах писатели тт.: Евдокимов, Пришвин, Лидин, В. Инбер, Б. Пильняк, Б. Пастернак и др. Группа художников делает последние зарисовки. В 1 ч. 30 м. состоялся вынос гроба, а в 3 ч. 30 м. дня — кремация[31].

* * *

Газета «Рабочий путь» (Смоленск).
1934. 12 января[32].

Андрей Белый

Скончавшийся 8 января писатель Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) принадлежал к числу крупнейших художников слова дореволюционной России.

Будучи одним из наиболее ярких и талантливых представителей литературной школы символистов, Андрей Белый оказал большое влияние на развитие литературной жизни России до Октябрьского периода.

С первых дней Октябрьской революции А. Белый — сотрудник и организатор ТЕО Наркомпроса, затем — руководитель литературной студии Московского Пролеткульта. Последние 10 лет своей жизни А.Б. много работал над советской тематикой.

Перу Андрея Белого принадлежат крупнейшие художественные произведения (47 томов), значительная часть которых переведена на иностранные языки. Кроме нескольких сборников стихов он дал крупнейшие прозаические произведения, большие работы по вопросам теории искусства.

Вчера, в 6 часов вечера, гроб с останками Андрея Белого был установлен в Большом зале Оргкомитета Союза советских писателей.

Последний долг покойному пришла отдать вся литературная Москва.

10 января состоялись похороны писателя Андрея Белого.

В 1 ч. 30 мин. дня под звуки траурного марша траурная процессия направляется в крематорий, где в 3 ч. 30 мин. дня состоялась кремация[33].

* * *

<От актеров МХТ-2>
Письмо к К.Н. Бугаевой[34]

17/I—1934.

Многоуважаемая и дорогая Клавдия Николаевна.

Мы, актеры Московского художественного театра – второго, переживаем вместе с Вами боль утраты Бориса Николаевича и просим принять эти цветы как память о дорогой и незабвенной для нас работе над прекрасным произведением Борис [так!] Николаевича «Петербург»[35].

С. Гиацинтова, С. Бирман, А. Чебан, Л. Дейкун, Б. Афонин, <*нрзб*>, П. Ермилов, М. Скрябина, Игумнова, Н. Шиловцева, Адашев, И. Берсенев, В. Готовцев, Суш<кевич?>, В. Татаринов[36].

* * *

Газета «Известия».
1934. 17 января.

Семья покойного Бориса Николаевича Бугаева (Андрея Белого) извещает близких и знакомых о том, что захоронение урны с прахом покойного состоится на кладбище Новодевичьего монастыря, 18 января, в 2 часа дня.

* * *

Газета «Литературная Сибирь» (Новосибирск)[37]**.**
1934. 30 января.

Андрей Белый

8 января скончался один из крупнейших художников слова дореволюционной России Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев).

Являясь одним из наиболее талантливых представителей школы символистов, А. Белый оказал большое влияние на развитие литературной жизни в России до Октябрьского периода.

Тотчас после Октября А. Белый – сотрудник ТЕО Наркомпроса, затем руководитель литературной студии Московского Пролеткульта, а последние 10 лет А. Белый много работал над советской тематикой.

Перу А. Белого принадлежат крупнейшие художественные произведения, значительная часть которых переведена на иностранные языки[38].

---

[1] В первой утренней части тиража вместо двух последних фраз было: «О дне кремации будет объявлено особо». Этот же текст был перепечатан в № 8 (3037) газеты «Вечерняя Москва» от 9 января 1934 г. В том же номере газеты «Известия» опубликован некролог Б. Пастернака, Б. Пильняка и Г. Санникова. См. в наст. изд.

[2] Написанное от руки извещение сохранилось в РГАЛИ (Ф. 1476) в фонде режиссера и театрального педагога Михаила Михайловича Коренева (1889–1980) – сотрудника ГОСТИМа (1922–1938), соратника и помощника В.Э. Мейерхольда, преданного поклонника и близкого знакомого Андрея Белого (подробнее о его отношениях с Белым см.: *Зайцев П.Н.* Воспоминания. М., 2008). Очевидно, извещение вывесили в театре на доске объявлений. Это было логично, так как с ГОСТИМом и его руководителем Мейерхольдом Белого связывали долгие отношения дружбы и сотрудничества (см.: Из переписки А. Белого: Письма В.Э. Мейерхольду и З.Н. Райх / Публ., вступ. статья и коммент. Дж. Малмстада // Новое литературное обозрение. 2001. № 5 (51). С. 132–166). Белый неоднократно публично выступал в защиту поставленного Мейерхольдом «Ревизора» (премьера 9 декабря 1926 г.) и написал статью «Гоголь и Мейерхольд», открывающую сборник с таким же названием (М.: Никитинские субботники, 1927). С декабря 1927 г. по январь 1928 г. Белый по приглашению Мейерхольда читал в ГОСТИМе курс лекций «О слове» («Слово как средство изобразительности», «Слово как орган творчества», «Стилевой разбор "Страшной мести" Гоголя» и др.). С 1926 г. вплоть до 1930 г. в ГОСТИМе планировалась постановка драмы «Москва», написанной Белым по предложению Мейерхольда на основе одноименного романа (спектакль поставлен не был; см.: *Андрей Белый.* Москва. Драма в пяти действиях / Предисловие, коммент. и публ. Т. Николеску. М., 1997). И Мейерхольда, и Коренева П.Н. Зайцев планировал пригласить на вечер памяти Андрея Белого в качестве выступающих. Документ не датирован, но, скорее всего, он написан 9 января (указано, что тело находится в помещении Оргкомитета ССП). В объявление вкралась ошибка: гражданская панихида состоялась не 10 января, а 9 января. 12 января в газете «Известия» была опубликована часть этой заметки: «Государственный театр им. Вс. Мейерхольда с глубокой скорбью извещает о кончине писателя Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева), мастера слова, замечательного своими смелыми изысканиями в области новых речевых построений, крупного литературоведа и выдающегося драматурга».

[3] НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 49. Ед. хр. 47.

[4] Александр Яковлевич Таиров (наст. фамилия: Корнблит; 1885–1950) – режиссер, актер, создатель и руководитель Камерного театра (1914–1949). Телеграмма, адресованная К.Н. Бугаевой, была отправлена в январе 1934 г. на адрес Оргкомитета Союза советских писателей (Москва, ул. Воровского, 55).

[5] Молодой грузинский писатель Шалва Виссарионович Сослани (1902–1941) мог познакомиться с Белым на Кавказе в 1927–1929 гг., но ни в кавказских дневниках фиксировавшей все встречи К.Н. Бугаевой, ни в *РД* имя Сослани не упомянуто. Вероятнее, знакомство состоялось на одной из лекций Белого в Москве, когда Сослани учился на литературном факультете Московского университета и печатался в московских журналах. Первая книга стихов Сослани вышла в свет на грузинском языке в 1923 г. Его первая повесть на русском языке «Конь и Кэтевана» была опубликована в № 4–7 журнала «Красная новь» за 1931 г. (отд. изд. – М.: ГИХЛ, 1932). 30 октября 1932 г. К.Н. Бугаева отметила в «Летописи жизни и творчества Андрея Белого» (ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 107. Л. 168) «Возобновление знакомства с М.М. Пришвиным, Вс. Вишневским, Ш. Сослани и др.» на пленуме Оргкомитета Союза советских писателей, где Белый выступал с докладом. Известны два письма Белого к Сослани от 16 ноября 1932 г. и от 18 января 1933 г. с откликами на его произведения (см.: Письма Андрея Белого Шалве Сослани / Предисл. и публ. Г.М. Миронова, М.Г. Мироновой // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 750–752). Существует также письмо Сослани Андрею Белому от 13 июля 1933 г., в котором он сообщает о своем

отъезде из Москвы в Грузию и просит Белого прочесть его новую повесть, которая «выходит в ГИХЛЕ под заглавием “Ача”»: «<…> мне не удалось Вам прочесть до этого. Вещь для меня очень органична, и Ваше мнение о ней мне будет очень дорого и важно» (ОР РНБ. Ф. 60. Оп. 47а. Ед. хр. 66). 8 января 1934 г. Сослани присутствовал на заседании Секретариата Оргкомитета Союза советских писателей, где обсуждалась организация похорон Белого.

[6] НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 49. Ед. хр. 43.

[7] «Заря Востока» – газета Закавказского крайкома ВКП(б); издавалась с 1922 г.; с 1936 г. – республиканская газета Грузинской ССР.

[8] Эта ошибка (правильно – 8 января) будет многократно повторена в некрологах в зарубежных изданиях.

[9] Иван Васильевич Евдокимов (1887–1941) – писатель, искусствовед, сотрудник Госиздата.

[10] Александр Алексеевич Богданов (1874–1939) – пролетарский поэт, писатель-коммунист.

[11] В этом же номере «Литературной газеты» был напечатан некролог К.Г. Локса. См. в наст. изд.

[12] Имеется в виду речь Белого на Первом пленуме Оргкомитета Союза советских писателей 30 октября 1932 г. См.: Советская литература на новом этапе. Стенограмма первого пленума Оргкомитета Союза советских писателей (29 октября – 3 ноября 1932 г.). М., 1933. С. 69–71.

[13] Ср.: «Мы хотели бы с головой служить делу социалистического строительства! Но кроме проблемы головы есть проблема “станка”, проблема нашего ремесла <…>. Что извлекает из меня энтузиазм? Факт, что обращение партии и ко мне, обобществляет мой станок. Раз это так, я должен его передать государству во всех особенностях его тонкой структуры; я должен бороться за то, чтобы мой станок был в исправности, потому что испорченный станок есть вредительство, пусть бессознательное» (цит. по: Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 681).

[14] Вероятно, здесь контаминация двух образов: петербургской квартиры («башни») В.И. Иванова, где собиралась литературно-художественная богема, и здания антропософского центра в Дорнахе (Гетеанума), на строительстве которого Белый работал в 1914–1916 гг.

[15] В следующем номере «Литературной газеты» (от 16 января 1934 г.) была опубликована статья А.А. Болотникова. См. в наст. изд.

[16] См. подробнее во вступ. статье. Павел Федорович Юдин (1899–1968) – партийный функционер и советский философ, большевик с 1918 г., в 1932–1938 гг. директор Института красной профессуры, впоследствии (с 1937 г.) директор Объединения государственных издательства (ОГИЗ) и Института философии АН СССР (с 1938 г.), академик АН СССР (с 1953 г.). В описываемый период возглавлял фракцию ВКП(б) Оргкомитета Союза советских писателей и был членом Секретариата.

[17] См. о них во вступ. статье и в записях П.Н. Зайцева.

[18] Так ошибочно в печатном тексте. Правильно – Меркуров. О С.Д. Меркурове и его работе над посмертной маской Белого см. в наст. изд.

[19] См. во вступ. статье и подробнее в кн.: *Спивак М.* «Мозг отправьте по адресу...». М., 2010.

[20] Ср.: «Я – сын крупного математика, вылез на свет из квартир, переполненных разговорами о Дарвине, Спенсере, Милле» (*НРДС 1930*. С. 195). Чарлз Роберт Дарвин (1809–1882) – английский естествоиспытатель. Джон Стюарт Милль (1809–1873) – английский философ-позитивист и экономист. Герберт Спенсер (1820–1903) – английский философ-позитивист, социолог.

[21] Белый стоял у истоков создания символистского журнала «Весы» и активно сотрудничал там весь период его существования (1904–1909).

[22] «Беседа» (1923–1925) – двухнедельный журнал, созданный А.М. Горьким в Берлине при участии Белого и других литераторов.

[23] С «Издательством писателей в Ленинграде» (1927–1934) Белый был связан договором на роман «Германия», заключенным в 1931 г. Роман написан не был, и в 1933 г. «Издательство...» взялось за выпуск третьего тома мемуаров Белого «Между двух революций» (Л., 1934 – вышел в апреле 1935 г.).

[24] Николай Валерьянович Баршев (1888–1938) – прозаик, поэт, драматург; арестован в 1937 г., умер в Хабаровске; Юлий Соломонович Берзин (1904–1942) – прозаик; Николай Леопольдович Браун (1902–1975) – поэт; Николай Александрович Брыкин (1895–1979) – прозаик, с 1937 по 1938 г. – директор Ленинградского отделения издательства «Советский писатель», участник обеих мировых войн, в 1949 г. был арестован, в 1954 г. освобожден; Анатолий Ефимович Горелов (1904–1991) – критик, литературовед, член ВКП(б) с 1927 г., ответственный издательский работник – в 1929–1937 гг. главный редактор журнала «Звезда», газеты «Литературный Ленинград» и т.п.; делегат Первого съезда советских писателей; Илья Александрович Груздев (1892–1960) – литературовед, биограф Горького; Адам Мартынович Дмитриев (1902–1936), писатель, ответственный редактор журнала «Залп», один из руководителей ЛОКАФа (Литературное объединение Красной армии и флота); Анатолий Дмитриевич Камегулов (1900–1937) – литературовед, член ВКП(б) с 1919 г., ответственный секретарь Ленинградской ассоциации пролетарских писателей (ЛАПП), член правления РАППа, ответственный секретарь Ленинградского отделения Федерации советских писателей; был арестован в 1935 г. и в 1937 г. расстрелян; Михаил Эммануилович Козаков (1897–1954) – писатель, отец актера М.М. Козакова; Дмитрий Исаевич Лаврухин (наст. фамилия: Георгиевский; 1897–1939) – прозаик, член ВКП(б) с 1917 г., участник литературной группы «Кузница», потом – член РАППа; Александр Гервасьевич Лебеденко (1892–1975) – прозаик, в 1935 г. был арестован и сослан на три года; Александр Андреевич Прокофьев (1900–1971) – поэт; Всеволод Александрович Рождественский (1895–1977) – поэт; Семен Ефимович Розенфельд (1891–1959) – прозаик; Виссарион Михайлович Саянов (1903–1959) – писатель, критик, литературовед; Ефим Семенович Добин (1901–1977) – критик, литературовед; Николай Григорьевич Свирин (1900–1938) – критик, один из организаторов ЛОКАФа, с 1932 г. секретарь Оргкомитета по созданию Ленинградского отделения ССП; Михаил Леонидович Слонимский (1897–1972) – писатель; Леонид Сергеевич Соболев (1898–1972) – прозаик, критик, публицист; с 1931 г. оргсекретарь ЛОКАФа, делегат Первого съезда ССП от Ленинграда, лауреат Сталинской премии (1943), депутат Верховного Совета СССР (1958–1970), член Президиума ВС СССР (1970–1971); Григорий Эммануилович Сорокин (1898–1953) – поэт, переводчик, издательский работник, в 1930-е заведующий «Издательством писателей в Ленинграде»; Николай Семенович Тихонов (1896–1976) – поэт, прозаик, переводчик; Илья Владимирович Хаскин – директор Ленинградского отделения Литфонда Союза советских писателей; Александр Иванович Черненко (1897–1956) – писатель, журналист, основатель (в 1955 г.) и пер-

вый главный редактор ленинградского журнала «Нева» (1955); Михаил Федорович Чумандрин (1905–1940) – прозаик.

[25] Белый был избран членом бюро группкома писателей ГИХЛа 19 июля 1932 г.

[26] Герой романа Белого «Москва» («Московский чудак», «Москва под ударом», «Маски»).

[27] См. запись Белого в дневнике за август 1933 г.

[28] Леонид Максимович Леонов (1899–1994) – прозаик, Викентий Викентьевич Вересаев (наст. фамилия: Смидович; 1867–1945) – прозаик, мемуарист; Петр Иванович Замойский (наст. фамилия: Зевалкин; 1896–1958) – прозаик, в 1926–1929 гг. председатель Всероссийского общества крестьянских писателей, с 1934 г. член Союза писателей; в 1938 г. был арестован по обвинению «антисталинист-одиночка», освобожден «за отсутствием состава преступления»; Иван Иванович Катаев (1902–1937) – писатель, с 1923 г. член РАППа, с 1926 г. – один из руководителей группы «Перевал», с 1934 г. – член правления Союза писателей, один из создателей «Литературной газеты»; арестован в 1937-м, расстрелян, реабилитирован в 1956 г.; Алексей Силыч Новиков-Прибой (наст. имя и фамилия: Алексей Силантьевич Новиков; 1877–1944) – писатель-маринист.

[29] Закавказское телеграфное агентство.

[30] «Тифлисский рабочий» – общегрузинская общественно-политическая газета; издавалась с 1923 г. под названием «Рабочая правда», с 1932 г. – под названием «Тифлисский рабочий», с 1936 г. – под названием «Вечерний Тбилиси».

[31] Далее – с незначительными разночтениями – повторяется текст из газеты «Заря Востока» (11 января); начало заметки (до слов «вся литературная Москва») будет повторено 12 января в газете «Рабочий путь».

[32] «Рабочий путь» – смоленская областная общественно-политическая газета; издается с 1917 г.

[33] До слов «вся литературная Москва» повторяется текст, опубликованный в газете «Тифлисский рабочий».

[34] НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 49. Ед. хр. 48.

[35] Имеется в виду постановка в МХТ-2 (Второй студии Московского художественного театра) драмы «Петербург», написанной Белым по одноименному роману в 1924 г. Премьера состоялась 14 ноября 1925 г. Режиссеры: С.Г. Бирман, В.Н. Татаринов, А.И. Чебан. Роль Аполлона Аполлоновича Аблеухова исполнял М.А. Чехов, директор и художественный руководитель театра (он не подписал телеграмму-соболезнование, так как в 1928 г. покинул СССР). Андрей Белый активно участвовал в работе над постановкой, присутствовал на репетициях и читал лекции актерам труппы. Подробнее см.: *Лавров А.В., Малмстад Дж.* Театральная версия романа Андрея Белого «Петербург» // *Андрей Белый.* Петербург: Историческая драма. М., 2010. С. 3–62; *Николеску Т.* Андрей Белый и театр. М., 1995; и др.

[36] Телеграмму подписали актеры и режиссеры МХТ-2, участвовавшие в постановке «Петербурга»: Софья Владимировна Гиацинтова (1895–1982) играла Софью Петровну Лихутину; Серафима Германовна Бирман (1890–1976) была одним из режиссеров «Петербурга», также играла в спектакле Даму в трауре; Александр Иванович Чебан (наст. фамилия: Чебанов; 1886–1954) был одним из режиссеров «Петербурга», играл Сергея Сергеевича Лихутина; Лидия Ивановна Дейкун (наст. фамилия: Дейкун-Благонравова; 1889–1980) исполняла роль жены сенатора Аблеухова Анны Петровны; Борис Макарович Афонин (1888–1955) играл роль Неуловимого; Павел Дмитриевич Ермилов (1901–1992) – видимо, играл в массовке; Мария Александровна Скрябина (1901–1989) – играла Барышню на балу (она была близким другом Бугаевых, членом антропософского общества; до-

черью композитора А.Н. Скрябина, женой В.Н. Татаринова); Зинаида Сергеевна Игумнова (1900–1981) исполняла роль Марфушки, прислуги в доме Лихутиных; Наталья Павловна Шиловцева (1896–1978) – роль супруги Цукатова; Иван Николаевич Берсенев (наст. фамилия: Павлищев; 1889–1951) – роль Николая Аполлоновича Аблеухова (после отъезда М.А. Чехова он стал директором и художественным руководителем театра); Владимир Васильевич Готовцев (1885–1976) играл роль камердинера Семеныча; возможно, Борис Михайлович Сушкевич (1887–1946), игравший роль провокатора Липпанченко (его подпись кажется странной, так как в конце 1932 г. он из-за разногласий с И.Н. Берсеневым и курсом театра покинул МХТ-2 и переехал в Ленинград); Владимир Николаевич Татаринов (1879–1966) был одним из режиссеров спектакля, членом антропософского общества. Одна подпись (после Б.М. Афонина) неразборчива: возможно, это Кузьма Никифорович Ястребецкий (1892–1966), игравший роль 1-го рабочего в «Петербурге». Не вполне понятна в этом контексте подпись Адашев: Александр Иванович Адашев (1871–1934) был театральным педагогом и актером МХТ; на Курсах драмы Адашева учились многие актеры и режиссеры МХТ-2, однако к работе театра он отношения не имел.

[37] Газета «Литературная Сибирь» – орган Западно-Сибирского оргкомитета Союза советских писателей; выходила с сентября 1933 г. по май 1934 г.

[38] С незначительными разночтениями повторяется текст, опубликованный в газете «Рабочий путь».

Подготовка текста и комментарии Е.В. Наседкиной

А. КУТ

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Вечерняя Москва.
1934. 9 января.

Последние годы жизни скончавшегося вчера Андрея Белого были отмечены большой творческой и общественной работой.

Писатель – в прошлом один из вождей русского символизма – активно включился в литературно-общественную жизнь, выступал в оргкомитете писателей, делал публичные доклады, работал в месткоме ГИХЛа.

У всех в памяти выступление А. Белого на пленуме Оргкомитета ССП в октябре 1932 года, отмеченное тогда всей нашей печатью[1].

Окидывая взором свой общественный путь за последние 15 лет, писатель вспомнил, как еще в 1918 году он работал в Московском Пролеткульте. С большой искренностью писатель признал, что тогда он являлся только случайным гостем советской литературы. «Сейчас же, – говорил он, – я не могу смотреть на себя иначе, как на ее активного участника, чувствующего и свою долю ответственности за ее успехи, за создание тех Магнитостроев литературы, которые стали возможными только в наши великие дни»[2].

Не менее памятны литературной Москве его выступления в Оргкомитете с блестящим докладом о советском очерке (он был напечатан в «Новом мире»[3]) и его вечер в Политехническом музее[4].

* * *

В прошлом году А. Белый выпустил большой роман «Маски»[5]. Писатель смонтировал из наиболее удачных отрывков этой трудной и сложной книги отдельную вещь и напечатал ее на страницах «Вечерней Москвы»[6].

В издании ГИХЛа только что вышел огромный том воспоминаний писателя «Начало века». В этой книге Андрей Белый резкими мазками набросал яркую картину идейного убожества и скудоумия профессорской и литературной Москвы, а отчасти и Петербурга в годы, предшествовавшие первой революции.

Сейчас заканчивается печатанием большой труд А. Белого о Гоголе, явившийся результатом работы всей жизни писателя[7].

* * *

После А. Белого остался огромный архив, имеющий большое значение для изучения истории русской литературы.

Этот архив, содержащий более 12 тысяч рукописных страниц, писатель передал В.Д. Бонч-Бруевичу для организуемого им в Москве Центрального литературного музея[8].

Помимо огромного количества рукописей поэта и 600 писем крупнейших писателей, ученых и общественных деятелей, архив содержит сборник лучших стихотворений А. Белого, подготовленный поэтом для посмертного издания[9].

* * *

Вчера Оргкомитетом Союза советских писателей образована комиссия по похоронам А. Белого. В состав комиссии вошли тт. Вихорев[10], В. Ермилов, Борис Пастернак, Борис Пильняк, Г. Санников и др.

У ГРОБА А. БЕЛОГО

Вечерняя Москва.
1934. 10 января.

Вчера вечером в Оргкомитете ССП у гроба Андрея Белого перебывали крупнейшие представители советской литературной Москвы. В почетном карауле стояли В.В. Вересаев, Ф.В. Гладков, Л.М. Леонов, Б.А. Пильняк, В. Лидин, Б. Пастернак, В.В. Каменский, многие литературоведы, критики и др.

В речах на гражданской панихиде была сделана попытка нащупать место Андрея Белого в истории русской литературы и в истории русской культуры.

От имени Оргкомитета советских писателей говорил тов. В. Ермилов.

Он подчеркнул громадную утрату, какую понесла русская литература в лице покойного поэта, романиста, теоретика искусства.

Андрей Белый прошел творческий путь огромной содержательности и огромной поучительности.

Художник, связанный с течениями русского буржуазного декаданса и с религиозными мистическими настроениями и отражавший их в своем творчестве, бывший учеником главы антропософов Рудольфа Штейнера[11], он в то же время сумел в ряде своих замечательных произведений показать подлинный лик буржуазного общества. В своем замечательном романе «Москва» А. Белый, например, показал те звериные черты буржуазии, которые с такой силой выражены сейчас в немецком фашизме.

Художнику, который утверждал в своих сочинениях философию буржуазного идеализма, вместе с тем было дано почувствовать надвигающуюся катастрофу и гибель буржуазного мира, видеть его обреченность.

Путь, пройденный А. Белым, показывает, как лучшие люди буржуазного общества, утверждавшие в своих произведениях его философию, приходят к пониманию, что подлинная культура возможна только на путях пролетарской революции.

После тов. Ермилова говорили тт. Н.Н. Накоряков, Б. Пастернак, Г. Санников и Л. Гроссман.

Послесловие

Под псевдонимом А. Кут писал Александр Владимирович Кутузов (1892–1942). Он был родом из Пензы; после окончания Пензенской гимназии учился в Петербургском университете. Затем вернулся в Пензу, где в 1918–1921 гг. вступил на журналистскую стезю и сделал весьма успешную карьеру: стал редактором газеты «Беднота», «Пензенской стенной газеты», губернским комиссаром печати, заведующим пензенским отделом Центропечати.

Потом А.В. Кутузов переехал в Москву, работал в газетах «Московская деревня», «Вечерняя Москва» и других периодических изданиях. В конце 1920-х – начале 1930-х в «Вечерней Москве» постоянно публиковал заметки о литературной, театральной, художественной, научной жизни столицы. Неоднократно писал и о Белом[i].

Погиб под Москвой в рядах народного ополчения[ii].

---

[1] Имеется в виду речь Белого на Первом пленуме Оргкомитета Союза советских писателей 30 октября 1932 г.: Советская литература на новом этапе. Стенограмма первого пленума Оргкомитета Союза советских писателей (29 октября – 3 ноября 1932 г.). М., 1933. С. 69–71. См. ее републикацию в сб.: Андрей Белый: Проблемы творчества. 679–682.

[2] В выступлении на пленуме Белый действительно говорил и о своей работе в Пролеткульте, и о необходимости «рождать Днепрострой в литературе», и о готовности «провести сквозь детали работы идеологию, на которую указывают вожди». Однако логика выступления Белого существенно отличалась от того, о чем пишет автор некролога: Кут не столько пересказывает речь писателя, сколько дает ее очень вольную интерпретацию.

[3] Доклад «Культура краеведческого очерка», состоявшийся 23 ноября 1932 г. доклад в секции писателей-краеведов в Оргкомитете Союза советских писателей. См. публикацию стенограммы доклада: Новый мир. 1933. № 3. С. 257–279.

[4] Имеется в виду «Вечер Андрея Белого» в Политехническом музее 11 февраля 1933 г. А. Кут на вечере присутствовал и написал о нем заметку. См.: *Кут А.* Писатель о самом себе. Вечер А. Белого в Политехническом // Вечерняя Москва. 1933. 13 февраля.

[5] *Андрей Белый.* Маски. М.: ГИХЛ, 1932.

[6] *Андрей Белый.* Салоны [Из романа «Маски». С прим. ред.] // Вечерняя Москва. 1932. 5 декабря.

[7] *Андрей Белый.* Мастерство Гоголя: Исследование. М.; Л.: ГИХЛ, 1934. Книга вышла в апреле.

[8] Центральный музей художественной литературы, критики и публицистики был основан в 1933 г. (Рождественский бульвар, д. 16). После объединения в 1934 г. с Литературным музеем при Всесоюзной библиотеке СССР имени В.И. Ленина получил современное название: Государственный литературный музей (ГЛМ). Первым директором музея (с 1933 по 1940 г.) был назначен Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873–1955), революцио-

---

[i] См., напр.: *Кут А.* Писатель о самом себе. Вечер А. Белого в Политехническом // Вечерняя Москва. 1933. 13 февраля.

[ii] См.: Пензенская энциклопедия / Гл. ред. К.Д. Вишневский. Пенза: Министерство культуры Пензенской области, М.: Большая Российская энциклопедия. 2001. С. 291.

нер, партийный деятель, литературный работник. Переговоры с писателями о продаже их архивов он начал вести после учреждения Наркомпросом РСФСР в мае 1931 г. специальной Комиссии по подготовке и организации Центрального литературного музея в Москве. Белый продал свой архив летом 1932 г. См.: *Воронин С.Д.* Статья В.Д. Бонч-Бруевича «Архив Андрея Белого» // Археографический ежегодник за 1984 год. М., 1986. С. 273–276; Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 700–704 (письма за май 1932 г. и прим.). Об успехах В.Д. Бонч-Бруевича восторженно писала «Вечерняя Москва»: «В выходящем через неделю очередном номере “Литературного наследства” В.Д. Бонч-Бруевич сообщает о первых шагах организуемого Наркомпросом в Москве Центрального литературного музея. За последнее время музеем приобретен ряд писательских рукописей, представляющих огромную ценность и исключительный интерес <...>. Среди них <...> архивы покойного академика П.Н. Сакулина <...> Н. Лескова, Бориса Садовского, Андрея Белого и др. <...> Архив Андрея Белого содержит более 12 тысяч рукописных страниц и много неизданных вещей поэта. Среди них – подготовленный поэтом посмертный сборник его стихов» (1933. 23 августа). Не исключено, что автором этой неподписанной заметки также был А. Кут. В 1941 г. значительная часть музейного собрания была передана в Главное архивное управление, откуда поступила в Центральный (ныне – Российский) Государственный архив литературы и искусства.

[9] Имеется в виду сборник «Зовы времен» (1931), составленный в основном из переработанных стихотворений. См.: *Андрей Белый.* Стихотворения и поэмы. В 2 т. / Вступ. статья, подгот. текста, сост., прим. А.В. Лаврова, Дж. Малмстада. СПб., 2006. Т. 2. С. 168–394; прим. С. 595–596 («Новая библиотека поэта»).

[10] Так ошибочно в печатном тексте. Имеется в виду Е.Ф. Вихрев. См. о нем в наст. изд.

[11] С Рудольфом Штейнером (1861–1925), австрийским философом и мистиком, создателем антропософии, Белый познакомился в мае 1912 г. в Кельне. Будучи очарован личностью Штейнера, его лекцией и беседой с ним, Белый в 1913 г. вступил на путь антропософского ученичества.

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

Б. ПИЛЬНЯК, Б. ПАСТЕРНАК, Г. САННИКОВ[1]

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Известия.
1934. 9 января.

8 января, в 12 ч. 30 мин. дня, умер от артериосклероза Андрей Белый, замечательнейший писатель нашего века, имя которого в истории станет рядом с именами классиков не только русских[2], но и мировых. Имя каждого гения всегда отмечено созданием своей школы. Творчество Андрея Белого – не только гениальный вклад как в русскую, так и в мировую литературу, оно – создатель громадной литературной школы. Перекликаясь с Марселем[3] Прустом[4] в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, А. Белый делал это полнее и совершеннее[5]. Джемс Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джемс Джойс – ученик Андрея Белого[6]. Придя в русскую литературу младшим представителем школы символистов, Белый создал больше, чем все старшее поколение этой школы, – Брюсов, Мережковские, Сологуб и др.[7] Он перерос свою школу, оказав решающее влияние на все последующие русские литературные течения. Мы, авторы этих[8] посмертных строк о Белом, считаем себя его учениками[9].

Как многие гениальные люди, Андрей Белый был соткан из колоссальных противоречий. Человек, родившийся в семье русского ученого-математика[10], окончивший два факультета[11], изучавший[12] философию, социологию, влюбленный в химию и математику при неменьшей любви к музыке[13], Андрей Белый мог показаться[14] принадлежащим к той социальной интеллигентской прослойке, которой было не по пути с революцией[15]. Если к этому прибавить, что во время своего пребывания за границей Андрей Белый учился у Рудольфа Штейнера[16], последователи которого стали мракобесами Германии[17], то тем существенней будет отметить, что не только сейчас же после Октябрьской[18] революции Андрей Белый деятельно определил свои политические взгляды, заняв место по нашу сторону баррикад, но и по самому существу своего творчества должен быть отнесен к разряду явлений революционных. Этот переход[19] определяется всей субстанцией Андрея Белого. Он не был писателем-коммунистом, но легче себе представить в обстановке социализма, нежели в какой-нибудь иной, эту деятельность, в эстетическом и моральном напряжении своем всегда питавшуюся внушениями точного знания, это воображение, никогда ни о чем не мечтавшее, кроме конечного освобождения человека от всякого рода косности, инстинктов собственничества, неравенства, насилия и всяческого дикарства[20]. Андрей Белый с первых дней революции услышал ее справедливость, ибо Белый всегда умел слушать историю. В 1905 г. А. Белый – сотрудник социал-демократической печати. В 1914 г. А. Белый – ярый противник «бойни народов» (выражение Белого того времени[21]).

В 1917 г., еще до Октября, А. Белый вместе с А. Блоком — организатор «скифов»[22]. Сейчас же после Октября А. Белый — сотрудник и организатор ТЕО Наркомпроса. Затем — руководитель литературной студии Московского Пролеткульта[23], воспитавший ряд пролетарских писателей. С 1921 по 1923 г. А. Белый за границей, в Берлине являлся литературным водоразделом, определявшим советскую и антисоветскую литературу, и утверждением советской культуры, знамя которой тогда он нес для заграницы. Последние десять лет — напряженнейший писательский труд, пересмотр прошлого в ряде[24] воспоминаний, работа над советской тематикой, к овладению которой он приближался в последних своих произведениях от тома к тому. Андреем Белым написано 47 томов. Им прожита очень сложная жизнь. Все это — поле для больших воспоминаний и изучений, большой вклад в нашу советскую культуру.

Послесловие

Некролог, написанный близкими друзьями Белого — Борисом Леонидовичем Пастернаком (1890–1960), Борисом Андреевичем Пильняком (наст. фамилия: Вогау; 1894–1938) и Григорием Александровичем Санниковым (1899–1969), был отнесен в редакцию газеты «Известия» вечером 8 января 1934 г. Как отмечает Л.С. Флейшман в монографии «Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов», публикация этого панегирика Белому стала возможной «в силу личной близости И.М. Гронского», ответственного редактора газеты, «с А. Белым в последний год его жизни, а также потому, что все трое авторов некролога принадлежали к авторскому активу “Нового мира”», журнала, который Гронский также возглавлял. «Обнародование некролога повлекло за собой целую административную бурю: слишком многое задевало в нем больные вопросы текущей литературной полемики и выглядело вызовом. Уже троекратное употребление в краткой заметке эпитета “гений” вообще не вязалось с установившейся в газетах терминологией — вдвойне диким оно оказывалось в связи с А. Белым, не только не считавшимся центральной фигурой в складывавшейся культуре “социалистического реализма”, но до 1932 г. находившимся на периферии литературных отношений. Конечно, А. Белый был приобщен к деятельности Оргкомитета Союза советских писателей, но только как эффектная декорация и доказательство консолидации, а не как стилистический или идеологический эталон. Отнесение поэтому его творчества к “разряду явлений революционных” <...> не могло не выглядеть абсурдным <...>. Упоминание о “колоссальных противоречиях” расходилось с укоренившимся в условиях 30-х годов требованием “монолитности” идеологической системы художника, но включение в этот же контекст учебы у Штейнера было вдвойне неуместным — ведь задолго до установления “мракобесного” режима в Германии антропософия подверглась в Советской России гонениям, и Белый был самым видным ее представителем, оставшимся не затронутым репрессиями»[i].

Все три автора некролога считали Белого своим учителем. «Горячо любимому Борису Николаевичу от преданного ученика Б. Пастернака. 8. III. 33. Москва.

[i] *Флейшман Л.* Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005. С. 198–199.

Волхонка № 14, кв. 9», – написал Пастернак на подаренной Белому «Охранной грамоте»[i].

Еще в большей степени об «ученичестве» у Белого и даже о прямой зависимости от него можно говорить применительно к Пильняку. «Он явно посеян Белым», – констатировал Евгений Замятин в статье «Новая русская проза» (Русское искусство. 1923. № 2/3), впрочем, добавляя, что, «как всякой достаточно сильной творческой особи, – ему хочется поскорее перерезать пуповину»[ii]. Мнение Замятина разделялось большинством авторов прижизненных критических статей о творчестве Пильняка и стало «общим местом» современного литературоведения. Что же касается Г.А. Санникова, то он был учеником Белого в самом прямом смысле – в 1918–1919 гг. посещал его занятия в Литературной студии Пролеткульта.

«Андрей Белый – Борис Николаевич Бугаев был моим первым и, пожалуй, единственным литературным учителем, педагогом в буквальном значении этого слова: не будет преувеличением, если я скажу, что до учебы у Белого я не умел писать стихов <...>, – признавался он и вспоминал: В сентябре 1918 года из прифронтовой полосы Уральск<ого> фронта я был вызван в Москву и назначен военным комисс<аром> пехотных курсов комсостава Кр<асной> Армии. <...> Однажды я прочел афишу Московского Пролет<культа>, где извещалось, что открыт прием в Лит<ературную> студию с отдел<ениями> прозы и поэзии, <...> и я решил записаться. <...> Курс, который вел Белый – стихосложение – был наиболее специальным из всех и, казалось, наиболее скучнейшим: размеры – метрика и риторика, паузные формы, ускорения и т.п. – анатомия стиха, жизнь клеточек – строчек и слов. Скучно и надоедливо однообразно. Но это казалось, пока не взялся Белый за преподавание. После первых же лекций Белого этот предмет стал для нас самым интересным и увлекательным из всех предметов, преподаваемых в студии, а руководитель стал самым любимым, уважаемым и авторитетным из всех руководителей»[iii].

Тесная дружба между Белым и Санниковым возникла в начале 1930-х гг., когда Санников стал ходатаем по его издательским делам и помощником в разрешении бытовых проблем.

Белый, в свою очередь, относился к молодому другу с большой симпатией, обращался к нему за советами и делился своими планами. Более того – Белый активно поддерживал Санникова в его творческих начинаниях (например, написал восторженную рецензию на поэму «В гостях у египтян»)[iv].

«Бывало, в дверь квартиры раздается настойчивый стук рукояткой трости. Я уже знаю – это он. И не только это знаю: по характеру стука определяю, с какою новостью. Если стук громкий, нетерпеливый – значит, неприятная новость, если стук негромкий, но довольно настойчивый – значит, приятная новость, а если стук спокойный и ровный – значит, без всяких новостей – побеседовать. И тут же: “Извините, я на минутку”. – “Нет уж, я вас не отпущу, раздевайтесь...” И минутка превращалась в часы беседы»[v], – описывал Санников характер их встреч в 1932–1933 гг.

---

[i] Инскрипт воспроизведен там же. С. 151.

[ii] *Замятин Е.* Новая русская проза // *Замятин Е.* Сочинения. М., 1988. С. 426.

[iii] *Санников Г.* Лирика. М., 2000. С. 94–95.

[iv] См.: *Андрей Белый.* Поэма о хлопке // Новый мир. 1932. № 11. С. 229–248. Обзор откликов Белого на поэмы Санникова см. в статье А.В. Лаврова «“Производственный роман” – последний замысел Андрея Белого» (*Лавров А.В.* Андрей Белый: Разыскания и этюды. М., 2007. С. 290–291).

[v] *Санников Г.* Лирика. С. 98.

Тесно общался Санников с Белым и в последние месяцы его жизни, был одним из тех немногих, кто навещал писателя в клинике: «5-го января у меня была последняя встреча с Б<орисом> Н<иколаевичем>. Он очень долго меня не отпускал. Говорил медленно и тихо. Радовался приветам от Накорякова, Гладкова, Пильняка, радовался заснеженным деревьям в окне. Задержался разговор на Пильняке и исключит<ельных> человеч<еских> чертах Дани[i]. Проявил интерес к моему производств<енному> стихотворению о ткацкой фабрике»[ii].

В 1934–1935 гг. Санников, видимо, хотел написать мемуары о Белом: в его записных книжках остались конспекты разговоров, наброски к воспоминаниям и другие подготовительные материалы[iii]. И хотя эта работа не была завершена, память о Белом он хранил до конца жизни. «Глубоко верю, что слова о Б.Н. и его выдающееся творчество писателя, поэта и исследователя еще зазвучат и снова окажут свое благотворное влияние на литературу», – писал Санников К.Н. Бугаевой 8 января 1964 г., в день 30-летия со дня смерти писателя[iv].

* * *

Вопрос о том, что конкретно каждый из трех соавторов внес в опубликованный 9 января 1934 г. в «Известиях» некролог, долгое время оставался открытым. Однако не так давно в собрании Д.Г. Санникова, сына поэта, был обнаружен черновой автограф публикуемого выше текста, в котором отчетливо видны три разных почерка[v].

Рукой Санникова вписана одна фраза и произведена правка (преимущественно зачеркивания), обусловленная в большинстве случаев работой над стилем. Однако есть в этой правке и следы самоцензуры. При публикации некролога по соображениям цензурного характера было изъято еще несколько фрагментов, изменен порядок подписей[vi].

Большая часть текста написана рукой Пильняка. Косвенно на его ведущую роль указывает и то, что в печатном варианте некролога его имя идет первым (в автографе фамилии авторов идут по алфавиту). Однако определить, что Пильняк сочинял сам, а что писал под диктовку, невозможно.

Наиболее дискуссионным остается вопрос о «вкладе» Пастернака. В черновом автографе на обороте листа сохранился написанный рукой Пастернака первый, вступительный абзац, содержащий эмоциональную характеристику Белого:

«8 января в половине первого скончался Андрей Белый. Умер величайший русский писатель, человек до конца не состарившейся гениальности, всю жизнь раздиравшийся противоречиями своих разнообразных задатков».

---

i Д.Н. Часовитина.

ii Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. М., 2009. С. 244–245.

iii См. также выдержки из записных книжек Г.А. Санникова в кн.: *Санников Г.* Раздумье. Строки памяти / Сост. Д.Г. Санников. М., 2005; *Он же.* По зову памяти: Из архива отца. М., 2011.

iv НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 49. Ед. хр. 40.

v См.: *Санников Г.* Лирика. С. 104–108; Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 211–217. В обоих изданиях дается и факсимильное воспроизведение чернового автографа.

vi В пояснениях к публикации чернового автографа Д.Г. Санников указывает, что в его собрании есть так же сделанная Г.А. Санниковым машинопись некролога, в которой «зачеркнуты имена классиков, пропущено имя “Вяч. Иванов”, иной порядок подписей: Б. Пильняк, Б. Пастернак, Г. Санников» (Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 117).

Этот абзац не только не вошел в печатный текст, но был забракован еще на стадии черновика. Видимо, столь сильное определение показалось чрезмерным даже авторам некролога, ручка была передана Пильняку, и писать некролог начали заново. Однако в середине некролога инициатива опять ненадолго перешла к Пастернаку[i].

Визуально незначительное участие Пастернака в написании некролога подтверждается его заявлением в письме к М.И. Цветаевой от 13 февраля 1934 г.: «В заметке моего только две-три деловых вставки и то не в моих выраженьях. Мне и П<ильняку> не до содержанья было: надо было задать тон всей последующей музыке, т.е. судьбе вдовы, произведений, самих даже похорон и пр. Подбор имен был не только не мой, но мне наперекор. Пруст у меня в родном мне ряду между Толстым и Рильке. Белый в ярком, но мне далеком»[ii].

Вместе с тем общий контекст творчества Пастернака и характер его суждений о Белом позволяет усомниться в том, что его роль «в заметке» была столь мала, как он сам хотел это представить. По мнению Флейшмана, «нет ни малейшего сомнения в значительной (если не решающей) роли Пастернака» в «составлении этого некролога», так как его «неповторимо индивидуальные черты языка и стиля мышления» «прорываются в заметке на каждом шагу». В числе важнейших аргументов в пользу активного участия Пастернака он указывает отнесение творчества Белого к «разряду явлений революционных», «целиком согласовывавшееся с коренными убеждениями Пастернака», а также «упорное выделение во всей биографии Белого моментов близости поэта к социализму», восходящее «к определению социализма в “Волнах” как “страны вне сплетен и клевет”»[iii].

Аналогичного убеждения придерживался Лев Озеров, тогда еще начинающий поэт: «Помню дни после похорон Андрея Белого 1 января 1934 года и появление некролога в “Известиях” накануне похорон. <…> Среди подписавших некролог вместе с Пильняком и Санниковым значился и Пастернак. Мне всегда казалось (именно казалось, доказательств у меня нет), что приведенные здесь строки принадлежат ему (может быть, кем-то и отредактированные). Нечто подобное говорил Пастернак и в последующие годы»[iv].

Подробнее об истории написания этого некролога и его значении см. во вступительной статье. Наиболее значимые расхождения с черновым автографом некролога из собрания Д.Г. Санникова отмечены в примечаниях. В примечаниях также указано, кем из трех авторов некролога записан тот или иной фрагмент текста.

---

[1] В черновом автографе некролога из собрания Д.Г. Санникова порядок подписей иной, алфавитный: «Б. Пастернак, Б. Пильняк, Г. Санников». См. в кн.: Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 217.

---

i В Полном собрании сочинений Б.Л. Пастернака сделана попытка вычленить исключительно пастернаковский слой текста (см.: *Пастернак Б.Л.* Полн. собр. соч. М., 2005. Т. V. С. 225–226).

ii Там же. Т. VIII. С. 711.

iii *Флейшман Л.* Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005. С. 199.

iv *Озеров Лев.* Жизнь-сестра // Стрелец: альманах литературы, искусства и общественно-политической мысли. Париж; Москва; Нью-Йорк, 1992. № 2 (69). С. 219. Лев Адольфович Озеров (наст. фамилия: Гольдберг; 1914–1996) – поэт, переводчик, литературовед.

[2] В черновом автографе «имена классиков» названы: «Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Блок, Маяковский» (Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 211).

[3] В автографе правильно – «Марселем Прустом»; в печатном тексте – «Марсель Прустом».

[4] Летом 1933 г. Белый читал Пруста. См. запись в его дневнике за 1 сентября 1933 г. и прим. к ней в наст. изд. См. там же об отношении Белого к Прусту.

[5] Данное утверждение кажется полемичным по отношению к точке зрения А.К. Воронского: «<...> что у другого явилось бы источником непоправимых недостатков, ошибок и погрешностей, у Пруста становится большим и безусловным художественным достижением. Мир у Пруста не дробится, не расщепляется на разрозненную сумму мельчайших явлений, как, например, у Андрея Белого, – он един в своей первооснове, в своем первоначальном естестве; и если Андрею Белому – писателю тоже с редкой и болезненной впечатлительностью – за частностями, за мелочами, которые он тоже превосходно видит, нужно поместить некий сверхчувственный мир, дабы скрепить эти части, то Марсель Пруст в отличие от него не имеет в том никакой нужды. Он – реалист в искусстве: несравненное художественное чутье прочно держит его на земле, у земных вещей, около человека» (*Воронский А.* Марсель Пруст: К вопросу о психологии художественного творчества // Перевал: Литературно-художественный альманах. Сб. 6. М.; Л., 1928. С. 342–343).

[6] О рецепции творчества Дж. Джойса в России и о параллелях с творчеством Белого см.: *Корнуэлл Н.* Джойс и Россия. СПб., 1998; *Хоружий С.С.* «Улисс» в русском зеркале // Джойс Дж. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 363–605; *Силард Лена.* Андрей Белый и Джеймс Джойс // Studio Slavica Academiae Scientiarur, Hungaricae. Tomus XXV (1979). Fasc. 1–4. P. 407. При жизни Белого внимание на некоторые черты его сходства с Джойсом обратили и в России, и за рубежом. См.: *Кашкин И.А.* Джойс // Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1929–1939. Т. 3. М. 1930; *Reavey G.* A note on Andrey Bely // The New Review (Paris). 1932. V. 4. P. 356. Примечательно, что поэт, переводчик и издатель Джордж Риви был приятелем, переводчиком и корреспондентом Б.Л. Пастернака. Эта традиция сопоставления была продолжена в некрологах Г.П. Струве и Е.И. Замятина (см. в наст. изд.).

[7] В газетный текст не попали названные в этом ряду в черновом автографе некролога имена Вяч. Иванова и Н.М. Минского. Вычеркнуто еще на стадии черновика авторами некролога указание на то, что Белый создал «никак не меньше, чем Блок» (Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 214).

[8] В черновом автографе: «авторы первых посмертных строк» (Там же).

[9] В газетный текст не попало вычеркнутое еще в автографе продолжение фразы: «равно как под его влиянием были – Есенин, Маяковский, Бабель, Олеша и очень, очень многие другие» (Там же).

[10] Отцом Андрея Белого был Николай Васильевич Бугаев, известный математик, профессор Московского Императорского университета, декан физико-математического факультета.

[11] В 1899 г. Белый поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета и окончил его в 1903 г. с дипломом 1-й степени. В 1904 г. он начал учебу на историко-филологическом факультете, но курса не закончил, оставив университет в сентябре 1906 г.

[12] Далее в черновом автографе следовало: «Шопенгауэра, Канта, Гефдинга, Вундта, наряду с физикой, химией и микробиологией, влюбленный в музыку». Этот фрагмент был зачеркнут в рукописи; сверху рукой Санникова вписано предложение, появившееся в газетном тексте (Там же).

[13] Здесь авторы некролога опираются на «Начало века», где красочно описаны и философские увлечения Бугаева-студента, и его работа в химической лаборатории в ноябре–декабре 1902 г., и его музыкальные пристрастия.

[14] «мог показаться» – рукой Б.Л. Пастернака.

[15] В автографе рукой Б.Л. Пастернака: «было с революцией не по пути». Далее до слова «учился» – также рукой Пастернака.

[16] После вступления в 1913 г. на путь антропософского ученичества Белый сначала ездил за Р. Штейнером по Европе, слушая его лекции и занимаясь оккультной практикой, а с 1914 по 1916 гг. жил вместе со Штейнером и его последователями в Швейцарии, в Дорнахе, работая на строительстве антропософского центра Гетеанум.

[17] Согласно советскому идеологическому штампу, имевшему мало отношения к реальности, но закрепленному в Большой советской энциклопедии (Т. 3. М., 1926. Стб. 128–129), учение Штейнера «возникло в несомненной идеологической связи с борьбой германского империализма против английского, явившись попыткой противопоставить оккультизму теософии, в к-рой руководящую роль играют англ<ийские> мистики, – “германский” оккультизм А<нтропософии>. Этим объясняется тот факт, что А<нтропософия>, возникшая в предвоенное время, окрепла в Германии именно во время войны и получила особо широкое распространение в послевоенные годы, захватив довольно широкий круг германской интеллигенции».

[18] В черновом автографе рукой Б.Л. Пастернака вписаны слова «последователи», «то», «будет», «не только», «окт <ябрьской>» – с маленькой буквы (Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 215).

[19] Так в черновом автографе. В газетном тексте ошибочно – «период» (Там же).

[20] В черновом автографе: «мракобесия». Весь фрагмент, начиная со слова «деятельно», – рукой Б.Л. Пастернака (Там же).

[21] См., напр., о виновниках «теперешней бойни народов» в написанном в 1916 г. трактате Белого «Кризис жизни» (Пб.: Алконост, 1918. С. 13).

[22] Основным идеологом группы «Скифы», объединившей литераторов, принявших революционные преобразования в России, был критик Иванов-Разумник. В 1933 г. он находился в ссылке, потому, вероятно, и не был упомянут в некрологе.

[23] В театральном отделе Народного комиссариата просвещения Белый служил в ноябре–декабре 1918 г. (заведующим научно-теоретической секцией). В Пролеткульте – с сентября 1918 г. по апрель 1919 г.

[24] В черновом автографе: «в ряде томов воспоминаний» (Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 216).

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

Л. КАМЕНЕВ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Известия.
1934. 10 января.

Андрей Белый — поэт, романист, философ, литературный критик, публицист, историк литературы и стиховед — был прежде всего мечтателем. Вся его работа проникнута поисками единого, целостного миросозерцания. Его пытливая и беспокойная мысль жила мечтой по некоем синтезе.

Он вступил в литературу в момент, когда страна, потрясаемая подземным гулом грядущих революций, жила в атмосфере надвигающейся катастрофы. Интеллигентская мысль стремилась осмыслить сложнейший переплет событий и естественно разбивалась на целый ряд течений, школ, групп, подгрупп и школок. Андрею Белому было тесно в этих мелких делениях. Он искал другого: какой-либо широкой обобщающей системы, которая вместила бы в себя все разнообразие текущей жизни и позволила бы взглянуть на ее противоречия с единой точки зрения. Такая система существовала и собирала вокруг себя все более и более широкий круг защитников и проповедников. Это была система пролетарского социализма. Но, типичный интеллигент, сын профессора Московского университета, проведший всю свою жизнь среди книг и интеллигентских кружков, Белый остался чужд этой единственной системе, которая могла бы удовлетворить его неизбывную жажду единого синтетического мировоззрения. Отсюда его трагедия.

Андрей Белый был не только кабинетным мечтателем, но и художником, стремился не только понять мир и историю, но и воплотить развертывающуюся перед ним действительность и глубоко переживавшиеся им противоречия в реальные художественные образы. К книгам и жизни он относился не как библиотекарь и эстетик-коллекционер, а как страстный искатель истины. Поиски его оказались бесплодны. Индивидуалист от природы, глухорожденный к истине социализма, он то и дело попадал на ложные пути.

В своей последней книге «Начало века», в рассказе о своих блужданиях для характеристики своих идейных позиций, как они выяснились к 1905 году, он не находит другого слова, как «муть»[1]. «Я нарочно создавал себе максимум путаницы...»[2] «В 1904 году я окончательно запутался в своей философской тактике...»[3] «А с 1905 года, попав в Петербург, я на несколько лет окончательно запутался в кружке Мережковского...»[4] И так проходит по всей книге: «запутался», «перепутался», «путаница», «путаники», «моя идейная невменяемость»[5], «идеологические увечья, себе самому нанесенные»[6]. «В конце концов это было полным банкротством синицы, обещавшей поджечь мир, вместо этого пойманной в клетку, в которой она билась более чем пять лет»[7].

Увы! Это продолжалось не пять, а тридцать лет — от начала литературной деятельности и до ее конца. «Клетка», в которой билась синица, обещавшая поджечь мир, — буржуазная культура. Для Белого это была подлинно «клетка». Он всю жизнь бился в ней, рвался из нее, ранил себя о ее прутья, но выйти за ее пределы так и не смог. Его книги, стихи, романы, критические статьи, попытки философских обобщений хранят в себе отражение этих порывов, этих стремлений вырваться из клетки и громко свидетельствуют об их бесплодии.

Не будем перед открытой могилой подчеркивать то, что часто в книгах ушедшего поэта эти его стремления выражены косноязычно, что, не отдавая сам себе отчета в реальном содержании своей трагедии, трагедии индивидуализма, он не мог и рассказать о ней людям простыми и ясными словами, четкими и реальными образами. Подчеркнем, что, сколько бы ни была косноязычно или, если угодно, «символично» выражена эта трагедия, она налицо в книгах Андрея Белого.

Много лет ему казалось, что выход будет найден, как только он закончит теоретическое обоснование «символического мировоззрения». В основу последнего должно было быть положено учение Канта. Кант в конце XIX и начале XX века был прибежищем всей антисоциалистической мысли. И надо было быть человеком, абсолютно лишенным способности воспринимать общественную борьбу в ее реальных очертаниях, чтобы искать в кантовской философии указания на выход из клетки буржуазной цивилизации. Белый в конце концов ощутил это. Тогда он попытался взорвать железные прутья той клетки, в которой билось его сознание, другими, еще более древними орудиями — мистикой и учением об искусстве, как о начале, освобождающем человеческий дух от реальной действительности.

Мир — стихиен, хаотичен, ураганен, неподчиним мере и числу. Разум — бессилен, однолинеен и жалко-бесплоден в своих попытках подчинить себе стихию бытия. При этих условиях история — бессодержательна и бессмысленна. Примирения бытия и сознания, «оправдания» истории надо искать вне природы, вне человечества, вне истории, значит, в боге. Таков предел, к которому толкалась мысль поэта. Так философствующая мысль поэта дает нам картину полного разложения идеологии, отчаяния в силах человеческого разума, обессмысливания истории как раз в тот момент, когда коллективные усилия трудящегося человечества впервые превращают историю в сознательно руководимый процесс.

Однако оклеветанная мистиком история и пренебреженный им коллективный человеческий разум дважды спасали поэта.

В первый раз это была революция 1905 года. Под ее прямым воздействием Белый, правда, на короткий момент, нашел новые темы и по-новому воспринял мир. Это — эпоха, когда был создан сборник стихов «Пепел» и роман «Петербург», самая содержательная эпоха в работе Белого, стоящая, как ни покажется неожиданным, под знаком Некрасова[8]. На стихах и в прозе этого периода явно чувствуется отражение сдвигов громадных исторических пластов. В них есть ощущение надвигающейся громадной исторической катастрофы. В «Петербурге» искусно запечатлен образ дворянской империи в момент, когда подламываются самые основы ее существования. Пусть сам автор воспринимает свои картины в мистическом плане: Гоголь тоже хотел истолковать «Ревизора» и «Мертвые души» в плане религиозного символизма. История литературы отметит произведения Белого этой эпохи как одно из самых ценных отражений революционного периода русской

истории. И недаром произведения тех годов (1906–1909) Андрей Белый впоследствии предъявлял как свидетельство своего права на участие в создании новой советской литературы. К сожалению, эти мотивы ненадолго ощущались в работе Белого.

Мистические тяготения и интеллигентский индивидуализм вновь захлестнули сознание поэта и отдали его в плен секты антропософов. Он искал бога и нашел... Рудольфа Штейнера! Он, вероятно, окончательно погиб бы на этом бесплодном пути, если бы не Октябрьская революция. Она вновь всколыхнула Белого. И он создал ряд книг, в которых, несмотря на все их недостатки, искусно запечатлены звериный лик, идейная бедность и обреченность мира буржуазной культуры. То, что старый поэт-символист остался в стране строящегося социализма, – не случайно. Его блуждания по дорогам мистики и религиозной теории искусства были подсказаны не своекорыстием ограниченного мещанина, а жаждой целостного миросозерцания, объемлющего раздирающие действительность противоречия. И он не мог не видеть в последние годы, что именно чуждый ему психически и идеологически пролетарский социализм победоносно решает те проблемы, над которыми он бесплодно бился всю жизнь.

Андрей Белый был и оставался человеком старого, гибнущего мира. Его стремление объявить себя одним из ранних предтеч и строителей социалистической культуры неправомерно и необоснованно. В вопросах общего мировоззрения он заканчивал линию Гоголя и Достоевского, а не зачинал новое. Но он не мирился с миром буржуазного мещанства, не воспевал его и не пытался в этом обреченном мире создать для себя уютный уголок, из которого спокойно и благодушно можно было бы наблюдать исторические катастрофы. Он бился в сетях буржуазной культуры, чувствовал ее убогость, преходячесть, обреченность, искал выхода, рвался к новому мировоззрению, инстинктивно чувствовал, что эта новая правда растет в коллективных усилиях людей, строящих социализм. И в этом его право на их внимание. В этом залог того, что его книги не останутся бесплодно пылиться на полках библиотек, а будут сниматься с них и изучаться даже тогда, когда отраженная в них трагедия идеализма и индивидуализма станет для человечества давно прошедшим скверным сном.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Л. Каменев

Предисловие к мемуарам Андрея Белого «Начало века»

С писателем Андреем Белым в 1900–1905 гг. произошло трагикомическое происшествие: комическое, если взглянуть на него со стороны, трагическое – с точки зрения переживаний самого писателя. Трагикомедия эта заключалась в том, что, искренне почитая себя в эти годы участником и одним из руководителей крупного культурно-исторического движения, писатель на самом деле проблуждал весь этот период на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы. Эту трагикомедию Белый и описал ныне в своей книге «Начало века». Книга получилась интересная, жестокая для автора и трудная для читателя.

Начало XX века в России — начало грандиозного катастрофического периода, приведшего к величайшим историческим сдвигам, затронувшего и перевернувшего все области человеческой практики и теории, увенчанного Октябрем. Немудрено, что всякий рассказ, отражающий хотя бы сравнительно незначительный уголок этого процесса, приобретает в наших глазах и, несомненно, будет иметь в глазах грядущих историков особый интерес. Наоборот, мудрено, рассказывая об этом периоде, написать книгу, для нас и для историков неинтересную. И интересны в этом смысле и воспоминания Белого.

Он рассказывает об идейной жизни Москвы и Петербурга 1900–1905 гг. Сфера его наблюдений в это время не широка, но характерна: это — круг писателей, художников, философов, профессоров, журналистов, редакторов, музыкантов. Люди, с которыми он соприкасался и которых ныне описал, в течение двух-трех десятилетий мелькали на авансцене русской истории, и без их имен не обойдется ни один летописец, ни один исследователь, если они захотят широко и полно нарисовать картину гибели дворянско-капиталистической цивилизации в стране первой победоносной социалистической революции. Для этого летописца и исследователя будут важны и задворки капиталистической культуры. Иногда на этих задворках он найдет человека, идею, книгу, факт, которые помогут ему лучше понять механику и психологию событий, разыгравшихся уже не на задворках, а на столбовой дороге истории. Наткнувшись в своих изысканиях на подобное «жемчужное зерно», будущий исследователь не преминет, конечно, поблагодарить за него Белого. Боюсь, однако, что чувством, которое будет постоянно сопровождать исследователя при изучении книги Белого, будет чувство р а з д р а ж е н и я, чувство, от которого не могли отделаться и мы, перелистывая страницы его воспоминаний.

От Белого ожидаешь узнать кое-что о существе умственной жизни, о борьбе идей, об их филиации хотя бы только в узкой прослойке русской дореволюционной интеллигенции. А вместо этого в книге находишь паноптикум, музей восковых фигур, не динамику идей, а физиологию их носителей. Следуя своему своеобразному «творческому методу», Белый не просто рассказывает о людях и их мыслях, а «лепит» идеи через носы, брови, зубы, слюну, жесты, междометия. Прочитав книгу Белого, очень мало узнаешь по существу о том, какие же, собственно, мысли, идеи, формулы, лозунги выдвигались и отстаивались его спутниками и противниками, соратниками и врагами: Мережковскими, Розановым, Блоком, Брюсовым, Бальмонтом, Эллисом[9], Метнером и т.д. и т.п. Мы знаем, что все эти люди умели более или менее членораздельно излагать свои мысли. Между тем, в воспоминаниях Белого все они косноязычны до полной невнятицы. Белый заставляет их высказывать свое мировоззрение не словами, а усами, бородавками, ногами и прочими мало приспособленными частями их тела. Персонажи Белого, — что бы ни стояло в данный момент в центре их внимания: оценка Гете или событие 9 января, картины Боттичелли или распря между «Весами» и «Новым путем», — мяучат, пришепетывают, извергают слюну, гримасничают, хрюкают, похохатывают, действуют руками, ногами и тазом, но не говорят. Мы узнаем, что Батюшков предпочтительно выражал свое отношение к миру звуком «га»[10], Эллис — «ги»[11], кто-то еще — «ха». О Мережковском и его кружке нам сообщается: «Он, ломаясь зигзагами, выбросив палец с “да-да-да-да-да”, с “нет-нет-нет”, мчал, бывало, по кру-

гу гостиной, опущенный, выцветший усик, свинцовые всосы щек и нос, как у Гоголя; больно углил во всех смыслах: душевном, духовном, физическом; "Дима" щипцами забукливал: как парикмейстер, идеи Д.С. Мережковского, а Карташев их трепал трепаками — налево, направо...»[12]

О Розанове: «Он выделял свои мысли слюнной железой, носовой железой... чмахом, чмыхом; забулькает да и набрызгивает отправлениями аппарата слюнного; без всякого повода слякнет, ослабнет: до следующего отправления: действует этим»[13].

Этот метод показа людей через «чмах» и «чмых», через «га» и «ги», исконный, естественный и искони применяемый каждым художником, у Белого приобрел характер «слоновой болезни» и съел все остальное. Но сам-то автор считает, повидимому, эту болезнь своего глаза и уха величайшим приобретением. «Смыслы, — пишет он, — в жесте: покура, покива, качания носка...»[14] «Представить текст Блока — прочесть Эккерманову запись: слов Гете; она — граммофон; оба тома без третьего, записи Гетевых жестов мертвы[15]».

Допустим, — хотя это и неверно, и разговоры Гете и его мысли даже для людей, не знающих его жестов, отнюдь не мертвы, — однако, допустим. И спросим себя, что осталось бы нам от эккермановского Гете, если бы Эккерман написал только один — ненаписанный им — третий том без первых двух? Наш же автор поступает именно таким образом. В громадном большинстве случаев он дает «покуры», «покивы», «качания носка» взамен мыслей. В книге воспоминаний, интересных для читателя не «покурами» Эллиса, «покивами» Розанова и «качаниями носка» Зинаиды Гиппиус, а материалами к истории идейных движений начала века, этот прием автора не только раздражает и утомляет, но просто затрудняет понимание смысла рассказанных фактов и событий. По самому методу подачи материала книга воспоминаний Белого, вместо того, чтобы стать вкладом в наше познание и понимание любопытной страницы истории, обрекает себя на то, чтобы быть использованной лишь в петитных примечаниях историка эпохи. Только здесь, быть может, для иллюстрации серьезного рассказа о серьезных вещах и пригодятся ему запечатленные Белым «га-га», «ги-ги», «покуры», «покивы» и «качания носка». Нельзя отрицать, что некоторые из этих петитных примечаний будут ярки. У Белого в этой объемистой книге есть и превосходные зарисовки: хорош Тихомиров, превосходен портрет Дягилева, остро и зло подана Гиппиус, хорошо показаны разные лики Вячеслава Иванова, запоминается Мережковский и т.п. Очень хороша глава «Орфей, изводящий из ада». Она сделана без словесных выкрутас, в ней автор не старается «выклевывать словами» (его термин) характеристику своих персонажей, а говорит просто, но по-своему, о своем, о себе.

Белый любит и умеет считать слоги, ритмы, цвета, метафоры. Он принес бы большую пользу себе и читателям своих будущих произведений, если бы подсчитал их в этой главе и в других главах своей книги. Он бы понял тогда, почему эта глава лучше других.

Пробиваться сквозь частокол словесных выкрутас, возведенный автором между своим рассказом и читателем, трудно. Что за страна лежит, однако, за этим частоколом?

К ответу на этот вопрос и относится моя характеристика книги Белого как книги «жестокой». Жестока она не потому, что жесток и зол автор (есть и это:

автор зол и на ряд своих персонажей, и на самого себя; и эта злость хороша и плодотворна), а потому, что из его описаний вырастает жуткая картина идейного бессилия, исторического бесплодия и умственной скудости целой прослойки предреволюционной интеллигенции, игравшей одно время выдающуюся роль в идейной жизни русского так называемого образованного общества.

Переберем некоторые итоговые характеристики, которые автор дает людям, заполнившим страницы его книги и заполнявшим еще не так давно страницы русских журналов, газет и книг.

Цитирую без особого отбора, подряд, в порядке, в котором эти характеристики встречаются на страницах книги.

«Слабость саморазъеда тотчас же сказалась в нашем кружке... выявились: репетиловщина, обломовщина в соединении с "поприщенством" даже; выявились и Мышкин – эпилептический герой "Идиота", и Алеша Карамазов – "герой" без продолжения...»[16]

О Мережковском:

«Синодальный чиновник от миру неведомой церкви, на что-то обиженный; точно попал не туда, куда шел, и теперь вздувал вес себе; помесь дьячка с бюрократом; и вместе с тем – "бяшка"»[17].

О нем и его кружке в другом месте:

«Философов уволок Мережковского в дебри политики, силясь в нем вымыслить мысль; когда вымыслилась, то оказалось, что – жалкая. Лучше бы оставил его при риторике. Сила Д.С. – риторическая загогулина...»[18] «Этот жалкий свидетель истории перефальшивил все темы ее козлетоном своим поэтическим».

О Гиппиус:

«Это – сплетница, выросшая в клеветницу и кляузницу»[19].

Еще о них же:

«После оказалось, что сердца – в голове, что в груди вместо сердца – оскаленный череп, что в эти минуты они как пылинки – на ветре идей...»[20]

«Я боролся с затрепанным либерализмом и с гонором энциклопедий без творчества, с пылью научных подвалов, со скукой мещанства, с пустым благодушием; все же благодушие – тень доброты: Ковалевский чувствителен: дав слово, выполнит. А вот модернист, очень острый в строке, а не на либеральном обеде, дав слово, – не выполнит; М. Ковалевский, сам позитивист, провел жизнь – не весьма позитивно; не скаредно жил; не ловкач.

З.Н. Гиппиус, Брюсов, зовущие к "бреду", – оказались напористы: переперев, невредимы выйдут! Тончайшие нервы (Максим Ковалевский таких не имел), не падают в обмороки, проявляя воловье упорство, стожильность: не нервы – канатищи! Чехов был прав, подчеркнув: декаденты лишь делают мину, что очень нервны; мужики трудосильные, лбом выбивают строку свою от утонченной нервозности»[21].

Дальше:

«Декаденты утонченно бледные и вопиющие миру, что им нужно то, чего нет на земле, через несколько лет, отобрав все, что есть у отцов, – положение, вес, уважение, печатные строчки, журналы, читателя, – сели в отцовских, в просиженных, в академических креслах.

Я учувствовал: "тайное" у модернистов – подштопанный позитивизм; диалектика метаморфозы безумий в делячество подчинена ходу мысли: мир – рушится;

кресло мое пока твердо; успею я книги сложить до возглашения трубы Иерихонской. От Брюсова к Франсу — полшага; да — позитивизм: у... противников позитивизма!»[22]

О поэте Семенове:

«Месиво из черносотенства, славянофильства с народничеством; он выдумал своих крестьян и царя своего, чтобы скоро разбиться об эти утопии, ратовал против капитализма; дичайшая неразбериха, не то монархист, не то анархист!»[23]

О Блоке:

«Читая письмо его, я воскликнул про себя: "гениально, но — идиотично". Под идиотизмом же я разумел абсолютную отъединенность Блока от всякой мыслительной культурности, а конечно, не глупость. Блок — умница; но его мысль, не имея традиции, — антисоциальна, отомкнута; ведь "идиотэс" — по-гречески — частный, себя оторвавший от всех»[24].

Опять о Блоке:

«Я понял, что в Блоке есть и литературная культура и вкус; а вот высшей культуры, расширенности сознания в стиле Гете, многообразия устремлений в нем не было! И от этого-то: в кажущейся широкости его была суженность интересов...»[25] Жил же Блок «в невылазном душевном мраке...»[26] «Муть сознания Блока, весьма чепуховистого в смысле философического объяснения своей позиции...»[27]

Окончательный вывод:

«Блок — идеологическая "меледа"»[28].

О Бердяеве:

«Он объявлял крестовый поход против созданной им химеры, дергаясь, вспыхивая, выстреливая градом злосчастных сентенций, гарцуя на кресле, ведя за собой послушных "бердяенок" приступами штурмовать иногда лишь "ч е т в е р т о е" измерение; и вылетал, как в трубу, в мир чудовищных снов: он кричал по ночам; мне казался всегда он "субъективистом" от догматического православия или обратно: правоверным догматиком мира иллюзий»[29].

О Розанове:

«Можно ли назвать разговором варенье желудочком мозга о всем, что ни есть: Мережковских, себе, Петербурге? Он эти возникшие где-то вдали отправления выбрызгивал с сюканьем без конца и без начала; какая-то праздная и шепелявая каша с взлетанием бровей, но не на собеседника, а над губами своими; в вареньи предметов мыслительности было наглое что-то; в невиннейшем виде — таимая злость»[30].

Об Эрне:

«Белясый, дубовый и дылдистый Владимир Францевич Эрн... был он — безусый, безбородый, с лицом как моченое яблоко: одутловатый, с намеком больного румянца, казался аршином складным. Знаток первых веков христианства, касаясь их, резал как по живому, абстрактными истинами, рубя лапою в воздухе:

— Значит, — тела воскресают!»[31]

Во время беседы с П.А. Флоренским:

«Вспомнилось что-то знакомое: из детских книжек; падающий голос, улыбочка, грустно-измученная; тонкий, ломкий, какой-то больной интеллект, не летающий, а тихо ползущий, с хвостом, убегающим за горизонты истории»[32].

О другом пророке тогдашних литературных кружков, Свентицком:

«Чуялся жалкий больной шарлатан, эротик, себя растравляющий выпыхом: пота кровавого, флагеллантизма; срывал же он аплодисменты уже; бросая в обмороки оголтелых девиц»[33].

Вот еще один из крупнейших, рядом с Мережковским, «властителей дум» кружка Белого:

«Недоставало, чтобы он (Вячеслав Иванов), возложивши терновый венец на себя, запахнувшись во взятую у маскарадного мастера им багряницу: извлек восклицания:

– “Се человек!”

Прошу не смешивать с евангельским текстом; в контексте с показом Иванова “Се человек” означает:

– “Се шут!”

Таким мне казался; казалось, что за год вырос он из немецкого учителя в какого-то “Мельхиседека”. Прошу не смешивать с Мельхиседеком библейским; в контексте с показом Иванова “Мельхиседек” означает: почти... шарлатан; таким казался не раз...»[34]

Таковы в характеристиках самого автора люди его идейного окружения. А сам автор? Он, конечно, в своей книге всех искренней, всех честней со своею мыслию, всех выше горячностью своего искания истины. Но что же из всего этого выходит на деле?

Для определения своего собственного идейного багажа того времени он правильно не находит другого слова, как «муть». «Я нарочно создавал себе максимум путаницы...» «В 1904 году я окончательно запутался в своей философской тактике...», «а с 1905 года, попав в Петербург, я на несколько лет окончательно запутался в кружке Мережковского, идейное общение с которым коренилось в превратном понимании терминологии друг друга». И так проходит по всей книге: «запутался», «перепутался», «путаница», «путаники», «моя идейная невменяемость», «идеологические увечья, себе самому нанесенные».

Вот итог идейного хаоса и умственных метаний по задворкам культуры:

«В конце концов это было полным банкротством синицы, обещавшей поджечь мир, вместо этого пойманной в клетку, в которой она билась более чем пять лет»[35].

Это автор говорит о себе.

Допустим, что в приведенных характеристиках – и во многих других подобных им, которые читатель найдет в книге Белого, – много субъективного, много отголосков былых кружковых споров и столкновений, но им никак нельзя отказать ни в выразительности, ни в показательности. Отводить Белого как свидетеля о состоянии умственного кругозора описываемых им кружков нет никаких оснований. А ведь пересмотревши галерею выведенных им персонажей, поневоле скажешь гоголевским словечком – и как тут не вспомнить Гоголя! – вот поистине «сканапель истуар!»[36]. Ведь это же галерея умственных импотентов, выставка идейных инвалидов, всяческих убогих и уродов, какие-то заплесневелые задворки мысли, захолустнейшие ее тупики и переулки.

Ведь даже те замшевшие и насквозь гнилые оплоты буржуазного гуманизма и либерализма, против которых ополчилось поколение Белого и в протесте против которых Белый и поныне находит оправдание своего поколения, все эти Сторо-

женки, Веселовские, Ковалевские, кажутся серьезными рядом с друзьями и соратниками автора. Сам Белый хочет представить своих соратников предтечами нового, пусть уродливыми, нежизнеспособными, чудаческими, но симптоматичными «бунтовщиками», способствовавшими хотя бы косвенно взрыву феодально-капиталистической культуры в России. Ему хочется с Октябрьской революцией «родным счесться». Благородное желание. Но — увы! — желание ни на чем не основанное.

Протест против либерально-буржуазного канона, сложившегося в русской интеллигенции к концу 80-х и началу 90-х годов, был как нельзя более законен. Трудно представить себе что-либо более затхлое, недееспособное, громоподобное, чем народничествовавший либерализм, или либеральное народничество этой эпохи. Это был идейный труп, смрад которого отравлял всю идейную атмосферу тех годов. По отношению к этому трупу все было законно и прогрессивно: презрение, злоба, ненависть, издевка. Элементы этой злобы, ненависти и издевки налицо в той среде, которую описывает Белый, и, пожалуй, больше всего в самом авторе воспоминаний. Эти элементы приятно отметить. Но Белый глубоко ошибается, полагая, что эти элементы протеста, недовольства и отталкивания могут исчерпать социально-историческую характеристику его круга и историческую роль последнего.

Чтобы сделать более наглядной нашу мысль, возьмем пример из той области, где идейные процессы проходят более четко и неизбежно получают более точную формулировку. В политической области начало и середина 90-х годов, то есть как раз та эпоха, к которой относятся истоки того культурного движения, которое описывает Белый, ознаменовались широким разливом новых идей, резко враждебных политическому канону 80-х годов. Знаменосцами новых идей выступили в это время на арене журналистики и публицистики и Струве, и Ленин, и Мартов, и Чернов. Но и Белый знает, что было бы величайшей политической безграмотностью объединить в каком бы то ни было смысле идеи Ленина, Струве, Мартова и Чернова, хотя все они противопоставлялись мировоззрению, идеологии, психологии и практике «Вестника Европы», «Русской мысли» и «Русского богатства». Тут все было различно: и корни протеста, и его социальное содержание, и его историческая судьба. Подлинный смысл любого из идейно-политических движений, возглавленных перечисленными именами, можно вскрыть только пристальным анализом той среды, из которой оно исходило, реальных интересов, которые оно представляло, суммы идей, которые оно противопоставляло господствующему мировоззрению, и той реальной классовой силы, к которой оно обращалось. Применить эти критерии к тому движению в области философии, искусства и литературы, различные элементы которого описывает в своей книге Белый, — значит найти ответ на основной вопрос, поставленный книгой Белого: было ли оно продуктом разложения старого мировоззрения или зародышем, — пускай уродливым и недоношенным, — нового. Белый тянется ко второму ответу, а беспощадная история явно диктует первый.

Как это ни печально для автора воспоминаний, а нужно прямо сказать, что между той средой, идеологией и психологией, которые он запечатлел на страницах своей книги, и тем подлинно новым, что росло ярко и буйно в описываемую им эпоху, никакого мостика, самого легкого и воздушного, проложить никак нельзя.

Литературно-художественная группа, описываемая Белым, по своему составу, по своей идеологии, по своей психологии есть продукт загнивания русской буржуазной культуры, а отнюдь не предшественница, не провозвестница сил эту «культуру» ликвидировавших.

Гниение, как известно, может сверкать пурпуром и златом, блистать «золотом в лазури». Но это все же гниение, распад, перерождение и нежизнеспособная комбинация пораженных болезнью элементов. Загнивание русской буржуазной идеологии приняло, в силу ряда исторических причин, своеобразные формы. У русской буржуазной идеологии не было буйной молодости. Пораженная в детстве болезнью старческого маразма, она не дала ни Вольтера, ни Гете, ни Байрона. Придавленная крепостническим государством, с которым с момента своего появления она была связана тысячью нитей и с которым всегда искала компромиссов, и до смерти напуганная социализмом, она в высшей области культуры, в сфере общих идей, философии, искусства и литературы оказалась способной лишь на метания, в которых центральное место занимали поиски утешения и успокоения. В основном идейные конструкции, созданные русской буржуазной интеллигенцией в эпоху 1900–1917 гг., были системами самообороны против пролетарской революции. Ни сочувствие политическому освобождению от явно пережившего себя царизма, ни заигрывание с эсерами или – в меньшей мере – с меньшевистской социал-демократией, ни в коей мере не противоречат этому общему характеру идейной продукции буржуазной интеллигенции. Мережковский и Гиппиус могли заигрывать с бомбистами, Блок тяготеть к расплывчатому народничеству, Андрей Белый – к социал-демократии. Все это были частности и детали, метания и идейные судороги; генеральная же линия идейно-художественного творчества всей этой группы была направлена к созданию идеологии, которая охраняла бы основные буржуазные ценности от «грядущих гуннов»[37] или, в крайнем случае, лишь отражала смутное сознание непрочности и «неподлинности» этих ценностей и ощущение надвигающейся катастрофы (такова лирика Блока, лучшие части «Урны» и «Пепла» самого Белого и т.д.).

Сложный, неповторимый в истории переплет общественных отношений, давший возможность стране первой вступить на путь социализма, создал и в сфере идейной жизни буржуазной интеллигенции неповторимую комбинацию самых разнообразных элементов. Какой только идейной продукцией ни щегольнула она в эти годы, начиная от анархизма, правда, мистического[38], и до учения о «третьем завете»[39], правда, в союзе с синодальными чиновниками[40]!

Эта неслыханная комбинация самых разнообразных идей, настроений, чувствований должна была создать, и действительно попутно создала, высокие образцы технических достижений (тот же Блок, Брюсов, Сологуб и т.д.) и любопытные идейные фабрикаты. Комбинации крестьянского патриархализма, барской культуры и ужаса перед капитализмом создали на русской почве во второй половине XIX века Толстого. Пронзенная ужасом перед социализмом среда разоряющегося городского мещанства создала тогда же Достоевского. Глубокие потрясения всего организма страны, предвещавшие крушение капиталистического мира в России, и генеральная репетиция его в 1905 г. не создали ни Толстого, ни Достоевского. Но, разменявшись на более мелкую монету, буржуазная интеллигенция этой эпохи сверкнула целой плеядой поэтов и художников, отрицать одаренность и та-

лантливость которых было бы смешно, а пренебрегать художественными достижениями которых — глупо. Но в области вопросов общего мировоззрения все они оказались банкротами.

Целостной и единой системы буржуазная мысль и буржуазное искусство создать уже не могли.

Картина, отразившаяся на страницах книги Белого, больше всего напоминает дом, жители которого глубокой ночью получили сообщение о том, что на них катится лавина. Белый своей книгой заставляет нас совершить обход различных закоулков этого обширного помещения, и в каждом из них мы констатируем сумятицу, нелепицу, невнятицу, идейную кашу, моральное бессилие. В этом идейном хаосе Белый отмечает людей, готовых выступить вожаками и учителями, претендовавших на то, что у них есть рецепт спасения от грядущей катастрофы, — Мережковского, Бердяева, Булгакова... Мы знаем от автора, что и сам он носился с мыслью положить конец хаосу и бесплодию своей системой «символизма как мировоззрения». Но никому из этих учителей никаких школ создать не удалось[41]. Задача была неразрешима. Мысль буржуазной интеллигенции оказалась бессильной и перед надвинувшейся на нее катастрофой предстала разрозненной, разбитой на отдельные секты, школы и кружки.

В лице той группы, которая проходит в воспоминаниях Белого, эта мысль начала воевать с позитивизмом, слащавым народолюбием и всяческим бескультурьем, ибо ощутила, что ни позитивизм, ни слезливое народничество не способны никому импонировать и ничего предотвратить. Но, не докончив своей борьбы, не найдя для себя соответствующего оружия в арсеналах человеческой мысли, она позорно сдалась перед мистикой.

Действительно. Чем кончили основные персонажи этого якобы бунта против буржуазной культуры, которые описывает Белый? — Бегством в церковь, в бога, в теософию. Эллис и Соловьев — католические, Булгаков и Флоренский — православные попы; Мережковский, Эрн, Розанов, Гиппиус — проповедники поповства; Бердяев нашел утешение в мечте о реставрации идейного средневековья; сам автор убежал в антропософию. Картина выразительная и своей непререкаемой наглядностью вскрывающая социальный смысл их «бунта» лучше всяких длинных комментариев. Думается, что перед лицом этой рясоносной кунсткамеры мы вправе были сказать, что блуждание Белого между Эллисами, Батюшковыми, Мережковскими, Гиппиусами, Розановыми, Ивановыми, Булгаковыми, Бердяевыми и т.д. и т.п. было хождением по задворкам русской истории в ее самую напряженную, самую осмысленную эпоху, в ту эпоху, когда, наконец, история народов России приобрела подлинный всемирно-исторический смысл. Перелистывая книгу воспоминаний поэта, философа, публициста Б.Н. Бугаева, чей литературный псевдоним неустанно мелькает в журналах и газетах той эпохи, иногда прямо диву даешься: где жили эти люди? что они видели? что они слышали? или, верней, как умудрились они жить в великую эпоху, ничего не видя, ничего не слыша?

В своем предисловии Белый, пытаясь заранее обезоружить своих критиков, подробно рассказывает о своей политической малограмотности, о том, что емуде, к сожалению, не удалось до 1904 или 1905 г. ознакомиться с сочинениями Маркса, Энгельса, Ленина и т.д. Но дело отнюдь не в политической малограмотности и не в том, что Белому, Блоку, Мережковскому или Метнеру не случилось вовре-

мя прочесть «К критике политической экономии»[42]. Ежели человеку, жившему сознательной жизнью в 1900–1905 гг., удалось не заметить ни рабочего движения, ни крестьянских восстаний, ни «Искры», ни ленинского «Что делать?», то о нем мало сказать, что он был политически малограмотен, – он был просто культурно безграмотен, хотя бы на столе у него и лежали книги Канта, стихи Бодлера и рисунки Бердслея.

Это подлинное бескультурье имеет, однако, свои социальные основания. Каждый находит то, что ищет. Подробно, с явным душевным волнением описанный Белым его роман с Кантом отнюдь не случаен. В то время, когда страна жила революцией, Борис Николаевич Бугаев схватился за Канта не потому, что случайно нашел его на книжной полке своего отца, профессора математики Московского университета, а потому, что Кант был в то время острым оружием борьбы с Марксом. За Канта в то время схватились не только Б.Н. Бугаев, которому не удалось прочитать Маркса, а и много раз перечитавшие последнего – Струве, Бердяевы, Булгаковы. Не случай, а закономерность классовых отношений сделали Белого и его круг глухими к революции, к Марксу, к Ленину и открыли их уши для Канта и Тернавцева, Ницше и митрополита Антония[43], неокантианцев и антропософов. А это, в свою очередь, обрекло их на то, чтобы в самую захватывающую эпоху русской истории скитаться по культурным задворкам.

От этого приговора истории не спасает среду Белого тот факт, что – по собственному их мнению – они стояли на вершинах человеческой культуры, что они посвящали свое время и размышления «вечным проблемам», что на страницах их книг и статей мелькают то и дело имена гигантов мысли и творчества. Все это оказалось внешним. Все это не предохранило почти никого из них от неслыханного падения, от поповской рясы, от возвращения к идейному средневековью, от того, чтобы обменять достижения человеческой мысли и культуры на роль идейных жандармов, вооруженных оружием Фомы Аквинского и Феофана Прокоповича. Великая истина Гете: «Лишь тот живет для вечности, кто живет для своего времени» – обратима: не имеет никаких шансов войти в культурную сокровищницу человечества тот, кто обошел боковыми тропинками столбовую дорогу своей эпохи.

Мы уже сказали, что на фоне сложного переплета общественных отношений начала XX века в России, того переплета, который чреват был Октябрьской революцией, мысль буржуазной интеллигенции блеснула неслыханным эклектизмом, иногда прямо переходящим в идейное фокусничество. Можно было бы составить любопытный каталог этих фокусов, в которых встревоженное сознание и интеллигентское блудословие сочетали несочетаемые понятия и взгляды: мистицизм с анархизмом, евангелие третьего завета с народничеством, Некрасова с Верленом, а Маркса – и с Кантом, и с Ницше, и с отцами церкви, и с Достоевским...

А книга Белого свидетельствует непреложно, что при всех этих фокусах исторический кругозор господ фокусников был – в вершок, связь с жизнью равнялась – нулю, объем опыта – исчерпывался десятком модных европейских книг: от Форлендера до Риккерта и от Риккерта – до Форлендера[44].

Октябрьская революция спасла кое-кого из этого поколения буржуазной интеллигенции, – напр., автора «Начала века» – и, быть может, еще спасет кое-кого. Но чтобы спасти их, она должна была взять их за шиворот и сорвать с того пути, по которому они двигались, ибо по самому своему характеру это была обреченная на

гибель группа. Без Октябрьской революции путь ее был предопределен. Наиболее «деловые» и «сериозные» из них, вроде Мережковских или Булгаковых, стали бы архиереями светской церкви штампованной буржуазной идеологии, а другие, менее устойчивые и менее «солидные», — шутами при ней.

К этому выводу неизбежно подводит книга воспоминаний Белого. В этом ее ценность. Но автор не делает этого вывода. Мы обязаны сделать это за него.

Июнь 1933 г.

Послесловие

Лев Борисович Каменев (наст. фамилия: Розенфельд; 1883—1936) — крупный партийный и государственный деятель, участник революционного движения; будучи сподвижником Ленина, Троцкого, Сталина, Каменев периодически оказывался к кому-нибудь из них в оппозиции. Серьезные неприятности у него начались с середины 1920-х, когда он стал одним из лидеров так называемой левой оппозиции, выступившей против Сталина за Троцкого. В 1926 г. Каменев был выведен из Политбюро, в 1927 г. — из Президиума ЦИК СССР и ЦК ВКП(б), в конце года исключен из партии. В 1928 г. его, правда, восстановили в партии и вновь назначили на серьезные государственные посты, но к 1932 г. «потолком» для него была уже должность директора издательства «Academia». Вкратце хронология его карьеры в этот период выглядит так:

— Май 1932 г. Председателем редсовета издательства «Academia» становится Горький, заместителем председателя редсовета и директором (заведующим) издательства — Каменев;

— 11 октября 1932 г. Каменев отправлен в ссылку на три года в Минусинск (по «делу Рютина»), 9 октября в очередной раз исключен из партии. Однако формально оставался директором издательства, продолжал писать и публиковаться; предисловия к «Мастерству Гоголя» и «Началу века» написаны в Минусинске;

— в начале апреля 1933 г. Каменев из ссылки досрочно освобожден и возвращен в Москву, возобновив работу в издательстве «Academia»;

— 4 мая 1934 г. Каменев назначается директором ИРЛИ, а 14 июня 1934 г. — еще и директором ИМЛИ (оставаясь директором «Academia»);

— 16 декабря 1934 г. Каменев арестован, больше он на свободу не выходил;

— 16 января 1935 г. Каменев приговорен к пяти годам тюрьмы по делу «Московского центра»;

— в июле 1935 г. по новому процессу (по «Кремлевскому делу») приговорен еще к пяти годам тюрьмы;

— в августе 1936 г. на процессе по делу «Объединенного троцкистско-зиновьевского центра» приговорен к высшей мере, 25 августа расстрелян[i].

Но в 1934 г., как мы видим, Каменев был вполне статусной фигурой в области культуры. Планировалось, что он будет выступать на Первом съезде Союза Советских писателей.

---

[i] *Крылов В.В., Кичатова Е.В., Попов В.А.* Издательство «Academia». Люди и книги. 1921—1938—1991. М., 2004. С. 64—112.

Идея заказать Каменеву статью о Белом пришла в голову И.М. Гронскому сразу по прочтении панегирического некролога, написанного Пильняком, Пастернаком и Санниковым.

Долго работать над некрологом Каменеву не пришлось, так как в ноябре 1933 г. с его предисловием вышла книга мемуаров Белого «Начало века». Именно это «погромное» предисловие ускорило, по мнению людей из ближайшего окружения писателя, его кончину. В некрологе Каменев в несколько смягченном виде повторяет основные тезисы своего печально известного предисловия. Подробнее о каменевском предисловии к «Началу века» и последствиях его публикации см. во вступительной статье.

---

[1] «Муть» – название одной из подглавок мемуаров (*НВ 1933*. С. 408–420). Она открывается тезисом: «Конец года для меня, – как муть: во всех смыслах» (С. 408). Из этой главы Каменев берет большую часть примеров.

[2] Ср.: «Я, как нарочно, создавал себе максимум путаницы, не учитывая времени, сил, условий работы и нервов; ибо я превратил наскок свой на Канта в прохождение сквозь него в годах, в какое-то систематическое превращение кантианских терминов в антикантианские» (*НВ 1933*. С. 412).

[3] Там же. С. 412.

[4] Ср.: «<...> с 1905 года, попав в Петербург, я на несколько лет окончательно запутался в кружке Мережковского» (Там же. С. 413).

[5] Ср.: «Путаница создавалась ужасная; путаница даже и не идей, а хотя бы людей, кружков, часов, дней, организации порядка обязанностей, с которыми бы и трехжильный “мужик”, силач мысли и воли, не справился бы; люди кружков, не понимая моего отрицания кружковщины, моего задоха в каждом отдельно взятом кружке, не понимали и моего уже “понимания”, что им и не объяснить подлинного мотива временной моей работы с каждым; в этой атмосфере и друзья становились как не друзья; и идейные противники становились как не противники <...>» (Там же. С. 413).

[6] Ср.: «<...> антиномии стали опять осью моей жизни; и хотя я поволил преодоление их, но преодоление это виделось теперь в веренице, лишь лет, а не – с налету; юношеский “налет” 1901 года на все области культуры окончился тяжким охом и стоном разбитого авиатора, который лишь к 1909 году стал медленно оправляться от идеологических увечий, себе самому нанесенных в 1904 году» (Там же. С. 413).

[7] Там же. С. 465–466.

[8] Первое издание стихотворного сборника Белого «Пепел» (СПб.: Шиповник, 1909 – вышел в декабре 1908 г.) открывалось эпиграфом из стихотворения Н.А. Некрасова «Что ни год – уменьшаются силы...» (1861) и посвящением «памяти Некрасова». Во втором, переработанном издании (М.: Никитинские субботники, 1929) эпиграф и посвящение были сняты, но некрасовская «ориентация» подчеркивалась в предисловии автора: «“Пепел” – не подражание Некрасову, а созвучие органическое (разумеется, 1905 года, а не 60-е годы). “Пепел” – не только исторический документ, но и право мое ожидать некоторого внимания к стихам, написанным скоро тому назад четверть века; и если в некоем разрезе Некрасов не устарел, то и “Пепел” не вовсе устарел» (С. 6).

[9] У Каменева псевдоним Льва Львовича Кобылинского (Эллис) везде пишется с одним «л».

[10] «Звуком “гы”» Белый характеризует не теософа Павла Николаевича Батюшкова, а историка, члена кружка «аргонавтов» Михаила Александровича Эртеля.

Ср.: «<...> де слышится:

– Гы-ы, Пауша!

– Вшзл... Миша... Вшзл!..

“Вшзл” – звук всхлипа Батюшкова» (*НВ 1933*. С. 73).

[11] Ср. «лейтмотив» Эллиса: «“Игигиги!” – он заикается смехом» (Там же. С. 49).

[12] Там же. С. 429. Дима – Д.В. Философов.

[13] Там же. С. 437.

[14] Там же. С. 337.

[15] Там же. С. 338. Имеются в виду записанные секретарем И.-В. Гете Иоганном Петером Эккерманом (1792–1854) «Разговоры с Гете в последние годы его жизни». Над первыми двумя томами Эккерман работал при жизни Гете и под его руководством (изд. 1836), над третьим, дополнительным, – спустя годы после его смерти (изд. 1848). Полное издание на русском языке было осуществлено в руководимом Каменевым издательстве «Academia» (М.; Л., 1934).

[16] *НВ 1933*. С. 110. Речь идет о кружке «аргонавтов».

[17] Там же. С. 173.

[18] Там же. С. 427.

[19] Там же. С. 434.

[20] Там же. С. 192.

[21] Там же. С. 197.

[22] Там же. С. 197–198.

[23] Там же. С. 251.

[24] Там же. С. 260.

[25] Там же. С. 336.

[26] Там же. С. 342.

[27] Там же. С. 344.

[28] Там же. С. 408.

[29] Там же. С. 432.

[30] Там же. С. 436.

[31] Там же. С. 453.

[32] Там же. С. 271.

[33] Там же. С. 274.

[34] Там же. С. 314.

[35] Этот и предыдущий абзацы практически без изменений вошли в его некролог.

[36] «Ведь это история, понимаете ли: история, сконапель истоар, – говорила гостья с выражением почти отчаяния и совершенно умоляющим голосом» – из «Мертвых душ» Н.В. Гоголя. От французского «Ce qu’on appelle histoire» («то, что называется историей»).

[37] Образ из стихотворения В.Я. Брюсова «Грядущие гунны» (1904).

[38] В мемуарах «Начало века» Белый рассказывает о полемике с «мистическим анархизмом», теорией петербургских символистов (Г.И. Чулкова, В.И. Иванова и др.), которую вел Белый и его соратники по журналу «Весы».

[39] Мистический трактат А.Н. Шмидт, пользовавшийся популярностью в среде московских символистов, но опубликованный уже после смерти автора (см.: Из рукописей Анны Николаевны Шмидт. [М.: Путь], 1916). Ср.: «Сотрудница нижегородской газеты, почтеннейшая Анна Николаевна Шмидт, уверяла: она-де предстала душой пред В.С. Соловьевым,

а он описал с нею встречи в поэме: своей “Три свиданья”; <...> для понимания этого Шмидт понадобилось написать свой туманный, витиеватый “Дневник”; и полубредовое теософически-схоластическое сочинение “Третий завет”, т.е. завет от Анны Шмидт, Софии, Премудрости божией; рукопись нашлась после смерти Шмидт в 1908 или 1909 году; профессор Булгаков, пришедший в восторг от сих пророчествований, напечатал ее. <...> В конце сентября 1901 года собственною персоною она появилась в Москве <...>» (*НВ 1933*. С. 124–125). «Третий завет», знаменующий наступление «Царства Духа» – ключевое понятие религиозного мифа Д.С. Мережковского. Ср.: «Задание Мережковского: выявить общину новых людей, превративших сознанье Толстого и Достоевского в творческий быт; эта община была бы третьим заветом, сливающим Новый и Ветхий» (Там же. С. 169).

[40] Намек на друга Мережковских, члена их «религиозной общины», историка церкви и богослова Антона Владимировича Карташова (1875–1960). В 1917 г. он стал сначала товарищем обер-прокурора Святейшего синода, потом обер-прокурором, затем министром по делам вероисповеданий Временного правительства.

[41] Ср.: «<...> символизм как конкретное мировоззренье, которое завтра-де мы осуществим, стал в 1905 году для меня неопределенною, туманною далью культуры; стало быть: самый термин “символизм” стал из точного термина – только эмблемой дальнейших исканий <...>» (Там же. С. 476).

[42] Сочинение К. Маркса (1859).

[43] Белый рассказывает в мемуарах «Начало века» о своих посещениях епископа Антония (Михаил Симеонович Флоренсов; 1847–1918), жившего с 1898 г. на покое в Донском монастыре и пользовавшегося в Москве огромным авторитетом (он был духовником П.А. Флоренского; Белый возил к нему Блока). Однако Каменев, похоже, путает епископа с митрополитом, имея в виду митрополита Антония (Храповицкий Алексей Павлович; 1863–1936), отличавшегося ярым неприятием советской власти. В 1920 г. он вместе в войсками Врангеля покинул Россию, обосновался в Сербии и с 1921 г. (после Собора в Сремских Карловцах) возглавил Русскую зарубежную церковь («карловчан»).

[44] Имя немецкого философа-неокантианца, представителя марбургской школы Карла Форлендера (1860–1928), в «Начале века» не упоминается. Каменева Форлендер мог привлечь работами, посвященными сопоставлению учений Канта и К. Маркса и теорией «этического социализма», согласно которой социализм базируется не на экономических законах, а на этических предпосылках. Форлендера издавали в России как в начале XX в., так и после революции, см.: «Кант и социализм. Обзор новейших теоретических течений в марксизме» (М., 1906), «Современный социализм и философская этика» (М., 1907), «Кант и Маркс» (СПб., 1909), «Общедоступная история философии» (М., 1922).

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

К. ЛОКС

ПАМЯТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Литературная газета.
1934. 11 января.

Андрей Белый умер, оставив нам законченный писательский облик. Его литературная деятельность, разнообразная и широкая, охватывает тридцать лет текущего столетия. Первые книги («Золото в лазури», «Симфонии» — северная и драматическая) вышли в 1903–1909 гг.[1]; последние — еще вчерашний день нашей современной, советской литературы. Эти тридцать лет — целая историческая эпоха, и она вся в той или иной степени отразилась в творчестве покойного писателя. Да, этот символист, чье имя возбуждало столько споров, нападок, часто незаслуженных оскорблений, а часто заслуженной критики, был один из самых восприимчивых в общественном смысле писателей. Его вторая, драматическая симфония остро углубляет тему чеховской России, «Серебряный голубь» и «Петербург» — навсегда останутся в ряду литературных отражений революции 1905 года, «Москва» — символической летописью довоенных годов. Рядом с этим книги, которые условно можно назвать мемуарными, — «Котик Летаев», «Начало века» и статьи автобиографического характера о себе и о своих современниках. Оценка его творчества — впереди, а пока вспомним некоторые черты Андрея Белого, поэта, прозаика, критика...

Осень 1907 года. Еще слышны подземные раскаты затихающей революции. Интеллигенция на переломе. Вплоть до мировой войны она будет кружиться в нестройном и разноголосом хороводе, отрекшись от старых богов и чуть ли не по сезонам меняя новых. Сегодня «мистический анархизм»[2], завтра Отто Вейнингер[3], послезавтра Риккерт или Бергсон.

В большой аудитории Московского университета литературный вечер. Выступают Андрей Белый, Анатолий Бурнакин и еще кто-то. Сочетание имен — нелепое и характерное для «текущего момента». Андрей Белый читает стихи из своей книги «Пепел»[4]. Стихи о России и революции.

Жестокие, желтые очи
Безумных твоих кабаков
. . . .
Исчезнет пространство, исчезнет
Россия, Россия моя[5].

Он молод, немногим старше своей аудитории. Бурные, долго не смолкающие рукоплескания. В этих стихах и еще не остывшая революция, и отчаяние, и несомненный декаданс. После стихов в коридоре возле поэта толпа. По какому-то по-

воду завязывается разговор о Пушкине и его поэмах. Анатолий Бурнакин (будущий нововременский критик) позволяет себе усомниться в значении «Полтавы». Как вскипел А. Белый![6] — Да ведь Пушкин там прет прямо в небо![7]

...Осень 1910 года. Москва в страшном возбуждении. Из Ясной Поляны бежал Лев Толстой. В особняке Морозовой на Знаменке закрытое заседание религиозно-философского общества[8]. А. Белый читает доклад о Достоевском и Льве Толстом[9]. Искусство и религия — такова тема доклада. Здесь все, кому принадлежало в то время «идеологическое руководство»: Булгаков, Я. <так! — *М.С.*> Трубецкой[10], мелькает только что приехавший Блок[11], и сумрачно ходит В. Брюсов. После доклада прения[12]. «Скажите, Борис Николаевич, — раздается суровый, спокойный голос Брюсова, — почему вы хотите сделать искусство “служанкой богословия”»[13]? — Вопрос поставлен ребром. Белый отвечает длинно, запутанно и философично. — «Значит, в будущем, — продолжает Брюсов, — нам придется с вами спорить о роли и значении религии в жизни человечества?» — Перчатка брошена. Скоро бывшие друзья и соратники символизма разойдутся окончательно и перестанут понимать друг друга[14].

Зима 1916 года. Белый только что вернулся из Швейцарии «отбывать воинскую повинность»[15]. Он был там у Р. Штейнера и вместе с другими антропософами строил храм в Дорнахе. На тех же последних собраниях религиозно-философского общества он читает доклады и стихи, молитвенно воздевая руки к небу. Но иногда приходится его видеть и в других положениях. Вот на лекции Мережковского о Лермонтове кн. Евг. Трубецкой отказывает Лермонтову в праве на царствие небесное на том основании, что Лермонтов в сущности тот же Печорин[16]. А. Белый гневно набрасывается на него[17].

Вот в Литературно-художественном кружке во время выступления А. Белого аудитория смеется, откровенно издеваясь над ним. «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!»[18] — кричит А. Белый присяжным поверенным и дамам, привыкшим уже искать развлечений на выступлениях «декадентов».

Вот в «Весах» промелькнула сочувственная рецензия на марксистскую книжку[19]. Подпись — А. Белый. Кто же он? Что означает вся эта путаница?

Статьи А. Белого о литературе и искусстве собраны в нескольких книгах. Теперь, перелистывая его «Символизм» и «Арабески», удивляешься их эклектизму, стремлению примирить непримиримое. А. Белый мог привлечь в защиту символизма имена, не имеющие ничего общего между собой. Он цитирует «Упанишады» и Вундта, Риккерта и Агриппу Неттесгеймского. Они все нужны ему, всюду он ищет какого-то единства мысли.

Он был глубоко неисторичен, хотя эмоционально остро чувствовал современность. Люди с отчетливым способом мыслить, тот же В. Брюсов, не могли «принять» системы А. Белого. Сам он, вероятно, очень бы удивился, если бы услышал, что его систематика — только плод пылкого воображения. Долгое время, целые годы он искал вождя и учителя, человека, который помог бы ему оформить внутренний хаос, клокотавший в нем. Одно время он преклонялся перед В. Брюсовым, называл его «магом» (см. стихотворения в «Урне»)[20], но стоит прочесть его недавние воспоминания, чтобы увидеть, как изменилось его отношение к Брюсову. Потом, правда, недолго, Мережковский, периодические возвращения к Вл. Соловьеву и, наконец, Штейнер. Штейнеру, если не ошибаюсь, А. Белый изменил так

же, как и всем остальным[21]. Все это совершенно естественно: Андрей Белый был и остался художником, его теоретические работы лишь постольку ценны и интересны, поскольку он говорит в них о своем живом художественном опыте. Как художник он и останется в русской литературе, но оценка его не будет ни односторонней, ни абсолютной. Теперь, когда он закончил свое творческое и жизненное дело, хочется вспомнить о самом значительном, что было у него.

Как бы ни относились к А. Белому критики, как бы справедливы ни были их возражения, первое, что бросается в глаза при чтении А. Белого-прозаика (а он, главным образом, прозаик), — это необычайность его писательской манеры, его художественного облика. Его призвание было в том, чтобы найти особые способы словесной изобразительности и вскрыть особый душевный мир.

В этой работе он больше всего обязан писателю, наиболее близкому ему, — Гоголю. «Серебряный голубь», роман, с которого начинается рост А. Белого как прозаика, целиком обусловлен гоголевской манерой.

В сущности, у него всегда была одна основная тема — сознание русской интеллигенции эпохи 1900–14 годов. В каких бы преломлениях ни выступала бы эта тема, она остается неизменной. А. Белый настойчиво ищет тех адекватных методов решения задачи, которые привели его к безнадежному словесному экспериментаторству («Маски»). Процесс этих исканий был длителен и сложен, ибо тот душевный мир, который нужно было вскрыть, не поддавался чеховской простоте. И символизм А. Белого есть не что иное, как опыт решения этой задачи при помощи высшей математики слова. При таком методе действительность превратилась в фантасмагорию, но не была ли она в каком-то смысле подлинной фантасмагорией? Ведь и «действительность» гоголевского «Ревизора» ничем не отличается от фантасмагории. Конец исторической эпохи — вот тема А. Белого, разрешенная им. Отсюда его эсхатологическая настроенность, сознание обреченности. Отсюда все эти чудаки и фантомы вроде барона Броада-Грабе <так! — *М.С.*>, Аблеухова, Коробкина[22]. И тем же объясняется неудача последнего романа[23] — тема оказалась до конца исчерпанной и самой историей, и жизнью. Когда мы поймем это роковое призвание А. Белого, нам станет ясным его стремление найти «учителя», какую-то твердую систему, сковывающую силы распада старого мира. Эту систему он искал сначала в философии символизма, потом в антропософии. Последние годы его мировоззренческих опытов еще недостаточно ясны нам, чтобы говорить о них с полной определенностью.

Послесловие

Константин Григорьевич Локс (1889–1956) — литературовед, литературный критик, переводчик; вместе с Б.Л. Пастернаком учился на историко-филологическом факультете Московского университета, долгие годы был его близким другом и корреспондентом. Локс весьма активно участвовал в литературной жизни эпохи: входил в литературный кружок «Сердарда» и литературное объединение «Лирика», посещал различные кружки, салоны, лекции, в том числе заседания «Общества свободной эстетики», кружки при издательстве «Мусагет» и пр. След в литературе он оставил прежде всего переводами с французского: переводил Гюго,

Мопассана, Золя, Бальзака, Мериме и др. Писал также рецензии, в том числе и на произведения Андрея Белого[i].

С 1913 г. и до конца жизни Локс занимался преподавательской деятельностью: вел занятия по истории русской и западной литератур в московской гимназии В.В. Потоцкой, читал теорию прозы в Высшем литературно-художественном институте и других учебных заведениях. Его последнее место работы – Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). «В ГИТИСе эту кафедру украшало имя профессора мировой известности, полиглота, на счету которого переводы многих популярных классических произведений, Константина Григорьевича Локса. Среди студентов он пользовался непререкаемым авторитетом. Нас же, "новобранцев"-первокурсников, встреча с ним серьезно шокировала. Его внешний вид никак не сопрягался ни с масштабом личности, ни с всемирной известностью. Это был человек в изрядно поношенном костюме, с лоснящимся, словно политым нефтью, коричневом галстуком. Но особенное недоумение и едва сдерживаемое раздражение вызывала его манера преподавать. Войдя в аудиторию, он, не глядя на нас, клал на стол портфель, доставал из него какую-то книгу, садился и, опершись щекой о скрещенные пальцы рук, устремлял в нее глаза, как бы читая. Говорил монотонно, без интонаций, одним словом – бубнил. При этом, чуть ли не перед каждой фразой, покашливал. Слушать такую лекцию было весьма затруднительно, и мы вместо того, чтобы конспектировать, обсуждали между собой странности профессора», – вспоминал один из его последних учеников, актер Тюменского театра драмы и комедии Рюрик Иосифович Нагорничных (1930–2007). Он поступил в ГИТИС в 1955 г., за год до смерти Локса, и потому стал невольным свидетелем его последней болезни: «Когда он сломал ногу, мы узнали, что Константин Александрович одинок и лишь какая-то родственница изредка приходит, чтобы убраться и принести продукты. Собрали деньги и, накупив разной снеди, явились к нему всем курсом. Крайняя аскетичность обстановки в его квартире нас потрясла: старый, заставленный книгами письменный стол, ветхий гардероб, без всякого декора, скорее напоминающий большой ящик, заполненный книгами. И книги, книги, книги – внутри шкафа, и сверху, и на полу. Одежда висела на старой прибитой к стене вешалке. Кровать, на которой он лежал, тоже снизу и по бокам обложена книгами. Сжалось сердце»[ii].

К Белому Локс относился, мягко говоря, без особого пиетета, о чем еще в большей степени, чем публикуемый выше некролог из «Литературной газеты», свидетельствуют его поздние мемуары «Повесть об одном десятилетии. 1907–1917»[iii].

Написанный Локсом некролог оказался весьма востребован заграничной прессой[iv]. О том, как эта публикация была воспринята ближайшим окружением писателя, красноречиво свидетельствует реплика П.Н. Зайцева в письме к Л.В. Ка-

[i] См., напр., его рецензии на воспоминания о Блоке, опубликованные в «Северных днях» (Сб., 2. М., 1922) – Печать и революция. 1922. № 6. С. 283–284; на сборник стихов «После разлуки» – Печать и революция. 1923. № 4. С. 258–259; на берлинское переиздание симфонии «Возврат» – Печать и революция. 1923. № 1. С. 223; на романы «Московский чудак» и «Москва под ударом» – Красная новь. 1926. № 11. С. 238–240; и т.д.

[ii] *Нагорничных Р.И.* У зеркала. Кн. 1. Моя тропа к храму. Тюмень, 2007. С. 112–113, 114–115.

[iii] Минувшее. Т. 15. СПб., 1994. С. 7–162 (Публикация Е.Б. Пастернака и К.М. Поливанова).

[iv] Он был с сокращениями перепечатан в американской газете «Русский голос» (Нью-Йорк. 1934. № 6655. 30 января. С. 3) и, также с сокращениями, в переводе на болгарский опубликован в газете «Щит» (София.

ликиной от 11 января 1934 г.: «Сегодня в “Литературной Газете” дан некролог и статья Локса К.Г. (ученика Б.Н. по “Мусагету” и кружка К.Ф. Крахта, члена “Молодого Мусагета”). Ученик достойно отблагодарил учителя...»[v]

---

[1] Первый стихотворный сборник Белого «Золото в лазури» вышел в издательстве «Скорпион» в 1904 г. Белым было написано четыре «Симфонии». Первой вышла «Симфония (2-я, драматическая) – М.: Скорпион, 1902. Затем – «Северная симфония (1-я, героическая)» – М.: Скорпион, 1903; «Возврат. III симфония» – М.: Гриф, 1905; «Кубок метелей. Четвертая симфония» – М.: Скорпион, 1908.

[2] Идейная платформа петербургских символистов, сформулированная Г.И. Чулковым, поддержанная В.И. Ивановым и др. См.: *Чулков Г.И.* О мистическом анархизме / Со вступ. статьей «О неприятии мира» Вяч. Иванова. СПб.: Факелы, 1906). Московские символисты, группировавшиеся вокруг журнала «Весы», восприняли новое веяние враждебно; Белый-публицист обрушился на «мистический анархизм» с разгромными статьями. Подробнее см.: *Лавров А.В.* Андрей Белый в 1900-е годы: Жизнь и литературная деятельность. М., 1995. С. 220 и след.

[3] Отто Вейнингер (1880–1903) – австрийский философ, автор нашумевшей книги «Пол и характер» (1903). На выход первого полного русского перевода (*Вейнингер Отто.* Пол и характер. Теоретическое исследование / Перевод с немецкого В. Лихтенштадта под редакцией и с предисловием А.Л. Волынского. СПб.: Посев, 1908) Белый откликнулся рецензией: *Бугаев, Борис.* Вейнингер о поле и характере // Весы. 1909. № 2. С. 77–81.

[4] Поэт, критик, сотрудник «Нового времени» Анатолий Андреевич Бурнакин (1883–1932, скончался от туберкулеза в русском госпитале сербского города Панчево) дал в своей книге «Трагические антитезы» (М.: Сфинкс, 1910. С. 119–126) резко негативный отзыв на сб. Андрея Белого «Пепел» (см.: Андрей Белый: pro et contra. Личность и творчество Андрея Белого в оценках и толкованиях современников / Сост. и прим. А.В. Лаврова. СПб., 2004. С. 143–159).

[5] Из стихотворения «Отчаянье» («Довольно: не жди, не надейся...»; 1908). У Белого: «Исчезни в пространство, исчезни, / Россия, Россия моя».

[6] См. отзыв Белого: «Бурнакин, потерпев фиаско с литературой, стал откровенной собакою, выпускаемой “Новым временем”» (*МДР 1990.* С. 232).

[7] Ср. более подробное описание в «Повести об одном десятилетии. 1907–1917» Локса:

«Об этой личности, то есть Бурнакине, не стоило бы упоминать, если бы он не был организатором литературных чтений в Московском университете. Из завоеваний 905-го года осталось на время довольно свободное пользование университетскими аудиториями, и вот Бурнакин, конечно, со своими целями, ухитрился организовать там вечера, на которые каким-то образом привлек А. Белого. На одном из этих вечеров я впервые и увидел его. А. Белый читал стихотворения из книги “Пепел”.

Год. I. 1934. № 18. 24 януари. С. 3. – См. об этом в статье Эмила Димитрова в наст. изд.). Стоит также отметить, что вслед за некрологом Локс написал для польской газеты «Wiadomości Literackie» (1934. № 19. 13 мая) пространную статью «Andriej Bielyj», в которой дал обзор всего творчества Белого, начиная с «Симфоний» и заканчивая мемуарами, где, по мнению Локса, Белый блистательно расправился со своим прошлым. В финале статьи подчеркивалось, что Белый навсегда порвал с теми писателями, которые оказались в эмиграции, и что «он умер на родине с крепкой верой в ее будущее» (сообщено Петром Мицнером (Польша)).

[v] См. в наст. изд.

Довольно, не жди, не надейся –
Рассейся, мой бедный народ!
В пространстве пади и разбейся
За годом мучительный год!

Аудитория восторженно аплодировала. После чтения все вышли в коридор. Здесь, оцепленный толпой студентов, А. Белый давал разъяснения по поводу символизма, и тотчас Бурнакин затеял с ним какой-то невразумительный спор. От символистов перешли к Пушкину, и здесь Бурнакин осмелился выразить свое мнение о несостоятельности пушкинских поэм. А. Белый тотчас же вскипел. “Как, – вскричал он, – да ведь там Пушкин прет прямо в небо”».

Я не понял, что это значит, да и сам А. Белый, вероятно, не мог бы разъяснить смысл своего восклицания. Но дело не в этом. А. Белый в ту эпоху был как бы начинен динамитом. Внешне это выражалось в том, что его руки и ноги стремились как будто куда-то убежать. Они все время ходили как на шарнирах, двигаясь совершенно неожиданно в разные стороны. Впрочем, он мне понравился. У него были чудесные синие глаза, густые волосы, на лице печать вдохновения. Я с удовольствием смотрел на него. Ошпаренный Бурнакин лепетал что-то невразумительное. Через несколько лет он был приглашен в “Новое время”, где успешно писал доносы» (Минувшее. Т. 15. С. 24–25).

[8] В доме на углу Знаменского переулка (Знаменка, 11) находилась контора книгоиздательства «Путь» и с августа 1910 г. жила Маргарита Кирилловна Морозова (урожд. Мамонтова; 1873–1958), основательница Московского религиозно-философского общества.

[9] Имеется в виду лекция «Трагедия творчества у Достоевского», состоявшаяся 1 ноября 1910 г. в Московском религиозно-философском обществе: «В <...> день лекции о Достоевском (моей), в Москве молнией разносилася весть об уходе Толстого; переживали уход, как громовый удар <...> как событие мировое; упоминанием о значении события этого я открывал мою лекцию» (*Андрей Белый.* Воспоминания о Блоке // *О Блоке 1997.* С. 364 и далее). Вскоре Белым была выпущена брошюра «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой» (М.: Мусагет, 1911).

[10] В числе основателей и активных участников «Религиозно-философского общества памяти В.С. Соловьева» были оба философа – и С.Н. Булгаков, и Е.Н. Трубецкой (в тексте статьи явная опечатка).

[11] Блок приехал в Москву 1 ноября 1910 г. и прямо с поезда пришел на лекцию Белого. Об этой встрече, первой после разрыва отношений в 1907 г. и ознаменовавшей возобновление дружбы, см.: *О Блоке 1997.* С. 362–367.

[12] См. «Прения были долги, одивленны; и в них принимали участие Брюсов, Булгаков, Е.Н. Трубецкой, П.Б. Струве, еще кто-то» (Там же. С. 366).

[13] Обыграно средневековое определение философии как служанки богословия («ancilla theologiae» – *лат.*).

[14] Имеется в виду разрыв отношений, связанный с отказом в 1912 г. В.Я. Брюсова и П.Б. Струве опубликовать в журнале «Русская мысль» роман «Петербург».

[15] Белый покинул Дорнах в середине августа 1916 г. в связи с призывом на военную службу, приехал в Россию 3 сентября.

[16] Более подробное описание этого инцидента Локс дал в «Повести об одном десятилетии (1907–1917)»: «В декабре 1908 года рел.-фил. общество устроило публичную лекцию Мережковского о Лермонтове. Огромная аудитория Политехнического музея была пе-

реполнена. Маленькая и пухленькая фигурка Мережковского как-то потерялась за столом рядом со слоноподобным Е. Трубецким, сидевшим с видом вершителя судеб. Содержание лекции известно – она напечатана в полном собрании сочинений Мережковского. Любопытны были прения. Нападал на Мережковского и Лермонтова одновременно кн. Трубецкой. Возражения князя заключались, главным образом, в том, что Лермонтов написал "Героя нашего времени", вещь, по его мнению, автобиографическую. Он не одобрял этого произведения. Оно, без сомнения, было безнравственным. Худенький и прыгающий А. Белый дал князю отпор и наговорил ему много неприятных вещей. По окончании лекции Мережковский, как-то спустив руки вниз и всей своей фигурой выражая отвращение, исчез в дверях, а прочие недоуменно разошлись по домам. Лекция, по существу, была не о Лермонтове, а о религиозном действии. Учуяв опасность таких признаков, кн. Трубецкой и напал на лектора. А. Белому <...> князь уже давно был неприятен. Кн. Е. Трубецкой, профессор Московского университета по кафедре "Энциклопедия права", был и не умен, и не оригинален. К Господу Богу он, по-моему, относился вполне по-домашнему. Без Господа не может быть полного благоустройства, вроде бессмертия души, воскрешения из мертвых и т.п.» (Повесть об одном десятилетии. С. 42). См.: *Мережковский Д.С.* М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества. СПб., 1909. То же: *Мережковский Д.С.* Полн. собр. соч. СПб.; М., 1911. Т. 10. С. 287–334.

[17] «Двойственность отношений дошла до апогея в день выступления его с возражениями Мережковскому: ничего не поняв в характеристике поэзии Лермонтова, он с видом "стража" понес свою куцую выспренность; и, как укушенный, выскочил я на эстраду, махая рукой и визжа:

– Трубецкие, Алферовы и прочие кадеты нам не нужны!

Сочувственно под рукою моею кивали какие-то юноши, которым жаловался я на убожество Трубецкого; <...> он сидел, более чем когда-либо косолапый и красный, закрывши руками лицо и опустив голову; тут понял я, что ушиб человека» (*МДР 1990.* С. 269).

[18] Слова Городничего из «Ревизора» Н.В. Гоголя.

[19] См., напр., в журнале «Весы» рецензии Белого на «Нищету философии» К. Маркса (Одесса, 1905) – 1905. № 7. С. 71–72; на книги Ж. Жореса «Аграрный социализм. Социализм и крестьянство» ([Одесса], 1905), Э. Вандервельде «Идеализм в марксизме» ([Н. Новгород], 1905), К. Каутского «Программа германской рабочей партии» (Одесса, 1905), А. Бебеля «Антисемитизм и пролетариат» ([Одесса], 1905) – 1905. № 9/10. С. 109–111 и др.

[20] Сб. «Урна» (М.: Гриф, 1909) открывает раздел «В. Брюсову» (С. 15–22); в него входит и стихотворение «Маг» («Упорный маг, постигший числа...»; 1904–1908). Магом Белый называл Брюсова и ранее, напр., в стихотворении с таким же названием «Маг» («Я в свисте временных потоков...»; 1903) в сб. «Золото в лазури» (М.: Скорпион, 1904. С. 123).

[21] Локс ошибается. Он имеет в виду «берлинский эпизод» в биографии Белого: ссору с немецкими антропософами и обиду на Штейнера, проявившуюся, в частности, в публичных обвинениях и даже проклятиях ученика в адрес духовного учителя. Перед отъездом в Россию Белый со Штейнером примирился и оставался его последователем до конца жизни.

[22] Персонажи романов Белого «Серебряный голубь» (правильно – Тодрабе-Граабен), «Петербург» (Аблеухов), «Московский чудак», «Москва под ударом», «Маски» (Коробкин).

[23] Имеется в виду роман «Маски».

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

А. БОЛОТНИКОВ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Литературная газета.
1934. 16 января.

В свое время, говоря о Толстом, Ленин прекрасно показал, что является основным в определении гениального художника, каким являлся автор «Войны и мира». «Если перед нами действительно великий художник, — писал Ленин, — то некоторые, хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях»[1]. Характер русских революций 1905 и 1917 гг. и определение их движущих сил — вот что, если следовать учению Ленина, является решающим в определении места и роли того или иного из современных советских писателей. Несмотря на всю свою противоречивость и наивность, несмотря на свое желание уйти от мира, от политики и подменить революционную действенность масс учением о непротивлении злу, Толстой явился зеркалом русской революции 1905 г. «Толстой поразительно рельефно воплотил в своих произведениях — и как художник, и как мыслитель и проповедник — черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость... Протест миллионов крестьян и их отчаянье — вот что слилось в учении Толстого» (Ленин)[2].

Итак, Толстой гениален прежде всего потому, что он явился ярким и органическим выразителем всей социальной сути такого мощного класса, как русское крестьянство в эпоху 1861—1904 гг. Именно оно и его судьбы в революции сделали Л. Толстого одной из величайших фигур в мировой литературе. Мы смело можем сказать, что если бы Толстой был просто дворянским писателем этого периода, то, несмотря на весь свой талант, он не вошел бы в пантеон классиков.

Определяя роль и место Андрея Белого в нашей литературе, мы поставим прежде всего такой вопрос: можно ли зачислить Белого на основании указанных нами признаков в число русских и мировых классиков литературы, назвать его гениальным художником нашего времени? Чтобы ответить на этот вопрос, остановимся немного на истории творчества Белого и попытаемся дать классовый анализ его мировоззрения.

А. Белый — один из самых плодовитых и многогранных представителей младшего поколения русских символистов. Характерными чертами этой группы были ее полная социальная беспомощность и бесплодность, и напряженные искания путей для обновления и просветления русского общества начала века. Символисты являлись идеологами той сравнительно небольшой и передовой в культурном отношении части буржуазии, которая чувствовала себя в исключительно ложном и двусмысленном положении. С одной стороны — царизм, сковывающий развитие отечественного капитализма, превращающий Россию в полуколониальную стра-

ну, делающий ее все больше и больше зависимой от передовых европейских государств. С другой стороны — пролетариат, становящийся с каждым днем все непримиримее и непримиримее к существующим порядкам и явно рвущийся к революции. Сам Белый определяет это положение между двух огней в таких стихах:

Мне жить в застенке суждено.
О, да: застенок мой прекрасен!
Я понял все, мне все равно.
Я не боюсь. Мой разум ясен[3].

Для мечтателя-индивидуалиста с большой культурой, каким был Белый, социальные отношения того времени (1903–1904 гг.) не могли не казаться изысканным застенком. Вся беда в том, что Белый не понимал социального смысла этого застенка, явно чего-то трусил и совершенно запутал свой «ясный разум» бесчисленными поисками спасительных теорий.

И когда грянула революция 1905 г., то она ничему не научила Белого и его компанию. Они приветствовали ее разрушительное начало, надеясь на избавление от тяготеющей над их средой, над их классом безысходности, мещанской ограниченности и застойности. Эта затхлость социальной атмосферы буржуазной интеллигенции того времени хорошо показана Белым в книге «На рубеже двух столетий». А сама революция 1905 г. отображена, пожалуй, в лучшей из книг Белого, романе «Петербург». Однако в годы реакции Белый снова продолжает старую линию, снова — поиски миропреобразующих теорий и мистика. И это объяснялось прежде всего тем, что Белый не имел под собой необходимой социальной основы, что он слишком был ограничен тем узким слоем избранного общества, для которого жизнь была не что иное, как

...метафизическая связь
трансцендентальных предпосылок[4].

или еще что-нибудь в этом роде.

Белый шел по извилистому пути исканий человека, который хотя и стоял боком к своему классу — буржуазии, но и не способен был примкнуть к пролетариату, идти вместе с ним нога в ногу. Писатель искал своего надклассового пути в искусстве, в мировоззрении и, естественно, не находил его. Он хотел создать такое философское мировоззрение, которое бы отвечало на проклятые вопросы и было подлинным синтезом науки.

Белый был образованнейшим человеком нашего времени, если понимать под образованием уровень овладения буржуазной культурой. И значение, именно отрицательное значение философских опытов Белого, в этом отношении огромно.

В 1916 году, году максимального обострения империалистической бойни, кануна Февральской революции в России, Белый не мог не понимать, что наступает какой-то кризис. И он писал тогда: «Кризис жизни и мира зависит от кризиса мысли»[5]. Наука — это концентрирование мысли человечества — оказалась бессильной, по мысли Белого, помочь человеку выйти на широкие и гладкие просторы

«града господня», грааля etc. Белый видит противоречия, разъедающие буржуазное общество, буржуазную культуру. Но он не понимает их истинного смысла. На вопрос о том, что такое наука, он правильно отвечает, что «разнородны ответы»... «Wissen» — ответ биологии; ответ математики есть «Bewahren»; логика отвечает: «Erkennen», физика отвечает нам: «Schaffen»[6].

Наука же в целом молчит. Какой вывод отсюда делает Белый?

Считая закономерным тот факт, что в наши дни «не соблюдаема однопутейность науки», что «плюрализм — мировоззрение наших дней»[7], Белый приходит к мистике в ее антропософской форме. «Познание должно быть таким, каким очертал его Руд<ольф> Штейнер... Познавательный акт должен быть “интуицией”»[8]. Познание, рациональное для Белого—Штейнера, есть не больше как короста, свойственная плотскому человеку. Освобождение через интуицию от познавательных предпосылок есть вместе с тем «преображение человека в духовное существо»[9]. Итак, научные знания бессильны и, следовательно, бесполезны. Научный опыт ничего не дает, надо уйти в себя, убежать от мира противоречий в свой духовный мир, в мир чистой мудрости истинно духовного человека, в антропософию.

Эта мистическая струя была наиболее устойчива в мировоззрении Белого, она по существу сохранилась, как мы это показали в другом месте, и в последних работах Белого[10].

Став советским человеком, Белый никак не мог отрешиться от этой основной линии своей философии. Он пытался лишь приспособить ее к нашим условиям и, разумеется, безуспешно. Белый до конца дней оставался глубоко убежденным идеалистом с мистическим налетом и уже по одному этому не мог играть сколько-нибудь заметной роли в идеологической действительности наших дней.

Белый искал третьего пути между буржуазной и пролетарской культурой, между идеализмом и материализмом — старая история! — и этим объясняется неудача всех его исканий и опытов, нередко ценных и поучительных. И прежде всего поучительна сама судьба Белого в этом смысле: она ярко показывает обреченность всякой попытки найти третий путь там, где четко размежеваны классовые культуры капитализма и социализма, где нет места колебаниям интеллигента-одиночки, нет места психологическому и философскому индивидуализму и творческому приспособленчеству хотя бы и богато одаренного и исключительно образованного писателя.

Из сказанного становится ясным ответ на основной вопрос, поставленный нами о Белом. Реакционным утверждением было бы зачислять Белого в классики мировой литературы, так как такое утверждение не соответствует истинному положению вещей — Белый слишком индивидуалистичен и манерен в своем творчестве, чтобы создать особую школу, — и противоречит всем основным установкам теории советской литературы, исходящей из принципов социалистического реализма... Белый поучителен для нас во многих отношениях, но едва ли в наше время бурных темпов культурного роста широчайших слоев трудящихся масс на произведения Белого будет большой спрос. Произведения Белого этим массам просто несозвучны и мало доступны: они писались для других общественных слоев, на основе иных творческих предпосылок.

Послесловие

Алексей Александрович Болотников (1895–1937) – советский чиновник, литературный работник и «боец идеологического фронта», профессор философии, член ВКП(б). Свою «подкованность» в марксистско-ленинской философии и готовность яростно ее защищать против ревизий любого толка Болотников продемонстрировал, в частности, в резких нападках на роман Белого «Маски» в статье «Неудавшийся маскарад»[i].

В конце 1920-х – начале 1930-х Болотников работал в Закавказском Коммунистическом университете в Тифлисе[ii]. С осени 1933 г. он редактор и ответственный секретарь «Литературной газеты», а также член Президиума Оргкомитета Союза советских писателей. Идея выдвижения Болотникова на столь важные посты принадлежала М. Горькому и П.Ф. Юдину. В недатированном письме к Л.М. Кагановичу Горький объяснял политическое значение и скорейшую необходимость этого назначения:

> «Дорогой Лазарь Моисеевич, т. Юдин и я убедительно просим Вас утвердить т. Болотникова редактором "Литературной газеты" и разрешить кооптирование его в состав членов и Президиума Оргкомитета Союза сов<етских> писателей.
>
> А также просим провести это решение до 1 октября ввиду того, что с работой по организации съезда литераторов нужно торопиться, а для этой работы "Литгазета" совершенно необходима, но в новом, активном составе редколлегии, возглавляемом серьезным редактором.
>
> Сердечно приветствуем Вас. Горький»[iii].

Л.М. Каганович поддержал ходатайство и 1 октября 1933 г. Секретариат ЦК ВКП(б) просьбу удовлетворил. Редактором и ответственным секретарем «Литературной газеты» Болотников прослужил до июня 1937 г.[iv]

В 1934 г. Болотников стал делегатом Первого съезда Союза советских писателей от Москвы, был избран членом правления ССП. После разделения в 1935 г. Отдела культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б) на несколько подразделений, был назначен помощником заведующего отделом школ ЦК ВКП(б). В июне 1937 г. арестован по обвинению в участии в антисоветской террористической организации и 1 ноября расстрелян.

---

[i] Литературный критик. 1933. № 2. С. 81–97.

[ii] См.: Против идеализма в правовой мысли советской Грузии: Стенограмма дискуссии по докладу А.И. Гегенава «Правовая мысль в советской Грузии» / Под ред. А.А. Болотникова. Тифлис: ЗКУ, 1931; Вопросы философии и социологии марксизма / Под общ. ред. А.А. Болотникова. Сб. 1. Тифлис: ЗКУ, 1930. В 1928–1930 гг. Болотников читал лекции по истории религий, работал над книгой об исламе, писал об Омаре Хайяме. См.: *Болотников А.* Омар Хайям (Философ – поэт – математик) // На рубеже Востока. 1930. № 1. С. 97–108; № 2. С. 93–11. Позднее со вступ. статьей А.А. Болотникова в издательстве «Academia» (Л., 1935) вышла книга О. Хайяма «Робайят» (Пер. О.Б. Румера, В.Г. Тардова, Л.Н. (Л.С. Некоры), К.И. Чайкина); под ред. А.А. Болотникова, А.Н. Тихонова, К.И. Чайкина было осуществлено издание кн.: Восток. Сб. 2: Литература Ирана X–XV вв. М.; Л.: Academia, 1935).

[iii] «Счастье литературы»: Государство и писатели. 1925–1938 гг. Документы / Сост. Д.Л. Бабиченко. М., 1997. С. 163.

[iv] См. о его отношении к работе: *Быстрова О.* «Завертелось колесо наших дней»: К истории переписки А.М. Горького и А.А. Болотникова // Литературная газета. 2010. № 15. 21 апреля.

Написанный им некролог Андрею Белому в переводе на болгарский был напечатан также в софийской газете Р.Л.Ф. (Рабочий литературный фронт; Год. V. 1934. 28 януари. С. 3).

---

[1] Из статьи «Лев Толстой как зеркало русской революции» (1908). См.: *Ленин В.И.* Сочинения. Изд. второе, исправленное. Т. XII. М.; Л., 1931. С. 332.

[2] Из статьи «Лев Толстой» (1910). См.: *Ленин В.И.* Сочинения. Изд. второе, исправленное. Т. XIV. М.; Л., 1929. С. 400. Эта и другие статьи о Толстом были изданы отдельным сборником «Ленин о Толстом» (М., 1928) и послужили методологической основой и «директивой» для советского литературоведения, что было закреплено статьей А.В. Луначарского «Ленин и литературоведение» в «Литературной энциклопедии» (Т. 6. М., 1932).

[3] Из стихотворения «В темнице» (1907), вошедшего в сборник «Пепел» (СПб., 1909).

[4] Из стихотворения «Мой друг» (1908), вошедшего в сборник «Урна» (М., 1909).

[5] Из работы Белого «О смысле познания» (Пб.: Эпоха, 1922. С. 7).

[6] Там же. С. 11.

[7] Там же. С. 27.

[8] Там же. С. 51.

[9] Там же. С. 57–58.

[10] Имеется в виду статья Болотникова «Неудавшийся маскарад (О последнем романе Андрея Белого “Маски”)».

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

ЦЕЗАРЬ ВОЛЬПЕ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Литературный Ленинград.
1934. 17 января.

Смерть Андрея Белого — это смерть последнего представителя того крыла русского символизма, которое приняло и примкнуло к Октябрьской революции. Блок, Брюсов, Белый — вот три имени в русском символизме, деятельность которых тесно связана с судьбами советской литературы.

Сейчас еще трудно представить себе подлинный масштаб значения А. Белого как писателя.

Одно бесспорно, что роль эта огромна.

Почти тридцатипятилетний период литературной деятельности Белого — это путь напряженных поисков, срывов, колебаний. В начале своей деятельности он был мистиком, учеником Владимира Соловьева, впоследствии примкнул к антропософской школе Штейнера. И нужно перечитать выступление Белого на пленуме Оргкомитета, посвященном обсуждению постановления ЦК партии от 23 апреля 1932 года[1], для того чтобы понять, какой огромный путь прошел Белый, какое значение имела для перестройки его творчества Октябрьская революция, чтобы оценить то мужество, с каким Белый боролся с пережитками реакционного идеализма в своем творчестве.

А. Белый сам рассказал свою биографию в трех томах мемуаров: 1) «На рубеже двух столетий», 2) «Начало века» и 3) «Между двумя революциями»[2].

Мемуары эти не только рассказывают нам об его идейной и литературной биографии. Они сами являются документом, характеризующим сложный и противоречивый путь Белого к социализму.

Достаточно сравнить «Воспоминания о Блоке» из берлинской «Эпопеи»[3] с книгой «На рубеже двух столетий» и особенно с «Началом века», чтобы сделалось совершенно ясным то принципиальное направление, по которому шло идейное развитие Белого в последние годы его жизни.

Новые позиции А. Белого нашли себе выражение прежде всего в его мемуарах. Эти мемуары показывают также, насколько «автобиографична» и художественная проза Белого.

Кажется по временам, что мемуары — это просто документальный комментарий к его романам, что и проза и мемуары — это дополняющее друг друга повествование об одних и тех же лицах. Можно без труда провести параллели между героями романов Белого и «героями» его мемуаров.

Творчество Андрея Белого — и прозаика, и поэта, — начиная от «Симфонии»[4] и «Золота в лазури», имело определяющее значение для всей истории русского символизма. Каждое новое произведение Белого было этапом в развитии русского символического движения.

Если верно было характеризовать дореволюционную прозу Белого, как «спиритуалистическую возгонку старого быта»[5], то и самый быт был представлен в этой прозе методами гротесковой подачи, методами гоголевской ирреализации быта.

Сатирический гротеск имел задачей создать философическое переосмысление деятельности, служил орудием для доказательства противоречия между действительностью и мистическим смыслом, скрытым от жизни.

Философский иронизм характеризует и стихи Белого, главным образом, конечно, «Урну», к которой Белый перешел от гражданской некрасовской лирики «Пепла».

Жизнь, шепчет он, остановясь
Средь зеленеющих могилок,
Метафизическая связь
Трансцендентальных предпосылок[6].

Эта философская и мистическая ироничность сближает работу Белого с эстетикой экспрессионизма (и не случайно книгу «Звезда» Белый открывал посвящением немецкому поэту Моргенштерну[7]).

Именно эта философическая ирония заставляла некоторых советских критиков несколько лет тому назад вообще утверждать отсутствие у Белого «реального плана», утверждать, что «бытовизм Белого реален только формально».

Но эти утверждения были ошибочными. Именно обобщенный социальный смысл таких дореволюционных вещей Белого, как «Серебряный голубь», и в особенности «Петербург», делает их, несмотря на мистическую окраску социальной сатиры Белого, глубочайшими произведениями эпохи империализма. Глубокий социально-политический смысл этих романов стал виден самому Белому много позднее.

В книге «Как мы пишем»[8] он говорит следующее:

«В 1916 году... я пожалел, что поторопился с написанием “Петербурга” и особенно с написанием «Голубя», ибо “Голубь” и “Петербург” один роман, место действия которого царский Петербург, а время – не 1905 год, а 1914–1915 годы. Задание же – показать разложение темных кулацких масс деревни и бюрократических верхов столицы, т.е. гибель царской России...»

«Явление новых, непредвиденных качественностей и составляет основу так называемого “мышления образами”... Я обещаю редактору одно, а приношу другое. Обещает публицист, а качество приносит художник. Так было со мной в 1911 г., когда я обещал редактору “Русской мысли” Струве 2<-й> том “Голубя”, а принес “Петербург”. Струве, пришедший в ярость от неожиданной пародии на тогдашнюю государственность, отвергнул роман, и я остался без гроша денег»[9].

«Петербург» А. Белого по своему социальному содержанию едва ли не наиболее значительное произведение Белого. Из сатирического романа о бюрократическом Петербурге он вырастает до размеров обобщающей характеристики итогов «петербургского периода русской истории»[10].

После революции Белый проделал огромный путь идейного развития, нашедший выражение и в эволюции его творчества.

Опираясь на элементы своего творчества, приближающие его к современности, Белый борется за изменение соотношения в своей прозе двух планов: плана реального, сатирического изображения действительности, критики быта, – и плана мистики, отвлеченности, абстракции.

Быт в творчестве Белого становится теперь центральной проблемой, обретает материальную «весомость».

Бытовой гротеск из способа ирреализации превращается в средство полемической рисовки портретов.

«На рубеже двух столетий» и «Москва» оказываются памфлетами с обильным и ценным материалом, памфлетами против «профессорской Москвы».

А. Белый теперь полемически рассказывает о «быте верхов ученой интеллигенции, среди которой встречались имена европейской известности»[11]. Белый теперь выступает сатириком, критиком русской высококвалифицированной дворянско-буржуазной интеллигенции.

В своих мемуарах Белый пытается теперь пересмыслить значение и содержание символистического движения.

«Бунт символистов» Белым теперь представлен как слом поколений эпохою рубежа, как бунт против косного быта, как движение разночинства двадцатого века, свое «чуяние рубежа», осмысляющего «метеорологически»[12].

Он пишет в «На рубеже двух столетий»:

«Марксистская критика должна базироваться на подлинном материале, а не на сочиненном. Сочинен средневековый схоласт Белый, соблазняющий Блока мистицизмом; может быть, “схоласт” Белый соблазнен неправильным истолкованием им изученных фактов естествознания... так и надо говорить: Томсон, Оствальд, Эйнштейн вместе с декадентом Белым неправильно истолковали данные науки и проблему имманентности»[13].

Мы не думаем, что символистическая мистика есть оборотная сторона «эмпирического изучения действительности». Мы думаем, что она есть свойство буржуазного сознания в эпоху гибели капитализма, сознания, даже в эмпирической науке ищущего базы для своих, говоря словами Белого, «трансцензусов»[14].

Мы думаем, что современная символистам наука и точные знания, пополненные и переработанные современной же идеалистической философией, использовались символистами в интересах построения идеалистической эстетики.

Но мы думаем также, что в реабилитационном переосмыслении истории символизма, которое характеризует мемуары Белого, имеется и то положительное содержание, что это переосмысление выражает также и огромный процесс борьбы Белого за переосмысление собственной творческой работы.

Может быть, ни в одном из произведений Белого эти принципиальные противоречия его развития не представлены с такой поразительной отчетливостью, как в его «Масках» (1933 г.[15]).

В этом романе Белый поставил себе задачу показать широкую картину эволюции лучших представителей академической дореволюционной интеллигенции к мировоззрению пролетариата.

Путь профессора Коробкина к идеологии социализма – такова тема этого социального романа.

И Белый пытается подчинить этой принципиальной задаче свою художественную систему.

«Маски» — этот социальный роман об эпохе империалистической войны, о годах, непосредственно предшествовавших революции 1917 года, — сохраняют все основные особенности поэтики символистической прозы Белого. И прежде всего — музыкальное «симфоническое восприятие действительности».

Такой именно смысл имеет то обстоятельство, что весь роман — эта ритмическая тема в прозе — объединен звукообразом: Мандро. Весь роман инструментован звуками, входящими в слово «Мандро»[16]. «Маски» — я бы сказал — являются наиболее классической иллюстрацией символистической теории звукообраза.

Повествовательный метод А. Белого — его эстетическая система — в «Масках» уже не является органическим выражением его идейной позиции: политическое сознание А. Белого обогнало развитие его эстетики, вступило с нею в противоречие, и оказалось, что эстетическая система Белого существует в «Масках» обособленно от принципиального смысла «Масок».

Метод ведения повествования — гротеск, каламбур, комические и многозначительные недомолвки — весь арсенал философической иронии Белого — сосуществует с идейной сутью «Масок».

Так, глава о зверском убийстве Мандро, несколько напоминающем убийство Распутина, обозначена комическим заглавием «Скоки к новым возможностям». Кривая линия повествования подчеркивается «рваной композицией» — крошечными главками, как бы кинокадрами. Повествование приобретает вид иронического уничтожения того основного плана романа, который в романе утверждается. Кажется, что все те средства, которыми А. Белый пользуется в своем произведении, катастрофически взбесились и обрушились на принципиальное содержание сознания писателя.

Эта противоречивость «Масок», этот бунт литературных средств — если позволить себе образное выражение — картина величественная и драматическая.

Катастрофические противоречия в «Масках» показывают, какого великого писателя, идущего к революционному мировоззрению, потеряла советская литература.

Послесловие

Цезарь Соломонович Вольпе (1904—1941) — литературовед, критик, журнальный работник; начинал занятия филологией в Бакинском университете, во второй половине 1920-х перебрался в Ленинград, где продолжил учебу и работу; с 1930 по 1933 г. заведовал критическим отделом журнала «Звезда» (был снят с должности за публикацию последней части «Путешествия в Армению» О.Э. Мандельштама), в 1930 г. возглавил редакцию новообразованного журнала «Литературная учеба», принимал активное участие в разработке серии «Библиотека поэта», организованной в 1933 г. как приложение к «Литературной учебе»[i].

[i] Подробнее о нем см. предисловие А.А. Нинова «О Цезаре Вольпе» в кн.: *Вольпе Ц.* Искусство непохожести / Сост. Ф.Л. Николаевская-Вольпе. М.: Советский писатель, 1991. С. 3–13. Там же статья Ц. Вольпе «О поэзии Андрея Белого» (С. 44–79).

В сфере научных занятий Цезаря Вольпе находилась как классическая русская поэзия (прежде всего творчество В.А. Жуковского[i]), так и современная ему литература (Борис Житков, Александр Грин, Михаил Зощенко и др.). Интересовали его и авторы Серебряного века (В.Я. Брюсов, А.А. Блок, О.Э. Мандельштам, Бенедикт Лившиц и т.д.[ii]), внимание к творчеству которых, возможно, было «подогрето» общением с Вяч. Ивановым, в бакинском семинаре которого Ц.С. Вольпе занимался в начале 1920-х.

В поле внимания Вольпе находилось и творчество Андрея Белого. Он откликнулся рецензиями на первую книгу мемуаров «На рубеже двух столетий» и на роман «Маски»[iii] написал предисловие «О мемуарах Андрея Белого» к книге «Между двух революций» (Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1934. С. V–XXV), вышедшей уже после смерти Белого. В некрологе, являющемся фактически блестящей литературоведческой статьей, развиваются мысли, высказанные ранее в рецензиях 1930 и 1933 гг.; в свою очередь, некоторые идеи некролога были использованы Ц. Вольпе в статье «О мемуарах Андрея Белого» (есть даже несколько текстуальных совпадений). В 1940 г. под редакцией Ц. Вольпе в «Малой серии» «Библиотеки поэта» вышел сборник стихотворений Андрея Белого. Вступительная статья и примечания также были написаны им.

Война застала Цезаря Вольпе в Ленинграде. Он погиб осенью 1941 г. при переправе через Ладожское озеро.

---

[1] Имеется в виду постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г., предписывающее всем писателям и писательским организациям, поддерживающим советскую власть, объединиться в единый союз советских писателей.

[2] Мемуары «Между двух революций» на момент написания некролога еще готовились к выходу в «Издательстве писателей в Ленинграде». Книга появилась только в апреле 1935 г. (на титуле значится 1934 г.) – с предисловием Цезаря Вольпе.

[3] См.: Эпопея: Литературный ежемесячник под редакцией Андрея Белого. М.; Берлин: Геликон, 1922. № 1–3. С. 123–273; 105–299; 125–310; Эпопея: Литературный сборник. Берлин: Геликон, 1923. № 4. С. 60–305. См. также современное издание «Воспоминаний о Блоке»: *О Блоке 1997.* С. 22–406. Работа над воспоминаниями о Блоке натолкнула Белого на мысль написать воспоминания об эпохе символизма вообще и послужила толчком к работе над мемуарной трилогией.

[4] Имеется в виду первая книга Белого «Симфония (2-я, драматическая)» (М.: Скорпион, 1902).

---

[i] См.: *Жуковский В.А.* Стихотворения / Вступ. статья, ред. и прим. Ц. Вольпе. М.; Л.: Советский писатель, 1936 («Библиотека поэта», Малая серия); раздел о Жуковском в кн.: История русской литературы. Т. 5: Литература первой половины XIX века. Ч. 1. М.; Л.: 1941; и др.

[ii] См.: *Брюсов В.* Избранные стихи / Ред. текста, вступ. статья и прим. Ц. Вольпе. М.: Издательство детской литературы, 1935 (Школьная серия современных писателей); *Вольпе Ц.* Поэзия Ал. Блока // Александр Блок: Памятка читателю. Л.: Ленинградская центральная библиотека, 1941; Судьба Блока: По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам // Сост. О. Немеровская и Ц. Вольпе. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1930; и др. См. также его избранные статьи в сб.: *Вольпе Ц.* Искусство непохожести.

[iii] Звезда. 1930. № 9–10. С. 302–304; Литературный современник. 1933. № 6. С. 155–160.

[5]Характеристика дана Л.Д. Троцким: «Сорванный с бытовой оси индивидуалист, Белый хочет заменить собою весь мир; все построить из себя и через себя; открыть в себе самом все заново, – а произведения его, при всем различии их художественных ценностей, представляют собою неизменно поэтическую или спиритуалистическую возгонку старого быта» (*Троцкий Л.Д.* Андрей Белый // *Троцкий Л.Д.* Литература и революция. М., 1923. С. 34–36, переиздание: *Троцкий Л.Д.* Литература и революция. М., 1991. С. 50). Про «“спиритуалистически” переработанный материал быта» в творчестве Андрея Белого Ц. Вольпе подробно пишет в статье «О мемуарах Андрея Белого» (*МДР 1934.* С. VI–X).

[6] Из стихотворения «Мой друг» (1908), вошедшего в сборник «Урна» (М.: Гриф, 1909).

[7] «Христиану Моргенштерну. Старшему брату в Антропософии» («Ты надо мной – немым поэтом...»; 1918) посвящено первое стихотворение сборника «Звезда» (Пб.: Гос. изд-во, 1922). Оно сопровождено авторскими примечаниями: «“Моргенштерн” значит “Звезда утра”» и «С Христианом Моргенштерном автор встретился за 2 месяца до его смерти» (С. 6–7). Христиану Моргенштерну посвящено и последнее стихотворение сб. «Звезда» («От Ницше – Ты, от Соловьева – Я...»; 1918). Знакомство с немецким поэтом и антропософом Христианом Моргенштерном (1871–1914) произошло 31 декабря 1913 г. в Лейпциге на лекции Р. Штейнера.

[8] Сборник ответов советских писателей на вопрос, вынесенный в заглавие книги. Ответ Белого см.: Как мы пишем. Л., 1930. С. 9–33. См. также перепечатку в кн.: *Бугаева К.Н.* Воспоминания о Белом. С. 311–321.

[9] О конфликте Белого с философом, экономистом, с 1906 г. редактором журнала «Русская мысль», Петром Бернгардовичем Струве (1870–1944) Белый подробно рассказывал в главе «Инцидент с “Петербургом”» (*МДР 1990.* С. 437–441).

[10] Период, начавшийся после реформ Петра I. Ср.: «Как известно, славянофилы первые ополчились на “петербургский период русской истории” (кажется, им принадлежит и самый этот термин) и объявили беспощадную войну Петербургу, этому “эксцентричному центру” России, этому “городу бюрократической опричнины, где народная жизнь не чувствуется и не слышится, а только рапортуется”, этому своеобразному окну в Европу, смотреть в которое можно лишь обратившись спиною к России» (*Устрялов Н.В.* Судьба Петербурга // Накануне. 1918. № 1. С. 5–6).

[11] *НРДС 1930.* С. 9 («Введение»).

[12] Там же. С. 16.

[13] Там же. С. 488.

[14] Там же.

[15] Книга вышла в середине января 1933 г. (на титуле значится 1932 г.).

[16] Персонаж романа «Москва» («Московский чудак», «Москва под ударом», «Маски»). В «Масках» (раздел «Вместо предисловия») Белый настраивал читателя на то, что «звуковой мотив фамилии Мандро, себя повторяя в “др”, становится одной из главных аллитераций всего романа» (*Андрей Белый.* Москва. М., 1989. С. 763).

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

АНАТОЛИЙ ТАРАСЕНКОВ

ПАМЯТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Художественная литература (Москва).
1934. № 1.

Восьмого января умер Андрей Белый — один из крупнейших и интереснейших представителей старой буржуазной культуры и литературы. Поэт и философ, романист и критик, теоретик стиха, один из вождей символизма, активный участник многочисленных литературно-философских кружков и журналов первых двух десятилетий нашего века, человек с огромной, выношенной им культурой, блестящий эрудит в самых разнообразных областях человеческого знания, начиная от математики и кончая историей культуры, [— Андрей Белый по самому типу своего мышления продолжал традиции величайших людей человеческой предыстории — Аристотеля, Гете, Леонардо да Винчи][1] Андрей Белый стремился к универсальности, он хотел разбить те оковы профессионализма, в которые заключает человека капитализм.

Но этим [могучим] созидательно-творческим устремлениям Андрея Белого в корне противоречила идейно-философская сущность его творчества. Идеалист, выученик Канта и его модного в начале века эпигона Когена, мистик, ницшеанец, антропософ, штейнерианец, Андрей Белый в своем дореволюционном художественном, критическом и философском творчестве со всеми его метаниями и противоречиями (от увлечения социал-демократизмом до преклонения перед духовным отцом современного фашизма — Рудольфом Штейнером[2]) объективно выразил ужас буржуазной интеллигенции перед надвигающейся революцией, выражал попытки спрятаться от нее в ненадежную скорлупу реакционных идей и теорий. Но Андрей Белый видел крушение старого мира, его обреченность, его внутреннее разложение, его бессмысленность. Стихи его книг «Пепел» и «Урна», поэма «Первое свидание», наконец, центральная вещь всего творчества — роман «Петербург» — с огромной трагической силой передают картину гибели старого мира. Вопреки [мистической[3]] основе своего творчества, даже вопреки тому, что революция 1905 г. рисуется Андреем Белым как некая всемирная «провокация»[4] (в этом сказалось большое влияние «Бесов» Достоевского), картины внутренней опустошенности и духовного гниения господствующих классов нарисованы им с такой огромной художественной силой, что продолжают сохранять и для нас большую познавательную ценность.

Прослеживая дальнейшую творческую биографию Андрея Белого, нельзя не отметить, что наряду с его реакционнейшим увлечением антропософией годы империалистической войны он все же не встретил, подобно подавляющему большинству поэтов и писателей буржуазно-дворянской России, ура-патриотическими оборонческими славословиями.

Октябрь 1917 г. Андрей Белый вместе с отдельными, крайне немногочисленными представителями старой культуры [(Блок, Брюсов)] встретил восторженно. [Но] Он не понял всего величия и сложности пролетарской революции, ибо он был как нельзя более далек от марксизма, не говоря уже о том, что всеми своими философскими корнями, бытом, кругом общения он был связан с прошлым.

Но все же Андрей Белый нашел в себе достаточно сил для того, чтобы порвать с этим прошлым. 1917–1933 гг. протекают для Андрея Белого в сложных и мучительных поисках своего пути к [рабочему классу][5]. В трех вышедших [томах][6] незаконченного своего романа «Москва»[7], отягченного еще многими гуманистическо-пацифистскими предрассудками и формалистическим эстетством, – Белый попытался дать уже картину социально обусловленной гибели старого мира. В ряде своих статей и докладов Андрей Белый выразил свою ненависть к фашизму, к опустошенной и умирающей культуре Запада («Одна из обителей царства теней»[8]), свое искреннее сочувствие к [теме][9] строительства социализма (доклад о краеведческом очерке, статьи о творчестве Ф. Гладкова, Санникова, речь на первом пленуме Оргкомитета)[10]. А. Белый пытался критически пересмотреть свое прошлое в двух томах мемуаров – «На рубеже двух столетий» и «Начало века».

Он во многом безнадежно путался и ошибался. Он пытался найти черты революционности в своем символистском прошлом, он часто хотел формально-диалектические трюки выдать за философию марксизма, он не знал и не понимал [пути к общению][11] с массами. Он во многом остался индивидуалистом, кабинетным философом, литератором старого типа, оторванным от жизни и борьбы.

Внутренняя творческая трагедия А. Белого последних лет обусловливалась разрывом между все возраставшим желанием писателя отдать свой [писательский] «станок»[12] на дело пролетариата и невозможностью для Белого последовательно, решительно, бесповоротно отсечь свое [идеалистическое,] во многом враждебное нам прошлое.

Творчество Андрея Белого не принадлежит к тем классическим образцам культуры классового общества (Бальзак, Гете, Шекспир), которые в основном войдут в сокровищницу социалистической культуры. Но лучшие его произведения будут еще долго жить как замечательные по своей силе и яркости художественные документы гибели прошлого, и образ Андрея Белого, – страстно хотевшего переломить себя, но трагически не сумевшего этого сделать, – войдет в сознание людей нового мира с большим уважением к нему, со стремлением изучить и понять этот сложный клубок человеческих страстей, раздумий и противоречий.

Послесловие

Литературный критик Анатолий Кузьмич Тарасенков (1909–1956) больше известен как библиофил и собиратель значительной книжной коллекции русской поэзии первой половины XX века, которая после смерти Тарасенкова поступила в Российскую государственную библиотеку. Описание этого собрания не потеряло интереса и значения до сегодняшнего дня[i]. До Второй мировой войны А.К. Та-

[i] *Тарасенков А.К.* Русские поэты XX века. 1900–1955: Библиография. М., 1966; см. также дополненное издание: *Тарасенков А.К., Турчинский Л.М.* Русские поэты XX века. 1905–1955. Материалы для библиографии. М.: Языки славянской культуры, 2004.

расенков был заместителем главного редактора журнала «Знамя», в годы войны работал военным журналистом, а в 1950 г. стал заместителем А.Т. Твардовского, главного редактора журнала «Новый мир».

Первое обращение Тарасенкова к творчеству Белого произошло в 1932 г., когда двадцатитрехлетний критик опубликовал статью «Тема войны в романе Андрея Белого “Москва”» (ЛОКАФ. № 10. С. 170–183). Очерк «Памяти Андрея Белого» был написан 11 января 1934 г., на следующий же день после похорон писателя, и напечатан в январском номере журнала «Художественная литература» за 1934 г. (№ 1. С. 4–5). Публикация была проиллюстрирована фотографией Белого 1933 г.

Этот номер журнала открывался некрологом (автор – Е. Книпович) первому наркому просвещения А.В. Луначарскому, умершему 26 декабря 1933 г. («Луначарский – литературный критик». С. 2–3).

При сравнении печатного текста с автографом в фонде Тарасенкова в РГАЛИ (Ф. 2587. Оп. 2. Ед. хр. 53. Л. 19–22) обнаружилось, что при публикации были произведены сокращения и изменения цензурного характера. В основном это коснулось оценок Белого, показавшихся, видимо, завышенными и неуместными. Так, при печати был вырезан фрагмент, в котором Белый ставился в один ряд с великими деятелями культуры: «Андрей Белый по самому типу своего мышления продолжал традиции величайших людей человеческой предыстории – Аристотеля, Гете, Леонардо да Винчи». Кроме того, были «социализированы» некоторые выражения: так, «мистическая основа творчества» писателя стала «идеалистической», «поиски своего пути к рабочему классу» – «поисками своего пути к советской действительности» и т.п.

Среди рабочих бумаг Тарасенкова сохранился и черновой набросок плана издания полного собрания стихотворений Белого, датированный, как и очерк «Памяти Белого», 11 января 1934 г. Такая поспешность объяснялась, видимо, тем, что Тарасенков входил в комитет по увековечению памяти Андрея Белого, сформированный 8 января 1934 г. Фигурирует имя Тарасенкова и в списках потенциальных участников вечера памяти Белого в ГИХЛе, проведение которого было намечено на 20 февраля, но сорвалось. В августе он приступил к написанию большой обзорной статьи «Поэзия Андрея Белого» для несостоявшегося сборника стихотворений Белого 1935 г. и вышедшей в свет уже после смерти Тарасенкова. В основу этой статьи был положен очерк-некролог, напечатанный в журнале «Художественная литература» (1934. № 1. С. 4–5).

В настоящей публикации купюры и изменения, произведенные в журнальном варианте, восстановлены по автографу РГАЛИ. Фрагменты текста, не вошедшие в журнальную статью, выделены квадратными скобками. Разночтения отмечены в примечаниях.

---

[1] Здесь и далее фрагменты в квадратных скобках, вычеркнутые в печатном варианте некролога, восстановлены по автографу из РГАЛИ (Ф. 2587. Оп. 2. Ед. хр. 53. Л. 19–22).

[2] См. об этом устоявшемся советском штампе в прим. к некрологу Пильняка, Пастернака и Санникова в наст. изд.

[3] В печатном варианте – «идеалистической».

[4] Тема романа «Петербург».

[5] В печатном варианте – «к советской действительности».

[6] В печатном варианте – «книгах».

[7] Написаны и изданы были две части первого тома романа «Москва» – «Московский чудак» и «Москва под ударом» (М.: Круг, 1926; М.: Никитинские субботники, 1927 и 1928), и первая часть второго тома – «Маски» (М.: ГИХЛ, 1932).

[8] *Андрей Белый.* Одна из обителей царства теней. Л.: ГИЗ, 1925 (книга вышла в 1924 г.).

[9] В печатном варианте – «делу».

[10] 30 октября 1932 г. Белый выступил с речью на пленуме Оргкомитета Союза советских писателей (см. ее републикацию в сб.: Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 679–682), 23 ноября 1932 г. – с докладом «Культура краеведческого очерка» в секции писателей-краеведов в Оргкомитете Союза советских писателей (см.: Новый мир. 1933. № 3. С. 257–291). Над статьей «Поэма о хлопке» (Новый мир. 1932. № 11. С. 229–248) о поэме Г.А. Санникова «В гостях у египтян», опубликованной в журнале «Новый мир» (1932. № 5. С. 92–123; отд. изд.: М., 1933) Белый работал в конце августа 1932 г., над статьей о романе Ф.В. Гладкова «Энергия» (печатался в журнале «Новый мир» на протяжении всего 1932 г. – № 1–12; отд. изд. – М., 1933) – в конце января – начале февраля 1933 г. (Новый мир. 1933. № 4. С. 273–291).

[11] В печатном варианте – «пути общения».

[12] Образ из речи Белого на пленуме Оргкомитета Союза советских писателей: «Что извлекает из меня энтузиазм? Факт, что обращение партии и ко мне, обобществляет мой станок. Раз это так, я должен его передать государству во всех особенностях его тонкой структуры; я должен бороться за то, чтобы мой станок был в исправности, потому что испорченный станок есть вредительство, пусть бессознательное» (Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 681).

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной

В. М<УРАВЬЕВ>

ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ШКОЛЫ СИМВОЛИСТОВ

Наступление (Смоленск).
1934. № 2.

1934. 8 января. ***От артериосклероза умер Андрей Белый.***

Андрей Белый (Борис Бугаев), яркий представитель и идейный вождь литературной школы символистов, был одним из значительнейших писателей дореволюционной России. Мы говорим дореволюционной потому, что мировоззренческий комплекс, основные черты стиля Белого сложились именно в период русского империализма, потому что многие элементы своей старой философии Белый донес до последних дней, потому, что творческий метод его, сложившийся в таких произведениях, как роман «Петербург», как «Симфония»[1], как книги стихов «Пепел», «Урна» и др., по существу почти не изменился в послереволюционный период его творчества.

В литературе Белый появился в 1901 г. В первых же своих произведениях («Драматическая симфония»[2] и др.) он примкнул к группе символистов. Характерная для распадающегося феодально-дворянского миросозерцания мистика приобретала в творчестве Б. особый смысл. Художники верхушечных слоев буржуазно-дворянской интеллигенции (Белый, Блок) пытались отрицать неприглядную действительность романовско-столыпинской России, и формой такого отрицания являлась мистическая символика.

От жестокой реальности Блок спасался в «голубые дали» потустороннего мира, уходил в беспросветный скептицизм (пьесы[3]). Белый также не мог мириться с действительностью. В сумбурной фантастике его «Симфонии» (1902–1908 гг.) явственно звучат протестантские настроения. Но туманности и бесперспективности его политических идеалов соответствовал туманный и хаотический мир его образов; действительность раздроблялась на мельчайшие зерна, кусочки.

В романе «Серебряный голубь» для идейных установок Белого характерна ставка на мистическую религию сектантов. Белый пытается проникнуть в «тайну народа». Этот период «народничества» окрасил собой ряд стихотворений Белого[4].

Но идеологу буржуазно-феодального декаданса не под силу понять подлинную историческую «тайну», увидеть неизбежность пролетарской революции, первые раскаты которой прозвучали еще в 1905 г.

В своем романе «Петербург» (1913 г.) Белый попытался отобразить социальные конфликты, показать революцию 1905 г.

Но отобразил он ее в кривом зеркале мистики, сняв и затушевав подлинные классовые противоречия. Революция – это нашествие «тамерлановых орд»[5] – вот мысль писателя.

Белый, однако, чувствовал, что крах господствующего строя близок, в романе в образах Аблеухова, Липпанченко и др. показано разложение правящих классов. Ощущение катастрофы пронизывает все творчество Белого дореволюционного периода.

Исчезнет пространство, исчезнет
Россия, Россия моя[6] –

писал Белый, идентифицируя гибель капиталистической системы с гибелью России.

Сильное влияние на мировоззрение Белого, на укрепление в нем мистических и религиозных моментов сыграла философия Р. Штейнера, немецкого антропософа, яркого реакционера и идеалиста-интуитивиста.

После Октября творчество А. Белого начинает до известной степени приближаться к нашей современности. В романе «Москва», в мемуарах «На рубеже двух столетий» Белый дает яркие гротескные образы представителей дореволюционной буржуазной интеллигенции, показывает все ничтожество и бессилие буржуазного либерализма. Но, показав идеологический тупик, в который зашла интеллигенция, Белый боится сделать решительные выводы, социальная характеристика персонажей в романе подменяется сугубо психологической, с налетом мистики.

Субъективно Белый пытался перестроиться (см. его речь на пленуме Оргкомитета ССП), но, оставив без изменения свои творческие установки, он так и не смог перейти на позиции реализма, на позиции пролетарской культуры, философии, литературы. Его последний роман «Маски» (продолжение «Москвы») при всей ненависти писателя к образам старого мира страдает теми же пороками, что и «Москва» и др. романы.

Белый глубоко ощущает диалектику событий, но у него она идеалистична, со своим имманентным развитием. Белый не видит единства мира, логики событий. Поэтому его произведения проникнуты алогизмом, потерей чувства реальности. Сказывается это и в языке Белого. Тонкий стилист и мастер ритмической прозы, он как бы играет словом. Слова у Белого не служат для отражения реальности, а для подчеркивания импрессионистских деталей.

Белый ценен для нас как один из представителей старого общества, перешедший на сторону пролетариата и заклеймивший этот старый мир в своих произведениях. Но творческий метод Белого – метод идеалистический и формалистический – всегда будет чужд и враждебен пролетарской литературе.

Послесловие

Смоленская печать дважды откликнулась на смерть Белого. 12 января 1934 г. в городской газете «Рабочий путь» (С. 4) был опубликован неподписанный некролог, в целом повторявший тексты столичных газет:

«Скончавшийся 8 января писатель Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) принадлежал к числу крупнейших художников слова дореволюционной России.

Будучи одним из наиболее ярких и талантливых представителей литературной школы символистов, Андрей Белый оказал большое влияние на развитие литературной жизни России до Октябрьского периода.

С первых дней Октябрьской революции А. Белый – сотрудник и организатор ТЕО Наркомпроса, затем – руководитель литературной студии Московского Пролеткульта. Последние 10 лет своей жизни А.Б. много работал над советской тематикой.

Перу Андрея Белого принадлежат крупнейшие художественные произведения (47 томов), значительная часть которых переведена на иностранные языки. Кроме нескольких сборников стихов, он дал крупнейшие прозаические произведения, большие работы по вопросам теории искусства.

Вчера, в 6 часов вечера гроб с останками Андрея Белого был установлен в Большом зале Оргкомитета Союза советских писателей.

Последний долг покойному пришла отдать вся литературная Москва.

10 января состоялись похороны писателя Андрея Белого.

В 1 ч. 30 мин. дня под звуки траурного марша траурная процессия направляется в крематорий, где в 3 ч. 30 мин. дня состоялась кремация».

Другим откликом стал некролог во втором номере литературно-художественного и общественно-политического ежемесячника «Наступление», помещенный в рубрику «Литературный календарь» (С. 109–110).

Журнал издавался ССП Западной области в государственном издательстве г. Смоленска (Запгиз; отв. ред. Н.А. Винницкий[i]). 13 марта 1934 г. второй номер «Наступления» был сдан в набор, 14 апреля пошел в печать.

Некролог подписан инициалами «В.М.». Скорее всего, настоящее имя автора – Владимир Муравьев. Известно, что он подписывал свои статьи криптонимами «В.В.», «М.В.», но чаще всего – как и в случае с некрологом Белому – под его публикациями в журнале «Наступление» стояла подпись «В.М.»[ii].

Владимир Игнатьевич Муравьев (1911–1952)[7], сын школьного учителя, выпускник Смоленского педагогического института (окончил также аспирантуру), был профессиональным филологом, писавшим в местной печати не только о современной литературе, но также о русской классической литературе XIX века, о литературе зарубежной, о фольклоре (см. выпущенный в соавторстве с П.М. Соболевым сб. «Фольклор фабрично-заводских рабочих» – Смоленск, 1934).

Важной страницей его биографии была дружба с проживавшим в 1928–1936 гг. в Смоленске А.Т. Твардовским и литературным критиком А.В. Македоновым. Близость с последним обернулась для Муравьева трагедией: в декабре 1937 г. он был

[i] В редколлегию журнала входили также еще четыре литератора: Михаил Сергеевич Завьялов (1897–1938) – писатель, преподаватель Смоленского государственного педагогического института (СГПИ), председатель ССП (1934–1937); арестован в 1937 г. по «делу Македонова», умер на этапе по пути в исправительно-трудовой лагерь; Исаак Иосифович Кац (1909–?) – директор Дома искусств, театральный и литературный критик, оргсекретарь Оргкомитета ССП ЗО (1933), помощник декана литфака, старший преподаватель СГПИ; Николай Иванович Рыленков (1909–1969) – поэт, однокурсник В.И. Муравьева по СГПИ; Смолин Владимир Викторович (1903 – после 1946) – литератор, педагог, в конце 1930-х – начале 1940-х доцент кафедры литературы СГПИ.

[ii] См.: Библиография литературно-критических и художественных произведений В.И. Муравьева // *Муравьев В.И.* Пасынок судьбы. Стихотворения / Сост., вступ. статья и коммент. Н. Илькевича. М.: Скрин, 1996. С. 147–151.

арестован за участие в контрреволюционной группе смоленской писательской организации и осужден по делу «группы Македонова». По тому же делу были репрессированы писатели Е.М. Марьенков и М.С. Завьялов, художник В.П. Власов, писатель и директор областного драматического театра И.Г. Мандрик[8]. 9 февраля 1938 г. В.И. Муравьеву был вынесен приговор: восемь лет исправительных трудовых лагерей. С 1946 г. В.И. Муравьев жил в Тайшете Иркутской области, работал школьным учителем, занимался литературной работой, продолжал писать стихи. В 1955 г. он был посмертно реабилитирован.

Активным автором журнала «Наступление» В.И. Муравьев стал в 1932 г. (в 1935 г. вошел в редколлегию журнала). Как постоянный литературный обозреватель он регулярно публикует в журнале литературоведческие статьи и рецензии на книги. «Круг его научных интересов довольно широк: устная поэзия рабочего класса; проблема художественного образа; лирика поэтов Западной области; проза Западной области; творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина, А. Толстого, <...> А.Т. Твардовского, М.Ю. Лермонтова, Бернарда Шоу, Е.А. Баратынского, Лессинга»[9]. Изучение творчества символистов «в поэзии, в живописи и т.д.»[10] также входило в круг интересов молодого критика: по-видимому, не случайно именно его статью об Андрее Белом редакция поместила в качестве некролога старейшему символисту.

Все некрологи в «Наступлении» для наглядности сопровождены портретами умерших деятелей культуры. Авторы этих изображений, как и прочих многочисленных журнальных иллюстраций, не указаны. Правда, в первом номере за 1934 г. помещены два больших, в полный лист, портрета Ленина и Сталина работы смоленского художника Г.И. Скалимовского[11]. Эти экспрессивные, выполненные в оригинале, вероятно, яркими красками, портреты, в черно-белой печати выглядят несколько устрашающе. И ничем не напоминают помещенные при некрологах линейно-штриховые наброски, характерные для газетно-журнальных изданий. Срисованы они, скорее всего, с фотографий. Портрет Андрея Белого – с одной из последних фотографий 1933 г.

---

[1] Очевидно, автор некролога не читал «Симфоний» Белого и, как кажется, не знал, что их было четыре. Отсюда здесь и далее странное словоупотребление – в единственном числе. При этом даты (1902–1908), приведенные ниже, охватывают годы выхода всех четырех симфоний.

[2] «Симфония (2-я, драматическая)» (М.: Скорпион, 1902).

[3] Трудно сказать, что автор имеет в виду: то ли драматический отрывок «Пасть ночи» (Золотое руно. 1906. № 1), то ли пьесу по роману «Петербург», поставленную в МХТ-2 в 1925 г., но, может быть, и просто принял за пьесу «Симфонию (2-ю, драматическую)».

[4] Имеются в виду стихотворения из сб. «Пепел» (СПб.: Шиповник, 1909).

[5] О «тысячах тамерлановских всадников», которые «в сравнительно недавнее время, как на Русь повалили», см. в романе «Петербург» (гл. 5). См.: *Андрей Белый.* Петербург: Роман в восьми главах с прологом и эпилогом / Подгот. изд. Л. Долгополова; Отв. ред. Д. Лихачев; прим. С. Гречишкина, Л. Долгополова, А. Лаврова. М.: Наука, 1981. С. 238.

[6] Неточно цитируются заключительные строки из стихотворения «Отчаяние» (1908; сб. «Пепел»). Правильно: «Исчезни в пространстве, исчезни, / Россия, Россия моя!» При-

мечательно, что автор смоленского некролога повторяет ошибку, ранее допущенную К. Локсом в некрологе из «Литературной газеты» (11 января). См. в наст. изд.

[7] Даты приводятся по предисловию Н.Н. Илькевича к книге В.И. Муравьев «Пасынок судьбы» (ряд исследователей указывает другие даты); из этого же источника почерпнуты биографические сведения.

[8] Адриан Владимирович Македонов (1909–1994) – филолог, писатель, геолог; близкий друг А.Т. Твардовского; с 1930 г. ответственный секретарь областного издательства, затем журнала «Наступление», в 1934 г. был избран на Всесоюзный съезд советских писателей в числе четырех делегатов от Западной области; в 1937 г. был арестован, осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей и направлен в Воркуту; Марьенков Ефрем Михайлович (1898–1977) – писатель, близкий друг А.Т. Твардовского; с 1924 г. в смоленских журналах публикуются его рассказы и очерки; Власов Василий Петрович (1894 – после 1958) – художник; Мандрик Иван Григорьевич (1898–?) – директор Смоленского областного драматического театра; в 1937 г. осужден на 5 лет ИТЛ.

[9] *Муравьев В.И.* Пасынок судьбы. С. 16.

[10] Письмо Наталье Игнатьевне Муравьевой (1916–1966), журналистке, писательнице, сестре В.И. Муравьева от 5 января 1933 (Там же. С. 140)

[11] Георгий Иванович Скалимовский (Сколимовский) (1904–1983) – художник; в 1939 г. станет Председателем Смоленского отделения Союза советских художников.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной

ТИЦИАН ТАБИДЗЕ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Мнатоби (Тифлис).
1934. № 1/2.

Андрей Белый и Александр Блок – два «трепетных крыла» русского символизма. Соратники и однолетки, они были неразлучны. Андрей Белый на двенадцать лет пережил Блока. Но друг был всегда с ним, в его творчестве и воспоминаниях. «Воспоминания»[1] же по существу объемлют историю русского символизма.

Это – не воспоминания в обычном смысле слова, а разговор с самим собой, наедине.

В этой эпопее Андрей Белый вспоминает необычайную историю встречи двух поэтов[2], ставших впоследствии сиамскими братьями-близнецами по духу, которым вскоре пришлось принять на себя всю тяжесть борьбы за утверждение нового в русской поэзии; здесь в качестве действующих лиц выступают: петербургские туманы, снежная Москва и шахматовские зори.

Ни одному русскому писателю не посвящалось столько восхищенных строк, как Андрею Белому. Его часто называли гением не только в тесной среде символистов, где впоследствии у него оказалось больше врагов, чем друзей, но и в других кругах русских литераторов.

В декларации, обнародованной Борисом Пильняком и Борисом Пастернаком в день смерти Андрея Белого[3], обнаруживаем немало политических ошибок и неправильных формулировок в оценке политической роли Андрея Белого: в ней революция формы спутана с революцией содержания, и Белый всей субстанцией своего творчества возведен в разряд явлений революционных[4]. Но есть в декларации места, которые, несмотря ни на что, можно считать программой целого литературного поколения.

«Андрей Белый, замечательнейший писатель нашего века, имя которого станет рядом с именами классиков не только русских, но и мировых. Имя каждого гения всегда отмечено созданием своей школы. Творчество Андрея Белого – не только гениальный вклад как в русскую, так и в мировую литературу, оно – создатель громадной школы. Перекликаясь с Марселем Прустом в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, А. Белый делал это полнее и совершеннее. Джемс Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джемс Джойс – ученик Андрея Белого. Придя в русскую литературу младшим представителем школы символистов, Белый создал больше, чем все старшее поколение этой школы – Брюсов, Мережковские, Сологуб и др. Он перерос свою школу, оказав решающее влияние на все последующие русские литературные течения. Мы, авторы этих посмертных строк о Белом, считаем себя его учениками».

Оценка явно преувеличена. Но одно несомненно — влияние Андрея Белого на литературу его времени действительно было весьма ощутимым, и вряд ли найдется сейчас писатель в прозе, который не прошел бы сквозь Белого, как раньше проходили сквозь Гоголя и Достоевского.

Такова же была участь Велимира Хлебникова в левой русской поэзии. Ближайшие литературные друзья его в свое время издали литературный памфлет «Нахлебники Хлебникова»[5], в котором доказывали, что футуристы всех формаций берут начало от Хлебникова[6].

Для Андрея Белого символизм никогда не был фетишем, его ищущий дух никогда не мог остановиться на застывших формах искусства, подвиг его жизни и писательства — это открытие новых путей творчества.

Ведь он не сейчас, а давно осмеял ортодоксальный французский символизм Малларме и Реми де Гурмона[7]. Он и призвание русского символизма видел в других откровениях и старался вскрыть его национальную природу.

Густав Флобер думал, что мистицизм является узаконением отсутствия формы. «Если бы не было любви к форме, я был бы величайшим мистиком»[8], — писал он в одном из своих писем. И величайший стилист предпочитал «жить как мещанин, но мыслить как полубог»[9].

Все творчество Андрея Белого — дуэль формы и мистики. Ему принадлежит много трудов о природе русского стиха. Сын известного математика Н. Бугаева, А. Белый изучал математику в университете для того, чтобы впоследствии «алгеброй проверить музыку»[10], потому что «биология теней до сих пор не изучена»[11]. Как Эдгар По, он считал, что поэму можно написать и с конца[12] точно так же, как китайцы строят дом с кровли. Именно из любви к математике свои последние произведения он посвящал «архангельскому крестьянину Михаилу Ломоносову»[13].

Не всегда, однако, Андрей Белый выходил победителем из этого рокового единоборства. Главную роль играла не борьба за стиль, а борьба за мировоззрение. А здесь — еще более тяжелая трагическая раздвоенность. Словно в темнице, метался поэт в стенах готового рухнуть здания старого. Искал путей. Иногда ему казалось, что выход почти найден, что перед ним — широкий путь... Но вскоре опять наступало разочарование...

Много раз омрачалось его сознание. И тогда не только обыватели, но и мастера начинали сомневаться в алхимической магии его.

Иннокентию Анненскому, воспитанному на французских декадентах, казалось, что Андрей Белый пишет слишком много и не успевает осмыслить написанное[14]. Но Анненскому не довелось прочитать «Петербург». А это вершина мысли, облеченной в художественно совершенную форму.

Илья Эренбург утверждает, что среди современных русских писателей только Андрей Белый является носителем элементов гения. Однако разрубленного сердца пророка, по его мнению, не коснулось ни одно крыло шестикрылого серафима[15]. Поэтому, мол, и веет от него холодком[16]. Началом всех начал в Белом является его раздвоенность, трагическая безысходность.

Трудно поверить, что один и тот же человек мог написать такие исключающие друг друга книги, как: «Золото в лазури», «Возврат», «Северная симфония», «Арабески», «Серебряный голубь», «Петербург», «Пепел», «Котик Летаев»,

«Записки чудака», «Крещеный китаец», «Москва», «Маски» и другие — всего 47 томов. Все они проникнуты единым духом, стройной мыслью, хотя и написаны по-разному. В них как будто нет жизни — есть одно сплошное вдохновение и слышатся:

Глухие времени стенания,
Пророческий прощальный глас...[17]

В таком же конфликте с окружающей действительностью был и А. Блок. Это сблизило поэтов. Они встретились почти на заре творчества и дружили всю жизнь. Социальная база у них была общая — они происходили из круга самой квалифицированной буржуазной интеллигенции. Для обоих мир раскрылся в профессорских кабинетах, и эти формулы до смерти сковывали их сознание.

Оба восторженно приветствовали гибель капиталистического мира, и у обоих вырвался из груди радостный вздох, когда Октябрьская буря пронеслась над Мойкой. Написанные в первых числах октября «Двенадцать» и «Скифы» — лучшие этому свидетельства.

В лучшем стихотворении Андрея Белого, тоже отлитом по этой форме, как и в «Двенадцати», Христос все-таки не отступает от революции:

Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня,
Россия, Россия, Россия,
Безумствуй, сжигая меня.

В твои роковые разрухи,
В глухие твои глубины
Струят крылорукие духи
Свои светозарные сны.

Не плачьте: склоните колени
Туда — в ураганы огней,
В грома серафических пений,
В потоки космических дней.

Сухие пустыни позора,
Моря неизливные слез —
Лучом безглагольного взора
Согреет сошедший Христос.
. . . .

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня...
Россия, Россия, Россия,
Мессия грядущего дня...[18]

В этих стихах, как в «Двенадцати» А. Блока, выражен взрыв радости по поводу крушения старого и рождения нового мира, призванного стать мессией человечества. Но это еще не утверждение революции. Для принятия революции, как это вскоре выяснилось, потребуется еще многое. Не легко расстаться с тем, что старое отложило в сознании. Но здесь есть та радость, которая побеждает своей искренностью, внушает предчувствие крушения старого мира и капиталистической неволи. Это испытал Андрей Белый после первой русской революции 1905 года. Об этом его второе замечательное стихотворение:

Довольно, не жди, не надейся,
Рассейся, мой бедный народ,
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!
Века нищеты и безволья
В сырое, пустое раздолье,
Позвольте, о родина-мать,
В сырое, пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать!
. . . .
Где в душу мне смотрят из ночи,
Поднявшись над сетью бугров,
Жестокие желтые очи
Безумных твоих кабаков.
Туда — где смертей и болезней
Лихая прошла колея —
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!..[19]

Крушение старой России воодушевило Белого на создание «Петербурга» — романа на тему революции 1905 года. Этот роман поверг в недоумение русскую критику. Таким необыкновенным языком и пафосом в те годы ничего не писалось. Только Вячеслав Иванов заметил, что ключ к этому роману надо искать в «Петербургских повестях» Гоголя[20]. Но если форма его еще обнаруживала кое-какие признаки влияния Гоголя, то содержание этого романа (оправданное затем всем ходом революции) до сих пор оставляет впечатление нечеловеческого ясновидения.

«— Милостивые государи и государыни!.. Что такое русская империя наша?» — спрашивает во вступлении к роману Андрей Белый[21] и с потрясающей конкретностью говорит миру об эфемерности Российской империи, всей ее бюрократии и инфернальном бытии старого Петербурга. Здесь есть печаль заходящего солнца, здесь Цусима, Калка и Куликово поле, — будто бы вновь восстали монгольские орды и высматривают — кто у них в потомках остался. Здесь сенатор Аблеухов и его сын Николай Аполлонович[22] Аблеухов — молодой студент, который замешан в революции.

С обеих сторон дана картина предреволюционной России. У сенатора Аблеухова, правящего Россией с помощью циркуляров, обладающего властью всех вздернуть на виселице и уничтожить целые губернии, нет ни человеческих чувств, ни личной силы: он схема и аппаратный пар. Революция и обнажила сущность сенатора Аблеухова и других ему подобных. Книга, составленная по материалам проведенного после революции суда над царскими министрами и их допросов (эту книгу редактировал А. Блок[23]), показывает, как хорошо знал Андрей Белый старую бюрократическую Россию. Карета сенатора Аблеухова и пустота украшенного кариатидами дворца изображены таким образом, что охватывает дрожь; и эта пустота, как туман, опоясывает старый Петербург.

Моментальным вызовом появляются: Петр Великий, Екатерина II, Николай I, построившие эту громадную империю. Все окрашено в цвет медного купороса, окутано петербургским туманом и оказывает гнетущее давление на Аблеухова, который и символически, и физически выражает существо прогнившего режима, за которым слышна песня революционной бури.

Сын сенатора Николай Аблеухов дан более конкретно. В крови этого юноши уже течет гнилая отцовская кровь. В бреду и ночных кошмарах ему является древний предок — «Преподобный монгол». Холодный пот проступает при диалоге этого монгола с Иммануилом Кантом, в котором выносится последний приговор новому поколению буржуазной и бюрократической России, оторванному от жизни, бесхребетному, не имеющему крепких корней.

В романе, где Белый несомненно пользовался методом остранения[24], мы находим много спорного. Действительно, в самом деле старая Россия не была страной только теней и аппаратных схем, но, тем не менее, поэтическое видение и пророческое предчувствие гибели Петербурга, подъема Нижнего Новгорода и вздыбливание маленьких республик превосходит человеческое ясновидение.

Убедительнее, яснее рассказ Андрея Белого о среде либеральной интеллигенции в книгах «На рубеже двух столетий» и «Начало века». Здесь много портретных зарисовок, остер социологический анализ событий.

Сам Андрей Белый выносит беспощадный приговор людям эпохи, к числу которых причисляет и самого себя: «В конце концов это было полным банкротством синицы, обещавшей поджечь мир, вместо этого пойманной в клетку, в которой она билась...»[25]

Сбившиеся с пути герои этих книг думали, что решают мировые проблемы и ищут истину, а на самом деле оказались загнанными в кольцо буржуазного кризиса. Рассмотрены также их творчество и общественная деятельность. Никто не умел так беспощадно вскрыть болячки своего поколения и никто не умел так жестоко высмеять споры — легкомысленные перебранки литературных школ того времени, как Андрей Белый.

Эти «герои» стали во главе духовной жизни страны. Они вершили дела в академии, в университете, в религиозно-философских и литературных обществах, но всюду вместе с ними пришла духовная пустота, обнаружились оторванность от народных корней, моральное бессилие, химерические мечтания. Таковыми были: Стороженки, Веселовские, Янжулы, Ковалевские, Танеевы. Среди литераторов: Мережковские, Розановы, Соловьевы.

Правда, поколение Андрея Белого стояло в оппозиции к этой генерации гуманизма и либерализма и в борьбе с ними видело свое призвание, но этого оказалось недостаточно для оправдания самого Андрея Белого, который хотел «родным счесться» с Октябрьской революцией, хотя это его благородное желание ни на чем не основывалось[26].

Это не было приемом мимикрии. Он тяжело оплакал свою судьбу еще в книге стихов «Пепел», которая по глубине и смелости общественных мотивов близка поэзии Некрасова[27].

Он никогда не скрывал своего прошлого, даже то, что он был в плену у доктора Штейнера и вместе с ним в горах Швейцарии строил храм Иоанна, Гетеанум. В романе «Серебряный голубь» он показал мутную природу секты хлыстов и в лице столяра Кудеярова за двадцать лет до появления Григория Распутина дал его прототип.

Александр Блок в «Скифах» выразил смысл революции в таком сравнении — когда вылупляется цыпленок, скорлупа яйца лопается, а обыватели думают, что небо рушится[28] в то время, когда, наоборот, — рождается новое существо, новое бытие[29].

В прошлом году на пленуме Оргкомитета Союза советских писателей[30] Андрей Белый выступил с декларацией, которую, затаив дыхание, слушала вся литературная Россия. Это была искренняя исповедь величайшего писателя, выстрадавшего полное право сказать правду — заявить о признании им обобществления производственного оружия литературы и пафоса нового строительства[31]. Он даже нашел формулу, чтобы одернуть критику за чрезмерное и несправедливое шельмование литературы, напомнив о том, как отнесся Тарас Бульба к своему сыну, побившему отца[32].

Смерть помешала неустанному труженику-писателю внести свою лепту в великое всенародное дело. В своем последнем письме, которое открывает недавно вышедшее «Начало века», Андрей Белый повторяет написанную некогда эпитафию:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел,
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел[33].

Это не эпитафия, это — горький итог прожитой жизни, суровый приговор. Это — неудовлетворенность собой.

Андрей Белый, подобно другим большим русским писателям, исполнил еще один поэтический долг — в последние годы он очень сблизился с Грузией и в своей книге «Ветер с Кавказа» рассказал, как выглядит Грузия в послепушкинской русской поэзии.

В 1927 году он с режиссером Всеволодом Мейерхольдом приехал в Грузию и провел здесь лето[34]. Второй раз, в 1929 году[35], он провел все лето в Сачхере, в доме Акакия Церетели[36], и в Коджори, где писал не опубликованную еще «Симфонию гор»[37].

В 1931 году поэт думал обосноваться в Тбилиси на несколько лет, но так получилось, что он переехал в Детское Село[38], и не получилось осуществить задуманное[39].

Осень прошлого года ему хотелось провести в Кахетии, в Цинандали, но как раз перед отъездом он тяжело заболел[40] и, пролежав три месяца в постели после кровоизлияния, скончался.

О наших встречах с ним я расскажу в другой раз. Сейчас трудно спокойно восстановить в памяти все, касающееся этого величайшего мастера и замечательного человека. А ведь воспоминания — самое дорогое, что остается нам после близких и дорогих людей.

Перевод с грузинского Г.Г. Маргвелашвили, Р. Конджария

Послесловие

Андрея Белого и грузинского поэта, переводчика, одного из основателей группы грузинских символистов «Голубые роги» Тициана Табидзе (полное имя: Тициан Юстинович; 1895–1937; расстрелян) связывали долгие дружеские отношения. Они познакомились в мае 1927 г. во время первой поездки Белого в Грузию (8 апреля — 23 июля 1927 г.). Во время второй и третьей поездки Белого на Кавказ (4 мая — 11 августа 1928 г. и 30 апреля — 21 августа 1929 г.) общение с Табидзе и его друзьями-литераторами продолжилось, отношения упрочились. Подводя итоги последнему путешествию, Белый записал в «Ракурсе к дневнику»: «<...> смысл поездки — более конкретное отношение к душам людей, с которыми встречались, главным образом с Табидзе и его женой; Табидзе воистину стал мне братом; неспроста “Голубые роги” подарили мне свой рог <...>»[i].

Контакты Белого с грузинскими писателями, в том числе и с Тицианом Табидзе, начавшиеся в 1927 г., не прекращались и в 1930-е[ii]. Они носили не только бытовой характер (переговоры об организации нового приезда на Кавказ), но и творческий[iii].

В этой связи естественно, что Тициан Табидзе должен был войти в Комитет по увековечению памяти Андрея Белого и что его выступление с воспоминаниями о пребывании Белого в Грузии предполагалось на вечерах памяти умершего писателя.

За основу некролога[i] Табидзе взял свою статью «Андрей Белый», написанную вскоре после знакомства с Андреем Белым и опубликованную 1 июля 1927 г. в пе-

[i] *РД*. Л. 145 об.

[ii] См.: *Табидзе, Тициан*. Статьи, очерки, переписка. Тбилиси, 1964. С. 241–242; Андрей Белый и поэты группы «Голубые роги» (Новые материалы) / Публ. и прим. П. Нерлера // Вопросы литературы. 1988. № 4. С. 276–281; и др.

[iii] О влиянии Белого на Табидзе см.: *Рам Х.* Андрей Белый и Грузия: Грузинский модернизм и переосмысление петербургского текста в периферийном пространстве // Андрей Белый в изменяющемся мире: к 125-летию со дня рождения. Сборник материалов международной научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Андрея Белого / Сост. М.Л. Спивак, И.Б. Делекторская, Е.В. Наседкина. М.: Наука, 2008. С. 370 и далее.

[iv] Опубликован на грузинском языке в журнале «Мнатоби» («Светоч») — 1934. № 1/2. С. 161–168; перепечатан в кн.: *Табидзе Т.* Собр. соч.: В 3 т. Т. II. Тбилиси, 1966 (на грузинском языке).

реводе на русский язык в тифлисской газете «Заря Востока» (см. републикацию с комментариями А.В. Лаврова в кн.: Андрей Белый: pro et contra. СПб., 2004. С. 761–764, 984–985). Некоторые фрагменты статьи 1927 г. вошли в некролог в неизменном виде, некоторые — в слегка переделанном. Добавления, внесенные Табидзе в 1934 г., касались не только анализа поздних произведений Андрея Белого, но и уточнения политических оценок его личности и творчества, сделанных с учетом предисловия Л.Б. Каменева к мемуарам Белого «Начало века» и скандала, разразившегося в связи с публикацией в «Известиях» 9 января 1934 г. панегирического некролога, написанного Б.Л. Пастернаком, Б.А. Пильняком, Г.А. Санниковым.

В основу русского текста положен перевод, обнаруженный нами в РГАЛИ (Ф. 3100. Оп. 1. Ед. хр. 144. Л. 15–17), в фонде писателя и литературоведа Гарегина Владимировича Бебутова (1904–1987). Его автор Г.Г. Маргвелашвили. Скорее всего, это Георгий Георгиевич Маргвелашвили (1923–1989) — публицист, литературный критик, переводчик. По свидетельству Бебутова 1981 г., он получил этот перевод много лет назад от вдовы Тициана Табидзе Нины Александровны (урожд. Макашвили; 1900–1965). В этом переводе были сглажены некоторые политические оценки и пропущено несколько абзацев. Пропуски и неточности перевода восстановлены Роином Конджария. Некоторые фрагменты, механически перенесенные автором в некролог 1934 г. из статьи 1927 г., также перенесены нами из прижизненной Т. Табидзе русскоязычной публикации в газете “Заря Востока” (1927. 1 июня).

Выражаем огромную благодарность Харши Раму, указавшему на этот важный материал и предоставившему грузинский текст некролога, и Т.Л. Никольской за ценные консультации.

---

[1] Имеются в виду «Воспоминания о Блоке» Андрея Белого, опубликованные в журнале «Эпопея» (1922–1923. № 1–4), выходившем в берлинском издательстве «Геликон».

[2] Первая встреча Белого и Блока состоялась 10 января 1934 г.

[3] Имеется в виду некролог Б.Л. Пастернака, Б.А. Пильняка и Г.А. Санникова, опубликованный в «Известиях» 9 января 1934 г. См. подробнее во вступ. статье.

[4] Ср. в некрологе: «Андрей Белый деятельно определил свои политические взгляды, заняв место по нашу сторону баррикад, но и по самому существу своего творчества должен быть отнесен к разряду явлений революционных. Этот переход определяется всей субстанцией Андрея Белого».

[5] *Хлебников В.* Всем. Ночной бал; *Альвэк.* Нахлебники Хлебникова. Маяковский — Асеев. М., 1927. Книга была издана на средства поэта Иосифа Соломоновича Альвека (Альвэка; наст. фамилия: Израилевич; 1895–1943?), который был близок с Хлебниковым в последние годы его жизни.

[6] Ср. с аналогичным фрагментом в статье Т. Табидзе 1927 г.: «Недавно сообщалось, что выходит литературный памфлет Альвэка “Нахлебники Хлебникова”; по всей вероятности, автор будет пытаться доказать, что футуристы всех формаций — “Нахлебники Хлебнико-

ва", т.е. идут от него» (Заря Востока. 1927. 1 июля; републикация: Андрей Белый: pro et contra. С. 761).

[7] По мнению А.В. Лаврова, здесь возможна отсылка к статье Белого 1907 года «Теория или старая баба» (Андрей Белый: pro et contra. С. 984).

[8] «Не будь у меня любви к форме, я, быть может, стал бы великим мистиком» (Из письма к Луизе Коле от 27 декабря 1852 г.). См.: *Флобер Г.* О литературе, искусстве, писательском труде: Письма. Статьи: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 238.

[9] «Да, я утверждаю (и для меня это должно стать практическим догматом в жизни художника), что жизнь свою надо разделить на две части: жить как мещанин и мыслить как полубог. Между утехами тела и ума нет ничего общего» (Из письма к Луизе Коле от 21–22 августа 1953 г.). См.: *Флобер Г.* О литературе, искусстве, писательском труде. Т. 1. С. 303.

[10] «Музыку я разъял, как труп. Поверил // Я алгеброй гармонию» – из трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери».

[11] Из романа Андрея Белого «Петербург» (Сирин. Сб. 3. СПб., 1914. С. 88).

[12] Имеется в виду рассуждение Эдгара По о работе над стихотворением «Ворон» в статье «Философия творчества» (1846): «<...> с конца <...> и должны начинаться все произведения искусства» (*По Э.А.* Стихотворения. Новеллы. Повесть о приключениях Артура Гордона. Письма. Эссе. М., 2003. С. 714.

[13] Имеется в виду посвящение к роману «Московский чудак» (1926): «Посвящаю памяти архангельского крестьянина Михаила Ломоносова».

[14] Отсылка к статье Иннокентия Анненского «О современном лиризме» (Аполлон. 1909. № 1. С. 12–42; № 2. С. 3–29; № 3. С. 5–29). См. также: *Анненский Иннокентий.* Книги отражений. М., 1979. С. 367 (Серия «Литературные памятники»).

[15] Обыгрываются образы из стихотворения А.С. Пушкина «Пророк» (1926): «Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился, – / И шестикрылый серафим / На перепутье мне явился. <...> / И он мне грудь рассек мечом, / И сердце трепетное вынул, / И угль, пылающий огнем, / Во грудь отверстую водвинул».

[16] Ср.: «Почему даже это пламенное слово "гений", когда говорят о Белом, звучит, как титул, как ярлык, заготовленный каким-нибудь журнальным критиком. Белый мог быть пророком: его мудрость горит, ибо она безумна, его безумие юродивого озарено божественной мудростью. Но "шестикрылый серафим", слетев к нему, не кончил работы. Он разверз очи поэта, он дал ему услышать нездешний ритм, он подарил ему "жало мудрое змеи", но он не коснулся его сердца. Какое странное противоречие: неистовая пламенная мысль, а в сердце вместо пылающего угля – лед. И, глядя на сверкающие кристаллы, на алмазные венцы горных вершин, жаждущие пророка почтительно, даже восторженно говорят: "гениально". Но ставят прочитанный томик на полку просто. Любовь и ненависть могут вести за собой людей, но не безумие чисел, не математика космоса, – видения Белого полны великолепия и холода» (*Эренбург И.* Андрей Белый // *Эренбург И.* Портреты современных поэтов. М., 1923. С. 34 (до того – под заглавием «Портреты русских поэтов» – Берлин, 1922).

[17] Неточно цитируется стихотворение Ф.И. Тютчева «Бессонница» («Часов однообразный бой...», 1829).

[18] Цитируется (без предпоследней строфы) стихотворение «Родине» (1917) из сб. Белого «Звезда. Новые стихи» (Пб., 1922. С. 65).

[19] Цитируется стихотворение «Отчаянье» (1908), открывающее сборник «Пепел» (СПб., 1909. С. 13).

[20] Имеется в виду статья В.И. Иванова «Вдохновение ужаса (о романе Андрея Белого “Петербург”)». См.: *Иванов В.И.* Родное и вселенское. Статьи (1904–1916). М., 1917. С. 87–101.

[21] Ср. в романе «Петербург»: «Ваши превосходительства, высокородия, благородия, граждане! Что есть Русская Империя наша?» Далее идет вольный, порой с ошибками, пересказ романа.

[22] У Табидзе – Николаевич.

[23] *Блок А.А.* Последние дни императорской власти. Пб., 1921.

[24] Введен В.Б. Шкловским в статье «Искусство как прием» (Поэтика: Сб. по теории поэтического языка. Пг., 1919. С. 101–114).

[25] Эту цитату Белого из «Начала века» (М.; Л., 1933. С. 465–466) приводит Л.Б. Каменев в своем предисловии к книге и в некрологе в газете «Известия» (10 января 1934 г.). Далее Т. Табидзе пересказывает близко к тексту критические слова Каменева о Белом.

[26] Ср. в предисловии Л.Б. Каменева к «Началу века»: «Ведь даже те замшевшие и насквозь гнилые оплоты буржуазного гуманизма и либерализма, против которых ополчилось поколение Белого и в протесте против которых Белый и поныне находит оправдание своего поколения, все эти Стороженки, Веселовские, Ковалевские кажутся *серьезными* рядом с друзьями и соратниками автора. Сам Белый хочет представить своих соратников предтечами нового, пусть уродливыми, нежизнеспособными, чудаческими, но симптоматичными “бунтовщиками”, способствовавшими хотя бы косвенно взрыву феодально-капиталистической культуры в России. Ему хочется с Октябрьской революцией “родным счесться”. Благородное желание. Но – увы! – желание ни на чем не основанное».

[27] Сборник «Пепел» (СПб., 1909) был посвящен «памяти Некрасова» и открывался эпиграфом из стихотворения Н.А. Некрасова «Что ни год – уменьшаются силы...» (1861). В предисловии ко второму изданию «Пепла» (М., 1929) Белый указывал на органическое созвучие своих стихов творчеству Некрасова.

[28] Возможно, обыгрываются образы из рассказа Андрея Белого «Иог», опубликованного в журнале «Сирена» (1918. № 2/3. Стб. 17–30): «<...> каждый из нас путешествует со своим собственным небом (если бы цыпленок в яйце мог бы бегать внутри яйца, он катил бы яйцо, переступая лапками по внутренней стороне скорлупы); так небо, с которым мы ходим, ведь есть скорлупа, обведенная вокруг головы» (цит. по: *Андрей Белый.* Собр. соч.: Серебряный голубь. Рассказы. М., 1995. С. 305).

[29] Досадная ошибка, явившаяся, вероятно, следствием поспешной и небрежной переработки Табидзе своей статьи 1927 г. в некролог: придуманное Белым сравнение революции с вылупляющимся из яйца цыпленком взято из одного абзаца, а Блок и его «Скифы» – из другого, следующего за ним. Ср. в очерке 1927 г.: «Андрей Белый так выразил смысл Октябрьского переворота. Когда цыпленок вылупливается, над ним рушится небо – из разбитого яйца рождается новая жизнь. Ведь только филистеры испугались Октябрьских дней. Здесь слышится хвала новой жизни, а не то гадкое, смердяковское хныканье, “что цыпленки тоже хочут жить”».

И Александр Блок в своих «Скифах» во время Брест-Литовска нашел слова, которые похожи на манифест Совнаркома в ленинские дни:

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира —
В последний раз на светлый братский пир,
Сзывает варварская лира... (Андрей Белый: pro et contra. С. 763).

[30] Андрей Белый выступал 30 октября 1933 г. См.: Советская литература на новом этапе. Стенограмма Первого пленума Оргкомитета Союза советских писателей (29 октября — 3 ноября 1932 г.). М., 1933. С. 69–71. См. также перепечатку речи в сб.: Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 679–682 (публ. и прим. Т.В. Анчуговой).

[31] Ср.: «Что извлекает из меня энтузиазм? Факт, что обращение партии и ко мне обобществляет мой станок» (Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 681).

[32] Ср.: «Тарас Бульба зауважал сына Остапа с момента, когда он показал свою силу в дружеских кулачках. Тов. Авербах! В процессе будущей работы и я могу вас, в случае чего, вызвать на кулачки, не боясь, что могу быть побитым вами, ибо верю, что иное название этим кулачкам — конкретное преодоление друг в друге инерции для извлечения нового строительного электричества; и верю, что что-то нас может объединить» (Там же. С. 682).

[33] Из стихотворения «Друзьям» (1907). См. подробнее во вступ. статье.

[34] Первая поездка Белого на Кавказ состоялась в апреле–июле 1927 г. С В.Э. Мейерхольдом, приехавшим в Грузию с театральными гастролями, он общался в Тифлисе в мае 1927 г.

[35] Второй приезд Белого на Кавказ, в ходе которого писатель посетил и Грузию, и Армению, состоялся в мае–августе 1928 г. В 1929 г. (май–август) Белый снова путешествовал по Кавказу.

[36] В Сачхере, в доме грузинского поэта и общественного деятеля Акакия Церетели (1840–1915), Белый первый раз побывал в мае, а затем жил в июне 1928 г.

[37] В Коджоры Белый приезжал в мае 1928 г. и жил там в июле–августе. В это время Белый начал работать над зарисовками горных пейзажей (хранятся в Государственном литературном музее и в ОР РНБ). Ср. в письме к Б.Л. Пастернаку от 23 июля 1928 г.: «<...> каждый день бегаю на вершину горы, откуда горизонт — несколько сот верст <...> дает нечто, переворачивающее меня морально: до дна, а слов — нет <...>, даже пытаюсь кое-что зарисовывать карандашом, и — ищу слов. <...> горы зарисовываемы не в словесных образах, а в мыслях, которые они навевают; <...> описываю ландшафты в возникающих во мне философемах <...>. И тут-то я вижу, что в мыслях о перспективе, о колоритах, колористических остраннениях рельефа, — я уже точно в душе Коджоры зарисовал <...>» (Из переписки Б. Пастернака с Андреем Белым / Вступ. статья, публ. и коммент. Е.В. Пастернак и Е.Б. Пастернака // Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 695–697).

[38] Белый жил в Детском Селе с апреля по конец декабря 1931 г. (с перерывами на отъезды в Москву, вызванными хлопотами по освобождению К.Н. Бугаевой (Васильевой), арестованной по делу антропософов). 23 ноября 1931 г. Т. Табидзе и П. Яшвили приезжали к Белому в Детское Село.

[39] Ср. в мемуарах П.Н. Зайцева: «ГИХЛ не поддержал Бориса Николаевича в его замысле уехать в апреле в Грузию и поселиться там на все лето. Грузинские поэты любили Андрея Белого. Можно было надеяться, что Паоло Яшвили, Тициан Табидзе и другие проявят заботу и помогут Борису Николаевичу устроиться в Грузии. Но директор ГИХЛа Василий Иванович Соловьев в командировке Белому отказал» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 165).

[40] Белый неоднократно говорил о своем желании надолго уехать на Кавказ, чтобы работать над производственным романом и социалистической тематикой весной–летом

1933 г. (см. об этом подробно: *Лавров А.В.* «Производственный роман» – последний замысел Андрея Белого // *Лавров А.В.* Андрей Белый: Разыскания и этюды. М., 2007. С. 279–305). Осенью 1933 г., уже будучи смертельно больным, он вновь вернулся к обсуждению этих планов (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 181–182). См. запись в дневнике Белого за 2 сентября 1933 г. в наст. изд. «<...> узнали, что Паоло <Яшвили> приготовил нам помещенье в Цинондалах (в Кахетии) на октябрь; но ввиду сложности режима, предписанного мне доктором, решили отказаться от поездки».

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной и М.Л. Спивак

III
ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Дневники, письма, мемуары, посвящения, реплики

К.Н. БУГАЕВА

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С М.С. ВОЛОШИНОЙ

I

К.Н. Бугаева — М.С. Волошиной

31/VII–33. <Харьков>[1].

Милая Мария Степановна!

Подъезжаем к Харькову. Ночь прошла хорошо. Б.Н. спал спокойно. С утра ни головных болей, ни болей в спине не было. И лицо стало живое. Исчезло это ужасное выражение, которое меня так пугало.

Голубушка, Мария Степановна, все время вспоминаю Вас с любовью и нежностью. А эти дни будем мысленно с Вами[2].

Передайте наш сердечный привет Любови Орест<овне> и Вал<ентине> Орест<овне>[3]. Олимпиаду Ник<итичну>[4] сердечно благодарим за все. Пусть она простит меня! Мне так больно, что не поцеловала ее на прощанье.

Обнимаем Вас оба.

Ваша К.Б.

II

К.Н. Бугаева — М.С. Волошиной

2/IX–33. Москва.

Милая Мария Степановна!

Все поджидала Вашего ответа. Как Вы себя чувствуете? Как Ваше здоровье? Как идут экскурсии?[5] Очень хотелось бы о Вас знать.

Б.Н. был уже второй раз у доктора. Он нашел улучшение, но режим оставил попрежнему строгим. Самое трудное для Б.Н. — это, конечно, куренье. Теперь он дошел до 4 папирос в день. Недели через 2½ думаем поставить пьявки. Давление крови очень повышенное: макс. + 225, миним. — 130. Остальные анализы (кровь, моча) вполне благополучны. Боли в крестце и ногах совершенно прошли; голова не болит тоже, но иногда приливы делаются. Настроение в среднем — хорошее. Изредка бывает плохо, когда чем-нибудь взволнуется. Вас всегда вспоминает с любовью и благодарностью. Очень привыкли к Вам за дни, проведенные вместе. Желаем Вам мы оба, голубушка Мария Степановна, тишины и покоя на сердце, хотя и знаю я, как это трудно для Вас.

Обнимаю горячо, горячо. Ваша К.

Привет друзьям и знакомым.

III

М.С. Волошина — К.Н. Бугаевой

14/I–34 г. <Коктебель>[6].

Милая, милая, родная Клавдия Николаевна, и до меня дошла тяжелая весть. Голубушка, знаю все, знаю, как нет у меня слов, узнала об этом вчера и вот вторые сутки просто дрожу вся, одна физически «ни позвать, ни крикнуть, ни помочь»[7].

Молюсь о Масе[8], буду молиться и уже молюсь о Борисе Николаевиче.

Не легче Вам, о нет, я знаю, от этого, но все-таки таких, как мы с Вами, сирот много. Обнимаю Вас и тихонько стою физически сзади и дальше всех, а душевно совсем рядышком, тихонько и близко.

М. Волошина.

IV

К.Н. Бугаева — М.С. Волошиной

17/I–34. Москва.

Милая, милая Мария Степановна,

сегодня получила Ваше письмо. Голубушка, что же Вам скажу. Вы сами пишете, что знаете что и знаете как. Больше ведь ничего не прибавишь. Одна из первых мыслей, когда это случилось, была о Вас. Подумалось: вот теперь мы сестры. И уже в Коктебеле знала, что так это будет. Шесть месяцев к этому шла.

Знала, что, как только узнаете, будете вспоминать его вместе с Максом. И это так хорошо. Они нам помогут, родная, жить здесь и доделать то, что еще нужно доделать. Как и Лиля помогает Воле[9].

Они такие светлые теперь. Будем же думать о них светло.

Милая, родная, теперь уже могу Вам это сказать. И конечно же Вы не далеко, а здесь, здесь рядом. Как и я рядом с Вами.

Скажу еще только, что отошел он совершенно тихо, без всяких мучений. Страдания были шесть месяцев. А последние минуты были как легкий сон. Как и Вы, за несколько дней я уже знала все. Он переживал свое рожденье. Это было так высоко, так прекрасно. Он говорил так необыкновенно и сильно.

Милая, будем же теперь всегда помнить друг о друге. Вдвоем — а вместе с Волей втроем — легче нести. Молитесь за него. Как и я буду теперь вместе с ним вспоминать и молиться о Максе. И знаю, когда придет время, они нас позовут. Будем ждать терпеливо. Будем верить им, что, если нас оставляют, значит, так нужно. Они знают больше и лучше. А мы должны слушать, верить и ждать.

Голубушка, родная, в трудные, тяжкие минуты будем издали вместе. Беру Ваши руки и глажу их тихонько и нежно. Милая, сестра моя. Обнимаю Вас и с Вами всем сердцем.

Ваша Кл. Б.

V

М.С. Волошина — К.Н. Бугаевой

23/I–34 г. <Коктебель>[10].

Родная, хорошая близкая Клавдия Николаевна, все эти дни живу с Вами и хотела писать, да боялась, а вдруг да Вам и не надо.

Молюсь ежедневно и за Бор. Ник. и за Вас. Ведь я только с Масенькой и представляю и всегда теперь о Бор. Ник. помню и встаю и ложусь и днем молюсь. Я ведь в такой пустыне, и молиться всегда можно, а Масеньку около себя всегда чувствую. Но моменты у меня бывают полного и глубокого отчаяния. Нервы в ужасном состоянии. Поэтому еду в Москву попытаться их полечить. Мне очень не хочется уезжать отсюда, еду, заставляя себя. Но у меня очень странные явления начались — почти галлюцинации и что-то надо с этим делать. С ночи на 8 января я ясно видела Бор. Николаевича. Приеду, расскажу.

Будем в трудные минуты вместе. Вы верно — взрослее и мудрее меня — я слепая, маленькая, хуже всех, ничего я не знаю. Мне дорого, дорого что вы протягиваете мне по-сестрински руку. Принимаю ее и прижимаю к осиротелому сердцу — Масенька радостно и светло глядит на нас.

Милая, милая, Вы пишете, что в Коктебеле уже знали. А я не думала и не верила, что Борис Николаевич так тяжело заболел. Только в первый момент испугалась и мелькнул страх, а потом надеялась — пройдет, и совсем не думалось, Господи прости меня!

А вот ровно за месяц до его кончины сразу все поняла.

Ах, слепые мы. Родная моя, голубушка, будем, будем вместе мы и как всей душой буду с Вами всегда и Волю люблю и жалею его. Он тоже знает то, что и мы и Масенька его любил и Лилю, и они все трое тесно связаны — ведь Масенька за них умереть мог еще давно-давно — вы знаете.

Будем вместе, как они там вместе. Они позваны туда от душных дел земли[11]. А мы должны заслужить встречу с ними. Тихонечко, тихонечко прижалась к Вам и молча плачу. Скоро увидимся. Числа 29–30 этого месяца буду в Москве.

Обнимаю Вас, голубушка, будем сестрами, нас очень великое посестрило.

Ваша Маруся.

VI

К.Н. Бугаева — М.С. Волошиной

23 июня 1934. Москва.

Милая Маруся, как раз в те дни, когда особенно думала о Вас и все тянулась Вам написать, пришла от Вас весточка. Спасибо, что вспомнили. Чем-то родным и близким повеяло от Ваших строчек. Так ясно представились Ваши комнаты... мастерская... вышка... Весь прекрасный, незабываемый Коктебель. Прошли картины прошлого лета... И сияющие дни лета 24-го года...[12] Ах, Маруся, милая, голубушка! Как же нам жить без них... Ни одной минуты не проходит, чтобы сердце не разрывалось от боли. С утра, как проснешься — и до ночи, пока не заснешь. Как и Вы, стараюсь жить. Тоже и мама, и сестра. Но у всех нас троих вместе с ним ушла навсегда радость...

Сегодня мне почему-то особенно трудно. С утра была гроза и сейчас воздух такой легкий, освеженный... Как он любил эти первые часы после грозы: «Атмосфера очистилась...» — радовался.

Так по каждому поводу, всюду, во всем, всегда он, мой родной, мой голубь. Мое солнце.

Милая Маруся, пишу Вам, точно с собой говорю. Потому что знаю: откликнетесь Вы. И сами Вы тоже и так же.

О жизни своей ничего как-то сказать не могу. Все в работе. Книгу заканчиваем[13]. Очень спешим. Кроме того еще дела всякие.

В городе пока что не душно. Перепадают дожди. Никуда не тянет.

Простите за письмо такое грустное. Захотелось написать Вам «не беря себя в руки», а так, как есть. Обнимаю Вас горячо. Какое-то тепло в сердце, когда подумаешь, что и Вы с Максом, и Анна Петровна с Сергеем Васильевичем[14] жили на земле в том же Солнце Любви[15]...

Мама и Люся[16] целуют Вас и шлют привет. Поклонитесь от меня Максу, когда будете у него.

<К. Бугаева>.

VII
К.Н. Бугаева — М.С. Волошиной

22 октября 1934. Москва.

Милая, милая Маруся, мы с Вами совпали в мыслях. Последние дни как-то особенно Вы вспоминались. Думала, что у Вас теперь разъезд начинается и что не так Вы заняты будете. Людей будет меньше, времени — больше. И хотелось придти к Вам. Потому что знаю, как это будет, когда останетесь снова одна.

А вот сегодня — от Вас весточка. Спасибо Вам, родная Маруся.

Знаю, что стою в Ваших мыслях, как и Вы — часто, часто: в моих. Понимаю Вас очень, Маруся, милая, что и хорошо Вам говорить о Максе людям[17]. И — больно, больно. Так же больно и радостно знать мне, что Вы Борюшкины слова о нем со своими сплетаете. Так помню, так помню, как он тогда — 15-го июля — торопился их переписывать. И не кончил, голубчик. Оторвала его, чтобы к Вам идти. Это последнее ведь, что он написал[18]. Маруся, милая, время идет. А — все то же и то же. Нисколько не мягче, нисколько не лучше. Как и у Вас, как и у Анны Петровны. Мне все верится, Маруся, что Вы найдете со временем то, что Вам нужно. Прочтете эту великую тайну. Узнаете сердцем, почему они от нас ушли, хотя и любили нас так, как только может любить человек человека. И это такое счастье, Маруся, что все мы трое одинаково можем сказать: мы знали счастье любви. О себе скажу, Маруся, что и теперь все так же живу ей и его силой, его помощью. Слышу его возле себя. Живого, светлого, улыбающегося. Порою: серьезного, серьезного...

Во сне не вижу его. И не могу во сне видеть. Сон — это уже какое-то отдаление. А он — так близко, близко. До сих пор еще почти каждый день бываю в его «садике»[19] — иначе не могу это назвать. Там все лето пестрели всякие цветики. Сидишь — думаешь, не думаешь. Солнышко светит, пчелки жужжат, бабочки перепархивают. А небо — синее-синее: как его взгляд... И во всем он, Маруся! И в луче солнечном, и в ветерке, и в белом облачке... Забудешься. Точно уйдешь в какие-то странные светлые страны. Не то звон слышишь, не то пение. И голос его — точно волнами наплывает... Сердце переполняется...

А дома вожусь с его бумагами. Переписываю, перерисовываю, раскладываю по портфелям, на карточки разношу. Сестра мне помогает. Так и идут дни.

Пишите мне, милая Маруся. Мне всегда хорошо от Ваших писем, хоть и огорчаюсь за Вас, что Вам еще трудно, еще непонятно. Если бы только могла пере-

дать Вам свое, — с какой радостью это бы сделала. Только не передашь этого. Но я твердо верю, Маруся, что Макс Вам поможет. И почти до яви вижу, как он все около Вас, старается Вас убедить: «Маруся! Ведь это же хорошо! Послушайся меня, Маруся...» Поверьте ему. Услышьте его. Он очень просит. Ему это нужно. Он *ждет*.

Голубчик, родная, простите, если что не так в моих словах. Они, ведь, от самого сердца и от большой нежности к Вам.

Мама и Люся очень благодарны за память, целуют Вас и желают Вам покоя в сердце. Обнимаю Вас горячо.

Любящая Вас К. Бугаева.

VIII

М.С. Волошина — К.Н. Бугаевой

7/I–41 г. <Коктебель>[20].

Дорогая Клавдия Николаевна!

Я помню Ваш скорбный день. Завтра в 12 ч. буду у Пра на могиле[21] и буду с Борис<ом> Никол<аевичем>. О себе писать не хочется. Бреду, как умею. Ноги часто слабеют. А руки просто физически болят. В Москву не собираюсь. О Вас ничего не знаю. Но знаю Ваше основное, а все остальное не важно.

Крепко целую Вас. Будьте здоровы. Самый сердечный привет Ел<ене> Вас<ильевне>[22] и Вашей маме. Если черкнете, буду рада.

Маруся.

IX

К.Н. Бугаева — М.С. Волошиной

15 января 1941. Москва.

Милая, милая Маруся, получила Вашу открыточку. Спасибо за память. Знаю, что в этот день — мы вместе. Но мне хочется сказать Вам, что и в «Ваш скорбный день» я также всегда с Вами. Ведь это 11-ое августа — не правда ли? Не всегда есть душевные силы, чтобы Вам в этот день написать. Но в сердце — всегда Макс и Вы — в этот день неизменно. Сижу у Бориса Николаевича, под *его* березками. (Какие они уже стали большие.) А перед глазами встает далекое прошлое. Солнечный Коктебель. Белый, сверкающий пляж. Синее море. Небо... И они оба — живые, веселые... Маруся, родная. Как все это неизгладимо...

Грустно, что Вы не приедете. Я всегда так рада Вас видеть. И часто звучат мне те стихи Тютчева, которые Вы когда-то мне спели. Слышу их так ясно и нежно — и плачу. Голубчик, Маруся, обнимаю Вас горячо. И еще раз спасибо за память. Желаю Вам сил и физических и душевных. Что же это у Вас с руками... Если когда-нибудь вспомните — буду рада.

От мамы и сестры Вам сердечный привет. Мы все понемногу хиреем, но еще топчемся.

Когда пойдете к Максу — низко, низко поклонитесь ему за меня. Целую Вас.

Ваша К. Бугаева.

Послесловие

Марии Степановне Волошиной (1887–1976), второй жене М.А. Волошина, К.Н. Бугаева о постигшем ее горе писала в наиболее откровенной, открытой, эмоциональной форме, понимая, что в данном случае на глубокое сочувствие и понимание можно рассчитывать в полной мере. С Марией Степановной Бугаевы были знакомы давно, но сдружились в 1930 г. В том году большую часть времени они отдыхали в Судаке, но заехали оттуда ненадолго в Коктебель (с 9 по 11 сентября). Как вспоминал П.Н. Зайцев, Белый и Клавдия Николаевна, вернувшись в Москву, «много говорили о двух днях пребывания в Коктебеле, куда они заезжали из Судака. С Максимилианом Александровичем Волошиным у Белого сложились какие-то трудные отношения, а с Марией Степановной – его женой было легко и хорошо»[i].

В писательском санатории, созданном на базе Дома Волошина, проводили Бугаевы и свое последнее лето 1933 г. Их общение с Марией Степановной в те месяцы было тесным и частым. В «Летописи жизни и творчества Андрея Белого» К.Н. Бугаева отметила: «Июнь–июль. Прогулки, посещения М.С. Волошиной, чтение писем М.А. Волошина из его архива <...>». Сближению способствовало то, что Мария Степановна за год до приезда Бугаевых овдовела. Среди множества советских писателей и издательских работников, нахлынувших в то лето в Коктебель, Белый, давний друг волошинского дома, был ей, конечно же, милее и роднее многих. Он не только сопереживал ей, но и пытался помочь в сохранении пенсии и жилплощади. «Кстати: не можете ли сообщить, кто сейчас в Оргкомит<ете> *ответственное лицо,* ибо меня волнует судьба М.С. Волошиной, – писал Белый Г.А. Санникову из Коктебеля 12 июня 1933 г., – она всецело зависит от Оргком<итета>, положение ее очень неопределенно; ввиду этого ей надо знать *лицо,* а не безличное учреждение; зависимость всей жизни, судьба ее, – от безличн<ого> учреждения с текучим составом; <...>. О ней, вообще, хотел переговорить с Вами и посвятить даже И.М. <Гронского> с особенностями ее бытия (ведь ее могут каждый день попросить очистить дом отдыха, отданный Волошиным Союзу писателей)»[ii].

Не могла не оценить Мария Степановна и того, что в Коктебеле Белым был написан очерк «Дом-музей М.А. Волошина» – явный знак уважения к ней и дань памяти ее супругу. На сделанной К.Н. Бугаевой рукописной копии этого очерка Белого (Мемориальная квартира Андрея Белого) Клавдия Николаевна сделала приписку о том, что очерк был «написан по просьбе М.С. Волошиной». Она отмечала: «<...> 15 июля, в день начала болезни, Б.Н. переписывал чистый экземпляр <...>, но не успел окончить. Было уже 4 часа, и мы торопились к М<арии> С<тепановне>, с которой условились накануне. В 6 часов Б<орису> Н<иколаевичу> сделалось дурно, он потерял сознание и его перенесли в одну из комнат Волошина. К себе он уже не вернулся – остальное дописано мной в доме Волошина, во время болезни Б<ориса> Н<иколаевича>».

До самого отъезда в Москву Белый оставался в доме Волошина. Ему отвели так называемую «музыкальную комнату» на первом этаже. Очевидно, что М.С. Волошина вместе с К.Н. Бугаевой ухаживала за Белым в последние дни его пребывания в Коктебеле. И во время его болезни, и после его смерти Мария Степановна, не-

[i] *Зайцев П Н.* Воспоминания. М., 2008. С. 146.

[ii] Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. М., 2009. С. 129.

давно пережившая такие же испытания и такую же утрату, стала воспринимать К.Н. Бугаеву как «сестру» по несчастью. Две смерти слились для нее в одно большое горе. «Обнажена ко всему страшно. Известие о смерти Бориса Николаевича суток на двое совершенно раздавило. Плачу меньше, но иногда прямо кричу, зову Масеньку», — сообщала М.С. Волошина о своем состоянии в письме к И.Н. Томашевской от 17 января 1934 г.[i]

Публикуется лишь небольшая часть переписки. Сохранившиеся письма М.С. Волошиной к К.Н. Бугаевой хранятся в НИОР РГБ (Ф. 25. К. 49. Ед. хр. 18). Писем К.Н. к М.С. Волошиной сохранилось значительно больше — 28. Они находятся в Коктебеле в Доме-музее М.А. Волошина и были любезно предоставлены для публикации директором музея Натальей Михайловной Мирошниченко и главным хранителем Ириной Николаевной Палаш. Выражаем им глубочайшую благодарность за всемерное содействие в подготовке публикации и приносим извинения за доставленные хлопоты.

---

[1] Письма К.Н. Бугаевой к М.С. Волошиной адресованы: «Крым, Коктебель, Санатория № 1 Союза Советских Писателей». Эта открытка отправлена с дороги. Бугаевы выехали из Коктебеля 29 июля, прибыли в Москву 1 августа 1933 г.

[2] Имеется в виду годовщина смерти М.А. Волошина, который умер 11 августа 1932 г.

[3] Имеются в виду сестры Вяземские, давние друзья Волошиных: Любовь Орестовна Вяземская (1869–1958), основательница Частной женской гимназии Л.О. Вяземской в Москве (1908), преподаватель английского языка (выпускница Кембриджа); в советское время зав. кафедрой иностранных языков Московского института инженеров железнодорожного транспорта, доктор педагогических наук, и Валентина Орестовна Вяземская (в замужестве, с 1896 г., Селезнева; 1872–1946), автор мемуаров о М.А. Волошине «Наше знакомство с Максом» (Воспоминания о Максимилиане Волошине / Сост. и коммент. В.П. Купченко, З.Д. Давыдова. М.: Советский писатель, 1990. С. 69–77). Подробнее о них см.: Дворянский календарь: Справочная родословная книга российского дворянства. Тетрадь 7. СПб., 1999. С. 6 (информация из этого издания размещена на сайте: www.petergen.com/dk/viazemsky.pdf).

[4] Олимпиада Никитична Сербинова (урожд. Ермакова; 1879–1955), давняя близкая подруга Волошиных, певица-любительница, жившая в поселке Старый Крым; в советское время работала в коктебельском Доме творчества. Ср.: «Коктебелем в 48-м году управляли Мария Степановна и Олимпиада Никитична. Про вдову Волошина и так все знают, а Олимпиада Никитична была высушенная постоянной папиросой во рту сестра-хозяйка, темно-коричневая от несходящего загара, казавшегося почти черным из-за белизны халата. Медицинскую одежду она носила, видимо, потому, что первая половина ее титула была “сестра”. Она постоянно металась по дому и по саду, и у меня осталось впечатление, что она в Доме творчества делала все. Хотя, наверное, были уборщица, прачка, повариха. Про нее, понизив голос, говорили: “Скрывает, что она гречанка”. Греков, как и татар, совсем недавно выселили из Крыма. Иногда она останавливала на минуту свой бег и басом пела: “Глядя на луч пурпурного заката...”» (*Лосев Л.* Меандр: Мемуарная проза. М.: Новое издательство, 2010. С. 206).

---

[i] *Волошина М.С.* О Максе, о Коктебеле, о себе. Воспоминания. Письма / Сост., подгот. текста и прим. В. Купченко. Феодосия; М., 2003. С. 249.

[5] Ср. в воспоминаниях П.Н. Зайцева «Последние десять лет жизни Андрея Белого»: «С юмором вспоминал он, как Мария Степановна Волошина водит экскурсии рабочих по волошинским местам. Пиетет ее иногда приводил в смущение, так он был простодушен, но все это – от искренней любви к Максимилиану Александровичу» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 178).

[6] Штемпель Москвы: 17.01.34.

[7] Цитируется строка из стихотворения М.А. Волошина «На дне преисподней» (1922), посвященного «Памяти А. Блока и Н. Гумилева»:

С каждым днем все диче и все глуше
Мертвенная цепенеет ночь.
Смрадный ветр, как свечи, жизни тушит:
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.

Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот. <...>.

[8] Домашнее прозвище М.А. Волошина.

[9] Имеются в виду поэтесса Елизавета Ивановна Васильева (урожд. Дмитриева; псевд. Черубина де Габриак; 1887–1928) и ее муж Всеволод Николаевич Васильев (1883–1944). Она была близкой подругой Волошина, а он – родным братом П.Н. Васильева, первого мужа К.Н. Бугаевой.

[10] Штемпель Коктебеля 25.01.34, штемпель Москвы 29.01.34.

[11] Цитируется строка из стихотворения М.А. Волошина «Памяти В.К. Цераского» (1925): «<...> И радостною грустью защемила / Сердца его любивших – весть о том, / Что он вернулся в звездную отчизну / От тесных дней, от душных дел земли».

[12] Имеется в виду ее первый приезд в Коктебель с Андреем Белым.

[13] О подготовке сборника стихов Андрея Белого для издательства «Academia» см. в наст. изд.

[14] Имеются в виду художница Анна Петровна Остроумова-Лебедева и ее муж Сергей Васильевич Лебедев, скончавшийся 2 мая 1934 г. См. о них в наст. изд.

[15] Выражение В.С. Соловьева, любимое и часто цитировавшееся Белым: «Смерть и Время царят на земле, – / Ты владыками их не зови; / Все, кружась, исчезает во мгле, / Неподвижно лишь солнце любви» («Бедный друг, истомил тебя путь...»; 1887).

[16] Анна Алексеевна Алексеева и Елена Николаевна Кезельман.

[17] Речь идет, видимо, об экскурсиях, проводимых М.С. Волошиной. См. прим. 5.

[18] Очерк «Дом-музей М.А. Волошина», над которым Белый работал в Коктебеле (Звезда. 1977. № 5. С. 188–193. Публ. С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова).

[19] Речь идет о могиле Белого на Новодевичьем кладбище.

[20] Штемпель Коктебеля 8.01.41; штемпель Москвы 11.01.41.

[21] Прозвище Елены Оттобальдовны Кириенко-Волошиной (1850–1923), матери М.А. Волошина. Она умерла в тот же день, что и Андрей Белый, – 8 января; похоронена в Коктебеле.

[22] Елена Васильевна Невейнова.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной, М.Л. Спивак

ИЗ ПИСЕМ К Е.В. НЕВЕЙНОВОЙ

I

26/X–33. Москва.

Милая моя Леля! Получила твое письмо. Спасибо за него большое. Надеюсь, что с рукой М[1]. обошлось все благополучно. Сегодня с утра тебя все вспоминаю. И как-то особенно хочется тебя увидеть наконец. За годы разлуки будто ближе еще ты стала, моя милая, далекая.

Эта осень у нас вся окрашена болезнью Б.Н. Осматривали его лучшие невропатологи. Нервы никуда не годятся, и давление крови высокое. Хорошо, что хоть головные боли пока утихли и не так уже мучат. Ходим на массаж к Варв<аре> С[2]. Помогает. А вообще крепко сидим дома. Б.Н. устает от людей и от всяких впечатлений.

Читаю ему вслух. Недавно прочли полного Робинзона Крузо[3]. Совсем другое от книги осталось, чем в детстве. Уж слишком много драк, и побоищ, и всяких товарных дел. Но начало жизни на острове очень хорошо.

Лелюшка милая, крепко, крепко обнимаем тебя мы оба и мама[4]. Будь здорова и береги себя. Сердцем всегда с тобою. К.

Мы, ведь, тоже музыки совсем не слышим. Разве что я иногда поиграю в меру своих сил: или Моцарта своего любимого, или этюды Крамера[5], которые очень любит Б.Н.

II

25/XI–33. Москва.

Милая моя Лелюшка! Получила твою открыточку. Грустно стало, что опять ты без работы. Слышу, как тебе трудно писать. И все-таки прошу: хоть несколько слов изредка присылай. А то всякое думать начинаешь.

У нас пока все то же: Б.Н. еще не поправился. Недавно был снова острый припадок головной боли. Возвращался пешком из города, было очень скользко и пришлось делать большой обход. Он очень устал и простудился[6]. Теперь снова сидим дома в тишине, никуда, никуда не ходим. Только небольшие прогулки, так как долго ходить ему нельзя: устает.

Милая, голубушка, неужели будет время, когда мы с тобою увидимся. Верю, верю в это. А до тех пор мужество, милая Лелюшка. Люся тоже измучена до последней степени всякими жизненными трудностями: холод, керосин, вода и прочее, прочее[7]. Родная моя, оба мы и мама тебя горячо, горячо обнимаем. Всегда сердцем с тобою.

III

15/I–34. Москва.

Милая моя Лелюшка! Вот и не стало нашего родного... Ты уже, верно, знаешь. Прости, голубка, что сразу не могла написать. Хоть и ждала... а пришло неожиданно. Но, родная моя, как тихо, как прекрасно ушел он. Никаких мучений. Просто затих. Точно уснул. Было это днем 8/I в 12.30. Закрыл свои синие глаза. Сердце еще работало... Но дыхание остановилось.

Леля, Леля, не горюй, что тебя не было. Ты была. Была в его памяти, в его любви, в его сердце.

Напиши хоть несколько слов о себе. Обнимаю тебя горячо, горячо. Мама и Люся тоже. Она с нами на несколько дней[8]. Родная, милая, будь бодра, как всегда. Любящая тебя КБ.

Получила только что твою откр<ытку> от 9/I. Да... сердце твое верно тебе подсказало... Напиши, знаешь ли ты, как все было.

IV

28/I–34. Москва.

Милая моя Лелюшка, получила твое письмо. Из него прозвучало такое родное, живое. Леля, я ведь знаю, что он был для тебя. Ведь через него и мы полюбили друг друга. Помнишь, ты шишки кедровые носила ему в больницу в 20 году[9]. Тогда ты еще с косами ходила. И он уже звал тебя «Леля» и все говорил, что ты скрашиваешь ему серые больничные дни.

Милая, что я могу сказать о себе... Плачу, конечно, по слабости. Много. Но с другой стороны, Леля, голубушка, каким покоем он окружает. Какой сильный и знающий лежал он в гробу.

Теперь я работаю вместе с Алешей и П. Н-р[10]. над изданием тома его стихотворений. Academia хочет издать однотомный сборник[11]. На нас лежат: комментарии, дополнения, примечания. Работа большая, а срок короткий (2 месяца). Пока еще живу в подвале, но вероятно скоро будет квартира...[12] Лелюшка, пиши мне о себе. Радуюсь всегда твоим строчкам. Будь здорова. Ведь может быть скоро и увидимся. Обнимаю крепко и мама тоже. Всегда с тобой К.

Все в глазах сегодня кусок дерева его любимого стоит.

V

2/II–34. Москва.

Лелюшка, моя милая, спасибо тебе большое за воротничок. Он такой хороший. Напрасно ты им недовольна. Милая, как и я хочу тебя видеть. Кажется так бы без слов – прижались друг [к] другу. И он – родной наш – глядел бы на нас, улыбаясь. Помнишь, как в Кучине он уходил к себе спать после обеда, а мы тихо с тобою сидели... Слышу, как сердце твое стучит. И как ты крепишься. Что же, родная, будем спокойны, чтобы от него не отрываться.

Не помню, писала ли я тебе, но две ночи подряд с $3^{го}$ на $4^{ое}$ и с $4^{го}$ на 5/I он переживал свое рожденье. Переживал с огромной силой и радостью, как счастье.

Он шептал мне о счастьи, о радости, о рожденьи. И какие-то невероятные волны любви шли от него. Потом три дня – 5, 6, $7^{\text{ое}}$ он все слабел и слабел. Пока $8^{\text{го}}$ утром не начался приступ головной боли – последний...

Лелюшка, могилка его на таком хорошем солнечном месте. Много света и воздуха. Хотели же его похоронить около Гоголя. Но там все занято. Да там и сыро. И темно. Под самой стеной. А здесь он весь на солнышке, которое так любил. – Родная моя, живу тихо, пока что. Как будет все дальше – не знаю.

Сердцем всегда с тобой. Пиши. Твоя К. Мама и тетя[13] целуют. Люся уже уехала к себе в Лебедянь.

VI

17/II–34. Москва.

Милая, родная моя Леля, получила твои царапушки от 8/II и очень ими растрогалась. Напрасно ты думаешь, что не умеешь сказать ласково. На меня всегда таким теплом веет от твоих строчек. Я слышу их тональность – так глубоко. Право, точно годы разлуки не отделили, а сблизили еще больше.

Милая моя Лелюшка, и я-то не могу все еще поверить, что нет уже родного здесь со мной на земле. Может быть, потому еще, что чувствую его, как воздух вокруг себя – почти постоянно. Целые дни сижу над его стихами, сравниваю различные варианты разных изданий. Какая живая, подвижная ткань. Все меняется, ничто не стоит: строки, строфы, отрывки, целые циклы. Точно море волнующееся и лишь на мгновение выкидывающее волны своих гребешков, чтобы снова рассыпаться и собираться в другую волну.

Родная моя, обнимаю тебя горячо. Береги себя. Всегда сердцем с тобой. Мама тебя целует. Твоя К.

VII

6 июня 1934. <Москва>.

Милая, родная моя Лелюшка, вижу по письму твоему, до чего ты устала. Все ты у меня из головы не выходишь... Вот уж и васильки вчера на улице видела. А тебя все нет, и ничего о тебе не знаю.

Пиши хоть по нескольку слов, но почаще. У меня все то же: работаю целые дни и иногда дня по три не выхожу. И отрываться не хочется. Да и тяжко мне в этих переулочках. Все ведь здесь с Б.Н. было исхожено... Чем больше времени, тем острее боль, Леля милая. Голубушка, держись уж как-нибудь.

Люся приехала на месяц: лечиться. Плохо со здоровьем. Все мы тебя горячо обнимаем. Твоя всегда К.

VIII

25 июля 1934. Москва.

Милая моя Леля, – ты все молчишь и молчишь. Не знаю, что и думать. Напиши, если можешь, хоть два слова, что жива и здорова. Мысли о тебе постоянно и неотступно.

Родная моя, напиши открыточку, самую коротенькую.

Я все время в Москве. Даже за город никуда не езжу. Только в Новодевичий. Там поставили скамеечку, цветочки... Долго, долго сижу. Гляжу на закат, на облачка... И как-то легче. Приходит тишина. И горе не так уже остро... Ох, Леля, голубушка, ведь и я все еще поверить не могу, что нет моего солнышка, радости моей... Обнимаю тебя, голубушка моя. Пиши же. Мама и Люся тебя целуют. Сердцем с тобою. Кл.

Послесловие

Елена Васильевна Невейнова (1902–1988) – ближайшая подруга К.Н. Бугаевой, тоже антропософка. Как считала племянница Е.В. Невейновой Татьяна Владимировна Норина, в ранней юности она была невестой одного из братьев Клавдии Николаевны. Брат погиб, а Невейнова так и осталась своим человеком в доме – на правах родственницы. В период болезни и смерти Белого она находилась далеко от Москвы – в Казахстане, в ссылке. 8 мая 1931 г. ее, как и многих других членов Московского антропософского общества, арестовали, а после предъявили обвинение «в том, что, являясь активной участницей нелегальной к/р организации, участвовала в работе нелегальных кружков. Руководила детским кружком. Занималась размножением и распространением нелегальной литературы, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 58, п. 10 и 11 УК» (*Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006. С. 417, 532 и др.).

Невейнову приговорили к трем годам высылки в Среднюю Азию. Постоянное общение Бугаевой с Невейновой заменилось регулярной перепиской. После возвращения из ссылки Невейнова стала для К.Н. Бугаевой не только ближайшей подругой, но и опорой в жизни. В старости К.Н. Бугаева страдала от тяжелого недуга. Невейнова была при ней: ухаживала, занималась хозяйством и прочими делами... После смерти К.Н. Бугаевой она унаследовала и архив, и имущество, и обязанности по содержанию в порядке могил на Новодевичьем кладбище. Письма К.Н. Бугаевой печатаются по автографам, хранящимся в Мемориальной квартире Андрея Белого. Ответные письма Невейновой нам не известны.

---

[1] Вероятно, речь идет о Магдалине Александровне Иконниковой (1874–?), работавшей до ареста в 1931 г. чертежницей в Гостехиздате и осужденной, как и Е.В. Невейнова, по делу о контрреволюционной организации антропософов. Она была выслана в Казахстан «сроком на три года, считая срок <...> с 8/5–31 г.». Отбывала ссылку в Чимкенте, потом в Туркестане и потому общалась с сосланной в те же края Невейновой. См.: *Спивак М.Л.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006. С. 419, 533 и др.

[2] В.С. Марсова.

[3] См.: *Дефо Д.* Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо / Перевод М. Шишмаревой и З. Журавской, под ред. А. Франковского, с предисл. Р. Арского. Л.: Academia, 1929. Книга была дважды выпущена в 1929 г. и переиздана в 1931, 1932, 1934 и 1935 гг.

[4] А.А. Алексеева.

[5] Знаменитые «Этюды для фортепиано» немецкого пианиста и композитора Иоганна-Баптиста Крамера (1771–1858).

[6] Имеется в виду поездка Белого на заседание в ГИХЛ 9 ноября 1933 г. Подробнее см. в дневнике Белого в наст. изд. (запись за 9–14 ноября).

[7] Речь идет о сестре К.Н. Бугаевой Е.Н. Кезельман, находящейся в ссылке в Лебедяни.

[8] См. об этом в мемуарах Е.Н. Кезельман в наст. изд.

[9] В декабре 1920 г. Белый в результате несчастного случая был госпитализирован в Диагностический институт (бывш. лечебницу Н.В. Слетова; Садово-Триумфальная ул., д. 13). Ср. запись в *РД* за декабрь 1920 г.: «Падаю в ванне, ломаю копчик и попадаю в больницу» (Л. 107). В январе 1921 г. был переведен в лечебницу психиатра С.С. Майкова для нервных и душевных больных (Тверская ул., Благовещенский пер., д. 6), где лечился по март 1921 г.

[10] А.С. Петровский и П.Н. Зайцев.

[11] Подробнее см. статью Е.В. Наседкиной «Несбывшийся проект...» в наст. изд.

[12] Переезд из полуподвального помещения (Плющиха, Долгий пер., д. 53, кв. 1), где после смерти Белого продолжала ютиться К.Н. Бугаева и ее семья (мать, тетка и потом, возможно, вернувшаяся из ссылки сестра) в новую отдельную квартиру в доме кооператива «Советский писатель» в Нащокинском переулке (с 1926 г. ул. Д.А. Фурманова, № 3/5), за которую Белый внес деньги еще в 1932 г., состоялся в марте 1934 г.

[13] Е.А. Королькова.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной, М.Л. Спивак

ИЗ ПИСЕМ К И.Н. И Б.В. ТОМАШЕВСКИМ[1]

I

5/I–34. Москва.

Милые Ирина Николаевна и Борис Викторович, сколько раз собиралась Вам писать. А сегодня Ваша открытка решительно подтолкнула[2]. Б.Н. болен очень серьезно; артериосклероз. Он сейчас в клинике, под наблюдением лучших врачей. Нам дали отдельную комнату, и мне разрешили быть с ним. Повторявшиеся приступы головной боли совершенно его обессилили. Из дома мы переехали сюда 8/XII. С тех пор он лежит, не вставая. Всякое движение ему запрещено. Да он и не может. Разными мерами (пьявки, кровопускание) удалось прервать пока головную боль. Отношение к нему исключительное. Делают, что могут. Но у него расстроилось восприятие времени и пространства. Состояние сознания – как в Коктебеле в первые дни. Пишу Вам так протокольно, потому что иначе не могу. Ведь несколько дней он был на камфаре через три часа. Теперь пульс выровнялся. – Милые Ир<ина> Н<иколаевна> и Б<орис> В<икторович>, не забывайте. А я часто Вас вспоминаю. От Б.Н. Вам сердечный привет.

Куда же Вы думаете летом? И что с Ир. Ник.? Пишите на Плющиху.

Ваша К.Б.

II

28/I–34. Москва.

Милая Ирина Николаевна и Борис Викторович, что могу сказать... за Ваши добрые строчки – спасибо.

Успокаивает только одно: последние минуты не было никаких мучений. И длилось это всего минут 15–20. В 11 ч. начали ставить пьявки. И пульс был еще хорош. Потом стал катастрофически падать. Были приняты все меры: камфара, кофеин, искусственное дыхание. Сердце еще работало – но дыхание остановилось... Начиная с $6^{\text{го}}$ Б.Н. становился все слабее и слабее. Врачи все время боялись повторного кровоизлияния. Так и случилось. Вскрытие показало, что в Коктебеле был вовсе не солнечный удар, а сильное кровоизлияние. Последнее (предпоследнее) в начале декабря. Профессор удивлялся, как после этого Б.Н. мог прожить еще месяц.

Простите за эти строчки. Еще напишу, непременно. А лучше бы увидеться. Если будете в Москве – не забывайте... Спасибо за память.

Могилка его в Новодевичьем, с которым он так связан.

От мамы сердечный привет. Ваша К.Б.

III

22/II–34. Москва.

Милая Ирина Николаевна, давно, давно уже хочу Вам ответить. Большое спасибо за Ваши добрые слова. Очень слышу их тональность – и горячо принимаю их. Но как жаль, что Борис Викторович не зашел. Бесконечно жаль. Это было мне большое огорчение. И надеюсь, в другой раз так не будет. Ведь, да? И Вы, и Борис Викторович никогда мне не можете помешать. Даже и писать об этом не хочется. Вы знаете сами.

Признаюсь, что чем дальше, тем острее становится боль. Но думаю, что справлюсь. Дни заполнены сейчас работой над редактированием предполагаемого Academia'ей сборника стихов Б.Н. Захватывающая, но трудная работа. Многим хотелось бы поделиться. И даже посоветоваться.

Милая Ирина Николаевна, всегда буду рада каждой весточке от Вас. Так неизгладимы дни нашей встречи. Не забывайте. Сердечный привет Б.В. Обнимаю Вас.

Есть ли у Вас «Начало Века» и как его Вам переправить? Можно ли почтой?

Привет от мамы Вам обоим.

Ваша К.Б.

Послесловие

Ленинградские литературоведы Борис Викторович Томашевский (1890–1957) и Ирина Николаевна Медведева-Томашевская (1903–1973) проводили лето 1933 г. в писательском Доме творчества в Коктебеле, где и познакомились с Б.Н. и К.Н. Бугаевыми. Интенсивному общению не помешал тот факт, что в книге «Ритм как диалектика и "Медный всадник"» (М., 1929) Белый ожесточенно критиковал стиховедческие исследования Томашевского. В Коктебеле между Бугаевыми и Томашевскими сразу же возникла взаимная симпатия, переросшая в тесную дружбу[i]. «<...> поселилась чета Томашевских (он – стиховед, она – тоже), с которой произошло удивительное сближение: редкая, счастливая встреча, о которой вспоминаешь с благодарностью», – отмечал Белый в дневнике (см. в наст. издании). А в письме к Томашевскому 2 сентября 1933 г. признавался, что вспоминает время, проведенное вместе в Коктебеле, как «радостный подарок»[ii]. Его чувства разделяла и Клавдия Николаевна: «Мы оба с Б.Н. также переживаем встречу с Вами обоими, как неожиданный подарок жизни. Словами этого не скажешь. Но дни, проведенные с Вами в нашем милом домике, остаются таким светлым воспоминанием» (Письмо к Томашевским от 30 августа 1933 г.)[iii]. В Коктебеле Томашевские стали свидетелями случившегося с Белым несчастья и, очевидно, помогали К.Н. Бугаевой в эти трудные дни. «А за все то, что Вы сделали для нас во время болезни Б.Н., – просто нет слов благодарить», – писала она им тогда же[iv].

---

[i] Об истории отношений Белого с ними см. предисловие А.В. Лаврова к его публикации «Андрей Белый в переписке с Томашевскими»: *Лавров А.В.* Андрей Белый: Разыскания и этюды. С. 473–476.

[ii] Там же. С. 481–482.

[iii] Там же. Прим. 4.

[iv] Там же.

Информировать новых друзей о состоянии здоровья мужа Клавдия Николаевна начала сразу же после отъезда из Крыма, прямо с дороги: «Милые Ирина Николаевна и Борис Викторович! До сих пор все идет хорошо. Б.Н. совершенно изменился. И выражение лица и движения, и походка — все опять его. Точно в Коктебеле он скинул с себя свою болезнь. Едем мы спокойно. Ночь прошла тихо, без всяких болей. И затылок, и спина, и виски — все успокоилось <...>. Москва. Мы уже дома. Встретили с автомобилем. Сейчас Б.Н. устал и прилег отдохнуть. Голова опять побаливает. Но это, вероятно, впечатление встречи и возвращения домой. Мы шлем Вам самый сердечный привет. Всего лучшего. К. Бугаева»; «Радуемся, что у Вас и солнце и море. Но... лучше нам подальше от них. Дни стоят солнечные, но свежие, иногда почти осенние. Гуляем ежедневно не меньше трех часов, — конечно не сразу. Б.Н. еще не был у доктора. Хочет немного отдохнуть просто дома. Резких болей нет, но голова все еще не свежая. В остальном все пока хорошо»[i].

«<...> что-то радостное и сердечное протянулось от нас к чете Томашевских» — так оценивал Белый это знакомство, считая, что новые друзья пришли в его жизнь на смену старой, уже угасшей дружбе с Ивановым-Разумником: <...> точно отделению от четы “Разумников” соответствует эта обещающая встреча с Томашевскими», — признавался Белый в дневнике. Он подарил новым друзьям свою фотографию, сделанную в мае 1933 г., и надписал: «Дорогому Борису Викторовичу Томашевскому с искренней любовью и уважением. Борис Бугаев. 10-го сентября» (Мемориальная квартира Андрея Белого).

Всю осень между Белым и Томашевскими шла активная и откровенная переписка, затрагивающая как вопросы творчества и мировосприятия, так и проблемы со здоровьем. «<...> переживал вновь страдания <...> меня превращавшие почти в труп. <...> Мне хочется, как зверю, найти себе берлогу, чтобы там залечь <...>. Словом: *Замыслил побег / В обитель дальнюю труда и чистых нег*», — писал Белый Томашевскому 7 октября 1933 г.[ii] Наряду с обменом письмами шел обмен книгами и статьями[iii]. Продолжились и встречи. По дороге из Коктебеля Томашевские заехали к Бугаевым (23 августа), а в начале октября И.Н. Медведева, будучи проездом в Москве, дважды навестила больного Белого (см. дневниковые записи Белого от 5 и 9 октября). Она вспоминала об этом в письме от 16 октября 1933 г.[iv]:

> «Дорогая Клавдия Николаевна, как только вышла от вас, стало как-то ужасно пусто и печально. У меня даже возникла мысль вернуться и еще раз посмотреть на вас. Очень я люблю ваше лицо. Борис тронут карточкой и письмом. Он говорит, что ни с кем ему так не хочется видеться и говорить, как с Б.Н., а писать мучительно трудно. В Москве я долго думала, надо ли к Вам ходить. “Нужно ли, хорошо ли

---

[i] Письма от 31 июля — 3 августа и от 10 августа 1933 г. // Там же. С. 478, прим. 6.

[ii] Там же. С. 489.

[iii] В письме к Б.В. Томашевскому от 2 сентября 1933 г. Белый благодарит за присланные ему материалы — оттиск статьи Томашевского «Die Pusskin — Forschung seit 1914» (Zeitschrift für slavischer Philologie. Bd. 2. Doppelheft 1/2. 1925. S. 236–261) и одну из первых книг, выпущенных в большой серии «Библиотеки поэта» (Ироикомическая поэма / Ред. и прим. Б.В. Томашевского, вступит. ст. В.А. Десницкого. Л., 1933) — Там же. С. 481–482.

[iv] Частично опубликовано (Андрей Белый в переписке с Томашевскими. С. 490, прим. 5). Полностью публикуется по автографу (ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 69).

вторгаться (хотя бы на несколько часов) в большую, замкнутую жизнь, где осмыслен каждый час, хотя бы безделья". Приходишь невольно с обычными интеллигентскими разговорами, в сущности пустыми и раздражающими (известностью и легкомысленной "глубиной"). Мне пришло в голову, что в 1920–22 гг., когда я ходила в гимнастерке с красноармейской звездой и самоуверенно говорила о фронте и тыле – у меня было больше прав на знакомства. Не браните меня за сходство с героем "Записок из подполья" Достоевского – это ведь я в себе поборола и решила, что наша с Борисом к вам искреннейшая человеческая любовь дает мне право видеть вас и может быть мешать вам немного. Большущее спасибо за чулки. Они меня очень согрели. Постараюсь их вам доставить. Горячий привет Борису Николаевичу. Целую милую Анну Алексеевну[i]».

Это письмо до недавнего времени считалось последним в переписке Томашевских с Бугаевыми. Но в архиве Белого в НИОР РГБ сохранилось еще одно письмо Томашевского Белому, датированное 3 января 1934 г., в котором он, взволнованный долгим молчанием Белого, пишет:

«Дорогой Борис Николаевич,

от Вас давно нет никакого известия, и это нас очень беспокоит. Как Вы живете и что делаете. Мы с Ириной Николаевной постоянно вспоминаем об Вас. Недавно смотрели Вашу последнюю книгу[ii] и сокрушались, читая предисловие Каменева. Я был о нем хотя и не высокого, но все же лучшего мнения.

Мы живем по-прежнему. Оба очень заняты, я – над Дельвигом, Ирина Николаевна – над Баратынским[iii]. Она последнее время начала похварывать и мы все чаще подумываем о лете, и естественно разговор переходит на прошлое лето.

Вас, по-видимому, ждать в Ленинград безнадежно. А мне, вероятно, придется посетить Москву.

Искренний привет Вам и Клавдии Николаевне от нас обоих. Ждем хоть краткой вести.

Ваш Б. Т<омашевский>»[iv].

Белый еще успел получить это послание и даже передал привет в ответном письме, отправленном К.Н. Бугаевой Томашевским 5 января 1934 г. и открывающем эту публикацию.

Теплые отношения Томашевских с Клавдией Николаевной сохранились надолго. Последнее письмо к ним датировано апрелем 1958 г. А в августе того же года Ирина Николаевна, тоже ставшая вдовой, подарила К.Н. Бугаевой только что изданную книгу Б.В. Томашевского «Стих и язык» (М., 1958) с дарственной надпи-

[i] Анна Алексеевна Алексеева, мать К.Н. Бугаевой.

[ii] «Начало века».

[iii] Имеются в виду издания, над которыми в это время работали В.Б. Томашевский и И.Н. Медведева-Томашевская: *Дельвиг А.А.* Полное собрание стихотворений / Ред. и прим. Б. Томашевского. Л.: Советский писатель, 1934 («Библиотека поэта», Большая серия); *Баратынский Е.А.* Полное собрание стихотворений. Т. 1–2 / Ред., коммент. и биографич. статьи Е. Купреяновой и И. Медведевой. Л.: Советский писатель, 1936 («Библиотека поэта», Большая серия).

[iv] НИОР РГБ (Ф. 25. Карт. 47. Ед. хр. 10). Штамп отправления: 3 января 1934 г., Ленинград; штамп получения: 4 января 1934 г., Москва.

сью: «Единственно любимой из всех друзей, всепонимающей, милой Клавдии Николаевне Бугаевой на память о Томашевском. Ир. Томашевская. Москва. 16 августа 1958 года» (Мемориальная квартира Андрея Белого). В свою очередь, в 1959 г. Клавдия Николаевна преподнесла Ирине Николаевне фотографию Белого с его дарственной надписью, обращенной к ней самой: «Дорогой, глубокоуважаемой Клавдии Николаевне Васильевой на память. Борис Бугаев. Свинемюнде. 16 июля <1922>[i]».

Письма К.Н. Бугаевой к Б.В. и И.Н. Томашевским публикуются по автографам, хранящимся в Мемориальной квартире Андрея Белого, куда они поступили в 2010 г. в дар от Марии Николаевны Томашевской, внучки Б.В. и И.Н. Томашевских. Местонахождение ответных писем нам не известно.

---

[1] Фрагменты трех писем К.Н. Бугаевой к Томашевским 1933 г. приведены в прим. А.В. Лаврова к его публикации «Андрей Белый в переписке с Томашевскими» (см.: *Лавров А.В.* Андрей Белый: Разыскания и этюды. М., 2004. С. 477–482).

[2] Имеется в виду письмо от 3 января 1934 г.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной, М.Л. Спивак

---

[i] Дата приписана карандашом рукой К.Н. Бугаевой. Фотография хранится в фонде Б.В. Томашевского в НИОР РГБ (Ф. 645. Карт. 48. Ед. хр. 12).

ПИСЬМА
К ВРАЧАМ А.Н. МОЛОХОВУ И Л.И. МАРОГУЛОВУ

I
К.Н. Бугаева — А.Н. Молохову

16/I—34. Москва.

Многоуважаемый Алексей Николаевич,

позвольте мне еще раз поблагодарить Вас и весь персонал за все, что я встретила в клинике. Ведь важно не только то, что сделано, но *как* сделано. Это *как* наполняет меня чувством самой глубокой живой благодарности. Я видела людей, а не служащих. И это помогло мне переносить то, что по существу непереносимо.

Мне сейчас трудно находить слова. Я еще не могу осознать того, что случилось. Поэтому простите, если скажу коряво. Я уже благодарила Вас, Алексей Николаевич, лично Вас, — в самом начале, когда Вы перевели нас в другую комнату. Это чувство благодарности росло, когда я видела, как в крупном и в мелочах делается все, чтобы помочь Борису Николаевичу, облегчить его страданья. Но я никогда не забуду, *как* Вы вошли к нему в последний раз. Взглянув на Вас, я все поняла сразу.

Мне вспомнилось, как Борис Николаевич с ласковой улыбкой о Вас говорил: «Алексей Николаевич... — он горячий... Мы оба горячие»... Он Вас полюбил и всегда радовался Вашему приходу. Мы часто с ним говорили о Вас. И всегда он повторял одно: «горячий».

Простите, что пишу Вам это. Но сейчас во мне все потрясено до основания. Я не могу найти других форм. И вместе с тем не могу не сказать Вам, как горячо и глубоко я Вам благодарна за все, что Вы сделали для того, кто был мне светом, счастьем и жизнью.

Как жаль, что не осуществилось желанье Бориса Николаевича работать «со строго организованным научным коллективом» (он разумел клинику). Он всегда так ценил строгую научную мысль и так хотел встречи с нею.

Простите же мне, Алексей Николаевич, эти неумелые строчки. И примите их как знак моего уважения и признательности.

К. Бугаева.

II
К.Н. Бугаева — Л.И. Марогулову

16/I—34. Москва.

Многоуважаемый Леонид Исаакович,

мне хочется поблагодарить от всего сердца Вас за то, как Вы мягко и нежно, и вместе с тем стойко и мужественно делали для Бориса Николаевича то, что сделать было необходимо, но что делать было мучительно. Я говорю о моменте

кровопускания. Эта картина навсегда врезана в моей памяти. Большое, горячее спасибо Вам за то, как Вы это провели, и вообще за все, что Вы дали Борису Николаевичу в этот последний месяц его жизни, начиная с первого утра, когда Вы успокоили его волнение о том, что мы не в Москве.

Простите, что пишу так неумело и кратко. Но сейчас не могу иначе.

Еще и еще раз спасибо.

Уважающая Вас

К. Бугаева.

Послесловие

Госпитализация Андрея Белого в психиатрическое отделение Первой Московской клинической больницы (входила в систему Университетских клиник на Девичьем поле; с 1938 г. – Психиатрическая клиника имени С.С. Корсакова) состоялась 8 декабря 1933 года благодаря помощи друга семьи Бугаевых Татьяны Павловны Симсон (1892–1960). Впоследствии известный психиатр и психоневролог, доктор медицинских наук, автор монографий, заведующая детской клиникой Института психиатрии АМН СССР, она в то время работала в психиатрическом отделении ассистентом. Однако ее связей хватило на то, чтобы больного писателя поместили в отдельную палату и обеспечили ему хороший медицинский уход.

Хотя усилия медиков оказались безрезультатны, К.Н. Бугаева сохранила о больнице и ее персонале наилучшие воспоминания. Слова благодарности, написанные 16 января 1934 г., еще до того, как произошло захоронение урны с прахом писателя, наилучшее тому подтверждение.

Первое письмо адресовано Алексею Николаевичу Молохову (1897–1966), ученику П.Б. Ганнушкина, знаменитому психиатру, клиницисту и ученому, автору исследований в области шизофрении, психозов, пограничных состояний и паранойи. Он был не чужд и интереса к литературе: написал работу «О паранойе у Н.В. Гоголя»[i].

П.Н. Зайцев называл его «главным врачом клиники», в которой лежал Андрей Белый, и отмечал его строгость: «...А.Н. Молохов запретил оставаться на ночь помощникам Клавдии Николаевны»[ii].

С 1946 года А.Н. Молохов заведовал кафедрой психиатрии Кишиневского медицинского института (см. о нем в записанном Б. Штрихом интервью А.Л. Шмиловича, заместителя главного врача московской психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева[iii]).

Адресат второго письма – Леонид Исаакович Марогулов (у К.Н. Бугаевой ошибочно – Марагулов; 1903–1964), тоже ученик П.Б. Ганнушкина, талантливый психиатр, фактически изгнанный из Москвы за нетрадиционный научный подход к шизофрении. «Прошли “проработки”, требовали “самокритики”, и, в итоге, выну-

---

[i] Труды / Кишиневский государственный медицинский ин-т. Клиника психиатрии; Республиканская психиатрическая больница № 1 МССР. Кишинев, 1967. Вып. 2. Клиника шизофрении. С. 233–246.

[ii] *Зайцев П.Н.* Последние десять лет жизни Андрея Белого // *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 188; у Зайцева ошибочно – «Молотов».

[iii] *Штрих Б.* Спасая наши души // Алеф: Ежемесячный международный еврейский журнал. 2004. № 929. Январь; www.alefmagazine.com/pub380.html.

дили написать статью, сводящую “на нет” смысл исследования; она появилась в одном из сборников трудов клиники, но Леонид Исаакович продолжал настаивать на своем»[i]. Как вспоминал его ученик, в этом скандале не обошлось и без «без личных отношений»: «Л.И. был <...> айсором[ii], вспыльчивым, что не способствовало гнилому миру, и он вместе с молодой женой, тоже ординатором, из клиники был вынужден уйти. Место себе они нашли в знаменитой колонии Бурашево бывшего Тверского земства»[iii].

Примечательно, что мемуаристы отмечали именно те человеческие качества Л.И. Марогулова, за которые его благодарила К.Н. Бугаева. «Имя этого замечательного человека, прекрасного врача-клинициста и психиатра оказалось забытым <...>. Леонид Исаакович был ярким представителем, так называемых, “лиц кавказской национальности” – горячий, увлекающийся в работе, уходящий в нее с головой, верный в любви к жене и детям, о пациентах заботящийся (вплоть до судов) и после их выписки, не говоря уже о любимой психиатрии»[iv].

Оба письма хранятся в НИОР РГБ (Ф. 25. К. 49. Ед. хр. 7 и 8), куда поступили после смерти К.Н. Бугаевой. Не вполне ясно, были ли они отправлены адресатам. Если да, то публикуемые материалы являются черновыми копиями отосланных писем. Оба врача упоминаются в «Дневнике» К.Н. Бугаевой в наст. издании.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной, М.Л. Спивак

---

[i] *Литвак Л.М.* Леонид Исаакович Марогулов (1903–1964) // Независимый психиатрический журнал. 2008. № 1. С. 89–90.

[ii] Его брат К.И. Марогулов (1901–1938) – лингвист, автор грамматики, хрестоматий, учебников по ассирийскому языку.

[iii] *Лубянский Г.* Бывший медицинский факультет Московского университета // Независимый психиатрический журнал. 2006. № 3. С. 74–82.

[iv] Там же.

ИЗ ЗАПИСЕЙ 1934—1935 гг.

I

«8/I–34. 12.30 дня» [1]

Не верь мгновенному:
Люби и не забудь[2]:
Мир, правда, свобода, любовь.

В смерти Хр<иста> существенно то, что Хр<истос> не сделался другим благод<аря> смерти, он остался тем же, он есть Единый, который представляет все бессмыслие смерти.

«Правда», «любовь» и «вера». Все три связаны, все три — выражение глубочайшей жизни сознания, в ее разных моментах. Сознание живет, может жить только в правде, в любви и в вере. Вера, как волевой творческий акт (по Гете) утверждения «да» миру.

«Время отстало от света...»[3] — монограмма миров истины.

Нет, — сострадание границ не имеет.
Любовь — дающая способность: чем больше даешь, тем больше имеешь дать.

Огромная серьезность, огромная строгость, огромное страдание, огромная любовь.

II

24 декабря 1934 г.[4]

Провести грань между одним и другим было [нельзя — зачеркнуто] трудно, верней невозможно. [Нельзя было сказать, где и то и другое — зачеркнуто.] Мысли, чувства, жесты и голос — все сливалось в нерасторжимую цельность. Нельзя было сказать, где движение руки переходит в звук голоса и звук голоса переходит в ожившую мысль. Двигалось тело, двигался голос, слова, двигалась и [неслось — зачеркнуто] закипевшая мысль. Казалось, что [перед тобою — зачеркнуто] видишь, как движение само беспрепятственно и свободно выявляет себя, не встречая сопротивления в теле, в голосе, в мысли. И когда он говорил, то поражало не только содержание, не только — то, *что́* он говорил, но самое качество, то, ка́к он говорил. [Поражало — зачеркнуто] полное соответствие между словом и жестом, мыслью и мимикой. Поражал ритм, соотношение всех отдельных моментов. Словом, то, о чем только и можно сказать: жизнь.

Все портреты Б.Н., сделанные художниками, неудачны. Ни живопись, ни скульптура его не передает, не отражает в нем самого главного. Все это или условности,

или стилизации. Условен Бакст, давший какой-то монумент в сюртуке[5]. В тяжелой, напряженно застывшей фигуре нет ничего от Б.Н. — всегда живого, [подвижного — зачеркнуто] летучего, легкого. Инерции в нем совсем не было. Даже позы его были [полны — зачеркнуто] только покоем движения. Он никогда не сидел развалясь, вытянув ноги или откинувшись на спинку дивана, на стуле. Даже задумавшись, он не опирался локтями на стол, на ручку кресла, не склонял голову на руки. И головы, и лица он касался рукой лишь для того, чтобы быстрым и крепким движением стереть платком капельки [мелкой, как бисер — зачеркнуто] обильной испарины, которая выступала, когда он говорил или читал. Никогда он не стоял, прислонившись к чему-нибудь. Его прикосновение к вещам было легко и летуче, часто порывисто.

Голубкина дала прекрасную скульптуру[6]. Но это уже слишком явная стилизация. Та же стилизация и в силуэте Кругликовой[7].

Набросок Андреева, сделанный на лету, — это чистый гротеск[8]. Что-то схвачено только в глазах.

Глаза и морщинки на лбу немного отражены в [портрете — зачеркнуто] рисунке В.А. Милашевского, приложенного к «Маскам»[9], но улыбка — не удалась. Глаза хороши также и на портрете Остроумовой-Лебедевой[10]. Но и она не избежала стилизации и дала скорее римского центуриона, задрапированного во что-то красное, а не Б.Н. в простой коктебельской рубашке без рукавов и без ворота.

Удачнее других незаконченный портрет Петрова-Водкина[11]. Он один рисовал человека [— Бориса Николаевича, а] не «Андрея Белого». Его зарисовка всего человечнее. И жаль, что после первого сеанса все оборвалось. И остальное К<узьма> С<ергеевич> доделывал уже по памяти. В это время Б.Н. находился в крайне нервном состоянии, которое мало располагало к позированию.

Гораздо лучше передавали его фотографии. Некоторые снимки очень удачные: он «как живой». Он знал это и не любил своих живописных портретов. — Понятно, что О. Форш, увидев у меня его карточки, захотела сделать свой «синтетический портрет»[12]. Правда, она с этим не справилась, не сумела дать «темы» всех этих разнообразных обликов. И портрет потерял свой смысл.

Многие пытались дать литературный портрет Б.Н.[13]

Довольно удачно показывает молодого, бурно порывистого Б.Н. О. Форш в своем романе «Ворон» (Лнгр. 193<3>)[14]. Он появляется на какой-то лекции или докладе. Сперва внимательно «слушает» сменяющих друг друга ораторов и внезапно, сорвавшись, как вихрь, устремляется к кафедре:

«При каких-то словах еще одного нового оратора глаза его вдруг вспыхнули... Он выстрелил руку вверх, он потребовал слова. И ринулся на кафедру, как очертя голову летят в воду одни боевые пловцы... Он пылал, как костер, он готов был всем телом, самим собой лечь преградой... беспорядочному, безответственному красноречию иных ораторов, праздно возбудивших энергию зала...»

Из отрывка, посвященного Форш Б.Н-у, я привела только [эту цитату — зачеркнуто] эти слова, так как с целым ее зарисовки я не согласна [и нахожу в — зачеркнуто]. Но зато я согласна с каждым словом Б.Л. Пастернака, который в «Охранной грамоте» рассказывает о том, как Б.Н. слушает Маяковского[15]. Без волнения и благодарности я никогда не могу перечитывать этих слов [короткого очерка — зачеркнуто], которыми и хочу закончить эту главу своих «Воспоминаний». Я считаю, что никому из современников не удалось вернее и тоньше отметить [что-то

очень – зачеркнуто] самое глубокое и основное в Б.Н. Лучших слов о нем я не знаю.

«...Он слушал, как завороженный, ничем не выдавая своего восторга, но тем громче говорило его лицо. Оно неслось навстречу читавшему, удивляясь и благодаря. Части слушателей я не видел, в их числе Цветаевой и Эренбурга. Я наблюдал остальных. Большинство из рамок завидного самоуважения не выходило. Все чувствовали себя именами, все – поэтами. Один Белый слушал совершенно потеряв себя, далеко-далеко унесенный той радостию, которой ничего не жаль, потому что на высо́тах, где она чувствует себя как дома, ничего, кроме жертв и вечной готовности к ним, не водится».

Б. Пастернак. Охр<анная> грамота. Стр. 116[16].

III

20 июля 1934 г.[17]

Самой интересной из своих «Симфоний»[18] Б.Н. считал Третью, – «Возврат». Интересной по теме и замыслу. Исполнение же ее, наоборот, находил очень слабым, детски беспомощным. По сравнению с тем, что в ней заложено и что не выявилось благодаря неопытности автора, ее можно считать наименее удавшейся. – «Недостаток 4-ой был в том, что автор перемудрил. А здесь – нет, не справился. Писал-то, ведь, Боренька, – объяснял он полушутливо, – писал, все валя в кучу. Очень уж распирало. Вот и вышел стиль обложки (к Симфонии)[19]: жемчуга́, бирюзы́, чудеса в решете... Ужас что! Совсем не так надо бы дать. Ведь тема очень большая и очень серьезная», – прибавлял он уже без всякой шутки.

В Кучине Б.Н. несколько раз принимался за эту Симфонию. Брал ее перечитывать на ночь или днем среди отдыха. Просматривал, продумывал, что и как можно исправить, как можно все перестроить, чтобы убрать орнаментику пышных вычур начала, которая отвлекает и придает совсем другую тональность.

Он читал мне места, которые находил особенно ценными или особенно требующими переработки. Прежде всего запомнилась речь Хандрикова, козни Ценха, Орлов и поездка его за границу. Но все очень смутно. Указания Б.Н. здесь мне не запомнились.

Он читал также и то, что называл «нагромождениями в стиле барокко» и «наивными глупостями». И заливался при этом самым искренним хохотом: – «Да нет! Что он пишет! Старается Боренька! Изо всех сил. Из него так и хлещет... эдержа нет. Тут тебе и крабб[20] с лапой, и морской гражданин, и кулички, и атласы, и пелены. И чего, чего нет. А главное – уплывает сквозь пальцы...»

И тут же, без смеха уж прибавлял: «Крабба» все-таки я не отдам. Только знаю теперь, как это нужно бы дать. Переделаю непременно. В Четвертой я слишком пере-мудрил. Ее уже не исправить. Она – пере-рисована. Это всегда хуже. Живого уже не остается. А здесь есть совсем живые места. Она только сделана слабо. И поправить легко. Ясно вижу все промахи. Но безнадежности, как с Четвертой, здесь нет».

В моей памяти сохранилась только одна из намеченных переделок. В XVI главе второй части вместо змеи, ползущей по улицам города[21], Б.Н. хотел дать другую картину.

На рассвете, в самый пустынный и мертвенный час, к платформам Виндавского или Брестского (точно не помню) вокзала подкатывает поезд. Все очень странно.

Беззвучно. Безлюдно. На перроне кругом — ни души. В рассветной дымке призрачно стынут все контуры. Неживое оцепенение взвесилось в воздухе. Но застывшая тишина начинает вдруг вздрагивать жутко вкрадчивым и жутко немым ритмом, от которого леденеет на сердце.

Тогда — в той же все тишине, также бесшумно распахиваются дверцы вагонов — одна за другой. Минуту картина остается все та же: безлюдный перрон, мертвый поезд, разъятые, черные пасти дверей и гребешочки распахнутых дверей. Потом, в такт с тем же немым, но нарастающем в своей немоте жутким ритмом, из дверей — один за другим — выходят люди в одинаковых коричнево-серых одеждах. Если не ошибаюсь, костюм их напоминает костюмы средневековых пажей. Но только не современное что-то. Они прихрамывают на одну ногу — на правую — все! Прихрамывает и глухой, их как бы рождающий, ритм. Лиц у них нет. Лица — стерты! Они строятся в цепь. И все в том же молчании, без единого звука, проходят, — прихрамывая все на одну ногу — перроны, вокзал, сходят на площадь, пересекают ее, направляются в улицу.

Уже передние скрылись за поворотом. А из вагонов выходят все новые <и> новые. Все коричнево-серые. Все прихрамывают. Все без лиц. Их не сосчитать. Им не будет конца!

Совершается страшное дело. Безмолвная рать входит в город. Но она входит так, что не видит никто. Не знает никто.

Будто членистое тело ужасной змеи, странно вздрагивающее — хромают на правую ногу — все, как один, — будто коричнево-серое тело змеи, извиваясь, уползает вдоль улиц. Но не знает никто, потому что все спят. Когда же проснутся и примутся за дневные дела, все уже будет другим. Страшное дело предательства уже совершилось. В город проникла измена. Будут думать: по-старому все. А «все» — уже изменилось.

Эту сцену Б.Н. рассказывал очень сильно, ярко и до странности живо. Казалось, что он говорит о чем-то реально увиденном. И тут же, словно для того, чтобы прервать чувство жути, вставшее в душе от его слов, он взмахнул книжкой с раскрытой страницей и, улыбаясь, сказал:

— «Ну, а бочонки тут ни при чем. И “змея” — ни к чему... Просто: *одно* многочисленное тело... Змея должна оставаться там, в первой части. Ей место — в сказочном мире. И видит ее там не взрослый. Ее *видит* ребенок. Хандриков вместо змеи должен видеть “хромцов”. Ясно и просто! Хромает хромец. А *страшное* здесь должно быть подано иначе. Сквозь стылость, сквозь немоту, сквозь безличие, и — сквозь ритм», — договорил он уже без всякой улыбки.

Образ «хромца» был всегда для Б.Н. образом жути. «Хромец» появляется в Первой симфонии. А в последней переделке белыми стихами одного из ранних прозаических отрывков из «Золота в лазури»[22], хромцы на маскированном бале даны почти так же, как в приведенном мною рассказе.

В Первой Симфонии появление «хромца» подано так. Молодой рыцарь сидит на террасе замка, бледный, испуганный нарастанием «пасмурной силы», захватившей страну. Все кругом полно зловещим страхом. Ночь, туман, черные волны реки. «Призывный рог дежурного Карлы возвестил о приходе неведомых. Подавали знаки и переговаривались. Старый дворецкий пришел на террасу доложить о появлении незнакомого *хромца.* ...Старый дворецкий... стал поодаль, а *хромец* подошел к молодому рыцарю и завел воровские речи о знакомых ужасах» (изд. 1917 г.

стр. 77–78[23]). Дальше хромец поздравляет молодого рыцаря «с совершённым ужасом» – с участием в «гнусной мессе» (79). В замке готовится нечестивое пиршество. Ждут гостей. Они появляются: «...вдоль дорог и лесов к замку тянутся пешие и конные, неизвестно откуда. Были тут и *хромцы*, и козлы, и горбуны, и черные рыцари, и колдуньи» (84).

А вот сценка из «Аргонавтов», редакции 1929 года.

Два
Смельчака –
Летели
Завтра.
Нынче же –
Прощальный вечер
С дамами
И
С масками...

...Заметили:
Явленье домино
С изображением
На черных капюшонах –
– Головы
Осла.
... Когда трубач трубил
И рыцари
Сверкали саблями, –
То –
– Домино, –
Из-под халатов черных
Тоже
Сабли выхватив,
На рыцарей
Шли
Твердым
Маршем, –

Нá-ногу,
На правую
Прихрамывая,
Чтобы –
– Дать понять,
Что логика –
– Прихрамывает
Чья-то.

(Аргонавты. 1903–29, сб. «Зовы времен»,
отдел IV. Белые стихи)[24]

Интересно, что в первоначальном тексте, напечатанном в «Золоте в лазури», не указано, что домино прихрамывают.

Кроме третьей «Симфонии», которую фактически править Б.Н. так и не начинал, при мне он брался еще за Четвертую, – «Кубок метелей»[25].

Это было зимой 1918 года. В это время он предпринял уже хлопоты об отъезде своем за границу[26]. Чтобы заполнить «никчемное» время, когда приниматься за какую-нибудь большую работу уже не стоило, он пересматривал свои материалы и взялся за Симфонию. Он говорил всегда, что она им загублена, что он в ней много напутал[27]. Обрезал в себе то, что вставало, как образ, вначале, и положил рационалистически: должно быть та́к, а не так! Правдой первого образа он считал, что должно было быть две героини, а не одна. Одну он построил рассудочно. Оттого-то все стало фальшивым. В одном образе нельзя было правдиво соединить то, что должно было слагаться из двух. Во Второй Симфонии хоть и бледно, но второй образ все же дан: монашка[28]. В четвертой «монашка» должна была больше раскрыться и выдвинуться.

Как-то раз, – это было на квартире его у Жуковской, в Конюшковском переулке[29], – он прочел мне написанный заново первый отрывок, – с двумя героинями.

На этом дело и кончилось. Помню только, что и этим началом он был недоволен:

– «Нет, – не вышло опять... Бесповоротно испорчено. Загублено окончательно. Лучше не трогать. А если уж тронуть, то прочно засесть. Растопить в себе все до конца... А так, клочками бессмысленно дергать».

Набросок этот, вероятно, погиб вместе с остальными рукописями, оставленными тогда у Жуковской. Вернувшись из-за границы, в 23-м году, он справлялся, где корзина с его бумагами. Ответ был такой, что у него создалось впечатление: пошла на завертку селедок. Так он отозвался с негодованием и горечью, рассказывая о результатах своей «рекогносцировки».

Заметки к «Москве»[30]

Предполагал, что *Митя Коробкин* займет больше места в романе. Но в «Масках» убедился окончательно, что с ним нечего делать: «через несколько месяцев будет он труп»[31]. Митя должен был погибнуть (Маски. 305) в уличной перестрелке.

Наденьку – дочь Коробкина очень любил. Жалел, когда она «захирела». Но изменить этого не мог. «Ей нет воздуха, чтобы развиться» – для отца Наденька была отчасти тем, чем стала потом Серафима. Эти два образа связаны.

Княжну в штанах – писал со смехом. Забавлялся этой фигурой. Рассказывал о ее чудачествах. Давал много комических подробностей. Но никогда ее не рисовал.

Пепе́ш-Довлиаша – писал с резкой антипатией. К «науке» психиатрии относился скептически, хотя признавал, что и здесь могут быть одаренные люди, – «художники». Припоминал рассказы А<лександры> Д<митриевны>[32] о Кожевникове[33], у которого та лечилась и которым была очарована. В Пепеш-Д<овлиаше> дал отрицательный тип: каким *не* должен быть психиатр.

Последняя встреча с В.Я. Брюсовым в Коктебеле[34]

Когда выяснилось, что Бр<юсов> приедет, Б.Н. взволновался. Отношения их давно были порваны[35]. Встреча казалась трудной, ненужной. Он говорил даже о том, чтобы уехать, не дожидаясь. Вышло совсем по-другому. Встретились они

неожиданно сердечно, как-то радостно молодо. Разговоры были легкие, непринужденные. Иногда летучие намеки на прошлое, но с явным обоюдным желанием «худого не поминать». В обоих проступала как бы воскресшая молодость. Бывали вместе на пляже, играли в импровизированном «кинематографе»[36]. Прощание было горячее, сердечное. Б.Н. не спалось, и он вышел случайно в самую минуту отъезда. Было 5 часов утра. Провожавших почти не было, все еще спали, простившись с вечера. Утро было тихое, задумчивое. Брюсов был простужен, покашливал. Они горячо обнялись. Б.Н. долго смотрел вслед. Серьезно и грустно. Казалось, перед ним проходила вся сложная, богатая светлым и темным, история их отношений. Грустно и тихо вернулся он к себе на террасу. И все еще посматривал в ту сторону, где за поворотом дороги скрылась линейка. Грусть эта оставалась в нем долго еще.

К теме: Б<орис> Н<иколаевич> в жизни[37]

Пословицы, поговорки, излюбленные выражения

Утро вечера мудренее. Дело мастера боится. Чужим умом (не проживешь), (не спасешься), (не проедешь). Тише едешь, дальше будешь. Один в поле не воин.

У страха глаза велики. Семь бед один ответ. Полюбите нас черненькими… (Мерить) на свой аршин. Семь раз примерь… Горбатого могила исправит. Велика Федула…

Мал золотник, да дорог.

Куда Макар телят не гонял. На бедного Миная. *Не любо – не слушай… Хлебом меня не корми (шутливо – о себе). Короче куриного носа (написал что-нибудь – себе)*[38].

Куда ни шло. С миру по нитке. Махнул не туда… махнул мимо (сказал, сделал не то). Любишь кататься… Выеденного яйца не стоит.

Победителя (победителей) не судят. Нет дыма без огня. Гора родила (рождает, рождающая) мышь.

Сыр-бор загорелся. Назвался груздем… Охота пуще неволи (очень часто о себе).

Непóчатый угол (сюрпризов, забот).

Вынь да положь.

Без вины виноватый (виноватые). *Пальцем в небо. Nec plus ultra*[39]. *Excelsior*[40]*! Esprit mal tourné*[41]. *Тишь да гладь. Прокрустово ложе.*

За деревьями леса не видно. От ворот поворот. Смотри в оба. Мозолить глаза. Чесать язык.

Ры́вом сделать что-нибудь. Не спрóста. С недобóром. В кои веки. На основании тех же суждений. С места в карьер.

Хлопот полон рот (о себе, шутливо).

Вынь да полóжь. На свой аршин (мерить). Под спудом. В крупном масштабе (оскандалился). Скинуть со счетов (учение о… требование… прошлое). С левой ноги. Взорвался (сильно рассердился). Перевлечься, быть перевлеченным, перевлечь (на свою сторону). Не в прочёт… А ему не в прочёт (не понимает).

Невдомек. Нет! как хорошо. Да нет! не может быть. Да нет! когда же? Да нет!

Каша яшмовая (вместо: ячневая) (шутливо).

Кавардак (в голове, в сознании). Забил тревогу. Пришел в раж. Вошел в азарт. Тщетно тщиться. Ножницы сознания. В кредит назову… Вéки веков устроить (вдруг задуматься среди дела – умываясь, надевая пальто, шнуруя ботинки).

Вилами по воде. Пороть дичь. Ветер свищет (в голове). Враги человеку домашние его[42]. Аршин проглотил. Единым махом (написал). По прямому проводу (понять что-нибудь). Черным по белому (написано, сказано). Во все лопатки улепетывать.

Иностранные слова и выражения в разговорной речи

Гетерогенный – поступок, решение. Спецификум. Па́литра мировоззрений. Раккурс. Гибридная форма, гибридный. Элиминировать. Градация (смыслов). Зона (познания, опыта). Гальванизация трупа (истории, философии). Циркулировать (слухи, народы). Интерференция (понятий). Транскрипция. Триада (отчетливая). Склероз (понятий). Праксис (мыслительный). Номенклатура. Аппелировать. Атрофировать. Ляпсус. Компендиум (трудностей бытовых). Фикция – тепла, сознания, перчаток (холодные перчатки). Пресумпция. Форсировать. Привести к абсурду. Аберрация (прочность чего-нибудь). Перманентный (обман, заседание). Па́литра (восприятий, ощущений). Сигнализировать (отношение к чему-нибудь). Фабула – архитектоника, движение, стиль орнаментики фабулы. Раскраска, развертывание фабулы.

Уникум. Эквивалент. Эфемерный – шарф, рукавицы (не греют) и приглашение (легковесное). Прецедент. Реминисценция. Адэкватный. Декретировать. Предесценировать. Бильбокэ (о ком-нибудь: устраивал философское бильбокэ). Пафос дистанции (соблюдать). Нет пафоса (пойти куда-нибудь). Стабилизируясь. Скрупулезно (изучить). «Канни́нхен[43]-эксперимент» (часто о себе). Культуртрэгер. Темперировать – жесты, настроение, отношение. Ориентировать – предметы (располагать). Фасонировать жесты, теорию знания. Сигнализировать – проблемой познания. С'импровизировать (поездку, постель, объяснение, галстук). Идентифицировать. Экспозиция. Метаморфоза. Орнамент. Склик тенденций. Регионы (культуры). Ми́микри. Джиуджица[44]. Филигранный.

Разговорные выражения

Все что ни есть. Всему, что ни есть. Обо всем, что ни есть, и т.д.
Вынашивать мысль, решение.
Без царя в голове зажить.
Свергнуть царя в голове.
Поразил воображение.
Под флагом... философии.
Ответ *гласит*:...
Разгласи́ться – говорить, делать что-нибудь с увлечением.
«Разгласясь, рассказывала о поездке».
Курбеты.
Скандал случился (о себе).
Конфуз.
Опрометью махнул.
С налету (небрежно).
«Какой ты (вы) хороший» – чтобы выразить ласку, любовь.
Или: Милый... голубчик. Иногда одно только имя: Алеша!..
Под сурдинку, под сурдинкой, под сурдинками.
Под флёром, под флёрами.

IV

9 июля 1935 года[45]

1

Б.Н. давно мечтал о пишущей машинке, — как на ней было бы легко и приятно работать. «Все писатели имеют машинки», — говорил он с таким видом, будто без машинки какой же писатель.

Наконец желание его осуществилось. П.Н. Зайцев купил для него в Москве (в 1929 г.) небольшую машинку и привез ее в Кучино. Б.Н. был в полном восторге. Любовался со всех сторон «портативным ящичком», открывал, осматривал устройство: рычаги, валики; попробовал сам «постукать».

На этом дело и кончилось. Машинка не привилась, — была тут же отставлена в сторону, и Б.Н. больше к ней не прикасался[46].

2

Б.Н. никогда не записывал своих расходов.

Но раз в год происходило «событие» — подача декларации фин-инспектору. На составление ее уходило дня два. Вся текущая работа останавливалась. Б.Н. сперва «подготовлял материал»: отыскивал счета от издательств, всевозможные расписки, квитанции и пр., намечал «рубрики расходов» — квартира, дрова, прачка, папиросы. Припоминал и высчитывал «в среднем» израсходованные суммы. Потом все это много раз просчитывалось и пересчитывалось нами вместе и порознь, и наконец переписывалось начисто. Иногда Б.Н. просил меня с этого чистовика еще сделать копию, чтобы оставить ее себе «для памяти» и как образец «на будущий год».

Отчеты Б.Н. были необыкновенно подробны[47]. Как ни убеждали его, что не стоит тратить столько времени и силы на такие пустяки, он твердо стоял на своем: «Я должен во всем отчитаться». Нам передавали, что «фин» (в Салтыковке или Реутове — не помню) уже знает «декларации Бугаева», ждет их и читает с удовольствием, как роман, одобряя за подробность: сразу все видно!

Послесловие

В настоящей публикации собраны рассеянные по различным архивным хранилищам отрывочные записи К.Н. Бугаевой, носящие отчетливо выраженный мемуарный характер.

Первая запись сделана грифельным карандашом на обороте фотографии писателя (май 1933 г.), хранящейся в Мемориальной квартире Андрея Белого. Поставленная дата — «8/I–34. 12.30 дня» (мы вынесли ее в заглавие первого раздела) — означает день и час смерти Белого, что дает основание предположить, что К.Н. Бугаева «по горячим следам» зафиксировала последние слова умирающего мужа, вперемешку со своими собственными наблюдениями и мыслями. Эти спонтанные наброски «для себя» фактически являются ее первыми письменными свидетельствами о Белом. По-видимому, записи на обороте фотографии делались в два этапа: сначала свободным крупным почерком, а потом — мелким, чтобы слова «втиснулись» в оставшееся пространство.

В следующую часть публикации (раздел II) вошел фрагмент, хранящийся в отделе рукописей Российской государственной библиотеки (Ф. 25. К. 38. Ед. хр. 5. Л. 1–6) и фигурирующий в описи фонда Белого как «Дневниковая запись» К.Н. Бугаевой. Он вложен в папку с дневниковыми записями Клавдии Николаевны о поездках с Белым на Кавказ в 1927–1929 гг. Однако публикуемый фрагмент датирован более поздним временем – 24 декабря 1934 г. Судя по датировке и по содержанию, это подготовительный набросок к «Воспоминаниям об Андрее Белом», над которыми К.Н. Бугаева работала преимущественно в 1934–1936 гг. (последняя правка была внесена в 1960 г.). В окончательный текст «Воспоминаний...»[i] публикуемый фрагмент не вошел. В черновом автографе мемуаров такого текста тоже не обнаружено[ii]. Однако в черновом автографе воспоминаний тем же числом, что и публикуемый выше текст о прижизненных портретах Белого – то есть 24 декабря 1934 г., – датирована часть главы «Контрапункт», в которой речь идет об излюбленных жестах и движениях Белого: от слов «Он часто шутил, что признает только два состояния: ходить и лежать <...>» – до слов: «Порой находил на него особый задор, и он принимался показывать всевозможных зверей <...>»[iii].

Вообще в конце декабря 1934 г. Клавдией Николаевной было написано несколько значительных кусков мемуаров: 26 декабря – фрагмент об умении Белого подражать мимике различных животных, ставший в главе «Контрапункт» продолжением текста о его жестах и движении от 24 декабря (С. 73–74); 25–29 декабря – глава «Мысль» (С. 275–298), 29 декабря – завершение главы «Контрапункт»: от слов «Eine Strasse muss gehen» (С. 100–104). Очевидно, что Клавдия Николаевна записывала спонтанно возникающие мысли и всплывающие в памяти подробности в форме дневников, а потом компоновала эти записи по темам и главам. Думается, что публикуемым фрагментом о портретах Белого К.Н. Бугаева намеревалась завершить одну из глав воспоминаний (возможно, «Контрапункт»). Однако по какой-то неизвестной нам причине эта запись откололась от других записей, сделанных в то же время, в конце декабря 1934 г. (не исключено, что это произошло при разборе архива сотрудниками рукописного отдела РГБ, а не по воле К.Н. Бугаевой).

В раздел III вошли отрывочные записи, хранящиеся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки: Ф. 60. Ед. хр. 115 («*Бугаева К.Н.* Материалы к “Воспоминаниям” и к “Словнику стихотворений Андрея Белого”»). Листы в этой единице хранения пронумерованы рукой К.Н. Бугаевой (всего 24 листа) и сложены ею в отдельную бумажную папку. На обложке папки – надпись, обращенная Клавдией Николаевной, по-видимому, к литературоведу и ее другу Дмитрию Евгеньевичу Максимову (1904–1987), с помощью которого она «пристраивала» в государственные архивы творческое наследие Белого: «Просмотрите, пожалуйста, эти заметки, и если найдете их стоящими и дозволенными, то передайте их в архив Б<ориса> Н<иколаевича>»[iv].

---

[i] См.: *Бугаева К.Н.* Воспоминания об Андрее Белом / Публ., предисл. и коммент. Дж. Малмстада; подгот. текста Е.М. Варенцовой и Дж. Малмстада. СПб., 2001.

[ii] См.: ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 105.

[iii] *Бугаева К.Н.* Воспоминания об Андрее Белом. С. 73.

[iv] Об отношениях К.Н. Бугаевой и Д.Е. Максимова см.: *Лавров А.* Штрихи к биографии Андрея Белого и К.Н. Бугаевой (По материалам архива Д.Е. Максимова) // Литература как миропонимание. Literature as a world view: Festschrift in honour of Magnus Ljunggren. Göteborg, 2009. С. 179–204.

Первый фрагмент раздела III, посвященный «Симфониям» (Л. 2–6), имеет точную датировку: на каждом листе стоит дата «20 июля 1934»; остальные – не датированы. Из них мы отобрали для этой публикации наиболее значительные фрагменты, дополняющие «Воспоминания об Андрее Белом» К.Н. Бугаевой: «Заметки к “Москве”», «Последняя встреча с В.Я. Брюсовым в Коктебеле», «К теме: Б.Н. в жизни...».

Под заголовком «К теме: Б.Н. в жизни...» объединены три списка, содержащие излюбленные слова и выражения Белого, демонстрирующие специфику его произношения и языкового стиля. На связь этих фрагментов с мемуарами указывает то, что так – «Б.Н. в жизни» – называется одна из глав ее «Воспоминаний об Андрее Белом» (С. 249–274). Не исключена также связь этих записей с работой К.Н. Бугаевой над словником стихотворений и художественной прозы Андрея Белого, для которого ею были составлены впоследствии разнообразные сводные списки, например: «Материалы к словарю художественной прозы Андрея Белого (пословицы, фольклорные выражения, фразеологизмы, неологизмы, диалектизмы, архаизмы, необычные значения общеупотребительных слов, цвета и краски в повестях и романах Андрея Белого)»[i], «Развернутый регистр слов по стихотворным сборникам Андрея Белого с указанием количества употребления их в каждом сборнике»[ii] и др.

В раздел IV включены две датированные 9 июля 1935 г. небольшие мемуарные заметки, обнаруженные в Российском государственном архиве литературы и искусства в папке с черновыми набросками первых глав второго тома романа «Москва»[iii]. Они служили пояснением к записям, случайно оказавшимся на оборотах черновиков романа, однако по оформлению они похожи на пояснения, предназначенные для вставок в некий текст, посвященный Белому или его архиву.

В публикации курсивом выделены подчеркивания в тексте, курсивом с разрядкой – подчеркивания на полях, зачеркнутые слова приводятся в квадратных скобках.

---

[1] Запись на обороте фотографии Андрея Белого, сделанной в мае 1933 г. и хранящейся в Мемориальной квартире Андрея Белого. Указаны день и час смерти Андрея Белого.

[2] Из стихотворения В.С. Соловьева «Какой тяжелый сон! В толпе немых видений» (1885, июнь 1886):

Какой тяжелый сон! В толпе немых видений,
Теснящихся и реющих кругом,
Напрасно я ищу той благодатной тени,
Что тронула меня своим крылом.

Но только уступлю напору злых сомнений,
Глухой тоской и ужасом объят, –
Вновь чую над собой крыло незримой тени,
Ее слова по-прежнему звучат.

---

[i] ОР РНБ. Ед. хр. 109–112.
[ii] Там же. Ед. хр. 113.
[iii] РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 1, 1 об., 2.

Какой тяжелый сон! Толпа немых видений
Растет, растет и заграждает путь,
И еле слышится далекий голос тени:
«Не верь мгновенному, люби и не забудь!»

[3] В составленной К.Н. Бугаевой «Летописи жизни и творчества Андрея Белого» отмечено: «[1934]. Январь, ночь с 7 на 8. Занят мыслями о свете: “Время отстало от света...”» (ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 107. Л. 177).

[4] НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 38. Ед. хр. 5. Л. 1–6.

[5] Известны два портрета Белого работы Льва Самойловича Бакста (1866–1924): 1905 г. (бум. тонир., цв. кар., пастель; Государственная Третьяковская галерея) и 1906 г. (бум., цв. кар.; Государственный литературный музей). Здесь речь идет о втором портрете. См.: *МДР 1990*. С. 63; *Пружан И.* Лев Самойлович Бакст. [Л., 1975]. С. 88–90; *Гречишкин С.С, Лавров А.В.* Символисты вблизи: Статьи, публикации. СПб.: Скифия а Талас, 2004. С. 352–360.

[6] В Музее-мастерской А.С. Голубкиной (филиал Государственной Третьяковской галереи) экспонируются два скульптурных портрета Андрея Белого, выполненных Анной Семеновной Голубкиной (1864–1927) в 1907 г. (оба – тонированный гипс). Еще один бюст хранится в фондах ГТГ (тонированный гипс. 1907), это авторский вариант первого бюста (см. об этом: *Галина Т.В.* Три портрета Андрея Белого: Тезисы доклада на «Голубкинских чтениях» в декабре 2004 г. // Искусствознание. 2005. № 2. С. 600; *Галина Т.В.* Портрет Андрея Белого скульптора А.С. Голубкиной: образные параллели публицистики и композиционно-пластических решений // Андрей Белый в изменяющемся мире. М., 2007. С. 552).

[7] Силуэт Белого из книги художницы Елизаветы Сергеевны Кругликовой (1865–1941) «Силуэты современников» ([М.:] Альционa, 1922), традиционно датируемый 1910-ми. В публикации Е.В. Наседкиной «Главная тема его неисчислимых мелодий» (Наше наследие. 2005. № 74. С. 115–116) уточняется датировка этого силуэта (1917–1921 гг.) и высказывается предположение о том, что еще один силуэт Белого (1906 г.) также выполнен рукой Кругликовой. См. воспроизведение в кн.: Андрей Белый. Александр Блок. Москва / Сост. М.Л. Спивак., Е.В. Наседкина, А.Э. Рудник, М.Б. Шапошников. М., 2005. С. 164, 194.

[8] Известны два портрета Белого работы Николая Андреевича Андреева (1873–1932): портрет 1922 г. (бум., сангина, мел, ит. кар. 29,9×23,8; Государственная Третьяковская галерея) и рисунок-шарж 1924 г. (бум., кар.; Государственный литературный музей). Подробнее о них см.: *Наседкина Е.В.* Иконография Андрея Белого в записях К.Н. Бугаевой и портрет Н.А. Андреева // Андрей Белый в изменяющемся мире. С. 536–545.

[9] «Маски» (М.: ГИХЛ, 1933) были изданы с рисунками Николая Васильевича Кузьмина (1890–1987) и с портретом Белого работы Владимира Алексеевича Милашевского (1893–1976). См.: *Милашевский В.* Вчера, позавчера... Воспоминания художника. 2-е изд., испр. и доп. М., 1989. С. 282–288.

[10] Анна Петровна Остроумова-Лебедева (1871–1955) выполнила портрет Белого в 1924 г. в Крыму (бум., акв.; Государственный Русский музей). См.: *Остроумова-Лебедева А.* Автобиографические записки. Т. 3. М., 2003. С. 68; *Наседкина Е.* «Главная тема его неисчислимых мелодий». С. 116–118.

[11] Портрет Андрея Белого работы Петрова-Водкина (1931–1932) хранится в Картинной галерее Армении (Ереван).

[12] При работе над «синтетическим портретом» Андрея Белого, графическим коллажем из пяти изображений писателя (бум., тушь, перо; 1934; Литературный музей ИРЛИ РАН),

Ольга Дмитриевна Форш (1873–1961) использовала фотографии Белого. «Синтетический портрет» О.Д. Форш – наряду с портретами работы Л.С. Бакста 1906 г. и А.П. Остроумовой-Лебедевой 1924 г. – вошел в качестве иллюстрации в третий том мемуаров Белого «Между двух революций» (Л., 1934). Книга была подписана к печати 13 октября 1934 г., а 26 декабря Форш писала Клавдии Николаевне: «<...> посылаю Вам только что вышедший мой “синтетический” портрет Бориса Николаевича. Он будет приложен к тому “Между двух рев<олюций>”» (НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 49. Ед. хр. 50). Книга вышла в свет лишь в апреле 1935 г., но уже в феврале того же года «синтетический портрет» Белого был впервые опубликован в газете «Литературный Ленинград» (1935. 8 февраля. С. 4).

[13] Далее в рукописи следует большой интервал, возможно, предназначавшийся для вставки цитат.

[14] Впервые этот роман О.Д. Форш был опубликован в 1933 г. в ленинградском журнале «Звезда» под названием «Символисты» (№ 1, 5, 9, 10); на следующий год был издан отдельной книгой под названием «Ворон» (*Форш О.* Ворон. Л.: ОГИЗ, 1934). Также Форш вывела Белого в романе «Сумасшедший корабль» под именем Инопланетного Гастролера (Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1931).

[15] В повести «Охранная грамота» Б.Л. Пастернак описывает встречу Белого и Маяковского на литературном вечере, состоявшемся в конце января 1918 г. на квартире поэта Амари (М.О. Цетлина).

[16] К.Н. Бугаева цитирует по изданию: *Пастернак Б.* Охранная грамота. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1931. С. 116. Экземпляр этой книги Пастернак подарил Белому 8 марта 1933 г. с дарственной надписью, в которой признавал себя «преданным учеником» «горячо любимого Бориса Николаевича» – те же слова он повторил позднее в некрологе Белому в «Известиях» (см. в наст. изд.). Эта книга в настоящее время хранится в библиотеке Гарвардского университета. В ней есть несколько отчеркиваний на полях: на с. 116 против абзаца с описанием вышеприведенной сцены рукой Белого указаны дата («1918/II») и порядковый номер этой страницы (см.: *Флейшман Л.* Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005. С. 151, 153). По-видимому, Белый внимательно прочитал «Охранную грамоту» и отметил в ней сцену чтения стихов Маяковским, на котором он присутствовал. Клавдия Николаевна вслед за мужем особо выделяет этот эпизод.

[17] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 115. Л. 2–6.

[18] Андрей Белый написал четыре «симфонии»: «Северная симфония. (1-я, героическая)» (М.: Скорпион, 1904), «Симфония (2-я, драматическая)» (М.: Скорпион, 1902), «Возврат. III симфония» (М.: Гриф, 1905), «Кубок метелей. Четвертая симфония» (М.: Скорпион, 1908).

[19] По-видимому, имеется в виду символистское оформление обложек книг с использованием многочисленных орнаментальных элементов в виде фантастических цветов, существ и т.д. Внешнее оформление симфоний Белого было различным: на обложке «Симфонии (2-й, драматической)», придуманной самим Андреем Белым, было написано только название «Симфония» и зодиакальный знак издательства «Скорпион»; в обложке «Северной симфонии» был использован рисунок О. Бердслея. Третью симфонию «Возврат» оформил гимназический и студенческий друг Белого художник Василий Васильевич Владимиров (1880–1931): в виде фантастической сцены, в которой «представлены почти все расхожие атрибуты модного стиля, уже изрядно обесценившиеся от неумеренно частого употребления. Здесь есть и вычурные, изломанные, стилизованные шрифты, и навязчи-

вые орнаментальные вкрапления, и условно-геометризованное изображение солнечных лучей, и претенциозная цветовая гамма <…>» (*Фомин Д.В.* Оформление прижизненных изданий Белого // Андрей Белый в изменяющемся мире. С. 556). Художественное решение обложки четвертой симфонии «Кубок метелей», выполненное Иваном Сергеевичем Федотовым (1881–1951), оказалось значительно удачнее предыдущего: «Мотив оплывающих свечей с их колеблющимся, призрачным светом, капризными и изменчивыми очертаниями привлек художника прежде всего своей пластической выразительностью и символической многозначностью. <…> Обложка представляет собой очень емкий графический эквивалент прозаического текста, в котором постоянное варьирование одних и тех же тем приобретает сходство с магическим заклинанием» (Там же).

[20] Персонаж симфонии «Возврат».

[21] Ср. в симфонии «Возврат»: «Эта была цепь непрерывных звеньев, как бы толсто-серых бочонков, соединенных друг с другом. Места соединений сгибались, и вся цепь, грохоча, тащилась вдоль улицы. Не видал конца и начала цепи, а только ряд соединенных грохочущих бочонков, извивающийся между двумя рядами домов. Потом бочонки стали сужаться и окончились гадким, черно-серым завитком, который быстро пропал, увлекаемый туловищем. Хандриков понял, что это ползла змея, выписанная Ценхом для устрашения его» (*Андрей Белый.* Симфонии / Вступ. статья, сост., подгот. текста, прим. А.В. Лаврова. Л., 1990. С. 235).

[22] Имеется в виду переделка лирического отрывка в прозе «Аргонавты» из сборника стихотворений «Золото в лазури» (М.: Скорпион, 1904. С. 197–210) для сборника «Зовы времен» (1929–1931).

[23] Здесь и ниже с указанием страниц в тексте цитируется по: *Андрей Белый.* Собрание эпических поэм. Кн. 1: Северная симфония (1-я, героическая). Симфония (2-я, драматическая). М.: Издание В.В. Пашуканиса, 1917 (Собр. соч. Т. 4).

[24] Сборник «Зовы времен» при жизни Белого опубликован не был. См.: *Андрей Белый.* Зовы времен // *Андрей Белый.* Стихотворения и поэмы. В 2 т. Т. 2 / Вступ. статья, сост., подгот. текста и прим. А.В. Лаврова и Дж. Малмстада. СПб.; М., 2006. («Новая Библиотека поэта»). С. 289–291. Графика столбцов и разбивка на строки в этой публикации несколько отличаются от записи К.Н. Бугаевой.

[25] Ср.: «В январе 1920 г. <…> Андрей Белый начал новую переработку этой книги и успел написать несколько первых отрывков, текст которых не сохранился» (*Бугаева К., Петровский А., [Пинес Д.].* Литературное наследство Андрея Белого // Литературное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 579).

[26] Имеется в виду отъезд в Германию в 1921 г.

[27] Ср.: «<…> с 1902 года до 1908 я только мудрил над одним произведением, калеча его новыми редакциями, чтобы в 1908 выпустить четверояко искалеченный текст под названием "Кубок метелей" <…>» (*НВ 1990.* С. 16); «<…> многослойный, пере-пере-перемудреный "Кубок метелей" <…> – работа из периода, разорвавшего все с эпохой "Симфоний" <…> вышла гораздо позднее, и – в перекалеченном виде» (*Андрей Белый.* Письмо к Иванову-Разумнику от 1–3 марта 1927 г. // Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 488). О работе Белого над «Симфониями» и переработках «Кубка метелей» см.: *Лавров А.В.* У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») // *Андрей Белый.* Симфонии. Л., 1990. С. 5–34.

[28] См. в конце второй части «Симфонии (2-й, драматической)»:

«1. Внутри обители высился розовый собор с золотыми и белыми главами. Кругом него возвышались мраморные памятники и железные часовни. <…>

4. Близ красного домика сидела монашка под яблоней, осыпанной белыми цветами.

5. Ее безмирные очи утонули в закатной зорьке, и юный румянец играл на юных щеках. <...>

12. Черная монашка зажигала лампадки над иными могилками, а над другими не зажигала <...>»;

и в финале «Симфонии»:

«1. И опять была юная весна. Внутри обители высился розовый собор с золотыми и белыми главами. Кругом него возвышались мраморные памятники и часовенки. <...>

6. И опять, и опять под яблоней сидела монашка, судорожно сжимая четки.

7. И опять, и опять хохотала красная зорька, посылая ветерок на яблоньку...

8. И опять обсыпала яблоня монашку белыми цветами забвения...

9. Раздавался визг стрижей, и монашка бесцельно сгорала в закатном блеске...» (*Андрей Белый.* Симфонии. С. 142–143, 193).

[29] В Большом Конюшковском пер. (д. 25, кв. 3) у Веры Александровны Жуковской (1893–1955), племянницы знаменитого русского ученого, создателя аэродинамики Н.Е. Жуковского, Белый поселился в октябре 1919 г.

[30] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 115. Л. 15. Над романом «Москва» Белый работал в 1924–1930 гг. В 1926 г. в издательстве «Круг» вышел первый том «Москвы» в двух частях: «Московский чудак» и «Москва под ударом», на следующий год вышло второе издание романа (М.: Никитинские субботники, 1927). Второй том романа – «Маски» (М.; Л.: ГИХЛ, 1932). В предисловии к этому изданию Белый сообщал, что замысел романа охватывает четыре тома. Но ни третий, ни четвертый тома не были написаны: роман «Москва» остался незаконченным.

[31] *Андрей Белый.* Маски. М.: ГИХЛ, 1932. С. 305. Глава 7 «Сердца волнует»; подглавка «Вздирался усами профессор Иван».

[32] А.Д. Бугаева, мать Белого.

[33] Алексей Яковлевич Кожевников (1836–1902) – знаменитый московский психиатр.

[34] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 115. Л. 17. Последняя встреча Белого с В.Я. Брюсовым произошла в Коктебеле летом 1924 г.

[35] Разрыв отношений произошел в 1912 г., в связи с отказом журнала «Русская мысль» (где Брюсов был редактором литературного отдела) опубликовать роман «Петербург».

[36] Подробнее об этом представлении см. в воспоминаниях Н.А. Северцевой-Габричевской «Андрей Белый “террорист”» (Публ. Ф.О. Погодина, О.С. Северцевой // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 114–116).

[37] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 115. Л. 19–24. Рядом с заголовком листа пояснение К.Н. Бугаевой, вписанное карандашом, по-видимому – позднее, при отправке материалов Д.Е. Максимову,: «Записано так, как говорил Б.Н».

[38] Здесь и далее в этом разделе *курсивом с разрядкой* отмечены выражения, подчеркнутые на полях карандашом.

[39] Дальше некуда (*лат.*).

[40] Все выше! (*англ.*). Одно из наиболее часто используемых Белым выражений. См. об этом: *Бугаева К.Н.* Воспоминания об Андрее Белом. СПб., 2001. С. 42.

[41] Дурной ум, извращенный ум (*фр.*).

[42] Мф. 10: 36: «И враги человеку – домашние его». Слова Христа были использованы применительно к ситуации, в которой оказался профессор Коробкин, в романе «Маски». См.: *Андрей Белый.* Маски. С. 310.

[43] Кролик (*нем.*).

[44] Вид японского боевого искусства (джиу-джитсу, дзюдзюцу); на его основе создано современное дзюдо.

[45] РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 1, 1 об., 2.

[46] На время своего отъезда в Детское Село в 1931 г. Белый передал пишущую машинку П.Н. Зайцеву, у которого при обыске и аресте в конце мая 1931 г. она была конфискована органами ОГПУ. После ареста К.Н. Бугаевой и в надежде на ее скорое освобождение Белый намеревался продать ценную вещь, чтобы на вырученные деньги обеспечить на некоторое время существование себе и ей. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, вернуть машинку не удалось. «<...> я подал заявление в ОблОГПУ о том, что машинка мне необходима; но, прозвонив 6 недель каждый день с утра до вечера в это учреждение, по делу о К<лавдии> Н<иколаевне> и дойдя до сердечной болезни, я уже не могу еще 6 недель звонить о машинке» (Письмо Белого П.Н. Зайцеву. Сентябрь 1931 г. // *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 491). См. также письма Белого П.Н. Зайцеву от 31 мая и 23 июля 1931 г. (С. 485, 487) и заявления Белого в Коллегию ОГПУ от 26 июня 1931 года с объяснением о том, почему его машинка оказалась у арестованного: «<...> в ночь на 27-ое на 29-ое [так!] мая был обыск в квартире Зайцева; и между прочим увезена моя машинка, которую я спасал от сырости кучинского помещения в квартире Зайцева (о чем, кажется, составлен протокол)», и в Полномочное представительство ОГПУ по Московской области («Обл-ОГПУ») от 10 июля 1931 г. с настоятельной просьбой «вернуть мне мою машинку системы SMS (№ 2070), приобретенную в 1929 году» (Минувшее. Т. 12. С. 353, 356).

[47] См. заявления Белого финансовому инспектору о своих доходах и расходах, подробнейшие сводки, счета, квитанции и другие документы по финансовым вопросам в РГАЛИ (Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 310). Пунктуальность Белого в таких вопросах имела объяснение. В заявлении в ОблОГПУ от 10 июля 1931 г. он писал о том, что во время обыска на квартире у П.Н. Зайцева «налоговые квитанции оказались <...> запечатаны в его комнате, что ставит» его «в очень трудное положение в виду неряшливого ведения счетных книг в Салтыковском Поселковом Совете»: «<...> я узнал от бывшей своей квартирной хозяйки, что опять в Совете осведомляются о каких-то 104 рублях, будто бы мной незаплаченных, вопреки распискам об уплате мной трех налогов самообложения, культурного налога за 1931 год, налога Фин-Инспектору за 1931 год <...>. Прошу <...> оградить меня до распечатывания комнаты Зайцева от требований Салтыковского Поселкового Совета, <...> не умеющего разобраться в путанице счетов <...>» (Минувшее. Т. 12. С. 356). О своих мучениях, связанных с оформлением подобной документации, Белый рассказывал также в очерке «Как мы пишем», открывающем одноименный сборник (Л., 1930): «Я пишу день и ночь; переутомляясь, я в полусне, в полубреду выборматываю лучшие страницы <...>; температура всегда “37,2” <...>; мигрени, приливы, бессонницы облепили меня, как стая врагов; <...> я пишу художественную прозу редко; раз в 6–7 лет, ибо фининспектор не станет считаться с моими мотовствами вроде <...> сожженного здоровья <...>, и вычтет из нищенского гонорара <...>» (см. перепечатку в кн.: Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 18). Описанная Белым сцена послужила сюжетом к появлению карикатуры, где измученный Белый атакуется многоногим и многоруким фининспектором (Андрей Белый. Александр Блок. Москва. М., 2005. С. 306).

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной, М.Л. Спивак

П.Н. ЗАЙЦЕВ

ПАМЯТИ УХОДЯЩЕГО ДРУГА[1]

Бесстрастная,
Ясная,
Строгая
Тишина больничной палаты.
Халаты
Белые,
Стены белые.
Постель бела.
Белое все вокруг,
И белые два крыла...

У постели круг:
Доктор,
Сестра,
Жена,
Друг.

Облако красное
В окна бьет
Пламенем красным
В розовый лед,
И января –
Краснеющая заря
В небе встает.
А над постелью, над тихим последним ложем –
Розовый, радостный
Чистый и сладостный
Дух апреля...

От зимних бурь,
От земных бурь,
В небо, в лазурь,
В последний, в сияющий
В золотозвездный полет.
Он – зовет.

Москва. Клиника. 1934 г.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С Л.В. КАЛИКИНОЙ[2]

I

Л.В. Каликина — П.Н. Зайцеву

27/II–<1933>.

Дорогой Петр Никанорович,

Обращаюсь к Вам с большой просьбой. К[3]. писала мне, что Вы имеете возможность достать «Москву»: «Маски»[4]. Нельзя ли мне выслать ее наложенным платежом, если он существует, от имени Ан. Ал.[5]? Была бы Вам очень, очень благодарна. А м<ожет> б<ыть> можно посылкой или как-нибудь еще. Боюсь, чтобы не пропала. Как-то Вы живете? Часто Вас вспоминаю. Сама очень мерзну, сверх всякой меры. Обои обваливаются от сырости. Вероятно, Вы совсем замотаны делами и пр. Я даже думала, что Вы еще в командировке[6]. Простите, что беспокою просьбой. Сердечный привет.

Ваша Л.К.

II

Л.В. Каликина — П.Н. Зайцеву

29/IX–<1933>.

Дорогой Петр Никанорович,

Давно уже хочу послать Вам хоть несколько слов привета, да адрес Ваш потеряла, да и не укладываешься на бумаге. Повидать Вас хотелось бы — вот что. Поручаю это Маргарите[7], чтобы привезла она от Вас живое, личное впечатление. То, что сказать хотелось бы, — говорится только от сердца к сердцу; его и буду посылать Вам в одну из таких минут. И о Вас вспоминаю в разрезе нашей вечерней поездки, рада, что мы вместе совершили ее. Это ведь останется.

А сейчас к Вам просьба. Нет ли у Вас статьи Б.Н. о поэме Санникова[8]? Книжечка эта сюда не попала, а ее очень хотела бы прочесть. Пожалуйста, если сможете, пришлите с Маргар<итой>. Буду очень благодарна. Как постоянно молча благодарю за «Маски». Если бы знали Вы, как много радости получить от Вас весточку. Обнимаю Вас от всего сердца.

Ваша Л.К.

Книжку верну, если нужно, с Ек. Ал.[9], кот<орая> поедет во 2ой половине сентября. Нельзя ли еще достать: Катаев: «Время, вперед!»[10]; Павленко: Кочевники?![11]

III

Л.В. Каликина — П.Н. Зайцеву

12/X–33 г.

Дорогой Петр Никанорович, сердечно благодарю Вас за посланные мне книги. Если будет возможность, пришлите и две другие. Это Б.Н. написал мне, как о поразивших его<,> и мне очень хотелось прочесть их. Очень меня волнует его здоровье и измученность К.Н. Думаю о них не переставая. Хочется думать, что Вы

не забываете их и помогаете им. Особенно пугает их переезд. Так мало теперь близких вокруг, так мало, кто может помочь. Не думали ли Вы о возможности мены для них с кем-нибудь квартирами? Ведь для Б.Н. противопоказаны 4-ый этаж[12], и это так беспокоит К.Н., и вообще, я думаю, им тяжело будет жить в большом и густо набитом коллегами доме. Нельзя ли было бы поменяться с каким-нибудь писателем, в спокойном более доме и районе, не таком большом и новом, поуютнее? Подумайте об этом. М.б. мои предположения очень наивны, ведь я не знаю совсем, как обстоит дело, но в сердце такая тревога за них. Очень-очень прошу Вас написать мне, как обстоят дела с квартирой, когда возможен переезд, бываете ли Вы у них и как все у них обстоит? Они настолько выбились из сил, что из их кратких писем вижу только, что все очень плохо, но конкретно почти ничего не знаю. В каком состоянии чаще находите Б.Н.? Если бы могла передать Вам, как сердце сжимается и болит от своего бессилия помочь им в конкретном, жизненном. Мысленно же всегда с ними...

Как живете Вы? Напишите о себе. Буду ждать от Вас весточки о себе и о них. Верю, что Вы по-прежнему с ними.

Если захотите как-нибудь подробней узнать обо мне, повидайтесь с моей ближайшей соседкой, с кот<орой> жили мы бок о бок и виделись каждый день. Адр<ес> ее: Ульяновская ул., д. 34, кв. 21. Роза Владимировна (тел. в тел. книжке на имя Длугач[13], в их квартире). Она очень милый и хороший человек, жили мы с ней по-хорошему.

Сердечно обнимаю Вас. Жду вести. Ваша Л.К.

Если будете иметь возможность, разузнавайте понемножку, где бы можно было устроиться в Москве или под Москвой со службой и жильем? Хотелось бы к своим...

Буквально сердце рвется при мысли о них. К.Н. уж совсем молчит, а открытки А.А.[14] – предельны по тревоге и боли за них.

IV

П.Н. Зайцев – Л.В. Каликиной

Москва. 18 декабря 1933.

Милая, родная Лидия Васильевна!

Знаю и понимаю, как Вы переживаете вместе с нами здесь болезнь Бориса Николаевича и как нужна Вам каждая весть о нем и о Кл. Ник. Решил написать Вам и буду стараться писать чаще. Ведь Кл. Ник. сейчас очень занята. Она все время с Б.Н.[15]

Вчера я был в Долгом, вечером, а утром там была Кл. Ник. Она уже три ночи через день ночует дома. Ее заменяет в это время А.С.[16] по ночам около Б.Н. Кроме А.С., Б.Н. ни на чью замену не соглашается.

За последние дни самочувствие и состояние здоровья Б.Н. немного улучшилось. Прекратилась бессонница по ночам, появился аппетит, уменьшились головные боли, уменьшилась общая слабость...

Но, к сожалению, эти признаки улучшения пока относительные. Доктора ищут первопричин болезни. Вот уже вторую неделю доктор за доктором обследуют Б.Н.

в разных направлениях, стремясь обнаружить источник заболевания. Ведь до сих пор еще ни одним лечившим Б.Н. доктором не поставлен диагноз болезни. А с момента заболевания, с 15 июля прошло 5 месяцев. Лечили ощупью и, может быть, периферию, а центр болезни оставляли нетронутым, и болезнь продолжала развиваться.

После феодосийского доктора[17], Б.Н. в Москве лечили Тарасевич, Хорошко, доктор-массажистка[18]. У каждого был свой местный специальный диагноз и свои методы лечения. И только сейчас, после того как Т.П. Симсон устроила Б.Н. в клинику, мы все поняли, что ему нужно было клиническое лечение, под постоянным непрерывным наблюдением врачей. Сейчас это устроено благодаря содействию Т.П. Она проявила и продолжает проявлять величайшую степень внимания и заботливости по отношению к Б.Н. Вначале всем близким казалось, что клинические процедуры измучат Б.Н., что он их не выдержит. Теперь нам ясно, что без них нельзя лечить Б.Н. Дома он оставался фактически без лечения. Он выполнял режим, предписанный докторами. Но режимом, одним только режимом без лечения не вылечишься. А метания от одного доктора к другому, с переменами методов лечения на дому только запускали и усиливали какое-то основное заболевание. При этом надо еще учесть особенности Б.Н. В клинике, где он сейчас лечится, все его особенности взяты на учет, с ними врачи считаются. Врачи изучают его книги, беседуют с друзьями, стремясь наиболее полно раскрыть и представить себе личность и индивидуальность больного. Хочется надеяться, что его поставят на ноги.

До сих пор докторам неясно, что с ним было в Коктебеле и что происходит теперь.

Существует два предположения: первое — это то, что в Коктебеле с ним произошел тепловой удар, был разрыв сосудов и произошло кровоизлияние в мозг. Это явление склероза. И второе — что у него опухоль мозга. Второе опаснее и страшнее. При первом он может выжить, с риском перестать быть писателем. Второе грозит концом физическим... Не знаю, что страшнее для самого Б.Н. и для близких.

Во всяком случае его состояние было с первого момента заболевания (с 15 июля) таково, что требовало полного изменения и улучшения обстановки. Но как раз этого-то и не дано Б.Н. Квартира не была готова к их возвращению. Не готова она и сейчас. С последней написанной им книгой еще весной начался для него ряд неприятностей в и<здательст>ве «Советская литература». И<здательст>во ГИХЛ, куда я по просьбе Б.Н. передал книгу, тянуло с ответом, а говоря между нами, даже не хотело издавать ее[19].

В Долгом было тесно, неудобно, неуютно, площадь нужна была П.Н.[20] А Б.Н. сразу по приезде стали тянуть и туда и сюда, на заседания, на собрания, на чтения. Правда, он отказывался, отбивался[21]. Но ведь его это дергало. Мы все суммы этих трудностей как-то не учли. Да и трудно сразу все учесть. Б.Н. все подбадривался, и его вид, вернее — его выдержка, даже и нас обманывали. Мы думали: авось все обойдется, Б.Н. поправится, — не впервые! А оказалось не так.

Б.Н. с Кл. Ник. вернулись в Москву 1 августа. Вид у него был очень плохой. Но постепенно, после визитов к проф. Тарасевичу, он стал оправляться. Затем

его освежил массаж. Затем хорошо повлиял Хорошко. К нему стали заходить в гости друзья. В сентябре был Г.Г. Шпет[22]. В октябре его навестили Б.Л. Пастернак и Паоло Яшвили[23]. Б.Н. был очень оживлен, остроумен, много говорили. Казалось, вернулся прежний Б.Н., а в ноябре он отважился даже выйти в свет. Я провожал его на собрание Секции научных работников в Горкоме писателей[24]. И он был очень доволен выходом. Собрание его нисколько не утомило. 9 ноября его вновь пригласили на собрание в ГИХЛ, по поводу посылки делегации писателей в Кремль на прием к т. Сталину или т. Молотову, в которую хотели включить и Б.Н. Это собрание его сразило. По случаю похорон Сен Катаяма он несколько часов блуждал по улицам, стремясь пройти сквозь милицейские цепи и пробраться домой. Вернувшись в Долгий, он слег на 10 дней в постель[25]. А перед тем он уже начал было поддиктовывать Кл. Ник. четвертый том мемуаров. К 20 ноября он опять поднялся на ноги. 25 ноября он захотел мне почитать из написанного. Читал куски из путешествия в Египет с Асей в 1911 г. Прочитанные главки мне очень понравились, и действительно они очень хорошо написаны, с большой силой, глубиной и в новой манере внутренней и полной правды, как и собирался Б.Н. писать этот том. Но, кажется, в этот же день я принес ему 1 экземпляр (пробный) «Начала века», с предисловием Каменева. Это предисловие я получил на просмотр и для отсылки Б.Н. еще летом. Оно произвело на меня ужасное впечатление. Целую неделю я ходил ошеломленный, не зная, что делать. Посоветовавшись с друзьями, решил не посылать его Б.Н., а дать прочитать по приезде. Получив его в Коктебеле, Б.Н. разволновался бы, а сделать фактически ничего не смог бы, разве приостановить выход книги и запретить ее печатать, если нельзя выпускать без предисловия. Допускаю, что Б.Н. мог бы это сделать. Но если бы он это сделал, то такой жест испортил бы отношения его как писателя с издательством, возможно, закрыло бы пути для следующих книг. На расстоянии, из Коктебеля, ему трудно было мирным путем разрешить создавшееся положение.

По приезде Б.Н. в Москву я также не мог дать ему прочитать предисловие. Оставалось поставить его перед фактом выхода книги с *таким именно*, а не *худшим* предисловием.

Предисловие, написанное другим критиком-редактором, могло быть еще хуже и еще более неприемлемо. Об этом мне говорили в ГИХЛе, когда я летом указывал на недопустимость этого предисловия. А без предисловия выпустить книжку И<здательст>во не могло и не выпустило бы. Оно также было связано.

Милая Лидия Васильевна, подумайте теперь, что можно было сделать при создавшемся положении?

Между прочим, я осенью решился показать Б.Н. предисловие к «Мастерству Гоголя». И, против моих ожиданий, предисловие его мало задело. Он был очень спокоен и даже относительно доволен им[26]. Оба предисловия писались одним и тем же автором.

Вернись Б.Н. здоровым в Москву 18–19 июля, как он предполагал, все могло бы сложиться иначе. Он, прочтя предисловие, поехал бы сам в И<здательст>во и, возможно, добился бы чего-нибудь. Но он вернулся в таком состоянии, что показывать ему предисловие сразу было нельзя.

V

Л.В. Каликина — П.Н. Зайцеву

4/I–34 г.

Милый, дорогой Петр Никанорович, большое спасибо Вам за Ваше письмо, очень, очень была ему рада (если может быть такое слово в той печали, в кот<орой> живешь). Видите, как мы сошлись, я очень Вас чувствовала в те дни, когда Вы писали, каждый день собиралась писать и наконец написала в самые последние дни года. Ваше письмо получила 1/I, заказной же бандероли нет до сих пор. Придется Вам справиться о ней на почте, если не придет на днях. Как только придет — напишу откр<ытку>. Сегодня получила письмо от Т.П.[27] Она пишет, что установили — тяжелый склероз мозговых сосудов и нет как-то ничего обнадеживающего в ее письме... пишет о громадной измученности Кл. Очень, очень беспокоюсь я за нее, так ужасно жаль, что нельзя почаще отпускать ее домой, что А.С. не умеет наладиться с уходом... О Вас Т.П. пишет, что у Вас все ладится очень хорошо, но трудно Вам, верно, часто. Я помню, по опыту около М.А.[28], как всецело надо перелиться в жизнь того, за кем ходишь, и тогда все будет идти легко и ритмично для него, не раздражая и не тревожа... Нужно полное Hingebung[29]. Что, собственно, наводит Вас на особенные размышления в «Начале века»? Книга эта так прекрасна в своем высоком мастерстве. Составленная из громадного числа самых разнообразных образов, она, несмотря на множественность, несет печать целостности. Образ ранней зари, почти предрассветности века, так сквозит сквозь все. Еще все туманится, дымится, искажается иногда до неузнаваемости в предрассветных сумерках. Оболочки людей сверкают, переливаются, меняют свой облик, обманывают, манят, рубища мешаются со сверкающей пышностью, но сквозь все, глубоко затаенный, явствен звук просыпающегося человека. И из него, в свете его, особые значения приобретают все переливы, обманчивые, искаженные часто, рассвета. Он явствен, он тут, несмотря ни на что и даже иногда вопреки. И вот за это звучание человечности, за это свежее дыхание, сквозь все смешение и разноголосицу кажущуюся, высоко ценю эту книгу. В глубокую яму ударил луч света — и как все шевелится внутри... А с предисловием... не знаю его, но думаю, что трудно понять эту книгу тому, кто стоит совершенно вне круга ее идей и сам ничем и никак не коснулся этого времени или его последствий. Предисловие же автора меня поразило своей большой объективностью и какой-то новой примиренностью[30]. Когда-то Б.Н. писал о том времени симфонии, сейчас симфонична описываемая им конкретность. Она не распадается, несмотря на диссонансы, она целостна в своем разнозвучии и в высшей степени симптоматична... вот основное, а остальное не вмещается в строчки. Но глубочайшая благодарность живет к Б.Н. за эту книгу. Он сжег свой мозг и свои нервы, стремясь оконкретизировать в мысли и современности космические потоки, дать им выход к человеческим сознаниям... Он разбивался о стены и пороги непроработанных и сырых сознаний... И мозг его был принесен в жертву тому, что стремилось сквозь него.

Вам дано послужить ему в его лишенности и обобранности здесь на физ<ическом> плане, и верю, что в Вас всплывут и проявятся силы, кот<орые> помогут Вам в этом. Ведь часть тяжкого креста его несете Вы, помогая К.Н... Об этом думаю, любя Вас еще по-новому, и вспоминаю наше общее путешествие. Несмотря на

пространство, никогда не покидает душа Вас, около его постели. И ведь он сознает, *что отдано* им, как богатейшее, сложнейшее орудие мозга. И, конечно, большой помощью ему будет, если мы сможем улавливать то, что «мыслится уже не с помощью физического мозга», то что живет в нем и вокруг него, уже не вмещаясь в физ<ические> проявления. Если бы А.С. смог ухватить его ритмы, слиться с ними и помочь ему, а главное — помочь К.Н. и Вам, облегчая Ваше служение. Не может ли еще кто-нибудь? Надо сделать все возможные усилия, чтоб как-то охранить и спасти К.Н.: ведь она будет нести в себе и его и себя — и нет цены тому, что живет в них...

Если бы П.Н.[31] не был так занят своей семьей... Увы, он не выдержал необыкновенных требований времени (от каждого требуется величайшее напряжение сил и величайшая самоотдача) и — отошел... Часто с большой грустью думаю о нем... Не достигнуть какого-то высшего предела в самом себе в наше время — значит быть отброшенным назад...[32] О Вас думаю с большой верой и большой нежностью. Как о *настоящем* друге и вспоминается часто «брат Никанор»[33] обнимаю Вас крепко, от всего сердца с надеждой и верой. Ваша Л.К.

VI

П.Н. Зайцев — Л.В. Каликиной

Москва 11 января 1934.

Милая, родная Лидия Васильевна!

Его не стало. И с тем большей глубиной и любовью живет он в сознаньи, в памяти, в сердце. Живет, очищенный, освобожденный от всего преходящего.

6 января я был у него в последний раз, ухаживая за ним, еще живым, с 3 ч. дня до 10 ч. вечера. Говорил с ним, слышал его голос, помогал ему. А 8-го — в понедельник мне позвонили по телефону о его кончине. Он скончался в 12.30 дня. В два часа дня я был в клинике. Без слов обнялись с К.Н. Она открыла его лицо. Оно сияло улыбкой и было исполнено мудростью света и покоя. Это было лицо Дитяти и Мудреца, отрешенного от всего земного. К.Н. рассказала о его последних минутах. Смерть его была тиха и спокойна. Он умер-уснул. За десять минут до конца он говорил с ней — о свете.

Половина третьего мы проводили его в анатомический зал клиник около Новодевичьего.

На другое утро в 10 часов мы с А.С.[34] были в Анатомическом. Через час проф. Абрикосов[35], производивший вскрытие, подошел к нам с Т.П.[36] и рассказал нам, что они нашли в момент вскрытия.

Большая часть сосудов мозга была захвачена склерозом. Был ряд кровоизлияний — первое в Коктебеле и последнее 8 января. Положение было непоправимое. Лечение слишком запоздало. Полтора-два года назад нужно было приняться за серьезное лечение. Удар в Коктебеле, по словам проф. Абрикосова, только ускорил неизбежную развязку. Т.П. подтвердила это, когда мы остались втроем.

Мозг тотчас же после вскрытия поступил на исследование в Институт мозга.

Смерть наступила от паралича дыхательного пути, как было сказано в бумажке, выданной конторой Клиник[37] после вскрытия.

К 12 ч. в вестибюле морга собралась группа близких друзей. Мы с В.О. Ниледером помогли служителю одеть нашего дорогого друга и в присутствии Кл. Н. положили его в простой обитый глазетом дубовый гроб. Положили несколько пучков белых цветов и зеленые ветки елки и туи, принесенные друзьями. В 1 час дня тело прибыло в Долгий. Ровно через месяц он вернулся туда, откуда мы его вынесли на носилках 8 декабря в 5 ч. вечера и проводили в Клинику.

В квартиру стали приходить друзья и знакомые. Пришли Чулков, Рачинский, Пастернак, Пильняк, Цявловский[38], двоюродный брат Олег Георгиевич Бугаев, сын дяди Жоржа[39] («Ерша»[40]). В тот же день в 5 ч. вечера тело было перевезено в Оргкомитет писателей на улице Воровского и было поставлено в Большом зале. На гражданскую панихиду собралось до 600 человек. Было много писателей, говорились речи... Возле гроба стоял почетный караул, сменявшийся каждые 5 минут. В соседней комнате играл оркестр Консерватории.

К 10 ч. доступ в зал для публики был закрыт. Но всю ночь около гроба находились художники, рисовавшие последний портрет нашего друга. Говорят, их было где-то 20 человек[41]. Последние из них ушли в 6 ч. утра. Я пробыл до 1 ч. ночи около гроба. Было удивительно высоко и торжественно. Он стал величавей и строже. За сутки лицо изменило тональность. Сияющая светлость и мягкость уступили место величавой торжественности.

Скульптор Меркуров снял маску с его лица в этот вечер[42].

Вчера рано утром я пришел к гробу. В зале было торжественно и тихо. Он был в это утро иной, чем в два предыдущих дня. Сила и власть была в его лице, напоминавшем другие высокие черты[43].

Зал был пуст. Только около гроба стояло несколько художников, пришедших рано утром и делавших зарисовки. Среди них были: Фаворский, Павлинов, Лев Бруни, скульптор Златовратский, делавший барельеф, и другие[44].

В.А. Фаворский сделал портрет, и этот портрет необыкновенно удачно и хорошо отразил его в новой тональности последнего дня и в том новом, чем он стал теперь – для всех, кто его знал и любил. Этот портрет Фаворский подарил Кл<авдии> Ник<олаевне>, и он будет находиться у нее.

Художники еще продолжали свою работу, а зал стал наполняться народом. Публики было меньше, чем накануне, – это был рабочий будничный день. Но так же, как и накануне, всех собравшихся объединяло чувство глубокой взволнованности. Многие плакали. Эта скорбь выражала отношение к нашему другу как к писателю-художнику и как к человеку. Была взволнованность, потрясенность, любовь и признательность за то, что дал он своим творчеством.

В 1 час дня гроб вынесли на улицу, и траурное шествие тронулось в путь. За гробом шли вначале несколько сот человек, но дорогой часть отстала. В 3 часа тело прибыло в крематорий и после прощания было предано кремации.

От имени Оргкомитета произнес речь драматург Киршон. Говорил очень плохо[45]. Больше никто не выступал. Молчанье сквозь слезы было красноречивее всех речей...

Кл. Ник. с тетей Ек. Ал.[46] Прошла весь путь от улицы Воровского до крематория пешком. Кл. Ник. была в чувстве высоты, строгости и огромной воли все это время. Вечером я зашел в Долгий посидеть с ней и со старушками[47]. Было просветленно, горько, и он чувствовался и ощущался с нами.

Сегодня весь день я был занят первоначальными хлопотами по делам Кл. Ник.

Устройство похорон и расходы по ним взяли на себя Оргкомитет писателей и ГИХЛ. Все было устроено хорошо и достойно. Венков не было, кроме одного — из еловых ветвей, — от частного лица. Ленинградский Оргкомитет прислал делегацию для участия в похоронах.

В «Известиях» 9-го января напечатали некролог, написанный Б.Л. Пастернаком, Б. Пильняком и Г.А. Санниковым[48]. Вероятно, Вы его прочитали. В «Веч<ерней> Москве» появилась небольшая заметка[49]. Сегодня в «Литературной газете» дан некролог и статья Локса К.Г.[50] (ученика Б.Н. по «Мусагету» и кружка К.Ф. Крахта, члена «Молодого Мусагета»[51]). Ученик достойно отблагодарил учителя...

В «Правде» сегодня напечатана короткая заметка о похоронах, заканчивающаяся признанием, что «А. Белый умер советским писателем». Во вчерашнем № «Известий» Л. Каменев дал статью, повторяющую основные тезисы предисловия...[52]

В ближайшие дни будем говорить с издательствами о посмертном издании произведений Б.Н. Идет речь о сборнике воспоминаний, об избранном сборнике стихов...[53] К участию в редактировании, естественно, будет привлечена К.Н.

Завтра мы с ней пойдем в Новодевичий выбрать место для могилы. Хотелось бы похоронить его около Гоголя[54]. Похороны предполагаем совершить 18-го января[55].

Люсе[56] дали отпуск на несколько дней, но досадная задержка помешала ей вовремя приехать в Москву. Ждем ее в ближайшие дни[57].

Четыре часа ночи. Заканчиваю это письмо, — поневоле сухой, бедный и беглый отчет о последних днях. Простите, милая Лидия Васильевна, мне эту бедность и сухость. Но знаю, что это, как и все о нем — будет ценно и интересно для Вас.

Передо мной стоит его портрет — его подарок, — не могу удержаться от слез, глядя на него. Вот он — такой живой, милый и уже такой далекий от нас. Но верю, — он с нами, как и мы с ним.

Горячо обнимаю Вас.

Любящий Вас П. Зайцев.

ПИСЬМО К Е.Н. КЕЗЕЛЬМАН[58]

1934. 12 января[59].

Милая, милая Елена Николаевна!

Как горько сложилось с Вашим приездом! Иметь право и не мочь им воспользоваться![60]

Будем горячо надеяться, что все-таки вопрос уладится и Вы сможете приехать.

Хочется написать Вам очень бегло, сухо о последних днях нашего дорогого, милого друга.

В последний раз я был у него 6 января днем. Он с милой, светлейшей улыбкой встретил меня и отпустил К.Н.[61] домой. Но вечером стал беспокоиться, скоро ли она приедет. И вновь просиял, когда она вернулась в 9 ч. вечера.

А 8-го в 12 ч. 30 м. дня он отошел, тихо, легко, без всяких страданий. Уснул и — не проснулся. Ночью он говорил с К.Н. — о свете.

Мне позвонили по телефону. В 2 часа 8-го я был уже в клинике. Без слов, молча, в слезах обнялись с К.Н. Она приоткрыла его лицо. Оно было тихо, спокойно, сияло улыбкой света, покоя и отрешенности. Лицо Мудреца и Дитяти.

Половина третьего мы проводили его в морг для вскрытия. Вскрытие было обязательно.

Наутро 9-го в 10 ч. мы с А.С.[62] были в морге, через час проф. Абрикосов[63], производивший вскрытие, подошел к нам и кратко сообщил о том, что он нашел при вскрытии. Все, кроме мозга, было здоровым и крепким – и сердце, и легкие. Но мозг больше работать не мог. Большая часть сосудов была охвачена склерозом. Спасти его уже не было никакой надежды.

Спасать надо было ½ – 2 года назад. А тогда он не имел возможности думать о себе[64]. При вскрытии был установлен ряд кровоизлияний в мозг: первое – в Коктебеле летом, последнее – в ночь на 8-е января. Также очень сильное.

Смерть наступила от паралича дыхательного пути.

Мозг тотчас же после вскрытия был направлен на исследование в Институт мозга.

В час дня гроб с телом был перевезен в Долгий.

8 декабря вечером мы отправили Б.Н. в клинику – через месяц, 9 января мы перевезли в Долгий его тело. Он вернулся к своим милым старушкам[65], которых он так любил, уже освобожденный от земных забот.

В квартире собрались друзья и знакомые. Присутствовали Чулков, Рачинский, Пастернак, Санников, Пильняк, Цявловский, Олег Георгиевич Бугаев, сын дяди Жоржа, В.О. Нилендер, А.С. Петровский.

В 5 часов гроб с телом был перевезен в помещение Оргкомитета писателей на Поварскую и был поставлен в Большом зале, скромно убранном. Все было скромно, просто, достойно. Он лежал в дубовом простом гробу, в цветах.

На гражд<анской> панихиде присутствовало около 600 человек. Играл оркестр Консерватории. Были речи. Скульптор Меркулов[66] снял маску с его лица. К 10 ч. вечера зал опустел, доступ был закрыт до утра. Но у гроба собрались два десятка художников, делавших зарисовки. В зале было высоко, торжественно, тихо... Я пробыл в этой тишине около него до 1 ч. ночи. Художники сидели до 6 ч. утра. На следующее утро я рано вернулся к гробу. Зал еще был пуст. И была вновь эта высокая, торжественная тишина.

За двое суток его лицо поразительно меняло свою тональность. Сияющая легкость и светлость первого дня уступила место величавой торжественности второго дня, а на третий день сила, строгость и власть были в его лице, напоминавшем другие высокие черты[67].

Около гроба стояло несколько художников, пришедших рано утром и делавших зарисовки. Среди них были В.А. Фаворский, П.Я. Павлинов, Лев Бруни и другие.

В. Фаворский сделал очень хороший, глубоко передающий тональность последнего дня портрет. Художник принес его в дар К.Н.

Художники еще продолжали работать. А зал стал наполняться народом. К 12 ч. Большой зал был переполнен. На хорах было много детей[68]. Всех собравшихся объединяло чувство высокой взволнованности. Очень многие плакали. Была внутренняя потрясенность, любовь и признательность к нему за все то, что он дал.

Пришел проститься с ним его старейший учитель Н.Д. Зелинский[69]. Вокруг гроба было много цветов. Но он не был закрыт пышными венками. Только один скромный венок из еловых ветвей был возложен на гроб.

В час дня гроб вынесли на улицу. Шествие тронулось в последний путь. За гробом шло несколько сот человек.

В 3 ч. гроб с телом прибыл в крематорий, и после <...>[70] прощания близких тело было предано кремации.

От имени Оргкомитета говорил (очень плохо) Киршон. Больше никто не выступал. Молчание сквозь слезы было красноречивее всех речей...

В молчании возвращались из Крематория. К.Н. вместе с Е.А.[71] прошла весь путь за гробом. Все эти дни, до последнего момента она была в высоте, строгости и огромной воле. Хочется склониться перед ней.

Вечером 10-го я зашел в Долгий. Было просветленно-горько. И была большая радость за него и с ним.

Устройство похорон взял на себя Оргкомитет писателей вместе с ГИХЛ<ом>. Все было устроено хорошо и достойно. Ленинградский Оргкомитет прислал делегацию в составе С.Д. Спасского и О.Д. Форш.

В «Известиях» 9 и 10, в «Правде» 11-го и в «Лит<ературной> газ<ете>» 11-го были статьи и заметки. Сегодня в «Известиях» траурное извещение от имени театра Мейерхольда[72]. Вероятно, Вы все это прочитали.

Хоронить собираемся на Новодевичьем 18 января. Завтра с К.Н. пойдем выбирать место. Хотелось бы возле Гоголя[73].

Простите за сухость, бессвязность письма. Очень трудно писать. Хотелось хоть как-нибудь рассказать Вам обо всем последнем.

Обнимаю Вас.

<П. Зайцев>[74].

ИЗ ЗАПИСЕЙ 1933–1934 гг.

1933 год

22 декабря 1933 г.

20 декабря вечером я, сменив Кл. Ник., дежурил с 9 вечера в ночь на 21-е у постели Б.Н.

Он был в полном, ясном сознании, умиренный, ясный, хороший... Кл. Ник. объяснила мне, что надо делать, оставила полную инструкцию на кусочке блокнотной бумаги.

Вначале Б.Н. был очень спокоен, но уже через 2–3 часа он стал волноваться, что с ним нет Кл. Ник. До 11.30 часов он спал, вернее придремывал. Часто спрашивал ужин. Просыпаясь, говорил мне о Туркестане, Али-бабе, разбойниках, о том, что им с Кл. Ник. надо позавтракать. Вспомнил о Раппопорте, ассистенте профессора Крамера[75].

– Мы с Раппопортом создали миф о моем выздоровлении.

Подремывал или закрывал глаза. Опять окликал меня:

– Петр Никанорович!

– Что, Б.Н.?

– <*нрзб.*> Где же Кл. Ник.? Что она нейдет? Сколько сейчас времени? У меня ужасное удлинение времени!..

У него стала разыгрываться бессонница. Беспокойство стало расти.

– Что с Кл. Ник.? Дошла ли она?

Приходила сестра 2–3 раза, успокаивала его. Я дал ему мандарин. Он скушал почти две штуки.

– У Вас, П.Н., какое-то энигматическое выражение в лице. О чем Вы думаете?

Я стал разубеждать его.

– Нет, зачем, почему у Вас такое загадочное выражение?..

Ночью:

– Вы отослали Кл. Ник. Она приходила, а Вы ее отослали обратно, не допустили ее ко мне.

*

С 23-го по 24 декабря 1933 года я заменял Кл. Ник. Бугаеву у постели Бор. Ник. Он был умиренный и тихий. Принес ему яблоко: подарок нашей Светланы[76]. Ночью Б.Н. был тих. Спал от 10-ти до 12-ти и от 2-х до 6 часов утра. Ночью съел немного киселя и 1½ мандарина.

Сознание полное, ясное. В глазах милая, добрая улыбка. Жаловался на самочувствие:

– Во мне словно великан растет. Но он связан и скован. Ему некуда расти... и это состояние мучительно.

Говорил о своем непременном желании завтра же, 24-го, поговорить с Т.П. Симсон, врачом клиники, лечащей его:

– В чем дело? Скажите мне точно, что со мной? На что я могу надеяться?

Я сказал, что Т.П., возможно, не придет 24-го.

С упреком вспоминал Б.Н. Раппопорта[77]:

– Наговорил мне, а теперь не появляется.

*

25 декабря 1933 г.

Сегодня я привел ему нового парикмахера, тов. Соколова с Зубовской площади. Он лучше Куренкова и взял вдвое дешевле: только пять рублей. А Куренков вчера был пьян.

Сегодня днем Кл. Ник. передавала его слова к ней:

– Убогенькие мы с тобой, Клодинька!..

А вечером она еще добавила:

– Говорил, что эти страдания – мировая карма. Он ждал сегодня Г.А. Санникова, а тот не пришел. Должно быть, ему не передали. Б.Н. был очень обижен, что Г.А. не пришел.

– Забыл меня Г.А.!

Не хочет, чтобы А.С. Петровский был у него дежурным, подменяющим Кл. Ник.:

– На что мне Петровский! Что ты мне его навязываешь, – говорил он Кл. Ник. – Это прошлое, это – луна... Вот П.Н., с ним хорошо.

*

25 декабря 1933 года вышла из печати книга Андрея Белого «Мастерство Гоголя». Я принес К.Н. Бугаевой авторские экземпляры[78]. Не знаю, показывала ли К.Н. вышедшую книгу Б.Н.

1934 год

В последний раз я видел Бориса Николаевича Бугаева живым 6-го января. Днем в два часа я пришел сменить Кл. Николаевну. Борис Николаевич встретил своей светлейшей и милой улыбкой. Кл. Ник. ушла. Я стал давать ему кисель, мусс, предложил папироску. Он был сначала очень тих, ласков и умирен. Временами подремывал. Потом в его самочувствии и настроении произошел перелом. Часов в шесть вечера стал спрашивать о Кл. Ник., начал проявлять беспокойство и нетерпение, почему она нейдет...

Днем, вскоре после ухода Клавдии Николаевны, говоря со мной, сказал:

– Как прекрасен мир!.. Удивляюсь красоте мира!.. Как он прекрасен!..

В течение последнего месяца (декабря) Б.Н. очень много путешествовал[79]. Побывал в Швейцарии, в Туркестане, даже на Северном полюсе сумел побывать... Между прочим, в Туркестане он за всю свою жизнь не был в действительности ни разу.

Вечером он стал говорить о каком-то Николае Гордиановиче Куманине[80]. Но говорил очень невнятно и тихо. Я вынужден был наклониться к нему и переспрашивать.

– Кто же этот Куманин, Борис Николаевич? – спросил я его.

– Куманин?.. Разве Вы не знаете?!.. Странно!.. Это видный общественный деятель из купеческой среды. Как же не знать этой фамилии, оставившей такой след в нашей культуре и общественности?! Странно![81] – с осуждением подвел Бор. Ник. итоги моей «безграмотности» и моему бескультурью.

Его нервозность стала расти. Я передал ему привет от Г.А. Санникова и от Спасских.

– Григорий Александрович – пристальный человек... И Спасский – пристальный человек, – подчеркнул Борис Николаевич интонацией голоса этот эпитет, направленный по прямой линии по моему адресу, как явный упрек моей непристальности, моему порханию по жизни...

И вообще в этот день, вернее – с вечера и вплоть до утра, до прихода Клавдии Ник. и до моего ухода, Борис Ник. Был не очень ласков, а простился очень сурово. Еще до прихода Клавдии Ник. он сказал мне <...>[82].

В каком смысле это было им сказано? И в каком состоянии он находился? В дневном, светлом и ясном? Или в сумеречном, болезненном?.. И о чем? К чему относилось то, что он сказал? И это уже непоправимо!..

8-го января я должен был пойти вновь, чтобы сменить Клавдию Николаевну в два часа дня. А в 12½ или 1 час дня мне позвонил Г.А. Санников:

– Борис Николаевич скончался.

*

8 января в 12 часов дня скончался Андрей Белый.

В три часа дня тело перевезено в морг Университетской клиники на Большой Пироговской улице[83]. В 6 часов я пришел в морг. Меня провели к его последнему ложу.

То, что осталось от живого человека – Бориса Николаевича и писателя Андрея Белого, лежало на огромном цинковом столе, обнаженное, с запрокинутой головой.

...Чудесные, совершенные формы тела. Девушки-студентки, стоявшие в качестве ассистенток при вскрытии тела и головы, поражались совершенством форм этого тела...

*

8 января сообщил телеграммой поэту С.Д. Спасскому:

«БОРИС НИКОЛАЕВИЧ СКОНЧАЛСЯ ВОСЬМОГО. ПОХОРОНЫ ДЕСЯТОГО».

*

9 января состоялось вскрытие тела Бориса Николаевича Бугаева. Сообщение профессора А.И. Абрикосова[84] о результатах вскрытия:

Положение Бор. Ник. было безнадежно. Его надо было начать спасать 1,5–2 года назад, значит, не позднее 1932 года. А это значит, что события 1931 года, и из них главные: изъятие архива из Долгого и арест Кл. Ник. Бугаевой[85] сыграли, может быть, решающую роль в ускорении конца.

Первое кровоизлияние произошло в Коктебеле 15 июля 1933 года. Затем последовал ряд кровоизлияний: одно в конце ноября. Не связано ли оно с получением авторских экземпляров «Начала века», к которым Л.Б. Каменев дал свое предисловие (о «задворках культуры»)?[86] Не знаю...

Последние кровоизлияния – 6-го и 8-го января 1934 года.

*

9 января 1934 года, вечером гроб с телом Б.Н. Бугаева был перевезен на Поварскую, в Дом писателя[87]. Состоялась гражданская панихида. Было много народа. Скульптор С.Д. Меркуров снял маску с лица Бориса Николаевича. Летом 1934 года я, съездив к Меркурову в его студию в Измайлове[88], получил от него эту маску. На ней я заметил волосы с лица и головы Бориса Николаевича. Этот слепок я, помнится, в тот же вечер, сразу, завез в Нащокинский переулок и передал Клавдии Николаевне Бугаевой. Она стоит у нее на квартире, на той квартире, о которой он так мечтал с 1932 года, продав Бончу-Бруевичу В.Д. в Литературный музей часть своего архива[89], чтобы оплатить паевой взнос за эту квартиру. И не дождался. Квартира была готова только к марту или в марте 1934 года, когда Кл. Ник. Бугаева смогла, наконец, в нее переехать[90].

*

10 января 1934 г. напечатана статья Конст. Григ. Локса об Андрее Белом в «Литературной газете» и статья от редакции[91].

*

14 января 1934 г. – переговоры с дирекцией МХАТа-I о месте для могилы писателя Андрея Белого на кладбище Новодевичьего монастыря среди мхатовцев, там, где вновь захоронены А.П. Чехов и Н.В. Гоголь[92].

Переговоры вел Борис Андреевич Пильняк при моем молчаливом присутствии, сначала с О.Л. Книппер-Чеховой[93]. Та направила Пильняка к Вл. Ив. Немировичу-Данченко[94].

Беседа с Михальским[95] – днем, а потом – вечером. Немирович-Данченко отказал.

Администрация кладбища отвела для могилы Бориса Ник. местечко около могилы какого-то скромного комсомольца-летчика[96] в той аллее нового кладбища, которая идет вдоль стены старого кладбища и самого монастыря, направо в этой аллее, почти у самой стены – могила В.Я. Брюсова, а направо – могила Андрея Белого.

*

17 января отвез в «Известия» письмо Клавдии Ник.[97]

*

18 января состоялось захоронение урны с прахом Бориса Ник. в Новодевичьем монастыре. Присутствовали Кл. Ник. Бугаева, П.Н. Зайцев и фотограф Л.М. Алпатов[98], снявший тут могилу. У меня сохранился снимок.

*

18-го января вечером состоялось заседание в изд-ве «Академия» по вопросу об издании стихотворений Андрея Белого. От изд-ва «Академия» слушал и выступал Л.Б. Каменев[99]. Были: К.Н. Бугаева, Б.А. Пильняк, П.Н. Зайцев и, помнится, – Г.А. Санников и Б.Л. Пастернак.

*

22 января с Кл. Ник. и с Л.М. Алпатовым были на могиле Бор. Ник. Алпатов сделал снимки. Говорил, что вышли неудачно. А в квартире – вышли хорошо: стол Бор. Ник. и Кл. Ник. за этим столом[100].

*

22 января, когда ходили с Л.М. Алпатовым на кладбище, возникла мысль составить альбом снимков памяти Бор. Ник.[101]

1. Дед, Василий Бугаев.
2. Бабушка, жена В. Бугаева[102].
3. Отец, Ник. Вас. Бугаев.
4. Мать, А.Д. Бугаева.
5. Дом на углу Денежного и Арбата. 1880–1903[103].
6. Дом в Никольском пер. на Арбате. 1903–1918[104].
7. Дом М.К. Морозовой на углу Глазовского и Смоленского бульвара. 1905-е годы[105].
8. Дом на Садовой-Кудринской, № 6. 1918–1921[106].

9. Дом Н.И. Стороженко. 1880–1890-е годы[107].

10. Химический завод в Дорогомилове, белый домик[108].

11. Кучино, дача Шипова Н.Е., снимки с Н. Ем. и Ел. Троф. Шиповых. 1925–1931 гг.[109]

12. Платформа Кучино.

13. Дом в Долгом, угол Плющихи[110].

14. Клиника им. Римского-Корсакова на Девичьем поле. 1933–1934 гг.[111] Новодевичий монастырь, кладбище, могила.

15. Борис Ник.

1-я фотография, самая ранняя. 2-я – в детском платьице, 3-я в кудрях и вообще детские снимки. 5-я – гимназист, 6-я – студент, 7-я – в сюртуке, до последних портретов и фото. Бакст, Сабашникова М.В., Остроумова-Лебедева, Вышеславцев[112]. В гробу. Маска[113].

Друзья: Петровский, Эллис[114], Соловьевы: С.М., М.С., О.М.[115], М.К. Морозова, А.А. Тургенева (Ася)[116].

*

ПОРТРЕТЫ И СНИМКИ С БОРИСА НИК. (у Клавдии Ник.):

1. В гробу. 2. Фото Горкома[117]. 3. Фото Наппельбаума 1927 г.[118] 5. Бюст работы Голубкиной[119]. 6. Мюнхенский, 1907 год[120]. 7. Брюссельский, 1912[121]. 8. Из книги Эллиса[122]. 9. Студент. 10. Гимназист. 11. Портрет в романе «Маски», Н.В. Кузьмина[123] (?).

*

22 января был у О.Э. Мандельштама. Он передал свои стихи, посвященные памяти Андрея Белого, разбил их на три части[124]. В первый заход познакомился у него с сыном Н.С. Гумилева[125], во второй заход с литературоведом Гуковским, специалистом по 18-му веку[126].

*

25 января были у Е.И. Шамурина[127].

*

26 января 1934 г.

Поездка К.Н. Бугаевой в изд-во «Академия» для дальнейших переговоров об издании стихов А. Белого. <...> Л.Б. Каменев принял очень любезно, внимательно. «№» имел очень смущенный вид. Разговаривали вчетвером. Через две недели – заседание Ред. совета издательства. На нем будет формально утверждено издание «Собрания стихотворений» Андрея Белого.

<...> При нашем уходе из «Академии», Каменев приватно обратился ко мне и предложил зайти в ближайший день поговорить о делах. Вчера я был у него. Договорились о том, что общий объем «Собрания» в 50 печ. листов.

*

Сегодня Черевков (член группкома ГИХЛа)[128] обратился ко мне с предложением организовать вечер памяти Андрея Белого – это почин группкома ГИХЛа[129].

*

26 января Мандельштам зашел к Пастернаку прочитать свои стихи о Борисе Ник. и просидел у него до двух часов ночи.

*

27 января вечером был у Б.Л. Пастернака. Спросил, правда ли, что Пильняка ограбили. Ему об этом передал П.П. Кончаловский[130]. Вчера Меркуров также спрашивал у меня, верно ли, что Пильняка ограбили, на Арбатской площади, оставили без всего и нацепили на него чужие очки.

*

27 января заходил ко мне А.С.П.[131] с поручением от Кл. Ник. узнать о квартире. Ей прислали из строительства дома «Сов. писателей» извещение о предстоящем въезде. Квартира почти готова, красят стены.

*

29 января 1934 г.

Вчера был в издательстве «Академкнига»[132], говорил с Л.Б. Каменевым о гонораре за стихи принятого издательством сборника Андрея Белого, назвал цифру: три рубля за строчку. Я исходил из справки Поступальского: 2–3 тыс. рублей Ж.М. Брюсовой за «Избранные стихи В. Брюсова»[133]. В сборнике «Избранных стихов» Андрея Белого –15 тысяч строк, это по 3 рубля за строку будет 45 тысяч рублей.

– Этого гонорара не выдержит книга, – заметил Каменев. – Какой тираж мы будем выпускать? Пять тысяч экземпляров. Цену выше 15 руб. за экземпляр книги (продажную) нельзя назначать. А при гонораре 3 рубля за строку книга будет стоить 40–50 рублей.

– Надо печатать 10 000 экз., – заметил я.

– 10 тысяч можно, – ответил Каменев.

– А нельзя ли 15 тысяч экземпляров? – спросил я.

– Таких тиражей у нас нет.

– Ведь это первое полное собрание стихов Андрея Белого, – продолжал я.

– Первое... (пауза Каменева)... Это будет последнее издание, – перевел Л.Б. Каменев.

Он обещал сделать предварительную калькуляцию.

Вечером ездил к С.Д. Меркурову глядеть маску с Бориса Ник. Она не очень хороша.

Познакомился с Б.Л. Лопатинским[134]. У него есть рисунки, зарисовки с Бор. Ник. 1905–1907 годов и 1919 года[135] (в ТЕО[136] Наркомпроса, где работал тогда Борис Ник.). Условились встретиться.

Сегодня встретил Н.И. Гарвея[137]. У него сохранился комплект газеты «Утро России». Условились, что я приеду к нему через неделю – десять дней поработать над комплектами[138].

*

29 января 1934 г.

Клавдия Ник. начала работу над сборником.

*

29 января член группкома ГИХЛа Черевков завел со мной разговор об устройстве вечера памяти Андрея Белого.

Я стал намечать список участников вечера. И вот какие имена постепенно стали нарастать у меня в списке:

Б.Л. Пастернак, Б.А. Пильняк, Татьяна Павловна Симсон (врач клиники имени Корсакова), лечившая Бориса Ник., Г.А. Санников, В.Ф. Гладков, В.Г. Лидин, Н.Г. Машковцев[139], А.М. Дроздов[140], Г.А. Шенгели[141], Ник. Никандр. Накоряков, Л.П. Гроссман, О.Э. Мандельштам, П.Н. Зайцев.

Это докладчики, воспоминатели.

Музыка, рояль: Н.С. Клименкова[142], Ефременков[143].

Пение: Скрябина (не помню и не представляю, кто это? Ведь не Мария же Александровна Скрябина? она артистка[144]), Малышев (не помню, кто это)[145].

Чтение: Яхонтов[146].

В этом первом списке нет почему-то Мейерхольда...

Второй список, профильтрованный группкомом ГИХЛа:

Н.Н. Накоряков, Г.А. Санников, Ф.В. Гладков, Б.А. Пильняк, Б.Л. Пастернак, А.М. Дроздов, Л.П. Гроссман, П.Н. Зайцев.

Скрябина

Красин[147]

Коренев[148].

Третий список 15–20 февраля:

Накоряков Н.Н., Л.П. Гроссман, Б.Л. Пастернак, Г.А. Санников. П.Н. Зайцев, Т.П. Симсон (врач), Ф.В. Гладков, В.Г. Лидин, П.Г. Антокольский[149], О.Э. Мандельштам.

Чтение стихов.

*

1 февраля.

Предложение группкома ГИХЛа об организации вечера памяти Андрея Белого.

*

15 февраля.

Отмена вечера в ГИХЛе оттого, что не согласовано с ячейкой и с Оргкомитетом по созыву Съезда писателей[150].

«ПРАВЛЕНИЕ ГИХЛ И ГРУППКОМ ПИСАТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ ВАС НА ТРАУРНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Вечер состоится 20 февраля 1934 г. в помещении издательства, улица 25 октября (б. Никольская), д. 10.

ПРОГРАММА

Гладков Ф.В., Гроссман Л.П., Зайцев П.Н., Машковцев Н.Г., Накоряков Н.Н., Пастернак Б.Л., Пильняк Б. А., Санников Г.А., Симпсон Т.П., Тарасенков А., Табидзе Тициан, Шенгели Г.А., Яшвили Паоло выступят с воспоминаниями.

Мандельштам Осип прочтет стихи, посвященные памяти Андрея Белого.

П. Антокольский
Гарин Э.П. (театр Мейерхольда)[151]
Журавлев Д.Н.[152], Майль[153], Синельникова } артисты театра им. Вахтангова[154]
Спендиарова Е.Г. – артистка Камерного театра[155]
Яхонтов В.И.
Прочтут стихи А. Белого и отрывки из романов «Петербург» и «Москва».

Начало в 7 ч. вечера.
Правление группкома»[156].

*

18 февраля 1934 г.

Из письма С.Д. Спасского – к П.Н. Зайцеву[157]:

«С вечерами памяти Андрея Белого происходят странные вещи. Состоялся один, без афиш, в Доме печати, очень скромный и – неудачный.

Должен был быть второй вечер – недавно, куда меня приглашали выступать, открытый, но его почему-то отменили. Теперь неизвестно, будет ли что-нибудь вообще.

После моих переговоров заведующий издательства (Ленгиз[158]. – *П.З.*) решил повысить гонорар за «Между двух революций» до 500 рублей за лист. Если же тираж будет увеличен до 10 000, то заплатят по 800 р. за лист. Пока тираж не установлен. Издательство стеснено бумагой. Из-за этого, я думаю, лучше пообождать с предложением первых двух томов до 2-го квартала. Сейчас мало шансов на успех, во 2-м квартале будет легче»[159].

*

5 апреля 1934 г.

Сегодня был на кинофабрике на Потылихе[160], говорил с Каликом (Зинов. Марк.[161]) о своем сценарии «Москва». Мне надо, чтобы социальный стержень сценария был крепко слит с бытовым содержанием, составляя свое единство. Чтобы реальная бытовая фабула и конкретное содержание сегодняшней Москвы переходили в желаемую реальность Завтрашнего Дня истории. Потребовал отсрочки до 1 мая. Не знаю, пойдут ли на это[162].

Вчера, 4-го был в изд-ве «Академия» у Л.Б. Каменева. Вопреки «клятвенным» обещаниям, данным Бор.Л. Пастернаку, Каменев аванса все-таки дать не мог. Послал к Эльсбергу (между прочим, Эльсберг – племянник Л.Б. Каменева[163]). А тот строг и неумолим: денег нет. Сегодня звонил Эльсбергу по телефону.

– Как с авансом?

– Денег нет. Договор заключим в мае[164]. А деньги едва ли и в июне получите...

Вот вам и клятвенные обещания!..

Вот уже несколько дней, как мы с Кл. Ник. работаем в Литературном музее у Бонч-Бруевича, на Рождественке[165]. Вчера она осталась одна!

Закончили две тетради для «канвы»[166].

Заходил С.М. Лукьянов[167], отнял у меня два часа на бесплодную болтовню. Зашел Чистяев, автор агитпьесы «Бригада книгонош»[168]. Провел с ним беседу.

Звонил Б.Л. Пастернаку, рассказал ему о беседе с Каменевым. Он, милый, страшно взволновался. Вспомнили еще ряд случаев невыполнения таких же обещаний «Академии» – с Мандельштамом[169], с другими. Предлагал опять выручить.

Вечером – серьезнейший и настойчивый, с моей стороны, разговор с Кл. Ник. о возможности моего дальнейшего участия в работе над «Собранием стихотворений» Бориса Ник. Меня разрывают мелочи и срочные дела: мой сценарий для кинофабрики («Кинопотылиха»!), отсиживания в ГИХЛе, в Парке культуры и отдыха им. Горького[170], «Комсомольская правда» (рецензии), литкружок и т.д. не дают мне возможности участвовать в работе над «Собранием» и даже мешают работе над вступительной статьей. Беготня, суета, заботы дня. И – безысходность. Ни писать спокойно, обдуманно, ни даже подумать серьезно и пристально, отодвинув в сторону все остальное!

Кл. Ник. предложила ликвидировать отношения с «Кинопотылихой» <...>, просто откупясь от нее возвратом аванса. «Да пишите вы, П.Н., все, что надо! – с экспрессией заключила Кл. Ник., – отработайте им эти пятьсот рублей!»

Весь день была головная боль и истерика от неудавшейся работы. Эта истерика и прорвалась в разговоре с Кл. Ник. о моих всяких мелких тяжестях. Ночью вернулся домой, успокоенный. И здесь – резкий контраст: налево, у соседей – дым коромыслом, звон пьяных бокалов, разливанное пьяное море, песни, пляски с топотом и свистом какого-то дурака-мещанина, певца-дилетанта (дубинного баса!), а – направо, в соседней же комнате, но с другой стороны: слезы, боль, тишина, умерла старушка, мать В.П. Калмыкова[171]. Контраст был уж слишком!..

Ведь знали же соседи налево о смерти у соседей и о том, что через комнату лежит покойник!..

*

6–24 <апреля>.

С утра сидел над «канвой».

Днем мне звонил Б.Л. Пастернак, говорил, что его очень мучила история с «Академией» и он чувствует себя самого в положении обманщика. Но при чем здесь он? Просил его не переживать из-за пустяков. Говорили долго. Он жаловался, что вынужден был дать в «Известия» плохие переводы из Паоло Яшвили. – Да и стихи-то плохие, – признался Пастернак. Они напечатаны сегодня в «Известиях» [172].

Заходил к В.В. Гольцеву[173]. Он сух и чем-то недоволен. Подтверждает мнение В.Г. Лидина, что «некролог» (Пильняк, Пастернак, Санников) сыграл свою, неожиданно – «ужасную» роль в отношении советской и писательской общественности к Андрею Белому. Не будь этого некролога, все могло быть иначе. Очень возражал против Тарасенкова как редактора от из<дательст>ва «Академия»[174] над книгой «Собрание стихотворений».

Вечером был у Кл. Ник., работал над «канвой».

*

3 мая 1934 года.

С утра свежее, рабочее, творческое настроение. Вновь встала тема пьесы «Ветер» («Чистка»)[175] – см. о ней записи в блокноте 5-тилистном. Полчаса пофанта-

зировал над ней. Но вспомнил, что нужно кончать рецензии для «Комсомольской правды» и рукописи для ГИХЛа...

Утром звонила А.М., она отравилась нечаянно морфием: вместо лекарства приняла 45 капель морфия. К счастью, эта доза не смертельна. 60 капель – смерть! Вечером заезжал к ней, чувствует себя удовлетворительно.

Говорил в ГИХЛе с А.П. Абориным[176], и В.С. Песковским, – о вечере памяти Андрея Белого. Он намечается на 14-е. Докладчики: Болотников и Каменев. Последний отказывается. Из писателей есть только Гладков – воспоминания, да Антокольский – чтение стихов, «Петербурга». Из намеченных еще – Шагинян и Санникова нет в Москве. Лидин и Пастернак отказались, по различным мотивам, каждый по своим. Пильняка не хотят и боятся. Гроссмана категорически отвели. Относительно стихов Мандельштама выразили большое сомнение[177]. Г.Г. Шпет не годится. В результате выступать некому.

– Хорошо бы Маяковского пригласить! – заметил кто-то. – Да только его трудно заставить!..[178] – Да, что делать, с сожалением добавил другой. – А хорошо бы выступил!.. – с чувством добавил третий. Г.И. Чулков, С.В. Шервинский – сомнительны. Шалва Сослани в Грузии[179]. Н.С. Ангарский – в Греции торгпредом...[180] Нет выступателей.

*

9 мая 1934 г.

Вчера был у Мейерхольдов, говорил с Зинаидой Ник<олаевной>[181] о предстоящем вечере памяти А. Белого в ГИХЛе. Рассказал о делах с изданием книг Бориса Ник., о переговорах с «Академией», ГИХЛом, «Советским писателем»[182].

Зинаида Ник. дала билеты на спектакль «Дама с камелиями»[183]. Очень некогда было идти, но очень хотелось сходить. Всеволода Эм<ильевича> дома не было. Зинаида Ник. рассказывала о их планах. Театр 1 июня кончает сезон в Москве, едет на гастроли в Сибирь, Кузбасс. Осень Мейерхольды хотят провести за границей. В плане работы театра и самого Всеволода Эм. «Гамлет» к 1937 году[184] и «Борис Годунов» к 1936 году[185]...

М.А. Булгаков ошибся на 7–8 лет, написав в «Роковых яйцах», что Мейерхольд ставит «Бориса Годунова» в 1927 году[186].

*

11 мая 1934 г.

9 мая был на постановке «Дама с камелиями». Очень много интересного. Огромная трудность для Всеволода Эм. с этой постановкой. Он поставил себе много задач этой постановкой, и много трудностей ему предстояло разрешить.

Маргарита Готье – Зинаида Ник. Армана Дюваля играл Царев[187]. И опять все то же. Как я буду говорить с Зинаидой Ник.? В этом спектакле она лучше, чем в «Ревизоре» и в «Горе уму»[188]. И все-таки... Что я могу сказать о ее игре? Роль Маргариты сама по себе выигрышнее, эмоциональнее. Дала ли все Зин. Ник.?

*

С конца апреля работал над подготовкой вечера памяти Бориса Ник. И опять – срыв; нет никого из исполнителей, участников. А вчера Аборин вновь говорит: – вечер надо устроить обязательно и – до Съезда писателей[189], иначе будет неловко перед съездом: такой большой писатель – и замолчали его смерть... Погибло две

недели. Еще погибнет две недели, а вечер опять не состоится. Сегодня вечером у нас с Клавдией Ник. был решительный разговор по этому поводу...

*

Едва справился с «шоком». Сел за статью и час поработал. Пришел Б.Л. Пастернак. Вскоре Клавдия Ник. позвала меня слушать чтение его перевода поэмы Важа Пшавела «Змееед», 1200 строк[190]. Замечательная вещь! Слушали с огромным волненьем. Это из разряда крупных, больших, мировых вещей!

*

23 мая 1934 г.

8 мая подписали: Клавдия Ник. Бугаева, А.С. Петровский и П.Н. Зайцев – договор с издательством «Академия» на подготовку к изданию «Полного собрания стихотворений» Андрея Белого. 16-го получили первую часть гонорара – 600 руб. А по договору причитается 25%, из расчета:

1. 18 000: 4 = 4500 руб. плюс 2355 руб. = 6855 руб.

2. 640 руб. за лист, 9 листов канвы и примечаний. 640×9 = 5760 руб.

3. Статья 1 1/2 печ. листа по 480 руб. п.л. – 720 руб.

4. Редакторский подбор 30 печ. листов авторского текста, по 100 руб. за печ. лист – 3000 руб.

5760 плюс 720 будет 6480 руб. 6480 руб. плюс 3000 руб. будет 9480 руб.

25% составят 2370 руб.

Послесловие

Петр Никанорович Зайцев (1889–1970) вошел в историю русской литературы прежде всего как деятельный участник московской культурной жизни 1920-х, как друг и помощник Андрея Белого, а также как мемуарист, знавший (из-за того, что работал в различных советских издательствах) многих представителей литературного мира обеих столиц[i].

Сам Зайцев считал себя поэтом символистской школы. Правда, ему удалось выпустить только один поэтический сборник – «Ночное солнце» (М.: Государственное издательство, 1923), в который вошли стихотворения, написанные преимущественно в 1910-е. Два стихотворения были посвящены Андрею Белому, которого Зайцев всегда боготворил:

В пути[ii]

Андрею Белому

Ночной, холодный ветер,
Метель. А я – в пути.

[i] Подробнее о нем. см.: *Зайцев П.Н.* Воспоминания. М., 2008; там же – подготовленная Дж. Малмстадом объемная переписка Белого с П.Н. Зайцевым и материалы из следственных дел Зайцева 1931 и 1935 гг. (Публ. М.Л. Спивак).

[ii] Впервые: Путь: Литературно-художественные, научно-популярные периодические сборники (издание Центрального комитета Всероссийского профессионального союза рабочих и служащих железнодорожного транспорта). 1919. № 6. С. 4.

Я знаю: Дом Твой светел,
Но как его найти?

Кругом немое поле,
Над полем стынет ночь.
Мне ль, в этой снежной воле
Метелью занемочь!

В душе дрожат и светят,
Звездятся грусть и боль;
Кто нищих, нас приветит,
О сердце, мой король?

Иду. А ночь пустая.
Лишь там, вдали светло,
Там тихо рассветает
Таимое Село.

В лицо мне плещет вьюга,
Но пламенней лучи.
И тайный голос друга
Зовет, звенит в ночи.

Звенит и воскрешает
Старинное мое,
Звенит и заглушает
Земное бытие.

Я вижу: Дом Твой светел.
Я в нем Тебя найду!
Пусть бьет в лицо мне ветер, –
Я слышу! Я иду!

[1910-е]

*

Андрею Белому

Плащом летучим плечи окрылив,
Уносишься, – внезапный, как виденье.
И вот – уже над ширью желтых нив
Твой плещет плащ, и в даль струится пенье.

Души невыразимое кипенье
В стремительный преобразив порыв,
Ты – вот – летишь на тайное служенье,
Стихийный дух, осуществленный миф!

Зачем же здесь твой неспокойный гений,
Какой мечтой эфирный гость пленен:
Не сменой ли полетов и падений?

Но что для Духа жизни бледный сон,
И все люциферические бури,
Когда в душе источники лазури!

[1910-е]

Впервые Зайцев встретился с Белым в «Ритмическом кружке» при издательстве «Мусагет» осенью 1911 г., более тесное знакомство состоялось в 1917 г., а уже к концу 1918 г. Зайцев помог Белому опубликовать рассказ «Иог» в воронежском журнале «Сирена» (№ 2/3).

Отношения молодого поэта и маститого писателя кардинально изменились в 1923 г. – после возвращения Белого из Германии, где он провел в эмиграции два года. Выход сборника «Ночное солнце» сыграл немалую роль в их сближении. Зайцев послал Белому в Германию свою дебютную книгу – как знак уважения и, вероятно, с надеждой на положительный отзыв. Рецензию Белый не написал, но по возвращении в Россию пригласил Зайцева в гости. Эта встреча и положила начало дружбе, ставшей, возможно, самым значительным, светлым и содержательным событием в жизни Зайцева.

Свое сближение с Андреем Белым он порой осмыслял как счастливую случайность, порой как заслуженную награду за преданность идеям символизма, а иногда, в приступах рефлексии и меланхолии, – как спланированную акцию, интригу, умело проведенную К.Н. Бугаевой: «В мае К.Н. поехала в Берлин спасать Бор<иса> Ник<олаевича> и помочь ему вернуться на родину. И тут у нее возникла мысль пришвартовать меня к Бор. Ник. Другой кандидат на эту роль С.Д. Спасский переехал в Петроград, женившись на Софье Гитмановне <Каплун>».

План К.Н. Бугаевой удался вполне: Зайцев стал фактически добровольным литературным секретарем и самоотверженным помощником Белого в решении самых разнообразных проблем. На его долю пришлись забота об устройстве издательских дел, ведение переговоров с редакторами, вычитывание корректур, получение гонораров, раздача авторских экземпляров и многое, многое другое, в том числе отоваривание продуктовых и промтоварных карточек, добывание дров, керосина и табака, оформление путевок, приобретение железнодорожных билетов и т.п. Белый платил Зайцеву за беззаветное служение общением и доверием. Последнее зиждилось еще и на их общей приверженности антропософии: Зайцев приобщился к идеям Р. Штейнера в 1916 г. и входил в ту же антропософскую группу («ломоносовскую»), членами которой были и Белый с Клавдией Николаевной.

В 1931 г. П.Н. Зайцева, как и других антропософов из окружения Белого, арестовали[i] и после нескольких допросов признали «участником нелегальной к/р организации» и руководителем «нелегального кружка», собиравшегося у него на квартире. Он был уличен «в преступлении, предусмотренном ст. 58, п. 10 и

[i] Зайцев был арестован 27 мая 1931 г.

11 УК» и приговорен к высылке в Казахстан «сроком на три года, считая срок <...> с 27/5–31 г.». Отбывал ссылку в Алма-Ате, но уже в марте 1932 г., благодаря заступничеству друзей и знакомых, смог вернуться в Москву.

Жизнь Зайцева, всегда очень нелегкая, в этот период была особенно тяжела. Ему удалось в 1933 г. устроиться внештатным редактором и литконсультантом Гослитиздата; для заработка он писал многочисленные внутренние рецензии на произведения молодых авторов и вел в московских вузах кружки с начинающими писателями. Это не спасало ни от безденежья, ни от тоски, в которую погружала бесперспективная и малооплачиваемая работа, отнимавшая все силы и все время. Основным источником радости для Зайцева стало тогда возобновившееся общение с Белым, поручения которого он по-прежнему ревностно выполнял.

На глазах у Зайцева протекала болезнь Белого, и он был одним из немногих близких людей, допущенных к дежурству при умирающем в больнице. На плечи Зайцева легли и хлопоты по организации похорон, а потом – по организации вечеров памяти Белого. Планировалось, что вместе с К.Н. Бугаевой и А.С. Петровским он будет работать над сборником стихов Белого, выпуск которого планировался в издательстве «Academia» в 1935 г.

Однако в апреле 1935 г. вновь была вскрыта «к<онтр>-р<еволюционная> фашистская группа из среды социально чуждой интеллигенции, имеющая связь с белоэмигрантами, проживающими в Германии», и Зайцев (вместе с еще пятью антропософами, входящими в руководимый им кружок) был вновь арестован и приговорен на этот раз к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Материалы следственного дела показывают, что Зайцев был наказан не только за ведение подпольного эвритмического кружка, но и за все то хорошее, что делал для семьи Бугаевых. На допросах от него требовали признать «виной, что, возвратившись из ссылки» в 1932 г., он «не прекратил товарищеских отношений с Белым и др. антропософами». Подписывая показания, Зайцев в последний момент зачеркнул слово «вина» и вписал вместо него более мягкое слово – «ошибка»...

После выхода в апреле 1938 г. из Сусловского отделения Сиблага (Новосибирская область) Зайцеву было запрещено проживание в Москве и других крупных населенных пунктах. Он занимался преподавательской деятельностью в Ефремове, Иванове, Детчине, Дугне, мечтал о возвращении к семье и писал прошения о смягчении приговора:

«Осужден я, как предполагаю, за связь с антропософами. В частности, я находился в деловых, литературных, полуслужебных отношениях с писателем Андреем Белым, а после его смерти в 1934 г. – с его вдовой, помогая ей в устройстве литературных дел мужа – А. Белого. Мне было поставлено в вину участие в контрреволюционной группировке (ст. 58-я, пункт крг). Андрей Белый умер в 1934 г. А с 1935 г. мои связи с антропософами совершенно прекратились. За эти девять лет я их не возобновлял и возобновлять не собираюсь» (из заявления народному комиссару внутренних дел Л.П. Берии от 16 июля 1944 г.).

Возвратиться в Москву Зайцев смог только летом 1945 г. Сначала преподавал в школе, а потом стал заведующим научной библиотекой Всесоюзного научно-исследовательского института антибиотиков. После выхода на пенсию в 1955 г. он

занялся обработкой, переработкой, систематизацией своего большого, чудом уцелевшего личного архива: дневники, записи рабочего и мемуарного характера, документы, письма и т.п.[i] На основе дневниковых записей 1910–1930-х написал мемуары «Последние десять лет жизни Андрея Белого» и воспоминания о встречах с Брюсовым, Маяковским, Есениным и др<угими> «интересными» людьми. Однако значительная часть архивных материалов — по причинам политическим, этическим, а также в связи с ухудшающимся состоянием здоровья — не была использована в мемуарах.

Работу по приведению в порядок своих старых записей и «развертыванию» их в мемуарное повествование Зайцев не успел завершить: после его смерти осталась груда разрозненных рукописных и машинописных листов, разобраться в которой предстоит в будущем. Выше представлены хранящиеся в частном собрании материалы, рассказывающие о болезни, смерти, похоронах Андрея Белого, а также о тщетных попытках увековечить его память. Это фрагменты из дневников и отрывочные записи более позднего времени. В 1950-е записи 1930-х были Зайцевым перепечатаны и дополнены мемуарными вставками, пояснениями и размышлениями. К сожалению, к этому времени он уже многое забыл, перепутал, некоторые имена не смог вспомнить (о чем он иногда прямо пишет). Дополнительная сложность в работе с этими документами заключается в том, что при перепечатке он часто нарушал порядок следования записей в исходном дневнике, группируя материалы тематически или следуя одному ему понятной системе. В данной публикации мы, рискуя ошибиться, постарались расположить записи в хронологической последовательности.

Здесь же публикуется переписка П.Н. Зайцева с Л.В. Каликиной 1933–1934 гг. (о ней см. в примечаниях к переписке), его письмо к Е.Н. Кезельман, сестре К.Н. Бугаевой, и стихотворение, написанное П.Н. Зайцевым сразу же после кончины Белого. Ряд документов и материалов из зайцевского архива приводится в других разделах сборника, о чем сообщается в примечаниях.

---

[1] Публикуется по машинописи из частного собрания. Впервые в статье В.П. Абрамова и М.Л. Спивак «П.Н. Зайцев, А. Белый и литературная Москва 1920–1930 гг.: Материалы выставки» в сб.: «Москва и “Москва” Андрея Белого» (С. 488).

[2] Лидия Васильевна Каликина (1888–1955?) родилась в Минске в семье судьи, получила высшее образование. «Педагог, методист дошкольного воспитания, очень ценимый специалист в своей области», – характеризовала ее М.Н. Жемчужникова, знакомая Л.В. Каликиной по работе в Московском антропософском обществе (*Жемчужникова М.Н.* Воспоминания о Московском антропософском обществе (1917–1923) / Публ. Дж. Малмстада // Минувшее. Т. 6. М., 1992. С. 23; в этих мемуарах она ошибочно названа Калинкиной). В кругу антропософов она занимала достаточно видное положение: принадлежа к числу «старших» членов общества, вела самостоятельный антропософский кружок, занималась эвритмией, входила в «христианский кружок», которым руководила К.Н. Бугаева.

---

[i] См. обзор некоторых материалов зайцевского архива: *Абрамов В.П.*, *Спивак М.Л.* П.Н. Зайцев, А. Белый и литературная Москва 20–30 гг.: Материалы выставки // Москва и «Москва» Андрея Белого. М., 1999. С. 461–488. Там же (С. 489–511) приведены фрагменты из дневниковых записей 1926–1933 гг.

В конце 1920-х Каликина, очевидно, работала в школе, откуда – в ходе реализации Постановления ЦИК и СНК СССР от 1 июля 1929 г. «О чистке аппарата государственных органов, кооперативных и общественных организаций» – была «вычищена». Судя по тому, что в 1931 г. она была пенсионеркой и числилась инвалидом, можно предположить, что «вычистили» ее по второй или даже первой категории, то есть практически без возможности или просто без права устроиться на новую работу.

28 мая 1931 г. она была вместе с другими московскими антропософами арестована и обвинена в том, что, «являясь активной участницей нелегальной к<онтр>/р<революционной> организации, принимала участие в работе нелегальных кружков, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 58, п. 10 и 11 УК». Виновной себя не признала, но была «полностью» уличена «имеющимися в деле показаниями, как самих обвиняемых, так и свидетелей». В отношении Л.В. Каликиной постановили: «из-под стражи освободить, лишив права проживания в 12 п<унктах> с прикреплением к определенному месту жительства сроком на три года, считая срок <...> с 27/5 31 г.» (*Спивак М.Л.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 418–419, 533). Местом жительства избрала город Орел, откуда и переписывалась с П.Н. Зайцевым. Очевидно, что она весьма тесно общалась с Андреем Белым. Не случайно ее фамилия названа в его «заступническом» письме в ОГПУ (от 1 июля 1931 г.), врученном помощнику прокурора РСФСР, заведующему подотделом надзора за органами дознания и следствия ОГПУ Рубену Павловичу Катаняну (1881–1969). См.: Из «секретных» фондов в СССР / Публ. Д. Малмстада // Минувшее. Т. 12. М.; СПб., 1993. С. 360. Упоминается она и в предсмертном дневнике писателя, в записи от 20 сентября: «Вчера приятные слухи от Л.В.» (см. в наст. изд.). Еще более Л.В. Каликина была близка с Клавдией Николаевной и ее семьей, состояла с ними в переписке (видимо, несохранившейся). С П.Н. Зайцевым ее связывала антропософия, одно следственное дело и – любовь к Андрею Белому. Переписка Л.В. Каликиной с П.Н. Зайцевым публикуется по автографам и машинописным копиям из частного собрания.

[3] К.Н. Бугаева.

[4] Роман вышел в феврале 1932 г.

[5] Анна Алексеевна Алексеева, мать К.Н. Бугаевой.

[6] Пример эзопова языка того времени. Под командировкой подразумевается высылка Зайцева «в Казахстан сроком на три года, считая срок <...> с 27/5–31 г.». Однако он смог освободиться раньше положенного срока: «...в марте 1932 года, изнуренный и больной, я вернулся в Москву» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 168).

[7] М.А. Твердова, отбывавшая, как и Каликина, ссылку в Орле, приезжала в сентябре 1932 г. в Москву лечиться. См. упоминание об этом в дневнике Белого (запись за 10 сентября) в наст. изд.

[8] Имеется в виду статья Белого «Поэма о хлопке» о поэме Г.А. Санникова «В гостях у египтян» (Новый мир. 1932. № 11. С. 229–248).

[9] Возможно, речь идет о Екатерине Александровне Шанько (1879–1950-е?), также арестованной по делу о «контрреволюционной организации антропософов». В отношении Е.А. Шанько постановили: «выслать через ПП ОГПУ в Казахстан сроком на три года, считая срок с <...> 27/5–31 г.; приговор <...> считать условным из-под стражи освободить». Может быть, она собиралась навестить сосланных товарищей-антропософов.

[10] См.: *Катаев В.П.* «...Время, вперед!». М.: Федерация, 1932 (в 1933 г. переиздано).

[11] Имеются в виду «Кочевники. [Очерки Туркмении]», написанные Н.С. Тихоновым (М.: Федерация, 1931. Переиздано в ГИХЛе в 1933 г.). Возможно, Каликина перепутала

Тихонова с другим модным тогда автором – П.А. Павленко (см.: *Павленко П.А.* Анатолия. Рассказы. Изд. 3-е. [Из книг: 1. Азиатские рассказы. 2. Стамбул и Турция]. М.: Федерация, 1932). Интерес к этим произведениям мог быть пробужден Белым, читавшим в Коктебеле и Катаева, и Тихонова, и Павленко (см. об этом записи в его дневнике 1933 г. и прим. в наст. изд.). Как становится понятно из следующего письма, Белый рекомендовал Каликиной с этими книгами ознакомиться.

[12] Речь идет об опасениях Белого, что ему предложат квартиру на 4-м или 5-м этаже писательского дома в Нащокинском переулке. Из-за неважного здоровья он стремился получить квартиру не выше третьего этажа. См. об этом в дневнике Белого за 1933 г. и прим. в наст. изд.

[13] Видимо, тоже пример эзопова языка. Московская антропософка Роза Владимировна (Вульфовна) Длугач (1899–?) была арестована и судима по тому же делу, по которому проходили и Зайцев, и Каликина; сослана она была на три года туда же, куда и Зайцев<,> – в Казахстан. Так что с Зайцевым, также отбывавшим ссылку в Казахстане, Длугач, безусловно, была хорошо знакома. Потом ссылка в Казахстан была заменена Длугач ссылкой на Южный Урал и, вероятно, потом – в Орел, где она и общалась с Каликиной. Очевидно, ко времени написания письма Длугач добилась возвращения в Москву: Каликина указывает адрес, по которому Длугач проживала до ареста.

[14] Вероятно, Каликиной писала мать К.Н. Бугаевой А.А. Алексеева.

[15] Речь идет о дежурстве в больнице, куда Белый был госпитализирован 8 декабря 1933 г.

[16] А.С. Петровский. Речь идет о дежурстве в больнице.

[17] М.С. Славолюбов.

[18] В.С. Марсова.

[19] Речь идет о перипетиях издания 3-го тома мемуаров Белого «Между двух революций». Книгу предполагалось сначала печатать в издательстве «Федерация» (в 1933 г. было переименовано в издательство «Советская литература»), потом – в ГИХЛе. В конце 1933 г. книга была передана в «Издательство писателей в Ленинграде».

[20] П.Н. Васильев, первый муж К.Н. Бугаевой. Полуподвальная квартира в Долгом переулке была закреплена за ним, а Клавдия Николаевна с семьей и новым мужем проживала в квартире исключительно благодаря его любезности. За два года, прошедшие после развода (в 1931 г.), П.Н. Васильев успел обзавестись новой семьей: у него появилась жена и родилась дочь.

[21] См. об этом в дневнике Белого в наст. изд.

[22] Густав Густавович Шпет (1878–1937), философ, литературовед, переводчик, вице-президент ГАХНа и давний знакомый Белого, приходил к больному писателю, видимо, в конце августа. Поводом для визита стало то, что «кооперативная книжка», по которой выдавали продукты, по ошибке попала к Белому. См. об этом письмо Белого к П.Н. Зайцеву от 21 августа 1933 г. (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 542) и датированное тем же числом письмо Белого к Г.Г. Шпету (Начала. 1992. № 1. С. 64–65; публикация М.Г. Шторх). Как следует из «Воспоминаний» П.Н. Зайцева, присутствовавшего при встрече, Шпет и Белый обсуждали переделку М.А. Булгаковым «Мертвых душ» для МХАТа и постановку «Свадьбы Кречинского» в ГОСТИМе (С. 178–179).

[23] См. запись об их визите 20 октября 1933 г. в дневнике Белого в наст. изд.

[24] Заседание состоялось 31 октября 1933 г.

[25] См. об этом в дневнике Андрея Белого в наст. изд.

[26] См. об этом в дневнике Андрея Белого.

[27] Т.П. Симсон.

[28] Скорее всего, речь идет о московской антропософке Марии Алексеевне Фаворской, умершей от рака в 1930 г. Ср. запись в *РД* за 21 апреля 1930 г.: «Операция Марии Алексеевне Фаворской (рак)» (Л. 149 об.). О ее смерти см. также в письме Белого к П.Н. Зайцеву от 11 июля 1930 г. из Судака: «Радость в том, что в ее светлой кончине видишь смысл самих страданий, хотя бы в том, что над последними часами ее жизни близкие ей, встретясь с ней, встретились еще, может быть, по-новому друг с другом; она, уходя, как бы соединила их... <...>; 10 июля мы с К<лавдией> Н<иколаевной> поминали ее» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 462–463, 465).

[29] Преданность, самоотречение (*нем.*).

[30] Очевидно, Л.В. Каликина почитала книгу еще до ее публикации – в рукописи или машинописи.

[31] П.Н. Васильев.

[32] Претензии к П.Н. Васильеву не вполне справедливы, так как он принимал живейшее участие в судьбе больного Белого и даже после его смерти не спешил «сгонять» К.Н. Бугаеву и ее семью с квартиры. Не исключено, что Л.В. Каликина подозревает Васильева также и в отходе от антропософии.

[33] В романе «Маски» брат главного героя Ивана Ивановича Коробкина. «Брат Никанор» приехал в Москву помогать больному Коробкину и вызволять его из психиатрической лечебницы.

[34] А.С. Петровский.

[35] Александр Иванович Абрикосов (1875–1955) – врач-патологоанатом, академик АН СССР (1939) и АМН СССР (1944).

[36] Т.П. Симсон.

[37] Все лечебные учреждения на Девичьем поле были объединены в единую систему: до 1930 г. – университетские клиники, потом клиники Первого Московского медицинского института, сейчас – Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

[38] Георгий Иванович Чулков (1879–1939) – писатель; Григорий Алексеевич Рачинский (1859–1939) – переводчик, литератор; Мстислав Александрович Цявловский (1883–1947) – литературовед, пушкинист, член объединения «Никитинские субботники».

[39] О Георгии Васильевиче Бугаеве, присяжном поверенном, брате Н.В. Бугаева, см.: *НРДС 1989*. С. 146–152 (Глава «Критики среды»). О его сыне Олеге Георгиевиче в проведенной 22 декабря 1935 г. сотрудниками «Института мозга» «беседе» с К.Н. Бугаевой сообщается: «Ему в настоящее время около 50 лет. Преподаватель математики. Очень спокойный и уравновешенный человек. Скорее медлительный. Бугаевские умные глаза» (*Спивак М.* «Мозг отправьте по адресу...». М., 2010. С. 451).

[40] Ср.: «<...> дядю мать прозвала “дядя Ерш” за колючесть» (*НРДС 1989*. С. 109).

[41] Список художников, рисовавших на похоронах Андрея Белого, сохранился в личном архиве П.Н. Зайцева.

[42] О скульпторе С.Д. Меркурове и его работе над посмертной маской Андрея Белого см. в статье Е.В. Наседкиной «Посмертная маска...» в наст. изд.

[43] Возможно, намек на сходство с Р. Штейнером, умершим в 1925 г.

[44] Подробнее о художниках, рисовавших на похоронах Андрея Белого, см. в статье Е.В. Наседкиной «Писатель в гробу...» в наст. изд.

[45] Подробнее о выступлении и поведении В.М. Киршона см. во вступ. статье.

[46] Е.А. Королькова.

[47] А.А. Алексеева и Е.А. Королькова.

[48] См. в наст. изд.

[49] *Кут А.* Последние годы // Вечерняя Москва. 1934. 9 января; *Кут. А.* У гроба Белого // Вечерняя Москва. 1934. 10 января. См. обе заметки в наст. изд.

[50]Литературная газета. 1934. 11 января. См. в наст. изд.

[51] Открытие символистского издательства «Мусагет» произошло в марте 1910 г.; при нем были организованы кружок «Молодой Мусагет» и «Ритмический кружок», которым руководил Белый. «Иногда молодежь при “Мусагете” собиралась не в конторе издательства, а в других местах. Таким сборным местом была мастерская скульптора Крахта на Пресне. В мастерской был жилой верх в виде неогороженных, свешивавшихся над ней полатей, а внизу, задрапированные плющом и другой декоративной зеленью, белели слепки с античных обломков, гипсовые маски и собственные работы хозяина. <...> Часть общества сидела внизу, часть слушала сверху, разлегшись на полу антресолей и выставив за их край головы» (*Пастернак Б.Л.* Люди и положения // *Пастернак Б.Л.* Полн. собр. соч. М., 2004. Т. 3. С. 318). Константин Федорович Крахт (1868–1919) – скульптор.

[52] Известия. 1934. 10 января. См. в наст. изд.

[53] Следов подготовки сборника воспоминаний о Белом не обнаружено.

[54] Это не удалось. См. в письме К.Н. Бугаевой к Е.В. Невейновой от 2 февраля 1934 г. в наст. изд.

[55] Имеется в виду захоронение урны с прахом.

[56] Е.Н. Кезельман, сестра К.Н. Бугаевой, находившаяся в это время в ссылке. См. фрагмент ее воспоминаний в наст. изд.

[57] См. в письме К.Н. Бугаевой к Е.В. Невейновой от 15 января 1934 г. и прим.

[58] Письмо П.Н. Зайцева к Е.Н. Кезельман во многом и даже иногда дословно повторяет написанное днем раньше, 11 января, его письмо к Л.В. Каликиной. Однако в нем содержатся некоторые детали, отсутствующие в других источниках. Публикуется по автографу, хранящемуся в НИОР РГБ (Ф. 25. Карт. 49. Ед. хр. 24).

[59] В автографе – 12 ноября. Это явная описка. Документ датируется 12 января 1934 г. на основании упомянутого в нем далее «траурного извещения от имени театра Мейерхольда», опубликованного в день написания письма в газете «Известия».

[60] Е.Н. Кезельман находилась в это время в ссылке в Лебедяни. Подробнее см. в ее мемуарах и послесловии к ним в наст. изд.

[61] К.Н. Бугаева.

[62] А.С. Петровский.

[63] См. прим. к письму П.Н. Зайцева к Л.В. Каликиной от 11 января 1934 г.

[64] Речь, вероятно, идет о переживаниях, связанных с арестом К.Н. Бугаевой, Е.Н. Кезельман и других членов антропософского общества в 1931 г.

[65] А.А. Алексеева, мать К.Н. Бугаевой, и Е.А. Королькова, ее тетка, сестра А.А. Алексеевой.

[66] Правильно: С.Д. Меркуров.

[67] Имеется в виду Р. Штейнер, скончавшийся в 1925 г.

[68] Об этом см. воспоминания Е.Н. Сильверсван в наст. изд.

[69] Николай Дмитриевич Зелинский (1861–1953) – химик, профессор Московского государственного университета. Учеба у Н.Д. Зелинского подробно описана Белым в мемуарах: «Профессор Николай Дмитриевич Зелинский читал нам курсы по качественному и

количественному анализам, а также по органической химии; <...> постановка лабораторных занятий Зелинского стояла под знаком высокой, научной культуры; Зелинский являл тип профессора, приподымавшего преподавание до высотных аванпостов науки: тип “немецкого” ученого в прекраснейшем смысле; не будучи весьма блестящим, был лектор толковый, задумчивый, обстоятельный; многообразие формул, рябящее память, давал в расчленении так, что они, как система, живут до сих пор красотой и изяществом; классификационный план, вдумчиво упраздняющий запоминание, был продуман; держа в голове его, мы научились осмысливать, а не вызубривать; вывести формулу, вот чему он нас учил; забыть: это не важно; забытое вырастет из ствола схем, как листва, облетающая и опять расцветающая, от легчайшего прикосновенья к конспекту. <...> Лабораторные занятия по качественному анализу – обязательны для второкурсников; обязательность была не формальна – реальна: она отнимала не менее полугодия, максимум – год ежедневных сидений в лаборатории; курс – путеводный план при занятиях. Курсы Зелинского прочно врастали в наши лабораторные занятия; лаборатория врастала в курсы; слагалася нерасплетаемость теории с практикой; у Зелинского мы приобретали навык к работе <...>» (*НРДС* 1989. С. 404–405).

[70] Часть строки зачеркнута, вероятно, К.Н. Бугаевой.

[71] Е.А. Королькова.

[72] См. в наст. изд.

[73] Желание не исполнилось. См. в записях П.Н. Зайцева в наст. изд.

[74] Строка с подписью П. Зайцева отрезана.

[75] Возможно, имеется в виду Михаил Юрьевич Раппопорт (1891–1967) – в будущем известный невропатолог и невролог. Подробнее см. в записях К.Н. Бугаевой «Последние дни Андрея Белого» и прим. в наст. изд. Василий Васильевич Крамер (1876–1935) – невропатолог, один из основоположников отечественной нейрохирургии, лечащий врач В.И. Ленина. В 1929 г. вместе с Н.Н. Бурденко открыл в Москве Клинику (с 1934 г. – Институт) нейрохирургии.

[76] Дочь П.Н. Зайцева, Светлана Петровна Зайцева (1925–2009).

[77] Видимо, П.Н. Зайцев ошибся в инициалах и имеется в виду М.Ю. Раппопорт.

[78] Тираж книги появился в апреле 1934 г. Ср.: «<...> вот радость большая – “Мастерство Гоголя” уже не миф, а реальность. Авторские экземпляры получила вчера, когда почти отчаялась. Ведь книга “уже” распродана и здесь, и в Ленинграде – в два дня» (Письмо К.Н. Бугаевой к Г.А. Санникову от 30 апреля 1934 г. См.: Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 170).

[79] См. подробное описание бреда писателя в дневнике К.Н. Бугаевой в наст. изд.

[80] Николай Гордианович Куманин (1827–1890) – московский купец, общественный деятель и меценат (основатель в 1867 г. Петро-Николаевской богадельни московского купеческого общества – так называемой Куманинской богадельни). См. о нем: *Бурышкин П.А.* Москва купеческая. М., 1990. С. 149–150.

[81] «Семья Куманиных является одной из старейших московских купеческих семей; с течением времени, почти все ее члены перешли в дворянство. Она занимает первое место в московском купеческом родословии по числу ее членов, возглавлявших Московское городское общественное управление» (*Бурышкин П.А.* Москва купеческая. С. 149). С Куманиными была тесно связана семья Егоровых – семья матери Андрея Белого. Крестным отцом Александры Дмитриевны Бугаевой (урожд. Егоровой) был Петр Гордианович Кума-

нин, брат Н.Г. Куманина. Он же был крестным отцом ее младших братьев Николая, Ивана, Сергея и младшей сестры Екатерины. Крестным отцом ее старшей сестры Ольги был Петр Иванович Куманин, дядя Н.Г. и П.Г. Куманиных (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 352).

[82] В машинописи пропуск.

[83] Зайцев называет клиники Университетскими по старинке, поскольку с конца XIX в. сеть клиник на Девичьем поле принадлежала медицинскому факультету Московского университета. В 1930 г. произошла реорганизация медицинского образования с выделением медицинских факультетов в самостоятельные вузы, и клиники перешли в ведение Первого Московского медицинского института (сейчас – Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова). Патологоанатомический корпус (морг) находился во 2-м Клиническом переулке, д. 1 (с 1956 г. Абрикосовский переулок – в честь патологоанатома А.И. Абрикосова).

[84] См. в переписке П.Н. Зайцева с Л.В. Каликиной в наст. изд.

[85] К.Н. Бугаева была арестована 30 мая 1931 г. в Детском Селе, где она с Белым в это время проживала. В Москве, в квартире в Долгом переулке, Белый оставил сундук со своими документами и литературным архивом. 8 мая 1931 г. этот сундук был увезен сотрудниками ОГПУ на Лубянку. Белый узнал о произошедшем от П.Н. Зайцева, специально приехавшего для этого в Детское. Через Зайцева же Белый передал в Москву письмо-прошение к Горькому (от 17 мая 1931 г.): «На днях в Москве при обыске, произведенном на квартире моего старинного друга и постоянного секретаря Клавдии Николаевны Васильевой (с которой мы бывали у Вас в 1923 году зимой), вскрыли сундук, где были собраны мои рукописи-уникумы <...>, книги-уникумы, заметки и все наработанное за десять лет, – агенты ГПУ, хотя на нем была надпись, сделанная моей рукой, что он принадлежит мне; весь материал увезен в ГПУ <...>. Без этого материала я, как писатель, выведен из строя, ибо в нем – компендиум 10 лет <...> труда» (Из «секретных» фондов в СССР / Публ. Дж. Малмстада // Минувшее. Т. 12. С. 350). Попытки вернуть изъятые рукописи Белый предпринимал и в дальнейшем, но безуспешно. Перечень наиболее значимых потерь см. в письме к директору Государственного литературного музея В.Д. Бонч-Бруевичу от 20 июля 1932 г. (*Воронин С.Д.* Статья В.Д. Бонч-Бруевича «Архив Андрея Белого» // Археографический ежегодник за 1984 год. М., 1986. С. 274–275).

[86] См. статью Л.Б. Каменева в наст. изд. и ее анализ во вступительной статье к книге.

[87] Имеется в виду дом 52 по ул. Поварской, описанный в романе Л.Н. Толстого как «дом Ростовых» и принадлежавший графской семье Соллогуб; после национализации в нем располагались Дворец искусств, Литературно-художественный институт имени В.Я. Брюсова, потом – Союз советских писателей.

[88] См. в наст. изд.

[89] Архив был продан летом 1932 г. См.: *Воронин С.Д.* Статья В.Д. Бонч-Бруевича «Архив Андрея Белого». С. 273–276; Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 700–704 (письма за май 1932 г. и прим.).

[90] Имеется в виду дом, построенный кооперативом «Советский писатель,» – Нащокинский пер., № 3/5. кв. 55 (с 1933 по 1993 гг. – ул. Фурманова). Ср.: «Я опасался, что после кончины Бориса Николаевича Клавдии Николаевне будет еще труднее добиться квартиры в Нащокинском. Но все же в конце концов в марте месяце она получила ордер. Помню, для того чтобы квартиру не захватили “флибустьеры”, я перенес туда портрет Бориса Николаевича, кое-какие спальные принадлежности и провел там несколько дней и ночей безвы-

ходно, пока не прибыл грузовик с вещами Клавдии Николаевны и она не вошла в этот “дом”, в котором так мечтал пожить Белый, как его полная и единственная владелица. Только тогда я мог спокойно оставить ее в новом жилище» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 191).

[91] Правильно – 11 января. См. в наст. изд.

[92] А.П. Чехов в 1904 г. был похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря; в 1933 г. его останки были перенесены на «новую» территорию Новодевичьего кладбища. Н.В. Гоголь в 1852 г. был похоронен на кладбище Данилова монастыря, в 1931 г. в связи с его упразднением перезахоронен на Новодевичьем.

[93] Ольга Леонардовна Книппер-Чехова (1869–1959) – актриса, народная артистка СССР (1937); с 1898 г. в труппе Московского Художественного театра; жена А.П. Чехова.

[94] Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858–1943) – режиссер, писатель, драматург; основатель (в 1898 г.) и руководитель Московского Художественного театра (вместе с К.С. Станиславским), народный артист СССР (1936).

[95] Федор Николаевич Михальский (1896–1968) в 1930-х был главным администратором МХАТа; в 1950-е – директором музея МХАТа.

[96] В.В. Косухин.

[97] В записях Зайцева – 27/I. Скорее всего, Зайцева подвела память, и он имел в виду опубликованное в «Известиях» 17 января 1934 г. объявление о захоронении урны с прахом Белого «на кладбище Новодевичьего монастыря, 18 января, в 2 часа дня».

[98] Лев Михайлович Алпатов-Пришвин (1906–1957) – старший сын М.М. Пришвина, фотограф.

[99] В это время Л.Б. Каменев занимал пост директора издательства «Academia». См. подробнее о проекте издания стихотворного сборника Андрея Белого в наст. изд.

[100] См. в наст. изд.

[101] План не был реализован.

[102] Василий Козьмич Бугаев, военный врач, и его жена. Сохранилось всего по одному их снимку (дагеротипы; 1847–1848) – в собрании Государственного литературного музея. См. их публикацию в альбоме: Андрей Белый. Александр Блок. Москва. М., 2005. С. 38–39.

[103] В доме Н.Н. Рахманова, в квартире № 7 на углу Арбата и Денежного переулка Белый родился и жил не до 1903 г., а до 1906 г.

[104]Арбат, Никольский пер., д. 21, кв. 7 (с 1922 г. – Плотников пер.). Переезд состоялся в августе–сентябре 1906 г.

[105] Ср.: «Борис Николаевич провел меня до начала Смоленского бульвара и там указал на особняк Маргариты Кирилловны Морозовой на углу Глазовского пер. и Сенной площади, – вспоминал П.Н. Зайцев беседу с Белым во время одной из прогулок в 1929 г. – Как памятен мне этот дом! Сколько вечеров я тут провел и как много было здесь переговорено!» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 119). Маргарита Кирилловна Морозова была первой «мистической любовью» Андрея Белого и прототипом главной героини (Сказки) «Симфонии (2-й, драматической)» (М., 1902). В ее особняке (сейчас – Смоленский бульвар, д. 26/9), проходили заседания Московского религиозно-философского общества.

[106] В доме № 6 по Садово-Кудринской ул. (кв. 2) находилось Московское антропософское общество. Белый вместе с А.С. Петровским поселились по указанному адресу в феврале 1918 г.

[107] Историк литературы, профессор Московского университета Николай Ильич Стороженко (1836–1906) проживал по адресу «Смоленский бульвар, Ружейный переулок, дом Байдакова» (Байдаковым принадлежали дома 9 и 11).

Его «воскресники» посещала вся профессорская и литературная Москва. Н.И. Стороженко и Н.В. Бугаева связывала долгая и тесная дружба, поэтому Белый с ранних лет также был частым гостем этого дома. «<...> я заходил к Н.И. в его классические воскресные утра», – вспоминал он в некрологе «Николай Ильич Стороженко» (Весы. 1906. № 2. С. 68). И позднее, в мемуарах: «<...> когда я теперь Оружейным иду, останавливаюсь перед тем же я домом (он даже не перекрашен, – такой же стоит он краснокоричневый), где я резвился, где шли юбилеи сплошные <...>. Впечатление о потрясающей знаменитости и гениальности Стороженки ребенку, мне, явно сложилось в квартире известнейшей “байдаковского” дома» (*НРДС 1989.* С. 139 и далее). П.Н. Зайцев отметил в мемуарах, как однажды в 1929 г. Белый «обернулся лицом к Оружейному переулку» и сказал: «Здесь в детстве я часто бывал у Николая Ильича Стороженко, отец проводил с ним часы в разговорах и спорах» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 120). Оружейный переулок – ошибка мемуаристов; он находится в другом районе Москвы.

[108] В ноябре 1923 г. после приезда из Германии Белый поселился на Бережковской набережной в доме при Дорогомиловском химическом заводе государственного треста анилино-красочной промышленности (Анилтрест) в квартире директора завода Александра Ивановича Анненкова и его жены Веры Георгиевны Анненковой.

[109] С 1925 по 1931 г. Белый снимал в подмосковном поселке Кучино две комнаты в доме бухгалтера Николая Емельяновича (ум. 1931) и его жены Елизаветы Трофимовны Шиповых – Железнодорожная ул., д. 7 (40).

[110] Плющиха, Долгий пер., д. 53., кв. 1. Квартира первого мужа К.Н. Бугаевой П.Н. Васильева, последнее пристанище Белого.

[111] Зайцев перепутал знаменитого психиатра Сергея Сергеевича Корсакова (1854–1900) с композитором Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым (1844–1908). Имеется в виду Клиника психиатрии (ул. Россолимо, 11; до 1931 г. – Большой Боженинский переулок), основанная в 1887 г. и входившая в систему университетских клиник на Девичьем поле. В 1934 г. это учреждение называлось Психиатрическим отделением Первой Московской клинической больницы. Имя С.С. Корсакова официально было присвоено клинике в 1938 г.

[112] Перечислены художники, писавшие портреты Белого. Л.С. Бакст сделал два портрета – в 1905 и в 1906 гг.; здесь, очевидно, имеется в виду наиболее известный, написанный в 1906 г. по заказу журнала «Золотое руно», А.П. Остроумовой-Лебедевой Белый позировал в 1924 г. в Коктебеле (см. о них в записях К.Н. Бугаевой в наст. изд.); Николаю Николаевичу Вышеславцеву (1890–1952) – в 1920 г. и на рубеже 1920–1930-х. Художница, антропософка, мемуаристка, первая жена М.А. Волошина Маргарита Васильевна Сабашникова (1882–1973) изобразила Белого и А.А. Тургеневу в период их наибольшей антропософской экзальтации – во время «жизни при Штейнере», в Дорнахе в 1915/1916 гг. (местонахождение этого портрета неизвестно; судить о нем можно лишь по сохранившимся, в том числе в собрании Государственного литературного музея, фотографиям). См.: Андрей Белый. Александр Блок. Москва. М., 2005. С. 232. Там же воспроизведены и другие упомянутые портреты Белого.

[113] Посмертная маска, выполненная С.Д. Меркуровым. См. о ней в наст. изд.

[114] Эллис (наст. имя и фамилия Лев Львович Кобылинский; 1879–1947) – поэт, переводчик, теоретик символизма.

[115] Сергей Михайлович Соловьев (1885–1942), поэт, переводчик, сын М.С. и О.М. Соловьевых; Михаил Сергеевич Соловьев (1861–1903), педагог, переводчик, сын историка С.М. Соловьева, брат философа В.С. Соловьева, издатель его сочинений; Ольга Михайловна Соловьева (1855–1903), художница, жена М.С. Соловьева.

[116] Анна Алексеевна Тургенева (1890–1966) – художница, антропософка, первая жена Андрея Белого.

[117] Фотография была сделана в мае 1933 г. См. упоминания о ней в переписке К.Н. Бугаевой с Томашевскими и в записях К.Н. Бугаевой в наст. изд.

[118] Существует два фотопортрета Андрея Белого работы Моисея Соломоновича Наппельбаума (1869–1958) – 1926 и 1929 гг. «Классическим» считается поздний.

[119] Над скульптурным портретом Андрея Белого Анна Семеновна Голубкина работала в 1907 г. Существует несколько его вариантов. См. в прим. к записям К.Н. Бугаевой в наст. изд.

[120] Имеется в виду фотография Андрея Белого, сделанная 1906 г. в Мюнхене, в период его заграничной поездки в 1906–1907 гг. С 21 сентября (по старому стилю) до 30 ноября 1906 г. Белый жил в Мюнхене, потом переехал в Париж, вернулся в Москву в конце февраля 1907 г. (по старому стилю). См.: Андрей Белый. Александр Блок. Москва. М., 2005. С. 164.

[121] В Брюсселе Белый был вместе с А.А. Тургеневой в апреле–мае 1912 г. В это время было сделано несколько фотографий писателя – с сигаретой в руке, с гвоздикой в кармане пиджака и – вместе с А.А. Тургеневой (Там же. С. 210, 216).

[122] Имеется в виду книга Эллиса «Русские символисты: Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый» (М.: Мусагет, 1910). Перед разделом об Андрее Белом на ненумерованной вклейке помещена его фотография (конец 1900-х). См.: Там же. С. 199.

[123] Николай Васильевич Кузьмин (1890–1987) делал иллюстрации к роману «Маски» и суперобложку; тогда же Белый позировал ему для портрета. Работа Кузьмина, хранящаяся ныне в Государственном литературном музее, была отвергнута, и книга вышла с помещенным на фронтисписе портретом Андрея Белого работы В.А. Милашевского.

[124] См. стихотворения О.Э. Мандельштама в наст. изд.

[125] Лев Николаевич Гумилев (1912–1992) – сын Н.С. Гумилева и А.А. Ахматовой, впоследствии историк, в то время был частым гостем у Мандельштамов; приезжал из Ленинграда. Думается, что «первый заход» Зайцева к Мандельштаму состоялся 16 или 17 января 1934 г. См.: *Спивак М.* О.Э. Мандельштам и П.Н. Зайцев (К вопросу об истории, текстологии и прочтении стихотворного цикла «Памяти Андрея Белого» // «Сохрани мою речь...» (Записки Мандельштамовского общества). Вып. 4. Ч. 2. С. 513–546.

[126] Зайцев имеет в виду историка литературы Григория Александровича Гуковского (1902–1950). Гуковский также приезжал из Ленинграда.

[127] Точная причина визита к Евгению Ивановичу Шамурину (1889–1962), крупному библиографу и автору знаменитой «антологии русской лирики от символизма до наших дней» «Русская поэзия XX века» (совместно с И.С. Ежовым; [М.]: Новая Москва, 1925), нам не известна. Скорее всего, Бугаева и Зайцев рассчитывали на его помощь в подготовке посмертного «Собрания стихотворений» Белого (в предисловии «От редакции» Шамурин – в числе тех, кому выражена благодарность). Возможно также, что были дела, связанные со Всесоюзной центральной книжной палатой: Шамурин являлся одним из ее основателей, а с 1932 г. – заместителем директора. Кроме того, Шамурин был горячим поклонником творчества Белого и был с ним знаком. В личном архиве Шамурина сохранился экземпляр романа «Маски» с дарственной надписью: «Евгению Ивановичу Шамурину с огромной благодарностью за тонкий слух и радость, доставленную мне “отзывом” об этой книге. Андрей Белый (Б. Бугаев). Москва. 21 февр<аля> 1933 года», а также черно-

вые автографы Белого, вырезки с его публикациями, рецензиями на произведения и некрологами. Оказались у Шамурина и три фотографии Белого: на двух – Белый в гробу, на одной – сделанной Л.М. Алпатовым-Пришвиным – его письменный стол. Не исключено, что эти фотографии были подарены Шамурину К.Н. Бугаевой и П.Н. Зайцевым во время визита (подробнее см.: *Черкавская К.Л.* Белый в архиве Е.И. Шамурина // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 38–40).

[128] Владимир Гервасьевич Черевков (1894–1960) – литератор, «в 1925 вступил в Общество пролетарских писателей “Кузница”, откуда после раскола в 1930, перешел в “Новую кузницу”. В этом же году, состоя в “Новой кузнице”, вошел в Московскую ассоциацию пролет<арских> писателей (МАПП)» (РГАЛИ. Ф. 1624. Оп. 1. Ед. хр. 239); входил в секцию советских историко-революционных писателей и работников научно-исторической литературы – снискал известность книгой о Карле Марксе («Великий учитель». М., 1930); в 1934 г. был стажером Союза писателей и членом группкома писателей при ГИХЛе (РГАЛИ. Ф. 217. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 36).

[129] Трудно сказать, относится ли эта запись к 26 января или к 29 января (см. ниже). В январе 1933 г. Белый был выбран в культурно-просветительную секцию группкома Государственного издательства художественной литературы, чем и обусловлено упомянутое предложение. Подробнее об этом несостоявшемся почине см. во вступит. статье.

[130] Петр Петрович Кончаловский (1876–1956) – художник.

[131] А.С. Петровский.

[132] Описка. Правильно: «Академия».

[133] Сборник В.Я. Брюсова «Избранные стихи» (М.; Л.: Academia, 1933) вышел под редакцией литературоведа, критика, поэта и переводчика Игоря Стефановича Поступальского (1907–1990), с его комментариями и вступ. статьей «Поэзия Валерия Брюсова». В том же сборнике были напечатаны «Материалы к биографии Валерия Брюсова», подготовленные его вдовой Иоанной (Жанной) Матвеевной Брюсовой (урожд. Рунт; 1876–1965).

[134] Художник и книжный график Борис Львович Лопатинский (1881 – после 1946). Возможно, знакомство произошло в издательстве «Academia», в котором в 1934 г. вышла книга Д. Боккаччо «Фьезоланские нимфы» (М.; Л., 1934), оформленная и проиллюстрированная Б.Л. Лопатинским. В 1935 г. был арестован по так называемому «Кремлевскому делу», фигуранты которого (в том числе Л.Б. Каменев) обвинялись в подготовке покушения на Сталина. Тогда Лопатинский был приговорен к 3 годам ИТЛ, но затем срок заключения был продлен. Отбывал срок в Краслаге (Березовка), после освобождения в 1946 г. уехал в Москву (www.memorial.krsk.ru/martirol/lop_lor.htm).

[135] Рисунки не выявлены.

[136] Театральный отдел.

[137] В начале 1930-х Николай Иванович Гарвей (1867–1941), писатель, переводчик и издательский работник, был сотрудником ГИХЛа (зав. технической редакцией), до революции – редактором газеты «Утро России» (1907, 1909–1918), издававшейся в Москве П.П. Рябушинским. Летом 1933 г. Зайцев общался с ним в связи с подготовкой к печати книги «Мастерство Гоголя» (см. переписку Зайцева и Белого в кн.: *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 527, 532 – письма Зайцева к Белому от 14 и 19 июня 1933 г.) и мемуаров «Начало века». Так, в частности, благодаря Н.И. Гарвею, была исправлена ошибка Белого, написавшего в мемуарах, что М.Ф. Ликиардопуло «давал корреспонденции из Германии (во время герм<анской> войны) в “Новое время”», тогда как на самом деле – в «Утро России»

(Письмо П.Н. Зайцева к Андрею Белому от 2 июля 1933 г. Там же. С. 538). Белый в ответном письме (от 10 июля 1933 г.) благодарил Зайцева за «за отмеченные несуразности» и признавал: «Гарвею, конечно, более известно, где писал Лик<иардопуло>» (Там же. С. 540).

[138] Видимо, Зайцев планировал работу над библиографией Андрея Белого, печатавшегося в «Утре России» в 1910 и в 1916 гг.

[139] Белый был близок с искусствоведом Николаем Георгиевичем Машковцевым (1887–1962) еще со времен организации издательства «Мусагет» и связан по работе в антропософском обществе (кстати, именно семья Машковцевых вовлекла в антропософское общество П.Н. Зайцева). После революции Н.Г. Машковцев, как и Белый, работал в Наркомпросе (Белый – в Театральном отделе, Машковцев – в Отделе по делам музеев и охраны памятников искусства и старины). В 1920–1930-х был хранителем и заместителем директора Третьяковской галереи, с 1932 г. заведовал отделом оформления книг издательства «Федерация» (затем – «Советский писатель»); член-корреспондент Академии художеств СССР (1947), засл. деятель искусств РСФСР (1952).

[140] С писателем Александром Михайловичем Дроздовым (1895–1963) Белый познакомился в Германии: оба вернулись из эмиграции в 1923 г. В 1930 г. Дроздов навещал Белого в Кучине и фотографировал его. В 1930-е Зайцев и Дроздов были приятелями. См. подробнее в письме П.Н. Зайцева к Белому от 3 января 1931 г. и в прим. Дж. Малмстада (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 471–472).

[141] Георгий Аркадьевич Шенгели (1894–1956) – поэт, переводчик, стиховед.

[142] Надежда Степановна Клименкова (1896–1973) работала в Москве преподавателем музыки, принимала участие в деятельности антропософских кружков, была в 1931 г. вместе с другими московскими антропософами арестована, сначала приговорена к высылке, но уже в ноябре 1931 г. ей разрешили «свободное проживание по СССР», и она вернулась в Москву.

[143] Алексей Александрович Ефременков (1888–1962) – пианист и композитор (ученик Н.И. Сизова и Н.К. Метнера, автор мемуарного очерка «Н.К. Метнер» – см. в кн.: *Метнер Н.К.* Статьи, материалы, воспоминания / Составитель-редактор З.А. Апетян. М.: Советский композитор, 1981. С. 129–133), переводчик романсов и музыкальных пьес, поэт.

[144] Возможно, предполагалось выступление не Марии Александровны Скрябиной, а ее сестры, старшей дочери композитора А.Н. Скрябина, пианистки Елены Александровны Скрябиной (1900–1990).

[145] Не исключено, что Зайцев не разобрался в старых записях и предполагалось выступление Надежды Матвеевны Малышевой (1897–1990), жены (с 1926 г.) В.В. Виноградова (1895–1969), лингвиста, литературоведа, академика АН СССР (с 1946 г.); она была пианисткой, концертмейстером (работала с Ф.И. Шаляпиным, К.С. Станиславским) и известным педагогом по вокалу; в 1920-х в Оперной студии К.С. Станиславского не только работала концертмейстером, но также пела в хоре. В конце жизни выпустила методическое пособие «О пении» (М., 1988).

[146] С Владимиром Николаевичем Яхонтовым (1899–1945), актером, чтецом-декламатором, мастером художественного слова, Белый мог быть даже знаком: в 1924–1926 гг. тот работал в театре В.Э. Мейерхольда ГОСТИМе. Потом – выступал с литературно-художественными композициями и моноспектаклями. В его репертуаре были произведения Маяковского, Блока, русских поэтов и прозаиков XIX в. и других.

[147] О Борисе Борисовиче Красине и его контактах с Белым осенью 1933 г. см. в дневнике Белого в наст. изд. На вечере памяти Андрея Белого Красин мог бы исполнять сочи-

ненные им на стихи Андрея Белого романсы – например, «Одиночество» («Я вновь один. Тоскую безнадежно...»), рассказывать об Обществе свободной эстетики (и Белый, и Красин были его посетителями) и – вероятнее всего – о том, как в 1924 г. он «согласился на устройство отдельных лекций Бориса Николаевича у себя на квартире и без официального разрешения, “для знакомых”, поэтому – в неофициальном порядке» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 52).

[148] Михаил Михайлович Коренев (1889–1980) в 1922–1938 гг. работал в Государственном театре имени В.Э. Мейерхольда, был его помощником и режиссером-лаборантом на многих его постановках (в том числе – «Ревизор» и «Горе уму»). Он хорошо знал Белого, читавшего в 1927–1928 гг. лекции для актеров театра, и сам неоднократно посещал его выступления (например, чтение Белым романа «Москва»). См. подробнее: *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 85, 100–101 и др.

[149] Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978) входил в кружок поэтов, собиравшихся в 1920-е на квартире П.Н. Зайцева, и участвовал вместе с Зайцевым в организации издательской артели «Узел».

[150] Имеются в виду коммунистическая ячейка ГИХЛа и Президиум Оргкомитета Союза советских писателей.

[151] Артист театра и кино Эраст Павлович Гарин (наст. фамилия: Герасимов; 1902–1980) работал в ГОСТИМе с 1922 г.

[152] Дмитрий Николаевич Журавлев (1900–1991) – актер, с 1924 по 1936 г. работал в театре имени Евг. Вахтангова; мастер художественного слова, чтец.

[153] Сведений найти не удалось.

[154] Мария Давыдовна Синельникова (1899–1993) – актриса, театральный педагог; работала в Театре имени Евг. Вахтангова с 1920 г.

[155] Елена Георгиевна Спендиарова начинала в труппе Первого государственного театра для детей, обратив на себя внимание «непосредственностью и незаурядным артистическим темпераментом» в спектакле «Маугли» по Р. Киплингу. По воспоминаниям Э.Г. Герштейн, гимназической подруги «великолепной Лены Спендиаровой», после «этого дебюта она была принята в Камерный театр на роль Жирофля в одной из опереточных постановок А.Я. Таирова, ездила с этой труппой в Париж и Берлин, но впоследствии ее артистическая карьера почему-то заглохла» (*Герштейн Эмма.* Поэт поэту – брат // Знамя. 1999. № 10. С. 136).

[156] Набросок программы вечера, сделанный рукой П.Н. Зайцева, сохранился на отдельном листе среди его бумаг.

[157] В перепечатанных П.Н. Зайцевым дневниковых записях имеется и фрагмент письма; местонахождение оригинала нам не известно.

[158] Мемуары «Между двух революций» выпускало «Издательство писателей в Ленинграде», где работал С.Д. Спасский. В 1934 г. на базе «Издательства писателей в Ленинграде» было создано Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» (а не «Ленгиз», как пишет Зайцев). Однако на титуле книги, вышедшей в апреле 1935 г., еще значилось «Издательство писателей в Ленинграде» (и годом выпуска был указан 1934). Заведующим «Издательством писателей в Ленинграде» в 1930-е был поэт и издательский работник Григорий Эммануилович Сорокин.

[159] Книга была сдана в набор 23 апреля 1934 г., подписана к печати – 13 октября 1934 г.

[160] С начала 1931 г. советское кинопроизводство было переведено в специально отстроенный киногородок недалеко от деревни Потылиха (близ Воробьевых гор), получивший

название «Московская объединенная фабрика “Союзкино” имени Десятилетия Октября». В 1934 г. предприятие было переименовано в «Москинокомбинат», в 1936 г. – в «Мосфильм».

[161] Зиновий Маркович Калик (1908–1994) – деятель отечественной кинематографии и мультипликации, сценарист, выпускник актерского отделения Государственных экспериментальных театральных мастерских имени В.Э. Мейерхольда (1928), в 1931–1935 гг. был старшим редактором Московской студии звукозаписи «Союзкино», потом занимался неигровым кино, а в 1941–1946 гг. – начальником сценарного отдела киностудии «Союзмультфильм».

[162] Из этого проекта ничего не вышло.

[163] Бывший «рапповский» критик Я. Эльсберг (наст. имя и фамилия Яков Ефимович Шапирштейн; другие псевдонимы Ж. Эльсберг, Я. Лерс, Я.Е. Шапирштейн-Лерс; 1901–1972) был «заместителем руководителя редсектора» в издательстве «Academia». Об отношении к Белому см. его статью «Творчество Андрея Белого-прозаика» (На литературном посту. 1929. № 11/12. С. 34–52; републикация в сб.: Андрей Белый: pro et contra. С. 802–837) и рецензию на книгу мемуаров «На рубеже двух столетий» (На литературном посту. 1930. № 3/6. С. 117–118). О его родственных связях с Каменевым у нас сведений нет. Однако не только П.Н. Зайцев именно в них видел причины его влияния. Ср.: «Клеврет Каменева в издательстве, Эльсберг на правах, очевидно, родственника, был своим человеком у него в доме» (*Любимов Н.М.* Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. В 3 т. М., 2004. Т. 2. С. 21). Подробнее об участии Эльсберга в судьбе «Собрания стихотворений» Андрея Белого см. в статье Е.В. Наседкиной «Несбывшийся проект...» в наст. изд.

[164] Договор был заключен 9 мая 1934 г. См. подробнее в наст. изд.

[165] Рождественский бульвар, д. 16. Имеется в виду работа над сборником стихотворений Белого для издательства «Academia».

[166] Первоначально предполагалось, что в сборник будет включена «Летопись жизни и творчества» Андрея Белого (Зайцев называет ее «канвой»). Результат работы К.Н. Бугаевой, закончившей эту работу самостоятельно, см. в ОР РНБ (Ф. 60. Ед. хр. 107).

[167] У Зайцева – Я.С. Лукьянов. Скорее всего, Зайцев ошибся в инициалах: имелся в виду Сергей Михайлович Лукьянов (1858–1935) – врач, профессор патологии, товарищ министра народного просвещения (1902–1905), член Государственного совета (1906–1917), обер-прокурор Синода (1901–1911); друг и биограф В.С. Соловьева, автор ряда работ о литературе. Белый в мемуарах упоминает о нем как своем последователе в стиховедении, имея в виду его статью в «Журнале министерства народного просвещения» (1914. Февраль. С. 316–352) «“Ангел смерти” гр. А.А. Голенищева-Кутузова»: «Скоро и академик Лукьянов начал описывать стихи моим способом» (*МДР 1990.* С. 315, прим. С. 532). В архиве П.Н. Зайцева сохранился список тех лиц, которым Белый намеревался подарить книгу «Ритм как диалектика и “Медный всадник”» (М., 1929), и С.М. Лукьянов – в их числе (частное собрание).

[168] В это время Зайцев работал в ГИХЛе консультантом по работе с молодыми авторами. Видимо, это один из них.

[169] В издательстве «Academia» в 1928 г. вышел сб. статей О.Э. Мандельштама «О поэзии».

[170] Как представитель ГИХЛа П.Н. Зайцев проводил в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Горького литературные консультации и беседы с начинающими авторами.

[171] Возможно, имеется в виду архитектор Виктор Петрович Калмыков (1908–1981), в начале 1930-х – автор авангардного проекта «Города будущего», с конца 1930-х – признанный специалист по строительству кинотеатров в СССР.

[172] См. перевод стихотворения Паоло Яшвили «Стол – Парнас мой» в «Известиях» за 6 апреля 1934 г. «На протяжении всей своей литературной работы Пастернак избегал контактов с газетами <...>. На этом фоне активное участие его в “Известиях” – факт большого историко-литературного веса. На протяжении всего 1934 года переводы его появлялись в бухаринской газете многократно» (*Флейшман Л.* Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 207–208).

[173] Виктор Викторович Гольцев (1901–1955) – литературовед, переводчик, издательский работник (редактор Гослитиздата), с 1949 года главный редактор журнала «Дружба народов»; входил в Комитет по увековечению памяти Андрея Белого. Ср. в «Записях» Зайцева: «Вик<тор> Викт<орович> Гольцев, сын В.А. Гольцева <...>. В 1920–1921 годы был в числе слушателей Б.Н. в ЛИТО (Наркомпроса. – *М.С.*). Приезжал в Кучино “навидать” Б.Н. Еще в 1924 году был “бергсонианцем”, но к 1929 году “самоопределился”, был принят в партию (в 1940 г. – *М.С.*), “приключился” к грузинской литературе. В Кучине он слыл как “мальчик Витя”» (частное собрание).

[174] А.К. Тарасенков написал для этого сборника вступит. статью. См. в наст. изд.

[175] Пьеса написана не была.

[176] Речь идет об Александре Павловиче Оборине.

[177] См. о стихотворном цикле Мандельштама «Памяти Андрея Белого» в наст. изд.

[178] В.В. Маяковский покончил собой 14 апреля 1930 г.

[179] 30 октября 1932 г. Белый встречался с грузинским писателем Шалвой Виссарионовичем Сослани (1902–1941) на Первом пленуме Оргкомитета ССП (см.: *Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества // ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 107). В ноябре 1932 г. Белый прочитал его первую книгу на русском языке (повесть «Конь и Кэтевана» – М.: ГИХЛ, 1932) и откликнулся на нее восторженным письмом (от 16 ноября 1932 г.). См.: Письма Андрея Белого Шалве Сослани / Предисловие Г.М. Миронова, М.Г. Мироновой // Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 71–752). В письме от 18 января 1933 г. Белый также с одобрением отозвался о его очерке «Шамшови», напечатанном в журнале «Новый мир» № 11 за 1932 г. (С. 223–228), извинялся, что из-за нездоровья не сможет присутствовать на его творческом вечере и планировал увидеться с ним: «После 22-го напишу Вам о том, как нам встретиться» (*Там же.* С. 753). См. его телеграмму К.Н. Бугаевой в наст. изд.

[180] Ангарский Николай Семенович (наст. фамилия: Клестов; 1873–1941) – профессиональный революционер, политический деятель, издательский работник, литератор. П.Н. Зайцев хорошо знал Н.С. Ангарского по работе в созданном им издательстве «Недра» (1924–1931). Ангарский постоянно совмещал книгоиздательскую деятельность с партийной и государственной. Так, до 1929 года он работал в Моссовете, в 1929-м был направлен торгпредом в Литву, в 1932-м – в Грецию.

[181] Зинаида Николаевна Райх (1894–1939) – ведущая актриса Театра имени В.Э. Мейерхольда, жена В.Э. Мейерхольда.

[182] В издательстве «Academia» в это время шла работа над «Сборником стихотворений» Белого; Ленинградским отделением издательства «Советский писатель» стало «Издательство писателей в Ленинграде», в котором готовилась к выходу книга «Между двух револю-

ций». Не исключено, что в ГИХЛе (будущем Гослитиздате) могла идти речь о переиздании романа «Петербург». См.: *Андрей Белый*. Петербург / Со вступ. статьей К. Зелинского и предисл. автора. М.: Гослитиздат, 1935.

[183] Премьера спектакля «Дама с камелиями» состоялась 19 марта 1934 г. По свидетельству драматурга А.К. Гладкова, работавшего с Мейерхольдом с ГОСТИМе, «тот текст, который игрался в театре, был компиляцией канонического текста пьесы А. Дюма-сына, его романа под этим же названием и текстов из произведений Флобера и Золя» (*Гладков А.К.* Пять лет с Мейерхольдом // *Гладков А.К.* Мейерхольд. В 2 т. / Сост. и подгот. текста В.В. Забродина. М., 1990. Т. 2. С. 158).

[184] Репетиции спектакля не были даже начаты. О планах режиссера, его видении отдельных сцен и размышлениях о «Гамлете», длившихся и после закрытия в 1938 г. его театра, см.: Там же. С. 156–164.

[185] Работа над «Борисом Годуновым» была начата в 1934 г., репетиции продолжались до 1936 г.; премьера планировалась на 1937 г. (к 100-летию со дня смерти А.С. Пушкина), но не состоялась (Там же. С. 164–180).

[186] Имеется в виду колоритный штрих в описании Булгаковым катастрофических последствий эксперимента: «Театр покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке пушкинского “Бориса Годунова”, когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга “Курий дох” в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана». Публикация повести «Роковые яйца» в альманахе «Недра» (1925. Кн. 6) осуществилась благодаря активному содействию П.Н. Зайцева (подробно об этом см.: *Зайцев П.Н.* Михаил Афанасьевич Булгаков // *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 270–299). Однако сказать, что Булгаков ошибся, нельзя, так как в середине 1920-х Мейерхольд уже делал попытку поставить пушкинскую драму: репетировал «Бориса Годунова» в 3-й студии МХТ, переименованной в 1926 г. в Театр имени Е.Б. Вахтангова.

[187] Актер Михаил Иванович Царев (1903–1987) работал в ГОСТИМе в 1934–1937 гг., затем перешел в Малый театр; с 1950 по 1963 г. был его директором.

[188] В «Ревизоре» (1926) З.Н. Райх играла Анну Андреевну, в «Горе уму» (1928) – Софью.

[189] Первый съезд Союза советских писателей открылся 17 августа 1934 г.

[190] Отрывок из поэмы грузинского писателя Важа Пшавела (наст. имя и фамилия: Лука Разикашвили; 1861–1915) «Змееед» (1901) был опубликован Б.Л. Пастернаком в «Литературной газете» 8 апреля 1934 г.; вскоре вышло отд. изд.: *Важа Пшавела*. Змееед: Поэма / Пер. Б. Пастернака. Тбилиси: Закгиз, 1934.

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

С.Д. СПАССКИЙ

ПИСЬМО К.Н. БУГАЕВОЙ К С.Д. СПАССКОМУ

<29 ноября 1933>[1].

Милый Сергей Дмитриевич! Как раз последние дни стала усиленно думать, чтобы Вам написать. Так давно не было от Вас весточки. И хотя от Воли[2] знали мы, что у Вас все благополучно, но у него всегда все хорошо, а хотелось знать конкретнее. Вы правы, год этот выдался на редкость тяжелый. Особенно у нас, с болезнью Б.Н. Теперь ему немного легче стало. Голова меньше болит. Но ведь это уже 4½ месяца. Доктора говорят, что слишком он себя не берег и чрезмерно работал, и слишком велика была нагрузка для нервов. Одно время думали о санатории. И доктора разошлись: одни – за, другие – против[3]. Очень трудно создать в санатории «индивидуальные» условия. А без них Б.Н. только хуже будет себя чувствовать. Решили пока подождать. Может быть, на несколько дней куда-нибудь в дом отдыха, в порядке загородной прогулки.

Милый Сергей Дмитриевич, Вы очень, очень много сделали своим письмом. Одно из условий выздоровления Б.Н. было отсутствие тяжелых и наличность положительных впечатлений. До сих пор у нас все было как раз наоборот. Ваше письмо – первое успокоительное известие за всю осень[4]. Вы ведь знаете эту гнусную историю, роль Мстиславского[5] и прочее. Если Издат<ельство> пис<ателей> действительно принимает книгу, то это имеет *очень, очень большое моральное* значение (не говоря о материальном). Ведь Б.Н. стал писать IV т. в полную неизвестность, не имея никакого заказа. Не писать не мог, потому что это было его единственной радостью[6]. Мы целые дни одни и никуда не ходим. Всякое напряжение (концерт, выставка, люди) для Б.Н. нежелательно. Он невероятно возбудим и раздражителен. Музыку мы слушаем только по радио на Д<евичьем> поле – и иногда недурную[7].

Голубчик, простите, что все об одном. Но знаю, это и Вам дорого. А Вы, может быть, еще до приезда[8] напишете о Себе, о Соне[9], о Вероничке. Она ведь уже «большая»[10]!.. А в пару ей у Пети появилась маленькая Ириночка[11]. У них все хорошо. – О Люсе без муки думать не могу. Пока все то же. Ждем, ждем и ждем[12].

Простите: Очень спешу.

Шлю сердечный привет. М.б. Соня заедет на обратном пути, если только через Москву поедет?

ИЗ ДНЕВНИКА 1933–1934 гг.

1933 год

29/XI–33.

После такого промежутка удобнее записать не события, а сны. Сегодня снилось: я в Москве, в большой зале, полной народу, плохо освещенной, шумной, где про-

исходят какие-то выступления на широкой сцене. До меня доносится, что сейчас выступает Белый.

Из-за людей, из-за колонн вижу Бориса Ник<олаевича>, пробирающегося к переднему плану эстрады сквозь гущу людей, которые толпятся вокруг. Он длинноволос и сед. Меня удивляет теплота, с которой его встречают. Как в былые времена в Политехническом. Он объявляет – отрывки из романа «Москва». Все довольны. Кто-то громко говорит: – Это наша Москва – или что-то в этом роде. Смысл таков, что роман нам близок, почти мы сами, слушающие, его создали[13]. Чтения я не слышу, толкаясь где-то позади, что-то разыскивая. У меня на плече сидит Вероничка[14], тихая и внимательная, которую я привез с собой в Москву и с которой не расстаюсь. По аплодисментам узнаю, чтение кончилось, Б.Н. собирается бисировать. Я вижу издали – выходят два человека – один с гармоникой – лицо знакомого эстрадного автора – другой, кажется, тоже. Они наигрывают плясовой, широкий и быстрый мотив, и Б.Н., взмахивая руками (он одет в какую-то серую поддевку, плотно облегающую талью), проходит по эстраде танцуя. Я отмечаю его удивительную стройность, ритмичность и ловкость. Но, дойдя до края эстрады, он спотыкается и падает. У меня впечатление, что он сильно ушибся. В зале хохот. Он поднимается и, мгновенно становясь неуклюжим, видимо обиженным и нелепым, пытается уйти с эстрады. Публика хохочет и хлопает, музыканты продолжают играть. Б.Н. обиженно, с каким-то бывающим у него наивным чудаковатым видом раскланивается, видимо, скрывая раздражение. Но музыка снова подхватывает его, и он разбрасывает руки. Я протискиваюсь к эстраде, хочу, чтоб он меня заметил. Его лицо становится страшным. Танцуя, он говорит – это древнее, это еще допетровское. С искаженным лицом вглядывается в окружающих, упорно не замечая меня. Говорит что-то вроде: – это я для мертвецов танцую, вокруг мертвецы, ни одного живого лица. Я как бы показываю ему дочку, чтоб он понял, что вот она живая и хорошая. Но он, махнув рукой, говорит: вот разве только Надя Павлович крылата[15] – и уходит со сцены.

Я раздражен, мне кажется, он сделал большую ненужную оплошность в духе своих некоторых общественных выступлений, наговорил лишнего, за что его высмеют, – и не без оснований. Я хочу его разыскать за кулисами, хотя, думаю, может лучше просто прийти к нему завтра. Чувство, бывающее и в жизни, – и хочется встретиться, и что-то не до конца открыто, даже восстает против меня. За кулисами встречаю Павлович. Она, как прежде, в зеленом шелковом платье, постаревшая, но очень похожая на прежнюю. Под руку с молодым человеком. Соображаю, что она опять собирается выходить замуж. Она огорчена, чуть не в слезах. Узнает меня, говорим о встрече. Она (очень огорченно): – Если и ты стал таким же (как Б.Н.), то лучше не приходи. А впрочем тогда-то у меня «Литикин фейерверк». Понимаю, что Литик – имя ее жениха, фейерверк что-то вроде именин или рождения. Сон прерывается. И главное ощущение – кроме взаимоотношений с Б.Н. – радость, спокойствие и крепость от дочки, кротко над всей этой сумятицей сидящей у меня на правом плече. <...>

5/XII–33.

<...>. Послал письмо Бугаевым[16] <...>.

13/XII–33.

Возвращение Сонюшки[17].

Вести о тяжелом состоянии Бор. Ник.

Читаю рукопись «Между двух революций»[18] <...>.

30/XII. Ночь.

Кончается год <...> год, вероятно, как в зародыше, держащий в себе многое из будущих отношений и обстоятельств и потому год переломный, год глубочайших духовных повреждений и в конце – новых могучих надежд, год веский, тяжело проносимый на плечах и потому медленный и ощутимый – и все-таки нужный и важный и даже обильный радостью. <...> Мне 35 лет – новое семилетие. Сознательность, воля – расти – до «возраста мастера».

Писать большой роман.

Мужество и спокойствие. <...>

1934 год

5/I.

Последние дни тяжелые вести о здоровье Бориса Ник. Много о нем думается. Он играл огромную роль в моей жизни. Крупнейший художник современности. Я цеплялся за него много лет, становясь внутренне на ноги. Склероз мозга. Во всяком случае, невозможность работать. Бедная Клавдия Николаевна.

8/I.

Сегодня позвонили о кончине Б.Н.

11/I. Москва.

Вчера после беготни и хлопот приехал «Стрелой»[19] с Форш[20]. Завез чемоданчик к Татариновой[21] (приятельнице Форш), затем пошли на Поварскую в Оргкомитет. Гроб стоял в небольшом зале с хорами. Народа мало, потом набралось. Знакомые лица. Клавдия Николаевна сидит около гроба. Лицо Бор<иса> Ник<олаевича> торжественное, величавое и мягкое в то же время. Рот почти улыбается. Говорят, в первые часы улыбка была заметней. Цветы. Стал в караул. Свет падает с верхних стекол. Играет струнный квартет. Хлопочет, сменяя караулы, Зайцев[22]. Круг своих, близких людей. Алекс. Сергеич[23]. Многих давно не видел. Писателей почти нет. Лицо Бор. Ник. «как медаль», – сказал после Пастернак. Удивительный лоб. Лицо вождя. Освобожденное от постоянной подвижности, какая меняла его при жизни – полное содержания и строгой красоты – лицо мыслителя, «ударника духа» (как вчера на панихиде говорил Пастернак).

Постепенно сходятся люди. Инбер рядом мелет какую-то самодовольную чушь. Пришел старик Пришвин. Художники (Бруни и др.) рисуют. Фотографы теснятся с аппаратами. В верхние окна – зимний тихий по-московскому ясный свет. И какие-то ветви притихших деревьев. Удивительный облик Кл. Ник. Полный любви и спокойствия. Слезы на глазах. Подходит ко гробу, словно беседует с Б.Н. Улыбается сквозь слезы. Гроб накрыли крышкой. Появились Пастернак, Пильняк, Санников, выносим гроб на катафалк. Иду за гробом в первой шеренге. Долгое путе-

шествие. Тихий день, чуть подмороженный, процессия не очень велика. Подбегают много раз школьники. – Кого хоронят? – Писателя.

По дороге разговаривал с Галей[24], с Алекс<еем> Серг<еевичем>. Оказывается, С. Соловьев в той же клинике[25]. Никого не узнает.

В крематории гроб снова открыт. Прелюдии Шопена. Вспышки магния. Пустяковая речь Киршона от Оргкомитета. Прощание. Гроб погрузился. Пастернак предлагает мне проводить Кл. Ник. в машине Мейерхольда. Едем втроем с Ек<атериной> Алексеевной[26].

Разговариваем, и разговор продолжается на квартире[27], куда Кл. Ник. предлагает зайти и где я задерживаюсь часа на два. Удивительное спокойствие, в то же время полное глубокой взволнованности, сразу позволяет почувствовать правильный тон – простой, не сентиментальный, без напрасных сожалений.

Кл. Ник. входит и сразу успокаивает мать[28]. – Все хорошо. Он был очень спокойный. Это спокойствие передалось нам. И действительно, движется по комнате своей удивительной легкой и сильной походкой, потом садится – начинает рассказывать – мерно, какими-то ритмическими периодами, насквозь всем существом переживая совершившееся.

Последние дни Б.Н. был в очень значительном внутреннем состоянии. Ни о каком помрачении сознания не может быть речи. Единственно, что у него нарушалось, – обращение с отвлеченными понятиями, с временем и пространством. Но о том же времени, о его высших категориях, он мог говорить и даже беседовал с врачами. Сохранилось образное мышление («день – это, когда светло» и т.д. – так объясняла ему Кл. Н. Вместо понятий – правое и левое – приходилось показывать ему – «положи голову сюда»).

С Кл. Ник. никогда не говорил о смерти. Но Дане[29] сказал – Сейчас я на границе между жизнью и смертью. – И я выбираю смерть.

Даня ему – Что вы! Вы поправитесь.

Он внимательно вглядывается в нее: – Вы в этом уверены?

Даня – Да.

Он ничего не отвечает и смотрит. При Кл. Н. сейчас же прервал разговор. Наоборот – последние дни все время всплывали темы детства, рождения:

– Я рождаюсь.

Один раз, совершенно озаренный, говорит – Я никогда не был счастлив. А теперь я счастлив. Какое счастье.

Недоволен, когда Кл. Ник. начала щупать пульс. Иногда – говорит – Какой свет... – и весь тянется вперед.

Как-то проснувшись – Время отстало от света.

И затем, как-то тоже проснувшись: – Осуществилось.

(Все это я записываю беспорядочно, как запомнилось и как передавала К.Н. Так что здесь точны фразы, а не их порядок.)

Слова об адамантовой крепости духа. И что надо готовиться к заре, к утру. Необыкновенная нежность к Кл. Ник. Клал голову ее к себе на подушку – Мы вместе.

Беспокоила мысль – остаться инвалидом на руках у Кл. Ник.

Умер совершенно тихо, после сна, когда сестра приблизилась с пиявками. Сестра заметила изменения в лице и в пульсе. Побежала за главным врачом. Тот

прибежал, хотел вспрыскивать камфару и что-то еще. Кл. Ник. подошла к постели. Лицо уже темнело. Легкий выдох без малейшей агонии, без малейшей судороги. И совершенно детская улыбка, которая на следующий день (говорит Кл. Ник.), когда его перевезли на Плющиху и потом в Оргкомитет, стала радостным, победным сиянием. Я застал уже следующий, более строгий облик.

С весны чувствовал себя трудно. – Как выразить себя дальше? – вернулся с пленума драматургов в тяжелом состоянии[30]. – Вот поедем в Коктебель, полежим на песочке, подумаем, как дальше жить. В Коктебеле первое кровоизлияние, ускоренное солнцем...

В Москве попытки диктовать воспоминания дальше. Продиктовано две главы[31]. Затем сознание страшной трудности перед главой о докторе[32]. Так и не написал из нее ни строчки.

Предисловие к «Н<ачалу> века» поразило[33]. – Я никогда не был шутом. А он меня сделал шутом. – Как теперь я могу появляться в ГИХЛе!

Не любил вспоминать о предисловии. Но однажды, вернувшись домой, обессиленный, прилег на кровать, свернувшись:

– А все-таки ушиб меня К<аменев>.

Всех помнил. Когда Кл. Ник. сказала о посещении Сони, – сказал: – Соня? это хорошо[34]. Ждал меня.

Сказал – Спасские – пристальные люди.

Так немного сбивчиво воспроизвожу основное.

Набегали бреды. Путешествия по всем странам. Ждал вестей с Северного полюса от доктора Северцова[35]. – Послали ему телеграмму, пришла ли от него телеграмма?

Затем я забежал за чемоданом – видел мельком Форш. Говорила о сборнике памяти Б.Н. Затем посидел у Пастернака. Говорили тоже, главным образом, о Белом. Пастернак предлагал жить у него и приходить когда угодно. Поехал к своим.

Послесловие

Из молодых друзей Андрея Белого Сергей Дмитриевич Спасский (1898–1956) как поэт и писатель оказался наиболее состоявшимся. Он начал печататься еще в 1912 г., когда учился в тифлисской гимназии и примыкал в начале своего творческого пути к футуристам[i]. В 1917 г. Спасский выпустил первый сборник стихов – «Как снег» (М., 1917). В 1918 г. он познакомился с Андреем Белым и на долгие годы оказался под влиянием его личности и творчества. В это время Спасский учился на юридическом факультете Московского университета (с 1915 г.), но мечтал о карьере литератора. Не закончив учебу, по направлению Московского Пролеткульта он уехал в Самару, где занимался организацией местного отделения Пролеткульта. Оттуда был призван в ряды Красной Армии, после демобилизации (1922 г.) остался в Москве, но вскоре – в 1924 г. – переехал в Ленинград.

[i] См.: *Спасский С.* Маяковский и его спутники: Воспоминания. Л.: Советский писатель, 1940.

Переезд Спасского был обусловлен женитьбой на скульпторе Софье Гитмановне Каплун[i] (1901–1962), давней, еще со времен Вольфилы, приятельнице Белого (их брак был зарегистрирован в 1925 г.).

С этого времени Белый становится желанным гостем в ленинградском доме Спасских, приглашает Спасских к себе в Кучино. Между Спасскими и Белым ведется переписка, в которой обсуждаются проблемы творчества и серьезные мировоззренческие вопросы[ii]; происходит и регулярный обмен выпущенными книгами. К творчеству Спасского, который в 1920–1930-х печатается очень активно, Белый относится неизменно доброжелательно, а на сборник стихов «Да» (Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1933) реагирует восторженно: «<...> появилась новая ценность. <...> Она – просто рубеж в поэзии <...>. И в чисто формальном смысле побивает рекорды <Н.С.> Тихонова и Пастернака»[iii]. Дружба цементируется еще и общностью духовных устремлений: Спасские видят в Белом не только мэтра в литературе, но и учителя в антропософии.

В 1930-е Спасский оказывается полезен Белому как сотрудник «Издательства писателей в Ленинграде»: через него ведутся переговоры об издании романа «Германия» (который не был написан) и мемуаров «Между двух революций» (книга вышла в 1935 г.: на титуле – 1934 г.). Передаче мемуаров из ГИХЛа в «Издательство писателей в Ленинграде» посвящена большая часть их писем 1933 г. Можно сказать, что Спасский оказался последним корреспондентом смертельно больного Андрея Белого: последнее письмо в Ленинград было написано 3 декабря 1933 г., «в день начала последнего приступа, после которого Б.Н. был перевезен в клинику. Письмо не было отправлено»[iv].

После смерти Белого отношения С.Д. Спасского с К.Н. Бугаевой продолжались; не прервались они и когда С.Д. Спасский расстался в 1936 г. с женой Соней (официально брак был расторгнут в 1950 г. в связи с новой женитьбой).

8 января 1951 г. С.Д. Спасский был арестован и приговорен к десяти годам заключения. При обыске у него было изъято и уничтожено множество книг и рукописей – в том числе рукописи «Поэмы без героя» Анны Ахматовой и романа «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Однако в числе авторов, компрометирующих арестованного, лидировал Андрей Белый: в библиотеке Спасского нашли практически все им изданное. На допросах он признавал свою «вину»:

> «Особо должны быть отмечены мои отношения с Андреем Белым, с которым я познакомился в 1918 году и поддерживал дружеские связи вплоть до 1933 года, когда А. Белый умер. Его антиматериалистические взгляды были мне всегда чрезвычайно близки, и встречам и беседам с ним я в значительной степени обязан формированием моих литературных и общественных настроений. <...> его взгляды я разде-

---

[i] Тесные контакты были у Белого и с другими членами семьи Каплун – Борисом Гитмановичем, Соломоном Гитмановичем, Кларой Гитмановной. См. предисловие к публикации Н. Алексеева (Н.А. Богомолова) «Письма Андрея Белого к С.Д. и С.Г. Спасским» в сб.: Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 642–649.

[ii] См.: Письма Андрея Белого к С.Д. и С.Г. Спасским. С. 649–662; *Богомолов Н.А.* К истории эзотеризма советской эпохи // *Богомолов Н.А.* Русская литература начала XX в. и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1999. С. 412–429.

[iii] Письмо от 13 марта 1933 г. (Письма Андрея Белого к С.Д. и С.Г. Спасским. С. 657).

[iv] Приписка К.Н. Бугаевой к сделанной ею копии письма, хранящегося в Мемориальной квартире Андрея Белого.

лял полностью, и моя литературная деятельность в основном <ими> и определялась. Одним словом, я был действительным единомышленником А. Белого и, продолжая его антисоветскую деятельность, был связан с ним внутренно больше, чем с кем бы то ни было из других писателей и своих знакомых»; «Большая идейная близость у меня была со вдовой Андрея Белого Клавдией Николаевной Бугаевой, которую я навещал в Москве. Я интересовался ее работой над рукописями Белого, читал ей свои стихи, и она относилась ко мне как к ученику и последователю ее покойного мужа»[i].

В октябре 1954 года С.Д. Спасский был освобожден из лагеря в Абези, где отбывал наказание, и вернулся в Ленинград. Вскоре он скончался. В небольшом некрологе, опубликованном 27 августа 1956 г. в газете «Вечерний Ленинград» и с небольшими изменениями вскоре перепечатанном «Ленинградской правдой» и «Литературной газетой», говорилось: «24 августа в Ярославле скоропостижно скончался на 58 году жизни писатель Сергей Дмитриевич Спасский. Свою литературную деятельность он начал в 1917 году, выступал как поэт, драматург, прозаик, литературовед и был отличным редактором, всем сердцем помогавшим молодым литераторам. <...> Мы, знавшие Сергея Дмитриевича, его друзья, скорбим о его преждевременной смерти <...>»[ii]. Среди фамилий друзей, подписавших некролог, стоят подписи А.А. Ахматовой и Б.Л. Пастернака.

Дневник С.Д. Спасского, фрагмент которого представлен выше, поступил в РГАЛИ от дочери поэта В.С. Спасской. Приносим ей благодарность за содействие в публикации этого материала.

---

[1] Публикуемый документ представляет собой приписку к письму Андрея Белого к С.Д. Спасскому от 29 ноября 1933 г. Письмо посвящено передаче мемуаров «Между двух революций» в «Издательство писателей в Ленинграде», где работал Спасский (Письма Андрея Белого к С.Д. и С.Г. Спасским. С. 661–662). Часть, написанная К.Н. Бугаевой, публикуется впервые (Мемориальная квартира Андрея Белого).

[2] Имеется в виду Всеволод Николаевич Васильев (1883–1944), инженер-гидролог, брат П.Н. Васильева, первого мужа К.Н. Бугаевой, и муж (с 1911 по 1928 г.) поэтессы Черубины де Габриак (наст. имя: Елизавета Ивановна Дмитриева – 1887–1928; в замужестве Васильева).

[3] См. об этом в записях за ноябрь в дневнике Андрея Белого в наст. изд.

[4] В письме Белому от 22 ноября 1933 г. Спасский сообщал об успехе в переговорах с «Издательством писателей в Ленинграде» о публикации мемуаров «Между двух революций»: «Просто правление заинтересовано в том, чтобы привлечь Вас к Издательству ближе, и хочет получить Вашу рукопись для издания» (Письма Андрея Белого к С.Д. и С.Г. Спасским. С. 662).

[5] Речь идет об отрицательном внутреннем отзыве С.Д. Мстиславского на мемуары «Между двух революций», планировавшиеся ранее к выпуску в ГИХЛе.

[6] См. об этом в дневнике Андрея Белого в наст. изд.

[7] См. там же.

---

[i] Из материалов следственного дела 1951 г.

[ii] Ленинградская правда. 1956. 28 августа.

[8] 29 ноября 1933 г. Белый писал С.Д. Спасскому: «Милый Сергей Дмитриевич, очень жду Вас в январе. Давно не видались. И много-много накопилось» (Письма Андрея Белого к С.Д. и С.Г. Спасским. С. 661).

[9] Имеется в виду С.Г. Спасская (Каплун), отдыхавшая в это время в Севастополе. Ее приезда Бугаевы ждали с осени: «Чрезвычайно обрадуете нас, если посетите нас (с Соней, если и она будет, на что не надеюсь). Шлем Соне самый горячий привет» (Письмо Белого к С.Д. Спасскому от 10 сентября 1933 г. // Там же. С. 660). 29 ноября 1933 г. Белый писал С.Д. Спасскому: «Хорошо, что Соня отдыхает. Все мечтаю лично познакомиться с Вероникой. Будете писать Соне, – от нас с Клодей сердечнейший привет» (Там же. С. 661). Последнее свидание с С.Г. Спасской произошло в декабре, когда она возвращалась после отдыха в Ленинград; Белый тогда уже был госпитализирован.

[10] 13 марта 1933 г. Бугаевы поздравили Спасских с рождением дочери Вероники (Там же. С. 657). 2 октября 1943 г. К.Н. Бугаева писала С.Д. Спасскому: «<…> очень тронули Ваши строки о Вероничке. Она всегда была как-то особенно связана для меня с Б.Н., начиная с рождения ее, с появления Сони тогда в декабре 1933 г. в клинике. И вот теперь так неожиданно – интерес ее к дорогим для нас строчкам» (Мемориальная квартира Андрея Белого).

[11] Речь идет о рождении дочери у первого мужа К.Н. Бугаевой П.Н. Васильева.

[12] Имеется в виду возвращение из ссылки Е.Н. Кезельман, сестры К.Н. Бугаевой.

[13] Возможно, эта деталь сновидения навеяна постоянными нападками на Белого со стороны критиков, обвинявших писателя в непонятности романа «Москва» и потому его ненужности советскому читателю. Примечательно, что о романе «Маски» Спасский писал Белому 23 марта 1933 г.: «Прочел еще очень мало, но сразу подхвачен ее ошеломляющим ритмом, непрерывной словесной тягой, звуковым ветром, несущимся по страницам, прохватывающим все тело насквозь. На мой взгляд, здесь еще более сильный ритмический натиск, чем в предыдущих томах. Очевидно, роман и нельзя читать залпом, хотя разворачиванье интриги все время тянет от куска к следующему. Но после первых строк я поделился с Соней чувством почти физического удовольствия, которое ощущаешь не абстрактно, а где-то в гортани, произнося мысленно текст. Это редкое ощущение, невозможное при чтении почти всей нашей прозы» (Письма Андрея Белого к С.Д. и С.Г. Спасским. С. 659).

[14] Белый знал о рождении у С.Д. и С.Г. Спасских 3 февраля 1933 г. дочери Вероники (ум. 2011); в письмах поздравлял мать и выражал горячее желание увидеть новорожденную: «Милая, дорогая Соня, поцелуйте от меня Вашу маленькую <…>». (Письмо от 13 марта 1933 г.); «Как хотелось бы увидеть Вашу девочку! Может быть, с первым снежком будем в Ленинграде <…>» (Письмо от 10 сентября 1933 г.); «Все мечтаю лично познакомиться с Вероникой» (Письмо от 29 ноября 1933 г.). См.: Там же. С. 658, 660, 661).

[15] Возможно, эта деталь сновидения навеяна религиозной деятельностью поэтессы Надежды Александровны Павлович (1895–1980): ее жизнью в Оптиной пустыни, близостью к последнему оптинскому старцу Нектарию (1853–1928) и спасением его от расстрела. См.: *Беднякова Т.Я.* Павлович Надежда Александровна // Журнал Московской Патриархии. 1994. № 6. С. 62–63.

[16] Переписка Спасского с Белым в ноябре–декабре 1933 г. была связана с предложением Спасского выпустить в «Издательстве писателей в Ленинграде» мемуары «Между двух революций» вместо обещанного, но ненаписанного романа «Германия» (письмо от 22 но-

ября 1933 г.). Белый воспринял эту идею с энтузиазмом: «Большое Вам спасибо за передачу любезного приглашения “Издат<ельства> Ленин<градских> Писателей”, пожелавших включить в план издания 1934 г. книгу мою “Начало века” (2-ой том), называющуюся “Между двух революций”» (Письмо от 29 ноября 1933 г.). 5 декабря Спасский сообщил: «Получил Ваши письма и отправился немедленно в Издательство. Там встретили известие о согласии Бориса Николаевича передать сюда рукопись с большим удовлетворением». Далее Спасский очерчивал круг вопросов, связанных с бюрократической и финансовой стороной издания (Письма Андрея Белого к С.Д. и С.Г. Спасским. С. 661–662).

[17] Имеется в виду возвращение С.Г. Спасской в Ленинград из Симферополя. См. в письме Белого к С.Д. Спасскому от 29 ноября 1933 г.: «Хорошо, что Соня отдыхает» (Там же. С. 661).

[18] В письме от 29 ноября 1933 г. Белый, выражая готовность передать мемуары «Между двух революций» в «Издательство писателей в Ленинграде», спрашивал, куда отослать рукопись: «Итак, – с охотой иду навстречу предложению издательства; рукопись может быть в любое время отослана. Жду уведомления об этом. Черкните мне о точном адресе издательства; или: книга может быть отослана Вам?» (Там же. С. 661). 5 декабря Спасский сообщил: «Теперь дело обстоит так: нужно прислать рукопись и приложить маленькое заявление <...>. Послать все можно тоже прямо на мое имя» (Там же. С. 662).

[19] Поезд «Красная стрела» ходил между Ленинградом и Москвой с лета 1931 г.

[20] О.Д. Форш так же, как и С.Д. Спасский, подписала некролог Белому от «Издательства писателей в Ленинграде», опубликованный в «Литературной газете» 11 января 1934 г. (см. в наст. изд.) и присутствовала на его похоронах.

[21] Возможно, имеется в виду Надежда Николаевна Татаринова (1880–1950), сестра известного режиссера и актера В.Н. Татаринова. В 1931 г. она вместе с другими членами Ломоносовской группы Московского антропософского общества была арестована и осуждена к высылке «в Казахстан сроком на три года, считая срок <...> с 28/5–31 г.». Если имеется в виду именно она, то ей, как и П.Н. Зайцеву и М.А. Скрябиной (жене В.Н. Татаринова), удалось освободиться раньше. В следственных материалах проходит как «библиотечный работник». До ареста проживала в Брюсовском переулке (д. 12, кв. 15). См. о ней: *Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006. С. 378–422.

[22] П.Н. Зайцев.

[23] А.С. Петровский.

[24] Возможно, имеется в виду Галина Алексеевна Назаревская, художница, рисовавшая Белого на похоронах.

[25] С.М. Соловьев, ставший в 1916 г. священником, а в 1926 г. вице-экзархом католиков восточного обряда в СССР, был в феврале 1931-го арестован. В заключении его разум помутился, в связи с чем вместо ссылки в Казахстан его отправили в подмосковную психиатрическую больницу, где он пробыл до ноября 1932 г. По возвращении в Москву он лечился в различных психиатрических учреждениях, в том числе в Первой Московской клинической больнице, в психиатрическом отделении которой лежал Андрей Белый. В начале войны он вместе с другими пациентами Московской клинической больницы имени П.П. Кащенко был эвакуирован в Казань, где в 1942 г. скончался.

[26] Е.А. Королькова, тетка К.Н. Бугаевой, сестра ее матери; жила вместе с семьей Бугаевых.

[27] Плющиха, Долгий пер., д. 53, кв. 1.

[28] Анна Алексеевна Алексеева.

[29] Д.Н. Часовитина.

[30] Преимущественно вопросам драматургии был посвящен Второй пленум Оргкомитета Союза советских писателей (12–19 февраля 1933 г.). Однако более вероятно, что имелись в виду выступления Белого в январе 1933 г. во Всероссийском обществе композиторов и драматургов (Всероскомдрам), реформированном в Секцию драматургов при Оргкомитете ССП. 15 января он выступал с докладом «Гоголь и “Мертвые души” в постановке Художественного театра». «На другой день после доклада заболел. Прения отложены», – отмечала К.Н. Бугаева в «Летописи жизни и творчества» Андрея Белого. 26 января состоялись прения по докладу, после которых писатель «снова заболел» (Там же).

[31] Имеется в виду вторая часть воспоминаний «Между двух революций», над которой Белый начал работать в сентябре 1933 г.

[32] Встрече в 1912 г. с доктором Р. Штейнером и периоду антропософского ученичества должны были, согласно «плану», быть посвящены ненаписанная часть второй главы и третья глава (план опубликован в преамбуле к комментариям А.В. Лаврова: *МДР 1990.* С. 444–445). Ср. описание этих «трудностей» в мемуарах П.Н. Зайцева: «Плох он! Боюсь за него. У него склероз, бессонницы и кошмары по ночам. Профессор Тарасевич запретил ему курить, пить чай, заниматься, думать... А он беспрерывно думает о четвертом томе воспоминаний. Трудно, очень трудно этот четвертый том писать! И не только потому, что автор болен, а главным образом потому, что он подошел к такому периоду своей жизни, который стоит в резком противоречии с идейными установками сегодняшнего дня. Борис Николаевич подошел к тупику. Годы, которые предстоит ему отразить в четвертом томе (1912–1916), связаны с его духовными поисками, со Штейнером. Писать о них для печати невозможно, немыслимо. Это и через цензуру не пройдет, и чуждо, не нужно широким кругам советских читателей. Все это нужно просто пропустить в мемуарах» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 181).

[33] Имеется в виду предисловие Л.Б. Каменева.

[34] О приезде С.Г. Спасской в Москву и посещении клиники, где лежал Андрей Белый в декабре 1933 г., упоминается в письме К.Н. Бугаевой к С.Д. Спасскому от 2 октября 1943 г. (Мемориальная квартира Андрея Белого).

[35] См. об этом в дневнике К.Н. Бугаевой в наст. изд.

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

ЕФИМ ВИХРЕВ

ИЗ ДНЕВНИКА 1934 г.

8 <января>.

<...> Оргкомитет. Заседание секретариата. <...> Доклад Ермилова об Узбекистанской бригаде[1]. Я дал согласие приехать. Дмитрий Стонов[2]. После этого вопроса – неожиданное сообщение Юдина: умер Андрей Белый. Пильняк предлагает похоронную комиссию: он, Крутиков, Санников, Катаев[3]. Последний заменяет себя мною. Заседание похоронной комиссии. Пастернак. Орешин. <...>

9 <января>.

Гражданская панихида по Андрею Белому. Бывшее помещение Оргкомитета. Зал, в котором происходила партийная чистка. Готический масонский зал, чем-то родственный Андрею Белому.

Я пришел, когда еще гроб был в пути – (от квартиры в Долгом пер.). В передней какие-то дамы. Семен Фомин[4]. Езерский[5]. И больше никого. Подошел Викторин Попов[6]. С ним мы пошли навстречу катафалку. Тут тоже была немногочисленная процессия. Пильняк. Пастернак. С. Клычков. Санников.

Тяжелый дубовый гроб внесли в зал. Когда ставили на помост, – доски помоста по-человечьи взвизгнули. Робкие зимние оранжерейные кустики сирени. Подняли крышку, и все увидели прекрасное умное мраморное лицо, на котором пребывает мысль. Два серебряных волоса на огромном лбу. Народу сразу набивается много. Заполняются ярусы, коридоры. В толпе: Вересаев, Орешин, Л. Гроссман, Андр. Новиков[7], Эфрос, Слетов[8].

Лев Пришвин[9] фотографирует.

Художник Милашевский рисует.

Скульптор Меркуров (пришел позднее) снимает маску.

Почетный караул: Пильняк, Пастернак, Попов, Санников; Клычков, я и др.

Траурный митинг открыл Юдин. Первым говорит Ермилов. Запоминается одна хорошая мысль: Мандро – это прообраз фашизма; в руках Мандро – Димитров[10].

Потом – Накоряков: бледно и тихо.

Пастернак: интересная бессвязная речь, в которой было сказано нечто об ударниках.

– В нашей необозримой, необыкновенной, сумасшедшей стране есть десятки тысяч ударников. Андрей Белый был ударником духа. Десятки тысяч так же, как и Андрей Белый, борются за зажиточность человеческого воображения...

Вот все, что запомнилось из речи Пастернака.

Четвертым говорил Санников.

И наконец – м.б. лучше всех – Леонид Гроссман: о величии А. Белого, о гениальности; сравнивал с Достоевским и Толстым.

Разговоры в кулуарах. Отсутствуют Жаров, Уткин, Безыменский, Кирсанов, Алтаузен. Еще говорят, что там где-то уже обсуждают: кому отдать квартиру, предназначенную для А. Белого. Но это, должно быть, провокация Парфенова[11].

Разошлись около девяти. С Зарудиным[12] заходили к Г.А. Глинке[13].

10 <января>.

Оргкомитет. Проводы А. Белого. До Зубовской. Спор с О. Колычевым[14] о двух строчках из «Концерта в благородном собрании»[15].

Послесловие

Ефим Федорович Вихрев (1901–1935) – поэт, прозаик, сделавшей основной темой своего творчества русские народные промыслы, прежде всего Палех. Родился в Шуе, начал печататься с 1917 г., участвовал в Гражданской войне, в 1922 г. переехал в Иваново-Вознесенск, где сотрудничал в газете «Рабочий край». В 1925 г., поселившись в Москве, вступил в литературную группу «Перевал», был секретарем издательства «Недра» (1929–1930), потом зав. музеем Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (1930–1931), член Союза писателей СССР. Подолгу жил и работал в Палехе и Златоусте. Прославился книгами «Палех» (М.: Недра, 1930), «Освобождение раба» (М.: Московское товарищество писателей, 1933), «Палешане» (М.: Московское товарищество писателей, 1934), очерками «Художественный Златоуст» (Красная новь. 1933. № 4. С. 154–161), «Неведомая Хохлома» (Наши достижения. 1935. № 5/6. С. 92–103). Умер от заражения крови. Похоронен в Палехе.

Благодарим Э.В. и А.А. Вихревых за любезное предоставление для публикации материала их личного архива.

---

[1] См. об этом во вступ. статье.

[2] Дмитрий Миронович Стонов (наст. фамилия: Влодавский; 1892/1893–1962) – писатель.

[3] Иван Иванович Катаев (1902–1937) – писатель, член группы «Перевал».

[4] Семен Дмитриевич Фомин (1881–1958) – крестьянский поэт, поклонник и корреспондент Андрея Белого. Фрагменты из его писем Белому см.: *Богомолов Н.А.* Андрей Белый и советские писатели: к истории творческих связей // Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 320.

[5] Милий Викентьевич Езерский (1891–1976) – писатель, автор исторических романов и повестей.

[6] Викторин Аркадьевич Попов (1900–1949) – писатель и очеркист. Он прославился в конце 1930-х работой со знаменитой сказительницей Марфой Семеновной Крюковой (1876–1954), исполнявшей «новины» о Ленине, Сталине и советских героях (Сказания-поэмы Марфы Семеновны Крюковой / Записал и обработал В. Попов. Архангельск: Облгиз, 1937; Новины Марфы Семеновны Крюковой / Запись, обработка и послесл. Викторина Попова. Москва: Гослитиздат, 1939; и т.п.). По-видимому, Попов не столько записывал народный фольклор, сколько сам его сочинял. См. письмо «собирательницы Северного фольклора» А.Я. Колотиловой в отдел Культпросветработы Архангельского обкома ВКП(б)

от 18 января 1938 г.: «Крюкова М.С. была комитетом по делам искусств и отделом народного творчества отдана в руки литературных прихлебателей, в частности московскому писателю Викторину Попову. Тот, вместо честной работы, открыл спекуляцию под творчество Крюковой и под маркой Крюковой написал и издал в различных издательствах сказы “О Чапае”, “По колено борода”, “О Ленине” и другие. <...> Попов работал лишь с целью спекуляции под Крюкову в свой карман. <...> Попов по сие время, сидя в Москве, издает свои сочинения (последнее в журнале “Мурзилка”) за фамилией Крюковой» (*Семьин А.А.* Из песни слова не выкинешь // Архангельск. 2001. 17 июля; www.arhpress.ru/arkhangelsk/2001/7/17/11.shtml).

16 ноября 1932 г. Белый выступал в прениях в Краеведческой секции Оргкомитета ССП после чтения рассказов В.А. Попова.

[7] Андрей Никитич Новиков (1888–1941) – писатель и журналист, член группы «Перевал».

[8] Петр Владимирович Слетов (1897–1981) – писатель, член группы «Перевал».

[9] Л.М. Алпатов, сын М.М. Пришвина.

[10] Имеется в виду арест болгарского коммуниста Георгия Димитрова (1882–1949) по обвинению в поджоге рейхстага 27 февраля 1933 г. После освобождения (обвинение провалилось) Димитров получил советское гражданство.

[11] Петр Семенович Парфенов (литературный псевдоним Алтайский; 1894–1937) – участник Гражданской войны, партийный работник, беллетрист, автор песни «По долинам и по взгорьям...».

[12] Николай Николаевич Зарудин (1899–1937) – поэт, председатель литературной группы «Перевал».

[13] Глеб Александрович Глинка (1903–1989) – писатель, поэт, член группы «Перевал». См. о нем в статье Ирины Винокуровой «На Новинском бульваре (Николай Глазков и Г.А. Глинка)» (Вопросы литературы. 2003. № 1. С. 73–86).

[14] Осип Яковлевич Колычев (наст. фамилия: Сиркис; 1904–1973) – поэт, автор популярных советских песен, переводчик.

[15] Под заглавием «Концерт в благородном собрании в Москве» Белый напечатал фрагменты поэмы «Первое свидание» (1921) в сб. «Стихотворения» (Берлин; Пб.; М.: Издательство З.И. Гржебина, 1923. С. 202–205).

Подготовка текста, комментарии и послесловие О.К. Переверзева

Н.И. ГАГЕН-ТОРН

АНДРЕЮ БЕЛОМУ

1

Не пролей!
        Я поставлю тебе на ладони
Сосуд, до краев налитый.
Это – сердце мое.
        Оно больше не стонет,
В нем стихи, – как в стакане открытом.
В нем мысли –
        чаинками плавают,
В настоянном крепком чае.
Ни любви, ни тоски, ни славы, –
        Лишь Тебя
        Мое сердце знает.

1938. Колыма

2

Положи мне на лоб ладонь,
Помоги, как всегда.
Дрожит, упираясь, конь,
Чернеет в провалах вода.
А мне надо: идя во льдах,
Слушать твои стихи.
Только кони впадают в страх
Перед разгулом стихий.

1940? Сеймчан[1]*, Колыма*

3

Что мне делать с твоими,
Вложенными в меня стихами?
Я твержу твое имя
Как оберег и как знамя.
На годы тебя забываю,
Заботой живя земною,
Но непреложно знаю
Руку твою надо мною.

1940. Сеймчан, Колыма

4

Умер. Положили на дроги,
Долго везли мостовыми...
Сожгли... И немногие
Помнят самое имя.
А был он такой, что Вселенную
В тонкой держал ладони...
Травы над ним смиренные
Спины зеленые клонят.

1948[2]

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Из воспоминаний об Андрее Белом

Я лечу черно-белой сорокой,
Я стучу у заснеженных окон:
Не вернутся ли прошлого миги,
Не тебя ли увижу за книгой?
Вот поднимешь ты голову строго,
Вот посмотришь ты вдаль, на дорогу,
Скажешь: «Там черно-белая птица
Над березовым тыном кружится...»

Было время — веселой волчицей
Я к твоей прибегала светлице,
На закат я тебя вызывала...
Солнце кросна узорные ткало.
И смотрели мы молча и жадно:
Солнце куталось в ткани нарядной.
Но не стало тебя, солнцеокий...
Я потом обернулась сорокой.
Много лет я по свету металась,
Даже имя твое — потерялось...[3]

Медленно начинает всплывать из прошлого это имя. Воскресает. О нем приходится рассказывать через десятилетия войн, ран, потрясений. Воскресают воспоминания. Начинаются с последнего — с месяцев, предшествовавших смерти и похоронам.

Умер. Положили на дроги,
Долго везли мостовыми...
Сожгли... И немногие
Помнят самое имя.

А был такой, что Вселенную
В тонкой держал ладони...
Травы над ним смиренные
Спины зеленые клонят.

Клонят над могилой в Новодевичьем монастыре, в Москве. И березки шелестят. Последний раз я ходила с ним по этому кладбищу в сентябре 1933 года[4]. Березки сыпали под ноги золотые копеечки. Борис Николаевич обходил кладбище, показывал могилы Соловьевых. Рассказывал, присев на скамью, как в юности часто бродили они с Сережей Соловьевым по Девичьему полю и по этому кладбищу, вспоминая Соловьевых[5].

Разве это уже старость? Разве итоги? Ведь ему всего 54 года... Почему у него такая скорбная складочка у губ?..

Невероятно синие просветы неба. Холодненький ветерок шевелит копейки березовых листьев. Почему он такой усталый?

– Может, мы с вами слишком много ходили, Борис Николаевич? Можно ли так после болезни?

– Клодинька[6] напрасно тревожится: головные боли прекратились, как мы вернулись из Коктебеля. Я, в сущности, здоров. Последствия коктебельского солнышка прошли.

– Поехали бы не в Коктебель, а ко мне, на Маркизову лужу[7], как я предлагала весной, и не было бы солнечного удара.

– Но я так люблю солнышко, – улыбнулся он, – вот и перегрелся. Давние стихи мои могли оказаться пророческими:

Умер от солнечных стрел...
Мыслью века измерил,
В жизни – прожить не сумел.

Он как-то блеюще похихикал... Переконфузился... Может, потому, что за шуткой уже стояло у него ощущение конца? Но я не поняла: невозможной казалась самая мысль о конце. Все считали тогда, что в Коктебеле, где они с Клавдией Николаевной прожили лето у М. Волошина[8], у него был солнечный удар: так врачи говорили. В те годы еще не было опыта в распознавании инсультов. Врачи не поняли, что в августе, в Коктебеле, был первый, предупреждающий удар кровоизлияния в мозг[9].

Его увезли в Москву, в подвал на Плющихе. Там, в Долгом переулке, он жил с женой Клавдией Николаевной и ее родными. В восемнадцатиметровой комнате. Там стояли: рояль Клавдии Николаевны, его письменный стол, за шкафами – кровати. Окна – у самого потолка. В окнах – ноги проходивших по улице. Ноги выстраивались в очередь к молочной. Тени их двигались по потолку. В подвале Долгого переулка он писал «Москву под ударом». А ноги передвигались за стеклами, и тени их бегали по потолку.

Клавдия Николаевна рассказывала мне, округляя горем глаза: он раз в ярости выскочил на улицу и закричал на толпу: «Перестаньте! Перестаньте кричать! Так жить, так писать – невозможно!»

Толпа стихла. Смотрела на взъерошенную гневом, махавшую руками фигуру. А он – очнулся, переконфузился, убежал обратно в подвал.

Это было еще до Коктебеля, до первого инсульта. Подготовляло инсульт. По возвращении из Коктебеля Клавдия Николаевна умоляла его не работать, побольше гулять, как предписали врачи. Стояла погожая осень. Вот мы и пошли на прогулку в Новодевичий.

Не знали тогда, что неподвижность была нужна, а не прогулки.

Казалось, он поправляется. Так и писали мне в Ленинград, когда я уехала домой. В декабре вдруг письмо. Бориса Николаевича положили в больницу, что-то мозговое... Что?

А 8 января, поздно вечером, позвонила по телефону Софья Гитмановна Спасская.

– Пришла телеграмма: «Борис Николаевич скончался»[10].

– Боже мой! Вы поедете?

– Не могу: дочка[11] больна. Хоронят 10-го в Союзе писателей. Вы поедете?

– Еду, еду, конечно. Завтра предупрежу в институте и выезжаю.

Рано утром 10 января 1934 года прямо с вокзала я поехала в Союз писателей. Зал, обшитый темной дубовой панелью, был пуст. Посередине – открытый гроб. В черной одежде, как всегда стройный, лежал в нем Борис Николаевич. Тени черных ресниц на успокоенно-светлом лице. Ореол пепельных волос. Очень черные ресницы плотно прижаты. Какие-то белые цветы у плеч.

Припала к его изголовью, пристально всматриваясь... Через какое-то время:

– Отодвиньтесь, вы мешаете мне рисовать, – не здороваясь, отвлеченным голосом сказал Лев Бруни[12].

Он стоял, держа на весу папку, и всматривался в лицо Бориса Николаевича. Я молча подвинулась ниже, прислонилась к гробу головой... Поднялась от шагов, голосов. Было уже много людей. И в зал под руки ввели женщину. Кто это?.. Чудовищно смятое пятно лица. Круглые, светлые до прозрачности глаза ничего не видят. Разлетелись волосы. Кто это? Что это?! И, охнув, узнала: Клавдия Николаевна! Она...

Не решилась оборвать ее страшное напряжение отчаяния, обняла я Дарью Николаевну Часовитину, которая держала ее под руку. Обняла еще кого-то. Клавдия Николаевна не видела, не слышала никого.

Входили люди. Молчаливо кланялись. Наполнился зал. Кем? Мелькали знакомые лица, не доходя до сознания. Кто-то говорил.

Потом тронулся гроб, его понесли, положили на дроги. Медленно двигались лошади. Мы шли за погребальным катафалком по незнакомым мне улицам Москвы. Цокали копыта о круглые булыжники мостовой. Покачивались цветы на катафалке. Тихо переговаривались, наклоняясь друг к другу, люди... Двери в светлое здание крематория открылись. Между рядами четырехугольных колонн понесли гроб на возвышение. В последний раз подходили, прощались. Наклонялись к цветам. Склонялись, передвигались. Была тихая музыка.

И – тронулся гроб на возвышение, поплыл к разошедшимся створкам дверей. Ушел в глубину. И – задвинулись створки.

* * *

12.09.75. Так закончила я это воспоминание в 56-м или 57-м году. И больше не прикасалась ни памятью, ни пером. Но оно вполне органично вошло теперь в воспоминания, написанные в июле этого лета, в «Старой Руссе». О, как неполны, как убоги эти воспоминания! Они, конечно, не передают главного: глубины каких-

то прозрений, которые нарастали во встречах. Только теперь осознается то антропософическое, что было ясно Борису Николаевичу и совсем не ясно тогда мне.

Сейчас, завершая жизнь, должна оставить хоть эти бледные воспоминания. Для узкого круга людей, которым изнутри раскрыт Борис Николаевич, быть может, воспоминания эти окажутся чем-то нужны.

Послесловие

Этнограф, фольклорист, писатель Нина Ивановна Гаген-Торн (1900–1986) познакомилась с Андреем Белым в послереволюционном Петрограде, еще будучи студенткой, придя, как следует из ее же воспоминаний, на одну из его лекций в Вольной философской ассоциации: «На забитые досками окна наклеивали нарядные плакаты или афиши. По такой афише, в 20-м году, я и узнала о существовании Вольфилы: прочла, что Демидовом переулке, в здании географического общества, Андрей Белый прочтет лекцию о кризисе культуры»[i]. К этой встрече двадцатилетняя Н.И. Гаген-Торн была уже вполне подготовлена (увлекалась философией Владимира Соловьева, знала, любила и понимала «Симфонии» и «Петербург»). Она сразу стала ученицей Андрея Белого – «вольфилкой»: «В Вольфиле Борис Николаевич вел семинар по символизму и второй – по культуре духа. Я стала бывать на обоих»[ii].

В 1930-е отношения «учитель – ученик» переросли в дружбу, которая строилась на обожании со стороны Н.И. Гаген-Торн и на уважении – со стороны Белого – к ее занятиям этнографией. В 1931–1932 годах Н.И. Гаген-Торн преподает в Институте народов Севера, с ноября 1932 года работает научным сотрудником Института по изучению народов СССР АН СССР, а после создания на его базе Института антропологии и этнографии (ИАЭ) СССР становится научным сотрудником этого нового академического этнографического учреждения. Она занимается орнаментом, магией цвета, оберегами, шаманизмом, собирает большой материал по материальной культуре народов Поволжья[iii].

Н.И. Гаген-Торн становится своим человеком в доме Бугаевых на Плющихе в Долгом переулке и даже приезжает пообщаться в Лебедянь, где летом 1932 года Бугаевы гостили у ссыльной сестры Клавдии Николаевны[iv]. «Под определенным воздействием дружеского общения с нею Андрей Белый написал статью "Культура краеведческого очерка", которая появилась в мартовском номере "Нового мира" за 1933 год. А последней работой Нины Ивановны, над которой она трудилась, уже почти утратив зрение, стала незаконченная статья "Андрей Белый как этнограф", опубликованная посмертно[v]»[vi].

---

[i] *Гаген-Торн Н.И.* Вольфила: Вольная философская ассоциация в Ленинграде в 1920–1922 гг. // Воспоминания об Андрее Белом / Сост. и вступ. статья В.М. Пискунова; коммент. С.И. Пискуновой, В.М. Пискунова. М.: Республика, 1995. С. 208.

[ii] Там же. С. 210.

[iii] Подробно о жизни и творчестве Н.И. Гаген-Торн см.: *Гаген-Торн Г.Ю.* Нина Ивановна Гаген-Торн – ученый, писатель, поэт // Репрессированные этнографы. М., 1999. С. 308–341.

[iv] Подробнее об отношениях с Белым см. в ее очерке «Борис Николаевич Бугаев (Андрей Белый)» в кн.: Воспоминания об Андрее Белом. С. 347–357.

[v] Советская этнография. 1991. № 6. С. 87–91.

[vi] *Лавров А.В.* Вслед за символистами // Звезда. 2004. № 2. С. 131.

Впрочем, связывали Гаген-Торн и Белого не только профессиональные интересы, но и глубокое духовное родство, корни которого – как неоднократно намекала Нина Ивановна – следует искать в том числе и в ее интуитивном понимании антропософии.

Осенью 1933 г. Н.И. Гаген-Торн, как могла, помогала больному Белому: писала, навещала, присылала из Ленинграда нужное лекарство. После его смерти помогала Клавдии Николаевне извещать близких о случившемся и даже переписывала в ленинградских архивах материалы о Белом, интересовавшие К.Н. Бугаеву.

В 1936 году Н.И. Гаген-Торн была арестована, в 1937-м осуждена Особым совещанием при НКВД СССР на пять лет лагерей и отправлена на Колыму. В 1942-м она вернулась в Ленинград, снова занялась научной работой, но в 1947 году последовал новый арест и новый приговор – пять лет Темниковских лагерей (Потьма, Мордовия). Потом – бессрочная ссылка в Красноярский край, из которой освободилась в 1954-м по амнистии.

Оказавшись на свободе, Н.И. Гаген-Торн восстанавливает свое имя в науке, пишет об этнографии и этнографах, о «Слове о полку Игореве», обращается к работе над воспоминаниями[i].

Андрей Белый в ее жизни по-прежнему занимает особое место. А.В. Лавров в статье, посвященной Н.И. Гаген-Торн, рассказывает о той «единственной публичной акции», посвященной 100-летию со дня рождения Андрея Белого, в которой ей довелось участвовать: «Помнится, уже не только нам, а всей огромной аудитории, собравшейся на вечер памяти Андрея Белого, устроенный в Москве С.С. Лесневским, она объявила в начале своего выступления: “Я здесь перед вами не как докладчик, а как экспонат...” Конечно же, “экспонату” внимали с особенно напряженным интересом, которого не удостоились все докладчики, вместе взятые». Там же рассказывается и о «непубличной» акции: «40-летие со дня кончины Андрея Белого, вероятно, прошло бы в январе 1974 года совсем незамеченным, если бы не инициатива Тамары Юрьевны Хмельницкой, автора вступительной статьи к тому Белого в “Библиотеке поэта”, и Нины Ивановны, решивших помянуть писателя вечером за чаем. Нина Ивановна пригласила и нас, неоперившихся “беловедов”. Был на этом “круглом столе” у Т.Ю. Хмельницкой также замечательный поэт и переводчик Сергей Владимирович Петров <...>»[ii].

Это событие нашло отражение в дневнике Н.И. Гаген-Торн (запись за 9 января 1974 г.; семейный архив):

> «Вчера 8/I была у Хмельницкой – решили собраться помянуть сорокалетие со дня смерти Андрея Белого. Был какой-то Сергей Владим<ирович> Петров, «страстный поклонник Белого», как сказала Хмельницкая, – он-то и был инициатором, чтобы собрались, С.А. Лурье, с которым я знакома еще по Тарту, какая-то мне незнакомая женщина и С. Гречишкин и А. Лавров[iii], которых я просила позвать, что-

[i] *Гаген-Торн Н.И.* Memoria / Сост., предисл., послесл. и прим. Г.Ю. Гаген-Торн. М., 1994.

[ii] *Лавров А.В.* Вслед за символистами. С. 133. Тамара Юрьевна Хмельницкая (1906–1997) – литературовед, переводчик, исследователь творчества Андрея Белого; имеется в виду вступительная статья к изданию: *Андрей Белый.* Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. О С.В. Петрове, написавшем стихотворение «Сорок лет со дня смерти Андрея Белого», см. далее в наст. изд.

[iii] Самуил Аронович Лурье (р. 1942) – писатель, литературный критик, историк литературы, журналист, с 1966 г. заведующий отделом прозы журнала «Нева». Сергей Сергеевич Гречишкин (1948–2009) и Александр

бы они почитали неопубликованные письма Белого, разысканные ими в архивах. Меня просили почитать мои стихи, ему посвященные.

Говорили о том, как возрождается интерес к нему: во всех концах земли есть люди, его изучающие, переводящие на французский, английский язык, пишущие о нем диссертации. Казалось: “даже имя твое потерялось!”

А вот память и живет! И люди видят нужное им. А я – перестала видеть. Это – самое горькое. Перечитываю “Луг зеленый” и – не доходит нужное! Выступает всей выпуклостью то время – 7–10 год, начало века. И странными кажутся и их споры, и их восторги, и их прогнозы о будущем человечества.

Тоненькая-тоненькая пленка интеллигенции решала мировые вопросы. Для себя, для себя решала, а думала – связана с народом, что говорит от народа. Смела революция всю пленку культуры. Высокой, рафинированной. Смешала с землей и грязью. И опять наверху начинает образовываться пленка культуры».

Андрею Белому посвящено несколько мемуарных очерков Н.И. Гаген-Торн («Вольфила: Вольная философская ассоциация в Ленинграде в 1920–1922 гг.», «Борис Николаевич Бугаев (Андрей Белый)»[i]) и множество проникновенных стихотворений[ii]. Те, что представлены выше, создавались в заключении в 1938–1941 гг. и вошли в цикл «Колымский дневник». Воспоминания «Последняя встреча» были написаны в середине 1950-х, в Ленинграде, после возвращения из ссылки.

Публикация осуществлена по материалам семейного архива[iii].

В послесловии к разделу, посвященному Иванову-Разумнику, приводится также письмо Н.И. Гаген-Торн от 21 января 1934 г. с описанием болезни и похорон Андрея Белого.

---

[1] Сеймчан – название реки (приток Колымы) и поселка в Магаданской области; где находилось одно из подразделений Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа.

[2] Датировка этого стихотворения – по машинописи из собрания Л.А. Новикова. Остальных – по материалам семейного архива.

[3] Написано около 1940 г., на Колыме, в лагере.

[4] В дневнике Белого в записи за 30 сентября 1933 г. отмечено: «Была Нина Ив<ановна> Гагенторн, заехавшая по делам в Москву; очень звала нас к себе, в Ленинград. Завтра заедет к нам»; в записи за 1 октября: «Была Н.Ив. Гагенторн» (см. в наст. изд.).

[5] На кладбище Новодевичьего монастыря были похоронены многие представители семейства Соловьевых (историк С.М. Соловьев, его дети: прозаик Всеволод Сергеевич и

Васильевич Лавров (р. 1949) в то время были начинающими сотрудниками ИРЛИ РАН (соответственно с 1973 и 1971 гг.).

[i] Первый был впервые опубликован в журнале «Вопросы философии» (1990. № 4. С. 88–104), второй – в сб.: Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 546–556, оба вошли в кн.: Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995.

[ii] См. публикацию Г.Ю. Гаген-Торн в сб.: Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 510–514. О стихотворном наследии Н.И. Гаген-Торн, в частности посвященном и Андрею Белому, см. также в статье А.В. Лаврова «Вслед за символистами» (С. 134).

[iii] См. первую публикацию мемуаров в журнале «Нева» (2000. № 11. С. 201–203); стихотворного цикла «Андрею Белому» в сб.: Ново-Басманная, 19. С. 511–512.

поэтесса Поликсена Сергеевна и др.). Для Белого особое мистическое значение имела могила умершего в 1900 г. философа Владимира Сергеевича Соловьева, «воспетая» в стихах (см., напр., «Владимиру Соловьеву» — 1903) и «Симфонии (2-й, драматической)» (1902). Ср.: «В Духов день, помню я, приезжает из Дедова С.М. Соловьев; я — читаю накануне набросанную часть "Симфонии"; в окна врывается золотеющий вечер — такой же, какой он в "Симфонии": золотой, Духов вечер; С.М. поражается описанием Новодевичьего монастыря; и он просит меня, чтобы тотчас же мы отправились с ним в Монастырь: мы — отправились; золотой Духов день догорал так, как я описал накануне его: Монастырь был такой, как в "Симфонии"; так же бродили монашки; стояли с С. М. у могилы покойного Соловьева; казалось, что сами ушли мы в симфонию; старое, вечное, милое, грустное во все времена приподнималось; "Симфония" есть наша жизнь <...>» (*Андрей Белый.* Воспоминания о Блоке // *О Блоке 1997.* С. 35–36). В 1903 г. список дорогих могил на Новодевичьем пополнился: 16 января скончался брат философа, духовный наставник Белого Михаил Сергеевич Соловьев и в тот же день покончила с собой его жена художница Ольга Михайловна Соловьева (Белый считал, что именно семья Соловьевых ввела его в мир литературы, сделала писателем — см. об этом в мемуарах «На рубеже двух столетий» (глава «Семейство Соловьевых»). Похороны состоялись 18 января 1903 г. Их могилу Белый также «воспел» в стихах (см., напр., стихотворение 1903 г. «Могилу их засыпали цветами...», посвященное «незабвенной памяти М.С. и О.М. Соловьевых»).

[6] К.Н. Бугаева.

[7] «Маркизова лужа» — бытовое ироническое название части Финского залива близ устья Невы; возникло в среде моряков как насмешка над морским министром, французским маркизом Жаном-Батистом де Траверсе (в России — Иван Иванович; 1754–1831), при котором корабли практически перестали выходить из залива в дальние походы. Здесь имеется в виду дача Н.И. Гаген-Торн на берегу Финского залива, в пос. Большая Ижора.

[8] Они отдыхали в Доме творчества, созданном на базе коктебельского дома М.А. Волошина. Сам Волошин умер в 1932 г.

[9] Удар произошел 15 июля 1933 г.

[10] Видимо, имеется в виду телеграмма, об отправке которой П.Н. Зайцев писал в дневнике. См. в наст. изд.

[11] В.С. Спасская.

[12] См. далее в наст. изд.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Г.Ю. Гаген-Торн

ИВАНОВ-РАЗУМНИК

ИЗ ПИСЕМ К В.Н. ИВАНОВОЙ[1]

I

28 января 1934. Саратов.

Дорогая моя и любимая Варя, большого резона писать именно сегодня это письмо нет, так как поджидаю твоих писем, а у меня нового ничего нет; но чтобы не нарушать воскресно-четверговой традиции — пишу и сегодня. Если вы получили мою открытку от 25-го, то знаете, что до меня к тому времени уже дошли и телеграфный перевод, и открытка из Москвы <...>.

За это время я получил письмо от Левы Пришвина[2] с тремя фотографическими карточками Б<ориса> Н<иколаевича> в гробу; вероятно, ты видела эти карточки в Москве, а то даже и получила их от него. Смерть Б<ориса> Н<иколаевича> поразила нас в первую минуту своей неожиданностью; после твоего отъезда, в полном одиночестве, я как-то острее почувствовал эту утрату. Совсем неважно, что за последний год все сношения наши с ним прекратились, что он и К<лавдия> Н<иколаевна> неожиданно для нас оказались среди тех многих лиц, которых я характеризую именем их патрона — иже во святых отец наших св<ятых> мученика Труса[3]. Мы целый год прожили с Бугаевыми[4] и знаем человеческие, слишком человеческие слабости их (ведь и у нас есть свои)[5], знаем детский эгоизм, недостаток мужества, приспособляемость. Мало ли что мы знаем! Но ведь не этим будет помянут Б<орис> Н<иколаевич> даже как человек, а не как писатель. О писателе — что и говорить. Но когда человек уходит от нас — все мелкое невольно отпадает перед лицом смерти, и вовсе не фарисейски является народная латинская мудрость — de mortuis nil nisi bene — о мертвых — только хорошее. И я вполне искренне забыл, без всякого усилия, все то теневое, что еще так недавно, еще месяц тому назад готов был ставить Б<орису> Н<иколаеви>чу в мелкую человеческую вину. Все это мелкое — было, но ведь не этим мелким связаны мы были целые двадцать лет. А потом в моем одиночестве очень остро чувствуется вот что еще: он ушел, и кроме Пришвина из старых литературных друзей никого больше не осталось. Я вчера написал об этом Михалмихалычу[6], говоря ему, что ведь и у него остался из литературных сверстников и друзей только я один. Убедительно просил жить его подольше и сам обещал приложить со своей стороны всяческое старание.

С теплым чувством вспомнил я и Сологуба, с которым мы так уютно прожили стена в стену целых два года[7]. Как крепко забыт он теперь! Через немного времени та же судьба постигнет и Белого. Все это поколение, по слову Герцена, должно еще быть засыпано слоем навоза (об этом уж постараются!), занесено снегом,

чтобы пустить зеленые ростки и воскреснуть вместе с весной. Кстати о навозе: не сохранился ли у Р<имских>-К<орсаковых>[8] посвященный Белому номер «Литературной газеты»[9] – когда-нибудь о Белом будут написаны тома, а пока – не следует ждать от упражнений («у» – это только для вежливости) «Литературной Газеты» ничего другого, кроме того, что она может дать. La pluss belle fille – и т.д., пословица известная[10]. – Написал письмо Кл<авдии> Ник<олаевне> – и между прочим не скрыл, что был огорчен их годовым молчанием и что сам поэтому не писал им первый, не зная – не напугает ли их появление письма. Но все это в форме мягкой, чтобы не задеть ее болью в такие тяжелые дни. – А что «Начало века»? достанет ли мне его К<лавдия> Н<иколаевна>. Если нет, то попроси А<лександра> А<лександровича>[11] – он умеет доставать всякие редкости <...>.

Целую вас, дорогие мои, крепко-прекрепко и жду писем.

Любящий Н<ик>[12].

II

4 февраля 1934. Саратов.

Дорогая и любимая моя Варя, все поджидаю твоего письма, так как полученные мною уже два – не в счет: первое было только извещением о благополучном прибытии, а второе (от 25 янв<аря>) – лишь немного более подробным подобием первого. Впрочем во втором письме была и юмористическая вставка – о том, как Вячшишу[13] вернули 250 р<ублей>, и грустный рассказ о болезни и смерти Б<ориса> Н<иколаевича>. Я уже писал тебе – в последней открытке, что об этом я получил ряд писем, в том числе открытку от Кл<авдии> Ник<олаевны> и большое письмо от Михалмихалыча[14]; прислала свой рассказ об этом и Н<ина> И<вановна>[15], – Кл<авдия> Ник<олаевна> не обиделась на то, что я вполне откровенно сообщил ей, как грустно мне было, что Б<орис> Н<иколаевич> и она были за последний год в числе тех друзей, которые оказались «в нетях»; что Б<орис> Н<иколаевич>, присылая свои «Маски» летом Вячшишу (нашел кому!), не прислал их тебе для меня. Она пишет:

«*Так тронуло и взволновало Ваше письмо. Простите, что отвечаю открыткой. На письмо еще сил нет. Но напишу непременно. Теперь хочу только спросить: как лучше переправить Вам книги? Было бы жаль, если бы они пропали. Буду ждать Ваших указаний. Едва ли сумею и в письме написать Вам как следует. Скажу еще только, что Б<орис> Н<иколаевич> постоянно следил за Вами, помнил. В Коктебеле он не пропускал ни одного вновь приехавшего, чтобы о Вас не спросить. – И еще скажу: он отошел совершенно тихо, точно заснул. Ни агонии, ни мук. Легкий выдох – и все... Простите уж, что так бессвязно пишу. Хочу поскорее ответить. А сознание жизни сейчас такое странное. Милый, простите. Будем помнить и любить его вместе. Я знаю, что Вы его очень любили, как и он Вас любил и ценил всегда. Ваша К<лавдия> Б<угаева>*»[16].

– Ну вот, почти всю открытку переписал. А письмо Михалмихалыча (большое и яркое) – и фактически не смог бы переписать, да и не к чему, так как все это ты от него еще подробнее слышала. Что же ты ничего не пишешь о своих загорских впечатлениях?[17] Михалмихалыч пишет о тебе подробно. – Но вот что из его пись-

ма я тебе сообщу и что меня глубоко тронуло, – фантастический его проект начать хлопоты о том, чтобы меня отдали ему на поруки вкупе с Мейерхольдом[18] и поселили бы в Загорске! Я хохотал, но скажу правду – тронут был почти до слез, сравнивал этот его, пусть фантастический, проект с поведением таких «старых друзей», как Петров-Водкин[19] и всех подобных (увы, вплоть до Б<ориса> Н<иколаевича>, не тем будь помянут), спрятавшихся в кусты. Конечно, я ему ответил, что никаких хлопот не надо, но что само предложение очень и очень ценю <...>.

Целую тебя, любимая моя, крепко и горячо.

Любящий тебя Н<ик>.

Любимая моя Варя, – заклеил конверт и собрался было идти на почту, как «письмоносица» принесла мне два заказных: открытку от Кл<авдии> Ник<олаевны> и твое письмо от 30/31 января. Пришлось портить конверт, отклеивая, чтобы написать еще несколько слов. – Начну с Кл<авдии> Ник<олаевны>: она пишет, что не стала ждать моего ответа и выслала мне книги ценной посылкой готовый для Academi'и том стихов Б<ориса> Н<иколаевича>[20]. Значит, книг Б<ориса> Н<иколаевича> мне не доставай <...>.

III

11 марта 1934. Саратов.

Любимая моя Варя, не успел я третьего дня отправить тебе заказное письмо («замоткрытку»), как, вернувшись домой, получил ваши 100 р<ублей>, высланные по телеграфу 8/III. Я писал, чтоб вы мне не высылали денег до апреля, так как только что получил (5/III) 100 р<ублей> от Михалмихалыча, – но эта моя просьба еще не дошла до вас <...>.

А я послал вам заказной бандеролью «Начало века»; получили ли? Карандашные отметки – исключительно «полемические» на тему полученного мною «Тихони» из «Котика Летаева»[21]. Я думаю, что Б<орис> Н<иколаевич> в значительной мере сам виноват в предисловии[22]; как оно ни плоско, но вызвано позицией «Тихони». Tu l'as voulu, Georges Dandin![23] Об этом, как помнишь, много было копий поломано с Б<орисом> Н<иколаевичем> за чайным столом[24]. Это же относится и к критической статье, но уже не по адресу Б<ориса> Н<иколаевича>, а по адресу Кузи[25]. Статья грубая и тоже плоская, но что греха таить! На три четверти Кузя получил по заслугам. А ведь как приходилось убеждать его, что вся его «беллетристика» – провал, а все ценное – как раз не в «беллетристических» главах! Этого ценного критику понять не дано, не в коня корм, так же как и стиль Б<ориса> Н<иколаевича>[26]. Когда-нибудь вышлю вам в посылке все эти «отчитанные» мною книги, чтобы не залеживались, вместе с накопившимися у меня мешками от посылок <...>.

Письма мои своей «фактичностью» напоминают мне прейскуранты или расписания поездов; но что поделаешь, с одной стороны – пропажа заказных, с другой – бессмертное шпекинство[27] (возможно, что и связанные друг с другом), поневоле приходится ограничиваться повторением прописей – рассказом о посланных и неполученных письмах. <...>

Любящий Н<ик>.

ИЗ ПИСЕМ К А.Г. ГОРНФЕЛЬДУ[28]

I

Чернышевская ул., 138
(угол Бабушкина переулка)
кварт. Иринархова (№ 4)
18 апреля 1934. Саратов.

Дорогой Аркадий Георгиевич, из письма Варв<ары> Ник<олаевны> я узнал, что Вы поджидаете ответа от меня; а я – поджидаю от Вас, так как на свое письмо еще от 9/I (три месяца!) ответа не получил. Дело объясняется просто: в феврале–марте заказные письма ко мне пропадали пачками (десять писем за эти два месяца) и не исключительно по вине «жен-письмоносиц» <...>.

Мораль, однако, та, что письма Вашего я не получал и все еще жду ответа на свое заказное от 9/I. Пишите; не все же заказные пропадают, из двух-трех одно, глядишь, и дойдет. А в ожидании Вашего письма – пишу сегодня это «извещение о неполучении». О себе за эти три месяца не могу сказать ничего, кроме как – «без перемен». Читаю много, получаю газеты, и даже, для увеселения, присылает мне Варв<ара> Ник<олаевна> время от времени серии «Литературной газеты» и «Литературного Ленинграда»; забавные приходится читать там вещи. Журналов вижу мало, но мало огорчаюсь этим. Получаю книги. Прочтите (если уже не прочли) недавно вышедшую повесть Пришвина «Жень-Шень»[29]; изумительная вещь.

Смерть Андрея Белого ошеломила меня своей (для меня) неожиданностью; я больно переживал ее и до сих пор еще не «освоился» с нею. Я знаю, что он не был героем Вашего романа, но воздавать должное можно и идейному врагу. Думаю, что Вы прочли уже «Начало века», второй том воспоминаний; третий печатается теперь в Изд<ательст>ве Писателей («Между двух революций»). В апреле должна выйти посмертная книга его – «Мастерство Гоголя», которую он три года тому назад писал у нас в Д<етском> Селе и читал нам главу за главою. Когда прочтете эту замечательную книгу – напишите мне о ней. Если прибавить ко всему этому «Маски», вышедшие год тому назад, и начатый IV-й том воспоминаний[30], то больно подумать, в каком расцвете писательских сил ушел он от нас и что он еще мог бы нам дать. Тесная двадцатилетняя дружба не мешала и не мешает мне быть объективным, видеть провалы и слабости (не те и не там, где видит их статья в сборнике «Год шестнадцатый»[31], которую Вы, вероятно, читали); но слабость эта – не художественная и не идейная, а слабость приспособленчества, которая, конечно, отражалась и на идеях, и на художестве. Он был «никаким» критиком: мог же он (в разговорах со мной) ставить дюжинную поэму Санникова[32] выше «Возмездия» Блока, мог же он в последний год жизни написать статью о Гладкове[33] (которую я не читал, но довольно и заглавия), мог же он пройти мимо Пришвина и т.д. В двух первых случаях – слабость приспособленчества причиной; она же отразилась и в ряде мест «Начала века» (особенно – предисловие)[34], и в «Гоголе» (как Вы увидите)[35], и даже в «Масках» (главы о Львове)[36]. Возмездие за все это он получил в глубоко потрясшем и взбесившем его редакционном предисловии к «Началу века». Но все это – тлен и прах, слабость великого писателя, не это будет его бессмер-

тием. В сказке Андерсена говорится, что «позолота – сотрется, свиная кожа останется»[37], – и это верно, если дело идет о мишурной позолоте. Но если это золото, то останется оно, а истлеет свиная кожа. Сие и буди. <...>

Ваш Р. Иванов. <...>

II

Ул. Чернышевского, д. 138
(угол Бабушкина переулка,
кварт. Иринархова № 4)
8 мая 1934. Саратов.

Дорогой Аркадий Георгиевич, грустно, что Вы грустите, но все же умирать по-вассермановски[38] нечего. Это – смерть от безверия. Германия Гитлера – есть от чего болеть, но ведь весь вопрос в том – кто сильнее: Гитлер или Гете? Гитлеру дан час жизни (хотя бы и на всю нашу жизнь), а Гете – века. Вот почему я, имея причин грустить много больше, чем Вы, пребываю в нераскаянном оптимизме. Ибо уверен, что победит не «Возвращенная молодость» Зощенки[39], а «Медный всадник» Пушкина. Шум, поднятый вокруг первой, ученые заседания и дискуссии (читал в газете)[40] – очень забавны и доставили мне много веселых минут; и огорчаться ли, если подумаешь, что лет через 10–20 не только о «Возвращенной молодости», но и о Зощенке (это – имя собирательное) никто и знать не будет. Вы скажете о «малых сих», о молодежи, которая слепо верует в многоразличных Зощенок и которой до сих пор никто еще не скажет, что король гол. На это отвечу: в повести Чапыгина «Белый камень» (хорошая повесть) есть мельник, который бросает щенят в воду и оставляет себе того из них, кто выплывет[41]. Жестокий прием, но П.П. Чистяков, художник и педагог удивительный, именно так обращался со своими учениками[42]. А история – художник и педагог куда более изумительный. Жаль погибающих, но кто поймет и усвоит уроки истории – будет сильнее сотни сверстников.

Вот тоже и Ольга Форш со своими «Символистами»[43]. Я не прочел романа полностью в журнале, но года два-три назад пробежал первую половину его в рукописи и гранках. Цели у нее благие: обливая помоями (в которых сама купалась) символизм, она хотела (по ее словам) объяснить малым сим, 1) какое это было замечательное течение, в котором-де 2) было много глупого и смешного. Не дочитав романа, не могу утверждать, но уверен, что первое ей не удалось, а второе расписано всеми красками. Но что же из этого? Сама себя раба бьет. Не по «Символистам» будут изучать символистов, а что вскормленная символистами Ольга Форш на старости лет, задрав юбку (извините), «сходила на час» на могилу своей кормилицы, – кому в этом убыток, кроме самой Ольги Форш? Запрезирать свое прошлое и потому обливать его помоями – вполне законно; а если удивляться, что сами запрезиравшие не становятся под помойный душ, то это значит требовать от людей слишком многого. Те из них, которые доживут до истории литературы, – получат за это по заслугам, а подонки – что с них взять? «Будь же добр, человек, и не трогай меня»[44]. Будемте добры, Аркадий Георгиевич, и оставим в покое Зощенок и Форшей.

Вот Андрей Белый — это другое дело. Вы пишете про «Петербург», что прочли его четыре раза подряд с неизменным наслаждением, но что автор — «идейный враг», с которым надо было бороться. Два слова pro domo mea[45]: не очень люблю я ссылаться на собственные произведения, но есть у меня статья «Петербург» (в книге «Вершины»)[46], на которую позволю себе сослаться и которую считаю лучшей из всех своих статей. Там твердо сказано, что «Петербург» мне всемерно враждебен. И все-таки: когда я получил его рукопись в 1912 году и прочел, то был крайне огорчен, что не мог напечатать его в «Заветах» (денег не хватало); зато приложил все усилия, чтобы он вышел в «Сирине» — и это стоило мне (и Блоку) больших трудов[47]. В чем же дело? Роман — враждебен, а сам стараюсь как можно лучше устроить его? Загадки, конечно, тут нет никакой, ибо «высокое искусство» повелительно. Когда «Отечественные Записки», печатая в 1875 г. «Подросток», извинялись перед читателями и заявляли, что, конечно, не напечатали бы «Бесов»[48], — то этим не сказали себе комплимента. И «Бесов» надо было бы именно им напечатать, — и тут же сказать все то, что сказал Михайловский в 1872 г. в замечательной статье об этом романе[49]. Я не помню — читали ли Вы «Москву»[50], и не знаю — прочли ли теперь ее продолжение, «Маски». Это — потрясающие вещи, особенно «Москва» («Маски» — слабее, но еще изумительнее по технике). Но признание этого нисколько не мешает мне, как и про «Петербург», сказать про «Москву», что произведение это мне враждебно. Хотелось бы написать про «Москву» такую же большую статью, как и про «Петербург»[51], но — на всякое хотение есть терпение, или, если продолжать пословицами, — бодливой корове Бог рог не дает. Fuit Troja, fuimus Trojani[52], а теперь подождем, что напишет о «Москве» и «Масках» современный публицист. Впрочем, ждать напрасно: ничего не напишет. <...>

Впрочем, — «о чем грустить?» Под моим окном — разлив Волги, а сбоку видны окна домика, мраморная доска на котором возглашает золотыми буквами, что здесь жил Чернышевский[53]. Tout passe, tout lasse, tout casse[54], а посему — будемте умны и не будем поддаваться особой унылости a la Вассерман. Булгарин[55] умер, Пушкин жив; Зощенки погибнут, яко Обры[56], а «Петербург» и «Москва» останутся. Так о чем же грустить?

Желаю бодрости и сил, жму руку.

Р. Иванов.

ИЗ ПИСЕМ К К.Н. БУГАЕВОЙ[57]

I

1 июля 1934 г. Саратов.

Милая Клавдия Николаевна, прежде всего простите, что опоздал с ответом на Ваше письмо, полученное уже с неделю тому назад. Это были предотъездные дни Варв<ары> Ник<олаевны>, пробывшей здесь целый месяц и только что отбывшей домой; она просила очень Вам кланяться. Теперь, снова оставшись один, могу приняться за слегка запущенную, хотя и не слишком обширную корреспонденцию

и в первую очередь хочу ответить на Ваше письмо. Впрочем — ответ на него потребовал бы целой тетради; приходится быть кратким, чтобы ответить на существеннейшее. В порядке Ваших вопросов — отвечаю:

1) Первая мимолетная моя встреча с Б<орисом> Н<иколаевичем> произошла на «башне» Вяч. Иванова[58] — кажется, в 1910 году; был я на башне этой затащенный Л. Шестовым[59], всего единожды в жизни — и больше там не появлялся, до того отвратно там мне показалось. Встречу эту с Б<орисом> Н<иколаевичем> не считаю: мы не обменялись ни единым словом и косились друг на друга. Годами двумя ранее я напечатал в «Русск<их> Ведомостях» что-то весьма неодобрительное о философских статьях Б<ориса> Н<иколаевича>[60], а еще года за два до того — в «Весах» было напечатано (кажется, Эллисом) что-то еще более неодобрительное о моей книге «Ист<ория> русск<ой> общ<ественной> мысли»[61]. Да и позднее (не в этом ли 1910 году?) Б<орис> Н<иколаевич> печатно отозвался обо мне не то в «Арабесках», не то в «Символизме» — весьма кисло[62]. Так что первая встреча в этом году — была не встреча, а случайное прохождение через одну и ту же комнату.

Первая встреча произошла весною 1913 года, когда Б<орис> Н<иколаевич> с Асей приехали в СПб. перед отъездом за границу (ведь это было весной 1913-го, а не осенью 1912-го?)[63]. Незадолго до этого Блоку и мне (тогда — редактору изд<ательст>ва «Сирин») с великими трудами удалось протащить «Петербург»[64] сквозь Кавдинские теснины семьи Терещенок (издателей)[65] и старания близкого к ним Ремизова[66] не допустить этот роман в сборники «Сирина». Блок и я — одолели; Б<орис> Н<иколаевич> приехал заключать договор и был у меня в «Сирине» *в первый же день приезда*[67]; разговор продолжался три-четыре часа. Эту встречу я и считаю первой; после отъезда Б<ориса> Н<иколаевича> началась между нами деятельная переписка[68] — сперва чисто деловая, потом — все менее и менее деловая (когда весной 1915 года «Сирин» прекратил существование).

2) Первая встреча Б<ориса> Н<иколаевича> с Д<митрием> М<ихайловичем>[69] могла произойти либо в конце 1920 года (на Рождестве, если Б<орис> Н<иколаевич> в это время был в Петербурге[70]), либо в начале 1921 года, в Вольфиле[71]. Более точной справки дать не могу.

3) Время (приблизительное) и место последней встречи Блока с Б<орисом> Н<иколаевичем> — очень помню, потому что это свидание происходило при мне. Б<орис> Н<иколаевич> жил на М. Морской в гостинице «Спартак»[72]. Незадолго до последней поездки Блока в Москву[73] я как-то зашел к нему по вольфилским делам, и мы вместе с ним отправились к Б<орису> Н<иколаевичу>. Это было в апреле 1921 года[74]. Прекрасно помню весь происходивший разговор (несколько часов); помню, с каким увлечением говорил Б<орис> Н<иколаевич> о десятитомной «Эпопее»[75] и остроумную реплику Блока: «А что, Боря, если бы десять томов списать в один?» К фресковой живописи, требующей целых стен, Блок относился недоверчиво.

После возвращения Блока из Москвы мы с Б<орисом> Н<иколаевичем> зашли к нему в середине июня, но уже не могли его увидеть. А еще через два месяца — несли гроб Блока после отпевания к могиле.

Б<орис> Н<иколаевич> с 7-го августа 1921[76] года по начало сентября, целый месяц, вел дневник, очень подробный, день за днем отмечавший его впечатления и настроения — с того момента, когда я, вернувшись домой в Д<етское> Село с квартиры Блока, сообщил Б<орису> Н<иколаевичу> о смерти (Б.Н. тогда жил у

нас[77]). Этот «блоковский дневник» Б<орис> Н<иколаевич> подарил мне, уезжая осенью 1921 года за границу[78]. Дневник — ценнейший для Б<ориса> Н<иколаевича> и для Блока. Цел ли он — не знаю, т.е. не знаю, у меня он или нет[79]. Отрывочную страничку из этого дневника (о «Петербурге») я напечатал в книге «Вершины» в статье о «Петербурге»[80].

4) Ликский — пишется через «к», а не через «г», имя — Константин, отчества — не помню[81]; А.С. Петровский может найти это отчество в некрологах Ликского, а еще проще — справиться у Софьи Гитмановны[82].

5) Справки о январе—феврале 1917 года дать, к сожалению, никак не могу, т.к. тогда письмо мое обратилось бы в тетрадь[83]. Б<орис> Н<иколаевич> в январе—феврале этого года жил у нас в Д<етском> Селе; в январе прочел лекцию (в помещении Петровского Училища[84]), которую почтила своим присутствием Вера Фигнер[85]. В дни революции (27—28 февраля и позднее) мы с ним то встречались в городе (где он тогда бывал у Мережковских; один раз — тоже единственный раз в моей жизни — я посетил его в 12 ч<асов> ночи у Мережковских перед тем, как идти на ночь в Гос<ударственную> Думу; никогда не забуду совершенно растерянных двух Дим и одну Зину[86]), то прорывались — с трудом — в Д<етское> Село. Точные дни и даты совершенно не припомню. — И в Октябрьскую революцию, накануне ее, Б<орис> Н<иколаевич> жил у нас — и еле успел проскочить в Москву, чтобы там, на Арбате, испытать бомбардировку[87]. Очень характерны письма, которыми мы тогда обменялись, вскоре после этих событий[88].

Всего пять вопросов — а ответы пишу уже час, и бумага к концу подходит. Поэтому о «Мастерстве Гоголя» — ничего не напишу, кроме такой отписки: я эту книгу читаю (параллельно с самим Гоголем) уже в третий раз с карандашом в руке[89]. Книга изумительная, но кто же из нас не знал, что Б<орис> Н<иколаевич> — гениальный человек, оживотворявший все, к чему бы ни прикоснулся? Но Вы помните: и в Д<етском> Селе, когда Б<орис> Н<иколаевич> писал (и читал нам) эту свою книгу, — у нас вспыхивали «дискуссии»[90]; как часто отражение их, полемическое, нахожу в тексте! И до сих пор для меня совершенно неприемлемы две стороны этой книги: «переверзевская»[91] и «мережковская»[92]. Для меня это — темные пятна. Везде, где я встречаю: «не оттого ли», «не потому ли» (излюбленные обороты Мережковского), хочется ответить: да вовсе не оттого! Но очень часто и без этих риторических вопросов конструкция мысли остается «мережковской». Таких мест (к моему горю) — сотни; ограничиваюсь лишь одним примером[93]. Хлестаков в трактире: насвистывает сперва бодро, из «Роберта», потом, начиная унывать, переходит на меланхолическое «Не шей ты мне, матушка», и наконец (надоело же ждать!) «ни то, ни се». Очень тонко и остроумно схвачено. А вот «мережковские» комментарии: героика «Роберта» (откуда мы знаем, что «героика»? а может быть, вальс?) есть преступление через узы родства: проклятый Петро (почему же, допустим, вальс из «Роберта» есть преступление через род?); потом сентиментальный романсик «Не шей ты мне, матушка» оказывается лицом Поприщина с его «Матушка, пожалей о дитятке» (до чего же это ужасно «мережковское»!); наконец «ни то, ни се» есть перерождение дворянского рода в мещанство (а это уже — «переверзевщина», под которой я понимаю давно уже огорчавшую и огорчающую меня до сих пор попытку Б<ориса> Н<иколаевича> натянуть на себя марксизм). Все это — глубоко неприемлемо для меня, и об этом у нас с Б<орисом> Н<иколаевичем> — помните? — в Д<етском> Селе происходили частые споры; все такие места в кни-

ге – точно уколы иглы. Я понимаю и знаю, что Б<орис> Н<иколаевич> считал, будто нельзя провести книгу через цензурно-издательские Фермопилы, не омарксичив ее, – и в этом он очень ошибался. Только что прочел замечательную книгу М.М. Пришвина «Золотой рог»[94] (достаньте и прочтите) – совершенно не омарксиченную и вполне цензурную. А к чему привели попытки Б<ориса> Н<иколаевича> говорить о «классах», о «динамике капиталистического процесса» и т.п.[95]? К предисловию в «Начале века». Так и хочется спросить в стиле этих же мест из книги Б<ориса> Н<иколаевича>: «что, сынку? Помогли тебе твои ляхи?»[96]

Все это мне очень больно, и Вы простите меня, если я огорчил Вас этой последней страничкой; но думаю, что еще более огорчил бы Вас безусловным и неискренним восхищением перед посмертной книгой Б<ориса> Н<иколаевича>: разве Вам это нужно? Тем более что всем остальным в книге (т.е. 3/4 ее) – я восхищаюсь, радуюсь, читая; кстати – чудесные рисунки! как жаль, что их так мало! Все они – сам Б<орис> Н<иколаевич>. Приходится обрывать письмо. Рад буду получить весточку от Вас, – она, кстати, докажет мне, что Вы не в обиде на мою откровенность. Всего и всего Вам доброго, сердечный привет.

Р. Иванов.

II

8 января 1940. Загорск[97].

Милая Клавдия Николаевна,
очень мне хотелось побывать сегодня и у Бориса Николаевича в Новодевичьем, и у вас. Но утром термометр показал – 36°, стало жутко ехать. К тому же за две недели московских скитаний я слегка расклеился и сегодня пролежал (пишу вечером).

Вот уже и шесть лет прошло. И каких лет! Но если вспомнить, что со смерти Блока прошло почти 20 лет (и с еще большим правом можно сказать: каких десятилетий!), то лишний раз убеждаешься, что все «временные планы» в нашем сознании – ничто. И вообще – времени никакого нет, хотя «Смерть и Время царят на земле»...[98]

Нездоровится, и мысли не вяжутся. Кончаю пожеланием всего Вам и всей семье. Так что – «постараемся быть жив<ы>», как говорил Пушкин[99].

Искренне Ваш,
ИР.

Послесловие

Двадцатилетняя история взаимоотношений философа и литературного критика Разумника Васильевича Иванова (1878–1946), писавшего под псевдонимом Иванов-Разумник, с Андреем Белым подробно освещена в исследованиях и публикациях последних лет, и мы не будем на ней останавливаться[i]. Отметим кратко лишь самое необходимое.

---

[i] См.: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка; «Дорогая моя и любимая Варя...»: Письма Иванова-Разумника к В.Н. Ивановой из саратовской ссылки / Публ. В.Г. Белоуса // Минувшее. СПб., 1998. Т. 23. С. 419–447; *Иванов-Разумник*. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки / Сост., вступ. статья В.Г. Белоуса; коммент. А.В. Лаврова, В.Г. Белоуса, Я.В. Леонтьева. М., 2000; и др.

Белый познакомился с Ивановым-Разумником в мае 1913 г., в связи публикацией романа «Петербург». Дружба, возникшая после приезда Белого в 1916 г. в Россию из Швейцарии, базировалась на общности литературных вкусов и идейных воззрений. «Темы народа, войны и революции были темами нашего сближения», — констатировал Белый в 1928 г. в работе «Почему я стал символистом...»[i]. С 1919 г. их объединяла и работа в Вольной философской ассоциации, где Белый был председателем Совета Вольфилы, а Иванов-Разумник — товарищем председателя. В 1921 г. Белый уехал в Германию, что ослабило связь с Ивановым-Разумником, который в принципе неодобрительно относился к эмиграции, хотя, впрочем, для Белого готов был сделать исключение. После возвращения Белого в Россию в 1923 г. стала обнаруживаться разность идейных установок писателя, готового идти на компромисс с советской властью, и критика, продолжавшего стоять на позициях «духовного максимализма». Однако на протяжении всех 1920-х Иванов-Разумник по-прежнему остается ближайшим другом и интимнейшим корреспондентом Белого. Период их особенно тесного общения пришелся на 1931 г., когда Белый жил в Детском Селе (с 10 апреля по 23 июня и с 7 сентября по 30 декабря) по соседству с Ивановым-Разумником, проводя большую часть времени в беседах с ним. Тогда же давно копившиеся разногласия обострились и переросли в отчуждение. «Давняя дружба соединяла нас, но за последнее время стали омрачать ее непримиримые политические разногласия; не то чтобы черная кошка пробежала между нами, но черный котенок не один раз уже пробовал просунуться, — с тех пор, как в книге “Ветер с Кавказа” Андрей Белый сделал попытку провозгласить “осанну” строительству новой жизни, умалчивая о методах ее», — анализировал отношения с Белым Иванов-Разумник[ii].

Главной разделительной линией стало отношение к современности: предполагает ли принцип «жить настоящим» одновременную «осанну» действительности? Дискуссия о месте и роли художника в современных условиях, которая разгорелась на именинах В.Н. Ивановой (супруги Иванова-Разумника) в декабре 1931 г., продемонстрировала наиболее откровенное несовпадение поведенческих ответов «духовного максималиста» Иванова-Разумника и его «друзей-приятелей», в том числе Андрея Белого. Суть полемики Иванов-Разумник изложил на страницах «Тюрем и ссылок» и даже в собственноручных показаниях на допросах в 1933 г.[iii]

По его свидетельству, Андрей Белый утверждал тогда, что современность открыта для осмысления, а значит, и для признания. Возможно, это было связано с тем, что советская власть на какое-то время «отступила» от него и писатель решил ответить ей взаимной «благодарностью»? Мир, который прочно «засел» в Иванове-Разумнике, казался Белому давно прошедшим. Он искренне недоумевал, почему нельзя принять мир нынешний, почему надобно вечно ждать пришествия иных, лучших времен? В свою очередь, его оппонент считал, что в условиях абсолютного господства государственности последнее убежище для индивидуальной свободы — это область самосознания, своеобразная «пещера», где индивидуум может, хотя бы временно, укрыться от преследующей его идеологии. Если историческая

---

[i] *Андрей Белый.* Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития // *Андрей Белый.* Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 474.

[ii] *Иванов-Разумник.* Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. С. 198.

[iii] Там же. С. 198–200.

эпоха предъявляет невыносимые требования к личности, словно желая поставить на интеллигенции эксперимент: до какой стадии можно унизить, ослепить или купить человека, чтобы он сдался, — нельзя говорить о приятии действительности, надо молчать и честно делать свое дело.

Иванов-Разумник так и не смог простить Белому его откровенного заигрывания с марксистской идеологией и просоветской направленности его позднего творчества, проявившихся в романе «Маски», и особенно в книге «Мастерство Гоголя», работа над которой велась в Детском Селе осенью 1931 г., Белый, в свою очередь, увез из Детского обиду на Иванова-Разумника за нелицеприятную критику дорогих ему произведений и глубинное, как ему казалось, непонимание со стороны человека, которого считал другом. В предсмертном дневнике, в записи за 13 сентября 1933 г., Белый, уже неизлечимо больной, подвел грустный итог: «<...> период дружбы с Разумником 1916 год — 1921-ый, с 23 года отношения не углубляются, а скорее с усилием поддерживаются: то идут вперед, то падают, разлагаясь; и уже с 26-го года во мне крепнет протест против Иванова-Разумника. К 30 году я вечно про себя злюсь на "ослиное упорство" Разумника, а 4 месяца, прожитых у него в Детском в 1931 году, обернулись ужасом и негодованием. Все рухнуло под руинами в октябре 1931 года. С 31 года он для меня "законченный" человек; и жена его тоже»[i]. Вследствие этого в конце 1932 г. переписка писателя и критика прекратилась.

«Законченным» человеком вскоре стал Иванов-Разумник и для органов ОГПУ. В феврале 1933 г. он был арестован и в сентябре, то есть тогда, когда Белый подводил «черту» под их дружбой, отправлен в ссылку (сначала в Новосибирск, потом — в Саратов). Белый не поддержал его в период невзгод, не возобновил переписку, что было расценено Ивановым-Разумником как трусость[ii] и дало основание для новых обид. В саратовской ссылке и настигло его известие о смерти Белого. Сначала узнал о случившемся из газетных публикаций, потом — из писем знакомых.

Сообщили сразу несколько человек. 21 января 1934 г. написала Нина Ивановна Гаген-Торн, знакомая ему еще по работе в Вольной философской ассоциации:

> «Дорогой Разумник Васильевич! Давно хотела написать Вам, но потеряла и только сейчас нашла Ваш адрес, данный мне Р<озой> Я<ковлевной>[iii] при отъезде. Хотелось написать, чтобы рассказать Вам о Борисе Николаевиче в тот последний заезд к нему, когда я еще видела его живым[iv], и о Клавдии Николаевне, которую видела, приехав на похороны. О смерти Вы знаете из газет и, по-видимому, пожалуй, только из газет, милый Разумник Васильевич, т<ак> к<ак> Спасские[v] и Кл<авдия> Ник<олаевна>[vi] Вашего адреса не знают, а Р<оза> Я<ковлевна> еще не вернулась. Заболел Борис Николаевич еще в Коктебеле, летом — было кровоизлияние в

[i] См. в наст. изд.

[ii] В этот период Белый, однако, переписывался со ссыльными антропософами А.С. Петровским и Е.Н. Кезельман.

[iii] Р.Я. Мительман.

[iv] См. записи в дневнике Белого от 30 сентября и 1 октября 1933 г. и мемуары Н.И. Гаген-Торн в наст. изд.

[v] С.Д. Спасский и С.Г. Спасская (Каплун).

[vi] К.Н. Бугаева.

> мозг, на почве склероза, но как-то никто этого не сумел определить и приписал солнечному удару. Всю осень были мучительные головные боли, а лечили от невроза. Очень сильно повлияло на него предисловие Каменева ко II т<ому> воспоминаний («Начало века»). Б<орис> Н<иколаевич> был взбешен и выведен из себя. Случилось вторичное кровоизлияние 3/XII. 8-го декабря его отправили в больницу <*нрзб.*>, а 8-го января – он умер. Все время – мучительные головные боли. И у меня впечатление – он, быть может, не до конца сознательно, но чувствовал – близость завершения итогов. Это было страшно ясно в последней прогулке с ним. Шли в Новодевичий монастырь, рассказывал он о могиле Соловьева[i], о воспоминаниях, связанных с Новодевичьим. Был очень грустный. Начались головные боли опять. Но работал много – всю осень. Закончил III т<ом> воспоминаний[ii] и 2 главы IV т<ома>[iii]. Серг<ей> Дмит<риевич> отдал III т<ом> в издательство Писателей[iv]. Если у Вас нет «Начало века», дорогой Разумник Васильевич, я Вам пришлю на время свой экземпляр и постараюсь достать для Вас. Хорошо? Буду очень рада письму от Вас и известиям, как Вы живете. Часто вспоминаю Вас и Дм<итрия> Мих<айловича>[v]. Борис Ник<олаевич> в последнее свидание с ним много говорил о Вас. Кл<авдия> Ник<олаевна> – молодец. Привет сердечный»[vi].

Потом Иванову-Разумнику пришли письма от жены и друзей, в том числе от литературного критика Аркадия Григорьевича Горнфельда. Восстановилась и переписка с К.Н. Бугаевой. Перед лицом случившегося застарелые обиды отступили, а былые разногласия оказались несущественными, мелкими и преодолимыми. К сожалению, письма, адресованные Иванову-Разумнику, утрачены (за исключением приведенного выше письма Н.И. Гаген-Торн и одной открытки К.Н. Бугаевой, переписанной Ивановым-Разумником в письме жене). Сохранившиеся ответные послания Иванова-Разумника публикуются выше. Письма Иванова-Разумника к М.М. Пришвину вынесены в другой раздел и приводятся ниже – после дневника Пришвина, в котором, как кажется, нашли отражения те же мысли, что и в несохранившихся письмах Пришвина Иванову-Разумнику.

---

[1] ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 200. Публикацию полного корпуса писем Иванова-Разумника к жене см.: «Дорогая и любимая моя Варя...»: Письма Иванова-Разумника В.Н. Ивановой из саратовской ссылки / Публ. В.Г. Белоуса // Минувшее. Т. 23. С. 419–447.

[2] Л.М. Алпатов, сын М.М. Пришвина.

---

[i] Могила Владимира Соловьева на кладбище Новодевичьего монастыря.

[ii] Третья книга мемуаров «Между двух революций» (Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1934).

[iii] Речь идет о второй части третьей мемуарной книги «Между двух революций», над которой Белый работал с сентября 1933 г. до своей кончины.

[iv] С.Д. Спасский.

[v] Д.М. Пинес в то время находился в ссылке в Архангельске. Он был арестован по «делу Иванова-Разумника» в январе 1933 г., через два года выпущен, но в 1937 г. вновь арестован и расстрелян – в один день со своей женой Р.Я. Мительман. Подробнее см.: *Белоус В.Г.* «Ближайший и многолетний сотрудник мой по историко-литературным работам»: О Дмитрии Михайловиче Пинесе (1891–1937) // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. Вып. 2. СПб., 1998. С. 217–227.

[vi] ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 250.

[3] Ср.: «У каждого из нас много друзей – приятелей до черного дня. Но естественно, что на другой же день после моего ареста все эти друзья-приятели забились в кусты. Очень запуганы и зайцеподобны стали теперь люди, иной раз носящие весьма громкие имена» (*Иванов-Разумник.* Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. С. 264).

[4] Андрей Белый с женой жили в Детском Селе с апреля 1931 г. по апрель 1932 г. в соседстве с Р.В. Ивановым и В.Н. Ивановой, по адресу: Октябрьский бульвар, 32.

[5] У Белого, действительно, были свои претензии к Иванову-Разумнику и его жене. См., напр., его письмо к Д.М. Пинесу, написанное весной 1932 г., но так и не отправленное: «В<арвара> Н<иколаевна> держалась с нами на границах возможного “приличия”, неделями заставляя меня чувствовать себя, что я – лишний в их доме, в то время как Р<азумник> В<асильевич> и пошучивал, и попугивал с колючими приятностями и приятными колючестями, был настолько ненужно щепетилен в других мелочах, что от такой щепетильности делалось лишь тяжелее нам...» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 126; частично опубликовано Дж. Малмстадом: Письма Андрея Белого Д.М. Пинесу // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 86–87).

[6] См. письмо Иванова-Разумника Пришвину от 27 января 1934 г. в наст. изд.

[7] В 1920-е Иванов-Разумник и Ф. Сологуб жили в Детском Селе и были соседями по дому (Колпинская ул., д. 20). См.: *Иванов-Разумник.* Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. С. 38–45.

[8] Речь идет о близких друзьях Иванова-Разумника: Андрее Николаевиче Римском-Корсакове (1878–1940) – музыковеде и библиографе, сыне композитора Н.А. Римского-Корсакова, и о его жене Юлии Лазаревне Вейсберг (1879–1942).

[9] Литературная газета. 1934. 11 января. № 2. См. в наст. изд.

[10] Начало французской поговорки: «Самая красивая девушка в мире может дать не больше того, что она имеет». В советское время получила особую известность, поскольку приводится в работе Г.В. Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», изучавшейся в системе «партийной учебы» («<...> считаться приходится с вопросом не о том, опровергнут ли Маркс, а о том, отчего же так плохо его поняли? А на этот вопрос мы можем ответить только французской пословицей: la plus belle fille du monde ne peut dormer que ce qu’elle a. Критики Маркса не могут превзойти ту меру понимания, которая отпущена им благодетельной натурой»).

[11] Имеется в виду Александр Александрович Кроленко (1889–1970), который поддерживал отношения с Ивановым-Разумником до лета 1941 г. Подробнее о нем см.: *Иванов-Разумник.* Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. С. 28–30. В 1920-х он был директором издательства «Academia» (до переезда издательства в 1929 г. в Москву), затем работал юристом.

[12] Домашнее имя Иванова-Разумника.

[13] Вячеслав Яковлевич Шишков (1873–1945) был соседом Иванова-Разумника по Детскому Селу. Подробнее о нем см.: *Завалишина Н.* Детскосельские встречи: Главы из воспоминаний // Звезда. 1976. № 3. С. 172–183. В письмах Р.В. Иванова к В.Н. Ивановой есть еще несколько упоминаний о Шишкове. В письме от 22 апреля 1934: «Надо ли заходить к Вячшишу за “Угрюм-рекой”? Конечно, нет; я только забавлялся, представляя его физиономию, когда ты спросишь его об этой книге для меня. При случае, когда ты встретишь, – отчего не спросить? Забавно. А специально заходить – ну его и с его романом» (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 200. Л. 23 об.). Спустя шесть лет, во время работы Иванова-Разумника над архивом М.М. Пришвина, ригоризм его оценок несколько смягчается. Ср. письмо от

14 февраля 1940 г.: «А вот если вы не были у Шишковых, то зайдите; не стоит разрывать знакомства с хорошими “в общем и целом” людьми. Вспомнил об этом под впечатлением писем Вячшиша к ММ, в которых самое горячее отношение к нам. Правда, это было до научной командировки, – но ведь тогда и ММ оказался в нетях. По нынешним временам судить за это строго людей не приходится» (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 200. Л. 69 об.). Упоминаемая в последнем письме «научная командировка» – пребывание Иванова-Разумника с сентября 1937 по июнь 1939 г. в общих камерах Бутырской тюрьмы.

[14] М.М. Пришвин.

[15] Н.И. Гаген-Торн. См. ее письмо от 21 января 1934 г. в послесловии к письмам Иванова-Разумника.

[16] Выделено нами. – *В.Г. Бел*оус.

[17] После поездки к мужу в Саратов В.Н. Иванова посетила М.М. Пришвина, жившего тогда в Загорске.

[18] В 1918–1919 гг. В.Э. Мейерхольд возглавлял Театральный отдел Наркомпроса, в котором работал и Иванов-Разумник.

[19] Иванов-Разумник был соседом Петрова-Водкина по Детскому Селу.

[20] См. об этом статью Е.В. Наседкиной «Несбывшийся проект...» в наст. изд.

[21] «Тихоня» – последняя подглавка пятой главы «Котика Летаева». Начинается описанием позиции автобиографического героя: «С папочкой говорить мне нельзя: а то мамочка скажет: – “Да он преждевременно развит...” Ну-ка – буду-ка я кувыркаться! И ну-ка: на мамочку поползу, как болоночка, прямо к плюшевой туфельке – ее нюхать; и, приложив ручку к спинке, лукаво виляю я маленьким хвостиком. Я – себе на уме...» (*Андрей Белый.* Котик Летаев. Пб.: Эпоха, 1922. С. 215–216).

[22] Речь идет о предисловии Л.Б. Каменева к мемуарам «Начало века».

[23] «Ты этого хотел, Жорж Данден!» (*фр.*). Реплика героя комедии Ж.-Б. Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж» (1668).

[24] Иванов-Разумник касается этих споров в своих показаниях по делу 1933 г. См.: *Иванов-Разумник.* Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. С. 484–486.

[25] К.С. Петров-Водкин. Речь идет о статье М. Горького «О прозе», опубликованной в первом выпуске альманаха «Год шестнадцатый» (М., 1933. С. 316–332), в которой резкой критике подверглась проза как Белого (роман «Маски»), так и К.С. Петрова-Водкина (книга «Пространство Эвклида»): «Духовный родственник “Тартарена из Тараскона”, Козьма Петров-Водкин выдумывает так плохо, что верить ему – невозможно. Плохо выдумывает он потому, что при всей его непомерной хвастливости и самообожании, он человек всесторонне малограмотный. О нем можно бы и не говорить, если бы книга его не являлась вместилищем словесного хлама» (Там же. С. 325). Ср. также письмо Иванова-Разумника к А.Н. Римскому-Корсакову от 17 марта 1934 г.: «Бедный Кузя! “Человек всесторонне малограмотный, при всей его непомерной хвастливости и самообожании”. Так аттестует его М. Горький в альманахе “Год шестнадцатый” (только что прочел). А Вы все-таки прочтите (если не читали) “Пространство Эвклида” – замечательная книга» (Российский институт истории искусств. Ф. 8. Р. VII. Ед. хр. 216/2. Л. 55).

[26] Ср.: «Поиски новых форм – “муки слова” – далеко не всегда вызываются требованиями мастерства, поисками силы убедительности его, силы внушения, а чаще знаменуют стремление подчеркнуть свою индивидуальность, показать себя – во что бы то ни стало – не таким, как собратья по работе. <...> А. Белый написал предисловие к “Маскам” для критиков и литераторов, а текст “Масок” для того, чтобы показать им, как ловко он может

портить русский язык. О читателе он забыл» (*Горький М.* О прозе // Год шестнадцатый. С. 323).

[27] От фамилии персонажа комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (1936) почтмейстера Ивана Кузьмича Шпекина. Впервые употреблено А.П. Чеховым в заметке «Дело Рыкова и комп. (От нашего корреспондента)» (1884).

[28] Письма Иванова-Разумника своему близкому другу и литературному критику Аркадию Григорьевичу Горнфельду (1867–1941) хранятся в РГАЛИ (Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 321). См. публикацию их полного корпуса: Письма «нераскаявшегося оптимиста»: Р.В. Иванов-Разумник – А.Г. Горнфельду / Публ. В.Г. Белоуса и Ж. Шерона; предисл. и прим. В.Г. Белоуса // Новое литературное обозрение. 1998. № 31. С. 221–243.

[29] Впервые повесть была опубликована в журнале «Красная новь» (1933. № 3) под заглавием «Корень жизни». Книжное издание, на которое ссылается Иванов-Разумник, вышло в 1934 г. в «Московском товариществе писателей» под названием: «Жень-Шень. Корень жизни». В том же году повесть увидела свет как первая часть книги «Золотой Рог».

[30] Белый успел надиктовать К.Н. Бугаевой несколько глав книги. См. об этом в его дневнике в наст. изд.

[31] Статья М. Горького «О прозе».

[32] См. рецензию Белого на поэму Г.А. Санникова «В гостях у египтян» в журнале «Новый мир» (1932. № 11. С. 229–248).

[33] См.: *Андрей Белый.* Энергия // Новый мир. 1933. № 4. С. 273–291.

[34] Речь идет о вступлении «От автора», предваряющем текст воспоминаний, где, в частности, Андрей Белый писал: «Стыдно признаться: до 1902 года я не отличал утопического социализма от научного марксизма; мой неинтерес к первому отодвигал Маркса от меня; придвинули мне Маркса факты: рабочее движение в России; тогда впервые узнал я о Ленине. Это значило: я воспитывался в среде, где о Марксе (не говорю уж о Ленине) не хотели знать» (*НВ 1933.* С. 5).

[35] Вероятно, подразумевается глава «Тенденция “Мертвых душ”». См.: *Андрей Белый.* Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934. С. 104–111.

[36] Земский деятель, масон, глава Временного правительства (май–июль 1917 г.), князь Георгий Евгеньевич Львов (1861–1925) стал прототипом одного из отрицательных персонажей романа Белого «Маски» – Левы Леойцева. См. воспоминания П.Н. Зайцева «Последние десять лет жизни Андрея Белого»: «После прочтения в Кучине 2-й и 3-й глав “Масок” (“ Публицист из Парижа” и “В лечебнице”) зашел разговор о персонажах этих глав. На мои вопросы и предположения Борис Николаевич называл их прототипы. Лео Леойцев – это князь Г.Е. Львов» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 127).

[37] Из сказки Г.-Х. Андерсена «Старый дом» (1847).

[38] Немецкий писатель Якоб Вассерман (1873–1934) покончил жизнь самоубийством 1 января 1934 г. – после прихода Гитлера к власти. А.Г. Горнфельд был автором предисловия к книге Я. Вассермана «Дело Маурициуса» (Л., 1929).

[39] Первое отд. изд. повести Михаила Михайловича Зощенко (1895–1958) «Возвращенная молодость» вышло в «Издательстве писателей в Ленинграде» в 1933 г. До этого она публиковалась в журнале «Звезда» (1933. № 6, 8, 10).

[40] Очевидно, подразумеваются публикации в «Литературной газете» 20 февраля, 18 и 26 марта 1934 г.

[41] Речь идет о повести Алексея Павловича Чапыгина (1870–1937) «Белый скит», опубликованной «Русской мыслью» в 1913 г. (№ 4–6). Иванов-Разумник отметил ее в обзоре «Русская литература в 1913 году»: «Из других произведений сравнительно молодых авто-

ров ярко выделилась повесть А. Чапыгина “Белый скит”. Недавно вышла книга рассказов А. Чапыгина “Нелюдимые”, рассказов очень неровных по выполнению и по значению. “Белый скит” далеко оставляет за собою все эти первые рассказы и позволяет поэтому ожидать от автора еще более значительных и выдержанных произведений» (*Иванов-Разумник*. Заветное. О культурной традиции. Статьи 1912–1913 гг. Пб., 1922. С. 50–51). В архиве Иванова-Разумника сохранилось поздравление А.П. Чапыгину в день 20-летия его литературной деятельности (8 января 1925 г.), где, в частности, говорилось: «В Вашем лице русская литература имеет подлинного художника, впервые зарисовавшего красочную жизнь сурового нашего Севера; Ваш “Белый скит” твердо вписан в историю русской литературы. Вы не шли по проторенным дорогам, а искали свои пути, не заботясь об успехе, но считаясь только со своей совестью художника...» (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 3. № 15).

[42] Учениками Павла Павловича Чистякова (1832–1919), русского живописца, известного своей художественной школой, были В.А. Серов, М.А. Врубель, В.Е. Савинский, В.Д. Дервиз и др.

[43] Роман О.Д. Форш «Символисты» (в книжной редакции – «Ворон») впервые был опубликован ленинградским журналом «Звезда» в 1933 г. (№ 1, 5, 9, 10). Андрей Белый изображен в нем в образе «Сапфирного Юноши». См: *Форш О.* Ворон. Л., 1934. С. 105–107.

[44] Из хрестоматийного стихотворения известного педагога и детского писателя Льва Николаевича Модзалевского (1837–1896) «Мотылек»: «Расскажи, мотылек, / Чем живешь ты, дружок? / Как тебе не устать / День-деньской все порхать? – / Я живу средь лугов, / В блеске летнего дня; / Ароматы цветов – /Вот вся пища моя! / Но короток мой век – / Он не долее дня; / Будь же добр, человек, / и не трогай меня» (1864).

[45] О себе (*лат.*).

[46] См.: *Иванов-Разумник.* Вершины: Александр Блок. Андрей Белый. Пг., 1923. С. 105–171.

[47] Иванов-Разумник являлся литературным редактором петербургского издательства «Сирин» (1912–1915) и неонароднического журнала «Заветы» (1912–1914). Роман «Петербург» был опубликован в альманахе «Сирин» (Вып. 1–3. СПб., 1913–1914). См.: *Иванов-Разумник.* К истории текста «Петербурга» // Вершины. Александр Блок. Андрей Белый. С. 89–101.

[48] Ср.: «Скажу только, что редакция “Отечественных Записок” в общем разделяет мой взгляд на манию г. Достоевского. И тем не менее “Подросток” печатается в “Отечественных Записках”. Почему? Во-первых, потому, что г. Достоевский есть один из наших талантливейших беллетристов; во-вторых, потому, что сцена у Дергачева со всеми ее подробностями, имеет чисто эпизодический характер. Будь роман на этом именно мотиве построен, “Отечественные Записки” принуждены были бы отказаться от чести видеть на своих страницах произведение г. Достоевского, даже если бы он был гениальный писатель» (*М<ихайловский> Н.* Записки профана // Отечественные записки. 1875. № 1. Разд. II. С. 157–158).

[49] Имеется в виду отзыв Н.К. Михайловского «О “Бесах” Достоевского», опубликованный в журнале «Отечественные записки» (1873. № 2) в разделе «Литературные и журнальные заметки». См.: *Михайловский Н.К.* Литературная критика и воспоминания. М., 1995. С. 48–83.

[50] Роман «Москва» вышел в 1926 г. в издательстве «Круг» в двух книгах: «Московский чудак. Первая часть романа “Москва”» и «Москва под ударом. Вторая часть романа “Москва”». Второй том романа «Москва» – «Маски» – вышел в 1932 г. в ГИХЛе.

[51] Иванов-Разумник собирался написать статью о романе «Москва» сразу после его публикации, в 1926 г., однако это намерение так и осталось незавершенным. Подробнее см.:

Иванов-Разумник. «Москва»: План ненаписанной статьи / Вступ. статья и публ. В.Г. Белоуса // Андрей Белый: Публикации. Исследования. М., 2002. С. 133–143.

[52] Была (некогда) Троя, были и мы, троянцы (*лат.*). Неточная цитата из II песни, стих 325 «Энеиды» Вергилия (Fuimus Troes, fuit Ilium). Иванов-Разумник воспроизводит фразу по «Путешествию из Москвы в Петербург» (1833–1834) А.С. Пушкина: «Многое переменилось со времен Радищева: ныне, покидая смиренную Москву и готовясь увидеть блестящий Петербург, я заранее встревожен при мысли переменить мой тихий образ жизни на вихрь и шум, ожидающий меня; голова моя заранее кружится... Fuit Troja, fuimus Trojani».

[53] Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889) жил в Саратове с 1828 по 1846 г. и с 1851 по 1853 г., а также в 1889 г. В настоящее время в доме 142 по ул. Чернышевского находится мемориальный музей.

[54] «Tout passe, tout casse, tout lasse» – буквально: «Все проходит, все разрушается, все приедается» (франц. пословица).

[55] Смерть прозаика, критика, издателя Фаддея Венедиктовича Булгарина (1789–1859), автора ряда пасквильных статей, обращенных против Пушкина, имя которого еще при жизни стало символом литературной безнравственности, была встречена современниками практически полным молчанием.

[56] Идиоматическое выражение «погибоша аки обри», зафиксировавшее гибель в IX в. племени обров, которые воевали со славянами, восходит к древнерусской «Повести временных лет» (XII в.).

[57] Письмо приводится по копии, отправленной Ивановым-Разумником в письме к В.Н. Ивановой от 1 июля 1934 г. См.: «Дорогая и любимая моя Варя...» // Минувшее. Т. 23. С. 439–442.

[58] Андрей Белый жил на квартире Вяч. Иванова («башне») в феврале–марте 1910 г.

[59] Лев Шестов (наст. имя и фамилия: Лев Исаакович Шварцман; 1866–1938). Иванов-Разумник посвятил воззрениям Шестова главу в книге «О смысле жизни. Ф. Сологуб, Л. Андреев, Л. Шестов» (СПб., 1908). Их личное знакомство состоялось 1 апреля 1908 г. в Киеве.

[60] См.: *Иванов-Разумник.* Русская литература в 1908 г. // Русские ведомости. 1909. № 1. 1 января.

[61] Ср.: «Заполняющая собой два обширных тома (около 500 стр. каждый) и выходящая уже 2-ым изданием эта обстоятельная, систематическая и содержащая в себе огромное количество интересных данных работа не представляет, однако, собой ничего иного, как довольно жалкую и неосуществимую по существу попытку связать в одно стройное целое идейную жизнь и творческое развитие отдельных личностей с теми или иными проявлениями их влияния в общественной среде» (*Эллис.* [Рец.] Иванов-Разумник. История русской общественной мысли. Изд. II. СПб., 1907 // Весы. 1907. № 11. С. 57).

[62] Ср.: «История литературы у нас изобилует фундаментальными сочинениями самых противоположных направлений; и все же вопиющий субъективизм и бездоказательность преследует наших литературных критиков; читаю ли я интересного quasi-объективного (а на самом деле субъективного) Венгерова, хлесткого Иванова-Разумника, почтенного Овсянико-Куликовского, раздерганного П.Д. Боборыкина, Говоруху-Отрока, Страхова, меня преследует одна убийственная для наших критиков мысль: все это – порождение глубокой интеллигентской беспочвенности, все это порождение нарочитого аскетизма, все это –

боязнь полюбить самую плоть выражения мысли художника: слова, соединения слов!» (*Андрей Белый.* Комментарии // Андрей Белый. Символизм. М., 1910. С. 598–599).

[63] Личное знакомство Иванова-Разумника с Андреем Белым состоялось 11 мая 1913 г., в день его приезда с А.А. Тургеневой в Петербург.

[64] Об участии А.А. Блока в публикации романа «Петербург» см.: *Лавров А.В.* Переписка [А.А. Блока] с Р.В. Ивановым-Разумником // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 2. М., 1981. С. 388.

[65] Кавдинское ущелье – местность близ города Кавдий, где во время Второй самнитской войны в 321 г. до н. э. римские легионеры потерпели сокрушительное поражение (были вынуждены сдаться и «пройти под ярмом»), ставшее в дальнейшем символом крайнего унижения. Издательство «Сирин» принадлежало Михаилу Ивановичу Терещенко (1886–1956) и его сестрам Елизавете Ивановне (1888–1949) и Пелагее Ивановне (1884–1971).

[66] Алексей Михайлович Ремизов (1877–1957) привлек Иванова-Разумника к работе в издательстве «Сирин». Подробнее об участии Ремизова в деятельности издательства см.: «Сирин» – дневниковая тетрадь А. Ремизова / Предисл., публ. и прим. А.В. Лаврова // Алексей Ремизов: Исследования и материалы. (Europa Orientalis. 4). Pietroburgo; Salerno, 2003. С. 229–248.

[67] Белый с А.А. Тургеневой были в Петербурге по дороге из Гельсингфорса в Боголюбы в конце мая 1913 г.

[68] Первое письмо Иванова-Разумника к Андрею Белому датировано 25 ноября 1913 г. Последнее (Андрея Белого – к Иванову-Разумнику) – 4 сентября 1932 г. См.: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка.

[69] Д.М. Пинес.

[70] В конце 1920 г. Андрей Белый находился в Москве. См.: Андрей Белый: Хронологическая канва жизни и творчества / Сост. А.В. Лавров // Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 794.

[71] Белый приехал в Петроград 31 марта 1921 г. и выступал в Вольной философской ассоциации с лекциями о символизме с мая по июнь. См.: *Белоус В.* Вольфила [Петроградская Вольная Философская Ассоциация]: 1919–1924. Кн. 2. Хроника. Портреты. М., 2005. С. 458–460.

[72] Белый приехал в Петербург и остановился в гостинице «Спартак» 31 марта 1921 г.

[73] Со 2 по 10 мая 1921 г. Блок находился в Москве, где выступал с чтением стихов. См.: Письма Блока к Н.А. Нолле-Коган и воспоминания Н.А. Нолле-Коган о Блоке (1913–1921) / Публ. Л.К. Кувановой // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 2. С. 353–365.

[74] Последняя встреча Блока с Белым в гостинице «Спартак» произошла 25 мая 1921 г.

[75] Андрей Белый в конце 1910-х – начале 1920-х намеревался написать многотомную «Эпопею», результатом чего стали повести «Записки чудака», «Котик Летаев», «Крещеный китаец» (первоначальное название – «Преступление Николая Летаева»). В апреле–мае 1921 г. он как раз заканчивал работу над «Преступлением Николая Летаева».

[76] День смерти Блока.

[77] В Детском Селе у Иванова-Разумника Андрей Белый жил с конца июня по начало сентября 1921 г.

[78] В Германию.

[79] Сохранившиеся в неполном виде дневниковые записи Андрея Белого в настоящее время опубликованы. См.: *О Блоке 1997.* С. 447–474.

[80] См.: *Иванов-Разумник.* Вершины: Александр Блок. Андрей Белый. С. 109–110.

[81] Константин Андреевич Лигский (1882–1931) – эсер, антропософ, участвовал в строительстве Гетеанума в Дорнахе, после Октябрьской революции – член ВКП(б), работал в Наркомате иностранных дел. В 1920-е – заведующий консульским отделом полпредства СССР в Польше, генконсул СССР в Токио, первый секретарь полпредства СССР в Греции. См. о нем: Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Малмстада // Минувшее. Т. 6. С. 399–400; 444.

[82] С.Г. Спасская (Каплун).

[83] См.: *Иванов-Разумник.* 27 февраля 1917 года (Страница из воспоминаний) // *Иванов-Разумник.* Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. С. 421–425. Впервые эти воспоминания были опубликованы в книге Иванова-Разумника «Перед грозой» (Пг., 1923. С. 131–136).

[84] Петровское коммерческое училище при Санкт-Петербургском купеческом обществе с 1880 по 1926 г. располагалось на набережной Фонтанки, д. 62. Возможно, речь идет о докладе «Творчество мира», который был прочитан Андреем Белым в Петербургском религиозно-философском обществе 16 февраля 1917 г.

[85] Народоволка, мемуаристка Вера Николаевна Фигнер (1852–1942) принимала участие в первом выпуске альманаха «Скифы». См.: *Фигнер В.* А.И. Иванчин-Писарев // Скифы. Сб. 1. С. 255–259; а также: *Фигнер В.* Письмо к А.И. Иванчину-Писареву // Там же. С. 259–260. Ее знакомство с Андреем Белым состоялось в феврале 1917 г.

[86] Речь идет о Дмитрии Сергеевиче Мережковском (1865–1941), Зинаиде Николаевне Гиппиус (1869–1945) и Дмитрии Владимировиче Философове (1872–1940). Свидетельства о ночном визите Иванова-Разумника к Мережковским, жившим неподалеку от Таврического дворца, где заседала Государственная дума, сохранились в дневниках З.Н. Гиппиус и Д.В. Философова. В обоих случаях этот визит датируется 1 марта. См.: *Гиппиус З.* Живые лица: Стихи. Дневники. Кн. 1. Тбилиси, 1991. С. 294–296; *Философов Д.В.* Дневник / Публ. Б. Колоницкого // Звезда. 1992. № 2. С. 191–192.

[87] Андрей Белый вернулся в Москву 24 октября 1917 г. Ср. его письмо к Иванову-Разумнику от 9 ноября 1917 г., в котором описывается состояние его квартиры в доме в Никольском пер. близ Арбата: «После 6-дневной бомбардировки нашего дома, ни за что ни про что, я уехал: в квартире выбиты стекла, стоит адский холод. Вообще, у меня что-то вроде презрительного бойкота города, где мирные граждане – ни юнкера и контр-революционеры, ни большевики – рискуют жизнью. В нашем доме нет ни одного цельного стекла, над нами рвалась шрапнель, а мы холодали-голодали и переживали одно чувство: за что?» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 141–142).

[88] Встречные письма Иванова-Разумника и Андрея Белого от 9 ноября 1917 см.: Там же. С. 137–142.

[89] Книга вышла в апреле 1934 г.

[90] Ср.: «Не даром нас разделили Клюев и Сологуб, которых ценю, но которых... не л-ю-б-л-ю, так точно, как Р.В. не любит героев моего романа; наши перманентные распри о Гоголе; он “грыз” меня с сентября, создавая каждый день “маленькие неприятности” моей работе, как умел только он, – “ненавижу Гоголя”, “ненавижу все, что ни коренится в Гоголе” с подчерком: “Не думайте, что люблю Вас, как писателя: ц-е-н-ю, ненавидя собственно” – То, что он кидался на меня, когда я читал по просьбе других отрывки-черновики, – лишь следствие каждодневных разговоров, в которых “приятная соль” была всегда сильно присыпаемою с какой-то странной веселостью: причинить боль для боли» (Письма Андрея Белого Д.М. Пинесу // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 87). Примечательно, что и М.М. Пришвин имел резоны жаловаться на колюче-критический нрав своего «старого литературного друга»: «Разумник со времени “Заветов” не сказал ни одного

одобрит<ельного> слова о моих вещах, написанных при сов<етской> власти: он ревнует. Пришвина ведь он открыл. Я начинаю подозревать, что он вовсе и не понимал и не понимает, о чем я пишу. <...> Ему, наверно, нравятся во мне некоторые стилистические приемы, по всей вероятности, действительно в прежнее время еще более четкие, чем теперь. А до А. Белого, как говорит Раз<умник>, я и совсем не дошел» (*Пришвин М.М.* Дневники. 1936–1937 / Подгот. текста Я.З. Гришиной, А.В. Киселевой; статья и коммент. Я.З. Гришиной. СПб., 2010. С. 30–31).

[91] Литературовед Валериан Федорович Переверзев (1882–1968) был, в частности, и автором книги «Творчество Гоголя» (М., 1928). «Переверзевщина» – синоним «вульгарного материализма» в литературной критике 1920-х.

[92] Д.С. Мережковский являлся автором целого ряда работ, посвященных Гоголю, в том числе исследования «Гоголь и черт» (М., 1906) и книги «Гоголь. Творчество, жизнь и религия» (СПб., 1909).

[93] Далее анализируется следующая цитата из «Мастерства Гоголя»: «Личное у Гоголя – мелко, не эстетично, не героично; личность, выписавшись из дворянства, крестьянства, казачества, гибнет телесно с Поприщиным, или... прижизненно мертвенеет в мещанском сословии, в которое переползает дворянчик; Хлестаков неспроста “насвистывает сначала из “Роберта”, потом “Не шей ты мне, матушка”, а наконец – “ни се, ни то”. Сперва – героика “Роберта-Дьявола”: преступление через узы родства: Петрусь Безродный, проклятый Петро; потом – ужаснувшийся своим “королевством” Поприщин: “Матушка, пожалей о... дитятке” <...>; и, наконец, – смерть в мещанстве: “не слишком толст, не слишком тонок, нельзя сказать, чтобы стар, однакож и не так, чтобы слишком молод” <...>; эволюция слов сопутствует перерождению дворянского рода в мещанство; сначала “все”, потом – “ничто”; наконец – “не ничто”: “ни се”, по “ни то”; оторванные сознания, не обретая “я”, изживаются раздрызгами жеста; в смеси колеров коричневатых, голубоватых и желтоватых, в серых они – толчея в толчее» (*Андрей Белый.* Мастерство Гоголя. С. 163).

[94] Книга М.М. Пришвина «Золотой Рог» была выпущена в 1934 г. «Издательством писателей в Ленинграде».

[95] См.: *Андрей Белый.* Мастерство Гоголя. С. 104–111 (главка «Тенденция “Мертвых душ”»).

[96] Слова Тараса Бульбы из одноименной повести Н. В. Гоголя, адресованные сыну Андрею.

[97] НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 49. Ед. хр. 29. В 1940 г. в Москве и Загорске Иванов-Разумник занимался – по заданию Государственного литературного музея и его директора В.Д. Бонч-Бруевича – описанием архива М.М. Пришвина. Эту работу он получил после освобождения из тюрьмы в июне 1939 г. (см.: *Белоус В.Г.* Испытание духовным максимализмом // Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. С. 18).

[98] Из стихотворения В.С. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (1887).

[99] Из письма А.С. Пушкина к П.А. Плетневу от 21 января 1831 г., написанного после кончины А.А. Дельвига: «<...> никто на свете не был мне ближе Дельвига <...>. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все <...>. Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров – и постараемся быть живы».

Подготовка текста, комментарии и послесловие В.Г. Белоуса

ИЗ ПИСЕМ К М.М. ПРИШВИНУ

I

27 января 1934 г. Саратов.
Чернышевская ул., д. 138
(угол Бабушкина пер.),
кварт. Иринархова (№ 4).

Дорогой Михалмихалыч, за мною долг — на два Ваших письма я ответил лишь небольшой цидулкой с оказией и обещался ответить подробнее. Но, исполняя обещание, вижу, что мое письмо к Вам — пустяки, а что от Вас жду письма, которое будет значить много. Вы понимаете, что это я все о смерти Белого говорю. Я об этом и Леве[1] на днях писал, благодаря его за присылку фотографий Белого в гробу. Сожгли его, прах захоронили на Новодевичьем (как и надо было), жизнь идет своим чередом, события за событиями, и все давно уже о нем забыли. А я вот сижу и брожу в одиночестве все еще под ударом 8-го января. Когда умер Блок, я переживал то же самое, но почему-то легче. Вероятно, потому, что тогда был не в одиночестве, но также и потому, что тогда нас было еще много. Теперь — иных уж нет, а те далече[2], и наше литературное поколение насчитывается уже не десятками и даже не единицами, а всего-то навсего одной-другой единицей — и конец. Да вот нескромный пример: умри я завтра — и кто останется у Вас из былых друзей и соратников по литературе и жизни? Искренно говорю Вам — почувствуете тогда пустоту, как бы ни была полна жизнь Ваша другими впечатлениями.

Вот такую пустоту, отягощенную одиночеством, чувствую я эти недели. С Белым так много было пережито вместе, что с его смертью точно часть меня самого умерла, и все тянет меня к могилке, в которой похоронена часть меня самого. Снисходя к этому чувству — напишите мне, что можете — о своих впечатлениях последних проводов, и что знаете — об обстоятельствах его смерти. У Вас был «роман» с Белым несколько месяцев, а у меня — двадцать лет, и вот почему с таким трудом хоронятся эти старые связи. Я уже не говорю об «объективной оценке» покойного: годами и десятилетиями будут его еще изучать, как огромную величину русской литературы первой трети XX-го века.

Старый друг Михалмихалыч, остались Вы у меня один, как перст, — да и я у Вас один, как перст остался, семья, дети, знакомые, родня, — это все совсем другое. Давайте же, сделаем друг другу удовольствие — будем жить как можно дольше «на зло врагам» и на радость самим себе. Ведь в четверть века совместной литературной жизни — от столовой Ильи Николаевича[3] и «Заветов»[4] до «Романа Новосельского»[5] — со счетов не скинуть, а Колпинскую 20[6] или Песочки[7] — не позабыть. Итак, сто лет Вам здравствовать, к нам на похороны! (плагиат).

Надоел я Вам, вероятно, всем этим, — больше не буду и резко перехожу к другому, чтобы показать, что живой о живом и думает. Думаю же я теперь о работе, по поводу которой написал Вам с В.Н.[8], и о том, какие большие работы написал бы я теперь, если бы руки у меня были развязаны. Три тома (вышел только один) о Салтыкове[9], большой том по исследованию творчества Блока, большой том об Андрее Белом (больше не буду!). Смешно подумать, что эти книги остались бы в истории литературы, а вот теперь не могут и родиться <...>. Год тому назад смотрел я на выставке картину Петрова-Водкина[10], самого большого художника-живописца наших дней: картины, портреты, натюрморты. И что же? Натюрморт 1932 года ничем, даже мастерством, не выше тех «Яблок» 1915 года, которые Вы помните в моем кабинете[11]. Мастерство огромное, но одинакое. Вечно расти, вечно давать новое, все более совершенное по форме и все более углубленное и утончéнное (не утóнченное) по содержанию — это радостная судьба не многих художников, особенно таких, которые уже справили тридцатилетний юбилей и вдвое того — жизненный юбилей.

Кстати, можете мысленно поздравить и меня: первая моя работа появилась (в «Русской мысли») в марте 1904 года[12], — значит, и я догнал Вас, знаменуя в этом году свой тридцатилетний литературный юбилей. Но судьба у нас с Вами разная: юбилейный год оказался для Вас счастливейшим из всех и даже, в области быта, завершился Машкой[13] <...>. Мой юбилейный год, пока что, ничего особенного не сулит, кроме невозможности напечатать задуманное <...>. Обнимаю.

Любящий Вас Р. Иванов.

II

30 января 1934. Саратов.

Дорогой друг Михалмихалыч, только что получил Ваше письмо (не заказное) о Белом, отправленное Вами 27-го; не удивительно, что того же 27-го числа я послал Вам (заказное) письмо тоже о Белом, совпадающего содержания и даже с тою же самою концовкой! Вот и верь тут теории вероятности с ее убедительнейшим доказательством невероятности таких совпадений!

Чудесным рассказом своим о похоронах Белого Вы меня так утешили, что и сказать трудно. К неожиданной смерти его я отнесся хотя и без надрыва, но с очень большой болью. Эту боль смягчило сперва письмо от Кл. Ник. (жены), а потом и окончательно — сегодняшнее Ваше. Да, так и умереть хорошо, как он, и быть схороненным, как он — по Вашему описанию — тоже хорошо. Боль за него и о нем, конечно, остается, но это уже скорее боль о себе, осиротевшем в мире еще на одного (и какого!) близкого человека.

Я не знаю, правы ли Вы, говоря, что сгорел последний черновик[14], так как могу назвать ряд ценных чистовиков, оставшихся неосуществленными; но Вы глубоко правы, говоря о своем различии с Белым и о том, что Вам нет входа в лабиринты его построений, а ему — в берендеево царство[15]. Это глубоко верно, но с двойной поправкой: он не мог войти в берендеево царство, но (как Вы и пишете) мог его понимать; Вы не можете понятиями и силлогизмами войти в его построения, но иррационально, от берендеевских глубин, Вы всех их постигаете. В этом смысле Белый и Пришвин — два противоположных полюса и нашей литературы<,> и во-

обще восприятия мира. Ничего удивительного нет, что, живя тридцать лет рядом, Вы не сошлись: полюса всегда отталкиваются. И еще скажу, уже не о нем и не о Вас, а о себе: критик по существу своему есть человек надполюсный. Пушкин и Гоголь — величайшие полярности, мировоззрительные и литературные, но Белинский и Ап. Григорьев надполярно оценили творчество того и другого. В наших масштабах я про себя нескромно думаю, что я сумел оценить Пришвина и Белого; по крайней мере лучшими своими статьями за все тридцать лет работы считаю свои статьи о Пришвине (в сборнике «Творчество и критика»)[16] и о Белом (в сборнике «Вершины»)[17]. К этому прибавлю еще Блока и свою статью о его «Двенадцати»[18].

Но тут открою Вам один свой секрет, который как-то к случаю открыл и Белому (а он — не обиделся). Белый с женой жил у нас целый год (Вы помните) и писал исследование о Гоголе (замечательное), читая его нам с В.Н. главу за главой по мере написания[19]. У меня бывало много возражений, иной раз острых. Кое с чем он соглашался и исправлял, кое-что отстаивал до конца. Как-то раз за вечерним чаем вспыхнул жаркий бой: Белый, весь «огоголенный», вдруг опрокинулся со всею яростью (а в ярости он бывал великолепен) на прозу Пушкина, считая ее мертвой, сухой, безжизненной — и восторгаясь ритмически певучей и образной фразой Гоголя. Я принял вызов, и у нас состоялась своеобразная дуэль, при наших женах-секундантах. Каждый из нас должен был прочитать вслух страницу прозы «своего» автора, а потом честно признаться в своем впечатлении. Он выбрал первую страницу «Страшной мести», построенную на сложнейшей ритмике, и прочитал ее, как только *он* умел читать. Я всецело признал то, чего никогда не отрицал: изумительнейшее мастерство! Но честно признался: оно оставляет меня внутренне холодным; восторгаюсь я от ума, а не от чувства, — потом я выбрал (наугад) страницу из «Пиковой дамы», разговор Германа с Лизой после смерти старухи-графини. И на этот раз — представьте! — Белый, как громадный художник, был потрясен простотой, силой, величавостью сцены; какие простые приемы и какое проникновение! Он честно признал себя побежденным и взял назад все свои нападки на прозу Пушкина.

Тут-то к слову я и открыл ему свой секрет, которого никому не открывал, а теперь второму открываю Вам: для меня Белый — безмерно усложненный Гоголь наших дней (говорю о прозе); я изумляюсь, восторгаюсь, изучаю его слово за словом, даже букву за буквой (в статье о «Петербурге» в сборнике «Вершины»[20]), — но все это мне, в конце концов, враждебно, как, между нами говоря, и весь Гоголь. А вот кажущаяся простота «Кащеевой цепи» и (сложнее) «Журавлиной родины» — дает мне то, чего не может дать сложнейший «Петербург» и паче сложнейшая «Москва».

И Белый — не обиделся; он только сказал, что не читал ни «Кащеевой цепи»[21], ни «Журавлиной родины»[22], — и взял их у меня почитать. Прочел ли? — И что вынес? — Об этом, быть может, он Вам сказал в эти последние полгода своей жизни.

Und damit — Punctum[23]. Больше не буду писать Вам о Белом. А Вы, если не уничтожили своего первого письма ко мне о его похоронах — пришлите его, как материал, как приложение ко вчерашнему письму. <...>.

Любящий Вас Р. Иванов.

III

15 марта 1934.

Дорогой Михалмихалыч, 5-го марта я получил посланные 14 февраля 100 рублей. «Друзья познаются в несчастьи», — хотя со мной никакого несчастья еще не случилось (а произошла лишь маленькая неприятность), тем не менее я теперь «познал» то, что и раньше хорошо знал: «не имей 100 рублей, а имей сто друзей». Правда, из ста друзей 97 нырнули в кусты, но тем паче трогает меня дружеское участие двух-трех, первым из которых являетесь Вы. Спасибо за память и за поддержку, <...> я здесь совсем один, в добровольном одиночном заключении своей комнаты. Сегодня по старому стилю — 2 марта. Ровно тридцать лет назад в этот день вышел мартовский номер «Русской мысли», с первою моею печатной статьей. Значит — можете прислать мне поздравительный адрес от московских писателей. Занятно. <...>

IV

17 апреля 1934 г.

<...> Есть у меня в книге «Вершины» статья «Петербург» (про Андрея Белого); про автора этого впоследствии будут написаны томы, но все-таки статья моя останется, как и статья о «Двенадцати» Блока, «краеугольным камнем» в понимании этих авторов и этих произведений. Говорю это не хвастовства ради (Вы знаете, что оно мне не свойственно, да и при чем тут оно, когда речь идет о всей литературе русской?), а потому, что это подлинно так. <...>

V

28 мая 1934 г.

Дорогой друг Михалмихалыч <...>.

А я теперь читаю изумительное по тонкости исследование Андрея Белого «Мастерство Гоголя», которое он писал у нас в Д<етском> Селе и читал по вечерам главу за главой. Много было у нас тогда яростно-дружеских схваток по поводу этой книги; я рад был убедиться теперь, что в результате их он от многого отказался. И все-таки — всю первую половину книги — первые две главы — начисто отвергаю: за мережковщину и за псевдо-марксизм; но и отвергая — восхищаюсь гениальностью приемов в корне ложной концепции. Мог бы написать (и быть может еще напишу) на эту тему целую статью. Но фактические главы 3—5 — поразительны по методу и по результатам. Кстати о Белом, в прошлом письме Вы между прочим сказали, что у Белого нет юмора. В каком-то смысле это верно, но в очень внутреннем (нет легкого юмора), а не во внешнем. Надо было послушать, как сам Б.Н. читал (поразительно!) главку «Бой братьев» («Маски», стр. 423—4)[24], где братья Коробкины сражаются кочергой и половой щеткой, и как при этом Б.Н. заливался своим детским смехом. Или — нагромождение юмористики (юмор с надрывом) в фамилиях тех же «Масок»[25], или... Обрываю, бумага пришла к концу.

Послесловие

С М.М. Пришвиным Иванова-Разумника связывала многолетняя дружба. Его творчество он начал превозносить и пропагандировать еще в 1911 г.[26] Когда же в 1933 г. Иванов-Разумник оказался в ссылке, Пришвин, в отличие от других представителей литературной братии, не только не отвернулся от давнего знакомца, но и по мере сил старался его поддержать. Иванов-Разумник был за это Пришвину безмерно признателен: «Не только писал он мне бодрые письма в Новосибирск и Саратов, не только присылал новые свои книги, не только хлопотал в московских издательствах о какой-нибудь работе для меня, но даже, когда хлопоты эти не увенчались успехом, по собственному почину, нисколько не скрывая этого, решил высылать мне ежемесячно по двести рублей. Только благодаря ему я еще и существую в сем “физическом плане” – и не могу умолчать об этом»[i].

Иванов-Разумник считал Пришвина не только хорошим писателем, но и очень близким себе по духу человеком. Отношение Пришвина к «духовному максимализму» Иванова-Разумника было значительно более сложным. С одной стороны, он признавал, что Иванов-Разумник избрал для себя «путь подвига» (запись за 1 марта 1932 г.), но, с другой, считал его бескомпромиссность устаревшей, нежизненной: «Пафос реликтов: человеческая буква на ять (двуперстие, Иванов-Разумник)» (запись за 1 сентября 1932 г.); «<...> у некоторых является страх к приспособлению, и они в своей жизни ничем не отличаются от старых раскольников (Разумник Вас. Иванов)» (запись за 14 ноября 1933 г.). Более того, Пришвин видел в Иванове-Разумнике гордыню и властолюбие – качества, глубоко ему антипатичные и даже пугающие: «Боюсь, что Разумник подвизается из-за гордости и до такой степени силен, что не сломится. И если бы ему удалось “пересидеть” и стать... <...> если бы стали у власти, то нас непременно бы насиловали, как и большевики. Никакой разницы!» (запись за 9 марта 1932 г.); «Анархист то же, что женофоб: всякий женофоб тайный женолюб, так и всякий анархист есть скрытый властолюбец (напр., Иванов-Разумник)» (запись за 14 мая 1934 г.); «Разумник Васильевич Иванов страдает, в конце концов, как неудавшийся претендент на престол. Очень трудно ведь и зализать такую рану. В этом случае нужна “милость”» (запись за 27 августа 1935 г.)[ii].

Одним из наиболее наглядных пунктов расхождения Иванова-Разумника и Пришвина оказалась оценка личности и творчества Андрея Белого. Если Иванов-Разумник, несмотря на все свои претензии к Белому, считал его творчество вершиной русской литературы XX века, то Пришвин Белого хоть и считал гением, но не любил и не принимал, как, впрочем, и вообще всю ту линию русской культуры, которую представлял Белый. Во внутренней, часто ожесточенной критике Белого Пришвин провел годы, и смерть последнего символиста не стала веской причиной, чтобы смягчить суровый моральный приговор, вынесенный Пришвиным Белому-писателю, Белому-человеку и Белому-жизнестроителю.

Спор о Белом Пришвин вел с Ивановым-Разумником в письмах, в дневнике и при личных встречах (см. запись за 15 ноября 1936 г. в наст. издании). Письма Пришвина, адресованные Иванову-Разумнику, не сохранились, однако их содержание возможно реконструировать не только по ответным посланиям Иванова-

[i] *Иванов-Разумник.* Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. М., 2000. С. 265.
[ii] *Пришвин М.М.* Дневники. 1932–1935. Кн. 8. М., 2009. С. 72, 183, 315, 79, 400, 774.

Разумника, но прежде всего по дневниковым записям Пришвина, приведенным выше.

Письма Иванова-Разумника к Пришвину хранятся в РГАЛИ (Ф. 1125. Оп. 2. Ед. хр. 1048). Приносим благодарность Л.А. Рязановой за разрешение ознакомиться с ними.

---

[1] Л.М. Алпатов-Пришвин.

[2] Из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина (1825–1831).

[3] Двоюродный брат Пришвина, публицист, театровед, литературный критик Илья Николаевич Игнатов (1856–1921).

[4] Иванов-Разумник был ведущим критиком и фактическим руководителем литературного отдела журнала эсеровской ориентации «Заветы» (1912–1914); Пришвин активно там печатался и вел рубрику «По градам и весям».

[5] Один из псевдонимов Иванова-Разумника.

[6] Адрес Иванова-Разумника в Детском Селе.

[7] Песочки – деревня под Новгородом, в которой жил Пришвин с 1911 по 1914 г.

[8] В.Н. Иванова, жена Иванова-Разумника.

[9] См.: *Иванов-Разумник.* М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Ч. 1. 1826–1868. М., ГИХЛ, 1933. О работе Иванова-Разумника над творчеством Салтыкова-Щедрина и других его творческих планах и неосуществленных проектах см.: *Лавров А.В.* Историко-литературные замыслы Иванова-Разумника // Иванов-Разумник: Личность. Творчество. Роль в культуре. СПб., 1996. С. 98–116.

[10] В 1932 г. Петров-Водкин участвовал в выставке «Художники РСФСР за 15 лет» (открылась 13 ноября в Государственном Русском музее). Многие полотна, экспонировавшиеся на ней, поступили в собрание музея.

[11] Возможно, имеются в виду знаменитые натюрморты Петрова-Водкина «Яблоки» (1917; или ранние этюды к нему) и «Черемуха в стакане» (1932). Оба – в собрании Государственного Русского музея.

[12] Имеется в виду статья «Н.К. Михайловский» (Русская мысль. 1904. № 3).

[13] Так, женским именем, Пришвин называл свою машину.

[14] См. об этом ранее в дневнике М.М. Пришвина.

[15] См. об этом ранее в дневнике М.М. Пришвина.

[16] *Иванов-Разумник.* Творчество и критика. Статьи критические: 1908–1922. Пб., 1922. С. 24–48 (статья «Великий Пан»).

[17] *Иванов-Разумник.* Вершины. Александр Блок, Андрей Белый. Пг., 1923.

[18] Имеется в виду статья «Испытание в грозе и буре». Впервые – в журнале «Наш путь» (1918. № 1). Вошла в сб. «Вершины» (С. 175–206).

[19] Белый и Клавдия Николаевна жили в Детском Селе с перерывами с апреля 1931 г. по апрель 1932 г. В это время писатель работал над книгой «Мастерство Гоголя. Исследование», вышедшей уже после его смерти – в апреле 1934 г. (М.; Л., ГИХЛ).

[20] См. статьи «К истории текста “Петербурга”» и «Петербург» в сб. «Вершины» (С. 89–174).

[21] «Прочтите его прекрасный роман “Кащеева цепь”», – советовал Иванов-Разумник Белому в письме от 29 февраля 1929 г. (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка.

С. 621); как уточняется там же в комментариях (С. 622. Прим. 10), автобиографический роман М.М. Пришвина «Кащеева цепь» в составе первых четырех «звеньев» был опубликован отдельным изданием в 1927 г. (М.; Л., Госиздат), в составе десяти «звеньев» – в томах 5 и 6 Собрания сочинений Пришвина (М.; Л., Госиздат, 1928). В статье «Мелкая форма (Из работы Романа Новосельского "Очерк об очерке")» (декабрь 1930 г.) Иванов-Разумник характеризует «сложнейший лирико-эпический роман» «Кащеева цепь» как «органический синтез громадного числа отдельных "очерков"», отражающий «типичную особенность Михаила Пришвина как художника, убежденно включившего в "очерк" все свое творчество и сумевшего довести эту форму до романа и до поэмы» (*Роман Новосельский.* Мелкая форма // *Пришвин М.* Скорая любовь. Избранные произведения. [М.], 1933. С. 12, 15)».

[22] См. письмо К.Н. Бугаевой к Иванову-Разумнику от 14 декабря 1932 г.: «Милый Разумник Васильевич, пишу Вам вместо Б.Н. <...>. Из последних впечатлений очень большое и сильное: "Журавлиная родина" <...>. Прекрасная книга» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 707). Роман был опубликован в 1929 г. в журнале «Новый мир» (№ 4–9).

[23] И на том – точка (*нем.*).

[24] *Андрей Белый.* Маски. М., ГИХЛ, 1932. Судя по всему, роман был прислан Иванову-Разумнику К.Н. Бугаевой уже после смерти Белого.

[25] Своими достижениями в этой области Белый сам гордился и делился «находками» с Ивановым-Разумником. См., напр., в письме, датированном первой декадой августа 1926 г.:

«Для шутки посылаю Вам список квартирантов одного дома с Табачихинского переулка (запись на карточки) из 2-го тома "Москвы", если оный будет; составляли ради смеха с К<лавдией> Н<иколаевной>, – делился Белый своими творческими удачами с Ивановым-Разумником: – Абакралова, фон Клаккенклипс, Кликотакин, Клопакер, Кекадзе (Иван), Кока Поков, Моавр, Индихинес, Маврулия Бовринчиксинчик, Паханций, Велес-Непещевич, Орловикова, Сидервишкин, Тарас Верливерко, Кактацкий, фон-Винзельт, Егор Гнилоедов, Воняй-Кизмет, фон Пудопаде, Пепардина, князь Лужердинзе-Щербун-Двусерпянский, Зебардина, Жак Вошенвайс, Пеццен-Цвакке, Сергей Колзцов, Шмуль Лерович, Илкавин, Мамай-Алмамед, Милдоганин, Илья Ниласетов, Тулпянская, Нил Галдаган, Милалайкис, Сергей Селеленев, Липанзин, Хотлипина, Плитезев, Лев Подподольник, Гнильян, Ангелоков, Гортензия де-Дуроприче, Достойнис, Желдицкая, Юдалионов, Жевало-Бывало, Жижан-Дощан (Ян), Депрезоров, Иван Педерастов.

Простите за шутку; этот список чудовищностей – мое упражненье со звуками в процессе чтения курса лекций доктора о драматическом искусстве <...> принцип "остранения" Шкловского у доктора изумительно углублен <...>. Вот и я принялся "остранять" список жильцов» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 354).

[26] Имеется в виду статья «Великий Пан (О творчестве М. Пришвина)». См.: *Иванов-Разумник.* Собр. соч. Т. 2: Творчество и критика. СПб., [1911]. С. 42–70. См. также: *Иванов-Разумник.* Заветное. О культурной традиции: Статьи 1912–1913 гг. Пб., 1922. С. 83–97 (статьи «Черная Россия ("Пятая язва" [А. Ремизова])» и «Никола Староколенный [М. Пришвина]»).

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

М.М. ПРИШВИН

ИЗ ДНЕВНИКОВ 1932–1942 гг.

1932

9 февраля.

<...>. Писатель яркий, вроде Белого, главным образом не тем нетерпим, что у него иная идеология, а тем, что он, как «известный», имеет индивидуальность кричащую, выросшую за пределами революции. Отсюда ясно, что чем больше показываться на людях, тем, значит, больше навлекать на себя вражду. <...>

5 октября.

<...>. *Царедворцы.*

Писатели проникли ко «Двору». Быть при Дворе стало необходимостью для писателя, имеющего виды на положение и славу. Лучше всего это видно по Толстому, который прошлый год еще заявил Разумнику, что он теперь «стоит за сов. власть», а в нынешнем году уже и переселяется в Москву[1]. Все эти писатели, Толстой, Леонов, Пильняк (тоже хитрец) и сам Максим, мне представляются всегда как бы на пружинах, такие они все умные и хитрые, и, главное, живучие. Среди стариков остаются очень немногие независимые, типа Белого, а молодежь, конечно, есть всякая, конечно, среди молодых есть живущие исключительно во власти своего таланта. <...>

29 – 30 <октября>.

Пленум Оргбюро. 30-го моя речь «Сорадование»[2]. Победа. Воистину Бог дал! Самое удивительное, это вынесло меня по ту сторону личного счета со злом, и оба героя, бонапарты от литературы Горький и Авербах получили в моей речи по улыбке[3]. Может быть, повлияла моя молитва в заутренний час об избавлении себя от ненависти к злодеям. И, по-видимому, да, в этом году суждено мне было побороть и страх, сначала, а потом, кажется, и овладеть своей болью от ненависти к злодеям.

Никто другой из писателей не мог бы сказать подобную речь, слишком все в страстях, мной про себя пережитых. Напр., Пильняк в отчаянии, что его выругали в «Красной нови»[4], и он сейчас в этой беде.

После меня говорил Белый... как построить литературный «Днепрострой», и что он, кустарь, хочет государству передать свой станок, и что передать он может равным, ученым, понимающим, в чем дело. Каким-то образом он хотел присоединить к моему сорадованию знание. <...>

31 <октября>.

Авербах складывается с Белым: «Днепрострой». Белый оглядывается на сорадование и хочет включить его[5], Авербаху нет времени доискиваться в себе этого

<...>. Интересно бы допытаться у Белого, будет ли в его «Днепрострое» сердце... и как добраться до него: личность... Станок передает государству, а *сам*? <...>.

4 ноября.

Итак, на Пленуме я провел 29-е, 30, 31, 1, 2, 3 = 6 дней. Увидел все, и это «все» оказалось ничто. Каждый из ораторов личную обиду от РАППа представлял обществу под углом своего личного зрения, и оттого волей или неволей, сам того не сознавая, вывертывался весь со всем своим существом. Не знаю, хватит ли пальцев на одной руке, чтобы сосчитать людей, искренно выступивших за пределы своей обиды (Белый, Пришвин, Серафимович, Фадеев, Вс. Иванов). <...>

26 ноября.

23-го поехал в Москву и вечером слушал Белого[6]. 25-го вечером вернулся в Сергиев[7] с Лёвой[8]. <...>

Лева, прослушав Белого, сказал мне: — Раньше я думал, что ты, папа, одинокий чудак, а теперь по Белому и по тебе вижу, что то была особая порода людей и ты не один, было такое общество необыкновенных людей. — А мне удивительно, — ответил я, — в нынешнем обществе литераторов, до какой степени подлости может дойти человек, и еще писатель!

28 ноября.

<...>. В речи Белого (краеведческая секция) было советское же дело представлено с лицевой, недоступной самим коммунистам стороны. Выходило из слов Белого так, что царящее зло при посредстве творческой личности превращается в свою противоположность[9]. Сам он своим личным примером показывает, как плодотворно можно работать и при этих условиях. Да, это верно; вот именно-то при этих условиях и надо напрягать свои силы и делать лучшее.

Лёва, выслушав Белого, сказал, что он вдруг понял через Белого и меня: так, раньше он считал меня одиноким чудаком, а тут оказалось, что это было целое общество из таких людей. <...>

1 декабря.

Москва. Диспут о докладе Белого[10]. Отдал ему на чтение «Журавл<иную> родину»[11]. *Деталь* (вопрос) Ответ: личность, без личности не может быть детали. <...>

6 декабря.

<...>. Белого надо понимать из Европы, где художники в отношении цивилизации так же бессильны, как мы в госуд. колхозе. Игра на том, что мы назвались груздем (революция — факт культуры) — Полезай в кузов! — велит Белый... <...>

1933

9 февраля.

Думаю часто о Белом, что, напр., он может сколько угодно врать, очевидно, укрывая нечто; но, возможно, и укрывать-то нечего. Он скорее актер, чем писатель. Мне он рассказывал о происхождении своих «симфоний», будто бы они произошли возле Лебедяни, притом на скаку...[12] Я ничего в нем не понимаю, мне иногда кажется, что он переливает из пустого в порожнее... <...>

11 февраля.

Поехал в Москву. Вечер Белого[13]. Аудитория – как лик автора. Белый и Мережковский. <...>

15 февраля.

<...>. Пьеса Мейерхольда «Вступление»[14] – это политический очерк, в исполнении которого театр драматический пользуется средствами кино. И вообще сам Мейерхольд, кажется, и состоит именно в передаче движения, подобно <тому> как передает это кино. Через это и получается, что второй раз на ту же пьесу Мейерхольда идти не хочется. Фосфорически курящийся след проходящей жизни.

Так кричат, что плохо понимаешь в этом крике слова, чуть что, и непременно кричат во всю мочь. И тоже много свистят. Не только быт, но и всякий атом быта разбивается, и сила этого разбоя (раз-боя), конечно, совершенно отрицательная к «благам» жизни, и берет наше внимание к этим пьесам.

У Ремизова, у Белого и еще, конечно, у Гиппиус и других было это художество за счет разбоя атомов быта с тонко причудливыми образами курящейся фосфоресценции. Это творчество из ничего, и сам творец в прямой жизненной силе своей поврежден в чем-нибудь до конца. Вот в этом повреждении основ он имеет сходство с пролетарием, т.к. сущность пролетария и состоит в лишенности благ... <...>

18 февраля.

Вся эта компания писателей, окружающих N. <зачеркнуто: Гронского>, тем отвратительна, что, пьянствуя с ним, льстя ему, ничуть не влияет на него в пользу литературы, и каждый из них обыгрывает N. исключительно в пользу себя самого. Все они теперь так прилились к N., что если бы какой-нибудь писатель не их круга, напр. Ценский[15], вздумал заявить в газете, как Алеша Толстой, о своей солидарности с партией и властью, то, пожалуй, его статья об этом так и провалялась бы в столе у Гронского. Мало статьи, надо выпить, т.е. фактически сделаться *своим*, а не только идейно; и, пожалуй, вот именно потому и нельзя выпить и стать своим, что хочешь работать идейно или попросту честно.

Мне кажется, однако, что если отказаться временно от претензии на «1-е место», то можно «в данном отрезке времени» оставаться порядочным писателем, пример Шагинян и Новиков-Прибой. Еще можно бороться за существование посредством таланта, а также юродства.

У А. Белого взяли чемодан с дневником и тем самым взяли его самого, – как это глупо! Писатель лег в чемодан, пришел некто, взял чемодан и унес[16].

Пленум для Белого оказался пленом. Доигрался молодец! <...>

24 <февраля>.

<...>. Сегодня ночью я почувствовал себя на войне, и вдруг все стало понятным. Напряжение столь сильно, что внутренний «классовый» враг, по всей вероятности, очень скоро превратится во внешнего (что-нибудь на востоке произойдет). Едва ли теперь уже явится «передышка» в литературе. Она должна на время или совершенно исчезнуть, как в 18 г., или, может быть, писатель научится писать не любя, а ненавидя: писатель вроде Белого, художник вроде Мейерхольда.

Война с появлением внешнего врага сразу может выявить для масс смысл революции. <...>

4 ноября.

А. Жид – не больше, как показатель разложения, и сам, конечно, маска на шесте, вроде Белого. Я не верю вообще ни в какие заявления верности сов<етской> власти[17] и даже напротив; всякое такое заявление есть заявление о своей пустоте. Явление СССР есть факт вне чувств личных, вне всяких и нуждается в искусстве только для агитации. К СССР можно примкнуть только скрытно, в деле потонуть с надеждой на воскресение. А они примыкают «именами», как это было бы глупо, если бы это за правду считать! Крайний пессимизм переходит в оптимизм непременно: не здесь, а «там», и такое все христианство с его «деланием» иной жизни, чем какая есть. Задача христианина – вызвать в другом охоту к делу через выявление в нем личности. В социализме настоящего времени задачей является поставить личность перед необходимостью (свобода есть сознание необходимости: «кровь из носа, а давай!»). Христианские птицы, как гуси, летят треугольником, советские – фалангой. В христианстве личность (гора сдвинется), в социализме необходимость (государство: «<кровь из носа>»). Культура «личного» привела к либерализму, разложению государства, и отсюда возращение к необходимости (фашизм на западе, большевизм на востоке). Итак, разложение культуры личного привело к необходимости явления внеличного («кровь из носа» и проч.).

1934

10 января.

Похороны Андрея Белого.

Красные не приняли, не почтили даже Белого, и он был похоронен как белый.

Он смотрел на все через себя как на материал свой: во все входил и выходил из всего, оставляя книгу как след своего переживания. На большевиках он споткнулся: они его пережили.

И его желание, скользнув по цветам на земле, по воде на реках и морях, по небу, звездам, луне и солнцу, не раскрылось в любовь.

Зажимаю в пресс книгу и, чувствуя нечто человеческое в этом, – как будто над человеком недавно что-то подобное проделывали, – вдруг вспоминаю похороны Андрея Белого.

Заведующий крематорием: «и... речь скажет от Оргкомитета т. Киршон». Заведующий: «Прощайтесь! Прощайтесь!» Киршон: «Анализируем его творчество». Люди, обслуживающие крематорий, являются примером для людей государственных. <...>

15 января.

<...> Белый сгорел, как бумага. Он все из себя выписал, и остаток сгорел, как черновик.

Один пришел из жизни в литературу, другой из литературы смотрел на жизнь.

Белый, Мейерхольд и другие вольнодумцы. <...>

17 января.

Жить или переживать себя воображенно на бумаге? Я поступаю <зачеркнуто: говорю>: пережил, а потом, после, это изобразил на бумаге. А другой телесно вовсе и не переживал, а с пером в руке мысленно переживает, сам не зная, куда приведет его это бумажное переживание. Так он доверяет себя бумаге и получается, в случае любви, напр., не самая любовь, а как бы вексель любви. И так человек не любил, а давал векселя. И любовь, и революция такие у них не реальные.

23 января.

Как сделать, чтобы, не уступив ничего из себя, завоевать широкого читателя?

Это было всегда моим сокровенным желанием, прикрытым с поверхности формулой Мережковского: «что по́шло, то пошло́»[18] – и убеждением <зачеркнуто: вероисповеданием> Иванова-Разумника: что оценка писателя настоящего возможна только в будущем («на том свете»). Охотничьи и детские рассказы мои были в опровержение этого демонизма и в особенности «Корень жизни»[19]. <...>

2 февраля.

<...> Читая Белого о людях, с которыми я тоже имел дело, начиная свою литературу, наконец-то я понял, почему всегда чувствовал разделяющую меня с ними бездну, это потому, что лучшие из них искали выхода из литературы в жизнь, а я искал выхода из жизни в литературу. Бессознательно подчиняясь их заказу, я старался подать литературу свою как жизнь, т.е. шел тем самым путем, каким шли наши классики. А они все, будучи индивидуалистами, вопили истерически о преодолении индивидуализма до тех пор, пока революция не дала им по шее (Блок, Белый, Мережковский, Гиппиус, даже бедный Иванов-Разумник).

Что же такое «жизнь» в этом понимании? Это, прежде всего, значит быть вместе с другими (как в революции, их манила этим революция).

Разобрав бездну с символистами, беру бездну с эсерами так определяю: эсеры пользовались мужиком как материалом для своих политических идей, и их этика была в конце концов эгоистически групповая, но вовсе не народная, как они ее представляли <...>. У народников меня встречал костяк группов<ого> политика, маскированный универсальностью, у символистов – костяк индивидуалиста...

3 февраля.

<...> Выход книги «Жень-Шень»[20]. Перечитываю и удивляюсь, – откуда взялось!

В художественном творчестве с самого первого момента, начала подъема, бывает соблазн прекратить подъем и отдаться изображению испытанного... И если художник поддастся искушению и начнет досрочно писать картину, он будет во власти демонов искусств, его создание будет изложением жизни, скрежетом зубовным, самообнажением и отрицанием уважения к другому человеку.

Для того чтобы дать картину в гармоническом сочетании <многих> планов, нужно выждать соответствующий момент в подъеме, когда перевалил через себя

к другому. Этот перевал очень труден для всякого, потому что бывает в нем один такой момент, когда приходится выпустить вожжи из рук, или все равно как броситься с высоты, доверяясь парашюту и в то же время зная, <зачеркнуто: сомневаясь>, что: «а может быть, он и не раскроется». Риск при творчестве состоит в том, что ты утратишь в себе художника и останешься обыкновенным человеком, каким-нибудь бухгалтером, и должен вперед помириться и принять свое бытие в жизни как бухгалтера. Ты бросаешься в бездну с последними словами: — Ладно, если нет — принимаю <зачеркнуто: контору>: буду жить просто бухгалтером. Вот когда согласишься на это, жить на земле бухгалтером, то демоны оставляют тебя и ты как творец являешься хозяином дела и создаешь прекрасное.

Белый не дошел до этого перевала и, далеко не достигнув «жизни», остался во власти своих демонов. Блок — более счастливый в таланте — по существу тоже не дошел до перевала и обнажил демонизм свой в Христе «Двенадцати». А Ремизов? Они все, большие писатели и поэты того времени, искали томительно выхода из литературы в жизнь и не могли найти, потому что не дошли до той высоты, когда литературное творчество становится таким же самым жизнетворчеством, как дело уважающего себя и понимающего свое дело бухгалтера. Литературно-демоническое самомнение закрывало им двери жизни. И они все были такие, и Мережковские, и Брюсовы, все! Я долго не понимал, почему я себя в их обществе чувствовал неловко до крайности, как будто я сам не в состоянии стать на их высоту и подглядываю за ними: у меня не было их чувств, а я думал, что не было у меня литер<атурного> вкуса, культуры и образования. Только теперь я понимаю полярную противоположность наших стремлений: они стремились из литературы выйти в жизнь, а я хотел из жизни войти в литературу и просто сделаться писателем. С точки зрения их ведь это было невозможно ограниченное устремление и, конечно, мне это приходилось затаивать... Вот отчего иногда было ужасно стыдно быть в их обществе. <...>

7 Февраля.
<...> Гений Белого <приписка: рассеянный гений>. <...>

11 декабря.
<...> *<На полях:> болезненное искусство.* <...>
Возможно, и по всей вероятности да, что Белый есть в какой-то области творчества на границе искусства и науки гений. Но в искусстве слова, как художник, он прежде всего больной человек, осужденный зачем-то нанизывать словечки в бесконечных сочетаниях на бесконечную нить. Думая о нем, я начинаю понимать, что искусство настоящее есть здоровье человечества, и лучшие представители искусства все здоровые люди: Шекспир, Толстой, Леонардо... <...>

1935

24 января.
<...> Есть общий ум, который состоит не из одного ума в смысле разума и даже, скорее, тут очень даже мало разума и гораздо большая доля чутья, которая, глав-

ным образом, и составляет этот «ум» народный и всюдный, благодаря которому между всеми ступенями образования и развития все-таки существует общение. У нас на Руси этот ум и лег в основу литературы...

Благодаря этому получается тот язык намеков, как у Гоголя, Достоевского: читаешь и все время чувствуешь нечто большее, стоящее за словами, тогда как у Тургенева, например, уже читается без просвета в этот мир общего ума: хорошо очень, ясно, легко, но слишком словесно и нет ничего сзади слова. А у тех, кто Гоголю подражает, у Ремизова, Белого, кто хочет *сделать*, как у тех *выходило*, получается какое-то неприятное для нас, привыкших к языку общего ума, подчинение высшего низшему, вроде того, что литература как бы служит живописи... <...>

25 февраля.

<...>. О критике Разумнику (из 10/X 34 г.). <...>

1936

15 января.

<...> Давайте условно разделим всех наших писателей на писателей национальных и гениев. Из национальных писателей я могу назвать Пушкина, Толстого, Лескова, Горького, себя. Из «гениев» — Гоголя, Достоевского, Белого. Первая группа беременна своей национальностью, живот у нее раздут гражданственностью, и для всей этой группы характерно тяготение к фольклорному самовыражению и рассказу для детей. Вторая группа чистых «гениев» тяготеет лично к себе и пожирает фольклор не для воспроизводства (через беременность), а в целях холостого (хотя и гениального) творчества. И как немыслимо себе вообразить, чтобы А. Белый написал бы рассказ для детей, так и Пришвин должен будет отказаться и возвратить отцу талантов свой билет, если только в его творчестве не найдется десятка народно-детских рассказов. <...>

22 февраля.

<...> Леонардо считал живопись величайшим искусством, литературу, как искусство от слуха, а не глаза, считал ниже ее, и даже часто о литераторах говорил заодно с математиками. Вот отчего и я сопротивляюсь Белому: я, исходящий в литературе исключительно от глаза, вижу в Белом «математика», это действительно математик от литературы. <...>

15 ноября.

<...> Ходил в лес с Лайбой. Погонял беляка. Ужасно устал. Приехал Разумник Васильевич. Спор о Белом. <...>

3 декабря.

<...> Перечитав главу «Живая ночь» из «Кащеевой цепи», вдруг понял, почему Белый и его антропософы не поняли «Кащееву цепь».

«Живая ночь», например, так близка к природе, что кажется фантастикой автора. Между тем сама близость именно и является мотивом поэзии.

И вся «Кащеева цепь» построена на этой близости поэта и человека. Неужели этого никто не поймет и не скажет? Едва ли... <...>

1937

20 августа.

<...> Обдумывая «Ставского», я вспомнил и Горького[21], и Белого — Горький хотел кого-то обойти, но его обошли, а Белый, обходя Р. Штейнера, Христа и др., остался эгоцентриком. Так бывает: обходящий бывает сам обойден. В том и другом случае, и у Горького, и у Белого, был неверный путь, и его надо остерегаться, то есть жить без «политики». <...>

1938

Без даты.

<...> Родина? — это пейзаж! — сказал Андрей Белый. <...>

1941

10 февраля.

<...> По правде говоря, Ремизова, как и Белого, нельзя читать без тайного подозрения в себе: а не издевается ли над тобой автор. Это чувствует каждый, имеющий открытый слух к русской речи. Так, наверно, во время оно чувствовал себя и живой сказитель, читая ложноклассические вирши. <...>

29 ноября.

<...> Ловушка. Есть ловушка для ближнего, когда я, смиряясь до умаления, говорю: ты больше меня, и я твой слуга. Тем самым я переселяюсь в тебя, и там, в тебе, расту, как паразит, питаясь тобой. И так я мало-помалу пожру всю тебя... Мне думается, так жил Андрей Белый, пожирая Р. Штейнера, святых отцов и через антропософию хотел Бога пожрать... <...>

1942

24 сентября.

<...> Белый сделал с Гоголем то же самое, что он делал с Р. Штейнером и его антропософией, с отцами церкви и, наверное, во всех своих отношениях: он ко всему относился как к своим материалам. Но разница творений Гоголя с творениями Белого та, что Гоголь работает чрезвычайно сознательно над не исчерпаемыми сознанием материалами: он как бы черпает ведром своего сознания воду из неисчерпаемого колодца. Для Белого нет бездонных колодцев, и он делает свои вещи в пределах своего сознания. Он рационалист, Гоголь мистик.

Я мистикой называю чувство зависимости своей от непознаваемого мира: ни один большой художник не выходил из человека без этого чувства. Белый свою пустоту в этом месте маскирует игрой в словечки. <...>

Послесловие

Как следует из дневников Михаила Михайловича Пришвина (1873—1954), на протяжении значительной части своей жизни (по меньшей мере с 1914 по 1946 год) он находился во внутренней полемике с Андреем Белым и — шире — с тем направлением в литературе, с тем типом творчества, которое Андрей Белый, модернист, символист, антропософ и мистик, представлял.

Однако резкие суждения о Белом, на которые Пришвин не скупился, сменялись в его дневниках словами безусловного признания бе́ловского гения. Можно сказать, что отношение Пришвина к Белому было противоречиво и одновременно продуктивно, так как именно в непрекращающемся споре с Белым Пришвин определял свою собственную литературную позицию и стратегию.

В начале 1930-х сближению Пришвина и Белого очень способствовали внешние обстоятельства. В 1932 г. оба выступили на Первом пленуме Оргкомитета Союза писателей СССР, приветствуя новый поворот в литературной политике партии и правительства. Оба выступления были горячо поддержаны властью, и в советской периодике того времени их имена упоминались, как правило, «через запятую». Потом оба были приписаны к Краеведческой секции Оргкомитета ССП, оба исправно участвовали в ее работе и в этой связи встречались: Пришвин присутствовал на докладе Белого «Культура краеведческого очерка», состоявшемся 23 ноября 1933 г. и на прениях по докладу 1 декабря. А 31 января 1933 г. Белый выступал на вечере Пришвина. У обоих была сходная конечная цель: уцелеть в политической мясорубке и сохранить свой писательский статус. Тем не менее настоящего духовного контакта между ними не возникло, и друзьями они так и не стали. Слишком велики были различия и в мировидении, и в художественном методе.

Взаимоотношения этих столь различных по методу и мироощущению писателей еще требуют серьезного изучения. Издание полного текста дневников Пришвина, над которым мы работаем, безусловно способствует скорейшему выполнению этой насущной задачи[i]; см. также нашу публикацию «М.М. Пришвин об Андрее Белом»[ii].

Предлагаемая подборка отдельных высказываний Пришвина об Андрее Белом в его дневнике осуществлена по материалам, хранящимся в фонде М.М. Пришвина в РГАЛИ (Ф. 1125. Оп. 2. Ед. хр. 402—407 и др.).

---

[1] Эти разговоры А.Н. Толстой вел с Ивановым-Разумником в 1931 г. в Детском Селе.

[2] Речь идет о Первом пленуме Оргкомитета Союза советских писателей. Выступление Пришвина, основной темой которого было «сорадование»: «Я думаю, что литература, искусство вообще, — это есть все-таки творчество радости. Я, конечно, не о беспричинной радости говорю. Много перед радостью приходится помучаться и пострадать. Мы все много мучались. А если является радость, опять говорят, что эта радость просто есть отдых. Нет, это — сама по себе радость, а не простой отдых, чтобы во время рабочего часа завести радио. Просто надо обрадоваться другому человеку. Что может нас соединить?

---

[i] См.: *Пришвин М.* Дневники. Т. 1—12. М., 1991/2007—2012; издание доведено до 1943 г. и продолжается.

[ii] Звено 2005: Вестник музейной жизни. М., 2006. С. 59—66.

Сорадование. Если я пишу какой-нибудь рассказ, я встречаю радость. Все критики не обращают внимания на то, что написал хорошую вещь. Написал плохую вещь, наша критика ищет ошибки, ищет врага. Сидишь и думаешь, с какой стороны тебя ударят. Кажется, все хорошо – и советский, и коммунистично, и все, что хочешь, а вдруг у тебя найдут "биологизм". Батюшки, ну как можно было додуматься? Ну, что за чепуха? Я нарочно изучал и старался делать как нужно, чтобы творчество было сознательным. Я разные книги читал, изучал биологию и вдруг как раз за это – обвинение в биологизме! Ужасно скверно, и оттого, что между нами враждебное чувство, мы не радуемся, мы – такие люди, которые пришли в литературную среду, ничего общего с ней не имея, друг друга не понимаем и не радуемся друг другу.

Мое конкретное предложение. Я не знаю конструкции редакций журналов, только слышал, что они строятся таким образом, что берут людей самых разных, враждебных между собой и называют это редакционным коллективом. Они дерутся, и получается "правда". Но это совершенно неверно, журнал должен строиться на дружественной организации. До сих пор говорили о соревновании, а я говорю о сорадовании. Мы должны представлять единый союз, единого человека, единый дух, сорадоваться друг другу» (Советская литература на новом этапе. Стенограмма I пленума Оргкомитета ССП (29 октября – 3 ноября 1932 г.). М., Советская литература, 1933. С. 68).

[3] «<...> вот на тов. Авербаха смотрю – он талантливый человек, слов нет, а какие ракушки вокруг него наросли – вот какая штука... Даже смешно слышать из-под толщи ракушек его героический голос <...>» (Там же. С. 67); «<...> теперь я придумал, чему лучше всего учиться у Горького. <...> абсолютно поражает меня, что среди всех людей, каких я видел, у Алексея Максимовича есть эта способность сорадования. Я его не знал, понятия не имел о нем, он где-то в Италии, в Сорренто, а я – на Чудском озере, на острове. И вдруг получаю письмо, что он плачет и смеется: прочитал "Черного араба". Как трогательно, прямо заплачешь! И всем он так, отзывается на все вещи. Я рад, что имею случай теперь сказать об Алексее Максимовиче, не мог сказать хорошо к его 40-летию, а теперь сказал, – вот это его сорадование» (Там же. С. 68–69).

[4] Абзац вписан на полях. Возможно, имеется в виду статья В.В. Ермилова «За работу по-новому» (Красная новь. 1932. Кн. 5. С. 161–174), в которой, отталкиваясь от речи Сталина «на совещании хозяйственников» (1931), Ермилов критиковал роман Пильняка «Красное дерево» (С. 165–166).

[5] В речи Белого 30 октября 1932 г., в частности, говорилось: «Поворот партии к широким писательским кругам, вышедшим из интеллигенции, знаменует, что литература входит в полосу строительства, подобного строительству Днепростроя» (Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 679). Проблема примирения с рапповским критиком Л.Л. Авербахом занимала важное место в выступлении Белого.

[6] 23 ноября 1932 г. Белый делал доклад «Культура краеведческого очерка» в секции писателей-краеведов при Оргкомитете ССП.

[7] Пришвин употребляет старое название города, в котором жил. В 1919 г. Сергиев посад получил статус города с переименованием в Сергиев (а в 1930 г. – в Загорск). В 1991 г. этот город был назван Сергиевым Посадом (слово «Посад» здесь уже не означает статуса поселения).

[8] Л.М. Алпатов-Пришвин.

[9] См. публикацию выступления Белого в журнале «Новый мир» (1933. № 3. С. 257–273).

[10] 1 декабря 1932 г. в краеведческой секции Оргкомитета ССП состоялись прения по докладу Белого «Культура краеведческого очерка».

[11] См.: *Пришвин М.М.* Журавлиная родина. М.: Московское товарищество писателей. 1930.

[12] Пришвин перепутал Лебедянь, где Белый отдыхал в 1932 г., с имением Бугаевых Серебряный Колодезь, где писались «Симфонии». О том, что «Симфонии» придумывались во время верховых прогулок, Белый писал неоднократно. См., напр.: «Много раз спрашивали: – “Расскажите, откуда особенность атмосферы в ваших “Симфониях”, в ваших стихах?” Ответ – точен: особенности ее – поездка верхом с шести до восьми с половиной в ландшафте без контуров, где земля – падает под ноги лошади, где ее – нет; купол неба и облачность, быстро меняющая очертания, – предмет наблюдений; – отсюда – “небесность” стихов и “Симфоний”, плюс нива, которой волна разбивается в ноги, когда всадник мчится, испытывая свой полет, как летенье навстречу предметов; движеньем ноги остановлена лошадь; вон – контур далекой дрофы, пылевая, закатная дымка: натура ландшафта в районе между Новосилем, Ельцом: и Ефремовым, плюс еще – чувство полета, галопа; седло было креслом: поводьев, стремян не касался я; стол – записная книжонка, положенная на ладонь <...>» (*НВ 1990.* С. 446; глава «Симфонии»).

[13] 11 февраля 1933 г. состоялся «Вечер Андрея Белого» в Политехническом музее. На нем Белый читал отрывки из романа «Маски», отвечал на записки.

[14] Спектакль был поставлен В.Э. Мейерхольдом в 1933 г. по одноименному роману Ю.П. Германа.

[15] Сергеев-Ценский (псевд.; наст. фам. – Сергеев) Сергей Николаевич (1875–1958) – писатель.

[16] Имеется в виду сундук с рукописями, изъятый сотрудниками ОГПУ в 1931 г. в связи с арестами и обысками по делу «контрреволюционной организации антропософов».

[17] Очевидно, имеются в виду выступления французского писателя Андре Жида (1869–1951) в поддержку советской власти. После посещения СССР в 1936 г. перешел в стан врагов сталинского режима.

[18] Из эссе Д.С. Мережковского «Гоголь и черт» (М., 1906): «Желание Чичикова “стать твердою стопой на прочное основание” – это именно то, что теперь в ход пошло́, а потому – по́шло, как, впрочем, и желание Хлестакова “заняться, наконец, чем-нибудь высоким”». Ср.: «У Мережковского есть замечательный афоризм: “Пошло́ то, что по́шло”...» (*Розанов В.В.* Опавшие листья. Короб первый // Розанов В.В. Уединенное / Сост., вступ. статья, коммент., библиогр. А.Н. Николюкина. М., 1990. С. 190.

[19] «Корень жизни» – первоначальное заглавие повести «Жень-Шень», созданной Пришвиным в 1933 г. под впечатлением от поездки к оленеводам Дальнего Востока (Красная новь. 1933. № 3).

[20] Отдельной книгой повесть вышла в 1934 г. в издательстве «Московское товарищество писателей».

[21] Вероятно, имеется в виду то, что писатель Владимир Петрович Ставский (наст. фамилия: Кирпичников; 1900–1943) после смерти М. Горького в 1936 г. стал генеральным секретарем Союза писателей СССР.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Л.А. Рязановой

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

[НА СМЕРТЬ АНДРЕЯ БЕЛОГО]

Голубые глаза и горячая лобная кость —
Мировая манила тебя молодящая злость.
И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть.
На тебя надевали тиару, юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак...
Как снежок на Москве, заводил кавардак Гоголек,
Непонятен, понятен, невнятен, запутан, легок...
Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...
Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей
Под морозную пыль образуемых вновь падежей.
Часто пишется КАЗНЬ, а читается правильно: ПЕСНЬ.
Может быть простота — уязвимая смертью болезнь.
Прямизна наших мыслей не только пугач для детей,
Не бумажные дести, а вести спасают людей.
Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши.
На коленях держали для славных потомков листы,
Рисовали, просили прощенья у каждой черты.
Меж тобой и страной ледяная рождается связь.
Так лежи, молодей, и лети, бесконечно прямясь.
Да не спросят тебя молодые, грядущие те:
Каково тебе там — в пустоте, в чистоте — сироте...

Январь 1934 г. Москва[1].

УТРО 10 ЯНВ<АРЯ> <19>34 ГОДА

1.

Меня преследуют две-три случайных фразы, —
Весь день твержу: печаль моя жирна<.>
О боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна...

Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?

Где вежество? Где горькая украдка<?>
Где ясный стан? Где прямизна речей,

Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой,
Когда скользит, исполненный отваги<,>
С голуботвердой чокаясь рекой...

Ему солей трехъярусных растворы
И мудрецов германских голоса,
И русские блистательные споры
Представились в полвека, в полчаса.

Ему кавказские кричали горы
И нежных Альп стесненная толпа;
На звуковых громад крутые всхоры
Его ступала зрячая стопа[2].

И европейской мысли разветвленье[3]
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль глядела в зеркало явленья,
А Лия пела и плела венок.

2.

Когда душе взволнованно торопкой[4]
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит рассеянною[5] тропкой,
Но смерти ей тропина не ясна.
Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка
Иль звука первенца[6] в блистательном собраньи,
Что льется внутрь — еще птенец смычка[7].

И льется вспять, еще ленясь и мерясь,
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего, из нити, из темна,

Лиясь для ласковой только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

3.

Дышали шуб меха. Плечо к плечу теснилось<.>
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот,

Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед.

А в гуще похорон[8] стоял гравировальщик,
Готовясь перенесть на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик,
Лишь крохоборствуя, успел запечатлеть<.>

Как будто я повис на собственных ресницах
И созревающий и тянущийся весь,
Доколе не сорвусь, разыгрываю в лицах,
Единственное, что мы знаем днесь.

16–21 янв<аря> <19>34 г.

10 ЯНВАРЯ 1934 ГОДА

Памяти Б.Н. Бугаева
(Андрея Белого)

Меня преследуют две, три случайных фразы,
Весь день твержу: печаль моя жирна<.>
О, боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна<!>
Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей<?>
Где вежество? где горькая украдка?
Где ясный стан? где прямизна[9] речей?
Запутанных, как чертные[10] зигзаги
У конькобежца в пламень голубой<,>
Железный пух в морозной крутят тяге<,>
С голуботвердой чокаясь рекой.

Ему пространств инакомерных норы<,>
Их близких, их союзных голоса,
Их внутренних ристалищные споры
Представились в полвека<,> в полчаса.
И вдруг открылась музыка в засаде.
Уже не хищницей лиясь из-под смычков,
Не ради слуха или неги ради
Лиясь для мышц и бьющихся висков,
Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки,
Крупнозернистого покоя и добра<.>

Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось,
Кипела киноварь здоровья – кровь и пот,
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед.
А посреди толпы, задумчивый, брадатый
Уже стоял гравер, – друг меднохвойных доск,
Трехъярой окисью облитых в лоск покатый
Накатом[11] истины сияющих сквозь воск.
Как будто я повис на собственных ресницах
В толпокрылатом[12] воздухе картин
Тех мастеров, что насаждают в лицах
Порядок зрения и многолюдства чин.

ВОСПОМИНАНИЯ

I

Люблю появление ткани<,>
Когда после двух, или трех,
А то четырех задыханий[13]
Придет выпрямительный вздох.
И так хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг
И, вдруг, дуговая растяжка[14]
Звучит в бормотаньях моих.

II

О, бабочка, о, мусульманка,
В разрезанном саване вся,
Жизняночка и умиранка
Такая большая – сия!
С большими усами кусава
Ушла с головою в бурнус<.>
О, флагом развернутый саван,
Сложи свои крылья: боюсь!

III

Когда, уничтожив набросок<,>
Ты держишь спокойно в уме
Период без тягостных сносок
Единый во внутренней тьме.
И он лишь на собственной тяге
Зажмурившись держится сам.
Он так же отнесся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.

IV

Скажи мне, чертежник[15] пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветр?
Меня не касается трепет
Его иудейских забот:
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.

---

* * *

Откуда привезли? Кого? Который умер?
Где [будут хоронить]?[16] Мне что-то невдомек.
Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер?
Не Гоголь, так себе, писатель-гоголек.

Тот самый, что тогда невнятицу устроил,
Который шустрился, довольно уж лего́к,
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил,
Затеял кавардак, перекрутил снежок.

Молчит, как устрица, на полтора аршина
К нему не подойти – почетный караул.
Тут что-то кроется, должно быть, есть причина.
<................>[17] напутал и уснул.

Послесловие

Смерть Андрея Белого стала для Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938) серьезным потрясением. Летом 1933 г. поэты тесно общались. Мандельштам с женой Надеждой Яковлевной, как и Андрей Белый с Клавдией Николаевной, отдыхали в Коктебеле. Все они жили в Ленинградском отделении Дома творчества и даже в писательской столовой их посадили за один стол, так что завтракать, обедать и ужинать им приходилось вместе. Столь тесный контакт был тягостен как для Бугаевых, так и для Мандельштамов.

Свое недовольство Белый выплеснул на страницах дневника 1933 г. и в письмах из Коктебеля Ф.В. Гладкову, П.Н. Зайцеву, Г.А. Санникову («Трудные, тяжелые, ворчливые люди. Их не поймешь»[i]). Н.Я. Мандельштам создала ироничный портрет четы Бугаевых («Это был уже идущий к концу человек, собиравший коктебельскую гальку и осенние листья, чтобы складывать из них сложные узоры, и под черным зонтиком бродивший по коктебельскому пляжу с маленькой, умной, ког-

---

[i] Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 141 (письмо от 24 июня 1933 г.). Соответствующие фрагменты из писем Ф.В. Гладкову и П.Н. Зайцеву приведены в примечаниях к дневнику Белого в наст. изд.

да-то хорошенькой женой, презиравшей всех непосвященных в ее сложный антропософский мир») и с неприязнью рассказала о том, что «жена Белого, видно, помнила про старые распри и статьи О.М. и явно противилась сближению»: «Возможно, что она знала об антиантропософской и антитеософской направленности О.М., и это делало его не только чуждым, но и враждебным для нее человеком»[i].

Однако из совместного времяпрепровождения они вынесли не только претензии друг к другу. По словам Н.Я. Мандельштам, «мужчин тянуло друг к другу», «они общались <...> с охотой разговаривали»: «В те дни О.М. писал «Разговор о Данте» и читал его Белому. Разговоры шли горячие, и Белый все время ссылался на свою работу о Гоголе <...>»[ii].

Хотя Мандельштамы уехали из Коктебеля до того, как у Белого случился удар, но они, безусловно, знали и о болезни Белого, и о погромном предисловии Л.Б. Каменева к «Началу века», появившемся в печати в ноябре и усугубившем болезнь, и о панегирическом некрологе Б.Л. Пастернака, Б.А. Пильняка и Г.А. Санникова в «Известиях», спровоцировавшем скандал во время гражданской панихиды и вызвавшем решительный отпор в советской печати.

Мандельштам был на похоронах Белого в помещении Оргкомитета Союза советских писателей 10 января 1934 г. и даже умудрился попасть там в неловкую ситуацию. С его слов С.Б. Рудаков рассказывал жене в письме от 21 мая 1935 г.: «Говорит, что стоял в последнем карауле, а до этого – “стояли Пильняки – вертикальный труп над живым”. В суматохе Мандельштаму на спину упала крышка гроба Белого»[iii].

В черновых набросках к ненаписанному очерку о Мандельштаме П.Н. Зайцев воспоминал: «В январе 1934 года судьба близко на миг столкнула меня с О.Э. Умер Андрей Белый. О.Э. написал о Белом стихи и передал мне рукописный список, автограф своих стихов. – П.Н., запомните, я, еврей, первый написал стихи об Андрее Белом, – с какой-то милой, наивной гордостью подчеркнул О.Э. свой “приоритет” написания стихов, посвященных смерти А. Белого, связанных с его кончиной». Отметил он и эмоциональную реакцию поэта: «Мы обнялись, крепко, крепко – и – расцеловались по-братски, заливаясь слезами. Многим были вызваны наши слезы... Мы расстались и больше уже не видались»[iv].

Над циклом памяти Андрея Белого Мандельштам начал работать практически сразу после похорон; возвращался к правке и доработке стихотворений в 1935 г., в Воронеже, во время ссылки. Однако работа так и осталась незавершенной. Вопросы возникают при определении и полного корпуса текстов, навеянных кончиной Белого, и последовательности стихотворений цикла, и при выборе приори-

[i] *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания. [Кн. 1] / Подгот. текста Ю.Л. Фрейдина; прим. А.А. Морозова. М., 1999. С. 182–183.

[ii] Там же. С. 182.

[iii] О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936) / Вступ. статья А.Г. Меца и Е.А. Тоддеса. Публ. и подгот. текста Л.Н. Ивановой и А.Г. Меца. Коммент. О.А. Лекманова, А.Г. Меца, Е.А. Тоддеса // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год: Материалы об О.Э. Мандельштаме. СПб., 1997. С. 52. О возможном источнике метафоры «вертикальный труп над живым» см.: *Лекманов О.А.* «Я к воробьям пойду и к репортерам...». Поздний Мандельштам: портрет на газетном фоне // Toronto Slavic Quarterly. № 25 (Summer 2008); www.utoronto.ca/tsq/25/index25.shtml

[iv] Цит. по машинописи из частного собрания. См. об этом: *Спивак М.* О.Э.Мандельштам и П.Н. Зайцев (К вопросу об истории, текстологии и прочтении стихотворного цикла «Памяти Андрея Белого») // «Сохрани мою речь...» (Записки Мандельштамовского общества). Вып. 4. Ч. 2. М., 2008. С. 513–546.

тетных редакций и вариантов. Об окончательных редакциях и вариантах в отношении этой части наследия Мандельштама речь не идет в принципе, так как произведения не готовились к печати, а записывались лишь для памяти, чтобы впоследствии можно было вернуться к их отшлифовке. Нахождению окончательного ответа на значительный круг вопросов мешает практически полное отсутствие автографов: стихотворения сохранились по большей части в позднейших списках Н.Я. Мандельштам и людей из окружения поэта[i].

* * *

Первым было создано стихотворение «Голубые глаза и горячая лобная кость...» (10–11 января 1934 г.). Среди известных списков наше особое внимание привлек не самый, на первый взгляд, авторитетный и поздний по происхождению список, приведенный П.Н. Зайцевым в финале мемуаров «Последние десять лет жизни Андрея Белого»[ii].

Некоторыми отличиями «зайцевского мемуарного списка», состоящими в отсутствии разбивки на строфы, в иной пунктуации, а также в том, что вместо «прямизны нашей мысли» у Зайцева дается множественное число («прямизна наших мыслей»), соблазнительно если не пренебречь, то посчитать несущественными. Но вот одним несовпадением пренебречь нельзя никак, потому что оно носит характер принципиальный. В других списках и во всех научных изданиях Мандельштама третья строчка с конца выглядит так: «Так лежи, молодей, и лежи, бесконечно прямясь». В «зайцевском мемуарном списке» вместо второго «лежи» – «лети».

Думается, что здесь мы имеем дело не с ошибками и опечатками, не с разными допустимыми вариантами, а с необходимостью выбора между правильным и неправильным написанием слова, прочтением стиха и, наконец, пониманием авторского замысла.

В целом понятно, что имеет в виду Мандельштам, когда пишет «лежи, молодей». Он фиксирует, как меняется, молодеет лицо у лежащего в гробу Б.Н. Бугаева. Сходные образы, связанные с движением времени вспять, к началу, фигурируют, кстати, и в описаниях других очевидцев. Так, С.Д. Спасский отметил в дневнике[iii], что на лице Белого была «совершенно детская улыбка», П.Н. Зайцев писал, что у Белого в гробу «было лицо Дитяти и Мудреца, отрешенного от всего земного»...[iv] А вот второе «лежи» в той же строке выглядит странно и неуместно. Зачем Мандельштам настойчиво призывает покойника «лежать, бесконечно прямясь», если по-иному, не прямо, в гробу лежать просто невозможно? Гораздо проще представить, даже чисто «физиологически», как можно «лететь, бесконечно прямясь». К тому же с понятием смерти тесно связано представление о душе, отлетающей в иной мир. В ситуации с Белым, который – как показано в стихотворении – был «гоним взашей», осмеян, замучен и фактически «казнен», такое улетание прочь от земли в «пустоту» и «чистоту» кажется даже благом.

---

[i] Подробнее см.: *Спивак М.* О «гихловском» списке стихотворений Мандельштама «Памяти Андрея Белого» // «На меже меж Голосом и Эхом». М., 2007. С. 347–358; *Спивак М.* О.Э. Мандельштам и П.Н. Зайцев (К вопросу об истории, текстологии и прочтении стихотворного цикла «Памяти Андрея Белого»).

[ii] См.: *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 191–192.

[iii] См. в наст. изд.

[iv] Письмо Л.В. Каликиной от 11 января 1934 г.; см. в наст. изд.

В пользу «зайцевского мемуарного списка» говорит то, что при замене «лежи» на «лети» со всей очевидностью высвечивается столь любимое Мандельштамом использование чужого слова. Здесь — слова Маяковского:

Вы ушли,
как говорится,
в мир в иной.
Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.

«Маяковский» слой в творчестве Мандельштама вообще занимал существенное место[i], а в данном случае аллюзия кажется более чем уместной: ведь Мандельштам обращается к стихотворению Маяковского, написанному по сходному поводу — на смерть Сергея Есенина.

Есть и еще один важный «контекстуальный» довод в пользу «лети», еще один источник образности Мандельштама. Нам представляется, что в строках «Меж тобой и страной ледяная рождается связь. / Так лежи, молодей, и лети, бесконечно прямясь. / Да не спросят тебя молодые, грядущие те: / Каково тебе там — в пустоте, в чистоте — сироте...» явственна отсылка к основным составляющим аргонавтического мифа Андрея Белого[ii], связанным с отлетом от земли в небеса, в лазурь, к Солнцу, в пустоту и пр.: подобно Язону и его спутникам, устремившимся на корабле «Арго» за золотым руном, молодые московские символисты ощущают себя детьми Солнца и мечтают о полете к небесному светилу.

В данном случае особенно актуален лирический отрывок в прозе «Аргонавты» (1904) из сборника «Золото в лазури»[iii], в котором повествуется о подготовке такого полета, его осуществлении и его печальном результате. Главный герой рассказа — «мечтатель», «магистр ордена Золотого Руна», «седобородый, рослый старик», «великий писатель, отправлявшийся за Солнцем, как аргонавт, за руном». Он, безусловно, является авторским alter ego, хотя примечательно, что Белому, лидеру московских аргонавтов, в то время старость еще не грозила (в период написания рассказа ему было всего 24 года) и писателем он был еще только начинающим. Можно сказать, что, делая героя рассказа знаменитым стариком, Белый игриво моделировал собственное будущее — вполне в духе жизнетворческой практики символистов. Спустя 30 лет после выхода сборника «Золото в лазури» (1904) подобное моделирование могло восприниматься как сбывшееся пророчество: Белый станет прославленным писателем, состарится, но до конца жизни сохранит верность аргонавтическим идеалам юности. Собственно говоря, так оно и про-

[i] См., напр., статью О.А. Лекманова «Мандельштам и Маяковский: взаимные оценки, переклички, эпоха» в сб. «Сохрани мою речь» (Вып. 3. Ч. 1. М., 2000. С. 215–228) и там же — обширную литературу вопроса.

[ii] Подробнее об этом см.: *Лавров А.В.* Андрей Белый в 1900-е годы. М., 1995. С. 64–149 (глава «1901 год и начало десятилетия. Андрей Белый — кормчий “аргонавтов”»).

[iii] Содержащиеся в цикле Мандельштама аллюзии на «Золото в лазури» уже неоднократно отмечались, что дополнительно подтверждает, насколько на слуху у Мандельштама был первый поэтический сборник Белого. См.: *Полякова С.В.* «Беловский субстрат» в стихотворениях Мандельштама, посвященных памяти Андрея Белого // *Полякова С.В.* «Олейников и об Олейникове» и другие работы по русской литературе. СПб., 1997. С. 270–280.

изошло. И так, сквозь призму аргонавтического мифа, воспринимал и описывал Белого Мандельштам в стихах, посвященных его памяти.

Описанию подготовки к отлету и публичному прощанию с главным аргонавтом, улетающим прочь от земли и таким образом побеждающим смерть, посвящена большая часть рассказа. Однако если в стихах «Золота в лазури» аргонавтический миф предстает преимущественно в экстатически восторженном, «пиршественном» аспекте, то в лирическом отрывке «Аргонавты» он повернут и раскрыт с изнаночной, трагической стороны. «Мечтателю» и провожающим его в последний путь землянам кажется, что проект удался и полет от земли к Солнцу осуществился: «Взглянув на небо, увидели, что там, где была золотая точка, осталась только лазурь». Но манящая аргонавтическая мечта оказывается гибельным обманом: «Здесь, возвысившись над земным, мысли великого магистра прояснились до сверхчеловеческой отчетливости. Обнаружились все недостатки крылатого проекта, но их уже нельзя было исправить. Предвиделась гибель воздухоплавателей и всех тех, кто ринется вслед за ними». В итоге полет «крылатого Арго» становится прямым путем к смерти, а не способом ее преодоления, причем путем к смерти и самого идеолога полета, и человечества, поверившего в его проповедь. Вместо жаркого Солнца, к которому первоначально устремлялся «мечтатель», он оказывается во тьме, холоде и пустоте: «Холодные сумерки окутали Арго, хотя был полдень. Ледяные порывы свистали о безвозвратном. <...> Так мчались они в пустоту, потому что нельзя было вернуться. <...> Неслись в пустоте. Впереди было пусто. И сзади тоже». Однако аргонавт примиряется с неизбежной участью и даже находит в ней великий смысл: «Да, пусть я буду их богом, потому что еще не было на земле никого, кто бы мог придумать последний обман, навсегда избавляющий человечество от страданий».

Примечательно, что свои последние слова «успокоенный» аргонавт шепчет, «замерзая в пустоте». Далее наступает смерть, причем корабль аргонавта становится гробом, в котором он обречен на бесконечный полет в ледяной пустоте: «Окоченелый труп лежал между золотыми крыльями Арго. Впереди была пустота. И сзади тоже».

Думается, что именно к сюжету лирического отрывка в прозе «Аргонавты» и восходят финальные строки стихотворения Мандельштама: «Меж тобой и страной ледяная рождается связь. / Так лежи, молодей, и лети, бесконечно прямясь. / Да не спросят тебя молодые, грядущие те: / Каково тебе там — в пустоте, в чистоте — сироте...»

Мандельштам использует и обыгрывает практически все образы, фигурирующие в «Аргонавтах» Белого как метафоры смерти: это и холод, и пустота[i], и, наконец, бесконечно длящийся в холоде и пустоте полет... Возможно, к «Аргонавтам» восходят и «молодые, грядущие» — последователи героя, обреченные, как и он, на гибель. Не исключено, что с аргонавтическим мифом связано и определение поэта как сироты. Ведь, согласно мифологии Белого, аргонавты стремятся к солнцу потому, что оно является для них мистической, а значит, настоящей родиной: они — дети солнца[ii]. И, наконец, кажется весьма вероятным, что к «Аргонавтам»

---

[i] Следует также учитывать отмеченную С.В. Поляковой реминисценцию из «Петербурга» Белого в обороте «в пустоте, в чистоте...». См.: Там же. С. 273.

[ii] *Спивак М.* Андрей Белый — мистик и советский писатель. С. 296–300.

Белого восходят и цитированные выше строки Маяковского: «Вы ушли, / как говорится, / в мир в иной. // Пустота... / Летите, / в звезды врезываясь»[i].

Учитывая сказанное, мы отдаем при публикации предпочтение «зайцевскому мемуарному списку», а двойное «лежи» считаем ошибкой, многократно продублированной ввиду отсутствия автографа[ii].

Стоит учитывать также и тот факт, что стихотворение «Голубые глаза и горячая лобная кость...», подобно другим стихотворениям памяти Андрея Белого, не было подготовлено автором к печати, то есть осталось недоработанным. В «сугубо черновой записи» сохранилось еще семь двустиший, не вошедших в основной текст стихотворения:

И клянусь от тебя в каждой косточке весточка есть
И остаться в живых за тебя величайшая честь.

Из горячего черепа льется и льется лазурь
И тревожит она литератора-Каина хмурь.

Так слагался ‹?› смеялся и так не сложившись ушел
Гоголек или Гоголь иль Котенька или глагол.

На тебя надевали тиару – юрода колпак
Продавец паутины, ледащий писатель, пустяк.

Буду гладить и гладить сухой шевиот обшлагам
Обо всех обо всех запредельная ‹?› плачет вьюга.

Выпрямитель сознанья еще не рожденных эпох
Голубая тужурка, немецкий крикун, скоморох.

Прямизна нашей мысли не только пугач для детей:
Без нее лишь бумажные дести и нету вестей[iii].

* * *

Следующим по времени написания стало стихотворение «Меня преследуют две-три случайных фразы...» («10 января 1934 года»). Его текстология еще более запутанна, и автограф тоже отсутствует. Существующие списки позволяют говорить о двух редакциях стихотворения: о более ранней, датированной 16 января, и бо-

[i] Подробнее см. статью: *Спивак М.Л.* «Аргонавтический миф» в поэтическом цикле О.Э. Мандельштама на смерть Андрея Белого // Андрей Белый в изменяющемся мире. М., 2008. С. 179–185.

[ii] Подробнее об этом см.: *Спивак М.* О.Э. Мандельштам и П.Н. Зайцев (К вопросу об истории, текстологии и прочтении стихотворного цикла «Памяти Андрея Белого». Наше мнение было поддержано рядом ученых (Вяч. Вс. Иванов, Г.А. Левинтон и др.), однако разделяется отнюдь не всеми (см.: *Сошкин Е.* Между могилой и тюрьмой: «Голубые глаза и горячая лобная кость...» на стыке поэтических кодов. – www.ruthenia.ru/document/542513.html).

[iii] Цит. по: *Семенко И.М.* Поэтика позднего Мандельштама. М., 1997. С. 85. Относительно прочтения ряда слов и строк, а также относительно характера связи этих набросков с «основным» стихотворением ведутся споры: см. там же примечания С.В. Василенко (С. 138).

лее поздней, расширенной, доработанной к 21–22 января. Расхождения между редакциями весьма существенны, поэтому мы, следуя уже сложившейся в «мандельштамоведении» традиции, публикуем обе.

Сохранившиеся дневниковые записи П.Н. Зайцева помогают проследить историю текста: «22/1 был у О.Э. Мандельштама. Он передал свои стихи, посвященные памяти Андрея Белого, разбил их на три части. В первый заход познакомился у него с сыном Н.С. Гумилева, во второй заход – с литературоведом Гуковским, специалистом по 18-му веку».

Упомянутый здесь трехчастный список долгое время хранился в семейном архиве П.Н. Зайцева, потом был продан частному коллекционеру, а ныне находится в Мемориальной квартире Андрея Белого (текст рукой Н.Я. Мандельштам, заглавие «Утро 10 янв. 34 г.», подпись и дата 16–21 января 1934 г. – рукой О.Э. Мандельштама). Здесь мы воспроизводим именно его, отмечая в примечаниях лишь самые существенные расхождения с весьма авторитетным списком Е.Я. Хазина, датированным 16–22 января[i].

Как следует из приведенной выше дневниковой записи, Зайцев был знаком и с ранней редакцией стихотворения: иначе как бы он понял, что поэт разбил стихотворение на три части? Очевидно, он видел предыдущий вариант во время своей первой встречи с Мандельштамом, состоявшейся, по нашему предположению, 16–18 января 1934 г.

Визиты Зайцева к Мандельштаму порождают целый ряд вопросов: для чего близкий друг Белого дважды за короткий промежуток времени заходил к Мандельштаму и почему Мандельштам показывал и передавал ему свои стихи. Как кажется, ответ на эти вопросы лежит не только в эмоциональной плоскости (горе сближает). «Заходы» Зайцева были связаны с его попытками организовать вечер памяти Андрея Белого в ГИХЛе[ii]. Как следует из его дневников и набросков программы мероприятия, Мандельштам значился в гипотетическом списке участников такого вечера, причем должен он был выступать именно с чтением стихов. Зайцев указывал также на то, что предлагаемые им списки выступающих тщательно просматривались и идеологически «профильтровывались» в ГИХЛе. Очевидно, что еще более тщательной цензуре должны были подвергнуться произведения Мандельштама перед включением в программу памятного вечера.

Подтверждают это сохранившиеся в фонде ГИХЛа в РГАЛИ (Ф. 613. Оп. 1. Ед. хр. 4686) четыре машинописных листа со стихами Мандельштама[iii]. Первые два листа занимает стихотворение «Меня преследуют две-три случайных фразы...» в ранней редакции, еще не разделенное на три части и, значит, написанное до второго «захода» П.Н. Зайцева к Мандельштаму 22 января.

На то, что у этого документа была некая прагматическая цель, «намекает» идущее после названия стихотворения («10 января 1934 года») посвящение: «Памяти Б.Н. Бугаева /Андрея Белого/». Оно точно повторяет и название вечера, и заявленную в сохранившейся в архиве П.Н. Зайцева программе тему выступления Мандельштама: «прочтет стихи, посвященные памяти Андрея Белого». Форму-

---

[i] *Мандельштам О.* Полное собрание стихотворений / Сост., подгот. текста и прим. Г.А. Меца. СПб., 1997. С. 491–492 (Новая библиотека поэта).

[ii] Подробнее см. во вступ. статье.

[iii] Подробнее см.: *Спивак М.* О.Э. Мандельштам и П.Н. Зайцев (К вопросу об истории, текстологии и прочтении стихотворного цикла «Памяти Андрея Белого»).

лировка посвящения (с одновременным указанием и имени, и псевдонима) выглядит как-то слишком официально и непривычно для поэтического текста: так Белого могли называть в гонорарных ведомостях или в повестках на очередное «гихловское» заседание. К тому же, строго говоря, посвящение в данном стихотворении вообще излишне и является тавтологией: ведь функцию посвящения выполняет указанный в заглавии день похорон... Видимо, посвящение адресовалось не столько Белому, сколько тем чиновникам, которым мало что говорило число 10 января и потому требовалось наглядно показать связь стихотворения с тематикой траурного вечера.

«Гихловский» список наиболее близок к тексту, опубликованному Н.И. Харджиевым (с датировкой 16 января 1934 г.) в «Большой серии» «Библиотеки поэта» в 1978 г. Однако о полном тождестве говорить все же нельзя. В «гихловской» машинописи вообще нет деления на строфы (текст идет «сплошняком»), имеются многочисленные разночтения и в словах, и особенно в пунктуации.

Нельзя не отметить, что «гихловский» список буквально пестрит опечатками и ошибками. Однако важно, что это не ошибки памяти, столь часто встречающиеся в поздних списках стихов Мандельштама, а ошибки прочтения, порожденные неспособностью машинистки разобрать почерк в рукописи (видимо — черновой). Видимо, отсюда в «гихловской» машинописи появляется: «в молнокрылатом воздухе картин» (вместо толпокрылатом), «покатой истины» (вместо «накатом истины»), «для укрупленных губ» (вместо «укрупненных») и т.д. О мучениях машинистки говорят многочисленные «забивки», а также то, что некоторые слова впечатаны между строк и без копирки — скорее всего, чуть позже и по чьей-то подсказке. Возникает ощущение, что перепечатывал стихотворение человек, не понимающий поэтики Мандельштама и не знакомый ни с самим поэтом, ни с теми, кто мог бы разъяснить плохо читаемые в рукописи места. Возможно, это была просто какая-нибудь служащая ГИХЛа.

И все же есть в этой неряшливой и неприглядной машинописи одно разночтение, позволяющее предположить не ошибку, но возможный и даже весьма интересный вариант: «че**Р**тные зигзаги», а не «че**С**тные зигзаги», фигурирующие в «харджиевском» и других известных списках. В пользу такого варианта говорит, во-первых, то, что буквы «Р» и «С» перепутать даже в очень неразборчивом почерке крайне сложно, во-вторых, то, что простое и часто употребляемое слово «честный» заменено на неологизм (обычно именно с неологизмами у машинистки возникали проблемы) и, наконец, в-третьих, то, что напечатанное в «гихловском» списке слово ничуть не менее осмысленно, чем привычное, а быть может, и более. В таком случае речь Белого сравнивается не с запутанной траекторией движения честного конькобежца, а с начерченными на льду следами коньков. Определение зигзагов как «честных» вызывает некоторое недоумение, тогда как указание — с помощью отглагольного прилагательного или причастия — на то, что зигзаги были начерчены, скорее проясняет группу образов. Если предположить, что «чертные» не опечатка, а вариант, то обнажается явная аллюзия на стихотворение М.А. Кузмина[i], посвященное балерине Т.А. Карсавиной (1914):

[i] Об актуальности поэзии М.А. Кузмина для Мандельштама см.: *Фрейдин Ю.Л.* Михаил Кузмин и Осип Мандельштам: влияние и отклики // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990. С. 28–31; *Видгоф Л.* О последней строке и скрытом имени в стихотворении О. Мандельштама «Мастерица виноватых взоров...» (1934) // Toronto Slavic Quarterly. № 28 (Spring 2008); www.utoronto.ca/tsq/28/index28.shtml.

Полнеба в улице далекой
Болото зорь заволокло,
Лишь конькобежец одинокий
Чертит озерное стекло.
Капризны беглые зигзаги:
Еще полет, один, другой...
Как острием алмазной шпаги,
Прорезан вензель дорогой.
В холодном зареве не так ли
И Вы ведете свой узор <...>[i].

В обоих случаях есть и лед, покрывший водоем (озеро у Кузмина, «голуботвердая река» у Мандельштама), и конькобежец, чьи зигзаги оставляют (чертят) на льду следы. Только у Кузмина зигзаги конькобежца сравниваются с танцем, а у Мандельштама – с речью. Впрочем, для Белого – автора «Глоссолалии» речь и танец – явления вполне родственные.

Сейчас не представляется возможным выяснить, через П.Н. Зайцева или через кого-то другого текст стихотворения памяти Андрея Белого (автограф или список) был доставлен в ГИХЛ на утверждение. Но кажется вероятным, что расширенную, позднюю, трехчастную редакцию стихотворения Мандельштам вручил Зайцеву для того, чтобы заменить ею уже переданный на утверждение более ранний вариант.

В данной публикации мы воспроизводим раннюю редакцию стихотворения «10 января 1934 года» по списку ГИХЛа, связанному с историей несостоявшегося выступления на вечере памяти Андрея Белого. Исправлены явные опечатки.

* * *

Как уже было отмечено ранее, в фонде ГИХЛа в РГАЛИ сохранились четыре машинописных листа со стихотворениями Мандельштама. Стихотворение «Памяти Б.Н. Бугаева /Андрея Белого/» занимает первые два. Вслед за ним на третьем и четвертом листах напечатан – под заглавием «Воспоминания» – цикл из четырех пронумерованных латинскими цифрами стихотворений: I. «Люблю появление ткани...»; II. «О, бабочка, о, мусульманка...»; III. «Когда уничтожив набросок...»; IV. «Скажи мне, чертежник пустыни...».

Эти четыре стихотворения вместе с еще семью в 1935 г. были занесены Н.Я. Мандельштам в так называемый «ватиканский список» под общим условным заглавием «Восьмистишия» (заглавие «Воспоминания» было признано случайной, не заслуживающей внимания ошибкой[ii]). «Ватиканский список» и его производные легли в основу всех современных публикаций 11 восьмистиший, начиная с первой полной публикации С.В. Василенко и Ю.Л. Фрейдина[iii]. «<...> «Восьмистишия» <...> представляют собой не цикл в буквальном смысле слова, а подборку. <...>

[i] *Кузмин М.* Стихотворения / Вступ. статья, сост., подгот. текста и прим. Н.А. Богомолова. СПб., 2000. С. 427 (Новая библиотека поэта).
[ii] *Мандельштам О.* Сочинения: В 2 т. / Сост., подгот. текста и коммент. П.М. Нерлера. М., 1990. Т. 1. С. 539.
[iii] День поэзии. 1981. М., 1981. С. 198–201.

В этой искусственной подборке порядок не хронологический, и окончательно он еще установлен не был», — считала Надежда Яковлевна[i].

Однако если признать, что стихотворение «10 января 1934 года» поступило в ГИХЛ в связи с предстоящим вечером памяти Андрея Белого, то, несомненно, в этой же связи были переданы туда и восьмистишия. В таком случае заглавие «Воспоминания» не опечатка, а, напротив, четкая авторская формулировка идеи цикла и, одновременно, обоснование для включения его в программу вечера. А это, в свою очередь, означает, что связь восьмистиший-воспоминаний со стихами о Белом может оказаться гораздо более серьезной, чем предполагалось ранее. Кстати, о том, что в феврале 1934 г. Мандельштам «прибавил к восьмистишиям 8 строчек, отделившихся от стихов Белому», писала Н.Я. Мандельштам, имея в виду восьмистишие «Преодолев затверженность природы...»[ii]. Можно предположить, что от стихов о Белом или — шире — от мыслей о Белом откололось и четыре «гихловских» восьмистишия-воспоминания, но только произошло это чуть раньше — в январе. Иначе, как нам кажется, трудно объяснить, почему Мандельштам решил прочитать эти стихи на посвященном Белому вечере и почему озаглавил их «Воспоминания». Возможно, в заглавии «Воспоминания» содержится отсылка к тем разговорам, которые происходили у Белого и Мандельштама в Коктебеле летом 1933 г.

Датировка стихотворений также традиционно базируется на указаниях Н.Я. Мандельштам, отмечавшей, что в подборку «вошли ряд восьмистиший, написанных в ноябре 33 года, одно восьмистишие, отколовшееся от стихов на смерть Андрея Белого, и одно — остаток от “Ламарка”». Она вспоминала, что «Мандельштам никак не хотел собрать и записать восьмистишия. <...> Первая запись восьмистиший все же состоялась в январе 34 года»[iii]. Среди записанных в январе 1934 года ею отмечены шесть стихотворений, в том числе все четыре из «гихловского» списка.

Вслед за Н.Я. Мандельштам, «под каждым стихотворением» обычно указываются «двойные даты»: «первая — время создания восьмистишия, вторая — время его окончательной записи»[iv]. Для интересующих нас восьмистиший-воспоминаний — «ноябрь 1933 года — январь 1934 года». При этом все публикации «Восьмистиший» делаются по позднейшим спискам, и никакого документального под-

[i] *Мандельштам Н.Я.* Комментарий к стихам 1930–1937 гг. // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж, 1990. С. 236–237. В «Полном собрании стихотворений» Мандельштама (Сост., подгот. текста и прим. А.Г. Меца. СПб., 1997) и в его «Сочинениях» (В 2 т. / Сост., подгот. текста и коммент. П.М. Нерлера. М., 1990. Т. 1. С. 536) они печатаются «в последовательности, обоснованной И.М. Семенко и согласованной с Н.Я. Мандельштам». Интересующие нас восьмистишия идут в них под номерами 2, 3, 6, 9. Другой вариант нумерации предложен Ю.Л. Фрейдиным и С.В. Василенко (см.: *Мандельштам О.* Стихотворения. Проза / Сост. Ю. Фрейдина, предисл., коммент. М. Гаспарова, подгот. текста С. Василенко. М., 2002. С. 151–153), третий — М.Л. Гаспаровым (см.: *Мандельштам О.* Стихотворения. Проза / Сост., вступ. статья и коммент. М.Л. Гаспарова. М., 2001. С. 197–200, 653–654; *Гаспаров М.* «Восьмистишия» Мандельштама // Смерть и бессмертие поэта. Материалы международной научной конференции, посвященной 60-летию со дня гибели О.Э. Мандельштама (Москва, 28–29 декабря 1998 г.). М., 2001. С. 47–54. (Записки Мандельштамовского общества. № 11). Во всех случаях публикаторы идут «от семантики», как предлагала делать Н.Я. Мандельштам.

[ii] *Мандельштам Н.Я.* Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 236.

[iii] Там же.

[iv] День поэзии. 1981. М., 1981. С. 198.

тверждения ни дате создания в ноябре, ни дате записи в январе не было. Рукописи 1934 г. считались пропавшими бесследно...

Но ведь именно с январской рукописи 1934 года была сделана «гихловская» машинопись стихотворения «10 января 1934 г.». Значит, публикуемый выше цикл «Воспоминания» отражает ту самую январскую запись восьмистиший, о которой говорила вдова поэта. А это означает, что «гихловский» список четырех восьмистиший-воспоминаний является самым ранним из известных на сегодняшний день или даже – самым ранним. Ведь о том, что было (или не было) сочинено в ноябре 1933 г., а также о том, претерпело ли сочиненное какие-то изменения в период «устного бытования текста» и при фиксации на бумаге, судить в принципе невозможно... Не исключено также, что первая запись восьмистиший «состоялась» именно в связи с готовящимся выступлением Мандельштама на вечере памяти Белого. Вопрос о том, были ли в январе записаны только эти четыре стихотворения или, как указывает Н.Я. Мандельштам, шесть, остается по-прежнему открытым...

К сожалению, столь ценный документ дошел до нас в чудовищно изуродованном опечатками виде[i]. Однако сквозь густую пелену искажений все же просвечивает мандельштамовский стих и, что особенно интересно, очевидны авторская циклизация, авторская нумерация и данное поэтом заглавие.

Мы публикуем заявленный в программе вечера памяти Андрея Белого цикл «Воспоминания» по машинописи из фонда ГИХЛа с исправлением опечаток по «ватиканскому» списку, воспроизведенному в «Полном собрании стихотворений» О.Э. Мандельштама (СПб., 1997 – серия «Новая библиотека поэта»; сост., подгот. текста и прим. А.Г. Меца). Не исправлено разночтение, которое, на наш взгляд, не может считаться опечаткой: в «гихловской» машинописи во второй строке восьмистишия «Когда, уничтожив набросок...» вместо принятого «прилежно» – «спокойно» («Ты держишь спокойно в уме»). Как отмечено в примечаниях А.Г. Меца, в «ватиканский список», где изначально тоже фигурировало «спокойно», была внесена «поздняя поправка Н.Я. Мандельштам» на «прилежно»[ii].

* * *

Н.Я. Мандельштам отмечала, что «последнее стихотворение «Откуда привезли? Кого? Который умер?..» не имеет конца. <...> Мандельштам все же определил

---

[i] Справиться с «Воспоминаниями» машинистке оказалось еще труднее, чем со стихотворением «10 января 1934 г.». В ряде случаев «поплыл» синтаксис; в 3-й и 4-й строках стихотворения «О, бабочка, о, мусульманка...» пришлось вообще перейти на прозаический пересказ: «Жизни полна и умирания, / Таких больших сил» (вместо: «Жизняночка и умиранка, / Такая большая – сия!»). Лексические замены представляют интерес не столько для текстологии Мандельштама, сколько для реконструкции облика гихловской сотрудницы: вместо «чертежника пустыни» ей привиделся «чертенок пустыни»; вместо «дуговой растяжки» – «затяжка» (то ли затяжка на чулке, платье или свитере, то ли затяжка папиросой?); «выпрямительный вздох» в «гихловском» списке наступает не после нескольких «задыханий», а после «двух или трех, / А то четырех заседаний» (быть может, она стенографировала многочисленные заседания в ГИХЛе или печатала их протоколы?).

Единственное отличие, которое может быть расценено как разночтение и пополнить позитивные знания о первоначальном тексте, состоит в использовании во второй строке восьмистишия «Когда уничтожив набросок...» слова «спокойно» вместо принятого в современных публикациях «прилежно»: «Когда уничтожив набросок, / Ты держишь спокойно в уме / Период без тягостных сносок...». «Спокойно» в «ватиканском списке» зачеркнуто, и вместо него на полях рукой Н.Я. Мандельштам вписано «прилежно». О выборе в пользу «прилежно» см.: *Мандельштам О.* Полное собрание стихотворений. СПб., 1997. С. 596.

[ii] *Мандельштам О.* Полное собрание стихотворений. С. 596.

ему место — оно последнее в цикле — и сказал: «Будем печатать, доделаю». Ему не пришлось ни доделывать, ни печатать»[i]. Стихотворение сохранилось в записи Н.Я. Мандельштам, сделанной в 1950-х по памяти, с пропусками. По свидетельству Н.И. Семенко, «Н.Я. Мандельштам согласилась с условным предположением», что на месте первого пропуска («Где <.......>?») «могло быть: "Где будут хоронить?"»[ii]. Относительно второго пропуска предположений нет. В примечании Н.Я. Мандельштам говорится: «Слова утеряны»[iii]. Это стихотворение, возникшее в процессе работы над циклом памяти Андрея Белого, печатается по изданию «Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама», в котором воспроизведен «машинописный текст «Новых стихов» О.Э. Мандельштама, подготовленный И.М. Семенко на одном из этапов работы над архивом поэта»[iv].

* * *

Созданный Мандельштамом посмертный цикл стихотворений густо насыщен аллюзиями на прозаические и поэтические произведения поэта[v]. В нем также виртуозно обыграны особенности внешности и пластики Белого. Введены в поэтический текст и многочисленные реалии похорон.

Например, Мандельштам отметил работу двух десятков художников, делавших зарисовки с лежащего в гробу писателя («Налетели на мертвого жирные карандаши»), выделил среди них знаменитого гравера В.А. Фаворского, готового «перенесть на истинную медь то, что обугливший бумагу рисовальщик, лишь крохоборствуя успел запечатлеть», и скульптора С.Д. Меркурова, снимавшего слепки с лица и с руки покойного («Лиясь для ласковой только что снятой маски, Для пальцев гипсовых, не держащих пера»).

Привлекло внимание Мандельштама и музыкальное сопровождение похорон: «И вдруг открылась музыка в засаде...» Странный образ «музыки в засаде» могут, как кажется, объяснить дневники С.Д. Спасского и письмо П.Н. Зайцева Л.В. Каликиной от 11 января 1934 г.[vi] Спасский отметил, что «играл струнный квартет», а не обычный в таких случаях духовой оркестр, а также то, что «гроб стоял в небольшом зале с хóрами». По свидетельству П.Н. Зайцева, «играл оркестр консерватории», размещенный «в соседней комнате». В обоих случаях оркестр находился не в том помещении, где проходило прощание, а значит, пока музыканты не начали играть, их никто не видел.

Также нуждается в «фактографических» пояснениях использование Мандельштамом эпитета «ледяной» при определении связи, рождающейся между Белым и страной («Меж тобой и страной ледяная рождается связь»). В литературе о Мандельштаме указывалось, что здесь содержится намек на главного персонажа автобиографического романа Белого «Записки чудака» — Леонида Ледяного. Выше мы уже отмечали аллюзии на лирический отрывок в прозе «Аргонавты» из сборника «Золото в лазури». Однако, как кажется, эпитету «ледяной» можно дать и

---

[i] *Мандельштам Н.Я.* Вторая книга: Воспоминания. М., 2001. С. 287.

[ii] Примечание И.М. Семенко, воспроизведенное С.В. Василенко при публикации «Новых стихов» О.Э. Мандельштама в сб.: Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. С. 137.

[iii] Там же.

[iv] Там же. С. 82 (публикация С.В. Василенко).

[v] См., напр., указанную работу С.В. Поляковой.

[vi] См. в наст. изд.

более простое, «метеорологическое» толкование. Напомним, что на улице стоял январь, гроб с телом писателя поставили на катафалк, запряженный чахлой, усталой, еле шагавшей лошадью. Этот катафалк медленно, через весь зимний, замерзший город двинулся к крематорию, а вслед за ним, преодолевая ледяной январский ветер, двинулась и немногочисленная похоронная процессия... Думается, что прежде всего именно погодные условия навеяли Мандельштаму образ «ледяной связи».

Сравнение Белого с устрицей («Молчит, как устрица») — в стихотворении, завершающем публикацию, навеяно, как кажется, впечатлением от тела, лежащего в гробу, как в раковине. А раздражение на то, что «на полтора аршина к нему не подойти — почетный караул» — тем, что почетный караул сменялся слишком часто, каждые пять минут, что создавало толчею[i]. Не исключено, что с этим связана уже упоминавшаяся ранее деталь: «В суматохе Мандельштаму на спину упала крышка гроба Белого». Как следует из письма С.Б. Рудакова жене (1935), это досадное происшествие произошло тогда, когда Мандельштам стоял в «последнем карауле»[ii]. Однако, «по сообщению Л.Н. Гумилева, бывшего 10 января 1934 года вместе с Мандельштамами на похоронах А. Белого, поэт сначала обиделся на то, что его не пригласили в почетный караул. Но затем, постояв немного над гробом, умиротворился и, недолго побыв, ушел»[iii]. Кто из «информантов» более точен, сказать трудно, но оба свидетельства дают основание говорить о том, что от почетного караула у Мандельштама остались не самые лучшие воспоминания.

Объяснение первой строки стихотворения «Откуда привезли? Кого? Который умер?», возможно, содержится опять-таки в дневниках Спасского: «Иду за гробом в первой шеренге. Долгое путешествие. Тихий день, чуть подмороженный, процессия не очень велика. Подбегают много раз школьники: — Кого хоронят? — Писателя». О необходимости отвечать на вопросы, спародированные Мандельштамом, писал и другой участник похоронной процессии: «Слышу голоса прохожих: «Хоронят писателя Андрея Белого. — Кого? — Андрея Белого — писателя» — передают друг другу мальчишки»[iv].

«Гоголь» и «гоголек», появляющиеся во второй и третьей строках, неоднократно комментировались: отмечали отсылку к книге Белого «Мастерство Гоголя», а также то, что «гогольком» называл Белого Вячеслав Иванов. Думается, что этим строкам можно дать и еще одно, более простое, фактографическое объяснение. Так, Мандельштаму вполне могло быть известно об усилиях, которые предпринимали К.Н. Бугаева, П.Н. Зайцев и другие друзья Белого, чтобы захоронить писателя на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Гоголя, а также и о том, что в этой чести Белому было отказано.

Впрочем, аллюзиями на произведения Белого и реалиями похорон образный строй и содержательный пласт посмертных стихов Мандельштама отнюдь не ограничивается. Нам представляется, что Мандельштам, так же как и авторы некролога в «Известиях» (9 января 1934 г.) — Б. Пастернак, Б. Пильняк, Г. Санников,

---

[i] См. письмо П.Н. Зайцева к Л.В. Каликиной от 11 января 1934 г. в наст. изд.

[ii] О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 52.

[iii] Цит. по: *Мандельштам О.* Сочинения: В 2 т. / Сост., подгот. текста и коммент. П.М. Нерлера. М., 1990. Т. 1. С. 535.

[iv] См. «Из дневника незнакомца, найденного К.Н. Бугаевой в почтовом ящике» в наст. изд.

выступил полемично по отношению к погромному предисловию к мемуарам «Начало века».

Напомним, что именно в окружении Мандельштама наиболее прямо связывали это предисловие со смертью Белого: «Последней каплей, отравившей его сознание, было предисловие Каменева к его книге о Гоголе. Это предисловие показывает, что, как бы ни обернулись внутрипартийные отношения, нормального развития мысли все равно бы не допустили. При любом обороте событий идея о воспитании и опеке над мыслью все равно осталась бы основой основ. Вот столбовая дорога, сказали нам, а если мы ее для вас проложили, зачем вам ездить по проселочным?.. К чему чудачества, когда перед вами поставлены самые правильные задачи и заранее дано их решение!..» – писала Н.Я. Мандельштам[i].

«Умер Андрей Белый. Взволнованная Надя взволнованно рассказывала, что именно довело его до удара и кончины. Только что вышла из печати его мемуарная книга «Между двух революций» с предисловием Л.Б. Каменева: он назвал всю литературную деятельность Андрея Белого «трагифарсом», разыгравшимся «на задворках истории». Андрей Белый скупал свою книгу и вырывал из нее предисловие. Он ходил по книжным магазинам до тех пор, пока его не настиг инсульт, отчего он и умер»[ii], – передавала ее мнение, а скорее всего и общую семейную легенду, Э.Г. Герштейн.

Любопытно, что и Н.Я. Мандельштам, и Э.Г. Герштейн перепутали книгу, выход которой так травмировал Белого: предисловия к «Между двух революций» Каменев вообще не писал, а предисловие Каменева к «Мастерству Гоголя» не только не оскорбило, но даже обрадовало Белого (см. его дневник 1933 г.). Однако обе были едины в оценке каменевской статьи как статьи убийственной. Думается, что Мандельштам если не сам породил эту точку зрения, то как минимум ее разделял.

Как кажется, значительный слой несобственно-прямой речи, которой насыщены стихи Мандельштама, посвященные памяти Белого, восходит к характеристикам, данным Каменевым в статье-предисловии к «Началу века».

Так, например, Белый предстает у Мандельштама как поэт, который «непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок...», как тот, кто из своей жизни и творчества «невнятицу устроил, / Который шустрился, довольно уж легок, / О чем-то позабыл, чего-то не усвоил...». Со стороны Мандельштама, чье творчество простотой и понятностью не отличалось никогда, это весьма странные претензии. Зато они совершенно в духе каменевской критики Белого: «Для определения своего собственного идейного багажа того времени он правильно не находит другого слова, как “муть”. <...> И так проходит по всей книге: “запутался”, “перепутался”, “путаница”, “путаники”, “моя идейная невменяемость” <...>»; или: «Картина, отразившаяся на страницах книги Белого, больше всего напоминает дом, жители которого глубокой ночью получили сообщение о том, что на них катится лавина. Белый <...> заставляет нас совершить обход различных закоулков этого обширного помещения, и в каждом из них мы констатируем сумятицу, нелепицу, невнятицу, идейную кашу, моральное бессилие». Общим местом критики Белого, как, впро-

---

[i] *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания. [Кн. 1]. М., 1999. С. 182.

[ii] *Герштейн Э.Г.* Мемуары. СПб., 1998. С. 50.

чем, и других буржуазных писателей», были упреки в том, что они, несмотря на свою культурность, «не усвоили» того, что необходимо усвоить истинно советскому автору. «Перелистывая книгу воспоминаний <...> Бугаева, <...> иногда прямо диву даешься: где жили эти люди? что они видели? что они слышали? или, верней, как умудрились они жить в великую эпоху, ничего не видя, ничего не слыша?» — возмущался Каменев.

Не исключено, что каменевским предисловием, рисующим Белого фигурой трагикомической, навеяны слова Мандельштама: «На тебя надевали тиару — юрода колпак». Традиционно эту строку объясняют через очевидную аллюзию на стихотворение Белого «Вечный зов» (1903): «Полный радостных мук / утихает дурак. / Тихо падает на пол из рук / Сумасшедший колпак»[i]. Однако здесь уместно вспомнить и записанную С.Д. Спасским реакцию Белого на появление в печати книги «Начало века»: «Предисловие к “Н.Века” поразило. — Я никогда не был шутом. А он меня сделал шутом». Видимо, о чем-то подобном писал и Г.А. Санников: «Выход “Начала века”. Предисловие. Слезы К<лавдии> Н<иколаевны>. Встреча и разговор. “Какой-то шут гороховый”»[ii]. Да и в предисловии Каменева тема шутовства, применительно к ближайшему окружению Белого, обыграна: «Наиболее “деловые” и “сериозные” <...> стали бы архиереями светской церкви штампованной буржуазной идеологии, а другие, менее устойчивые и менее “солидные”, — шутами при ней».

Из того же источника — образ писателя, гонимого «веком <...> взашей». У Каменева об этом говорится открыто: «Октябрьская революция спасла кое-кого из этого поколения буржуазной интеллигенции, — напр., автора “Начала века” — быть может, еще спасет кое-кого. Но чтобы спасти их, она должна была взять их за шиворот — и сорвать с того пути, по которому они двигались, ибо по самому своему характеру это была обреченная на гибель группа».

Думается, что в строке «Часто пишется казнь» Мандельштам оценивает в том числе и последствия каменевской статьи, обрекавшей Белого на изгнание из советской литературы и фактически из жизни: «От этого приговора истории не спасает среду Белого тот факт, что — по собственному их мнению — они стояли на вершинах человеческой культуры, что они посвящали свое время и размышления “вечным проблемам”. <...> не имеет никаких шансов войти в культурную сокровищницу человечества тот, кто обошел боковыми тропинками столбовую дорогу своей эпохи». В предисловии Каменева к «Мастерству Гоголя» тема казни, уготованной Белому и его единомышленникам, звучит еще более откровенно: «Вывод ясен. Вредно, когда художник пытается осознать тенденцию своих произведений, когда он перестает гоняться за образами, “как пастух за разбежавшимся стадом”, а пытается их привести в какую-то целеустремленную систему. Художнику, вступившему на этот путь, грозит гоголевский провал. Это — вывод, за который самый мягкий литературный трибунал должен был бы приговорить автора к самой суровой литературной казни. Белый уготовил себе эту неприятность исключительно тем, что в эпоху разложения атома и синтетического каучука продолжает пользоваться методами алхимии, тем, что пренебрег драгоценным орудием исследова-

[i] *Мандельштам О.* Стихотворения / Сост., подгот. текста и прим. Н.И. Харджиева. Л., 1978. С. 297.
[ii] Андрей Белый, Санников Г. Переписка 1928–1933. С. 243.

ния – материалистической диалектикой. <...> Она заставила бы его понять, что попытка художника осознать свою “мелодию” и свои образы может быть вредоносной для общества и гибельной для него лишь в том случае, если его устами говорит реакционный, обреченный на смерть класс <...>».

Думается, что с каменевским предисловием тесно связана и уже неоднократно комментировавшаяся нами строка из стихотворения «Голубые глаза и горячая лобная кость...». Каменев утверждал: «А книга Белого свидетельствует непреложно, что при всех этих фокусах исторический кругозор господ фокусников был – в вершок, связь с жизнью равнялась – нулю». Мандельштам выступил с опровержением этого убийственного для писателя приговора, заявив: «Меж тобой и страной ледяная рождается связь».

* * *

Несмотря на незавершенность посвященного Андрею Белому поэтического цикла, Мандельштам весьма активно знакомил со стихами «на смерть поэта» окружающих: и тех, кто приходил к нему, и тех, у кого в гостях бывал он сам. По свидетельству П.Н. Зайцева, «26 января Мандельштам зашел к Пастернаку прочитать свои стихи о Борисе Ник. и просидел у него до двух часов ночи». В дневниках К.И. Чуковского, в записи за 10 февраля 1934 г. рассказывается о том, как Мандельштам исполнял эти стихи, навещая его в Кремлевской больнице: «Третьего дня у меня был поэт Осип Мандельштам, читал мне свои стихи о поэтах (о Державине и Языкове), переводы из Петрарки, на смерть Андрея Белого. Читает он плохо, певучим *шепотом*, но сила огромная, чувство физической сладости слова дано ему, как никому из поэтов»[i].

Трудно сказать, какие из стихотворений на смерть Андрея Белого Мандельштам зачитывал при личных, неофициальных встречах с Пастернаком, Чуковским и многими другими слушателями. Безусловно, самые антикаменевские, а потому одновременно и антисоветские стихотворения цикла («Голубые глаза и горячая лобная кость...», «Откуда привезли? Кого? Который умер?») не могли предназначаться ни для публикации, ни для публичного выступления. Другие («10 января 1934 года», «Воспоминания»), как уже отмечалось, предполагалось исполнить на вечере в ГИХЛе. В сохранившихся в дневнике Зайцева набросках программы вечера, запланированного на 20 февраля 1934 г. указано, что «Мандельштам Осип прочтет стихи, посвященные памяти Андрея Белого». Это намерение, как известно, не осуществилось: вечер многократно переносился и в конце концов так и не состоялся.

Но даже если бы мероприятие разрешили провести, не исключено, что Мандельштаму на нем выступать все равно не позволили бы. В записи Зайцева за 3 мая 1934 г. сообщается, что в ГИХЛе при обсуждении программы вечера, намеченного на 14 мая, «относительно стихов Мандельштама выразили большое сомнение». Впрочем, к этому времени вопрос о выступлении Мандельштама стал уже не актуален: в ночь с 13 на 14 мая поэт был арестован. По свидетельству Н.Я. Мандельштам, стихами на смерть Андрея Белого О.Э. Мандельштам «отпевал не только Белого, но и себя»[18].

---

[i] *Чуковский К.И.* Дневник (1930–1969). М., 1997. С. 100.

---

[1] В машинописи П.Н. Зайцева озаглавлено «Памяти Андрея Белого». Принято считать, что стихотворение было написано 10–11 января 1934 г.

[2] В списке Е.Я. Хазина: «Он дирижировал кавказскими горами / И, машучи, ступал на тесных Альп тропы / И, озираючись, пустынными брегами / Шел, чуя разговор бесчисленной толпы».

[3] В списке Е.Я. Хазина: «Толпы умов, влияний, впечатлений».

[4] В списке Е.Я. Хазина: «Когда душе столь торопкой, столь робкой».

[5] В списке Е.Я. Хазина: «виющеюся».

[6] В списке Е.Я. Хазина: «звука-первенца».

[7] В списке Е.Я. Хазина: «в продольный лес смычка».

[8] В списке Е.Я. Хазина: «А посреди толпы».

[9] Слово впечатано сверху после – не под копирку, а в данный экземпляр машинописи.

[10] Во всех других известных списках – «честные».

[11] В машинописи из фонда ГИХЛа – «покатой истины». Исправляем по публикации Н.И. Харджиева, выполненной по автографу из его собрания (*Мандельштам О.* Стихотворения. Л., 1978).

[12] В машинописи из фонда ГИХЛа – «В молнокрылатом». Исправляем по публикации Н.И. Харджиева.

[13] В машинописи из фонда ГИХЛа комическая опечатка: «заседаний».

[14] В машинописи из фонда ГИХЛа комическая опечатка: «затяжка».

[15] В машинописи из фонда ГИХЛа комическая опечатка: «чертенок».

[16] «Н.Я. Мандельштам согласилась с условным предположением, что на этом месте могло быть: “Где будут хоронить?”» (прим. И.М. Семенко, воспроизведенное С.В. Василенко при публикации «Новых стихов» в сб.: Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воронеж, 1990. С. 137).

[17] «Слова утеряны» (прим. Н.Я. Мандельштам. – Там же).

[18] *Мандельштам Н.Я.* Комментарий к стихам 1930–1937 гг. Там же. С. 245.

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

П.А. ФЛОРЕНСКИЙ

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С СЕМЬЕЙ

I
Из письма П.А. Флоренского к О.П. Флоренской[1]

17 января 1934 г., Свободный.

<...> Из газет узнали мы о кончине Андрея Белого. Узнали и огорчились. Ведь я был связан с ним когда-то близкими отношениями, которые хотя и порвались после, но образ Андрея Белого в расцвете его творчества живет во мне неизменно, хотя сам Андрей Белый и покрылся в жизни пеплом и посерел. Вася и Кира[2] может быть немного помнят, как он был у нас, ты же, вероятно, ничего не помнишь <...>[3].

II
Из письма П.А. Флоренского к В.П. Флоренскому[4]

12 февраля 1934 г., Свободный.

<...> У нас — выходной день, но я, как всегда, этот день сижу на службе и работаю. В такие дни народу бывает сравнительно мало, поэтому в учреждении тихо и работается гораздо успешнее, чем в рядовые дни. Ведь тогда слишком много людей, трудно сосредоточиться, часто отрывают разными вопросами, когда требуется что-нибудь объяснить или сделать, и потому мысль разбрасывается. Это время мы, т.е. несколько человек, знающих и ценящих поэзию, много вспоминали Андрея Белого[5] в связи с дошедшими до нас газетными известиями об его кончине. Правда, я много лет его не видел, но воспоминания юности, когда я знал его хорошо и когда он был в расцвете своих дарований, так живы, что как будто это было несколько недель тому назад. Я даже доволен, что не встречался с ним в последние годы, бывшие для него годами упадка, болезни и постарения. Вероятно новые, менее светлые впечатления загладили бы старые и старый его облик, с каким он останется в моем сознании. Мне жалко только, что нечего почитать из его прежних произведений, которых здесь ни у кого нет, и что приходится довольствоваться жалкими обрывками, сохранившимися в памяти; но не сохранилось почти ничего цельного, хотя когда-то я знал не мало. Вот, значит, порвалась еще одна нить, связывавшая меня с годами юности[6]. <...>

III
Из письма А.М. Флоренской[7] к П.А. Флоренскому

4 марта 1934 г., Сергиев Посад

<...> Ты жалеешь Андрея Белого? А по-моему, так очень хорошо. Да просто както делается неприятно за его грубые выходки по отношению к знакомым...[8]

IV
Из письма П.А. Флоренского к А.М. Флоренской

23–24 марта 1934 г., Сковородино

<...> Бываете ли вы у Госи?[9] Пойдите к ней за меня. За этот год я был много раз утешен мыслию об ее уходе, но не в том смысле, о каком ты пишешь об А. Белом. Кстати, то, что ты пишешь о нем, – несправедливо, я знал его с лучшей стороны, и память о нем остается во мне светлой и белой, хотя мы и разошлись впоследствии. <...>[10]

Послесловие

Философ, богослов, универсальный ученый, искусствовед и поэт Павел Александрович Флоренский (1882–1937) был знаком с Белым со времен студенческой юности. В доме Бугаевых он появился в декабре 1903 г., о чем Белый сделал запись в «Ракурсе к дневнику»: «Появление у меня 3-х студентов – Флоренского, Эрна, Свентицкого; и мое вступление в религиозно-философский кружок»[i]. В мемуарах Белый вспоминал: «Я встретился с тройкой студентов: с Владимиром Эрном, оставленным при университете при профессоре Трубецком, с Валентином Свентицким, еще студентом-филологом, и с Павлом Флоренским, кончающим математический факультет, учеником Лахтина и слушавшим лекции отца, обнаружившим уже ярко способности, даже талант в математике. Они явились ко мне. <...> Вся суть в Флоренском <...>. С тех пор он являлся ко мне, избегая моих воскресений, – как крадучись; в тайном напуге, не глядя в глаза, лепетал удивительно: оригинальные мысли его во мне жили; любил он говорить о теории знания; и укреплял во мне мысль о критической значимости символизма; что казалось далеким ближайшим товарищам – Блоку, Иванову, Брюсову и Мережковскому, – то ему виделось азбукой; мысль же его о растущем, о пухнущем, точно зерно разбухающем многозернистом аритмологическом смысле питала меня, примиряя с отцовскими мыслями мысль символизма»[ii]. В «Ракурсе к дневнику» Белый отмечает «интенсивные и частые свидания с Флоренским; долгие, философские, нас самоопределяющие беседы» и «особенную близость с Флоренским» в конце 1904 г.[iii] В этот же период они интенсивно обмениваются письмами, публично выступают в поддержку друг друга, посвящают друг другу свои произведения: Белый – стихотворение «Священные дни» в сб. «Золото в лазури», Флоренский – поэму «Белый камень». Однако период духовной близости вскоре завершился, и на смену взаимной очарованности пришло уважительное отчуждение. Православный священник, Павел Флоренский, естественно, не мог поддержать увлечение Белого антропософией. Их переписка с перерывами продолжалась до 1914 г., последняя встреча состоялась в 1917 г.[iv]

---

[i] *РД.* Л. 20 об.

[ii] *НВ 1933.* С. 270–274.

[iii] *РД.* Л. 21, 26.

[iv] Подробно об отношениях Белого и Флоренского см.: *Силард Л.* Андрей Белый и П. Флоренский (Мнимая встреча новых концепций пространства с искусством) // Studia Slavica Hungarica. Budapest, 1987. № 33

О смерти Белого о. Павел узнал в заключении, на Дальнем Востоке: в феврале 1933 г. он был арестован, приговорен к десяти годам лагерей и отправлен в БАМЛАГ (Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь). С 1 декабря 1933 г. Флоренский содержался в восточносибирском лагере «Свободный», 10 февраля 1934 г. его перевели на опытную мерзлотную станцию в Сковородино Уссурийской железной дороги, откуда 1 сентября 1934 г. он был отправлен по этапу в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН).

В августе 1934 г. к Флоренскому на свидание были допущены жена и дети. В связке писем, привезенных А.М. Флоренской из Сковородино, находился вырезанный им из газеты «Известия» за 9 января 1934 г. некролог Андрею Белому, написанный Б.А. Пильняком, Б.Л. Пастернаком и Г.А. Санниковым. Очевидно, что из этого некролога Флоренский узнал о смерти друга юности. Его реакция на это событие подробно рассматривается в статье П.В. Флоренского «Кончина Андрея Белого: Взгляд из концлагеря»[i].

Выдержки из публикуемых писем воспроизводятся по изданию: *Флоренский П., свящ.* Соч.: В 4 т. / Сост. и общ. ред. игумена Андроника (А.С. Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачевой. Т. 4: Письма с Дальнего Востока и Соловков. М., 1998. (Философское Наследие. Т. 127).

Составители выражают благодарность Павлу Васильевичу Флоренскому за помощь и ценные советы.

---

[1] Ольга Павловна Флоренская (в замужестве Трубачева; 1918–1998) – старшая дочь П.А. Флоренского; ботаник.

[2] Имеются в виду сыновья П.А. Флоренского Василий Павлович (1911–1956), в будущем геолог, доцент Московского нефтяного института имени И.М. Губкина, и Кирилл Павлович (1915–1982), в будущем геохимик, ученик В.И. Вернадского, один из основателей сравнительной планетологии.

[3] *Флоренский П., свящ.* Соч.: В 4 т. / Сост. и общ. ред. игумена Андроника (А.С. Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачевой. Т. 4: Письма с Дальнего Востока и Соловков. М., 1998. С. 66–67.

[4] Василий Павлович Флоренский. См. прим. 2.

[5] О том, что Павел Флоренский рассказывал солагерникам об Андрее Белом и читал его стихи, сообщил в 1980 г. внуку священника, Павлу Васильевичу Флоренскому (р. 1936), известный геолог, член-корреспондент АН СССР Константин Викторович Боголепов (1913–1983): в двадцатилетнем возрасте Боголепов оказался в том же лагере и участвовал в беседах об Андрее Белом.

[6] *Флоренский П., свящ.* Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 74–75.

[7] Анна Михайловна Флоренская (урожд. Гиацинтова; 1889–1973) – жена П.А. Флоренского.

(1–4). P. 227–238; Из наследия П.А. Флоренского. К истории отношений с Андреем Белым / Подгот. текста игумена Андроника (А.С. Трубачева), О.С. Никитиной, С.З. Трубачева, П.В. Флоренского и др.; вступ. статья и коммент. Е.В. Ивановой, Л.А. Ильюниной // Контекст 1991: Литературно-теоретические исследования. М., 1991. С. 3–99; Павел Флоренский и символисты: Опыты литературные. Статьи. Переписка / Сост., подгот. текста и коммент. Е.В. Ивановой. М., 2004. С. 310–315, 433–498.

[i] Миры Андрея Белого / Ред.-сост. К. Ичин, М. Спивак; сост. И. Делекторская, Е. Наседкина. Белград; М., 2011. С. 304–322.

[8] *Флоренский П., свящ.* Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 732. Имеются в виду портреты современников в мемуарах «Начало века». Досталось от Белого и П.А. Флоренскому: «С коричнево-зеленоватым, весьма некрасивым и старообразным лицом, угловатым носатиком сел он в кресло, как будто прикован к носкам зорким взором <...> падающий голос, улыбочка, грустно-испуганная; тонкий, ломкий какой-то, больной интеллект, не летающий, а тихо ползущий, с хвостом, убегающим за горизонты истории <...>» (*НВ 1933*. С. 271).

[9] Речь идет об умершей младшей сестре Флоренского, Раисе Александровне (1894–1932), художнице; Гося – ее домашнее имя.

[10] *Флоренский П., свящ.* Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 103.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной

К.С. ПЕТРОВ-ВОДКИН

ПИСЬМО К К.Н. БУГАЕВОЙ

10 февраля 1934 г.

Дорогая, милая Клавдия Николаевна,

давно собирался написать Вам, но все не хотелось помешать вашей скорби.

Утрата Бориса Николаевича — это наша общая скорбь.

Это было на елку Ленушки[1], когда вместе с детьми собрались к нам и несколько человек взрослых и мы без конца говорили об Андрее Белом, не зная, что это был день его смерти. Наутро забежал Шапорин[2] с печальной вестью и прямо с мистическим вопросом: неужели никто из нас не знал о смерти Бориса Николаевича при таких дебатах и воспоминаниях о нем вчера?

Конечно, он посетил нас среди милого веселья детей и сам ребенок по своей мудрости и творческим капризам. Все это его дойдет до людей, даже до таких, что до сегодня изводили смертельно поэта нашего сегодня. И капризы и мудрость станут пушкински просты и пленительны даже для самых тугоухих к ритмике людей.

Он первый продолжил Пушкина, перешел, казалось бы, запретную черту для художника и вышел в новое одиночество исканий, как Пушкин когда-то в свое.

Смерть Бориса Николаевича еще больше притянула меня к работе над его портретом (в группе, о котором я писал)[3] в поисках жеста и выразительности, присущих ему.

Прочел мне Вяч<еслав> Яковл<евич>[4] Ваше письмо о последних минутах, которым Вы утешили нас, его друзей последней предсмертной тишиной и успокоенностью милого, родного Художника.

Очень неуютно мне сейчас от сознанья, что Белого нет, поддержки нет. Ведь, бывало, даже не видя Бориса Николаевича рядом видя только мысленно его в каком-то углу Москвы, в каком-то вихре его жестов уже защищался я им в работе моей и болеть словно было легче[5].

Всем сердцем обнимаем мы Вас, дорогая Клавдия Николаевна, и Мария Ф.[6], и Ленушка.

К. Петров-Водкин
10/II 1934 Д/Село[7].

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»: фрагмент ненаписанной книги

Смерть, смерть, смерть.

Погиб Андрей Белый... Погиб, потому что поэты погибают, взрываются... Нельзя же, чтоб такая огромность [богатырство] творческой энергии распалась на свои атомы без взрыва.

И всегда в последний момент пред гибелью [последней каплей, вызывающей гибель] поэта является представитель обывательского [пошлого мещанского] злопыхательства и наносит поэту смертельную рану[8].

Иногда в устричных вагонах привозят на родину погибших поэтов[9]. Иногда их для посмешища путают со старыми кривляками танцовщицами[10].

Ты, о весне прощебечешь ли
мне, синегузая пташечка?[11]
А. Белый (ум. 8-го января 1934 г.)

Как только искусство захочет заняться не присущим ему делом [быть полушутом], оно становится мозговыми [натуралистичными] упражнениями. Провинциальное менторство и мещанское сюсюканье об антимещанстве, ограниченность мысли – являются признаками художественного обнищания данной группы народа, а иногда и целой страны. Доморощенные философии о развенчанном [печном] горшке[12] являются типичными потугами людей аритмических найти какой-то новый способ создавать произведения искусства. Вся плеяда передвижников и даже их очень талантливые работы оказались жертвами <*нрзб.*>.

А в результате неумные анекдоты, совершенно «бесполезные» для сейчасного [моего] времени, и отсутствие простого мастерства делают их и вредными как образцов местечкового, слободского вкуса мастеровщинки. В литературе еще бросче передвижническое беззубие со словечками, с сюжетиками дающее впечатление. Что после каждой фразки, автор любуется на себя в зеркало и строит гримасу мученика с выражением сенбернара в очах.

Волноваться, конечно, не стоит: ничего в будущее от этого мозгового бреда [хлама] и дряблой формы не останется... Но... ведь пуля уличного мерзавца только геростратовски закончила дело с Пушкиным, но поэт [выбитый из ритма поэт] был задолго до смерти выбит из ритма Будильниками[13] [полезной сволочью] того времени, влезшими в литературу.

Ведь дорапортовались же они:

– Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан[14], – вот она, ходячая пошлость [подхалимов], брошенная на поэта: как будто поэт может не быть первоклассным гражданином.

Как будто Гомер, написавший Илиаду [лишь гражданин]

Как будто автор песни о Роланде

Как будто наш творец Слова о полку Игореве

Как будто автор Библии – как будто эти поэты не великие граждане их времени!

Искусство не ошибается, оно дает точную энергию [конечно, вольно черпать эту энергию и творцам и разбойникам]. Оно, еще когда кажется спокойным, уже волнуется, меняет ритм и кажется нам – жителям, что впустую беснуется поэт. Они радуются, когда радость еще за горами, и мы упрекаем поэта во лжи. Они у «парадных подъездов» не просачиваются и не воют [«Выйдь на Волгу»][15] лживым голосом и не пускают католическую безвкусицу «в белом венчике из роз»[16] шествовать впереди Революции. – Они, настоящие, берут вещь, а не ее символ, они не обмозговывают, а «обживают» образы.

Какое, в сущности, пустое декоративное не органическое произведение статуя Петра Фальконета[17], построенное на тяжести хвоста лошади, в чем и заключена вещественность произведения; что сделал из этого «медного» (тупого, как медь) Всадника [наш] Пушкин, а потом пожавший Пушкину руку Андрей Белый в «Петербурге»! Отлично: нигде не восхитились поэты самой вещью.

Было у меня следующее переживание. Когда впервые, еще в Царском Селе шел к фонтану – статуе Соколова в Екатерининском парке к девушке с разбитым кувшином[18] я очень волновался. Для меня был огромной важности вопрос: что воспел Пушкин, неужели – здесь на этой статуе он ошибся, сложив о ней прекрасное восьмистишие: «Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила...»[19] Меня преследовал страх при подходе к фонтану не за Пушкина страх, а страх от того, что если окажется, что поэт ошибся, то это будет означать, что принципы искусства шатки, ритмика вещь случайная... «прикидываться» же и говорить «словечки» для словечек поэт не мог.

Стараясь не вглядываться в силуэт темнеющий на фоне листвы, я уселся на скамью, где и сидел, конечно, он [зачерчивал свое впечатление] написал «Урну». Искусство победило: стихи и девушка в бронзе были конгениальны, одноритмичны.

* * *

Великий мастер социального передела Ленин после своей дневной работы – от которой зависят сотни и тысячи человеческих жизней и быть или не быть земле Русской – Ленин прочитывал любимые им места из Пушкина, а Сталин заряжает свой отпуск Шекспиром. Дела практиков, осуществляющих великие цели, требуют великих мастеров ритма в сообщники.

Видимо, на «выдь на Волге» не отдохнуть человечеству. А если *так*, то пусть массы не спускаются к рифмованию и рифмованным мозгожевателям, а пусть подымаются к Пушкину и Шекспиру (Горький – это [самородок] оригинальный писатель неопередвижник, решивший на злобе построить добрую жизнь).

Горе началось, когда, благодаря доступности книгопечатания и спекуляции с ним, не поэты влезли в Поэзию. Наша былина о том, как перевелись богатыри на земле Русской – единственная в мире по сюжету.

Послесловие

Андрей Белый и Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) познакомились в 1917 г. в Царском Селе у критика, литературоведа и философа Иванова-Разумника. В Вольной философской ассоциации, где они впоследствии вместе работали, Андрей Белый был председателем, Иванов-Разумник – помощником председателя, Петров-Водкин – одним из членов-учредителей, членом совета Вольфилы, вел курс лекций «Искусство видеть». В дальнейшие годы художник и писатель не только неоднократно встречались, но и с пристальным вниманием и взаимным уважением относились к творчеству друг друга. Петров-Водкин ставил Белого выше всех современных русских литераторов и считал его одним из символов XX века. В свою очередь, «наука видеть», проповедуемая художником, нашла в Бе-

лом глубокий отклик. Как отмечала К.Н. Бугаева, он «пользовался этим выражением постоянно: на лекциях, в разговорах, в письмах; он развивал и углублял его в книгах: в “На рубеже”, в “Мастерстве Гоголя” и др.»[i].

Весной 1931 г. Андрей Белый вместе с К.Н. Бугаевой (тогда она еще была замужем за П.Н. Васильевым и носила его фамилию) поселился в Детском Селе под Ленинградом и прожил там с двухмесячным перерывом до конца года. Именно в это время Белый и Петров-Водкин особенно сближаются. Они видятся почти ежедневно, и художник приступает к работе над портретом Белого (1932. Х., м. Государственная Картинная галерея Армении, г. Ереван). Начатый с натуры в мае—июне 1931 г. портрет был закончен в 1932 г.[ii] Но найденный образ писателя не отпускал Петрова-Водкина и в дальнейшем: он ввел Белого в групповой портрет советских писателей (наряду с А.Н. Толстым, К.А. Фединым, В.Я. Шишковым и другими), а потом убрал остальных претендентов на роль выразителей духа эпохи. В 1934 г. художник переработал «портрет советских писателей» в картину «Пушкин, А. Белый и Петров-Водкин» (1934. Х., м. США, частное собрание)[iii]. Таким образом, портрет Андрея Белого 1932 г., одно из последних прижизненных живописных изображений писателя, послужил материалом для создания одного из первых посмертных его портретов.

Петров-Водкин неоднократно упоминал имя Андрея Белого и в мемуарах. Так, в книге «Пространство Эвклида» он писал: «Это было время “Весов” и “Скорпионов”, утончающих и разлагающих на спектры видимость. Время симфоний Андрея Белого с их дурманящими нежностями недощупа и недогляда, время Бердслея, когда запунктирились и загирляндились кружочками все книги, журналы и альманахи передовых издательств <...>»[iv].

Ту же мысль он повторил в написанном позднее (8 июня 1938 г.) наброске к незаконченной третьей книге: «<...> ни одного выдающегося явления в искусстве не пропустил я. Одними из первых сильнее других наполн<ивших> меня надеждой для меня в это время пожалуй были: Андрей Белый и М. Горький <...>»[v].

К работе над третьей книгой воспоминаний (первая — «Хлыновск», 1930; вторая — «Пространство Эвклида», 1932) Петров-Водкин приступил в декабре 1933 г., а фрагмент об Андрее Белом написал, по-видимому, в начале января 1934 г., под непосредственным впечатлением от известия о его смерти. Не случайна перекличка текста этого фрагмента с публикуемым письмом художника к Клавдии Николаевне от 10 февраля 1934 г. Идея преемственности, продолжения пушкинской традиции Андреем Белым звучит и в соболезнующем письме, и в черновике воспоминаний, и в картине «Пушкин, А.Белый и Петров-Водкин».

В это время художник также работал над портретом Ленина: к десятилетней годовщине со дня смерти вождя революции (1934. Х., м. Государственная картин-

[i] *Бугаева К.Н.* Воспоминания об Андрее Белом. СПб., 2001. С. 293.

[ii] Об истории отношений и взаимовлияний Белого и Петрова-Водкина, об истории создания портрета Андрея Белого подробнее см.: *Наседкина Е.В.* «Главная тема его неисчислимых мелодий...» // Наше наследие. 2005. № 74. С. 118–119.

[iii] Известен только по фотографии. См. об этом портрете: *Наседкина Е.В.* К.С. Петров-Водкин в поисках «героя своего времени»: Андрей Белый, Пушкин, Ленин // Художник и его текст: Русский авангард: история, развитие, значение / Сост. Н.В. Злыднева, М.Л. Спивак, Т.В. Цивьян. М., 2011. С. 114–125.

[iv] *Петров-Водкин К.С.* Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Изд. 2-е. Л., 1982. С. 428.

[v] РГАЛИ. Ф. 2010. Оп. 1. Ед. хр. 130. Л. 100.

ная галерея Армении, г. Ереван). Ленин на портрете изображен читающим Пушкина. А на картине «Пушкин, А. Белый и Петров-Водкин», завершенной в том же 1934 г., сам Пушкин читает свою рукопись Петрову-Водкину и Андрею Белому. Таким образом, кажущееся парадоксальным сочетание имен в публикуемом отрывке вполне закономерно для творческих поисков Петрова-Водкина в 1930-е.

Текст мемуаров печатается по автографу, хранящемуся в РГАЛИ (Ф. 2010. Оп. 1. Ед. хр. 130. Л. 84–85 об.). Это черновые отрывочные записи размером от нескольких строк до нескольких страниц, представляющие собой различные варианты начала книги. Публикуемая «Глава первая. Вместо предисловия. Почти полемическая», по-видимому, должна была стать прологом ко всему произведению. Это следует из зачеркнутых Петровым-Водкиным строк, открывающих главу: «Приступаю к третьей книге моей повести. Сердечные встречи, оказанные Хлыновску и Пространству Эвклида близкими и дальними читателями, дают мне уверенность в нужности моей этой работы – трудной для меня как живописца. А главное – убедился я, что ритмика (без чего произведение искусства немыслимо) найдена в этих вещах». За ними следует публикуемый выше текст. Наброски к первой главе книги К.С. Петрова-Водкина впервые публикуются полностью. Зачеркнутые в автографе слова приводятся в квадратных скобках.

Письмо К.Н. Бугаевой публикуется по автографу, хранящемуся в фонде Андрея Белого в НИОР РГБ (Ф. 25. К. 49. Ед. хр. 38). Синтаксис оригиналов максимально сохранен.

---

[1] Елена Кузьминична Петрова-Водкина (1922–2008) – дочь художника.

[2] Юрий Александрович Шапорин (1887–1966), композитор; в 1920-х – первой половине 1930-х жил в Детском Селе.

[3] Осенью 1933 г. Петров-Водкин, услышав о болезни Белого, слал обеспокоенные письма Б.Н. и К.Н. Бугаевым: «Наконец-то получил Вашу открытку и успокоился от всяких слухов о Вашем здоровье, по-московски преувеличенных. <…> Не икалось ли Вам, не чертыхалось ли от всего того, что я с Вами проделываю: пишу Ваш портрет в группе, случайно объединенных детскосельством (Вы, Федин, Толстой и Шишков). Пишу всех по памяти (не считая набросков пустяковых), и в этом трудная и интересная задача <…>» (письмо от 27 октября 1933 г. Цит. по: *Петров-Водкин К.С.* Письма. Статьи. Выступления. Документы / Сост., вступ. статья и коммент. Е.Н. Селизаровой. М., 1991. С. 279–281).

[4] Вячеслав Яковлевич Шишков (1873–1945), писатель; с 1927 г. жил в Детском Селе. Его соболезнующее письмо К.Н. Бугаевой см. в наст. изд.

[5] Петров-Водкин еще с 1920 г. болел туберкулезом.

[6] Мария Федоровна Петрова-Водкина (1885–1960) – жена художника.

[7] Обратный адрес: Детское Село, зд<ание> Лицея, кв. 6.

[8] Вероятно, намек на скандальное предисловие Л.Б. Каменева к «Началу века», ускорившее, по мнению друзей писателя, его смерть.

[9] В холодильном вагоне для устриц был привезен на родину умерший в 1904 г. на курорте Баденвейлер (Германия) А.П. Чехов.

[10] Возможно, Петров-Водкин имеет в виду заказную карикатуру на Белого работы Бориса Ефимова, помещенную в «Литературной газете» 29 ноября 1933 г.

[11] Строка из романа Андрея Белого «Маски» (М.: ГИХЛ, 1932. С. 26).

[12] Образ из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828): «Тебе бы пользы все – на вес / Кумир ты ценишь Бельведерский. / Ты пользы, пользы в нем не зришь. / Но мрамор сей ведь – бог!.. Так что же? / Печной горшок тебе дороже! / Ты пищу в нем себе варишь».

[13] «Будильник» – сатирический еженедельный журнал, издававшийся в 1865–1871 гг. в Петербурге, в 1873–1917 гг. в Москве.

[14] Из стихотворения Н.А. Некрасова «Поэт и гражданин» (1855–1856).

[15] Из стихотворения Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858).

[16] Из поэмы А.А. Блока «Двенадцать» (1918).

[17] Памятник Петру I («Медный Всадник») в Петербурге работы Э.-М. Фальконе (1768–1770).

[18] Фонтан «Девушка с разбитым кувшином» (или «Молочница»), спроектированный А.А. Бетанкуром (1758–1824); бронзовая статуя девушки (1816) отлита по модели скульптора Павла Петровича Соколова (1764–1835).

[19] Из стихотворения А.С. Пушкина «Царскосельская статуя» (1830).

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной

А.К. ГЛАДКОВ

ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ 1934 г.

11 января.

Сегодня из небольшого некролога в газете узнал, что 7 янв. умер Андрей Белый[1], последний из титанов «символизма». Впрочем, где-то в Риме, как говорят, еще живет Вячеслав Иванов[2]. Я рад, что слышал замечательный доклад А. Белого о «Мертвых душах»[3] и встречал его несколько раз (последний раз на крутой лестнице в ГИХЛе: он был в крылатке и казалось, не шел, а летел). Для меня он более значителен, как тонкий исследователь законов мастерства литературы и творчества, чем как художник: впрочем и поэта в нем я тоже любил. Мир его праху! Некролог («Изв<естия>») подписан Пастернаком, Пильняком, Санниковым. <...>

3 марта.

Читаю с огромным увлечением второй том мемуаров А. Белого «Начало века». Это куда интереснее, чем первый том[4]. К сожалению, многое зачем-то зашифровано: имена женщин, из-за которых у него было соперничество с Блоком и Брюсовым[5], и пр. Я не люблю прозы Белого, то есть той прозы, которую он сам считает «художественной», но «Начало века» показывает, как хорошо он мог бы писать, если бы ставил себе искусственные формальные задачи. Вообще последователям Гоголя у нас не везет: они все «не вышли», а последователей Пушкина вообще не видать. Зато у Толстого и Чехова много вполне пристойных эпигонов. В «Начале века» — недурное предисловие Каменева. <...>

27 апреля.

<...> С увлечением читаю только что вышедшую посмертную книгу А. Белого «Мастерство Гоголя».

О БЕЛОМ
(Из «Попутных записей»)

Во второй половине января 1933 года на входной двери Дома Герцена появилось написанное от руки объявление, извещавшее о том, что в один из ближайших вечеров состоится доклад о новом спектакле МХАТа «Мертвые души»[6]. Внизу объявления мелко сообщалось, что доклад сделает «писатель Андрей Белый»...

Для моего поколения, т.е. для людей, соприкоснувшихся с литературной средой в самом конце двадцатых годов, Андрей Белый был уже фигурой исторической и легендарной. Многие даже не знали, что он еще жив. Его присутствие в литера-

туре почти не ощущалось. Он жил постоянно в Кучине под Москвой, и последние выпущенные им книги «Ритм как диалектика» и «Ветер с Кавказа» мало кто прочел. Я видел его в жизни всего один раз, на премьере «Ревизора» в ГОСТИМе[7], но тогда я был еще подростком и сохранил о нем самое общее и туманное воспоминание[8]. Больше всего запомнились необыкновенные глаза. Но с тех пор прошло уже более семи лет, именно тех лет, которые были туго набиты чтением, и в том числе мемуарной литературы о Блоке и символистах, и роль, и значение, и внутренний масштаб Белого мне уже были ясны, хотя сама фигура его почему-то продолжала представляться во многом таинственной.

Объявленный доклад в атмосфере литературной «весны», воцарившейся после ликвидации РАППа[9], показался событием чрезвычайным, и в назначенный день[10] и час в подвальную столовую Дома Герцена пришла «вся Москва». В небольшом зале набилось столько народа, что устроители вечера растерялись, но их выручило предложение Мейерхольда, появившегося в разгаре толкотни и давки вместе с З.Н. Райх, изменить дислокацию мест в зале, переведя часть публики на эстраду. Мейерхольд прежде всего позаботился о том, чтобы в центре зала для докладчика было освобождено место, представлявшее собой почти правильный круг. Именно на круге настаивал Мейерхольд, и вскоре мы поняли почему. Наконец кое-как все разместились, хотя вдоль стен и у дверей стояли многие, кому не хватило стульев. Эта возня с перемещением завершилась тем, что сам Мейерхольд, очутившийся за тесным барьером спин в глубине эстрады, ловко прошел по узкому карнизу зала, балансируя для равновесия стулом, под общий смех и аплодисменты.

Не запомнил, как и откуда появился Белый: помню его уже говорящим. Он оказался именно таким, каким должен был быть. Я уже давно заметил, что, встречаясь впервые с подлинно большим, всегда удивляешься не неожиданности, а редкому в жизни совпадению с ожидаемым: таким в моем опыте оказались Маяковский и Пастернак, таким оказался и Париж. У Белого была легкая, совсем не старческая фигура, удивительное лицо с огромным лбом и странными светящимися глазами. Длинная черная блуза с большим старомодным бантом. Сразу поразили его плавный, грациозный жест и необычайная манера говорить, все время двигаясь и как бы танцуя, то отходя, то наступая, ни секунды не оставаясь неподвижным, кроме нечастых, сознательно выбранных и полных подчеркнутого значения пауз. Сначала это показалось почти комичным, потом стало гипнотизировать, а вскоре уже чувствовалось, что это можно говорить только так. В первые минуты я даже не слушал, а только смотрел на него. Иногда он низко приседал и, выпрямляясь по мере развертывания аргументации, как-то очень убедительно физически вырастал выше своего роста. Он кружился, отступал, наступал, приподнимался, вспархивал, опускался, припадал, наклонялся; иногда чудилось, что он сейчас отделится от пола. Сказав что-то в правой части круга, — вот зачем нужен был этот круг, — Мейерхольд создал ему идеально подходящую обстановку: округлость движений Белого требовала этого пространственного обрамления, — Белый вдруг отбегал на левую сторону и, словно обретя там новые доказательства, собрав их к груди, нес направо и, раскрыв прижатые руки, выпускал их широким жестом. Впоследствии мне пришлось говорить с Всеволодом Эмильевичем об Андрее Белом, и он бросил четкую фразу: «пластика жеста как ораторский прием». Вскоре

незаметно для себя, не сводя с него глаз, я уже не только смотрел, но и слушал, целиком захваченный оригинальной содержательностью доклада. И я понял, что это непрерывное, ритмически и пластически организованное движение не мешает, а, наоборот, помогает слушать, как бы втанцовывая в слушателя мысль. Доклад был блестящим в самом подлинном смысле этого слова, фантастическая эрудиция во всей сфере гоголевского творчества. Нескончаемая цепь доказательств, примеров, сравнений, цитат. Высказывается и одновременно вырисовывается жестом в воздухе какое-то утверждение, и в доказательство с удивительным вкусом приводится пример-цитата. Убедительно. Но сразу идет второй блестящий пример, за ним — третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, им нет конца, и один лучше другого, зал аплодирует уже не только остроте мысли, но и эрудиции, которой невозможно противостоять. Известный и авторитетный критик, слепой приверженец МХАТа, улыбаясь, разводит руками, как бы приглашая присутствующих засвидетельствовать свое бессилие перед этим сокрушительным наступлением. А интонации! Сначала вкрадчиво-любезные и изысканно-вежливые (оратор говорит о Художественном театре), потом патетические, затем вдохновенно-влюбленные, упоенно восторженные (о Гоголе), затем язвительно-отточенные и в самых резких местах — самые дипломатически-бесстрастные (о спектакле), и снова патетика, восторг и почти декламация (снова о Гоголе): от четкого скандирования переход на полушепот и пауза, которая невелика, но кажется огромной от неожиданной статики вдруг неподвижной на одну-две секунды фигуры, и вдруг почти вскрик и вплеснутые руки. А эти руки! У них нет ни одного ломаного, острого движения, все мягко закруглено, кисти легки и подвижны, длинные пальцы музыканта и локти, вопреки анатомии, образующие не угол, а овал...

Белый доказывал в своем докладе (и доказал), что в спектакле МХАТа и в помине нет гоголевской стилистики, что поэтическая насыщенность и гиперболизм образов убиты приемами натуралистической режиссуры, что содержание и мысли «поэмы» утрачены... В вышедшей посмертно книге «Мастерство Гоголя» Белый на нескольких сотнях страниц изложил все то, сгустком чего явился доклад. Через год Белый умер, и, видимо, это было одним из последних публичных его выступлений, если не самым последним. Но в тот вечер он не казался дряхлым и даже старым. В конце доклада он не выглядел даже утомленным. После трехчасовой речи стало ясно, что и до приблизительного исчерпания темы еще далеко. Продолжение доклада было перенесено и состоялось через несколько дней, вызвав прилив — слухи разнеслись по городу — еще более многочисленной аудитории[11]. И в первый и во второй день докладчику были устроены овации.

Для меня эти вечера замечательны тем, что въяве ощутил стиль и «воздух» символистских салонов, как бы перенесясь за четверть века назад на «башню» Вячеслава Иванова[12] или в зашторенные комнаты Гиппиус и Мережковского в доме Мурузи[13], о котором я читал в разных мемуарах. И в последний, тоже посмертный, том мемуаров самого Белого «Между двух революций» я уже вчитывался иначе, словно видя рассказчика. После этих двух вечеров я не только умозрительно, а и наглядно-чувственно поверил в то, что в образной системе настоящего искусства нет ничего случайного и нейтрального, а все пронизано непрерывным и динамичным смысловым ходом художнической мысли — от графики абзацев до

звукописи языка. Несомненно, в этом скрупулезнейшем и, как бы сказали в середине века, «тотальном» разборе Гоголя Белым-исследователем есть чрезмерность в обобщениях и статистике наблюдений, которые иногда скорее подавляют, чем убеждают, но гиперболизм анализа уместен, локален, сродни гоголевскому гению и уже этим оправдан. Раньше «Луг зеленый», «Арабески» и «Символизм» казались мне скучищей и абракадаброй. После этих вечеров я прочитал их в Ленинской библиотеке с жадностью.

Через несколько месяцев, уже летом, я случайно встретил А. Белого на крутой и узкой лестнице в тогдашнем ГИХЛе, в Черкасском переулке[14]. Он был в старинной крылатке и широкополой шляпе и грациозно взбегал наверх без видимых следов одышки и усталости. Разумеется, он не мог меня запомнить, но я непроизвольно с ним поздоровался. Он ответил мне поклоном, но каким поклоном! Какой полукруг описала по диагонали его шляпа! Как склонилась и на секунду замерла, поставив четкую точку, в поклоне его голова! Он приостановился, словно ожидая, что я что-то скажу, но, смутившись, я сбежал вниз. Это было на площадке третьего этажа. Вероятно, он направлялся по какому-нибудь прозаичному делу в бухгалтерию издательства, но он шел туда, будто поднимался на самый доподлинный Парнас.

Мой приятель, маленький художник Хлебовский, по договору с издательством помогал Белому в книге о Гоголе оформлять его прихотливые и сложные чертежи и диаграммы и не раз с ним встречался[15]. Он обещал под каким-нибудь предлогом привести меня к нему. Помнится, мы должны были идти куда-то на Плющиху[16]. Почему-то это не состоялось. Вскоре Андрей Белый умер. Я жил в Абрамцеве, стояли сильные морозы, и я не поехал на похороны, о чем тоже жалею. В этот день О. Мандельштам написал свои гениальные стихи памяти Андрея Белого. А некролог в «Известиях» был подписан Борисом Пастернаком.

Так поэты проводили поэта...

Если согласиться с разделением художников на две группы: те, чье искусство больше и выше личности авторов (Бальзак, Гоголь), и те, чья личность больше созданного ими, — то Белый, может быть, самый яркий представитель второго типа. Все, что им написано легко и импровизационно, интересней и талантливей того, что он писал с максимальным трудом и внутренней ответственностью. Переделывая ранее написанное, он чаще всего это портил, отяжелял, убивал непосредственность самоизлияния. Вторые редакции его стихов, как правило, слабее первых. Он полнее и крупнее выражался в естественных и как бы «черновых» выявлениях своей художественной натуры, удивительной по глубине и оригинальности. Свободная и раскованная гениальность замыслов — и связанное, натруженное исполнение. Как критик и теоретик он, несмотря на все противоречия и явную путаницу, всегда значил для меня очень много. И поэт он тоже настоящий, хотя и не крупный. Но как к художнику-прозаику я оставался к нему равнодушным. Его словесный хаос всегда преодолевал с трудом, а часто и просто-напросто отступал перед ним. Мне кажется, что Белый является одним из ярких примеров драматической раздвоенности: почти гениальный ум и средние изобразительные способности, искаженные к тому же претензиями планетарных замыслов. И может быть, особенно свободным и по-своему естественным он был как оратор. Вот почему мне кажется, что мне посчастливилось узнать настоящего Андрея Белого.

Послесловие

Александр Константинович Гладков (1912–1976) – драматург, киносценарист, театровед и мемуарист; поклонник Мейерхольда и – с весны 1934 г. по лето 1937 г. – его сотрудник. «Первая моя должность в Государственном театре имени Вс. Мейерхольда – в ГОСТИМе – именовалась “научный сотрудник”, – вспоминал он. – Потом я назывался заведующим научно-исследовательской лабораторией (НИЛом), исполняющим обязанности завлита, преподавателем техникума его имени, литературным секретарем и режиссером-ассистентом. Но как бы ни именовалась моя очередная должность в штатной ведомости, все эти годы я занимался главным образом одним: ходил с записной книжкой за В.Э. Мейерхольдом и записывал, записывал...»[i]

А.К. Гладков, которому в январе 1934 г., еще только шел двадцать второй год, не был знаком с Андреем Белым лично, но несколько раз видел его в 1926 г. и 1933 г. и хорошо запомнил. К тому же он читал Белого и высоко ценил его разбор мейерхольдовской постановки «Ревизора»[ii].

О смерти Белого А.К. Гладков узнал с некоторым опозданием: из заметки в «Правде», в которой была допущена ошибка: Белый скончался не 7, а 8 января. Впечатления и размышления по этому поводу он зафиксировал в дневнике[iii]. Впоследствии на основе лаконичных записей 1934 г. была написана мемуарная заметка «О Белом», которую мы воспроизводим по изданию: *Гладков А.* Из «Попутных записей»: Андрей Белый // *Гладков А.* Поздние вечера. М., 1986. С. 278–295.

---

[1] Источником информации стала для А.К. Гладкова газета «Правда», указавшая неверную дату смерти Андрея Белого.

[2] В.И. Иванов уехал в Италию в 1924 г.

[3] Имеется в виду выступление Белого 15 января 1933 г. во Всероссийском обществе драматургов и композиторов (Всероскомдрам) с докладом «Гоголь и “Мертвые души” в постановке Художественного театра». Подробнее см. далее в заметке А.К. Гладкова «О Белом».

[4] «На рубеже двух столетий» (М.; Л.: Земля и фабрика, 1930).

[5] Н.И. Петровская в ряде сцен фигурирует как «Н***». Аналогично под литерой (или именем) с тремя звездочками выведен еще ряд персонажей мужского и женского пола. Л.Д. Блок обозначена литерой Щ. в мемуарах «Между двух революций», а в «Начале века» ее имя не зашифровано.

[6] Премьера состоялась 28 ноября 1932 г. Режиссер В.И. Немирович-Данченко. Спектакль был поставлен по инсценировке поэмы Н.В. Гоголя, сделанной для театра М.А. Булгаковым.

[7] Премьера 9 декабря 1926 г.

---

[i] *Гладков А.К.* Пять лет с Мейерхольдом: В 2 т. // *Гладков А.К.* Мейерхольд. М., 1990. Т. 2. С. 34.

[ii] *Андрей Белый.* Гоголь и Мейерхольд // Гоголь и Мейерхольд. М.: Никитинские субботники, 1927. С. 9–38. См.: *Гладков А.К.* Пять лет с Мейерхольдом // *Гладков А.К.* Мейерхольд. Т. 2. С. 12, 23.

[iii] РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 4, 13, 18. Благодарим Наталью Стрижкову за указание на этот документ и предоставление возможности с ним работать.

[8] Ср.: «Помню не очень восторженный зал, наполненный (на этот раз до предела) театральной, премьерной публикой. <...> Успех был, но с привкусом скандала. В антрактах уже рождались обросшие бородами остроты о вертящихся в гробах классиках. Но помню и напряженно-внимательное лицо Луначарского, потрясенные глаза Андрея Белого, молчаливого Михаила Чехова <...>» (*Гладков А.К.* Пять лет с Мейерхольдом // *Гладков А.К.* Мейерхольд. Т. 2. С. 11).

[9] РАПП и другие литературные группы были распущены Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» 23 апреля 1932 г.

[10] 15 января 1933 г. См. прим. 3.

[11] Прения по докладу Белого состоялись 22 января 1933 г.

[12] Квартира № 24 на последнем шестом этаже увенчанного круглой башней доходного дома И.И. Дернова в Петербурге – на углу Таврической ул. (д. 35, ранее 25) и Тверской ул. (д. 1). В «башне» Вячеслав Иванов жил с 1905 по 1912 г.

[13] В доме А.Д. Мурузи, построенном в Петербурге в 1877 г. (Литейный проспект 24/27), чета Мережковских проживала с 1889 г.

[14] Государственное издательство художественной литературы располагалось на углу Большого Черкасского переулка и Никольской улицы.

[15] В оформлении книги Белого «Мастерство Гоголя» (М.; Л.: ГИХЛ, 1934) принимали участие два художника. Переплет и форзацы выполнены книжным иллюстратором Львом Ричардовичем Мюльгауптом (1900–1986), а чертежи, графики и рисунки в тексте (по авторским наброскам) сделал художник-график Василий Константинович Хлебовский (1903–?). Ср. запись К.Н. Бугаевой в «Летописи жизни и творчества Андрея Белого»: «Мая 1–16. <...> Беседы с художниками Хлебовским и Мюльгауптом об оформлении книги “Мастерство Гоголя”» (ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 107. Л. 174). См. также запись в дневнике А.К. Гладкова от 10 апреля 1934 г. (РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 16): «<...> молодой художник Хлебовский: странный парень, может быть чуть сумасшедший, но неглупый, талантливый мим и пародист, прекрасно показывающий разных людей (лучше всего А. Белого и П.И. Новицкого, у которого он где-то учился)».

[16] Белый вместе с К.Н. Бугаевой и ее родными проживал в подвальном этаже дома на углу Долгого пер. и ул. Плющиха (д. 53, кв. № 1).

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной

Е.Я. АРХИППОВ

ИЗ ЗАПИСНЫХ ТЕТРАДЕЙ 1933–1934 гг.

1934. 4. II. Кончина Бориса Николаевича Бугаева. Размеренное, медлительное и воспоминательное чтение «Начала века». <...>[1]

Сквозь книгу вновь пережиты знакомства в Москве, встречи и переписка с персонажами книги. Из них мои профессора и доценты, которых я слушал[2]: В.О. Ключевский, С.Н. Трубецкой, Л.М. Лопатин, А.Н. Веселовский, Н.И. Стороженко, М.Н. Розанов; Брандт Р.Ф., Цветаев И.В.; М. Любавский, Озеров И.Х., Иванов И.И., Фохт Б.А.

Вновь прошли *повторявшиеся встречи* с Н.В. Бугаевым, Андреем Белым, Кобылинским Л.Л., Е.Н. Трубецким.

Прошли *единичные встречи*: с М.С. Соловьевым, Кл. А. Тимирязевым, П.С. Коганом, Кречетовым (Соколовым С.А.), Ликиардопуло М.Ф.

Вспомнил *встречи и письма*: С.М. Соловьева, К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова, Сергея Павл. Боброва.

Знакомства с С.Н. Трубецким, Л.М. Лопатиным, П.А. Флоренским, Вс. Э. Мейерхольдом, В.И. Качаловым, М.А. Кузминым.

Письма: Б.А. Садовского, И.С. Рукавишникова, Печковского А.П., Г.И. Чулкова, В.В. Розанова и С.А. Венгерова.

Вновь захотелось пересмотреть *переписку* с М.О. Гершензоном.

Вспомнились:

дружба и переписка с Вл. Ф. Эрном,

встречи, знакомства и переписка с Максимилианом Волошиным.

38 лиц из числа всех персонажей книги Андрея Белого оказались мне знакомыми <...>[3].

* * *

Наконец, раскрыл «Маски» и вижу, что здесь больше дребезга и грохота... чем в «Москве». «Маски» не питательны, а я сейчас хочу только питательных книг. Белый же – слабителен (1933, Д.С. Усову)[4].

* * *

«Надо помнить, в Сереже Соловьеве присутствует ангельское начало».

Слова, сказанные Андреем Б<елым> о С.М. Соловьеве за несколько дней до кончины (Переданы 24.II.1934).

* * *

Белому выпало величайшее счастье, какое может быть дано: умереть, глядя в глаза любимому человеку (С. Соловьев о кончине А. Белого). 24.II.1934.

* * *

Решался вопрос о жизни и смерти. Я решил смерть.
(Слова А. Белого к Клавдии Николаевне за неск<оль>ко дней до кончины.)

Отрывки фраз на гражд<анской> панихиде по А. Белом <так!>:
«Склероз – это коршун, который клевал печень этого Прометея» (Л. Гроссман).
«Смерть – это только этап в существовании Белого» (Б. Пастернак).

* * *

На погребении в Новодевичьем были: А.С. Петровский, Г. Санников, Н. Бруни, Г. Чулков, Л.П. Гроссман, Над. Павлович»[5].

Послесловие

Евгений Яковлевич Архиппов (1882/1883 н.ст. – 1950) – библиограф, поэт, критик, друг и исследователь творчества Черубины де Габриак (наст. имя Елизавета Ивановна Васильева, урожд. Дмитриева; 1887–1928) – не был человеком из ближайшего окружения Андрея Белого. Тем не менее он имел множество общих знакомых с Белым, не раз его видел, познакомился же, по-видимому, в 1901 г.: именно с этим годом связано первое появление имени Белого на страницах автобиографии Архиппова: «[1901] Единственная встреча с Бальмонтом, Брюсовым, Андреем Белым <...> "Петербург"»[i]. Нет сомнения в том, что Архиппов был хорошо знаком и с творчеством символистов вообще, и с творчеством Андрея Белого в частности. С 1931 г. до самой кончины он жил во Владикавказе, где работал в средней школе учителем истории и литературы. Информацию о том, что происходит в обеих столицах – в том числе и о смерти Белого, Архиппов получал преимущественно из писем. В этом вопросе его основным корреспондентом стал близкий друг, поэт и переводчик Дмитрий Сергеевич Усов (1896–1943)[ii].

Д.С. Усов был внуком профессора Московского университета С.А. Усова, который, в свою очередь, был близким другом Н.В. Бугаева и крестным отцом Андрея Белого. Имя Белого часто возникает в переписке Усова и Архиппова. Кроме того, Усов нередко копировал и пересылал Архиппову интересовавшие того материалы: фрагменты из писем третьих лиц, стихотворения любимых поэтов, в том числе Черубины де Габриак, Максимилиана Волошина, Андрея Белого.

Среди важных корреспондентов и информантов Усова и Архиппова был ленинградский поэт Всеволод Александрович Рождественский (1895–1977). Он познакомился с Белым в Коктебеле 8 сентября 1930 г., о чем в тот же день сообщил в письме Д.С. Усову: «<...> он меня потряс и испепелил – и не только неожиданностью и блистательностью своих выводов, а всем своим обликом – в котором и лучистоглазый Зосима, и насмешливый взрыватель идей и дионисийствующий пророк»[iii]).

---

[i] РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 13, 18.

[ii] См.: *Усов Д.С.* «Мы сведены почти на нет...» / Сост., вступ. статья, подгот. текста, коммент. Т.Ф. Нешумовой. Т. 1–2. М.: Эллис Лак, 2011.

[iii] «Никогда не ведите дневников...»: К 100-летию со дня рождения Вс. Рождественского / Публ. Н.В. Рождественской // Литературная газета. 1995. 12 апреля. № 15 (5546). С. 6.

В 1933 г. Рождественский снова отдыхал в Коктебеле и фотографировал там чету Бугаевых, а потому с самого начала знал о настигшей Белого болезни. В сентябре 1933 г. между Белым и Рождественским началась переписка, внешним поводом к которой стала пересылка коктебельских фотографий[i]. В ответ он получил слова благодарности и честный отчет Белого о состоянии своего здоровья. «Врачи, – писал Белый 23 сентября 1933 г., – не обнаружили во мне никакой болезни, кроме нарушения кровяного давления, в результате – приятный сюрприз, что у меня нет никаких болезней: и тем не менее: последствия напека еще дают себя знать, как и строжайший режим, в который втиснут я. Еще раз, дорогой Всеволод Александрович, спасибо. И надеюсь, что Вы, в бытность в Москве, посетите нас. Остаюсь искренне благодарный Вам Б. Бугаев. P.S. Жена шлет Вам сердечный привет»[ii].

Следующее письмо Белого (дата почтового штемпеля 1 декабря 1933 г.) содержало отзыв на сборник стихов Рождественского «Земное сердце. Книга лирики. 1929–1932» (Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1933):

> «Глубокоуважаемый Всеволод Александрович, сердечное Вам спасибо за стихи: я уже вчитываюсь в них и очень оцениваю надпись “Земное Сердце”. Она очень выявляет Ваши стихи: “Земнóе” и “сéрдце”; надо читать заглавие с двойным акцентом: “земнóе” и “сéрдце”. Яркая ментальность – прекрасное достижение Вашей поэзии, которая до последней степени конкретна. С большой радостью и удовлетворением читаю (и буду читать) Вашу книжку: спасибо Вам за нее; и простите за эти убогие, первые (еще) слова, срывающиеся с души после первого, еще не слишком пристального прочета. Клавдии Николаевне тоже стихи Ваши очень нравятся. Остаюсь искренне Вам преданный Борис Бугаев»[iii].

Копии обоих писем Белого Рождественский, очевидно, переслал Усову, а тот, переписав еще раз, – немедленно Архиппову, в архиве которого они частично сохранились (утрачен первый лист письма от 23 сентября).

Архиппов, в свою очередь, усердно копировал и конспектировал приходящую к нему корреспонденцию, компонуя выдержки из писем не в хронологическом порядке, а согласно внутренней логике составителя и чередуя их с собственными размышлениями.

Выше публикуются выдержки из двух хранящихся в РГАЛИ тетрадей Архиппова: Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 39 (Автобиография «Золотая маска»); Ед. хр. 45 («Εκλεκτα. Вячеслав Великолепный. – М.О. Гершензон. – Вс. Рождественский». Выписки из писем Вс. Рождественского и др.). Достоверность некоторых приведенных в них высказываний сомнительна.

---

[1] Далее следует в квадратных скобках перечеркнутый текст: «[Сквозь книгу вновь пережиты встречи с людьми, которых знал в Москве в первых годах 20-го века (М.С. Соловьев – С.М. Соловьев – С.Н. Трубецкой – Л.М. Лопатин – А. Белый – Л.Л. Кобылинский – В.Я. Брюсов – М.А. Кузмин (СПб.) – Вл. Ф. Эрн – П.А. Флоренский – В.В. Розанов (СПб.) –

---

[i] См. письмо Рождественского Белому от 19 сентября 1933 г. в прим. к дневниковой записи Белого от 23 сентября.

[ii] РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 40.

[iii] Из писем Андрея Белого 1927–1933 гг. / Предисл. и публ. Т.В. Анчуговой // Перспектива-87. Советская литература сегодня: Сборник статей / Сост. В.П. Балашов, А.М. Банкетов. М., 1988. С. 507.

Бальмонт – Гершензон]» (Л. 20 об.). На следующих страницах этот текст переписан заново в другой, более расширенной редакции (Л. 21–21 об.).

[2] Е.Я. Архиппов в 1900–1906 гг. учился на историко-филологическом факультете Московского университета. Далее перечисляются персонажи мемуаров Белого «Начало века»; см. составленный А.В. Лавровым именной указатель (*МДР 1990*. С. 561–667).

[3] РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 20–21 об.

[4] Там же. Ед. хр. 45. Л. 2. Эта и последующие выписки сделаны Архипповым из писем Вс. А. Рождественского Д.С. Усову. Данный фрагмент, по-видимому, взят из письма, написанного не раньше середины января 1933 г.: именно в это время вышел в свет роман Белого «Маски» (М.; Л.: ГИХЛ, 1932).

[5] Там же. Л. 2 об.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной

ВЕРА ИНБЕР

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК 1933–1934 гг.

21 сентября 1933 года. Москва.

Сейчас говорила по телефону с Агаповым[1]. Он дал мне отличный совет относительно второй книги «Места под солнцем»[2]. Писать ее как публицистику, как расширенный доклад, что ли. При такой установке все важное будет сказано, а беллетристика (художественность) придет сама собой, как она обычно всегда ко мне приходит...

Много «раздумий». Пусть видят, как устроен писатель. Без тайн. Нужно разбить атомное ядро сюжета и освободить скрытую энергию...

10 января 1934 года.

Может, начать книгу с описания «утра»? Ощущение «утренности». А если начать со смерти Андрея Белого? Оттолкнуться от этого?

11 января 1934 года.

Только что говорила с Гришей Гаузнером о книге. Он ведь пишет примерно то же самое и тоже кончает беломорской поездкой[3].

Моя книга, по существу, должна быть книгой об измененном типе писателя. Без тайны, но очарования не меньше.

С точки зрения плюсов и минусов рассмотреть пятерых констров. Допустим. Багрицкий с плюсом, Агапов тоже[4].

Начать с 24-го года.

Смерть Ленина в январе 24-го года. Я работаю одна, потом знакомство с конструктивистами. На этом сделать спайку с первой частью.

12 января 1934 года.

А что, если начать со смерти Есенина? Поэт, погибший от «жемчужной болезни»[5] одиночества.

Мне настолько лучше сейчас, чем десять лет тому назад, что я должна себя самоё за ухо тащить к тому времени, если хочу писать о нем.

Январь 1934 года.

Есть темы настолько сложные и новые, что в одиночку с ними трудно справиться. В совместной работе изживаются многие наши писательские недостатки, в первую очередь боязнь критики. Именно в порядке такой совместной работы группой писателей, числом тридцать четыре, написана книга о Беломорском канале. В этой книге одна тридцать четвертая часть сделана мною[6].

Недаром Алексей Максимович сказал нам: «Черт вас возьми, я вам завидую, что вы так молоды и что вы можете писать такие книги». Следует оговориться, что сам он загорелся этой книгой, как самый молодой из нас[7].

Послесловие

Поэтесса и писательница Вера Михайловна Инбер (урожд. Шпенцер; 1890–1972) присутствовала на похоронах Андрея Белого 10 января 1934 г. (см. в дневнике С.Д. Спасского в наст. изд.: «Инбер рядом мелет какую-то самодовольную чушь».) Впечатления от смерти писателя-символиста сплелись в ее сознании с раздумьями о новой книге, продолжающей ее автобиографическую повесть «Место под солнцем» (Берлин, 1928). Судя по контексту, Инбер хотела в идеологически правильном свете представить свое участие в работе группы «Литературный центр конструктивистов» (1923–1930) и, главное, свою поездку в августе 1933 г. в составе большой и представительной писательской делегации на Беломорско-Балтийский канал — наблюдать за тем, как строительные работы исправляют заключенных. В качестве некоторого задела к будущей книге писательница, видимо, рассматривала материал, подготовленный ею для коллективной монографии «Беломорско-Балтийский Канал имени Сталина: История строительства» (Под ред. М. Горького, Л.Л. Авербаха, С.Г. Фирина. М.: Государственное издательство «История фабрик и заводов», 1934). Замысел (в том виде, в каком он грезился в январе 1934 г.) не реализовался, а значит, принципиальный вопрос, от чьей смерти — Андрея Белого, Сергея Есенина или Ленина — лучше «оттолкнуться», так и не был окончательно решен.

Фрагмент из записных книжек воспроизводится по изданию: *Инбер Вера.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1966. Т. 4. С. 430–431.

---

[1] Борис Николаевич Агапов (1899–1973) — поэт, очеркист, сценарист; автор трех глав («Темпы и качество», «Добить классового врага», «Весна проверяет канал») коллективного труда «Беломорско-Балтийский Канал имени Сталина: История строительства» (М., 1934), в котором участвовала и В.М. Инбер.

[2] Берлин: Петрополис, 1928.

[3] Поэт и писатель Григорий Осипович Гаузнер (1907–1934) был зятем Веры Инбер (мужем ее дочери Жанны Владимировны Гаузнер; 1912–1962). Он также участвовал в написании книги о Беломорско-Балтийском канале (главы «Страна и ее враги», «Товарищи»). Здесь, возможно, имеется в виду его книга «9 лет в поисках необыкновенного» (М., 1934), однако рассказ о «беломорской поездке» в нее не вошел.

[4] И Б.Н. Агапов, и Э.Г. Багрицкий были членами группы «Литературный центр конструктивистов».

[5] «Жемчужной болезнью» (из-за высыпаний в форме мелких твердых шариков) обычно называют туберкулез у домашних животных (чаще всего у коров).

[6] В.М. Инбер принимала участие в написании пяти глав («Заключенные», «Темпы и качество», «Добить классового врага», «Весна проверяет канал», «Товарищи»). Она слег-

ка преувеличила свой вклад: над книгой о Беломорско-Балтийском канале работало 36 писателей, в том числе – М. Зощенко, А. Толстой, Л. Славин, Вс. Иванов, В. Шкловский, В. Катаев.

[7] М. Горький, организовавший экскурсию писателей на Беломорско-Балтийский канал и выступивший инициатором издания, написал две главы, одна из которых («Правда социализма») открывала книгу, другая («Первый опыт») заключала ее.

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

ЗОЯ КАНАНОВА

ИЗ ДНЕВНИКА 1933–1934 гг.

19 декабря 33 г.

Вчера у нас были Евг<ения> Ник<олаевна>[1] с Ириной[2], и позже зашла М<арья> Г<ригорьевна>[3] за книгами для А<лексея> С<ергеевича>[4]. Сообщила, что он нездоров. В последнее время он дежурил по ночам в клинике у Бор<иса> Ник<олаевича>, который опасно болен психической болезнью, неизвестно, что с ним будет. <...>

31 декабря 33 г. Воскресенье.

Вчера вечером А<лексей> С<ергеевич> зашел принести мне книгу, которую обещал [Воспоминания Андрея Белого][5]. Поля[6] не было дома. Когда А<лексей> С<ергеевич> пришел, я просматривала свои тетрадки с дневниками, и прочла ему несколько смешных сценок из времени моей работы в Чит<альном> зале. Говорили также о значении Нового года. А<лексей> С<ергеевич> сказал, что Новый год начинается, собственно, с Рождества, а с января – это уже гражданское установление. Согласился со мной, что в это время ощущается связь с космосом и что каждый год, как живое существо, имеет свою физиономию. <...>

Вечер сегодня до 10 часов провела на службе. Сослуживцы рвались встречать Новый год. Я встречаю его в постели, за чтением книги Андрея Белого. Поль уже спит. В наступающем году ничего не жду. Хотелось бы тихо закончить свой век. Настроенье нисходит полное отрешенности и тишины.

Конец 1933 года.

<...>.

9 января 34 г.

Утром сегодня, как только я проснулась, Поль сунул мне газету с известием о смерти Андрея Белого.

Вечером я пришла в Дом писателей уже к 8 часам, когда гражданская панихида кончилась и главные действующие лица разошлись. Но публика все-таки приходила еще и стояла, окружив гроб, всматриваясь в восковые застывшие черты покойника. Я постояла несколько минут и пошла к выходу <...>.

11 января 34 г.

Вчера днем со службы помчалась в крематорий и вернулась оттуда опять на службу, т.к. у меня было вечернее дежурство.

В Крематорий пришла за <так! – *Д.Л.*> полчаса раньше процессии и смотрела, как появлялись и исчезали под монотонную музыку органа крошечные гробики с малютками. Потом прибыла процессия с гробом Андрея Белого. Он лежал с таким красивым и умным лицом, какого у него никогда не было при жизни. Кл. Ник. выглядела постаревшей и потемневшей лицом.

Народу было много, антропософы терялись в толпе. Когда музыка кончилась, многие подходили целовать покойника. Кл<авдия> Ник<олаевна> плакала. Ее лицо

исказилось, когда гроб начал опускаться и над ним медленно задвигались обитые зеленым сукном дверцы, как закрывающийся переплет книги жизни, когда дочитана последняя страница.

Выйдя в сад, увидела впереди идущих кучкой Евг<ению> Ник<олаевну> с Ириной[7], Лидию Викт<оровну>[8] и А<лексея> С<ергеевича>, рядом с которым шла М<арья> Г<ригорьевна> – его верный страж, что-то ему говоря. Как она не понимает, что нельзя приставать в такие минуты с какой-ниб<удь> болтовней, и все навязывать ему лицезренье ее некрасиво стареющего лица. [Вероятно, она считала, что «близкий человек» не должен оставлять его в печальные минуты.]

Евг<ения> Ник<олаевна>, обернувшись, заметила меня и звала. А<лексей> С<ергеевич> тоже обернулся и бросил взгляд. Но я пошла параллельной дорожкой и, обогнав их, скрылась. За воротами меня догнала Инна Викт<оровна>, младшая сестра Лидии Викт<оровны>, маленькая, похожая на пигалицу. Мы шли половину дороги вместе. Она говорила о впечатленьях во время шествия за гробом, о том, что среди них шмыгал сыщик, осматривая всех и вслушиваясь в разговоры. И о том, что М<арья> Г<ригорьевна> не отставала от А<лексея> С<ергеевича>, стараясь всегда быть рядом.

12 января 34 г.

А<лексей> С<ергеевич> зашел сегодня под вечер, болтал с Полем о биб<лиотечных> делах. [А со мной был подчеркнуто резок и груб. Я заговорила о книге Андрея Белого:]

– Вы не находите, что там многие лица описаны очень поверхностно, например Бальмонт?

А.С.: – Что ж, ему надо было писать критическую статью о Бальмонте?!

Я: – Нет, но когда встречаешься с человеком талантливым, интересным, то ведь почерпаешь от него какие-ниб<удь> впечатленья, помимо того, что у него нос красный и что он напивался пьяным!

А<лексей> С<ергеевич> ничего на это не сказал. <…>

24 января 34 г.

Прочла книгу Перцева <так! – *Д.Л.*> «Литературные воспоминанья»[9]. Это о той же среде писателей, что и в книге Андрея Белого. Перцев дает изображенье тех же лиц, и разных других, более жизненно и всесторонне, чем у Белого. Этот последний дает только штрихи, яркие мазки, часто карикатурные и остро-злые. А Перцев описывает более объективно и в нескольких словах, сжато, дает изображение судьбы этих лиц, особенности их жизни. А чужая жизнь всегда поучает чему-нибудь.

Послесловие

Зоя Дмитриевна Кананова (31 января 1891 – 4 апреля 1983)[i] – дочь известного литературоведа и лингвиста (санскритолога), почетного члена Петербургской

[i] При составлении своей натальной карты (гороскопа) З.Д. Кананова указала дату «30 января», однако в дневниках писала, что отмечала день рождения всегда 31 января. В свидетельстве о смерти стоит дата «5 апреля».

академии наук (1907), редактора (с 1913) журнала «Вестник Европы» (1868–1918) Дмитрия Николаевича Овсянико-Куликовского (1853–1920)[1].

В молодости увлеклась изучением «тайных наук». Писала стихи, которые до революции публиковались в «Вестнике Европы», а созданные позже сохранились только в рукописном виде. В 1916 г. вышли две ее книги: «Я и мир» (Пг., 1916) и «Таинственная жизнь: Этюды» (Пг., 1916). Кроме того, в 1920–1930-е гг. она переводила стихи и пьесы французских авторов, однако делала это «в стол».

С 1918 г. начала подробно изучать книги основателя антропософии Рудольфа Штейнера, которые выходили в издательстве «Духовное знание».

Знакомство Канановой с московскими антропософами – А.С. Петровским, К.Н. Васильевой (с 1931 г. Бугаевой), М.Н. Жемчужниковой, Л.В. Култашевой – произошло в первой половине 1920 г. в Румянцевском музее, куда она поступила на службу в читальный зал библиотеки. Осенью 1920 г. Зоя Дмитриевна вступила в антропософский посвятительный кружок, который вели М.П. Столяров и К.Н. Васильева. С этого же времени Кананова стала работать в библиотеке Антропософского общества.

20 декабря 1921 г. З.Д. Кананова стала членом антропософского общества (была принята Т.Г. Трапезниковым). В 1922 г. занималась эвритмией. Тогда же начала посещать кружок Любови Исааковны Трапезниковой (Красильщик), в который входили Мария Григорьевна Рейн, Анастасия Алексеевна Брычева и Надежда Степановна Клименкова. Кружок быстро распался, после чего эти четыре дамы составили кружок, работавший без руководителя. Занятия в нем продолжались фактически до массового ареста антропософов в 1931 г., после чего М.Г. Рейн отделилась, а Н.С. Клименкова, после ареста и пребывания в тюрьме, продолжила занятия уже в других кружках (выслана она не была). Зоя Дмитриевна и Анастасия Алексеевна продолжали совместные занятия до конца 1950-х. В 1920-е кружок «курировали» К.Н. Васильева и А.С. Петровский. Помимо «кружковой» работы, Кананова посещала общие собрания и лекции антропософов.

На одном из таких собраний 1 января 1924 г. Зоя Дмитриевна познакомилась с Андреем Белым, впоследствии несколько раз слышала его выступления на антропософских встречах. Близких отношений с четой Бугаевых Кананова не поддерживала.

Более 30 тетрадей, которые З.Д. Кананова назвала «Фрагменты из дневников», хранятся в частном архиве. Это переписанные (иногда по несколько раз) ею самой черновые записи, отредактированные для придания изложению стройности и последовательности. Текст дневников в обработанном виде явно рассчитан на читателя, и главным читателем была сама Зоя Дмитриевна, поскольку ретроспектива позволяла ей лучше оценить свой жизненный путь. З.Д. Кананова также считала, что ее записи могут пригодиться какому-нибудь писателю, который будет создавать произведения о духовной жизни людей XX века. В настоящей публикации приводятся лишь фрагменты, касающиеся смерти Андрея Белого.

---

[1] Евгения Николаевна Краснушкина (1880–15.02.1961) – египтолог. В 1914 г. училась в семинаре Б.А. Тураева в Музее изящных искусств. В 1921–1923 гг. секретарь археологического отдела Исторического музея и одновременно делопроизводитель и научный сотруд-

ник Музея-института классического Востока (директором которого был египтолог, антропософ В.М. Викентьев). В 1931 г. арестована по «делу антропософов». После вынесения приговора поселилась в Орле. По возвращении (в 1933 г.) с 1934 по 1941 г. работала экскурсоводом в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Во второй половине 1940-х работала экскурсоводом в Историческом музее. О ней см.: *Ходжаш С.И.* Евгения Николаевна Краснушкина // Памятники и люди / Сост. В.Я. Гельман, О.П. Дюжева и Ю.А. Савельев. М., 2003. С. 292–294.

[2] Ирина Викторовна Воробьева (19 (20).11.1893–11.10.1960) – приемная дочь Е.Н. Краснушкиной, тоже антропософка. Дочь врача, приват-доцента Московского университета В.В. Воробьева, убитого в 1905 г. приставом Ермолаевым во время оказания помощи раненым рабочим в ходе боев на Пресне. В 1927 г. работала в Институте К. Маркса, с 1935 г. – в библиотеке им. В.И. Ленина.

[3] Мария Григорьевна Рейн (урожд. Ярцева; 1884–1952) – художница, антропософка, дочь ялтинского художника-пейзажиста Григория Федоровича Ярцева (1858–1918). Ее первый муж (до 1910 г.) – врач Борис Владимирович Дмитриев (1874–1951), второй – врач Борис Александрович Рейн (ум. 1919, см.: Архив РАН. Ф. 543. Оп. 6. Ед. хр. 158. Л. 49 об.). В 1920-е служила в Румянцевском музее, в художественном отделе, куда ей помог устроиться А.С. Петровский, в которого она была влюблена много лет (без взаимности). По ее утверждениям, была его четвероюродной сестрой.

[4] А.С. Петровского.

[5] В квадратные скобки Кананова заключала свои пояснения к тексту дневников, которые вносила при их переписывании и редактировании. Здесь, скорее всего, имеются в виду мемуары «Начало века», вышедшие в ГИХЛе осенью 1933 г.

[6] Супруг З.Д. Канановой – Павел Христофорович Кананов (1883–1967), философ, известный деятель книги, сотрудник Государственной библиотеки имени В.И. Ленина (в 1931–1957 гг. – главный библиограф Отдела иностранного комплектования). Один из основателей секции книги Московского дома ученых. Близкий друг А.С. Петровского.

[7] Е.Н. Краснушкину и И.В. Воробьеву.

[8] Лидия Викторовна Култашева (псевд. К. Бестужев; ум. 28.12.1948) – антропософка, член группы имени М.В. Ломоносова; автор историко-популярных книг «Императрица Елизавета» (М., 1912), «Наполеон и две императрицы» (М., 1912), «Крепостной театр» (М., 1913), «Жены декабристов» (М., 1913), а также романов «За старую веру» (М., 1913; 1990), «Граф Калиостро» (М., 1913; Алма-Ата, 1991). Служила в Румянцевском музее, в одном отделе с А.С. Петровским. Написала статью «Типография Кряжева, Готье и Мея (1802–1809)» (Сборник / Публичная библиотека СССР им. В.И. Ленина. М., 1929. Вып. 2. С. 181–189).

[9] *Перцов П.П.* Литературные воспоминания: 1890–1902. М.; Л.: Academia, 1933. Петр Петрович Перцов (1868–1947) – журналист, поэт, литературный и художественный критик, издатель. Близкий друг Д.С. Мережковского и В.В. Розанова.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Д.Д. Лотаревой

Е.В. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ О ВСТРЕЧАХ С АНДРЕЕМ БЕЛЫМ

Первый раз я встретила Бориса Николаевича перед его отъездом за границу. Как будто это было в 1921 году[1]. Тогда разные общества и отдельные литераторы устраивали ему прощальные вечера. Такое прощальное собрание устроил ему Пушкинский семинарий Вячеслава Иванова[2] в помещении школы Марии Александровны[3]. Собралось разношерстное общество, начиная от интернаток школы и кончая членами семинария. Были многочисленные речи. Говорили, что Борис Николаевич «Совесть России», что он больше Гоголя, что он — «Белый Ангел», что он должен показать Западу — что такое Россия.

Меня поразило, как Борис Николаевич все это выслушивал. Живыми, пронизывающими глазами, с большим интересом следил он за говорящими, как будто говорили не про него, а про кого-то постороннего.

Пришла его очередь отвечать.

Я думала: как можно ответить на это?

Борис Николаевич сказал, что он с интересом прослушал все и относит это не к себе, а к Тому, Кто стоит за ним. Эти слова прозвучали торжественно.

Затем он сказал стихи: «Россия, Россия моя...»[4] Говорил он совершенно необыкновенно, как колдовал, т<ак> ч<то> у меня даже заболела кожа на голове.

Впечатление чего-то огромного и очень светлого осталось у меня.

Он был в шапочке, высокий, с глазами странного голубого цвета, очень пронзительными.

Второй раз я видела Бориса Николаевича по его возвращении из-за границы. Это был вечер памяти Блока, кажется, в Политехническом[5]. Кроме Бориса Николаевича никто не выступал, или я их всех забыла. Борис Николаевич был измученный, в черном сюртуке, каких никто не носил. Говорил он с судорожными жестами, приседал.

Говорил он, что Блок-общественник задыхался и — задохся, оставшись без общения с людьми. Мне казалось, что он говорит больше о себе, чем о Блоке, что это он задыхается и бьется в безвоздушной атмосфере, что он стремится найти какой-нибудь выход, контакт с людьми, который от него ускользает. И делалось страшно за него и больно. Мне казалось, что я вижу перед собой героя Гофмана.

Последний раз я видела его в гробу. Хотелось без конца смотреть на его лицо. Светлое, очищенное от всего земного. Знающее что-то бесконечно большее, чем знаем мы.

23/XI <19>40.

Екатерина Вячеславовна Зеленецкая (1890–1944), теософка. Ее воспоминания были написаны, по-видимому, по просьбе К.Н. Бугаевой, которая порой обращалась с такими просьбами к людям из своего окружения. Публикуются по автографу, хранящемуся в фонде Белого в НИОР РГБ (Ф. 25. К. 40. Ед. хр. 21). Выражаю глубочайшую благодарность Л.А. Шевцовой за неоценимую помощь в работе.

[1] Имеется в виду отъезд Белого в 1921 г. в Германию.

[2] «Пушкинский семинарий» под руководством Вяч. Иванова открылся в Москве в феврале 1919 г. «Состав кружка был разнообразным: выступали уже известные в науке или, во всяком случае, зрелые исследователи <...>. Наряду с ними делали доклады студенты, которые впоследствии по разным причинам не оставили следа в науке о литературе» (*Шишкин А.* Материалы к теме «Вяч. Иванов и пушкиноведение». I. Пушкинский семинар 1919–1920 года // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы / Отв. ред. К.Ю. Лаппо-Данилевский, А.Б. Шишкин. Вып. 1. СПб., 2010. С. 781).

[3] Вероятно, имеется в виду петербургская Женская рукодельная школа Императрицы Марии Александровны с курсами учительниц рукоделия. О проводах, устроенных Белому Пушкинским семинарием, нет сведений. В Петрограде в начале октября 1921 г. прошло «интимное заседание ВФА, посвященное проводам Андрея Белого за границу», а в Москве 16 октября прошло коллективное «чествование, устроенное организациями, в которых работал Андрей Белый» (*Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества // ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 107. Л. 114) и 17 октября заседание в Союзе писателей.

[4] Строки из стихотворения Белого «Россия» (1908).

[5] Первоначально было написано: «кажется, в Колонном зале». Исправлено карандашом рукой К.Н. Бугаевой. С докладом и воспоминаниями о Блоке Белый выступил в Политехническом музее 20 февраля 1924 г.

Подготовка текста и комментарии Е.В. Наседкиной

Е.Н. СИЛЬВЕРСВАН

КОЕ-ЧТО <...> О МОЕМ ДЕТСТВЕ...

<...> В пять лет меня отдали в немецкую группу, где нас учили читать, писать и разговаривать по-немецки. Немка была ненастоящая, бывшая фрейлина при дворе, язык она знала великолепно и уже после, когда я училась в школе, она приходила к нам домой. Умерла она во время войны. Звали ее Надежда Николаевна. В группе у нее было всегда 5–6 детей. Нас приводили утром, мы занимались играми, обедали, два раза гуляли, а вечером нас забирали домой. За мной приходила Таня. Из детей помню мальчиков Нейгаузов, моей няне Тане вменялось в обязанность заходить к Нейгаузам (мы шли с Собачьей площадки через Трубниковский переулок, где они тогда жили) забирать их (мальчиков звали Стасик[1] и Сережа; кто был Сережа – не знаю, может быть, сын тогдашней жены Нейгауза Милицы[2]), а потом приводить обратно.

Там была еще девочка Мила[3], очень капризная, в группу она не ходила, но, пока мальчиков одевали, мы успевали с ней пообщаться. Потом мы шли через Поварскую в какой-то переулок, переходили Никитскую и попадали к дому «немки». Тогда это назывался Скарятинский переулок, а теперь улица Наташи Качуевской[4]. В группе был еще мальчик-немец Рейнгольд Шнур (тогда его звали Буба). Его отец, тогда немецкий коммунист, что-то делал в нашей стране. Он жил в большом доме напротив моей будущей 110-й школы. Мальчика водили в группу, вероятно, для общего развития, так как язык он знал блестяще. Мы с ним очень дружили, нас водили друг к другу в гости на дни рождения и елки, и мы в шесть лет клялись друг другу в вечной любви.

Позже мы учились в одной школе (он на класс моложе меня), но «в мире новом друг друга они не узнали»[5], даже была какая-то вражда, о «любви» не могло быть и речи. Позже я узнала, что отец его был расстрелян в 1937-м, они с матерью страшно бедствовали, а во время войны их куда-то сослали, и они исчезли бесследно. Но время, проведенное вместе в группе, осталось теплым воспоминанием об этом мальчике.

Бывали там и курьезы. Наша «немка» была страстной поклонницей Андрея Белого, всегда восторженно о нем говорила с папой, который дружил с «Борей» еще со студенческих лет. Когда Белый умер, она не нашла ничего лучшего, как отправиться со всеми нами, пятилетними, на гражданскую панихиду, в Дом литераторов на Поварской. Это я так хорошо запомнила: и красивую резную лестницу, и большое количество людей, и гроб, утопающий в цветах, и даже венчик на голове покойника, а самое главное – изумленно-негодующее выражение лица папы, когда он, стоя в почетном карауле, увидел свою малолетнюю дочь и всю нашу компанию. Правда, кто-то все-таки сумел внушить нашей глубоко опечаленной фрейлине, что детям не место возле гроба, и нас быстро вывели.

Послесловие

Отец мемуаристки Елизаветы Николаевны Сильверсван (1928–2007) – Николай Адрианович Сильверсван (1881–1953) был студенческим товарищем Андрея Белого, посещал воскресные встречи «аргонавтов», проходившие в его арбатском доме с осени 1903 г.: «Люди, собиравшиеся на воскресеньях моих, какой-то ручей: рой за роем проходили, точно по коридору, сквозь нашу квартиру, подняв в ней сквозняк впечатлений; много фамилий и лиц я забыл; и не помню, когда кто явился, куда кто исчез; воскресенья продлились до 906 года; а в 907 году по составу посетителей они – уже иные совсем; бывали же в период 1903–1904 годов: Сизовы, два брата, студент Сильверсван, <...> и прочие люди, которых не помню, которые все ж признавали себя "аргонавтами"»[i].

Впоследствии Н.А. Сильверсван стал юристом и достаточно известным общественным деятелем: был попечителем Якиманского 5-го городского училища, членом Якиманского городского попечительства о бедных и Совета городского попечительства о бедных Хитрова рынка. После революции он, очевидно, продолжал заниматься адвокатской практикой. «Во всех юридических делах, – вспоминал с благодарностью в «Записках уцелевшего» С.М. Голицын, – отцу давал советы его хороший, с давних лет знакомый – известный московский адвокат по гражданским делам Николай Адрианович. Был он очень отзывчив, горячо старался помочь отцу и всем членам нашей семьи, притом безвозмездно. <...> Жил он на Собачьей площадке, в старинном, с гипсовой лепниной особняке, когда-то принадлежавшем поэту Хомякову <...>. После революции там в трех комнатах устроили "Музей сороковых годов", полностью сохранивший уютную и поэтичную обстановку далеких лет. <...> На каких правах жил Сильверсван вдвоем с женой в том музее, не знаю. <...> Долгую жизнь прожил этот благородный человек. Уже после войны мне пришлось к нему обратиться за советом, Я застал его седым стариком, пенсионером. Неожиданно все его благополучие рухнуло. Году в 1952 к нему обратилась знаменитая певица Обухова. У нее была домработница, верой и правдой служившая ей десятки лет. Где-то в колхозе Брянской области арестовали брата этой домработницы по обвинению в поджоге фермы, когда погибло целое стадо коров. Обухова, наверное, за немалое вознаграждение умолила Сильверсвана поехать его защищать. На суде он выступил с блестящей речью и сумел доказать, что в день пожара обвиняемый был где-то далеко. Суд его оправдал, а районные власти разозлились и отправили в Москву на Сильверсвана донос. Он был арестован, как враг народа, и отправлен в дальние лагеря. <...> Эту печальную историю мне рассказал С.Н. Дурылин»[ii].

Н.А. Сильверсвана арестовали в октябре 1950 г., он умер в лагере в 1953 г., незадолго до поступившего приказа о его освобождении. Его жена, Елена Владимировна Бахрушина (1893–1967), происходившая из знаменитого купеческого рода Бахрушиных, многие годы проработала главным хранителем Третьяковской галереи. После ареста мужа ее спешно сняли с этой должности и, вероятно, именно это спасло ее от ареста. Работая рядовым сотрудником, она продолжала выполнять обязанности главного хранителя.

---

[i] *НВ 1990.* С. 293.

[ii] *Голицын С.М.* Записки уцелевшего. М., 1990. С. 394–395.

Сама мемуаристка стала искусствоведом, историком и теоретиком архитектуры, в 1949–1961 гг. работала в Музее Академии архитектуры, затем – редактором издательства «Советская энциклопедия».

Примечательно, что появление группы детей на похоронах Белого не осталось незамеченным. В частности, обратила на них внимание Н.Я. Мандельштам. «Надя отметила, – записала с ее слов Э.Г. Герштейн, – что только одна учительница отважно привела туда своих учеников проститься с гениальным писателем. Остальным педагогам, очевидно, это было не в подъем: одни по своему невежеству вообще не знали, кто такой Андрей Белый, другие знали, но не посмели вовлекать в это событие школьников»[i].

Фрагмент из мемуаров Е.Н. Сильверсван «Кое-что о Бахрушиных, Сильверсванах, о моем детстве и разные воспоминания» воспроизводится по: Московский архив: историко-краеведческий альманах. Вып. 4. М., 2006. С. 241–242. Рассказы Е.Н. Сильверсван были записаны В.Ф. Тейдер для Дома-музея С.Н. Дурылина в Болшеве; фрагмент из ее записей еще до появления их в печати был предоставлен нам для публикации с любезного разрешения мемуаристки, которой мы выражаем свою искреннюю, хотя и запоздалую признательность. Также благодарим В.Ф. Тейдер и Т.В. Анчугову за помощь и посредничество.

---

[1] Станислав Генрихович Нейгауз (1927–1980) – сын знаменитого пианиста и педагога Генриха Густавовича Нейгауза (1888–1964); тоже пианист, с 1975 г. профессор Московской консерватории. Вследствие развода родителей с 1932 г. он с братом Адрианом (1925–1945) воспитывался в доме отчима, Б.Л. Пастернака.

[2] Сергей Сергеевич Соколов-Бородкин (1925–?) – не сын, а племянник второй жены Г.Г. Нейгауза (с 1931 г.) Милицы Сергеевны Нейгауз (урожд. Соколова-Бородкина; 1892–1962).

[3] Милица Генриховна Нейгауз (1929–2008) – дочь Г.Г. и М.С. Нейгауз, деятель правозащитного движения.

[4] Скарятинский переулок, названный так в начале XIX в. по фамилии домовладельца поручика В.М. Скарятина; в 1960–1993 гг. назывался улицей Наташи Качуевской в память о погибшей под Сталинградом медсестре Наталье Александровне Качуевской (1922–1942), жившей здесь до ухода на фронт. В 1994 г. исторический топоним был возвращен.

[5] Из стихотворения М.Ю. Лермонтова: «Они любили друг друга так долго и нежно...» (1841).

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной

---

[i] *Герштейн Э.Г.* Мемуары. СПб., 1998. С. 50.

ЛЕВ ТАРАСОВ

ИЗ ЮНОШЕСКОГО ДНЕВНИКА 1933–1934 гг.

1933 г. Март 28.

<...> Поехал на Плющиху искать А. Белого (д. № 53, кв. 1). Позвонил раз – тихо, другой раз – то же. Постучал, и дверь открыла очень милая, симпатичная старушка. Я спрашиваю:

– Можно видеть Б<ориса> Н<иколаевича>?

– Он болен – отвечает, – после вечера своего простудился[1], – говорит шепотом, – его нельзя беспокоить.

– Но он принимает?..

– Да, иногда принимает. Недельки через три, если... Да вы еще такой молодой... (Действительно, в мои годы трудно надеяться попасть к Б.Н., но я питаю надежду...).

1933 г. Май.

<...> А. Белый уехал в Крым, и моя вторая поездка была неудачна (23)[2]. Юра <Соколов> говорил о диалогах, которые он пишет, и о борьбе двух типов (пессимизм и оптимизм) (25).

1933 г. Июль.

<...> Юрочка даже раскис. Его возмущают девочки и женщины парка[3] – вместо дев – девки. Он не возражает, что назначен в «наместники практических наук», а посему «друг ясной погоды, ученый лентяй», член ордена «Г.С.» (Глиняного Сердца), отмеченный знаком Девы... <...>.

Благодаря Велимиру[4] я думаю о возобновлении Антиизма, т.е. о пробуждении его к жизни и даже возмечтал о новой династии, уже не будетлян, но антиистов (27). Написал «Анатолий-Ниппон-Эней»[5] – ужасное виденье. Мысль – борьба Востока с Западом, и то, что русский человек вместит обоих, ему не будет гибели[6] (27).

Важнейшее для меня – учиться:

1. Идти к А. Белому и сказать: – «Я неофит – учи меня, старче...» Если последний откажется, написать рассказ, где изобразить его в смешном виде и заставить его плясать с кентаврами за Москвою-рекой.

2. Идти к футуристам, что покамест не вымерли, посмотреть на них и выведать о Велимире (хотя бы у Крученых[7]) (29).

1933 г. Ноябрь.

О себе: Хочется лежать не вставая. Сердце болит. Пустая голова (4). Бесподобен дядя Струй, нельзя не любить милую Ундиночку[8]. Дочитывая, я прослезился. Как бы я хотел уйти в сказочный мир призраков. Уж очень все надоело. Недавно

волновал меня Савелий Сук[9] и закутанный в простыню Велимир (3). Действительность проходит мимо, я доволен: на что мне эта грязь, когда служителем светлых искусств я буду свободен и жизнь поведу безмятежно, тихо (5). Живу чужой жизнью (15) <...>.

О лучших людях нашего времени я непременно буду писать:

а) Владимир Соловьев – какой необычайный Дух заключен в нем – прекрасный рыцарь-монах[10], я чту тебя;

б) Алекс<андр> Блок – поэт, живущий собственным, внутренним Духом, удивительной болью принявший Революцию;

в) В. Хлебников – поэт-юродивый, председатель земного шара, словотворец, у него особое восприятие мира.

г) Андр<ей> Белый – высочайший мистик, поэт, упорно в себя шагающий, в смерть...

д) И иные, как Волошин <...>.

Просматривал дневники, вспоминал б<абушку> Саню[11] и Петю Г.[12] Все-таки трудно постоянно твердить о том, что все хорошо. Скука удивительно бдительна (19) <...>.

Наша жизнь – величайшее благо. Ее следует беречь. В сердце тонкая боль и головные излучения. Кажется, немного – и можно будет потусторонне общаться. Но где мастер? Я стою на перекрестке. Звенят мои бубенцы (25). Ездил на призыв[13]. Впечатление скверное. Нагому на холоде. (Есть стихи в черновиках) (30) <...>.

Думаю написать пьесу «Анатолий Заумный»[14] и поставить. Летом с Юрой организую ТОФ (театр обновленных форм) – выразитель Антиизма в искусстве (22). Необходимо поставить «Царя Максимилиана»[15], «Незнакомку» или «Песню судьбы» Блока, «Зангези» Хлебникова и моего «Анат<олия> Заумного». ТОФ необходимо провернуть в жизнь. Так начнется завоевание театральных форм антиистами. О, я знаю, что такое искусство, недаром я «Ученый лентяй голубой ленты». Только хлопок меня собирается задавить[16], уж его нити протягиваются все ближе, ближе... (23) <...>.

1934 г. Январь 9.

<...> Вчера, полпервого скончался А. Белый. Это был мой учитель. Я пытался идти к нему, но боялся его тревожить, я писал ему письма, но не отсылал их. Избранные уходят, это был последний из писателей, теперь уже никого нет, теперь все надежды на будущее. Его судьба таинственна. Надеюсь, что он умер, питая высокую веру. Господи, спаси его душу... Он тебя постоянно искал. Да будет! (9 января).

О смерти Белого я узнал от Ницше (бухгалтер на нашей фабрике, жалкий пьяница). Поразило меня совпадение имен, Ницше был дорог Белому, от него мне весть, которой я включен в преемственную линию, мне суждено стать вершителем замыслов. С преждевременной смертью Белого я потерял возможность приблизиться к его сокровенным исканиям, но, верю, что Духовное Соединение по сродству душ мыслимо во все времена (10). Антиистам необходимо ввести знак Андрея Белого, его степень и орден (13). Белый объявлен реакционным писателем. Переизданий его ждать нечего – достойному не пристойно быть предтечею в литературе, именуемой соцреализмом. Третьего пути нет. Вот еще – знамя (16 января).

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
(Призрак недавний)

1

Ходил я к Андрею Белому
В дни болезни его на поклон,
Мне скромному и несмелому
Пророком казался он.

Имел я тогда немного
Молодых, но радостных лет.
Искал я по книгам Бога
И верил в Третий завет.

Меня не пустили к больному.
Вечно ставят преграды поэтам.
В горе я удалился к дому –
И о смерти узнал по газетам.

1936.

2

Я пребывал в астральном мире,
Там, где прообразы вещей,
Мой разум разгорался шире
Снопом ликующих лучей.

Я не грешил, лишенный тела,
И на земную суету
Смотрел торжественно и смело,
Как перешедший за черту.
Неосязаем и бесплотен,
Я был мечтой во много сотен
Веков и стран перенесен.

Несуществующей рукою
Его руки коснулся я,
И думал: – Друга успокою,
Ему близка любовь моя!

Озарена лучами славы
Преображенная душа,
Ее движенья величавы,
Она проходит не спеша.

1937, сентябрь 17.

3

И когда Андрея Белого
Повстречал я в поздний час,
Невещественное тело его
Было призраком для нас.
Он прошел путями росными,
Нарушая тишину,
И дымками папиросными
Обволакивал луну.

1938, февраль.

Послесловие

Лев Михайлович Тарасов (27 марта 1912 – 15 февраля 1974) – поэт, писатель, искусствовед, специалист по изобразительному искусству XIX в. Родился в Москве.

Его отец Михаил Иванович Тарасов получил юридическое образование, в 1912 г. был направлен в Архангельск. Перед революцией ожидал должности прокурора в Москве, однако, чтобы избежать расстрела, был вынужден эмигрировать. М.И. Тарасов оказался в Югославии, где скончался в начале 1940-х.

Мать, Ольга Васильевна Сизова, осталась одна с тремя детьми в чужом городе без средств к существованию. Блестяще владея (после окончания московской гимназии) немецким и французским языками, она устроилась работать машинисткой. Когда ее муж покидал родину, никто не мог предположить, что объединить семью не удастся больше никогда. В 1920 г. к ней посватался бывший ссыльный революционер, ставший начальником административного отдела в Архангельске. Замужество спасло ее и детей от преследований как членов семьи эмигранта.

Старший сын, Лев Тарасов, в восемь лет был отправлен учиться в Москву, где сначала жил и воспитывался у своей бабушки по отцу Прасковьи Максимовны Тарасовой (урожд. Боголюбовой), имевшей свой дом в Измайлове. В 1930 г. он окончил десятилетку и пошел работать на Измайловскую ткацко-прядильную фабрику, в школу фабрично-заводского ученичества (именуемую тогда ликбезом – школой ликвидации безграмотности) – преподавателем русского языка. Одновременно он заведовал библиотекой при фабрике, принимал активное участие в литературных кружках и клубной работе, был секретарем комитета фабричного профсоюза (до 1935 г.).

Еще в школьные годы вместе со своими сверстниками Ю. Соколовым, В. Будниковым, П. Штуцером и другими, увлекавшимися литературой и театром, Лев Тарасов организовал «содружество независимых» – как они себя именовали. Новаторские течения в литературе, возникавшие в начале XX в., и мистика привлекали этих ребят, с трудом находивших себя в новой послереволюционной жизни. «Я жадно улавливаю звуки грядущих поэм», «вся жизнь моя – сплошная поэма», «живу внутри себя – невидно» – писал Тарасов о своем мироощущении. Как альтернативу современным культурным и идеологическим тенденциям Тарасов создал

еще одно объединение – Орден «Глиняного сердца» (или: «Орден странствующих антиистов»). Термин «антиисты» был придуман «в противовес социалистическому реализму, как течению, сдерживающему свободу литературной мысли, в объектах политичности (социального заказа), агитационности и тенденциозности вообще». Позже, в 1935 г., когда детская задумка переросла в юношеские философствования и раздумья о литературе, Л. Тарасов изложил идеи содружества независимых «антиистов» в форме манифеста:

> «<…> объявляю, что наше содружество независимых отделяет себя от вопросов общественного быта, принимая к сердцу интересы чистого искусства, в целях освобождения современной литературы от всевозможных ограничений.
>
> Художник должен быть абсолютно свободен, ничто не должно связывать его с общественными течениями, воспринимая современную жизнь, он преломляет ее сквозь призму личного.
>
> Отражая все светлые и темные стороны жизни, проявляемые во всех формах, художник совершает величайшее дело, созидая действительность, любовно приглядываясь ко всему, храня невозмутимость.
>
> Художник – артист, он воплощает в себе все времена, все эпохи, современность, будущее и прошедшее. Весь мир вмещается в нем, образуя гармоничность, единство.
>
> Будем сплочены, связаны тесно друг с другом.
>
> 1935 январь. Тарасов».

В этом «ордене» была, конечно, главной «Дама сердца». Поклонение ей было обязательным условием («служение прекрасному, вечно-женственному»). Но так как ни у кого из юных антиистов настоящей Дамы еще не было, то все истории, которые они изобретали, были чисто литературными сочинениями, некой игрой воображения, что их всех очень устраивало.

Вот и отзвенели песни осениц!

В ослепительном плаще, сотканном
Из пушистых звездочек снежинок,
Нынче явится она на призыв
Тех, кто предался унынью,
Терпеливо чуда ожидая.

– Экие мечтатели! – ужели
Ждете вы прихода незнакомки,
Что в комок сырой, холодной глины
Вдунет трепет и биенье жизни.

– Мы ей верим…

– Мне бы вашу веру.
Я тогда твердил бы неустанно:

Хорошо на этом самом свете,
Удивительно легко и хорошо!
– Так пойдем, сегодня заседает
Орден Глиняного Сердца – разве
Не вошел еще ты в наше братство?
– Не вошел, но с радостью войду!.. –

писал Лев Тарасов в ноябре 1932 года.

В поэзии кумирами антиистов были прежде всего Блок, Хлебников, Андрей Белый. Отношение к ним было одновременно и почтительным, и игривым. Все трое фигурируют в программном для юного Льва Тарасова стихотворении «Памяти Велимира»:

Нынче в память Велимира,
Если в мыслях крепнет нудь
Торжество людей и вира
Изложу я через «будь».
Это будет, это было
Вероятно через «бы»
Не страдал бы, не любил бы,
Но бежал бы от судьбы.
<...>
Юн и неистов бегу бегом,
Где липы провисли со всех сторон
Рек, ручейков берегом.
Где нити жизни прядут Парки
И в яви проходят Данет и Вотон
Теряя годы в старинном парке.
Они твердят про себя зады:
– Ах, как приятно быть молодым!

Обнявшись, сидят на затхлой скамейке
Где вырезаны вензеля,
Вотон играет на некой жалейке.
Музыкой сердце веселя.
Заунывные звуки
Полны непонятной муки.
Томительно глянет Данет
И нежно шепчет на ухо ему:
– Не станцевать ли менуэт
Нам по Андрею Белому?

Там песня плакала, плыла
И, может быть, живого ранила,
Она единственной была,
Кто оценил когда-то раннего.

Какая теплая земля!
Какие славные цветочки!
Уж пенье птичье слышу я
На любом кусточке.
Сраженный тем пустяком,
Что лучший из лучших навек заснул,
Со мною не быв знаком.
Ширь. И гомон слов. Уже
Мне тяжкую скорбь не одолеть,
Я вижу, вечернее солнце в луже
Инсценирует былую смерть.

И я к твоей причислен славе,
Навеки преданный земле,
Где ж твой портрет в простой оправе,
На чьем покоится столе?
Кто скажет, что некстати
Пришлась здесь блокада?
Блок давний мой приятель
И певчая услада.

Александр и Велимир
Выходцы из гроба,
Крепя со мною мир,
Живите в дружбе оба!

(Лето 1932)

Так как из трех кумиров к началу 1930-х жив был лишь Андрей Белый, то стремление Льва Тарасова встретиться с ним как с учителем кажется вполне закономерным. Символично, что первую попытку познакомиться с Белым Лев Тарасов предпринял 28 марта 1933 г.: за день до этого неудачного «похода» начинающему поэту исполнился 21 год... Не повезло и во второй раз – Белый уехал в Коктебель. О его смерти несостоявшийся ученик узнал из газет.

* * *

Реальная жизнь была далека от поэзии. Из-за «испорченной» анкеты, в которой его отец значился белым эмигрантом, Лев Тарасов не мог рассчитывать на хорошее высшее образование. Однако желание учиться было так велико, что в 1932 году по совету школьного друга Владимира Будникова он поступил в заочный текстильный институт на подготовительное отделение по специальности «Хлопкопрядение» и даже недолго, но пытался увлечься ткацкими машинами. Однако вскоре от этой затеи он отказался, так как в действительности ничего, кроме книг и стихов, его не интересовало. И все же в 1934 г. ему удалось поступить на курсы экскурсоводов при Государственной Третьяковской галерее и после их окончания в 1935 г. стать сотрудником ГТГ. Он вел занятия в художественных кружках, читал лекции в стенах ГТГ и на производствах, принимал участие в организации ряда

выставок, в том числе выставки 1936 г., посвященной 100-летию со дня смерти А.С. Пушкина[i]. Тогда же начал публиковаться[ii].

За несколько дней до войны, 9 июня 1941 г., Лев Михайлович женился на Валентине Леонидовне Миндовской, также работавшей экскурсоводом в ГТГ. В их семье родилось двое детей – дочь Юлия в 1946 г. и сын Михаил в 1948 г.

После эвакуации ГТГ из столицы в 1941-м Тарасов остался в Москве, где работал библиотекарем, а затем секретарем у скульптора С.Д. Меркурова. Из-за очень сильной близорукости Лев Михайлович был призван в армию не сразу и попал на фронт только в 1943 г. (воевал на 2-м Белорусском фронте; был награжден боевыми медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией»).

По возвращении с фронта некоторое время на договорных условиях писал статьи для издательства «Искусство», ездил с художественной выставкой в Астрахань, а затем был принят в штат. В издательстве «Искусство» Лев Тарасов работал с февраля 1948 г. до ухода на пенсию в марте 1973 г. В 1960 г. был принят в Московское отделение Союза художников РСФСР (секция критиков). За двадцать пять лет работы в должности старшего редактора в отделе изобразительного искусства им было отредактировано свыше сотни книг, издан ряд собственных работ о русских художниках, таких как Перов, Маковский, Соломаткин, Айвазовский и другие[iii].

Литературное творчество Л.М. Тарасов также не оставил. Свою прозу он называл «Невидимой книгой», так как надеялся увидеть ее в печати. Стихам, которые он писал на протяжении всей жизни, начиная с 8 лет, повезло несколько больше. В 1991 г. три стихотворения были опубликованы в «Новом журнале» (Нью-Йорк. № 184/185). В 2008 г. был издан первый сборник его стихов – «Пестрый мир». В 2011 г. – второй сборник «Огонь Гераклита».

Стихотворный цикл, посвященный Андрею Белому, и фрагменты из его дневника публикуются по материалам из семейного архива.

---

[1] Речь, видимо, шла о выступлении Белого в прениях о поэме Г.А. Санникова «Каучук», состоявшихся 20 марта 1933 г. в редакции журнала «Новый мир».

[2] То есть – 23 мая. Здесь и далее цифры в скобках означают день, в который была сделана запись.

[3] Речь идет об Измайловском парке.

[4] Имеется в виду Велимир Хлебников.

[5] Это стихотворение Л.М. Тарасов неоднократно переделывал и переименовывал. Впоследствии оно стало называться «Анатолий – Вотон – Эней (Сон Заумного)» (1933), а потом «Лев – Вотон – Эней».

---

[i] См.: А.С. Пушкин в Государственной Третьяковской галерее: Каталог выставки / Сост. А.В. Лебедев, Л.М. Тарасов, А.А. Ярошевская. М.; Л.: Искусство, 1936.

[ii] См., напр.: *Тарасов Л.М.* В.Г. Перов. М.: Государственная Третьяковская галерея, 1940.

[iii] *Тарасов Л.М.* Константин Егорович Маковский: 1839–1915. М.; Л.: Искусство, 1948; *Он же.* Леонид Иванович Соломаткин: 1837–1883. М.; Л.: Искусство, 1948; *Он же.* Александр Иванович Морозов:1835–1904. М.; Л.: Искусство, 1949; *Он же.* Василий Федорович Тимм: 1820–1895; М.: Искусство, 1954; *Он же.* Адриан Маркович Волков: 1827–1973. М.: Искусство, 1955 (все в серии «Массовая библиотека»), см. также: *Он же.* И.К. Айвазовский. М.: Искусство, 1970; *Он же.* Леонид Иванович Соломаткин. 1837–1883. М.: Искусство, 1968; и др.

[6] Ср.:

<…> От дуновения,
в облаке пара
вырос
Вотон
Разящий…

Желтая кровь
Дракона
заключена
в его жилах.
Сердце его
лежит
к Востоку.

Наша страна
перепутье.
Быть ей полем
кровавой битвы.

Все мы носим
в груди
тень
желтолицего брата.
Нас равно тяготят
и Восток,
и Запад
<…> («Анатолий – Вотон – Эней (Сон Заумного)». 1933).

[7] Алексей Елисеевич Крученых (1886–1968) – поэт.

[8] Персонажи «Ундины» В.А. Жуковского.

[9] Герой одноименной повести Л.М. Тарасова (конец 1920-х).

[10] Обыгрывается название статьи А.А. Блока о Владимире Соловьеве – «Рыцарь-монах» (1910).

[11] Александра Максимовна Боголюбова, двоюродная бабушка Л.М. Тарасова, незадолго до того умершая.

[12] Возможно, Петр Гнедич, репрессированный друг Л.М. Тарасова.

[13] Речь идет о медосмотре в военкомате. Из-за плохого зрения Л.М. Тарасов получил «белый билет».

[14] Видимо, планировалось переделать в пьесу одноименную повесть в стихах (1928–1932).

[15] Пьеса А.М. Ремизова (1919).

[16] Речь идет об учебе Л.М. Тарасова на подготовительном отделении текстильного института по специальности «Хлопкопрядение».

Подготовка текста, комментарии и послесловие Ю.Л. Мининой

ИЗ ДНЕВНИКА НЕЗНАКОМЦА, НАЙДЕННОГО К.Н. БУГАЕВОЙ В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ

1920. Ноябрь.

...Прочитал в 1-й книжке «Записок мечтателей» – «Дневник писателя» А. Белого[1]. Родилась мысль – о журнале «Записки души»...

...А. Белый сам несется мне навстречу. Потому что моя душа рвется к его душе. Явилось желание читать А. Белого. Вдруг заговорили мои товарищи об А. Белом. Встречаю В. Говорит о «Котике Летаеве» в «Скифах»[2]. Вот Л. Говорит: у меня «Скифы» были.

Пошел сдавать книгу в библиотеку. Смотрю каталог. Лучше не брать ничего. Под буквой «Б» нет ничего «Белого». Лениво перебираю каталог. Вдруг читаю: «Скифы» – сборник 1-й и 2-й! Ура! ...Оказалось: взят... Увы... Хочу идти домой... В библиотеке темно. Электричества нет. Горят тускло свечи.

Библиотекарша говорит: «Посмотрите каталог, может быть, найдете подходящее».

– «Нет, спасибо, уже поздно, да и темно там...».

Зажгла свечку: «Возьмите».

Оттягивает время, но для чего? Лениво перебираю каталог. Повторяю еще раз: «Так вы говорите – Белого нет сейчас?» Для чего я спросил? Слышу голос из читателей: «Вам А. Белого?»

– Да... да!

– Вот здесь есть его «Котик Летаев» – в «Скифах». Я возвращаю их.

– Ах, пожалуйста!

И А. Белый со мной! Его душа летит к моей душе, ибо моя душа рвется к его душе!..

28/XI–1932 г.

Запишу об одном замечательнейшем незабываемом для меня событии, о котором я мечтал с 1919 г.! И боялся, что оно может не осуществиться. Этого я жаждал больше десятка <лет>, из-за этого уехал из дома, приехал сначала в Ленинград в 1923 г., потом мучился в Москве, принес массу жертв, испытал волнения и надежды и т.д. и т.д.

Одним словом, я встретился *23/XI–1932* с моим любимым и незабываемым и настоящим Андреем Белым.

Это была полная волнения встреча! И я жадно слушал его «доклад-поэму», как там ее потом назвали. Выступал он в оргкомитете писателей среди писателей, и темой его доклада было «краеведение»[3], но это было *такое* краеведение – после которого я долго был взвинчен. Это была вдохновенная поэма, где Белый был величайшим исполнителем.

Мне казалось, что он вырос до огромных размеров, и я был охвачен «минутами величайшей гармонии»[4]. Он тенористым звонким, прорезывающим воздух голосом — «звучал» — как музыка. И передо мной — лилась, «звучала» жизнь! Ее ритмы заставляли дышать по-новому. И аудитория внимательно слушала (к моему огромному удивлению, так как его травили все 15 лет всеараписты и бездарные писаки, а за ними и публика от «литературы»).

Конец поэмы — гром аплодисментов. А. Белый в шапочке, потных очках роговых, то снимал их, то вновь надевал, курил. И я запоминал все это, смотрел, впивался в него, пропуская даже его слова. Он ходил из угла в угол, удалялся и все говорил. Но вот он кончил, бросив, как разрывные бомбы, свои тезисы о художнике-ученом, о новом составе человека, о революции.

Перерыв. Я рассматриваю внимательно его. Совсем другой. Некрасивый на лицо, худой, какое-то аскетическое лицо, нет одного зуба, седой, сутулый и маленький, плохонького сукна пиджачок, узенькая спина. Так вот он какой! Беседует со своими знакомыми — женщинами, я сижу рядом, говорит о со-интернационале. Я стараюсь ощутить электричество, исходящее от него; и так чувствую себя хорошо, тепло, солнечно, уютно. Мне хорошо сидеть рядом со своим любимым. Но он меня не знает и не замечает. Он занят другим. Я вышел курить. Курю. Рядом человек. Узнаю: А. Эфрос[5]. Желчно что-то гадкое шепчет другому. Подхихикиванья. Им неприятен успех Белого. О, жалкая порода ехидных мерзавцев! Им осталось шипеть по коридорам. А. Эфрос недовольно идет к вешалке и уходит. А я иду в зал. И снова впиваюсь в любимую фигуру. И удивляюсь, почему он казался мне во время доклада таким высоким, в то время как он совсем маленький и изможденный и сгоревший. Я думаю, что напрасно он так сжигает себя. Прения перенесены[6]. Он говорит с каким-то юношей. Слышу слова: «Ведь у меня бронхит... Нет, спасибо, не пойду... Хотя аспирину можно». Я подхожу к нему совсем близко и в упор смотрю на него. И вижу перед собой умные сверкающие и очень внимательные глаза. Он как-то особенно, как-то с удивлением, не то с любопытством смотрит на меня, сначала на юношу, потом снова на меня. Мне довольно этого взгляда. И я, заряженный, иду к вешалке. Хочется снова вернуться, но неудобно, стесняюсь. Еще раз взглядываю на него издали и иду к трамваю. И всю дорогу вижу перед собой истощенное лицо и на нем: пытливые, полные внутренней силы, какие-то странные и дорогие мне глаза. Глаза, встречи с которыми я ждал 13 лет. Я прихожу домой, беру газетное клише с него и вновь долго и пристально смотрю в его глаза...

Первая встреча свершилась, буду искать следующей!

5/III–1933 г.

Февраль дал мне два вечера, в которые и после которых я дышал свободной грудью, крепким и пьянящим меня воздухом двух выступлений моего любимого Бориса Николаевича в Политехническом![7] Мною были, правда, приняты с протестом отдельные частности, которые, по моему мнению, были лишь «данью» той публике, которая пришла «воспринимать» его как... Собинова или Козловского[8]. И это было данью прошлому. Но основной лейтмотив, звучащий в нем, — мой! Этот лейтмотив — какая-то новая жажда невиданного еще в истории творчества жизни, творческой практики современности...

10/I–1934 г.

Только что вернулся с кремации моего любимого человека – А. Белого.

Клуб оргкомитета писателей. В гробу притягивающее меня лицо. Запомнились <*нрзб.*>[9] и трагические складки от носа к губам. Милое, незабываемое лицо! Хочется смотреть без конца: оно мертвое, а притягивает. Народ прибывает. Кое-кого узнаю... П..., Пришвин, < Подгорный? – *нрзб.*> и много других. Прибежал к концу М.... Проводили до Смоленского и уехали на автомобиле. Играют скрипки. Царствует молчание. Тихая, не грустная, а почти мажорная музыка. Кровь приятно разливается по телу. Вот тут передо мной лежит он, мой любимый, а я, влюбленный в него, смотрю на это лицо.

На нем плохонький черный пиджачок, черный галстук – смотрю, и сердце щемит, сердце сладко-сладко сжимается от общения с ним. Вокруг него – друзья, которых не знаю, но чувствую, что друзья. И я чувствую себя среди друзей у гроба учителя лирической души. Думаю: как можно жить без такого согревающего меня солнца, без этой яркой звезды на земле. Мысли беспорядочно перебегают: вспоминаю его книги, его чувства – и все покрывается каким-то туманящим ощущением. Многие образы – наполняют меня. Народу набралось – полная комната... и на улице. Человек около 1000.

Идем по улицам. Музыки нет. Катафалк и 6 белых лошадей[10]. Слышу голоса прохожих: «Хоронят писателя Андрея Белого». – «Кого?» – «Андрея Белого – писателя», – передают друг другу мальчишки. Народу осталось человек 150. Слышу разговор Пришвина с другим: «А народу мало». – «Зато все свои», – отвечает Пришвин.

Что меня поразило – это тишина, молчание. Плача нет. Молча идем. И такое сладкое-сладкое ощущение. Как будто звучит какая-то еле слышимая музыка сфер. Вот крематорий. Не пускают еще. Опять – то же тихое, звучащее молчание. И сердце опять щемит. Вот он с нами, он, любимый, наше сияние, греющее нас солнце...

Внесли... Лежит в гробу. У гроба – женщина – вперенный в него взгляд и ни одной слезы[11]. Спокойное у нее лицо. Страдания не видно. Так приятно смотреть на него. Опять тишина... Вот заиграла музыка. Кончилась... Молчание. Вдруг, как диссонанс, – вышел К...[12] Говорил избитые фразы, стараясь показаться удрученным. Никто не слушает. Опять молчание. Опять играет музыка. И так тепло, тепло на душе, хочется, чтобы это ощущение продолжалось вечно.

Тихий голос: «Прощайтесь». Подходят прощаться друзья и родные. Вот та женщина, которая была у гроба, – кто она: жена его или сестра? Поцеловала его и так мило... улыбнулась! Незабываемая улыбка! Улыбка вместо гримасы плача! Опускают гроб. На глазах ее блеснули слезы. И она рванулась. Смотрит вперенно на уплывающее вниз лицо. И все смотрим. Оно – это незабываемое, любимое лицо уплывает вниз. Женщина что-то шепчет ему вслед, все громче, громче.

Вспомнилось: человека провожают на пароходе, пароход медленно уплывает – на нем отъезжающие близкие – близкие ему также вслед кивают, машут платком и повторяют губами: «Не забывай. Думай обо мне». И вот все кончилось. Оборвалась нить. Очнулся, как от сна. Кончилась прекрасная сказка! Вспомнил его стих: «Там в пурпуре бури – там бури! Мой гроб уплывает туда в золотые лазури...»[13] и комок слез подкатил к горлу. Его лирическая душа улетела в лазури – и я... осиро-

тел. Стало скучно жить без этой солнечной души. Все хорошие чувства сжались в комок и спрятались куда-то далеко. Если дорога туда мне была дорогой в страну музыкальной души, то дорога обратно мне стала дорогой в ледяную пустыню — после заката этого сверкающего из д. Кучино солнца. Солнца в этом плохоньком пиджаке с трагическими складками у губ.

Да, 8/I — умер тот, кто с 18 лет<него> возраста стал моей путеводною звездою, к которому я всю жизнь стремился и, увидев, наконец, в 1932, в начале 1934 — похоронил. Такое было мое почти первое и последнее общенье с Борисом Николаевичем! Так наступил новый 1934 г.!

Что-то подарит мне история в этом так трагически начавшемся году, история, которую так чутко мог слушать А. Белый. Будем слушать историю!

23/VII–34 г.

Читал «Начало века» и «Мастерство Гоголя». И думаю — неужели это последнее, что я получил от него. Неужели я больше никогда в жизни не получу ничего от него? Неужели не опубликуют дневников, записей или какого-нибудь неизвестного произведения? Неужели это все! И на этом оборвалась нить...

Послесловие

Публикуемый текст, написанный на тетрадных листах в косую линейку, хранился в личном собрании К.Н. Бугаевой, а после ее смерти был передан в НИОР РГБ (Ф. 25. К. 40. Ед. хр. 26). К.Н. Бугаева классифицировала его как «Воспоминания об А. Белом (без подписи автора)», отметив: «Вынуто из почтового ящика» (Л. 15об.).

Сам аноним назвал свою «посылку» «Отрывки из записей (1920–1941)». В наст. изд. воспроизводим только дневниковые записи 1920–1934 гг. За пределами публикации остались записи, содержащие впечатления от прочитанных книг Белого (романа «Маски», мемуаров «Между двух революций»). На Л. 1 — пояснение автора: «Записи были — для себя — поэтому не отработаны. Переписываю их, не изменяя, так, как они были записаны (примитивность и т.д.)». Выражаем глубочайшую благодарность Л.А. Шевцовой за неоценимую помощь в работе.

---

[1] Записки мечтателей. 1919. № 1. С. 119–132.

[2] Роман «Котик Летаев» с подзаголовком «Первая часть романа “Моя жизнь”» был напечатан в альманахе «Скифы» (Сб. 1. Пг., 1917. С. 9–94; Сб. 2. Пг., 1918. С. 37–103).

[3] 23 ноября 1932 г. Белый выступал в Краеведческой секции Оргкомитета Союза советских писателей с докладом «Культура краеведческого очерка». См. стенограмму доклада в журнале «Новый мир» (1933. № 3. С. 257–273).

[4] Возможно, отсылка к разговору Алеши и Ивана в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (и рассуждениям Андрея Белого о «минутах вечной гармонии» в его эссе «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой» (М.: Мусагет, 1911)).

[5] Абрам Маркович Эфрос (1888–1954) — искусствовед, литературовед, поэт и переводчик.

[6] Прения по докладу состоялись 1 декабря 1932 г.

[7] «Вечера Андрея Белого» в Политехническом музее состоялись 11 февраля и 27 февраля 1933 г.

[8] Леонид Витальевич Собинов (1872–1934), Иван Семенович Козловский (1900–1993) – знаменитые оперные певцы, лирические теноры.

[9] Два слова вычеркнуты, видимо, К.Н. Бугаевой.

[10] Г.А. Санников указывает, что гроб везла одна кляча (*Санников Г.* Лирика. М., 2000. С. 90).

[11] К.Н. Бугаева.

[12] В.М. Киршон.

[13] Неточно цитируется стихотворение Андрея Белого «Утро» (1907): «<...> Там в пурпуре зори, там бури – там в пурпуре бури. / Внемлите, ловите: воскрес я – глядите: воскрес. / Мой гроб уплывает – золотой в золотые лазури. / Поймали, свалили; на лоб положили компресс».

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной, М.Л. Спивак

Е.Н. КЕЗЕЛЬМАН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «ЖИЗНЬ В ЛЕБЕДЯНИ ЛЕТОМ 32-го ГОДА»

<...> жизненные перипетии раздавили и исковеркали бы меня, если бы не помощь, явившаяся неожиданно в лице Б.Н.

Еще в Москве, оставшись без мужа[1], я черпала силы в общении с сестрой, Б.Н. и его книгами. Когда же судьба закинула меня в Лебедянь, в полное одиночество, я неоднократно стала возвращаться к его строчкам:

Перегорающим страданием века
Омолнится голова каждого человека[2].

Пыталась понять смысл «перегорающего страдания». Как, перегорая, не потухнуть, а излучать что-то живое? Как, потеряв, — обрести? <...> Воли терять нельзя. «Перегорая» в страданье — сохранить волю, волю к жизни. Если и разрушаются порой все привычные формы твоей жизни — не теряйся: посмотри глубже вокруг и внутрь себя и найдешь возможность творчества жизни там, где виделась лишь смерть, пустота...

Приблизительно такие мысли проплывали в моем сознанье 29 сентября 1932 года, когда я сидела у окна своей лебедянской комнатки, проводив накануне сестру с Б.Н. в Москву. Полтора месяца совместной жизни с ними были так полны, что лебедянское одиночество в этот вечер ощущалось неизмеримо острее, чем до их приезда.

«Опять у разбитого корыта!.. А золотая рыбка — в море синем»...[3] И вдруг — из этого синего моря-неба, затрепетавшего переливами закатного света, которыми мы втроем любовались третьего дня лишь, — как бы зазвучало настойчиво: «Попробуй, нарисуй — ведь Б.Н. так любил закаты. В городе он таких не увидит, а ты отвлекись от себя, лови эти говорящие краски. <...>».

Наши тихие «посиды» (Б.Н.)[4] у окна, наши беседы — зажили с наполненной силой. Сверкающий свиток воспоминаний о брошенных Б.Н. мыслях, указания — развернулись веером многогранных и углубленных значений. Точка «перегорела» и дала искру для творчества, независимого от внешних обстоятельств. Желание неожиданное — рисовать — было так настойчиво, что я схватила маленький клочочек бумаги, цветные карандаши и быстро, быстро набросала на нем и брызги, и стрелы, и волны заката.

Раньше я не рисовала с натуры, и рисунок мой был более чем примитивен. Но — он не был единственным: в течение года я рисовала закаты и почти в каждом письме посылала их в Москву[5]. Постепенно осмелела до того, что рисовала не только кусочек неба из окна, но целые улицы, а под конец — даже виды Лебедяни с Доном,

поле, где мы гуляли, «Мишенькину дорожку»[6]. Рисовала и карандашом, и акварелью. Б.Н. радовался на эти «видики», как мы их называли, и говорил, что они дали ему целую «гамму закатов», так что казалось, будто «и не уезжал из Лебедяни».

Последний рисунок был сделан в декабре 1933 года[7], а в январе 1934 года – я ездила в Москву на захоронение урны Б.Н. Проститься с ним не пришлось.

Дни, проведенные в Москве, прожила в каком-то тумане. Уход Б.Н. реально еще не воспринимался; сознанье еще не охватило всей тяжести утраты. Казалось, что он «вот-вот войдет». Входил не он, а строчки его стихов, за которые мы с сестрой и А.С. Петровским засели для предполагавшегося однотомника стихов в издании Academia. Работа была спешная и занимала все время.

Когда я вернулась в Лебедянь, утрата Б.Н. встала во всей своей силе. Тосковала я без меры. Рисовать не могла: казалось, что не для кого теперь. Помню, как ходила постоянно в закатные часы в снеговые просторы наших летних прогулок, и там живо вставало в памяти все богатство прожитой вместе с ним жизни. «Видики» мои ушли, не могла сделать ни одного мазка. Но пришли неожиданно сначала стихи, которые краткое время писала, толкаемая настойчивыми ритмами, а потом появился подбор слов для «Словаря рифм».

Послесловие

С Еленой Николаевной Кезельман (урожденной Алексеевой; 1889–1945), родной сестрой К.Н. Бугаевой, Белый был знаком еще с 1913 г., однако это знакомство долгие годы оставалось формальным, даже после сближения его с Клавдией Николаевной.

Ситуация кардинально изменилась лишь в 1931 г., когда разгрому подверглось московское антропософское общество. Тогда арестовали и Клавдию Николаевну, и ее сестру, и многих других друзей и знакомых. Белому, как известно, удалось, благодаря ходатайству В.Э. Мейерхольда и помощи Я.С. Агранова, добиться скорого освобождения Клавдии Николаевны. А Елена Николаевна была обвинена в том, что «являлась активной участницей нелегальной к/р организации, принимала участие в работе нелегальных кружков, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 58, п. 10 и 11 УК»[i]. После окончания следствия Е.Н. Кезельман была на три года выслана в город Лебедянь Ефремовского уезда Тульской области, поселилась в доме по адресу: ул. Свердлова, дом 36.

9 августа 1932 г. Белый с Клавдией Николаевной поехали в Лебедянь навестить и поддержать родственницу. Совместный отдых (Бугаевы прожили в Лебедяни до 29 сентября) привел к сближению с Е.Н. Кезельман. Между ней и Белым началась переписка, продолжавшаяся почти до самой смерти писателя (последнее его письмо Елене Николаевне – одно из немногих написанных собственноручно после полученного в Коктебеле теплового удара – датировано 15 августа 1933 г.). После Лебедяни Белый воспринимал ее как члена своей семьи, называл (в письме от 7 июня 1933 г.) «посланною судьбою сестрицей»[ii].

[i] См.: *Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006. С. 532.

[ii] Письма Андрея Белого к Е.Н. Кезельман / Публ. Р. Кийза // Новый журнал. Нью-Йорк, 1976. № 124. С. 167.

Как отмечено в приведенном выше фрагменте, под влиянием Белого Елена Николаевна начала зарисовывать лебедянские пейзажи и отсылать их в Москву как открытки – с текстом письма на обороте (сейчас они хранятся в Мемориальной квартире Андрея Белого). Эти письма-рисунки, адресованные преимущественно сестре и родителям, не только прочитывались, но и развешивались в семье Бугаевых по стенам, о чем, в частности, свидетельствуют следы кнопок в углах листков. В письме от 16 апреля 1933 г. Белый высоко отозвался о ее художественных опытах:

> «Среди немногих роздыхов, которыми дарят дни, – появления Ваших пейзажиков; как-то вхожу в комнату после "Гихла", и – пять Ваших картинок большого формата; ну до чего чудесно! Как это Вы можете с такими простыми красками добиваться этих тончайших нюансов; ведь ваши бумажные клочочки – настолько переносят в Лебедянь, что от них веет в буквальном смысле слова, как из открытого окна, – деревенскою ширью. У меня странное впечатление: будто мы в каком-то отношении и не уезжали из Лебедяни, потому что у нас серия Ваших видиков, – с осени до весны; целый дневник закатов <...>. Вы не можете себе представить, как много дает и познавательно серия Ваших картинок. Это – настой из звуков: нежных, тихих; таких звуков в Москве нет»[i].

Увлечение Е.Н. Кезельман «видиками» закончилось так же резко, как и началось. Последний рисунок был сделан за четыре дня до смерти Белого. Это зимний вечерний пейзаж, сопровожденный ее пояснением: «Луна из-за нашего дома ударяла во все, что напротив. Деревья – как белые свечи и гораздо больше от инея». На обороте рисунка ее запись: «4/I–34 г. ок<оло> 7 ч. в<ечера>. Этим кончились и виды. Последний рисунок. Больше не рисовала».

Проститься с Белым Е.Н. Кезельман не успела, так как ей требовались документы, позволяющие покинуть место ссылки. В Москву ей удалось попасть лишь к захоронению урны на кладбище Новодевичьего монастыря – 18 января.

После смерти Белого, продолжая еще около года жить в Лебедяни, Елена Николаевна занималась, по просьбе сестры, выявлением и систематизацией неологизмов Андрея Белого, а вернувшись из ссылки в 1935 г., вместе с Клавдией Николаевной работала над «Материалами к поэтическому словарю». В 1941–1943 гг., почти перед смертью, она написала воспоминания о Белом «Жизнь в Лебедяни летом 1932 года»[ii]. Фрагмент из этих мемуаров воспроизводится по машинописи, хранившейся у К.Н. Бугаевой (сейчас – в Мемориальной квартире Андрея Белого).

---

[1] С.М. Кезельман. Брак был заключен в начале 1920-х; распался в 1930 г.

[2] Из поэмы Андрея Белого «Христос воскрес» (1918).

[3] Из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина.

[4] Выражение Андрея Белого.

---

[i] Там же. С. 166.

[ii] Впервые полностью опубликованы Дж. Малмстадом в кн.: *Бугаева К.Н.* Воспоминания о Белом. Berkeley, 1981. С. 293–310. См. также: *Бугаева К.Н.* Воспоминания об Андрее Белом / Публ., предисл. и коммент. Дж. Малмстада; подгот. текста Е.М. Варенцовой и Дж. Малмстада. СПб., 2001 (Приложение II). С. 329–359.

[5] В Мемориальной квартире Андрея Белого хранятся 53 таких рисунка. Подробнее см.: *Волкова И.В.* Дневник закатов. «Пейзажные» письма Е.Н. Кезельман к К.Н. и Б.Н. Бугаевым // Наше наследие. 2005. № 75/76. С. 128–131.

[6] «Мишенькой» иногда называли в семье Клавдии Николаевны Андрея Белого: от «Мишка» – медведь, повадкам которого, как и многих других животных, он прекрасно подражал.

[7] На самом деле последний рисунок Е.Н. Кезельман датирован 4 января 1934 г. (хранится в Мемориальной квартире Андрея Белого).

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной

РЕПЛИКИ:
ИЗ ДНЕВНИКОВ, ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК, ПЕРЕПИСКИ И МЕМУАРОВ

А.А. Боровой – В.Я. Шишков – В.В. Зощенко – Бенедикт Лившиц – Борис Садовской – Юрий Слезкин – Е.С. Булгакова – Е.А. Галицкая – В.Н. Горбачева (Клычкова) – А.П. Остроумова-Лебедева – Николай Эрдман – Е.А. Королькова – Н.Г. Чулкова – А.И. Цветаева – Ольга Мочалова – Е.А. Огнева

Алексей Боровой — К.Н. Бугаевой:
Телеграмма[1]

Январь 1934 г.

Бессмертие великому художнику Белому. = Боровой.

*

В.Я. Шишков

Письмо к К.Н. Бугаевой[2]

Детское Село. 11 января 1934 г.

Дорогая и глубокоуважаемая Клавдия Николаевна!

Позвольте от меня и жены моей, Клавдии Михайловны[3], выразить Вам чувство самой искренней, самой глубокой нашей скорби по поводу кончины дорогого всем нам Бориса Николаевича[4].

Это печальнейшее известие прямо-таки потрясло меня, столь неожиданно оно прогремело.

Утрата большая, утрата незаменимая: ушел от нас огромный писатель и гениальный человек.

Известие дошло до меня прямо в уши (позвонил по телефону проф. Коган[5]) вчера, 10-го, в 5 часов вечера. Кой-как, в грустных разговорах, пообедали, после чего, по слабости своей лег спать. И, среди мельканья сновидений, посчастливилось мне видеть Бориса Николаевича. В какой-то огромной, с буржуйкой посредине, комнате (беспорядочно обставленной) я наводил порядок, делал кому-то распекание, словом — чепуха. А по правую руку от меня ширма низенькая, обтянутая с самого низу голубоватой материей, сквозь которую — свет керосиновой под обожуром [так!] лампы. Я заглянул за ширму. За каким-то детским столиком сидел

на низкой, вроде подножной, скамеечке Борис Николаевич. Он согнулся над рукописью, писал. Я сверху вниз взглянул на его спину: суконная, в складках, давно не чищенная щеткой, темно-синяя толстовка. Я положил левую ладонь на его спину, ласково сказал, склоняясь: «Борис Николаевич, милый...» Он быстро приподнял голову, сказал: «а-а-а...», приветливо заулыбался, встал (серые в полоску, вытянутые на коленках брюки) и, все так же улыбаясь, смотрел на меня серо-голубыми лучистыми глазами. Потом видение, не изменяя ни позы, ни улыбки, стало таять, бледнеть и скрылось. А я проснулся.

Вот каков результат работы моих нервов и подстегнутого воображения.

А вечером был у нас Кузьма Сергеевич[6]. Много говорили, вспоминали.

До свидания, дорогая Клавдия Николаевна.

С глубоким уважением к Вам

Вяч. Шиш<ков>.

*

В.В. Зощенко

Письмо к К.Н. Бугаевой[7]

14/I–1934 г.

Дорогая Клавдия Николаевна,
нет слов выразить Вам свое глубокое, искреннее сочувствие по поводу постигшей Вас неожиданной и тяжелой утраты. От всей души желаю Вам бодрости и силы перенести это ужасное горе.

До сих пор не могу себе реально представить, что Бориса Николаевича действительно уже нет в живых: давно ли, кажется, мы все вместе гуляли по горам и полынным полям Коктебеля[8] – Борис Николаевич казался таким здоровым, бодрым, полным энергии и жизни! И вдруг – такой неожиданный, жестокий конец. Так трагически хрупка и непрочна жизнь, что порой как-то страшно и жутко жить, строить планы на будущее, о чем-то мечтать...

Милая, милая Клавдия Николаевна, у меня осталось такое хорошее светлое воспоминание о Вас и о Борисе Николаевиче, мне хотелось бы, чтоб Вы поверили в мое искренне, дружеское расположение к Вам и если случится Вам приехать Ленинград – непременно, непременно побывали бы Вы у меня.

Я очень ждала Вас на «золотую осень» – думала, нам удастся вместе насладиться чудесной гармонией воздуха, моря, осеннего заката, фонтанов и дворцов в Петергофском парке, думала похвастать перед вами очаровательной игрушкой – Китайским дворцом в Ораниенбауме...

Очень жалела, что вы, либо, за массой визитов к близким друзьям, не смогли побывать у меня...

Сейчас же это мне вдвойне грустно...

И так странно – целый месяц почти у меня на ночном столике лежала книга Бориса Николаевича «Ветер с Кавказа» и как раз в день его смерти я принялась за ее чтение. И вспоминала вас, нашу встречу, наши прогулки – и так хотелось когда-нибудь снова встретиться с Вами...

Так странно и жутко...

Вчера опять далеко за полночь читала эту книжку, вспоминала Ваши рассказы о Каджорах, о Цихис-Дзири, о том, как пришлось побывать Борису Николаевичу в лапах у «мишки»...[9]

И вот сейчас – мне так ясно представляется, как вы оба, всегда вместе, спускаетесь с горки, из своего домика, к обеду, к чаю, к ужину...

Как это было недавно и как ужасно, что этого уже больше никогда не будет...

Так хотелось бы повидать Вас и поговорить с Вами, и, если это только возможно, это немного облегчит Ваше горе...

Надеюсь, что у Вас в Москве много друзей, кот<орые> помогают Вам пережить тяжелую утрату. Да, ничего нельзя сделать, такова жизнь и близким остается лишь одно – хранить память о дорогом человеке...

Между прочим, меня удивила и огорчила статья Каменева, кот<орый> как-то не хочет признавать в Борисе Николаевиче «нового» человека...

А мне казалось – и это особенно подкупало меня в Борисе Николаевиче, что он, наряду с глубокой «старой» культурой, наряду с тонким пониманием прекрасного во всем – в природе, в литературе, в музыке – умел сочетать именно «понимание» и «приятие» нового, новой жизни, был искренно увлечен пафосом и героикой наших дней, нашего строительства. Помните – как он горячо приветствовал новое «пролетарское» искусство, как искренне верил, что новые люди создадут новые, прекрасные ценности, как он хвалил «Энергию» Гладкова, как был увлечен «Поэмой о хлопке», с каким интересом читал катаевское «Время, вперед»[10], с каким интересом расспрашивал меня, что пишет мне мой друг из Политотдела о колхозных делах, как он, казалось, мучился в поисках новой формы – понятной новому читателю, для которого Борису Николаевичу хотелось теперь творить...

Нет, Борис Николаевич был «новым» человеком и тем печальнее, тем грустнее, что он так неожиданно, так рано ушел от этой новой жизни, кот<орая> и его могла бы еще стольким порадовать, которой и он бы мог еще так много, так бесконечно много дать!..

Грустно, очень грустно!..

Однако, надо кончить это письмо. Боюсь, что вместо того, чтобы Вас утешить, я только растравила Вашу рану... но я так искренно огорчена этой потерей...

Простите же меня, если я, действительно, только расстроила Вас.

Еще раз, от всей души, как искренний, хотя и кратковременный по встречам, Ваш друг, желаю Вам спокойствия, силы, бодрости, желаю найти в чем-то поддержку и утешение...

Буду бесконечно рада, если Вы приедете в Ленинград и побываете у меня.

Если Вам не трудно и не очень тяжело – напишите мне несколько слов, чтобы я знала, что письмо мое дошло до Ваших рук – я ведь не знаю Вашего адреса и пишу на Московский оргкомитет.

Но мне так хотелось выразить Вам свое сочувствие и свою печаль – потому что я, действительно, искренно, от всей души была расположена к Вам.

Ваша Вера Зощенко.

Адрес – Ленинград, улица Чайковского, 75, кв. 5[11]. Вере Владимировне З.

25.I.<19>34.

P.S. Все же мне удалось узнать Ваш точный адрес, по которому и посылаю это письмо.

Еще раз, горячо и искренно, от всей души, выражаю Вам свое глубокое сочувствие.

Очень-очень буду рада когда-нибудь вновь встретиться с Вами.

В.З.

*

Бенедикт Лившиц

Из письма к Михаилу Зенкевичу[12]

Ленинград. 14.1.1934.

Дорогой Михаил Александрович,

пишу Вам под еще неизжитым впечатлением от смерти Белого. Весть об этом както не сразу проникла до глубины моего сознания, и лишь теперь, пытаясь отдать себе отчет в том, что сильнее всего в эти дни угнетает, я наталкиваюсь на это событие, заслонившее для меня все остальное. Я никогда не любил его особенно – ни как поэта, ни как прозаика. Я не был с ним лично знаком, хотя находился с ним в близком свойстве: он был двоюродным братом моей первой жены, Веры Александровны Вертер[13], в семье которой «Боренька Бугаев» был одним из самых близких людей.

Мне и сейчас трудно заставить себя читать его гексаметрическую прозу, приходящуюся как-то сродни пятистопному ямбу Васисуалия Лоханкина[14].

И тем не менее – ни одна из смертей последнего времени не впечатляла меня так сильно, как эта смерть. Оборвалась эпоха, с которой мы были – хотим ли мы это признать или нет, безразлично – тесно связаны. Обнажилась пропасть, куда ступить настает уже наш черед. Пробовали Вы подсчитать, сколько людей из нашего с вами литературного и близкого к литературе окружения умерло за последнее десятилетие? Я произвел впервые этот подсчет. 20 человек, из них 9 – старшего поколения, 1 (Есенин) моложе нас, остальные – наши сверстники. Удручающая арифметика! Никчемная цифирь, скажете вы? Дело не в возрасте, а в гормонах, в воле к жизни, в физиологическом отборе? Быть может, быть может, а всетаки пропасть обнажена и огромный кусок, целый пласт нашего прошлого рухнул в эту бездну.

Дело не в самом факте смерти (если бы вы знали меня ближе, мне не пришлось бы оговариваться, как сейчас и объяснять вам, что отнюдь не самая смерть навела меня на эти reflexions funebres[15], а в чудовищном одиночестве поколения, к которому мы с вами принадлежим и которое гораздо крепче связано с предшествующим поколением, нежели со своей сменой...)

Зачем я пишу вам об этом? Право, не знаю: быть может, потому, что и вы, мне кажется, не лишены того довольно мучительного чувства «историзма», которое не позволяет мне отрывать мою личную биографию от биографии моего поколения. Как жаль, что здесь нет Осипа: я почти не сомневаюсь, что и на него эта смерть произвела не меньшее впечатление![16] <...>.

Ваш Бенедикт Лившиц.

Сердечные приветы вашей семье.

*

Борис Садовской

Из дневника 1934 г.[17]

<...> На днях умер А. Белый. Так и косит наших... тело сожгли. «Пепел» и «Урна»...[18]

Ужасен конец всех символистов нашего поколения. Даже Ликиардопуло сошел с ума[19].

Да, медитации до добра не доводят. Белый умер от склероза мозга. Хоронили его по-собачьи, с музыкой и геволтом <...>.

*

Юрий Слезкин

Из «Записок писателя»[20]

1934. 10 января.

За эти десять дней нового года много пережито тяжелого. 8-го умер Андрей Белый – сгорел в один месяц. Опухоль в мозгу и склероз. Белого, как писателя, я никогда не любил – он мне чужд по духу и стилю работы. Его словесная эквилибристика, мистицизм, эклектика, истерия – отталкивали меня. Но все же это очень крупный и настоящий писатель... Услужливые друзья превознесли его до небес и объявили гением. Медвежья услуга[21]. Он, конечно, далеко не гений, потому что далек от гениальной ясности и целеустремленности. Гений прежде всего четок в своей мысли. Он видит в жизни *основное*, *главное*, так как никто, и, говоря об этом – заботится только о том, чтобы ему ведомое стало понятно другим. Так рождается его своеобразная форма. Белый же в *словах* искал ответа на свою сумятицу. И не нашел. И все его искусство – онанистично. В этом трагедия человека живого и мятущегося духа, каким был Белый...

*

Е.С. Булгакова

Из дневника 1934 г.[22]

14 января.

<...> За это время – две смерти: Луначарского[23] и Андрея Белого.

– Всю жизнь, прости господи, писал дикую ломаную чепуху...[24] В последнее время решил повернуться лицом к коммунизму, но повернулся крайне неудачно... Говорят, благословили его чрезвычайно печальным некрологом.

*

Е.А. Галицкая

Из «Галереи портретов незаметных людей»[25]

<...> Было время, когда я встречала Андрея Белого частенько в обществе. Сложный и трудный в своей литературе, за чайным столом в гостиной, он был очень прост, доступен и необыкновенно внимателен к лицам, на которых производил впечатление. Как сейчас вспоминаю, было это как раз перед его отъездом за гра-

ницу, входит Борис Николаевич в черной татарской шапочке на голове, в столовую одного из философов, где я с ним частенько встречалась, зорко осматривает все общество; быстро отмечает лицо, которое он заинтересовывает, и тут же отдает этому лицу предпочтение, становится особенно внимателен, на мне это очень сказывалось.

Вспоминаю его небольшой разговор. Стоим мы с ним у притолки, у двери между двух комнат: «Не раскрывайте никому своей души до конца, особенно в момент, когда вы чувствуете приток исключительного счастья. Счастье как птичка – вот вы видите, сидит она на ветке, попробуйте подойти к ней близко, – она улетит; так и счастье, оно исчезнет, коли вы к нему близко подойдете». Ехал он за границу на свиданье со своей женой Асей с большим энтузиазмом, но, увы, там его постигло большое разочарование. Жена его Ася порвала с ним всякие отношения. Рассказывали, что он очень горячо страдал, а через два года вернулся обратно в Москву[26].

После уже я его близко увидела на смертном одре. Было очень грустно хоронить этого большого и видного литератора, человека-индивидуалиста. Думаю, не одно сердце вспомнит и пожалеет о нем.

*

В.Н. Горбачева (Клычкова)

Из дневниковых записей 1934 г.[27]

12 января.

10 января хоронили Андрея Белого. Мир без Белого, по крайней мере литературный мир, опустел. У Белого был такой выпуклый громадный лоб и такая великолепная жизненная неусидчивость. Он был в вечном неустанном движении, он (может быть, не осознавши это) враг всякой косности и неподвижности. Жизнь его: работа, творчество, поиски и изыскания. Изо всех речей, произнесенных у гроба, лучшая – Пастернака, у него – такое трагическое лицо, такие печальные страшные глаза. А губы, сложенные немного по-детски, точно обижен он незаслуженно.

Говорил он о «нашей сумасшедшей Родине», об «ударниках духа», о том, что Белый работал на «зажиточность человеческого воображения». Говорил, что к гробу приходят не для того, чтобы говорить о работе, а для того, чтобы оплакивать, у гроба человек как бы вновь родится или путешествует – на жизнь смотрит иными глазами.

Крематорий – ужасное учреждение. Жена шепнула что-то Борису Николаевичу, когда гроб опускался вниз. Я подумала: как тяжело, если близкому человеку нельзя шепнуть «до свидания, милый», когда в это свидание не веришь, знаешь, что его не будет.

*

А.П. Остроумова-Лебедева

Из дневника 1934 г.[28]

8 <января>.

Сегодня мне позвонил Словак[29] и сообщил о смерти А<ндрея> Б<елого> (Бориса Николаевича Бугаева). Нас с Сережей эта смерть своею неожиданностью очень поразила.

*

Николай Эрдман

Из письма к А.И. Степановой[30]

20.01.<19>34 г.

Белый умер.

<...> с нового года Восточная Сибирь лишена московских газет.

Сегодня прочел в иркутской «Правде» о смерти Андрея Белого. Заметка в несколько строк о человеке, который заставлял вести о себе нескончаемые разговоры, когда мы были гимназистами, делает естественное трагичным.

*

Е.А. Королькова

Из письма к К.Н. Бугаевой[31]

8 января 1938 г.

<...> Всегда вспоминаю дорогого Бориса Николаевича с любовию. Пусть я его не всегда понимаю в его писаниях, но в жизни он был честный, чистый, любящий человек; это было для меня понятно. <...>

*

Н.Г. Чулкова

Из «Воспоминаний о Г.И. Чулкове»[32]

В Москве, в тридцатых годах, Белый часто заходил к нам[33], когда приезжал из Кучина, обедал с нами и подолгу говорил с Георгием Ивановичем на философские и религиозные темы, причем они, конечно, во многом и важном расходились, и Б<орис> Н<иколаевич> очень горячился, кричал и, уходя, продолжал спорить даже в передней. Но вскоре опять появлялся и опять засиживался у нас до вечера, занятый теми же темами и споря с той же горячностью. Смерть его была большой неожиданностью для нас. Я пошла поклониться ему в гробу и с любовью поцеловала его руку, которую когда-то не хотела принять для рукопожатия[34]. <...>

В 1939 году скончался Георгий Иванович, и жена Бориса Николаевича так же любовно поклонилась праху моего мужа, как и я поклонилась Борису Николаевичу в его гробу. Мы встречаемся с Клавдией Николаевной на кладбище Новодевичьего монастыря, где похоронены и мирно почивают наши друзья.

*

Д.А. Донская

Из разговоров с А.И. Цветаевой[35]

6 ноября 1986 г.

Читаем с Анастасией Ивановной сборник статей Д.С. Лихачева о книге А. Белого «Петербург»[36].

Анастасия Ивановна: «Я не совсем согласна. Андрей Белый, конечно, путаник. Я его хорошо знала[37]. И не могу его возвести в сан пророка, но я его слушала,

слушала. Я спросила: “Я хотела бы знать ваше отношение к Христу”. Он вспыхнул и сказал: “Вы хотите, чтобы я ответил с кондачка, когда я всю жизнь имею дело с этим вопросом”.

“Но если всю жизнь, то почему с кондачка?” Он не ответил на мой вопрос»[38].

«Когда умер Андрей Белый, я стояла у гроба, в Поварском <...>.

Мы стояли пораженные. Красный гроб. В нем лежит человек, худой, мертвый, кудри, волосы светлые. Все потонуло над тем, что над гробом. Астрал. Напряжение неземных сил. Мы не могли ничего сказать, но чувствовали одинаково».

*

Ольга Мочалова

Из воспоминаний[39]

Рассказывали, что в предсмертной болезни Белого был такой эпизод: он впал в забытье, а после, очнувшись, сказал: «Я мог сейчас выбирать между жизнью и смертью. Я выбрал смерть».

*

Е.А. Огнева

Письмо к К.Н. Бугаевой[40]

8 января 1959 г.

Многоуважаемая Клавдия Николаевна!

Извините, что пишу Вам, не будучи лично с Вами знакома.

Сегодня, через 25 лет после кончины Бориса Николаевича мне неудержимо хочется сказать Вам, что память о нем живет, что его слова и весь его облик, каким он представляется внимательному читателю, неоднократно помогали мне жить и мыслить, помогают и до сего дня. Хочется, чтобы Вы знали, что Андрей Белый нашел «читателя в потомстве».

Вечная ему память и благодарность.

---

[1] Алексей Алексеевич Боровой (1875–1935) – идеолог анархизма, историк масонства, философ, публицист, экономист. Был знаком с Андреем Белым с середины 1900-х: они сотрудничали в журнале С.А. Соколова «Перевал» (1906–1907), встречались в Литературно-художественном кружке, на религиозно-философских собраниях у М.К. Морозовой (см.: *Боровой А.А.* Моя жизнь: фрагменты воспоминаний // Московский журнал. 2010. № 10. С. 20–40). «<...> в эту пору я не любил ни его, ни его творчества. Его выступления на философские темы меня буквально раздражали. Мой перелом в отношении к великому художнику начался с “Петербурга”», – вспоминал Боровой (Там же). 10 октября 1932 г., будучи в ссылке в Вятке (с 1929 по 1932 гг.) Боровой написал Белому восторженное письмо: «Борис Николаевич, Вас, конечно, удивят нижеследующие строки. Как будто не по возрасту – подобные обращения. Встречался я с Вами мало и случайно. Мы очень далеки друг от друга по убеждениям и, вероятно, характеру – люди. Но я давно ценил и любил Вас, как мастера. С “Петербурга” Вы стали для меня великим русским художником. 3 года я – в ссылке,

как анархист. Здесь я прочел Ваше “На рубеже”, а совсем недавно воспоминания о Блоке. Они были каплей, давшей последний толчок. Мне захотелось – до невозможности отказать себе в этом – высказать Вам мое восхищение. Только за Пушкиным и Достоевским были минуты, когда “литература” давала мне такое наслаждение. Чудесно – любить; я очень люблю Ваше творчество. Вероятно и Вам будут небезразличны эти строки – Всего лучшего. Алексей Боровой. Вятка. Ул. Коммуны, 48. кв. 2» (Мемориальная квартира Андрея Белого). Между ними завязалась краткая переписка. Публикуемая телеграмма отправлена из Владимира, где Боровой поселился в 1932 г. после отбытия ссылки в Вятке. Хранится в НИОР РГБ (Ф. 25. Карт. 49. Ед. хр. 17).

[2] Письмо писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873–1945) к К.Н. Бугаевой хранится в НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 49. Ед. хр. 53.

[3] Клавдия Михайловна Шишкова (урожд. Шведова, 1906–1993), третья (с 1927 г.) жена В.Я. Шишкова.

[4] С В.Я. Шишковым Андрей Белый в августе 1930 г. отдыхал в Судаке: «Одно время навещали нас Алексей Толстой и Вячеслав Шишков; и мы вместе отдыхали от жары вечерами на нашей террасе; с ними было неожиданно легко, интересно и просто» (Письмо Белого П.Н. Зайцеву от 8 сентября 1930 г.; см.: Андрей Белый и П.Н. Зайцев. Переписка / Публ. Дж. Малмстада // *Зайцев П.Н.* Воспоминания. М., 2008. С. 468). Общение возобновилось в следующем году, когда Белый с Клавдией Николаевной поселились в Детском Селе у Иванова-Разумника. «Здесь рядом: Шишковы, Разумник, Толстые, мой друг, Петров-Водкин; все работают и не мешают друг другу; есть с кем отвести душу, не тащась в Москву», – рассказывал Белый Зайцеву в письме от 22 апреля 1931 г. (Там же. С. 479).

После выхода романа «Маски» Белый отправил книгу Шишкову, который 20 апреля 1933 г. ответил благодарственным письмом: «Драгоценный подарок Ваш – роман “Маски” получил через С.Д. Спасского, только вчера. Весьма тронут Вашим вниманием. <…> Отрывки “Масок” я слышал от Вас в Судаке. Стилевая и фонетическая форма романа тогда ошеломила меня своей музыкальностью. Вы правы в своем предисловии, что при прочтении книги: – “имеющий уши услышит”. Примусь за роман, буду ловить красоту созвучий внутренним ухом» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 3. Ед. хр. 17).

В 1930-х сосед Шишкова по Детскому Селу художник К.С. Петров-Водкин задумал большую работу – групповой портрет советских писателей. На одном из эскизов – дата 17 сентября 1933 г. – изображены Толстой, Федин и Шишков (РГАЛИ. Ф. 2010. Оп. 2. Ед. хр. 88). Об этой работе Петров-Водкин успел сообщить Белому 27 октября 1933 г.: «<…> пишу Ваш портрет в группе, случайно объединенных детскосельством (Вы, Федин, Толстой и Шишков)» (*Петров-Водкин К.С.* Письма. Статьи. Выступления. Документы. М., 1991. С. 279–281). На другом рисунке – уже после смерти Белого, 13 марта 1934 г. – изображены Шишков, Андрей Белый и Пушкин (РГАЛИ. Ф. 2010. Оп. 2. Ед. хр. 89). См. подробнее об истории создания группового портрета писателей: *Наседкина Е.В.* К.С. Петров-Водкин в поисках «героя своего времени»: Андрей Белый, Пушкин, Ленин // Художник и его текст. М., 2011. С. 114–125.

[5] Лев Рудольфович Коган (1885–1959) – литературовед, библиограф, педагог; зав. кафедрой истории литературы в Коммунистическом политико-просветительном институте имени Н.К. Крупской; один из ведущих сотрудников Ленинградского Пушкинского общества; знакомый Шишкова по Детскому Селу.

[6] К.С. Петров-Водкин.

[7] Письмо Веры Владимировны Зощенко (урожд. Кербиц-Кербицкой; 1896–1981), педагога, с 1920 г. жены и литературного секретаря писателя Михаила Михайловича Зощенко (1895–1958), хранится в НИОР РГБ (Ф. 25. Карт. 49. Ед. хр. 27).

[8] Судя по тексту письма, встреча В.В. Зощенко с Андреем Белым и К.Н. Бугаевой состоялась в Коктебеле в 1933 г. Приезд М.М. Зощенко в хронике волошинского дома за лето 1933 г. относится к сентябрю, тогда как Белый с женой уехал из Коктебеля 29 июля. Приходится признать, что или В.В. Зощенко приехала в Коктебель одна, опередив М.М. Зощенко, или в хронику волошинского дома вкралась ошибка.

[9] Имеется в виду эпизод из кавказского путешествия Белого 1927 г., о котором он рассказал в книге «Ветер с Кавказа: Впечатления» (М., 1928. С. 210–212); писала о нем и К.Н. Бугаева в своих «Воспоминаниях об Андрее Белом» (С. 66–67).

[10] О романе Ф.В. Гладкова «Энергия» (М.: Федерация, 1933) Белый написал одноименную рецензию (Новый мир. 1933. № 4. С. 273–291); о романе в стихах Г.А. Санникова «В гостях у египтян» (Новый мир. 1932. № 5. С. 92–123) – рецензию «Поэма о хлопке» (Новый мир. 1932. № 11. С. 229–248); летом 1933 г. в Коктебеле Белый читал книгу В.П. Катаева «Время, вперед» (М.: Федерация, 1932) и был от нее «в совершенном восторге <...>» (Письмо П.Н. Зайцеву от 19 июня 1933 г. // *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 532). См. также в дневнике Белого в наст. изд.

[11] По этому адресу (ул. П.И. Чайковского, д. 75, кв. 5) М.М. и В.В. Зощенко проживали до осени 1934 г., после чего переехали в «писательский дом» на набережной канала Грибоедова (теперь Малая Конюшенная улица, д. 4/2, кв. 119), где в 1992 г. был открыт мемориальный музей писателя.

[12] Письмо ленинградского поэта, переводчика, мемуариста Бенедикта Константиновича Лившица (1887–1938) своему другу поэту, прозаику и переводчику Михаилу Александровичу Зенкевичу (1891–1969) воспроизводится по публикации: «Слово в движении и движение в слове»: Письма Бенедикта Лившица / Публ. П. Нерлера и А. Парниса // Минувшее. М., 1992. Т. 8. С. 202–203.

[13] Вертер – сценический псевдоним Веры Александровны Жуковой (1881–1963), актрисы, поэтессы, переводчицы; была первой женой Б.К. Лившица (с 1915 по 1921 г.; во втором браке – Арнгольд). Белому приходилась двоюродной сестрой; дочь «члена суда» Александра Григорьевича Жукова и Анны Васильевны Бугаевой (в мемуарах Белого – «тетя Анюта»). У Жуковых было три дочери: Вера, Екатерина, Евгения, с которыми Белый дружил и у которых останавливался, когда бывал в Киеве. См.: *НРДС 1989.* С. 56, 224.

[14] Персонаж романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» (1931) – бездарный и претенциозный версификатор, сатирически изображенный русский интеллигент.

[15] Траурные размышления (*фр.*).

[16] Имеется в виду О.Э. Мандельштам.

[17] Поэт, прозаик, литературный критик Борис Александрович Садовской (настоящая фамилия: Садовский; 1881–1952) хорошо знал Андрея Белого по совместной работе в журнале «Весы» (1904–1909): «Брюсов, Белый, Ликиардопуло, Феофилактов и я были стержнем “Весов”, фундаментом и основой за все шесть лет. Случайные сотрудники приходили уходили; мы оставались бессменно на своих постах» (см.: *Садовской Б.А.* «Весы» (Воспоминания сотрудника) / Публ. Р.Л. Щербакова // Минувшее. М.; СПб., 1993. Т. 13. С. 19). Однако, как неоднократно подчеркивал сам Садовской, он всегда был «внутренне “Весам” <...> чужд»: «<...> я, по совести, никак не могу считать себя символистом: я – классик пуш-

кинской школы, затесавшийся случайно в декадентскую компанию» (Там же. С. 37). Любовь к истории и традиции, монархизм и национализм обусловили его враждебное отношение к символизму и символистам, ненависть к декадентству и либерализму, которые, по его мнению, и стали причиной гибели Российской империи. Большую часть жизни Садовской тяжело болел, с 1916 г. из-за паралича ног был прикован к креслу; с 1928 г. проживал с женой в переделанных под квартиры помещениях Новодевичьего монастыря и мало с кем из литературной братии общался. Сохранилась его недатированная записка Белому с просьбой о встрече: «Дорогой Борис Николаевич, Навестите меня. Живу в Новодевичьем монастыре под Красной Церковью – корп. 14, кв. 59 в подвале Дворца. 6 лет мы с Вами не видались. Борис Садовской» (Мемориальная квартира Андрея Белого). О реакции Белого нам неизвестно. Запись воспроизводится по публикации: *Садовской Б.* Заметки. Дневник (1931–1934) / Вступ. статья, публ. И. Андреевой // Знамя. 1992. № 7. С. 191. Неточности исправлены по автографу (НИОР РГБ Ф. 669. Карт. 1. Ед. хр. 12).

[18] Названиями сборников стихов Андрея Белого: «Пепел» (СПб.: Шиповник, 1909) и «Урна» (М.: Гриф, 1909) Садовской намекает на кремацию и последующее захоронение урны с прахом Андрея Белого.

[19] Переводчик, критик, журналист Михаил Федорович Ликиардопуло (наст. фам.: Попандопуло; 1883–1925) был секретарем редакции журнала «Весы», с 1915 г. – военным корреспондентом газеты «Утро России» и других изданий; с 1919 г. работал корреспондентом лондонской газеты «Morning Post»; умер в Англии. Белый отмечал: «С 1916 года след Ликиардопуло исчез с моего горизонта <...>. С начала революции он, конечно, эмигрировал; ходили слухи, что – умер» (*НВ 1990.* С. 421, 662).

[20] Фрагмент из дневника писателя Юрия Львовича Слезкина (1887–1947) «Записки писателя» воспроизводится по автографу, хранящемуся в НИОР РГБ (Ф. 801. Карт. 1. Ед. хр. 4. Л. 104). Близкий друг М.А. Булгакова, Слезкин во многом совпадает с ним в суровых оценках творчества Белого. Однако в более ранней дневниковой записи, посвященной обсуждению мхатовской постановки «Мертвых душ» на заседании во Всеросскомдраме 15 января 1933 г., отношение к Белому совсем иное:

«Вечером доклад Андрея Белого о “Мертвых душах” Гоголя и постановке их в МХАТе. Битком набито. Мейерхольд, Эйзенштейн, Попова (от Корша), Топорков (играющий Чичикова в МХАТе) <...>

Маленький, худенький, с сияющими прозрачными глазами, в черной мурмолке и с детскими локончиками из-под нее, с пышным бантом вместо галстука – по былой романтической моде – вот каким вновь после многих лет я увидел Белого. Впервые слушал я его в журнале “Аполлон” в 1909 году <...> остался тот же жест <...> то же экстатическое выражение святого <...>.

И как радостно слышать настоящие, полноценные свои слова после тысячи казенных речей в литературе. Большая любовь, огромное трудолюбие, талант, эрудиция <...>. И как ярко, оригинально раскрыт Гоголь – его палитра, его инструментовка, его композиция, его видение...

– Возмущение, презрение, печаль вызвала во мне постановка “Мертвых душ” в МХАТе, – резюмировал Белый. – Так не понять Гоголя! Так заковать его в золотые, академические ризы, так не суметь взглянуть на Россию его глазами! И это в столетний юбилей непревзойденного классика. Давать натуралистические усадьбы николаевской эпохи, одну гостиную, другую, третью и не увидеть гоголевской тройки, мчащей Чичикова-Наполеона к новым завоеваниям... Позор!.. <...>.

Ушел я с печалью. Все меньше таких лиц, как у Белого, встречаешь на своем пути... Вокруг свиные рыла – хрюкающие, жующие, торжествующие...» (цит. по: *Булгаков М.* Дневник. Письма. 1914–1940 / Сост., подгот. текста, коммент. В.И. Лосева. М., 1997. С. 276).

[21] Имеется в виду некролог Б.А. Пильняка, Б.Л. Пастернака, Г.А. Санникова в газете «Известия» (1934. 9 января).

[22] Елена Сергеевна Булгакова (урожденная Нюрнберг (Нюренберг), по первому мужу Неелова, по второму мужу – Шиловская; 1893–1970) – третья жена (с 1932 г.) Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940). С 1 сентября 1933 г. по инициативе мужа вела дневник, в который записывала дела и поступки мужа, а также его высказывания по разным поводам. Очевидно, что М.А. Булгакову принадлежат и зафиксированные в дневнике слова о смерти Белого. Они воспроизводятся по изданию: *Булгакова Е.С.* Дневник // *Булгаковы Е. и М.* Дневник Мастера и Маргариты / Сост., предисл., коммент. В.И. Лосева. М., 2003. С. 187.

[23] А.В. Луначарский скончался 26 декабря 1933 г.

[24] Ср. запись в дневнике М.А. Булгакова за 16 января 1925 г.:

«Позавчера был у П.Н. З<айце>ва на чтении А. Белого. В комнату З<айцева> набилась тьма народу. Негде было сесть. Была С.З. Федорченко и сразу как-то обмякла и сомлела.

Белый в черной курточке. По-моему, нестерпимо ломается и паясничает.

Говорил воспоминания о Валерии Брюсове. На меня все это произвело нестерпимое впечатление. Какой-то вздор... символисты... <...>. В общем, пересыпая анекдотиками, порой занятными, долго нестерпимо говорил... о каком-то папоротнике... о том, что Брюсов был “Лик” символистов, но в то же время любил гадости делать...

Я ушел, не дождавшись конца. После “Брюсова” должен быть еще отрывок из нового романа Белого. Mersi». (*Булгаковы Е. и М.* Дневник Мастера и Маргариты. С. 72–73).

[25] Отрывок из воспоминаний Евгении Александровны Галицкой (урожд. Фалеевой; 1879?–1968?) «Галерея портретов незаметных людей» воспроизводится по машинописи, хранящейся в НИОР РГБ (Ф. 743. Карт. 6. Ед. хр. 10. Л. 143). В предисловии к мемуарам Е.А. Галицкая подчеркивала, что большую моральную поддержку в работе ей оказал давний знакомый Андрея Белого, председатель московского Религиозно-философского общества, религиозный публицист и переводчик Г.А. Рачинский: «На склоне моих лет мне захотелось взяться за перо с тем, чтобы передать запас воспоминаний о пережитом, перечувствованном, о ряде зачастую нелепых, нескладных людях, но не утративших живой души. <...> Мне часто приходило в голову – смею ли я обличать пороки своей семьи. Разрешить этот вопрос мне помог Григорий Алексеевич Рачинский, с ним я работала в начале моих воспоминаний: “Ваши воспоминания все проникнуты любовью к тем людям, о которых вы пишете, в этом есть полное оправдание”» (Л. 2). Большая часть воспоминаний посвящена семье Е.А. Галицкой, но завершаются они «прибавлением небольших заметок об Анне Семеновне Голубкиной, Федоре Кузьмиче Сологубе, О Вячеславе Ивановиче Иванове, об Андрее Белом, об Алексее Максимовиче Горьком <...>» (Л. 136). К машинописи мемуаров приложена небольшая пояснительная заметка-рецензия, написанная в 1976 г. литературоведом Алексеем Владимировичем Чичериным (1900–1989): «Мемуары Евгении Александровны Галицкой (рожденной Фалеевой) – беспощадная правдивая картина нравов дореволюционного купечества, история одной семьи, в которой дана характерная частица эпохи на переломе двух столетий <...>. Гораздо слабее мимолетные впечатления от писателей – Горький, Ф. Сологуб, А. Белый. Все же ценно упоминание домика на Смоленском бул<ьваре>, где у Г.И. Чулкова собирались литераторы» (Л. 1). Заметка Чичерина дает основания для предположения о годах жизни мемуаристки.

[26] Имеются в виду отъезд Белого в 1921 г. в Германию, разрыв с первой женой А.А. Тургеневой в 1922 г. и возвращение в Россию в 1923 г.

[27] Писательница Варвара Николаевна Горбачева (псевдоним Варвара Арбачева, урожд. Казакова; 1901–1975) была второй женой (с 1930 г.) давнего знакомого Андрея Белого, поэта и писателя Сергея Антоновича Клычкова (наст. фамилия: Лешенков; 1889–1937). Она окончила филологический факультет Московского университета; опубликовала работу «Молодые годы Тургенева (по неизданным материалам)» (Казань: Изд. автора, 1926 – под собственной фамилией: Горбачева В.Н.) и роман «Чернышевский» (М.: Советский писатель, 1936 – под псевдонимом Арбачева В.Н). Как следует из воспоминаний В.Н. Горбачевой, она была с Белым знакома: «В доме Герцена у нас бывали: В. Милиоти, скрипач Микули, Оборин, Б. Красин, П. Васильев, Клюев, Р. Ивнев, Белый, один раз Фадеев, Мандельштам, Колоколов, Кириллов, Герасимов и многие другие начинающие поэты. Ко мне приходили художники <...>» (*Горбачева В.Н.* Записи разных лет // Новый мир. 1989. № 9. С. 217).

Дневниковая запись В.Н. Горбачевой воспроизводится по публикации: *Клычков Сергей*: Переписка, сочинения, материалы к биографии / Публ. и сост. Н.В. Клычковой; вступ. статья, подгот. текстов и коммент. С.И. Субботина // Новый мир. 1989. № 9. С. 213–214).

[28] Анна Петровна Остроумова-Лебедева (урожд. Остроумова; 1871–1955) – художник-график; фамилия Лебедева (с 1905 г.) – по мужу, Сергею Васильевичу Лебедеву (1874–1934), ученому-химику, академику АН СССР (1932), одному из создателей синтетического каучука. Познакомилась с Андреем Белым и К.Н. Бугаевой (тогда Васильевой) в Коктебеле летом 1924 г. Тогда же художницей был выполнен натурный портрет Белого (акварель, в настоящее время в Государственном Русском музее). См. о портрете Белого работы Остроумовой-Лебедевой в записях К.Н. Бугаевой в наст. изд. Знакомство с Остроумовой-Лебедевой продолжилось осенью 1931 г., когда Белый и Клавдия Николаевна поселились в Детском Селе, неподалеку от дачи Лебедевых. В «Автобиографических записках», написанных на основе дневников, Остроумова-Лебедева вспоминает эти встречи, но ничего не пишет о своем впечатлении от известия о смерти Белого. Дневниковая запись публикуется по автографу, хранящемуся в ОР РНБ (Ф. 1015. Ед. хр. 52. Л. 116).

[29] Возможно, И.Д. Словак – композитор, сочинитель актуальных музыкальных произведений (см.: Ко дню Коминтерна. Ноты для гитары с пением. Л., 1925) и подражаний русским народным песням (*Словак И.Д., Ланина И.А.* Ка-б не люб мне был Микита: Русская шуточная. Ноты для гитары с пением. Л., 1925).

[30] Фрагмент из письма драматурга и сценариста Николая Робертовича Эрдмана (1900–1970) актрисе МХАТ Ангелине Иосифовне Степановой (1905–2000) воспроизводится по изданию: Письма: Николай Эрдман, Ангелина Степанова / Предисл. и коммент. В. Вульфа. М.: Иван-ПРЕСС, 1995. С. 119. Письмо отправлено из Енисейска, где с октября 1933 г. Эрдман находился в ссылке. Благодарим В.В. Аристова за указание на этот документ.

[31] Е.А. Королькова – тетка К.Н. Бугаевой по материнской линии; проживала в квартире на Плющихе вместе с К.Н. Бугаевой, ее матерью Анной Алексеевной и Андреем Белым. Об отношении своих родственников к Белому К.Н. Бугаева упоминает в мемуарах: «Мама, тетя и брат, не говоря уже о сестре, полюбили его как родного» (*Бугаева К.Н.* Воспоминания об Андрее Белом. С. 97). Там же приведена выдержка из публикуемого письма Е.А. Корольковой, написанного «в связи с 8-м января – днем памяти Б.Н.».

[32] Надежда Григорьевна Чулкова (урожд. Петрова, в первом браке Степанова; 1875–1961) – жена писателя и литературного критика Г.И. Чулкова, переводчица. Отрывок из ее «Воспоминаний о Г.И. Чулкове» воспроизводится по машинописи, хранящейся в НИОР

РГБ (Ф. 371. Оп. 6. Ед. хр. 1. Л. 215–218). Как известно, отношения Белого и Чулкова были омрачены ожесточенной полемикой московских символистов (наиболее азартным представителем которых стал Белый) с теорией «мистического анархизма», автором которой являлся Чулков (см.: *Чулков Г.* О мистическом анархизме. СПб.: Факелы, 1906). Ярость Белого подогревалась не только тем, что в «мистическом анархизме» он видел ревизию символизма, но и причинами личного свойства: желанием отомстить Чулкову за его роман (в начале 1907 г.) с Л.Д. Блок (см. подробно в кн.: *Лавров А.В.* Андрей Белый в 1900-е годы. С. 218–228). Однако в 1930-х отношения между ними наладились, и Белый в мемуарах, вышедших незадолго до его кончины, фактически публично принес Чулкову извинения: «Я в этой полемике был особенно ужасен, несправедлив и резок; <...> “личные” переживания, неправильно перенесенные на арену борьбы, путали, превращая даже справедливые нападки на враждебные нам течения в недопустимые резкости <...>» (*НВ 1990*. С. 424–425). Эти «недопустимые резкости» Белого в адрес мужа Н.Г. Гулкова переживала болезненно: «Я чувствовала, что ему не по душе Георгий Иванович, и это мешало мне ближе подойти к нему. Потом, спустя года два, он стал не только задевать в печати Г.И., но даже поносить его. <...> Горячность этих нападений казалась удивительной и непонятной. И только в конце своей жизни, в тридцатых годах уже, высказал он <...> полное признание своей несправедливости по отношению Георгия Ивановича» (*Чулкова Н.Г.* Воспоминания о Г.И. Чулкове. Л. 215). Видимо, окончательно простить Белого, примириться с ним Н.Г. Чулкова смогла только после его смерти.

[33] Чулковы жили на Смоленском бульваре, д. 8, кв. 2.

[34] В тех же мемуарах Чулкова рассказала, как однажды, «в годы особенно злостных выходок Бориса Ник<олаевича> против Г<еоргия> И<вановича>» она, «возмущенная его пасквилями, не подала ему руки, когда он пошел <...> поздороваться» (НИОР РГБ. Ф. 371. Оп. 6. Ед. хр. 1. Л. 216).

[35] Доброслава Анатольевна Донская (р. 1925) – филолог; на протяжении последних десяти лет жизни Анастасии Ивановны Цветаевой (1894–1993) была ее близким другом. Все это время она записывала в дневнике разговоры и устные воспоминания своей старшей подруги и впоследствии составила из них книгу (см.: *Донская Д.* Анастасия Цветаева. Штрихи к портрету (дневниковые записи). Орехово-Зуево, 2002). Воспоминание А.И. Цветаевой о похоронах Белого приводится по этому изданию (С. 28). Благодарим Татьяну Васильевну Анчугову за указание на этот материал и Д.А. Донскую за разрешение его использовать в наст. изд.

[36] У Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999) нет специального сборника статей, посвященных Андрею Белому. Возможно, имеется в виду издание романа «Петербург» в серии «Литературные памятники» (*Андрей Белый.* Петербург: Роман в восьми главах с прологом и эпилогом / Подгот. изд. Л.К. Долгополов; отв. ред. Д. Лихачев; прим. С.С. Гречишкина, Л.К. Долгополова, А.В. Лаврова. М.: Наука, 1981) со вступ. статьей «От редактора» Д.С. Лихачева и большим блоком приложений со статьями о романе Леонида Константиновича Долгополова (1928–1995).

[37] А.И. Цветаева, как М.И. Цветаева, с юных лет была знакома с Андреем Белым. Она вспоминала, как в 1900-х познакомилась с ним в меблированных комнатах «Дон», где жил Эллис: «Гуляя, мы зашли к Эллису в его “Дон” <...> и уже собирались домой, когда в комнату вошел Андрей Белый. Его донельзя светлые, не то пристальные, не то мимо глядящие, поразительные глаза на миг остановились на нас, прозвучала наша фамилия, рукопожатие – и мы ушли. Это была пора (наша или эпохи?), когда все казалось значительным.

Взгляд – вещим. Встреча – не случайной. Улыбка человека – или голос его – все вырастало в символ» (*Цветаева А.* Воспоминания. М., 1971. С. 342).

[38] Среди набросков К.Н. Бугаевой к воспоминаниям об Андрее Белом сохранилась запись аналогичного разговора в иной редакции: «Однажды Б<ориса> Н<иколаевича> спросили: Как относитесь вы ко Х<ристу>? Он быстро встал. Осенил себя широким крестом и, точно останавливая разговорный ток предыдущей беседы, строго и просто сказал: “Верую в Господа моего Иисуса Христа”» (НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 40. Ед. хр. 18. Л. 7).

[39] Ольга Алексеевна Мочалова (1898–1978) – поэтесса, мемуаристка; неоднократно слушала выступления Белого в конце 1910-х – начале 1920-х. Близко знакома с ним не была. Сведения о предсмертных словах Белого могла получить из самых разных источников, в частности и от П.Н. Зайцева, с которым находилась в дружеских отношениях. Приведенной выше фразой завершается глава об Андрее Белом в ее воспоминаниях «Литературные встречи» (*Мочалова О.* Голоса Серебряного века: Поэт о поэтах / Сост., предисл. и коммент. А.Л. Евстигнеевой. М., 2004. С. 33).

[40] Письмо хранится в ОР РНБ (Ф. 60. Ед. хр. 128). Возможно, его автор – Елена Александровна Огнева (1925–1985), искусствовед, поэтесса, жена известного историка древнерусской архитектуры Бориса Алексеевича Огнева, близкий друг и прихожанка о. Александра Меня. По свидетельству С.С. Бычкова, «творческое наследие, оставленное Е.А. Огневой, внушительно не столько по объему, сколько по глубине и ценности мыслей. Среди него – стихи, статьи, эссе, исследования по иконописи. К сожалению, большая часть ее наследия доныне остается неопубликованной» (*Бычков С.* Хроника нераскрытого убийства. М., 1996. С. 134).

Подготовка текста и комментарии Е.В. Наседкиной, М.Л. Спивак

Е.А. Тахо-Годи

НЕСКОЛЬКО РЕПЛИК А.Ф. ЛОСЕВА ОБ АНДРЕЕ БЕЛОМ

Чуть больше месяца спустя после смерти Андрея Белого, 17 февраля 1934 г., Алексей Федорович Лосев вспомнил о недавно скончавшемся поэте в письме к Марии Вениаминовне Юдиной. Письмо было написано в раздражении и неизвестно, было ли послано адресату, – публикация этого письма делалась по тексту, хранящемуся в собственном лосевском архиве[1]. Раздражение Лосева было связано с тем непониманием и негодованием, с которыми великая пианистка восприняла написанный под впечатлением от встречи с ней лосевский роман «Женщина-мыслитель». И вот, укоряя Юдину за искажение сути романа, Лосев счел самым подходящим и наглядным сравнить ее поведение с поведением покойного Андрея Белого. «Вместо дружеских и деловых указаний и советов о разных изъянах моего сочинения (для чего и была послана Вам рукопись), – писал Лосев, – Вы осмелились заклеймить всю мою философию и бросить камень в человека, о специальном положении которого в настоящую минуту Вам так хорошо известно. Могу в компанию к Вам предложить еще покойного Андрея Белого, который, помня, что когда-то 20–25 лет назад Флоренский выступал с докладами о Розанове и мистике пола (Флоренский вообще всегда любил Розанова и был даже редактором его посмертных сочинений), написал вдруг недавно в своих воспоминаниях “Начало века” о Флоренском, что он рисуется ему с кадилом около картины с голой женщиной. Кого, скажите, характеризует больше это “воспоминание”, Флоренского или самого Андрея Белого? А тоже ведь вроде Вашего талант, не отнимешь!»[2]

Фрагмент, на который ссылается Лосев, – это подглавка «Аяксы» из главы «Разнобой» во второй книге мемуарной трилогии Белого. Вспоминая о знакомстве с В. Эрном, В. Свенцицким и П. Флоренским в декабре 1903 г. и об общении с ними в 1904 г., Белый там, в частности, писал: «Флоренский в ответ им [Эрну и Свенцицкому. – *Е.Т.*] говорил умирающим голосом, странно сутулясь и видясь надгробной фигурою, где-то в песках провисевшей немым барельефом века и вдруг дар слова обретшей; его слова, маловнятные от нагруженности аритмологией, как ручеек иссякающий: в песке пустынь; он, бывало, отговорит, садится, – зеленый и тощий; фигурка его вдвое меньше действительной величины, оттого что – сутулился, валился, точно под ноги себе, как в гробницу, в которой он зажил с комфортом, прижизненно переменив знаки “минус” на “плюс”, “плюс” на “минус”; мне казалось, порой, что и в гробах самоварик ставил бы он; и ходил оттуда в “Весы”: распевать перед обложками, изображающими голых дам, – “со святыми рабынь упокой!”»[3]

Лосевский резкий отзыв об этом пассаже и о его авторе любопытен как свидетельство того, что совсем недавно, осенью 1933 г., вернувшийся в Москву из лагеря философ уже успел прочесть вышедшую в том же 1933 г. мемуарную книгу Белого «Начало века». В качестве комментария к его реплике о Белом можно сказать,

что Флоренский действительно собирался выпускать под своей редакцией сочинения Розанова, но издание так и не осуществилось[4]. Однако, и это не менее любопытно, в лосевском письме происходит странная аберрация: как очевидно, Белый ни словом не поминает Розанова, и «голые дамы» тут маркируют интерес Флоренского к символистам, к Брюсову как редактору «Весов». То, что вместо пары «Флоренский – Брюсов» у Лосева появляется иная связка «Флоренский – Розанов», скорее всего, можно объяснить диссонансом между собственными воспоминаниями Лосева о выступлениях Флоренского на заседаниях Религиозно-философского общества и иронической концовкой «Аяксов», где безмолвно присутствующий на заседаниях общества Флоренский получает литературно насыщенную (если вспомнить повесть Гоголя), но полупрезрительное прозвище – «Нос в кудрях»[5]. Лосева, лично знавшего и глубоко ценившего Флоренского, утверждавшего и в 1930 г. в книге «Очерки античного символизма и мифологии», и позже, что понимание Флоренским платонизма – явление «оригинальное, новое»[6], по-видимому, такой портрет глубоко шокировал. Понятно, что духовные устремления о. П. Флоренского были Лосеву гораздо ближе (достаточно указать на их общий интерес к «имяславию»), чем антропософские увлечения Андрея Белого. Недаром герой написанной в 1930-х лосевской повести «Встреча», Николай Вершинин, alter-ego самого автора, философ, попавший в Беломорско-Балтийский лагерь, говорит своей собеседнице, бывшей пианистке, а ныне тоже заключенной Лидии Тархановой, осужденной по обвинению в антропософии, что для него непонятно, как гениальная женщина могла увлечься таким учением, которое он «всегда считал <…> пошлостью и самой бездарной философией…»[7].

Кроме того, в лосевской реплике о Белом из письма к Юдиной возникает еще несколько важных тем. Первая и самая очевидная – параллелизм Юдиной и Белого, как двух в равной мере талантливых личностей, чьи воспоминания и интерпретации, однако, зачастую далеки от истины. Такой параллелизм, на первый взгляд, может быть еще одним аргументом в пользу существующей версии о том, что именно Белый был одним из «мужских прототипов» пианистки Радиной, героини лосевского романа «Женщина-мыслитель»[8] (впрочем, гипотеза о Вяч. Иванове как мужском первообразе изображенной в романе гениальной пианистки Радиной имеет более прочные основания[9]).

Вторая тема – параллелизм судеб тех, кто внезапно стал жертвами этих ложных интерпретаций, т.е. параллелизм судеб самого Лосева и Флоренского. Действительно, оба философа находились в 1934 г. в более чем «специальном положении»: Лосев всего несколько месяцев как вернулся из заключения в Беломорско-Балтийском лагере, а Флоренский как раз в 1933 г. был арестован. Понятно, что любая критика или любой выпад, вольный или невольный, из-за женской истерики или ради экстравагантности художественного образа, начинали казаться или восприниматься как очередной преднамеренный навет и хула, как жест в духе времени.

Третья тема – история отношения Белого к Флоренскому и Розанову или – с другой точки зрения – история отношения Флоренского к Белому и Розанову. Уместно тут привести фрагмент из беседы Лосева с В.В. Бибихиным, состоявшейся 30 мая 1975 г.: «Скажите, – я его спросил, – передает Лосев один из своих разговоров с Флоренским, – отец Павел, вы видели гениальных людей? – Да. Это Вячеслав Иванов, Андрей Белый и Василий Васильевич Розанов»[10]. Как очевидно,

все фигурирующие в лосевском письме к Юдиной персонажи тут вновь сходятся воедино.

И, наконец, четвертая – отношение ко всем названным лицам самого Лосева. Розанов для Лосева чрезвычайно интересная, хотя и глубоко противоречивая фигура, философ, о котором он, по собственному признанию, с удовольствием написал бы книгу, если бы предоставилась такая возможность[11]. Об отношении к Юдиной и Флоренскому мы говорили. Добавим только, что имена Флоренского и Белого появляются в воспоминаниях Лосева рядом еще раз, когда он в разговоре с В.В. Бибихиным 5 июня 1971 г. вспоминает о своей беседе в Бутырской тюрьме с сокамерником – бывшим ректором Духовной академии, епископом Феодором (Поздеевским), который на лосевский вопрос о том, «как Вы такого декадента и символиста, как Флоренский, поставили редактором "Богословского вестника" и дали ему заведовать кафедрой философии?», ответил: «Всё знаю. Символист, связи с Вячеславом Ивановым, с Белым... Но это почти единственный верующий человек во всей Академии!»[12] (заметим в скобках, что лосевское определение Флоренского как «декадент» не несет здесь отрицательной нагрузки: для Лосева в данном случае декадентство равно модернизму вообще, новой исторической эпохе – XX веку с его катастрофизмом. Недаром в другой раз он, как и Флоренского, называет «декадентами» не только Вяч. Иванова, но и С. Булгакова, В. Эрна, Н. Бердяева и Ф. Степуна[13]).

Нам неизвестна точная дата личного знакомства Лосева с Белым. Но по лосевским воспоминаниям знаем, что их первая встреча состоялась у Г.И. Чулкова (с Чулковым Лосева связывала дружба, особенно укрепившаяся в 1920-е). Вероятно, Лосев мог видеть Белого и на заседаниях Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, куда попал в самом начале 1910-х. Помимо Чулкова, у Лосева и Белого были и другие общие знакомые. Среди них надо назвать С.М. Соловьева, с которым Лосев общался в 1920-е, когда работал в ГАХН, или В.О. Нилендера, который в 1915 г. способствовал личному знакомству Лосева с Вяч. Ивановым. Стоит, наверное, вспомнить и имя Николая Николаевича Русова. Писатель и журналист, адресат А. Блока и В.В. Розанова, Русов – один из многочисленных персонажей мемуаров Белого, который упоминает о знакомстве с ним в середине 1900-х мельком, но с симпатией[14]. С Лосевым Русов сблизился теснее к концу 1920-х, его письма 1942 г. к Лосеву показывают, что их общение не прервалось, несмотря на аресты и «отсидки» сначала одного, затем другого. И Белый, и Русов, и Лосев печатались на страницах одной и той же газеты «Жизнь», выходившей несколько месяцев в Москве в 1918 г. Существовало ли в это время какое-то личное общение, и если да, то каким оно было, – остается вопросом. Правда, в 1919 г., когда Белый возглавил Вольфилу, Лосев не стал членом ее московской секции, предпочтя участие в оппозиционной Вольфиле бердяевской Вольной академии духовной культуры[15]. Напомним и о том, что в 1930 г. в «Диалектике мифа», приводя несколько примеров «символического мифологизирования светов, цветов и вообще зрительных явлений природы» из И.-В. Гёте и из статьи о. Павла Флоренского «Небесные знамения (размышления о символике цветов)», Лосев цитирует большие фрагменты из наблюдений Белого над зрительным восприятием природы Пушкиным, Тютчевым и Баратынским из книги «Поэзия слова»[16]. Но хотя «Диалектика мифа» вышла при жизни Белого, вряд ли поэт мог ее прочесть – по

приказу ОГПУ почти весь тираж ее был уничтожен (правда, некоторые, как Э. Голлербах и, вероятно, тот же Русов, по всей видимости, читали эту книгу еще в не сброшюрованном виде[17]).

Зато, благодаря сделанным сотрудниками ОГПУ выпискам из дневника Андрея Белого 1930/1931 гг., изъятого при аресте его жены Клавдии Николаевны вместе с другими рукописями поэта, известно, что Белый как читатель не игнорировал лосевских книг и как мыслитель высоко ставил своего младшего современника. Вот соответствующая выдержка:

> «12 февраля, среда 1930 г. Кучино.
>
> <...> К<лавдия> Н<иколаевна> читает книгу Лосева “Очерки античного символизма и мифологии”[18]. Я лишь нюхал. Огромный том, более 800 страниц, оставляющий прекрасное впечатление, можно гордиться, что в такое время в России появилась такая книга; она главным образом посвящена Платону. Бегло проглядывая ее (изучать пристально буду потом) видишь; это тебе не Франки, Бердяевы: настоящая оригинальная мысль, весьма ценный материал, и простота, и скромность тона. Я считаю, что в другое время книга Лосева должна была бы возбудить в России такой же шум, как книга Шпенглера в Германии, но у Лосева, как мне кажется, мысль монументальнее, Лосев – настоящий философ в хорошем смысле слова, и как живой философ он не “философствует”, не “терминолизирует”, а мыслит.
>
> Пишу это пока еще в кредит, ибо только понюхал книгу, читать еще буду, но нюх у меня есть»[19].

В 1985 г., отвечая на вопрос о своем отношении к поэзии начала века, Лосев вспоминает о Белом, сравнивает его творчество и творчество своего товарища по университету Бориса Пастернака: «Андрей Белый, с которым я познакомился в доме моего друга Георгия Чулкова, гораздо глубже и разностороннее [Пастернака. – *Е.Т.*]. Андрей Белый далек от общепонятности. Он был подавлен своими образами. Чтобы их понять, надо расшифровывать его строки»[20]. Эта лаконичная реплика, хотя и ставит Белого выше Пастернака, тем не менее завершается словами: «Но все же самым близким был для меня Вяч. Иванов»[21]. Таким образом, выстраивается иерархия литературных предпочтений: поэзия Белого Лосеву интереснее пастернаковской, но все же менее близка, чем создания Вяч. Иванова.

В книге «Владимир Соловьев и его время», вышедшей уже посмертно, в параграфе «Соловьев в оценке Андрея Белого», говоря о том, что Белому свойственно понимание соловьевской деятельности не столько как пути философа, сколько в реализации «пророческого и провиденциального призвания», Лосев не преминул подчеркнуть тот факт, что Белый, несмотря на свое восторженное отношение к Соловьеву и свою склонность к теоретизированию, ограничился лишь воспоминаниями о философе, но «не оставил никакого обстоятельного анализа творчества Вл. Соловьева»[22]. При этом касается он и посвященных Соловьеву трех стихотворений, вошедших в сборник «Золото в лазури», отметив попутно, что «стихи эти не отличаются большой художественностью и мало похожи на дальнейшие изысканные стихи поэта»[23].

Как считает А.Л. Доброхотов, проза Андрея Белого «могла быть особым предметом компаративного исследования» с лосевским беллетристическим наследием

(а значит, и с романом «Женщина-мыслитель») «скорее в плане возможной заочной эстетической полемики с ним Лосева»[24]. На возможность такой полемики в какой-то мере указывает и лосевское определение стиля литературно-критических работ Белого как «несколько заумной прозы»[25] (правда, в другой работе 1970-х, где Лосев обращается к той же проблематике, стоит иной эпитет – речь идет уже о «несколько усложненной прозе А. Белого»[26]). Для Лосева Андрей Белый – один из выдающихся литературоведов. Именно так он определяет его значение в книге 1970-х «Теория художественного стиля». Правда, это не мешает автору при сравнении работы Белого «Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы» (Поэзия слова. Пб., 1922) с книжкой В.Ф. Саводника «Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева» (М., 1911) критически констатировать, что Белый, вычленяя «первичные модели» стиля и тем самым продолжая намеченный известным в начале XX в. литературоведом путь, «едва ли уходит далеко за пределы всего этого исследования у В.Ф. Саводника, хотя и является не только известным поэтом-символистом, но также одним из крупнейших литературоведов начала XX века в России»[27].

Так, в лосевских оценках Андрея Белого в разные периоды жизни – и вскоре после смерти поэта, и спустя десятилетия после нее – все время присутствует тот же контрапункт, что и в февральской реплике 1934 г.: признание несомненного таланта Белого и одновременная критика в его адрес. Недаром в разговоре с В.В. Бибихиным 8 августа 1971 г., по-видимому, возвращаясь к последнему периоду жизни поэта, к концу 1920-х – началу 1930-х, Лосев скажет, что «он (Андрей Белый) претендовал на роль Горького... Но это ему предоставить не могли. Ну, конечно, гениальный человек был в свое время. Один из последних обломков своего времени и символизма. При таком напоре и при такой живучести, как у него, мог бы еще двадцать лет писать»[28].

---

[1] Однако, по устному свидетельству ученицы Юдиной – К.И. Заринской-Гриштаевой, лосевское письмо к Юдиной 1934 г. было отправлено.

[2] *Лосев А.Ф.* «Я сослан в XX век...». М., 2002. Т. 2. С. 151–152.

[3] *НВ 1990.* С. 301–302.

[4] Об истории этого неосуществившегося издания см.: *Палиевский П.В.* Розанов и Флоренский // Литературная учеба. 1989. № 1. С. 111–115.

[5] *НВ 1990.* С. 304.

[6] См. собственные воспоминания А.Ф. Лосева об этом: *Лосев А.Ф.* В поисках смысла / Беседа с В. Ерофеевым // Вопросы литературы. 1985. № 10. С. 217.

[7] *Лосев А.Ф.* «Я сослан в XX век...». М., 2002. Т. 1. С. 385.

[8] *Зенкин К.В.* Мария Юдина и роман А.Ф. Лосева «Женщина-мыслитель» // Невельский сборник. Вып. 5. СПб., 2000. С. 77–83.

[9] См. об этом подробнее: *Тахо-Годи А.А.*, *Тахо-Годи Е.А.*, *Троицкий В.П.* А.Ф. Лосев – философ и писатель. М., 2003. С. 129–132.

[10] *Лосев А.Ф.* «Я сослан в XX век...». Т. 2. С. 540. В книге В.В. Бибихина «Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев» (М., 2004), куда вошли и прежде печатавшие-

ся фрагменты бесед, в передачу этой и других лосевских реплик В.В. Бибихиным внесена стилистическая правка (см., напр.: С. 234).

[11] *Лосев А.Ф.* В поисках смысла. С. 224.

[12] *Лосев А.Ф.* «Я сослан в XX век...». Т. 2. С. 530.

[13] Там же. С. 540.

[14] *МДР 1990.* С. 173, 235. В 1900-х Белый посвятил Русову стихотворение «Каторжник», вошедшее в «Пепел» (1909), прежде называвшееся «Беглый» и посвященное А.А. Кублицкой-Пиоттух.

[15] Подробнее об истории публикаций Лосева в газете «Жизнь» см.: *Тахо-Годи Е.А.* А.Ф. Лосев в историческом пространстве между «Вехами» и «Из глубины» (о прозе Лосева и о трех забытых публикациях 1918 года в газете «Жизнь») // Сборник «Вехи» в контексте русской культуры / Отв. ред. А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи. М.: Наука, 2007. С. 368–409. (Серия «Лосевские чтения»).

[16] *Лосев А.Ф.* Диалектика мифа. Дополнение к «Диалектике мифа». М., 2001. С. 79–82. (Серия «Философское наследие». Т. 130).

[17] См.: *Тахо-Годи Е.А.* А.Ф. Лосев в историческом пространстве между «Вехами» и «Из глубины». С. 388.

[18] В выписке ОГПУ ошибочно – «филологии».

[19] Сообщено Моникой Спивак.

[20] *Лосев А.Ф.* В поисках смысла. С. 213.

[21] Там же.

[22] *Лосев А.Ф.* Владимир Соловьев и его время. М., 2000. С. 587.

[23] Там же. С. 589.

[24] *Доброхотов А.Л.* Паломничество в страну Лосева // *Тахо-Годи Е.А.* Художественный мир прозы А.Ф. Лосева. М., 2007. С. 8.

[25] *Лосев А.Ф.* Теория художественного стиля // *Лосев А.Ф.* Проблема художественного стиля. Киев, 1994. С. 232.

[26] *Лосев А.Ф., Тахо-Годи М.А.* Эстетика природы. М., 2006. С. 33.

[27] *Лосев А.Ф.* Теория художественного стиля. С. 232. См. об этом же: *Лосев А.Ф., Тахо-Годи М.А.* Эстетика природы. С. 33–34.

[28] *Бибихин В.В.* Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. М., 2004. С. 97.

Анна Резниченко

СЕРГЕЙ ДУРЫЛИН: ЭПИТАФИЯ ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Фигура Сергея Николаевича Дурылина (1886, Москва – 1954, Болшево) – писателя, поэта, философа и богослова – еще только подлежит описанию и интерпретации. Известные стороны его дарования – литературовед и театровед, профессор ГИТИСа, биограф М.В. Нестерова, проделавший путь «от св. Софии к ордену Трудового Красного знамени», – не проясняют, а, скорее, маскируют, скрывают своеобразие его таланта; потаенная же – но несомненная – связь его с культурой русского символизма является еще предметом будущих штудий и отдельных доказательств.

Отношение «болшевского мудреца» к Андрею Белому не было простым и однозначным. С одной стороны, Сергей Дурылин, особенно в 1910-х, в период «Молодого "Мусагета"», не мог не признавать исключительную ценность Андрея Белого и как теоретика символизма, и как выразителя сходных настроений и чувств:

> «Все мы, русские мальчики, поверив чуду, ждали, что вот оно над нами первыми совершается, первыми мы увидим Пречистый лик, любовь наша и творчество наше приведут чудом к тому, что нам засветит вожделенный голубой взор, – и засветив, навсегда освятит нас, и тех, кто любим нами, и наше – может быть, главнее всего "наше", ибо правда ведь, что "полюби не нас, но наше"... И вот мы наказаны за это – все, от талантливых, гениальных, просвещенных, до самых простых, немудрых, от Белого и Блока, до Северного и Воли...[1] Увидеть первый зачаток восхода, первую погасшую перед солнцем звезду, заметить, и уже ждать, и требовать почти, и кричать с радостью, что солнце уже восходит, – вот наш грех, вот наша кара: солнце для нас не взошло... Это не случайно, это не только литературная неумелость, это не бездарность моя <...>. Страшно то, что так и в жизни! Вместо радостной чаши с вином – урна с пеплом. Тут ведь Белый только выразил, что во мне и в Воле, и в ком еще...»[2]

Эта же интонация глубокого уважения и личного признания, «избирательного сродства», звучит и в позднем, после 1929 г. написанном, письме С.Н. Дурылина к Андрею Белому:

> «Дорогой Борис Николаевич!
>
> Я давно хотел[3] поблагодарить Вас за Ваше теплое упоминание обо мне в Вашей книге "Ритм как диалектика", но не мог этого сделать, не зная Вашего адреса. Теперь у меня отличный случай сделать это. А.С. скажет Вам, как много Вы значите для меня доселе Вашей мыслью и творчеством и как много теплых воспоминаний храню я о го́дах наших встреч и совместной работы.

Я был необыкновенно обрадован, увидав “Ритм”: наконец Ваша книга о “Ритме”, после многих[4] книг самозванцев и экспроприаторов Вашего дела и труда[5]<.> Я порадовался и тому, что книга – “немирная”, “иду на Вас!”. Так и надо!

И как бы мне хотелось, по-старому, быть союзником и споборником в Вашем “иду!”[6].

Я давно собираюсь объединить в одно целое мои работы по поэтике и поэзии Лермонтова, начатые еще в “Трудах и Днях” статьи “Академический Лермонтов и лермонтовская поэтика”[7]. Мне были бы особенно ценны и [дороги] Ваши советы и указания, [или,] говоря по-современному, контакт с Вами.

Очень много дали мне Ваши воспоминания[8]. Ах, какие спасибо Вам за убиение Стороженки, Алексея Веселовского и прочих беременителей русской культуры[9].

Это будет основная, кондовая книга для истории русского символизма[10]<.> На днях перечел и Вашу “ирои-комическую” поэму о Московском чудаке и страстотерпце. В самом деле, ведь в ней Вы возобновляете этот древний, забытый род: “ирои-комическая”, передавая в ней всю жизнь и дрожь[11] современности. Вашу Москву можно напечатать “песнями” и “стихами” (как обратно, можно и “Бахчис<арайский>” фонтан напечатать сплошными строками, как прозу), как подлинную поэму. Буду рад, если Вы отзоветесь хоть двумя строками на это письмецо.

Желаю и Радуюсь Вашей бодрости и желаю, чтоб она не иссякала[12].

Ваш С. Дур<ылин>

Томск. Нечаевский пер., д. 14, кв. 5»[13].

С другой же стороны, вне личных обращений, в 1926 г., «в своем углу» собственного Lebensraum[14], будущий «болшевский мудрец» совсем не так почтителен:

«Как мелочны и скучно мелочны “литераторы”! Конечно, литературный круг – это один из самых невыносимых, неблагородных и мелких, мелких...

Белый 12 лет (!!) не разговаривал с Брюсовым за то, что тот не принял его “Петербурга” в “Русскую Мысль”, – и “неразговариванье” это продолжалось и во время совместного пребывания в 1924 г., осенью, в Коктебеле, и кончилось только тогда, когда и Брюсову и Белому пришлось участвовать в шуточном кинематографе у Волошина на даче. Белый ненавидит Вяч. Иванова, который, в свою очередь, под видом лукавой приязни, ненавидит Белого. “Обозная сволочь” – это Вячеслав Иванов, “Штемпелеванная калоша” – это “Оры” с их маркой в виде треугольника. Белый капризен, как ребенок, и то, что у ребенка заслужило бы розги, здесь заслуживает внимание, ухаживанья, восторги»[15].

Однако буквально десятью днями раньше, в том же Коктебеле, где были написаны цитированные выше строки, возвращаясь к своему тексту «Бодлэр в русском символизме», первая редакция которого относится к февралю 1926 г., С.Н. Дурылин выскажется об Андрее Белом в совершенно ином ключе – ключе признания небывалого беловского мастерства:

«Бодлэр никогда так усердно и многообразно не переводился, как во вторую половину 900 гг. <...> В это время Белый был занят философским обоснованием символизма и научной разработкой вопроса поэтики и метрики Символизма. В это

> время – создания огромного “Символизма”, Белый пишет статью о Бодлэре, насыщенную пафосом многоликой борьбы за символизм <...>.
>
> <...> Белый был поражен размером и глубиной того явления, которому имя Бодлэр, – и не усомнился поставить его рядом с дорогим ему Ничше, как пророка нового мировоззрения, предваряющего грядущую новую культуру, быть может, новую расу людей. <...>. И, поняв это, Белый почти с благоговением погружается в специальные темы бодлэровской метрики и версификации, вынося из своего изучения изумительно-четкие формулы вроде: “символ для Бодлэра есть параллель между внешним и внутренним; образ есть модель переживания” или “форма лирики Бодлэра есть сам Бодлэр”. Белый в данном случае стал на новую линию русского бодлэрианства, для которой Бодлэр есть Символ-Образ художника, действенного воинственного искусства-подвига, для которого символизм – есть путь к познанию и обретению высших ценностей, вносимых из мира чистого Бытия в призрачный мир бывания»[16].

Заметим, однако, сопоставляя два приведенных выше отрывка: Андрей Белый – «Орфей» с «изумительно-четкими формулами» и Андрей Белый – «литератор», балованный ребенок, чье поведение заслуживает розог, для Дурылина суть два разных Андрея Белых: один принадлежит к миру подлинного бытия, другой – к «призрачному миру бывания». Нетрудно понять, за каким из них – для Дурылина – стоит вечность.

* * *

Среди подписей под многочисленными некрологами и откликами на смерть Андрея Белого подпись С.Н. Дурылина отсутствует. Сергей Дурылин не мог непосредственно и своевременно откликнуться на смерть «Орфея русского символизма», поскольку сам находился в этот период в тяжелейшем душевном состоянии, приведшем к его помещению в «Новодевичью нервную клинику»[17]. Достоверно известно время нахождения там С.Н. Дурылина: с 24 февраля по 7 марта 1934 г.[18] – и повод нервного срыва: гибель архива и книжной коллекции во время пожара пакгауза в городе Киржач Ивановской промышленной области в конце 1933 г. Условия в клинике сам С.Н. Дурылин сравнивает с «санаторием 1927 года», т.е. с условиями тюремного заключения; записки же, написанные из больницы, пронизаны просьбами во что бы то ни стало забрать его оттуда: «Здесь больше не хочу быть. Мне это уже вредно. Я не занимаюсь, а трачу время на разговоры. На это уходят силы. 7-го я хочу выйти отсюда *непременно* больше не хочу и не могу быть здесь»[19]. Эти же больничные записки позволяют точно датировать «историю болезни»: «Мих<аил> Вас<ильевич> (Нестеров. – *А.Р.*) говорил, что ложиться мне сюда в конце февраля уже не следовало. Другое дело было лечь в самый тяжелый момент, 14–15 января. Но и тогда я бы не лег, если б знал здешнюю жизнь <...>. Адский холод. Ночи ледяные. 24 часа в сутки холода»[20]. Итак, в «период некрологов» Дурылину было не до смерти Белого.

Однако и не откликнуться на эту смерть Дурылин не мог. Его посмертное обращение к Белому, написанное много позже 1934-го, носит характер не некролога, но эпитафии, в которой неуместен ни пафос пристрастия, ни формы нелюбви – лишь трезвая оценка Андрея Белого как мастера ритма, чье мастерство лишь отточилось к концу жизни:

БЕЛЫЙ[21]

Андрей Белый читал Пушкина, как и вообще читал все стихи, – совершенно иначе, – диаметрально противоположно чтению Пушкина.

Меньше всего это был чертеж.

Это было не вдумываньем в стихотворение, в его мыслительное ядро, это не было вчувствованием в стихотворение, как сердечное повествование поэта о внутреннем событии, совершившемся с ним и раскрытом в стихах. Это не было, наконец, и вокальною живописью в слове.

Это не было ни то, ни другое, ни третье.

Это было совсем другое.

Я вспоминаю, как летом 1910 года однажды Белый, в тесном кругу тогдашних молодых поэтов[22], вдруг, совершенно неожиданно для всех, принялся читать «Утопленника»[23].

Первое четверостишие:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! Тятя! Наши сети
Притащили мертвеца!»

Это четверостишие ворвалось в слушателей, как весенний вихрь, подкошенный осенним ледяным дыханием.

Первые две строки были даны в стремительном темпе, в каком-то сверх-prestissimo[24].

У вас сразу – от этого вихря, ворвавшегося в ваш слух, – спиралось в горле дыхание, – и в это время вас ожидал удар в сердце: оно вздрагивало от холода при вести:

Наши сети
Притащили мертвеца.

Вы сами становились на секунду испуганным ребенком, – крестьянским мальчиком, верящим в водяных, заикающимся от страха...

Останавливаю, ловлю себя на этом воспоминании и задаю себе вопрос: чем же все это достигалось? Никаких испуганных крестьянских детей А. Белый не представлял.

Никакого ужаса, ни единым актерским приемом, не пытался нагонять на слушателей...

(И дело обходилось без всяких слушателей: поэты собрались говорить на отвлеченную тему о формах русского стихосложения)...

Дело было в том, что А. Белый, как никто на моей памяти, чувствовал стихотворный ритм.

У него был абсолютный слух на ритм в поэзии.

Случалось, он делал такой опыт: он просил поэта, принесшего ему свое стихотворение, не читать ему вслух и не давать его текста, – а только лишь набросать его ритмическую схему – и по этой схеме, как по нотам, Белый восстанавливал основную *лирическую тему* всего стихотворения.

Так было и здесь.

Не крик перепуганных ребятишек ворвался в слух слушателя и заставил его испытать то, о чем сказал точней всего Пушкин:

Душа стесняется лирическим волненьем[25].

Не крик ребятишек, не стук мертвеца в оконницу сонной избы, не урочная «злость погоды» заставили сжаться ваше сердце при чтении Белого, – *принудил* его «стесниться лирическим волненьем» – ритмический разбег хореев, которыми написано пушкинское стихотворение, – и смена этого лирического разбега на медлительное томление, на уверчивую внезапность нового порыва, на повторное то замирание, то возрастание тревоги и беды.

Белый в своем чтении выискал особенности ритмического строя хорея в *данной* балладе, – и на этих особенностях построил все исполнение. Лирическая тема стихотворения нашла в его чтении свое совершеннейшее ритмическое воплощение. Он передал, говоря пушкинскими словами, то «лирическое волненье», которое присуще только этому стихотворению, только хореическому строю, которому имя «Утопленник» Пушкина.

Другое стихотворение Пушкина

Не пой, красавица, при мне... [II, 909][26]

возбуждало при передаче Белого «лирическое волнение» совсем другого рода.

В стихотворении пересекаются два лейт-мотива – настоящего и прошлого, Грузии и степи, южной красавицы – и «далекой, бедной девы».

То параллелизм, то пересечение, то трагический контраст двух лейт-мотивов и составляют *лирическую тему* всего стихотворения Пушкина.

Белый изумительно передавал сложнейшую ритмическую *полифонию* этого стихотворения.

А между тем он только следовал здесь законам 4-ст<опного> ямба, – но ямба *Пушкинского*, но ямба именно этого стихотворения!

Я горячо люблю музыку Глинки на это стихотворение Пушкина.

Но я не солгу, сказав, что от идеальной ритмически и мелодически передачи Белым этого стихотворения «душа стеснялась лирическим волнением» не меньше, чем от звуков самого Глинки!

Как достигал этого Белый, пусть посмотрят его ритмический разбор этого стихотворения в его книге «Символизм».

У него был, повторяю, абсолютный слух на ритм стихотворный.

---

[1] Северный – один из псевдонимов самого Дурылина. Воля – Всеволод Владимирович Разевиг (1887–1924) – философ, ученик Г.И. Челпанова, племянник Михаила Осоргина, друг и корреспондент С.Н. Дурылина.

[2] *Т. Б-ич* [*Т.А. Сидорова-Буткевич*]. Воспоминания о Сергее Николаевиче Дурылине. Хранятся в собрании Мемориального Дома-музея С.Н. Дурылина в Болшеве: Коллекция «Мемориальный архив» (далее – МА МДМД). Фонд С.Н. Дурылина. КП-611/30. Л. 6–7. Воспоминания были подготовлены Т.А. Сидоровой в 1960 г. для неосуществленного издания памяти С.Н. Дурылина, цитировались – без указания источника – в кн.: *Померанцева Г.Е.* На путях и перепутьях (о Сергее Николаевиче Дурылине) // *Дурылин С.Н.* В своем углу / Сост. и прим. В.Н. Тороповой; предисл. Г.Е. Померанцевой. М.: Молодая гвардия, 2006. Ср. известное письмо С.Н. Дурылина к Б.Н. Бугаеву от 17 ноября 1914 г. по поводу выхода Белого из «Мусагета»: «Для меня Андрей Белый был, есть и будет Орфеем русского символизма, его вечным тайновидцем-дитятей, его подлинным “лирическим волне-

нием", его томлением по теургии, его поющей и вещной душой – и я знаю, что "Мусагет" уже не "Мусагет" без него. Ваши песни и звуки лиры вашей слагали камни и глыбы в стены и здания "Мусагета". Вы его зиждитель внутренний, как Метнер – внешний; Метнерово строительство – днем киркой, молотом, циркулем; Ваше строительство – и в ночи, как днем, – песней, лирой, лирическим волнением, лирической волей. Вы давали "Мусагету" то, что давали всему символизму – лирический подвиг, ищете ему венец взамен венка. Но, как ни тяжело мне, имевшему некогда счастье работать под вашим руководством в "Мусагете", знать о Вашем уходе, я знаю, что продолжается Ваше пребывание в символизме русском – и тут вся надежда на Вас, Вячеслава Иванова и Блока, вся без остатка. Вы – ангел-хранитель русского искусства, как Иванов – его строгий архангел, как Блок – его скорбный херувим. Для меня это не простые слова: для меня в этом весь смысл, все религиозное существо Вашего дела. Я вырос и расту на Ваших статьях, мыслях, трудах, их я кладу во главу угла своего отношения к искусству русскому и символизму. И тут меня ждет великая радость: она началась вашей статьей "Круговое движение" и продолжается "Петербургом": я знаю, она не кончается, доколе вы есть у России, у символизма. <...> в России есть только один символизм: Белого, Иванова и Блока. Нет других. Не может быть. В этом вся наличность. Все. До конца Все» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 1. М., 1980. С. 440–441 / Публ. М.А. Рашковской).

[3] После «хотел» вычеркнуто: «от души».

[4] Ранний вариант текста: «в ряду бесчисленных».

[5] После «труда» вычеркнуто: «присваивающих себе даже иной раз приоритет пред Вами».

[6] После «споборником в Вашем "иду!"» вычеркнуто: «Я так рад, что и "ритмом" Вы опять занимаетесь, что и на него есть у Вас и силы и время».

[7] После «Академический Лермонтов и лермонтовская поэтика» вычеркнуто: «(ее даже "формалисты" не обходят молчанием), и конечно».

[8] Ранний вариант текста: «Еще радость моя были Ваши воспоминания».

[9] После «беременителей русской культуры» вычеркнуто: «Жду с нетерпением второй части».

[10] После «символизма» вычеркнуто: «, – не как».

[11] Ранний вариант текста: «блеск».

[12] Ранний вариант текста: «росла».

[13] МА МДМД. Фонд С.Н. Дурылина. КП–525/70. Л. 1, 2 об. Письмо (черновой автограф) публикуется впервые. Все авторские вычеркивания сохранены. Квадратные скобки обозначают вписанное поверх строки или поверх зачеркнутого, угловые скобки – границы необходимых конъектур.

[14] Жизненное пространство (*нем.*).

[15] *Дурылин С.Н.* В своем углу. Тетрадь шестая // МА МДМД. КП-265/11. Это фрагмент 57 от 17 июля 1926 г., не включенный в переиздание мемуаров С.Н. Дурылина в 2006 г.

[16] *Дурылин С.Н.* Бодлэр в русском символизме // МА МДМД. Фонд С.Н. Дурылина. КП-268/7. Л. 24–25, 26. Судя по тем же «Углам», С.Н. Дурылин возвращается к Бодлеру, и, следовательно, к Андрею Белому 7 июля 1926 г. Ссылка дается по февральскому варианту.

[17] Речь идет, по-видимому, о Клинике нервных болезней, входившей в комплекс университетских клиник на Девичьем поле (подробнее см. в прим. к мемуарам Л.И. Красильщик и к дневникам П.Н. Зайцева). Туда же в декабре 1933 г. госпитализировали и Андрея Белого.

[18] По другим данным – до 10 марта.

[19] *Дурылин С.Н.* Письма к И.А. Комиссаровой // МА МДМД. Фонд С.Н. Дурылина. КП-525/37. Л. 31 об. Стилистика источника сохранена. Здесь и далее авторские выделения (подчеркивания) выделены курсивом.

[20] *Дурылин С.Н.* Письма к И.А. Комиссаровой // МА МДМД. Фонд С.Н. Дурылина. КП-525/39. Л. 3 об. – 4.

[21] Публикуется впервые. МА МДМД. КП-2065/9. Рукопись (черновой автограф фиолетовыми чернилами на разрозненных листах, с незначительной правкой карандашом) – л. 1–3, машинопись – л. 4–7; машинопись носит характер беловика: все вычеркивания, вставки при перепечатке учтены; сокращения (типа «П». = «Пушкин») раскрыты. Рукопись не датирована; однако тип бумаги, чернил и машинописной печати позволяет отнести ее к рубежу 1940–1950-х.

[22] Обаяние этого «тесного круга» прекрасно передает современный тому периоду эпистолярий:

«Вчера в “Мусагете” у нас было окончательное, учредительное собрание кружка, под председат<ельством> Г.А. Рачинского. Были Б.Н. Бугаев, Эллис, А.К. Топорков, Ф.А. Степпун, Э.К. Метнер (Вольфинг) и др. Кружок разделился на два отдела. Начну со 2-го, “экспериментальной эстетики”. В нем – два рода занятий: а) Б.Н. Бугаев – эксперимент<альное> исследование русской лирики (ритм, словесная инструментовка и т.д. – одним словом, “поэтика”. б) Эллис – Французский символизм XIX ст<олетия> – в основе: Бодлэр.

<…> Белый оправдывает то, что им сказано в “Урне”:

Им отравил меня NN

– и, в качестве отравленного, тянется за новой отравой, и, в качестве отравленного не до конца, спасается в русскую лирику.

Большинство членов – за ним.

Отдел 2-й будет замечателен. Методы Белого к исследованию лирики есть то, чего не было и что должно быть, чтобы русская лирика могла быть, а та, чтó есть, могла быть надлежаще понята. Уже на лето определена коллективная работа по исследованию поэтов. Я, конечно, беру Лермонтова, и мой маленький читанный тебе очерк, разрастется, чтó будет мне лично счастьем – так как я обновляюсь, свящусь за такой работой. Результаты работ буду издаваться “Мусагетом”. Спайка у 2 отдела – кроме общего глубокого интереса, – обаяние личности Бориса Николаевича Эллиса» (Письмо С.Н. Дурылина к В.В. Разевигу от 5 мая 1910 г. // МА МДМД. КП-525/64. Л. 65–66. Допустимо предположить, что речь идет об очерке «Бодлэр и Лермонтов» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 5).

[23] В автографе далее вычеркнуто карандашом: «II. 292».

[24] Prestissimo (*итал.*) – очень быстро.

[25] Из стихотворения А.С. Пушкина «Воспоминание» («…Когда для смертного умолкнет шумный день»). «Лирическое волнение» – ключевое понятие дурылинской метафизики и эстетики, сформулированное им в небольшой одноименной заметке: «Мудрые учители древнего патерика заповедывали юным трудникам подвижнического пути молить о том, чтобы меч слез прошел чрез их душу и сердце. Об этом единственном даре должен молить и поэт лирический, ибо лирический путь всегда совпадает со страдальным путем человека и мира к Богу. Меч слез иссекает из души поэта лирический огонь, подлинный дар слез <…>. Лирическим даром слез одарены не одни поэты, которые и не часто одаряются им; меч слез подвижника, инока, сокровенного молитвенника – такой же, как меч слез поэта (если он действительно прошел через поэтову душу) <…>. “Дар слез” поэта отличен от всех

этих бесценных даров лишь тем, что, приняв его действительно, поэт лирический возвращает его Даровавшему преображенным в лирическую плоть слова, которая станет жить независимо от поэта и сама может многих подвигнуть к мечу слез <...>; лишь поэту оно доступно во всей законченности своей, лишь у поэта волненье это докатывает свои волны до крепкого берега, на котором оно не может не оставить вечных следов, уже не смываемых никаким новым волнением: последнему назначено лишь оставлять новые следы» (*Дурылин Сергей.* О лирическом волненье. Заметка по поводу одной книги // Труды и дни. 1913. Тетр. 1–2. С. 111–113).

[26] Только в автографе. Квадратные скобки С.Н. Дурылина.

«БЛАГОДАРЮ ВАС И ВСЕХ, КТО ВСПОМНИЛ 8 ЯНВАРЯ...»

Письма Л.П. Гроссмана и Н.Я. Берковского к К.Н.Бугаевой к 30-летию со дня смерти Андрея Белого

I
Л.П. Гроссман — К.Н. Бугаевой[1]

8.I.1964.

Глубокоуважаемая и дорогая Клавдия Николаевна,

я запомнил навсегда, как тепло Вы меня принимали летом 1924 г. у себя в Коктебеле[2] на верхней террасе, где Борис Николаевич со свойственным ему увлечением показывал мне свою коллекцию приморских минералов, собранных по особому принципу – не по лучистой игре и степени прозрачности редкостного «фернампикса»[3], а по выразительности форм и окрасок этих прибрежных скалистых пород, которые символизировали для поэта-мыслителя Андрея Белого смену эпох истории человечества и чередование тысячелетних мировых культур[4]. Солнце ярко освещало бело-оранжевые и черно-серебристые пласты и обломки этих выразителей духа древних эр, которые оживали в пластическом слове коллекционера и воздвигали перед нами стройную археологическую конструкцию его исторической философии.

Прошло почти сорок лет, а воспоминание ничего не утратило в своей рельефности и сверкании.

Сегодня, как я узнал от Григ<ория> Ал<ександровича> Санникова, 30 лет со дня смерти Бориса Николаевича. Я шлю Вам мой горестный привет и сердечные пожелания здоровья и светлых воспоминаний, – живых и блещущих, как морская зыбь, которая так радостно озаряла нас в то утро своими беглыми бликами.

Помните?...

Ваш душевно

Л. Гроссман.

II
Н.Я. Берковский — К.Н. Бугаевой[5]

8 января 1964 г.

Многоуважаемая и дорогая Клавдия Николаевна,

мне захотелось написать Вам несколько слов в тридцатилетнюю годовщину смерти Андрея Белого. Я принадлежу к тому поколению, для которого Белый — великое имя. Думаю, из современников никто не имел для меня равного значения, разве только Мейерхольд. Сочинения Белого — это целая наука и целая школа ви-

деть мир, людей, слышать и оценивать человеческую речь, слова и звуки. Кто однажды поддался Белому, тот уже всегда будет в себе носить способ чувствовать и воспринимать, происходящий от Белого, и в этом повседневное бессмертие Белого, – он растворился в чужих душах и сознаниях, и так это станет передаваться дальше, от поколений к поколениям. Помню сонет Шекспира, где говорится об осени, – осенний сбор плодов – это потомство, родившееся у осени-вдовы от мужа-лета, по кончине его[6]. Так и с великим художником, – его уже нет, но дети от него рождаются и будут рождаться, – в душах тех, кто хотя бы однажды пережил яркую встречу с написанным в его книгах.

Помню, как впервые в ранней юности я прочел «Петербург», тогда уже давно известную книгу, но до меня дошедшую по разным обстоятельствам с немалым опозданием. «Петербург» был для меня полным ошеломлением, после которого я только с годами стал приходить в себя. Не подозревал, что на бумаге черными буквами можно создать нечто столь ослепительное, что возможна в литературе красота с таким накалом. После «Петербурга» я стал понимать и Пушкина, и Гоголя, и Толстого, и Достоевского. Нужна была великая гипербола поэзии в «Петербурге» для того, чтобы глаз стал замечать более скромные и умеренные краски наших классиков. Белый учил нас не только Белому, он учил нас и русской культуре, в самых канонических ее явлениях, тем не менее до него и без него мало доступных нам.

Я люблю и прозу, и стихи Белого. Конечно, он был и поэтом первостепенным, импульс его стихов держался и в Маяковском, и в Пастернаке, и в Цветаевой и будет еще держаться в ново-приходящих.

Всю жизнь я хотел увидеть и услышать Белого, ходил на вечера, собрания, где было объявлено его имя. Фатальным образом, анонсы оказывались ложными, Белый попадал в какую-то болезнь, и вечер шел без него. Зимой 1921 года в зале Политехнического собралась толпа – были объявлены и многие другие имена. Когда устроители вечера возвестили, что Белого не будет, то зал в три-четыре минуты опустел, – все явились ради Белого; кажется, это было время наивысшей его популярности. И после того и так до конца не удалось мне увидеть Белого воочию. Я восполнил и восполняю этот печальный пропуск чтением мемуаров о Белом. Надо сказать, Белый удивительно фотогеничен для мемуаристов, вероятно, чрезвычайностью и разностью своего образа. Он всем удался, хотя и каждому по-разному: и Ходасевичу, и Ф. Степпуну, и Цветаевой[7]. Когда-то всем мемуаристам удавался Чехов, противоположность Белого. Но оба они люди, имеющие свой последовательный жизненный стиль, и, вероятно, поэтому о них, при всей сложности и необычности их натуры, доступно рассказывать.

Меня издавна мучает один проступок против Белого: где-то в начале 20-х годов я напечатал о нем дерзкую и глупую статью[8]. Это был бунт адепта против учителя, – бывают такие бунты. Надеюсь, что эта статья никогда не попадалась на глаза Белому. Я был бы совсем уничтожен, если бы знал, что эта статья хоть сколько-нибудь огорчила его.

Полагаю, что перед Белым огромная будущность. Редкий писатель у нас так далеко заходил в глубь предстоящих веков, как Белый. Все поймут это, когда отпадут предрассудки и мелочность, заслоняющие сейчас Белого для многих. В русской, да может быть и не только в русской литературе нашего столетия Белый – почти единственная бесспорно-гениальная сила, а потому наделенная и огромным даром предчувствия.

Считаю нужным сказать полслова о себе: я – историк литературы, по совместительству критик, литературный и театральный, профессор одного из ленингр<адских> ВУЗов[9].

Я совершенно счастлив, что в Вашем лице могу приветствовать человека, столь близкого к Белому. Тот, кто для меня только Белый, автор книг и книг, тот для Вас еще и Борис Николаевич Бугаев, фамилию которого Вы носите. Прекрасно, что своего Белого, отвлеченно-пережитого и передуманного, я могу обратить к Вам, владеющей куда более живыми и реальными представлениями о Белом-Бугаеве.

Желаю Вам всего лучшего. Пусть новый 1964-ый будет для Вас добрым годом!

Н. Берковский.

P.S.

Маленькая бытовая подробность: у нас в доме старый культ Белого. Мой сын, сейчас молодой инженер-геофизик, был назван Андреем[10] в честь Белого.

Привет Вам всем домом!

Послесловие

Публикуемые письма из фонда Андрея Белого в НИОР РГБ были получены К.Н. Бугаевой к 30-летию со дня смерти Андрея Белого.

Напомнил писательскому миру Москвы о горестном юбилее Г.А. Санников, тесно общавшийся с Белым в период последней болезни писателя и поддерживавший – после его смерти – близкие отношения с его вдовой. «Дорогая Клавдия Николаевна! В этот скорбный день тридцатой годовщины потери любимейшего учителя и друга – незабвенного Бориса Николаевича, я всем сердцем с Вами. <...> Все предновогодние и новогодние дни много думал о Б.Н. <...>. А в сегодняшний день захотелось поделиться сообщением об этой дате с некоторыми товарищами, небезразличными к памяти Бориса Николаевича. Встретившись сегодня на заседании в ЦДЛ с Верой Михайловной Инбер, долго беседовал с ней. <...> Беседовал сегодня по телефону с большими почитателями Б.Н. – Влад<имиром> Герм<ановичем> Лидиным, Леонидом Петровичем Гроссманом, Василием Казиным», – писал Санников Клавдии Николаевне 8 января 1964 г.[i]

Думается, что подобных «памятных» писем от друзей и почитателей вдова Андрея Белого получила немало. Однако сохранились (или – она сохранила) лишь три: от Г.А. Санникова, Л.П. Гроссмана и Н.Я. Берковского.

С писателем и литературоведом Леонидом Петровичем Гроссманом (1888–1965) Белый и Клавдия Николаевна встречались и общались летом 1924 г. в Коктебеле. Он присутствовал на похоронах Белого и выступал с речью на гражданской панихиде. Планировалось его участие и в вечерах памяти писателя.

Литературовед и критик Наум Яковлевич Берковский (1901–1972), в отличие от Санникова и Гроссмана, не был лично знаком ни с Белым, ни с К.Н. Бугаевой.

[i] НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 49. Ед. хр. 40. Видимо, Г.А. Санников отмечал день смерти Андрея Белого ежегодно. Последнее его письмо к К.Н. Бугаевой датировано 8 января 1969 г.: «Дорогая, милая Клавдия Николаевна. Этот грустный день 8 января всем сердцем с Вами. Поздравляю Вас с Новым годом и желаю доброго здоровья. <...>» (Там же).

Может быть, именно поэтому его соболезнование оказалось для Клавдии Николаевны приятной неожиданностью. «Знаете ли Вы Наума Яковл<евича> Берковского? От него было очень большое, интересное письмо», — спрашивала она своего друга, литературоведа Дмитрия Евгеньевича Максимова (1904—1987)[i].

Сам Д.Е. Максимов был также среди тех, кто отметил эту дату. Цитата из ответного благодарственного письма К.Н. Бугаевой к нему от 26 января 1964 г.[ii] — «Благодарю Вас и всех, кто вспомнил 8 января...» — вынесена в заглавие публикации.

---

[1] НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 49. Ед. хр. 22. На конверте адрес: ул. Фурманова, 3/5, кв. 55. Штемпель отправления 9/I—1964. Штемпель прибытия 10/I—1964. Леонид Петрович Гроссман (1888—1965) — литературовед, писатель.

[2] Ср. упоминание Андрея Белого о встречах с Л.П. Гроссманом в Коктебеле летом 1924 г. в письме к Иванову-Разумнику от 8 декабря 1924 г.: «В Коктебеле, у Макса, было густо и людно: уединиться было почти невозможно; за лето промелькнуло до 200 и более лиц: все больше литераторов, художников, музыкантов; из Москвы как-то запомнились: Шервинский (с женой), проф<ессор> эстетики Габричевский (с женой); Гроссман (с женой), Адалис, П.Н. Зайцев, Брюсов, Шенгели (с женой), Парнах, М.С. Фельштейн, поэтесса Николаева <...>» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 304). Л.П. Гроссман упомянул об участии Андрея Белого в коктебельских стихотворных конкурсах и театральных импровизациях в очерке «Последний отдых Брюсова» (октябрь 1924 г.), включенном в его книгу «Борьба за стиль: Очерки по критике и поэтике» (М.: Никитинские субботники, 1927. С. 281—297).

[3] Ср.: «<В Коктебеле> все собирали камни: фернампиксы — халцедоны большие и маленькие в цветных рубашках; маленькие халцедоны — слезки, халцедоны с травкой внутри — моховики <...>» (*Северцева-Габричевская Н.А.* Андрей Белый «террорист» // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 116).

[4] Ср.: «Приезжающие в Коктебель, заболевают каменною болезнью: <...> к осени у меня было до 120 коробок с разного рода орнаментом из камней; и я для коктебельцев периодически устраивал выставки, располагая коробки по градациям орнаментальных линий и колоритов, моделируя свои мысли об истории и эволюции культур: от Атлантиды до... культуры будущего» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 304).

[5] НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 49. Ед. хр. 13.

[6] Имеется в виду сонет № 97.

[7] См. их мемуарные очерки в наст. изд.

[8] См.: *Берковский Н.* О «Москве» Андрея Белого // Жизнь искусства. 1926. № 49. С. 6—7.

[9] С середины 1950-х Н.Я. Берковский работал в Ленинградском государственном педагогическом институте имени А.И. Герцена.

[10] Андрей Наумович Берковский (1934—1996).

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

---

[i] ОР РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 16. Л. 45 об. Письмо от 26 января 1964 г.

[ii] Там же. Письмо Д.Е. Максимова к К.Н. Бугаевой не сохранилось.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ

СОРОК ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Лазурь черна...
*О. Мандельштам**

Жизнь — костлявая катастрофа.
Лодкой плавает в глине гроб.
Словно вспученная Голгофа,
чуть не лопнул от муки лоб.

И лазурь в замогильном воске —
как захлопнутая веком ширь.
И вздувается на повозке —
на последней — булыжный пузырь.

Был рунист и жирел, как валух.
А экран был — как ранка к ранке.
Жизнь, заверченная на штурвалах,
колесованная на баранке.

Распят был на себе, как Бог,
молодец посреди богородиц.
О буддический скоморох,
изнасилованный юродец!

Во взошедший над веком лбище,
как в огромную полусферу,
когтем вписывала судьбища
и отчаяние, и веру.

Как малиновый куст, кипел
шут атласный в багровой рясе
и кровавые сгустки пел,
уходя навек восвояси,

в три пространства, как бес, свища,
вдоль по осени порябелой.
Мозгу ярого был свеча,
только мозг был белый-пребелый.

8 января 1974

---

* Из стихотворения «Утро 10 января 1934 г.».

Послесловие

Сергей Владимирович Петров (псевд. Ярослав Азумлев; 7 апреля 1911 – 31 октября 1988) – русский поэт, переводчик, прозаик. Родился в Казани. В 1931 г. окончил историко-филологический факультет Ленинградского университета. В 1932–1933 гг. работал, как он сам писал в автобиографии, «ассистентом по немецкому языку», преподавал шведский язык в Военно-морском училище имени Фрунзе. В 1933 г. арестован, затем выслан в с. Бирилюссы Красноярского края. В конце 1936 г. вновь арестован, просидел под следствием в Ачинской тюрьме, освобожден в 1937 г. по недоказанности обвинения. Вернулся в Бирилюссы, работал лесником, заготовителем сельхозпродуктов, счетоводом. В 1943 г. по окончании срока ссылки уехал в Ачинск, преподавал немецкий и латинский языки, общую гигиену, астрономию. В 1954 г. переехал в Новгород, сдал кандидатские экзамены, начал зарабатывать стихотворными и прозаическими переводами. В первой половине 1970-х переехал в Ленинград, где проживал до самой смерти. Как оригинальный поэт, практически не печатался при жизни[i].

Среди русских писателей Серебряного века, высоко ценимых С. Петровым и серьезно повлиявших на его творчество, Андрей Белый – как человек, поэт, прозаик и мыслитель – занимал совершенно особое и едва ли не первое место (наряду с О. Мандельштамом и М. Кузминым). В стихотворении «Велемудрие. Фугетта» (1–15 июля 1977 г.) Белый предстает как «со-мышленник» и «со-бутыльник» лирического героя Петрова:

Я велемудрствую. Неужто это худо?
Иль впрямь избыток мудрости вредит?
Всего себя, как чушь, и дрянь, и чудо,
со всей наличностью беру в кредит.
Паучьим почерком из липового лыка
стихи плету, карябаю коряво.
Ужели худо? И сбиваюсь с панталыка –
худое время как-никак дыряво:
ни пауз не заткнет, ни пучеглазых дыр
на стройке вечности родимый бригадир.
(Пусть даже у него работает, у гада,
гробокопателей стоглавая бригада!)

Я велемудрствую. Хватил чрез край ума.
Налей-ка мне смирительной, кума!
Ее когда-то звали русской горькой,
ее с Бугаевым пивал я с Борькой,
и уж признаюсь я тебе, лахудра:
вот тоже был кусочек любомудра!

[i] Посмертно вышли сборники «Избранные стихотворения» (Сост. А. Петрова и В. Шубинский; предисл. В. Шубинского – СПб.: ЭЗРО, 1997) и «Собрание стихотворений» в двух томах (Сост., подгот. текста А. Петровой, В. Резвого; послесл. Е. Витковского – М.: Водолей Publishers, 2008).

И не плодил сей любомудр Бугаев
ни какаду, ни прочих попугаев,
и был он, будто Арг стоглазый, зорок,
и пил он горечь градусов на сорок...
Я велемудрствую. Ужели это плохо?
Ну а зачем во мне копается эпоха,
как будто ищет клад среди чертополоха?
Что нужно ей от старого репья,
колючего, как ямбы Архилоха,
и серого, как ворохи тряпья?
И если в трепотне есмь только отрепь я,
то ты, голубушка, блудливая Солоха.

Я велемудрствую и перл созданья
не в самом деле есмь, а поневоле.
Чужого мне нельзя занять сознанья,
зато свое держу в великой холе.

Я еле мудрствую. Меня накрыла йога –
гиматий киника иль царственная тога,
а ум спускается от брахманов до шудр.
И в виде неподбитого итога
я вынужден стать чем-то вроде Бога,
в котором всячины для самохвала много,
но мало для того, кто велемудр[i].

В январе 1974 г. С. Петров принимал участие в неофициальном вечере памяти Андрея Белого, проведенном в Ленинграде на квартире Т.Ю. Хмельницкой[ii]. Написанное тогда стихотворение «Сорок лет...» публикуется по изданию: *Петров Сергей*. Собр. стихотворений: В 2 кн. / Сост., подгот. текста А. Петровой, В. Резвого; послесл. Е Витковского. Кн. 2. М.: Водолей Publishers, 2008. С. 282. Впервые без двух начальных строф было напечатано в журнале «Октябрь» (1997. № 11 / Публ. А. Петровой).

Подготовка текста А.А. Петровой, послесловие В.А. Резвого

[i] *Петров Сергей*. Собр. стихотворений: Кн. 2. С. 463.

[ii] *Лавров А.В.* Вслед за символистами // Звезда. 2004. № 2. С. 132. См. также послесловие к воспоминаниям Н.И. Гаген-Торн в наст. изд.

IV
ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Русская эмиграция и зарубежная печать

МИХАИЛ ОСОРГИН

ПАМЯТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Последние новости (Париж).
1934. 12 января.

Скончавшийся 8-го января в Москве Андрей Белый — сын московского профессора Николая Васильевича Бугаева, и сам воспитанник физико-математического и филологического факультетов Московского университета. Родился в 1880 году, кончил университет в 1906 г., но еще с 1901 года начал свою писательскую деятельность. В период 1903–1912 гг. Белый был увлеченнейшим членом литературных кружков, работал в символистских журналах, уходил с головой в изучение проблем религии, теософии и эзотеризма, — сотрудничал в «Весах», «Перевале», «Золотом руне», «Критическом обозрении», в издательстве «Мусагет», в кружке «Свободной эстетики», в «Московском религиозно-философском обществе», в «Обществе ревнителей российской словесности» и др.

С 1912 года он почти постоянно жил за границей, вплоть до 1916 года. Это — период его основного увлечения идеями основоположника антропософии Рудольфа Штейнера, с которым Белый был близок. Как член Антропософского общества, он объездил всю Европу в целях публичных выступлений и упрочения связей[1]; раньше он бывал в Тунисе, Египте, Палестине. Два первых года войны провел в Швейцарии (в антропософском «гнезде» Дорнахе, близ Базеля), где лично участвовал в постройке знаменитого, позже сгоревшего, антропософского храма «Гетеанум». К войне относился с резким отрицанием, сближался с левыми политическими русскими партиями, но в 1916 г. вернулся в Россию. Здесь сблизился с Ивановым-Разумником и Блоком (группа «Скифы»), а после революции принимал деятельное участие в «Вольной философской ассоциации», в ТЕО[2], работал в московском «Пролеткульте», во «Дворце искусств» и пр.

В 1921 году Андрей Белый уехал из России, рассчитывая работать за границей. Здесь он начал свой огромный труд — многотомную эпопею личной жизни и российских событий. Разбившись на отдельные книги, она так и не была им закончена в том виде, какой предполагался[3]. Человек бурный, несуразный, вечно возбужденный, он не мог жить в Европе; к тому же и с антропософами жил не в полном согласии. Его берлинская жизнь была кошмаром, и он, наконец, вернулся в Россию осенью 1923 года.

В самые последние годы Белый жил в бедности, мало участвуя в общей писательской жизни. Его терпели, но зато все антропософское окружение было разбито и рассеяно[4]. Лишь очень немногих ему удалось личными связями и ходатайствами спасти от преследований, тюрьмы и высылок[5].

Мы не знаем, что свело Белого в могилу; не было известий о его болезни, и он не был стар (53 года).

Оценка его творчества и его личности – дело сложнейшее; его литературное наследие огромно; еще огромнее – наследство духовное, сохранившееся в памяти тех, кто близко с ним общался. Он не был, конечно, «советским писателем»[6]; был русским писателем крупнейшего калибра и замечательным человеком своей эпохи. Смерть его вызовет, вероятно, поток о нем воспоминаний и в России, и за рубежом.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Последние новости (Париж).
1934. 18, 25 января.

1.

Газеты существуют для того, чтобы утром, проснувшись, знал человек, кто из его спутников и близких уже не проснется в этот день. В регистраторе памяти выдвигается ящичек, и впереди имени ставится крестик и дата: сего числа перестал быть. Ящик вдвинут обратно – минута молчания. Затем – свисток, и собственный нашего величества поезд дребезжит дальше, – к неизвестной станции, но в направлении, хорошо ведомом.

Умер Андрей Белый – Борис Николаевич Бугаев... Слишком, слишком рано, не надо бы так пугать людей своего поколения! Но он горел, как никто другой, ярко и нерасчетливо: большие поэты не злоупотребляют возрастом. Его учитель и любимый поэт, Гете, был все-таки государственным советником и министром, что придает смысл долголетию и отчасти ему способствует[7]. У Андрея Белого не было больших соблазнов длить земное существование в холоде и голоде московской окраины[8]; он даже поторопился, год тому назад, сдать в пушкинский музей свой личный архив[9] – письма, рукописи, рисунки. Предусмотрительность для него необычная, может быть, вызванная предчувствием, а то – сознанием, что архив уже полон, больше собирать и хранить нечего:

Куда мне теперь идти?
Куда свой потухший пламень –
Потухший пламень... – нести?[10]

Будет поток воспоминаний об Андрее Белом; близость с ним и даже простое знакомство, даже случайная встреча ни для кого не могли пройти бесследно: обаятельный человек, необыкновенный ум, врожденная способность очаровывать. В любом окружении он был первым, – остальные бледнели. И не потому, что он подавлял других или старался выделиться, а именно потому, что сам он проявлял внимание и интерес к каждому, и никто не был для него маленьким и нелюбопытным, всякого хотел понять и духовно использовать, всякое слово слушал и взвешивал, жадный до людей и соборного общения.

Среди людей, им завоеванных раз и навсегда, ценивших близость с ним, много единиц и еще больше нулей: в знакомствах и связях он не был разборчивым.

Но и врагов у Андрея Белого всегда было много: иногда он срывался и был резким до непозволительности, до внезапного скандала.

Ценны и полны содержания будут воспоминания тех, для кого Андрей Белый был соратником в литературных боях, когда перестраивалась поэзия и литература на символистский лад, рождались и умирали журналы и кружки, ахали и негодовали старики, — радовалось молодое поколение. Не меньше расскажут о нем и те, для кого он был антропософским пророком и, — как он сам о себе сказал, — «белым Христианом Моргенштерном» («От Ницше — ты, от Соловьева — я: мы в Штейнере перекрестились оба...»[11]). Мне обо всем этом рассказать нечего, нас связывала лишь простая, «безыдейная» приязнь, при встречах крепившаяся в дружбу, в разлуке падавшая до степени добрых воспоминаний. Но об Андрее Белом каждая памятная запись должна быть нужной: его значение не переоценишь — он был личностью высокого дарования и посвященного творчества.

Печатью исключительности он был отмечен даже внешне: и юношей, и в преклонных годах. Я его помню в университете[12], тихим и застенчивым, в хорошем форменном сюртучке; внимание всех останавливали его глаза, очень светлые и в туманном сиянии, уже и тогда — нездешние, — глаза поэта. Я не был с ним тогда знаком и не знал его фамилии, — но спустя лет пятнадцать, когда с ним познакомился[13], сразу узнал в нем студента, которого встречал в коридорах и аудиториях и которого нельзя было не заметить даже в толпе других. Образ «позднего Белого» помнят все, хотя бы по портретам: ушедший к затылку лоб, неподражаемая, чрезмерная улыбка нервного бритого лица, обезьянья гибкость и длиннорукость, всегдашняя нелепость одежды, мягкий голос с отличным московским выговором, суетливая доброта и вежливость, внезапность переходов от серьезности к смешку, — но не опишешь словами его оригинальной фигуры. То ли он был красив, то ли безобразен, всегда необычаен и отличен от всех, всегда обаятелен в дружеской беседе и удивителен в любимом проповедничестве.

Он прекрасно говорил — и любил говорить. Появлялся перед аудиторией в длинном старомодном сюртуке, с нелепым черным атласным бантом под отложным воротником, смотрел на всех и никуда, в речи своей делал долгие паузы — искал слова — и находил лучшие, то был приторно популярен, то улетал в такие выси и неопределенности, что едва можно было за ним туда следовать, и время от времени поражал слушателей совсем особенной красотой образа или оригинальностью мысли, — и сам радостно улыбался, как своему новому и неожиданному открытию. Он был совершенно неспособен сказать что-нибудь банальное, только ради слова и впечатления, — черта редкая в людях, привыкших часто выступать. Но очень часто путался в обилии мыслей, попутно в нем рождавшихся, в музыке словесных сочетаний, его поражавших; может быть, и готовил свои речи, — но, говоря их, всегда творил заново, сам себя слушая и спрашивая и сам себе отвечая. Были ораторы лучше Белого, — но в своем роде он был единственным. Его ранних, боевых эстрадных выступлений я не знаю, только слыхал о них; сам жил тогда за границей[14]. Познакомился с Белым, лишь когда его литературный талант был признан всеми, и сторонниками и прежними врагами. Настолько признан, что даже упрямые и очень осторожные, в этом смысле консервативнейшие «Русские ведомости» решились впервые его напечатать[15]. Помню, что его свел с газетой

Абрам Эфрос[16], бывший тогда художественным обозревателем «Русских ведомостей» и позволявший себе в профессорской газете употреблять совсем ей чуждые «модернистские» выражения: «красочное задание», «юоновски вписанный образ». Газете хотелось быть современной (конечно, — в строгих рамках!), — но что скажет многолетний подписчик, когда в числе сотрудников его газеты, печатавшей годами Толстого, Щедрина, Короленко, Тургенева, Боборыкина, окажется автор, прославившийся строками:

Вот ко мне на утес
Притащился горбун седовласый.
Мне в подарок принес
Из подземных теплиц ананасы.

Голосил
Низким басом:
В небеса запустил
Ананасом[17].

Сейчас все это читается и слушается спокойно — привыкли, но в те времена можно ли было в почтеннейшем литературном «университете» слышать строки:

Дьякон —
Крякнул;
Кадилом —
Звякнул:
«Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего!»[18]

Долго думали и наконец решили попробовать отвести несколько фельетонов под начало «Котика Летаева», благо там идет рассказ о профессорской Москве, хоть и написано все странными, неподобающими словами и словечками и, благо, автор — сын почтенного профессора-математика Николая Васильевича Бугаева, и сам — воспитанник двух факультетов[19].

Опыт был сделан. Многолетние подписчики читали хмуро и удивленно, зря печатать не станут. Целый переворот в умах, насильственная эволюция! И Белый стал кандидатом в академики...

Это было, думается, в 1916 году, в дни военные и предреволюционные, когда стало возможным многое, о чем раньше и не снилось. Белый только что вернулся из-за границы и из антропософа превращался в «скифа» (с Ивановым-Разумником, Блоком и другими).

В том же году первым изданием вышел его большой роман «Петербург». Теперь он был уже не озорным поэтом-символистом, а большим и признанным писателем.

Дни революции путают хронику мелких воспоминаний. Думаю, что наш московский Клуб писателей, замкнутый кружок, без «жен и гостей», чаще и усерднее всего собирался в 1917 году[20]. И особенно памятно одно собрание на квартире у стариков Крандиевских[21], когда происходила долгая и невразумительная для профанов словесная дуэль между Андреем Белым и Вячеславом Ивановым[22]. Ве-

роятно, это было замечательно, но, должен признаться, что в моей памяти ничего не осталось, кроме картины превосходного боя петухов: двух замечательных людей с длинными распущенными волосами, забывших об аудитории и перекликавшихся уже не связными словами, а какими-то символами, только им до конца понятными. Я не уверен, что они друг друга слушали, — но понимали друг друга, наверное, и это не могло не казаться удивительным.

Что тогда говорил Белый? Как говорил? — Я думаю, что могу дать об этом понятие, приведя строчки из лежащей передо мной его рукописи, никакого отношения к тому вечеру не имевшей:

«Не события мира летят мимо нас, мы летаем в событиях мира; Событие — Со-событие, т.е. связность бытийств; бытие вне сознания — мертвая недвижность природы; Со-сознание — действие связи: действительность, действенность, движимость, обегание “точек зрения”, — движение по кругу миросозерцании живого, прозревшего “я”; первый сдвиг неподвижности с точек лежания (лога, лжи) нам являет картину падения мира на нас: это — кризис сознания: Со-о-со-знание — градация состояний, сознания. Само-сознание — кризис сознания: кризисом мира глядится на нас». — «Говорят, что несчастия посылаются Богом; тут промысел Божий. Но промысел — про-мысел, т.е. введение мысли в предмет; провести мысль сквозь руку — промыслить; умение произвольно менять ритм движений, повертываться, перепрыгивать через ямы есть промысел мускулов; а для тех, кто движения свои не сознал, их прыжок через яму есть чудо, подобное промыслу Божию; этот прыжок, вероятно, они изживают, как если бы Божья рука, взявши тело, таинственно перенесла нас по воздуху... Кризис культуры, падение мира на нас, — наша мысль о нас, научающая нас по-новому двигаться: двинемся, сдвинемся!»

Когда это читаешь, — видишь Белого, его жесты, его остановки, поиски слов, подчеркивания, двойные подчеркивания — и широкую светлую улыбку: нашел! И снова — двойное, тройное углубление, потеря линии и воздуха, всплеск — и опять выплыл на поверхность с новой добычей и последним выводом: «двинемся, сдвинемся!» И не знаешь, что важно и что пустяк, придаток: мысль, музыка слов или ритм, — мыслью, музыкой, ритмом он был пронизан насквозь и без них не существовал.

Но вот — простота занятнейшего рассказа. В дни московской голодухи Белый бывал у меня в Чернышевском[23]; если пили чай, то, вероятно, — морковный и, наверное, — с сахарином. А затем он рассказывал о поездке в Италию или о своем участии в постройке антропософского храма — Гетеанума. Этот храм был его чистой любовью, и он часами рассказывал о пятигранных колоннах с шестигранным цоколем, о небывалой градации асимметрий, об угластых, ни на что не похожих чашах, цветах и змеях, о движении неподвижных частей, об оттенках цвета разных пород деревьев — бело-зеленоватого твердейшего бука, медово-солнечного желтоватого ясеня, бронзового дуба, перламутрово-нежной березы, о деревянных кристаллах, сливавшихся в пентаграмму, об архитравах, изображавших состояние космоса. И о том, как работали там поляки, британцы, французы, швейцарцы, голландцы, германцы, русские, в бархатных перемазанных куртках, в заплатанных панталонах и подоткнутых пропыленных юбчонках, — забираясь под потолок и купол, свисая оттуда гроздьями, высекая стамеской и пятифунтовым молотком куски, стружки, пыль дерева.

— Бывало, сидим мы на Юпитере и работаем над его архитравом, надо там что-то подчистить, выпрямить линию плоскости; а по шатким мосткам подымается к нам фигура в пенсне: доктор Штейнер. Оглянет летающим взором, возьмет уголь, прочертит две линии: «Вот тут сантиметра два снять!»[24]

Белый верил, что Гетеанум — новый храм Любви, совершенного мира и братства народов[25]. Он очень страдал, когда этот храм сгорел[26].

Рассказывая, Белый любил садиться на пол, на ковер, жестикулировал, принимал какие-то индусские позы, — и шли часы, и невозможно было наслушаться: каждое свое слово он изображал, каждый образ окрылял словесными сочетаниями, каждую мысль пояснял мимикой подвижного и вдохновенного лица. Лучшего рассказчика я никогда в своей жизни не встречал.

Так проведя полдня, он оставался ночевать, — и ночи не было, потому что, раз увлекшись, он уже не мог остановиться. Мы говорили до рассвета — и не было утомления, а главное — забывалось все, что было за стенами и в стенах: радость и ужас революции, тревога, голод, неопределенность не только будущего, но и завтрашнего дня. Этот человек имел власть вычеркивать действительность и заменять ее мечтой и поэзией — и нельзя было ему не подчиниться.

Иным я знал Белого позже, за границей, в Берлине, — Белого, пытавшегося изменить колоколам Парсифаля[27] для музыки фокстрота[28]. Хотелось бы — как умею — рассказать и об этих, не лучших днях.

2. Белый в Берлине

В некрологе Андрея Белого, напечатанном его учениками и друзьями в «Известиях»[29], говорится, что за годы жизни в Берлине (1921–23) Белый провел резкую грань между русской литературой, советской и зарубежной. Не понимаю, зачем это написано и что это должно означать. Во всяком случае, за указанные три года в зарубежных издательствах вышло десять книг Белого, в том числе заново переработанный им роман «Петербург»[30]. Под собственным именем Белый сотрудничал в газете «Дни», где среди других статей им напечатаны в литературном отделе «Гетеанум» и «Мысли о Петеньке»[31]. Это не значит, конечно, что он думал перейти на эмигрантское положение, — такой мысли у него никогда не было. Это только значит, что он никакой грани не полагал между «двумя» литературами, а писал там, где хотел и где было ближе и удобнее работать.

И вообще нужно сказать, что деление русских художников слова на два лагеря возникло гораздо позже. В 1921–23 годах приезжавшие из России писатели не чуждались своих зарубежных товарищей по перу и жили в Берлине довольно дружной семьей. Был общий клуб, собрания которого были публичны и в котором все равно выступали, в том числе и Белый; тем и ценен был этот клуб, что в нем никакой «политики» не проводилось и не существовало никакого деления на «советских» и несоветских; и самое слово такое к писателям не прилагалось. Одни думали вернуться в Россию, другие не собирались или не могли, но общению это нисколько не мешало. Несколько особняком стояла только группа сотрудников сменовеховской газеты «Накануне», — но это были уже не писатели, а служащие

люди, к которым соответственно и относились с весьма малым уважением, как к утратившим независимый писательский облик, отщепенцам и несвободным[32].

Первое время в Берлине Андрей Белый работал, по-видимому, много. Помимо изданий новых и переиздания старых книг, он занят был разработкой плана своей обширнейшей «Эпопеи», так целиком и не осуществленной, рассчитанной на много томов; он говорил о 150 печатных листах, якобы уже сложившихся в его писательском представлении, малая часть которых написана и обработана. Он боялся, что в условиях жизни российской ему такой огромной задачи не выполнить; и в то же время его тянуло в Россию, оторванность от которой он переживал очень тяжело.

Именно здесь, в Берлине, он пытался определить ясно этапы своего творчества или, как он выражался, развитие «поэмы души», пути «искания правды»[33]. В двадцать втором году он издал большой сборник стихов, разделенный на отделы, соответствующие этим творчески-жизненным этапам[34]. Не место здесь заниматься их разбором – предоставим это историкам литературы; отмечу только, что маленькое предисловие к этапу берлинскому, в сборнике заключительному, может дать некоторое представление о том, как чувствовал себя Белый за границей и отчего он в конце концов бежал обратно в «роковую страну, ледяную, проклятую железной судьбой»[35]:

«Стихотворения этого периода заключают книгу: они написаны недавно, и я ничего не сумею сказать о них: знаю лишь, что они – не “Звезда” и что они после “Звезды”. Меня влечет теперь к иным темам: музыка «пути посвящения» сменилась для меня музыкой фокстрота, бостона и джимми; хороший джаз-банд предпочитаю я колоколам Парсифаля; я хотел бы в будущем писать соответствующие фокстроту стихи»[36].

Его последнее стихотворение называется «Маленький балаган на маленькой планете “Земля”»; по авторской реплике – оно «выкрикивается в форточку»[37]. И действительно оно – мучительные выкрики, сумбурные и несвязные, с лейтмотивом: «Все – иное: не то...» Оно кончается повторным «Бум, Бум», после чего «форточка захлопывается, комната наполняется звуками веселого джимми»...[38]

Когда очень большой человек опускается и делает глупости, окружающим кажется, что он с ними сравнялся; они могут похлопывать его по плечу, жалеть, поощрять, покровительствовать. За Андреем Белым, провозгласившим культ фокстрота и джимми, бродила по дансингам толпа друзей. «Все танцует?» – «Танцует! И как!» – Рассказывались анекдоты, высказывали предположения, что «Борис Николаевич окончательно рехнулся», и все это с тем оживлением, с которым в среде богемной говорят о самоубийствах.

Но в любом падении Белый был выше рядовых людей. То, что он «выкрикивал в форточку», оставалось в его душе, и он не просто танцевал – он и в недостойном кошмаре продолжал искать религию.

Я видел его в дансингах, в обществе преимущественно немецком, буржуазном и бесцветном. Русские над ним подсмеивались, немцы и немки относились к нему искренне – верили в веселость этого русского чудака. Он выделывал «па» прилежно, заботливо ведя и кружа своих толстоногих дам, занимая их разговором, танцуя со всеми по очереди, чтобы ни одной не обидеть. Ни фокусов, ни экстравагант-

ностей, ни болезненного ломанья, — усердная работа кавалера, души общества, сияющее приветливостью лицо, пот градом. По тому, как к нему относились немцы, можно было думать, что каким-то чутьем они догадывались, что этот милый и вежливый забавник — все-таки не простой, а какой-то особенный человек, герр доктор исключительной породы. Танцевал он плохо, немного смешно, — и все-таки был первым и центром уважительного внимания, — как был им всегда в любом обществе: ученом, философском, литературном, во всепьянейшей компании. Второго плана для Белого не существовало, в статисты он не годился.

Хуже танцев было то, что Белый очень много пил, что было для него убийственным. Никто его не удерживал, скорее — его поощряли. Пил всегда в компании — русских, немцев, старых приятелей, сегодняшних знакомых, — для него каждый человек был любопытен и с каждым было о чем говорить. Он всегда кем-нибудь восхищался, — приписывая ему собственные черты и духовные интересы. И думал или хотел себя убедить, что в пьяном тумане и звуках джаз-банда постигнет «буревую стихию в столбах громового огня», узрит «потоки космических дней»[39] и «спирали планет»[40]. Утром, отрезвев, сомневался и грустил, ругал себя за слабость, мечтал вырваться и уехать — или запереться в четырех стенах и неотрывно работать над своей «Эпопеей».

Мы жили вместе в маленьком пансионе[41] — в смежных комнатах. Узаконился обычай, что каждую ночь, часа в два, Белый, возвращаясь из кабачков и дансингов, приходил ко мне и садился в кресло у моей постели — поговорить. Если он был сильно пьян и бормотал что-нибудь несвязное и маловразумительное, я продолжал читать лежа; слушать его было тяжело, а выговориться ему всегда было нужно, без этого он не засыпал. Понемногу он переставал бормотать, успокаивался и уходил, неизменно извиняясь, что вот пришел, пьяный, нарушать чужой покой. Но иногда он был только в легком возбуждении — и тогда говорить с ним было приятно и интересно, потому что связная речь Белого редко могла быть незначительной: светлый и блестящий ум никогда его не покидал.

Всем была известна придуманная им влюбленность во «фрейлейн Марихен», дочь хозяина кабачка, где он проводил много вечеров и наливался пивом. Вероятно, эта фрейлейн Марихен думала и рассчитывала, что герр доктор, не сводящий с нее глаз, в конце концов на ней женится. Пока он был полезен как постоянный и нерасчетливый клиент, охотно плативший и за других, всегда собиравший вокруг себя компанию постоянных и случайных посетителей.

К фрейлейн Марихен он относился с величайшей почтительностью и, конечно, никогда себе не позволял, по доброму обычаю немцев, не только сажать ее на колени, но и заигрывать с ней походя. Я видал эту немецкую девицу, ничем не отличную от сотен других, смазливую и сообразительную; в присутствии Белого она держала себя со всеми очень строго; возможно, что он ей нравился.

И вот, в ночных наших беседах, — причем говорил почти исключительно он, а мне оставалось только слушать, — он втолковывал мне, что фрейлейн Марихен — явление исключительное и неповторимое, истинное чудо, что он относится к ней чисто платонически и не позволяет себе ни единой вольной мысли, что фрейлейн Марихен есть, в сущности, воплощение высокой творческой идеи вечно созидающего духа, который избрал ее своим сосудом, что этого не понимают и что ему

самому приходится бороться с собой и побеждать в себе земное чувство, слишком оскорбительное для фрейлейн Марихен.

Иногда я вставлял слово, спрашивал его, какой приблизительно доход он доставляет кабачку и правда ли, что фрейлейн Марихен просила его купить пальто для брата или какого-то родственника? Пальто он не отрицал, но бескорыстие фрейлейн Марихен утверждал без колебаний: его подарки ей ничтожны, чаще всего цветы, иногда духи, которые она, девушка бедная и с тонким вкусом, искренно, по-детски любит. Дарить ей что-нибудь ценное значило бы — оскорблять ее! Ее отец настолько бессребреник, что постоянно скидывает с его счета мелочь, округляя цифру. Много раз оказывал ему кредит и даже обижался, когда он на другой же день расплачивался за потребленное пиво, между прочим, — отличного качества.

— Надеюсь, все-таки, что вы на ней не женитесь?

— Я — на фрейлейн Марихен! Я, потрепанный, ничтожный, несвежий человек? Если бы даже она захотела этого, — а это немыслимо! — я никогда не посмел бы мечтать! Я бы убежал, исчез, растворился!

Фрейлейн Марихен, забавлявшая русских берлинцев, была такой же больной выдумкой Белого, как и фокстрот, джимми, пиво, — его попыткой опрокинуть в себе идею «путей посвящения», — своего рода богоборчеством. Той же породы было его приятельство с немцами последнего разбора, какими-то курортными спекулянтами, крашеными женщинами, юными дурачками, в которых он открывал невероятные таланты. Внешне погружаясь с головой в последнюю пошлость, — он немедленно всплывал на поверхность внутренне незапятнанным и ничего не мог с собой поделать. Он был слишком большим человеком, чтобы смешиваться с толпой людей маленьких и с ней по-настоящему слиться и сродниться. Мало того, — он так все собой освещал, что пошлость вокруг него таяла, а люди словно бы становились лучше и выше. Звучащие в нем колокола Парсифаля неизменно заглушали джаз-банд! Не нужно забывать, что Андрей Белый был не просто поэтом, способным стать ничтожным среди детей ничтожных мира[42], — он обладал еще необыкновенным умственным багажом. Никакой камень, умышленно прихваченный, не помогал ему погрузиться на дно и утонуть.

Он мог бы, конечно, спиться и расслабить мозг и душу. Так бы, вероятно, и случилось, если бы он остался за границей. Здоровое чувство подсказало ему, что пора бежать — и он почти внезапно уехал в Россию, отдав Берлину последнюю дань: его погрузили в поезд совершенно пьяным.

Как и чем он жил в России в последние годы — мы знаем только по отрывочным рассказам приезжавших сюда писателей. Нет смысла передавать слухи, это уже не область «воспоминаний». Его литературные работы этого периода немногочисленны и мало прибавили к прежнему его литературному наследству. Нельзя не пожалеть, что его роман «Москва» остался незаконченным. Несомненен его возврат к антропософии, — за что он расплатился отчуждением и, по-видимому, опалой.

Пишут, что Белый умер от артериосклероза; спросите медиков — они пожмут плечами: это не определение причины смерти. Не проще ли сказать: он физически истратился и устал жить. Истратился ли он и духовно — мы не знаем.

Его творчество изучают и будут изучать. Он — кусок истории русской литературы и сам — история. Умер один из замечательнейших людей нашего поколения.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.
Не смейтесь над мертвым поэтом,
Снесите ему венок.
. . . .
Пожалейте, придите;
Навстречу венкам метнусь.
О любите меня, полюбите –
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь –
Вернусь...[43]

Послесловие

Михаил Андреевич Осоргин (наст. фамилия: Ильин; 1878–1942) – прозаик, мемуарист, литературный критик, журналист, переводчик. Родился в Перми и там же в 1897 г. окончил гимназию; продолжил учебу на юридическом факультете Московского университета (до 1902 г.). В 1904 г. вступил в партию эсеров; после ареста (в 1905 г.), непродолжительной ссылки и временного освобождения под залог нелегально выехал из России. С 1906 г. жил в эмиграции (Италия, Франция), сотрудничал с «Русскими ведомостями» (с 1908 г.) и «Вестником Европы» (с 1909 г.). После возвращения в Россию (летом 1916 г.) продолжал сначала работать корреспондентом «Русских ведомостей», потом – в «левых» изданиях и издательствах. Он принимает активное участие в литературной жизни послереволюционной Москвы: в 1918 г. становится одним из инициаторов создания и пайщиком Книжной лавки писателей (книготоргового кооператива), одним из организаторов Всероссийского союза журналистов (первый председатель), Московского отделения Всероссийского союза писателей (вице-председатель). На этот период приходится его знакомство с Андреем Белым (в сентябре 1916 г.) и частое общение.

В 1921 г. Осоргина снова арестовывают, а в 1922 г. высылают: дают возможность эмигрировать из России на знаменитом «философском пароходе».

В Берлине Осоргин становится одним из учредителей (вместе с Андреем Белым и другими литераторами) берлинского Клуба писателей и редактором литературного отдела газеты «Дни», где Белый печатается. К тому же они живут в одном пансионе, ходят в одни и те же кафе и уже потому много общаются. Принятое Белым решение вернуться в 1923 г. в Россию Осоргин, сохранявший российское гражданство до 1937 г. и неоднократно утверждавший, что по своей воле никогда бы из России не уехал, встретил с пониманием и даже с одобрением: «<...> возврат в Россию должен быть мечтой каждого! <...> Прав Белый, желая вернуться в Россию, предпочитая плохо жить там, чем хорошо здесь. Прав он, стократ прав, в Россию веря, ее, и нынешнюю, любя и ценя, угадывая в ней новое, важное, живое. Пусть он прав, отвергая берлинскую и иную эмигрантскую Россию, лишенную творческих сил, “прагердильную”, застывшую. Он должен ехать. Я прибавлю:

многие сделают лучше, если уедут и избегнут перспективы моральной гибели. Никто не смеет ни его, ни других за это осудить»[i].

Однако предотъездное поведение Белого и, в частности, статью «О России в России и о России в Берлине» (Беседа. 1923. № 1), в которой писатель сатирически и уничижительно рисовал атмосферу русского Берлина, «лишая живого облика огулом всех, с кем он жил здесь, кто не столь счастлив, чтобы иметь возможность за ним последовать», Осоргин подверг жесткой критике:

> «Но как может большой и серьезный писатель ломать перья, нападая на “либеральные лозунги публицистов и присяжных поверенных”, на вышедшие давно в тираж простоватые, старомодные идеи “толстых журналов” и на прочие – по его выражению – “констатации”! Не слишком ли дешево это для Андрея Белого – стрелять из тяжелого орудия по бледной тени, уже расстрелянной бесчисленными плевками литературных мальчиков и молодчиков <...>. Андрей Белый должен знать, что не все и не всегда и не всякий имеет право говорить. Его статья, помещенная в журнале “Беседа”, издающемся с явным расчетом на ввоз в Россию (аполитичность, новое правописание, состав редакции), не только там прочтется, но и будет перепечатана с особой охотой. Но <...> даже эти мои строки в Россию попасть не могут. Учел ли это Андрей Белый, сторонник свободы печати? Или, отрясая прах улиц Берлина, он, как прах, отрясает и оптом всю зарубежную Россию, всех, с кем сидел в “Прагердиле”, и всех, чьи думы, сомнения и выводы остались ему неизвестными, чьих адресов он не знал?»

Эту публикацию Белого Осоргин расценил как предательство: «Статья Белого напечатана, дело сделано, исправить уже нельзя. Но перед ним – Россия. Будет ли и там он говорить тем же тоном, стреляя по безоружному противнику, а заодно убивая и друга?» Но подчеркивал, что «статья его искренна и нужна», что «ни единой тени не должна она бросить на личность Белого, чистого, хорошего, честного писателя». Более того, Осоргин прозорливо предполагал, что Белому в Советской России придется не сладко: «А что, как опять потребуется “атмосфера”?» и что он вновь захочет вернуться в оклеветанную им эмигрантскую среду. В таком случае он готов был даровать Белому прощение, приятие и понимание:

> «<...> объятья друзей его будут ему так же открыты, как были до сих пор открыты четырехстворчатые двери “Прагердиле”. Эти друзья слишком знают Белого, чтобы обвинить его в злом умысле нанести им обиду или в дурных намерениях. И слишком его ценят и любят. Большими душевными страданиями можно оправдать большую ошибку большого писателя»[ii].

Осенью 1923 г. Осоргин, как и Белый, покидает Германию. Он переезжает в Париж, где много пишет, публикуется, становится сотрудником авторитетнейшей эмигрантской газеты «Последние новости», в которой ведет 17 тематических рубрик, в том числе рубрику «Встречи», в которой помещает цикл своих мемуарных

[i] *Осоргин Мих.* Описка Андрея Белого // Последние новости. 1923. 2 сентября.
[ii] Там же.

очерков. На страницах «Последних новостей» напечатал он и свои отклики на смерть Андрея Белого.

Заметка «Памяти Андрея Белого» появилась 12 января 1934 г. и была первым некрологом Белому в эмигрантской печати. В том же номере газеты на первой странице под заголовком «Умер Андрей Белый» была помещена фотография писателя периода берлинской эмиграции с подписью «8 января в Москве скончался известный писатель Андрей Белый (Б.Н. Бугаев)» и отсылкой к некрологу Осоргина на следующей странице.

Осоргин закончил некролог предположением о том, что смерть писателя вызовет «поток о нем воспоминаний». Следуя собственному совету, он сразу же приступил к работе, и уже на следующий день, 13 января, первая часть мемуарного очерка «Андрей Белый» была готова. Осоргин изначально запланировал публикацию сразу в двух местах: в парижской газете «Последние новости» (в его цикле «Встречи»), о чем переговорил с редактором Александром Абрамовичем Поляковым (1879–1971), и в рижской газете «Сегодня», о чем письмом из Парижа от 13 января 1934 г. сообщил редактору «Сегодня» Михаилу Семеновичу Мильруду (1883–1942):

> «Дорогой Михаил Семенович, посылаю Вам очередные “Встречи” – воспоминания об Андрее Белом. Эта статья будет напечатана в “Посл<едних> Новостях” в *четверг* – 18 янв<аря>. Если хотите напечатать ее *не раньше* этого дня, а лучше в тот же день, то она – к Вашим услугам. С А. Поляковым я об этом договорился, и день фиксирован.
>
> Вторая о Белом будет напечатана *в воскресенье* 21 января. На случай пошлю Вам и ее дня через два с аналогичным условием»[i].

Согласно договоренностям Осоргина с редактором «Последних новостей» А.А. Поляковым, первая часть очерка «Андрей Белый» вышла 18 января. И одновременно, тоже 18 января – согласно договоренностям с М.С. Мильрудом, – этот же текст под заглавием «Встречи с Андреем Белым» был опубликован в «Сегодня». А вот с публикацией второй части очерка произошли небольшие накладки, причем как с парижской, так и с рижской стороны. В «Последних новостях» в обещанный срок продолжения не последовало; оно – под заглавием «Белый в Берлине» – появилось лишь 25 января. Зато в «Сегодня», как и просил Осоргин Мильруда, вторая часть очерка – под заглавием «Танцующий Белый» – появилась 21 января, то есть с опережением, что в Париже не приветствовалось. К тому же выразительный заголовок был вставлен редакцией «Сегодня» без согласования с Осоргиным, посчитавшим, что подобная фривольность является оскорблением памяти писателя, им глубоко почитаемого. «Нельзя было статью о Белом, только что скончавшемся, озаглавливать “Танцующий Белый”! – пенял Осоргин Мильруду в письме от 15 февраля 1934 г., – Силу “шикарных” заголовков я понимаю, – но должны быть границы». В ответном послании (23 февраля) Мильруд сообщал, что указания Осоргина «приняты к сведению»[ii], однако это, естественно, касалось уже последующих материалов.

---

[i] *Равдин Б.Н., Флейшман Л.С., Абызов Ю.И.* Русская печать в Риге: Из истории газеты «Сегодня» 1930-х годов. Кн. 3. Stanford, 1997. С. 430.

[ii] Там же. С. 431.

В данной публикации тексты М.А. Осоргина воспроизводятся по газете «Последние новости» 12 января (№ 4678), 18 января (№ 4684), 25 января (№ 4691) 1934 г.

---

[1] Белый ездил по Европе не с собственными выступлениями, а вслед за Р. Штейнером, слушая его курсы лекций и занимаясь под его руководством оккультной практикой.

[2] Театральный отдел Наркомпроса.

[3] Ср. сообщение Белого в письме к Е.Г. Лундбергу от 25 апреля 1921 г. о своих творческих планах, связанных с выездом в Германию: «Еду работать над “Эпопеей” (10-томная серия романов)» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 206. Прим. 7 к письму № 107). «Многотомную эпопею личной жизни» Белый спланировал и начал еще в Дорнахе, в 1915 г. См. публикацию плана романа-эпопеи в 7 частях «Моя жизнь» (3-я часть трилогии «Восток или Запад»): *Лавров А.В.* Автограф романа Андрея Белого «Котик Летаев» // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1994 год. СПб., 1998. С. 351. Своеобразным вступлением к этому нереализованному проекту стала публикация «“Я”. Эпопея. Т. 1. Записки чудака. Ч. 1. Возвращение на родину» в «Записках мечтателей» (1919. № 1. С. 11–71; 1921. № 2/3. С. 7–95). Частями «Эпопеи» стали также повести «Котик Летаев» и «Крещеный китаец».

[4] Имеется в виду возбужденное весной 1931 г. дело о «контрреволюционной организации антропософов», по которому были арестованы люди из ближайшего окружения писателя: К.Н. Васильева (вскоре ставшая женой Белого), П.Н. Зайцев, А.С. Петровский и др. – всего 27 человек.

[5] Белый написал ряд заявлений в ОГПУ, добился встречи и разговора с Я.С. Аграновым, в результате чего были освобождены К.Н. Васильева и ее муж П.Н. Васильев.

[6] Полемика с определением, данным в газете «Правда» 11 января 1934 г.

[7] И.-В. Гете умер в возрасте 82 лет. В 1976 г. он занял при веймарском дворе герцога Карла-Августа должность тайного советника, а вскоре – министра.

[8] Имеется в виду жизнь Белого в подмосковном поселке Кучино.

[9] Летом 1932 г. Белый продал значительную часть своего архива в Государственный литературный музей, организацией и комплектацией которого в это время занимался его первый директор В.Д. Бонч-Бруевич. Это позволило Белому заплатить вступительный взнос в жилищно-строительный кооператив писателей. Заметка о продаже архива Белого появилась в газете «Вечерняя Москва» (1933. 23 августа. № 193 (2923). С. 3).

[10] Из стихотворения «Матери» («Я вышел из бедной могилы...», 1907). В сб. «Стихотворения» (Берлин; Пб.; М.: Издательство З.И. Гржебина, 1923) было включено Белым в поэму «Мертвец» (Ч. 12. С. 345).

[11] Из стихотворения «Христиану Моргенштерну» («От Ницше – Ты, от Соловьева – Я...»; 1918), заключающего сборник «Звезда» (Пб., 1922. С. 70) и также вошедшего в сб. «Стихотворения» (1923. Раздел «Звезда». С. 468). Осоргин цитирует последнюю строфу: «От Ницше – Ты, от Соловьева – Я; / Отныне будем в космосе безмерном: / Ты – первозванным светом бытия, / Я – белым “Христианом Моргенштерном”». В ней обыгрывается как псевдоним автора, Андрея Белого, так и фамилия немецкого поэта-антропософа, разъясненная Белым в примечании к стихотворению с таким же названием, открывающим сборник «Звезда»: «“Моргенштерн” значит “Звезда утра”». С Моргенштерном Белый встретился 31 декабря 1913 г. в Лейпциге на лекции Р. Штейнера за несколько месяцев до смерти поэта (в 1914 г.).

[12] Осоргин окончил юридический факультет Московского университета в 1902 г., т.е. на год раньше, чем Белый завершил обучение на физико-математическом факультете.

[13] В *РД* в записи за сентябрь 1916 г. Белый отмечает «среди новых знакомств» и знакомство с Осоргиным (Л. 81).

[14] В 1905 г. Осоргин был арестован за участие в революционной деятельности (принадлежал к левому крылу партии эсеров); вскоре покинул Россию; вернулся в 1916 г.

[15] Имеются в виду опубликованные в «Русских ведомостях» 13 ноября, 4 и 25 декабря 1916 г. «Отрывки из детских воспоминаний (Из повести “Котик Летаев”)».

[16] Искусствовед, литературовед, художественный критик и переводчик Абрам Маркович Эфрос (1888–1954) с 1911 по 1917 гг. вел в газете «Русские ведомости» художественно-критический отдел. Согласно воспоминаниям М.Ф. Кокошкиной, эту престижную для Белого публикацию организовал ее муж, известный кадет Ф.Ф. Кокошкин, являвшийся членом товарищества «Русских ведомостей» и писавший в газету политические обзоры и передовицы. См.: *Спивак М.Л.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006. С. 144–153. Сам Осоргин в это время также был корреспондентом «Русских ведомостей».

[17] Цитируются 2-я и 4-я строфы стихотворения «На горах» («Горы в брачных венцах...»; 1903).

[18] Из стихотворения «Отпевание» (1906). Цитируется редакция, вошедшая в сб. «Стихотворения» (1923) как 2-я часть поэмы «Мертвец» (1923. С. 332–333).

[19] После окончания в 1903 г. естественного отделения физико-математического факультета Московского университета Белый в 1904 г. начал учиться на историко-филологическом факультете, но курс не закончил: в сентябре 1906 г. подал заявление об увольнении из числа студентов.

[20] Московский Клуб писателей был создан в марте 1917 г. Как вспоминал Осоргин, клуб «образовался в дни войны, но до революции; я вступил в него по возвращении из-за границы <...>. Клуб был тогда очень замкнутым – без жен, мужей и гостей. Прием в члены производился только единогласно. Никакого президиума и правления, помнится, не было, а был секретарь (в то время один из младших – Вл. Лидин). Из членов помню Ив. Бунина, М.О. Гершензона, Б. Зайцева, Г. Чулкова, Ал. Толстого, Андрея Белого, Вяч. Иванова, П. Муратова, Вл.Ив. Немировича-Данченко, Н.А. Бердяева, Вл. Лидина, Бор. Грифцова, И.А. Новикова, Ал. Койранского, Нат. Крандиевскую (жену А. Толстого), ее мать – Ан.Ром. Крандиевскую, старую беллетристку. По обыкновению, – многих забываю. <...> Большинство – беллетристы, затем философы, историки и критики литературы, допускались и публицисты, но были, кажется, только двое: И.В. Жилкин и Е.Д. Кускова, в защиту кандидатуры которой было сообщено, что она в свое время согрешила беллетристическим произведением. <...>. Еще, кажется, Ник. Эфрос, тогда попавший в художественные критики “Русских ведомостей”. Но гости все-таки не допускались» (*Осоргин М.* Валерий Брюсов. Клуб писателей // *Осоргин М.А.* Воспоминания. Повесть о сестре / Сост., вступ. статья и прим. О.Г. Ласунского. Воронеж, 1992. С. 211–212 (републикация очерка из газеты «Последние новости». 1933. 29 октября). К марту 1917 г. Белый относит и период интенсивного общения с Осоргиным: «<...> организация Клуба писателей; общение с Бальмонтом, Зайцевым, Б.А. Кистяковским, Буниным, Вересаевым, Соболем, Лидиным, Шпеттом, и рядом писателей; частые беседы с Жилкиным и Осоргиным» (*РД*. Л. 86–86 об.).

[21] Имеется в виду дом писательницы Анастасии Романовны Крандиевской (1868–1938) и ее мужа Василия Афанасьевича Крандиевского (1851–1928), издателя-редактора журнала «Бюллетени литературы и жизни» (1909–1924) – родителей Н.В. Крандиевской-Толстой, жены А.Н. Толстого. Крандиевские жили в Хлебном переулке, д. 1, в том же здании,

где находилась редакция журнала «Бюллетени литературы и жизни» и где первоначально проходили заседания Московского клуба писателей. См.: *Толстая Е.* «Деготь или мед». Алексей Н. Толстой как неизвестный писатель (1917–1923). М., 2006. С. 37, 39–40.

[22] Видимо, имеется в виду заседание Клуба писателей 29 января 1918 г. под председательством И.А. Новикова, на котором был заслушан «доклад А. Белого о Вяч. Иванове, вызвавший “оживленный обмен мнениями”». Среди участников заседания: В.А. Крандиевский, М.А. Осоргин, В.И. Иванов и др. (*Толстая Е.* «Деготь или мед»... С. 26). Ср.: «Клуб собирался на частных квартирах – раньше у Ан. Ром. Крандиевской, – и там необычайный туман пускали Вяч. Иванов и Андрей Белый, и вообще были заправские “прения” и пили чай с печеньем. Приятнее всего заседали у Ал. Толстого, – уже с пельменями и обильной “подливкой” <...>. Под конец, уже в революционное время, стали собираться в Художественном театре у Вл. Ив. Немировича-Данченко в кабинете; к тому времени состав клуба увеличился <...>» (*Осоргин М.А.* Валерий Брюсов. Клуб писателей. С. 212).

[23] После революции Осоргин жил в Чернышевском переулке, неподалеку от находившейся в Леонтьевском переулке Книжной лавки писателей, в организации и работе которой принимал активнейшее участие.

[24] Гетеанум, на строительстве которого Белый работал в 1914–1916 гг., возводился по проекту Р. Штейнера. Здание было в основном деревянным. Белый работал резчиком по дереву на архитравах, названных по именам планет (Юпитер, Марс и т.д.).

[25] Ср.: «Мы – выстроим новое здание: новой любви, совершенного мира и братства народов!» – из статьи Белого «Гетеанум» (Дни. 1923. 27 февраля; см. также републикацию Томаса Байера: Andrej Belyj Society Newsletter. 1984. № 3. P. 18–27).

[26] Пожар, уничтоживший здание, начался в ночь с 31 декабря 1922 г. и продолжался 1 января 1923 г.

[27] Образ из оперы-мистерии Р. Вагнера «Парсифаль» (1882). См.: *Вагнер Р.* Парсифаль (либретто) / Пер. Р.М. Чешихина. М.: Издательство П. Юргенсона, 1899; *Вагнер Р.* Эскиз драмы-мистерии «Парсифаль» / Пер., предисл. В.П. Коломийцова. СПб.: Издание концертов А. Зилоти, 1909.

[28] Ср. предисловие Белого к разделу «После звезды» в сб. «Стихотворения» (1923): «Меня влечет теперь к иным темам: музыка “пути посвящения” сменилась для меня музыкой фокстрота, бостона и джимми; хороший джазбэнд предпочитаю я колоколам Парсиваля; я хотел бы в будущем писать соответствующие фокстроту стихи» (С. 471).

[29] См. некролог, подписанный Б. Пастернаком, Б. Пильняком, Г. Санниковым (Известия. 1934. 9 января), в наст. изд.

[30] *Андрей Белый.* Петербург. Ч. 1–2. Берлин: Эпоха, 1922.

[31] «Дни» – ежедневная газета, выходившая в 1922–1925 гг. в Берлине, затем до 1928 г. в Париже. В берлинских «Днях» Осоргин был редактором литературного отдела. Белый сотрудничал с «Днями» с октября 1922 г. Обзор его публикаций периода эмиграции см.: *Beyer Thomas R.* Andrej Belyj: The Berlin Years 1921 –1923 // Zeitschrift für Slavische Philologie. Bd. 50. H. 1. S. 90–142. Очерк «Гетеанум» см.: Дни. 1923. 27 февраля. «Мысли о Петеньке» – не обнаружены; вероятно, ошибка мемуариста (возможно, подразумевался рассказ «Томочка-песик», опубликованный в «Днях» 24 декабря 1922 г.).

[32] «Сменой вех» назывались выпущенный в Праге в 1921 г. сборник статей и еженедельный журнал, издававшийся в Париже в 1921–1922 г. Под сменой вех предполагался пересмотр отношения эмигрантской интеллигенции к большевикам и принятие революции. Идеологи «сменовеховства» (Ю.В. Ключников, С.С. Лукьянов, Ю.Н. Потехин, Н.В. Устрялов и др.) агитировали за возвращение в Советскую Россию. Движение негласно поддер-

живалось и финансировалось Кремлем. В Берлине «сменовеховцы» выпускали газету «Накануне» (1922–1924; ред. Ю.В. Ключников); редактором «Литературного приложения» к газете «Накануне» был А.Н. Толстой. См. подробнее: *Толстая Е.* Андрей Белый и «серо-бурое политиканство»: Неизвестное письмо Алексею Толстому из фондов Государственного музея А.С. Пушкина // Андрей Белый в изменяющемся мире. М., 2008. С. 109–124.

[33] Ср. заметку «Вместо предисловия», предваряющую сб. «Стихотворения» (1923): «<...> я постарался объединить стихи в циклы и расположить эти циклы в их взаимной последовательности так, чтобы все, здесь собранное, явило вид стройного дерева: поэмы души, поэтической идеологии. Все, мной написанное, – роман в стихах: содержание же романа – мое искание правды, с его достижениями и падениями» (С. 9).

[34] Сборник «Стихотворения» был подготовлен в 1922 г. и выпущен в первой половине 1923 г. Его разделы и подразделы названы так же, как и ранее выходившие книги Белого: «Золото в лазури», «Пепел», «Урна», «Звезда» и т.д. Исключение составляет последний раздел «После звезды»: в него вошли стихотворения из сб. «После разлуки. Берлинский песенник» (Пб.; Берлин: Эпоха, 1922). См. факсимильное издание гржебинского сборника – М., 1988; там же (С. 531–544) статья А.В. Лаврова «О книге Андрея Белого “Стихотворения” (1923)».

[35] Из стихотворения «Родина» («Те же росы, откосы, туманы...»; 1908). В сб. «Стихотворения» (1923) воспроизведено как 10-я часть поэмы «Железная дорога» (С. 128).

[36] Полностью цитируется предисловие к разделу «После звезды» в сб. «Стихотворения» (1923. С. 471).

[37] «Маленький балаган на маленькой планете “Земля”» – написано в июне 1922 г. в Цоссене, берлинском предместье, где жил Белый; последнее стихотворение в сб. «После разлуки: Берлинский песенник» (1922) и последнее стихотворение в сб. «Стихотворения» (1923).

[38] См. цитируемое «пояснение» в сб. «Стихотворения» (1923). С. 506.

[39] Из стихотворения «Родине» («Рыдай, буревая стихия...»; 1917).

[40] Из стихотворения «Антропософам» («Мы взметаем в мирах неразвеянный прах...»; 1913).

[41] С сентября 1922 г. Белый жил в берлинском пансионе Крампе (Victoria-Luize-Platz, 9). См. запись за октябрь 1922 г. в *РД*: «<...> Являются в Берлин: Бердяев, Степпун, Ильин, Пастернак, Лидин, Муратовы, Осоргины, Айхенвальд, Маяковский; душно от людей» (Л. 114 об.). Среди упомянутых: Иван Александрович Ильин (1883–1954), философ; Павел Павлович Муратов (1881–1950), искусствовед, переводчик, с женой Екатериной Сергеевной Муратовой (урожд. Урениус, в первом браке Грифцовой; 1888–1964); Осоргин М.А. с женой Рахилью Григорьевной Осоргиной-Гинцберг (1885–1957); Юрий Исаевич Айхенвальд (1872–1928), литературный критик.

[42] Аллюзия на стихотворение А.С. Пушкина «Поэт» («Пока не требует поэта...»; 1827).

[43] Из стихотворения «Друзьям» («Золотому блеску верил...»; 1907). В сборнике «Пепел»: «Снесите ему цветок». Но в сборнике «Стихотворения», выпущенном в 1923 г. в «Издательстве З.И. Гржебина» (которым, очевидно, пользовался мемуарист) была допущена опечатка, и вторая строфа выглядела странно: «Не смейтесь над мертвым поэтом, / Снесите ему венок./ На кресте и зимой и летом / Мой фарфоровый бьется венок». Осоргин, по-видимому, обнаружил повтор, а потому не стал приводить оставшиеся строки.

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Возрождение (Париж).
1934. 13 января.

8 января умер от артериосклероза Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев). Было бы наивно в краткой заметке пытаться дать хоть сколько-нибудь даже приблизительную характеристику его деятельности. То был человек, отмеченный не талантом, не дарованием, но несомненной гениальностью. Многие обстоятельства, личные и общественно-литературные, помешали ему во всей полноте развернуть свои силы. Вечно мятущийся, вечно взволнованный, до самых глубин души своей, не осуществил он всего того, что мог бы осуществить человек, одаренный природой так щедро, как был одарен Андрей Белый. Все им сделанное замечательно, но печать спешности, недовершенности, порой срыва, лежала почти на всем. Быть может, именно душевные силы, как бы бьющие через край физического состава его, были тому причиной. Со всем тем — литературное наследие Белого огромно.

Сын известного математика Николая Васильевича Бугаева, он родился в 1880 году в Москве, с которой в конечном счете связана его беспокойная, отчасти скитальческая жизнь. В Москве, в тяжких условиях подсоветской писательской жизни, ему было суждено и умереть. Окончив Поливановскую гимназию, он поступил на естественно-математический факультет Московского университета[1], по окончании которого, уже в 1904 году, перешел на историко-филологический[2], впрочем, им не оконченный. Его литературная деятельность началась в 1901 году «Драматическою Симфонией»[3], которою он сразу занял одно из виднейших мест в рядах модернистов. Отчасти ему они и обязаны своим влиянием и значением. Его стихотворные сборники («Золото в лазури», «Пепел», «Урна», «Звезда», «После разлуки»), его поэмы («Королевна и рыцари», «Христос Воскресе», «Первое свидание»), четыре его прозаические симфонии, его романы («Серебряный голубь», «Петербург», «Котик Летаев», «Московский чудак», «Москва под ударом»), не одинаковые по качеству, одинаково примечательны исключительным своеобразием стиля и чрезвычайной сложностью задач, которые он себе ставил. С той же оригинальностью в многочисленных статьях и книгах критического, философского и теоретического содержания пытался он обосновать символизм не только как литературную школу, но и как последовательное миросозерцание. В конечном счете, при всех своих колебаниях, только он, вместе с Блоком и Вячеславом Ивановым, может быть назван действительным символистом, в отличие от своих старших литературных соратников, к которым название декадентов иль модернистов подходит более.

Прямым или косвенным влиянием Андрея Белого, так или иначе, отмечена вся живая русская литература, начавшая свое бытие примерно после 1905 года[4]. Мо-

жет быть, не менее, чем его книги, оказалась влиятельна самая личность этого человека, до крайности сложного, очень часто не уживавшегося с общежитейским укладом, но таившего в себе обаяние единственное и незабываемое, лишь ему одному присущее. Его смерть — тяжелое горе для тех, кто имел счастье (и порой тягость) знать его близко, кто умел любить его. Нечего и говорить, что она же невознаградимая утрата для всей русской литературы.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ: ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ[5]

Возрождение (Париж).
1934. 8, 13, 15 февраля.

В 1922 году, в Берлине, даря мне новое издание «Петербурга»[6], Андрей Белый на нем надписал: «С чувством конкретной любви[7] и связи сквозь всю жизнь».

Девятнадцать лет[8] судьба нас сталкивала на разных путях: идейных, литературных, житейских. Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал. Я уже не принадлежал к тому литературному поколению, к которому принадлежал он, но я застал это поколение еще молодым и деятельным. Многие люди и обстоятельства, сыгравшие заметную роль в жизни Белого, оказались таковы же и по отношению ко мне. Словом, случалось мне наблюдать его близко, и я чувствую не только право, но и обязанность записать хоть малую часть того, что знаю об этом человеке: об одном из самых замечательных людей литературной эпохи, которая ныне, с его кончиной, еще отчетливей отодвинулась в прошлое.

История не непогрешима. Но я знаю, что при всех заблуждениях ей порой удается выяснять и устанавливать истину. Поэтому я люблю историю и верю в нее.

По разным причинам я не могу сейчас рассказать о Белом все, что о нем знаю и думаю. Но и сокращенным рассказом хотел бы я не послужить любопытству сегодняшнего дня, а сохранить несколько истинных черт для самой истории, которая уже занимается, а со временем еще более пристально займется всею эпохою символизма и самим Андреем Белым. Это желание понуждает меня быть сугубо правдивым. Я долгом своим (не легким) считаю — исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова: то, что Андрей Белый так ненавидел сам и что именно он научил меня ненавидеть. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Они же и безнравственны — я в том глубоко уверен, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть нам лучшее, что в нем было. Истина не может быть низкой, ибо нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвышающему обману»[9] хочется противопоставить *нас возвышающую правду:* надо учиться чтить замечательного человека со всеми его слабостями и порой любить его даже за самые эти слабости. Гений не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания.

Мне хотелось бы дать нечто более широкое, чем рассказ о личных встречах с Андреем Белым. Тем не менее, это будут *воспоминания*, потому что во всем, до мелочей, я буду основываться только на собственных наблюдениях и на прямых показаниях действующих лиц, прежде всего – самого Белого. Все сведения, которые мне случалось получить из вторых или третьих рук, мною отстранены.

* * *

Меня еще и на свете не было, когда в Москве, на Пречистенском бульваре, с гувернанткой и песиком, стал являться необыкновенно хорошенький мальчик – Боря Бугаев, сын профессора математики, известного Европе учеными трудами, московским студентам – феноменальной рассеянностью и анекдотическими чудачествами, а первоклассникам-гимназистам – учебником арифметики[10], по которому я и сам учился впоследствии. Золотые кудри падали мальчику на плечи, а глаза у него были синие. Золотой палочкой по золотой дорожке катал он золотой обруч. Так вечность, «дитя играющее»[11], катит золотой круг солнца. С образом солнца связан младенческий образ Белого.

Профессор Бугаев в ту пору говаривал: – Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня. – За этими шутливыми словами скрывалась нешуточная семейная драма. Профессор был не только чудак, но и сущий урод лицом. Однажды в концерте (уже в начале 90-х годов[12]) Н.Я. Брюсова[13], сестра поэта, толкнув локтем Андрея Белого, спросила его: – Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто эта обезьяна? – Это папа, – отвечал Андрей Белый с тою любезнейшей, широчайшей улыбкой совершенного удовольствия, чуть не счастья, которою он любил отвечать на неприятные вопросы[14].

Его мать была очень хороша собой. На каком-то чествовании Тургенева[15] возле знаменитого писателя сочли нужным посадить первых московских красавиц: то были Екатерина Павловна Леткова, впоследствии Султанова[16], сотрудница «Русского Богатства»[17], и Александра Дмитриевна Бугаева. Они сидят рядом и на известной картине К.Е. Маковского «Боярская свадьба», где с Александры Дмитриевны писана сама молодая, а с Екатерины Павловны – одна из дружек ее. Отца Белого я никогда не видел, а мать застал уже пожилою, полною женщиной со следами несомненной красоты и с повадками записной кокетки. Однажды, заехав случайно с одною родственницей к портнихе, встретил я Александру Дмитриевну. Приподымая широкую тафтяную юбку концами пальчиков, она вертелась пред зеркалом, приговаривая: – А право же, я ведь еще хоть куда! – В 1912 г. я имел случай наблюдать, что сердце ее не чуждо еще волнений[18].

Физическому несходству супругов отвечало расхождение внутреннее. Ни умом, ни уровнем интересов друг другу они не подходили. Ситуация была очень обыкновенная: безобразный, неряшливый, погруженный в абстракции муж – и красивая, кокетливая жена, обуреваемая самыми «земными» желаниями. Отсюда – столь же обыкновенный в таких случаях разлад, изо дня в день проявлявшийся в бурных ссорах по всякому поводу. Боря при них присутствовал.

Белый не раз откровенно говорил об автобиографичности «Котика Летаева». Однако, вчитываясь в позднюю прозу Белого, мы без труда открываем, что и

в «Петербурге», и в «Котике Летаеве», и в «Преступлении Николая Летаева», и в «Крещеном китайце», и в «Московском чудаке», и в «Москве под ударом» завязкою служит одна и та же семейная ситуация[19]. Все это — варианты драмы, некогда разыгрывавшейся в семействе Бугаевых. Не только конфигурация действующих лиц, но и самые образы отца, матери и сына повторяются до мельчайших подробностей. Тождеству Аблеуховых, Летаевых и Коробкиных мною была посвящена особая статья в 31-й кн. «Современных Записок»[20]. Из этого тождества мною были сделаны некоторые литературные и психологические выводы, которых я здесь повторять не буду. Отмечу лишь то, что изображение наименее схоже с действительностью в «Петербурге». Зато в последующих романах оно доходит почти до фотографической точности. Чем зрелее становился Белый, тем упорнее он возвращался к этим своеобразным воспоминаниям детства, тем более значительны они ему казались. В названной статье я доказывал (и, думается, доказал), что начиная с «Петербурга», все политические, философские и бытовые задания беловских романов отступают на задний план перед заданиями автобиографическими и, в сущности, служат лишь поводом для того, чтобы воскресить в памяти и переосознать впечатления, поразившие в младенчестве. Не только нервы, но и самое воображение Андрея Белого были раз навсегда поражены и — смею сказать — потрясены происходившими в доме Бугаевых «житейскими грозами»[21], как он выражается. Эти грозы оказали глубочайшее влияние на характер Андрея Белого, а вслед за тем и на всю его жизнь.

В семейных бурях он очутился листиком иль песчинкою[22]: меж папой, уродом и громовержцем, окутанным облаком черной копоти от швыряемой об пол керосиновой лампы[23], — и мамочкой, легкомысленной и прелестной, навлекающей на себя гнев и гибель, как грешные жители Содома и Гоморры[24]. Первичное чувство в нем было просто: папу он боялся и втайне ненавидел до очень, может быть, сильных степеней ненависти (недаром потенциальные или действительные преступления против отца[25] составляют фабулическую основу всех перечисленных романов). Мамочку он жалел и ей восторгался почти до чувственного восторга. Но чувства эти, сохраняя свою остроту, с годами осложнялись чувствами вовсе противоположными. Ненависть к отцу, смешиваясь с почтением к его уму, с благоговейным изумлением перед космическими пространствами и математическими абстракциями, которые вдруг раскрывались через отца, оборачивалась любовью. Влюбленность в мамочку уживалась с невысоким понятием об ее уме и с инстинктивным, страшащимся себя, отвращением к ее отчетливой, пряной плотскости.

Каждое явление, попадая в семью Бугаевых, подвергалось противоположным оценкам со стороны отца и со стороны матери. Что принималось отцом, то матерью отвергалось[26] — и наоборот. «Раздираемый», по собственному выражению, между родителями, Белый по всякому поводу остро переживал относительную правоту и неправоту каждого из них. Всякое явление оказывалось двусмысленно, раскрывалось двусторонне, двузначуще. Сперва это ставило в тупик и пугало. С годами вошло в привычку и стало модусом отношения к людям, к событиям, к идеям. Он полюбил совместимость несовместимого, трагизм внутренних противоречий, правду в неправде, может быть — добро в зле и зло в добре. Сперва он привык таить от отца любовь к матери (и ко всему «материнскому»), а от матери любовь

к отцу (и ко всему «отцовскому») — и научился понимать, что в таком притворстве нет внутренней лжи. Потом ту же двойственность отношения стал он переносить на других людей — и это создало ему чуть не славу двуличного человека[27]. В его двуличии не было, однако же, ни хитрости, ни оппортунизма[28]. [Напротив, именно ненавистью к оппортунизму подсказывалась его двойственность. Его любовь, как и нелюбовь, были выстраданы. В любимых он бесстрашно вскрывал дурное — и наконец восставал.][29]. В тех, кого не любил или презирал, он не боялся почуять доброе и порою бывал обезоружен до нежности. Собираясь действовать примирительно — вдруг вскипал и разражался бешеными филиппиками; собираясь громить и обличать — внезапно оказывался согласен с противником. Случалось ему спохватываться, когда уже было поздно, когда дорогой ему человек становился врагом, а презираемый лез с объятиями. Порой он лгал близким и открывал душу первому встречному. Но и во лжи высказывал он лишь «изнанку правды», а в откровенностях помалкивал «о последнем». Поймут ли меня, если я скажу, что и видимая лживость Андрея Белого была движима страстной, именно страстной, чувственною любовью к правде?

В сущности, своему «раздиранию» между родителями он обязан и будущим строем своих воззрений. Отец хотел сделать из него своего ученика и преемника — мать с этим боролась музыкой и поэзией[30]. Чем дальше, тем Белому становилось яснее, что все «позитивное», близкое отцу, близко и ему, но что искусство и философия требуют с точными знаниями примирения — «иначе и жить нельзя». В конце концов, к мистике, а затем к символизму он пришел трудным путем примирения позитивистических тенденций девятнадцатого века с философией Владимира Соловьева. Недаром прежде, чем поступить на филологический факультет, он окончил математический. Но об этом всего лучше рассказано им самим. Я об этом упоминаю лишь для того, чтобы указать на ранние биографические истоки его позднейших воззрений и, собственно, всей его литературной судьбы.

* * *

[Судьбы если не всероссийского, то московского модернизма вершились некогда на знаменитых брюсовских средах[31]. В ранней юности я знал о них понаслышке, но не смел и мечтать о проникновении в такое святилище. Лишь осенью 1904 г., новоиспеченным студентом[32], получил я от Брюсова письменное приглашение «пожаловать» на первую в этом сезоне среду. Снимая пальто в передней, я услышал голос хозяина:

— Очень вероятно, что на каждый вопрос есть не один, а несколько истинных ответов, может быть — восемь. Утверждая одну истину, мы опрометчиво игнорируем еще целых семь.

Мысль эта, видимо, очень взволновала одного из гостей, красивого, голубоглазого студента с пушистыми светлыми волосами. Когда я входил в кабинет, студент летучей, танцующей походкой носился по комнате и говорил с радостным возбуждением, переходя с густого баса к тончайшему альту, то почти приседая, то подымаясь на цыпочки. Это и был Андрей Белый. Я знал его по стихам, представлял по рассказам общих знакомых, но увидел впервые в тот вечер. Другой гость, тоже в студенческой тужурке, плотный, румяный брюнет, сидел в кресле, положив ногу на ногу. Он оказался С.М. Соловьевым. Больше гостей не было.

В столовой, за чаем, Белый читал (точнее – пел) свои стихи, впоследствии в измененной редакции вошедшие в «Пепел»: «За мною грохочущий город», «Арестанты», «Попрошайка». Было нечто необыкновенно обаятельное в его тогдашней манере чтения и во всем его облике. Не помню, что говорил он. Помню лишь то, что чувство, им во мне пробужденное, всего точнее было назвать влюбленностью. Эта влюбленность, сменяясь в оттенках, то усиливаясь, то слабея, порой подвергаясь и некоторым испытаниям, сохранилась во мне навсегда. Прошло, однако же, еще много времени, прежде чем нам суждено было сойтись короче. Больше того: для начала случилось так, что Белый меня заподозрил в не очень красивом поступке. Об этом эпизоде я расскажу потому, что он был некоторым звеном в длинной цепи событий, связанных не только с биографиями Белого и Брюсова, но и со всею биографией русского символизма.

К тому времени уже сложился (преимущественно под влиянием Андрея Белого и его друзей) тот своеобразный «символический» быт, в котором предчувствия и предвестия[33] воспринимались, как единственная подлинная реальность, действительность мнилась маревом, творчество превращалось в жизнь, а жизнь в творчество. Впоследствии в «балаганчике» Блок осмеял этот быт, которому он, однако же, остался в сущности верен до конца своей жизни. Среди людей, создавших для себя тот сладостный и мучительный образ жизни, очутилась и молодая беллетристка Нина Петровская[34], у которой талант жить был неизмеримо выше таланта литературного. Пережив роман с одним бурнопламенным поэтом[35], она чувствовала нечто вроде мутного похмелья. Ее раскаяние протекало под влиянием Андрея Белого. На ее черном платье явилась нить деревянных четок и большой черный крест. Такой же крест носил Андрей Белый. Однако, мистическое очарование Белым у Нины вскоре сменилось любовью, окрашенной гораздо более реально. То же самое произошло с Белым. Не известно, чем кончилась бы эта связь, если бы она не была взорвана вечной двойственностью Андрея Белого.][36].

Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать. [Чаруя их своим обаянием, почти волшебным, являясь им мистиком, рыцарем Жены облеченной в Солнце, он приходил в бешенство, когда они не отвечали его чувственным домогательствам. Обратно: чувствовал себя оскверненным и запятнанным всякий раз, как эти домогательства увенчивались успехом. Именно так было с Ниной Петровской. Она оказалась брошена и оскорблена и, как часто бывает, захотела разом и отомстить Белому, и вернуть его. Однако, раз попав в «символическое измерение», история продолжала и развиваться в нем же.

Брюсов почти не замечал Нину. Но тотчас переменился, как только наметился ее разрыв с Белым. В символистском быту он был представителем демонизма. Он предложил Нине демонический союз против Андрея Белого. Союз был закреплен любовью, мучительной для обеих сторон, но именно этим мучительством сладостный. Нина зараз любила обоих, Брюсов терзался ревностью. Весь девятьсот пятый год ушел на взаимные мучительства, памятником которых остался брюсовский цикл «Из ада изведенные»[37].][38]

В начале 1906 года, когда начиналось «Золотое Руно»[39], однажды у меня были гости. Нина и Брюсов пришли очень рано, задолго до всех. Брюсов попросил разрешения удалиться в мой кабинет, чтобы закончить начатые стихи. Через несколько времени он вышел и попросил вина. Нина понесла ему бутылку коньяку[40]. Че-

рез час, когда гости уже начали собираться, я заглянул в кабинет и застал Нину с Брюсовым сидящими на полу и плачущими, бутылку выпитой, а стихи конченными. Нина шепнула, чтобы я за ужином предложил Брюсову прочитать новые стихи. Ничего не подозревая (я тогда имел очень смутное понятие о том, что происходит между Ниной, Белым и Брюсовым), я так и сделал. Брюсов сказал, обращаясь к Белому:

— Борис Николаевич, я прочту подражание вам[41].

И прочел. У Белого было стихотворение «Предание», в котором иносказательно изображалась история разрыва с Ниной. Этому «Преданию» Брюсов и подражал в своих стихах, сохранив форму и стиль Белого, но придав истории новое окончание и представив роль Белого в чертах унизительных. Белый слушал, смотря в тарелку. Когда Брюсов кончил, все были смущены и молчали. Наконец, глядя Белому прямо в лицо и скрестив по обычаю руки, Брюсов спросил:

— Похоже на вас, Борис Николаевич?

Вопрос был двусмысленный: он относился зараз и к стилю брюсовского стихотворения, и к поведению Белого. В крайнем смущении, делая вид, что имеет в виду лишь поэтическую сторону дела[42], Белый ответил с широчайшей своей улыбкой:

— Ужасно похоже, Валерий Яковлевич!

И начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов резко его прервал:

— Тем хуже для вас!

Зная о моей дружбе с Ниной, Белый считал, что чтение было сознательно мною подстроено в соучастии с Брюсовым. [Оправдываться мне было неудобно. Мы с Белым встречались, но он меня сторонился][43]. Только спустя два года без малого мы объяснились — при обстоятельствах столь же странных, как все было странно в нашей тогдашней жизни. Но об этом я скажу после.

[События шли своим чередом. Брюсов тогда занимался оккультизмом[44] и черною магией, не веруя во все это по существу, но веруя в эти занятия, как в жест, выражающий известное душевное движение. Вряд ли и Нина верила, что ее магические опыты под руководством Брюсова в самом деле вернут ей Белого. Но она хотела верить в свое ведовство, и союз с Брюсовым переживала как союз с магом, а через него — с дьяволом. Она была истеричка, и это особенно привлекало Брюсова: он знал, что в «великий век ведовства» ведьмами почитались и сами себя почитали истерички. Если ведьмы XVI столетия «в свете науки» оказались истеричками, то в XX веке Брюсову стоило попытаться превратить истеричку в ведьму. Впрочем, не слишком полагаясь на магию, Нина пыталась прибегнуть и к другим средствам. Сперва она принудила Брюсова вызвать на дуэль[45]. Из этого ничего не вышло — друзья Белого вступились в дело. Потом, весною 1906 года, на лекции Белого в Политехническом музее[46], Нина в антракте подошла к нему и выстрелила из браунинга в упор. Револьвер дал осечку, его отняли у нее. На вторичное покушение ее уже не хватило, да оно ей и не было нужно. Впоследствии она мне однажды сказала: — Бог с ним. Ведь по правде сказать, я уже убила его тогда, в Музее. — Такому признанию не следует удивляться: так перепутаны были в наших сознаниях действительность и воображение.

(Браунинг остался у Брюсова. Через несколько лет он его подарил поэтессе Надежде Львовой, — она застрелилась в ноябре 1913 года[47]).

То, что для Нины стало средоточием жизни, для Брюсова было лишь серией острых переживаний. По мере того, как эмоции исчерпывались, его потянуло к перу. В романе «Огненный ангел» он совершенно точно изобразил все перипетии этой истории, перенеся лишь действие в XVI столетие и завершив его смертию героини. Себя изобразил он под именем Рупрехта, Нину под именем Ренаты, а Белого — под именем графа Генриха: Огненного Ангела.

В действительности, сложные и мучительные отношения с Ниной у Брюсова длились еще несколько лет, но Белый уже не играл в них никакой роли. Судьба однако же отплатила ему за Нину долгими и тяжелыми страданиями[48]][49].

* * *

В 1904 году Белый познакомился с молодым поэтом[50], которому суждено было стать одним из драгоценнейших русских поэтов. Их личные и литературные судьбы оказались связаны навсегда. [История этой связи требует целого исследования, которому, впрочем, Белый сам положил начало в своих замечательных воспоминаниях[51]. Однако, в этой работе он принужден был обходить молчанием или только в условных, смутных выражениях касаться одного важного, даже центрального обстоятельства][52]. Поэт приехал в Москву погостить с молодой женой, уже знакомой некоторым московским мистикам[53], друзьям Белого, и окруженной их восторженным поклонением, в котором придавленный эротизм бурлил под соблазнительным и отчасти лицемерным покровом мистического служения Прекрасной Даме. Белый тотчас поддался общему настроению, и жена нового друга стала предметом его пристального внимания. Этому вниманию мистики покровительствовали и раздували его. Потом не нужно было и раздувать — оно обратилось в любовь, которая, в сущности, и дала толчок к разрыву с Ниной Петровской[54]. Я не берусь в точности изложить развитие этой любви, протекавшей то в Москве, то в Петербурге, то в деревне, до крайности осложненной сложными характерами действующих лиц, своеобразным строем символического[55] быта и, наконец, многообразными событиями литературной, философской и даже общественной жизни, на фоне которых она протекала, с которыми порой тесно переплеталась и на которые, в свою очередь, влияла. Скажу суммарно: история этой любви сыграла важную роль в литературных отношениях той эпохи[56], в судьбе многих лиц, непосредственно в ней даже не замешанных и в конечном счете — во всей истории символизма. Касаясь ее более конкретно, признаюсь, что многое в ней мне еще и теперь неясно. Белый рассказывал мне ее не раз, целиком и отрывками, но в его рассказах было вдоволь противоречий, недомолвок, вариантов, нервического воображения. [Из этой рассыпавшейся мозаики мне удалось составить лишь приблизительные очертания романа][57]. По-видимому, братские чувства, первоначально предложенные Белым, были приняты благосклонно. [Такова, однако же, диалектика любви, что от братских чувств Белый перешел к чувствам иного оттенка. Здесь задача его становилась не в пример труднее][58]. Быть может, она оказалась бы и вовсе неразрешима, если бы не его ослепительное обаяние, которому, кажется, нельзя было не поддаться. Но в ту самую пору, когда его любовные домогательства были близки к тому, чтобы увенчаться успехом, — неизбывная, роковая двойственность Белого вдруг прорвалась наружу. Он имел безумие уверить себя самого, что его неверно и «дурно» поняли, — и то же самое объявил женщине, которая,

может быть, немало выстрадала пред тем, как ответить ему согласием. Следствие Беловского отступления нетрудно себе представить. Гнев и презрение овладели той, кого он любил. И она отплатила ему стократ обиднее и больнее, чем Нина Петровская, которой она была во столько же раз выносливее и тверже. Что же Белый? Можно сказать с уверенностью, что с этого-то момента он и полюбил по-настоящему, всем существом, — и, по моему глубокому убеждению, — навсегда. Потом еще были в его жизни и любви, и быстрые увлечения, но та любовь сохранилась сквозь все и поверх всего. Только ту женщину, одну ее, любил он по-настоящему. С годами, как водится, боль притупилась, но долго она была жгучей. Белый страдал неслыханно, переходя от униженного смирения к бешенству и гордыне, — кричал, что отвергнуть его любовь есть кощунство. Порою страдание возносило его на очень большие высоты духа — порою падал он до того, что, терзаясь ревностью, литературно мстил своему сопернику[59], действительному или воображаемому. Он провел несколько месяцев за границей[60] — и вернулся оттуда с неутоленным страданием и «Кубком метелей» — слабейшею из его симфоний, потому что она была писана в надрыве.

* * *

В августе 1907 года из-за личных горестей[61] поехал я в Петербург на несколько дней — и застрял надолго: не было сил вернуться в Москву. С литераторами я виделся мало и жил трудно. Ночами слонялся по ресторанам, игорным домам и просто по улицам, а днем спал. Вдруг приехала Нина Петровская, гонимая из Москвы неладами с Брюсовым и минутной, угарной любовью к одному молодому петербургскому беллетристу[62], которого «стилизованные» рассказы тогда были в моде. Брюсов за ней приезжал[63], пытался вернуть в Москву — она не поехала. Изредка вместе коротали мы вечера — признаться, неврастенические. Она жила в той самой Английской гостинице, где впоследствии покончил с собой Есенин[64].

28 сентября Блок писал своей матери из Петербурга: «Мама, я долго не пишу и мало пишу от большого количества забот — крупных и мелких. Крупные касаются Любы*, Натальи Николаевны** и Бори. Боря приедет ко мне скоро. Он мне все ближе и ужасно несчастен»[65]. Наконец, Белый приехал[66], чтобы вновь быть отвергнутым. Встретились мы случайно. Однажды, после литературного сборища, на котором Бунин читал по рукописи новый рассказ заболевшего Куприна[67] (это был «Изумруд»), я вышел на Невский. Возле Публичной Библиотеки пристала ко мне уличная женщина. Чтобы убить время, я предложил накормить ее ужином. Мы зашли в ресторанчик. На вопрос, как ее зовут, она ответила странно:

— Меня все зовут *бедная Нина*. Так зовите и вы.

Разговор не клеился. Бедная Нина, щупленькая брюнетка с коротким носиком, устало делала глазки и говорила, что ужас как любит мужчин, а я подумывал, как будет скучно от нее отделываться. Вдруг вошел Белый, возбужденный и не совсем трезвый. Он подсел к нам, и за бутылкою коньяку мы забыли о нашей собеседнице. Разговорились о Москве. Белый, размягченный вином, признался мне в своих подозрениях о моей «провокации» в тот вечер, когда Брюсов читал у меня стихи. Мы объяснились, и прежний лед между нами был сломан. Ресторан между тем

* Любовь Дмитриевна, жена Блока. В.Х. (прим. В. Ходасевича).

** Артистка Волохова, которой посвящена «Снежная Маска» (прим. В. Ходасевича).

закрывали, и Белый меня повез в одно «совсем петербургское место», как он выразился. Мы приехали куда-то в конец Измайловского проспекта. То был низкосортный клуб. Необыкновенно почтенный мужчина с седыми баками, которого все звали «полковник», нас встретил. Белый меня отрекомендовал, и, заплатив по трешнице[68], мы вошли в зал. Приказчики и мелкие чиновники в пиджачках отплясывали кадриль с девицами, одетыми (или раздетыми) цыганками и наядами. Потом присуждались призы за лучшие костюмы – вышел небольшой скандал, кого-то обидели, кто-то ругался. Мы спросили вина и просидели в «совсем петербургском месте» до рыжего петербургского рассвета. Расставаясь, условились пообедать в «Вене»[69] с Ниной Петровской.

Обед вышел мрачный и молчаливый. Я сказал:

– Нина, в вашей тарелке, кажется, больше слез, чем супа.

Она подняла голову и ответила:

– Меня надо звать *бедная Нина.*

Мы с Белым переглянулись – о женщине с Невского Нина ничего не знала. В те времена совпадения такие для нас много значили.

Так и кончился тот обед – в тяжелом молчании. Через несколько дней, зайдя к Белому (он жил на Васильевском Острове, почти у самого Николаевского моста[70]), увидел я круглую шляпную картонку. В ней лежало атласное красное домино и черная маска. Я понял, что в этом наряде Белый являлся в «совсем петербургском месте». Потом домино и маска явились в его стихах[71], а еще позже стали одним из центральных образов «Петербурга».

Несколько дней спустя после нашего обеда Нина уехала в Москву, а в самом конце октября[72] тронулись в путь и мы с Белым. На станциях он пил водку, а в Москве прожил дня два – и кинулся опять в Петербург. Не мог жить ни с *нею,* ни без *нее.*

* * *

Четыре года, протекшие после того, мне помнятся благодарно: годами – смею сказать – нашей дружбы. Белый тогда был в кипении: сердечном и творческом. Тогда дописывался им «Пепел», писались «Урна», «Серебряный Голубь», важнейшие статьи «Символизма». На это же время падают и самые резкие из его полемических статей[73], о тоне которых он потом жалел часто, о содержании – никогда. Тогда же он учинял и самые фантастические из публичных своих скандалов, – однажды на сцене Литературно-Художественного Кружка пришлось опустить занавес[74], чтобы слова Белого не долетали до публики. Зато в наших встречах он оборачивался другой стороной. Приходил большею частью по утрам, и мы иногда проводили вместе весь день, то сидя у меня, то гуляя: в сквере у Храма Христа Спасителя, в Новодевичьем монастыре; однажды ездили в Петровско-Разумовское – в грот, связанный со сценой убийства Шатова[75; 76]. Белый умел быть и прост, и уютен: gemütlich – по любимому его слову. Разговоры его переходили в блистательные импровизации и всегда были как-то необыкновенно окрыляющи. Любил он и просто рассказывать: о семье Соловьевых[77], о пророческих зорях 1900 года, о профессорской Москве, которую с бешенством и комизмом изображал в лицах. Случалось – читал только что написанное, и охотно выслушивал критические возражения и возражал на них, причем был в общем упрям. Лишь раз удалось мне

уговорить его: выбросить первые полторы страницы «Серебряного Голубя». То был слепок с Гоголя, написанный, очевидно, лишь для того, чтобы разогнать перо.

Разговоры специально стихотворческие велись часто. Нас мучил вопрос: чем, кроме инструментовки, обусловлено разнозвучание одного и того же размера? Летом 1908 года, когда я жил под Москвой[78], он позвонил мне по телефону, крича со смехом:

– Если свободны, скорей приезжайте в город. Я сам приехал сегодня утром. Я сделал открытие! Ей-Богу, настоящее открытие, вроде Архимеда!

Я, конечно, поехал. Был душный вечер. Белый встретил меня загорелый и торжествующий, в русской рубашке с открытым воротом. На столе лежала гигантская кипа бумаги, разграфленной вертикальными столбиками. В столбиках были точки, причудливо связанные прямыми линиями. Белый хлопал по кипе тяжелой своей ладонью:

– Вот вам четырехстопный ямб. Весь тут, как на ладони. Стихи одного метра разнятся ритмом. Ритм с метром не совпадает и определяется пропуском метрических ударений. «Мой дядя самых честных правил» – четыре ударения, а «И кланялся непринужденно» – два. Ритмы разные, а метр все тот же: четырехстопный ямб.

Теперь все это стало азбукой. В тот день это было открытием, действительно простым и внезапным, как архимедово. Закону несовпадения метра и ритма должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого. Это открытие в дальнейшей разработке имеет несовершенства, о которых впоследствии было много писано. Тогда, на первых порах, разобраться в них было труднее. Однако, у меня с Белым тотчас начались препирательства по конкретному поводу. Как раз в то время он готовил к печати «Пепел» и «Урну» – и вдруг принялся коренным образом перерабатывать многие свои стихотворения, подгоняя их ритм к недавно открытым формулам. Разумеется, их ритмический узор, взятый в отвлечении, стал весьма замечателен. Но в целом стихи всякий раз оказывались испорчены. Сколько ни спорил я с Белым, – ничего не помогало. Стихи вошли в его сборники в новых редакциях, которые больно мне было слышать. Тогда-то и начал я настаивать на необходимости самое изучение ритмического содержания вести не иначе, как в связи с содержанием смысловым. Об этом шли у нас нескончаемые пререкания, то с глазу на глаз, то в кружке ритмистов, который составился при издательстве «Мусагет»[79]. Вне-смысловая ритмика [казалась мне ложной по существу и вредной по тому антипедагогическому влиянию, которое она имела на молодых поэтов, моих сверстников][80]. Кончилось тем, что я перестал ходить на собрания.

Белый в ту пору был в большой моде. Дамы и барышни его осаждали. Он с удовольствием кружил головы, но ядовито заставлял штудировать Канта – особ, которым совсем не того хотелось.

– Она мне цветочек, а я ей: сударыня, если вы так интересуетесь символизмом, то посидите-ка вы сперва над «Критикой чистого разума»!

Или: – Ах, что за прелесть эта милейшая мадмуазель Штаневич![81] Я от нее в восторге!

– Борис Николаевич, да ведь она Станевич, а не Штаневич!

– Да ну, в самом деле? А я ее все зову Штаневич. Как вы думаете, она не обиделась?

Неделю спустя опять: – Ах, мадмуазель Штаневич!

— Борис Николаевич! Станевич!

— Боже мой! Неужели? Какое несчастие! — А у самого глаза веселые и лживые.

Иногда у него на двери появлялась записка: «Б.Н. Бугаев занят и просит не беспокоить».

— Это я от девиц, — говорил он, но не всегда на сей счет был правдив[82].

Однажды [мне жаловался][83]:

— Подумайте, вчера ночью, в метель, возвращаюсь домой, а Мариетта Шагинян[84] сидит у подъезда на тумбе, как дворник. Надоело мне это! — А сам в то же время писал ей длиннейшие философические письма, от благодарности за которые бедная Мариетта, конечно, готова была хоть замерзнуть.

В конце 1911 года я поселился в деревне[85], и мы стали реже видеться. Потом Белый женился, уехал в Африку, ненадолго вернулся в Москву и уехал опять: в Швейцарию, к Рудольфу Штейнеру. Перед самой войной пришло от него письмо, бодрое, успокоенное, с рассказом о мускулах, которые он себе «набил», работая резчиком по дереву при построении Гетеанума[86]. Я думал, что наконец он счастлив[87].

* * *

В тот вечер, когда в Москве получилось по телефону известие об убийстве Распутина[88], Гершензон повел меня к Н.А. Бердяеву[89]. Там обсуждались события. Там, после долгой разлуки, я впервые увидел Белого. Он был без жены, которую оставил в Дорнахе. С первого взгляда я понял, что ни о каком его успокоении нечего и говорить. Физически огрубелый, с мозолистыми руками, он был в состоянии крайнего возбуждения. Говорил мало, но глаза, ставшие из синих бледно-голубыми, то бегали, то застывали в каком-то ужасе. Облысевшее темя с пучками полуседых волос казалось мне медным шаром, который заряжен тысячами вольт электричества. Потом он приходил ко мне — рассказывать о каких-то шпионах, провокаторах, темных личностях, преследовавших его еще в Дорнахе[90], о переезде в Россию, во время которого за ним подглядывали, желая сгубить в прямом смысле и еще в каких-то смыслах иных. Эта тема, в сущности граничащая с манией преследования, была ему всегда близка. По моему глубокому убеждению, она возникла еще в детстве, когда казалось ему, что темные силы толкают его на страшное преступление против отца. [Еще в детстве преследовали его как бы Эриннии потенциального отцеубийства. Эта тема обострилась в тех непрестанных предчувствиях, предвестиях и вторых смыслах, которыми долгие годы не только для него, но и для многих из нас была как бы пропитана и пронизана действительность. В частности, Брюсова он считал представителем очень темных сил и рассказывал о прямых случаях брюсовского волхвования. Наконец, война, какие-то полуреальные и реальные события дорнахской жизни, о которых я имею лишь смутные предположения, и начавшаяся революция — глубоко потрясли его душевное равновесие, и без того неустойчивое.

Я обещал быть правдивым. Хорошо: я скажу правдиво, что его не только нервическое, но и психическое равновесие никогда не было устойчиво. Блуждал он уже в той области, где высокое, пророческое безумие подступает к обрыву в жалкое сумасшествие. За эту границу он не переступал никогда, но и туда, где случалось ему бывать, откуда он нам приносил осколки звуков и лоскуты видений, нам за ним все равно до конца не последовать. Этого предмета нарочно касаюсь я тогда, ког-

да надо бы говорить о его отношении к России и революции: именно для того, чтобы не говорить. Об этом надо или написать исследование, или молчать. Но и самое обстоятельное исследование (единственно честный способ решить задачу) может лишь подвести нас (конечно, путем интереснейшим) к тому, что в конечном счете неисследуемо: к пророческому безумию, многозначительному и бессодержательному, как музыка, стройному и хаотическому — тоже как музыка. Тема: Белый, Россия и революция в наши благоразумные разграничения и формулы полностью не уляжется. Лучший способ ее понять — признаться в непонимании.

Благонамеренные люди
Благоразумью преданы.
Не вам, не вам мечтать о чуде,
Не вам — святые ерунды![91]

В советской России сейчас уже пишутся прокрустовы статьи о том, на что классового сознания Белого хватило и на что не хватило[92]. Вероятно, уже и здесь составляются запоздалые нравоучения Белому — как ему полагалось любить Россию и что разуметь под революцией. И то, и другое одинаково несоизмеримо концепциям Белого, ибо одинаково далеко от «святых ерунд», которыми он и чувствовал, и мыслил. То будут лишь две разновидности словесной чепухи, совсем не «святой»: на советском ли подсолнечном масле или на маргариновых рассуждениях о «Свободе» — не все ли равно?

Как Блок и Есенин, как многие тогда в России, верил он, что Россия выстрадает новую правду. За то в те годы и полюбила Россия его, Блока, Есенина, как давно никого не любила. Как Блок, между революцией и большевиками не ставил он знака равенства. Порой к ним испытывал «неугасимую ярость» — его собственные слова в одном документе[93], который есть у меня][94].

Военный коммунизм, как и все мы, он пережил в трудах, лишениях и болезнях. Ютился в квартире знакомых, топя печурку своими рукописями, голодая и торча в очередях. Чтобы прокормить себя с матерью, уже больною и старою, мерил Москву из конца в конец, читал лекции в Пролеткульте и в разных еще местах[95], днями просиживал в Румянцевском музее, где замерзали чернила, исполняя бессмысленный заказ Театрального отдела[96], исписывая вороха бумаги, которые, наконец, где-то и потерял. В то же время он вел занятия в Антропософском обществе и писал «Записки чудака», книгу по философии культуры, книгу о Льве Толстом и другое.

С конца 1920 г. я жил в Петербурге[97]. Весной 1921 г. переселился туда и он — там писателям было вольготнее. Ему дали комнату в гостинице на улице Гоголя, почти против бывшего ресторана «Вена», где почти четырнадцать лет тому назад мы обедали с Ниной Петровской. Он служил в Наркоминделе[98] и сторонился от поэтического Петербурга, подолгу гостя в Царском у Иванова-Разумника. Возобновились наши свидания и прогулки — теперь уж по петербургским набережным. В белые ночи, в неизъяснимо прекрасном Петербурге тех дней, ходили мы на тихое поклонение Медному Всаднику. Я водил его к тому дому, где умер Пушкин.

Однажды вбежал он ко мне веселый и светлый, каким я давно его не видал. Принес поэму «Первое свидание», лучшее из всего, что написано им в стихах[99].

Некоторых отрывков из первой главы тогда еще не было — они вставлены позже. Я был первым слушателем «Первого свидания» — да простится мне это горделивое воспоминание. Да простится мне и другое: в те самые дни написал он и первую свою статью обо мне — для пятого выпуска «Записок Мечтателей»[100]. То был последний выпуск, проредактированный еще Блоком и вышедший уже после того, как Блок умер. От Белого было мне суждено узнать об этой смерти: он написал мне письмо — я тогда был в Псковской губернии. (Письмо у меня хранится)[101].

Он давно мечтал выехать за границу: [были у него на то особые причины и просто хотел отдохнуть. Его не выпускали][102]. Он нервничал до того, что пришлось обратиться к врачу. Подумывал о побеге — из этого тоже ничего не вышло, да и не могло выйти: сам всему Петербургу разболтал по секрету, что «собрался бежать». Его стали спрашивать: скоро ли вы бежите? Из этого заключил он, что чрезвычайка за ним следит[103]. Наконец, после смерти Блока и расстрела Гумилева[104], большевики смутились (они еще как-то умели смущаться) и дали ему заграничный паспорт.

Перед отъездом, в публичном собрании Вольно-Философского общества читал он воспоминания о Блоке[105]. Аудитория была переполнена. Знали, что он уезжает, и провожали его с любовью. Кто-то из публики крикнул: — Милый, Котик, Летаев, когда вам будет там одиноко, помните, что мы здесь вас любим!

* * *

Помимо отдыха, были у его заграничной поездки еще две важных цели. Еще в начале 1919 г. получил он известие о том, что отныне порываются личные узы меж ним и некоторыми дорогими ему обитателями Дорнаха[106]. Это был, так сказать, полу-удар: он ожидал его. Хотелось ему, однако же, объясниться, кое-что выяснить в отношениях. Это и была первая цель поездки.

Вторая, тоже связанная с Дорнахом, была важнее. Значение и вес антропософского движения Белый преувеличивал[107]. Вот он и ехал сказать братьям антропософам и самому их руководителю, д-ру Рудольфу Штейнеру, «на плече которого некогда возлежал», — о тяжких духовных родах, переживаемых Россией, о страданиях многомиллионного народа. Открыть им глаза на Россию почитал он своею миссией, а себя — послом от России к антропософии (так он выражался). Сама эта миссия может показаться делом нестоющим. Но Белый смотрел иначе, а нам важна психология Белого.

Что же случилось? По первому пункту с ним не только не захотели объясняться, но и выказали к нему презрение в форме публичной, вызывающей и оскорбительной нестерпимо. По пункту второму было нечто худшее. Оказалось, что ни д-ру Штейнеру, ни его окружению просто некогда и не стоит заниматься такими преходящими и мелкими делами, как Россия[108]. [Может быть, были у Штейнера и другие основания (тогда дело шло к Рапалльскому договору[109]) — во всяком случае, миссию Белого Дорнах решил игнорировать[110]][111]. Наконец, в каком-то собрании, в Берлине, Белый увидел Штейнера. Подошел — и услышал вопрос, подчеркнуто обывательский и отеческий:

— Na, wie geht's?[112]

Белый понял, что говорить не о чем, и ответил с презрительным бешенством:

— Schwierigkeiten mit dem Wohnungsamt![113]

Может быть, с того дня он и запил.

Он жил в Цоссене, под Берлином, у какого-то гробовщика[114], или в этом роде. Мы встретились летом 1922 г., когда я приехал из России. Белый был теперь совсем уже сед. Его глаза еще выцвели — стали почти что белыми.

С осени он переехал в город — и весь русский Берлин стал свидетелем его истерики[115]. Ее видели слишком многие[116]. Скажу о ней покороче. Выражалась она главным образом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских Dielen[117]. Не в том дело, что танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В толчею фокстротов вносил он свои «вариации». Танец превращался в чудовищную мимодраму, порой даже и непристойную. Он приглашал незнакомых дам. Те, которые посмелее, шли, чтобы позабавить своих спутников. Другие отказывались — в Берлине это почти оскорбление. Третьим запрещали мужья и отцы. То был не просто танец пьяного человека: то был, конечно, жест: символическое попрание лучшего в себе, кощунство над самим собой, дьявольская гримаса себе самому — чтобы через себя показать ее всему Дорнаху. Недаром раз, едучи со мной в Untergrund'е[118] и нечаянно поступая вполне по-прутковски: русские, окружающим непонятные слова шепча на ухо, а немецкие выкрикивая на весь вагон, — он говорил мне:

— Хочется вот поехать в Дорнах да крикнуть д-ру Штейнеру, как уличные мальчишки кричат: «Herr Doktor, Sie sind ein alter Affe!»[119].

Он словно старался падать все ниже. Как знать, может быть и надеялся: услышат, окликнут... Но Дорнах не снисходил со своих высот, а Белый ходил по горячим угольям. Свои страдания он «выкрикивал в форточку»[120] — то в виде плохих стихов с редкими проблесками гениальности, то в виде бесчисленных исповедей. [Он исповедовался полузнакомым и вовсе незнакомым людям: соседям по табльдоту, ночным гулякам, горничным, журналистам][121]. Замечательно, что и эти люди заслушивались, девяти десятых не понимая, но чуя, что пьяненький Herr Professor — не простой человек. Возвращаясь домой, раздевался он догола и плясал, выплясывая свое несчастие[122]. Иногда хотелось пожалеть, что у него такое чудовищное физическое здоровье: лучше бы заболел, свалился.

За ним ухаживали: одни из любопытства, отчасти злорадного, другие — с истинною любовью. Из таких людей, опекавших его самоотверженно и любовно, хочу я назвать двоих: С.Г. Каплуна[123], его тогдашнего издателя, и поэтессу Веру Лурье[124]. К несчастию, был он упрямее и сильнее всех своих опекунов, вместе взятых.

Мы виделись почти каждый день, иногда с утра до глубокой ночи. К этому времени появилась в Берлине Нина Петровская[125], еще в 1911 г. уехавшая из России. Была она полунищая, сама полубезумная, хромая (в 1913 г., выбросившись из окна, сломала ногу). [8 ноября они у меня встретились и куда-то вместе ушли][126]. Оба жаловались потом. С ними случилось самое горькое, что могло случиться: им было скучно друг с другом[127]. То было последнее на земле свидание Ренаты с Огненным Ангелом. Пять лет спустя Нина Петровская умерла, открыв газ, в грошовом номере грошового парижского отеля.

С середины ноября поселился я в двух часах езды от Берлина[128]. Белый приезжал на три, на четыре дня, иногда на целую неделю. Каким-то чудом работал — чудесна была его работоспособность. Случалось ему писать чуть не печатный лист в один день. Он привозил с собой рукописи, днем писал или читал нам написанное. То были воспоминания о Блоке[129], далеко перераставшие первоначальную

тему[130]. Мы вместе придумывали их будущее заглавие. Наконец, Н.Н. Берберова[131] предложила «Начало века». Под этим заглавием первый том их и вышел всего лишь недавно уже в Москве.

По вечерам его прорывало, он пил. Потом начинались сумбурные исповеди, [в которых правда мешалась с воображением. Замечу кстати: тогдашним конфидентам Белого хвастать его доверием не приходится. Собеседников он не различал и даже просто не замечал. То были, в сущности, монологи][132]. Однажды ночью рассказывал он мне пять раз подряд одно и то же. После пятого повторения (каждое – минут по сорок) я ушел к себе и упал в обморок. Белый ломился в дверь: «Пустите, я вам хочу рассказать...»

Одно понял я: новая боль пробудила старую, и старая оказалась больнее новой. Тогда-то мне пришло в голову, что все, бывшее после 1906 года, было только его попыткой залечить ту, петербургскую, рану.

К весне он стал все-таки уставать. Смеясь, спрашивал: «Кто меня пьяного в постель уложит?» Из Москвы приезжала антропософка К.Н. Васильева, звала с собою[133]. Он еще не поехал, словно чашу свою хотел испить до конца. К осени 1923 г., кажется, он ее испил – и в самую последнюю минуту, за которой, быть может, началось бы уже сумасшествие, решил ехать. Прежде всего – за уходом, чтобы было кому пьяного в постель уложить. Во-вторых, потому, что понял: в эмиграции у него не будет аудитории, а в России есть. Он ехал к антропософам, к молодежи, к тем, кто его любовно напутствовал два года тому назад[134]. Возможные преследования в России казались ему легче, нежели безразличие – здесь.

[Перед отъездом его охватило пьяное коварство. Он стал рвать заграничные связи][135]. Искал ссор. Прогнал одну девушку, которой был многим обязан. Задирал Каплуна. Поссорился и со мной[136]. Слишком сложные подробности этой ссоры, публичной и нелепой, сейчас рассказывать не хочу[137].

По существу он был не прав даже слишком. Но я виноват, может быть, еще больше: я вздумал по-старому требовать от него ответственности за слова и поступки, когда все старое в нем выгорело. Воистину, я этого требовал от великой любви к нему, не хотел обидеть его снисхождением. Но лучше мне было понять, что нужно только любить его: через все и поверх всего. Это я понял, когда уже было поздно.

О том, как он жил в России, мы почти ничего не знаем, кроме внешних и незначительных фактов. Он женился на К.Н. Васильевой, вел работу антропософскую. Летом 1923 г.[138], в Коктебеле у Макса Волошина, тоже уже покойного, помирился с Брюсовым. [Видимо, он искал покоя, но вряд ли нашел его. Жизнь его, несомненно, была там очень трудна и сложна. О некоторых его заявлениях, слишком приятных большевикам, говорить не буду. По существу, конечно, он не имел с ними ничего общего. Имел – с революцией. Но «общее с революцией» имеет и вся Россия, которую он любил если и не по-нашему, то уж никак не меньше нашего][139].

Умер он, как известно[140], от последствий солнечного удара. Потому-то он и просил перед смертью прочесть стихи, некогда посвященные Нине Петровской:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел...[141]

ТРИ ПИСЬМА АНДРЕЯ БЕЛОГО <В.Ф. ХОДАСЕВИЧУ>

Современные записки (Париж). 1934. Кн. 55.

Переписка Андрея Белого со временем будет, конечно, собрана и напечатана полностью. Сейчас мне хотелось бы лишь положить начало этому делу, поделившись с читателями «Современных Записок» тремя документами из числа тех, которые у меня имеются. Каждому из них я предпошлю несколько пояснительных слов. Сверх того в подстрочных примечаниях я даю несколько мелких пояснений и оговариваю некоторые особенности рукописей, воспроизводимых с сохранением орфографии и пунктуации. В этом последнем обстоятельстве не следует видеть педантизма: поправки, описки, знаки препинания, а порой и орфографические ошибки немало свидетельствуют о душевном состоянии пишущего.

Первое из предлагаемых писем привезено мною из советской России. В ночь с 3 на 4 августа 1921 г. (со вторника на среду) был арестован Гумилев, о чем я узнал поутру[142], а в три часа дня ко мне прибежала поэтесса Надежда Павлович[143] и сообщила, что у Блока началась агония. В тот же день под вечер мне предстояло ехать в Порховский уезд Псковской губернии[144]. Во Пскове мне пришлось двое суток ждать пересадки на Порхов, и я, тревожась о Блоке, написал Белому[145], чтобы он меня известил о ходе болезни. Печатаемое письмо и есть ответ на мой запрос.

Между словами Павлович и сообщением Белого есть некоторые противоречия[146], которых я разрешить не берусь. Павлович сказала мне, что агония началась в среду; Белый пишет, что Блоку особенно плохо стало с понедельника. Возможно, что оба правы, то есть, что уже в понедельник Блоку стало особенно плохо, а полная агония началась со среды. Возможно и то, что Павлович лишь в среду узнала о том, что домашним Блока было известно уже с понедельника. Но можно предположить ошибку со стороны Белого, который гостил в Царском Селе и приехал в Петербург лишь на другой день после смерти Блока; судя по помаркам в письме, Белый даже не знал точно, в какой именно день Блок умер; после некоторых колебаний, он остановился на 8 сентября — и неудачно, потому что это было 7-го.

Второе расхождение заключается в следующем. Белый пишет, что Блок умер в полном сознании. Между тем, Павлович под строгою тайной сообщила мне, что «Блок сошел с ума» (ее точное выражение). Правдивость Павлович не подлежит сомнению. Однако, возможно, во-первых, что перед самой кончиною сознание к Блоку вернулось. Но возможно, что Белому была сообщена лишь «оффициальная» версия. Наконец, не исключено и то, что Белый знал правду, но не знал, что и я о ней знаю, а потому в письме ко мне изобразил события так, как их хотела представить мать Блока. Впоследствии, при личных свиданиях, мне не случилось говорить с Белым на эту тему.

Слова о том, что Блок «задохся» в воздухе 1921 года[147], впоследствии повторялись многими много раз. Судя по тому, что в письме ко мне это слово сказано уже

через день после смерти Блока, и потому, что не в духе Белого было повторять сказанное другими, – я уверен, что это выражение именно ему первому и принадлежит. Очень вероятно, что на панихидах и на похоронах он не раз это слово повторил (что как раз было в его обычае) – и таким образом оно получило распространение.

1

9 августа 21 года.

Дорогой Владислав Фелицианович,

приехал лишь 8 августа из Царского: (застал Ваше письмо. Отвечаю: – Блока не стало. Он скончался 8* августа в 11 часов утра после сильных мучений: ему особенно плохо стало с понедельника. Умер он в полном сознании. Сегодня и завтра панихиды. Вынос тела в среду 11-го в 10 часов утра. Похороны на Смоленском кладбище.

Да! –

– Что ж тут сказать? Просто для меня ясно: такая полоса**; он задохся от очень трудного воздуха жизни; другие говорили вслух: «Душно». Он просто замолчал, да и... задохся.

Эта смерть для меня – роковой часов бой: чувствую, что часть меня самого ушла с ним. Ведь вот: не видались, почти не говорили, а просто «бытие» Блока на физическом плане было для меня***, как орган зрения или слуха; это чувствую теперь. Можно, и**** слепым прожить. Слепые или *умирают* или *просветляются* внутренно: вот и *стукнуло* мне его *смертью*: *пробудись*, или *умри*: начнись или *кончись*.

И встает: «*быть или не быть*»[148].

Когда душа просилась ты
Погибнуть, иль любить...[149]
Дельвиг.

И душа просит: любви или гибели; настоящей человеческой, *гуманной* жизни, иль смерти. Орангутангом душа жить не может. И смерть Блока для меня это зов «*погибнуть иль любить*».

Он был поэтом, *т.е. человеком вполне*; стало быть: поэтом любви (не в пошлом смысле). А жизнь так жестока: он и задохся.

Эта смерть – первый удар колокола: «*поминального*», или «*благовестящего*». Мы все, как люди вполне, «*на роковой стоим очереди*»[150]: «*погибнуть, иль... любить*». Душой с Вами. Б. Бугаев.

* * *

Осенью 1921 г. Белый поехал из России в Германию. Однако у него не было германской визы, в хлопотах о которой он довольно надолго задержался в Лит-

* Эта цифра вписана над строкой, после того, как в строке она несколько раз переделывалась: 8, 7 и опять 8 (прим. В. Ходасевича).

** Здесь было слово «просто», но затем зачеркнуто (прим. В. Ходасевича).

*** Здесь было слово «просто», но зачеркнуто, как и в предыдущий раз (прим. В. Ходасевича).

**** Первоначально было: «или» (прим. В. Ходасевича).

ве[151]. Нижеследующее письмо написано им из Ковно, как раз в этот период. Оно обращено не ко мне, а к другому лицу[152], которое находилось в Западной Европе, где провело все время войны и революции. Это письмо не было отправлено по адресу. Белый мне отдал его в 1923 году вместе с некоторыми другими документами. Оно очень обширно: содержит двадцать страниц большого формата, исписанных мелким, убористым почерком. Я печатаю его с большими сокращениями (приблизительно наполовину), исключив все то, что по обстоятельствам момента не может быть опубликовано, и сохранив лишь то, что составляет рассказ Белого о его жизни с 1918 по 1921 год. Этот рассказ тесно связан с главным содержанием письма, но имеет и вполне самостоятельный интерес. Пропуски, мною сделанные, везде обозначены многоточиями, заключенными в квадратные скобки. Некоторые имена собственные я счел нужным обозначить инициалами по обычным причинам.

2

11 ноября 21 года. Ковно.

[...][153] до Рождества 1918 года я: 1) читал курс лекций, вел семинарий с рабочими, разрабатывал программу Театр<ального> Университета, [...][154] читал лекции в нетопленном помещении «Антр[опософского][155] О-ва», посещал заседания О-ва; — а с января 1919 года: я все бросил: посещение О-ва, чтение лекций для интересующихся Антропософией; лег под шубу; и — пролежал в полной прострации до весны, когда оттепель немного согрела мою душу и тело...

[...][156]. Это чувство невозможности открыто разговаривать с Тобой до личного свидания (а где, когда оно будет?) соответствует ощущению каждого русского, попадающего за границу и выслушивающего вопросы со стороны людей, долго в России не бывших: «Ну что же в России?» И — делается неловко и мучительно: ведь спрашивающий — младенец, ничего не понимающий; заговорить *«правдиво»* с ним невозможно: *«неугасимую ярость»* к иным типам из коммунистов истолкует он, чего доброго, как *«большевизм»*; ясную светлость и примиренность (итог мучений) истолкует, как «б*ей жидов» ч*его доброго; и приходится вымучивать из себя готовые, трафаретные фразы: что Россия сдала экзамен, что Россия, быть может, впервые родилась в нашем чувстве глубочайшего страдания, что *«бу́ди, бу́ди»* Достоевского[157] становится уже *«есть»* — да разве такой человек поймет? Он ребенок; и не нам, старикам, вынесшим на плечах 1917, 1918, 1919, 1920, 1921 годы, рассказать о России. И хочется говорить: *«Да, вот – когда я лежал 2½ месяца во вшах, то мне...»* Тут собеседник перебьет: «Ах, ужас: и вши по вас ползали?» Посмотришь, и скажешь снисходительно: «Ползали, ползали: 2 недели лечился от экземы, которая началась от вшей» и т.д. Или начнешь говорить: «Когда у меня за тонкой перегородкой кричал дни и ночи тифозный». И опять перебьют: «Ах, Вы жили с тифозным!» Опять улыбнешься и скажешь: «Да, жил: и ходил читать лекции, готовился к лекциям под крик этот!»...

[...][158]. Все мы в 1919 году были полны этой тьмой: в Москве расстреляли Астровых, Щепкина, Пашуканиса, Михаила Анатол<ьевича> Мамонтова, сошел с ума от голода Юрочка Веселовский, профессор Хвостов перерезал себе горло в припадке меланхолии[159]; не было дома без тифозного. В комнатах стояла температу-

ра не ниже – 8° мороза, но и не выше 7° тепла. Москва была темна. По ночам растаскивали деревянные особняки; А.С.П.[160] крал чужие поленья растапливать печурку и т.д.; прожиточный минимум стоил не менее 15.000 рублей (теперь 600.000, не менее), а мама получала лишь 200 рублей пенсии, жила еще без печурки в комнате при 0° (и – ниже), каждый день выходя на Смоленский Рынок[161] продавать старье свое (я ей отдавал все, что мог, но этого было мало). Я жил это время вот как: –

– в небольшой комнате, окруженный С-ми, (за стеной баранье блеянье М.И. С-ой и брюзжанье В-ва[162]; за другой – отвратительное клохтанье старухи матери С-ой); у меня в комнате, в углу, была свалена груда моих рукописей, которыми 5 месяцев подтапливали печку; всюду были навалены груды г-вского[163] старья, и моя комната напоминала комнату старьевщика; среди мусора и хлама при температуре в 6–4°, в зимних перчатках, с шапкой на голове, с коченеющими до колен ногами просиживал я при тусклейшем свете перегоревшей лампочки или готовя материал для лекций следующего дня или разрабатывая мне порученный проэкт в Т.О. (Театральн<ом> Отделе)[164], или пишучи *«Записки чудака»*, в изнеможденении бросаясь в постель часу в 4-ом ночи; отчего просыпался я не в 8, как С-вы (глубокие мещане, мещанством загнавшие меня в угол), а в 10 и мне никто не оставлял горячей воды; так, без чаю подчас, дрожа от холода, я вставал и в 11 бежал с Садовой к Кремлю (где был Т.О.), попадая с заседания на заседание (я тогда заведовал Научно-Теор<етической> секцией); в 3½ от Кремля по отвратительной скользкой мостовой, в чужой шубе, душившей грудь и горло, я тащился к Девичьему Полю, чтобы пообедать (обед лучше *«советского»*, ибо кормился я в частном доме – у друзей – Васильевых[165]). После обеда надо было «переть» с Дев<ичьего> Поля на Смоленский Рынок, чтобы к ужину запастись «гнилыми лепешками», толкаясь среди вшивой, воню<чей>* толпы и дохлых собак (помню вывеску на углу *«Все для желудка»* – раз посмотрел в окно, что такое это *«все»*; это были – пустые бутылки: материя потребления утекла для них; и это называлось *«Все для желудка...»*; оттуда, со Смоленского Рынка, тащился часов в 5–6 домой, чтобы в 7 уже бежать обратно по Поварской в Пролет-Культ, где учил молодых поэтов ценить поэзию Пушкина, увлекаясь их увлечением поэзией; и уже оттуда часов в 11 брел домой, в абсолютной тьме, спотыкаясь о невозможные ухабы; и почти плача оттого, что чай, который мне оставили, опять простыл, и что ждет холод, от которого хочется кричать.

Пойми, – так продолжалось: не день, не два, а ряд месяцев, в которых каждый час – терзание: на холодные, огромные дома, в которых лопались водопроводы (и квартиры заливались то водой, то нечистотами) – на дома сыпался снег; и – казалось: засыпает засыпает, – навсегда засыпает; и каждая снежинка, казалось, отделяет расстояние между этой унылой тьмой сплошных физических и нравственных мучений и тем, где «все, что сердцу мило» [...][166]. Вспоминалось «Winterreise» Шуберта[167]; и высекался свет; и я находил все же силы читать лекции, которые** в людях зажигалась надежда (люди ждали моих лекций, как нравственной

* После переноса слово недописано (прим. В. Ходасевича).

** Переделано из: «в которых». По-видимому, написав сначала: «в которых в людях зажигалась надежда», Белый начал исправлять фразу, чтобы получилось: «которые в людях зажигали надежду», – но исправления не докончил (прим. В. Ходасевича).

поддержки в их тьме); и я, перемогая тьму, давал другим силу переносить тьму, не имея этой силы, и как бы протягивая руки за помощью [...][168] Я ждал нравственной помощи: ведь мы [...][169] должны были для Вас выглядеть умирающими, ведь действительно: холод, голод, аресты, тиф, испанка[170], нервное переутомление сводило вокруг в могилы целые шеренги людей. Я думал, что из чувства естественного, человеческого сожаления или просто духовной чуткости – вы [...][171] должны были бы понять, в чем мы. «Трах!» [...][172] А я и сказать ничего не мог о том, в каких тяготах мы живем: цензура писем!

[...][173] Оставалось воскликнуть словами Гиппиус: *«Ни-че-го не по-нимают!»*

[...][174]. А теперь: вот я вырвался, – и меня не пускают в Германию; и не к кому обратиться. Доктор Штейнер сейчас в Берлине (это я знаю по объявлению лекций его в *«Berliner Tageblatt»*[175]). Мне все говорят, что он в 24 минуты мог бы устроить мне визу, чтобы из *«Auswertiges Amt»*[176] в Ковно мне была послана виза; но наученный опытом, что такого *«великого человека»* не беспокоят по пустякам [...][177], и не напишу ничего *«великому человеку»)* – из гордости и из недоверия. [...][178]. В Ковно мне долго жить нельзя (транзитная виза); и мне остается уехать обратно в Россию, если люди, безмерно менее влиятельные, чем Штейнер, не сумеют мне достать визы. Может быть, когда ты получишь это письмо, я уже буду опять в России. И на этот раз уже никуда не поеду. Прощай. Б.

P.S. И опять пишу Тебе.

[...][179]. Вот список цен в Москве и Петербурге за продукты: фунт сомнительного хлеба (в Петербурге смешанного с мохом) – 3.000. Коробка спичек – 1.200 рублей; 10 папирос – от 1.000 (дряннейшие) до 2.500 (более сносных); крошечная булочка белая – 3.000; маленький пирожок сладкий – 4.000; сажень дров – 1.000.000. Проезд из Москвы в Петербург 150.000 р. (а когда уезжал, то цены скакнули: проезд должен был стоить 700.000 рублей); пара дрянных ботинок – от 600.000, 700.000 до миллиона. И т.д.

Ужасно! Подумай, как живут в Москве? Я пять лет не мог себе сшить шубы; так и ходил в чужой шубе, жалея, что свою старую оставил в Швейцарии; мои невыразимые были в таком состоянии все лето, что я должен был все лето ходить в русской рубашке, чтобы прикрыть неприличие своих панталон, а когда наступила осень, я стал простужаться от легкой одежды; мне пришлось вооружиться иглой и нитками (катушка ниток – 20.000) и просидел 2 вечера за штопаньем, абсолютно не умея справиться с одеждой (нужно было быть искусной мастерицей, а я едва владею иглой). В таких панталонах читал лекции, появлялся в публичных местах, председательствовал на многолюдных собраниях; шляпа моя – была драная; мы все выглядели оборванцами; очереди получить что-либо от казны таковы, что ждут годами; 3 дня в Петрограде ходил в туфлях, ибо сапог не было.

[...][180]. Я бы погиб, если бы отдельные добрые души (чаще женские) иногда добровольно мне не помогали, т.е. немного заботились о тысячах мелочей нашей усложненной хозяйственной жизни.

Подумай, везде хвосты; Ты получаешь карточки на все, и должен следить за всем: когда выдаются спички, селедки, хлеб, папиросы; о дне выдачи опубликовывается в газетах; далее, узнав, ты должен за получением 2 коробок спичек, или ½ фунта хлеба во-время занять место в очереди перед продовольственной лавкой; и иногда часами стоять на дожде, морозе и т.д. Сегодня выдают спички, завтра 2 се-

ледки, послезавтра ½ ф. хлеба и т.д. Из хвоста – в хвост. Подумай, а у меня по 6 заседаний в день; у кого семейство – пошлют сына; он – отстоит; а когда человек один, он должен и стоять в хвостах, и служить; и, вернувшись домой, натаскать дров, наколоть дрова; и пуститься в хвосты.

Естественно, что я манкировал всюду: например узнал, что 20 огромных селедок выдают писателям, где-то на Мясницкой в час, когда у меня было ответственное дело, – пропали селедки. Самой простой вещи, таскального мешка у меня не было, пока мне одна дама не сшила его (уже перед отъездом); ведь сколько пришлось перетаскать на спине.

Вот как я жил с осени 1919 года до февраля 1920 года: намучившись ледяной с-вской комнатой 1918–1919 года, я переехал к *тройным рамам* одной квартиры, где жила моя знакомая писательница **N**[181] (бывшая хлыстовка и *«распутинка»*, а ныне нервная, капризная эфироманка, хотя – добрый человек). Она приютила меня вроде как из милости в комнате, имевшей лишь 2 шага в длину и 1½ в ширину; комнату замазали; форточки, т.е. вентиляции, в ней не было. Книги, рукописи лежали грудами на полу (не было ни шкафа, ни комода): постель, стол, кресло; и – все. Комнату топили дровами через день или через 2; температура стояла сносная от 7 до 9 градусов; но в дни топки я рисковал умереть от угара, ибо печка просачивала угар. В квартире порой стоял крик хозяйки, пронизывающий мои стены; кроме того, очень часто в моей печке варился наш обед т.е. часто готовили у меня; и открывая утром глаза, я заставал мою хозяйку в дезабилье, сидящей перед печкой и что-то варящей там невзирая на то, что я не одет. Картофель мешался с рукописями, а когда раз я уехал на несколько недель и потом вернулся, я увидел, что ряда листов ценного материала, собранного в музеях, – нет: вероятно, им завертывали селедки. Днем я бежал от Пресни к Историческому и Рум<янцевскому> Музею, сидел в температуре 0 и ниже 0, делая выписки, пока ноги не оцепеневали до колен; тогда я читал, прыгая от холода[182]. Возвращался в 5 часов в свою комнатушку. В то время я читал в А<нтропософском> О-ве курс «Антропософия» в помещении, где от холода леденел мозг и где все сидели в шубах и шапках; тем не менее: когда один старик, почтенный человек, В.А. Папе, уже старик, умирал от испанки, то он умер с розенкрейцерским лозунгом на устах: так людям были нужны мои лекции; и я думаю, что наша Антр<опософская> работа была очень ценна, ибо мы поднимали дух в человеке, а этим духом только и отапливались люди. Тем не менее, я с Рождества бросил курс: не мог его выдержать; тягота и физич<еские> страдания бременили меня. Мой хозяин за тонкой стенкой заболел тифом: и днями, и ночами кричал в беспамятстве. И вот среди варки обеда, угаров печки, картофеля, супа и истерических воплей хозяйки я должен был раскидывать свои груды рукописей; и – работать. [...][183]

Этих горьких минут личной покинутости (*«Боже мой, за что Ты оставил меня!»*)[184] я не забуду. Наконец я не выдержал, сорвался и бежал из Москвы в Петербург (усталый, разбитый); и – февраль, март, апрель, май, июнь я как вол заработал в нашей Петербургской *«Вольфиле»*...* [...][185] как за меня там цеплялись десятки душ, которых я приобщал к *«самопознанию»*: меня буквально выпили; и, *выпитый*, я кинулся обратно в Москву, потому что уже не мог давать ничего людям (в Петер-

* «Вольная философская ассоциация», основанная в 1920 г. и существовавшая до 1925 г. (прим. В. Ходасевича).

бурге я прочел до 60 лекций), опять попадая в Москву и опять окруженный криком: *«Дай, дай, дай, дай духовной пищи!»* [...][186] не легко было эту пищу давать, потому что я-то *ни от кого не получал ничего...* Не забудь, что одновременно, в то же время я неустанно хлопотал о выезде: меня не пустили в феврале 1920 года; потом в августе 1920 года не пустили вторично, и в сентябре меня подобрал А.И. Анненков и увез жить за Москву к себе на завод[187]; отсюда я делал выбеги на лекции (которыми жил я материально и которыми жили морально многие души); с сентября до января я написал книгу по *философии культуры* и черновик *Эпопеи* (1-го тома), работая безумно много, до нервного изнеможения; книга по *«Философии Культуры»* потеряна* (это была лучшая моя книга теоретическая: антропософское обоснование культуры; не я *потерял*, но *мне потеряли ее* – Виноградов[188], который хотел для меня снять копию); а вторую книгу, мной написанную, *«Толстой и культура»* увез латвийский спекулянт[189] (печатать заграницу) за миллион аванса (списка снять не было времени); и – исчез бесследно: и эта книга потеряна[190].

Видишь, мне не везло.

В декабре я упал в ванне и 10 дней таскался в Москву из-под Москвы, пока не сделалось воспаление надкостницы крестца и не обнаружилось, что я раздробил крестец: меня сволокли в больницу, где я $2^1/_2$ месяца лежал, покрытый вшами. И я опять рванулся из Москвы, опять попал в Петроград; опять с марта до сентября впрягся в работу *«Вольфилы»* – с какими же силами? Опять хлопотал об отъезде; и опять не пустила чрезвычайка (в июне); тогда я нервно заболел; меня лечил невропатолог проф. Троицкий[191]; тут я решил бежать, но об этом узнала чрезвычайка; и побег – рухнул. Тут умер Блок, расстреляли Гумилева; и – устыдились: молодежь стала кричать: «Пустите Белого за границу, а то и он как Блок умрет!» Друзья надавили; и – пустили.

[...][192] как провожала меня молодежь в Петербурге, какие слова благодарности я слышал (Кто-то из публики мне крикнул: *«Милый, Котик Летаев, – когда вам будет одиноко там, помните, что мы, здесь, вас любим!»* Так же меня провожали в Москве: представители студий, писатели, молодежь. Да, [...][193], меня *крепко любит Россия!..*

Но я все бросил: рванулся [...][194]

И сижу закупоренный в Ковно без цели и смысла, без отдыха, но и без дела: можно эдак просидеть энное количество месяцев. Визы еще нет из Берлина. Нужно, чтобы *Auswertiges Amt* дало разрешение, а разрешения – нет. Доктор мог бы в 24 часа меня выцарапать отсюда; он – в Берлине, но... *«великого человека»* не беспокоят по пустякам. [...][195]

И мне остается ехать обратно, ибо в России есть хоть смысл *пасть от усталости*, а здесь, в Ковно, нет никакого смысла сидеть. Уже прочел 3 лекции. Срок права на жительство – до 17.

P.P.S. Кажется, – все же прорвусь в Берлин (пишу это 12-го); виза прислана, но немцы в Ковно выдвигают новое требование: поручительство; и с поручительством налаживается, – но кто знает, какие еще новые препятствия ждут. Сейчас я так измучен, что не думаю ни о чем, лишь бы устроиться где-нибудь в Германии: отоспаться [...][196] – чтобы, отоспавшись, заработать над «Эпопеей»...

---

* Впоследствии она отыскалась и была доставлена Белому в Берлин, но напечатать ее ему не удалось. Она до сих пор находится в рукописи (прим. В. Ходасевича).

[...][197] все, что подлинно любит меня, все, чему я нужен, — в России. Русская эмиграция мне столь же чужда, как и большевики; в Берлине я буду один. Антроп<ософское> О-во? Но — нет, нет, нет; там я был бы *бараном* в стаде; моя работа в Антропософии — в России. Но Россия меня измучила.

Стало быть: я стараюсь, пока что рассматривать *Ausland*[198], как санаторий, в котором мне надо окрепнуть нервами, написать начатые книги, издать их; [...][199]

Пока не буду в Берлине, не уверен, что не придется ехать обратно.

Читаю послезавтра в Ковенском Городск<ом> Театре о Толстом (это моя 4-ая лекция здесь)[200].

Ну, Господь с Тобой.

P.S. Все, что я писал о России, не рассказывай, что именно я писал: помни, что за нами, Русскими, и за границей следят агенты Чрезвычайной Комиссии. А я оставляю маму в России*[201], которую могут арестовать за меня; да и кроме того: обратного въезда не хочу испортить, ибо близкие сердцу друзья — в России.

Литовцы очень милый народ. Я сошелся с Обществом Литовских Художников (включающее и литераторов); среди них нашлись милые, тонкие, сердечные люди. Литва переживает начало строительства своей государственности. Литовский язык очень звучен и красив.

Две мои лекции (технические) о худ<ожественной> форме сильно запали в сознание здешней молодежи; председатель драмат<ической> секции обратился ко мне с просьбой дать план организации работ Литературно-Художественной Студии т.е. программу литературных курсов, постановку семинария[202]: просили меня из Берлина прислать разработанным этот план.

Познакомился с очень симпатичным литовск<им> общественным деятелем, ксендзом Tumas'ом[203] и некоторыми другими литовцами.

Последние дни в России в спешке выезда сорганизовал в Москве отделение «*Вольной Философской Ассоциации*» и провел первое заседание. Меня выбрали бессменным председателем Московского и Петербургского Отделения, хотя я и уезжаю за границу. И в Москве, и в Петербурге прочел несколько лекций в последний месяц перед отъездом; в Петербурге: «*Философия поэзии Блока*», «*Воспоминания о Блоке*» и опять «*Воспоминания о Блоке*»; и в Москве: «*Поэзия Блока*»[204] и «*Кризис Культуры и Достоевский*».

В Совете Петербургской Вольной-Фил<ософской>-Ассоциации я (председатель), Иванов-Разумник (Пом<ощник> председателя), А. Штейнберг (ученый Секретарь), Эрберг. В Совете Московской «Вольно-Фил<ософской> Асс<оциации>» я (председатель), Столяров (пом<ощник> председателя), Шпетт (пом<ощник> председателя), Новомирский (ученый секретарь). Среди действит<ельных> членов — Гершензон, Бердяев, Вышеславцев, Степпун, Кандинский и др.[205] У Бердяева есть другое О-во, председателем которого он состоит: «Академия духовной культуры»[206]. «*Вольфила*» и «*Академия*» — суть братские антиподы и конкуренты: «*Вольфила*» — нового духа, «*Академия*» — старого). Дух *Dreigliederung*[207] — дух «*Вольфилы*».

А<нтропософское> О-во полно теперь жизнью: произошли решительные перемены. [...][208]

Довольно. Кончаю это горькое письмо. Сделаю все возможное, чтобы оно дошло до Тебя. Прощай. Б.Б.

---

* Мать Андрея Белого скончалась в 1923 г. в Петербурге (прим. В. Ходасевича).

* * *

Белый часто терял рукописи — свои и чужие: не потому, что был рассеян в простом, обывательском смысле, а потому, что жил в некоей фантасмагории. Казалось, предметы, попадавшие в его обиход, подхватывались тем вихрем, которым он сам был всегда подхвачен. Об одном таком случае чудесно рассказала Марина Цветаева[209]. Иллюстрацией к другому может быть письмо, само по себе незначительное, но выразительно представляющее ту суматошную смесь действительности с бредом, которая то и дело заваривалась вокруг Белого.

В начале 1923 г. издатель З.И. Гржебин[210] поручил мне составить том избранных сочинений Державина. Я отметил нужные стихи по Академическому изданию[211], после чего они были ремингтонированы. В то же время Белый с нашим общим переводчиком В. Грегером[212] задумывали издать антологию русских поэтов на немецком языке. Белый взял у меня несколько стихотворений Державина, чтобы показать их Грегеру, а затем уехал в Штуттгарт и Гарцбург, с К.Н. Васильевой, будущею своей женой. Меж тем, Гржебин решил приступить к набору книги, и я написал Белому, прося вернуть взятые у меня листки из рукописи. В ответ получил я 17 июня 1923 г. нижеследующее (недатированное) письмо из Гарцбурга:

3

Дорогой, милый Владислав Фелицианович,

весь день сегодня я бегаю по комнате с внутренним жестом, что я схватил себя за голову, что я рву волосы на* голове от отчаяния, боли, обиды за Вас, злясь, что даже нечего мне сказать в защиту себя с полным сознанием той гадости, которую я Вам сделал; и без всякой возможности поправить беду; мне остается одно: написать Гржебину письмо с указанием на то, что Вы в деле с Державиным не при чем, а во всем виноват я. Не давайте мне больше ничего: ни строчки! Я постоянно в потопе бумаг; и при всех усилиях *без секретаря* я не могу справиться с порядком, барахтаюсь в волнах своих и чужих рукописей с пересыпающимися друг в друга архивами... Все «*несносный*» Грегер, выматывавший из меня материалы... Понимаете, что произошло? Я старательно спрятал листки Державина в сундук, уезжая в Штуттгарт; вернувшись, перерыл все — листков не было; и я подумал, что недосмотрел; при спешной перекладке пришлось перекопаться в бумагах, скопившихся за 7 месяцев: спешно; и груду дряни выбросить (с ними и ряд чьих-то рукописей, которых не было возможности вернуть); пришлось в** трех местах запрятать бумаги (иные в несгораемый шкаф, ключа от которого у меня нет: где-то в Центро-Союзе: но там, ручаюсь: нет листков с Державиным. Словом, при генеральной разборке их не оказалось: и я был уверен, что листки в Вашем Лермонтове: но в Гарцбурге обнаружилось, что их и здесь нет. И стало быть: они оказались в куче бумаг, вероятно, выброшенных... Ужасно! Я волосы на себе рву; если... паче чаяния я не передал Грегеру этих листков (наверное, — нет); снеситесь с Грегером: *Wolfgang E. Gröger. Berlin-Steglitz. Sedan-str. 11. Kurfürst. 52–66* или 52–67. Я могу написать в Москву, чтобы спешно выслали текст, если Вы тотчас дадите мне перечень стихов, которые дали мне: Кл. Ник. Васильева ручается за спешную высылку тек-

* Сперва было «на себе», но зачеркнуто (прим. В. Ходасевича).

** Начато: «Бер<лине>», но зачеркнуто (прим. В. Ходасевича).

ста. Еще раз — * верьте, что я совершенно не нахожу себе места и покоя с отчаяния. Не смею даже просить Вас о смене гнева на милость.

Совершенно несчастный Борис Бугаев.

(На верху страницы): *P.S.* Я не раз страдал от таких «казусах» <так!>, которые мне подносили друзья: и оттого-то я, верьте, переживаю с особою болью то, что именно я подложил Вам «*свинью*»...

* * *

В конце октября 1923 г. Белый уехал в Россию. После его отъезда хозяйка пансиона, в котором он жил весной, принесла мне груду бумаг, брошенных Белым на произвол судьбы. Листки из Державина нашлись в этой груде, которая была мною тогда же передана одному лицу, положившему много труда на заботы о Белом во время его трагического пребывания в Берлине. Судьба этих бумаг мне неизвестна.

Послесловие

О том, что Андрей Белый значил для Владислава Фелициановича Ходасевича (1886–1939), очень решительно сказано в публикуемых некрологах-воспоминаниях: «<...> он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал». Если прибавить к этому слова Н.Н. Берберовой, которая в некрологе Ходасевичу говорила: «<...> особо было его отношение к Андрею Белому <...> — ничего не могло уничтожить или исказить ту огромную, вполне безумную, “сильнее смерти” любовь, которую он чувствовал к автору “Петербурга”. Это было что-то гораздо большее, нежели любовь поэта к поэту, это был непрерывный восторг, неустанное восхищение, которое дошло всей своей силой до последних бредовых ночей Ходасевича, когда он говорил с Белым сквозь муку своих физических страданий и с ним предвкушал какую-то неведомую встречу»[i], то иные комментарии будут излишни.

Белый написал о творчестве Ходасевича две большие статьи: «Рембрандтова правда в поэзии наших дней» (Записки мечтателей. 1921. № 5) и «Тяжелая лира и русская лирика» (Современные записки. 1923. Кн. XV). Ходасевич, в свою очередь, написал о его прозе большую аналитическую статью «Аблеуховы — Летаевы — Коробкины» (Современные записки. 1927. Кн. XXXI; позднейшие ее перепечатки восходят к сильно отцензурованному Н.Н. Берберовой тексту и потому не могут восприниматься как надежный источник), рецензировал «Крещеного китайца» (Современные записки. 1927. Кн. XXXII) и все три тома воспоминаний: «На рубеже двух столетий» (Возрождение. 1930. 29 мая. № 1822), «Начало века» (Возрождение. 1934. 28 июня. № 3312 и 5 июля. № 3319), «Между двух революций» (От полуправды к неправде (Возрождение. 1938. 27 мая. № 4133)[ii]; постоянно апеллировал к его имени и произведениям во многих статьях. Белый вспоминал о своем общении с Ходасевичем в «Между двух революций»[iii], а тот — в известном очерке

* Здесь было начато слово «рву», но зачеркнуто (прим. В. Ходасевича).

[i] Современные записки. 1939. Кн. LXIX. С. 259.

[ii] Две последние статьи перепечатаны в кн.: Андрей Белый: pro et contra. СПб., 2004. С. 856–872.

[iii] *МДР 1990*. С. 221–224; другие упоминания в трилогии — по указателю.

«Андрей Белый» в книге «Некрополь» (Брюссель, 1939). Отметим также пародию Ходасевича: «Московская симфония (5-ая, перепевная)»[i].

На смерть Белого Ходасевич в 1934 г. откликнулся тремя публикациями: некрологической заметкой «Андрей Белый» (Возрождение. 1934. 13 января. № 3147; подп. В.Х.), большими, растянувшимися на три номера воспоминаниями «Андрей Белый. Черты из жизни» (Возрождение. 1934. 8, 13 и 15 февраля. № 3173, 3177, 3179) и мемуарно-биографическим материалом «Три письма Андрея Белого» (Современные записки. 1934. Кн. LV. С. 257–270). Мы перепечатываем их в полном объеме по тексту первой публикации. Значительные разночтения с очерком «Андрей Белый» в сб. «Некрополь» (Брюссель, 1939) отмечены в постраничных примечаниях; также в постраничных примечаниях отмечены – по публикации в «Воздушных путях» (Нью-Йорк, 1967. Альманах V. С. 296–309) – купюры, сделанные Ходасевичем в письме Белого к А.А. Тургеневой от 11 ноября 1921 г.

---

[1] Естественно-математическое отделение Московского университета тогда называлось естественным отделением физико-математического факультета. Белый поступил на него в 1899 г. и в 1903 г. окончил с дипломом первой степени.

[2] Слово «перешел» здесь неточно. Белый заново поступал на другой факультет.

[3] «Симфония (2-я, драматическая)» была написана в 1901 г., однако издана в апреле 1902 г.

[4] Здесь Ходасевич явно апеллирует к собственному опыту, так как в «Альманахе к-ва Гриф» в 1905 г. дебютировал в печати он сам.

[5] На первый взгляд, эти воспоминания чрезвычайно напоминают очерк «Андрей Белый», вошедший в сборник «Некрополь» (Брюссель, 1939). На самом деле это не вполне так. Составляя книгу, Ходасевич весьма свободно перекомпоновывал отдельные элементы текста, и в публикуемую здесь газетную редакцию включены значительные фрагменты, впоследствии попавшие в очерки «Брюсов» и «Конец Ренаты». Помимо того, есть довольно существенные текстуальные разночтения, вызванные многими причинами.

Прежде всего, общие принципы «Некрополя», сформулированные как в кратком предисловии и примечаниях к нему, так и внутри отдельных очерков, здесь вынесены Ходасевичем в основной текст. Далее, это изменение модальности некоторых пассажей, причем, пожалуй, невозможно в точности определить направленность этих перемен, поскольку время от времени Ходасевич в более позднем варианте усиливает решительность суждений, а время от времени – наоборот. Так, в газетном тексте читаем: «...папу он боялся и ненавидел до очень, может быть, сильных степеней ненависти (недаром потенциальные или действительные преступления против отца составляют фабулическую основу всех перечисленных романов)». В тексте книги убираются слова «может быть» и добавляется решительное «вплоть до покушения на отцеубийство». Зато в рассуждении: «Я долгом своим (не легким) считаю – исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова: то, что Андрей Белый так ненавидел сам и что именно он научил меня ненавидеть» – снимается часть фразы после двоеточия, чем решительность явно ослабляется. Наконец, исправляются неточности (так, Н.Я. Брюсова никак не могла беседовать с Белым в 1890-х) и добавля-

---

[i] Впервые опубл. Р. Хьюзом (Вестник русского христианского движения. 1987. № 151. С. 145–149); см. также в примечаниях И.П. Андреевой: *Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 605–608.

ются вспомнившиеся колоритные подробности (в характеристике Е.П. Летковой-Султановой появляется: «...в которую долгие годы был безнадежно влюблен Боборыкин»).

При составлении комментария (значительно расширенного по сравнению с предыдущими вариантами: *Ходасевич Владислав.* Собр. соч. Т. 4. С. 545–551; *Ходасевич Вл.* Некрополь. Литература и власть. Письма к Б.А. Садовскому. М., 1996. С. 282–290) нами использованы материалы, обнародованные А.В. Лавровым в примечаниях к републикации очерка из «Некрополя» (Русская литература. 1989. № 1. С. 128–133).

[6] Имеется в виду кн.: *Андрей Белый.* Петербург. Роман: В 2 ч. Берлин, 1922.

[7] Слово «конкретный» для Белого было отмечено принадлежностью к антропософской лексике.

[8] В биографической канве жизни Ходасевича имя Белого впервые встречается в 1904 г. (см. далее описание первой встречи). Согласно хронологической канве (*Лавров А.В.* Андрей Белый в 1900-е годы. С. 321), Белый уехал в Москву 23 октября и прибыл туда 26 октября 1923 г. Разрыв Ходасевича с ним состоялся на прощальном вечере 8 сентября (фотографии участников вечера см.: *Ходасевич Владислав.* Колеблемый треножник: Избранное. М., 1991. С. 308, 309), однако еще 6 октября они вместе читали в «Клубе писателей». Запись Ходасевича о встрече в Праге, датированная 5 ноября (см.: *Ходасевич Владислав.* Камер-фурьерский журнал / Подгот. текста, вступит. ст., указатели О.Р. Демидовой. М., 2002. С. 52), прочтена составителем неверно. Следует читать не «Белый», а «Бем».

[9] Из стихотворения А.С. Пушкина «Герой» (1830): «Тьмы низких истин нам дороже / Нас возвышающий обман».

[10] Н.В. Бугаев написал серию учебников по арифметике, геометрии, алгебре и другим дисциплинам, а также составил сборники задач и вопросов к ним. Здесь могли иметься в виду: «Руководство к арифметике: Арифметика целых чисел (В объеме гимназического курса)» (Сост. Н.В. Бугаев, орд. проф. Имп. Моск. ун-та. М., 1874; к 1898 г. вышло уже 10-е издание «Руководства...») и «Задачник к арифметике целых чисел» (М., 1874), а также «Руководство к арифметике: Арифметика дробных чисел» (М., 1876) и «Задачник» к нему.

[11] Отсылка к фрагменту Гераклита B 52: «Вечность есть играющее дитя, которое расставляет шашки: царство (над миром) принадлежит ребенку» (пер. А.О. Маковельского). См.: Досократики: Первые греческие мыслители в их творениях, в свидетельствах древности и в свете новейших исследований. Историко-критический обзор и перевод фрагментов, доксографического и биографического материала А. Маковельского. Ч. I–III. Казань, 1914–1919. Ч. III. С. 156).

[12] Очевидная опечатка, должно читаться: «900-х».

[13] Надежда Яковлевна Брюсова (1881–1951) – впоследствии музыковед, профессор Московской консерватории.

[14] Описанный случай произошел 8 декабря 1901 г. на обсуждении доклада Д.С. Мережковского «Русская культура и религия» в Московском психологическом обществе. Вспоминал о нем в несколько более смягченных тонах и сам Белый (*НВ 1990.* С. 198).

[15] Имеются в виду публичные чествования И.С. Тургенева в Москве в феврале–марте 1879 г.

[16] Екатерина Павловна Леткова (в замуж. Султанова, 1856–1937), прозаик, мемуаристка, переводчица. Ходасевич был с нею знаком по петербургскому «Дому искусств». Сведения о матери Белого и ее соперничестве с Летковой Ходасевич мог почерпнуть из мемуаров Белого (*НРДС 1930.* С. 79).

[17] В поздней редакции очерка «Андрей Белый», опубликованной в кн. В. Ходасевича «Некрополь» (Брюссель, 1939), далее: «в которую долгие годы был безнадежно влюблен Боборыкин».

[18] В дневниковой записи, датированной «Май, конец <1903 г.>», В.Я. Брюсов рассказывал: «У Бугаева умер отец. <...> “Вавилонская блудница”, мать Бугаева, в черном, повествовала, как она отчаивается <?>. Белый был необыкновенно хорош в новой роли делового человека. У такой беспутной матери и должен был явиться такой целомудренный сын. Алеша, сын Карамазова» (НИОР РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 16. Л. 33–33 об; в печатном издании запись сильно сокращена). См. также рассказ Брюсова в черновике письма к З.Н. Гиппиус того же времени (Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 301).

[19] В «Некрополе»: «один и тот же семейный конфликт».

[20] Имеется в виду упоминавшаяся выше статья «Аблеуховы – Летаевы – Коробкины» (Современные записки. 1927. Кн. XXXI. С. 255–279).

[21] Ср.: «В лакированном доме житейские грозы протекали бесшумно; тем не менее грозы житейские протекали здесь гибельно <...>» (*Андрей Белый.* Петербург. СПб., 2004. С. 14 («Литературные памятники»)).

[22] Изложение психологического состояния Белого-ребенка строится, скорее всего, на его мемуарной книге «На рубеже двух столетий», где этому уделено много места, а также на автобиографической повести «Крещеный китаец».

[23] Ср.: «<...> “он” бегает спинником, вертится, машет руками <...> – своей пятипалой рукою схвативши зажженную лампу, стоит с этой лампой, стараясь и лампу раздрызгать о пол и закракать стеклянником, взвеявшим черно-кровавое пламя и копоть, чтобы просунуться в пламя, пропасть в клубах копоти... – Лампа рукою опущена снова на стол; и наверное – нет кабинетика: в красных кругах разлетаются стены <...>» (*Андрей Белый.* Крещеный китаец. М., 1927; репринт – 1992. С. 154. Глава «Папа дошел до гвоздя»).

[24] Ср.: «Мама не знает, в чем “сила”: я – знаю: – и держит сокрытая “сила” меня. <...> Потому что я видывал “силу” огня, потому что я слыхивал звуки “гвоздя”; и мне ведома участь Содома!» (*Там же.* С. 214–215. Глава «Спутник»).

[25] В «Некрополе» далее: «(вплоть до покушения на отцеубийство) <...>».

[26] В «Некрополе»: «Что принималось и одобрялось отцом, то отвергалось и осуждалось матерью».

[27] В «Некрополе» далее: «Буду вполне откровенен: нередко он и бывал двуличен, и извлекал из двуличия ту выгоду, которую оно иногда может дать. Но в основе, в самой природе его двуличия не было ни хитрости, ни оппортунизма».

[28] В «Некрополе» далее: «И то и другое он искренно ненавидел. Но в людях, которых любил, он искал и, разумеется, находил основания их не любить».

[29] Здесь и далее *квадратными скобками* выделены фрагменты, не включенные в очерк «Андрей Белый» в сборнике «Некрополь».

[30] В «Некрополе» далее: «не потому, что любила музыку и поэзию, а потому, что уж очень ненавидела математику».

[31] Эти вечера начались в сентябре 1902 г. См.: «Я устроил у себя jours-fix<ex>. Бывает всегда Курсинский, часто Гофман, затем Балтрушайтис, С.А. Поляков, Ланг, Черногубов, Саводник, Каллаш. Пестрая компания (Позднее: Пантюхов, Койранские)» (*Брюсов Валерий.* Дневники 1891–1910. М., 1927. С. 122; с исправлением по рукописи). Особое значение приобрели журфиксы весной 1903 г., когда шла, по брюсовскому выражению, «борьба в Москве».

[32] Ходасевич с 1904 г. учился на юридическом (позже на историко-филологическом) факультете Московского университета (не окончил). Подробнее см.: *Колкер Юрий.* Университетские годы В.Ф. Ходасевича // Русская мысль. 1986. 6 июня.

[33] Использовано заглавие статьи Вячеслава Иванова «Предчувствия и предвестия» (Золотое руно. 1906. №№ 4, 6).

[34] Нина Ивановна Петровская (1879–1928) – прозаик, критик, переводчица, мемуаристка. В то время – жена поэта и издателя С.А. Соколова (Сергея Кречетова). Наиболее подробно (с библиографией) о ней см.: Валерий Брюсов и Нина Петровская. Переписка. М., 2004. Об отношениях с Белым см.: Письма Андрея Белого к Н.И. Петровской / Публ. А.В. Лаврова // Минувшее. Т. 13. С. 198–214.

[35] Имеется в виду К.Д. Бальмонт.

[36] В «Некрополе» вместо фрагмента в квадратных скобках: «Я познакомился с ним в эпоху его романа с Ниной Петровской, точнее – в ту самую пору, когда совершался между ними разрыв». Часть этого фрагмента (от начала до слов «Было нечто необыкновенно обаятельное в его тогдашней манере чтения и во всем его облике») вошла в очерк Ходасевича «Брюсов» в сб. «Некрополь».

[37] «Из ада изведенные» – раздел в книге Брюсова «Stephanos» (1906). Вошедшие туда стихи 1903–1905 гг. действительно чаще всего связаны с именем Н.И. Петровской, хотя и не все.

[38] В «Некрополе» вместо фрагмента в квадратных скобках:

«Однако в этой области с особенною наглядностью проявлялась и его двойственность, о которой я только что говорил. Тактика у него всегда была одна и та же: он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключающем всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратно: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятнанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед “падением» ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, – но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили.

Нина Петровская пострадала за то, что стала его возлюбленной. Он с нею порвал в самой унизительной форме. Она сблизилась с Брюсовым, чтобы отомстить Белому – и в тайной надежде его вернуть, возбудив его ревность».

Часть фрагмента в квадратных скобках Ходасевич использовал в «Некрополе» в очерке «Конец Ренаты», посвященном Н.И. Петровской.

[39] «Золотое Руно» – московский символистский журнал, выходивший в 1906–1909 гг. Официальным редактором его был миллионер Н.П. Рябушинский, а литературным отделом до июля 1906 г. заведовал муж Петровской С.А. Соколов, с которым Ходасевич тогда дружил. Сам Ходасевич активно стремился стать секретарем журнала.

[40] В очерке «Брюсов» Ходасевич писал: «...это был, можно сказать, “национальный” напиток московского символизма» (Собр. соч. Т. 4. С. 28). Вероятно, популярность напитка была связана с прозой Ст. Пшибышевского (ср.: «Недаром же многие писатели, как известно, прибегают во время работы к наркотикам, для того чтобы усыпить работу сознания и оживить работу подсознания, фантазии. Пшибышевский не мог писать иначе, как имея перед собой коньяк; Гюисманс, да и не он один, пользовался для этой цели опием,

морфием. Андреев во время работы пил крепчайший чай. Ремизов, когда пишет, пьет кофе и курит. Я без папиросы не могу написать и страницы». *Замятин Е.И.* Психология творчества // Художественное творчество и психология. Сборник. М., 1991. С. 159).

[41] Стихотворение Белого «Преданье» (включено в книгу «Золото в лазури». М., 1904) было написано не только до разрыва с Петровской, но и до начала превращения «духовных» отношений в «чувственные». Стихотворение Брюсова «Предание» (с датой 1904, ноябрь – 1905, март – 1906, январь) было впервые опубликовано лишь в 1935 г. Текст см.: *Брюсов Валерий.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1974. Т. 3. С. 290–292.

[42] В «Некрополе» далее: «и не догадывается о подоплеке, <...>».

[43] В «Некрополе» вместо фрагмента в квадратных скобках: «Мы с Белым встречались, но он меня сторонился. Я уже знал, в чем дело, но не оправдывался: отчасти потому, что не знал, как начать разговор, отчасти из самолюбия».

[44] Эти занятия были связаны с работой над романом «Огненный Ангел», начатым в 1905 г. Подробнее см.: *Гречишкин С.С., Лавров А.В.* Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел»; О работе Брюсова над романом «Огненный Ангел» // Гречишкин С.С., Лавров А.В. Символисты вблизи. СПб., 2004. С. 6–77.

[45] Это произошло в конце февраля 1905 г.

[46] В очерке «Конец Ренаты» Ходасевич отнес этот инцидент к весне 1905 г., тогда как на деле он состоялся 14 апреля 1907 г. В письме к З.Н. Гиппиус Брюсов описал его так: «На лекции Бориса Николаевича подошла ко мне одна дама (имени ее не хочу называть), вынула вдруг из муфты браунинг, приставила мне к груди и спустила курок. Было это во время антракта, публики кругом было мало, все разошлись по коридорам, но все же Гриф (С.А. Соколов. – *Н.Б.*), Эллис и Сережа Соловьев успели схватить руку с револьвером и обезоружить. <...> Когда позже, уже в другом месте, сделали попытку стрелять из того же револьвера, он выстрелил совершенно исправно, – совсем как в лермонтовском “Фаталисте”» (Литературное наследство. М., 1976. Т. 85. С. 694; ср. также: *МДР 1990.* С. 239).

[47] Поэтесса Надежда Григорьевна Львова (1891–1913) была любовницей Брюсова в 1912–1913 гг. Покончила с собой, застрелившись из револьвера, данного ей Брюсовым, 24 ноября 1913 г. Подробнее см.: *Лавров А.В.* Вокруг гибели Надежды Львовой // Лавров А.В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М., 2007. С. 199–208.

[48] Фрагмент в квадратных скобках почти полностью вошел в очерк «Конец Ренаты».

[49] Здесь заканчивается первая часть очерка Ходасевича «Андрей Белый. Черты из жизни» (Возрождение. Париж. 1934. 8 февраля).

[50] Имеется в виду А.А. Блок. Его стихи Белый знал с 1901 г., с 1903 г. состоял в переписке, однако встретились они лишь в январе 1904 г. во время приезда Блока с женою в Москву. Имен А.А. и Л.Д. Блок Ходасевич не называет, поскольку Л.Д. Блок в то время была жива.

[51] Имеются в виду «Воспоминания о Блоке» Андрея Белого (Эпопея. 1922–1923. № 1–4; перепечатаны: *О Блоке 1997*); Ходасевич мог, вероятно, уже прочитать и «Начало века» (книга вышла в продажу в декабре 1933 г.; фрагмент о Блоке был напечатан в журнале «Новый мир», за которым Ходасевич следил). Об истории отношений Белого с Л.Д. Блок Ходасевич знал и из его собственных рассказов (см.: *Берберова Н.Н.* Курсив мой: Автобиография / Изд. 2-е, испр. и доп. N.Y., 1983. С. 452–453); именно об этих рассказах он вспоминает в конце публикуемого здесь очерка.

[52] В «Некрополе» вместо фрагмента в квадратных скобках: «В своих воспоминаниях Белый изобразил историю этой связи в двух версиях, взаимно исключающих друг друга

и одинаково неправдивых. Будущему биографу обоих поэтов придется затратить немало труда на восстановление истины».

[53] Любовь Дмитриевна Блок (урожд. Менделеева, 1881–1939) действительно была предметом поклонения некоторых людей из окружения Белого, прежде всего С.М. Соловьева.

[54] В комментарии к этой фразе в «Некрополе» А.В. Лавров цитирует запись Белого 1923 г.: «...разрыв санкционирован в августе же, когда я заявляю Н.И. Петровской, что я – неумолим; у нас происходит пренеприятная сцена объяснения; она прямо мне бросает, что я – влюблен в Л.Д. Блок; ее проницательность удручает меня: я сам от себя стараюсь скрыть свое чувство» (Русская литература. 1989. № 1. С. 129).

[55] В «Некрополе»: «символистского».

[56] Важные источники для реконструкции этой истории, которых не знал Ходасевич: «И быль и небылицы о Блоке и о себе» Л.Д. Блок (Bremen, 1977; перепечатано в кн.: Две любви, две судьбы: Воспоминания о Блоке и Белом. М., 2000) и ее письма к Белому (НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 9. Ед. хр. 18; частично опубликованные: Литературное наследство. М., 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 225–258).

[57] В «Некрополе» вместо фрагмента в квадратных скобках: «Подчеркиваю, что его устные рассказы значительно рознились от печатной версии, изложенной в его воспоминаниях. По соображении всех данных, история романа представляется мне в таком виде».

[58] В «Некрополе» вместо фрагмента в квадратных скобках: «Когда же Белый, по обыкновению, от братских чувств перешел к чувствам иного оттенка, задача его весьма затруднилась».

[59] Имеется в виду не только названный А.В. Лавровым в комментариях к «Некрополю» Г.И. Чулков, с которым Белый ожесточенно полемизировал, доходя до прямых оскорблений (см. запись Белого: «Первое известие, сражающее меня окончательно: Л.Д. в связи с Г.И. Ч<улковым>; в Петербурге господствует страшная профанация символизма. Нота мести за попранную любовь и за профанацию – углубляется» // Русская литература. 1989. № 1. С. 129), но и сам Блок, против которого Белый весьма резко выступает в памфлетном рассказе «Куст» (Золотое руно. 1906. № 7/9. С. 129–135; ср. письмо Л.Д. Блок к Белому от 2 октября 1906 г. // Литературное наследство. М., 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 258) и в 1907 г. доводит дело до очень решительного разрыва отношений.

[60] С сентября 1906 г. по февраль 1907 г. Белый жил в Мюнхене и в Париже. Работа над окончательной редакцией четвертой симфонии «Кубок метелей» (М., 1908) была начата действительно за границей, но окончена уже в России в июне 1907 г.

[61] Имеется в виду осложнение отношений между Ходасевичем и его первой женой Мариной Эрастовной Рындиной (1887–1973). 30 декабря 1907 г. они расстались.

[62] Имеется в виду Сергей Абрамович Ауслендер (1886–1937), которому посвящена книга рассказов Петровской «Sanctus amor» (М., 1908); прототипом героини романа Ауслендера «Последний спутник» (М., 1913) была Петровская. Весной 1908 г. Петровская и Ауслендер вместе ездили в Италию. Подробнее об их отношениях см.: Валерий Брюсов и Нина Петровская. Переписка. С. 237–311. Петровская приехала в Петербург для свидания с Ауслендером 23 сентября (извещение о прибытии было помещено в хронике газеты «Свободные мысли» 1 октября), потом в начале октября уехала в Киев на вечер «нового искусства», состоявшийся 4 октября. Вернулась ли она из Киева в Петербург или в Москву, мы не знаем.

[63] Достоверно известно, что Брюсов был в Петербурге на премьере переведенной им драмы М. Метерлинка «Пелеас и Мелизанда» в театре В.Ф. Комиссаржевской (10 октяб-

ря 1907 г.). Однако утверждение, что он приезжал за Петровской, вряд ли справедливо, поскольку именно в этот приезд завязались любовные отношения Брюсова и Комиссаржевской.

[64] Гостиница «Англетер» (Исаакиевская пл., 10), где 28 декабря 1925 г. повесился С.А. Есенин, стала обиталищем Петровской не с первых дней приезда: сперва она жила в Большой Северной гостинице (Невский пр., 118), потом в меблированных комнатах по адресу: Екатерининский канал, 80. В «Англетере» после возвращения из Киева поселился Белый.

[65] См.: Письма Александра Блока к родным: В 2 т. Л., 1927. Т. 1. С. 172. В приведенном Ходасевичем тексте письма упоминается Наталья Николаевна Волохова (1878–1966). Ср. в том же письме: «Ходят ко мне поэты за советами, редакторы и гости (Ауслендер, Нина Ив. Петровская с ним)» (Там же. С. 173).

[66] Белый с Блоком вернулись из Киева 8 октября 1907 г., после чего Белый пробыл в Петербурге до середины октября. С 1 по 17 ноября он был в Петербурге еще раз. Отметим, что не позже 12 ноября в Москву вернулась Петровская, так что описываемая встреча могла произойти или в интервале между 9 октября и серединой месяца, или в начале ноября (до 11 числа). Упомянутый Ходасевичем «самый конец октября» (в книжном варианте с добавлением: «Если мне память не изменяет») при таком хронологическом раскладе невозможен, и речь должна идти о начале ноября.

[67] Сведений о таком вечере нам отыскать не удалось.

[68] В «Некрополе» далее: «которая составляла вернейшую рекомендацию <...>».

[69] «Вена» – известный петербургский ресторан (ул. Гоголя, 13), место регулярных встреч петербургской литературной богемы.

[70] Сам Белый вспоминал о ноябрьском приезде: «Остановился я на Васильевском Острове, в меблированных комнатах, против моста...» (*О Блоке. 1997.* С. 302).

[71] Речь идет о целом ряде стихотворений сборника «Пепел». Согласно воспоминаниям Белого, он стал время от времени появляться в домино годом ранее.

[72] В «Некрополе» далее: «(если мне память не изменяет) <...>».

[73] Имеются в виду статьи, преимущественно помещавшиеся в журнале «Весы» в 1908–1909 гг., в том числе «Вольноотпущенники» (1908. № 2), «Далай-лама из Сапожка» (1908. № 3), «Обломки миров» (1908. № 5), «Штемпелеванная культура» (1909. № 9). Однако и ранее Белый печатал статьи не менее резкие.

[74] Речь идет о лекции Вяч. Иванова «О русской идее» 27 января 1909 г. Подробнее см.: *Богомолов Н.А.* Русская литература начала XX века и оккультизм. М., 1999. С. 239–254.

[75] В «Некрополе»: «со сценой убийства Иванова».

[76] Называются места, явно значимые для Белого: в Новодевичьем монастыре похоронен Владимир Соловьев, сам Белый часто бывал там в годы «аргонавтизма»; в Петровско-Разумовском, в гроте сада Петровской сельскохозяйственной академии 21 ноября 1869 г. членами организации «Народная расправа» по приказанию С.Г. Нечаева был убит студент И.И. Иванов., эти события отразились в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» (ср.: в редакции «Некрополя» упоминается имя не Шатова, а Иванова), а тема провокации стала чрезвычайно важной для романа Белого «Петербург». Подробнее см.: *Лавров А.В.* Достоевский в творческом сознании Андрея Белого // Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 131–150. Для самого Ходасевича Петровско-Разумовское было связано с детскими годами, о чем он писал в очерке «Младенчество» (Собр. соч. Т. 4. С. 193–194); продолжал он бывать там и в конце 1900-х – начале 1910-х.

[77] Имеется в виду семья Михаила Сергеевича и Ольги Михайловны Соловьевых, живших в том же доме, что и семья Бугаевых; их сын Сергей стал ближайшим другом Белого. Встречи с Соловьевыми (равно как и другие упомянутые Ходасевичем сюжеты) подробно описаны в мемуарах Белого, а также в поэме «Первое свидание» (1921), отсылка к тексту которой содержится в комментируемой фразе («Год – девятьсотый: зори, зори!.»).

[78] Летом 1908 г. Ходасевич жил на даче в Гирееве (ныне в черте Москвы). Белый относил окончательное оформление идеи разграничения метра и ритма (подробно изложенной в его статьях «Лирика и эксперимент» и «Опыт характеристики русского четырехстопного ямба», вошедших в его книгу «Символизм». М., 1910) к июлю 1908 г.

[79] Кружок по изучению ритма, образованный при книгоиздательстве «Мусагет», существовал с апреля 1910 г. Документальных данных об участии Ходасевича в нем не обнаружено. Об истории кружка и его занятиях см. подробнее: *Гречишкин С.С.*, *Лавров А.В.* О стиховедческом наследии Андрея Белого // Ученые записки Тартуского гос. университета. Тарту, 1981. Вып. 515. С. 97–111; Письма С.П. Боброва к Андрею Белому / Публ. К.Ю. Постоутенко // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1992. Т. 1. С. 113–169.

[80] В «Некрополе» вместо фрагмента в квадратных скобках: «мне казалась ложным и вредным делом».

[81] Вера Оскаровна Станевич (1890–1967) – поэтесса-дилетантка, переводчица и критик, жена поэта Ю.П. Анисимова, антропософка. Участвовала в работе ритмического кружка, состояла в переписке с Белым. См. в воспоминаниях о ней: «Обожая всякого рода экстравагантности, она иногда ходила дома в мужских штанишках и вообще отличалась мужскими замашками. Поэтому А. Белый, в которого она была влюблена, называл ее не Станевич (ее фамилия), а Штаневич» (*Локс К.* Повесть об одном десятилетии (1907–1917) / Публ. Е.В. Пастернак и К.М. Поливанова // Минувшее. Т. 15. С. 45).

[82] В «Некрополе» далее: «Мне жаловался: “Надоел Пастернак”. Полагаю, что Пастернаку – “Надоел Ходасевич”».

[83] В «Некрополе» вместо фрагмента в квадратных скобках: «– чуть ли не в ярости: – <...>».

[84] Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888–1982) описала свое знакомство как с Белым, так и с Ходасевичем в книге воспоминаний «Человек и время: История человеческого становления» (М., 1982). Там же опубликованы письма Белого к ней. У Ходасевича есть специальная статья «Мариэтта Шагинян» (Собр. соч. Т. 4. С. 336–342).

[85] В уже упоминавшемся имении Старое Гиреево.

[86] Белый жил вместе с А.А. Тургеневой с ноября 1910 г.; 26 ноября они уехали в заграничное путешествие (Италия, Африка, Палестина), в мае 1911 г. вернулись в Россию и вновь уехали за границу, в Брюссель, 16 марта 1912 г. С основателем Антропософского общества Рудольфом Штейнером Белый, ставший его страстным приверженцем, впервые встретился в Кельне 7 мая 1912 г., а в Швейцарии стал жить с февраля 1914 г., действительно работая резчиком по дереву на строительстве антропософского храма Гетеанум в Дорнахе, недалеко от Базеля.

[87] Здесь заканчивается вторая часть очерка В. Ходасевича «Андрей Белый. Черты из жизни» (Возрождение. 1934. 13 февраля).

[88] Убийство Распутина произошло 17 декабря 1916 г.

[89] Историк, философ и литературовед Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) был близким другом как Ходасевича (который оставил воспоминания о Гершензоне), так и

Белого, написавшего некролог Гершензону (Россия. 1925. № 5 (14). С. 243–258) и посвятившего ему немало страниц в воспоминаниях. См. также: Переписка Андрея Белого и М.О. Гершензона / Вступит. ст., публ. и комм. А.В. Лаврова и Джона Малмстада // In memoriam: Исторический сборник памяти А.И. Добкина. СПб.; Париж, 2000. Присутствие Белого на вечере у философа Николая Александровича Бердяева (1874–1948) подтверждено его записями «Жизнь без Аси» (см. комментарии А.В. Лаврова к «Некрополю»: Русская литература. 1989. № 1. С. 130).

[90] См. об этом: Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Малмстада // Минувшее. Т. 8. С. 437–446, 454–458 и далее.

[91] Из поэмы Белого «Первое свидание» (цитируется неточно).

[92] Вероятно, имеются в виду предисловие Л.Б. Каменева к «Началу века», которое близко знавшие Белого люди считали одной из причин его смерти, и отзыв Л.И. Тимофеева (Последняя книга А. Белого // Художественная литература. 1934. № 1. С. 12–14). Может быть, Ходасевич имел в виду и более ранние статьи (напр.: *Эльсберг Ж.* Творчество Андрея Белого – прозаика // На литературном посту. 1929. № 11/12. С. 34–52).

[93] Имеется в виду письмо, представленное Ходасевичем в публикации «Три письма Андрея Белого».

[94] В «Некрополе» вместо фрагмента в квадратных скобках:

«Чудовищ, которые были и подстрекателями, и Эринниями потенциального отцеубийства, Белый на самом деле носил в себе, но инстинкт самосохранения заставил его отыскивать их вовне, чтобы на них сваливать вину за свои самые темные помыслы, вожделения, импульсы. Все автобиографические романы, о которых говорено выше, начиная с “Петербурга” и кончая “Москвой под ударом”, полны этими отвратительными уродами, отчасти вымышленными, отчасти фантастически пересозданными из действительности. Борьба с ними, то есть с носимым в душе зародышем предательства и отцеубийства, сделалась на всю жизнь основной, главной, центральной темой всех романов Белого, за исключением “Серебряного Голубя”. Ни с революцией, ни с войной эта тема, по существу, не связана и ни в каком историческом обрамлении не нуждается. В “Котике Летаеве”, в “Преступлении Николая Летаева” и в “Крещеном китайце” Белый без него и обошелся. С событиями 1905 и 1914 годов связаны только “Петербург”, “Московский чудак” и “Москва под ударом”. Но для всякого, кто читал последние два романа, совершенно очевидно, что в них эта связь грубейшим образом притянута за волосы. “Московского чудака”, “Москву под ударом” Белый писал в середине двадцатых годов, в советской России. И в тексте, и в предисловии он изо всех сил подчеркивал, будто главный герой обоих романов, математик Коробкин, олицетворяет “свободную по существу науку”, против которой ведет страшную интригу капиталистический мир, избравший своим орудием Митю, коробкинского сына. В действительности до всей этой абсолютно неправдоподобной “концепции” Белому не было никакого дела. Его истинной целью было – дать очередной вариант своей излюбленной темы о преступлении против отца. Темные силы, толкающие Митю на преступление, наряжены в маски капиталистических демонов единственно потому, что этого требовал “социальный заказ”. Замечательно, что “Московский чудак” и “Москва под ударом” должны были, по заявлению Белого, составить лишь начало обширного цикла романов, который, однако, не был докончен, так же как цикл, посвященный истории Николая Летаева. Почему? Потому что в обоих случаях Белый охладевал к своему замыслу тотчас после того, как была написана единственно важная для него часть – о преступлении сына против отца.

Только в “Петербурге”, самом раннем из романов этой “эдиповской” серии, тема революции 1905 года действительно занимала Белого. Однако, по его собственным словам, первая мысль связать личную тему с политической возникла и в “Петербурге” потому, что в политических событиях той эпохи прозвучал знакомый Белому с детства мотив подстрекательства, провокации. По своей неизменной склонности к чертежам, он изображал структуру “Петербурга” в виде двух равных окружностей, из которых одна изображала личную, другая – политическую тему; вследствие очень незначительного, гораздо менее радиуса, расстояния между центрами, большая часть площади у этих окружностей оказывалась общей: она-то и представляла собою тему провокации, объединяющей обе стороны замысла и занимающей в нем центральное место.

“Петербург” был задуман как раз в те годы, когда провокационная деятельность департамента полиции была вскрыта и стала предметом общего негодования и отвращения. У Белого к этим чувствам примешивался и даже над ними доминировал ужас порядка вполне мистического. Полиция подстрекала преступника, сама же за ним следила и сама же его карала, то есть действовала совершенно так, как темные силы, на которые Белый сваливал свои отцеубийственные помыслы. Единство метода наводило его мысль, точнее сказать – его чувство, на единство источника. Политическая провокация получала в его глазах черты демонические в самом прямом смысле слова. За спиной полиции, от директора департамента до простого дворника, ему чудились инспираторы потустороннего происхождения. Обывательский страх перед городовым, внушенный ему еще в детстве, постепенно приобретал чудовищные размеры и очертания. Полиция всех родов, всех оттенков, всех стран повергала его в маниакальный ужас, в припадках которого он доходил до страшных, а иногда жалких выходок. Ненастной весенней ночью, в пустынном немецком городке Саарове, мы возвращались от Горького к себе в гостиницу. Я освещал дорогу карманным фонариком. Единственный сааровский ночной сторож, старый инвалид, замученный мраком, дождем и скукой, брел по дороге шагах в десяти от нас, – должно быть, привлеченный огнем, как ночная бабочка. Вдруг Белый его увидел:

– Кто это?

– Ночной сторож.

– Ага, значит – полиция? За нами следят?

– Да нет же, Борис Николаевич, ему просто скучно ходить одному.

Белый ускорил шаги – сторож отстал. На нашу беду, в гостинице, куда примчались мы чуть не рысью, пришлось долго звонить. Тем временем подошел сторож. Он стоял поодаль в своем резиновом плаще с острым куколем. Наконец он сделал несколько шагов к нам и спросил, в чем дело. Вместо ответа Белый изо всех сил принялся дубасить в дверь своею дубинкой. Нам отперли. Белый стоял посреди передней, еле дыша и обливаясь потом».

[95] Представление о деятельности Белого в эти годы дают материалы, собранные в работах: Андрей Белый: Хронологическая канва жизни и творчества / Сост. А.В. Лавров // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1998. С. 791–794 (то же – в кн.: *Лавров А.В.* Андрей Белый в 1990-е годы. С. 316–318); *Богомолов Н.А.* Русская литература первой трети XX века. Томск, 1999. С. 293–295.

[96] В «Некрополе» далее: «(что-то о театрах в эпоху французской революции) <...>».

[97] Ходасевич перебрался в Петербург в ноябре 1920 г. и жил в общежитии Дома Искусств. Белый приехал в Петербург 31 марта 1921 г.

[98] С 3 апреля до середины июня 1921 г. Белый служил помощником библиотекаря в Фундаментальной библиотеке Наркомата по иностранным делам.

[99] Поэма была окончена Белым в Троицын и Духов день (6 и 7 июня ст. ст.) 1921 г. В рукописном примечании к дате стихотворения «Буря» (13 июня 1921 г.) Ходасевич сообщал: «Вечером или под вечер пришел Белый. Читал только что написанное “Первое Свидание”» (Собр. соч. Т. 1. С. 513). Об истории текста поэмы см.: *Лавров А.В.* Текстологические особенности стихотворного наследия Андрея Белого // Русский модернизм: Проблемы текстологии. СПб., 2001. С. 20–59.

[100] «Рембрандтова правда в поэзии наших дней» (Записки мечтателей. 1922. № 5. С. 136–139).

[101] См. ниже, в тексте «Три письма Андрея Белого».

[102] В «Некрополе» вместо фрагмента в квадратных скобках: «Говорил, что хочется отдохнуть, но были у него и другие причины, о которых он мне тогда не сообщал и о которых я только догадывался. Большевики не выпускали его».

[103] В «Некрополе» далее: «и разумеется – доходил до приступов дикого страха».

[104] Блок, не выпущенный за границу для лечения, умер 7 августа, а Гумилев был расстрелян, вероятнее всего, 25 августа 1921 г.

[105] В отчете Вольной Философской Ассоциации (Вольфилы) за 1920–1921 гг. говорится: «Два открытых заседания ВФА были посвящены “Воспоминаниям об Александре Блоке”, прочитанным Андреем Белым» (*Иванова Е.В.* Вольная Философская Ассоциация: Труды и дни // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1992 год. СПб., 1996. С. 53). Чтения состоялись в начале октября. Выкрик из публики Ходасевич приводит по публикуемому далее письму Белого к А.А. Тургеневой.

[106] Имеется в виду прежде всего А.А. Тургенева. См. в письме Ходасевича к М.О. Гершензону от 14 ноября 1922 г.: «Вы, вероятно, знаете безобразную и безвкусную историю его жены с Кусиковым (sic!), – какую-то жестокую и истерическую месть ее – за что? одному Богу это ведомо толком. Белый очень страдал и страдает. Прибавьте к этому расхождение если не с антропософией, то со Штейнером – и Вы поймете, как плохо бедному Б.Н.». (Собр. соч. Т. 4. С. 452). О многих обстоятельствах отношений между Белым и его женой Ходасевич знал из попавшего ему в руки письма Белого к ней, о котором подробнее см. ниже.

[107] В «Некрополе»: «чудовищно преувеличивал»; и далее: «Ему казалось, что от антропософов вообще и от Рудольфа Штейнера в особенности что-то в мире зависит».

[108] Вряд ли Ходасевич был прав: для Р. Штейнера Россия была страной, которой в ближайшем (с исторической точки зрения) будущем предстояло исполнить великую роль.

[109] Рапалльский договор, приведший к нормализации отношений между РСФСР и Германией, был заключен 16 апреля 1922 г.

[110] О своих претензиях к Антропософскому обществу (не касаясь, впрочем, личности Штейнера) Белый рассказал в книге «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития» (*Андрей Белый.* Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 454–493). См. также: Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Малмстада // Минувшее. Т. 6, 8, 9; *Malmstad John E.* Andrej Belyj at Home and Abroad (1917–1923) // Europa Orientalis. 1989. Vol. VIII.

[111] В «Некрополе»: «Может быть, у Штейнера были и другие причины: он мог ожидать (и оказался бы в этом прав), что Белый отнюдь не ставит знака равенства между Россией и большевиками; меж тем дело как раз шло к Рапалльскому договору... Как бы то ни было, миссию Белого Дорнах решил игнорировать, и сам Штейнер явно уклонялся от свидания (чему опять же могли быть не только политические причины)».

[112] Прим. в «Некрополе»: Ну, как дела? (*нем.*).

[113] Прим. в «Некрополе»: Затруднения с жилищным ведомством! (*нем.*)

[114] В «Некрополе»: «недалеко от кладбища, в доме какого-то гробовщика».

[115] Истерика Белого, связанные с нею обстоятельства и картины послевоенного Берлина описаны в книге Белого «Одна из обителей царства теней» (Л.: ГИЗ, 1925), хотя и с многочисленными искажениями. Ср. описание берлинской жизни Белого в письмах Ходасевича к М.О. Гершензону (Собр. соч., Т. 4. С. 451–455).

[116] В «Некрополе»: «Ее видели, ей радовались, над ней насмехались слишком многие».

[117] Прим. в «Некрополе»: танцевальных залах (*нем.*).

[118] Прим. в «Некрополе»: подземке (*нем.*).

[119] Прим. в «Некрополе»: «Господин доктор, вы старая обезьяна!» (*нем.*).

[120] См. ремарку в стихотворении Белого «Маленький балаган на маленькой планете “Земля”» (1922): «Выкрикивается в берлинскую форточку без перерыва».

[121] В «Некрополе» вместо фрагмента в квадратных скобках: «Он исповедовался, выворачивая душу, кому попало, порой полузнакомым и вовсе незнакомым людям: соседям по табльдоту, ночным гулякам, смазливым пансионским горничным, иностранным журналистам. Полувлюбился в некую Mariechen, болезненную, запуганную девушку, дочь содержателя маленькой пивной; она смущалась чуть не до слез, когда Herr Professor, ломая ей пальцы своими лапищами, отплясывал с нею неистовые танцы, а между танцами, осушая кружку за кружкой, рассказывал ей, то рыча, то шипя, то визжа, все одну и ту же запутанную историю, в которой она ничего не понимала. Замечательно, что и все эти люди, тоже ничего не понимавшие, заслушивались его, чуя, что пьяненький Herr Professor – не простой человек».

[122] В «Некрополе» далее: «Это длилось месяцами».

[123] Соломон Гитманович Каплун (псевд. Сумский; 1891–1940) – журналист, издатель, с 1922 г. руководил в Берлине издательством «Эпоха» (открытым как отделение петроградского издательства «Эпоха»), издатель журнала «Беседа» (1922–1925); брат Софьи Гитмановны Каплун, близкий знакомый Белого и его издатель: в «Эпохе» вышел ряд книг Белого: «Котик Летаев» (1922), «О смысле познания» (1922), «Поэзия слова» (1922), «Глоссолалия. Поэма о звуке» (1922), «Петербург. Роман» (ч. 1–2, 1922.), «Серебряный голубь. Роман» (ч. 1–2, 1922), «Стихи о России» (1922), «После разлуки: Берлинский песенник» (1922). С «Эпохой» был также заключен договор на издание мемуаров Белого «Начало века» (проект не осуществился).

[124] Вера Осиповна (Иосифовна) Лурье (1901–1998) – поэтесса, член петроградской студии «Звучащая раковина», ученица Н.С. Гумилева. О ней см. в наст. изд., а также: предисловие Томаса Р. Байера к кн.: *Лурье Вера.* Стихотворения. Berlin, 1987 (там опубликованы стихотворения, обращенные к Белому); Из воспоминаний Веры Иосифовны Лурье // Континент. 1998. № 62. С. 239–252; *Лурье В.И.* Воспоминания о Гумилеве / Публ. Н.М. Иванниковой // De visu. 1992. № 6 (7). С. 5–14; *Байер Т.* Вера Осиповна Лурье и Борис Николаевич Бугаев // Андрей Белый в изменяющемся мире. М., 2008. С. 125–136.

[125] Н.И. Петровская приехала в Берлин из Италии в сентябре 1922 г., активно печаталась в сменовеховской газете «Накануне» . Подробнее см.: *Гуль Р.* Я унес Россию: Апология эмиграции. Т. I. Россия в Германии. М., 2001. С. 255–261; Жизнь и смерть Нины Петровской / Публ. Э. Гаретто // Минувшее. Т. 8. С. 7–138; *Garetto Elda.* Intrecci berlinesi: dalla corrispondenza di Nina Petrovskaja con V.F. Chodasevič e M. Gorkij // Europa orientalis. 1995. Vol. XIV. № 2. P. 111–150.

[126] В «Некрополе» далее: «8 ноября, как раз накануне того дня, когда исполнилось одиннадцать лет со дня ее отъезда из России, они у меня встретились, вместе ушли и вместе провели вечер. Оба жаловались потом. Даже безумства никакого не вышло. С ними случилось самое горькое из всего, что могло случиться: им было просто скучно друг с другом. То было последнее на земле свидание Ренаты с Огненным Ангелом. Больше они не встречались».

[127] О последних встречах с Белым Петровская писала: «А. Белого я разлюбила навсегда. И жалко!.. Сколько людей ушло из жизни и стали чужими. Отпадают, как сухие ветки. Иные – так просто отживают, иные... хуже... вырывают с болью чувства к себе, а иные так вылиняли, что ничего не осталось» (Письмо к О.И. Ресневич-Синьорелли от 10 мая 1923 г. // Минувшее. Т. 8. С. 110–111).

[128] В курортном городке Саарове, куда и ранее надолго приезжал, так как там жил М. Горький.

[129] Имеются в виду ранее упомянутые воспоминания, опубликованные в журнале «Эпопея». Ср. запись Ходасевича 1 января 1923 г.: «Веч <ером> дома (Б<елый> читал восп <оминания> о Блоке)» (Камер-фурьерский журнал. С. 38).

[130] В «Некрополе» далее: «и становившиеся воспоминаниями о символистской эпохе вообще».

[131] Нина Николаевна Берберова (1901–1993), прозаик, поэтесса, мемуаристка. Третья жена Ходасевича. Об эпизоде, рассказанном Ходасевичем, см. также в ее мемуарной книге «Курсив мой» (N.Y., 1983. С. 461–464). Так называемая «берлинская редакция» книги «Начало века» опубликована лишь частично (Беседа. 1923. № 2; Современные записки. 1923. Кн. XVI–XVII; Вопросы литературы. 1974. № 6 / Публ. С.И. Григорьянца).

[132] В «Некрополе» далее: «Я ими почти не пользуюсь в данной статье, потому что в такие минуты Белый смешивал правду с воображением. Слушать его в этих случаях было так утомительно, что нередко я уже и не понимал, что он говорит, и лишь делал вид, будто слушаю. Впрочем, и он, по-видимому, не замечал собеседника. В сущности, это были монологи. Надо еще заметить, что, окончив рассказ, он иногда тотчас забывал об этом и принимался все рассказывать сызнова».

[133] В «Некрополе» далее: «звала с собою в Россию, к антропософской работе. Белый, прикрыв дверь от нее, шипел: “Хочет меня на себе женить”. – “Да ведь вы сами хотите жениться?” – “Не на ней! – яростно хрипел он, – к черту! Тетка антропософская!”».

[134] В «Некрополе» далее: «когда он уезжал за границу. Тогда, после одной лекции, ему кричали из публики: “Помните, что мы здесь вас любим!”».

[135] В «Некрополе» вместо фрагмента в квадратных скобках: «Нельзя отрицать, что перед отъездом он находился в состоянии неполной вменяемости. Однако, как часто бывает в подобных случаях, сквозь полубезумие пробивалась хитрость. Боясь, что близость с эмигрантами и полуэмигрантами (многие тогда находились на таком положении) может быть поставлена ему в вину, он стал рвать заграничные связи».

[136] Более подробно этот случай описан в мемуарах Н.Н. Берберовой и А.В. Бахраха. В воспоминаниях Белого этот эпизод выглядел по-другому; ср. его письмо к М. Горькому от 8 апреля 1924 г., опубликованное в тексте статьи А.М. Крюковой «М. Горький и Андрей Белый» (Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 302).

[137] В «Некрополе» далее дается рассказ о ссоре: «Возводил совершенно бессмысленные поклепы на своего издателя. Вообще – искал ссор и умел их добиться. К несчастию, последняя произошла со мной. Расскажу о ней кратко, минуя некоторые любопытные, но слишком сложные подробности.

В связи с получением визы ему приходилось неоднократно посещать берлинские советские учреждения, где он до такой степени ругал своих заграничных друзей, что даже коммунистам стало противно его слушать. Один из них, некто Г., сказал об этом М.О. Гершензону, который как раз в это время тоже возвращался в Россию после лечения и тоже выхлопатывал себе визу. Гершензон, очень любивший Белого, был до крайности угнетен сообщением Г., которому, кстати сказать, нельзя было не верить, ибо он слово в слово повторял фразы, которые и нам приходилось слышать от Белого. Гершензон уехал значительно раньше Белого, но перед своим отъездом не вытерпел – рассказал мне все. Зная душевное состояние Бориса Николаевича, я решил стерпеть и смолчать, но в конце концов этого испытания не выдержал.

В ту пору русские писатели вообще разъезжались из Берлина. Одни собирались в Париж, другие (в том числе я) – в Италию. Недели за полторы до отъезда Белого решено было устроить общий прощальный ужин. За этим ужином одна дама, хорошо знавшая Белого, неожиданно сказала: "Борис Николаевич, когда приедете в Москву, не ругайте нас слишком". В ответ на это Белый произнес целую речь, в которой заявил буквально, что будет в Москве нашим другом и заступником и готов за нас "пойти на распятие". Думаю, что в ту минуту он сам отчасти этому верил, но все-таки я не выдержал и ответил ему, что посылать его на распятие мы не вправе и такого "мандата" ему дать не можем. Белый вскипел и заявил, что отныне прекращает со мной все отношения, потому что, оказывается, "всю жизнь" я своим скепсисом отравлял его лучшие мгновения, пресекал благороднейшие поступки. Все это были, конечно, пустые слова. В действительности он вышел из себя потому, что угадал мои настоящие мысли. Понял, что я знаю, что "распинаться" за нас он не будет. Напротив...»

[138] Явная ошибка Ходасевича (впрочем, перешедшая и в текст «Некрополя»): Белый и Брюсов вместе отдыхали в Коктебеле летом 1924 г.

[139] В «Некрополе» вместо фрагмента в квадратных скобках:

«В советских изданиях его почти не печатали. Много времени он отдавал писанию автобиографии. История этой работы своеобразна. Еще перед поездкою за границу он прочел в Петербурге лекцию – свои воспоминания о Блоке. Затем он эти воспоминания переделывал дважды, каждый раз значительно расширяя. Вторая из этих переделок, напечатанная в берлинском журнале "Эпопея", навела его на мысль превратить воспоминания о Блоке в воспоминания обо всей эпохе символизма. В Берлине он успел написать только первый том, рукопись которого осталась за границей и не была издана. В России Белый принялся за четвертую редакцию своего труда. Он начал с более ранней эпохи, с рассказа о детских и юношеских годах. Этот том вышел под заглавием "На рубеже двух столетий". За ним, под заглавием "Начало века", последовал первый том мемуаров литературных. Тут произошел в Белом психологический сдвиг, для него характерный. Еще в Берлине он жаловался на то, что работа, выраставшая из воспоминаний о Блоке, выходит слишком апологетической: Блок в ней прикрашен, "вычищен, как самовар". В Москве Белый решился исправить этот недостаток. Но в самое это время были опубликованы неприятные для него письма Блока – и он сорвался: апологию Блока стал превращать в издевательство над его памятью.

Он успел, однако же, написать еще один том, "Между двух революций", появившийся только в конце 1937 года, то есть почти через три года после его смерти. В этой книге, окончательно очернив Блока, он еще безжалостнее расправился чуть не со всеми прочи-

ми спутниками своей жизни. Возможно, что он отчасти исходил из того положения, что если Блок оказался представлен в таком дурном виде, то остальные подавно стоят того же. Но, зная хорошо Белого, я уверен, что тут действовала еще одна своеобразная причина.

Прикосновенность к религии, к мистике, к антропософии – все это, разумеется, ставилось ему в вину теми людьми, среди которых он теперь жил и от которых во всех смыслах зависел. В автобиографии все это надо было отчасти затушевать, отчасти представить в ином смысле. Уже в предыдущем томе Белый явно нащупывал такие идейные извороты, которые дали бы ему возможность представить весь свой духовный путь как поиски революционного миросозерцания. Теперь, говоря об эпохе, лежавшей "между двух революций", он не только перед большевиками, но и перед самим собой (это и есть самое для него характерное) стал разыгрывать давнего, упорного, сознательного не только бунтовщика, но даже марксиста или почти марксиста, рьяного борца с "гидрой капитализма". Между тем объективные и общеизвестные факты его личной и писательской биографии такой концепции не соответствовали. Любой большевик мог поставить ему на вид, что деятельным революционером он не был и что в этом-то и заключается его смертный грех перед пролетариатом. И вот совершенно так, как в автобиографических романах он свою сокровенную вину перед отцом перекладывал на таинственных демонических подстрекателей, так и теперь всю свою жизнь он принялся изображать как непрерывную борьбу с окружающими, которые будто бы совращали его с революционного пути. Чем ближе был ему человек, тем необходимее было представить его тайным врагом, изменником, провокатором, наймитом и агентом капитализма. Он пощадил лишь нескольких, ныне живущих в советской России. Будь они за границей – и им бы несдобровать. И совершенно так же, как он демонизировал и окарикатуривал всех, кто окружал героя в его романах, теперь он окарикатурил и представил в совершенно дьявольском виде бывших своих друзей. Его замечательный дар сказался и тут: все вышли похожи на себя, но еще более – на персонажей "Петербурга" или "Москвы под ударом". Не сомневаюсь, что он работал с увлечением истинного художника – и сам какой-то одной стороной души верил в то, что выходит из-под пера. Однако, если бы большевики обладали большею художественной чуткостью, они могли бы ему сказать, что как его квазиисторические романы в действительности суть фантастические, ибо в них нереальные персонажи действуют в нереальной обстановке, так же фантастична и его автобиография. Больше того: они могли бы ему сказать, что он окончательно разоблачил самого себя как неисправимого мистика, ибо он не только сочинил, исказил, вывернул наизнанку факты вместе с персонажами, но и вообще всю свою жизнь представил не как реальную борьбу с наймитами капитализма, а как потустороннюю борьбу с демонами. Автобиография Белого есть такая же "серия небывших событий", как его автобиографические романы.

Я совсем не хочу сказать, что он внутренне был чужд революции. Но, подобно Блоку и Есенину, он ее понимал не так, как большевики, и принимал ее – не в большевизме. Это, впрочем, особая, сложная и не мемуарная тема».

[140] В «Некрополе» далее: «8 января 1934 года <...>».

[141] Из стихотворения Белого «Друзьям» (1907).

[142] Рассказ Ходасевича о вечере перед арестом Гумилева и утре после этого ареста вошел в очерк «Блок и Гумилев», напечатанный в «Некрополе».

[143] Надежда Александровна Павлович (1895–1980) – поэтесса, близкая Блоку в последние годы его жизни. Ее воспоминания о Блоке см.: Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 446–506; Прометей. М., 1977. Вып. 11. С. 219–252.

[144] Там, в деревнях Холомки и Бельское Устье, была расположена летняя колония Дома Искусств, где жил Ходасевич с женой и пасынком. Подробнее об этом см. в его очерке «Поездка в Порхов» (перепечатано с ценными комментариями М.В. Безродного: Литературное обозрение. 1989. № 11. С. 106–112). Ходасевич прибыл на место 6 августа 1921 г.

[145] Имеется в виду письмо от 4 августа, где Ходасевич просил: «Бога ради, сообщите о Блоке. Перед отъездом мне сказали, что он безнадежен» (Собр. соч. Т. 4. С. 431).

[146] Первое из них мы разрешить не беремся: при нынешнем состоянии опубликованных материалов (прежде всего: *Щерба М.М., Батурина Л.А.* История болезни Блока // Литературное наследство. М., 1987. Т. 92. Кн. 4. С. 732–733) с точностью до дня установить начало предсмертной агонии Блока невозможно. Насчет же «сумасшествия» Блока на деле расхождения нет: врачи и мемуаристы фиксировали у него «неполное сознание действительности», «ненормальность в сфере психики», что, однако, вовсе не означало потерю сознания.

[147] В очерке «Блок и Гумилев» Ходасевич отказался от версии, что это слово принадлежит Белому, и возвел его к речи Блока «О назначении поэта»: «Вероятно тот, кто первый сказал, что Блок задохнулся, взял это именно отсюда. И он был прав» (Собр. соч. Т. 4. С. 91).

[148] «Быть или не быть» – начало монолога Гамлета в трагедии Шекспира.

[149] Две первые строчки стихотворения А.А. Дельвига «Элегия» (1821 или 1822). Скорее всего, Белый знал, что Ходасевич в 1920–1921 гг. активно занимался творчеством Дельвига.

[150] Измененная строка из стихотворения Ф.И. Тютчева «Брат, столько лет сопутствовавший мне...» (1870).

[151] Белый уехал из Петрограда 20 октября 1921 г., 22 октября был в Риге, а с 23 октября по 15 ноября находился в Ковно (ныне Каунас).

[152] Речь идет о жене Белого А.А. Тургеневой. Это письмо имеет свою печатную историю. В предисловии к очередному (последнему) выпуску альманаха «Воздушные пути» его редакция (вероятно, конкретно Роман Николаевич Гринберг [1893, по другим сведениям 1897–1969]) сообщала: «В конце ноября 1966 г. мы обратились к Анне Алексеевне Тургеневой в Дорнах (Швейцария), с просьбой разрешить нам напечатать письмо к ней от 1921 г. Андрея Белого, ее супруга. В ответ на это, мы получили открытку от ее соседа, что Анна Алексеевна скончалась 16 октября в клинике в Арлесхайме. Анна Алексеевна и есть Ася Тургенева – первая жена Белого, которая покинула его в 1922 году после приезда Белого за границу из Советского Союза. <...> Письмо мы приобрели из архива В. Ходасевича» (Воздушные пути. Нью-Йорк, 1967. Альманах V. С. 5). Поскольку Ходасевич объяснил свое отношение к тексту письма (купюры, отказ от упоминания имен) «обстоятельствами момента», мы считаем возможным воспроизвести в примечаниях фрагменты, исключенные им из текста публикации.

[153] Здесь и далее купюры восстанавливаются по последующей публикации писем в альманахе «Воздушные пути» (Нью-Йорк, 1967. Альманах V. С. 296–309). Начало письма таково:

«МИЛАЯ АСЯ!

Извини меня, ради Бога, если письма мои огорчали Тебя. Но мне подлинно хотелось бы разъяснить Тебе, что нетерпеливый тон моих писем из России был инспирирован ничем иным, как только Твоими письмами. Может быть, Ты неповинна в них; и весь тон их, – недоразумение. Пойми опять, что если это так, то нам, переживавшим с осени 1917 года невообразимые картины русской жизни, были, мало сказать, – непонятны Ваши

письма из Дорнаха; более того: казались оскорбительными, выглядели насмешкой подчас эти письма; кроме того: ясно чувствовалось, что Вы, сколько Вам о России ни рассказывай, все равно ничего не поймете; в этих письмах чувствовалась наивность людей, не переживших 17–20 года русской жизни, наивность, доходящая до... преступности, до цинизма, до самой утонченной жестокости; это же чувство охватывало нас при чтении эмигрантских газет, переполненных рассказами об ужасах русской жизни; да, – ужасы были, да – не те ужасы (может быть, и пострашнее, да не те, о которых писали эмигранты); были и минуты блаженства, радости, была вечная смерть, глядящая в лицо; и ощущение при первых снежинках 19-го, 20-го года, например, что – засыпáет, засыпáет, засыпáет выше головы; засыпáет и засы́плет – отрежет от всего мира; что вся многомиллионная страна – страна обреченных, что это остров, отрезанный навсегда от всего милого (а сколько раз это все милое, родное мной олицетворялось Тобой и Доктором. Каков же был Рождественский подарок от Тебя в 1919 году, когда вместо ответа на мою беззвучную мольбу из снегов, из моей ледяной комнаты с температурой в 7–6–5–4 и наконец 2° (у мамы в это время доходило – 4° т.е. до 4 градуса мороза – и это в комнате!) – Каков же был подарок мне от Тебя на мою мольбу, брошенную в Дорнах из-под шубы, которой я себя накрывал в комнате, вспомни Ася? Жестокое рассудительное письмо о том, каким бременем я был для Тебя, и формальное уведомление, что Ван-дер-Паальс Тебе ближе, чем я. Можно сказать, – нашла время! Это похоже на то, как если бы человек имел против человека зуб, но молчал об этом, а потом, в припадке искренности решил высказать все, что имеет против; пришел к этому человеку в минуту, когда ему отрезают руку и тот кричит от боли, да и выпалил ему: “А я, такой сякой, имею против Тебя – вот что!”

Как бы ни были честны мотивы человека, охваченного припадком искренности, но всякий человек, просто тактичный, сказал бы: “Вот выбрали Вы неудобное время: Вы бы дали время ему успокоиться от боли!..” Твое письмо, извещавшее меня о том, что я стал для Тебя далек, было может быть глубоко честно, если принять во внимание Твою медитативную жизнь в Дорнахе, но оно было глубоко бестактно по отношению к нам, на которых в то время падали все бремена ужасных испытаний (выбрала бы Ты другое время). Человеку, замерзающему и внешне и внутренне, человеку, обремененному розысками денег, стояниями в хвостах, лечением себя от катарра (результат ужасного питания), и отсиживанием по 6 обязательных заседаний в день, не знающему, как помочь замерзающей от холода матери и т.д., – такому человеку я бы не мог, лишь из одного долга честности перед самим собой, говорить то, что Ты мне сказала в те дни; в этом “сказании” мне Твоего отношения ко мне была “истина”, но не “правда”. А “истина” есть ложь правды; лежачая правда, убитая правда. Ибо истина есть абстрактное положение; все что по-лагает – “Лагает”, т.е. лжет: Лог – Lüge. Лог – ложь – ложь. “Истины” суть всегда – права в параличе. И вот “честной”, параличной “истиною” своего отношения ко мне Ты так угодила мне в сердце, что <...>».

«Доктор» – Рудольф Штейнер. Леопольд Ван дер Пальс (1884–1966) – музыкант, антропософ, работал на строительстве в Дорнахе. Lüge (*нем.*). – ложь.

[154] «отсиживал по 6 заседаний в день, писал “Записки Чудака”,». Фрагмент был опущен в публикации Ходасевича без указания на купюру.

[155] В квадратных скобках даются конъектуры, сделанные Ходасевичем в публикации в «Современных записках»; в угловых скобках – сделанные публикаторами.

[156] «Но глубокое “разуверенье” и “яд сомнения” в Твоих духовных путях, а стало быть, и в деле Д-ра Штейнера (Ver. zwei = flung), – укололо мое сердце именно в тот роковой

январь 1919 года, когда твое письмо, Твой “Grüss Gott” к празднику, – оказался таким, каким он, увы, оказался.

С того времени я уже не мог Тебе написать ни одного письма с открытой душою. В моей душе образовалась глубокая морщина сомнения, которую образовала Ты. Разгладишь ли Ты ее мне? Сумеешь ли? Поймешь ли меня? Все, чем веют мне сведения, доходящие из Дорнаха, – веет таким непониманием, незнанием нашего положения в России, скажу больше, неприятной бестактностью (вроде громкого разговора про светские пустяки у постели тяжелого больного), что хочется разве что... горько пожать плечами, улыбнуться, и – отвернуться: с глухими не разговаривают».

Verzweiflung (*нем.*) – отчаяние. «Grüss Gott» – Да благословит Бог; стандартное немецкое приветствие.

[157] ...«буди, буди» – название пятой главы второй части романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

[158] «В глубоко дрянной, в основном, книге Мережковских “Царство Антихриста” у З. Гиппиус есть, однако, ряд мест, выражающих горечь негодования, когда известия о суждениях за границей (русских о русских) доходили до нее. (Она напечатала свой дневник.) Вот место из ее дневника: 26 ноября (10 декабря) 1919 года: “Дни оттепели, грязи, тьмы. По улицам не столько ходят, сколько лежат. Господи! А как выдержать этот ‘мир’? Стены тьмы окружили – стены тьмы! Говорят, что уже чума появилась... О чем еще говорят? Ждут новых обысков... Русские за границей – ‘парии?’ Вот как? Пожалуйста. С каким презрением (праведным) смотрела бы я на европейцев, попади я сейчас за границу. Не боюсь я их. С высоты моей горькой мудрости, моего опыта, смотрела бы я на них. Ни-че-го не понимают”... “Прислали нам в виде милостыни немного дров. Надо было самим перетаскать их в квартиру. Сорок раз по лестнице”. Или: “Не бывало в истории. Все аналогии – пустое. Громадный город-самоубийца. И это на глазах Европы, которая пальцем не шевелит, не объидиотев, не то осатанев от кровей”... “Я в полусне. Работа ‘советских учреждений’ тормозится тем, что везде замерзли чернила”... Или: “Коробка спичек – 75 рублей. Дрова 30 тысяч. Масло – 3 тысячи за фунт. Одна свеча... до 500 рублей. Сахару нет уже ни за какие тысячи (равно и керосина). На Николаевской улице оказалась редкость: павшая лошадь. Люди, конечно, бросились к ней. Один из публики, наиболее энергичный, устроил очередь. Последним достались уж кишки только”... “А знаете, что такое ‘китайское мясо’? Это вот что: трупы расстрелянных, как известно, Чрезвычайка отдает зверям Зоологического сада. И у нас, и в Москве. Расстреливают же китайцы: и у нас, и в Москве. Но... китайцы мародерничают. Не все трупы отдают, а какой помоложе – утаивают и продают под видом телятины. У нас – и в Москве. Доктор Н. (имя знаю) купил с косточкой – узнал человечью”... А на углу Морской и Невского, в реквизированном доме будет “Дворец Искусств”... Или: “Л.В. взяли из больницы домой с плевритом (в больницах 2°)” На лестнице она упала от слабости. Мороз, мороз непрерывный. Диму (Д.В. Философов) таки взяли в... работы. Завтра с утра таскать бревна...Или: “С тех пор как перестали освещать дома – улицы совсем исчезли: тихая, черная яма могильная...” Или: “Ассирийское рабство. Да нет, и не ассирийское, и не сибирская каторга, а что-то совсем вне примеров...” Или: “После войны Европа стала думать, что 2х2=5”. Или: “Почти юродивое идиотство со стороны Европы посылать сюда комиссии... для ‘ознакомления’. Ведь их посылают – к большевикам в руки... ‘Нет, пришлите, голубчики, кого-нибудь инкогнито’”... Или: “Англия в лице Ллойд-Джоржа, вероятно и не очень честна, и не очень умна, а к тому же крайне невежественна...”. Или: “Если в Европе может в XX веке существовать страна с таким рабством и Европа этого не понимает, или это принимает – Европа должна провалиться. И туда ей и

дорога...”. Или: “Индия? Евреи в Египте? Негры, в Америке? Сколько веков до Р<ождества> Хр<истова>? Кто-мы? Где-мы? Когда-мы? ”. Или: “Странно, такая слабость. Последние дрова. Последний керосин. Есть еще дрова, бывшие чурки, но некому их распилить... Да и пилы нету”... Или: “Возмездие Англии – впереди!” Или: “О нашей жизни нельзя никому рассказать, потому что мы забыли сами (от привычки) основные абсурды, на которых все покоится... Я обвиняю Европу, но как ей видеть, как понимать, что слышать? Россия гробово молчит...”. Или: “Вчера объявление о 67 расстрелянных в Москве (профессора, общ<ественные> деятели, женщины). Сегодня 29 – здесь... Ощущение тьмы и ямы. Тихого помешательства”. Или: “Абсурдно преступное поведение Антанты (Англии?) продолжается”. Или: “Все равно, душа молчит, перетерпела, замозолиласъ, изверилась, разучилась надеяться... Голод полнейший. Рынки расхвачены. Фунта хлеба сегодня не могли достать...”. И т.д.

Ты, полная духовных достижений, конечно, не читала “Дневника”. Этот “Дневник” полон передержек, но – фон (безнадежность тьмы и на дне тьмы вдруг искра света нездешнего) переданы верно».

Точное название книги: *Мережковский Д.С., Гиппиус З.Н., Философов Д.В., Злобин В.А.* Царство Антихриста. Мюнхен, 1921. Здесь, а до того в журнале «Русская мысль» (1921. № 1/2, 3/4) были напечатаны «Черная книжка» и «Серый блокнот» З.Н. Гиппиус, где фиксировались события июня–декабря 1919 г., до бегства Мережковских за границу. Однако новейшие исследования показывают, что Гиппиус свои записи при публикации сильно редактировала (см., напр.: *Колоницкий Борис.* К вопросу об источниках «Синей книги» З.Н. Гиппиус // Русская эмиграция: Литература, история, кинолетопись. Иерусалим; Таллинн, 2004. С. 23–34).

[159] Речь идет о гибели довольно близких знакомых Белого: братья Астровы – юрист Павел Иванович (1866–1919), юрист и общественный деятель Николай Иванович (1868–1934), профессор Петровской сельскохозяйственной академии Александр Иванович (1870–1919) и публицист (в сообщении ЧК обозначен как «инспектор по финансовой части центрального союза потребителей») Владимир Иванович (1871–1919) – были в числе издателей сборников «Свободная совесть» (М., 1906, 2 вып). Из них были бессудно убиты по делу «Национального центра» А.И. и В.И. Астровы. Помимо того, был расстрелян Борис Владимирович Астров (как пояснялось в сообщении ЧК, «к.-д., шпион Деникина, студент, служащий для поручений при московском окружном артиллерийском управлении»). Викентий Викентьевич Пашуканис (1879–1919) был секретарем изд-ва «Мусагет» и владельцем собственного издательства, выпускавшего сочинения Белого; Юрий Алексеевич Веселовский (1872–1919), переводчик, сын проф. Алексея Николаевича Веселовского; Вениамин Михайлович Хвостов (1868–1920), профессор римского права Московского университета (он не перерезал себе горло, а повесился). Николай Николаевич Щепкин (1854–1919) – кадет, депутат Гос. Думы III и IV созывов, согласно сообщению ВЧК, возглавлял московский «Национальный центр»; Михаил Анатольевич Мамонтов (1865–1920), художник, ученик В.Д. Поленова; в 1900-е стал директором типографии, принадлежащей его отцу, известному московскому типографу А.И. Мамонтову.

[160] Совершенно очевидно, А.С. Петровский.

[161] Располагался на нынешней Смоленской площади. У Ходасевича есть стихотворение «Смоленский рынок».

[162] Сизовы – семья друга Белого – физиолога, литератора, известного оккультиста Михаила Ивановича Сизова (1884–1956), среди которых названы его сестра Мария Ива-

новна (1899–1969), писательница, театральный педагог и режиссер, и ее муж (до 1921 г.) Владимир Михайлович Викентьев (1882–1960), историк-египтолог, сослуживец Белого по Историко-Археологическому отделу московского «Дворца искусств».

[163] В «Воздушных путях»: «григоровского» (т.е. принадлежащего Б.П. Григорову).

[164] Один из отделов Наркомпроса, которым руководила О.Д. Каменева, сестра Троцкого и жена Каменева. В деятельности Театрального отдела принимали участие многие московские литераторы – Юргис Балтрушайтис, Вячеслав Иванов, Валерий Брюсов, Владислав Ходасевич и др. См. очерк Ходасевича «Белый коридор» (Собр. соч. Т. 4. С. 241–261).

[165] Васильевы – будущая вторая жена Белого Клавдия Николаевна и ее муж, врач П.Н. Васильев; они жили в доме на углу Плющихи и Долгого переулка (ныне ул. Бурденко).

[166] «(такой казалась Ты, Доктор, Дорнах)».

[167] Вокальный цикл композитора Франца Шуберта (1797–1828) на стихи В. Мюллера «Зимний путь» (1827).

[168] «к Тебе далекой: “Ася, милая, – помолись там за меня!”. (Мне впоследствии не раз говорили: “Как я люблю вашу Нелли, сколько любви вы вложили в этот образ...” (Твой образ в “Записках Чудака”, которые я тогда писал...)».

[169] «из Дорнаха».

[170] Тяжелая форма гриппа, пандемия которой унесла миллионы жизней по всему миру.

[171] «духовные полуясновидящие (есть ведь простое элементарное ясновидение Сочувствия)».

[172] «Твое честное, полное “истины” холодное, рассудительное письмо со справедливыми упреками за прошлое (и нашла же время высказывать свою “справедливость!”) без единого Сочувствия, без единой нотки понимания, что то, в чем мы, выражаясь словами Гиппиус: “О нашей жизни нельзя никому рассказать... Я обвиняю... Все равно, душа молчит, перетерпела, замозолилась...” Прочел, хотелось вскрикнуть: “Ася, да есть ли в Тебе сердце, – в такую минуту, когда я почти повешен над смертью, – на рассудительных счетах высчитывать мои недостатки в прошлом. Да побойся Бога!”».

[173] «Но неужели у Тебя не хватило чуткости почуять душой? И <...>».

[174] «И отвернуться всем существом от Дорнаха, чтобы не видеть Дорнаха, забывшего “дорнахцев в несчастьи”. А потом, когда уже после 17 месяцев упорной работы над отъездом и проявленной упорной энергии вырваться к Тебе перед последним решительным приступом на препятствия (самый факт 17-месячной работы над отъездом – не страстное ли желание вернуться к Тебе и в Дорнах?) – опять Твоя холодная последняя записка, что Ты меня не зовешь: хотелось яростно воскликнуть: “Ничего не понимают!” А пришлось сухо ответить: Спасибо, еду я не на зов, а по своему делу. Что же? Ты боялась обнаружить свое понятное желание, чтобы человек, так много настрадавшийся, немного отдохнул в атмосфере лекций Доктора? Или – Ты... не хотела (?!)... мне отдыха?!? Не верю. Это было бы уже преступно!»

[175] Берлинская ежедневная газета.

[176] Министерство иностранных дел Германии.

[177] «(человек хочет увидеть того, кого называют его женой после пятилетней разлуки, “жена” же 7 лет работает в его предприятии)».

[178] «рожденного Твоими рассеянными письмами».

[179] «Какой болью мне отдалась Твоя просьба, пересланная какому-то молодому человеку, который писал Тебе от меня осенью 1918 года из Берлина; он передал в открытке, Бог знает как дошедшей, Твою просьбу, чтобы я Тебе немного присылал денег. Ася, сердце у

меня сжалось, ибо это же было абсолютно технически невозможно; так же невозможно, как попасть на луну. С октябрьского переворота пресеклись все сношения с Западом; денежного перевода послать было нельзя технически. Во-вторых: Ты забыла валюту; какие-нибудь 50 франков швейцарских стоили не менее 500 рублей русских в то время, а я в эпоху твоего письма получал 1000 рублей, из которых около ½ отдавал маме, т.е. сам жил на 50 фр. в месяц. Что же я мог послать? Не говоря о том, что и послать-то было нельзя; абсолютно невозможно. Уже в одной этой фразе, совершенно справедливой, была бездна непонимания международного положения. Кстати; знаешь ли Ты, что 1 швейцарский франк стоит 22 марки, а 1 марка 600–700 рублей (кажется 700); итого 700x22 = 15,400; один франк стоит 15,400 рублей, а я получал летом еще на службе лишь 50.000 рублей (конечно, я существовал не службой: служба давала мне право на обед и ужин, потому и служил)».

180 «Ах, Ася! Как невыносимо было выбарахтываться одному; мы переживали такое время, что чем больше семья, тем легче справляться. Вдвоем было бы мне не на ½ легче, а в ¾ легче. Но Ты покинула меня в самое критическое время».

181 В публикации Ходасевича – «моя знакомая писательница N», в оригинале имя названо: «В<ера> А<лександровна> Жуковская» (урожд. Микулина, 1885–1956). Подробнее см.: *Жуковская В.А.* Мои воспоминания о Григории Ефимовиче Распутине 1914–1916 гг. // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 1992. Т. II–III. С. 252–317.

182 В «Воздушных путях»: «так я читал, кричал от холода».

183 «И – никакого импульса жизни из Дорнаха, никакой нежной поддерживающей улыбки издалека».

184 Неточная цитата: Мф. 27: 46; Мк. 15: 34.

185 «Если бы Ты знала,»

186 «Ася,»

187 Александр Иванович Анненков – директор Дорогомиловского химического завода, где Белый жил сразу после возвращения из Берлина. «За Москву» – явное преувеличение: завод располагался в 20 минутах ходьбы до Киевского (тогда Брянского) вокзала, напротив Новодевичьего монастыря по другую сторону Москвы-реки.

188 Анатолий Корнелиевич Виноградов (1888–1946) – впоследствии писатель и переводчик, в те годы – сотрудник Румянцевского музея.

189 В «Воздушных путях»: «увез Латвийский – спекулянт».

190 Среди опубликованных книг Белого таких и на самом деле нет. Возможно, имеется в виду эссе «Лев Толстой и культура сознания» (1920). «Латвийский спекулянт» – вероятно, консул (или, по другим сведениям, сотрудник консульства) Эстонии в Петербурге Альберт Георгиевич Орг (?–1947), одновременно представлявший интересы ревельского издательства «Библиофил». При выезде из советской России в Эстонию часть рукописей у него была изъята.

191 На самом деле – доктор медицины Сергей Иванович Троецкий.

192 «Если бы ты знала,».

193 «Ася,».

194 «к Тебе и к Доктору».

195 «Ты? От Тебя нет никакого ответа».

196 «(не способен думать ни о Тебе, ни о Докторе, ни о Дорнахе)».

197 «Откровенно говоря не надеюсь Тебя видеть, ибо в Швейцарию мне не попасть (разрешение и валюта); и стало быть, – остается думать о том, как устроить свою одинокую

жизнь в Германии. Я так устал, и вместе так полон своими худ<ожественными> планами (“Эпопеей”), что глух ко всему, кроме Доктора и Тебя – никого мне не надо, никакого Mitt (-machen, -gefühl и т.д.) у меня; и если я Mitt-glied, то – я, кроме Тебя, Mitt – с оставшимися в России, с антропософскими друзьями Москвы и с “вольфильскими” друзьями Петербурга. Тебя лично я глубоко люблю; но эта любовь – все эти года доставляла одно сплошное страдание; и от этой любви – “ни привета, ни ответа”;»

[198] Ausland (*нем.*) – заграница.

[199] «а Ты... Ты тот раздражающий сознание образ когда-то близкого мне человека, который сознательно и жестоко (по-моему) от меня отвернулся в “минуту жизни трудную”. Захочет ли этот образ повернуться ко мне, – не знаю. Свободы его не желаю насиловать и предоставляю этому образу, образу былой “Аси” вести себя относительно меня так, как ему заблагорассудится.

Мне горько невыразимо одно: “отворот” Аси от меня совершился не на основании ссоры или сознательного расхождения, а – вдали пространства, в “письмах” (т.е. в “Ариманических условиях общения”). Письмам я никогда не верил: письма лживы; и вот проверить Твой образ, возникающий во мне по письмам, разумеется, хотел бы в личном общении.

Как это возможно, не умею сказать: не вижу отсюда, из Ковно, никаких реальных способов попасть к Тебе».

В «минуту жизни трудную» – из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Молитва» (1839).

[200] По данным А.В. Лаврова, в Ковно Белый прочел три лекции: две о стиховедении в Обществе литовских художников и третью – упоминаемую.

[201] А.Д. Бугаева скончалась в Москве в 1922 г.

[202] В «Воздушных путях» далее: «для Литвы». Фрагмент был опущен без указания на купюру.

[203] Юозас Тумас-Вайжгантас (1869–1933), литовский прозаик и публицист, католический священник.

[204] В «Воздушных путях» далее: «, “Р о с с и я Б л о к а”». Фрагмент был опущен без указания на купюру.

[205] Упоминаются: Аарон Захарович Штейнберг (1891–1975), философ, публицист, автор мемуаров «Друзья моих ранних лет» (Париж, 1991); Конст. Эрберг (Константин Александрович Сюннерберг, 1871–1942), теоретик искусства, поэт, критик; Михаил Павлович Столяров (1888–1937), философ и литератор; Густав Густавович Шпет (1879–1937), философ; Новомирский (настоящие имя и фамилия Яков Исаевич Кирилловский; 1882 – не ранее 1936), деятель революционного движения (анархист), публицист; Борис Петрович Вышеславцев (1877–1954), философ; Федор Августович Степун (1884–1965), философ, писатель; Василий Васильевич Кандинский (1866–1944), художник, теоретик искусства.

[206] Речь идет о Вольной Академии Духовной Культуры. О ней см.: *Вадимов А.* Жизнь Бердяева: Россия. Berkeley, 1993. С. 207–210.

[207] Dreigliederung (*нем.*) – трехчленность (антропософский термин).

[208] «Григорова дружески попросили уйти из председателей, после чего он поднял “бунт”. Но эта мучительная операция была необходима давно. О-во теперь состоит из председателя (Трапезников), членов Совета (Петровский, Алексей Вас. Сабашников) и Vorstand’а, в который входила группа (Я, Сизов, Столяров, К.Н. Васильева, М.В. Сабашникова, отсутствующая: она – в Петербурге); принята программа реорганизации в духе Kernpunct’ов, которые переводятся, (если не переведены). Есть два вводительных кружка (Григоровский и Столяровский); ввод. кружок в Петербурге ведет Сабашникова. О-во там в состоянии

распада; <Е.И.> Васильева и Леман ничего не сумели сделать, а то, что осталось, – по-моему годится на одно: на слом, ибо это не “Antroposophie”, а “Tanten- oder Onkel-tham”. Сам Леман с Васильевой давно в Екатеринославе; Леман теперь возвращается на пепелище им брошенного кружка (ужасно неприятная и не внушающая доверия личность; если не шарлатан, конечно, а – “шарлатан-ист” с наклонностью привиранью (мистическому) и интригам; он напустил столько “оккультизма”, что приходится открывать форточки».

Vorstand (*нем.*) – правление. Упоминаются: Трифон Георгиевич Трапезников (1882–1926), искусствовед, близкий друг Белого; Алексей Васильевич Сабашников (1883–1954), брат М.В. Сабашниковой; Маргарита Васильевна Сабашникова (в замуж. Волошина, 1882–1973), художница; Васильева (в отличие от К.Н. Васильевой) – Елизавета Ивановна (урожд. Дмитриева, известна также под псевд. Черубина де Габриак, 1887–1928), поэтесса; Борис Алексеевич Леман (1882–1945), поэт, писавший под псевдонимом Б. Дикс. Kernpunct – руководящие указания, инструкции; имеются в виду руководящие указания Р. Штейнера. Tante в переводе с немецкого – «тетя», «тетка»; Onkel – «дядя»; tham – распространенный суффикс. По мысли Белого, это не «антропософия», а «тетство или дядство».

[209] См. в очерке М.И. Цветаевой «Пленный дух».

[210] Зиновий Исаевич Гржебин (1877–1929) – художник, издатель, владелец «Издательства З.И. Гржебина», действовавшего в послереволюционные годы в Петербурге и Берлине.

[211] Имеются в виду: Сочинения Державина, с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1864–1883. Т. 1–9.

[212] Вольфганг Э. Грегер (1882–1950) – переводчик русских поэтов на немецкий язык. См.: *Werner X.* Der Übersetzer W.E. Groeger // Wiener slawistisches Jahrbuch. Wien, 1984. Bd. 30. S. 155–165.

Подготовка текста Е.В. Наседкиной, комментарии и послесловие Н.А. Богомолова

ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ

ПИСЬМО К В.Ф. ХОДАСЕВИЧУ

13.5.1934.

Многоуважаемый Владислав Ходасевич,

Вернувшись после долгой поездки в Берлин[1], я застал у себя целую кучу номеров «Возрождения», и среди них те, в которых Вы помещали Ваши воспоминания об Андрее Белом[2]. С громадным душевным напряжением прочел я эти незабываемые слова. Я знаю всю литературу об Андрее Белом, и смею заявить: ничего более верного о нем я не читал. Я считаю своим литературным долгом засвидетельствовать Вам, что в Ваших воспоминаниях я увидал предельное проникновение в метафизическую суть Андрея Белого, творца и человека. Только огромная ЛЮБОВЬ к покойному способна была родить такую Истину о нем. И это – в наше время, когда Любовь на ущербе, а Истину заменяет «Интерес». Едва ли будет преувеличением, если я скажу, что *такая память* о нем, осветленная каким-то надземным горением, поможет Покойному в его мучительных восхождениях к Вечному... Я познакомился с Андреем Белым в Тифлисе, летом 1928 года[3]. В последние годы необычайно тянуло в Грузию, м.б. потому, что первозданная свежесть моей родной Земли, которая смогла выдержать (навсегда ли?) напор всеуничтожающей стихии большевизма, как-то по «природному» оживляла его, Надломленного. Он часто посещал нас, грузинских поэтов и писателей[4]. У меня с ним сразу завязалась дружба, характера духовного, не «личного»[5]. Встреча с ним всегда оказывалась «событием». Помню: раз у меня – мы были вдвоем[6] – зажегся он и пророчески передал «ненаписанное Евангелие» Рудольфа Штейнера[7]. В таком экстазе я его никогда не видал[8]: он говорил всем «телом». Глубочайшая нежность сочеталась тут со священной строгостью. Он ставил Штейнера страшно высоко...[9] Клавдия Николаевна постоянно сопровождала его, создавая ему атмосферу теплоты и любви. Я думаю, что от «берлинского надрыва»[10] исцелила его она[11]. М.б. я ошибался, но я всегда имел такое ощущение перед ним: необычайная одаренность при такой же необычайной безблагодатности. «Дар» без «благодати» так определял я его суть[12]. Разумеется очень «приблизительно», очень гадательно...* Осенью я посетил его в Кучино[13]. Я рвался в Европу[14], Он – нет. Помню его слова: «У нас революция была аппендиксом, в Европе она будет апоплексическим ударом»... Много, много говорили мы о сути русской революции. Один раз он, вне себя, крикнул: «Если я напишу об этом, т.е. о большевизме – Это будет не Мережжжкоовский!»[15] Перед отъездом в Европу – Судьба дала мне изумительную Случайность, как Подарок, – мы должны были встретиться в Москве. Не удалось...[16] С болью в сердце отмечаю: он так и покинул земной план, не прочитав моей последней книги «De gemordete Seele» роман

* После Ваших слов я уже знаю суть Андрея Белого... (прим. Г. Робакидзе).

о метафизической сути большевизма[17], – как раз его мнение было бы мне интересно выслушать.

Von Herzen[18]

Grigol Robakidze

Постоянный адрес: Berlin. W50. Nachodstr.7

Временный – Jena. Alstrasse 34; Bergmann[19].

Послесловие

Грузинский писатель, драматург, поэт, критик и переводчик Григол Робакидзе (1880–1962) родился[i] в селе Свири Кутаисского уезда в семье пономаря и крестьянки. Закончил в Кутаиси духовное училище и духовную семинарию. В 1901 г. поступил на юридический факультет Юрьевского (ныне Тартуского) университета, откуда вскоре был отчислен за неоплату обучения. В 1902 г. Робакидзе впервые поехал в Германию, четыре года проучился на философском факультете Лейпцигского университета, но диплома не получил, так как потерял свое диссертационное сочинение «Проблема истории по Гегелю» во время путешествия во Францию. Некоторое время жил в Париже, посещал лекции в Сорбонне и домашний кружок Мережковских[ii].

В 1908 г. Робакидзе вернулся в Грузию и начал выступать с публичными лекциями, в которых знакомил местную публику с работами Ф. Ницше, О. Вейнингера, О. Шпенглера и других властителей дум того времени. В духе символистских концепций переосмысливал творчество Шота Руставели, Н. Бараташвили, Важа Пшавела. Культуртрегерская деятельность, начатая Робакидзе в конце 1900-х, продолжалась в течение почти четырех десятилетий и стала одной из важных составляющих его творчества.

В 1910 г. Робакидзе вновь поступил на юридический факультет Юрьевского университета, где проучился до 1914 г. В 1914–1915 гг. он регулярно печатал в газетах «Сакартвело» и «Кавказ» как по-грузински, так и по-русски статьи и рецензии, большинство из них было объединено темой «Война и культура». Робакидзе занимался и преподавательской деятельностью, читал лекции о новейших течениях в русской философии и поэзии.

На Высших женских курсах грузинской столицы – в альманахе курсов «Зарницы», вышедшем в 1916 г., поместил свои стихи и прозу. После открытия в 1918 г. Тбилисского государственного университета был избран доцентом по кафедре грузинской литературы.

В 1915 г. в Кутаиси сформировалась группа молодых поэтов «Голубые Роги», стремящихся к обновлению грузинского стиха, освоению на грузинской почве достижений западноевропейского и русского символизма. В состав этого объединения, просуществовавшего, несмотря на все катаклизмы, до 1931 г. не только как литературная группировка, но и как дружеский союз, своего рода мистический орден, вошли Т. Табидзе, П. Яшвили, В. Гаприндашвили, К. Надирадзе и др. Своим

[i] Дата рождения дана по метрическому свидетельству.

[ii] Подробнее см.: *Соболев А.* Мережковские в Париже. 1906–1908 // Лица: Биографический альманах. Вып. 1. М.; СПб., 1992. С. 355–356.

вождем они избрали более опытного в литературном отношении Григола Робакидзе, который, в свою очередь, посвятил новому направлению в грузинской поэзии статью «Грузинский модернизм», опубликованную в 1918 г. в журнале «Ars»[i].

В период независимости Грузии 1918–1921 гг., когда туда приехали, спасаясь от последствий октябрьского переворота, русские художники, поэты и артисты, Робакидзе лелеял мечту о превращении грузинской столицы в маленький Париж, принимал живое участие в дискуссиях, собраниях и вечерах, которые устраивала русская интеллигенция. В 1920-е Робакидзе получил в Грузии широкую известность как драматург. Его пьесы «Лонда», «Мальштрем», «Ламара» с успехом шли на тбилисской сцене в постановках К. Марджанишвили и С. Ахметели. Пьеса «Ламара» была представлена летом 1930 г. на первой Олимпиаде национальных театров в Москве и произвела фурор.

В середине 1920-х Робакидзе дебютировал в печати как романист. Его роман «Змеиная кожа» (1926) – многоплановое произведение, в котором нашли отражение сюжетные мотивы мифа об Эдипе, «Витязя в тигровой шкуре» Руставели, «Петербурга» Андрея Белого. Действие романа переносится из Персии и Месопотамии в Западную Европу, с острова интеллектуалов, созданного воображением автора, в Россию периода Гражданской войны и в Грузию. Герой романа Арчибальд Мекеш ищет и находит тайну своего рода, обретает почву. Робакидзе создал новый для грузинской литературы тип героя – сильной личности, стремящейся к восстановлению прерванной родовой связи. Роман был переведен на немецкий язык. Для подготовки этого издания Робакидзе в 1927 г. (как внештатный корреспондент газеты «Заря Востока») поехал в Германию, где пробыл более семи месяцев. Роман вышел в 1928 г. в издательстве Дидерихса с предисловием Стефана Цвейга.

В начале 1931 г. после двухлетних хлопот Робакидзе с большим трудом удалось получить разрешение на выезд и уехать в Германию для подготовки зарубежных гастролей театра им. Шота Руставели. В 1932 г. Робакидзе стал получать письма с советами срочно вернуться домой, показавшимися ему подозрительными[ii]. Решение не возвращаться он принял в 1933 г., когда после долгих раздумий выпустил в свет новый роман «Убиенная душа». В этой книге писатель стремился раскрыть механизм публичных покаяний на советских показательных процессах. На примере своего героя Тамаза Робакидзе показал, как государственная карательная машина убивает волю и калечит душу человека. Сталина он изобразил демоническим диктатором, присвоившим себе огромную власть[iii]. После того как о содержании книги стало известно в Грузии, друзья были вынуждены публично от него отречься. В 1935 г. писателя лишили советского гражданства.

Выходившие в немецком переводе романы Робакидзе о Грузии, такие как «Зов богини» (1934), «Хранители Грааля» (1937), пользовались в Германии успехом, также как и его статьи о грузинской истории, этнографии и мифологии. Мифопоэтическое восприятие, неспособность отделить миф от истории вкупе с ненавистью к цинизму сталинской диктатуры привели Робакидзе к увлечению други-

[i] *Робакидзе Г.* Грузинский модернизм // Ars: Ежемесячник искусства и литературы. 1918. № 1. С. 46–52.

[ii] Своими подозрениями Робакидзе делился со Стефаном Цвейгом. См.: Письмо Робакидзе Цвейгу от 9 сентября 1932 г. («Я всегда буду помнить Зальцбург...». Из писем к Стефану Цвейгу / Публ. и перевод К. Азадовского // Звезда. 2004. № 9. С. 156).

[iii] Подробнее об этом романе см.: *Курганов Е.* Возвращение мифа // Дружба народов. 1990. № 4. С. 156–161; в этом же номере журнала роман опубликован в переводе с немецкого С. Окропиридзе (С. 80–156).

ми демоническими личностями — Гитлером и Муссолини. В немецком фюрере он, подобно Д.С. Мережковскому и ряду других эмигрантов, видел орудие борьбы с большевизмом, навязанным Грузии извне. Робакидзе написал книги, восхваляющие Гитлера и Муссолини, которые использовались министерством пропаганды. Однако сам писатель не считал свои книги фашистскими[i].

В апреле 1945 г. Робакидзе с семьей перебрался из Берлина в Швейцарию, где обосновался в Женеве, получив статус «интеллектуального эмигранта». Он продолжал тосковать о Грузии, о чем свидетельствуют его статьи в парижском грузинском журнале «Беди картлиса», следил за крупными явлениями в русской литературе. Писатель умер в возрасте 82 лет. Он был похоронен на женевском кладбище, откуда его прах перенесли на грузинское кладбище под Парижем.

* * *

Андрей Белый и Г. Робакидзе впервые увидели друг друга 5 марта 1907 г. в Париже на лекции Д.С. Мережковского[ii]. Импозантный незнакомец запомнился Белому: «Раз слушал я лекцию Мережковского в русской колонии, — вспоминал он, — твердого вида мужчина, сложив свои руки крестом на груди, прислонясь плечами к стене, вздернув профиль, замраморел, стоя как статуя древняя. <...> Он не пошел возражать, грянув с места отчетливым голосом, тщательно вылепляя, как профиль, слова; и, умолкнув, сложил свои руки крестом, прислонясь к стене и не двигаясь с места. <...> ...с этим виднейшим писателем, классиком от символизма, <...> которого книга поздней прогремела в Германии, встретился я — через двадцать три года в Тифлисе»[iii]. 21 марта 1907 г. Белый получил от З.Н. Гиппиус письмо, в котором она положительно охарактеризовала нового знакомого — после лекции Робакидзе представился докладчику и был приглашен в домашний кружок Мережковских — «А этот Рыбакидзе <так. — *Т.Н.*> или Кабакидзе <так. — *Т.Н.*> оказался очень ничего, дельно говорил; называл себя индивидуалистом, идеалистом и учеником Риккерта»[iv].

Прошли годы. В 1918 г. в тбилисском журнале «Ars» было опубликовано эссе Робакидзе «Андрей Белый»[v], в котором прослеживается путь писателя от «Симфоний» и «Серебряного голубя» к «Петербургу». Главное внимание критик уделяет последнему роману, и в особенности — его астральному плану. Боязнь пространства, свойственную героям произведения, равно как и присущее им обостренное чувство времени, критик объясняет астральным мироощущением создателя книги. Главным героем романа Робакидзе называет Петербург — фантастический город, символ призрачной земли и провозвестник мирового нигилизма[vi].

---

[i] Подробнее см.: *Никольская Т.* Триумф и трагедия Григола Робакидзе // Звезда. 2004. № 9. С. 134, 135, 137.

[ii] Робакидзе упоминает в эссе «Андрей Белый»: «Я слышал его <Белого> только раз в Париже на лекции Мережковского // Робакидзе Г. Портреты. Тифлис, 1919. С. 53.

[iii] *МДР 1990.* С. 171.

[iv] Цит. по: *Соболев А.* Мережковские в Париже 1906–1908. С. 355.

[v] Ars. 1918. № 2/3, С. 49–61: см. также: *Робакидзе Гр.* Портреты. Тифлис, 1919 — и перепечатку в журнале «Литературная Грузия» (1988. № 2. С. 133–146). Эссе «Андрей Белый» было написано не позднее конца 1916 — начала 1917 г.

[vi] Робакидзе во многом повторяет основные положения статьи Н. Бердяева «Астральный роман». См.: *Бердяев Н.* Кризис искусства. М., 1918. С. 36–43.

К теме Петербурга Робакидзе возвращается и в романе «Кожа змеи» (1926), где в главе «Норд-ост» варьирует пассажи о городе-призраке из эссе «Андрей Белый» и эссе «Фантастический город», опубликованного в 1917 г. на грузинском языке в газете «Сакартвело»[i].

В эссе «Андрей Белый» Робакидзе высказывает свои соображения по поводу ритма прозы Белого, посредством которого писатель организует хаос: «Пишет ли Белый, говорит ли Белый, — ощущаешь всегда то благодать “священного безумия” <...> то проклятие “неправого безумия” <...>. Апокалипсический эпилептик, он потому так страстно отдается безумным глаголам темно-ликого хаоса. Эти глаголы слышатся в его симфониях, — где он силится при помощи напряженного словесного контрапункта обуздать их яростное безумие»[ii].

Ритмическая организация текста играла важную роль и в произведениях самого Робакидзе — стихах, драмах-мистериях, романе «Кожа змеи». Как отмечал Т. Табидзе в рецензии на драму «Лонда»: «Пронизанная непрерывающимся головокружительным ритмом, “Лонда” представляет собой произведение, в котором каждое слово обретает первобытную энергию, напоминающую симфонические творения Белого»[iii].

Личное знакомство Белого и Г. Робакидзе состоялось в Тбилиси 8 мая 1928 г., когда Белый и К.Н. Васильева приехали в Грузию во второй раз. Еще до этого, в первый приезд летом 1927 г., Робакидзе был «заочно» представлен Белому: сам грузинский писатель был в отъезде. «Между прочим: по грузинскому обычаю, на дружеских обедах поминают отсутствующих “друзей”, мне был заочно представлен и “рассказан” Рубакидзе <так. — *Т.Н.*> отсутствующий; и мне было предложено выпить за его здоровье...»[iv].

Весной—летом 1928 г. Робакидзе неоднократно встречался и беседовал с Белым. «Заходил Р<обакидзе>, — записала Клавдия Николаевна в дневнике 12 мая 1928 г., — опять поднялся ряд острых вопросов. Одна из тем — Ницше <...>. Говорили о прямодушии и даже наивности немцев, о странной невзыскательности нас перед ними; о ритме и Маяковском, о лирике и “эпопее”, и о чем еще»[v]. Клавдия Николаевна выделяла Робакидзе среди других поэтов-голуборожцев как самого близкого Андрею Белому и ей, обладающего склонностью к самопознанию: «Очень сближает с грузинами их детская открытость и непосредственность. Чувствуешь себя как-то проще. Но, Боже мой! до чего их сознание не наше. И скажу: только в одном Робакидзе слышишь знакомые ноты. И это след Германии в нем. Странно: через Германию мы узнаем друг друга...»[vi].

---

[i] Так, например, в романе «Кожа змеи» он пишет: «Финские болота фосфоресцируют в ночи. Фосфорический свет раздваивает очертания предметов. На петербургский гранит обрушиваются призраки». Цит. по русскому переводу Камиллы Коринтели в журнале «Литературная Грузия» (1991. № 3. С. 24).

[ii] *Робакидзе Гр.* Портреты. Тифлис, 1919. С. 52.

[iii] *Табидзе Т.* Лонда // Рубикони. 1923. 18 февраля (на груз. яз). Эпилептический ритм, характерный для поэзии Робакидзе, отмечал П. Ингороква. См.: *Ингороква П.* Григол Робакидзе // Рубикони. 1923. 18 февраля (на груз. яз.).

[iv] Письмо Белого Иванову-Разумнику от 19—21 августа 1927 г. // Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 530.

[v] *Бугаева К.Н.* (*Васильева*). Дневник 1927—1928 // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1996. Т. 7. С. 251.

[vi] Там же. С. 301.

В середине августа 1928 г. Андрей Белый и Клавдия Николаевна вернулись в Кучино. Вскоре Андрей Белый получил письмо, датированное 24 августа, от Робакидзе, отдыхавшего в Геленджике. Тот сетовал, что ему «не хватает духовной атмосферы, которая создалась между нами», приводил аннотацию на немецком языке на его роман «Кожа змеи», печатавшийся в Германии, и сообщал, что, возможно, приедет в Москву на «Толстовские торжества»[i]. На эти торжества — 100-летие со дня рождения Льва Толстого, — проходившие в Москве с 10 до 17 сентября 1928 г., Робакидзе приехал и 16 сентября вместе с Тицианом Табидзе и его женой Ниной нанес Белому визит в Кучино. Андрей Белый читал гостям начало второго тома «Москвы»[ii].

Андрей Белый и Клавдия Николаевна с интересом прочли роман Робакидзе «Кожа змеи», вышедший в немецком переводе во второй половине сентября 1928 г. Об этом свидетельствует отзыв Белого, благодарно пересказанный Робакидзе в ответном письме от 17 декабря 1928 г.: «Я очень рад творчески, что Вас и Клавдию Николаевну мой роман серьезно взволновал и вы о нем много и долго говорили. Это значит для меня очень и очень много...»[iii].

Личное общение Белого и Робакидзе продолжилось летом 1929 г. во время третьей (и последней) поездки Белого в Грузию[iv]. В дальнейшем писатели не встречались, но переписка между ними не прекращалась, во всяком случае — до отъезда Робакидзе в Германию весной 1931 г. В известных нам письмах Робакидзе выражал восхищение книгой Белого «На рубеже двух столетий»: «<...> портретное искусство там кажется мне совершенно исключительным по новизне письма и выразительности. В главке “Поливанов” к этому добавляется еще и необычайная любовь». Он беспокоился о здоровье писателя: «Вы написали за этот год 60 печатных листов <...>. Ведь это — простите: выражаясь строго: саморазрушение»[v].

Мы не знаем, продолжал ли Робакидзе писать Белому из Германии. Известно лишь, что смерть Белого стала глубоким потрясением для грузинского писателя. Об этом он писал 15 января 1934 г. Стефану Цвейгу:

> Дорогой друг <...>.
>
> На меня обрушились за это время разные бытовые неприятности, и мне никак не удавалось ответить на Ваше сердечное лондонское письмо. Сегодня сел было писать Вам подробно, но прочитал в одной из русских газет: мой друг[vi]; великий русский писатель Андрей Белый — Вы, конечно, знаете его замечательное произведение «Серебряный голубь»[vii] — умер в Москве. Я совсем без сил.
>
> Сердечно Вам преданный Григол Робакидзе.

---

[i] Письмо Г. Робакидзе Андрею Белому от 24 августа 1928 г. // НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 22. Ед. хр. 6.

[ii] *Робакидзе Г.* Дни Толстого // Мнатоби. 1928. № 10. С. 188.

[iii] Там же.

[iv] См. запись в *РД* за 2 июля 1929 г. «<...> Вечер с поэтами: Тициан, Паоло, Григорий Робакидзе» (Л. 143).

[v] Письмо Робакидзе Белому от 16 января 1931 г. См.: Андрей Белый и поэты группы «Голубые Роги» / Публ. и прим. П. Нерлера // Вопросы литературы. 1988. № 4. С. 282.

[vi] В письме к Белому от 16 января 1931 г. Робакидзе писал: «Дорогой Борис Николаевич. Большое спасибо за Ваше сердечное письмо. Я очень рад, что наконец решились назвать меня другом. Я Вас не просто ценю, но и люблю» (Там же. С. 282).

[vii] Разбирая роман «Серебряный голубь» в эссе «Андрей Белый», Робакидзе писал, что в этом произведении Андрей Белый подлинно подошел к России, в лоне которой увидел «темную стихию варварского дионисизма», оставшуюся «неодоленной и неосветленной» (*Робакидзе Гр.* Портреты. Тифлис, 1919. С. 55).

Письмо Стефану Цвейгу впервые было опубликовано и переведено К. Азадовским в подборке других писем Робакидзе к этому автору в журнале «Звезда» (2004. № 9. С. 158). Там же в примечаниях был процитирован фрагмент письма Робакидзе Вл. Ходасевичу от 13 мая 1934 г. Публикуемое выше письмо воспроизводится по автографу, сохранившемуся в бумагах Н.Н. Берберовой (нынешнее местонахождение: Yale University. Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Nina Berberova Collection. Gen Mss 573). Выражаем благодарность А. Устинову за возможность ознакомиться с текстом письма. К сожалению, нам неизвестно, сохранились ли ответные письма Андрея Белого к Робакидзе. Часть архива грузинского писателя погибла при бомбежке Берлина, другая часть бесследно исчезла. Некоторые материалы находятся в государственных и в частных архивах как в Грузии, так и за ее пределами, но даже слухи о местонахождении писем русских писателей к Робакидзе до нас не доходили.

---

[1] Со времени приезда в Германию весной 1931 г. до переезда в Швейцарию в апреле 1945 г. Робакидзе жил в Берлине.

[2] Робакидзе имеет в виду воспоминания В. Ходасевича «Андрей Белый: Черты из жизни» (Возрождение. 1934. 8, 13, 15 февраля). См. в наст. изд.

[3] Знакомство Робакидзе с Белым произошло 8 мая 1928 г. Андрей Белый и К.Н. Васильева встретили его в компании уже знакомого им грузинского поэта Паоло Яшвили на улице грузинской столицы. К.Н. Бугаева отметила после встречи: «“Умное и волевое” лицо Робакидзе» (*Бугаева К.Н.* (*Васильева*). Дневник 1927–1928. С. 246 (Запись от 8 мая 1928 г.)).

[4] Андрей Белый побывал в Грузии в 1927, 1928 и 1929 гг. В первую поездку он познакомился и сблизился с грузинскими поэтами из группы «Голубые роги» П. Яшвили, Т. Табидзе и их окружением. Г. Робакидзе в тот период находился в отъезде, но был представлен Белому заочно. В 1928 и 1929 гг. Белый также общался с грузинскими поэтами, несколько раз гостил в доме Тициана Табидзе, причем хозяин дома был вынужден уходить ночевать в Дом писателей. Подробнее см.: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 529–530, а также: *Табидзе Н.* Память. Главы из книги // Дом под чинарами. 1976. С. 50–55 (глава «Андрей Белый»).

[5] С этим высказыванием сопоставимы слова Робакидзе о дальности/близости к нему Андрея Белого, произнесенные во время застолья у Тициана Табидзе 9 мая 1928 г. См.: *Бугаева К.Н.* (*Васильева*). Дневник 1927–1928. С. 248 (Запись от 9 мая 1928).

[6] Возможно, эту беседу имеет в виду К.Н. Бугаева в записи от 26 мая 1928 г: «В семь заехал за Б.Н. Робакидзе для разговора вдвоем» (*Бугаева К.Н.* (*Васильева*). Указ. соч. С. 279).

[7] Имеется в виду «Пятое Евангелие» – цикл из пяти лекций Р. Штейнера, прослушанный Андреем Белым в Христиании (Осло) в начале октября 1913 г. См. об этом: *Спивак М.* Андрей Белый – Рудольф Штейнер – Мария Сиверс // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 44–68.

[8] О своем состоянии после прослушивания лекций этого цикла Белый писал в «Воспоминаниях о Штейнере»: «Для меня встреча с доктором с первой лекции этого курса – первая встреча. <...> И я понял впервые себя; и я понял впервые Иисуса; и я понял впервые доктора с темой второго пришествия: оно нам – имманентно!» (*Андрей Белый.* Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Воспоминания о Штейнере. М., 2000. С. 508, 511).

[9] Об отношении Андрея Белого к Р. Штейнеру, помимо воспоминаний самого Белого, см.: *Тургенева А.* Андрей Белый и Рудольф Штейнер // Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 203–218 и др.

[10] В Берлине Белый жил с 18 ноября 1921 г. по 21 октября 1923 г. и пережил там глубокий кризис, описанный, в частности, в эссе М.И. Цветаевой «Пленный дух».

[11] О К.Н. Бугаевой (Васильевой) и ее роли в преодолении берлинского кризиса см. предисловие Н. Малинина к публ.: *Бугаева К.Н.* (*Васильева*). Дневник 1927–1928. С. 191–197; и предисловие Дж. Малмстада в кн.: *Бугаева К.Н.* Воспоминания об Андрее Белом. М., 2001. С. 5–33.

[12] Ходасевич видел истоки парадоксализма в характере и творчестве Белого в конфликте между отцом и матерью писателя, оказавшем неизгладимое влияние на детскую психику и неоднократно изображенном, начиная с «Петербурга», в его романах.

[13] Робакидзе вместе с Т. Табидзе и его женой Н. Табидзе посетил Белого в Кучине 16 сентября 1928 г. См.: *Робакидзе Г.* «Дни Толстого» // Мнатоби. 1928. № 10. С. 188 (на груз. яз.).

[14] С 1928 по 1930 г. Робакидзе безуспешно пытался получить заграничный паспорт для новой поездки в Германию. Только после встречи с А. Енукидзе в конце 1930 г. вопрос о его временном выезде за границу был решен положительно.

[15] Д.С. Мережковский занимал радикальную антибольшевистскую позицию, заявленную сразу после октябрьского переворота и не изменившуюся в эмиграции. В большевизме он видел воплощение абсолютного зла и поддерживал иностранную интервенцию как средство борьбы с этим злом.

[16] Надежду на встречу с писателем перед отъездом в Германию Робакидзе выражает в письме к Белому от 16 января 1931 г. из Тбилиси. См.: Андрей Белый и поэты группы «Голубые Роги». С. 282.

[17] Книга «Убиенная душа» вышла в издательстве «Дидерихс» в Йене осенью 1933 г. В этом произведении Робакидзе хотел «совершенно объективно передать демоническую сущность большевизма» (Письмо Робакидзе к Ст. Цвейгу от 25 октября 1933 г. См.: «Я всегда буду помнить Зальцбург...». С. 157).

[18] Сердечно (*нем.*).

[19] Корнелиус Бергман (1881–1951) – многолетний сотрудник издательства «Дидерихс» в Йене.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Т.Л. Никольской

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

ПЛЕННЫЙ ДУХ
(Моя встреча с Андреем Белым)

Современные записки (Париж).
1934. Кн. 55.

Посвящается Владиславу Фелициановичу Ходасевичу[1]

I
ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ЛЕГЕНДА

Легкий огнь, над кудрями пляшущий,
Дуновение – вдохновение![2]

— Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, няню, Асю, Андрюшу, Наташу, Машу и Андрея Белого...

— Ну, помолилась за Андрея Белого, теперь за Сашу Черного помолись!

Самое забавное, что нянька и не подозревала о существовании Саши Черного (а существовал ли он уже тогда как детский поэт? 1916 год)[3], что она его в противовес: в *противоцвет* Андрею Белому — сама сочинила, по женскому деревенскому добросердечию смягчив полное имя на уменьшительное.

Почему молилась о нем сама трехлетняя Аля?[4] Белый у нас в доме не бывал. Но книгу его «Серебряный Голубь» часто называли. Серебряный Голубь Андрея Белого. Какой-то Андрей, у которого есть серебряный голубь, а этот Андрей еще и *белый*. У кого же может быть серебряный голубь, как не у ангела, и кто же еще, кроме ангела, может называться — Белый? Все Ивановичи, Александровичи, Петровичи, а этот просто — Белый. Белый ангел с серебряным голубем на руках. За него и молилась трехлетняя девочка, помещая его, как самое любимое — или самое важное — на самый последок молитвы. (Об ангелах тоже нужно молиться, особенно когда на земле. Вспомним бедного уэльсовского ангела, который в земном бытовом окружении был просто *непристоен*![5]).

Но имя Белого прозвучало в нашем доме еще до Алиной молитвы, задолго до самой Али, и совсем не в этом доме, и совсем иначе, ибо произнесено оно было далеко не трехлетним ангелом, а именно: моей теткой, женой моего дяди, историка, профессора Димитрия Владимировича Цветаева[6], и с далеко не молитвенной интонацией.

— Последние времена пришли! — кипела она и пенилась на моего тихонько отсаживавшегося отца. — Вот еще какой-то Андрей Белый завелся, завтра читает лекцию. Мало им Горького — Максима, Белый — Андрей понадобился! А то еще

какой-то Александр Блок (что за фамилия такая? Из жидов, должно быть!) сочинил «Прекрасную Даму»[7], уж одно название чего стоит, стыда нет! Раньше тоже про *дам* писали, только не печатали, а в стол прятали, — разве что в приятельской компании. А всего хуже, что из приличной семьи, профессорский сын, Николая Димитриевича[8] Бугаева — сын. Почему не Бугаев — Борис, а Белый — Андрей? От отца отрекаться? Видно, уж такого насочинил, что подписать стыдно? Что за Белый такой? Ангел или в нижнем белье сумасшедший на улицу выскочил? — раззорялась она, вся трясясь бриллиантами, крючковатым носом и непрестанно моргающими (нервный тик) желтыми глазами.

— Молодость, Елизавета Евграфовна[9], молодость! — кротко отвечал мой отец[10]. — А о чем лекция?

— О символизме, изволите ли видеть! То-то символизм какой-то выдумали, что символа веры не знают!

— Ну, ничего такого особо вредного я в этом еще не вижу... — осторожно (так по неизбежности просовывают руку в клетку к злому попугаю) вставлял мой отец, опасавшийся раздражать людей, а особенно — дам, а особенно — родственных, а особенно — родственных с нервным тиком (всегда — вся — тряслась, как ненадежно поставленная, неосторожно задетая, перегруженная свечами и мелочами зажженная елка, ежесекундно угрожающая рухнуть, загореться и сжечь). — Все лучше, чем ходить на сходки...

— Студент! — уже кричала Какаду (прозвище из-за крючковатости носа и желтизны птичьих глаз). — Учиться надо, а не лекции читать, отца позорить!

— Ну, полно, полно, голубушка, — ввязался вовремя подоспевший добродушнейший мой дядя Митя, заслуженный профессор, автор капитального труда о скучнейшем из царей — Василии Шуйском[11] и директор Коммерческого Училища[12] на Остоженке, воспитанниками которого за малый рост, огромную черную бороду, прыть и черносотенство был прозван Черномор. — Что ты так разволновалась? Одни в юности за хорошенькими женщинами ухаживают, другие — про символизм докладывают, ха-ха-ха! Отец — почтенный, может быть, еще и из сына выйдет прок. — А ты как думаешь, Марина? Что лучше: на балах отплясывать или про символизм докладывать? Впрочем, тебе еще рано... — неизвестно к чему относя это «рано», к балам или символизму...

И не мы одни были такая семья. Так встречало молодой символизм, за редчайшими исключениями, все старое поколение Москвы.

Так я и унесла из розовых стен Коммерческого Училища на Остоженке в шоколадные стены нашего дома в Трехпрудном[13] имя Андрея Белого, где оно и осталось до поры до сроку, заглохло, притаилось, легло спать.

Разбудил его, года два спустя, поэт Эллис (Лев Львович Кобылинский[14], сын педагога Поливанова[15], переводчик Бодлэра[16], один из самых страстных ранних символистов, разбросанный поэт, гениальный человек).

— Вчера Борис Николаевич... Я от вас к Борису Николаевичу... Как бы это понравилось Борису Николаевичу...

Естественно, что мы с Асей[17], сгоравшие от желания его увидеть, никогда не попросили Эллиса нас с ним познакомить и — естественно, а может быть, *не* естественно? — что Эллис, дороживший нашим домом, всем миром нашего дома: тополиным двором, мезонином, моими никем не слышанными стихами, полно-

властным царством над двумя детскими душами — никогда нам этого не предложил. Андрей Белый — табу. Видеть его нельзя, только о нем слышать. Почему? Потому что он — знаменитый поэт, а мы средних классов гимназистки.

Русских — и детей — и поэтов — фатализм.

Эллис жил в меблированных комнатах «Дон»[18], с синей трактирной вывеской, на Смоленском Рынке. Однажды мы с Асей, зайдя к нему вместо гимназии, застали посреди его темной, с утра темной, всегда темной, с опущенными шторами — не выносил дня! — и двумя свечами перед бюстом Данте — комнаты — что-то летящее, разлетающееся, явно на отлете — ухода. И, прежде чем мы опомниться могли, Эллис: — Борис Николаевич Бугаев. А это — Цветаевы, Марина и Ася.

Поворот, почти пируэт, тут же повторенный на стене его огромной от свечей тенью, острый взгляд, даже укол, глаз, конец перебитой нашим входом фразы, — человек уходил, и ничто уже его не могло остановить, и, с поклоном, похожим на пá какого-то балетного отступления: — Всего хорошего. — Всего лучшего.

Дома, ложась спать: — А все-таки увидели Андрея Белого. Он мне сказал — Всего лучшего. — Нет, мне — всего лучшего. Тебе — всего хорошего. — Нет, именно тебе — всего хорошего, а мне... — Ну, *тебе* – лучшего! (Про себя: сама знаешь, что — *мне*!)

«Хорошего» или «лучшего» — осуществилось оно не через него. Встреча не повторилась. Странно, что вращаясь в самом близком его кругу: Эллис, его друг Нилендер[19], К.П. Христофорова[20], сестры Тургеневы[21], Сережа Соловьев[22], брат и сестра Виноградовы[23] — я его в той моей дозамужней юности больше не встретила. Никогда и не искала. Дала судьба раз — не надо просить второго. Слава Богу, что — раз. Могло бы и не быть.

Впрочем, видела его часто, года два спустя, в Мусагете[24], но именно — видела, и чаще — спиной, с белым мелком в руке обтанцовывающего черную доску, тут же испещряемую — как из рукава сыпались! — запятыми, полулуниями и зигзагами ритмических схем, так напоминавших гимназические геометрические, что я, по естественному чувству самосохранения (а вдруг обернется и вызовет к доске?), с танцующей спины Белого переходила на недвижные фасы Тайного Советника Гете[25] и Доктора Штейнера, во все свои огромные глаза глядевшие или *не* глядевшие на нас со стены.

Так это у меня и осталось: первый Белый, танцующий перед Гете и Штейнером[26], как некогда Давид перед Ковчегом[27]. В жизни символиста все — символ. *Не*-символов — нет.

...Но есть у меня еще одно, более раннее, до знакомства, воспоминание, незначительное, но рассказа стоящее, хотя бы уже из-за тургеневских мест, с которыми Белый вдвойне связан: как писатель и как страдатель.

Тульская губерния, разъезд «Толстое»[28], тут же город Чермь, где Иван беседовал с Чортом, тут же Бежин Луг[29]. И вот, на каких-то имянинах, в сновиденном белом доме с сновиденным черным парком[30] —

— Какая вы розовая, здоровая, наверное рассудительная, — поет, охая от жары и жиру, хозяйка-помещица[31] — мне, — а вот мои — сухие, как козы, и совсем сумасшедшие. Особенно Бишетка — это ее бабушка так назвала, за глаза и за прыжки. Ну, подумайте, голубушка, сижу я, это, у нас в Москве в столовой и слышу, Бишет-

ка в передней по телефону: «Позовите, пожалуйста, к телефону Андрея Белого». Ну, тут я сразу насторожилась, уж странно очень – ведь либо Андрей, либо Андрей Петрович, скажем, а то что же это за «Андрей Белый» такой, точно каторжник или дворник?

Стоит, ждет, долго ждет, должно быть, не идет, и вдруг, голубушка моя, ушам своим не верю: – «Вы – Андрей Белый? Будьте так любезны, скажите, пожалуйста, какие у вас глаза? Мы с сестрами держали пари...» Тут молчание настало, долгое, – ну, думаю, наверное, ее отчитывает – Бог знает за кого принял! – уж встать хочу, объяснить тому господину, что она – по молодости, и без отца росла, и без всякого там, скажем, какого-нибудь умысла... словом: дура – что... и вдруг, опять заговорила: – «Значит, серые? Правда, серые? Нет, вовсе не как у всех людей, а как ни у кого в Москве и на всем свете! Я на лекции была и сама видела, только не знала, серые или зеленые... Вот и выиграла пари... Ура! Ура! Ура! Спасибо вам, Андрей Белый, за серые!»

Влетает ко мне: – Ма-ама! Серые! – Да уж слышу, что серые, а отдала бы я тебя лучше в Екатерининский Институт[32], как мне Анна Семеновна советовала... – Да какие там Екатерининские Институты? Ты знаешь, с кем я сейчас по телефону говорила? (А сама скачет вверх вниз, вверх вниз, под самый потолок, – вы ведь видите, какая она у меня высокая, а потолки-то у нас в Москве низкие, сейчас люстру башкой сшибет!) С Андреем Белым, с самым знаменитым писателем России! А ты знаешь, что он мне ответил? «Совсем не знаю, сейчас посмотрю». И пошел смотреться в зеркало, оттого так долго. И, конечно, оказались – серые. Ты понимаешь, мама: Андрей Белый, тот, что читал лекцию, еще скандал был, страшно свистели... Я теперь и с Блоком познакомлюсь...

Рассказчица переводит дух и, упавшим голосом: – Уж какой он там самый великий писатель – не знаю. *Мы* Тургенева читали, благо и места наши... Ну, великий или не великий, писатель или не писатель, а все же человек порядочный, не выругал, не заподозрил, а сразу понял – дура... и пошел в зеркало смотреться... как дурак... Потом я ее спрашиваю: «А не спросил он, Бишетка, какие у *тебя* глаза?» – «Да что ты, мама, очень ему интересно, какие у меня глаза? Разве я знаменитость какая-нибудь?»

Милый Борис Николаевич, когда я четырнадцать лет спустя в берлинской Pragerdiele[33] вам это рассказала, ваш первый вопрос был:

– А какие у *нее* были? Бишет? Bichette[34]? Козочка? Серые, наверное? И вот такие? (перерезает воздух вкось) – как у настоящей козы? Сколько ей тогда было лет? Семнадцать? Такая, такая, такая высокая? Пепельно-русая? И прыгала неподвижно (чуть не опрокидывает стол) – вот та́к, вот та́к, вот та́к?

(«Борис Николаевич показывает Марине Ивановне эвритмию[35]», – шепот с соседнего столика). – Почему же она мне никогда не написала? Родная, голубушка, ее нельзя было бы найти? Нельзя – нигде? Она, конечно, умерла. Все, все они умирают – или уходят (вызывающий взгляд на круговую) – Вы не понимаете! Абрам Григорьевич[36], и вы слушайте! Девушка с козьими глазами, Bichette, которая была на моем чтении... Издатель, вяло: – На котором чтении? Уже здесь? Он, вперяясь: – Конечно, здесь, потому что я сейчас *там*, потому что *там* сейчас *здесь*, и никакого *здесь*, кроме *там*! Никакого *сейчас*, кроме *тогда*, потому что *тогда* вечно, вечно, вечно!.. Это и есть фетовское *теперь*[37]. (Подходит и другой его издатель.)

Белый моляще: – Соломон Гитманович[38], слушайте и вы. Девушка. Четырнадцать лет назад. Bichette, с козьими глазами, которая *вот так* прыгала от радости, что я ей ответил по телефону, какие у меня глаза... Четырнадцать лет назад. Она сейчас – Валькирия... Вернее, она была бы Валькирия... Я знаю, что она умерла...

(Почтительное, сочувственно-недоуменное и чуть-чуть комическое молчание. Так молчат, когда внезапно узнают о смерти человека, о котором впервые слышат и о котором тут же убивается один из присутствующих.) Белый, с внезапным поворотом всего тела, хотя странно о нем говорить *всего* и *тела,* до того этого «*всего*» было мало, и до того это было *не тело,* – напуская на меня всю птицу своего тела:

– А эта Bichette – действительно была? Вы это не... сочинили? (Подозрительно и агрессивно) Потому что я ничего не помню, никаких глаз по телефону... Я Вам, конечно, верю, но... (Окружающим) Потому что это чрезвычайно важно. Потому что, если она была – то это была моя судьба. Моя несудьба. Потому у меня и не было судьбы. И я только теперь знаю, отчего я погиб. До чего я погиб!

Не зная, что сказать, и чувствуя, что девушка уже исчерпана, что остается одно беловское беснование, издатели с женами и писатели с женами незаметно и молниеносно... даже не: исчезают: их – нет. Белый, изучающий тиснение скатерти, точно ища в ней рун, письмен, следов – внезапно вскинув голову и заливая меня светом – каких угодно, только не серых глаз, явно меня не видящих:

– Bichette... Bichette... Я что-то, что-то, что-то помню. Но... не совпадает! Я тогда был совсем маленьким, меня почти еще не было, меня просто не было...

Не зная и я, что́ сказать в ответ на такое полное небытие, жду, что через секунду он уже опять *будет.*

Меня не было, было: **я, оно**. Вы, конечно, меня понимаете? (Вечный вопрос всех, на понимание до того не рассчитывающих, что даже не пережидают ответа.) Одну секунду... Стойте! Сейчас всплывет. (Властный жест мага.) Сейчас появится! Но почему Bichette, когда – Biquette! Потому что – на эшафот готов взойти, что – Biquette! Но почему Biquette, когда Bichette[39]?

– Борис Николаевич, теперь уж Вы – стойте!

(и, напевом)

Ah, tu sortiras Biquette, Biquette,
Ah, tu sortiras de ce chou là![40]

– Потому что Вам в младенчестве, когда Вас еще не было, это Вам пела Ваша французская – нет, швейцарская M-lle, которая у Вас *была*[41].

Пауза. Сижу, буквально за́литая восторгом из его глаз, одетая им, как плащом, как лучом, как дождем, вся, от темени до подола моего пока еще нового, пока еще синего, пока еще единственного берлинского платья. Беря через стол мою руку, неся ее к губам, не донеся до губ:

– Вы, Вы мне поверите, что я за эту Biquette – заметьте, что я сейчас о Biquette – капустной козе говорю, что я за эту швейцарскую молочную капустную младенческую козу готов для Вас десять лет подряд с утра до поздней ночи таскать на себе булыжники.

Я, потрясенная: – Господи!

Он, императивно: – Булыжники. (Пауза.) И должен сказать Вам, что я никогда никого в жизни еще так не уважал, как Вас в эту минуту.

Милая Bichette, может быть, вы все-таки еще живы и это прочтете? А может быть, уже сейчас, через плечо, пока пишу, нет, *до* написанного — читаете? А что́, если Вы первая встретили его у входа и взяли за́-руку и повели, сероглазая — сероглазого, вечно-юная — вечно-юного, по Рощам Блаженных, его настоящей родине...

Из Берлина 1922 г. в Москву 1910 г. Странно, только сейчас замечаю, что имя Белого до встречи с ним дважды представало мне в окружении трех сестер. В первый раз — в кругу трех сестер, из которых старшая была Bichette, во второй раз в трехсестринском кругу Тургеневых.

О сестрах Тургеневых шла своя отдельная легенда[42]. Двоюродные внучки Тургенева[43], в одну влюблен поэт Сережа Соловьев, племянник Владимира[44], в другую — Андрей Белый, в третью, пока, никто, потому что двенадцать лет, но скоро влюбятся все. Первая Наташа, вторая Ася, третья Таня. Говорю — легенда, ибо при знакомстве оказалось, что Наташа — уже замужем[45], что Таня пока что самая обыкновенная гимназистка, а что в Асю — и Андрей Белый, и Сережа Соловьев[46].

Асю Тургеневу я впервые увидела в Мусагете, куда привел меня Макс[47]. Пряменькая, с от природы занесенной головкой в обрамлении гравюрных ламартиновских «anglaises»[48], с вечно-дымящей из точеных пальцев папироской, в вечном сизом облаке своего и мусагетского дыма, из которого только еще точнее и точеней выступала ее прямизна. Красивее ее рук не видала. Кудри и шейка и руки, — вся она была с английской гравюры, и сама была гравер, и уже сделала обложку для книги стихов Эллиса Stigmata[49], с каким-то храмом. С английской гравюры — брюссельской школы гравер[50], а главное, Ася Тургенева — тургеневская Ася[51], любовь того Сергея Соловьева с глазами Владимира, «Жемчужная Головка»[52] его сказок, невеста Андрея Белого и Катя его Серебряного Голубя, Дарьяльский которого — Сережа Соловьев[53]. (Все это, гордясь за всех действующих лиц, а немножечко и за себя, захлебываясь сообщил мне Владимир Оттонович Нилендер, должно быть, сам безнадежно влюбленный в Асю. Да не влюбиться было нельзя.)

Не говорила она в Мусагете никогда, разве что — «да», впрочем как раз не «да», а «нет» и это «нет» звучало так же веско, как первая капля дождя перед грозой. Только глядела и дымила, и потом внезапно вставала и исчезала, развевая за собой пепел локонов и дымок папиросы. Помню, как я в общей сизой туче всех дымящих папирос всегда ловила ее отдельную струйку, следя ее от исхода губ до моря — морей — потолка. На лекциях Мусагета, честно говоря, я ничего не слушала, потому что ничего не понимала, а может быть, и не понимала, потому что не слушала, вся занятая неуловимо-вскользнувшей Асей, влетающим Белым, недвижным Штейнером, черным оком царящим со стены, гримасой его бодлэровского рта. Только слышала: гносеология и гностики, значения которых не понимала и, отвращенная носовым звучанием которых, никогда не спросила. В гимназии — геометрия, в Мусагете — гносеология. А *это*, что сейчас вот как-то коварно изнизу, а уж через секунду, чуть повернувшись (как осколок в калейдоскопе!), уже отвесно сверху Гершензону[54] возражает, это — Андрей Белый, тот самый, который — вечность! уже две зимы назад — сказал нам тогда с Асей, мне (утверждаю и сейчас, а ведь *как* не сбылось!) — «Всего лучшего», ей — «Всего *доброго*!» Со мной он не говорил никогда, только, случайно присев на смежный стул, с буйной и несказан-

но-изумленной радостью: — «Ах! Это — Вы??» за которым никогда ничего не следовало, ибо я-то *знала*, что это — он.

В Мусагете я, как Ася Тургенева, никогда ничего не говорила, только она от превосходства — своего над всеми, я — всех над собой. Она — от торжествующей, я от непрерывно-ранимой гордости. Не говорила, конечно, и с ней, которую я с первой встречи ощутила «царицей здешних мест»[55].

Каким чудом осуществилось наше сближение? Кто настоял? Думаю — ни кто, а нечто: простой голый факт, та срочная деловая необходимость, служащая нам несравненно больше чужой доброй воли и нашего собственного страстного желания, когда нужно — горы сводящая! В данном случае предполагавшееся издание Мусагетом моей второй книги и поручение Асе для нее обложки[56].

Помню, что первая пришла я — к ней. В какие-то переулочные снега. Кажется — на Арбат.

Из каких-то неосвещенных глубин на слабый ламповый исподлобный свет Ася в барсовой шкуре на плечах, в дыму «anglaises» и папиросы, кланяющаяся — исподлобья, руку жмущая по-мужски.

Прелесть ее была именно в этой смеси мужских, юношеских повадок, я бы даже сказала — мужской деловитости, с крайней лиричностью, девичеством, девченчеством черт и очертаний. Когда огромная женщина руку жмет по-мужски — одно, но — такой рукою! С гравюры! От такой руки — такое пожатье!

На диване старшая сестра Наташа, и вбег Тани, трепаной, розовой, гимназической и которую я в свой культ включила явно в придачу, для ровного счета, достоверно зная от *моей* Аси, учившейся с ней в гимназии[57], что она самая обыкновенная девчонка, без никакого ни отношения, ни интереса к литературе, читать совсем не любящая, и с которой *моя* Ася, несмотря ни на какие мои просьбы, не соглашалась дружить. — Очень нужно, дружи сама, что́ мне от ее тургеневства, только и говорит, что о пирогах и о грудных детях — как на́-зло! (Может быть, действительно — на́-зло? Зная, что от нее ждут «поэзии»? Вернее же — просто настоящая четырнадцатилетняя девчонка, помещичья дочка, дитя природы.)

Водяная диванная гладь Наташи, самостоятельный гром Тани и зоркое безмолвие застывшей передо мной Аси — в барсовом плэде.

— Какая киса чудная! — Барс. — Барс, это с кистями на ушах? — Рысь.

(Не поговоришь!). Оттянув к себе барсью полу, глажу, счастливая, что нашла себе безмолвное увлекательное занятие. И вдруг, со всей безудержностью настоящего откровения: — Да вы сама, Ася, барс! Это вы с *себя* шкуру сняли: надели.

Чудный смех, взблеск чудных глаз, — волшебная смена из «Цветов маленькой Иды»[58] — хватая мою руку, другой с лампы колпак:

— А у вас какие? Ну, конечно, зеленые, я так и знала!

Дитя символистической эпохи, ее героиня, что же для нее могло быть важней — цвета глаз? И что больше ценилось — зеленых, открытых Бальмонтом[59] и канонизированных его последователями?

— И какое у вас чудное имя. (Испытующе:) А вы действительно Марина, а не Мария? Марина: морская[60]. Вы курите? (Молча протягиваю портсигар.) И курит, и глаза зеленые, и морская — Ася, тоном счетовода — сестрам.

Сидим уже на диване, уже стихи, под неугомонный гром Тани — такая тонкая девочка, а как гремит! — разнообразимый дребезгом со всего размаху ставимых на стол чашек, блюдец, вазочек.

Ни слова не помню про обложку. (Так кончались все мои деловые свидания!) Зато *все* помню про барса, этого вот барсенка: бесенка с собственной шкурой на плечах, зябкого, знобкого... Ни слова и про Андрея Белого. (Слово «жених» тогда ощущалось неприличным, а «муж» (и слово и вещь) просто невозможным.)

И, странно (впрочем, здесь все странно или ничего), уже начало какой-то ревности, уже явное занывание, уже первый укол Zahnschmerzen im Herzen[61], что вот – уедет, меня – разлюбит, и чувство более благородное, более глубокое: тоска за всю расу, плач амазонок по уходящей, переходящей на *тот* берег, *тем* отходящей – сестре[62].

– Чудный барс. В следующий раз в Мусагет приходите в барсе. Приводите барса, чтобы было на чем отвести душу.

(Молча: Ася! Ася! Ася! Не выходите замуж, хотя бы за Андрея Белого!)

Вслух: – Я не понимаю, что такое гносеология и почему все время о ней говорят. И почему все – разное, когда она – одна.

(Молча: – Ася! Ведь вы – Mignon, не из оперы, а из Гете[63]. Mignon не должна выходить замуж – даже за молодого Гете...)

Вслух: – Я не люблю Вячеслава Иванова, потому что он мне сказал, что мои стихи – выжатый лимон. Чтобы посмотреть, чтó я на это скажу. А я сказала: «Совершенно верно». Тогда на меня очень рассердился, сразу разъярился – Гершензон[64].

(Молча: – O lasst mich scheinen, bis ich werde! Zieht mir das weisse Kleid nicht aus![65] Ася! ведь это измена этому же, вашему же – Белому! Вы должны быть умнее, сильнее, потому что вы женщина... За *него понять*!)

Вслух: – «Вы отлично знаете, что ваши стихи – *не* выжатый лимон! Зачем же вы смеетесь над Вячеславом Ивановичем – и всеми нами?»

(Молча: – Ася, у меня, конечно, квадратные пальцы, совсем не художественные, и я вся не стóю вашего мизинца и ногтя Белого, но, Ася, я все-таки пишу стихи и сама не знаю, чем еще буду – знаю, что *буду*! – так вот, Ася, не выходите замуж за Белого, пусть он один едет в Сицилию и в Египет[66], оставайтесь одна, оставайтесь с барсом, оставайтесь – барсом.)

– Марина, о чем вы думаете?

Замечаю, что я совсем забыла говорить про Гершензона. (О, потрясение человека, который вдруг осознал, что молчит и совсем не знает, сколько.)

– Бойтесь меня, я умею читать мысли.

И оборотом головы на сестер: – Почему у Цветаевых такие красные губы? И у Марины и у Аси. Они – не вампиры? Может быть, *мне* вас, Марина, надо бояться? Вы не придете ко мне ночью? Вы не будете пить мою кровь?

– А ваш барс на что? Ночью он спит у вашей постели, и у него – клыки!

Другое явление – видение – Аси, знобкой и зябкой, без барса, но незримо – в нем, на границе нашей залы и гостиной в Трехпрудном, с потолками такими высокими, что всякому дыму есть куда уйти.

Между нами уже простота любви, сменившая во мне веревку – удавку – влюбленности. Я знаю, что она знает, что мы одной породы. Влюбляешься ведь только в чужое, родное – любишь. Про ее отъезд не говорим, *его* не называем, не назовем никогда. Это еще пока – девичество, вольница, по сю сторону *той* реки.

Ей нужно уходить, ей не хочется уходить, стягивает, натягивает, перебрасывает с плеча на плечо невидимого барса. Не удерживаю, ибо в жизни свое место знаю, и если оно *не* последнее, то только потому, что вовсе не становлюсь в ряд... (А со мной, в моей простой любви (а есть — простая?), в моем веселом девичьем дружестве, в Трехпрудном пер., дом № 8, шоколадный, со ставнями, ты бы все-таки была счастливее, чем с ним в Сицилии, с ним, которого ты неизбежно потеряешь...)

— Ася, вы скоро едете? — Скоро еду, а сейчас иду.

Простившись с ней *совсем* в нашем полосатом, в винно-белую полоску, матрасном парадном, естественным следствием всех последних прощаний, влезаю в своего гимназического синего барана (мне — баран, тебе — барс, все как следует, и они, бар(ан) и бар(с), все-таки родня) и иду с ней вдоль снежного переулка — ряда переулков — до какого-то белого дома (может быть — ее, может быть — его, может быть — ничьего), который зовется «здесь». Здесь — прощаемся.

— А завтра Ася с Борисом Николаевичем уезжают в Сицилию!

Это Владимир Оттонович Нилендер, тоже мятущаяся и смещенная разом со всех земных мест душа, âme en peine — d’éternité[67], уже с порога, вознеся над головой руки, точно моля ими зальную Афродиту отвести от этой головы беду. (Теперь замечаю, что и у Нилендера и у Эллиса были беловские жесты. Подвлиянность? Сродство?)

— Вы можете передать от меня Асе стихи?

— А вы на вокзале не будете?

— Нет. В руки. В руку. После третьего звонка, конечно, чтобы...

— Понял. Понял.

— Нет. *Не* поняли и не после третьего, потому что после третьего все сразу лезут на подножку опять прощаться. Так вот, после последней подножки и последней руки. Ей, в машущую...

День спустя, выпрастывая шею из седого и от снега бобра. (Барс, баран, бобер... Бобром он этим потом тушил свой филологический пожар. Бобер сгорел, но зато были спасены *все* книги филолога!)

— Марина! Уехали! Это было растравительно. Она, бедняжка, храбрилась, *не* плакала, но вся сжалась, скрутилась в жгут, как собственный платочек — и ни слезы!

(Точно в Нерчинск! А ведь, кажется, — в Монреале[68], да еще с любимым, да еще этот любимый — Андрей Белый! Но таковы тогда были души и чувства.)

— А он? — Он, кажется, был (с величайшим недоумением) — просто счастлив? От него шло сияние! — От него всегда идет сияние. — Вы правы. Но вчера — особенное. Он не уезжал — отлетал! Точно не пáром двинулись вагоны, а его... Я: — Вдохновением. — Счастливая Ася. Бедная Ася. — И я, вторя:

Никому, с участьем или гневно,
Не позволь в былое заглянуть.
Добрый путь, погибшая царевна,
Добрый путь![69]

— Марина, какое безумие, какое преступление — брак!

Это говорит — мне говорит! в глаза говорит! — человек, которого... который...[70] — и весь рассказ об Асе и Белом — о *нас* рассказ, если бы один из нас был хоть чуточку безумнее или преступнее другого из нас. Но зато — и какое в этом несравненное сияние! — знаю, что если я, сейчас, столько лет спустя, или еще через десять лет, или через все двадцать, войду в его филологическую берлогу, в грот Орфея[71], в пещеру Сивиллы, он правой оттолкнет молодую жену, левой обвалит мне же на голову подпотолочную стопу старых книг — и кинется ко мне, раскрывши руки, которые будут — крылья.

Это нам и всем подобным нам награда за все нами отвергнутые Монреале.

От Аси, год спустя, уже не знаю откуда, прилетело письмо: разумное, точное, деловое. С адресами и с ценами. В ответ на мой такой же запрос: куда ехать в Сицилию. И мое свадебное путешествие, год спустя[72], было только хождение по ее — Аси, Кати, Психеи — следам. И та глухонемая сиракузская девочка в черном диком лавровом саду, в дикий полдневный, синий дочерна час, от которого у меня и сейчас в глазах синё и черно, бежавшая передо мною по краю обрыва и внезапно остановившаяся с поднятым пальчиком: — вот! а «вот» была статуя благороднейшего из поэтов Гр. Августа Платена — August von Platen — seine Freunde[73] — та глухонемая девочка, самовозникшая из чащи, была, конечно, душа Аси, или хоть маленький ее, *мой*, отрез! — стерегшая меня в этом черном саду.

Больше я Аси никогда не видала.

Девочка... козочка... Bichette... ах, это вы, Bichette?

1920 год. В филологической берлоге Нилендера встречаю священника с страшными глазами: синими поднебесными безднами. Я эти глаза — знаю. Только это глаза со стены, и не подобает им глядеть на меня через советский примус.

— Вы меня не узнаете? Неузнаваем? Соловьев. Сережа Соловьев. (Да, да, нужно было именно сказать: Сережа, чтобы не подумала — среди бела дня, в гостях Владимир! Но куда же девался чудный, розового мрамора, круг лица? Священник, — куда стихи?)

— Как Таня? — Таня в деревне. У Тани три девочки. — Опять — три? — Опять — три. — Тургеневской породы? — Тургеневской. И одна очень похожа на Асю. — Спасибо.

Для пояснения нужно прибавить, что Таня Тургенева, прельщенная примером моей Аси, вышла замуж из того же VI кл<асса> гимназии — за Сережу Соловьева[74]. Так что разговор шел о соловьевско-тургеневских девочках.

По выходе этого прекрасно- и страшно-глазого священника, Нилендер — мне: — Мечтает о воссоединении церквей. Сначала был православным, потом перешел в католичество, а теперь — униат[75]. — Сначала был поэт!

Знают, стройно и напевно
В полночь вставшие снега,
Что свершает путь царевна,
Взяв оленя за рога...[76]

– О, это давно... Это был – другой человек... Это было в Асины времена... – с той особенной отраженной нежностью мужчины, самого не бывшего влюбленным – не решившегося! – но возле влюбленного, влюбленных стоящего и их нежностью кормившегося...

У–ни–ат... Какая сосущая гимназическая жуть: рассвет... водовоз... вставать... жить... отвечать про польскую Унию...

Но не сбылись вторично сестры Тургеневы. В 1922 г., на Воздвиженке, меня окликнула молодая женщина с той обычной советской присыпкой пепла на лице, серизной заботы и золы, уравнивающей и пол и возраст, молодость заравнивающей как лопатой.

– Таня. Таня Тургенева. Но вы *тоже* очень изменились, а у меня (все еще *те* глаза внезапно и до краев наливаются слезами) – умерла дочка. Вторая. Вот карточка, где они еще три.

На меня с дешевой, уже посеревшей, как Танино и мое лицо, открытки глядят три маленьких Тургеневы, три Лэди Джэн[77]. Таня, тыча все еще точеным пальчиком с черным ногтем в одну из головок:

– *Эта* умерла.

– *Эта,* конечно, «Ася»[78].

Аси я больше никогда не видала. Есть встречи, есть чувства, когда дается сразу все и продолжения не нужно. Продолжать, ведь это – проверять.

Они даже не оставляют тоски. Тоска (зарез), когда не додано, тем или мною, нами. Пустота, когда – недостойному – передано. (Достойному не передашь!) Асю я с первой секунды ощутила – уезжающей, для себя, в длительности – потерянной. Так любят умирающего: разом – все, все слова последние, или никаких слов. Встреча началась с моего безусловного, на доверии, подчинения, с полного признания ее превосходства. Я сразу внутренно уступила ей все места, на которых мы когда-либо могли столкнуться. Так же естественно, как уступают место видению, привидению: ведь все равно пройдет насквозь.

Уже шестнадцати лет я поняла, что внушать стихи больше, чем писать стихи, больше «дар Божий», бóльшая богоизбранность, что не будь в мире «Ась» – не было бы в мире поэм.

Проще же говоря, я поступила, как все меня окружавшие мужские друзья: я просто в нее влюбилась, душевно ей предалась, со всей беззаветностью и бескорыстностью поэта.

Не хочешь ревности, обиды, равнения, ущерба – не тягайся – предайся, растворись всем, что в тебе растворимо, из оставшегося же создай видение, бессмертное. Вот мой завет какой-нибудь моей дальней преемнице, поэту, возникшему в *женском* образе.

Белого после его возвращения из Дорнаха я просто не помню. Помню только, что он сразу стал налетать на меня со всех лестниц Тео и Наркомпроса[79]: редких лестниц, ибо я присутственные места всегда огибала, редких, но всех. Два крыла, ореол кудрей, сияние.

– Вы? Вы? Вы? Как всегда приятно Вас видеть! Вы всегда улыбаетесь!

И обежав как цирковая лошадка по кругу, овеяв как птица шумом рассекаемого воздуха, оставляя в глазах сияние, в ушах и в волосах — веяние, — куда-то трещащими от машинок коридорами на бегу уже обвешиваемый слушателями, слушательницами. В такие минуты он напоминал советский перегруженный, не всегда безопасный трамвай.

Или, во Дворце Искусств (дом Ростовых на Поварской)[80] на зеленой лужайке. Что это? Воблу выдают? Нет, хвоста нет, и хвостов нет, что-то беспорядочнее и праздничнее и воблы вдохновительнее, ибо даже рыжебородый лежебок, поэт Рукавишников[81], встал и, руки в карманы, прислонился к березе.

Я, какой-то барышне: — Что это? — Борис Николаевич. — Лекцию читает? — Нет, слушает ничевоков[82]. — Ничего — что́? (Барышня, деловито:) — Это новое направление, группа. Они говорят, что ничего нет.

Подхожу. То есть как же *слушает,* когда говорит? Говорит не закрывая рта, а обступившие его молодые люди, эти самые ничевоки, только свои раскрыли. И, должно быть, давно говорит, потому что, вот, вытер с сияющего лба пот.

— Ничего: чего: черно. Ч — о, *ч* — чернота — *о* — *пустота:* zéro. Круг пустоты и черноты. Заметьте, что ч — само черно: *ч*: ночь, чорт, чара. Ничегоки... а *ки* — ваша множественность, заселенность этой черной дыры мелочью: чью, мелкой черной мелочью: меленькой, меленькой, меленькой... Ничегоки, это блохи в опустелом доме, из которого хозяева выехали на лето. А хозяева (подымая палец и медленно его устремляя в землю и следя за ним и заставляя всех следить) — выехали! Выбыли! Пустая дача: *ча,* и в ней ничего, и еще *ки,* ничего, разродившееся... *ки*... Дача! Не та бревенчатая дача в Сокольниках, а дача — дар, чей-то дар, и вот, русская литература *была* чьим-то таким даром, *дачей,* но... (палец к губам, таинственно) хо-зя-е-ва вы-е-ха-ли. И не осталось — ничего. Одно ничего осталось, поселилось. Но это еще не вся беда, совсем не беда, когда *одно* ничего, *оно* — ничего, *само* – ничего, беда, когда — *ки*... Ки, ведь это... кхи... При-шел сме-шок. При-тан-це-вал на тонких ножках сме-шок, кхи-шок. Кхи... И от всего осталось... кхи... От всего осталось не ничего, а кхи, хи... На черных ножках — блошки... И как они колются! Язвят! Как они неуязвимы... как вы неуязвимы, господа, в своем ничего-ше-стве! По краю черной дыры, проваленной дыры, где погребена русская литература (таинственно)... и еще что-то... на спичечных ножках — ничегошки. А детки ваши будут — ничегошеньки.

Блок оборвался, потому что Блок — *чего,* и если у Блока — черно, то это черно — *чего,* весь плюс черноты, чернота, как присутствие, наличность, данность. В комнате, из которой унесли свет — темно, но ночь, в которую ты вышел из комнаты, есть *сама* чернота, она.

...Не потому что от нее светло,
А потому что с ней — не надо света...[83]

С ночью — не надо света.

И Блок, не выйдя с лампой в ночь — мудрец, такой же мудрец, как Диоген, вышедший с фонарем — днем, в белый день — с фонарем. Один *света* прибавил, другой — тьмы. Блок, отдавши себя ночи, растворивший себя в ней — прав. Он к черноте прибавил, он ее сгустил, усугубил, углубил, учернил, он сделал ночь еще

черней — обогатил стихию... а вы — хи-хи? По краю, не срываясь, хи-хи-хи... Не платя — хи-хи... Сти — хи..?

...Но если вы *мне* скажете, что... — тогда я вам скажу, что... А если вы мне на это ответите, что... — я вам уже заранее объявляю, что... Заметьте, что — сейчас, в данную минуту, когда вы еще ничего не сказали.

«Не сказали»... А поди — скажи! Скажешь тут...

Но это не просто вдохновение словесное, это — танец. Барышня с таким же успехом могла бы сказать: — Это Белый übertanzt[84] ничевоков... Ровная лужайка, утыканная желтыми цветочками, стала ковриком под его ногами — и сквозь кружащегося, приподымающегося, вспархивающего, припадающего, уклоняющегося, вот-вот имеющего отделиться от земли — видение девушки с козочкой, на только что развернутом коврике, под двубашенным видением веков...

— Эсмеральда! Джали![85]

То с перил, то с кафедры, то с зеленой ладони вместе с ним улетавшей лужайки, всегда обступленный, всегда свободный, расступаться не нужно, ich überflieg euch![86] в вечном сопроводительном танце сюртучных фалд (пиджачных? все равно — сюртучных!), старинный, изящный, изысканный, птичий — смесь магистра с фокусником, в двойном, тройном, четвертном танце: смыслов, слов, сюртучных ласточкиных фалд, ног, — о, не ног! — всего тела, всей второй души, еще — души своего тела, с отдельной жизнью своей дирижерской спины, за которой — в два крыла, в две восходящих лестницы оркестр бесплотных ду́хов...

— о, таким тебя видели все, от швейцарского тайновидца[87] до цоссенской хозяйки[88], о, таким ты останешься, пребудешь, легкий дух, одинокий друг!

Прелесть — вот тебе слово: прельститель, и, как все говорят, впрочем, с нежнейшей улыбкой — предатель! О, в высоком смысле, как все — здесь, заведет тебя в дебри, занесет за облака и там, одного, внезапно уклонившись, нырнув в соседнюю смежную родную бездну — бросит: задумается, воззрится, забудет тебя, которого только что, с мольбой и надеждой (— Мы никогда не расстанемся? Мы никогда не расстанемся?) звал своим лучшим другом.

Не верь, не верь поэту, дева,
Его своим ты не зови...[89]

О, не только «дева», — дева — что́! а лучший друг, потому, что у поэта над самым лучшим другом — друг еще лучший, еще ближайший, которому он не изменит никогда и ради которого изменит всем, которому он предан — не в перево́дном смысле верности, а в первичном страшном страдательном *преданности:* кем-нибудь комунибудь в руки: предан — как продан, предан — как пригвожден.

— Бисер перед свиньями... — шепчет милая человечная поэтесса Ада Чумаченко[90], тамошняя служащая, — я и то расстраиваюсь, когда он передо *мной* начинает... Стыдно... Точно — разбрасывает, а я подбираю...

— А эти не расстраиваются.

— Потому что не понимают, кто — он.

— И кто — они.

Но кроме Ады Чумаченки, да меня, случайной редкой гостьи, не смевшей и близко подойти, да такого же редкого и робкого гостя Бориса Пастернака — ни-

кто Белого не жалел, о нем не болел, все его использовывали, лениво, вяло, как сытые кошки сливки — подлизывали, полизывали, иные даже полеживая на лужку, беловский жемчуг прикарманивая — лёжа.

— Чтó это? — Да опять Белый из себя выходит.

Не входя в вас. Ибо когда наше входит, доходит, растраты нет, пустоты нет — есть разгрузка и пополнение, обмен, общение, взаимопроникновение, гармония.

А так...

Бедный, бедный, бедный Белый, из «Дворцов Искусств» шедший домой, в грязную нору, с дубящим топором справа, визжащей пилой слева, сапожищами над головой и грязищей под ногами, в то ужасное одиночество совместности, столь обратное благословенному уединению.

В 1921 г., вскоре после смерти Блока, в мою последнюю советскую зиму я подружилась с последними друзьями Блока, Коганами[91], им и ею. Коган недавно умер, и если я раньше не сказала всего того доброго, что о нем знаю и к нему чувствую, то только потому, что не пришлось.

П.С. Коган ни поэтов, ни стихов не понимал, но любил и чтил и делал для тех и других, чтó мог: и тех, и других — устраивал. И между пониманием, пальцем не шевелящим, и непониманием, руками и ногами помогающим (да, и ногами, ибо в те годы, чтобы устроить человека — ходили!), каждый поэт и вся поэзия, конечно, выберет непонимание.

Восхищаться стихами — и не помочь поэту! Пить воду и давать источнику засоряться грязью, не вызволить его из земной тины, смотреть руки сложа и даже любуясь его «поэтичной» зеленью. Слушать Белого и не пойти ему вслед, не затопить ему печь, не вымести ему сор, не отблагодарить его за то, что он — *есть*. Если я не шла вслед, то только потому же, почему и близко подойти не смела: по устоявшему благоговению моих четырнадцати лет. Помочь ведь тоже — посметь. И еще потому, что как-то с рождения решила (и тем, может быть, в своей жизни и предрешила), что все места возле несчастного величия, все бертрановские посты преданности[92] уже заняты. От священной робости — помехи.

— А еще писатель, большой человек, скандал!.. — вяло, без малейшей интонации негодования, надрывается Петр Семенович Коган, ероша и волосы, и усы (одни у него ввысь, другие вниз).

— Кто? Что?

— Да Белый. Настоящий скандал. Думали — доклад о Блоке, литературные воспоминания, оценка. И вдруг: — С голоду! С голоду! С голоду! Голодная подагра, как бывает — сытая! *Душевная* астма![93]

— Вы же сами посылали Блоку мороженую картошку из Москвы в Петербург.

— Но я об этом не кричу. Не время. Но это еще не все. И вдруг — с Блока — на себя. «У меня нет комнаты! Я — писатель русской земли (так и сказал!), а у меня нет камня, где бы я мог преклонить свою голову, то есть именно камень, камень — есть, но — позвольте — мы не в каменной Галилее, мы в революционной Москве, где писателю *должно* быть оказано содействие. Я написал Петербург! Я провидел крушение Царской России, я видел во сне конец Царя, в 1905 еще году видел, — слева пила, справа топор...»

Я: — Такой сон?

Коган, с гримасой: — Да нет же! Это уже не сон, это у *него* рядом: один пилит, другой рубит. «Я не могу писать! Это позор! Я должен стоять в очереди за воблой! Я писать хочу! Но я и есть хочу! Я — *не* дух! Вам я не дух! Я хочу есть на чистой тарелке, селедку на *мелкой* тарелке, и чтобы не я ее мыл. Я заслужил! Я с детства работал! Я вижу здесь же в зале лентяев, дармоедов (так и сказал!), у которых по две, по три комнаты — под различными предлогами, да: по комнате на предлог — да, и они ничего не пишут, только подписывают. Спекулянтов! Паразитов! А я — пролетариат: Lumpenproletariat! Потому что на мне лохмотья. Потому что уморили Блока и меня хотят! Я не дамся! Я буду кричать, пока меня услышат: А—а—а—а!» Бледный, красный, пот градом, и такие страшные глаза, еще страшнее, чем всегда, видно, что ничего не видят. А еще — интеллигент, культурный человек, серьезный писатель. Вот так почтил память вставанием...

— А по вашему — все это неправда?

— Правда, конечно. Должна быть у него комната, во-первых — потому что у всех должна быть, во-вторых — потому что он писатель, и *нам* писатель не враждебный. И, вообще, мы всячески... Но нельзя же — та́к. Вслух. Криком. При всех. Точно на эшафоте перед казнью. И если Блок действительно умер от последствий недоедания, то — кто же его ближе знал, чем я? — только потому, что был *настоящий* великий человек, скромный, о себе не только не кричал, но погнали его разгружать баржу — пошел, себя не назвал. Это — действительно величие.

— Но так ведь может не остаться писателей...

— И это — верно. Писатели нужны. И не только общественные. Вы, может быть, удивитесь, что это слышите от старого убежденного марксиста, но я, например, сам люблю поваляться на диване и почитать Бальмонта — потребность в красоте есть и у нас, и она, с улучшением экономического положения, все будет расти — и потребность, и красота... Писатели нужны, и мы для них все готовы сделать — дали же вам паек и берем же вашу Царь-Девицу[94] — но при условии — как бы сказать? — сдержанности. Как же теперь, после происшедшего, дать ему комнату? Ведь выйдет, что мы его... испугались?

— Дадите?

— Дадим, конечно. Свою бы отдал, чтобы только не произошло — то, что произошло. За него неприятно: подумают — эгоист. А я ведь знаю, что это не эгоизм, что он из-за Блока себе комнаты требует, во имя Блока, *Блоку — комнату*, Блока любя — и нас любя (потому что он нас все-таки как-то чем-то любит — как и вы) — чтобы опять чего-нибудь не произошло, за что бы нам пришлось отвечать. Но, позвольте, не можем же мы допустить, чтобы писатели на нас... кричали? Это уж (с добрым вопросительным выражением близоруких глаз)... слишком?

Жилье Белому устроил мгновенно, и не страха людского ради, а страха Божия, из уважения к человеку, а также и потому, что вдруг как-то особенно ясно понял, что писателю комната — нужна. Хороший был человек, сердечный человек. Все мог понять и принять — всякое сумасбродство поэта и всякое темнейшее место поэмы, — только ему нужно было хорошо объяснить. Но шуток он не понимал. Когда на одной его вечеринке — праздновали его свежее университетское ректорство[95] — жена одного писателя[96], с размаху хлопнув его не то по плечу, не то по животу (хлопала *кого* попало, *куда* попало — и *всегда* попадало) — «Да ну их всех, П.С., пускай их домой едут, если спать хотят. А мы с вами здесь — а? — вдвоем — такое разделаем — наедине-то! А?» — он, не поняв шутки: «С удовольствием, но я,

собственно, нынче ночью должен еще работать, статью кончать...» На что она: «А уж испугался! Эх ты, Иосиф Прекрасный[97], хотя ты и Петр, Семенов сын. А все-таки — а, Маринушка? — хороший он, наш Петр Семенович-то? Красавец бы мужчина, если бы не очки, а? И тебе нравится? Впрочем, все они хорошие. Плохих — нет...»

С чем он, ввиду гуманности вывода, а главное поняв, что — пронесло, почтительно и радостно согласился...

Ныне, двенадцать лет спустя, не могу без благодарности вспомнить этого очкастого и усатого ангела-хранителя писателей, ходатая по их земным делам. Когда буду когда-нибудь рассказывать о Блоке[98], вспомяну его еще.

Это был мой последний московский заочный Белый, изустный Белый, как ни упрощаемый — всегда узнаваемый. Белый легенды, длившейся 1908 г. — 1922 г. — четырнадцать лет.

Теперь — наша встреча.

II
ВСТРЕЧА

(Geister auf dem Gange)
Drinnen gefangen ist Einer![99]

Берлин[100]. Pragerdiele на Pragerplatz'е. Столик Эренбурга, обрастающий знакомыми и незнакомыми. Оживление издателей, окрыление писателей. Обмен гонорарами и рукописями. (Страх, что и то, и другое скоро падет в цене.) Сижу частью круга, окружающего.

И вдруг через все — через всех — протянутые руки — кудри — сияние:

— Вы? Вы? (Он так и не знал, как меня зовут.) Здесь? Как я счастлив! Давно приехали? Навсегда приехали? А за Вами, по дороге, не следили? Не было такого... (скашивает глаза)... брюнета[101]? Продвижения за вами брюнета по вагонному ущелью, по вокзальным сталактитовым пространствам... Пристукиванья тросточкой... не было? Заглядывания в купэ: «виноват, ошибся!» И через час опять «виноват», а на третий раз уж Вы — ему: «Виноваты: ошиблись!» Нет? Не было? Вы... хорошо помните, что не было?

— Я очень близорука.

— А он в очках. Да-с. В том-то и суть, что Вы, которая не видит, без очков, а он, который видит, — в очках. Угадываете?

— Значит, он тоже ничего не видит.

— Видит. Ибо стекла не для видения, а для видоизменения... видимости. Простые. Или даже — пустые. Вы понимаете этот ужас: пустые стекла, нечаянно ткнешь пальцем — и теплый глаз, как только что очищенное, облупленное подрагивающее крутое яйцо. И такими глазами — вкрутую сваренными — он осмеливается глядеть в ваши: ясные, светлые, с живым зрачком. Удивительной чистоты цвет. Где я такие видел? Когда?

...Почему мы с Вами так мало встречались в Москве, так мимолетно? Я все детство о Вас слышал, все *Ваше* детство, конечно, — но Вы были невидимы. Все Ваше

детство я слышал о Вас. У нас с Вами был общий друг: Эллис, он мне всегда рассказывал о Вас и о Вашей сестре — Асе: Марине и Асе. Но в последнюю минуту, когда нужно было вдвоем идти к Вам, он — уклонялся.

— А мы с Асей так мечтали когда-нибудь Вас увидеть! И как мы были счастливы *тогда,* в «Доне», когда случайно...

— Вы? Вы? Это были — Вы! Неужели та — Вы? Но где же тот румянец?! Я тогда так залюбовался! Восхитился! Самая румяная и серьезная девочка на свете. Я тогда всем рассказывал: — Я сегодня видел самую румяную и серьезную девочку на свете!

— Еще бы! Мороз, владимирская кровь — и Вы!

— А Вы... владимирская?[102] (Интонация: из Рюриковичей?) Из тех лесов дремучи-их?

— Мало, из тех лесов! А еще из города Тарусы Калужской губернии, где на каждой могиле серебряный голубь. Хлыстовское гнездо — Таруса[103].

— Таруса? Родная! («Таруса» он произнес как бы «Маруся», а «родную» нам с Тарусой пришлось поделить.) Ведь с Тарусы и начался Серебряный Голубь[104]. С рассказов Сережи Соловьева — про те могилы...

(Наш стол уже давно опустел, растолкнутый явным лиризмом встречи: скукой ее чистоты. Теперь, при двукратном упоминании *могил,* уходит и последний.)

— Так Вы — родная? Я всегда знал, что Вы родная. Вы — дочь профессора Цветаева[105]. А я — сын профессора Бугаева. *Вы* – дочь профессора, и *я* сын профессора. Вы — дочь, я — сын.

Сраженная неопровержимостью, молчу.

— Мы — профессорские дети. Вы понимаете, что́ это значит: профессорские дети? Это ведь целый круг, целое Credo. (Углубляющая пауза.) Вы не можете понять, как Вы меня обрадовали. Я ведь всю жизнь, не знаю почему, *один* был профессорский сын, и это на мне было, как клеймо, — о, я ничего не хочу дурного сказать о профессорах, я иногда думаю, что я сам профессор, самый настоящий профессор — но, все-таки одиноко? schicksalschwer[106]? Если уж непременно нужно быть чьим-то сыном, я бы предпочел, как Андерсен, быть сыном гробовщика[107]. Или наборщика... Честное слово. Чистота и уют ремесла. Вы этого не ощущаете клеймом? Нет, конечно, вы же — дочь. Вы не несете на себе тяжести преемственности. Вы — просто вышли замуж, сразу замуж — да. А сын может только жениться, и это совсем не то, тогда его жена — жена сына профессора Бугаева. (Шепотом: А бугай, это — бык.) И, уже громко, с обворожительной улыбкой: — Производитель.

Но оставим *профессорских* детей, оставим только одних *детей*. Мы с вами, как оказалось, дети (вызывающе:) — все равно чьи! И наши отцы — умерли. Мы с вами — сироты, и — Вы ведь тоже пишете стихи? — сироты и поэты. Вот! И какое счастье, что это за одним столом, что мы можем оба заказать кофе и что нам обоим дадут — тот же самый, из одного кофейника, в две одинаковых чашки. Ведь это роднит? Это уже — связь?? (Не удивляйтесь: я очень одинок, и мне грозит страшная, страшная, страшная беда. Я — под ударом[108].) Вы ведь могли оказаться — в Сибири? А я — в Сербии. Есть еще такое простое счастье.

На другое утро издатель, живший в том же пансионе и у которого ночевал Белый, когда запаздывал в свой за-город, передал мне большой песочный конверт с императивным латинским Б (В), надписанный вершковыми буквами, от величины казавшимися нарисованными.

– Белый уехал. Я дал ему на́-ночь Вашу «Разлуку»[109]. Он всю ночь читал и страшно взволновался. Просил вам передать.

Читаю:

Zossen 16 мая 22 г.

Глубокоуважаемая Марина Ивановна.

Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед* совершенно крылатой мелодией Вашей книги «Разлука».

Я весь вечер читаю – почти вслух; и – почти распеваю. Давно я не имел такого эстетического наслаждения.

А в отношении к *мелодике* стиха, столь нужной после расхлябанности Москвичей и мертвенности Акмеистов, – Ваша книга *первая* (это – безусловно).

Пишу – и спрашиваю себя, не переоцениваю ли я свое впечатление? Не приснилась ли мне Мелодия?

И – нет, нет; я с большой скукой развертываю все новые книги стихов. Со скукой развернул и сегодня «Разлуку». И вот – весь вечер под властью чар ее. Простите за неподдельное выражение моего восхищения и примите уверения в совершенном уважении и преданности.

Борис Бугаев.

Письмо это написано такой величины буквами, что каждый из тех немногих, которым я после беловской смерти его показывала: – «Так не пишут. Это письмо сумасшедшего». Нет, не сумасшедшего, а человека, желающего остаться в границах, величиной букв занять все то место, оставшееся бы безмерности и беспредметности, во-вторых же, внешней вескостью выявить вескость внутреннюю. Так ребенок, например, в обычном тексте письма, вдруг, до сустава обмакнув и от плеча нажав: «Мама, я *очень* вырос!» Или: «Мама, я *страшно* тебя люблю». Так-то, господа, мы в поэте объявляем сумасшествием вещи самые разумные, первичные и законные.

Я сразу ответила – про мелодию. Помню образ реки, несущей на хребте – всё. Именно на хребте, мощном и гибком хребте реки: рыбы, русалки. Реку, данную в образе пловца, расталкивающего плечами берега, плечами пролагающего себе русло, движением создающего течение. Мелодию – в образе этой реки. Он ответил – письма этого у меня здесь нет, мне – письмом, себе-самому статьей (в «Днях», кажется) о моей «Разлуке»[110]. Помню, что трех четвертей статьи я не поняла, а именно всего ритмического исследования, всех его доказательств. Вечером опять встретились.

– Вы прочли? Не очень неграмотно?

– Так грамотно, что я не поняла.

– Значит, плохо.

– Значит, я – неграмотная. Я, честное слово, никогда не могла понять, когда мне пытались объяснить, что́ я делаю. Просто, сразу теряю связь, как в геометрии. «Понимаете?» – «Понимаю», – и только один страх, как бы не начали проверять. Если бы для писания пришлось понимать, я бы никогда ничего не смогла. Просто от страху.

* «перед» вставлено потом (прим. М. Цветаевой).

— Значит, Вы — чудо? Настоящее чудо поэта? И это дается — мне? За что? Вы знаете, что Ваша книга изумительна, что у меня от нее физическое сердцебиение. Вы знаете, что это не книга, а песня: голос, самый чистый из всех, которые я когда-либо слышал. Голос само́й тоски: Sehnsucht[111]. (Я должен, я должен, я должен написать об этом исследование!) Ведь — никакого искусства, и рифмы в конце концов бедные... Руки — разлуки — кто не рифмовал? Ведь каждый... ублюдок лучше срифмует... Но разве дело в этом? Как же я мог до сих пор вас *не* знать? Ибо я должен Вам признаться, что я до сих пор, до той ночи, не читал ни одной Вашей строки. Скучно — читать. Ведь веры нет в стихи. Изолгались стихи. Стихи изолгались или поэты? Когда стали их писать без нужды, они сказали нет. Когда стали их писать, составлять, они уклонились.

Я *никогда* не читаю стихов. И *никогда* их уже не пишу. Раз в три года — разве это поэт? Стихи должны быть единственной возможностью выражения и постоянной насущной потребностью, человек должен быть на стихи обречен, как волк на вой. Тогда — поэт. А Вы, Вы — птица! Вы поете! Вы во мне каждой строкой поете, я пою Вас дальше, Вы во мне поете дальше, я Вас остановить в себе не могу. С *этого* уже два дня прошло... Думал — разделаюсь письмом, статьей — нет! И боюсь (хотя не надо этого бояться), что теперь скоро сам...

Статьей и устной хвалой не ограничился. Измученный, ничего для себя не умеющий, сам, без всякой моей просьбы устроил две моих рукописи: «Царь-Девицу» в Эпоху и «Версты» в Огоньки[112], подробно оговорив все мои права и преимущества. Для себя не умеющий — для другого смог. С смущенной и все же удовлетворенной улыбкой (а глаза у него все-таки были самые неверные, в которые я когда-либо глядела, гляделась):

— Вы меня простите, это Вас ни к чему не обязывает, но я подумал, это, может быть, так — проще, что другому, со стороны — легче... Не примите это за вмешательство в Вашу личную жизнь...

Такого другого, с той стороны, с которой — легче, всей той стороны, с которой легче — у Белого в жизни не оказалось.

Так мы опять просидели до́-темна. Так он опять пропустил свой последний поезд, и на этот раз с утра в дверную щель (влезал всегда, как зверь, головой, причем глядел не на вас, а вкось, точно чего-то на стене или на полу ища или опасаясь), итак, в дверную щель его робкое сияющее лицо в рассеянии серебрящихся волос. (И, вдруг, озарение: да ведь он сам был серебряный голубь, хлыстовский, грозный, но все же робкий, но все же голубь, серебряный голубь. А ко мне приручился потому, что я его не пугала — и не боялась.)

— Встали? Кофе пили? Можно еще раз вместе? Хорошо? — И захватывая в один круговой взгляд: балконную синь, лужу солнца на полу, собственный букет на столе, серый с ремнями чемодан, меня в синем платье:

— Хорошо? (Все.)

В одну из таких ночевок, на этот раз решенную заранее (зачем уезжать, когда с утра опять приезжать? и зачем бояться пропустить последний поезд, на котором все равно не поедешь?), бедный Белый сильно пострадал от моей восьмилетней дочери и пятилетнего сына издателя, объединившихся. Гадкие дети догадались, что с Белым можно то, чего нельзя ни с кем, потому что сам он с ними таков, как

никто, потихоньку, никому не сказав, положили ему в постель всех своих резиновых зверей, наполненных водой. Утром к столу Белый с видом настоящего Победоносца. У детей лица вытягиваются. И Белый, радостно:

— Нашел! Нашел! Обнаружил, ложась, и выбросил — полными. Я на них *не* лег, я только чего-то толстого и холодного... коснулся... Какого-то... живота. (Шепотом:) Это был живот свиньи.

Сын издателя: — Моя свинья. — Ваша? И вы ее... любите? Вы в нее... играете? Вы ее... берете в руки? (Уже осуждающе:) Вы можете взять ее в руки: холодную, вялую, трясущуюся, или еще хуже: страшную, раздутую? Это называется... играть? Что же Вы с ней делаете, когда вы в нее играете?

Ошеломленный «Вы», выкатив чудные карие глаза, явно и спешно *глотает.* Белый, оторвав от него невидящие (свиным видением заполненные) глаза и скосив их в пол, как Георгий на дракона, со страхом и угрозой:

— Я... не люблю свинью... Я — боюсь свинью!..

Этим **ю** как перстом или даже копьем упираясь в свинорыльный пятак.

Перерыв, который лучше всего бы заполнить графически — тирэ; уезжал, писал, тосковал, — не знаю. Просто пропал на неделю или десять дней. И вдруг возник, днем, в кафэ Pragerdiele. Я сидела с одним писателем и двумя издателями, столик был крохотный и весь загроможденный посудой и локтями, и еще рукописями, и еще рукопожатиями непрерывно подходящих и здоровающихся. И вдруг — две руки. Через головы и чашки и локти две руки, хватающие мои. — Вы! Я по Вас соскучился! Стосковался! Я все время чувствовал, что мне чего-то не хватает, главного не хватает, только не мог догадаться, как курильщик, который забыл, что *можно* курить, и, не зная *чего,* все время ищет: перемещает предметы, заглядывает под вешалку, под бювар...

Кто-то ставит стул, расчищает стол. — Нет, нет, я хочу рядом с... ней. Голубушка, родная, я — погибший человек! Вы, конечно, *знаете?* Все — уже знают! И все знают, почему, а я — нет! Но не надо об этом, не спрашивайте, дайте мне просто быть счастливым. Потому что сейчас я — счастлив, потому что от нее — всегда сияние. Господа, вы видите, что от нее идет сияние?

Писатель вытряс трубку, один издатель полупоклонился в мою сторону, а другой, Белого отечески любивший и опекавший, отчетливо сказал:

— Конечно, видим все.

— Сияние и успокоение. Мне с ней сразу спокойно, покойно. Мне даже сейчас, вот, внезапно захотелось спать, я бы мог сейчас заснуть. А ведь это, господа, высшее доверие спать при человеке. Еще большее, чем раздеться до-нага. Потому что спящий — сугубо-наг: весь обнажен вражде и суду. Потому что спящего — так легко убить! Так — соблазнительно убить! (В себе, в себе, в себе убить, в себе уничтожить, развенчать, изобличать, поймать с поличным, заклеймить, закатать в Сибирь!)

Кто-то:

— Борис Николаевич, Вам, может быть, кофе?

— Да. Потому что на лбу у спящего, как тени облаков, проходят самые тайные мысли. Глядящий на спящего читает тайну. Потому так страшно спать при человеке. Я совсем не могу спать при другом. Иногда, в России (оборот головы на Россию), я этим страшно мучился, среди ночи вставал и уходил. Заснешь, а тот про-

снется — и взглянет. Слишком пристально посмотрит — и сглазит. Даже не от зла, просто — от глаз. Я больше всего боялся, когда ехал из России, что очнусь — под взглядом. Я просто боялся спать, старался не спать, стоял в коридоре и глядел на звезды... (К одному из издателей:) — Вы говорите во сне? Я — кричу...

...А при ней — могу... Она на меня наводит сон. Я буду спать, спать, спать. Ну дайте Вашу руку, ну, дайте мне руку и не берите обратно, совершенно все равно, что они все здесь...

Смущенная, все ж руку даю, обратно не беру, улыбкой на шутку не свожу, на окружающие улыбки — не иду. И он, должно быть, по напряженности моей руки, внезапно поняв: — Простите! Я, может быть, не так себя вел. Я ведь отлично знаю, что нельзя среди бела дня, в кафэ, говорить вещи — раз навсегда! Но я — всегда в кафэ! Я — обречен на кафэ! Я, как беспризорный пес, шляюсь по чужим местам. У меня нет дома, своего места. (*Будка* есть, но я *не* пес!) Я всегда должен пить кофе... или пиво... эту гадость!.. весь день что-то пить, маленькими порциями, и потом звенеть ложкой о кружку или чашку и вынимать бумажку... Не может человек *весь* день пить! Вот опять кофе... Я *должен* его выпить, а я *не хочу*: я не бегемот, наконец, чтобы весь день глотать, с утра до вечера и даже ночью, потому что в Берлине ночи нет. Родная! Голубушка! Уйдем отсюда, пусть они сами пьют...

Не забыв заплатить за кофе (таких вещей не забывал никогда), выводит меня, почти бегом, но никогда и ничего не задев, за руку между столиками.

— Теперь куда? Хотите — просто к Вам? Но у вас дочь, обязанности... А нельзя же, чтобы маленькая девочка *сейчас* знала, как поступит через двадцать лет, когда человек отдаст ей всю свою жизнь, а она на нее наступит... хуже! Перешагнет — как через лужу.

...Как чист Берлин! Я иногда устаю от его чистоты... Хотите просто ходить? Но ходить это ведь (лукаво) *заходить:* и опять *пить,* а я от *этого* бегу...

— Можно просто на скамейку.

— А вы знаете такую скамейку? Без глаз? Потому что, если даже шутцман — как это у них издевательски: муж защиты![113] — если даже такой муж защиты, так мало похожий на человека, так сильно похожий на столб — вдруг вперит, нет, вопрёт, свое око, не обернув головы: только око, оловянное око — как, знаете, были в детстве такие приманки в кофейных витринах, на Неглинной: неподвижная рожа, с вращающимися глазами. Точно *прозревший* голландский сыр... Я в детстве так боялся. Мамочка думала развлечь, а я из деликатности делал вид — устарелое слово «деликатность» — из деликатности, говорю, делал вид, что страшно весело, а сам дрожал, дрожал... Рожа не двигается, а глаза вот так, вот так, ни разу — эдак. Как я тогда молча молил: — Сломайся!

Значит, вы знаете такую скамейку? Как на Никитском бульваре, подойдет собака, погладишь, опять уйдет... Желтая, с желтыми глазами...[114] Здесь нет такой собаки, я уже смотрел, здесь все — чьи-нибудь, всё — чье-нибудь, здесь только люди — ничьи, а может быть, я один — ничей? Потому что самое главное — быть *чьим,* о, чьим бы ни было! Мне совершенно все равно — Вам тоже? — *чей* я, лишь бы тот знал, что я — *его,* лишь бы меня не «забыл», как я в кафэ забываю палку. Я тогда бы и кафэ любил. Вот Икс, Игрек, все, что с нами сидят, ведь у них, кроме нас, есть еще что-то — неважно, что́ у них есть (и неважно, что у *них* — есть), но каждый из них *чей-то,* принадлежность. Они могут идти в кафэ, потому что

могут из него уйти не в кафэ... В кафэ — все Вам это уже рассказали, а теперь я скажу — три дня назад кончилась *моя жизнь*[115].

– Но вы где-то всё-таки...

— По-ка-жу. Сами увидите, что это за «где-то» и какое это «все-таки». Именно — все-таки. Вы гениально сказали: все-таки. О, я бы Вас сейчас с собой повез, нно... это ужасно далёко: сначала на трамвае, потом по железной дороге, и гораздо дольше и дальше, это уже за краем всех... возможностей. Это — без адреса... Удивительно, что туда доходят письма, *Ваши* письма, потому что *другие* – вполне естественно, нельзя более естественно. По существу, туда бы должны доходить только одни счета — за шляпу в английском магазине «Жак» двадцать лет назад или за мою будущую могилу на Ваганькове...[116]

А знаете? Мы туда возьмем *дочь*, Вы приедете с ней, мы будем втроем, ребенок — это всегда имманентность мгновению, это разгоняет всякие видения...

— А теперь я поеду, нет, нет, не провожайте, я Вас уже измучил, я Вам бесконечно благодарен... Видите? *Наш* трамвай!

Привычным движением — сына, отродясь подсаживавшего мать в карету — подсаживает. Вскакивает следом. Стоим на летящей площадке, плечо к плечу. Беря мою руку:

— Я больше всего на свете хотел бы сейчас положить Вам голову на плечо... И спать стоя. Лошади стоя ведь спят.

Перед зданием вокзала, отпустив наконец руку (держал ее все время у сердца, вжимал в него):

— Нет. Сегодня — нет. Я ведь знаю, сколько я беру сил. Берегите на когда совсем задохнусь. Сейчас я — счастлив, совсем успокоен. Приеду домой и буду писать Вам письмо.

— Как Белый сегодня к Вам кинулся! Ведь — на глазах загорелся! Это был настоящий coup de foudre[117]! — сказал мне за ужином издатель.

— Человек, громом пораженный, может упасть и на человека, — был мой ответ.

Coup de foudre? Нет. Не так они происходят. Это было общение с моим покоем, основным здоровьем, всей моей неизбывной жизненностью. Больше — ничего. Но такая малость в такие минуты — много. Всё.

А минута была тяжелая. Полный перелом хребта.

Держа в руках подробнейший трогательнейший рукописный и рисованый маршрут — в мужчинах того поколения всегда было что-то отеческое, старинный страх, что заблудимся, испугаемся, где-нибудь на повороте будем сидеть и плакать, — маршрут мало в стрелках и в крестиках, но с трамваями в виде трамваев, с нарисованным вокзалом и, уж конечно, собственным, как дети рисуют, домиком: вот дом, вот труба, вот дым идет из трубы, а вот я стою. —

— Я бы с величайшим счастьем сам за Вами заехал и довез бы, но — Вы не сердитесь, я знаю, что это бессовестнейший готтентотский эгоизм[118] — мне так хочется завидеть Вас издали, синей точкой на белом шоссэ — так хорошо, что Вы носите синее, какая в этом благость! — сначала точкой синей, потом тенью синей, такой же синей, как Ваша собственная, Вашей же тенью, длинной утренней тенью, вставшей с земли и на меня идущей... Знаете, синяя тень, напоенная небесной лазурью...

— Золото в лазури![119] — по ассоциации говорю я. Он, хватая мою руку: — Вы не знаете, чтó Вы сейчас сказали! Вы — назвали. Я об этом все время думаю — и боюсь. Боюсь — начать. Боюсь — все выйдет по другому... Для них — «переиздать»... Для них — «стихи». Но теперь, когда Вы это слово сказали, я начну... Я со всем усердием примусь, это будет Ваша лазурь.

...Выйдя с вокзала — прямо, потом (переводя меня через нарисованный шлях) перейти шоссэ (умоляюще:) только раз перейти! Не сердитесь, не сердитесь, родная! Но мне так безумно хочется Вас ждать, вас *наверное* ждать. Завидеть Вас издали, в синем платье, ведущей *дочь* зá-руку...

Не отрываясь от маршрута, тщательностью которого больше смущена, чем просвещена: столько нарисовал и написал, так крестиками и стрелками путь к себе заставил, что, кажется, добраться невозможно; устрашенная силой его ожидания — когда *так* ждут, всегда что-нибудь случается, ясно сознавая, что дело не во мне, а в моей синеве — сначала еду, потом еще еду, а затем, наконец, иду, держа дочь за руку, по тому белому шоссэ, на котором должна возникнуть синей тенью.

Пустынно. Неуют новорожденного поселка. Новосотворенного, а не рожденного. Весь неуют муниципальной преднамеренности. Была равнина, решили — стройтесь. И построились, как солдаты. Дома одинаковые, заселенно-нежилые. Постройки, а не дома. Сюда можно приезжать и отсюда можно — нужно! — уезжать, *жить* здесь нельзя. И странное население. Странное, во-первых, чернотою; в такую жару — все в черном. (Впрочем, эту же черноту отметила уже в вагоне, и слезла она вся на моей станции.) В черном суконном, душном, непродышанном. То и дело обгоняют повозки с очень краснолицыми господами в цилиндрах и такими же краснолицыми дамами, очень толстыми, с букетами — и, кажется, венками? — на толстых животах. Цветы — лиловые.

Наконец — дом, все тот же первый увиденный и сопровождавший нас слева и справа вдоль всего шоссэ. Барак, а не дом. Между насестом и будкой. С крыльцом. А на крыльце, с крыльца:

— Вы? Вы? Родная! Родная!

Ведет вверх по новейшей и отзывчивейшей лесенке, явно для пожара — уж и спички готовы: перила! — вводит в совершенно голую комнату с белым некрашеным столом посредине, усаживает.

— Как Вам здесь нравится? Мне... не нравится. Не знаю почему, но не нравится... Не понравилось сразу, как вошел... Уже когда ехал — не понравилось... Говорили, у Берлина чудные окрестности... Я ждал... вроде Звенигорода... А здесь... как-то... голо? Вы заметили деревья? (Не заметила никаких, ибо нельзя же счесть деревьями тончайшие прутья, обнесенные толстенными решетками.) Без тени! Это человек был без тени — в каком-то немецком предании[120], но это был — человек, деревья — обязаны отбрасывать тень! И птицы не поют — понятно: в таких деревьях! У меня в Москве по утрам — всегда пели, даже в двадцатом году — пели, даже в больнице — пели, даже в тифу — пели...

И население противное. Подозрительно-тихое. Ступают, точно на войлочных подошвах. Вы не заметили? И — может быть, это под Берлином мода такая? — все в черном, ни одного даже коричневого и серого, все черное, даже женщины — в черном.

(Я, мысленно: «А, милый, вот откуда твоя страсть к моей синеве!»)

— А мебель — белая, и пахнет свежим тесом. В этом что-то (отрясаясь)... зловещее? Может быть, это какой-нибудь *особенный* поселок?

Я, быстро отводя:

— Нет, нет, после войны — везде так.

Он, явно облегченно: — Ах! Значит — вдовы и вдовцы! Отдельный поселок для вдов и вдовцов... Как это по немецки... по прусски... И как по немецки, что они не догадаются пережениться и одеться во что-нибудь другое... Теперь я понимаю и венки, это обилие венков и букетов — совершенно необъяснимое при отсутствии цветов, — потому что цветов, Вы заметили, нет, потому что — садов нет, только сухие дворы. Здесь, наверное, где-нибудь близко кладбище? Гигантское кладбище! Они просто построились на кладбище, теперь я понимаю однородность построек... Но вот что изумительно: вид у них, при всем их вдовстве, цветущий, я нигде не видал таких красных лиц... Впрочем, понятно: постоянные поминки... Как с кладбища, так поминать — сосисками и пивом, помянули — опять на кладбище! Но так ведь поправиться можно! Ожирение сердца нажить — с тоски!

Теперь я и цилиндры понимаю. Когда он идет на могилу к жене, он надевает цилиндр, который перед могилой снимает, — в этом жесте весь обряд. Но, знаете, странно, *они* на могилу ездят целыми фурами, фургонами... Вы таковых не встречали? Полные фургоны черных людей... Немецкий корпорационный дух: и слезы вместе, и расходы вместе... Вдовье место, вдовцово место, противное место...

И слово не нравится: Zossen. Острое и какое-то плоское, точно клецка.

Простите, что я Вас сюда позвал!

Но мы ведь ничем не связаны? (наклоняясь к моему уху:) Мы ведь можем уехать? Сначала — посидеть, а потом — уехать? Провести чудный день?

Я только что сам приехал. Вы знаете, ведь я вчера *туда* – сюда! — не поехал, я тотчас же свернул Вам вслед, следующим же трамваем — в Pragerdiele, но... устыдился... Весь вечер ходил по кафэ и в одном встретил (называет язвящее его имя)[121]. Что вы об этом думаете? Может она его любить?

Я, твердо: — Нет.

— Не правда ли: нет? Так что же все это значит? Инсценировка? Чтобы сделать больно — мне? Но ведь она же меня *не* любит, зачем же ей тогда мне делать больно? Но ведь это же прежде всего — делать больно себе. Вы его знаете?

Рассказываю.

— Значит, неплохой человек... Я пробовал читать его стихи, но... ничего не чувствую: слова. Может быть, я — устарел? Я очень усердно читал, всячески пытался что-нибудь вычитать, почувствовать, обрести. Так мне было бы легче.

...Можно любить и совершенно даже естественно полюбить после писателя человека совсем простого, дикаря... Но этот дикарь не должен писать теоретических стихов!

(Взрывом) О, вы не знаете, как она зла! Вы думаете — *он* ей нужен, дикарь ей нужен, ей, которой (отлет головы)... тысячелетия... Ей нужно (шепотом) ранить меня в самое сердце, ей нужно было *убить* прошлое, убить себя — ту, сделать, чтобы *той* — никогда не было. Это — месть. Месть, которую оценил я один. Потому что для других это просто увлечение. Так... естественно. После сорокалетнего лысеющего нелепого — двадцатилетний черноволосый, с кинжалом и так далее...[122] Ну, влюбилась и забылась: разбила всю жизненную форму. О, если бы это было так!

Но вы ее не знаете: она холодна, как нож. Все это — голый расчет. Она к нему ничего не чувствует. Я даже убежден, что она его ненавидит... О, вы не знаете, как она умеет молчать, вот так: сесть — и молчать, стать — и молчать, глядеть — и молчать.

— Месть? Но за что?

— За Сицилию. За «Офейру». «Я вам больше не жена». — Но — прочтите мою книгу! Где же я говорю, что она мне — жена? Она мне — она... Мерцающее видение... Козочка на уступе... Нэлли[123]. Что же я такого о ней сказал? Да и книга уже была отпечатана... Где она увидела «интимность», «собственничество», печать (недоуменно) мужа?

Гордость демона, а поступок маленькой девочки. Я тебе настолько не жена, что, вот... жена другого. Точно я без этого не ощутил. Точно я *всегда* этого не знал. И вот, из сложнейших душевных источников, грубейший факт, которым оскорблены все, кроме меня.

...Мне ее *так* жаль.

Вы ее видели? Она прекрасна. Она за эти годы разлуки так выросла, так возмужала. Была Психея, стала Валькирия. В ней — сила! Сила, данная ей ее одиночеством. О, если бы она по человечески, не проездом с группой, с труппой, полчаса в кафэ, а дружески, по человечески, по глубокому, по высокому[124] — я бы, обливаясь кровью, первый приветствовал и порадовался...

Вы не знаете, как я ее любил, как ждал! Все эти годы — ужаса, смерти, тьмы — как ждал. Как она на меня сияла...

И его мне жаль. Если он человек с сердцем, он за это жестоко поплатится. Она зальет его презрением... «Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти»[125]. А он, должно быть, ее безумно любит!

(— Как у тебя все по высокому, говорю я внутри рта, вот он уже у тебя и Мавр... И как с мужской, по крайней мере, стороны все несравненно проще, — той простотой, которой тебе не дано понять. А «безумная любовь» — сидит в Pragerdiele, угрюмый, как сыч, и, заглатывая зевоту: «Ну и скучища же с ней! Молчит, не разговаривает, никогда не улыбнется. Точно сова какая-то...» Но *этого* ты не узнаешь никогда.)

— Простите, я Вас измучил! Такое солнце, а я Вас измучил! Только приехали, а я Вас *уже* измучил. Не надо больше о ней. Ведь — кончено. Ведь я — стихи пишу. Ведь я после Вашей «Разлуки» опять стихи пишу. Я думаю — я не поэт. Я могу — годами не писать стихов. Значит, не поэт. А тут, после Вашей Разлуки — хлынуло. Остановить не могу. Я пишу Вас — дальше. Это будет целая книга: «После Разлуки»[126], — после разлуки — с нею, и Разлуки — Вашей. Я мысленно посвящаю ее Вам и если не проставляю посвящения, то только потому, что она Ваша, из Вас, я не могу дарить Вам Вашего, это было бы — нескромно.

Можно вам прочесть? Когда устанете, остановите, я сам не остановлюсь, я никогда не остановлюсь...

И вот над унынием цоссенского ландшафта:

Ты вставая, сказала, что — нет!
И какие-то призраки мы.
Не осиливает — свет,
Не осиливает — тьмы.

Ты ушла. Между нами года –
Проливаемая – куда
Проливаемая – вода?
Не увижу тебя никогда.

Пробегает листки, как клавиши.

Да, ты выспренной ложью обводишь
Злой круг вкруг себя.
И ты с искренней дрожью уходишь
Навеки, злой друг, от меня
Без ответа.
И я *никогда* не увижу тебя.
И – *себя* – ненавижу за это!

– И еще это! – В его руке листки как стайка белых, готовых сорваться, крыльев.

– Ты – тень теней, тебя не назову.
Твое лицо холодное и злое...
Плыву туда, за дымку дней, зову
За дымкой дней, – нет, не Тебя: былое,

Которое я рву (в который раз!)
Которое, в который раз? восходит,
Которое, в который раз, алмаз,
Алмаз звезды, звезды любви, *низводит*...[127]

И точно удивившись внезапно проступившей тишине: – А какая тихая дочь. Ничего не говорит. (Зажмурившись:) Приятно! Вы знаете, я ведь боюсь детей. (Глядя из всех глаз и этим их безмерно расширяя:) Я бе-зум-но их боюсь. О, с детства! С Пречистенского бульвара[128]. С каждой елки, с каждого дня рождения. (Шепотом, как жалуются на могущественного врага:) Они у меня все ломали, их приход был нашествие... (Вскипая:) Ангелы? Я и сейчас еще слышу треск страницы: листает такой ангел любимую книгу и перервет вкось – точно рваная рана... И не скажите – нечаянно, редко – нечаянно, всегда – нарочно, всё нарочно, на́зло, искоса, исподлобья – скажу или нет. О, они, как звери, не выносят чужого и чуют слабого. Все дело только – не показать страха, не дрогнуть... Больной волк ведь, когда заболеет, наступает на больную лапу... Знает, что разорвут. О, как я их боюсь! А вы – не боитесь? – Своих – нет. – А у меня своих – нет. И, наверное, уже не будет. Может быть – жаль? Может быть, лучше было бы, если бы – были? Я иногда жалею. Может быть, я как-то... прочнее был бы на земле?..

Аля, давно уже хмуро и многозначительно на меня поглядывавшая: – Ма-ама!

Я, с самонасильственной простотой: – Борис Николаевич, где у вас здесь, а то девочке нужно.

– Конечно, девочке нужно. Девочке нужно, нужно, нужно.

Убедившись, что другого ответа не будет, настойчивее: – Ей в одно местечко нужно.

– А–ах! Этого у нас нет. Местечка у нас нет, но место есть, сколько угодно – все место, которое вы видите из окна. На лоне природы, везде, везде, везде! Это называется – Запад (шипя, как змея:) цивилизация.

– Но кто же вас здесь... поселил? (Сказав это, понимаю, что он здесь именно на поселении.)

– Друзья. Не знаю. Уложили. Привезли. Очевидно – так нужно. Очевидно, это *кому-то* нужно. – И, уже как узаконенный припев: – Девочке нужно, нужно, нужно.

– Аля, как тебе не стыдно! Прямо перед окном!

– Во-первых, Вы слишком долго с ним разговаривали, во-вторых, он все равно ничего не видит. – Как не видит? Ты думаешь, он слепой? – Не слепой, а сумасшедший. Очень тихий, очень вежливый, но *настоящий* сумасшедший. Разве Вы не видите, что он все время глядит на невидимого врага?

Чтобы кончить о «девочке, которой нужно» и Белом. Несколько дней спустя приехал из Праги ее отец и ужаснулся ее страсти к пиву. – Бездонная бочка какая-то! В восемь лет![129] Нет, этому нужно положить конец. Сегодня я ей дам столько пива, сколько она захочет – чтобы навсегда отучить.

И вот, после которой-то кружки, Аля, внезапно:

– А теперь я иду спать, а то я уже чувствую, что скоро начну говорить такие глупости, как Андрей Белый.

– Конечно, Пушкин писал своего Годунова в бане, – говорит Белый, обозревая со мной из окна свои цоссенские просторы. – Но разве это сравнимо с баней? О, я бы дорого дал за баню! (Шепотом, стыдливо улыбаясь:) Я же ведь здесь совершенно перестал мыться. Воды нет, таза нет – разве это таз? Ведь сюда – только нос! Так и не моюсь, пока не попаду в Берлин, оттого я так часто и езжу в Берлин и в конце концов ничего не пишу. (Уже угрожающе:) Чтобы вымыть лицо, мне нужно ехать в Берлин!

А теперь... (дверь без стука, но с треском открывается, впуская сначала поднос, потом женский клетчатый живот) – чем богаты, тем и рады! Не осудите: я обречен на полное отсутствие кулинарной фантазии моей хозяйки.

Суп безмолвно и отрывисто ро́злит по тарелкам. После хозяйкиного ухода Белый, упавшим голосом:

– Haferbrühe... Овсянка... Я так и знал...

Сидим, браво хлебаем не то суп, не то кашу, для гущи – жидкое, для жидкости – густое...

– Haferbrühe, Haferbrühe, Haferbrühe, – бормочет Белый. – Brühe... brüten... точно она этот овес высиживает... в жару собственного тела его размаривает, собой его морит... Milchsuppe – Haferbrühe, Haferbrühe – Milchsuppe...[130]

И дохлебав последнюю ложку, просияв, как больной, у которого вырвали зуб:

– А теперь едемте обедать!

Берлин. Ресторан «Медведь»: «zum Bären».

– Никаких супов, да? *Супы* мы уже ели! Мы будем есть мясо, мясо, мясо! Два мясных блюда! Три? (С любопытством и даже любознательностью:) А *дочь* сможет съесть три мясных блюда? – Пива, – флегматический ответ. – Как она у вас хорошо говорит – лаконически. Конечно, пива. А мы – вина. А *дочь* не пьет вина?

Первое из трех мясных блюд. (Потом Аля, мне: – Мама, он ел совершенно как волк. С улыбкой и кося... Он точно нападал на мясо...)

По окончании второго и в нетерпении третьего Белый, мне: – Не примите меня за волка! Я три дня на овсе. Один – я не смею: некрасиво как-то и предательство по отношению к хозяйке. Она ведь то же ест и в Берлин *не* ездит... Но сегодня я себе разрешил, потому что Вы-то с моей хозяйкой никакими узами совместной беды не связаны. За что же Вы будете терпеть? Да еще с дочерью. А я уж к вам – присоседился.

И, по явной ассоциации с волком:

– А теперь – едем в Zoo[131].

В Zoo, перед клеткой огромного льва, львам – льва, Аля: – Мама, смотрите! Совершенный Лев Толстой! Такие же брови, такой же широкий нос и такие же серые маленькие злые глаза – точно *все* врут.

– Не скажите! – учтиво и агрессивно сорокалетний – восьмилетней. – Лев Толстой, это единственный человек, который сам себя посадил под стеклянный колпак и проделал над собой вивисекцию.

Поглощенная спутником, кроме льва, из всего Zoo на этот раз помню только бегемота, и то из-за следующего беловского примечания: – В прошлый раз я попал сюда на свадьбу бегемотов. За это иные любители деньги платят! Я не расслышал, чтó говорит смотритель, и пошел за ним, потому что он шел. Это был такой ужас! Я чуть в обморок не упал...

Помню еще, что с тигром он поздоровался по-тигрячьи: как-то «іау», между лаем и мяуканьем, сопровождаемым изворотом всего тела, с которого, как водопад, хлынул плащ. (Ходил он в пелерине, которая в просторечье зовется размахайкой, а на нем выглядела крылаткой. Оттого, может быть, я так остро помню его руки, совсем свободные и бедные, точно голые без верхних рукавов, вероломным покроем якобы освобожденные, на самом же деле – связанные. Оттого он так и метался, что пелерина за ним повторяла, усугубляла каждый его жест, как разбухшая и разбушевавшаяся тень. Пелерина была его живым фоном, античным хором. Из Kaufhaus des Westens[132] или еще старинная московская – не знаю. Серая.)

Простоявши *поклеточно* весь сад:

– Я очень люблю зверей. Но вы не находите, что их здесь... слишком много? Почему я на них должен смотреть, а они на меня – нет? Отворачиваются!

Сидим на каком-то бревне, невозможном бы в Германской Империи, – совсем пресненском![133] – друг с другом и без зверей, и вдруг, как в прорвавшуюся плотину – повесть о молодом Блоке, его молодой жене и о молодом нем-самом[134]. Лихорадочная повесть, сложнейшая бесфабульная повесть сердца, восстановить которую совершенно не могу, и оставшаяся в моих ушах и жилах каким-то малярийным хинным звоном, с обрывочными видениями какой-то ржи – каких-то кос – чьего-то шелкового пояса – ранний Блок у него вставал добрым молодцем из некрасовской Коробушки[135], иконописным ямщиком с лукутинской табакерки[136], – чем-то сплошь-цветным, совсем без белого, и – сцена меняется – Петербург, метель, синий плащ...[137], вступление в игру юного гения, демона, союз трех, смущенный союз двух, неосуществившийся союз новых двух – отъезды – приезды – точное чувство, что отъездов в этой встрече было больше, чем приездов, может быть, оттого, что

приезды были короткие, а отъезды — такие длинные, начинавшиеся с самой секунды приезда и все оттягиваемые, откладываемые до мгновения внезапного бегства... Узел стягивается, все в петле, не развязать, не разрубить. И последнее, отчетливо мною помнимое слово: — Я очень плохо с ней встретился в последний раз. В ней ничего от прежней не осталось. Ничего. Пустота.

Тут же я впервые узнала о сыне Любови Димитриевны, ее собственном, не блоковском, не беловском — Митьке, о котором так пёкся Блок: «Как мы Митьку будем воспитывать?»[138] и которого так сердечно оплакал в стихах, кончающихся обращением к Богу:

Нет, над младенцем над блаженным
Стоять я буду без Тебя![139]

Строки, которых я никогда не читаю без однозвучащих во мне строк пушкинской эпитафии первенцу Марии Раевской:

С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца[140].

Помню еще одно: что слово «любовь» в этой сложнейшей любовной повести не было названо ни разу, — только подразумевалось, каждый раз благополучно миновалось, в последнюю секунду заменялось — ближайшим и отдаляющим, так что я несколько раз в течение рассказа ловила себя на мысли: «что ж это было?» — именно на мысли, ибо чувством знала: *то*. Убеждена, что так же обходилось, миновалось, заменялось, не называлось оно героями и в жизни. Такова была эпоха. Таковы были тогда души. Лучшие из душ. Символизм меньше всего *литературное* течение.

И — еще одно. Если нынешние не говорят «люблю», то от страха, во-первых — себя связать, во-вторых — *передать:* снизить себе цену. Из чистейшего себялюбия. *Те — мы* – не говорили «люблю» из мистического страха, назвав, убить любовь, и еще от глубокой уверенности, что есть нечто высшее любви, от страха это высшее — снизить, сказав «люблю» — недодать.

Оттого нас так мало и любили.

Тогда же, в Zoo, я узнала, что Синий плащ, всей Россией до тоски любимый...

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла...[141] —

синий плащ Любови Димитриевны. — «О, он всю жизнь о ней заботился, как о больной, ее комната всегда была готова, она всегда могла вернуться... отдохнуть... но *то* было разбито, жизни шли врозь и никогда больше не сошлись».

Zoo закончилось очередным Алиным пивом в длинном сквозном бревенчатом строении, тоже похожем на клетку. Никогда не забуду Белого, загоревшего за этот

день до какого-то чайного, самоварного цвета, от которого еще синей синели его явно-азиатские глаза, на фоне сквозь брусья клетки зеленью и солнцем брызжущей лужайки. Откидывая серебро волос над медью лба:

— Хорошо ведь? Как я все это люблю. Трава, вдалеке большие звери, вы, такая простая... И дочь тихая, разумная, ничего не говорит... (И, уже как припев:) — Приятно!

Оттого ли, что было лето, оттого ли, что он всегда был взволнован, оттого ли, что в нем уже сидела его смертная болезнь — сосудов, я никогда не видела его бледным, всегда — розовым, желто-ярко-розовым, медным. От розовости этой усугублялась и синева глаз, и серебро волос. От серебра же волос и серый костюм казался серебряным, мерцающим. Серебро, медь, лазурь — вот в каких цветах у меня остался Белый, летний Белый, берлинский Белый, Белый бедового своего тысяча девятьсот двадцать второго лета.

В первый раз войдя в мою комнату в Pragerpension'е, Белый на столе увидел — вернее, стола не увидел, ибо весь он был покрыт фотографиями Царской Семьи[142]: Наследника всех возрастов, четырех Великих Княжен, различно сгруппированных, как цветы в дворцовых вазах, матери, отца...

И он наклоняясь: — Вы это... любите?

Беря в руки Великих Княжен: — Какие милые!.. Милые, милые, милые!

И, с каким-то отчаянием: — Люблю тот мир!

Стоим с ним на какой-то вышке, где — не помню, только очень-очень высоко. И он, с разлету беря меня за руку, точно открывая со мной мазурку:

— Вас тянет броситься? Вот так (младенческая улыбка)... кувырнуться!

Честно отвечаю, что не только не тянет, а от одной мысли мутит.

— Ах? Как странно! А я, я оторвать своих ног не могу от пустоты! Вот так (сгибается под прямым углом, распластавши руки)... Или еще лучше (обратный загиб, отлив волос) — вот так...

Через несколько дней после Zoo и Zossen'а приехал из Праги мой муж — после многих лет боев пражский студент-филолог[143].

Помню особую усиленную внимательность к нему Белого, внимание к каждому слову, внимание каждому слову, ту особую жадность поэта к миру действия, жадность, даже с искоркой зависти... (Не забудем, что все поэты мира любили военных.)

— Какой хороший ваш муж, — говорил он мне потом, — какой выдержанный, спокойный, безукоризненный. Таким и должен быть воин. Как я хотел бы быть офицером! (Быстро сбавляя:) Даже солдатом! Противник, свои, черное, белое — какой покой. Ведь я *этого* искал у Доктора[144], *этого* не нашел.

Выдержанность воина скоро была взята на испытание, и вот как: Белый потерял рукопись. Рукопись своего Золота в лазури[145], о которой его издатель мне с ужасом:

— Милая М.И., повлияйте на Б.Н. Убедите его, что раньше — тоже было хорошо. Ведь против первоначального текста — камня на камне не оставил. Был раз-

говор о переиздании, а это – новая книга, неузнаваемая! Да я против нового ничего не имею, но зачем тогда было набирать старую? Ведь каждая его корректура – целая новая книга! Книга неудержимо и неостановимо новеет, у наборщиков руки опускаются...

И вот, эту новизну, этот весь ворох новизн – огромную, уже не вмещающую папку – Белый вдруг потерял.

– Потерял рукопись! – с этим криком он ворвался ко мне в комнату. – Рукопись потерял! Золото потерял! В Лазури – потерял! Потерял, обронил, оставил, провалил! В каком-то из проклятых кафэ, на которые я обречен, будь они трекляты! Я шел к Вам, но потом решил – я хоть погибший человек, но я приличный человек – что сейчас Вам не до меня, не хотел омрачать радости Вашей встречи – вы же дети по сравнению со мной! вы еще в Парадизе! а я *горю в аду*! – не хотел вносить этого серного Ада с дирижирующим в нем Доктором – в Ваш Парадиз, решил: сверну, один ввергнусь, словом – зашел в кафэ: то, или другое, или третье (с язвительной усмешкой): сначала в то, потом в другое, потом в третье... И после – которого? – удар по ногам: нет рукописи! Слишком уж стало легко идти, левая рука слишком зажила своей жизнью – точно в этом суть: зажить своей жизнью! – в правой трость, а в левой – ничего... И это «ничего» – моя рукопись, труд трех месяцев, что́ – трех месяцев! Это – сплав *тогда* и *теперь*, я двадцать лет своей жизни оставил в кабаке... В каком из семи?

На пороге – недоуменное явление С.Я.[146]

– Борис Николаевич рукопись потерял, – говорю я спешно, объясняя крик.

– Вы меня простите! – Белый к нему навстречу – я сам временами слышу, как я ужасно кричу. Но – перед Вами погибший человек.

– Борис Николаевич, дорогой, успокойтесь, найдем, отыщем, обойдем все места, где вы сидели, – Вы же, наверное, куда-нибудь заходили? Вы ее, наверное, где-нибудь оставили, не могли же Вы потерять ее на улице.

Белый, упавшим голосом: – Боюсь, что мог.

– Не могли. Это же *вещь*, у которой есть *вес*. Вы где-нибудь ее уже искали?

– Нет, я прямо кинулся сюда.

– Так идем.

И – пошли. И – пошло! Во-первых, не мог точно сказать, в которое кафэ заходил, в которое – нет. То выходило, во все заходил, то – ни в одно. Подходим – *то*, войдем – не то. И, ничего не спросив, только обозрев, ни слова не сказав – вон. «Die Herrschaften wünschen? (Господа желают?)». Белый, агрессивно: «Nichts! Nichts! (Ничего, ничего!)». Легкое пожатие кельнерских плечей, – и мы опять на улице. Но, выйдя: – А вдруг – это? Там еще вторая зала, я туда не заглянул. Сережа, великодушно: – Зайдем опять? Но и вторая зала – неузнаваема.

В другом кафэ – обратное: убежден, что был, – и стол тот, и окно так, и у кассирши та же брошь, все совпадает, только рукописи нет. «Aber der Herr war ja gar nicht bei uns (Но господин к нам вовсе не заходил), – сдержанно-раздраженно – о́бер[147]. – Полчаса назад? За этим столом? Я бы помнил». (В чем не сомневаемся, ибо Белый – красный, с взлетевшей шляпой, с взлетевшими волосами, с взлетевшей тростью – действительно незабываем.) Ich habe hier meine Handschrift vergessen! Manuskript, versteheh Sie? Hier, auf diesem Stuhl! Eine schwarze Pappe: Mappe! (Я здесь забыл свою рукопись! Манускрипт, понимаете? Здесь на этом сту-

ле! Черную папку![148]) — кричит все более и более раскрасневающийся Белый, стуча палкой. — Ich bin Schriftsteller, russischer Schriftsteller! Meine Handschrift ist alles für mich! (Я — писатель, русский писатель, моя рукопись для меня — всё!) — Борис Николаевич, посмотрим в соседнем, — спокойно советует Сережа, мягко, но твердо увлекая его за порог, — тут ведь рядом еще одно есть. Вы легко могли перепутать.

— Это? Чтобы я в *этом* сидел? (Ехидно:) Не-ет, я в этом не сидел! Это — явно-нерасполагающее, я бы в такое и не зашел. (Упираясь палкой в асфальт:) И сейчас не зайду. Сережа, облегченно: — Ну, тогда зайду — я. А Вы с Мариной здесь постойте.

Стоим. Выходит с пустыми руками. Белый, торжествующе: — Вот видите? Разве я мог в такое зайти? Да в таком кафэ не то, что рукопись, — руки-ноги оставишь. Разве вы не видите, что это — кокаин??

Очередное по маршруту — просто минуем. Несмотря на наши увещевания, даже не оборачивает головы и явно ускоряет шаг. — Но почему же вы даже поглядеть не хотите? — Вы не заметили, что там сидит брюнет? Я не говорю вам, что тот *самый,* но, во всяком случае, — из тех. Крашеных. Потому что таких черных *волос* нет. Есть только такая черная краска. Они все — крашеные. Это их тавро.

И, останавливаясь посреди тротуара, с страшной улыбкой:

— А не проделки ли это — Доктора? Не повелел ли он оттуда моей рукописи пропасть: упасть со стула и провалиться сквозь пол? Чтобы я больше *никогда* не писал стихов, потому что теперь — кончено, я уже ни строки не напишу. Вы не знаете этого человека. Это — Дьявол.

И, подняв трость, в такт, ею — по чем попало: по торцам, прямым берлинским стволам, по решеткам, и вдруг — со всего размаху ярости — по огромному желтому догу, за которым, во весь рост своего самодовольства, вырастает лейтенант.

— Verzeihen Sie, Herr Leutnant, ich habe meine Handschrift verloren. (Простите, Г-н Лейтенант, я потерял свою рукопись). — Ja was? (Что такое?) — Der Herr ist Dichter, ein grosser russischer Dichter. (Этот господин — поэт, большой русский поэт) спешно и с мольбою оповещаю я. — Ja was? Dichter? (Что такое? Поэт?) — и не снизойдя до обиды, залив со всего высока своего прусского роста всем своим лейтенантским презрением этого штатского — да еще русского, — да еще Dichter'а, оттянув собаку — минует.

— Дьявол! Дьявол! — вопит Белый, бия и биясь.

— Ради Бога, Борис Николаевич, ведь лейтенант подумает, что Вы — о нем!

— О нем? Пусть успокоится. Есть только один Дьявол — Доктор Штейнер.

И, выпустив этот последний заряд, совершенно спокойно: — Больше не будем искать. *Пропала.* И, может быть, лучше, что пропала. Ведь я, по существу, не поэт, я годы могу не писать, а кто может *не* писать — писать не смеет.

Замечаю, что в моем повествовании нет никакого crescendo. Нет в повествовании, потому что не было в жизни. Наши отношения не развивались. Мы сразу начали с лучшего. На нем и простояли — весь наш недолгий срок.

Лично он меня никогда не разглядел, но, может быть, больше ощутил меня, мое целое, живое целое моей силы, чем самый внимательный ценитель и толкователь, и, может быть, никому я в жизни, со всей и всей моей любовью, не дала столько, сколько ему — простым присутствием дружбы. Присутствием в комнате. Сопутствием на улице. *Возле.*

Рядом с ним я себя всегда чувствовала в сохранности полного анонимата.

Он не собой был занят, а своей бедой, не только данной, а отрожденной: бедой своего рождения в мир.

Не эгоист, а эгоцентрик боли, неизлечимой болезни — жизни, от которой вот только 8-го января 1934 г. излечился.

Чтобы не забыть. К моему имени-отчеству он прибегал только в крайних случаях, с третьими лицами, и всегда в третьем лице, говоря обо мне, не мне, со мной же — Вы, просто — Вы, только — Вы. Мое имя-отчество для него было что-то постороннее, для посторонних, со мной не связанное, с той мной, с которой так сразу связал себя он, условное наименование, которое он сразу забывал наедине. Я у него звалась Вы. (Как у Каспара Гаузера сторож звался «der Du»[149].)

И, в нашем случае, он был прав. Имя, ведь, останавливает на человеке, другом, именно — этом, Вы — включает всех, включает всё. И еще: имя разграничивает, имя это явно — не-я. Вы (как и ты) это тот же я. («Вы не думаете, что..?» Читай: «Я думаю, что...») Вы — включительное и собирательное, имя-отчество — отграничительное и исключительное.

И еще: что ему было «Марина Ивановна» и даже Марина, когда он даже собственным ни Борисом, ни Андреем себя не ощутил, ни с одним из них себя не отождествил, ни в одном из них себя не узнал, так и прокачался всю жизнь между нареченным Борисом и сотворенным Андреем, отзываясь только на **я.**

Так я и осталась для него «Вы», та Вы, которая в Берлине, Вы — неизбежно-второго лица, Вы — присутствия, наличности, очности, потому что он меня так скоро и забыл, ибо, рассказывая обо мне, он должен был неминуемо говорить «Марина Ивановна», а с Мариной Ивановной он никогда никакого дела не имел. Единственный раз, когда он меня назвал по имени, было, когда он за мной в нашу первую «Pragerdiele» повторил слово «Таруса». Меня назвал и позвал.

Двойственность его не только сказалась на Борисе Николаевиче Бугаеве и Андрее Белом, она была вызвана ими. — С кем говорите? Со мной, Борисом Николаевичем, или со мной, Андреем Белым? Конечно, и каждый пишущий, и я, например, могу сказать: с кем говорите, со мной, «Мариной Цветаевой», или мной — мной (я, М.И., для себя так же не существую, как для А.Б.); но и Марина — я, и Цветаева — я, значит, и «Марина Цветаева» — я. А Белый должен был разрываться между нареченным Борисом и самовольно-созданным Андреем. Разорвался — навек.

Каждый литературный псевдоним прежде всего отказ от отчества, ибо отца не включает, исключает. Максим Горький, Андрей Белый — кто им отец?

Каждый псевдоним, подсознательно, — отказ от преемственности, потомственности, сыновнести. Отказ от отца. Но не только от отца отказ, но и от святого, под защиту которого поставлен, и от веры, в которую был крещен, и от собственного младенчества, и от матери, звавшей Боря и никакого «Андрея» не знавшей, отказ от всех корней, то ли церковных, то ли кровных. Avant moi le déluge![150] Я — сам!

Полная и страшная свобода маски: личины: не-своего лица. Полная безответственность и полная беззащитность.

Не этого ли искал Андрей Белый у Доктора Штейнера, не отца ли, соединяя в нем и защитника земного, и заступника небесного, от которых, обоих, на заре своих дней столь вдохновенно и дерзновенно отрекся?

Безотчесть и беспочвенность, ибо, как почва, Россия слишком *всё без исключения,* чтобы только собою, на себе, продержать человека.

«Родился в России», это почти что — родился везде, родился — нигде.

Ничего одиноче его вечной обступленности, обсмотренности, обслушанности я не знала. На него смотрели, верней: *его смотрели, как спектакль*, сразу, после занавеса бросая его одного, как огромный Императорский Театр, где остаются одни мыши.

А смотреть было на что. Всякая земля под его ногою становилась теннисной площадкой: ракеткой: ладонью. Земля его как будто *отдавала* — туда, откуда бросили, а *то* — опять возвращало. Просто, им небо и земля играли в мяч.

Мы — смотрели.

Его доверчивость равнялась только его недоверчивости. *Он* доверял — вверялся! — первому встречному, *но что-то* в нем не доверяло — лучшему другу. Потому их и не было.

Как он всегда боялся: задеть, помешать, оказаться лишним! Как даже не во́время, а раньше времени — исчезал, тут же, по мнительности своей, выдумав себе срочное дело, которое оказывалось сидением в первом встречном осточертелом кафэ. Какой — опережающий вход — опережающий взгляд, сами глаза опережающий страх из глаз, страх, которым он как щупальцами ощупывал, как рукой обшаривал и, в нетерпении придя, как метлой обмахивал пол и стены — всю почву, весь воздух, всю атмосферу данной комнаты, страх — меня бы первую ввергший в столбняк, если бы я разом, вскочив на обе ноги, не дав себе понять и подпасть — на его страх, как Дуров на злого дога[151]: — Борис Николаевич! Господи, как я Вам рада!

Страх, сменявшийся — каким сиянием!

Не знаю его жизни до меня, знаю, что передо мною был затравленный человек. Затравленность и умученность ведь вовсе не требуют травителей и мучителей, для них достаточно самых простых нас, если только перед нами — не-свой: негр, дикий зверь, марсианин, поэт, призрак. Не-свой *рожден* затравленным.

О Белом всегда говорили с интонацией «бедный». — Ну, как вчера Белый? — Ничего. Как будто немножко лучше. Или: — А Белый нынче был совсем хорош. Как о трудно-больном. Безнадежно-больном. С тем пусть крохотным, пусть іотовым[152], но непременным оттенком превосходства: здоровья над болезнью, здравого смысла над безумием, нормы — хотя бы над самым прекрасным *казусом.*

Остается последнее: вечерне-ночная поездка с ним в Шарлоттенбург[153]. И это последнее осталось во мне совершенным сновидением. Просто — как схватило дух, так до самого подъезда и не отпустило, как я до самого подъезда не отпустила его руки, которую на этот раз — сама взяла.

Помню только расступающиеся статуи, рассекаемые перекрестки, круто огибаемые площади — серизну — розовизну — голубизну...

Слов не помню, кроме отрывистого: «Weiter! Weiter!»[154] — звучащего совсем не за пределы Берлина, а за пределы земли.

Думаю, что в этой поездке я впервые увидела Белого в его основной стихии: полете, в родной и страшной его стихии — пустых пространств, потому и руку взяла, чтобы *еще* удержать на земле.

Рядом со мной сидел пленный дух.

Как это было? Этого вовсе не было. Прощания вовсе не было. Было — исчезновение.

Думаю, его просто увезли — друзья, так же просто на неуютное немецкое море[155], как раньше в то самое Zossen, и он так же просто дал себя увезти. Белый всякого встречного принимал за судьбу и всякое случайное жилище за суждённое.

Одно знаю, — что я его *не* провожала, а не проводить я его могла только потому, что не знала, что он едет. Думаю, он и сам до последней секунды не знал.

А дальше уже начинается — танцующий Белый[156], каким я его не видела ни разу и, наверное, не увидела бы, миф танцующего Белого, о котором так глубоко сказал Ходасевич, вообще о нем сказавший лучше нельзя, и к чьему толкованию танцующего Белого я прибавлю только одно: фокстрот Белого — чистейшее хлыстовство: даже не свистопляска, а (мое слово) — *христопляска,* то есть опять-таки Серебряный голубь, до которого он, к сорока годам, *физически* дотанцевался.

Со своего моря он мне не писал.

Но был еще один привет — последний. И прощание все-таки было — и какое беловское!

В ноябре 1923 г.[157] — вопль, письменный вопль в четыре страницы, из Берлина в Прагу[158]: — Голубушка! Родная! Только Вы! Только к Вам! Найдите комнату рядом, где бы Вы ни были — рядом, я не буду мешать, я не буду заходить, мне только нужно знать, что за стеной — живое — живое тепло! — Вы. Я измучен! Я истерзан! К Вам — под крыло! (И так далее, и так далее, полные четыре страницы лирического вопля вперемежку с младенчески-беспомощными практическими указаниями и даже описаниями вожделенной комнаты: чтобы был стол, чтобы этот стол *стоял,* чтобы было окно, куда глядеть, и, если возможно, — не в стену квартирного дома, но если *мое* – в такую стену, то пусть и *его,* ничего, лишь бы рядом.) — Моя жизнь этот год — кошмар. Вы мое единственное спасение. Сделайте чудо! Устройте! Укройте! Найдите, найдите комнату.

Тотчас же ответила ему, что комната имеется: рядом со мной, на высоком пражском холму — Смихове[159], что из окна деревья и просторы: косогоры, овраги, старики и ребята пускают змеев, что и мы будем пускать... Что М.Л. Слоним[160] почти наверное устроит ему чешскую стипендию[161] в тысячу крон ежемесячно[162], что обедать будем вместе и никогда не будем есть овса, что заходить будет, когда захочет, и даже, если захочет, не выходить, ибо он мне дороже дорогого и роднее родного, что в Праге археологическое светило — восьмидесятилетний Кондаков[163],

что у меня, кроме Кондакова, есть друзья, которых я ему подарю и даже, если нужно, отдам в рабство...

Чего не написала! *Все* написала!

Комната ждала, чешская стипендия ждала. И чехи ждали. И друзья, обреченные на рабство, ждали[164].

И я — ждала.

Через несколько дней, раскрывши «Руль», читаю в отделе хроники, что такого-то ноября 1923 г. отбыл в Советскую Россию писатель Андрей Белый[165].

Такое-то ноября было таким-то ноября его вопля ко мне. То есть уехал он именно в тот день, когда писал ко мне то письмо в Прагу. Может быть, в вечер того же дня.

— А меня он все-таки когда-нибудь вспоминал? — спросила я в 1924 г. одного из последних очевидцев Белого в Берлине, приехавшего в Прагу.

Тот, с заминкой... — Да... но странно как-то...

— То есть как — странно?

— А — та́к: «Конечно, я люблю Цветаеву, как же мне не любить Цветаеву: когда она *тоже* дочь профессора...»[166]. Сами посудите, что...

Но я, молча, посудила — иначе.

Больше я о нем ничего не слыхала.

Ничего, кроме смутных слухов, что живет он где-то под Москвой, не то в Серебряном Бору, не то в Звенигороде (еще порадовалась чудному названию!), пишет много, печатает мало, в современности не участвует и порядочно-таки — забыт.

(Geister auf dem Gange)
...Und er hat sich losgemacht[167]

10-го января 1934 г. мой восьмилетний сын Мур[168], хватая запретные «Последние новости»:

— Мама! Умер Андрей Белый!

— Что??

— Нет, не там, где покойники. Вот здесь[169].

Между этим возгласом моего восьмилетнего сына и тогдашней молитвой моей трехлетней дочери — вся моя молодость, быть может, — вся моя жизнь.

Умер Андрей Белый «от солнечных стрел», согласно своему пророчеству 1907 г.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел...[170] —

то есть от последствий солнечного удара, случившегося с ним в Коктебеле, на бывшей даче Волошина, ныне писательском доме. Перед смертью Белый просил кого-то из друзей прочесть ему эти стихи, этим в последний раз опережая события: наше посмертное, этих его солнц, сопоставление: свое посмертье.

Господа, вглядитесь в два последних портрета Андрея Белого в «Последних новостях».

Вот на вас по каким-то мосткам, отделяясь от какого-то здания, с тростью в руке, в застывшей позе полета – идет человек. Человек? А не та последняя форма человека, которая остается после сожжения: дохнёшь – рассыпется. Не чистый дух? Да, дух в пальто, и на пальто шесть пуговиц – считала, но какой счет, какой вес когда-либо кого-либо убедил? разубедил?

Случайная фотография? Прогулка? Не знаю, как другие, я, только взглянув на этот снимок, сразу назвала его: *переход*. Так, а не иначе, тем же шагом, в той же старой шляпе, с той же тростью, оттолкнувшись от того же здания, по тем же мосткам и так же перехода не заметив, перешел Андрей Белый на тот свет.

Этот снимок – астральный снимок[171].

Другой: одно лицо. Человеческое? О нет. Глаза – человеческие? Вы у человека видали такие глаза? Не ссылайтесь на неясность отпечатка, плохость газетной бумаги, и т.д. Все это, все эти газетные изъяны, на этот раз, на этот редкий раз поэту – послужило. На нас со страницы «Последних новостей» глядит лицо духа, с просквоженным тем светом глазами. На нас – сквозит[172].

На панихиде по нем в Сергиевском Подворье[173], – православных проводах сожженного[174], которыми мы обязаны заботе Ходасевича и христианской широте о. Сергия Булгакова[175], – на панихиде по Белом было всего семнадцать человек – считала по свечам – с десяток из пишущего мира[176], остальные завсегдатаи. Никого из писателей, связанных с ним не только временем и ремеслом, но долгой личной дружбой, кроме Ходасевича, не было. Зато с умилением обнаружила среди стоящих Соломона Гитмановича Каплуна, издателя, пришедшего в последний раз проводить своего трудного, неуловимого, подчас невыносимого опекаемого и писателя. Убеждена, что не меньше, чем я, и больше, чем всем нам, порадовался ему и сам Белый.

Странно, я все время забывала, вернее, я ни разу не осознала, что гроба – нет, что его – нет: казалось – о. Сергий его только застит, отойдет о. Сергий – и я увижу – увидим – и настолько сильно было во мне это чувство, что я несколько раз ловила себя на мысли: «Сначала все, потом – я. Прощусь последняя...»

До того, должно быть, эта панихида была ему необходима и до того сильно он на ней присутствовал.

И никогда еще, может быть, я за всю свою жизнь с таким рвением и осознанием не повторяла за священником, как в этой темной, от пустоты огромной церкви Сергиевского Подворья, над мерещащимся гробом за тридевять земель сожженного:

– Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Твоего – Бориса.

Post Scriptum.

Я иногда думаю, что конца – нет. Так у меня было с Максом, когда, много спустя по окончании моей рукописи[177], все еще долетали о нем какие-то вести, как последние от него приветы.

Вчера, 26-го февраля, С.Я., вечером, мне:

– Достал «После Разлуки»[178]. Прочел стихи – Вам.

— Как — мне? Вы шутите!

— Это Вы — шутите, не можете же Вы не помнить этих стихов. Последние стихи в книге. Единственное посвящение. Больше никому нет.

Все еще не веря, беру в руки и на последней странице, в постепенности узнавания, читаю:

М.И. Цветаевой

Неисчисляемы
Орбиты серебряного прискорбия,
Где праздномыслия
Повисли тучи.
Среди них —
Тихо пою стих
В неосязаемые угодия
Ваших образов.
Ваши молитвы —
Малиновые мелодии
И —
Непобедимые
Ритмы[179].

Цоссен, 1922 года.

Послесловие

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) — поэт, прозаик, мемуарист. С мая 1922 г. жила в эмиграции, первые месяцы в Берлине, затем три года в пригородах Праги, с ноября 1925 г. во Франции, под Парижем. В июне 1939 г. вернулась в СССР, покончила с собой в Елабуге.

С Андреем Белым Цветаева встречалась не один раз, начиная с юношеских лет; относилась к нему с большой теплотой; талант его чтила. «А. Белый больше меня...» — обронила Цветаева в 1920 г. в разговоре с Вячеславом Ивановым[i]. Тогда же с восторгом отозвалась о его «Петербурге», позже радовалась его воспоминаниям о Блоке и т.д. Но дружбы с Белым у нее не завязалось; он никогда не был в числе тех художников, с которыми Цветаева была духовно близка. «Он мне не близок, не мое, скорей — не люблю...» — говорила она о своем отношении к Белому[ii].

Очерк «Пленный дух» впервые был напечатан в журнале «Современные записки» (Париж. 1934. № 55. С. 198–255). Поводом к его написанию послужило известие о кончине Андрея Белого, последовавшей в Москве 8 января 1934 г. За воспоминания о поэте Цветаева взялась сразу же. К концу февраля «Пленный дух» был окончен. А 15 марта свой реквием Белому Цветаева прочла «русскому Парижу» на своем очередном литературном вечере, который состоялся в переполненном зале Географического общества.

[i] *Цветаева М.* Неизданное. Записные книжки: В 2 т. Т. II: 1919–1939. М.: Эллис-Лак, 2001. С. 171.

[ii] Там же. С. 171.

Новая проза Цветаевой сразу же была замечена критикой. О «Пленном духе» писали В. Ходасевич, Г. Адамович, П. Пильский, Н. Резникова и др.[i]

Вот как отозвался об очерке Цветаевой Владислав Ходасевич, один из самых проницательных критиков русского зарубежья:

> Для тех, кто не знает лично Андрея Белого, записи Марины Цветаевой послужат не только художественно блистательным чтением, но и в высшей степени любопытным источником осведомления. Те, кто знал Белого лично, должны будут признать, что в изображении немногих сравнительно своих встреч с ним Цветаева сумела нарисовать портрет исключительной силы и схожести. Цветаева дает отнюдь не фотографию, но живописный портрет, в котором сказалась отчетливо личность самого живописца. И со всем тем (вероятно, даже именно благодаря тому) цветаевский Белый смотрит с этого полотна, как живой, во всем своем фантастическом обаянии, как и в своей очаровательной невыносимости (ибо человек этот был чем очаровательнее, тем невыносимее) <...>. Будущий историк символизма в цветаевском очерке найдет не только замечательный портрет Белого, но и ряд весьма ценных биографических о нем сведений, от чего мемуарная, чисто документальная ценность «Пленного духа», разумеется, только возрастет[ii].

Или, например, отклик из далекого Харбина, из журнала «Рубеж»:

> М. Цветаева снова подарила читателям одно из своих воспоминаний, как-то поособенному ценных талантом не только ума, но и сердца, – «Пленный дух» (о встрече с Андреем Белым). Об этой статье М. Цветаевой можно говорить или очень много, или почти ничего <...>. Слишком в ней много поднято вопросов, слишком живым представляется Андрей Белый, слишком мучительной, какой-то нечеловечески мучительной видится его судьба, его одиночество, с изумительной чуткостью понятое умным женским сердцем[iii].

Очерк «Пленный дух» неоднократно перепечатывался. См., напр.: *Цветаева М.* Собрание сочинений: В 7 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А.А. Саакянц и Л.А. Мнухина. М.: Эллис Лак, 1994–1995. Т. 4: Воспоминания о современниках. Дневниковая проза. М.: Эллис Лак, 1994. С. 221–270.

---

[1] Посвящение Цветаевой вызвано выступлением Ходасевича на вечере памяти Белого, организованном литературным объединением «Перекресток» 3 февраля 1934 г. в зале Обществ ученых в Париже (ул. Дантон, 8).

По поводу этого посвящения Ходасевич писал: «Воспоминания Цветаевой напечатаны с посвящением мне. Мне же уделено в них несколько лестных слов <...>. Не сомневаюсь, что литературная обывательщина услышит в наших взаимных похвалах голоса кукуш-

---

[i] См.: Марина Цветаева в критике современников: В 2 ч. Ч. I: 1910–1941 годы. Родство и чуждость. М.: Аграф, 2003.

[ii] *Ходасевич В.* Книги и люди. «Современные Записки». Кн. 55 // Возрождение (Париж). 1934. 31 мая. С. 3.

[iii] *Резникова Н.* «Современные записки», книга 55 // Рубеж (Харбин). 1934. № 28. С. 24.

ки и петуха. Однако, мы с Цветаевой можем хвалить или порицать друг друга, ничем не смущаясь. Литературно мы оба принадлежим к тому поколению, а главное – к тому кругу, в котором друг друга одобряли не ради взаимной услуги и осуждали не по причине зависти или ссоры. Эти навыки мы сохранили <...>» (*Ходасевич В.* Книги и люди. «Современные Записки». Кн. 55 // Возрождение (Париж). 1934. 31 мая. С. 3).

[2] Из стихотворения М.И. Цветаевой «В черном небе слова начертаны...» (1918). В сб. «Версты» (М., 1921. С. 40): «...Дуновение – Вдохновения!».

[3] Саша Черный (наст. имя и фамилия: Александр Михайлович Гликберг; 1880–1932) – поэт, сатирик, прозаик. К 1916 г., о котором пишет Цветаева, Саша Черный как детский поэт уже был известен своими книгами «Тук-тук» (М., 1913) и «Живая азбука» (Пг., 1914).

[4] Ариадна Сергеевна Эфрон (1912–1975) – дочь М.И. Цветаевой и С.Я. Эфрона.

[5] В повести Г. Уэллса «Чудесное Посещение» (1895) описаны злоключения Ангела в английской деревне. Благопристойным представителям английского общества Ангел кажется уродливым горбуном и опасным сумасшедшим. См. подробнее: *Спивак М.* Марина Цветаева, Герберт Уэллс и Андрей Белый (из комментария к очерку «Пленный дух») // От Кибирова до Пушкина (Сб. к 60-летию Н.А. Богомолова) / Сост. А.В. Лавров, О.А. Лекманов. М., 2011. С. 568–581.

[6] Дмитрий Владимирович Цветаев (1852–1920) – историк, профессор Варшавского университета (1887–1906), директор Московского коммерческого училища (1907–1911), директор Московского архива Министерства юстиции (1911–1918); брат И.В. Цветаева, дядя Марины и Анастасии Цветаевых.

[7] *Блок А.А.* Стихи о Прекрасной Даме. М.: Гриф, 1904 (первая книга Блока).

[8] На самом деле – Николая Васильевича.

[9] Елизавета Евграфовна Цветаева (урожд. Попова), жена Д.В. Цветаева.

[10] Иван Владимирович Цветаев (1847–1913) – историк, археолог, искусствовед, член-корреспондент Петербургской Академии наук, директор Румянцевского музея (1900–1910), основатель и первый директор Музея изящных искусств в Москве (заложен в 1899 г., открыт в 1912 г.).

[11] В сфере многолетних научных интересов Д.В. Цветаева был царь Василий IV Шуйский (1552–1612), взошедший на престол в 1606 г. и низложенный боярами в 1610 г. после разгрома русских войск польскими. Был насильно пострижен в монахи и перевезен в Варшаву, где скончался. Многочисленные работы Д.В. Цветаева на тему «польского плена» были объединены в фундаментальный труд: «Царь Василий Шуйский и места погребения его в Польше» (В 2 т. Варшава, 1901–1902).

[12] Среди занимаемых Д.В. Цветаевым должностей была и должность директора Императорского Московского коммерческого училища (с 1907 по 1911 г.); сейчас – Московский Государственный лингвистический университет им. Мориса Тореза (Остоженка, д. 38).

[13] В Трехпрудном переулке (д. 8) Марина Цветаева родилась и жила вплоть до замужества в 1912 г. Дом не сохранился.

[14] Эллис – псевдоним поэта, переводчика и критика, теоретика символизма Льва Львовича Кобылинского (1879–1947), с которым сестры Цветаевы познакомились зимой 1908–1909 г. Марина Цветаева посвятила ему поэму «Чародей» (1914).

[15] Считалось, что Эллис (Лев Львович Кобылинский) и его брат Сергей Львович Кобылинский были внебрачными детьми известного педагога и литературоведа Льва Ивановича Поливанова (1838–1899), основателя и директора знаменитой частной гимназии на Пречистенке.

[16] См. автохарактеристику Эллиса в письме 1910 г. к Р. Штейнеру: «Пережив революцию, крайние формы символического движения и нео-христианские учения русских мистиков, я всесторонне отдался самому глубокому и гибельному учению из всех, я стал учеником, переводчиком и пропагандистом теорий и поэтических творений Ш. Бодлэра» (*фон Майдель Рената.* «Спешу спокойно...»: К истории оккультных увлечений Эллиса // Новое литературное обозрение. № 51 (5'2001). С. 231–132). См. его перевод стихотворного сборника Шарля Бодлера (1821–1867) «Цветы зла» (М., 1908).

[17] Анастасия Ивановна Цветаева (1894–1993) – писатель, мемуарист; младшая сестра М.И. Цветаевой; автор обширных воспоминаний о детстве и юности М.И. Цветаевой.

[18] Ср.: «Меблированные комнаты “Дон” <...> помещались в оливковом доме, поставленном на Сенной площади среди соров и капустных возов; дом стеной выходил на Арбат (против “Аптеки”); другом боком дом глядел на Смоленский бульвар; третьим – в паршивые домики, с чайною: для извозчиков <...>» (*НВ 1990.* С. 55–64).

[19] Владимир Оттонович Нилендер (1885–1965) – поэт и переводчик, специалист по античной литературе, сотрудник издательства «Мусагет».

[20] Клеопатра Петровна Христофорова (? – 1934) – известная московская теософка; ее теософский кружок посещали Белый и его мать; впоследствии – одна из первых русских последовательниц Р. Штейнера.

[21] Сестры Тургеневы – Наталья Алексеевна (1888–1942), Анна Алексеевна (Ася, жена Андрея Белого; 1890–1966) и Татьяна Алексеевна (1896–1966).

[22] Сергей Михайлович Соловьев (1885–1941) – поэт и переводчик, племянник философа Владимира Сергеевича Соловьева, друг Белого.

[23] Анатолий Корнелиевич Виноградов (1888–1946), писатель, Цветаева вывела его в рассказе «Жених» (1933); Нина Корнелиевна Виноградова, подруга отроческих лет М.И. Цветаевой.

[24] «Мусагет» – московское издательство (1909–1917), основанное Э.К. Метнером, Эллисом, Андреем Белым. М.И. Цветаева посещала кружки и студии при издательстве, где Белый вел занятия и читал лекции.

[25] Имеется в виду должность тайного советника герцога Карла Августа, полученная Гете в 1775 г., с которой был связан обширный круг обязанностей при веймарском дворе. Другие источники, подтверждающие, что в «Мусагете» висел портрет Гете, нам не известны. Еще менее вероятно, чтобы там висел портрет Штейнера.

[26] Намек на книгу, которую Белый напишет в 1915 г. в Дорнахе: «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том “Размышлений о Гете”» (М.: Духовное знание, 1917).

[27] Имеется в виду перенесение царем Давидом ковчега Завета в Иерусалим, когда «Давид скакал изо всей силы перед Господом» (2 Кн. Царств. 6–19).

[28] Этот топоним связан с посещением М.И. Цветаевой в 1908 г. семьи Юркевичей в имении Орловка. См. адрес, написанный рукой Цветаевой на конверте письма от 1 августа 1908 г.: «Разъезд “Толстое”, Данково-Смоленской ж<елезной> д<ороги>. Имение Орловка. Его Высокоблагородию Петру Ивановичу Юркевичу» (*Цветаева Марина.* Письма к П. Юркевичу (1908, 1910) / Публ. О.П. Юркевич; сост., подгот. текста и коммент. Е.И. Лубянниковой и Л.А. Мнухина // Новый мир. 1995. № 6. С. 116–143; см. также: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/6/cvet-pr.html).

[29] В Тульской губернии находилось имение Л.Н. Толстого Ясная Поляна и станция Астапово, где 7 (20) ноября 1910 г. писатель скончался (в 1918 г. станцию переименовали

в Лев Толстой). В Чернском уезде Тульской губернии располагалось и родовое имение И.С. Тургенева (в селе Тургенево), а также Бежин луг, давший название хрестоматийному рассказу из его «Записок охотника». В деревне Чермашня Каширского уезда Тульской губернии в 1839 г. во время ссоры с крепостными был убит отец Ф.М. Достоевского Михаил Андреевич Достоевский. Чермашня фигурирует и в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Она находится неподалеку от вымышленного города Скотопригоньевска, в котором разворачивается основное действие «Братьев Карамазовых». Там же, в Скотопригоньевске (а не в Черми, как пишет Цветаева), происходит беседа Ивана Карамазова с чертом. Как кажется, Цветаева невольно или умышленно соединила деревню Чермашню и уездный город Чернь (центр Чернского уезда), образовав таким образом несуществующий город Чермь.

Ср. аналогичную мысль в очерке М.И. Цветаевой «Наталья Гончарова» (1929): «Наталья Гончарова родилась в Средней России, в самом сердце ее, в Тульской губ<ернии>, деревне Лодыжино. Места толстовско-тургеневские. Невдалеке Ясная Поляна, еще ближе Бежин Луг. А в трактире уездного городка Чермь – беседа Ивана с Алешей» (*Цветаева М.И.* Собр. соч.: В 7 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А.А. Саакянц и Л.А. Мнухина. М.: Эллис Лак, 1994–1995. Т. 4. М., 1994. С. 75). Цветаева намекает на связь Белого с этими местами по «тургеневской» линии. Однако имение матери и отчима А.А. Тургеневой, где Белый бывал, находилось в Боголюбах Волынской губернии (близ Луцка). Вместе с тем в Ефремовском уезде Тульской губернии в 1898 г. родители Белого приобрели имение Серебряный Колодезь, в котором будущий писатель ежегодно проводил летнее время. В тех же местах развертывается действие романа «Серебряный голубь». Все это могло быть известно Цветаевой как из бесед с Белым, так и из его произведений.

[30] Возможно, здесь и далее Цветаева отталкивается от юношеских воспоминаний о пребывании летом 1908 г. в Орловке Чернского уезда Тульской губернии, куда она была приглашена подругой по гимназии им. В.П. фон Дервиз, Соней Юркевич (Софья Ивановна, в замуж. Липеровская; 1892–1973). В письме к П.И. Юркевичу от 23 июля 1908 г. (брату подруги) Цветаева интересовалась «литературными местами» края: «Да, Петя, пожалуйста, составьте мне список Ваших достопримечательностей (не лично Ваших, хотя, если хотите, и это), а то я было начала перечислять и запнулась на Чермашне и Мокром» (оба топонима – из «Братьев Карамазовых»). А в письме, написанном не позднее 31 июля 1908 г., выражала ему благодарность за «перечисления знаменитостей, населяющих Тульскую губ<ернию>» (*Цветаева М.И.* Собр. соч. М., 1995. Т. 7. С. 716, 723). Подробнее об отношениях Цветаевой с П.И. Юркевичем и жизни в Орловке см.: Письма М.И. Цветаевой к П.И. Юркевичу / Публ., подгот. текста и прим. Е.И. Лубянниковой и Л.А. Мнухина // Минувшее. М.; СПб., 1992. Т. 11. С. 335–360; *Цветаева Марина.* Письма к П. Юркевичу (1908, 1910). С. 116–143.

[31] Может иметься в виду хозяйка Орловки Александра Николаевна Юркевич (урожд. Иванская; 1865–1934), мать С.И. и П.И. Юркевичей; или их бабушка Наталья Орестовна Иванская (в первом браке Жданова), которая, по свидетельству родственницы, была «крупная, полная, добрая» (Минувшее. Т. 11. С. 359). В письме к П.И. Юркевичу от 21 июля 1921 г. Цветаева с умилением вспоминала «сушеную клубнику в мезонине Вашей бабушки» (Минувшее. Т. 11. С. 346; *Цветаева М.И.* Собр. соч. М., 1995. Т. 6. С. 26, 29).

[32] Московский Екатерининский институт благородных девиц (или – Московское училище ордена Св. Екатерины) – одно из старейших женских учебных заведений (основано в 1804 г.), отличавшееся не только качеством образования, но и особенно строгой дисциплиной и распорядком дня.

[33] «Pragerdiele» – название берлинского пансиона (находился на Pragerplatz, 9), в котором остановилась Цветаева, и кафе, популярного в кругах русских эмигрантов.

[34] Козочка (*фр.*).

[35] Эвритмия (*греч.*) – созданный в 1912 г. Р. Штейнером и М.Я. Сиверс вид пластического искусства, направленный на то, чтобы визуализировать в жесте и движении звук, слово, речь. Белый изучал эвритмию в Дорнахе. См. его определение эвритмии в «поэме о звуке» «Глоссолалия»: «Жестикуляция, эвритмия – искусство словесности; филология в наши дни есть искусство медлительных чтений; в грядущем она – быстрый танец всех звезд: зодиаков, планет, их течений, горений; узнания мудрости – ноты и танцы; умение жестами выстроить мир означает, что корень сознания вскрыт: мысль срослася со словом <...>. Видал эвритмию (такое искусство возникло); в нем знание шифров природы; природа осела землею из звука: на эвритмистке червонится звук; и природа сознания – в нем; и эвритмия – искусство познаний; здесь мысль льется в сердце; а сердце крылами-руками без слов говорит; и двулучие рук – говорит. Эвритмиею опускали нас духи на землю; мы в них, точно ангелы» (*Андрей Белый.* Глоссолалия. Томск, 1994. С. 11–12).

[36] Абрам Григорьевич Вишняк (1895–1943) – издатель, основатель издательства «Геликон» (1918–1923; с 1921 г. деятельность издательства была перенесена из Москвы в Берлин). В «Геликоне» выходили книги и Цветаевой, и Белого.

[37] Отсылка к стихотворению А.А. Фета «Теперь» (1883): «Приветами, встающими из гроба, / Сердечных тайн бессмертье ты проверь. / Вневременной повеем жизнью оба, / И ты и я – мы встретимся – теперь!».

[38] С.Г. Каплун.

[39] И «biquette», и «bichette» в переводе с франц. – козочка (букв.), или – милочка, милая. Но «bichette» – уменьшительно-ласкательная форма от «biche» (олениха, лань), а «biquette» – от «bique» (коза).

[40] «Biquett’ ne veut pas sortir du chou: / *Ah*! *tu sortiras*, *Biquette*, *Biquette*, / *Ah! tu sortiras* de ce chou-la!» – слова из популярной детской французской песенки («Козочка не хочет выходить из капусты / Ах, ты выйдешь, Козочка, Козочка, / Ах, ты выйдешь из капусты!»). Ср.:

«Вы, может быть, и песни какие-нибудь знаете?

– Много!

– Какие? Спойте мне что-нибудь!

– Русскую или французскую?

– Французскую!

– Про biquette, хочешь? – шепнул я Жене.

Ah, tu sortiras, biquette, biquette!
Ah, tu sortiras de ce chou la! –

быстро и громко запели мы» (*Эфрон С.* Детство. М.: Оле-Лукойе, 1912. С. 73).

[41] Среди многочисленных гувернанток Бори Бугаева (преимущественно немок и француженок) недолгое время (с января по март 1888 г.) была и «мадемуазель Мари, пиитически настроенная, суровая швейцарка, учила меня читать и писать по-французски, кричала, топала; в результате же я перепугался. И получил пощечины за неверное чтение, пока прислуга, сжалившись надо мной, не рассказала матери о побоях, наносимых мне (я ж – не умел жаловаться); мадемуазель Мари попросили уйти <...>» (*НРДС 1930.* С. 206). Однако, как кажется, Цветаева основывалась не столько на биографии юного Белого, сколько намекала на предначертанность его пути в Швейцарию к Штейнеру.

[42] См. посвященное «сестрам Тургеневым» стихотворение Цветаевой «Осужденные» (1910).

[43] Их отец А.Н. Тургенев был сыном Н.П. Тургенева, двоюродного брата писателя И.С. Тургенева; мать С.Н. Бакунина, во втором браке Кампиони, — племянницей анархиста М.А. Бакунина.

[44] С.М. Соловьев — сын М.С. Соловьева, родного брата философа Владимира Сергеевича Соловьева (1853–1900).

[45] Н.А. Тургенева стала женой юриста Александра Михайловича Поццо (1882–1941).

[46] В 1912 г. Сергей Соловьев женился на Т.А. Тургеневой.

[47] М.А. Волошин.

[48] Anglaises — длинные локоны. Прическа а-ля «anglaises» (на английский манер) подразумевала длинные локоны, спускающиеся вдоль щек до шеи.

[49] *Эллис.* Stigmata: Книга стихов. М.: Мусагет, 1911.

[50] Намек на учебу А.А. Тургеневой у известного бельгийского художника и гравера Мишеля Огюста Данса. Ср. рассказ Белого о сближении с ней в 1909 г.: «<...> я встретился с Асей Тургеневой, приехавшей к тетке из Брюсселя, где она училась у мастера гравюры Данса» (*МДР 1934.* С. 362); в 1912 г. учеба у Данса была продолжена.

[51] Отсылка к повести И.С. Тургенева «Ася» (1858).

[52] Героиня «Сказки о серебряной свирели» С.М. Соловьева (см.: *Соловьев С.* Crurifragium. М., 1908). Сквозь призму образа «Жемчужной головки» воспринимала Асю Тургеневу не только М.И. Цветаева — ср. письмо Э.К. Метнера к М.К. Морозовой от 1 апреля 1909 г. в кн.: *Лавров А.В.* Андрей Белый в 1900-е годы. М., 1995. С. 276.

[53] Катя Гуголева, невеста Дарьяльского. Подробнее о Сергее Соловьеве как о прототипе Дарьяльского см.: *Лавров А.В.* Андрей Белый в 1900-е годы. С. 287–289; *Лавров А.В.* Дарьяльский и Сергей Соловьев: О биографическом подтексте «Серебряного голубя» Андрея Белого // Лавров А.В. Андрей Белый: Разыскания и этюды. М., 2007. С. 105–139.

[54] Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) — историк литературы, философ, публицист. «Возможно, Цветаева и видела Гершензона на собраниях “Мусагета”, но <...> знакомство с Гершензоном было шапочным, поскольку М.И. Цветаева познакомилась с ним только в 1921 г., когда Гершензон и Бердяев устраивали ее в Союз писателей» (*Войтехович Р.* Пушкинская эпоха в комментарии к текстам М. Цветаевой: Цветаева и «Грибоедовская Москва» М.О. Гершензона // Пушкинские чтения в Тарту. [Вып.] 4. Пушкинская эпоха: Проблемы рефлексии и комментария. Материалы международной конференции. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. С. 379–395; см. также: www.ruthenia.ru/document/543633.html).

[55] Характеристика карфагенской царицы Дидоны из трагедии Я.Б. Княжнина «Дидона» (1769).

[56] В издательстве «Мусагет» книга Цветаевой не вышла. Второй ее сборник «Волшебный фонарь» вышел в 1912 г. в издательстве «Оле-Лукойе» без художественной обложки. По свидетельству М.Л. Слонима, Цветаева говорила ему, что Ася Тургенева делала обложку для третьего сборника «Из двух книг» (М.: Оле-Лукойе, 1913). См.: *Слоним М.* О Марине Цветаевой: Из воспоминаний // Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 1992. С. 311.

[57] Анастасия Цветаева училась в московской гимназии В.В. Потоцкой.

[58] «Цветы маленькой Иды» (1835) — сказка датского писателя Г.Х. Андерсена (1805–1875).

[59] См., напр., стихотворения К.Д. Бальмонта «Она, как русалка...», «Зеленый и черный» и др.

[60] «Марина» в переводе с латинского – морская.

[61] Zahnschmerzen im Herzen (*нем.*) – зубная боль в сердце. Образ зубной боли в сердце (как любовной муки) Цветаева заимствовала из «Путевых картин» Г. Гейне (Часть 2. Идеи. Книга Ле Гран. Гл. XX; 1827). Ср. в переводе В.А. Зоргенфрея: «Мы маскируем даже свое несчастье, и, умирая от раны в груди, жалуемся на зубную боль. Madame, вы, конечно, знаете средство от зубной боли? Но у меня была зубная боль в сердце. Это самая скверная боль, и в этом случае хорошо помогают свинцовая пломба и зубной порошок, изобретенный Бертольдом Шварцем» (*Гейне Г.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1957. Т. 4. С. 157). Немецкий монах Бертольд Шварц считается изобретателем пороха в Европе (ок. 1330 г.). Сравнение любви с зубной болью Цветаева использовала также в «Повести о Сонечке»: «Вы когда-нибудь забываете, когда любите – что любите? Я – никогда. Это как зубная боль – только наоборот, наоборотная зубная боль, только там ноет, а здесь – и слова нет» (*Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 4. С. 321).

[62] Ср. аналогичный, поданный сквозь призму мифа об амазонках, соединенного с легендами о поэтессе с острова Лесбос Сапфо, тип восприятия разлуки с возлюбленной в «Истории одного посвящения» (1931): «Уезжала моя приятельница в дальний путь, замуж за море. Целые дни и вечера рвали с ней и жгли, днем рвали, вечером жгли, товарные составы, склады, трюмы писем и рукописей. <…>. Рвем. Жжем. <…>. С места не встав: – Вы к жениху через огненное море едете! <…>. “Когда ее подруги выходили замуж, она оплакивала их в свадебных песнях”, – так я впервые услышала о той, первой, от своего первого взрослого друга, переводчика Гераклита – рекшего: “В начале был огонь”» (*Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 4. С. 130). А также в «Письме к амазонке» (1934)): «<…> здесь я прощаюсь со всей расой, всем делом, всеми женщинами – в одной. Смена объекта. Смена берега и мира» (*Цветаева М.И.* Собр. соч. М., 1994. Т. 5. С. 490).

[63] Mignon (*фр.*) – букв. крошечная, миленькая. Героиня романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1785), девочка из труппы бродячего цирка, влюбленная в Вильгельма Мейстера. По мотивам романа Гете французским композитором Амбруазом Тома была написана опера «Миньон» (1866; либретто Мишеля Каре и Жюля Барбье). Если в романе Миньон умирает, то в опере – обретает богатство, отца благородного происхождения и любовь.

[64] По убедительному мнению Р. Войтеховича, «эта стычка с Ивановым не могла состояться в 1910 г., а если бы она состоялась, эхо ее было бы громогласным. <…> Трудно вообразить, какие громы и молнии могли вызвать слова о “выжатом лимоне” в 1910 году! Да и кто бы назвал “выжатым” еще только созревающее дарование? <…>. Вероятнее всего, стычка с Ивановым и заступничество Гершензона имели место в феврале 1915 г. на поэтическом вечере в доме Жуковских (Д.Е. Жуковского и А.К. Герцык)» (*Войтехович Р.* Пушкинская эпоха в комментарии к текстам М. Цветаевой: Цветаева и «Грибоедовская Москва» М.О. Гершензона. С. 379–395; см. также: www.ruthenia.ru/document/543633.html).

[65] «So laßt mich scheinen, bis ich werde, Zieht mir das weiße Kleid nicht aus!» (*нем.*) – начальные строки последней песни Миньоны из романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера». О том, что этот стих был знаком и любим ею с детства, Цветаева писала в очерке «Дом у Старого Пимена» (1933). 23 мая 1941 г. она сообщала в письме к А.С. Эфрон, что ей «предложили – из Консерватории – новые тексты к гетевским песням Шуберта: песни Миньоны». Предложение о переводе было воспринято без энтузиазма: «Не знаю тех переводов, но знаю, что именно эти вещи Гете – непереводимы, не говоря уже о пригнании их к уже существующей музыке: ведь Шуберт-то писал – с Гете, а я должна – чтобы

можно было петь – писать с Шуберта, т.е. не с Гете, а с музыки. Но даже вне этого <...>. Такие вещи можно переводить только абсолютно-вольно, т.е. в духе и в слухе, но – неизбежно заменяя образы, а я этого – на этот раз – не хочу и не могу, ибо это – совершенно. Поэтому – отказываюсь: пусть портят: фантазируют или дают рифмованный подстрочник – другие». Тем не менее свой вариант подстрочника начальных строк этой песни Цветаева все же дала: «<...> вот дословный перевод одной из лучших – все лучшие! – тогда скажем: моей любимой песни Миньоны: – О, дай мне казаться, пока я буду (сбудусь, но это уже – толкование), а размер онегинский, не вмещающий» (*Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 7. С. 752). На том, что «werde» в этой строке надо понимать как «сбудусь я там по образу своей души», Цветаева настаивала и в «Доме у Старого Пимена» (Т. 5. С. 131).

[66] Имеется в виду отъезд в конце 1910 г. А.А. Тургеневой и Белого в длительное заграничное путешествие (Египет, Тунис, Сицилия и др.). Хотя их брак не был еще заключен, эта поездка воспринималась всеми как свадебное путешествие.

[67] Âme en peine – d'éternité (*фр.*) – потерянная душа – в вечности.

[68] В Нерчинск (ныне Читинская область), в тюрьму и на рудники, отправляли осужденных к каторжным работам; за декабристами в Нерчинск поехали и их жены, на которых Цветаева, как кажется, намекает. В Монреале (пригород Палермо; Сицилия) А.А. Тургенева и Андрей Белый приехали в декабре 1910 г.

[69] Вторая, заключительная строфа из стихотворения Цветаевой «Из сказки в жизнь», навеянного отъездом Аси Тургеневой с Андреем Белым в свадебное путешествие; первая строфа: «Хоть в вагоне темном и неловко, / Хорошо под шум колес уснуть! / Добрый путь, Жемчужная Головка, / Добрый путь!».

[70] В 1909 г. В.О. Нилендер был влюблен в Цветаеву и делал ей предложение. Цветаева также была им увлечена и посвятила ему несколько стихотворений в своих первых сборниках «Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный фонарь» (1912).

[71] Ср. характеристику В.О. Нилендера в стихотворении Цветаевой «Perpetuum mobile»: «Мудрец-филолог с грудой книг» (сб. «Вечерний альбом»), а также в очерке о М.А. Волошине «Живое о живом» (1932): «Об Орфее я впервые, ушами души, а не головы, услышала от человека, которого – как тогда решила – первого любила, ибо надо же установить первого, чтобы не быть потом в печальной необходимости признаться, что любила всегда или никогда. Это был переводчик Гераклита и гимнов Орфея. <...> Забыла я или не забыла переводчика гимнов Орфея – сама не знаю» (*Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 4. С. 195–196). Нилендер вел при издательстве «Мусагет» семинарий по «Орфическим гимнам», занимался их переводом и изучением. В серии «Орфей» издательства «Мусагет» в переводе и с предисловием Нилендера вышла книга «Гераклит Эфесский. Фрагменты» (М., 1910), в той же серии в переводе Нилендера планировалось выпустить и «Гимны Орфея», однако это издание не осуществилось (см.: *Толстых Г.А.* Издательство «Мусагет» // Книга: исследования и материалы. М., 1988. Сб. 56. С. 112–130).

[72] В феврале 1912 г. Цветаева с мужем С.Я. Эфроном отправились в свадебное путешествие, во время которого побывали во Франции, Германии, Италии, в том числе и на Сицилии.

[73] «Августу фон Платену – его друзья» (*нем.*). Немецкий поэт и драматург, граф Август фон Платен (1796–1835) с 1926 г. жил в Италии, умер в Сицилии, в городе Сиракузы. Речь идет о посещении Цветаевой его памятника в 1912 г. во время свадебного путешествия. Ср. воспоминание об этом эпизоде в ее «Записной книжке № 3» (1916–1918): «И вдруг – как молния – воспоминание о Сиракузах. Огромный, буйный, черно-зеленый сад. Розы, розы,

розы. И девочка лет четырнадцати. Лохмы волос, лохмы одежд. – Лоскут пламени. – Глухонемая. Бежит, бежит, бежит вперед по узкой тропинке. (Слева спуск). Сердце бьется от ее бега. И вдруг – встала. И в полоборота: рукой: Глядите! Что-то белое в зелени. Памятник. Подходим. – "August von Platen. Seine Freunde"» (*Цветаева М.* Записные книжки: В 2 т. / Сост., подгот. текста, предисл. и прим. Е.Б. Коркиной и М.Г. Крутиковой. М.: Эллис Лак, 2000–2001. Т. 1. С. 154).

[74] Они обвенчались в 1912 г.; в 1920 г. брак распался.

[75] В 1915 г. Сергей Соловьев поступил в Московскую духовную семинарию и был рукоположен в диаконы, в 1916 г. – в священники; в 1920 г. перешел в католицизм, в 1923 г. возглавил московскую общину католиков восточного обряда, в 1926 г. был назначен вице-экзархом католиков восточного обряда в СССР.

[76] Неточная цитата из стихотворения С.М. Соловьева «Путь царевны» (вошло в сб. «Цветник царевны. Третья книга стихов (1909–1912)». М., 1913), в оригинале: «Знают шумно и напевно в полночь вставшие снега, / Как свершает путь царевна, взяв оленя за рога».

[77] Сиротка – героиня сентиментальной повести американской писательницы и художницы Цецилии Джемисон (1837–1909). Повесть «Леди Джэн» (1891) начиная с 1892 г. неоднократно издавалась на русском и входила в круг любимых книг девочек среднего возраста.

[78] Умершую осенью 1920 г. дочь С.М. Соловьева и Т.А. Тургеневой звали Марией (род. 1914). У Т.А. Тургеневой остались две дочери от Сергея Соловьева – Ольга и Наталья; позже от брака с Г.Е. Амитировым родился сын Юрий Гурьевич Амитиров-Тургенев.

[79] Театральный отдел Наркомпроса.

[80] Речь идет о доме на Поварской улице, описанном Л.Н. Толстым в «Войне и мире» как принадлежащий Ростовым (дом № 52). Там в начале 1920-х помещался Дворец Искусств (см.: *Евстигнеева А.Л.* Особняк на Поварской (Из истории Московского Дворца Искусств) // Встречи с прошлым. Вып. 8. М.: Русская книга, 1996. С. 116–164).

[81] Иван Сергеевич Рукавишников (1877–1930) – поэт, писатель; директор Дворца Искусств.

[82] Литературная группа, возникшая в 1920 г. и просуществовавшая до 1921 г. См. их творческое кредо в сб.: Литературные манифесты от символизма до наших дней / Сост. С. Джимбинов, М., 2000. В состав группы входили Борис Земенков, Сусанна Мар и др.

[83] Цитируются, с небольшими неточностями, последние строки стихотворения И.Ф. Анненского «Среди миров» (1901).

[84] Перетанцовывает (*нем.*).

[85] Эсмеральда – героиня романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831), Джали – ее козочка.

[86] Я перелетаю через вас! (*нем.*).

[87] Имеется в виду Р. Штейнер, поселившийся в 1913 г. в Швейцарии (в Дорнахе). Цветаева, очевидно, обыгрывает название его книги «Очерк тайноведения» (в русском переводе – М., 1916).

[88] Белый снимал квартиру в Цоссене, пригороде Берлина, с начала мая по начало июля 1922 г.

[89] Начало стихотворения Ф.И. Тютчева (1839).

[90] Ада Артемьевна Чумаченко (1887–1954) – поэтесса, прозаик, детская писательница.

[91] В доме историка литературы Петра Семеновича Когана (1872–1932) и его жены, переводчицы Надежды Александровны Нолле-Коган (1888–1966), Блок останавливался во время приездов в Москву в 1920 и 1921 гг.

[92] Имеется в виду Анри Грасьен Бертран (1773–1844), ближайший сподвижник Наполеона, граф, дивизионный генерал, адъютант Наполеона (с 1804 г.), затем гофмаршал Наполеона, верный его сподвижник, последовавший за ним на о. Эльба (1814) и о. Св. Елены (1816–1821).

[93] Речь идет о вечере памяти Блока в Политехническом музее 26 сентября 1921 г.

[94] П.С. Коган содействовал изданию в 1922 г. поэмы Цветаевой «Царь-Девица» в Москве в Государственном издательстве (ГИЗе).

[95] После революции Коган был профессором и недолгое время – ректором МГУ. С 1921 г. занимал пост президента Государственной академии художественных наук (ГАХН).

[96] Вера Алексеевна Зайцева (урожд. Орешникова; 1877–1965) – жена писателя Б.К. Зайцева.

[97] Проданный в Египет в рабство Иосиф прельстил красотой жену своего господина. Однако ее попытки склонить целомудренного юношу к прелюбодеянию оказались напрасны: Иосиф отверг соблазн, был оклеветан и заточен в темницу (Быт. 39).

[98] 2 февраля 1935 г. в Париже Цветаева прочитала на литературном вечере доклад «Моя встреча с Блоком»; текст его не сохранился.

[99] Из «Фауста» Гете. В переводе Б.Л. Пастернака: «Духи (в сенях) / Один из нас в ловушке!» (буквально: «Один в плену»).

[100] М.И. Цветаева с дочерью приехали в Берлин 15 мая 1922 г.; 31 июля 1922 г. уехали из Берлина в Прагу. О ее отношениях с Белым см.: *Саакянц А.* Встреча поэтов. Андрей Белый и Марина Цветаева // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 367–385.

[101] Белому нередко мерещилось, что за ним ведется слежка. Шпион представлялся ему в образе «брюнета». См. об этом, напр., в «Записках чудака» и мемуарах «Между двух революций».

[102] В селе Дроздово Владимирской губернии родился отец Цветаевой. В г. Александрове Владимирской губернии Цветаева была летом 1916 г. (там в это время жила ее сестра с семьей). Ср. в «Истории одного посвящения» (1932): «Город Александров Владимирской губернии, моей губернии, – Ильи Муромца губернии. Оттуда из села Талицы, близ города Шуи, наш цветаевский род. Священнический. <...> оттуда мои поэмы по две тысячи строк и черновики к ним – в двадцать тысяч, оттуда у моего сына голова, не вмещающаяся ни в один головной убор. Большеголовые все. Наша примета. Оттуда – лучше, больше чем стихи (стихи от матери, как и остальные мои беды) – воля к ним, к ним и ко всему другому – от четверостишия до четырехпудового мешка, который нужно – поднять – что! – донесть. Оттуда – сердце, не аллегория, а анатомия, орган, сплошной мускул, сердце, несущее меня вскачь в гору две версты подряд – и больше, если нужно, оно же падающее и опрокидывающее меня при первом вираже автомобиля. Сердце не поэта, а пешехода. <...> Оттуда (село Талицы, Владимирской губ., где я никогда не была), – оттуда – все. Город Александров, Владимирской губ.» (*Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 4. С. 139–140).

[103] Ср. в мемуарном очерке Цветаевой «Хлыстовки» (1934): «Ихнее гнездо хлыстовское было, собственно, входом в город Тарусу. <...> Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника» (*Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 5. С. 92, 97).

[104] Цветаева намекает на то, что с Тарусы «списана» в романе «Серебряный голубь» деревня Целебеево, в которой действовала описываемая секта. Сторонником этой версии был Л.К. Долгополов (*Долгополов Л.К.* Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988. С. 180). Однако Белый, никогда в Тарусе не бывавший, указывал, что прототипом деревни Целебеево послужила деревня Надовражино. См.: *Лавров А.В.* Дарьяльский и Сергей Соловьев: О биографическом подтексте в «Серебряном голубе» Андрея Белого // Лавров А.В. Андрей Белый: Разыскания и этюды. С. 113.

[105] И.В. Цветаев был профессором Московского университета (с 1877 г.), заведовал кафедрой теории и истории изящных искусств. Он был также профессором Варшавского и Киевского университетов.

[106] Рок, судьба (*нем.*).

[107] Г.Х. Андерсен был сыном сапожника, а не гробовщика.

[108] Возможно, Цветаева обыгрывает название второго романа «московского» цикла Белого — «Москва под ударом».

[109] Сб. стихов М. Цветаевой «Разлука» вышел в издательстве «Геликон» в 1922 г.

[110] Статья Белого «Поэтесса-певица» была напечатана в берлинской газете «Голос России» 21 мая 1922 г. Белый подчеркивал, что стихи Цветаевой «от ритма и образа явно восходят к мелодии, утраченной со времен трубадуров», что в сравнении с другими русскими поэтами она «композиторша и певица» и поэтому «хотелось бы слушать пение Марины Цветаевой лично...».

[111] Sehnsucht (*нем.*) — тоска.

[112] *Цветаева М.* Царь-Девица: Поэма-сказка. Пб.; Берлин: Эпоха, 1921. Белый также содействовал публикации в журнале «Эпопея» (М., Берлин: Геликон) ее стихотворного цикла «Отрок» (1922. № 2) и статьи-рецензии «Световой ливень» (1922. № 3). См. в письме Белого к Цветаевой от 24 июня 1922 г.: «<...> мне ведь надо еще с Вами переговорить о деле (о “Эпохе”, Вашей поэме и т.д.)» (*Саакянц А.* Встреча поэтов: Андрей Белый и Марина Цветаева // Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 381). Сборник Цветаевой «Версты» выходил в издательстве «Костры» (М., 1921; 2-е изд., испр., 1922) и в Государственном издательстве (Вып. 1. М., 1922). В издательстве «Огоньки» при посредничестве И.Г. Эренбурга вышли «Стихи к Блоку» (Берлин, 1922).

[113] Schutzmann (*нем.*) — полицейский (schutz — защита; mann — мужчина).

[114] Ср. в «Котике Летаеве»: «Помню я отчетливо крик: “Лев идет”; косматую гриву и пасти оскал, громадное тело среди желтеющих песков. Мне потом говорили, что Лев — сенбернар, на Собачьей площадке к играющим детям подходил он».

[115] «Моя жизнь» — название автобиографический эпопеи Андрея Белого. Серия произведений, объединенных этим общим заглавием, была задумана Белым в 1915 г. в Дорнахе, начата романом «Котик Летаев» и продолжена в Москве романами «Записки чудака» и «Преступление Николая Летаева» («Крещеный китаец»). В полной мере замысел реализован не был.

[116] Если такой разговор происходил, то речь, безусловно, шла бы о кладбище Новодевичьего монастыря, где в 1903 г. был похоронен отец писателя Н.В. Бугаев.

[117] Coup de foudre (*фр.*) — буквально: удар грома; в переносном смысле: любовь с первого взгляда.

[118] Готтентоты — голландское название группы южноафриканских племен. Их «своеобразный быт, в основе кочевой, но вместе с тем крайне первобытный, грязный, грубый, — некоторые странные нравы и обычаи — все это представлялось крайне курьезным и вы-

звало уже в XVIII в. ряд описаний путешественников, видевших в этом племени самую низшую ступень человечества», – сообщалось в энциклопедии Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона (автор – антрополог и этнограф Д.Н. Анучин). Образ отсталого готтентота-дикаря уже в XIX в. стал популярен в русском культурном, философском и политическом лексиконе (напр., в «Философических письмах» П.Я. Чаадаева или «Фрегате “Паллада”» И.А. Гончарова). Актуализации «готтентотской» темы способствовало восстание готтентотов (1904–1907), подавлением которого была серьезно озабочена Европа. В конце XIX – начале XX в. вошли в моду рассуждения о готтентотской морали как противоположности христианской этике, часто встречавшиеся в политической риторике того времени (от С.Л. Франка и Н.А. Бердяева до Н.И. Бухарина и Л.Д. Троцкого). Образ «знаменитого готтентота, утверждавшего, что добро – это когда он украдет много коров, а зло – когда у него украдут» использовал В.С. Соловьев во введении («Нравственная философия как самостоятельная наука») к своей книге «Оправдание добра. Нравственная философия» (*Соловьев В.С.* Оправдание добра: Нравственная философия / Вступит. ст. А.Н. Голубева, Л.В. Коноваловой. М., 1996. С. 58). См. также обыгрывание В.С. Соловьевым этой философской максимы в его работе «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об антихристе и с приложениями»:

«Генерал: Ну, нет! И я отлично понимаю, что война может быть иногда очень плохим делом, именно когда нас бьют, как, например, под Нарвой или Аустерлицем, и мир может быть прекрасным делом <...>.

Дама: Это, кажется, варьянт знаменитого изречения того кафра или готтентота, который говорил миссионеру, что он отлично понимает разницу между добром и злом: добро – это когда я уведу чужих жен и коров, а зло – когда у меня уведут моих.

Генерал: Да ведь это мы с африканцем-то вашим только сострили: он нечаянно, а я нарочно» (*Соловьев В.С.* Смысл любви: Избранные произведения / Сост., вступит. ст., коммент. Н.И. Цимбаева. М., 1991. С. 309).

[119] Название первого поэтического сборника Белого (М., 1904).

[120] Имеется в виду повесть Адельберта фон Шамиссо (1781–1838) «Необычайная история Петера Шлемиля» (1814), герой которой продал свою тень «человеку в сером» – дьяволу.

[121] Речь идет о поэте Александре Борисовиче Кусикове (настоящая фамилия: Кусикян; 1896–1977), к которому Белый ревновал Асю.

[122] В поэзии и в жизни Кусиков постоянно обыгрывал свое черкесское происхождение, воспевал дикий горский нрав и быт (с конем и кинжалом как его обязательными атрибутами). См. его автобиографию: «Имею недвижимость: бурку, бешмет, башлык, папаху и чувяки. Жены нет, но детей имею: дочь – шашка, сын – кинжал, приемная дочь – винтовка, приемный сын – пистолет. Единственный и верный мой друг – конь» (Новая русская книга. 1922. № 3. С. 43; рубрика «Писатели о себе»).

[123] «Офейра», путевые заметки о совместном путешествии 1910–1911 гг., были опубликованы только в 1922 г. В качестве эмоциональной преамбулы («Вместо предисловия») к «Офейре» Белый использовал отрывок из «Записок чудака» (датированный 1919 г.), в котором Ася фигурирует под именем Нэлли и характеризуется как «юный ангел: сквозной, ясный, солнечный <...> посвятительный вестник каких-то забытых мистерий» (*Андрей Белый.* Офейра: Путевые заметки. Часть первая. М.: Книгоиздательство писателей в Москве, 1921. С. 6). Однако Ася как жена появляется уже в первой строке первой главе «Офейры»: «Мы с женой улыбаемся: Ася в коричневом, легком пальто...» (Там же. С. 7). Примечатель-

но, что во время описываемого путешествия Белый и Ася не состояли в браке; гражданский брак был заключен только в 1914 г.

[124] Речь идет об окончательном разрыве отношений с Асей Тургеневой, произошедшем в марте–апреле 1922 г. Белый был травмирован как самим фактом разрыва, так и невозможностью тесно пообщаться, поговорить со своей женой: она жила в Дорнахе и появлялась в Берлине исключительно в связи с антропософской деятельностью. «<...> мы с ней виделись мимолетом, при ее проездах через Берлин», – сетовал он в письме к Иванову-Разумнику от 18 ноября 1923 г. (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 254).

[125] Ставшая поговоркой цитата из драмы Ф. Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» (1783).

[126] «После разлуки: Берлинский песенник» (Пб.; Берлин: Эпоха, 1922).

[127] Из стихотворений, вошедших в сборник «После разлуки»: «Нет» («Ты, вставая, сказала, что – нет!»), «Маленький балаган на маленькой планете “Земля”», «Ты – тень теней». Цитируются с неточностями.

[128] О том, что его в детские годы постоянно водили гулять на Пречистенский бульвар, Белый вспоминал в мемуарах «На рубеже двух столетий».

[129] Летом 1922 г. Але было неполных десять лет.

[130] Haferbrühe – овсяная похлебка; brühe – похлебка; brüten – высиживать (птенцов); milchsuppe – молочный суп (*нем.*).

[131] Зоопарк (*нем.*).

[132] Ср. в письме М.И. Цветаевой, отправленном 19 апреля 1934 г. редактору журнала «Современные записки» В.В. Рудневу вскоре после сдачи «Пленного духа» в набор: «Милый Вадим Викторович, Давайте – сноску: *Kaufhaus des Westens – универсальный берлинский магазин <...>» (*Цветаева М.*, *Руднев В.* «Надеюсь – сговоримся легко»: Письма 1933–1937 годов / Изд. подготовлено Л.А. Мнухиным. М., 2005. С. 51).

[133] По сравнению с родным для Цветаевой Трехпрудным переулком расположенный юго-западнее, уже за Садовым кольцом, район Пресни выглядел тогда достаточно провинциально.

[134] В Берлине Белый в это время печатал в журнале «Эпопея» (1922–1923. № 1–4) расширенную по сравнению с опубликованной ранее в «Записках мечтателей» (1921. № 6) редакцию воспоминаний о Блоке, в которой уделил немало внимания сложностям в отношениях, возникшим из-за его трагической любви к Л.Д. Блок. По-видимому, об этих воспоминаниях оставила Цветаева ремарку в «Записной книжке» № 10 (1923): «Белый о Блоке. Внутр<енняя> рад<ость>, дающая внешнюю» (*Цветаева М.* Неизданное. Записные книжки. Т. II. С. 290).

[135] Ставшие популярной песней стихи из поэмы Н.А. Некрасова «Коробейники» (1861) – «Ой полна, полна коробушка, / Есть и ситцы, и парча».

[136] Фабрика, принадлежащая династии купцов Лукутиных, прославилась производством изделий из папье-маше, украшенных лаковой росписью, – табакерок, шкатулок, подносов и т.д. Изделия помечались клеймом с фамилией и инициалами владельца промысла: Петра Васильевича Лукутина (1784–1863), затем – его сына Александра Петровича (1819–1888) и внука Николая Александровича (1853–1902). В 1904 г. фабрика была закрыта, а в 1910 г. производство популярных изделий возобновила «Федоскинская трудовая артель бывших мастеров фабрики Лукутина».

[137] Аллюзия на стихотворение А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...» (1908). См. ниже.

[138] Внебрачный сын Л.Д. Блок Дмитрий родился 2 февраля 1909 г. и спустя 8 дней (10 февраля) умер. Эти же слова Блока приводит в мемуарах «Мой лунный друг» З.Н. Гиппиус (впервые: журнал «Окно» (Париж). 1923. № 1. С. 130):

«Наконец однажды, поздно, известие: родился мальчик. <...> Ребенок был слаб, отравлен, но Блок не верил, что он умрет: “он такой большой”. Выбрал имя ему – Дмитрий, в честь Менделеева.

У нас в столовой, за чаем, Блок молчит, смотрит не по-своему, светло – и рассеянно.

– О чем вы думаете?

– Да вот... Как его теперь... Митьку... воспитывать?..

Митька этот бедный умер на восьмой или на десятый день».

[139] Цитируются (неточно) и переосмысляются заключительные строки из стихотворения А. Блока «На смерть младенца» (февраль, 1909). У Блока – не «стоять», а «скорбеть»: «Но – быть коленопреклоненным, / Тебя благодарить, скорбя? – / Нет. Над младенцем, над блаженным, / Скорбеть я буду без Тебя».

[140] Из стихотворения А.С. Пушкина «Эпитафия младенцу» (1829), посвященного Николаю Волконскому (1826–1828) – сыну декабриста Сергея Григорьевича Волконского и Марии Николаевны Волконской (урожд. Раевской; 1805–1863). Уезжая за мужем в Сибирь, она оставила годовалого ребенка у отца, генерала Н.Н. Раевского; через год мальчик скончался. Пушкинская эпитафия была выбита на его надгробии.

[141] Из стихотворения А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...» (1908).

[142] В письме к Р.Н. Ломоносовой от 1 февраля 1930 г. Цветаева сообщала: «Сейчас пишу большую поэму о Царской Семье (конец) <...> “Для потомства?” Нет. Для очистки совести. И еще от сознания силы: любви и, если хотите, – дара. Из любящих только я смогу. Потому и должна» (*Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 7. С. 317). Текст не сохранился.

[143] Сергей Яковлевич Эфрон (1893–1941), офицер, участник Добровольческой армии. После разгрома белых через Константинополь перебрался в Прагу, где начал учиться на философском факультете Карлова университета. В Берлин приехал 7 июня 1922 г.

[144] Р. Штейнера.

[145] Возможно, имеется в виду переработка первого поэтического сборника Белого для издательства З.И. Гржебина, в котором первоначально (в 1920–1921 гг.) планировался выпуск 20-томного собрания сочинений Белого, но проект не осуществился. В итоге в издательстве Гржебина вышел сб. «Стихотворения» (Берлин; Пб.; М., 1923), открывающийся разделом «Золото в лазури». Подробнее см.: *Лавров А.В.* О книге Андрея Белого «Стихотворения» (1923) // Андрей Белый. Стихотворения. М.: Книга, 1988 (серия «Из литературного наследия»). <Переиздание книги «Стихотворения» 1923 г.>. С. 531–542.

[146] С.Я. Эфрон.

[147] Ober (*нем.*) – старший официант (*разг.*).

[148] Прим. М. Цветаевой: «Папка, по-немецки, Mappe, а Pappe – бессмыслица».

[149] «Ты» (*нем.*). Главный герой романа Якоба Вассермана (1873–1934) «Каспар Хаузер, или Леность сердца» (1908). Прототип главного героя произведения – реальный Каспар Хаузер (1812–1833), юноша-найденыш (возможно, королевского происхождения), который был обнаружен в Нюрнберге не умеющим говорить, не знающим азов социальной жизни, но обладающим первозданным восприятием мира. Об увлеченности Цветаевой этим персонажем см. ее письма к О. Обри (1935 г.) и А.С. Штейгеру (15 сентября 1936 г.). См.: *Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 7. С. 553–554, 616–617.

[150] «Передо мной хоть потоп!» (*фр.*). Обыграно выражение «Aprés nous le déluge» («После нас хоть потоп»), приписываемое чаще всего Людовику XV или его фаворитке маркизе Помпадур.

[151] Имеется в виду основатель династии дрессировщиков Владимир Леонидович Дуров (1863–1934), знаменитый цирковой артист и зоопсихолог. Обыгранный Цветаевой эпизод произошел еще до того, как Дуров стал артистом, когда ему в юности удалось на спор с помощью силы воли и мысли обуздать разъяренного одичавшего дога, обнаруженного на одной из заброшенных дач. Случай был подробно описан в книге В.Л. Дурова «Дрессировка животных. Психологические наблюдения над животными, дрессированными по моему методу (40-летний опыт). Новое в зоопсихологии» (М.: Универсальное издательство, 1924. С. 30–31).

[152] От названия буквы греческого алфавита «йота» – самой маленькой по виду. Ср.: «Доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5:18).

[153] Шарлоттенбург (Charlottenburg) – пригород Берлина; знаменит дворцом, построенным в XVII в. для супруги курфюрста Фридриха III Софии Шарлотты, и дворцовым парком.

[154] Дальше, дальше (*нем.*).

[155] Имеется в виду отдых Белого в Свинемюнде (курорт на Балтийском мире) с 6 августа по 6 сентября 1922 г.

[156] См. об этом в наст. изд. в очерках В. Ходасевича, М. Осоргина и др.

[157] Описываемые ниже события произошли не в ноябре, а в октябре или сентябре. Белый уехал из Берлина в Россию 23 октября 1923 г.

[158] Цветаева уехала из Берлина в Чехословакию 31 июля 1922 г.; 5 августа прибыла в Прагу (первоначально остановилась на окраине города в общежитии студентов-стипендиатов правительства Чехословацкой Республики); в Чехословакии прожила до конца октября 1925 г.; с 1 ноября 1925 г. – во Франции.

[159] Смихов – предместье Праги (сейчас район), находится на левом берегу реки Влтавы (Старый город – на противоположном). Упомянутый Смиховский холм – Петршин холм – фигурирует в поэме Цветаевой «Гора» (1924). В этом районе (Шведская улица, д. 1373) Цветаева поселилась в сентябре 1923 г.

[160] Марк Львович Слоним (1894–1976) – общественно-политический деятель (член партии эсеров, депутат Учредительного собрания, деятель Земгора), литератор, журналист, один из редакторов журнала «Воля России», издававшегося с 1922 г. в Праге (потом в Париже).

[161] Имеется в виду так называемая «Русская акция» – принятая в 1921 г. правительством Чехословацкой Республики (президент Томаш Масарик) программа регулирования численности и состава русской эмиграции путем материальной поддержки (стипендии и другие пособия и льготы) определенных социальных слоев, прежде всего – студентов, деятелей науки и культуры.

[162] Ср. ее письмо к А.В. Бахраху из Праги от 4 октября 1923 г.:

«У меня к Вам большая просьба – если Вы еще в Берлине <...>. Дело в том, что необходимо перевести (перевезти!) Белого в Прагу, он не должен ехать в Россию, слава Богу, что его не пустили, он должен быть в Праге, здесь ему дадут иждивение (stride necessaire) и здесь, в конце концов, я, которая его нежно люблю и – что лучше – ему преданна. Говорила со Слонимом (знаете такого?) Он обещал сегодня же написать Белому, без его согласия

нельзя начинать хлопот, а он вероломен. Нужно держать его в руках, жужжать ему в уши, — чтобы он не отвильнул, не передернул. Я знаю, что Прага для него — спасение. Во-первых: он обеспечен, во-вторых: чудный город, в-третьих: люди или одиночество на выбор, — как хочет, в-четвертых: я, т.е. моя готовность ему помогать и о нем заботиться: ЛЮБЯ, С РАДОСТЬЮ-и-НЕУСТАННО. Все это ему передайте. Получать он будет около 800 кр‹он› в месяц, не меньше, жить можно (будет подрабатывать). И запретите ему всей моей волей — от иждивения отказываться. Пусть непременно примет. Без этого ехать бессмысленно. <...> Настойте! Будьте судьбой! Стойте над ним неустанно. И — главное — в нужный час — посадите в вагон! Я встречу. Умоляю Вас Христом Богом, сделайте это! Здесь он будет писать и дышать. В России — ему нечего делать, я знаю, как там любят! <...> Итак, еще раз напоминаю о Белом. Если еще не уехал — пусть едет в Прагу. Но до этого пусть известит: да, и после этого — пусть не отказывается. Дело сделаем быстро, и визу и иждивение, — всё. Мне будет помогать Слоним. Так ему и скажите. И передайте ему от меня всю мою нежность и память. ЗАГОВОРИТЕ, ЗАВОРОЖИТЕ его, — иначе его не возьмешь! Будьте его ВОЛЕЙ, и возьмите на подмогу — мою. Обо всем этом немедленно же ответьте на Smichov: Praha, Smichov, Švedska ulice č. 1373» (*Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 6. С. 618–620).

[163] Никодим Павлович Кондаков (1844–1925), историк византийского и древнерусского искусства, действительный член Петербургской АН (1892), эмигрировал в 1919 г. (сначала в Константинополь, потом в Софию); в 1922–1925 гг. профессор Карлова университета в Праге (С.Я. Эфрон был его студентом). Он также получал — в рамках «Русской акции» — так называемую «чешскую стипендию». Цветаева ценила положительный отзыв Н.П. Кондакова о своих стихах и тяжело переживала его кончину (17 февраля 1925 г.). Ср. характеристику, данную ему в письме М.И. Цветаевой к Р.Н. Ломоносовой от 12 сентября 1929 г.: «(<...> иконопись, археология, архаика, — 80-летнее светило) — ныне один из самых деятельных — не хочу сказать вождей, не потому что не вождь, а потому что вождь — не то, просто — отбросив “один из” — сердце Евразийства» (*Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 7. С. 314).

[164] О том, что Белый собирается уехать из Берлина в Чехословакию, сообщалось в газете «Дни» 14 октября 1923 г.

[165] Сообщение о его отъезде в Москву было напечатано в газете «Дни» 28 октября 1923 г.

[166] Ср. в мемуарах Н.Н. Берберовой:

«Я как-то спросила его:

— Борис Николаевич, вы любите Цветаеву? — В этом вопросе, принимая во внимание весь контекст нашего разговора, было мое любопытство к его отношению и к стихам Марины Ивановны, и к ней самой. Он еще шире раздвинул рот, напомнив Николая Аполлоновича Аблеухова, и ответил слово в слово следующее:

— Я очень люблю Марину Ивановну. Как же я могу ее не любить? Она — дочь профессора Цветаева, а я — сын профессора Бугаева.

Я не поверила своим ушам и через год, в Праге, когда он уже был в Москве и уже было напечатано его стихотворение к ней (про малиновые мелодии), рассказала про этот ответ Марине Ивановне. Она засмеялась с какой-то грустью и сказала, что она не раз слышала от него совершенно такие же дурацкие ответы на вопросы о людях и книгах. (Она использовала его ответ мне в своих воспоминаниях о Белом)» (*Берберова Н.* Курсив мой: Автобиография: В 2 т. NY, 1983. С. 182).

[167] Из «Фауста» Гете. В переводе Б.Л. Пастернака: «Духи (в сенях) <...> И он в родном кругу». «Losgemacht» — буквально: освободился, высвободился.

[168] Георгий Сергеевич Эфрон (1925–1944) – сын М.И. Цветаевой и С.Я. Эфрона.

[169] Сообщение о смерти Белого было напечатано в газете «Последние новости» 12 января 1934 г. на первой странице.

[170] Начальные строки стихотворения Андрея Белого «Друзьям» (1907).

[171] Описание фотографии 1922 г., помещенной в «Последних новостях» от 12 января 1934 г.

[172] Описание фотографии, помещенной в следующем номере «Последних новостей», от 13 января.

[173] Комплекс строений Сергиевского православного богословского института в Париже (основан в 1925 г.) с храмом во имя преподобного Сергия Радонежского (см.: Свято-Сергиевское Подворье в Париже: К 75-летию со дня основания. СПб.,1999).

[174] Белый был кремирован 10 января 1934 г. Панихида в Сергиевском подворье состоялась 20 января 1934 г.

[175] Философ и богослов Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944; принял священнический сан в 1918 г.) с 1925 г. и до смерти в 1944 г. был профессором догматики, Ветхого Завета и христианской социологии Сергиевского православного богословского института (1925–1944), его инспектором (1931 г.) и деканом (с 1940 по 1944 г.).

[176] «Десяток из пишущего мира» перечислен в заметке о прошедшей панихиде в газете «Последние новости» (1934. 21 января): «На панихиде присутствовали некоторые из живущих в Париже русских литераторов. В числе них: Н.Н. Берберова, В.В. Вейдле, Н.Д. Городецкая, С.П. Ремизова-Довгелло, Р. Словцов, М.А. Струве, С.Г. Сумской, В.Ф. Ходасевич и М.И. Цветаева».

[177] Имеется в виду очерк Цветаевой «Живое о живом» (1932), посвященный М.А. Волошину.

[178] Сб. стихов Андрея Белого «После разлуки: Берлинский песенник» (Пб.; Берлин: Эпоха, 1922).

[179] Впервые стихотворение было напечатано в журнале «Эпопея» (1922, № 2). О внутренней полемике Цветаевой с Белым и – в этой связи – о слегка искаженном (в строфике, пунктуации) мистификаторском цитировании этого и других стихотворений Белого в очерке «Пленный дух» см. статью Е.В. Хворостьяновой «Мистификация в творческой автобиографии (Марина Цветаева – Андрей Белый) в сб. «Москва и “Москва” Андрея Белого». М., 1999. С. 317–348.

Подготовка текста и комментарии
Л.А. Мнухина, М.Л. Спивак, послесловие Л.А. Мнухина

Е.В. Наседкина

СМЕРТЬ АНДРЕЯ БЕЛОГО В ПИСЬМАХ И ЗАПИСЯХ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

«На этой строке узнала о смерти Андрея Белого 8 января в Москве, 58 л<ет> отроду. Мог бы жить еще 20 лет»[1]. Такую запись оставила Цветаева в черновой тетради, когда работала над стихотворением «Деревья» («Кварталом хорошего тона...»; закончено в ноябре 1935 г.), после строки «Деревья бросаются в окна».

Цветаева сразу же приступила к написанию мемуаров. 16 января в письме к В.Н. Буниной она сообщила о начавшейся работе:

«<...> Ваш последний возглас о Белом попал – *как нож острием попадает в стол и чудом держится* – в мою строку:

– Такая, как он без моих слов увидел ее: высокая, с высокой, даже вознесенной шеей, над которой точеные выступы подбородка и рта <...>. Это – о девушке, любившей Белого, когда я была маленькой и о которой (о любви которой) он узнал только 14 лет спустя, от меня...

Я сейчас пишу о Белом, ça me hante[2]. Так как я всегда все (душевно) обскакиваю, я уже слышу, как будут говорить, а м. б. и писать, что я превращаюсь в какую-нибудь плакальщицу <...>»[3].

Цветаева пересказывает эпизод с Бишеткой, помещенный – в слегка измененном виде – в начало очерка.

Через два дня она выступит на вечере памяти Белого в литературном объединении «Кочевье». Об этом 18 января сообщали «Последние новости»:

«*18 января. “Кочевье”*.

Сегодня в верхнем зале Сосьете де Жеографи (184, бул. Сен Жермен, метро Сен Жермен и рю дю Бан) состоится вечер памяти Андрея Белого. Вступительное слово скажет М.Л. Слоним. В вечере примут участие В. Андреев, Г. Газданов, Ю. Мандельштам, Б. Поплавский, д-р Прокопенко, Б. Сосинский, М. Цветаева и друг<ие>. Начало ровно в 9 час» (№ 18 (4684). С. 3)[4].

Судя по письмам друзьям, работа над мемуарами полностью захватила Цветаеву. Своей чешской приятельнице А.А. Тесковой в письме от 26 января она обещает: «В следующий раз напишу вам про две смерти: Андрея Белого и одного друга <...>»[5]. Чуть позже (5 февраля) сообщает В.Н. Буниной о своем «ежеутреннем» желании «писать о Белом»[6].

Параллельно с Цветаевой над мемуарами о Белом работали и другие представители русской эмиграции в Париже. Скорее всего, она читала мемуарный очерк Михаила Осоргина о Белом, опубликованный в двух номерах «Последних новостей»[7] – 18 января (там же помещено объявление о вечере литературной группы «Кочевье» с участием Цветаевой) и 25 января.

25 января «Последние новости» поместили также объявление об очередном памятном вечере:

«3 февраля в малом зале Сосьете Савант (8, рю Дантон) литературная группа “Перекресток” устраивает собрание, посвященное памяти Андрея Белого. В первом отделении В.Ф. Ходасевич прочтет свои воспоминания о покойном писателе. Во втором отделении Н.Н. Берберова и В.А. Смоленский прочтут ряд стихотворений. Начало в 8 час. 30 мин.» (№ 25 (4691). С. 4).

Следующее сообщение, опубликованное в «Последних новостях», содержало подробную программу вечера, намеченного на 3 февраля:

«*1 февраля.* Вечер памяти Андрея Белого

В субботу, 3 февраля, в Малом зале Сосьете Савант (8, рю Дантон, метро Одеон), литературная группа “Перекресток” устраивает вечер, посвященный памяти Андрея Белого, по следующей программе:

1. В.Ф. Ходасевич. Черты из жизни Андрея Белого (Детство и Юность. Нина Петровская. Брюссель. Несостоявшаяся дуэль. Неудачная любовь. Петербургские встречи. Занятия Ритмом. Революция. Опять Петербург. “Первое свидание”. Берлин).

2. Стихи Белого в чтении Н.Н. Берберовой и В.А. Смоленского.

Начало в 20 ч. 30 м.» (№ 32 (4698). С. 5)[8].

Цветаева пошла на вечер в тревожном ожидании и ушла под сильнейшим впечатлением от выступления Ходасевича (легшего вскоре в основу его мемуарного очерка об Андрее Белом), о чем написала В.Н. Буниной 5 февраля 1934 г.:

«Вера, был совершенно изумительный доклад Ходасевича о Белом: ЛУЧШЕ НЕЛЬЗЯ. Опасно-живое (еще сорокового дня не было!), ответственное в каждом слоге – и справился: что надо – сказал, все, что надо – сказал, а надо было сказать – именно все, самое личное – в первую голову. И сказал – все: где можно – словами, где *неможно* (NB! Так наши польские бабушки говорили, польское слово, а по-моему, и в России, в старину) – интонациями, голосовым курсивом, всем, вплоть до паузы.

Дал и Блока, и Любовь Дмитриевну, и Брюсова, и Нину Петровскую, и *не назвав* – Асю: его горчайшую обиду (я – присутствовала, и мне тоже придется об этом писать: как?? Как явить, не оскорбив его тени? Ведь случай, по оскорбительности, даже в жизни поэтов – неслыханный). Дал и Белого – Революцию, Белого – СССР, и дал это в эмигрантском зале, сам будучи эмигрантом, дал, вопреки какому-то самому себе. Дал – правду. Как было.

И пьяного Белого дал, и танцующего. Лишнее доказательство, что *большому* человеку – все позволено, ибо это все в его руках неизменно будет большим. А тут был еще и *любящий.*

Вся Ходасевичева острота в распоряжении на этот раз – *любви.*

Не знаю, м<ожет> б<ыть>, когда появится в Возрождении[9] (не важно, в чем: на бумаге), многое пропадет: вся гениальная интонационная часть, все намеренное словесное умолчание, ибо чтó многоточие – перед паузой, вовремя оборванной фразой, окончание которой слышим – все.

Зато в *лицо* досталось антропософам и, кажется, за дело, ибо если Штейнер в Белом действительно не увидел исключительного по духовности *человека* (-ли?) – существо, то он не только не ясновидящий, а слепец, ибо плененного духа в Белом видела даже его берлинская Frau Wirtin[10].

Словом, Вера, было замечательно. Мне можно верить, п<отому> ч<то> я Ходасевича никогда не любила (знала цену – всегда) и пришла именно, чтобы не было

сказано о Белом *злого*, т<о> е<сть> – лжи. А ушла – счастливая, залитая благодарностью и радостью»[11].

Любовь – вот то главное, что выделяет в воспоминаниях Ходасевича Цветаева, – любовь-понимание, прощение, память. Недаром еще в 1925 г. она писала: «Пушкин (собирательное) будет умирать столько раз, сколько его будут любить. В каждом любящем – заново. И в каждом любящем – вечно»[12]. Уже в процессе работы над воспоминаниями о Белом и размышляя о едином цикле воспоминаний об умерших поэтах, Цветаева утверждает, что писать можно, только любя: «Очень хорошо бы – книгу встреч. (Брюсов (к<отор>ый у меня уже есть), Макс[13], Белый и Блок, материалы к к<оторо>му у меня уже есть). Живых бы я не брала – только ушедших. Можно было бы и Есенина, хотя, *как человека*, я его не любила, была совсем к нему равнодушна и лучше, *так* относясь – не писать. Только – любя»[14].

Именно под впечатлением от услышанного она решает посвятить свой очерк о Белом Ходасевичу. Ходасевич также в долгу у Цветаевой не остался и в рецензии на 55-ю книгу «Современных записок» восторженно отозвался о ее «Пленном духе»:

«Для тех, кто не знает лично Андрея Белого, записи Марины Цветаевой послужат не только художественно блистательным чтением, но и в высшей степени любопытным источником осведомления. Те, кто знал Белого лично, должны будут признать, что в изображении немногих сравнительно своих встреч с ним Цветаева сумела нарисовать портрет исключительной силы и схожести. Цветаева дает отнюдь не фотографию, но живописный портрет, в котором сказалась отчетливо личность самого живописца. И со всем тем (вероятно, даже именно благодаря тому) цветаевский Белый смотрит с этого полотна, как живой, во всем своем фантастическом обаянии, как и в своей очаровательной невыносимости (ибо человек этот был чем очаровательнее, тем невыносимее) <...>. Будущий историк символизма в цветаевском очерке найдет не только замечательный портрет Белого, но и ряд весьма ценных биографических о нем сведений, от чего мемуарная, чисто документальная ценность “Пленного духа”, разумеется, только возрастет. Укажу, между прочим, на одну частность. Цветаева приводит письмо, которое Белый написал ей, прочтя ее книгу стихов “Разлука”. Тут же она рассказывает, что эта книга послужила Белому толчком, после которого он и сам написал свой стихотворный берлинский цикл. Эти сообщения проливают любопытный свет на беловские стихи берлинского периода. Оказывается, во-первых, что их заглавие “После разлуки” имеет два смысла: общепонятный, биографический, поскольку их темою послужила некая разлуки, пережитая в те дни автором, и тайный литературный, поскольку сборник “После разлуки” написан – после “Разлуки” Цветаевой и под влиянием этой “Разлуки”. Во-вторых, обнаруживается кое-что в ритмической структуре беловской книги: ее спондеические и молоссные приемы при сличении оказываются восходящими к таким же приемам в книге Цветаевой. Понятно теперь и то, почему последнее стихотворение в книге Белого посвящено Цветаевой и почему оно говорит именно о ее “непобедимых ритмах”: посвящение было знаком внутренней признательности за воспринятые ритмы. Оно могло бы быть выражено словами: “твоя от твоих”.

Воспоминания Цветаевой напечатаны с посвящением мне. Мне же уделено в них несколько лестных слов <...>. Не сомневаюсь, что литературная обывательщи-

на услышит в наших взаимных похвалах голоса кукушки и петуха. Однако, мы с Цветаевой можем хвалить или порицать друг друга, ничем не смущаясь. Литературно мы оба принадлежим к тому поколению, а главное — к тому кругу, в котором друг друга одобряли не ради взаимной услуги и осуждали не по причине зависти или ссоры. Эти навыки мы сохранили <...>»[15].

Но вернемся к Цветаевой. Ее работа над мемуарами интенсивно продолжается весь февраль и, если верить ей самой, была закончена 25 февраля. Однако, как сообщается в Post scriptum к «Пленному духу», 26 февраля С.Я. Эфрон принес ей сборник стихов Белого «После разлуки» со стихотворением, ей посвященным, — и еще один абзац очерка был дописан.

В тот же день, 26 февраля, Цветаева пишет В.Н. Буниной о планах выступить с чтением своих мемуаров и о надежде заинтересовать ими Ходасевича (бескорыстно) и — вполне корыстно — редактора журнала «Современные записки» В.В. Руднева:

«Белого кончила и переписала до половины. 15-го читаю в Salle Geographic, предварительно попросив у слушателей — терпения: чтения на полных два часа. Но раз уж так было с Максом: и просила — и стерпели. Приглашу и Руднева. Знаю его наизусть: сначала соблазнится, а потом — ужаснется. И полгода будем переписываться, и раз — увидимся, и это, м<ожет> б<ыть>, будет — последний раз. <...>

Белый — удался. Еще живее Макса, ибо без оценок. Просто — живой он, в движении и в речи. Почти сплошь его монолог. Если Руднев не прельстится и надежды напечатать не будет — пришлю тетрадь, по к<отор>ой 15-го буду читать, потому что непременно хочу, чтобы Вы прочли. Он — настолько он, что не удивилась бы (и не испугалась бы!), вскинув глаза и увидев его посреди комнаты. Верю в посмертную благодарность и знаю, что он мне зла — никогда не сделает. Только сейчас горячо жалею, что тогда, в 1922 г. в Берлине, сама не сделала к нему ни шагу, только — соответствовала. Вы это поймете из рукописи. У меня сейчас чувство, что я могла бы этого человека (??) — спасти. Это Вы тоже увидите из рукописи.

Из всех слушателей радуюсь Ходасевичу. Я ему все прощаю за его Белого. (Вы не читали в Возрождении?[16] Я напечатанным — его не видела, но в ушах и в душе — неизгладимый след) <...>»[17].

Рекламе мероприятия способствовал подробный анонс цветаевского выступления, появившийся 15 марта в «Последних новостях»:

«“Моя встреча” с Андреем Белым.

Вечер Марины Цветаевой.

Сегодня в саль Жеографи, 184, бульвар Сен-Жермен, состоится чтение Мариной Цветаевой: “Моя встреча с Андреем Белым”.

1 ч. Предшествующая легенда: — Старая Москва. — Молодежь и молодой поэт. — “Всего хорошего” и “всего лучшего”. — Сестры Тургеневы. — Сережа Соловьев. — Проводы в Сицилию.

2 ч. Встреча: — Белый во “Дворце Искусств”. — Первая встреча в Берлине. — “Профессорские дети”. — Письмо. — “Разлука”. — И “После разлуки”. — Белый, звери и дети. — Катастрофа. — Поездка в Цоссен. — С Белым в ЦОО. — Потерянная рукопись. — Белый, д-р Штейнер и прусский лейтенант. — С Белым в Шарлоттенбурге. — Последний вопль.

Билеты при входе» (№ 73 (4739). С. 3).

Официальным объявлением о вечере Цветаева не удовольствовалась и активно зазывала на слушание друзей и знакомых. Более того, ко многим она обращалась и с просьбой о распространении билетов. Причину этого она объяснила в письме от 2 марта композитору Ф.А. Гартману, сочинившему музыку на некоторые ее стихотворения:

«15-го, через четверг, мы, надеюсь, увидимся на моем чтении о Белом, – подойдите, пожалуйста, в перерыве, возобновим знакомство и сговоримся.

Кончаю большой просьбой распространить, по возможности, билеты между знакомыми. Цена билета 10 фр<анков>. Посылаю десять. (Десятый – Вам и жене, дружеский.) Этот вечер – мой единственный ресурс, я почти не зарабатываю, и жить не на что»[18].

Просит Цветаева помочь с продажей билетов на свой вечер и Руднева, который, впрочем, в этом деле не преуспел и «из трех билетов успел прод<ать> только один. Деньги сдал в кассе»[19]. Но Цветаева, как кажется, была к нему не в претензии («знаю, как это трудно, при обилии вечеров»[20]), тем более что недостатка в зрителях не было, и вечер прошел успешно.

Сама Цветаева была довольна восприятием ее мемуаров. «Писала ли я Вам, что мой вечер Белого (простое чтение о нем) прошел при переполненном зале с единым, переполненным сердцем», – рассказывала она А.А. Тесковой в письме от 9 апреля 1934 г.[21] Однако на тех, кто проигнорировал ее приглашение, она серьезно обижалась. Так, например, она признавалась С.Н. Андрониковой-Гальперн, что не отправила ей письма, написанного, по-видимому, в обиде «сразу после моего Белого, сгоряча успеха – и горечи, что Вас не было <…>»[22].

При этом Цветаева была убеждена, что интерес к ее выступлению вызван не столько любовью к ее творчеству, сколько притяжением имени Белого. Позднее, сравнивая с этим выступлением другое, состоявшееся осенью 1934 г., где она читала автобиографические рассказы, Цветаева напишет: «Вечер прошел очень хорошо. Зал был маленький, но полный, и дружески-полный: пришли не на сенсацию (как тогда, после смерти Белого), а на меня <…>»[23].

Успех цветаевского выступления отметила и пресса. 17 марта «Последние новости» поместили отчет о прошедшем вечере:

«Доклад о Белом, прочитанный М.И. Цветаевой 15 марта, в зале Географического общества, собрал многочисленную и высококвалифицированную аудиторию. Были писатели, крупные художники и общественные деятели и все те, кто любит и следит за современной русской литературой <…>» (№ 75 (4741). С. 4)[24].

Далее следовал пересказ выступления.

Идея пригласить на свой вечер В.В. Руднева себя оправдала: он «соблазнился» прослушанным «докладом» и на следующий день, 16 марта, предложил, как и ожидала Цветаева, опубликовать очерк в ближайшем номере «Современных записок»:

«<…> Поздравляю Вас! Вечер Ваш был очень удачен, – вещь чудесная, и чтица Вы, надо сказать, тоже неотразимая. <…> Очень рад за Вас и за “нас”, читателей. <…> Надеюсь, Ваши воспоминания о Белом (как Вы их назвали?) дадите нам, в С<овременные> Записки? Прошу вас об этом, и чем скорее пришлете рукопись, тем лучше: 55-я книжка уже набирается и должна выйти в конце апреля <…>»[25].

В ответном письме от 18 марта Цветаева пускается в долгие объяснения по поводу сроков представления рукописи:

«<...> что будет с Белым? В нем, всём, <...> пять листов с небольшим, раньше как через 2 недели я с перепиской *всей* вещи не справлюсь: немыслимо, — ведь я пишу ПЕЧАТНЫМ <...>. А мой черновик, по к<отоpo>му читала, *нечитаем*. Ведь писала я своего Белого при труднейших обстоятельствах: у Мура была корь, нужно было особенно следить за печами, вообще домашняя работа — удвоилась, утроилась, — я на вечере еле сама разбирала, что написала.

Можете ли Вы (вы) ждать две недели для получения *всей* вещи, или удовлетворитесь первой частью, <...> к<отор>ую представлю в следующий понедельник. Ответьте!

Рукопись распадается на две *равных* части. Если вторая больше, то всего на несколько страниц. <...>

Сажусь за переписку»[26].

В этом же письме Цветаева, в ответ на просьбу Руднева, сообщает название очерка и дополнительно — эпиграфы:

«Название вещи: ПЛЕННЫЙ ДУХ
(МОЯ ВСТРЕЧА С АНДРЕЕМ БЕЛЫМ).
Эпиграф будет из Фауста:
(Geister auf dem Gange)
Drinnen gefangen ist Einer!
а эпиграф к последней главке (смерть)
Und er hat sich losgemacht!
(тоже из Фауста)»[27].

В публикации очерка название очерка останется тем же, что и было заявлено, а к двум приведенным в письме к В.В. Рудневу эпиграфам добавится еще один (к первой части «Предшествующая легенда») — из стихотворения самой Цветаевой «В черном небе слова начертаны...» (1918): «Легкий огнь, над кудрями пляшущий, /Дуновение — вдохновения!».

Надеясь успеть к установленному сроку (4 апреля), Цветаева засела за переписывание очерка набело. Накануне сдачи текста в редакцию она писала в Ревель поэту и критику Ю.П. Иваску:

> Милый Юрий Иваск,
>
> Короткая отпись, потому что завтра крайний срок сдачи моей рукописи о Белом в Совр<еменные> Записки (апрельский номер), а переписываю я ВОТ ТАКИМ ПОЧЕРКОМ (всю жизнь!), а в рукописи около четырех печатных листов.

Далее, по-видимому, отвечая на вопросы своего корреспондента, она клеймила век «организованных масс» и «машинный» воздух эпохи, в котором она — «Никто. Одинокий дух. Которому нечем дышать (И Пастернаку — нечем. И Белому было нечем. Мы — есть. Но мы — последние)»[28].

Незадолго до сдачи рукописи в «Современные записки» Цветаевой поступило предложение от газеты «Последние новости» напечатать два отрывка из «Пленного духа». 22 марта Цветаева рапортует Рудневу об успехах («Белого переписываю и в понедельник представлю I ч<асть>») и, объясняя свою крайнюю материальную нужду, просит разрешения на публикацию в «Последних новостях»:

> Милый Вадим Викторович,
>
> На этот раз – вот какое дело: Посл<едние> Новости просят у меня два отрывка из моего Белого, один из I ч<асти>, другой из II ч<асти> (по 300 газетных строк). Меня бы это нельзя более устроило, у Али со вчерашнего дня тоже объявилась корь (только что отболел Мур) <...>. Д<октор> должен бывать через день, п<отому> ч<то> главная опасность – легкие. И всякие лекарства и, потом, усиленное питание. Поэтому я страшно обрадовалась лишнему заработку. Надеюсь, что редакция ничего не будет иметь против? Ответьте, пожалуйста, поскорее и объясните соредакторам мое положение с болезнями детей[29].

Разрешение на печатание было дано, но на определенных и достаточно жестких условиях: «<...> автор может поместить *один* отрывок в любой газете <...> но уже *по* выходе "С<овременных> З<аписок>" или *незадолго* до выхода <...>, с обычной ссылкой – "печатается с разрешения редакции 'С<овременных> З<аписок>' отрывок из вещи, помещенной целиком в таком-то № журнала"»[30]. Было оговорено, что публиковать в газете можно не два, а только один отрывок из какой-либо одной части очерка и что сделать это позволительно не ранее 20 апреля.

При этом Руднев напомнил, что с нетерпением ждет рукопись: «Если 1-ая часть уже переписана, м.б. все же пришлете, не дожидаясь второй? Только со стороны редакции ответ смогу дать лишь по получении всего <...>»[31].

Рукопись очерка «Пленный дух» была сдана в редакцию «Современных записок» в срок, чему, правда, способствовали не самые благополучные обстоятельства семейной жизни Цветаевой: из-за болезни детей ей пришлось засесть дома безвылазно («<...> Белого написала только потому, что у Мура и Али была корь, и у меня было время <...>»[32]). Цветаева надеется на скорую публикацию: «Возможно, что вещь пойдет в Современных Записках, уже сдана на просмотр»[33]. В ожидании она прокручивает в памяти написанный текст, проводит «внутреннюю» редактуру и подстраховывается от возможных описок и ошибок:

«Милый Вадим Викторович,

Вчера, уже на полдороге от Daviel'a[34], мне вдруг показалось (м.б. воздействие надвигающейся грозы!) что в наборе пропущено:

(после последнего письма Белого, где он просит комнату и извещения в "Руле": ОТБЫЛ В СОВ<ЕТСКУЮ> РОССИЮ ПИСАТЕЛЬ АНДРЕЙ БЕЛЫЙ).

ТАКОЕ-ТО НОЯБРЯ БЫЛО ТАКИМ-ТО НОЯБРЯ ЕГО ВОПЛЯ КО МНЕ. ТО ЕСТЬ УЕХАЛ ОН ИМЕННО В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ПИСАЛ КО МНЕ ТО ПИСЬМО В ПРАГУ, МОЖЕТ БЫТЬ, В ВЕЧЕР ТОГО ЖЕ ДНЯ.

Умоляю проверить, и, если не поздно, вписать. (А м.б. только жара и авторские стихи!) <...>»[35].

Или:

«Милый Вадим Викторович,

Давайте – сноску:

*Kaufhaus des Westens – универсальный берлинский магазин <...>»[36].

Фрагмент, пропуска которого Цветаева испугалась, из очерка не выпал, а просьба о сноске учтена не была.

Радостное ожидание скорых публикаций и гонораров в «Современных записках» и «Последних новостях» быстро сменилось раздражением и тоской: выход

очерка задерживался и в журнале, и в газете. За сочувствием она обращается к Ходасевичу, с которым хочет «повидаться, хотя бы, чтобы сообщить последние сомнения редакции “Современных Записок”»[37]. А в конце апреля в письме В.Н. Буниной сетует:

«После беловского вечера (поразившего меня силой человеческого сочувствия) сразу, на другое же утро – за переписку рукописи, переписку, значит – правку, варианты и т.д., значит – чистовую работу, самую увлекательную, но и трудную. Руднев ежеминутно посылал письма: скорей, скорей! Вот я и скакала. Потом – корректура, потом переписка двух больших отрывков для Посл<едних> Нов<остей>, тоже скорей, скорей, чтобы опередить выход Записок, но тут – стоп: рукопись уже добрых две недели как залегла у Милюкова, вроде как под гробовые своды. А тут же слухи, что он вернулся – инвалидом: не читает, не пишет и не понимает. (Последствия автомобильного потрясения.) Гм... Очень жаль, конечно <...>. Жаль-то жаль, но зачем давать ему в таком виде – меня на суд?? Теряю на этом деле 600 фр<анков> – два фельетона, не считая добрых двух дней времени на зряшную переписку»[38].

Особенно сердится Цветаева на главного редактора «Последних новостей» П.Н. Милюкова:

«<...> у меня в П<оследних> Нов<остях> сидит враг, могущественный, к<отор>ый не пропускает моего отрывка из “Пленного Духа”, горячо прошенного у меня рядом членов редакции, и этим лишает меня 300 фр<анков> – жизни <...>»[39].

Или:

«<...> До последней минуты я надеялась на Посл<едние> Нов<ости>, но они моего Белого явно похоронили, хотя сами же просили и даже торопили – (Сами – да не те!) Дело, думаю, в Милюкове, которому, как материалисту, все духи, а особенно “пленный”, вроде Белого, ничего на земле не умеющие, – должны претить, как мне – все обратное, т.е. всеумение.

Это гораздо глубже, чем вражда личная (да ее и нет!), это вражда – рас, двух особей, и моя, конечно, побита – везде, всегда <...>»[40].

Впрочем, страхи Цветаевой в данном случае оказались напрасными. 13 мая появился номер «Последних новостей» с большим отрывком «Из рукописи [Цветаевой] “Пленный дух (Мои встречи с Андреем Белым. Цоссен)”». И примерно в это же время, в первой половине мая, вышел долгожданный номер «Современных записок».

Казалось бы, осталось лишь получить авторские экземпляры и гонорар. «Пленный дух» вызвал множество откликов и рецензий, в основном – положительных[41].

Однако не обошлось и без скандала, едва не закончившегося судебным разбирательством. Общественные страсти вызвал рассказ Цветаевой об умершем в младенчестве сыне Л.Д. Блок Митьке. Поползли слухи о недовольстве Л.Д. Блок. Цветаеву обвинили в оскорблении памяти Блока, и она была вынуждена оправдываться перед Рудневым:

«Милый В<адим> В<икторович>,

Не диффамация Л<юбови> Д<митриевны>, а прославление Блока (оплакивать чужого, как своего) – на этом буду строить свою “защиту”, если понадобится.

Упомянула же – со слов Андрея Белого (“от него я впервые узнала, что тот ‘Митька’, к<оторо>го оплакивал Блок, не блоковский и не беловский, а ее” ...в этом

роде, перечтите) – и с утверждения в Берлине 1922 г. издателя Алконоста, при Эренбурге и еще ком-то (не помню, ах, да – А.Г. Вишняк), что у Блока никогда не было детей. Я, в полной невинности, думала, что это давно известно. (Знали, конечно, все, но не знаю – писали ли.) <...>

– Не бойтесь! “Защищаясь” – и Вас выручу, т.е все свалю на себя, мне все равно, у меня совесть *чиста* <...>»[42].

Или:

«<...> С Люб<овью> Дим<итриевной> история не страшна. В моем тексте, по словам знатоков: адвокатов – ничего порочащего – нет: все во славу Блока, а не в посрамление ее. Во-вторых же – это пересказ, что уже сильно ослабляет всякую могшую бы быть виновность. Явный пересказ слов Белого. В-третьих: ведь это – СЛУХ. Кто-то сказал Алданову. А м.б. – не сказал, не то сказал, не тот сказал. Как же мне на этот анонимат – отзываться, да еще – публично? Да что, в конце концов, я могла бы сказать? Отказаться от факта, от к<отoро>го не может отказаться сама Любовь Дим<итриевна>, я не могу – смешно – да и низко. А от порочащего умысла, – да у меня же его и нет!

И откуда бы она подала в суд?? Да если бы и подала, разбор дела был бы не раньше чем через два года. (Последнее мне говорило лицо сведущее, юрист.)

Итак, давайте успокоимся. Впрочем, если лицо, передавшее якобы обиду Л<юбови> Д<митриевны>, назовется, охотно ему отвечу: когда услышу в точности – что я такого, якобы, сделала и что она, в точности, сказала»[43].

Скандал действительно утих; редакция «Современных записок» в это время уже была занята подготовкой нового, пятьдесят шестого выпуска журнала с очерком «Памяти Андрея Белого» Федора Степуна...

И последнее.

В 55-м номере «Современных записок» под знаком памяти Андрея Белого Цветаева и Ходасевич, которому, напомним, посвящен «Пленный дух», встретились вновь. Следом за «Пленным духом» в «Современных записках» была помещена подготовленная Ходасевичем публикация мемуарно-биографического материала «Три письма Андрея Белого». Именно эту публикацию в первую очередь прочитывает Цветаева и вновь высоко оценивает.

«Милый Вадим Викторович,

<...>. Страшно рада, что рядом с письмами. Их прочла в первую голову – потрясающий документ: целый обвинительный акт – *БЫТУ*. Себя еще не читала, – листала <...>. Спасибо!»[44].

---

[1] Цит. по: *Саакянц А.* Встреча поэтов: Андрей Белый и Марина Цветаева // Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 384. Белый прожил не 58 лет, а 53 года.

[2] Он не дает мне покоя (*фр.*).

[3] *Цветаева М.И.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1995. Т. 7. С. 263–264.

[4] «Кочевье» – объединение молодых литераторов под руководством М.Л. Слонима, основанное в 1928 г. Александр Петрович Прокопенко (1886–1954) – врач, общественный деятель, поэт, активный участник литературной жизни «русского Парижа». Ср.: «18, четв<ерг>. <...> В “Кочевье” (Вечер памяти А. Белого; Слоним, Мандельштам, Зуров, Нина

<Берберова>, Городецкая, Фельзен)» (*Ходасевич В.Ф.* Камер-фурьерский журнал. М., 2002. С. 227).

[5] *Цветаева М.* Письма к Анне Тесковой / Сост., подгот. текста, коммент. Л.А. Мнухина. Болшево, 2008. С. 185. Под второй смертью подразумевается самоубийство писателя Ивана Васильевича Степанова (ок. 1896–1933).

[6] *Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 7. С. 264.

[7] *Осоргин М.* Встречи. 1. Андрей Белый; Встречи. 2. Белый в Берлине // Последние новости. 18 января. № 18 (4684); 25 января. № 25 (4691). См. в наст. изд.

[8] Список присутствовавших на вечере: «3 [февраля], суббота. <...> Вечер памяти Белого х (2 Вейдле, Алдановы, Фельзен, Оллиан, Каплун, Нина, Смоленский, Нина <Берберова>, Нидерм<иллер>, Нидермиллер, Терапиано, Цветаева, Ларионов, Городецкая, Макеев, Тумаркин, Раевские, Р. Блох, Горлин, Долинский, Кантор, Г. Иванов, Одоевцева, Злобин, Переверзев, Мандельштам <...>)» (*Ходасевич В.Ф.* Камер-фурьерский журнал. М., 2002. С. 228).

[9] Газета, в которой Ходасевич сотрудничал и напечатал свои воспоминания о Белом. См. в наст. изд.

[10] Wirtin (*нем.*) – хозяйка.

[11] *Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 7. С. 264–265.

[12] *Цветаева М.* Цветник <«Звено» за 1925 г. «Литературные беседы» Г. Адамовича> // Цветаева М.И. Собр. соч. Т. 5. С. 302.

[13] Речь идет об очерках «Герой труда (Записи о Валерии Брюсове)» (1925), «Живое о живом (Волошин)» (1932).

[14] *Цветаева М.*, *Руднев В.* «Надеюсь – сговоримся легко»: Письма 1933–1937 годов / Изд. подготовлено Л.А. Мнухиным. М., 2005. С. 47 (Письмо от 18 марта 1934 г.).

[15] Возрождение. 1934. 31 мая. С. 3.

[16] Очерк В.Ф. Ходасевича о Белом был опубликован в нескольких номерах газеты «Возрождение» (8, 13 и 15 февраля). См. в наст. изд.

[17] *Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 7. С. 266.

[18] Там же. С. 469.

[19] *Цветаева М.*, *Руднев В.* «Надеюсь – сговоримся легко». С. 46 (Письмо от 16 марта 1934 г.).

[20] Там же. С. 46 (Письмо от 18 марта 1934 г.).

[21] *Цветаева М.* Письма к Анне Тесковой. С. 189.

[22] *Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 7. С. 159.

[23] Там же. С. 275 (Письмо от 2 ноября 1934 г.).

[24] Известны некоторые имена «высококвалифицированной аудитории»: «15, четв<ерг>. <...> Вечер Цветаевой о Белом х (Цветаева, Городецкая, Алдановы, Каплун, Р. Блох, Блох, Горлин, М. Струве, Николаевский, Тумаркина, ее сестра, Вишнячка, Руднев, Зайцевы, Оболенские, Костанов, Дряхлов...)» (*Ходасевич В.Ф.* Камер-фурьерский журнал. С. 230).

[25] *Цветаева М.*, *Руднев В.* «Надеюсь – сговоримся легко». С. 46.

[26] Там же. С. 46–47.

[27] Там же.

[28] *Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 7. С. 385 (Письмо от 3 апреля 1934 г.).

[29] *Цветаева М.*, *Руднев В.* «Надеюсь – сговоримся легко». С. 48.

[30] Там же. С. 49 (Письмо от 25 марта 1934 г.).

[31] Там же.

[32] *Цветаева М.* Письма к Анне Тесковой. С. 194.

[33] Там же. С. 189 (Письмо от 9 апреля 1934 г.).

[34] Rue Daviel, 6 – адрес редакции журнала «Современные записки».

[35] *Цветаева М., Руднев В.* «Надеюсь – сговоримся легко». С. 50 (Письмо датировано апрелем 1934 г.).

[36] Там же. С. 51 (Письмо от 19 апреля 1934 г.).

[37] *Цветаева М.И.* Собр. соч. Т. 7. С. 466 (Письмо от 15 апреля 1934 г.).

[38] Там же. С. 269 (Письмо от 28 апреля 1934 г.).

[39] *Цветаева М., Руднев В.* «Надеюсь – сговоримся легко». С. 51 (Письмо от 2 мая 1934 г.).

[40] Там же. С. 52 (Письмо от 9 мая 1934 г.).

[41] См.: Марина Цветаева в критике современников / Сост. Л.А. Мнухин: В 2 ч. Ч. 1. М., 2003.

[42] *Цветаева М., Руднев В.* «Надеюсь – сговоримся легко». С. 61 (Письмо от 5 июля 1934 г.).

[43] Там же. С. 62 (Письмо от 24 июля 1934 г.).

[44] Там же. С. 53 (Письмо от 17 мая 1934 г.).

ФЕДОР СТЕПУН

ПАМЯТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Современные записки (Париж).
1934. Кн. 56.

Известие о смерти Белого ударило по душе тягчайшим молотом: пришло совершенно неожиданно и прозвучало никак не вмещаемой сознанием невероятностью. После внезапного отъезда Белого из Берлина в Россию, я, думая о Москве, постоянно думал и о нем в ней; вернее представлял себе его (вероятно, на основании прежних встреч и дошедших до меня слухов, что он живет под Москвой), то в подмосковных просторах на каких-то сбегающих к вечерней заре тропах, то над простым сосновым столом у окна, пишущим своего «Архангела Михаила» (о том, что Белый работает над таким романом, рассказал мне на «движенском» съезде в Сарове некий Гофманн, видевший Бориса Николаевича в Москве, кажется, еще в 1929–1930-м году)[1].

С официальной Москвой образ Белого, несмотря на некоторые «коммуноидности» в его последних писаниях, в моем представлении никак не связывался. Правда, было все время ощущение правильности того, что живет он не с нами, в эмиграции, а в Советской России; но это ощущение его бытийственной и стилистической принадлежности к вулканической почве «Взвихренной Руси»[2] ни в какой мере и степени не означало его духовного родства, или хотя бы только отдаленного свойства с духом третьего интернационала и экономического материализма. Присланный мне в феврале этого года вырезанный не то из «Правды», не то из «Известий» шарж «Белый на лекции», вполне подтвердил мне мое представление о несоветском облике советского Белого[3]. Изображен Белый на нем в своем старом сюртуке с широкими ревэрами[4] и летучими фалдами, в высоком крахмальном воротнике и с веющим черным бантом вместо галстуха. Анатэмские[5] когтистые пальцы воздетых к небу рук и рысьи пучки волос на висках полысевшего черепа кажутся не карикатурными преувеличениями, а вполне оправданными стилистическими заострениями. Слегка расширенный безумием, очевидно зеленый взор волчьих глаз хмуро опущен к земле и все же крылат. Типично беловский взор [– мяч, постоянно ударяющийся о твердые предметы на земле и отлетающий от них в высь, в пустоту, в темноту...][6].

С тех пор как я познакомился с Белым в зиму 1909–10 года, помню его предельно нервным, усталым и больным, таким, каким он сам изобразил себя в предисловии к «Первому свиданию»:

Давно поломанная вещь,
Давно пора меня в починку,

Висок — винтящая мигрень...
Душа — кутящая...

Но несмотря на болезненность Белого, я был почему-то уверен, что он проживет долго. (Помню отчетливо, что ту же уверенность высказал вскоре после смерти Блока в разговоре со мною кто-то из писателей, близко знавших Белого. Было это, если не изменяет память, на литературном вечере Ходасевича в Союзе писателей)[7]. Причина этой уверенности заключалась, думается, в том, что все болезни Белого, этого бестелесного существа, казались не столько физическими недугами, сколько, говоря его собственным антропософским языком, помрачениями его ауры, мешающими его блистательной даровитости создать нечто не только почти гениальное, но и *вполне* совершенное. Все же Белый все время рос и потому казалось, что он в конце концов осилит свои болезни, свои недуги, врастет в форму своего совершенства, и ясною старостью взойдет над всеми своими зарницами, опоясанными хаосами. Сама сложность его дарования и извилистость его пути требовали долгого вызревания и не верилось, что судьбою ему будет отказано в нем. В смерти Белого есть нечто метафизически непоправимое, навсегда оставляющее без объединяющего и венчающего купола все свершенное им; и даже больше, — нечто низводящее вечную ночь над всеми достижениями его бурного творческого восхода.

Смерть Белого — подлинно безвременная кончина; отсюда и наша великая печаль о нем.

К этой печали присоединяется другая. Менее бескорыстная, но не менее острая. Белый был для многих из нас, людей кровно связанных с расцветом московско-петербургской довоенной культуры, последнею *своею* крупною фигурой в Советской России. Всматриваясь в покинутые нами и все более уходящие от нас берега, мы чувствовали: Белый и те несколько человек, с которыми он после нашей разлуки остался вместе, это наша еще видная нам пристань. От нее мы отчалили, к ней, быть может, могли бы причалить, если бы был нам сужден возврат. И вот бурным течением времени снесена пристань. Взор памяти — он же взор надежды — растерянно блуждает по гаснущему берегу и не на чем ему больше остановиться... Нет сомнения — смерть Белого это новый этап развоплощения прежней России и старой Москвы. Это углубление нашей эмигрантской сирости и нашего одиночества.

С теми, для кого все это не так, для кого все творчество Белого только сумбур и невнятица, а он сам чуть ли не большевик, спорить не буду; пишу в совершенно личном, лирическом порядке.

Да, нет сомнения, что в годы короткой передышки между двумя революциями и двумя войнами, в десятилетие от года 1905 до года 1915-го Россия переживала весьма знаменательный культурный подъем. В Москве, в которой жил тогда Белый и на фоне которой помню его, шла большая, горячая и подлинно-творческая духовная работа. Протекала она не только в узком кругу передовой интеллигенции, но захватывала и весьма широкие слои. Писатели, художники, музыканты, лекторы и издатели без всяких затруднений находили и публику, и деньги, и рынок. В Москве одно за другим возникали все новые и новые издательства — «Весы»,

«Путь», «Мусагет», «София»[8]... Издательства эти не были, подобно даже и культурнейшим издательствам Запада, коммерческими предприятиями, обслуживающими запросы книжного рынка. Все они исходили не из запросов рынка, а из велений духа и осуществлялись не пайщиками акционерных обществ, а творческим союзом разного толка интеллигентских направлений с широким размахом молодого меценатствующего купечества. Потому и гнездилась в них и распространялась вокруг них совсем особая атмосфера некоего зачинающегося культурного возрождения. (Филологи – Вячеслав Иванов и С.М. Соловьев[9] – прямо связывали Россию с Грецией и говорили не только о возрождении русской культуры, но и о подлинном русском ренессансе).

Во всех редакциях, которые представляли собою странную смесь литературных салонов с университетскими семинариями, собирались вокруг ведущих мыслителей и писателей писательский молодняк, наиболее культурные студенты и просто публика для заслушания рефератов, беллетристических произведений, стихов, больше же всего для бесед и споров.

За несколько лет этой дружной работы облик русской культуры подвергся значительнейшим изменениям. Под влиянием религиозно-философской мысли и нового искусства символистов сознание рядового русского интеллигента, воспитанного на доморощенных классиках общественно-публицистической мысли, быстро раздвинулось как вглубь, так и вширь.

Зацвела на выставках «Мира искусства» освободившаяся от передвижничества русская живопись. Крепли музыкальные дарования – Скрябина, Метнера, Рахманинова. От достижения к достижению, пролагая все новые пути, подымался на недосягаемые высоты и русский театр. Через все сферы этого культурного подъема, свидетельствуя о духовном здоровии России, отчетливо пролегали две линии интересов и симпатий – национальная и сверхнациональная. С одной стороны воскресали к новой жизни славянофилы, Достоевский, Соловьев, Пушкин, Баратынский, Гоголь, Тютчев, старинная икона (журнал «София»), старинный русский театр (апогрифы Ремизова)[10], Мусоргский (на оперной сцене – Шаляпин и на концертной эстраде – М.А. Оленина д'Альгейм)[11]. С другой стороны с одинаковым подъемом и в значительной степени даже и теми же людьми издавались и изучались германские мистики (Бёме, Эккехардт, Сведенборг)[12] и Ничше. На театрах, и прежде всего на сцене Художественного театра, замечательно шли Ибсен, Гамсун, Стриндберг, Гольдони и другие, не говоря уже о классиках европейской сцены. Собирались изумительнейшие, мирового значения, коллекции новейшей французской живописи и неоднократно заслушивались в переполненных залах доклады и беседы таких «знатных иностранцев», как Верхарн, Матисс, Маринетти, Коген...[13]

Провинция тянулась за столицами. По всей России читались публичные лекции и всюду, даже и в отдаленнейших городах собирались живые и внимательные аудитории, которые не всегда встретишь и на Западе.

Но, конечно, не все было здорово в этом культурном и экономическом подъеме. Оторванный от общественно-политической жизни, которая все безнадежнее скатывалась в сторону темной реакции, он не мог не опадать в душах своих случайных носителей, своих временных попутчиков ложью, позою, снобизмом. Вокруг серьезнейшей культурной работы в те годы начинал завиваться и темный ду-

шок. На окраинах «Нового града» (Белый) религиозной культуры мистика явно начинала обертываться мистификацией, интуитивизм символического искусства — нарочитою невнятицей модернизма и платоновский эрос — огарковством Арцыбашева[14]. К этим запахам духовного растления примешивался и доходил до московских салонов и редакций и более страшный и тревожный запах гари. Под Москвой горели леса и готовилась вновь разгореться тлеющая под пеплом революция: то пройдут по бульвару пильщики и покроют последними словами нарядную барыню с куцехвостым догом за то, что карнала она свою суку чай при «дохтуре», в то время как бабы в деревне рожают без повитух, то пьяные мастеровые жутко прогрозят громадными кулаками в открытые окна барского особняка...

В эти годы московской жизни Андрей Белый с одинаковою почти страстностью бурлил и пенился на гребнях всех ее волн. Он бывал и выступал на всех заседаниях «религиозно-философского общества»[15]; в «литературно-художественном кружке» и в «Свободной эстетике» воевал против писателей-натуралистов[16]; под общим заглавием «На перевале» писал в «Весах» свои запальчивые статьи то против мистики, то против музыки[17]; редактировал коллективный дневник «Мусагета» под названием «Труды и дни»[18]; бывал у Скрябиных, Метнеров и д'Альгеймов, увлекаясь вагнеровской идеей синтетического театрального действа (выступал даже со вступительным словом на открытии Maison de Lied Олениной д'Альгейм[19]), воевал на полулегальных собраниях толстовцев, штундистов, православных революционеров, революционеров просто и всяких иных взбаламученных людей и, сильно забирая влево, страстно спорил в политической[20] гостиной Астровых[21].

Перечислить все, над чем тогда думал и мучился, о чем спорил и против чего неистовствовал в своих выступлениях Белый, решительно невозможно. Его сознание подслушивало и отмечало все, что творилось в те канунные годы как в русской, так и в мировой культуре. Недаром он сам себя охотно называл сейсмографом. Но чего бы ни касался Белый, он в сущности всегда волновался одним и тем же — всеохватывающим кризисом европейской культуры и жизни. Все его публичные выступления твердили об одном и том же: — о кризисе культуры, о грядущей революции, о горящих лесах и о расползающихся в России оврагах.

Наиболее характерною чертою внутреннего мира Андрея Белого представляется мне его абсолютная *безбрежность*. Белый всю жизнь носился по океанским далям своего собственного я, не находя берега, к которому можно было бы причалить. Время от времени, захлебываясь в безбрежности своих переживаний и постижений, он оповещал: — «берег», но каждый очередной берег Белого при приближении к нему снова оказывался занавешенною туманами и за туманами на миг отвердевшею «конфигурацией» волн. В на редкость богатом и всеохватывающем творчестве Белого есть все, кроме одного: в творчестве Белого нету *тверди*, причем ни небесной, ни земной. Сознание Белого — сознание абсолютно *имманентное*, формою и качеством своего осуществления резко враждебное всякой *трансцендентной* реальности. Анализом образов Андрея Белого и его словаря, его слов-фаворитов можно было бы с легкостью вскрыть правильность этого положения.

Всякое выраженно имманентное, не несущее в себе в качестве центра никакой тверди сознание есть сознание предельно неустойчивое. Таким было (во всяком

случае, до 1923-го года, а вероятнее всего осталось и до конца) сознание Белого. Отсутствующую в себе устойчивость Белый однако успешно заменял исключительно в нем развитым даром балансирования. В творчестве Белого, и прежде всего в его языке, есть нечто явно жонглирующее. Мышление Белого — упражнение на летящих трапециях, под куполом его одинокого «я». И все же эта акробатика (см. «Эмблематику смысла»)[22] не пустая «мозговая игра». В ней, как во всякой акробатике, очень много труда и мастерства. Кроме того, в ней много предчувствий и страданий.

Не противоречит ли однако такое представление о Белом, как о замкнутой в себе самой монаде, неустанно занятой выверением своего собственного внутреннего равновесия, тому очевидному факту, что Белый всю свою жизнь «выходил из себя» в той сложнейшей борьбе, которую он не только страстно, но подчас и запальчиво вел против целого сонма своих противников как верный рыцарь своей «истины — естины»[23]?* (В последний предвоенный зимний сезон Белый прежде всего вспоминается носящимся по Москве[24] оппонентом и страстным критиком-публицистом, замахивающимся из-за своих засад против со всех сторон обступающих его врагов.) Если Белый действительно самозамкнутое «я», то что же означает его неустанная общественная деятельность полемиста и трибуна; в чем внутренний пафос его изобличительной неугомонности и неукротимого бреттерства? Думаю, в последнем счете ни в чем ином, как в *борьбе Белого с самим собою за себя самого.* Враги Белого — это все разные голоса и подголоски, все разные угрожающие ему «срывы» и «загибы» его собственного «я», которые он невольно объективировал и с которыми расправлялся под масками своих, в большинстве случаев совершенно мнимых — врагов. Вспоминая такие статьи, как «Штемпелеванные калоши», «Против музыки» («Весы»)[25], статью против философии в «Трудах и днях», на которую я отвечал «Открытым письмом Белому»[26], или не помню как озаглавленную (у меня всех этих статей, к сожалению, нет под рукою), статью против мистики[27], ясно понимаешь, что Белый кидался в бой против музыки потому, что волны ее начинали захлестывать его с головою; что он внезапно ополчался против мистики потому, что не укорененная ни в каком религиозно-предметном опыте, она начинала издеваться над ним всевозможными мистифицирующими ликами и личинами и что он взвивался против философии кантианского «Логоса»[28] в отместку за то, что наскоро усвоенная им в особых, прежде всего полемических целях, она исподтишка начинала мстить ему, связывая по рукам и по ногам его собственное вольно-философское творчество. Лишь этим своеобразным, внутренне полемическим характером беловского мышления объяснимы все зигзаги его внутреннего развития.

Начинается это развитие как бы в терцию. С ранних юношеских лет в душе Белого одинаково сильно звучат тема точной науки и нискликающего его в какие-то бездны хаоса. Как от опасности кристаллического омертвения своего сознания, так и от опасности его музыкального расплавления Белый защищается неокантианской методологией, которая в его *душевном* хозяйстве означает к тому же формулу верности его отцу, математику-методологу (см. «На рубеже двух столетий»,

* В этой словесной игре, не больше, нельзя не видеть попытки сближения «истины» и «бытия», т.е. тенденции к онтологическому, бытийственному пониманию истины (прим. Ф. Степуна).

стр. 68, 69)[29]. Но расправившись при помощи «методологии» с «кристаллами» и «хаосом», разведя при помощи «серии» методологических приемов «серии» явлений по своим местам, Белый тут же свертывает свои «серии серий» и провозглашает мистическое всеединство переживаний, дабы уже через минуту, испугавшись мистической распутицы, воззвать к религии, [но «найти себя» в антропософии и после страстной, но мало корректной полемики с Э.К. Метнером в защиту Штейнера[30] неожиданно замкнуться не напечатанным до сих пор памфлетом[31] на боготворимого им создателя Дорнаха][32]. Все эти перечисленные моменты беловского сознания означают однако не столько этапы его поступательного развития, сколько слои и планы его изначальной душевной субстанции. Как это ни странно, но при всей невероятной подвижности своего мышления, Белый в сущности все время стоит на месте; вернее, отбиваясь от угроз и навождений, все время подымается и опускается над самим собою, но не развивается. Пройденный Белым писательский путь и его собственное сознание этого пути подтверждают, как мне кажется, это мое положение. Начав с монадологической «невнятицы» своих симфоний, Белый попытался было в «Серебряном голубе», в «Петербурге» и в «Пепле» выйти на простор почти эпического повествования, но затем снова вернулся к своему «я», хотя и к **Я**, начертаемому им жирным и крупным шрифтом*.

В первой главе своего «Дневника», напечатанного в № 1-м «Записок мечтателя» (1919 г.)[34], Белый вполне определенно заявляет: «статья, тема, фабула — аберрация; есть одна только тема — описывать панорамы сознания, одна задача — сосредоточиться в “я”, мне заданное математической точкою».

В сущности Белый всю свою творческую жизнь прожил в сосредоточении на своем «я»; и только и делал, что описывал «панорамы сознания». Все люди, о которых он писал и прежде всего те, против которых он писал, были в конце концов лишь панорамными фигурами в панорамах его сознания. Мне кажется, что большинство крупных жизненных расхождений Белого объяснимо этою панорамностью его сознания. Самым объективно значительным было вероятно его расхождение с Блоком в эпоху «Нечаянной радости» и «Балаганчика»[35].

Все мы, более или менее близко знавшие Белого, думаем, что расхождение это имело не только литературные и миросозерцательные причины, но и личные. Дело однако не в них, а в том, что Белый еще дописывал «мистическую» панораму своего сознания как объективную картину возникающей новой жизни, в то время, как Блок, талант менее богатый, сложный и ветвистый, но зато гораздо более предметный и метафизически более правдивый, прозрев беспредметность и иллюзионистичность себя самоё мистифицирующей мистики «рубежа двух столетий», уже отходил на тыловые позиции своей мучительной, горькой, жестокой разочарованности.

Увидь Белый в те поры Блока, как Блока, он вероятно не написал бы той своей рецензии на «Нечаянную радость» («Перевал», 1907 г.), которую он впоследствии

* Конструкция этого Я («вне-мирового и вне-ячного»), в которое «вписано» я в обычном смысле слова (субъект) и мир (объект), весьма определенно напоминает, к слову сказать, построение немецкого идеализма: с одной стороны, философию тождества Шеллинга, а с другой — абсолютное я Фихте. Для полного и углубленного понимания Белого было бы весьма важно тщательно разработать проблему идеалистической природы его сознания, оказавшей ему, как мне по крайней мере кажется, весьма серьезное сопротивление на его пути к религиозной трезвости и предметности (прим. Ф. Степуна)[33].

(6-ая глава воспоминаний о Блоке, «Эпопея» № 3), в сущности, взял обратно[36]. Но в том-то и дело, что он Блока, как Блока, не увидел, а обрушился на него как на сбежавшую из его мистической панорамы центральную фигуру. Впоследствии, подойдя ближе к позиции Блока и, в свою очередь, испугавшись, как бы «рубеж» не спутал «эротизма» с «религиозной символикой» и не превратил «мистерий» в «козловак»; Белый смело, но несправедливо вписал в панораму своего сознания башню Вячеслава Иванова как обиталище нечестивых путаников и соглашателей, а верхний этаж Метрополя, в котором властвовал и интриговал редактор «Весов» Брюсов[37], как цитадель символической чистоты и подлинной меры вещей. Так всю свою жизнь вводил Андрей Белый под купол своего **Я** в панорамы своего сознания своих ближайших друзей в качестве моментов внутреннего баланса, моментов взвешивания и выверения своего, лишенного трансцендентного центра, миросозерцания и мировоззрения. Так эквилибристика мысли сливается у Белого с блистательным искусством фехтовальщика. Но фехтует Белый на летающих трапециях не с реальными людьми и врагами, а с призраками своего собственного сознания, с оличенными во всевозможные «ты» и «они» моментами своего собственного монадологически в себе самом замкнутого «я».

Очень может быть, что моя характеристика сознания Андрея Белого подсказана моим личным восприятием внешнего облика Белого и моим ощущением его, как человека. Последнюю сущность этого восприятия и этого ощущения я не могу выразить проще, короче и лучше, как в форме странного вопроса: да существовал ли вообще Белый? Раскрыть в словах смысл этого, на первый взгляд, по крайней мере, нелепого сомнения весьма трудно. Что может в самом деле означать неуверенность в бытии человека? Люди, знавшие Белого лишь на эстраде и по непосильным для них произведениям его, часто считали его человеком аффектированным, неестественным, нарочитым — позером. Он и сам, описывая в своих воспоминаниях свое объяснение с Блоком, называет себя «маркизом Поза»[38], противополагая свою манеру держаться блоковской, исполненной «непоказуемого мужества» и «полного отсутствия позы». Не думаю, чтобы эти обвинения и самообвинение Белого, бьющее в ту же точку, были верны. В Белом была пляска и корча какого-то донельзя обнаженного существа, но в нем не было костюма, позы, актера. Но как бы то ни было, мои сомнения в *бытии* Белого ни в какой мере и степени не суть сомнения в его искренности, не суть ходячие в свое время обвинения его в манерности и нарочитости; мои сомнения гораздо глубже и страшнее.

Есть только один путь, на котором человек уверяется в бытии другого человека, как подлинно человека, как единодуховного своего брата. Это путь совершенно непосредственного ощущения изменения моего бытия от соприкосновения с другим «я». [Тут дело не в радикальном изменении мнений или верований, что осуществляется в нас часто не встречами с людьми, а событиями жизни или даже книгами, но в гораздо более простом, хотя и совершенно бесценном для нашей жизни опыте, что всякое «я» и всякое встречное ему «ты» суть сообщающиеся сосуды, что один человек другому и содержание и форма жизни, и прибыль и убыль бытия.][39] Есть люди, иногда совершенно простые — матери, няньки, незатейливые домашние врачи, от простого присутствия которых в душу вливается какой-то мир, тепло и тишина. Есть другие, замученные души, нервные, в которых

все бьется, как мотор на холостом ходу, и которые вселяют в сердца других страшную тревогу и беспокойство. Не надо думать, что Белый, если бы он вообще мог проливать свою душу в другую, мог бы проливать в нее только одну тревогу и одно беспокойство. У него бывали моменты непередаваемо милые, когда он весь светился нежною ласкою, исходил, истаивал прекрасною, недоумевающею, виноватою какою-то улыбкою.

[Волнующий меня вопрос бытия Белого заключается таким образом, в первую во всяком случае очередь, не в том, что в его внутреннем бытии отрицательный полюс боли, тревоги и распада перевешивал положительный полюс благополучия, покоя и строя. Это тоже было, но главное заключается в другом. В том, что Белый даже и при близком знакомстве,][40] даже и в минуты сердечнейшего общения «ухитрялся» оставаться каким-то в последнем смысле запредельным и недоступным тебе существом, существом, чем-то тонким и невидимым, словно пейзаж прозрачным[41] стеклом, от тебя отделенным. В своих слепительных по глубине и блеску беседах — «нельзя запечатлеть всех молний» (Белый) — он скорее развертывался *перед* тобою каким-то небывалым событием духа, чем запросто, по человечеству *бывал* с тобою. Быть может, вся проблема беловского бытия есть вообще проблема его бытия, *как человека.* Подчас — этих часов бывало немало, — нечто внечеловеческое, до-дочеловеческое и сверх-человеческое чувствовалось и слышалось в нем гораздо сильнее, чем человеческое. Был он весь каким-то не «в точку» человеком; [весь душевно-физический облик его был явно не вполне человеческого покроя][42].

За пять лет очень частых, временами еженедельных встреч с Белым я успел вдоволь насмотреться на него. И вот сейчас он живо вспоминается мне то в аскетически обставленной квартире Гершензона, под портретом Пушкина[43], то в убогом «Дону» у Эллиса[44], то в роскошных покоях М.К. Морозовой[45] на заседаниях религиозно-философского общества за зеленым столом, то в переполненных аудиториях Политехнического музея, то на снобистически-скандальных собраниях «Свободной эстетики»; позднее [в домах Найденова на Кудринской Садовой (то у Рачинских, то у антропософов Григоровых[46]),][47] под Москвой на даче, где он жил первое время после женитьбы, у нас в гостях; но главным образом, конечно, в «Мусагете», в уютной редакционной квартире на Арбатской площади, где чуть ли не ежедневно собирались «мусагетцы», «орфики»[48], «символисты», «идеалисты», и где под бесконечные чаи и в чаянии бесконечности шла беспрерывная беседа о судьбах мира, кризисе культуры и грядущей революции. Беседа, сознаемся, иногда слишком «пиршественная», слишком широковещательная, но все же на редкость живая, глубокая, оказавшаяся во многих пунктах пророческим провидением последующих военно-революционных годов. Пусть большевицкая революция эту беседу оборвала — по-революционной России не избежать углубленного и протрезвленного возврата к ней.

Но вернемся к Белому. Всюду, где он появлялся в те поры, он именно *появлялся* в том точном смысле этого слова, который не применим к большинству людей. Он не просто входил в помещение, а как-то по-особому ныряя головой и плечами, не то влетал, не то врывался, не то втанцовывал в него. Во всей его фигуре было нечто всегда готовое к прыжку, к нырку, а может быть и к взлету; в поставе и движениях рук нечто крылатое, рассекающее стихию: водную или воздушную. Вот, вот нырнет в пучину, вот взовьется над нею. Одно никогда не чувствовалось в Белом —

корней. Он был существом, обменявшим корни на крылья. Оттого, что Белый ощущался существом, пребывающим не на земле, а в каких-то иных пространствах и просторах, безднах и пучинах, он казался человеком предельно рассеянным и отсутствующим. Но таким он только казался. На самом же деле он был внимательнейшим наблюдателем, с очень зоркими глазами и точною памятью. Выражение — он был внимательным наблюдателем, впрочем, не вполне точно. Сам Белый таковым наблюдателем не был, но в нем жил некто, за него наблюдавший за эмпирией жизни и предоставлявший ему впоследствии, когда он садился писать романы и воспоминания, свою «записную книжку». В беседах с Белым я не раз удивлялся протокольной точности воспоминаний этого как будто бы рассеянно-реющего над землею существа. И все же воспоминаниям Белого верить нельзя. Нельзя потому, что реющее над землею существо в Белом постоянно поправляло своего земного наблюдателя. Наблюдатель в Белом предоставит ему свое описание какой-нибудь бородавки на милом лице, Белый в точности воспроизведет это описание, но от себя прибавит: описанная бородавка есть не бородавка, а глаз. «На рубеже двух столетий» («Начало века» мне, к сожалению, не удалось получить) совершенно изумительная книга, но книга целиком построена на этой гениальной раскосости беловского взора.

Эта раскосость беловского взора, связанная с двупланностью его сознания, поражала меня всегда и на лекциях, где Белый выступал оппонентом. Сидит за зеленым столом и как будто не слушает. На то или иное слово оратора нет-нет да и отзовется, конечно, взором, мыком, кивком головы, какою-то фигурно выпячивающею губы улыбкою на насупленном, недоумевающем лице, но в общем отсутствует, т.е. пребывает в какой-то своей «бездне», в бездне своего одиночества и своего небытия. Смотришь на него и видишь, что весь он словно клубится какими-то обличиями. То торчит над зеленым столом каким-то гримасничающим Петрушкою с головою на бок, то цветет над ним в пухе волос и с ласковой лазурью глаз каким-то бездумным одуванчиком, то вдруг весь ощерится зеленым взором и волчьим оскалом... Но вот: «слово предоставляется Андрею Белому». Белый, ныряя головой и плечами, протанцовывает на кафедру; безумно-вдохновенною своею головою возникает над нею и, озираясь по сторонам (где же враги?) и «бодая пространство», начинает возражать: сначала ища слов, в конце же всецело одержимый словами, обуреваемый их самостоятельною в нем жизнью. Оказывается, он все услышал и все запомнил. И все же, как его воспоминания — не воспоминания, так и его возражения — не возражения. Сказанное лектором для него в сущности только трамплин. Вот он разбежался мыслью, оттолкнулся от него и уже крутится на летящих трапециях своих собственных вопросов в высочайшем куполе своего одинокого «я». Он не оратор, но говорит он изумительно. Необъятный горизонт его сознания непрерывно полыхает зарницами неожиданнейших мыслей. Своею ширококрылой ассоциацией он в полете речи связывает во все новые парадоксы самые, казалось бы несвязуемые друг с другом мысли. Логика речи все чаще форсируется ее фонетикой: — человек провозглашается челом века, истина — одновременно и естиной (по Платону) и Ѣстиной (по Марксу)[49]. Вот блистательно взыгравший ум внезапно превращается в заумь; философская терминология — в символическую сигнализацию; минутами смысл речи почти исчезает. Но, несясь сквозь «невнятицы», Белый ни на минуту не теряет убедительности, так как ни на минуту не теряет изумительного дара своего высшего словотворчества.

Язык, запрядай тайным сном!
Как жизнь, восстань и радуй[50]: в смерти!
Встань — в жерди: пучимым листом!
Встань — тучей, горностаем: в тверди!
Язык, запрядай вновь и вновь...[51]

Но вот Белый спускается с высот и начинает метко нападать на противника, [граня в «сериях» методологически упроченных смыслов вечный хаос своего мучительного опыта][52]. На этих спусках он обнаруживает необычайную начитанность, даже ученость, зоркий критический взгляд и подчас очень трезвое мнение. Тут он прекрасно понимает, что «где-то и что-то к добру не приведет», что мы жаждем «ясного, как Божий день, слова».

Людям, нападающим на «невнятицы» Белого, отклоняющим его за туманность его художественного письма и спутанность его теоретической мысли, надо было бы, перед тем как отклонять этого изумительного художника и теоретика, серьезно задуматься над тем, что все невнятицы, туманности и путаницы Белого суть явления высоты, на пути к которой Белый умел бывать и внятным, и ясным, и четким.

Два свидания с Белым — одно, вероятно, в зиму 1911—12 г. в Москве, другое, последнее, накануне его отъезда из Берлина в Россию[53], запомнились мне особенно ярко. Рассказать о них подробно все же не смогу, потому что в сущности ничего не помню, кроме нескольких маловажных деталей, да очень важного для моего понимания Белого, но почти не поддающегося описанию ощущения запредельности и призрачности беловского бытия.

Стояла совсем поздняя осень, Белый пришел за какие-нибудь 5—10 минут до того, как спускать шторы и зажигать лампы. В мой кабинет с большим письменным столом у окна вынырнул он из-под портьеры передней с крепко сжатыми перед грудью ладонями и округленно-пружинящими, словно пытающимися взлететь локтями. Остановившись перед окном, [за которым в сумерках истаивал высочайший тополь,][54] он обвел блуждающим взором мой стол и блаженно улыбнулся вопросом: «а вам тут очень хорошо работать?» Затем опустился в кресло и отошел в себя. Я сразу почувствовал, что собравшись по сговору к нам, он не выключил в себе творческого мотора и что перед ним клубятся какие-то свои галлюцинации. Ни последовавшего тут же разговора, вероятно о Мусагетских делах, ни ужина, не помню. Помню только уже очень поздний час, отворачивающуюся в сторону от едкого дыма папиросы вдохновенную голову Белого, то наступающего на нас с женою с широко разверстыми и опущенными книзу руками, то отступающего в глубину комнаты с каким-то балетным присяданием. Весь он, весь его душевно-телесный состав, явно охвачен каким-то творчески-полемическим исступлением. Он говорит об общих знакомых, писателях, философах и, Боже, что за жуткие изваяются гениальными словами его метафизические карикатуры! Смотрю и слушаю: нет, дело не в недоброжелательстве к людям и, конечно, не в издевательстве над ними. Дело просто в обреченности Белого видеть мир и людей так, как нам иной раз по ночам, в особенности в детстве, видятся разбросанные по комнате предметы. Круглый абажур лампы на столе, рядом на стуле белье и вот — дух захватывает от страха: в кресле у постели сидит скелет в саване... В тот вечер,

о котором пишу, я впервые понял, что в Белом и его искусстве (так, например, в «Петербурге», который он совершенно изумительно читал, вбирая в расширенные ноздри бациллы петербургских задворок и устрашенно принижаясь плечами в кресле, как принижаются в петербургских туманах острова с циркулирующими по ним субъектами) ничего не понять, если не понять, что Белый всю жизнь все абажуры видел и изображал в момент их превращения в черепа, а все стулья с брошенным на них бельем в момент их превращения в саваны. Видя так предметы своего обихода, он еще в большей степени видел так и людей. В каждом человеке Белый вдруг открывал (часто надолго, но вряд ли когда-нибудь навсегда, у него в отношении к людям вообще не было «навсегда») какую-нибудь особую, другим невидимую точку, из которой, наделенный громадной конструктивной фантазией, затем рождал и развивал свой образ, всегда связанный с оригиналом существеннейшим моментом острого, призрачного, ночного сходства, но в целом предательски мало похожий на живую действительность.

В вечер первого моего сближения с ним Белый был как-то особенно в ударе. Создаваемые им образы-фантомы магически награждались им всею полнотою эмпирической реальности и рассаживались вокруг него по стульям и креслам...

Разошлись мы очень поздно, я вышел проводить его за ворота. На дворе осень превратилась в зиму. От белизны и чистоты выпавшего снега я ясно и радостно ощутил большое облегчение. Вернувшись в прокуренную квартиру, я остро почувствовал, что в ней тесно, и открыл окна, в надежде, что невидимо сидящие на стульях гротески, среди них много добрых знакомых и друзей, вместе с папиросным дымом выклубятся в чистую, от снега светлую ночь.

Зимою 1922–23 года я виделся с Белым редко. Последний раз мы были у него с женою, думается, совсем незадолго до его все же внезапного отъезда в Россию. Пришли к нему, узнавши, что он болен, неухожен и даже нуждается. Его действительно трясла лихорадка. Во время разговора, касавшегося его отъезда в Россию, издательских дел, авансов и, помню, Алексея Толстого [(немотивированно обрушился на его «Хождение по мукам»[55])][56], он как зверь по клетке ходил по комнате в наброшенном на плечи пальто. Главное, что осталось от разговора, это память о том, что, разговаривая с нами, Белый ни на минуту не отрывался от зеркала. Сначала каждый раз, проходя мимо, бросал в него долгие, внимательные взоры, а потом уже откровенным образом сел перед ним в кресло и разговаривал с нами, находясь все время в мимическом общении со своим отражением. В эти минуты ответы мне становились всего лишь репликами «в сторону»; главный разговор явно сосредоточивался на диалоге Белого со своим двойником. Раздвоение Белого, естественно, заражало и меня. Помню, что и я стал заглядывать в зеркало и прислушиваться к мимическому общению Белого с самим собою. Разговора нашего не помню, но помню, что слова его все многосмысленнее перепрыгивали по смыслам, а смыслы все условнее и таинственнее перемешивались друг с другом.

Не будь Белый Белым, у меня от последнего свидания с ним осталось бы впечатление свидания с больным человеком. Но в том-то и дело, что Белый был Белым, т.е. человеком, для которого ненормальная температура была лишь внешним выражением внутренней нормы его бытия. И потому, несмотря на всю сирость, расстроенность, бедностность и болезненность в последний раз виденного мною Белого, мое последнее свидание с ним осталось в памяти верным итогом всех моих

прежних встреч с этим единственным человеком, которым нельзя было не интересоваться, которым трудно было не восхищаться, которого так естественно было всегда жалеть, временами любить, но с которым *никогда* нельзя было попросту быть, потому что в самом существенном для нас, людей, смысле его, быть может, и не было с нами.

Говоря о небытии Белого, о его одиночестве, о его замкнутости в себе самом, я не раз, и конечно не случайно, упоминал о монаде. Монада, по мысли создателя философской монадологии, Лейбница, как известно, не имеет окон, не сообщается с другими монадами, не сообщается с миром. И все же она весь запредельный ей мир по-своему несет и таит в себе: отражает его с тою или иною степенью ясности и отчетливости. Можно пойти дальше и сказать, что все бытие монады только и состоит в том, чтобы отражать бытие мира, чтобы жить отражениями, чтобы быть отраженностью. Одиночество Белого (оно же и его небытие, ибо бытие всякого **Я** начинается с «ты еси» — В. Иванов)[57] есть не любое и простое одиночество, а одиночество именно *монадологическое.* Как лишенная окон монада, Белый занимал в иерархически-монадологическом строе вселенной, бесспорно, очень высокое место (одно из самых первых, среди своих современников), ибо — в этом вряд ли возможны сомненья — отражал тот мир «рубежа двух столетий», в котором жил и из глубины которого творил, с максимальною четкостью и ясностью. За эту верность своей эпохе не в ее явных благополучных формах, а в ее тайных, угрожающих бесформенностях, за верность эпохе, как великому кануну назревающих в ней катастроф, как готовящемуся в ней взрыву всех привычных смыслов, [как скату в небытие всех ее бытийственных и бытовых форм,][58] Белый и заплатил трагедией своего небытия и одиночества, ставшей, правда, благодаря магии его дарования, нашею крепчайшею связью с ним. Творчество Белого это единственное по силе и своеобразию воплощение небытия «рубежа двух столетий», [как вступления к предчувствуемому нами бытию двадцатого века,][59] это художественная конструкция всех тех деструкций, что совершались в нем и вокруг него; раньше, чем в какой бы то ни было другой душе, рушилось в душе Белого здание 19-го века и протуманились очертания двадцатого.

Конец девятнадцатого века, служащий сейчас мишенью всевозможнейших нападений и издевательств, был в известном смысле одной из наиболее блистательных эпох истории человечества. Закончившая короткою и локализированною франко-прусскою войною период войн и революций консолидировавшаяся Европа твердою стопою решительно пошла по пути мирного преобразования своей жизни (в идеале же жизни всех стран и народов) на основе незыблемых идеалов европейской цивилизации. Нельзя сказать, чтобы на этих путях было мало достигнуто. Европа за несколько десятилетий мощно разбогатела. Научно-техническими своими изобретениями до неузнаваемости преобразила лик земли и образ человеческой жизни. Несмотря на все жестокости капитализма в общем значительно повысила жизненный уровень всего человечества, не только одних богатых. Достигла она этого (нам, пережившим кризис и срыв идей 19-го века, грешно этого не видеть) относительно весьма мягкими средствами: 19-й век был веком господства права даже и в международных сношениях, был веком создания социального законодательства даже и для рабов капитализма. Раненый насмерть, истекая кро-

вью, 19-ый век устами Вильсона[60] и Керенского все еще бредил о свободах, о правах человека и гражданина.

Не меньше, чем в экономическо-социальной сфере, достиг 19-й век и в сфере культуры. Расцветшая наряду с естественно-научными исследованиями историческая наука до бесконечности раздвинула историческую память европейского человечества и тысячами нитей связала культуру Европы со всеми другими культурами мира. Образованный и передовой европеец конца 19-го века был не только французом, англичанином, русским или немцем, но культурнейшим «гражданином вселенной», свободно двигавшимся по дворцам и храмам решительно всех культур и чувствовавшим себя везде дома. Убегающая в прошлое линия наукою воссозданных воспоминаний естественно сливалась с линией научно-технического построения будущего в одну пронзающую мировые эоны и мировые пространства магистраль всечеловеческого прогресса.

Профессорский сын и воспитанник либерально-университетской среды, Белый, как он о том сам впоследствии рассказал в первом томе своей автобиографии («На рубеже двух столетий»), уже с ранних гимназических лет поднял знамя борьбы против благородно-болтливой фразы либерально-гуманитарного прогрессизма: против позитивизма в науке, натурализма в искусстве и умеренного либерализма в политике. Тем не менее Белый, как мне кажется, с самого начала был и в целом ряде моментов своего духовного облика до конца оставался типичным выкормышем прогрессивного 19-го века. Не будь он им, он не стал бы тем характерным выразителем кризиса «рубежа», каким он безусловно войдет в историю русского сознания – русской философии, русского миросозерцания. Интеллигентски-профессорская либеральная закваска Белого сказывается прежде всего в полном отсутствии в его сознании всех первично консервативных пластов духа и опыта, [(социологический этот факт соответствует тому психологическому, что Белый][61] был существом крылатым, но лишенным корней). Белый тесно связан с Достоевским и Вл. Соловьевым, но в нем нет ничего от Хомякова и Льва Толстого. Церковь, земля, мужик были ему чужды. В «Серебряном голубе» есть, правда, и церковь, и земля, и мужик, и барская усадьба, и все же всего этого в «Серебряном голубе» нету. Реальны и убедительны в этом мастерски написанном оригинальном романе: двупланность души Дарьяльского, связь детской печали с бесстыдством «духини Матрены», пьяная революционная гармоника, годами идущий на Целебеево придорожный куст, «разводы» Кудеяровского лица, невнятица его речи, дороги, дожди, туманы – одним словом, убедительна в нем *атмосфера*. Все же вписанное в эту атмосферу: церковь, о. Вукол, дьячок, попадья, девицы Уткины, купец Еропегин, баронесса, Евсеич, кровопивец-староста – все это лишь внешним кустодиевским плакатом опавший Гоголевский прием. Всего этого нет, нет не только в бытовом плане, что для Белого не укор[62], но и в бытийственном. Все перечисленные образы не типы, т.е. не в индивидуальность заостренные общности, как образы Льва Толстого и Достоевского, а всего только декоративные персонажи, т.е. лишенные индивидуальных черт обобщения. В них очень много краски и орнаментальной линии, но мало крови, плоти и духовной субстанции. По замыслу Белого в образах баронессы, Еропегина, кровопивца-старосты и др. должен был бы чувствоваться распад старой, частично еще дореформенной России, но он в них не чувствуется и не чувствуется потому, что в душах этих людей, за отсутствием в них душ, подмененных орнаментальною фреской, ничего не происходит.

[Распад – процесс. Персонажи же старой России в «Серебряном голубе» абсолютно статичны][63]. Они нарисованы как вещи, но не как люди; даны не изнутри – а извне, что доказывает, что внутреннего отношения к старой, к исторически ставшей России у Белого не было. Мордатые гротески Алексея Толстого, при всей живописности его письма, никогда не фрески. Старая Россия вся у Толстого в утробе. Потому он и пишет ее (да простится мне это сравнение) словно отрыгивает. Белый же старой России в утробе конечно не носил. У него вообще не было утробы, или, выражаясь деликатнее, у него не было физиологически-бытовой памяти. И в этом его органический «либерализм».

Ослабление физиологически-бытовой памяти (разрыв кровной связи с отцами и дедами) совпадало всегда, еще со времен борьбы Сократа с софистами, с развитием рационально-критической стихии, с обострением логической совести, с повышением, и утоньшением[64] сознательности. В «мистике» и «антропософе» Белом, казавшемся большинству людей человеком хаотического сознания и невнятной речи, мы встречаемся с яркою выраженностью всех этих черт.

Талант Белого представляет собою в высшей степени атипичный и широкий синтез дарований. Белый в целом, т.е. наиболее оригинальный и значительный Белый, мало кому интересен и доступен. Теоретические статьи по искусству, собранные в увесистом томе «Символизма», читались и ценились лишь небольшою группою философствующих писателей, преимущественно лириков. Его романами зачитывались прежде всего философы, психологи, мистики, музыканты. Типичный писатель и широкая публика, публика Горького, Андреева, Арцыбашева, его не читала и не понимала. Белый в целом, т.е. единственно подлинный Белый, еще до сих пор не попал потому ни в фокус всеобщей читательской любви, ни в фокус пристального внимания исследователей русского сознания и русского искусства. Более всего незамеченными прошли такие его работы, как «Смысл искусства»[65] и, главным образом, «Эмблематика смысла». Говорить о них по существу и вплотную здесь конечно не приходится. В связи с интересующей меня темою отношения Белого к 19-му веку отмечу лишь то, что линия рационалистически-методологического разложения целостного сознания, линия, берущая свое начало в софистике и восходящая через Декарта к Канту, ощущается в «Эмблематике смысла» очень глубоко и защищается Белым весьма серьезно; не без подлинного гносеологического блеска и пафоса. Наивной научной веры в Белом нет и следа. Им глубоко усвоено неокантианское положение, что всякий объект познания и всякое его опознание предопределены искусственностью методологического подхода к действительности. Что объективных действительностей столько же, сколько методологических приемов исследования фактов сознания. Не без некоторого злорадства, не без некоторого методологического садизма, не без кудеяровского подмигивания: – «я... вот ух как!» доказывает Белый, что всякое положительное знание должно быть как бы надломлено опознанием его методологической обусловленности, [что лишь этот надлом всякого знания следующими за ним по пятам актами опознания самих познавательных актов превращает знания в подлинное познание, и тем самым уже снова в незнание][66]. В самом деле, если действительностей столько же, сколько познавательных методов, то не значит ли это, что познание познает не действительность, а самого себя и что действительность вовек непознаваема. Тут кантианская методология, тезис непознаваемости абсолютного бытия превращается Белым в метафизический тезис буддизма, в утвер-

ждение небытия (нирвана) как единственно подлинного всебытия; и Кант, конечно же Кант, этот «кенигсбергский китаец», водружается в восточном кабинете Николая Аполлоновича Аблеухова, почитателя Будды, — в качестве патрона как его нигилистически-террористических медитаций, так и организационной фантастики (нумерация, циркуляция серий, квадраты, параллелепипеды, кубы) его сановного отца.

В этой метафизике «панметодологизма»*, переходящей у Белого, правда, в несколько химерическую историософскую концепцию панмонголизма, также явно сказывается глубокая связь Белого с духом либерального критического просвещенства, как и в его изображении исторической России. Превращение быта во фреску и познания в метод суть явления одного и того же порядка, явления разложения в душе девятнадцатого века непосредственного чувства подлинного *бытия*.

Особой, симптоматически наиболее важной остроты панметодологизм Белого достигает с переносом идеи методологического плюрализма в сферу культуры. В «Символизме» странным образом переплетаются и борются друг с другом две по своей природе весьма различные идеи. С одной стороны, Белый защищает новое символическое искусство как «теургию» (Вл. Соловьев), как творчество новой жизни, а с другой, [как вполне им самим осознанный][69] эклектизм александрийской эпохи. В основе этой второй линии защиты лежит очевидная мысль, что культура есть не что иное, как максимально широко развернутый метод подхода к действительности и что задача символического искусства заключается в новой комбинации всех культур и миросозерцаний в целях наивозможно полного охвата жизни. В «Эмблематике смысла» Белый так прямо и говорит: «мы действительно осязаем *что-то* новое (вспомним слова того же Белого в полемике против Блока: «где-то, что-то к добру не приведут»), но осязаем его в старом; в подавляющем обилии старого — новизна так называемого символизма»... «в порыве создать новое отношение к действительности *путем пересмотра серий* забытых миросозерцаний (до чего рационалистически-эклектический оборот! — *Ф.С.*) вся сила, вся будущность так называемого нового искусства»[70]. В дальнейшем Белый защищает «александрийский период античной культуры» против нападок со стороны Ницше и, объявляя самого Ницше «современным александрийцем», объясняет этим вещие свойства его духа, не замечая всей зловещности защищаемого им знака равенства между «вещностью» и эклектизмом, пророчеством и культуртрегерством.

Не надо думать, что раскрываемая мною в Белом тема 19-го века была в нем случайна. Совсем напротив: она была его роковой темой. Интересующийся всеми эпохами и всеми науками, верящий в эволюцию и прогресс[71], [в обязательно лишь через призму времени** раскрывающуюся вечность,][72] «гражданин вселенной» никогда окончательно не умирал в Белом. [Правда, в философе и антропософе

* «Пан-методологизм» — термин, которым кн. Евгений Трубецкой определяет сущность нео-кантиански-гегельянской философии Германа Когена, с которой был через Бор. Ал. Фохта тесно связан Андрей Белый. Впоследствии место Когена в его философии занял Генрих Риккерт, принимавший живое участие в «Логосе», международном журнале по философии культуры[67] (прим. Ф. Степуна)[68].

** Времени, но не пространства. Сочетание времени и пространства неизбежно дает бытие быта и бытие в быте, то, что Белому было чуждо. У Белого все пространства или крылаты, или кажутся таковыми, ибо они сами куда-нибудь летят, или являют собою просторы, сквозь которые все пролетает куда-то (прим. Ф. Степуна).

Белом* в основе своей социологическая тема прогресса преображена в типично-беловскую тему «эволюции человеческого сознания», но это преображение не только не отменяет, но, быть может, даже и усиливает ее показательное значение.][74] Носящийся в космических просторах, эволюционист-антропософ еще радикальнее отрезан от всех пространственно-бытовых, национально-плотяных и исторически-религиозных (церковных) начал, чем тихо проживающий на «Арбате» либеральный профессор-экономист. Эту, – скажем условно, – отрезанность от всех *консервативных* начал Белый не только чувствовал, но и осознавал в себе. В своем «Дневнике» («Записки мечтателя» №№ 2 и 3-й)[75] он с пафосом провозглашает, что он человек свободный «от пут рода, от быта, от местности, национальности, государства, противостоящий миру и только миру, – всему миру».

Это ли не последнее слово просвещенски-эгалитарного раз-воплощения в результате пересмотра «серий забытых миросозерцаний»! В этом последнем слове налицо и известная духовная связь Белого с большевизмом, по крайней мере, с характерною для большевизма темою просвещенской «уравниловки» и развоплощения исторически сложившейся жизни.

Но, конечно, Белый не был бы Белым, если бы он был только последним словом прошлого, гражданином вселенной, культуртрегером, ученым исследователем серий забытых миросозерцаний, антропософом, осуществляющим в себе эволюции сознаний, психоаналитиком, исследующим его подсознательные глубины, – одним словом, если бы он был только тою вершиною культуры, которою он действительно был даже и помимо *своего* своеобразнейшего художественного дарования. Нет, Белый стал Белым, т.е. явлением единственного симптоматического и даже пророческого значения, потому что, будучи вершиной культуры, он раньше многих других понял и всем своим художественным творчеством заявил: «культура – трухлявая голова, в ней все умерло, ничего не осталось. Будет взрыв: все сметется». Все главные темы поэта и романиста Белого суть темы взрыва культуры, взрыва памяти, взрыва преемственной жизни и сложившегося быта.

В основе всех этих тем лежит с ранних детских лет восставшая в душе Белого жутко-мучительная тема бунта против любимого отца, обострявшаяся в нем временами до идеи посягательства на его жизнь**.

«Петербург» почти гениальное раскрытие темы восстания против отца и отечества, темы заклания плоти России и развоплощения русской истории. Все пушкинские «граниты» разъедены в «Петербурге» гнилостно-лихорадочными туманами, все петровские реформы и законы превращены в параграфы, «совокупляющиеся крючки» ненавистного Коленьке по плоти отца, сенатора Аполлона Аполлоновича. Людей в «Петербурге» нет. Обитатели «столичного града» расклублены Белым в дым оборотней и химер; все человеческие лица преданы нацепленными на них масками. Не только души, но даже и тела всех действующих лиц «Петербурга» Белым разъяты на части: видны не тела, не фигуры, но лишь голо-

---

* Белый и антропософия – большая тема, которой я по существу в этой статье не касаюсь[73] (прим. Ф. Степуна).

** Вл. Ходасевич полагает эту тему во главу угла всего творчества Белого, на мой слух снижая ее тем психоаналитическим поворотом, который он ей придает[76]. Правда, в писаниях Белого есть совершенно прямые указания на наличие в душе Белого переживаний, прямо-таки вызывающих применение к ним фрейдовских методов исследования; тем не менее я думаю, что историософский подход к творчеству Белого существеннее психологического и в особенности психоаналитического (прим. Ф. Степуна).

вы, плечи, носы, затылки, спины; слышны не речи и фразы, а обрывки слов и фраз, возгласы, хрипы, гымканья[77], простукивающие куда-то по черным вонючим лестницам ноги, бьющиеся в таких же черных провалах сознания сердца. Несмотря на тщательность описания разнообразнейших обиталищ петербургских жителей, глазу читателей все же не видно, где они обитают. Видны в «Петербурге» не дома, квартиры и комнаты, а опять-таки лишь разъятые части жилищ. Затуманенные колонны и кариатиды, блестящие лестницы, паркеты и инкрустации, окна, обезумевшие от бьющего в них лунного света и какие-то все время выступающие из мрака кубистические косяки. Причем все это: люди, улицы, дома и комнаты — дано не статично, а в максимуме движения. Не то Петербург пролетает куда-то сквозь безмерность мертвых просторов, не то сами эти просторы, обезумевши, несутся мимо него. Что стоит на месте и что несется вдаль, разобрать нельзя. Максимум движения и мертвая точка неподвижности с изумительным писательским мастерством противопоставлены Белым в «Петербурге», словно два отражающих друг друга зеркала. К этой химерической приравненности движения к неподвижности приравнены в «Петербурге» все остальные друг друга отражающие и взрывающие полярности. Бытие равно в нем небытию, болезнь — мудрости, патология — онтологии. Все свои заветные историософские мысли Белый неслучайно, конечно, раскрывает перед читателем в форме бреда и галлюцинаций Александра Ивановича. В этих историософских кошмарах несвязно, но веще мелькают все существенные слова и образы будущего: ...«период изжитого гуманизма закончен»... «наступает период здорового варварства»... «Франция под шумок вооружает папуасов, их ввозит в Европу»... «пробуждается сказание о всадниках Чингиз-Хана, распоясывается семито-монгол»...

«Собственно не я в партии, а во мне партия»... «для нас волнуемая социальными инстинктами масса превращается в исполнительный аппарат, где все люди — клавиатура, на которой летучие пальцы пианиста бегают, преодолевая все трудности»... «спортсмэны революции»... «медный конь копыт не опустит: прыжок над историей будет; великое будет волнение, рассечется земля; самые горы обрушатся от великого труса; а родные равнины от труса изойдут горбом. На горбах окажутся Нижний, Владимир и Углич... Петербург же опустится».

Таких пророческих и полупророческих слов в «Петербурге» много. Но все пророчества и предчувствия Белого лишь пророчества и предчувствия хаоса и взрыва. Образа будущей России он не провидит и не предсказывает. Тех в устах Белого [никогда не звучавших до конца убедительно][78] романтически-славянофильских обнадеживаний, что портят некоторые страницы «Серебряного голубя», в «Петербурге» уже нет. Впрочем и в «Серебряном голубе» они звучат лишь на втором плане. Весь первый план и тут занят изображением «прыжка над историей», взрыва сложившегося быта и европейской культуры. Из мира барских усадеб и призрачно доживающих в них в качестве стенных фресок на распадающихся стенах людей-персонажей, из мира глубочайшей европейской науки и собственного эклектически-утонченнейшего творчества — Дарьяльский, герой романа, помолвленный с баронессиной внучкой Катей, уводится рябой бабой Матреной, «духиней» главы мистически-эротической секты серебряных голубей (близкой к хлыстовству), в росы, в зори, в поля, в труд, в пот, в грязь, в исступление и вдох-

новение религиозно-революционных экстазов. Это избавление Дарьяльского от призрачной жизни мертвого быта и «трухлявой культуры» оказывается однако призрачным. Город Лихов, центр духовной молитвы и социально-революционной проповеди «голубей», оборачивается к концу романа, как и Петербург, «городом теней». «Животворящая» секта голубей учиняет страшную расправу над Дарьяльским. Сотворяет ему страшную смерть в темноте и топтании духоверческих мужицких сапожищ. Последние главы «Серебряного голубя» исполнены, как и «Петербург», предчувствий и предсказаний революции...

Все написанное им Белый, — в 23-м году, по крайней мере, считал лишь «пунктами» создания грандиознейшей картины. Для этого своего завершающего творения Белый, замученный и затравленный ужасными условиями жизни первых революционных лет, исступленно требовал («Записки мечтателя», кн. 2- и 3-я) «пуды ярких красок», «громадные полотнища» и «шесть лет», хотя бы нищенски обеспеченной жизни. Темы своего всезавершающего творения, своей «Эпопеи» («Записки чудака» являются первым томом «Эпопеи», «Котик Летаев» многими нитями связан с нею), намечались Белым все в том же «Дневнике». Темы эти суть: катастрофа культуры, катастрофа сознания, смерть личности, прорастание личности коллективным «Я». «И нет, не зовите больного меня: дайте мне доболеть в моей самости; дайте бренной, страдающей личности Белого опочить вечным сном; и перед смертью своей написать завещание, рассказать, *как носила умершая личность в себе свое "Я"*; в этом лишь завещании умирающей личности — приближение к пределу доступному ей: честно выявить голос писателя Белого в мощном оркестре *мистерии переживаемой ныне*».

В этих словах кроется последняя, безмерно значительная для нашего времени, но на основании всего опубликованного Белым неразрешимая проблема сущности и природы того «Я», в котором умирает человеческая личность.

Катастрофа индивидуалистической культуры, гибель гуманистической личности, гибель «самости» и рожденье нового коллектива, все это пережито, теоретически осознано и художественно воссоздано Белым с единственною глубиною и силою. Нет сомнения, в историю русского сознания все созданное им войдет как глубокомысленнейшая философия революции и метафизика небытия. Вопрос лишь в том — принадлежал ли сам Белый до конца к тому миру, который изображал с единственным мастерством, к миру небытия и катастроф, или в нем, в его «гибнущей» личности, росла и поднималась подлинная сверхличная реальность: не сомнительная реальность темно-невнятного коллективистического «Я» с большой буквы, «Я» его «Эпопеи», но подлинная реальность образа и подобия Божия как единственно животворящей основы личной, социальной и национальной жизни. Решать этот вопрос, вопрос отношения сверхличного «Я» «Эпопеи» и Божьего лика, я в этой статье не берусь; он слишком сложен.

В заключение все же хочется указать на то, что бывший почти отцеубийца и революционер Николай Аблеухов, появляется в последних строках эпилога к «Петербургу» следящим за полевыми работами загорелым детиной с лопатообразной бородой и в мужицком картузе. Его видают[79] в церкви и, слышно, что он читает философа Сковороду[80].

Послесловие

Федор (Фридрих) Августович Степун (Степпун, Steppuhn; псевдоним Н. Лугин; 1884–1965) – философ, культуролог, прозаик, публицист, критик, общественный деятель. Писал на русском и немецком языках. Родился в России в семье прусского коммерсанта. Изучал философию в Гейдельбергском университете, под руководством философа-неокантианца В. Виндельбанда, в 1910 г. защитил диссертацию по историософии Вл. Соловьева. Войдя в круг ближайших сотрудников московского издательства «Мусагет», стал одним из основателей международного философского журнала «Логос» и его русского издания, осуществлявшегося «Мусагетом» в 1910–1914 гг. С ноября 1922 г. в эмиграции, с 1926 г. – профессор социологии на культурно-научном отделении Дрезденского политехникума (с приходом к власти нацистов отстранен от преподавания за свои христианские убеждения и «жидофильство»), в 1931–1939 гг. – один из издателей журнала «Новый Град»; после окончания Второй мировой войны занимал кафедру истории русской культуры в Мюнхенском университете.

Отклик на кончину Андрея Белого содержит письмо Степуна к И.А. Бунину (после 13 января 1934 г.):

> Ужасно грустно и беспросветно. Я еще очень многого ждал от него и почему-то был уверен, твердо уверен, что ему суждена долгая жизнь, что он еще дозреет до своей гениальности, успокоится и осуществится. Последнее впечатление от него в Берлине было такое странное. У него был легкий жар. Мы с Наташей (Н.Н. Степун, жена Степуна. – *А.Л.*) были у него. Он час говорил с нами, не отрываясь от себя в зеркале. Последнее время я перечитывал его вещи. Особенно «Первое свидание», которое очень люблю...[i].

Мемуарный очерк «Памяти Андрея Белого» вошел (в исправленном виде, с небольшими сокращениями) в кн.: *Степун Федор.* Встречи. Мюнхен: Товарищество Зарубежных Писателей, 1962. С. 160–186. Неоднократно перепечатывался в последующих изданиях.

Здесь текст воспроизводится по первоначальной редакции, опубликованной в «Современных Записках» (Париж. 1934. Кн. 56. С. 257–283). Наиболее важные изменения, добавленные или изъятые при позднейшей редактуре в издании 1962 г., приводятся в примечаниях; знаком купюры обозначены фрагменты, изъятые из первоначальной редакции; мелкие разночтения первой и позднейшей редакций не указываются.

---

[1] Сведениями об упомянутом лице не располагаем. Региональные съезды Русского студенческого христианского движения проводились в немецком городе Сааров в 1928–1929 гг. Романа под указанным заглавием Андрей Белый не писал и, насколько известно, не собирался писать; в данном случае, видимо, до собеседника Степуна в модифицирован-

---

[i] С двух берегов. Русская литература XX века в России и за рубежом / Публикация Р. Дэвиса и К. Хуфена. М., 2002. С. 105.

ном виде дошли известия о работе Белого над романом «Маски» – продолжением романа «Москва», посвященного «памяти архангельского крестьянина Михаила Ломоносова» (посвящение содержало скрытый намек на архангела Михаила – образ-символ, особо значимый в антропософском учении; см.: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 394–396; *Спивак М.Л.* Роман А. Белого «Москва»: экзо- и эзотерика посвящения // Литературное обозрение. 1998. № 2. С. 38–46).

[2] Заглавие книги А. Ремизова (Париж, 1927), хроникально-автобиографического повествования о России во время революции и в первые пореволюционные годы.

[3] Видимо, имеется в виду дружеский шарж Бориса Ефимова, помещенный в «Литературной газете» (1932. № 54. 29 ноября. С. 1).

[4] В поздней редакции очерка «Памяти Андрея Белого», опубликованной в книге Ф. Степуна «Встречи» (Мюнхен: Товарищество Зарубежных Писателей, 1962), имеются текстуальные разночтения по сравнению с первой публикацией в парижском журнале «Современные записки» (1934. Кн. 56. С. 257–283) – как мелкие, так и существенные (см. об этом в послесловии к публикации). Здесь во «Встречах»: «лацканами».

[5] Анатэма – герой одноименной трагедии Л. Андреева (1909); согласно авторскому пояснению, «так именуется Некто, преданный заклятию» (*Андреев Леонид.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1994. Т. 3. С. 397). Андрею Белому принадлежит статья об этом произведении (Весы. 1909. № 9), вошедшая в его книгу «Арабески» (М., 1911).

[6] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствует.

[7] Возможно, имеется в виду вечер в пользу М. Волошина, состоявшийся в Москве в Союзе писателей 6 февраля 1922 г., на котором с особым успехом было встречено выступление Ходасевича. См.: *Ходасевич В.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4 / Коммент. И.П. Андреевой. М., 1997. С. 650.

[8] «Весы» – ежемесячный журнал, издававшийся в 1904–1909 гг. московским символистским издательством «Скорпион». «Путь» – московское издательство религиозно-философской направленности (см.: *Голлербах Евгений.* К незримому граду. Религиозно-философская группа «Путь» (1910–1919) в поисках новой русской идентичности. СПб., 2000). «Мусагет» – московское символистское издательство, основанное в 1909 г. (см.: *Толстых Г.А.* Издательство «Мусагет» // Книга: Исследования и материалы. М., 1988. Сб. 56. С. 112–133). «София» – московский журнал (издатель К.Ф. Некрасов, редактор П.П. Муратов) искусствоведческого профиля, с особым вниманием к древнерусскому искусству (1914. №№ 1–6).

[9] Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949) в 1891 г. окончил курс Берлинского университета, где занимался экономико-юридическими аспектами римской истории, в 1895 г. завершил диссертацию, написанную на латинском языке. Поэт, переводчик, религиозный публицист Сергей Михайлович Соловьев (1885–1942) окончил в 1911 г. с дипломом 1-й степени классическое отделение историко-филологического факультета Московского университета.

[10] Многочисленные опыты Алексея Михайловича Ремизова (1877–1957) по переработке древних религиозных легенд и апокрифов. См.: *Грачева А.М.* О человеке, Боге и о судьбе: апокрифы и легенды Алексея Ремизова // Ремизов А.М. Собр. соч. Т. 6: Лимонарь. М., 2001. С. 650–663.

[11] Мария Алексеевна Оленина-д'Альгейм (1869–1970) – камерная певица (меццо-сопрано). Андрей Белый преклонялся перед ее мастерством, что нашло отражение в его

прозаических этюдах «Певица» (Мир Искусства. 1902. № 11. С. 302–304) и «Окно в будущее (Оленина-д'Альгейм)» (Весы. 1904. № 12. С. 1–11). См.: *Андрей Белый.* Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. / Вступит. ст., сост., коммент. А.Л. Казина. М., 1994. Т. 2. С. 130–138.

[12] Сочинения немецких мистиков Якоба Бёме (1575–1624) и Иоганна Экхарта (Мейстер Экхарт; ок. 1260–1327) и шведского писателя-мистика Эммануиля Сведенборга (1688–1772) были выпущены в серии «Орфей» издательства «Мусагет» (*Беме Яков.* Aurora, или Утренняя заря в восхождении / Перевод Алексея Петровского. М., 1914; *Мейстер Экхарт.* Проповеди и рассуждения / Перевод М.В. Сабашниковой, 1912; *Сведенборг Эммануил.* Увеселения премудрости о любви супружественной / Перевод автора неизвестного; издал по рукописи 1850 года В. Пашуканис. М., 1914).

[13] Бельгийский поэт и драматург Эмиль Верхарн (1855–1916) был в Петербурге и Москве в конце ноября – начале декабря 1913 г. (см. комментарий Т.Г. Динесман в кн.: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 618); французский живописец и график Анри Матисс (1869–1954) в Москве – с конца октября до начала ноября 1911 г. (см.: *Гриц Т., Харджиев Н.* Матисс в Москве // Матисс: Сб. статей о творчестве. М., 1958. С. 96–119; *Русаков Ю.А.* Матисс в России осенью 1911 года // Труды Гос. Эрмитажа. XIV. Л., 1973. С. 167–184); итальянский поэт, прозаик, драматург, теоретик футуризма Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944) в Петербурге и Москве – в конце января – феврале 1914 г. (см.: *Лившиц Бенедикт.* Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 470–507; *Харджиев Н.И.* «Веселый год» Маяковского // Харджиев Н.И. Статьи об авангарде: В 2 т. М., 1997. Т. 2. С. 16–36); немецкий философ, глава марбургской школы неокантианства Герман Коген был в России с конца апреля по начало мая 1914.

[14] Подразумевается Санин, герой одноименного романа (1907) Михаила Петровича Арцыбашева (1878–1927), проповедовавший «свободную любовь»; приверженцев идеологии арцыбашевского героя, появившихся в России в конце 1900-х, часто именовали в печати «огарками» (эротические «радения» якобы происходили «при тусклом свете огарков»). См.: *Буле Отто.* «Из достаточно компетентного источника...». Миф о лигах свободной любви в годы безвременья (1907–1917) // Новое литературное обозрение. 2002. № 57. С. 144–162.

[15] Имеется в виду московское Религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьева, основанное в 1906 г.

[16] Об участии Белого в работе «Общества свободной эстетики», образованного в 1906 г. при Московском Литературно-художественном кружке, см.: *МДР 1990.* С. 194–219.

[17] Цикл статей Андрея Белого «На перевале» (подписанный его настоящим именем: Борис Бугаев) печатался в «Весах» с № 12 за 1905 г. до № 9 за 1909 г.; всего под этим общим заглавием было опубликовано 14 его статей.

[18] Двухмесячник издательства «Мусагет» «Труды и дни» был начат изданием в 1912 г. «под редакцией Андрея Белого и Эмилия Метнера», об отказе Андрея Белого от редактирования было оповещено в № 4/5 «Трудов и Дней» за 1912 г.

[19] «Maison de Lied» – «Дом Песни», организованный в Москве в 1908 г. центр концертно-лекционной пропаганды новых идей в музыке. 6 ноября 1908 г. Белый выступил в «Доме Песни» с лекцией («I. Песня и современность. II. Жизнь песни»).

[20] Во «Встречах»: «полемической».

[21] Братья П.И., Н.И., А.И. и В.И. Астровы. См.: *НВ 1990.* С. 392–398.

[22] Теоретико-философская статья, впервые опубликованная в книге Андрея Белого «Символизм» (М., 1910).

[23] «Истина – естина» – словесная игра в гл. 1 «Петербурга» (главка «И при том лицо лоснилось»). См.: *Андрей Белый.* Петербург. Л., 1981. С. 42.

[24] Предвоенной зимой – то есть зимой 1913–1914 г.– Белого в Москве не было (он находился в это время в Германии и Швейцарии). В Москве перед мировой войной он жил (непродолжительное время) лишь зимой 1911–1912 г.

[25] Статьи из авторского цикла «На перевале» – «Штемпелеванная калоша» (Весы. 1907. № 5), «Против музыки» (Весы. 1907. № 3).

[26] Имеются в виду статья Андрея Белого «Круговое движение (Сорок две арабески)» (Труды и дни. 1912. № 4/5. С. 51–73) и «Открытое письмо Андрею Белому по поводу статьи “Круговое движение”» Степуна (Там же. С. 74–86). См.: Андрей Белый: pro et contra. СПб., 2004. С. 342–353, 944–945.

[27] Имеется в виду статья Андрея Белого «Нечто о мистике» (Труды и дни. 1912. № 2. С. 46–52).

[28] «Логос» – «международный ежегодник по философии культуры», русское издание которого выходило в «Мусагете» в 1910–1914 гг.; Степун был одним из его редакторов. См.: *Безродный М.В.* Из истории русского неокантианства (журнал «Логос» и его редакторы) // Лица: Биографический альманах. Т. 1. М.; СПб., 1992. С. 372–407.

[29] Отсылка к первому изданию книги (М., 1930).

[30] Подразумеваются полемическая книга музыкального и литературного критика, философа-культуролога, руководителя издательства «Мусагет» Эмилия Карловича Метнера (псевдоним: Вольфинг; 1872–1936) «Размышления о Гете. Кн. 1. Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма» (М.: Мусагет, 1914) и написанное в ее опровержение исследование Андрея Белого «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности...» (М.: Духовное Знание, 1917).

[31] Неясно, о каком произведении Андрея Белого, направленном против «создателя Дорнаха» – Р. Штейнера, здесь идет речь; весьма вероятно, что слова о «памфлете» не подразумевают конкретного текста, с которым имел возможность ознакомиться Степун или о котором он был наслышан, а основываются на известиях о критической переоценке Белым своих антропософских убеждений во время его пребывания в Берлине в 1922–1923 гг., отразившейся в ряде его высказываний (зафиксированных современниками) и письменных признаний (см. публикацию наиболее развернутого из них: *Лавров А.В.* Рукописный архив Андрея Белого в Пушкинском Доме // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 55–61).

[32] Во «Встречах» вместо фрагмента в квадратных скобках: «и изменить ей потом с теософией».

[33] Во «Встречах» это примечание отсутствует.

[34] Имеется в виду «Дневник писателя» (Записки мечтателей. 1919. № 1. С. 119–132).

[35] «Нечаянная Радость. Второй сборник стихов» Блока вышел в свет в декабре 1906 г., пьеса Блока «Балаганчик» была опубликована в 1-й книге альманаха «Факелы» в апреле 1906 г.

[36] Перепечатывая эту рецензию в составе своих «Воспоминаний о Блоке», Белый предварил ее текст следующим замечанием: «Считаю: оценка моя замечательной книги – несправедлива; перепечатываю ее, как необходимый, увы, документ отношений моих к его миру поэзии» (*О Блоке 1997.* С. 209).

[37] Редакция журнала «Весы» размещалась на пятом этаже дома гостиницы «Метрополь». См.: *Садовской Б.А.* «Весы» (Воспоминания сотрудника) / Публ. Р.Л. Щербакова // Минувшее. Т. 13. С. 18–20.

[38] Герой драматической поэмы Шиллера «Дон Карлос, инфант Испанский» (1787), благородный деятель, руководствующийся идеалами свободы и справедливости. См.: *Данилевский Р.Ю.* Бессмертие маркиза Позы // Вожди умов и моды. Чужое имя как наследуемая модель жизни. СПб., 2003. С. 49–79.

[39] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствует.

[40] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствует, фраза продолжается: «<…> – но даже и в такие минуты сердечного общения <…>».

[41] Во «Встречах»: «призрачным».

[42] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствует.

[43] О взаимоотношениях Белого с историком русской литературы и общественной мысли, публицистом и философом Михаилом Осиповичем Гершензоном (1869–1925) см.: *МДР 1990.* С. 249–264; *Андрей Белый.* М.О. Гершензон // Россия. 1925. № 5. С. 243–258: Переписка Андрея Белого и М.О. Гершензона / Вступ. статья, публикация и комментарии А.В. Лаврова и Джона Малмстада // In memoriam: Исторический сборник памяти А.И. Добкина. СПб.; Париж, 2000. С. 231–276.

[44] Поэт, переводчик, критик Эллис (наст. имя Лев Львович Кобылинский; 1879–1947) жил в меблированных комнатах «Дон» – на углу Арбата и Смоленского бульвара. См.: *НВ 1990.* С. 55–64.

[45] См. ее воспоминания «Андрей Белый» (Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 522–545; публикация Е.М. Буромской-Морозовой и В.П. Енишерлова).

[46] Г.А. Рачинский и его жена – Татьяна Анатольевна (урожд. Мамонтова; 1864–1920). Борис Павлович Григоров (1883–1945) – экономист, один из основателей Российского Антропософского общества и его первый председатель; его жена – Надежда Афанасьевна Григорова (урожд. Бурышкина; 1885–1964).

[47] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствуют.

[48] Подразумеваются литераторы, причастные к «орфической» серии в издательской деятельности «Мусагета»: под маркой «Орфей» выпускались книги мистического содержания.

[49] По старой орфографии «есть» – 3-е лицо настоящего времени глагола «быть», «Ѣсть» – принимать пищу, питаться, насыщаться.

[50] Во «Встречах» опечатка: «даруй».

[51] Неточно цитируется «Предисловие» к поэме «Первое свидание» (1921).

[52] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствует.

[53] Белый выехал из Берлина в Москву 23 октября 1923 г.

[54] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствует.

[55] Роман Алексея Николаевича Толстого (1883–1945) «Хождение по мукам» (Берлин, 1922) в первоначальной редакции; в переработанном виде – «Сестры», 1-я часть романной трилогии «Хождение по мукам». Предметом разговора могло быть также возвращение А.Н. Толстого из эмиграции в Россию (в конце мая 1923 г. он выехал из Берлина в Москву в качестве представителя берлинской газеты «Накануне»).

[56] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствует.

[57] «Ты еси» – заглавие статьи Вяч. Иванова, впервые опубликованной в журнале «Золотое Руно» (1907. № 7/9) и вошедшей в его книгу «По звездам» (СПб., 1909).

[58] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствует.

[59] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствует.

[60] Томас Вудро Вильсон (1856–1924) – 28-й президент США, инициатор ряда либеральных законов.

[61] Во «Встречах» вместо фрагмента в квадратных скобках: «он».

[62] В «Современных записках» – «покор»; видимо, опечатка, исправленная во «Встречах».

[63] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствует.

[64] Во «Встречах»: «утончением».

[65] Эта статья Андрея Белого была впервые опубликована в его книге «Символизм».

[66] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствует.

[67] Князь Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920) – религиозный философ, правовед, общественный деятель. Борис Александрович Фохт (1875–1946) – философ-кантианец, профессор Московского университета.

[68] Во «Встречах» в примечании далее: «, выходившем в издании “Мусагета”, в редактировании которого принимал участие Белый»).

[69] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствует.

[70] См.: *Андрей Белый.* Критика. Эстетика. Теория символизма. Т. 1. С. 54–55.

[71] Во «Встречах»: «в прогресс и в “эволюцию человеческого сознания”».

[72] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствует.

[73] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствует, а авторское примечание отнесено к другому месту, ниже по тексту.

[74] Во «Встречах» фрагмент в квадратных скобках отсутствует.

[75] Имеется в виду «Дневник писателя» (Записки мечтателей. 1921. № 2/3. С. 113–131).

[76] Подразумевается статья Вл. Ходасевича «Аблеуховы – Летаевы – Коробкины», опубликованная в журнале «Современные Записки» (1927. Кн. 31. С. 255–279). См.: Андрей Белый: pro et contra. С. 732–752.

[77] Во «Встречах»: «гмыканья».

[78] Во «Встречах»: «убедительно звучащих».

[79] Во «Встречах»: «видят».

[80] Григорий Саввич Сковорода (1722–1794) – украинский философ

Подготовка текста Е.В. Наседкиной, комментарии и послесловие А.В. Лаврова

Е.А. Тахо-Годи, М. Шруба

ПУБЛИКАЦИИ ПАМЯТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО В «СОВРЕМЕННЫХ ЗАПИСКАХ» – СОСТОЯВШИЕСЯ И НЕСОСТОЯВШИЕСЯ (Ф. СТЕПУН И Д. ЧИЖЕВСКИЙ)

После смерти Андрея Белого 8 января 1934 г. редакция «Современных записок» сочла своим долгом почтить память поэта, сотрудничавшего с журналом в 1922–1923 гг.[1] В № 55 были опубликованы три письма Белого к В.Ф. Ходасевичу и воспоминания Марины Цветаевой «Пленный дух (Моя встреча с Андреем Белым)», свидетельствовавшие и об отношении эмиграции к уехавшему в Советский Союз поэту. По словам Цветаевой, на заочную панихиду по Белому, состоявшуюся в Сергиевском подворье благодаря «заботе Ходасевича и христианской широте о. Сергия Булгакова», пришло всего 17 человек, причем «никого из писателей, связанных с ним не только временем и ремеслом, но долгой личной дружбой, кроме Ходасевича, не было»[2]. Во второй половине 1934 г. в № 56 появился еще один отклик на смерть поэта. Это была статья Федора Степуна «Памяти Андрея Белого», завершенная в конце августа 1934 г.[3]

То, что Степун взялся писать о Белом, было одновременно и закономерно, и несколько неожиданно. Закономерно потому, что Степун – автор хвалебного отзыва о «Символизме» Белого[4], знакомый с поэтом с 1909 г., с той поры, когда организовывался «Мусагет», его хроника «Труды и Дни», ежегодник «Логос», где в 1910 г. заботами Степуна появилась работа Белого «Мысль и язык (философия языка А.А. Потебни)»[5]. Неожиданно потому, что, поддерживая общение вплоть до отъезда поэта в Советскую Россию 23 октября 1923 г.[6] (о последнем свидании с Белым в Берлине Степун вспоминает и в своем очерке), видя в нем человека, «в ком непосредственно чувствовалась гениальность», Степун, однако, признавался: «Я был им заворожен. Но чтобы я его любил, я, пожалуй, не скажу. Любить его было трудно, потому что, быть может, по-человечеству, его и не было, он всегда ощущался каким-то недовоплощенным фантомом»[7]. Духовная несовместимость дала о себе знать еще в 1912 г., когда дружеский характер общения начала 1910-х был нарушен публичной полемикой на страницах «Трудов и Дней» – «Открытым письмом Андрею Белому» Степуна в связи с его публикацией 42 афоризмов под общим названием «Круговое вращение»[8]. Белый не сомневался (об этом свидетельствуют его письма Э. Метнеру), что Степун ввязался в спор потому, что в «Круговом вращении» был сатирически изображен один из его соредакторов по «Логосу» – Сергей Гессен: изображен неосознанно, как утверждал Белый, но вполне узнаваемо[9]. Однако личные мотивы были лишь поводом к этой полемике.

Если бы речь шла только о защите Гессена, реакция Белого на «Открытое письмо» Степуна была бы менее болезненна. А о степени ее болезненности говорят в его письмах Метнеру большие гротескно-карикатурные пассажи о Степуне – «мальчишке», «хаме», «лгуне», «Хлестакове от философии», «идиоте», живущем «брю-

хом», явно противоречащие попутным заверениям, что все эти «*обидности* лишь шалость слова», что «дорогого Степпуна я действительно люблю»[10] и «лично не сержусь, но *официально* обижен»[11]. По «Письму» Степуна Белый почувствовал, что тот, кого он в 1909–1910 гг. так старательно «мусагетировал», «мусагетировался» настолько, что стал на сторону главы «Мусагета» в его борьбе с антропософскими исканиями Белого. «Бедный Федя! Боюсь, что Белый теперь его засечет до смерти», – иронизировал по этому поводу Эллис в письме к Э. Метнеру 13 января 1913 г.[12] И действительно, Белый «сек» Степуна нещадно – и публично, и в своих письмах к Э. Метнеру. Чего, например, стоит следующий пассаж из написанного 22 сентября 1913 г. письма к Э. Метнеру, где Белый как раз отстаивает названную в степунском «Письме» банальной строчку из мистерии Штейнера и создает предельно шаржированный портрет Степуна, обыгрывая образ «Zwei Seele» – «двух душ» философа и обнаруживая эти «две души» даже в написании самой степунской фамилии: «Степпун, вероятно, полагает, что “In deinem Denken leben Weltgedanken” – это вот что такое: за черным кофе после сытного завтрака приятно думается; от пищеварения ли, от праздности ли всякое такое шевелится, из чего не мешало бы составить статейку, в которой привести мнение такого-то философа, у которого данная, пищеварительно взыгравшая (из чрева в голову) мысль облекается в “*универсальную форму*”, которая приятно уносит фантазию, как “*всеобщая форма*”, и вот он, Степун, приятно высказывая ее в Нижнем-Новгороде на лекции (предварительно потрясшись весь день на Ваньке в специальноналощенном рукавом цилиндре) – да: высказывая эту мысль на лекции, он, Степун, патетически воскликнет: “Увы, эта мировая мысль, осознанная критической философией, как *всеобщая форма* под вивисекционным ножом критицизма и формы *всеобщего* приобретает методологический характер; мы, критицисты, постулируя методологически свободу парений, в наших трезвых научных трактатах дерзновенно срываем покров несвободы с мировых мыслей”. И закончив лекцию патетическим возгласом: “Zwei Seele leben, ach, in meinem Brust”, наденет цилиндр и удалится в кабак, где будет до рассвета предаваться словопроизводству мировых мыслей, вытаскивая их из нагруженного коньяком и безусловно иррационального (следовательно: мистически настроенного) желудка – органа метафизического творчества (и места пребывания “zweite Seele”), дабы вскоре окончательно реализовать продукты этого творчества путем двоякого извержения (вверх и вниз) в ресторанном в<атер>кл<озе>те. <...> Бедный *Сте* (Erste Seele); я ее очень люблю, но *ппу* (zweite Seele lebt in “*желудок*”) может погубить *Сте* постепенным вростанием в *Сте*; Сте-ппун; те-ппун (или ти-пппун), и –пппун; и даже: пп-пп-пун!! Ужасно! Посоветуйте ему для более четкого восприятия *Weltgedanken* умерщвлять свою плоть: именно ту ее часть, которая ниже сердца. Подумайте <:> три года воздержания, и добрая, милая честная *Сте* уничтожит свое “пе”; из прорванной “п” прольется “ун” (содержание желудка – zweite Seele) и будет *Сте* с приростом “iiii” духовности; и *Сте* станет *Сите* (Cité, т.е. *град*); всякое *тело* есть храм, град и только о-ппп-овение превращает благоуханное тело в “брюхо”»[13].

По мнению поэта, степунское утверждение, что якобы Белый ежегодно меняет свои убеждения, превращало его, Белого, в глазах читателей в «*шута горохового*»[14]. Еще больнее задевали слова о том, что он живет «*на авансцене своей личности*», где действует под влиянием голоса из суфлерской будки. Степунский призыв: «Бере-

гитесь, берегитесь!.. <...> У суфлерской будки говорят чужие слова. Борис Николаевич, я, и не я один, но вместе со мною и многие другие, – мы все ждем от Вас Ваших собственных слов, слов светлых, новых и больших»[15], а также иронический комментарий процитированных Белым строк из мистерии Штейнера (хоть и без упоминания имени Доктора) придавали «Письму» Степуна в глазах поэта особый смысл. «<...> личное мое отношение к Доктору никого не должно касаться в печати, если оно инспирирует слова, печатно ко мне обращенные (“*берегитесь, берегитесь*”)»[16], – писал Белый Метнеру в феврале 1913 г., раздраженный тем, что «6 месяцев слышу голоса: Пропал, пропал, пропал, погиб, погиб, погиб: под указкой пишет, под указкой; не смей соединять символизм с оккультизмом: штейнеризм, штейнеризм, штейнеризм»[17].

О позиции Метнера в данном споре красноречиво свидетельствовал его лаконизм, когда в письме от 6 (19) октября 1912 г., излагая Белому планы «Мусагета» и перечисляя материалы для № 4–5 «Трудов и Дней», он лишь бегло замечал в пункте 16-м этого перечня: «Степун (пишет)»[18], не объясняя, *что* именно пишет Степун – публикация «Открытого письма» по поводу «Кругового вращения», в том же номере, что и текст Белого, должна была стать для поэта полной неожиданностью. Хотя в редакционном примечании к «Ответу Ф.А. Степуну», помещенном Белым в № 6 «Трудов и Дней», говорилось, что письмо Степуна было лишь возражением на «сатирический отзыв о неокантианстве» Белого и противникам предлагалось продолжить «обмен мнений, касающихся объективных моментов этого спора», главу «Мусагета» волновало не только неокантианство: 12 (25) октября 1913 г. он писал Белому, что его «афоризмы – суть гласное и решительное коронование Штейнера»[19]. Правда, при этом Метнер уверял, что «антитеософы и теософы мирно могут *спорить* на страницах “*Трудов и Дней*”, раз уж нельзя вовсе молчать (как это вскоре же оправдалось на Ваших афоризмах, на статье Степуна <...>)», и оповещал об этом Вяч. Иванова, «который беспокоился, чем кончится вопрос об оккультизме в *Мусагете*»[20]. Однако метнеровская «химия нового качества» привела, по словам Белого, «только к фыку и рыку и брыку сплошных какофоний»[21].

Появившаяся после смерти Белого статья Степуна во многом подводила итог полемике 1912 г., хотя автор впрямую не затрагивал прежних споров. В 1934 г. он уже не обвинял Белого в отсутствии убеждений, напротив, подчеркивая, что «чего бы ни касался Белый, он в сущности всегда волновался одним и тем же – всеохватывающим кризисом европейской культуры и жизни»[22]. Эта важная для начала XX в. проблема[23] была особенно близка самому Степуну, понимавшему творчество (культуру) и как отпадение от жизни и Бога, и одновременно как единственное «оправдание неабсолютного (человека, творчества)»[24]. Однако слова о том, что сознание поэта было «абсолютно имманентное», «враждебное всякой *трансцендентной* реальности», что он «всю свою творческую жизнь прожил в сосредоточении на своем “я”», балансируя, как акробат, «на летящих трапециях, под куполом <...> одинокого я», были, как очевидно, дальнейшей разработкой тезиса 1912 г. о том, что Белый живет «*на авансцене своей личности*». Только теперь этот странный и так возмутивший поэта афоризм получал новое философское, а вернее даже, историософское обоснование. Раздвоение Белого, «двупланность его сознания», «создаваемые им образы-фантомы», пребывание «в бездне своего

одиночества и своего небытия», вызывающее «ощущение запредельности и призрачности беловского бытия», интерпретировались Степуном как «воплощение небытия “рубежа двух столетий”», самой эпохи «в ее тайных, угрожающих бесформенностях» кануна катастрофы, «скату в небытие всех ее бытийственных и бытовых форм». По мнению автора, «носящийся в космических просторах эволюционист-антропософ» был радикально «отрезан от всех пространственно-бытовых, национально-плотяных и исторически-религиозных (церковных) начал» и именно поэтому особым – метафизическим – образом оказывался связан с большевизмом, стремящимся к «развоплощению исторически сложившейся жизни». Вот почему теперь Белый представлялся Степуну «явлением единственного симптоматического и даже пророческого значения», «пророчества и предчувствия хаоса и взрыва». «Катастрофа индивидуалистической культуры, гибель гуманистической личности, гибель “самости” и рожденье нового коллектива, все это пережито, теоретически осознано и художественно воссоздано Белым с единственною глубиною и силою. Нет сомнения, в истории русского сознания все созданное им войдет как глубокомысленнейшая философия революции и метафизика небытия», – писал Степун, оставляя при этом открытым лишь вопрос о том, «принадлежит ли сам Белый до конца к тому миру, который изображал с единственным мастерством, к миру небытия и катастроф, или в нем, в его “гибнущей” личности росла и поднималась подлинная сверх-личная реальность <...> образа и подобия Божия, как единственно животворящей основы личной, социальной и национальной».

Дать собственный ответ на такой вопрос Степун отказывался. В письме от 10 сентября 1934 г. редактору «Современных записок» В.В. Рудневу он признавался: «Я целый месяц интенсивнейше жил им [Белым] и непрерывно читал его, даже и вслух. Вопрос оценки предреволюционного периода русской литературы, да и всей вообще предреволюционной духовности очень сложен. Гниль, конечно, есть, но осуждать ее можно только с точки зрения высшей духовности. Перед лицом же наступающего на нас упрощенства и варварства ее все же, мне думается, должно защищать. В предреволюционной атмосфере все же духовно зародилось все то духовное, что мы с Вами ныне защищаем»[25]. При этом ему казалось, что в написанной статье «как-то не договорилось, как должно нам пережить трагическое упадничество Белого, чтобы выйти на волю духовной трезвости и веры»[26]. Однако слова о том, что «в смерти Белого есть нечто метафизически непоправимое, навсегда оставляющее без объединяющего и венчающего купола все свершенное им; и даже больше – нечто низводящее вечную ночь над всеми достижениями его бурного творческого восхода», указывали, что, по мнению Степуна, с позиции «высшей духовности» поэт не достиг той внутренней целостности и укорененности в бытии, к коим смог прийти другой поэт-символист – Вяч. Иванов, который «на основной вопрос русской революции, этого прообраза грядущих мировых событий, “с Богом ли ты или против Него?” <...> твердо ответил: “с Богом”»[27].

В статье 1934 г. антитеза Белого и Иванова едва намечена. Автор, как бы мимоходом, замечал, что «одиночество Белого» есть «его небытие, ибо бытие всякого **Я** начинается с “ты еси” – В. Иванов». Но эта антитеза явно присутствовала в сознании Степуна[28]. Напечатав статью об Иванове в немецком журнале «Hochland»[29], он предлагал Рудневу привлечь поэта к сотрудничеству и опубликовать в «Современных записках» его поэму «Человек»[30], слова из которой («ты еси») ци-

тировал в статье о Белом. В статье об Иванове противопоставление «дионисийской поэзии» Белого и аполлиничной поэзии Иванова проводилось прямо, хотя Степун и заявлял, что не стоит «сравнивать несравнимое»[31]. Быть может, именно этой антитезой порожден в статье о Белом образ «купола одинокого я». Пусть и неявно, он перекликается с размышлениями об Иванове, сумевшем и в своей душе, и в своем творчестве (в «Римских сонетах») объединить в единое целое историческое пространство «между Римом Колизея и Римом купола Святого Петра»[32]. Недаром оттиск статьи «Памяти Андрея Белого» был послан Степуном самому Вяч. Иванову в ноябре 1934 г. с надписью: «На память о А.Белом и Ф.Степуне»[33].

В начале 1934 г., посылая другой оттиск – оттиск статьи о Вяч. Иванове Рудневу, Степун писал 13 февраля 1934 г., что думал ее «перевести и переработать для “Совр<еменных> зап<исок>”», и попутно сообщал, что «может быть, удастся продвинуть туда же [в «Hochland»] и Белого»[34]. В письме от 5 марта 1934 г. он повторял: «Как мне помнится, я писал Илье [Фондаминскому] же, что для ближайшей книги “Hochland’a” я после статьи о Вяч<еславе> Ив<анове> пишу статью о Бунине и думаю написать и о Белом»[35]. Предложение Руднева дать статью о Белом в «Современные записки» он с готовностью принял, не скрывая, что его «самого тянет ближе побыть с ним [Белым] после его смерти»[36]. «Я очень много думаю о Борисе Николаевиче и очень потрясен его преждевременной смертью, – признавался он Рудневу. – Написать о нем мне очень хочется. Есть одно затруднение, но я надеюсь, что преодолею его. У меня есть все романы Белого и все его теоретические и публицистические книги, но нет симфоний и стихов. Если у Вас в Париже можно их достать – пришлите, – буду очень благодарен и верну в целости»[37]. Он просил только не слишком ограничивать его журнальными объемами: «Белый и лично, и философски для меня такая большая тема, что поднимать ее в душе и в уме ради 15 страниц не хочется»[38].

Рисуя в своем очерке метафизический ландшафт души Белого, колеблющейся на границе бытия и небытия, причем рисуя «совсем изнутри»[39], стараясь «писать не как знакомый Белого, а как философ», чтобы «раскрыть его религиозную трагедию»[40], Степун почти не касался вопроса о мастерстве Белого как поэта и писателя. И не только потому, что тогда пришлось бы расширить статью, «дав столь же подробный анализ “Котика Летаева” и “Записок чудака”, как “Петербурга” и “Серебряного голубя”» и превратив всю вторую часть очерка «в более полное исследование творчества Белого»[41] (такие дополнения он мечтал сделать, «если доведется издать литературные статьи отдельною книгою»[42]). Дело в том, что Степун предполагал увидеть свой текст опубликованным параллельно с другим, этому вопросу специально посвященным. Такой текст мог и должен был написать, по его мнению, только один человек – философ и литературный критик Дмитрий Чижевский.

С Чижевским Степун познакомился в университете во Фрайбурге, куда летом 1923 г. приехал послушать лекции Гуссерля. Эти лекции посещал и Чижевский[43]. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Именно благодаря этой дружбе Чижевский сохранял связи с «Современными записками». Впервые на страницах журнала он появился как раз в 1923 г.[44] и там же, кстати сказать, опубликовал две рецензии на книги Степуна – «Жизнь и творчество»[45] и «Из писем прапорщика артиллериста»[46]. О том, что Степун всячески отстаивал участие Чижевского в журнале, сви-

детельствуют его письма к И.И. Фондаминскому, М.В. Вишняку и В.В. Рудневу. Приводящие Чижевского в отчаяние редакционные вмешательства в тексты беспокоили и Степуна, потому что могли «неблагоприятно отразиться на его [Чижевского] ревностном отношении к журналу, а он сотрудник очень ценный»[47]. Ему импонировало то, что в статьях Чижевского «все конкретно, прочувствованно и туго связано»[48]. Он сообщал Вишняку, что, видясь с Гессеном и Чижевским в Праге, «пытался приохотить Чижевского к регулярному сотрудничеству в “Совр<еменных> зап<исках>”», потому что тот «все очень хорошо понимает, очень остро видит»[49], «совсем не скучен», без лишних «витиеватостей и “изысков”», но с «юмором и большой живостью»[50]. «Когда Чижевский горячо говоря о Белом, согласился написать о нем, я с радостью схватился за его готовность, ибо решил, что эта статья, во-первых, будет без лично лирического элемента, которого у нас было довольно, во-вторых, будет интересно для эмигрантского писательства, и, в-третьих, будет легче моей статьи, которая задумывалась трудно», — писал Степун Рудневу[51].

Однако редакция смотрела на сотрудничество Чижевского несколько иначе. Вот почему инициатива Степуна вызвала неудовольствие. Руднев просил отменить заказ[52], и Степуну пришлось защищать себя и обосновывать свою позицию. «Быть может, я сделал ошибку, взяв на себя заказ статьи. Но, во-первых, я был всячески поддержан Ильей [Фондаминским], а во-вторых, надо было ковать железо, пока оно было еще горячо, т.е. надо было брать с Чижевского слово, пока он волновался темой»[53], — оправдывался он в письме к Рудневу 3 июля 1934 г. Был и другой аргумент: «Белый, по-моему, — писал Степун, — очень большой русский писатель. Самое сильное в нем — это его изумительное словесное мастерство. Этим своим мастерством он оказал очень большое влияние на всю современную русскую прозу. Поэтому нам нужна статья о Белом, как о мастере слова. Такую статью никто лучше Чижевского написать не может. Статьею Чижевского должны заинтересоваться все молодые писатели эмиграции, которые под влиянием французского литературного профессионализма весьма заинтересованы формальными вопросами писательства. Наконец перед самим Белым, перед нашею памятью о нем надлежит отнестись к его творчеству наивозможно серьезно. Статья Цветаевой, как все, что пишет эта изумительно талантливая женщина, блестяща и по-своему глубока, но все же напечатана рядом с Ходасевичем, писавшим не слишком приятно о Белом в “Возрождении”, уж очень односторонне поворачивает Белого лицом к его болезненности, несчастности и интимности»[54]. Помимо этих соображений, Степун считал, что отмена заказа равнозначна потере Чижевского как сотрудника, «а это было бы очень жалко, не говоря уже о том, что он нам и практически может быть полезен, так как читая русскую литературу в Hall’е и Jen’е и будучи связан со всеми русскими лекторами в немецких университетах, он может, втянувшись, сделать довольно много для “Совр<еменных> зап<исок>” пропагандою их в интересующихся Россией нем<ецких> академических кругах»[55]. Кроме того, он считал лично для себя невозможным «отказывать ему в напечатании статьи и печатать вместо него себя самого», тем более что Чижевский известил его, что «сразу же засел за статью и к 15-му июля высылает ее»[56]. Отрицательно относился он и к идее редакции напечатать вместо Чижевского статью чешского историка Я. Папоушека. С точ-

ки зрения Степуна, нужно было «или печатать о Белом только Чижевского – или его и меня (тоже о Белом)». Оптимальным ему представлялся второй вариант.

О своем ответе Рудневу он в тот же день уведомил и И.И. Фондаминского. Напоминая Фондаминскому, как они «*упорно* убеждали Дмитр<ия> Ив<ановича> писать» и не желая «сводить на нет всю нашу беседу», сетуя за то, что он так быстро сдал Рудневу позиции, Степун повторял, «что Чижевский пишет прекрасно», что «самая живая и самая образованная эмигрантская публика – это наша литературная молодежь» и что «Белый котируется в ее среде очень высоко», «не может быть сомнений в том, что он оказал и оказывает на все ее творчество очень большое влияние» и что «о нем нужна статья прежде всего литературного и я бы даже сказал формально-эстетического характера», «статья о его словесном мастерстве» и «такую статью может дать только Чижевский», что «лучше Чижевского никто не напишет»[57]. «Новоградца и “вождя” из Чижевского сделать, конечно, нельзя, но он один из самых интересных и живых научных талантов, которыми располагает эмиграция. Швыряться такими людьми нам, по-моему, не приходится»[58], – итожил свои доводы Степун.

Что касается Фондаминского, то он считал целесообразным, чтобы о Белом писал один Чижевский – Степун был для него важен не как литературный критик, а «как *проблематик*», трактующий темы политики и религии[59].

Получив письмо Степуна от 3 июля 1934 г. и пересылая его Рудневу, он так объяснял свою позицию: «<...> редакция ничем не связана с Ч<ижевским>. Мы, правда, убеждали Ч<ижевского> писать и для “С<овременных> з<аписок>” и для “Н<ового> г<рада>” и обсуждали тему о Белом. Но было твердо установлено, что Ф<едор> А<вгустович> запросит об этом редакцию и я об этом переговорю при свидании. Если Ч<ижевский> уже пишет статью, то это по собственной инициативе. <...> я думаю, что Ф<едора> А<вгустовича> надо оставить на его теме – ведь у нас так мало авторов на идейные темы. А статью Ч<ижевского> оценить по прочтении – я думаю, что он напишет хорошо»[60].

Когда в итоге всех переговоров согласие редакции было получено, Степун все же счел необходимым признать, что «Чижевский всегда может в последнюю минуту подкачать»[61] и не написать текста. В письме от 28 августа он с беспокойством спрашивал, имея в виду Чижевского: «Прислал ли статью?»[62] 4 декабря 1934 г. Степун вновь запрашивал Руднева: «Да, как быть с Чижевским? Проездом через Дрезден он говорил мне, что он статью все же пишет. Я не совсем уверен, что он ее действительно напишет, но все же хотел бы знать, напечатаете ли Вы ее или считаете, что о Белом статей было достаточно и что статья Чиж<евского> за опозданием больше не нужна. Я лично был бы за ее напечатание, так как я весьма ценю и Белого, и Чижевского. Но если бы Вы окончательно решили, что статья не нужна, то прошу по возможности скорее написать мне об этом, дабы я мог намекнуть Чижевскому о таковом Вашем настроении»[63].

Статья Чижевского о Белом в журнале так и не появилась, и, казалось бы, сюжет можно было бы считать исчерпанным. Однако он имел свое продолжение.

Во-первых (хотя, конечно, ненаписанная статья о Белом была не единственным к тому поводом), Чижевский в «Современных записках» не публиковался вплоть до 1938 г., когда стараниями Степуна (судя по его письмам к Рудневу 1938 г.) в журнале появилась его статья «О “Шинели” Гоголя»[64], а затем, в 1939 г., заметка о

Н.С. Трубецком[65]. И тут не без трений с редакцией, которые опять-таки пришлось улаживать Степуну. Летом 1938 г. Степун спрашивал у Руднева: «Хотелось бы мне также *очень* знать, что же случилось со статьей Чижевского. Он только что был у меня. Мне прямо неловко перед ним. Я *выклянчил* у него статью. Он ее прекрасно написал. После “интригантской” заметки<?> я привез ему точное обещание, что она будет напечатана. Прошло больше года и статьи – нет, в то время как напечатана большая статья Бицилли. Чижевский думает, что его статья утеряна и страшно волнуется. Будьте другом и напишите мне, что же со статьей»[66]. Когда осенью 1938 г. статья Чижевского о Гоголе все-таки появилась, Степун сообщал Рудневу: «Так как Вы мне писали, что Вам и в дальнейшем желательно сотрудничество Чижевского, то я позволил себе попросить у него заметку о покойном Трубецком. Это был безусловно очень большой ученый, а кроме того очаровательный человек, с которым я, правда, встречался всего только 3–4 раза в жизни. Вы знаете, что его карьера оборвалась так же, как и моя. Заметку эту через некоторое время вышлю Вам. Дмитрий Иванович Чиж<евский>, к слову сказать, был все же очень огорчен тем, что Вы сократили в его статье черта»[67].

Во-вторых, любопытно обратить внимание на то, что свою юбилейную речь на заседании Баварской академии изящных искусств в честь 80-летия Степуна 20 февраля 1964 г. Чижевский, очевидно, строит с учетом отношений Степуна и Белого. Вот почему он акцентирует афористичность стиля Степуна – ведь в 1912 г. в «Ответе Ф.А. Степуну» Белый говорил о степунской «беспомощности выражаться афористически» из-за непонимания «законов афористического мышления»[68]. Вот почему, говоря о многоаспектности личности Степуна, о «постоянной смене ролей и физиономий» (философ, публицист, социолог, богослов, писатель) и даже о «двойной “национальной принадлежности”» (Россия и Германия), Чижевский, памятуя степунские слова о раздвоенности и призрачности Белого, подчеркивает, что «Степун во всех своих ролях остается самим собою», являет свой «единый облик» – «лицо “вечного” Степуна», а «в разносторонности или многоразличии обликов Степуна нет внутренней двойственности и разрыва»[69], ибо Степун знает «о теснейшей связи [абсолютной] истины с ее носителем, личностью»[70] и «стремится всегда с одинаковой полнотой и жизненностью дать выражение тем истинам, которые принадлежат к существу его системы идей и которым он не изменяет, как это делают многие “ненадежные” русские мыслители и поэты (например, любимый поэт нас обоих, Андрей Белый)»[71].

В-третьих, история с ненапечатанной статьей о Белом, сознательно или бессознательно, стала дополнительным стимулом интереса Чижевского к поэту-символисту. Этот интерес сначала реализуется в виде рецензий – в 1938 г. он печатает рецензию на книгу Белого «Мастерство Гоголя»[72], а в 1955 г. рядом с рецензией Степуна на сборник о С.Л. Франке – отзыв о книге К. Мочульского о Белом[73]. С 1960-х Чижевский становится одним из активных пропагандистов творчества поэта за рубежами России. В редактируемой им серии «Славянские пропилеи» («Slavische Propyläen») том за томом появляются переиздания книг Белого, чаще всего сопровождающиеся предисловиями самого Чижевского[74]. Кроме того, под его редакцией выходят исследования о Белом в серии «Forum slavicum»[75]. Он обращает внимание на Белого своих учеников, например З. Юрьевой[76]. Однако – и это тоже нужно отметить – после смерти Степуна в 1965 г. в текстах Чижевского

о Белом появляются иронические пассажи по адресу Степуна, не сумевшего до конца постигнуть духовный облик Белого и тайные законы его творчества. В предисловии к немецкому изданию «Глоссолалии» Чижевский утверждал: «Различные блестящие попытки Ф. Степуна очертить духовный портрет Белого объясняют и разъясняют далеко не все!»[77] Не удовлетворила Чижевского с этой точки зрения и книга Степуна «Мистическое миросозерцание. Пять ликов русского символизма», один из пяти разделов которой был посвящен Белому[78]. «<…> *Федор Степун* посвящает в своей книге “Мистическое миросозерцание. Пять ликов русского символизма” (München, 1964) пассаж симфониям <…>, – писал Чижевский в предисловии к переизданию «Симфоний» Белого. – Степун подчеркивает, что симфонии по своей форме “как произведения искусства” “малопонятны” и эзотеричны. Он указывает на значение повторяющихся символов, как утренняя заря, ветер, метель, золото, небо, и ограничивается выделением напоминающих идеи Владимира Соловьева мотивов исполнения “чаемого” во Второй, “Драматической Симфонии” (к сожалению, именуемой им в нескольких местах “Третьей”) – однако мистические мотивы в этой симфонии отнюдь не так однозначны. И Степун не объясняет – в соответствии с намерениями своей книги – ни значения странной “музыкальной” формы этих произведений, ни ее происхождения или ее смысла»[79]. А ведь в этой последней, предсмертной книге Степун не только делится личными воспоминаниями о Белом 1910–1920-х, но и в какой-то мере реализует свой давний замысел 1934 года: пытается обрисовать не только персонологический, но и художнический тип Белого. Обозревая его литературное наследие (симфонии, романы «Серебряный голубь» и «Петербург», лирику и позднюю прозу), он стремится дать развернутую характеристику стилистической манеры, учения о символизме и «духовного облика» (Geistesart) поэта.

---

[1] В «Современных записках» печатались прозаические фрагменты «Преступление Николая Летаева» (1922. № 11–13), «Отклики прежней Москвы» (1923. № 16), «Арбат» (1923. № 17) и статья о В. Ходасевиче «Тяжелая лира и русская лирика» (1923. № 15).

[2] Современные записки. 1934. № 55. С. 263.

[3] Степун – В.В. Рудневу (28 августа 1934). Russian Archive Leeds (= RAL). MS. 1500/3.

[4] *Ф.С.[Федор Степпун]* Андрей Белый. Символизм // Логос. Кн. 1. М., 1910. С. 280–281.

[5] 3 августа 1910 г. Степун писал Э. Метнеру из Карлсбада: «Где Белый? Нужно знать его адрес, а он не отвечает. Хочу его Потебню» (НИОР РГБ. Ф. 167 (Э.К. Метнер). Карт. 14. Ед. хр. 45. Л. 3 об.).

[6] См.: *Лавров А.В.* Андрей Белый. Хронологическая канва жизни и творчества // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 797.

[7] *Степун Ф.А.* Встречи. Мюнхен, 1962. С. 9.

[8] О полемике также см.: *Лавров А.В.* «Труды и дни» // Лавров А.В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М., 2007. С. 509.

[9] «Глубоко скорблю, что “философутик” мой действительно вышел похожим на Гессена, но post-factum я осознал это: что делать – в процессе творчества я просто не вижу эмпирического сходства. Намерения вывести Гессена у меня не было» (НИОР РГБ. Ф. 167 (Э.К. Метнер). Карт. 2. Ед. хр. 76. Л. 1 об.).

[10] Там же. Карт. 3. Ед. хр. 16. Л. 15.

[11] Там же. Ед. хр. 2. Л. 8 об.

[12] Там же. Карт. 8. Ед. хр. 1. Л. 2 об.

[13] Там же. Карт. 3. Ед. хр. 16. Л. 12–12 об., 14 об. – 15. Забавно, что Белый тут невольно предсказывает исчезновение второй буквы «п» из фамилии «Степпун», изъятой лишь в 1914 г., причем его слова о «граде» невольно вызывают ассоциации с грядущей новоградской деятельностью Степуна.

[14] Там же. Карт. 3. Ед. хр. 7. Л. 8.

[15] Труды и дни. 1912. № 4–5. С. 86.

[16] НИОР РГБ. Ф. 167 (Э.К. Метнер). Карт. 3. Ед. хр. 8. Л. 5 об.

[17] Там же. Ед. хр. 7. Л. 9.

[18] Там же. Карт. 5. Ед. хр. 37. Л. 3.

[19] Там же. Ед. хр. 30. Л. 13.

[20] Там же. Л. 12.

[21] *НВ 1990*. С. 99.

[22] *Степун Ф.А.* Памяти Андрея Белого // Современные записки. 1934. № 56. С. 257–283 (см. републикацию в наст. изд.). Правда, позже Степун определит отношение Белого к культуре как особое «культурное иконоборчество» (см.: *Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. Т. 1. Нью-Йорк, 1956. С. 284).

[23] Отметим особое внимание, которое уделял этой проблеме редактируемый Степуном «Логос», и напомним о сборнике Степуна «Жизнь и творчество» (Берлин, 1923). Примечательны слова Эллиса, который, порвав со Штейнером, писал 3 февраля 1914 г. Метнеру: «<...> ваша заслуга в замене слова символизм термином культура мной признана. Символизм уже сыграл роль введения в роковой кризис начала 20 в. Сейчас стоит вопрос о возврате к подлинной религии и сохранении европ<ейской> культуры <...>» – НИОР РГБ. Ф. 167 (Э.К. Метнер). Карт. 8. Ед. хр. 27. Л. 2 об.

[24] *Прокофьев П. [Чижевский Д.]* Ф.А. Степун. Жизнь и творчество // Современные записки. 1926. № 28. С. 497.

[25] Степун – В.В. Рудневу (10 сентября 1934). RAL. MS. 1500/3.

[26] Там же.

[27] *Степун Ф.А.* Встречи. Мюнхен, 1962. С. 157. Об ивановской «покорности Богу» Степун будет писать и в рецензии 1964 г. на «Свет вечерний» (*Степун Ф.А.* Вячеслав Иванов. Свет вечерний // Новый журнал. 1964. № 75. С. 292).

[28] В 1964 г. Степун вновь вспомнит о Белом в связи с Ивановым и определит его обвинения Иванова в тяжеловесности как сделанные «в недостойно озлобленной форме» (*Степун Ф.А.* Вячеслав Иванов. Свет вечерний. С. 289).

[29] *Stepun F.* Wjatscheslaw Iwanov. Ein Porträtstudie // Hochland. 1934. № 4. S. 350–361. Ее итальянский перевод появился в журнале «Il Convegno» (1933. № 8–12); русская версия вошла в 1962 г. в книгу «Встречи».

[30] Степун – В.В. Рудневу (5 марта 1934). RAL. MS. 1500/3.

[31] *Степун Ф.А.* Встречи. С. 154.

[32] Там же. С. 157.

[33] См. статью А.Б. Шишкина в наст. изд.

[34] Степун – В.В. Рудневу (13 февраля 1934). RAL. MS. 1500/3. О том же он писал В.В. Рудневу спустя два года, 4 июля 1936 г.: «По-немецки и итальянски, к слову сказать, напечатал статью о Вяч. Иванове, которую со временем в расширенном и переработанном виде хочу предложить и Вам» (RAL. MS. 1500/6).

[35] Степун – В.В. Рудневу (5 марта 1934). RAL. MS. 1500/3.

[36] Степун – В.В. Рудневу (24 июля 1934). Sophie Pregel and Vadim Rudnev Collection. University of Illinois at Urbana-Champaign Archives (= UIUC. Pegel/Rudnev). Box 4.

[37] Степун – В.В. Рудневу (5 марта 1934). RAL. MS. 1500/3.

[38] Степун – В.В. Рудневу (24 июля 1934). UIUC. Pregel/Rudnev. Box 4.

[39] Степун – В.В. Рудневу (4 июля 1936). RAL. MS. 1500/6.

[40] Степун – В.В. Рудневу (3 июля 1934). RAL. MS. 1500/3.

[41] Степун – В.В. Рудневу (10 сентября 1934). RAL. MS. 1500/3.

[42] Там же. Однако внесенные при издании книги «Встречи» в текст исправления минимальны.

[43] *Hufen Ch.* Fedor Stepun: Ein politischer Intellektueller aus Russland in Europa. Die Jahre 1884–1945. Berlin, 2001. S. 136.

[44] Его рецензия на «Вестник Социалистической академии» появилась в № 17 «Современных записок» за 1923 г.

[45] Современные записки. 1926. № 28. С. 496–499.

[46] Там же. 1928. № 34. С. 511–514.

[47] Степун – М.В. Вишняку (12 ноября 1927). Lilly Library, Bloomington, Indiana (= Lilly Library). Vishniak papers. F. 129.

[48] Степун – М.В. Вишняку (13 декабря 1927). Lilly Library. Vishniak papers. F. 129.

[49] Степун – М.В. Вишняку (14 апреля 1930). Lilly Library. Vishniak papers. F. 129.

[50] Степун – В.В. Рудневу (3 июля 1934). RAL. MS. 1500/3.

[51] Там же.

[52] Там же.

[53] Там же.

[54] Там же.

[55] Там же.

[56] Там же.

[57] Степун – И.И. Фондаминскому (3 июля 1934). RAL. MS. 1500/3.

[58] Там же.

[59] И.И. Фондаминский – В.В. Рудневу (20 июня 1934). RAL. MS. 1500/3.

[60] И.И. Фондаминский – В.В. Рудневу (6 июля 1934). RAL. MS. 1500/3.

[61] Степун – В.В. Рудневу (24 июля 1934). UIUC. Pregel/Rudnev. Box 4.

[62] Степун – В.В. Рудневу (28 августа 1934). RAL. MS. 1500/3.

[63] Степун – В.В. Рудневу (4 декабря 1934). UIUC. Pregel/Rudnev. Box 4.

[64] Современные записки. 1938. № 67. С. 172–195.

[65] Современные записки. 1939. № 68. С. 464–468.

[66] Степун – В.В. Рудневу (конец июля – начало августа 1938). РАЛ. MS. 1500/9.

[67] Степун – В.В. Рудневу (5 декабря 1938). РАЛ. MS. 1500/7.

[68] *Андрей Белый.* Ответ Ф.А. Степуну на открытое письмо в № 4–5 «Трудов и Дней» // Труды и дни. 1912. № 6. С. 21.

[69] *Чижевский Д.И.* Речь о Степуне // Новый журнал. 1964. № 75. С. 284–285.

[70] Там же. С. 286.

[71] Там же. С. 285.

[72] Zeitschrift für Slavische Philologie. 1938. Bd. 15. Heft 1–2. S. 207–211.

[73] Новый журнал. 1955. № 42. С. 290–297.

[74] Slavische Propyläen: Bd. 3 – Котик Летаев / Hrsg. von D. Tschižewskij in Zusammenarbeit mit D. Gerhardt. München, 1964; Bd. 23 – Крещеный китаец / Einl. von D. Tschižewskij und

A. Hönig. München, 1969; Bd. 29 – Петербург / Einl. von D. Tschiževskij. München, 1967; Bd. 38 – Серебряный голубь / Einl. von A. Hönig. München, 1967; Bd. 39 – Четыре симфонии / Einl. von D. Tschiževskij. München, 1971; Bd. 45 – Москва / Nachdr. d. Ausg. Moskau 1926. München, 1968; Bd. 46 – Маски / Nachdr. d. Ausg. Moskau 1932. München, 1969; Bd. 47 – Воспоминания о А.А. Блоке / Hrsg. von D. Tschiževskij in Zusammenarbeit mit D. Gerhardt. München, 1969; Bd. 59 – Мастерство Гоголя / Einf. von D. Tschiževskij. München, 1969; Bd. 62 – Символизм / Hrsg. von D. Tschiževskij. München, 1969; Bd. 63 – Арабески / Nachdruck d. Ausg. Moskau 1911. München, 1969; Bd. 65 – Александр Блок, Андрей Белый. Переписка / Nachdr. d. Ausg. Moskau 1940. München, 1969; Bd. 109 – Глоссалолия / Einf. von D. Tschiževskij. München, 1971; Bd. 141 – Рассказы / Gesammelt und eingel. von R.E. Peterson. München, 1974.

[75] Forum slavicum: Bd. 3 – Hindley L. Die Neologismen Andrej Belyjs. München, 1966; Bd. 8 – Hönig A. Andrej Belyjs Romane. Stil und Gestalt. München, 1965.

[76] *Юрьева З.О.* Творимый космос у Андрея Белого. СПб., 2000. Беловедческий архив ученицы Чижевского З.О. Юрьевой (Микуловской) хранится в частном собрании В. Янцена (Германия).

[77] *Tschiževskij D.* Andrej Belyjs «Glossalolija» – ein «Poem über die Lautwelt» // Белый А. Глоссалолия / Einf. von D. Tschiževskij. München, 1971. S. VI.

[78] *Stepun F.* Andrej Belyj // Stepun F. Mystische Weltschau. Fünf Gestalten des russischen Symbolismus. München, 1964. S. 279–355.

[79] *Tschiževskij D.* Andrej Belyjs «Symphonien» // Белый А. Четыре симфонии / Einf. von D. Tschiževskij. München, 1971. S. X.

НИКОЛАЙ ОЦУП

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Числа (Париж).
1934. Кн. 10.

О мертвых ничего, кроме хорошего.

Правилу этому приятно следовать. Но Белый в жизни и литературе «страшных лет России»[1] — явление столь сложное и крупное, что лучше не опускать ничего, что думаешь и помнишь о нем. Печатаемые ниже строчки написаны пять лет назад. В существенном и главном смерть Белого не изменила отношения к нему тех, кто знал его при жизни.

Он вызывал и продолжает вызывать и преклонение и недоумение.

* * *

— Что победило в России? Не будем ломать голову над этим. Позвольте лучше сымпровизировать миф.

Сначала поднялось чувство — Керенский, и бездна прогрохотала: нет.

Потом воля — Корнилов, и бездна прогрохотала: нет.

Наконец поднялось нечто третье — сила жизни, и бездна прогрохотала: да!

Так как под силой жизни Андрей Белый разумеет большевиков, аудитория Дома Искусств безмолвствует. Для присутствующих в зале коммунистов образы знаменитого символиста слишком темны и сложны, для некоммунистов — чужды.

Председатель объявляет перерыв.

Белый искательно устремляется к Блоку.

— Ну как, Саша, очень плохо?

Рядом с чуть-чуть деревянным, спокойным и отсутствующим лицом Блока еще резче выступает нервное, страстно оживленное и беспокойно пытливое лицо Белого. Как не выделить из тысячи страстную фигуру лектора с растрепанными седеющими волосами вокруг плеши, прикрытой черной ермолкой, с разлетающимися фалдами сюртука и с широко отставленными от туловища руками[2].

Белый держится, наклоняясь вперед, под углом, как будто сейчас побежит на собеседника.

Если бы скульптор хотел создать аллегорическую фигуру под названием «Беспокойство», он мог бы, ничего не прибавляя, лепить Белого.

Во всем, в каждом жесте, в интонациях, в выборе слов, в деятельности писательской и научной, во всем решительно Белый был всегда и сейчас остался беспокойнейшим из земных существ.

— Святое беспокойство, — говорил Гете.

Беспокойство болезненное — можно сказать о Белом.

Вчитываясь в то, что создано этим блестящим и плодовитым писателем, кажется, не трудно понять, в чем его несчастие.

По Белому, всякое человеческое «я» заключает в себе все многообразие земной жизни. Мудрено ли, что его собственное я, сложное и очень разностороннее, заслонило от Белого все живущее.

«Есть в развитии такой миг, когда **Я** сознает себя господином мира... Я, я, я, я, я, я, я, прогудело по мощным вселенным» («Записки чудака»)[3].

Белый никогда никого не слушает, он удваивает свое «я», утысячеряет его, созерцает и слушает в себе самом и себя, и собеседника, и толпу, и целый народ.

* * *

Впервые я увидел Белого у З.Н. Гиппиус в «Зеленом Кольце», где собиралась очень зеленая петербургская молодежь[4].

Были среди юных посетителей «Кольца» и такие, которым больше подходило играть в жмурки и кататься на коньках, чем беседовать о Канте и Соловьеве.

Я был в «Зеленом Кольце» всего три-четыре раза. В одно из посещений мне привелось впервые увидеть и наблюдать Белого[5].

Он только что приехал из Москвы, куда-то спешил, кого-то должен был срочно увидеть, кому-то что-то срочно поведать, с кем-то открыть кампанию против кого-то. Все это он за чаем говорил, захлебываясь, сладко и ядовито улыбаясь, наклоняясь вперед, откидываясь назад и поминутно увлекая за собой скатерть со всеми чашками чая и печенья.

Питомцев «Зеленого Кольца» все это очень забавляло. После чая одна из Верочек или Лелечек повела с Белым сепаратный разговор.

До меня из-за шума голосов доносились только отдельные восклицания Белого, приблизительно такие:

— Но София — Премудрость! Логос — это нож, дух — это крылья!

Как могла собеседница Белого, пустенькая гимназисточка, исторгнуть у знаменитого символиста эти восклицания, долго оставалось для меня загадкой. Сейчас мне кажется, что объяснение этому найти не трудно. Ведь живой гимназисточки, вздыхавшей о коньках и явно потешавшейся над своим собеседником, Белый не видел и видеть не мог. Его всеобъемлющее «я» мгновенно заслонило собой живое, глупенькое и хорошенькое лицо питомицы «Зеленого Кольца».

Белый бросал ей восклицания, занимавшие его самого. О том, кто его слушает и как понимает, писатель не успевал и подумать.

Тем, кто видел и знал автора «Символизма»[6], вероятно, ясно, что этот писатель большую часть жизни проводит в мире идей, а не в мире реальном. Натыкаясь на действительность, Белый неясно видит, что его толкнуло. Беседуя, он представляет себе слушателей и собеседников не такими, каковы они на деле, а такими, какими ему хочется видеть их. Нагляднейший пример этому лекции Белого в различных советских учреждениях в годы военного коммунизма.

Прочитав лекцию, Белый обращается к матросу:

— Вот вы, товарищ, что вы, например, думаете о звуке?

— М-м-м, — отвечает товарищ.

— Ну, конечно, вы думаете, что звук — строитель. Помните, я вам цитировал строчки Есенина:

На крепких сгибах воздетых рук
Возводит церковь строитель звук[7].

– Это мы точно помним, товарищ лектор, это вы в самом деле говорили.

– Ну, вот видите, – восхищается лектор, – видите, как мы легко понимаем друг друга.

После лекции, Белый берет под руку одного из своих коллег, как и он, читающего ради пайка лекции неграмотным людям.

– Это поразительно, – говорит писатель, сладко и ядовито улыбаясь, – неслыханно, как легко с простым народом, какое-то понимание, какое-то поверх слов согла-со-вание, со-юз.

Из аудитории слышен сдержанный смех. Смеются там над чудаком писателем, говорившим битый час непонятные вещи на непонятном языке.

Но «чудак», при всем своем уме, никогда не узнает, что никто из слушателей не понял его. Ведь «я» разветвляется. «Я» в самом себе содержит аудиторию матросов и само себя за них слушает...

Мы очень мало знаем о доисторической эпохе символизма. Многим ли известно, что одной из выдающихся фигур самого раннего периода символизма был некий... Лялечкин? «Лялечкин находит, что»... «Ссылаясь на Лялечкина»... Приблизительно такие фразы можно встретить в письмах Брюсова к Перцову[8].

Но что же это за Лялечкин? Только тщательные раскопки могли бы объяснить значение этого имени[9].

Белый выдвинулся в литературе уже в ту пору, когда имена и ценности символизма более или менее определились.

В поэзии царили Брюсов и Бальмонт.

Не обладая чарами автора «Горящих зданий»[10], Брюсов был зато человеком и поэтом железной воли и суровой дисциплины. Власть его над молодыми поэтами была почти неограниченной. По словам Блока, Брюсов мог в ту пору опрокинуть чернильницу на любую поэтическую репутацию. В своих воспоминаниях о Блоке Белый признается, что, как он ни бунтовал, ему долгое время не удавалось освободиться от властной опеки Брюсова.

Очевидцы рассказывают о той поре вещи довольно курьезные. Один из них както встретил Белого на улице, пальто его было распахнуто, волосы растрепаны; глаза поражали смешанным выражением тревоги и лукавства. Поэт был в состоянии невменяемом.

Увидев своего знакомого, Белый бросился к нему и, оглядываясь по сторонам, зашептал:

– Валерий Яковлевич (Брюсов) злоумышляет против меня. Да-с, зло-у-мы-шляет. Сидит у себя колдуном и насылает на меня злых духов. Как он вчера поглядел на меня, думает, я не заметил... Нет-с, все вижу, насквозь вижу-с...[11]

* * *

Все эти особенности полугениального «чудака» не мешают ему быть одним из самых значительных писателей нашего времени.

Главная сила Белого, мне кажется, в том, что каждое его слово и каждый жест ежесекундно напоминают о «бездонном провале в вечность»[12].

Все у него на сквозняке, все угрожает рухнуть куда-то. По-своему, Белый громче кого бы то ни было кричит: «помни о смерти».

Если у читателя хватит терпения добраться хотя бы до середины одной из «Симфоний» или «Серебряного голубя» или даже «Москвы под ударом» — у него начинает кружиться голова.

Самые устойчивые предметы, самые тяжеловесные понятия, подхваченные каким-то вихрем, начинают кружиться в пространстве.

Среди современников Белого мало кто, говоря о нем, не обмолвится: «чудак». Скажет и не это: «фальшивый человек», «фигляр» и еще более неприятные клички нередко соседствуют с именем Белого.

Но почти каждый из его ругателей неизменно добавляет: «а все-таки это писатель почти гениальный».

Строгий и сухой на похвалу Гумилев говаривал о Белом:

«Этому писателю дан гений».

И всегда при этом добавлял:

«Но гений свой он умудрился погубить».

Вдохновенные писания Белого в самом деле — свидетельство какой-то катастрофы; несмотря на все свои достоинства, они всегда поражают каким-либо изъяном.

Блестящие, но математически отвлеченные схемы, замечательная, но утомительная игра слов и созвучий, и, главное, редкое по силе чувство неустойчивости и относительности всего на свете — вот приблизительно главные слагаемые сочинений этого писателя.

В сумме получается некая очень значительная дробь, но не целое число. Какого-то слагаемого Белому не хватает.

Какого?

Вероятнее всего: внимания к реальности.

Часто «презренным» бытовикам удается уловить и запечатлеть простейшее дыхание жизни.

Белому это удается очень редко. Только говоря о России, он почти всегда находит слова, «ударяющие по сердцам».

Поезд плачется: в дали родные
Телеграфная тянется сеть,
Пролетают поля росяные,
Пролетаю в поля: умереть.
Пролетаю: так пусто, так голо!
Пролетают — вон там, и вот здесь
Пролетают: за селами села...
Пролетают: за весями весь...[13]

Удивительна для Белого простота этих строчек. Обыкновенно у него все сложно и вычурно. Играющий на рояли — яркает грацией, яркой градацией; сумасшествие для Белого — «с ума сшествие», «нисхождение голубя Я на безумное».

Но приводить примеры, подобные этим, значило бы выписать почти всю прозу этого сложного и подчас утомительного писателя.

Мучительно было встречаться с Белым в Берлине[14]. По многим причинам, он был еще растеряннее, чем обычно. Чтобы заглушить очень сложные и мучительные огорчения и сомнения, Белый пустился плясать фокстроты. Причины этих его увлечений танцами были многим понятны, и никому не приходило бы в голову смеяться, если бы он не пытался объяснить свое «веселье» какими-то высшими соображениями.

По словам Блока, Вячеслав Иванов, чтобы повернуться на стуле, должен был обязательно как-то по-особому объяснить свое движение.

О Белом сказать то же самое было бы еще справедливее. В этом мне пришлось удостовериться в Берлине.

Кафе на Victoria Luisen Platz.

В двух залах танцуют. За грохотом джазбанда едва слышишь слова собеседника.

Мелькают лица солидных толстяков, оттанцовывающих фокстрот, проносятся фигуры женщин: типичные берлинские фигуры могучих Амалий и Марихен.

Внезапно в толпу танцующих из соседнего маленького зала входит, почти вбегает странный человек с лицом безумным и вдохновенным. Его длинные полуседые волосы вьются вокруг большой лысины, он разгорячен и бежит к буфету, наклоняясь вперед всем телом и головой и улыбаясь своей медовой, чуть-чуть сумасшедшей улыбкой.

Не успевает он пристроиться к буфетной стойке, как рядом с ним появляются две Марихен[15]. Они хватают его с двух сторон за руки и кричат:

– Herr Professor, Herr Professor, aber kommen sie doch tanzen...[16]

Белый (это он), не успевая освежиться лимонадом, вновь бежит танцевать.

По дороге он замечает наш столик и, на минуту оставив Марихен, присаживается к нам.

– Удивляетесь, что я танцую? – спрашивает он.

– Да нет, нисколько, это вполне естественно.

– Может быть, но я полюбил эти танцы, потому что в них дикий зов древности, разрывы времен, вы понимаете?

Ничего у Белого не просто. В самом деле, и на стуле не может повернуться просто так, чтобы повернуться. Непременно по самым высоким соображениям.

Белого можно бы назвать олицетворением переходной эпохи. Он успевает всего коснуться, но не успевает быть хозяином одной какой-либо идеи, одного чувства.

Все мелькает перед ним и в нем. Он слишком многих понимает, слишком многому сочувствует: всюду умеет оставить частицу своего «я», но собрать в одно целое разбросанные и разрозненные частицы этого «я» ему не удается.

Он меняется быстрее событий, сменяющих друг друга и изменивших лицо России. Противоречия постоянно раздражают его.

Как он мучился, как был несчастен в советской России в годы военного коммунизма, как хотелось ему в Европу на вольный воздух, но вот он в Берлине, и сейчас же ему начинает казаться, что без Москвы он не проживет. Недолго помучившись за границей, он снова возвращается в советскую Россию.

Жизнь и творчество Белого одинаково трагичны. Писатель, озаренный, как, может быть, никто из современников, – он в конце концов «нерукотворного памятника себе не воздвиг»[17], Белый сам это чувствует и говорит об этом в форме иногда не очень скромной.

Вспоминается одно его выступление в Петербурге в годы военного коммунизма.

В просторном зале Вольфилы (вольно-философского общества)[18] движение и оживление. Кроме самих членов Вольфилы: Иванова-Разумника, Эрберга, Штейнберга и др., в зале много писателей, ученых и общественных деятелей всяческих оттенков.

Ждут Андрея Белого. Он по слухам должен прочесть замечательный отрывок из своей эпопеи «Я»[19].

Белый — чтец исключительный, слушать его, если он в ударе, истинное наслаждение. Его встречают аплодисментами, возгласами.

По убеждению лектора, каждое слово, каждый звук заключают в себе некий жест, и каждый жест в свою очередь может быть выражен звуком и словом.

Поэтому, читая, Белый повышением и понижением голоса, движением руки и пальцев, наклоном головы и выражением лица подчеркивает смысл и ритм читаемого текста.

Отрывок из эпопеи, читавшийся Белым в Вольфиле, в самом деле принадлежит к лучшим его страницам. Белый здесь с большим подъемом сказал нескромную правду о самом себе.

Силы, в нем заложенные, Белый назвал (и не без основания) огромным запасом динамита.

В конце патетического отрывка поднял руки, повысил голос и почти прокричал:

«Я мог бы стать бомбой, способной разорвать мир!»

После очень трагической паузы, Белый весь как бы обмяк, отчаянно развел руками и кончил потухшим голосом:

«Но этого не случилось, мальчишки подбирают мои осколки»[20].

Если эти слова и не скромны, в устах самого писателя, все же в них есть большая доля правды.

Сколько литераторов в самом деле подбирали и подбирают «его осколки».

Футуристы учились у Белого.

Формалисты обязаны ему своим существованием.

Стилистические новшества нынешних Пильняков — подражание Белому.

Но разве не трагична судьба большого писателя, творчество которого стало лишь материалом для новых поколений?

Послесловие

Николай Авдеевич Оцуп (1894—1958) — поэт, прозаик, литературный критик, мемуарист. В конце 1910-х в Петрограде сблизился с кругом Н. Гумилева, стал активным членом 3-го «Цеха поэтов». Эпизодические встречи Оцупа с Андреем Белым относятся в основном к первым пореволюционным годам. С 1922 г. в эмиграции. В 1930—1934 гг. редактировал (совместно с Ирмой де Манциарли) в Париже литературный журнал «Числа».

Впервые: *Оцуп Н.* Об Андрее Белом. К 50-летию со дня рождения // Числа. 1930/31. Кн. 4. С. 212—214. Перепечатано в кн.: *Оцуп Николай.* Океан времени:

Стихотворения. Дневник в стихах. Статьи и воспоминания о писателях / Сост., вступит. ст. Л. Аллена. Коммент. Р. Тименчика. СПб.; Дюссельдорф: «Logos» – «Голубой всадник», 1993. С. 528–532. В качестве некролога под заглавием «Андрей Белый» статья перепечатана с добавлением вступления и мемуарного фрагмента: Числа. 1934. Кн. 10. С. 235–240. Печатается по тексту этого издания.

---

[1] Формулировка из стихотворения А. Блока «Рожденные в года глухие...» (1914).

[2] Описываемый вечер состоялся в петроградском Доме Искусств 1 марта 1920 г. Ср. запись Блока, датируемую этим днем: «Андрей Белый в Доме искусств: толпа народу, жарко. Он такой же, как всегда: гениальный, странный» (*Блок А.* Записные книжки. 1901–1920. М., 1965. С. 488).

[3] Неточные цитаты из главы «Площадь» (*Андрей Белый.* Записки чудака. М.; Берлин: Геликон, 1922. Т. 2. С. 137, 138).

[4] «Зеленое кольцо» (по заглавию одноименной пьесы З.Н. Гиппиус 1914 г.) – кружок петербургской молодежи, собиравшийся по воскресеньям у З.Н. Гиппиус в предреволюционные годы; среди его постоянных участников были начинающие поэты – В. Злобин, Д. Майзельс, Г. Маслов, Н. Ястребов.

[5] Наиболее вероятно, что эта встреча состоялась в феврале 1917 г.

[6] *Андрей Белый.* Символизм. Книга статей. М.: Мусагет, 1910.

[7] Неточная цитата из стихотворения С. Есенина «Твой глас незримый, как дым в избе...» (1916), впервые опубликованного в альманахе «Скифы» (Сб. 2. <Пг.>, 1918. С. 165).

[8] Имеется в виду издание: Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. 1894–1896 гг. (К истории раннего символизма). <М.>, 1927 (упоминания об И.О. Лялечкине см.: С. 8, 10, 14).

[9] См. подборку стихотворений Ивана Осиповича Лялечкина (1870–1895) со вступит. очерком об авторе, подготовленную Л.А. Николаевой, в кн.: Поэты 1880–1890-х годов. Л., 1972. С. 559–582 («Библиотека поэта», Большая серия), а также статью Г.В. Зыковой о Лялечкине в кн.: Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 3. М., 1994. С. 441–442.

[10] *Бальмонт К.* Горящие здания. Лирика современной души. М.: Скорпион, 1900.

[11] Описываемый эпизод относится, скорее всего, ко второй половине 1904 г. – ко времени «психологической дуэли» между Белым и Брюсовым. См. подробнее во вступит. статье С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова к публикации переписки Брюсова и Белого (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 332–338), а также в их статье «Биографические источники романа Брюсова “Огненный Ангел”» (*Гречишкин С.С., Лавров А.В.* Символисты вблизи. СПб., 2004. С. 11–38).

[12] Образ из стихотворения «Черный ворон в сумраке снежном...», входящего в цикл Блока «Три послания» (1910): «Над бездонным провалом в вечность, / Задыхаясь, летит рысак» (*Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 3. С. 113).

[13] Неточно цитируются начальные строки стихотворения «Из окна вагона» (1908). См.: *Андрей Белый.* Пепел. СПб., 1909. С. 21.

[14] Имеется в виду пребывание Белого в Берлине в 1922–1923 гг.

[15] О фрейлейн Марихен, служительнице берлинской пивной, Андрей Белый пишет в книге «Одна из обителей царства теней» (Л.: ГИЗ, 1925. С. 33, 35). В. Ходасевич сообщает о ней: «Это дочь хозяина пивной на углу Lutherstrasse и Augsburgerstrasse. Там часто бывали с Белым. Mariechen – некрасивая, жалкая <...>. Белый напивался, танцевал с ней» (*Хо-*

дасевич Владислав. Собр. соч. / Под ред. Джона Малмстада и Роберта Хьюза. Т. 1. Ann Arbor: Ardis, 1983. С. 361); он же написал о ней в мемуарном очерке «Андрей Белый» (*Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 61) и в стихотворении «An Mariechen» («Зачем ты за пивною стойкой?..», 1923) (Там же. М., 1996. Т. 1. С. 260).

[16] Господин профессор, господин профессор, идите же танцевать... (*нем.*).

[17] Из стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1936).

[18] Вольфила – Вольная Философская Ассоциация. Наиболее полное освещение ее деятельности – в издании: *Белоус Владимир.* Вольфила (Петроградская Вольная Философская Ассоциация). 1919–1924. Кн. 1–2. М., 2005.

[19] Эпопея «Я» – «Записки чудака». Отрывки из этого произведения (под заглавием «В лопнувшем Лондоне») Белый прочитал на своем вечере в Вольфиле 7 июля 1920 г. См.: *Белоус Владимир.* Вольфила. Кн. 2. С. 66, 69–70.

[20] Ср. в опубликованном тексте (глава «У крутых берегов погибает корабль»):

«... настоящее – пусто; я ныне – осколки разорванной бомбы.

Мальчишки меня подбирают на улице» (*Андрей Белый.* Записки чудака. Т. 2. С. 68).

Подготовка текста, комментарии и послесловие А.В. Лаврова

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

ПАМЯТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Встречи (Париж).
1934. Кн. 2. Февраль.

Он был замечательным романистом, талантливым стихотворцем, блестящим критиком. Он исписал тысячи листов бумаги, прочел множество докладов и лекций. Он на все откликался, всем интересовался, все схватывал на лету.

Но лучшее в нем все-таки было то, о чем он промолчал.

Только так и можно, в сущности, ценить поэта: за дар слова и за уровень молчания. Что слова, если за ними ничего нет, если все в них уложилось без остатка? Литература в зауряднейшем значении этого понятия: быт, картины, идеи, типы, полное собрание сочинений — и никакого отзвука, ни одного обещания, ни одной бессонной ночи в ответ... Но что и молчание, если не найдено слов, как бы обрывающихся «на пороге», как бы лишенных только одной легчайшей, тончайшей черты, чтобы все сделалось ясно?

Андрей Белый был бы действительно гениальным писателем, — как иногда его не совсем основательно называют, — если бы оба дара в нем были уравновешены. Но гениально в нем было только то, перед чем он беспомощно остановился. Тут, в этом, он пожалуй первый из первых: никто не бросил такого ослепительного света на творческие возможности, как он... Но свершения сбивчивее и беднее. Кто станет по ним судить Белого, никогда не поймет, отчего этот человек был так дорог многим «русским мальчикам» — по Ивану Карамазову[1] — начала двадцатого века.

Как трудно теперь, в тридцать четвертом году, в Париже, особенно в Париже, «городе умном и сухом», об этом рассказывать! Что было? Невольно хочется усмехнуться и ответить: ничего... Потому что все равно не расскажешь. Была молодость, были мечтания, предчувствия, надежды, одиночество, закат по вечерам. Это было, впрочем, у всех, всегда. Еще — глубокое, постоянное... не сознание, нет, а только ощущение обреченности нашего, нам близкого мира, так внезапно и страшно оправдавшееся. Еще — глубокое и постоянное безразличье к судьбе поколения и готовность пожертвовать чем угодно, лишь бы найти ключ к «спасению вообще», лишь бы услышать хотя бы первые, слабые звуки — опять вспомним Достоевского — «финальной гармонии»[2]. Было и другое. Но иначе как словами «что-то», «какое-то», «куда-то» его теперь не определишь.

Были сны, но был и бред, — и чем уродливее искажалось видение, тем настойчивее хотелось его хоть как-нибудь запечатлеть: так возник и погиб Блок.

Но Блок, при всей его единственности, был ограниченным явлением. Он суживал тему эпохи, и со своей природной, немецкой методичностью очищал ее от чепухи и шелухи, вытравлял в ней все, что поддавалось вытравлению. Блок «сго-

рел» в борьбе с бредом «ненавидя, кляня и любя»[3]. Но, доплавившись до несравненного личного сияния, он все-таки «переборщил»... Не все было чепухой: Блок стал изменником в пылу чрезмерной преданности. Он внутренне воевал с адвокатами, которые на столичных мистическо-эстетических собраниях кололи себя булавками (что-то такое, говорят, происходило однажды у Минского)[4], он спорил с людьми, которые, поправляя золотое пэнсне, деловито заявляли, что без «ощущения хаоса» жить не согласны. Но он и довоевался: не осталось ничего – ни на той, ни на другой стороне.

Андрей Белый тему расширял, запутывал, осложнял, уснащал всем, что случайно приходило ему в голову. Андрей Белый был в этом смысле злейшим врагом Блока, и не случайно вызывал он порой у Блока такое насмешливое раздражение... Адвоката с булавками в нем, конечно, не было, но зато был бестолковый, длинноволосый русский литератор, за все хватавшийся и все тут же оставлявший. Кроме того, был в нем душок добровольного предательства, ничего общего не имеющий с отступничеством Блока, слепым и невинным. Да в придачу – хихикание, ворвавшееся в русский символизм еще с Владимиром Соловьевым и в Белом достигшее нестерпимого расцвета («патент на благородство»[5] Мережковского: неспособность хихикать, мгновенное увядание – до какого-то посерения в лице – при первой чьей-либо попытке поострить)... Все это так. Я только что сказал, кажется, что он был «блестящим романистом», «большим поэтом» или что-то в этом роде. Ну, признаемся, положа руку на сердце, что не таким уж блестящим, не таким уж и большим: это сказано в порядке вступительной полу-правды и традиционной условности. «Петербург» – замечательная книга, конечно, но вся, до последней запятой, выдуманная и призрачная, не выдерживающая столкновения с какой-либо реальностью: в конце концов занимательная, забавная, «курьезная» книга, и только. В стихах – отдельные строфы и строчки, среди вороха никчемных слов, беспощадные и пронзительные, как полоска городского зимнего рассвета... И только. Оставим легенду об «одном из крупнейших писателей нашей современности» для литературных вечеров с прениями и декламацией отрывков.

Ценнейшее в Андрее Белом – его неудача. Именно поэтому и последний, московский позор диалектико-материалистических «перестроек» ничего не меняет в его двоящемся, неверном, обманчивом облике: это не имеет настоящего значения, это скользнуло по сознанию Белого, как и многое другое. Это было бы роковым срывом при творчестве положительном, но творчество Белого было отрицательное: он только оттенял, отступал и безудержной болтовней пытался обморочить самого себя... А тема так и осталась вне слов, за словами.

Чуть-чуть не удалось. Карикатура заслонила лицо: «маска», – если повторить любимое символистами слово. Замысел развалился, и под обломками своими все похоронил. Но замысел – или хотя бы даже только догадка о нем, предвкушение его – был такой, какого ни у кого не было; тут меркнет и Блок. Слово «догадка», пожалуй, не совсем верно передает нужный оттенок: догадаться, додуматься могли и другие... Андрей Белый весь был истерзан жившей в нем музыкой, и невозможностью донести ее до мысли или слова. Он «мучился в родах» все тридцать лет своей писательской деятельности, и так и умер бесплодным.

Но музыку мы все-таки слышим, даже сквозь недолговечные, сомнительные книги. Теперь уже нужно сделать усилие, но прежде слух был острее, внимател-

нее... Да, это то самое, это «самое важное», незабываемое. Да, это то, из-за чего кружилась голова двадцать лет тому назад, и не напрасно кружилась.

Только как объяснить? «Преображение мира»? Ну, что же, пусть будет «преображение мира». Не хуже и не лучше, чем что-либо другое.

Поклонимся же памяти Андрея Белого за «преображение мира», за отсвет того, из-за чего стоит писать, думать, надеяться, помнить, жить.

Послесловие

Георгий Викторович Адамович (1892–1972) – поэт, литературный критик. С 1923 г. жил в эмиграции. Ведущий критик парижских изданий «Звено» (газета и журнал), газеты «Последние новости»; в 1934 г. – редактор (совместно с М.Л. Кантором) ежемесячного журнала «Встречи». Сведениями о личных контактах Адамовича с Белым мы не располагаем. Адамович присутствовал на публичных выступлениях Белого и поделился воспоминаниями об одном из них (в Петербурге в Соляном городке – 2 марта 1910 г. или 23 февраля 1912 г.) в статье «Андрей Белый и его воспоминания», опубликованной в парижском журнале «Русские Записки» (1938. № 5). См.: Андрей Белый: pro et contra. Личность и творчество Андрея Белого в оценках и толкованиях современников. Антология. СПб., 2004. С. 874–876. Впервые: Встречи: Ежемесячный журнал под ред. Г.В. Адамовича и М.Л. Кантора. Париж. 1934. Кн. 2. Февраль. С. 56–58.

---

[1] См. слова Ивана Карамазова («Братья Карамазовы», ч. 2, кн. 5, гл. III) о «русских мальчиках»: *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 213–214.

[2] Имеются в виду слова Ивана Карамазова о «мировом финале, в момент вечной гармонии» в той же главе (Там же. С. 215).

[3] Строка из стихотворения Блока «О, весна без конца и без краю...» (1907), открывающего его цикл «Заклятие огнем и мраком» (*Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 2. С. 187).

[4] Имеется в виду импровизированное ритуальное «действо», состоявшееся в Петербурге 2 мая 1905 г. на квартире Н.М. Минского; согласно подробному описанию происходившего (в письме Е.П. Иванова к Блоку от 9–10 мая 1905 г.), собравшиеся – по предложению Вяч. Иванова и Минского – производили «ритмические движения для расположения и возбуждения религиозного состояния», а также символические жертвоприношения. Письмо опубликовано Л.А. Ильюниной (см.: Русское революционное движение и проблемы развития литературы. Межвузовский сборник. Л., 1989. С. 178–180; Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник – 1990. М., 1992. С. 105–107). См. также: *Эткинд Александр.* Хлыст. Секты, литераторы и революция. М., 1998. С. 8–10.

[5] Формулировка восходит к начальной строке стихотворения А. Фета «На книжке стихотворений Тютчева» (1883): «Вот наш патент на благородство».

Подготовка текста, комментарии и послесловие А.В. Лаврова

ЛОЛЛИЙ ЛЬВОВ

КОНЕЦ АНДРЕЯ БЕЛОГО

«Россия и славянство» (Париж).
1934. Январь—февраль.

Андрей Белый «там», «под большевиками», был отличен от других русских, не «советских», писателей тем, что не был обречен на немоту, на вынужденное, насильственное, молчание. Его голос, его сбивчивая, заплетающаяся речь, звучали, не смолкая, почти до самых последних дней его жизни. Он писал. Он «печатался», — его «терпели» большевики, может быть, поощряли даже... И писания его были обильны, пространны, многотомны. Словом, иго советское не сделало его экс-писателем. А несколько лет тому назад судьба была «добра» к нему и в том, что на его собственное усмотрение ему было поставлено на выбор: или стать, как все мы, «эмигрантом», свободно творящим русским поэтом-писателем; или, отряхнув с подошв своих пыль кратковременного блуждания по загранице, возвратиться, безнаказанно, в «подсоветскую» реальность и добровольно приять «подсоветское» существование[1]. Известно, что «мечтатель» и «чудак»[2] Андрей Белый предпочел последнее. Из рук большевиков он получил милостивое разрешение не только жить под их декретами, не только «писать», но и «печататься» — привилегию *не молчать там, где все молчат...*[3]

Последняя книга Андрея Белого только что дошла до нашего Зарубежья: она помечена 1933 годом, а предисловие к ней, если не ошибаюсь, обозначено датой — апрель 1933 года[4]. Это — второй том его многоречивых воспоминаний — «Начало века» (первый назывался — «На рубеже XIX и XX столетий»[5], и эта-то последняя книга Андрея Белого есть страшное и горестное повествование об его конце. Мучительно читать эту книгу: беспощадно расстрелянную литературно-общественную жизнь Москвы и Петербурга он изобличает во всех семи, «капиталистических», грехах и бичует недавнюю, но безжалостно растоптанную литературно-артистическую и интеллигентную, профессорскую Москву с подлинно большевицким азартом. «Карикатурно-гротескный стиль!»[6] — признается он сам, отмечая эту каинскую черту своих писаний...

Неблагодарным занятием было приведение цитат из этой книги Андрея Белого. Душно и мрачно от его злобного, кликушествующего, спутанного бормотания... И все же мы приведем несколько признаний Андрея Белого его же собственными словами. За год, за несколько месяцев до смерти, Андрей Белый считал правильным и нужным — каяться в своем не-марксистском, не-ленинском, прошлом, и при этом оправдываться ссылкой на отцов и учителей, не давших ему в его молодые годы возможности благодатной встречи с писаниями... Маркса и Ленина!.. Да это они, они — отец Андрея Белого, Бугаев, известный математик и ученейший профессор Московского Университета, экономист Янжул, философ Лопатин,

историк литературы Стороженко, государствовед Максим Ковалевский — это все они повинны в его прегрешении — в позднем его пришествии к кладезю мудрости Маркса—Ленина.

Вот это изумительное покаяние несчастного Андрея Белого[7]:

«Странен для нашего времени образовательный стаж наиобразованнейших людей моего времени; я рос в обстании профессоров, среди которых был ряд имен европейской известности; с четырех (!!) лет я разбираюсь в гуле имен вкруг меня: «Дарвин, Геккель, Спенсер, Милль, Кант, Шопенгауер, Вагнер, Вирхов, Гельмгольц, Лагранж, Пуанкарэ, Коперник и т.д. *Не было одного имени – Маркс*. Всю юность видывал я экономиста Янжула; ребенком прислушивался к словам Ковалевского; имена Милль, Спенсер, Дарвин слетали с их уст; *имя Маркса – нет*; о Марксе, как позднее открылось, говаривал лишь Танеев[8] (в контексте с Фурье и Прудоном). Мой отец, кроме тонкого знания математической литературы, был очень философски начитан; изучил Канта, Лейбница, Спинозу, Локка, Юма, Милля, Спенсера, Гегеля; все свободное время читал[9] он трактаты, посвященные проблемам индивидуальной и социальной психологии... — *но никогда им не были произнесены имена: Маркс, Энгельс*... Либеральнейший Стороженко козырял и именами, сочинения которых не читал; за 20 лет частого сидения перед ним *я не слышал от него только имени Маркса*. Молчание походило бы на заговор, если бы не факт: никто из меня обставших *ученых* европейской известности, *не прочел, очевидно, ни Маркса, ни Энгельса...*».

И дальше:

«*Стыдно признаться*: до 1902 года я не отличал утопического социализма от научного социализма[10]; мой интерес[11] к первому отодвигал Маркса от меня; придвинули мне Маркса факты: рабочее движение в России; тогда впервые узнал я о Ленине. Это значило: *я воспитывался в среде, где о Марксе (не говорю уже о Ленине) не хотели знать...*

Да, вот почему случилось так, что до окончания естественного факультета я не читал: Маркса, Энгельса, Прудона, Фурье, С<ен->Симона... *стыжусь, – Чернышевского (?!), Ленина...*».

Во всем повинны «отцы». Во всем повинен старый Московский Университет!..

Так кончил Андрей Белый—Борис Бугаев, когда-то написавший жуткую, — но и замечательную! — книгу, с которой он вошел в русскую литературу, — «Серебряный голубь»; после создавший овеянный бредовым[и] туманами «Петербург»; Андрей Белый, напечатавший вслед за «Золотом в лазури» несколько сборников стихов; Андрей Белый — автор, зажигавший у молодежи 1905—1915 годов волю к творчеству, томов «Символизма», «Арабесок»; Андрей Белый, — и в большевицкие времена, смогший растрогать сердце читателя своим детством и отрочеством — «Котиком Летаевым»!

Еще в 1907 году — за четверть века до смерти — он сочинил себе эпитафию:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел;
Думой века измерил,
А жизни прожить не сумел...
Не смейтесь над мертвым поэтом:
Снесите ему венок...

Увы, эта эпитафия (между прочим, положенная на музыку Н.К. Метнером[12]) – по собственному признанию Андрея Белого – обветшала для него за эти истекшие 25 лет. «В последующих годах я сдвинулся с “мертвой точки”»[13] – таковы слова самого Андрея Белого, «пришедшего» к Марксу-Ленину... Поистине, бездна с страшной «азиатской рожей»[14] Ленина приманила к себе несчастного поэта и поглотила его, обуянного безумием!

Послесловие

Поэт, прозаик, публицист, литературный и художественный критик Лоллий Иванович Львов (1888–1967) эмигрировал из России в 1920 г. Жил в Париже; с 1945 г. и до конца жизни – в Мюнхене. Активно печатался в различных периодических изданиях русского зарубежья, в годы Второй мировой войны – в изданиях пронацистской ориентации.

Лоллий Львов с 1930 г. входил в редакционный комитет еженедельной газеты «Россия и славянство» (1928–1934), являвшейся «органом национально-освободительной борьбы и славянской взаимности» и издававшейся в Париже «при ближайшем участии П.Б. Струве». В выпуске газеты за январь–февраль и был напечатан публикуемый выше некролог; перепечатан в харбинской газете «Русское слово» (1 февраля 1934 г.).

---

[1] Имеется в виду возвращение из Германии в Советскую Россию в 1923 г.

[2] Обыгрывается название журнала-альманаха «Записки мечтателей» («Алконост»; 1919–1921), в котором Белый был постоянным автором, и заглавие его романа «Записки чудака». Однако еще в большей степени Львов высмеивает автохарактеристику Белого из предисловия к мемуарам «Начало века»: «Иные из нас, задыхаясь во все заливающем мещанстве, в пику обстанию аплодировали всему “ненормальному”, “необщему”, “болезненному”, выявляя себя и антисоциально; “чудак” был неизбежен в нашей среде; “чудачливость” была контузией, полученной в детстве, и непроизвольным “мимикри”: “чудаку” позволено было то, что с “нормального” взыскивалось. <...> Но мы были “чудаки”, раздвоенные, надорванные: жизнью до “жизни”; пусть читатель не думает, что я выставляю “чудака” под диплом; – “чудак” в моем описании – лишь жертва борьбы с условиями жизни; это тот, кто не так боролся, не с того конца боролся, индивидуально боролся; и от этого вышел особенно деформированным. Изображая себя “чудаком”, описывая непонятные для нашего времени “шалости” (от “шалый”) моих сверстников, я прошу читательскую молодежь понять: речь идет о действительности, не имеющей ничего общего с нашим временем, о действительности нашего былого подполья, наградившего нас печатью субъективизма и анархизма: в ряде жизненных выявлений. Я хочу, чтобы меня поняли: “чудак” в условиях современности – отрицательный тип; “чудак” в условиях описываемой эпохи – инвалид, заслуживающий уважительного внимания» (*НВ 1933*. С. 3–4).

[3] Здесь и далее выделено Лоллием Львовым.

[4] Предисловие «От автора» помечено февралем 1932 г.

[5] Точнее – «На рубеже двух столетий».

[6] Ср. в предисловии к «Началу века» «От автора»: «В этом томе мною взят стиль юмористических каламбуров, гротесков, шаржей <...>» (*НВ 1933*. С. 11).

[7] Далее предисловие «От автора» цитируется с небольшими неточностями и сокращениями (*НВ 1933*. С. 4–5).

[8] Владимир Иванович Танеев (1840–1921), адвокат, общественный деятель, брат композитора С.И. Танеева.

[9] У Белого: «глотал» (Там же. С. 4).

[10] У Белого: «от научного марксизма».

[11] У Белого: «неинтерес».

[12] См. «Эпитафию» Н.К. Метнера для голоса и фортепиано на слова Андрея Белого: Музыка и время. 2007. № 4. С. 18–21. Ср.: «Не любя вообще символистской поэзии, Метнер все же дважды воспользовался стихами символистов, для создания песен “Эпитафия” (на слова Андрея Белого) и “Тяжела, бесцветна и пуста надмогильная плита” (на слова В.Я. Брюсова)» (*Штембер И.В.* Из воспоминаний о Н.К. Метнере // Метнер Н.К. Статьи, материалы, воспоминания / Составитель-редактор З.А. Апетян. М., 1981. С. 83).

[13] У Белого: «В последующих годах я сдвинулся с мертвой точки: в себе; пока же мое стихотворение 1907 года есть эпитафия себе <...>» (*НВ 1933*. С. 11).

[14] Из стихотворения А.А. Блока «Скифы» (1918): «Мы широко по дебрям и лесам / Перед Европою пригожей / Расступимся! Мы обернемся к вам / Своею азиатской рожей!»

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Склоненная над письменным столом голова, прикрытая темной бархатной шапочкой, окаймленная ореолом легких, летучих, седых волос. На столе раскрыты толстые тома атомической физики, теории вероятностей... Кто это? Профессор математики?

Но странно: математик читает свои лекции... в петербургском Доме Искусств. Быстрые, летящие движения рук, вычерчивающих в воздухе какие-то кривые. Вы вслушиваетесь — и оказывается, что это — кривые подъема и падения гласных[1], это — блестящая лекция по теории стиха[2].

Новый ракурс: этот человек — с долотом и молотком в руках, на подмостках в полутемном куполе какого-то храма, он выдалбливает узор капители[3]. Храм этот — знаменитый «Гетеанум» в Базеле[4], над постройкой которого работали преданнейшие адепты антропософии.

И после тишины «Гетеанума» — вдруг неистовый гвалт берлинского кафе, из горла трубы, из саксофона, взвизгивая, летят бесенята джаза. Человек, который строил антропософский храм, в сбившемся набок галстухе[5], с растерянной улыбкой — танцует фокстрот...[6]

Математика, поэзия, антропософия, фокстрот — это несколько наиболее острых углов, из которых складывается причудливый облик Андрея Белого, одного из оригинальнейших русских писателей, только что закончившего свой земной путь: в синий снежный январский день он умер в Москве.

То, что он писал, было так же причудливо и необычно, как его жизнь. Поэтому, уже не говоря о его многочисленных теоретических работах, даже его романы оставались чтением преимущественно интеллектуальной элиты. Это был «писатель для писателей»[7] прежде всего, мэтр, изобретатель, изобретениями которого пользовались многие из русских романистов более молодых поколений[8]. Ни одна из многочисленных антологий современной русской литературы, выходящих за последнее время на разных европейских языках, не обходится без упоминания об Андрее Белом.

Но здесь опять один из тех парадоксов, которыми полна вся его человеческая и литературная биография: книги этого мэтра, теоретика целой литературной школы — остаются непереведенными, они живут только в русском своем воплощении[9]. Я не знаю, впрочем, можно ли, оставаясь точным, назвать их написанными по-русски: настолько необычен синтаксис Белого[10], настолько полон неологизмов его словарь[11]. Язык его книг — это язык Белого, совершенно так же, как язык «Улисса» не английский, но язык Джойса[12].

И еще парадокс. Этот типичнейший русский писатель, прямой потомок Гоголя и Достоевского, оказался в русской литературе проводником чисто французских влияний: Белый был одним из основателей и единственным серьезным тео-

ретиком школы русского символизма. При всем своеобразии этого литературного направления, очень тесно переплетающегося с религиозными исканиями русской интеллигенции, связь его с французским символизмом – с именами Маллармэ, Бодлэра, Гюисманса – совершенно бесспорна[13]. Одного этого уже достаточно, чтобы остановить внимание французского читателя, и особенно читателя литературного, на оригинальной фигуре Андрея Белого[14].

Отрывистые, пересекающиеся линии, которыми здесь набросан был контур его портрета, продиктованы стилем самой личности этого человека, от которого всегда оставалось впечатление стремительности, полета, лихорадочности. Для тех, чей глаз привык к линиям более академическим, к датам и именам, ниже дается несколько дополнений к этому контуру.

Две таких как будто несхожих, но по существу родственных стихии[15] – математика и музыка[16] – определили юность Белого[17]. Первая из них была у него в крови: он был сыном известного русского профессора математики и изучал математику[18] в том самом Московском университете, где читал лекции его отец[19]. Может быть, там же читал бы лекции и Андрей Белый, если бы однажды он не почувствовал эстетики формул совершенно по-новому: математика для него *зазвучала* (так он сам рассказывал об этом), она материализовалась в музыку. И, казалось, эта муза окончательно повела его за собой, когда неожиданно из вчерашнего математика и музыканта Андрея Бугаева[20] (настоящее его имя) родился поэт Андрей Белый. Первая же книга его стихов ввела его в тогдашние передовые литературные круги, сблизила его с Блоком, Брюсовым, Мережковским[21].

Это было начало 20-го века, годы, близкие к 905-му, когда огромное, заржавевшее тело России сдвинулось с привычной в течение веков орбиты, когда искание нового началось во всех слоях русского общества. Белый был сыном этой эпохи, одной из тех, родственных героям Достоевского, беспокойных русских натур[22], которые никогда не удовлетворяются достигнутым[23]. Быть модным поэтом, даже одним из вождей новой литературной школы – для него скоро оказалось мало: он искал для себя ответов на самые мучительные «вечные» вопросы[24]. Он искал их всюду: на заседаниях петербургского[25] «Религиозно-философского общества»; в прокуренных студенческих комнатах, где спорили всю ночь до утра; в молельнях русских сектантов и на конспиративных собраниях социалистов; в чайных и трактирах[26], где под выкрики подвыпивших извозчиков вел тихую беседу какой-нибудь русский странник с крестом на посохе...[27]

Этот пестрый вихрь уже не вмещался в скупые строки стихов – и Белый перешел к роману. В эти годы были написаны две наиболее известные его книги: «Серебряный голубь» и «Петербург». Первый роман вводит читателя в жуткую атмосферу жизни хлыстовской секты[28], куда попадает рафинированный интеллигент, поэт, погибающий в столкновении с темной силой русской деревни. Как позже писал сам Белый, в этом романе им «был увиден Распутин в in statu nascendi[29]»[30] (Распутин, как известно, вышел из хлыстовской среды)[31]. Во втором романе царский Петербург показан Белым как город, уже обреченный на гибель, но еще прекрасный предсмертной, призрачной красотой. Один из властителей этого Петербурга, сенатор Аблеухов, приговорен к смерти революционерами, с которыми связан его сын, студент: на этой острой коллизии построен сюжет романа. В этой

книге, лучшей из всего, написанного Белым[32], Петербург впервые после Гоголя и Достоевского нашел своего настоящего художника[33].

Предреволюционные годы (1912–1916) Белый провел в беспокойных скитаниях по Африке и Европе[34]. Встреча с главой антропософов д-ром Штейнером оказалась для Белого решающей. Но для него антропософия не была тихой гаванью, как для многих усталых душ, – для него это был только порт отправления в бесконечный простор космической философии и новых художественных экспериментов. Самым любопытным из них был роман «Котик Летаев», едва ли не единственный в мировой литературе опыт художественного отражения антропософских идей[35]. Экраном для этого отражения здесь взята детская психика, период первых проблесков сознания в ребенке, когда из мира призрачных воспоминаний о своем существовании до рождения, из мира четырех измерений – ребенок переходит к твердому, больно ранящему его трехмерному миру[36].

В послереволюционной России, с ее новой религией материализма, антропософия была не ко двору – и в 1921 году Белый снова оказался за границей[37]. Для него наступило время «искушения в пустыне»[38]: женщина, которую он любил, оставила его[39], чтобы быть около д-ра Штейнера[40], поэт остался один в каменной пустоте Берлина. С антропософских высот он бросился вниз – в фокстрот, в вино...[41] Но не разбился, у него хватило сил встать[42] – и снова начать жить, вернувшись в Россию.

Волосы вокруг купола головы[43], прикрытого шапочкой, были у него теперь седые, но в нем был все такой же полет, тот же юношеский пыл. Мне запомнился один петербургский вечер, когда Белый зашел ко мне «ненадолго»: он торопился, ему в этот вечер нужно было читать лекцию[44]. Но вот разговор коснулся одной из особенно близких ему тем[45] – о кризисе культуры, его глаза засветились, он приседал на пол и поднимался, иллюстрируя свою теорию «параллельных эпох», «спирального движения» человеческой истории[46], он говорил не останавливаясь. Это была блестящая лекция, прочитанная перед единственным слушателем[47]: другие напрасно ждали его в аудитории в тот вечер[48], – только когда пробила полночь, увлекшийся Белый вдруг вспомнил, схватился за голову...[49]

Лекция эта была главою его большого труда по философии истории, над которым он, не переставая, работал все последние годы. Как будто уже видя недалекий конец своего пути, в этой книге он торопился подвести итоги всех своих беспокойных интеллектуальных скитаний. Работа эта, сколько знаю, осталась незаконченной[50].

Таким же подведением итогов были и другие его последние книги: том мемуаров «На рубеже двух столетий», романы «Москва» и «Маски». Здесь уже нет четырехмерного, фантастического мира «Котика Летаева» и «Петербурга»; эти романы построены на реальном, частью автобиографическом, материале из жизни московской интеллигенции в переломную эпоху начала 20-го века. Взятый автором явно сатирический ракурс был уступкой духу времени, требовавшему развенчания прошлого[51]. Но неутомимые формальные искания Белого, теперь[52] больше всего в области лексической, продолжались и в этих последних романах: он до конца остался «русским Джойсом»[53].

<январь 1934>.

Послесловие

Евгений Иванович Замятин (1884–1937) – писатель, литературный критик, драматург, активный участник литературных организаций Петрограда–Ленинграда (издательство «Всемирная литература», Секция исторических картин при Отделе театров и зрелищ Петроградского Комиссариата просвещения, литературная студия Дома Искусств, Петроградское отделение ВСП, комитет Дома литераторов и др.), один из организаторов ряда петроградских изданий («Современный Запад», «Русский современник» и др.).

Взаимоотношения Замятина и Белого еще не становились предметом пристального исследовательского внимания. По этой причине сейчас возможно лишь пунктирно наметить хронологию общения обоих писателей. Их личное знакомство произошло в 1917 г. в Царском Селе при посредничестве Иванова-Разумника. «Очень интенсивная жизнь у Р.В. Иванова; встречи и знакомства: с <…> вернувшимся из Англии Замятиным <…>», – отмечал Белый в «Ракурсе к дневнику»[i]. Однако он ошибочно датировал свое знакомство с Замятиным февралем – началом марта 1917 г., тогда как Замятин только во второй половине сентября 1917 г. вернулся из Англии[ii], где в качестве инженера наблюдал за строительством ледоколов для российского флота.

Ориентировочно встречу Замятина с Белым следует датировать октябрем 1917 г. Белый тогда находился попеременно в Петрограде и Царском Селе[iii]. Вероятной причиной знакомства стала предстоящая публикация повести Замятина «Островитяне» во 2-м сборнике «Скифы» (Пг., 1917; на обложке – 1918), одним из редакторов которого был Белый[iv].

Однако 2-й «скифский» сборник не слишком способствовал их дальнейшему сближению. В опубликованной в конце марта 1918 г. под псевдонимом «Мих. Платонов» статье-рецензии «Скифы ли?»[v] Замятин дал резко отрицательную оценку сборнику в целом, умолчав при этом о собственном участии в нем: «казенному вдохновению» большинства авторов сборника (в том числе и Андрея Белого) Замятин имплицитно противопоставлял собственную позицию «подлинного скифа», «духовного революционера», «романтика»[vi].

Изменение в оценках творчества Белого у Замятина хронологически совпадает с активным продвижением «неореализма» в статьях 1920-х, где Замятин причисляет себя и своих бывших оппонентов к «мечтателям», противопоставляя их «деятелям»[vii]. Сближению Замятина и Белого в начале 1920-х способствовала и совместная работа в литературной студии Дома Искусств, где оба читали лекции,

---

[i] Цит. по: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 93.

[ii] Ср., напр., запись в дневнике А.М. Ремизова от 22 сентября 1917 г.: «Приходил Замятин. Накануне вернулся он из Англии» (*Ремизов А М.* Дневник 1917–1921 гг. // Ремизов А.М. Собр. соч.: В 10 т. М., 2000. Т. 5: Взвихренная Русь. С. 480).

[iii] Андрей Белый. Хронологическая канва жизни и творчества // Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. М., 1995. С. 316.

[iv] В письме Иванова-Разумника к Белому от 9 ноября 1917 г. впервые упоминается об участии Замятина в сборнике (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 138).

[v] Мысль (Пг.). 1918. Сб. 1. С. 285–293.

[vi] См.: *Замятин Е.* Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспоминания / Сост. А.Ю. Галушкин. М., 1999. С. 33.

[vii] См., напр., набросок статьи 1921 г.: <«Записки мечтателей»> // Замятин Е. Я боюсь. С. 241–242.

а кроме того – общие издательские планы (например, участие в редколлегии сборника в помощь голодающим «Весть»[i]).

Пик общения Замятина и Белого пришелся на начало августа 1921 г. и был связан со смертью А. Блока. Оба приняли участие в похоронах поэта[ii]. Вероятно, не в последнюю очередь благодаря Белому Замятин стал одним из членов Комитета по увековечению памяти Блока[iii]. Белый предполагал также привлечь Замятина к работе над сборником воспоминаний о Блоке: в дневниковой записи от 18 августа он называет Замятина одним из «могущих дать ценные воспоминания о Блоке»[iv]. В вышедшем в конце августа 1921 г. № 4 «Записок мечтателей» наряду с некрологами от издательства «Алконост» и от Андрея Белого появилась и некрологическая заметка Замятина. Здесь же Замятин был анонсирован в числе авторов «воспоминаний и статей» о Блоке, которые издатели планировали напечатать в №№ 6–7 «Записок мечтателей». Кроме того, предполагалось также участие Замятина в заседании «Вольфилы» 28 августа 1921 г., посвященном памяти Блока[v]. Вероятно, совместной работой в Комитете по увековечению памяти Блока объясняется то обстоятельство, что, уже находясь в Берлине, Белый приглашал Замятина принять участие в редактируемом им журнале «Эпопея». 25 марта 1922 г. он жаловался Иванову-Разумнику: «Писал Вам 2 длинных деловых письма об “*Эпопее*”. Одно отправил еще в декабре с 17-ю пригласительными письмами через М.И. Балтрушайтис (Вам, Замятину, Сологубу и др.). Ни от кого: никакого отклика!»[vi]

Однако после возвращения Белого в Россию в его отношениях с Замятиным наступает постепенное охлаждение. В 1924 г. их отношения еще оставались нейтральными – ср. письмо Замятина к Волошину от 10 августа 1924 г.: «Знаю, что у Вас Белый; передайте ему мой привет»[vii]. 24 ноября 1924 г. Замятин был в числе гостей, приглашенных Пильняком на «винно-литературное сборище: Белый читает несколько глав из романа»[viii].

Об ухудшении взаимоотношений свидетельствуют письма Белого к Иванову-Разумнику 1925–1928 гг. Негативного отзыва Белого удостоилась постановка в 1925 г. пьесы Замятина «Блоха» (по мотивам «Левши» Н.С. Лескова) во МХАТе 2-м. Кроме эстетических расхождений причиной неприятия могли стать и внутритеатральные разногласия. Белый откровенно симпатизировал М.А. Чехову[ix] и,

---

[i] См. письмо Замятина к Чуковскому от 4 августа 1921 г. (Е.И. Замятин и К.И. Чуковский. Переписка (1921–1928) / Публ. А.Ю. Галушкина // Евгений Замятин и культура XX века: Исследования и публикации / Сост. М.Ю. Любимовой. СПб., 2002. С. 209).

[ii] Упоминание об этом есть в дневнике Белого «К материалам о Блоке» (запись от 10 августа). См.: *Андрей Белый.* К материалам о Блоке // *О Блоке 1997.* С. 453.

[iii] См. заметки «Комитет по увековечению памяти Блока» (Жизнь искусства. 1921. № 804 (16–21 авг.)) и «От комитета по увековечиванию памяти Александра Блока» (Книга и революция. 1921. № 1. С. 26), а также: *Андрей Белый.* Дневниковые записи / Публ. С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова // Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1982. С. 822 (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3).

[iv] *Андрей Белый.* К материалам о Блоке // *О Блоке 1997.* С. 456.

[v] См. запись в дневнике Белого от 18 августа (*О Блоке 1997.* С. 456).

[vi] Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 247.

[vii] *Купченко Вл.* «Пишу вам из России...» (Письма Е.И. Замятина М.А. Волошину) // Подъем (Воронеж). 1988. № 5. С. 123.

[viii] Письмо Л.Н. Замятиной-Усовой от 24 ноября 1924 г. (см.: Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина / Сост. Л.И. Бучина и М.Ю. Любимова. СПб., 1997. С. 277–278 (Рукописные памятники. Вып. 3. Ч. 1–2)).

[ix] В письме к Иванову-Разумнику от 8 декабря Белый называл постановку «Гамлета» М.А. Чеховым «общим делом», «единственной <...> радостью сезона» и «победой» «вопреки ряду оппозиций в самой труппе» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 570).

быть может, поэтому, вопреки очевидному успеху спектакля, режиссером которой был оппозиционный Чехову А.Д. Дикий, Белый расценил «Блоху» как неудачу: «<...> можно сказать, что почти "*провалилась*" замятинская "*Блоха*", в постановочном смысле рассчитанная на "*современность*", "*дешевые хлопки*" и неверно понятые "*массы*"; а "*массы*"-то как раз хотят больше "*Гамлета*"<...>»[i].

Негативное отношение Белого к Замятину выразилось и в реакции на участие последнего в задуманной Ивановым-Разумником инсценировке «Истории одного города» по Салтыкову-Щедрину[ii]. В том, что этот замысел остался нереализованным, Белый видел целиком вину Замятина: «<...> Замятин – фигура, "*странно*" с Вами связанная, <...> в роковую минуту является Замятин, даже не ведая своего *рока*; и он-то и оказывается "*каплею*", переполняющей широкую чашу намерения: Мейерхольда – ставить Салтыкова <...>»[iii].

Еще более резкая оценка дается в письме Белого к Иванову-Разумнику от 9 февраля 1928 г.: «<...> с Замятиным у меня другой разговор: я с ним в "*Вольфиле*" не работал; он – не "*камрад*" <...>»[iv]. Несмотря на это, Замятин предложил Белому написать статью для сборника «Как мы пишем» (Л., 1930), а Белый это приглашение принял.

Последняя встреча Замятина с Белым состоялась, видимо, 25 июня 1931 г. в Москве, куда Белый приехал из Детского Села ходатайствовать об освобождении К.Н. Васильевой, арестованной по делу о «контрреволюционной организации антропософов». Об этой встрече Замятин сообщил в письме супруге, датированном этим числом[v].

Незадолго до этого, в середине июня 1931 г., Замятин при посредничестве Горького письменно обратился к И.В. Сталину[vi] с просьбой позволить ему «вместе с женой, временно, хотя бы на один год, выехать за границу»[vii]. Свою просьбу он аргументировал своим «безвыходным положением <...>, как писателя» и необходимостью «лечиться за границей», «чтобы избавиться от давней хронической болезни (колит)»[viii].

В начале июля Замятин получил разрешение на выезд из СССР и в середине ноября 1931 г. уехал за границу. С 1932 г. жил в Париже.

* * *

Литературная биография Замятина оказалась связана с именем Андрея Белого более тесно. Публикация повести «Уездное»[ix], которую Замятин брал за точку

---

[i] Письмо Иванову-Разумнику, начало марта 1925 г. (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 316).

[ii] В марте 1927 г. Иванов-Разумник, уже достигнув предварительной договоренности с Мейерхольдом, привлек к работе над пьесой в качестве соавтора Замятина. Подробнее об этом см.: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 414, 480; *Замятин Е.* История одного города / Публ. А.Ю. Галушкина // Странник: Литература. Искусство. Политика. 1991. Вып. 1. С. 29–30.

[iii] Письмо Иванову-Разумнику от 8 февраля 1928 г. (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 570).

[iv] Там же. С. 572.

[v] Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина. С. 414.

[vi] См. письмо Замятина к супруге от 16 июня 1931 г. (Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина. С. 410).

[vii] Цит. по: *Замятин Е.* Я боюсь. С. 172. Фрагменты из письма к Сталину приводятся в том варианте, в котором мы его знаем по публикации в «Лицах» (беловой автограф – BDIC, № 74).

[viii] Там же. С. 173.

[ix] Заветы. 1913. № 5. С. 46–39.

отсчета своей литературной деятельности, предшествовала появлению в печати «Петербурга» Белого. Это хронологическое совпадение стало предметом авторской рефлексии: Замятин посвятил роману Белого основную часть рецензии на 1-й и 2-й сборники «Сирин»[i].

В «Уездном» большинство критиков усматривало сильное влияние А. Ремизова[ii]. В противовес сравнению с Ремизовым Замятин в черновике письма к С.А. Венгерову (15 декабря 1916 г.) подчеркивал, что используемая им «инструментовка в прозе» – «это не Ремизовское, а скорее Андрей-Беловское», тотчас делая оговорку, что «у Белого нет чувства меры»[iii].

После публикации «Островитян» (1918) творческую манеру Замятина в критике все больше стали сближать с творческой манерой Белого. Например, в рецензии 1922 г. на книгу Замятина «Герберт Уэллс» В. Шкловский назвал Замятина «крупным русским писателем школы Ремизова и отчасти Андрея Белого»[iv]. Зависимость Замятина от Белого, по мнению ряда критиков, более всего проявлялась в технике построения художественного образа. В этом плане показательно даже название работы В. Шкловского: «Эпигоны Андрея Белого. Статья 1-я: Евгений Замятин»[v]. Сходного мнения придерживался Б. Эйхенбаум[vi].

Имя Андрея Белого оказалось востребованным Замятиным и при создании собственной концепции нового литературного направления – «неореализма». Излагая – во вступительной лекции «Современная русская проза» курса по технике художественной прозы – свое представление о движении литературного процесса, Замятин называет Андрея Белого одним из своих авторитетных предшественников, «ногами стоящим еще где-то на платформе символизма, но головою уже вросшим в неореализм»[vii]. Принципиальным для Замятина было подчеркнуть как естественность такого перехода[viii], так и его закономерность[ix].

Двойственность оценок Андрея Белого–литератора в критике и публицистике Замятина обусловлена сложностью его собственной позиции – стремлением подчеркнуть принадлежность обоих литераторов к одному литературному течению, но при этом избежать упреков в эпигонстве. Именно конструирование собственной литературной биографии оказывается определяющим в положительной или отрицательной оценке Замятиным Белого–литератора.

---

[i] Ежемесячный журнал. 1914. № 4. С. 157–158.

[ii] Только И.Н. Игнатов в фельетоне «Литературные отголоски...», опубликованном в «Русских ведомостях» (1913. 7 июня), сравнил «искусственную примитивность» повести Замятина с «Серебряным голубем» Белого.

[iii] Переписка Е.И. Замятина с С.А. Венгеровым / Публ. Т.А. Кукушкиной и Е.Ю. Литвин // Евгений Замятин и культура XX века. С. 192.

[iv] Петербург. 1922. № 2. С. 20. Цит. по: *Шкловский В.Б.* Гамбургский счет. М., 1990. С. 144.

[v] Впервые: *Шкловский В.* Пять человек знакомых. Тифлис, 1927. С. 43–67; цит. по: *Шкловский В.Б.* Гамбургский счет. С. 245.

[vi] См. набросок статьи Б. Эйхенбаума о творчестве Замятина (1929); впервые: *Эйхенбаум Б.* О литературе: Работы разных лет / Сост. О.Б. Эйхенбаум и Е.А. Тоддес. М., 1987. С. 479.

[vii] *Замятин Е.* <Лекции по технике художественной прозы> / Публ. А.Н. Стрижева // Литературная учеба. 1988. № 5. С. 132.

[viii] См. статью «О синтетизме» (ноябрь 1921), впервые опубликованную в сб. «Портреты» Ю. Анненкова (Пг., 1922). См.: *Замятин Е.* Я боюсь. С. 76.

[ix] См. статью «О литературе, революции, энтропии и о прочем» (октябрь 1923), опубликованную в сб. «Писатели об искусстве и о себе» (М., 1924). См.: *Замятин Е.* Я боюсь. С. 99.

* * *

Замятина известие о смерти Белого застало в Париже. А.М. Ремизов в письме от 18 января 1934 г. извещал Замятина о предстоящей панихиде по Белому в Сергиевском подворье:

> Дорогой Евгений Иванович
>
> в субботу 20-го панихида по Андрею Белому на 93 Rue de Crimée, XIX в 8 часов после всенощной.
>
> Эта церковь очень далеко. Вернемся час<ов> в 11-ь.
>
> Надо сочинить какой-нибудь другой вечер свидания.
>
> Кланяюсь Людмиле Николаевне[i].

Из письма также следует, что присутствие писателя на панихиде не предполагалось. Неучастие Замятина было обусловлено его положением проживающего за рубежом советского писателя и гражданина[ii].

Некролог был написан по-русски, однако при жизни автора на языке оригинала не публиковался. Более того, Замятин стремился опубликовать его именно в переводе, именно в зарубежной прессе, и не предпринимал попыток напечатать его в каком-либо из русскоязычных эмигрантских изданий.

Русский текст впервые появился в подготовленном вдовой и секретарем писателя Л.Н. Замятиной-Усовой сборнике «Лица» (Нью-Йорк: Изд-во Чехова, 1955. С. 73–80). Машинопись некролога (несколько отличающаяся от текста в «Лицах», отредактированного Л.Н. Замятиной-Усовой) сохранилась в парижском архиве BDIC (Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine)[iii] и была впервые воспроизведена А.Ю. Галушкиным в 1999 г. в сборнике критики и публицистики Замятина[iv].

Замятин прямо писал, что его некролог рассчитан прежде всего на иностранного читателя. «Мне хотелось бы отметить в заграничной печати его смерть», — формулировал писатель свои задачи в письме от 31 января 1934 г. к писательнице и переводчице И.Е. Куниной-Александер (1899–2002)[v]. Этим, как кажется, объясняются многие фактические неточности и сознательные упрощения в оценке личности и творчества Белого. Другой особенностью этого текста является прагматика: Замятин хотел не только «отметить в заграничной печати смерть» Белого, но и в некотором смысле отрекламировать себя перед иностранным читателем.

---

[i] The Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture. The Rare Books and Manuscript Library, Columbia University in the City of New York (BAR, Box 1. № 20). Выражаю М.М. Павловой благодарность за предоставленный материал. См.: Неизвестные письма Е.И. Замятина из американского архива / Публ. Дж. Куртиса // Евгений Замятин и культура XX века. С. 325.

[ii] Замятин за границей предполагал, подобно Эренбургу, «оставаясь советским писателем», работать «для европейской литературы», о чем, в частности, сообщал в письме к Сталину (*Замятин Е.* Я боюсь. С. 172). Ср. также с пристрастной оценкой Н. Берберовой: «Он ни с кем не знался, не считал себя эмигрантом и жил в надежде при первой возможности вернуться домой» (*Берберова Н.* Курсив мой. Автобиография. М., 1996. С. 341).

[iii] Описание рукописи см.: *Hobzová D.* Catalogue des archives parisiennes d'Evgenij Zamjatin // Cahiers du monde russe et soviétique. Paris. 1972. Vol. 13. № 2. P. 7.

[iv] *Замятин Е.* Я боюсь. С. 208–212.

[v] Неизвестные письма Е.И. Замятина из американского архива. С. 324.

Судя по тексту машинописи, Замятин ориентировался прежде всего на французского читателя. Не исключено, что первоначально он хотел опубликовать некролог в еженедельнике «Marianne», где уже печатались его статьи «Enfants Soviétiques» («Советские дети»; 21 декабря 1932 г.) и «Brise-Glaces» («О моих женах, о ледоколах и о России»; 4 января 1933 г.). Однако при попытке разместить некролог в «Marianne» или других французских изданиях Замятин, видимо, сразу столкнулся с непреодолимыми препятствиями. Об этом можно судить по его сетованиям в письме к И.Е. Куниной-Александер, отправленном из Парижа 31 января 1934 г.: «Посылаю вам небольшую статью об Андрее Белом. <...> В Париже его, например, совсем не знают; у Вас, в славянской стране, думаю, его знают больше»[i].

Расчет Замятина на «славянские страны» оказался верен.

В феврале 1934 г. немецкий перевод некролога был напечатан в издававшемся в Праге журнале «Slavische Rundschau»[ii]. В качестве посредника и переводчика выступил знакомый Замятину Максим Гектер, литературный редактор газеты «Prager Presse»[iii]. «Максиму Гектеру (знаете такого из “Prager Presse”?) я с год назад или больше послал статью о Белом по поводу его смерти — статья была напечатана в “Slavische Rundschau” <...>», — сообщал Замятин в письме С.П. Постникову 24 мая 1936 г.[iv]

Чуть позднее, в марте 1934 г., при содействии И.Е. Куниной-Александер в загребском журнале «Književnik» вышел сделанный ею перевод на хорватский[v].

Письмо Замятина к Куниной-Александер от 31 января 1934 г. позволяет сделать вывод о времени создания некролога, что важно, так как архивная машинопись

---

[i] Там же.

[ii] *Zam'atin Evgenij.* Andrej Belyj (1880–1934) // Slavische Rundschau. 1934. Bd. VI. № 2. S. 108–111.

[iii] Замятин и ранее сотрудничал с Гектером: например, в литературном приложении к газете «Prager Presse» был опубликован немецкий перевод рассказа «Десятиминутная драма» (*Zamjatin Jevgenij.* Ein Zehnminutendrama / Aus dem Russischen von Maxim Hekter // Dichtung und Welt: Beilage zur «Prager Presse». 1928. № 29 (15. Juli). S. II); в журнале «Slavische Rundschau», для которого Гектер переводил, ранее была опубликована первая часть специально написанной для этого издания статьи «Москва — Петербург» (1933. Bd. V. № 5. S. 298–310; нем. заглавие: «Moskau — Leningrad»).

[iv] Письма Е.И. и Л.Н. Замятиных — С.П. Постникову / Публ. Р. Янгирова // Russian Studies: Ежеквартальник рус. филологии и культуры. 1996. Т. 2. № 2. С. 510.

[v] *Zamjatin Jevgenij.* Andrej Bjelij / Prev. I. K<unina> A<leksander> // Književnik. 1934. God. VII. Broj 3. Str. 124–126.

В библиографии Замятина, составленной Алексом М. Шейном, дана информация (с пометкой, что тексты не были просмотрены de visu) о публикации в 1936 г. французского и чешского переводов (*Shane Alex M.* The Life and Works of Evgenij Zamjatin. Berkeley; Los Angeles, 1968. P. 248). Эта же информация уже безо всяких пометок повторена в описи парижского архива Замятина (*Hobzová D.* Catalogue des archives parisiennes d'Evgenij Zamjatin. P. 237).

Ошибочные сведения о французской публикации восходят к библиографии в сб. «Лица» (см.: *Замятин Е.* Лица. С. 283). В еженедельнике «Les Nouvelles littéraires» была опубликована рецензия на роман Андре Билли «Quel homme es-tu?», снабженная фотографией автора с подписью «André Billy» (*Jaloux Edmond.* L'esprit des livres // Les Nouvelles littéraires. 1936. № 702 (28 mars). P. 5). Вероятно, этот текст и был ошибочно принят за французский перевод некролога Андрею Белому (André Bely).

В литературном приложении к чешской газете «Narodní osvobození» был опубликован перевод не некролога Белому, а «Воспоминаний о Леониде Андрееве» (*Zamjatin Jevgenij.* Vzpomínka na L. Andrejeva / Přel. Jar. Teichmann // Hodina nedělního čtení: Příloha «Národního osvobození». 1936. Č. 13 (29. břez). S. 1). В данном случае ошибка восходит к письму С.П. Постникова — см. в ответном письме Замятина от 24 мая 1936 г.: «<...> в своем письме Вы пишете о каких-то моих воспоминаниях о Белом, напечатанных в “Народн<ом> Освобождении”. Странно, но этих своих воспоминаний я не помню» (Письма Е.И. и Л.Н. Замятиных С.П. Постникову. С. 510).

не датирована: к концу января некролог был завершен. Машинопись некролога Замятина воспроизводится по тексту ее первой публикации А.Ю. Галушкиным в сб. «Я боюсь». Наиболее важные разночтения с публикацией в сб. «Лица», а также с переводными публикациями в журналах «Slavische Rundschau» и «Književnik» отмечены в примечаниях.

---

[1] Ср. с характеристиками «всего извивающегося, всегда танцующего» Бори Бугаева «с жестами, с лицом, вечно меняющимся» в очерке З. Гиппиус «Мой лунный друг (О Блоке)» (1922). См.: *Гиппиус З.Н.* Стихотворения. Живые лица / Сост. Н.А. Богомолов. М., 1991. С. 222. Отметим, что французский читатель был знаком с этим текстом: его французский перевод («Mon Ami Lunaire») был опубликован 15 января 1923 г. в «Mercure de France».

[2] В марте–апреле 1920 г. Белый прочел в Доме Искусств курс лекций «Проблемы ритма» (Андрей Белый. Хронологическая канва жизни и творчества // Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. С. 317). В зимнем семестре 1920–1921 гг. в литературной студии Дома Искусств (преемница действовавшей с начала февраля по конец июня 1919 г. студии при издательстве «Всемирная литература»; открыта 10 декабря 1919 г.) анонсировался курс Белого по научной поэтике (Литературная жизнь России 1920-х годов: События. Отзывы современников. Библиография. Т. 1. Ч. 1.: Москва и Петроград. 1917–1920 г. / Отв. ред. А.Ю. Галушкин. М., 2005. С. 479). В этой же студии с 1919 г. Замятин вел семинарий «Как писать рассказы» (с 1921 г. – курс «Техника художественной прозы»), о чем упоминал в интервью Фр. Лефевру, опубликованном 23 апреля 1932 г. в еженедельнике «Les Nouvelles Littéraires» (см.: *Замятин Е.* Я боюсь. М., 1999.. С. 261–262).

[3] Имеется в виду работа Белого на строительстве Гетеанума в Дорнахе (Швейцария) в 1914–1916 гг. В «Кризисе культуры» (1-е изд.: На перевале. III. Кризис культуры. Пб.: Алконост, 1920; 2-е изд.: На перевале. Берлин; Пб.; М.: Изд-во З. И. Гржебина, 1923) описание строительства Гетеанума («вооруженный стамеской, срезая душистые стружки тяжелого американского дуба», Белый вместе с Асей «заработали в Дорнахе над деревянными формами пляшущих архитравов и гигантских порталов Иоаннова здания» – цит. по: *Андрей Белый.* Кризис культуры // Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 286) уподобляется строительству «тельного храма» – совместной «работе над мыслью» с А.А. Тургеневой в Льяне («Ася, бывая во храме моем, надо мною работала тяжеловеснейшим молотком и стамескою», «вырезая работою мысли из дерева чувственных импульсов великолепные капители канонов сознательной жизни». – Там же). Замятин в своем описании контаминирует оба эти фрагмента.

[4] Дорнах, где возводился Гетеанум, находится в непосредственной близости от Базеля, фактически являясь его пригородом. Указание на то, что Гетеанум находился в Базеле, также отсылает к «Кризису культуры», в котором образ «Иоаннова здания» (Гетеанума) связан с образом Базеля: «Старый Базель чреват громким прошлым, чреват громким будущим, оседающим из окрестностей на него бирюзовыми куполами Иоаннова здания, к созиданию которого прикоснулся и я (неумело и робко)» (*Андрей Белый.* Кризис культуры. С. 260).

[5] Аналогическая маркированная деталь внешнего облика («кэпка») была использована Замятиным в «Воспоминаниях о Блоке» (1924; авторская датировка – 1920) – ср.: «Нынешнее его, рыцарское лицо – и смешная, плоская американская кэпка. И от кэпки – мысль:

два Блока – один настоящий, а другой – напяленный на этого настоящего, как плоская американская кэпка» (цит. по: *Замятин Е.* Я боюсь. С. 114).

[6] В это время Белый мучительно переживал свой разрыв с А. Тургеневой и разочарование в антропософии. О фокстроте как способе борьбы с душевным кризисом см. в некрологе М. Осоргина в наст. изд. Ср. также: «И непроизвольный хлыст моей болезни – вино и фокстрот, – думается мне, были реакцией не на личные “трагедии”, а на “запах”, имеющий претензию поставить... на колени... меня!» (*Андрей Белый.* Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития // Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 481).

[7] Ранее эту формулировку применительно к В. Хлебникову использовал в своей статье «Сказочные люди» (1926) В.Б. Шкловский: «Факт переживается эстетически. <...> То, что было черновым материалом для художника, стало самим художественным произведением. <...> Особенно стоило написать такую сегодняшнюю повесть о Велимире Хлебникове. <...> Он писатель для писателей. Он Ломоносов сегодняшней русской литературы. <...> Читатель его не может знать. Читатель, может быть, его никогда не услышит. <...> Судьба Хлебникова доходчивей, понятнее его стихов» (цит. по: *Шкловский В.* Гамбургский счет. Статьи – Воспоминания – Эссе (1914–1933) / Сост. А.Ю. Галушкин и А.П. Чудаков. М., 1990. С. 337). Позднее это выражение применялось также к Набокову, Бунину и др.

[8] На сходную собственную роль в литературном процессе 1920-х Замятин указывал в интервью Фр. Лефевру: «С точки зрения техники, большинство из “Серапионов” были моими учениками. <...> В этой студии (литературная студия при Доме Искусств. – *Ф.В.*) родились “Серапионовы братья”, и я был их литературным акушером. <...> после закрытия Дома Искусств, кроме “Серапионовых братьев”, через мою ленинградскую квартиру прошли и многие другие молодые писатели» (*Замятин Е.* Я боюсь. С. 261–262). См. также иронический отзыв о Замятине в дневнике Чуковского (запись от 17 января 1923 г.): «Его называют мэтром, какой же это мэтр, это сантиметр» (*Чуковский К.И.* Дневник: 1901–1929 / Подгот. текста Е.Ц. Чуковской. М., 1997. С. 231).

[9] Ср. в заметке Белого «О себе как писателе» (1930): «<...> мои языковые стремления частью отрезали меня от заграничной аудитории; роман “Серебряный голубь”, имевший успех за границей, еще кое-как переводим; перевод же романа “Петербург” на немецкий язык вышел из рук вон плохим, несмотря на культурность переводчицы; <...> о романе “Москва” в немецкой прессе писали: этот роман непереводим; на предложения о переводе на английский язык симфонической повести “Котик Летаев” я ответил молчанием; предо мной встала картина искажения ритмов и деформации слов; <...> Я, увы, непереводим <...>» (цит. по: *Андрей Белый.* О себе как писателе / Публ. В. Сажина // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 22).

[10] В рецензии на 1-й и 2-й сборники «Сирин» Замятин одним из основных недостатков романа «Петербург» называл ритмизованность и обусловленное ритмизованностью своеобразие синтаксиса: «Легко ли это – кренделем вывернуться, голову – промеж ног, и этак вот – триста страниц передышки себе не давать? Очень даже трудное ремесло, подумать – сердце кровью обливается»; «Ну, так искусством своим удивит гуттаперчевый мальчик, вывертами, кренделями неестественными, голову промеж ног засунет – а уж удивит» (цит. по: *Замятин Е.* Я боюсь. С. 19).

Неприятие ритмизованной прозы Белого Замятин неоднократно подчеркивал и в дальнейших своих выступлениях. Ср. также иронические характеристики ритмизованной

прозы Белого в черновике письма Замятина к Венгерову от 15 декабря 1916 г.: «<...> у Белого нет чувства меры, и лезет его инструментовка в уши, как в оркестре гуканье выпившего контрабасиста» (Переписка Е.И. Замятина с С.А. Венгеровым. С. 192).

Или – в лекциях по технике художественной прозы (1919–1920): «Особенно часто метрированная проза попадается у писателей малокультурных, начинающих <...>. Тем удивительней, что этот же недостаток мы видим у Белого. У него почти сплошь, беспросветно анапестированы целые романы <...>. Точно едешь в поезде: три-та-то, три-та-то... дремлется. И тут уж нарушения метра – редкие – действуют так, как если б сосед уколол вас булавкой» (*Замятин Е.* Техника художественной прозы / Публ. А.Н. Стрижева // Литературная учеба. 1988. № 6. С. 94–95).

В обзорных литературно-критических статьях 1920-х Замятин при оценке текстов других авторов их сходство с ритмом Андрея Белого расценивает как недостаток, а непохожесть – как несомненное достоинство, как, напр., в статье «О сегодняшнем и современном» (1924): «<...> и никому на свете не надо ставить в прозе анапестов по Белому <...>»; «Неудачна была попытка Белого подойти к этому вопросу с метрическим стандартом <...>» (цит. по: *Замятин Е.* Я боюсь. С. 107, 110) или в статье «Закулисы»: «Ритмика стиха давно изучена, для нее есть и свод законов, и уложение о наказаниях, а за ритмические преступления в прозе до сих пор не судят никого. В анализе прозаического ритма даже Андрей Белый – тончайший исследователь музыки слова – сделал ошибку: к прозе он приложил стиховую стопу (отсюда его болезнь – хронический анапестит)» (Как мы пишем. С. 164).

[11] Ср. с негативной оценкой «неологизмов» Белого в рецензии Замятина 1914 г.: «Есть, конечно, в романе и “древеса”, и “кудеса”, и “пламена”, и многократное “обстали”, “сентябрёвская ночь”, “октябрёвский денек” <...>. “Сентябрёвский” и “октябрёвский” – заставь-ка человека такое по доброй воле сказать, не скажет, ни за что, – совесть зазрит, да и противно очень. А вот Андрей Белый...» (*Замятин Е.* Я боюсь. С. 20).

[12] Специфику языка Джойса отмечал И. Кашкин: «Логическая речь у Д<жойса> распадается в речь экспрессивную, т.е. в ряд лишь интонационно и тематически связанных алогических конструкций из междометий, намеков, неологизмов, построенных на игре смыслом и звучанием, и т.п. Непонятные цитаты и ссылки воспринимаются у Д<жойса> тоже как заумь. Если “Улисс” местами труднее самых запутанных страниц Белого, то “космическая фантазия” – “A Work in Progress” <...> – сущая головоломка на сплаве из 12 языков с заумью самого Д<жойса>» (*Кашкин И.* Джойс Джемс // Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1930. Т. 3. Стлб. 250).

[13] Сам Белый в первом томе мемуарной трилогии относит увлечение «проклятыми поэтами» к концу 1890-х – началу 1900-х (период общения с семьей Соловьевых), объясняя его влиянием О.М. Соловьевой, которая «сказала свое “да” всему “декадентскому” (то есть тому, что именовалось декадентским)»; «<...> из ее именно рук я стал получать оформляющую мое сознание художественную пищу – Малларме (любимый автор Соловьевой), Бодлэра, Верлэна, Метерлинка, Уайльда, Ницше, Рэскина, Пеладана, Гюисманса» (*НРДС 1989.* С. 352, 353). Однако, как указывает Белый, уже в период сближения с Блоком и Брюсовым французский символизм стал для него «не слишком значительным» (*НРДС 1989.* С. 39). В «Автобиографической справке» (до 1914 г.), написанной для словаря С.А. Венгерова, среди литературных авторитетов, повлиявших на «символизм как миросозерцание», Белый называет «три имени», которые для него «выделяются в тот период

<...> совершенно особенно» – Ницше, Достоевского и Ибсена (цит. по: *Андрей Белый.* Автобиографическая справка (Из архива «Критико-биографического словаря») // Русская литература XX века (1890–1910): В 2 кн. / Под ред. проф. С.А. Венгерова. М., 2000. Кн. 2. С. 152).

[14] Из текста немецкой и хорватской публикаций это предложение было исключено.

[15] В «Лицах»: «родственных стихий» (*Замятин Е.* Андрей Белый. С. 77).

[16] Примечательно, что в своих «Автобиографиях» 1922–1924 гг. Замятин постоянно подчеркивал, что все его детство также прошло «под роялью, а на рояли играет мать, Шопена» (вариант 1922 г. – *Замятин Е.* Я боюсь. С. 2) и что его мать была «хорошая пианистка» (вариант 1923 г. – Там же. С. 3), «хорошая музыкантша» (вариант 1924 г. – Там же. С. 5). Андрей Белый в «Автобиографической справке» подчеркивал, что «непрекращавшуюся любовь к искусству» в нем «пробудили» «вечера далекого детства, когда мать <...> играла сонаты Бетховена и прелюдии Шопена» (*Андрей Белый.* Автобиографическая справка. С. 151). Упоминание Шопена в «Автобиографии» Замятина 1922 г. также не кажется случайным, поскольку Белый называл прелюдии Шопена в числе «Первых реальных прикосновений к искусству» (Там же).

[17] На сходную особенность собственной литературной автобиографии Замятин неоднократно указывал в интервью 1932 г. В интервью Фр. Лефевру Замятин сравнил себя с амфибией («У амфибий, как известно, двойное дыхание: в воде и на воздухе. В 1909 году я одновременно делал свой дипломный проект корабля и писал свой первый рассказ. С тех пор я живу одновременно в этих двух стихиях» – *Замятин Е.* Я боюсь. С. 257), а в интервью А. Верту для английской газеты «The Manchester Guardian» (9 августа) – с двоеженцем («<...> вы, возможно, знаете, что я, как и Чехов, "двоеженец". У Чехова были две "жены" – медицина и литература. Мои "жены" – это кораблестроение и литература» – цит. по: *Замятин Е.* Я боюсь. С. 263). Этот же образ «двоеженца» Замятин использовал затем более развернуто в своей статье «О моих женах, о ледоколах и о России» (*Замятин Е.* Я боюсь. С. 178).

[18] В 1899–1903 г. Белый изучал в Московском университете естествознание и получил удостоверение об окончании естественного отделения физико-математического факультета. Возможно, называя Белого «математиком», Замятин стремился тем самым сблизить биографию Белого с собственной (Замятин окончил кораблестроительный факультет Петербургского политехнического института по специальности инженер-кораблестроитель).

[19] Н.В. Бугаев.

[20] В тексте немецкой первопубликации (*Zam'atin Evgenij.* Andrej Belyj (1880–1934). S. 109) и в «Лицах» (*Замятин Е.* Андрей Белый. С. 77) эта ошибка не исправлена; в хорватской публикации указано, что настоящее имя Андрея Белого – «Николай Бугаев» (*Zamjatin Jevgenij.* Andrej Bjelij. Str. 125).

[21] Неточность. Белый дебютировал в литературе «Симфонией (2-й, драматической)» (1902). Знакомство же с Брюсовым и Мережковским состоялось в декабре 1901 г. у супругов Соловьевых еще до выхода первого сборника стихов «Золото в лазури» (конец марта 1904 г.). Более того, именно Брюсов был инициатором издания первого поэтического сборника Белого. Знакомство с супругами Блок (которому предшествовала завязавшаяся в январе 1903 г. переписка) также состоялось до выхода сборника – в январе 1904 г.

[22] В хорватской публикации фрагмент «беспокойных русских натур» отсутствует.

[23] В статье «Ибсен и Достоевский» (1905), проникнутой пафосом «преодоления безвкусицы Достоевского», Белый называл героев Достоевского «трактирными болтунами <...> с незастегнутой, замаранной душой» (цит. по: *Андрей Белый.* Символизм как миропонимание. С. 196, 199). В мемуарах Белый также дистанцирует себя от героев Достоевского и «достоевщины»: «Я уже тогда ненавидел безобразие разговоров в стиле Достоевского <...>» (*НРДС 1989.* С. 440). Столь педалируемое Замятиным сходство Белого с героями Достоевского могло быть обусловлено известностью Достоевского для западного (и конкретнее – французского) читателя. В 1931 г. французское издательство «Gallimard» начало выпуск полного собрания сочинений Достоевского. К моменту написания некролога уже были изданы «Преступление и наказание», «Игрок», «Записки из Мертвого дома», «Бесы», «Идиот» и «Вечный муж».

[24] Возможно, данная формулировка восходит к статье Иванова-Разумника «Андрей Белый» (1916), ср.: «Андрей Белый – “вечно ищущий”, в этом была его человеческая и творческая сила (*Иванов-Разумник.* Андрей Белый // Русская литература XX века (1890–1910): В 2 кн. М., 2000. Кн. 2. С. 177); или: «Роман “Серебряный Голубь” <...> по содержанию – развитие прежних мучительных вопросов и исканий Андрея Белого» (*Там же.* С. 191).

[25] В хорватской публикации: «petrogradskog» – «петроградского» (*Zamjatin Jevgenij.* Andrej Bjelij. Str. 125).

[26] В хорватской публикации предложение заканчивается здесь.

[27] Ср. с фрагментом статьи «Как мы пишем»: «<...> посещение ночных чайных, харчевен Петербурга, разговоры с почтальонами, солдатами, кучерами, мелкими чиновниками и т.д.; <...> как “писатель” я отстою за тридевять земель от тем моих наблюдений, ибо я пишу 4-ю симфонию, наиболее “декадентское” из своих произведений» (Как мы пишем. С. 11).

[28] В немецком переводе: «Geißlersekte» – «секты флагеллантов» (*Zam'atin Evgenij.* Andrej Belyj (1880–1934). S. 110); в хорватском: «religiozno-sektaškog života» – «религиозно-сектантской жизни» (*Zamjatin Jevgenij.* Andrej Bjelij. Str. 125).

[29] В состоянии зарождения (*лат.*).

[30] Имеется в виду следующий фрагмент из статьи «Как мы пишем»: «<...> я сказал другу: Напишу повесть под заглавием “Золотой леопард”. А написал “Серебряного голубя”. Что разумел я под темой “Леопард”? Нечто хищное, жестокое и злое; разгляд этого злого родил образ хлыста Кудеярова; – он – “Леопард”; увидена фигура симптоматическая: с 1908 года мой “столяр”, перекочевав в столицу, оказался вершителем судеб царской России. Был увиден Распутин “ин стату насценди”: вот тебе и “верещание”; “верещание” имело смысл» (Как мы пишем. С. 18–19). Инициатором одноименного сборника был Замятин – ср. его письмо к Белому от 12 июля 1929 г.: «Сборник, о котором Вам пишет издательство, – моя затея. Вы больше, чем кто-нибудь, поймете, что эта книга может дать очень интересный материал. И, конечно, Вам в этой книге в первую голову – честь и место. Непременно и поскорее присылайте материалы» (цит. по: *Замятин Е.* Сочинения. М., 1988. С. 572–573).

В «Лицах» дано не латинское выражение, а его перевод: «Распутин в начальной стадии» (*Замятин Е.* Андрей Белый. С. 78).

[31] В тексте хорватской публикации предложение в скобках отсутствует.

[32] Прямо противоположная оценка роману «Петербург» дана в рецензии Замятина 1914 г. Отмечая отдельные удачи автора (наблюдательность, масштабность замысла, раз-

работку отдельных персонажей), Замятин тем не менее дал роману в целом резко отрицательную оценку – «грехи нераскаянные Андрея Белого так велики по качеству и количеству (350 стр. из 500!), что тянут ко дну целиком все сборники…» (*Замятин Е.* Я боюсь. С. 21).

В лекциях по технике художественной прозы Замятин, причисляя к «неореалистическим» произведениям и роман «Петербург», тем не менее упрекает Белого в пристрастии к ритмизации («метрированности») прозаических текстов: «<…> точный метр в прозе – есть преступление» (*Замятин Е.* Техника художественной прозы. С. 94–95).

И в 1920-х у Замятина сохранялось двойственное отношение к «Петербургу» и «Котику Летаеву». В своих «программных» статьях («О синтетизме» и «О литературе, революции, энтропии и о прочем») он предпочитал приводить в качестве примеров «неореалистических» произведений Белого произведения, публиковавшиеся в «Записках мечтателей» (1919–1921) под общим заглавием «Эпопея» (в № 1 – «Я: Эпопея. Записки чудака: Возвращение на родину», в № 2/3 – «Я: Эпопея», в № 4 – «Преступление Николая Летаева (Эпопея. Том первый): Крещеный китаец»).

[33] Ср. в статье-рецензии «Грядущая Россия» (Дом Искусств. 1921. № 2) оценку образа Петербурга в романе А.Н. Толстого «Хождение по мукам»: Толстой – «москвич, самарец, нижегородец неизлечимый, в его Петербурге не найдешь этой жуткой, призрачной, прозрачной души Петербурга, какая есть в Петербурге Блока, Белого, Добужинского» (цит. по: *Замятин Е.* Я боюсь. С. 60). Иванов-Разумник в статье 1916 г. отмечал «влияние Достоевского» в романе «Петербург», подчеркивая, что «в целом у Андрея Белого все в романе – свое, переработанное, кровное, но “совершенно достоевская” – сцена в трактире, где Николая Аполлоновича пытает некий чиновник охранки <…>; еще больше от Достоевского – в кошмарной беседе Дудкина с Шишнарфнэ <…>» (*Иванов-Разумник.* Андрей Белый. С. 197).

[34] Неточность. Первое заграничное путешествие Андрея Белого и А.А. Тургеневой (Италия, Тунис, Египет, Иерусалим) относится к началу декабря 1910 г. – началу мая 1911 г.; второе, связанное с увлечением антропософией, – к концу марта 1912 г. – марту 1913 г.

[35] «Котик Летаев» создавался в несколько этапов: предисловие и 1–5-я главы – в октябре 1915 г. – июне 1916 г., в период жизни «при Штейнере» в Дорнахе; 6-я глава и эпилог – в октябре 1916 г. в Москве. Впервые «Котик Летаев» был опубликован в 1-м и 2-м сборниках «Скифы» (первый вышел в августе 1917 г., второй – в январе 1918 г.).

[36] Белый так определял «своеобразие натуры “Котика Летаева”»: «<…> неким веянием, как бы из подсознанья, сквозь образы, мне заслоняющие первые образы воспоминаний, <…> силюсь довспомнить начальные прорези самосознания <…>» (*НРДС 1989.* С. 49). Ср. также: «<…> Ася <…> вырезала в моем существе те страннейшие формы воспоминаний о дорожденной стране, из которых сложился впоследствии “Котик Летаев”» (*Андрей Белый.* Кризис культуры. С. 286).

[37] Неточность. После революции 1917 г. антропософская деятельность в России была весьма активна, Белый читал многочисленные лекции и вел занятия для антропософов. Гонения на антропософию начались позднее – в 1923 г. (тогда же Антропософскому обществу было отказано в перерегистрации и оно было закрыто). Основной целью отъезда Белого было желание воссоединиться с А.А.Тургеневой.

[38] Отсылка к евангельскому эпизоду искушения Христа в пустыне дьяволом (Мф. 4: 1–11).

[39] Имеется в виду разрыв Белого с А.А. Тургеневой в 1922 г.; она до конца жизни продолжала жить в Дорнахе. Белый туда попасть не мог, так как советский паспорт не давал права въезда в Швейцарию.

[40] В немецкой публикации фрагмент «чтобы быть около д-ра Штейнера» отсутствует.

[41] В немецкой публикации опечатка: «ins Kino» – «в кино» (*Zam'atin Evgenij.* Andrej Belyj (1880–1934). S. 110).

[42] В «Лицах»: «хватило силы встать» (*Замятин Е.* Андрей Белый. С. 79).

[43] Вероятно, замятинская характеристика «купол головы» восходит к развернутому образу «тельного храма» у Белого в «Кризисе культуры» (см. прим. 3).

[44] После своего возвращения из Германии в конце октября 1923 г. Белый дважды приезжал в Ленинград с чтением лекций – 11–19 февраля 1924 г. и в мае 1926 г. В первый свой приезд 11 февраля он выступал на вечере, посвященном 40-летию литературной деятельности Ф. Сологуба, и прочел две публичные лекции в Певческой капелле: 14 февраля – «Одна из обителей царства теней» (о заграничных впечатлениях) и 18 февраля – «Поэзия Блока». В мае 1926 г. Белый несколько раз выступал на частных квартирах с докладами о «душе самосознающей» и чтением отрывков из своей работы «История становления самосознающей души» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 355), над которой он работал в Кучине в январе–апреле 1926 г. (Андрей Белый. Хронологическая канва жизни и творчества // Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. С. 321–322).

[45] В «Лицах» – «одной особенно близкой ему темы» (*Замятин Е.* Андрей Белый. С. 79).

[46] Здесь Замятин «переадресует» Белому актуальные для себя самого на тот момент идеи – ср. в «Предисловии» к пьесе «Атилла»: «Автор полагает, что на протяжении истории человечества есть параллельные, одинаково звучащие эпохи "перемещения народов" <...>» (цит. по: *Гольдт Р.* Мнимая и истинная критика западной цивилизации в творчестве Е.И. Замятина // Russian Studies. 1996. Т. 2. № 2. С. 329).

В «Кризисе культуры» (3-я часть цикла «На перевале») Белый использовал теорию «спирального движения» применительно к культуре («спирально растущие культуры» – *Андрей Белый.* Кризис культуры. С. 286). О спиральном движении истории искусства («уравнении искусства» как «уравнении бесконечной спирали») сам Замятин писал в статье «О синтетизме» (1921; см.: *Замятин Е.* Я боюсь. С. 75).

Тема «кризиса культуры» в историческом аспекте в тот период была актуальна именно для Замятина – в интервью Фр. Лефевру писатель следующим образом объяснял обращение к эпохе Аттилы в романе «Бич Божий», над которым работал в это время: «Выбирая такую тему, которая на первый взгляд может показаться далекой от нас, я думал как раз о том, что мы живем сейчас в эпоху и в обстоятельствах очень похожих. Сегодня, как и тогда, мы, может быть, окажемся свидетелями краха очень высокой, но слишком старой культуры» (*Замятин Е.* Я боюсь. С. 261).

[47] В «Лицах» – «перед одним слушателем» (*Замятин Е.* Андрей Белый. С. 79).

[48] В хорватской публикации здесь предложение обрывается (очевидно, брак типографского набора).

[49] Свидетельство Замятина не имеет документальных подтверждений.

[50] Замятин имеет в виду «Историю становления самосознающей души». Трудно судить, до какой степени Замятин был знаком с содержанием этого текста, но он мог знать о работе над ним от Иванова-Разумника (см. переписку последнего с Белым). При написании статьи Замятин, скорее всего, опирался на опубликованные работы (ср. использованную формулировку о «кризисе культуры», вынесенную в заглавие брошюры Белого).

[51] Ср. с авторскими характеристиками «московской трилогии» в «На рубеже двух столетий»: «И уже в 1925–1926 годах шептали, что я-де в романе “Москва” осмеял ученую интеллигенцию в угоду кому-то и чему-то; не говоря о том, что в романе “Москва” профессор Коробкин задуман, как апофеоз подлинной интеллигенции от науки <...>; в этих шепотах о подоплеках осмеяния мною “профессорской квартиры” – явная клевета, ибо не в 1925 году она увидена, а в 1890 году; и увидена, и изжита до дна» (*НРДС 1989*. С. 445–446).

[52] В «Лицах» – «на этот раз» (*Замятин Е.* Андрей Белый. С. 80).

[53] В июньском интервью 1934 г. А.-Фредерику Поттешеру (данном уже после написания статьи) Замятин утверждал, что именно он «назвал Белого русским Джойсом»: «Мы вышли, конечно, из символизма, который процветал до 1914-го года. Все зрелые люди были тогда символистами. Был тогда Белый, настоящий поэт, выдающийся критик и теоретик. Влияние его было очень значительным, в частности, на Пильняка, очень хорошего писателя. Я назвал Белого русским Джойсом. На меня он тоже оказал сильное влияние» (*Замятин Е.* Я боюсь. С. 269). Вероятно, опираясь на это утверждение, Галушкин в комментарии к своей публикации русского текста некролога утверждал, что «сопоставление А. Белого и Д. Джойса, ставшее впоследствии традиционным, впервые было сделано Е. Замятиным» (Там же. С. 326). На самом деле Замятин был первым в советской критике, кто в 1923 г. опубликовал в № 2 журнала «Современный Запад» небольшую заметку-рецензию на «Улисса» (цит. по: Литературный мир об «Улиссе» / Сост. Е. Гениева // Иностранная литература. 1989. № 11. С. 241), однако параллелей между «Улиссом» и произведениями Белого (или Джойсом и Белым) в ней не проводилось. В иностранной прессе первым Белого с Джойсом сравнил в статье «A Note on Andrey Bely» (The New Review. 1932. № 4. P. 356–360; «The New Review» – парижский англоязычный журнал) Джордж Риви (1907–1976), с которым Замятин познакомился летом 1932 г. (см.: *Устинов А.* Биография одного рассказа // Новое литературное обозрение. 2001. № 52. С. 192–193).

Подготовка текста, комментарии и послесловие Федора Винокурова (Эстония)

ВЕРА ЛУРЬЕ

[ОБ АНДРЕЕ БЕЛОМ]
Наброски воспоминаний

«Умер Андрей Белый!» – пришли и сказали...

– «Где?»

– «В Москве!»

Странно, чуждо звучат слова и лишь постепенно начинают принимать очертания, получают смысл. Медленно проникает грусть в сознание, в усталое от [каждодневной борьбы] эмигрантской жизни, от мелкого берлинского дождика, от серого точно асфальт неба, сознание. И воспоминания [загораются яркими огнями] поднимаются, ширятся, вытесняя будничную действительность.

12 лет тому назад. Кафэ Ландграф, собрание так называемого Берлинского «Дома Искусств<а>»[1]. Я только что из России, совсем новичок, читаю свои стихи[2] и вдруг вижу: входит Андрей Белый. У меня падает сердце и становится невыносимо жутко. «Андрей Белый», автор романа «Петербург», символист, как же я буду читать свои стихи перед ним дальше, но оборвать нельзя, волнуюсь и продолжаю. [А когда я оканчиваю, то ко мне пробирается] И, или мне это только кажется, Андрей Белый улыбается (а улыбка у него была неповторимая, чуть растерянная, чуть детская, и глаза глубоко сидящие начинали тогда светиться внутренним светом) и подходит ко мне, просто совсем руку жмет и говорит: «Принесите стихи, может быть, в журнале поместим...»[3] И помню я до сих пор, было у меня чувство благоговения, большой радости и... гордости: говорил со мной «сам Андрей Белый!»[4]

* * *

Дом напротив «Ka de We»[5] третий этаж, поднимаюсь по лестнице, звоню [у двери] к фрау Дальберт[6]. Герр Бугаев... стучу в дверь слева. Недовольное «Войдите!». Робко отворяю дверь, в углу у письменного стола, в черной ермолке на голове, Борис Николаевич Бугаев, углубленный в рукописи. [При скрипе отворяемой двери,] при виде меня вскакивает, полусконфуженно, полурассерженно сбрасывает ермолку: «Ах, это вы!» Я еще больше смущаюсь, спрашиваю, не мешаю ли... [не уйти ли мне лучше]. Борис Николаевич берет мои стихи, просит зайти через неделю за ответом. Во все время разговора он меня вовсе не замечает, [мысли его далеко-далеко где-то] он где-то далеко. Мой быстрый уход ему явно приятен. А следующий раз я попадаю к нему удачно, он усаживает меня в кресло, говорит со мной ласково [спрашивает]; он устал от писателей и издателей, он радуется тому, что я молода и принесла с собой свежесть морозного снежного вечера и тому, что не надо говорить со мной о серьезных проблемах...

Мы стали друзьями. Это было чем-то вроде сна, в который было трудно поверить. Я приходила к фрау Дальбер и Борис Николаевич [говорил со мной] рассказывал о себе, о своей [жизни] работе, читал мне свои произведения, выслушивал мои стихи[7]. И был всегда прост, бесконечно скромен и добр в своих суждениях, у него никогда не было желания убить в человеке [молодежи] стремление писать, он [всегда] поощрял, советовал работать, радовался успехам. Но дружба с ним не всегда была приятной [легкой], днями все шло хорошо, казалось, Борис Николаевич совсем прост, и я его чудесно знаю, он слегка беспомощен, рассеян; [он радовался моим приходам, я даже смела его немного опекать,] спрашивать, обедал ли он, не поздно ли лег спать и т.д. и т.д. И вдруг, когда я меньше всего могла этого ожидать, меня встречал совершенно чужой человек, холодный и раздраженный, возмущенный тем, что кто-то осмеливается его беспокоить, отнимать его время <*нрзб.*> ненужными разговорами. [<В таких? — *нрзб.*> случаях мне объявлялось:] <В такие? — *нрзб.*> дни он объявлял: «Я теперь очень занят и прошу ко мне эти дни не приходить».

Помню, как я в начале нашего знакомства [плакала и] все искала в себе вину. Но вины не было... Только на пути моем скромном встретился [мне] человек гениальный, особенный, сам в своем «я» еще крупнее еще гениальнее своих произведений, такой большой, что нельзя было к нему подходить с меркой обыкновенно человеческой. Не было предела взлетам и безднам его души, не было у него покоя. Видится он мне там [сейчас] идущим по полю, [ведущему от Цоссена[8] к местному вокзалу, к Цоссеновскому деревенскому вокзальчику]. Ветер размахивает фалдами его пальто, <завитки? — *нрзб.*> седых кудрей развиваются, глаза глядят в даль [бесконечную,] на лице страдание, обреченность и одиночество. /Не найдя и там внутренней гармонии и примирения, спасаясь от своей душевной трагедии, он оттуда бежал*

Поселился на Stubenrauchstrasse[9] (на улицу только она вовсе не походила), там, в примитивном домике, писал стихи «Разлука»[10]. Искал успокоения, примирения, выхода в звуках. Он бежал к морю, в Свинемюнде. [Встретились мы снова в Свинемюнде[11], там он был опять иным.] Лежал часами на солнце, искал отдыха в горячем песке [увлекался морскими купаниями и солнцем][12].

И снова Берлин[13], это был период, когда Андрей Белый писал «Воспоминания о Блоке», он многое читал мне [оттуда] вслух, он чудесно читал, он многое пояснял, добавлял своими словами, все принимало плоть и кровь в его описаниях, оттого что все освещалось тем внутренним светом, который излучался из него [от него] и отражался в его глазах[14]. Однажды на Рождество я принесла ему маленькую елку, он был так искренно рад ей [и, помнится, объяснял значение елки...]. Не мог смириться Борис Николаевич Бугаев с берлинскими асфальтами, с подземными железными дорогами, с довольными мещанами, или просто надрыв его души, внутренняя трагедия, отчаяние все больше нарастали и становились все мучительней. Должен был [он] снова уйти в Россию, снова чувствовать русскую

* [Еще несколько слов о] Цоссене. [Это] час езды от Берлина, [и] ничего там нет, кроме одного кабака да маленького вокзала, а от вокзала шоссе [Stubenrauchstrasse, только на улицу она никак не была похожа, еще большой кусок ходьбы полем,] и природа бедная, и людей почти не встречаешь. Туда уехал [бежал] ранней весной Борис Николаевич от Берлина /с собраниями, встречами, разговорами и шутками/(вставка в конце рукописи).

почву, русский ветер. Быть может, он там надеялся приобрести свой внутренний покой и примирение.

День был осенний. Людей провожающих на вокзале Zo<o>[15] не много. Шум поездов. [Поезда шумели, чиновники выкрикивали <*нрзб.*>, уезжающие волновались]. Борис Николаевич Бугаев тоже волнуется и торопится, боится забыть что-нибудь из вещей [багажа], в руке [был] дорожный плед, ночь, видно, провел плохо, лицо [было] серое, выражение усталое, простились наскоро. Поезд тронулся. Локомотив запыхтел, обдавая белыми густыми облаками, быстрее, быстрее стали исчезать вагоны [, унося с собой среди других пассажиров...].

Я не думала тогда, что больше никогда не увижу Бориса Николаевича Бугаева, Андрея Белого [Остались у меня надписи на книгах[16], одно письмо из Цоссена[17] и воспоминания].

Послесловие

Вера Осиповна (Иосифовна) Лурье родилась в Санкт-Петербурге 21 апреля 1901 г. До девятого класса она училась в гимназии Л.Ц. Таганцевой, после Октябрьской революции занималась в студиях Н.Н. Евреинова и Н.С. Гумилева при Доме Искусств. Принадлежала к группе молодых поэтов «Звучащая раковина», учеников Н.С. Гумилева. В сборнике «Звучащая раковина» (Пб., 1922. С. 29–31) Вера Лурье дебютировала как поэт со стихотворениями «От бессонницы ломит тело...», «Церковь из солнца сквозная...» и «Рояль – в тюрьме бренчат оковы...». Больше в России вплоть до начала 1990-х ее не публиковали.

Вместе с семьей Вера Лурье уехала из Петербурга осенью 1921 г. и вскоре оказалась в Берлине, где в январе 1922 г. на собрании берлинского Дома Искусств произошло ее знакомство с Борисом Николаевичем Бугаевым, ставшее началом их недолгой дружбы, или, по словам Веры, «своего рода романа». «Белый был очень знаменит в России, и он был недосягаемой знаменитостью... – вспоминала она впоследствии. – Я бывала у него почти ежедневно: подавала ему чай, штопала его носки. Я чувствовала себя ужасно влюбленной. Теперь, когда все кануло в прошлое, я думаю, что мое чувство к Белому было не любовью, а уважением к такой литературной величине, гордостью и счастьем быть замеченной такой знаменитостью»[i]. Самоотверженность молодой поэтессы была отмечена, в частности, В.Ф. Ходасевичем, писавшим о Белом в Берлине: «Его охраняли, за ним ухаживали: одни из любопытства, другие – с истинною любовью. Из таких людей, опекавших его самоотверженно и любовно, хочу я назвать двоих: С.Г. Каплуна (Сумского), его тогдашнего издателя, и поэтессу Веру Лурье. К несчастию, он был упрямее и сильнее всех своих опекунов, вместе взятых»[ii].

Свою литературную карьеру в Берлине Вера Лурье начала публикацией в газете «Голос России» стихотворений: «Не нужны мне доклады и споры...» и «Утро пахнет криком петушиным...» (1922. № 959. 7 мая). И уже вскоре в «Новой русской книге» сообщалось, что она «Приготовила к печати сборник стихов»

[i] Из воспоминаний Веры Иосифовны Лурье // Континент. 1990. № 62. С. 243.

[ii] *Ходасевич В.Ф.* Некрополь // Ходасевич В.Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 61.

(1922. № 7. С. 33). Правда, выхода этого сборника ей пришлось ждать долго — до 1987 г.[i]

Ряд стихов посвятила она Андрею Белому[ii], но только одно из них было опубликовано при его жизни:

Посвящается Б.Н.Б.

Безкрылый дух томится о свободе
(А в клетке-теле тесно и темно).
Он звонкой песней в тишину исходит,
Когда рассвет глядит уже в окно.

Бессонной ночью чище и прозрачней
Моя любовь, ненужная тебе...
А в небе светлом золотые мачты
Поплыли вдаль, покорные судьбе.

Как этот мир отличен от дневного.
Покой и радость в щебетаньи птиц,
А в жизни суетной мельканье снова
Событий смутных и ненужных лиц[iii].

Примечательно, что юная поэтесса, назвав Белого «бескрылым духом, томящимся о свободе», почувствовала в маститом писателе то же, что потом описала в мемуарах «Пленный дух» Марина Цветаева...

Публиковала Вера Лурье на страницах берлинской периодики не только стихи, но и рецензии. Ее перу принадлежат четыре рецензии на произведения Белого[iv].

Отношения Веры Лурье с Андреем Белым завершились с отъездом писателя в ноябре 1923 г. в Россию.

Вера, оставшись в Берлине, писала мало и еще меньше печаталась (всего пару стихотворений в 1933 г.). В 1938 г. она была арестована гестапо, но скоро освобождена. Ее мать провела военные годы в лагере Терезиенштадт, но выжила и после войны вернулась в Берлин. В 1950-х Вера написала ряд статей и опубликовала несколько стихотворений в парижской газете «Русская мысль», но после смерти матери в 1958 г. опять замолчала. Только в 1980-е она снова начала сочинять стихи. Вера Лурье скончалась в Берлине 11 сентября 1998 г. и была похоронена на кладбище Friedhof Luisen III (Fürstenbrunner Weg 37–67, 14059 Berlin).

Мемуарное наследие Веры Лурье еще в полном объеме не изучено. К работе над воспоминаниями она обратилась уже в послевоенные годы, видимо, в 1950-е. В то

[i] См.: *Lourie V.* Stichotvorenija. Edited with an introduction by Thomas R. Beyer, Jr. Veröffentlichungen der Osteuropa-Abteilung, Band 8. Berlin: Berlin Verlag Arno Spitz. 1987 (со вступит. статьей и библиографией).

[ii] Более подробно о ее стихах, посвященных Белому, см.: *Байер Т.* Вера Осиповна Лурье и Борис Николаевич Бугаев // Андрей Белый в изменяющемся мире. М., 2008. С. 125–136; *Байер Т.* 27-го октября 1922: Забытая страница. Вера Осиповна Лурье и Борис Николаевич Бугаев. http://community.middlebury.edu/çbeyer/veralourie/index.htm.

[iii] Дни. 1923. 9 сентября. С. 9.

[iv] Глоссалалия [sic] // Дни. 1922. 12 ноября. С. 12; Эпопея № 2 // Дни. 1922. 19 ноября. С. 12; После разлуки // Новая русская книга. 1922. № 10. С. 12; Серебряный голубь // Дни. 1923. 7 января. С. 11.

время она писала уже преимущественно по-немецки. В 1980-х встречи и переписка с западными славистами побудили ее создать на русском сокращенные варианты мемуаров, написанных по-немецки[i]. В обеих публикациях разделы о Белом восходят к впервые публикуемым выше мемуарным заметкам, написанным Верой Лурье вскоре после получения из Москвы известия о смерти писателя в январе 1934 г. Ее «немецкие» мемуары еще ждут перевода и публикации.

Черновая рукопись воспоминаний находится в: Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Robert-Koch platz 10, 10115 Berlin (Archiv Vera Lourie, Kasten 2, № 6). Она представляет собой пять страниц текста, написанного карандашом, с многочисленными зачеркиваниями и вставками. Зачеркнутые фрагменты, существенно отличающиеся от основного текста, помещены в квадратные скобки; трудночитаемые места — в угловые скобки.

---

[1] В конце 1921 г., вскоре после приезда в Берлин, Белый вместе с другими литераторами, в том числе А.М. Ремизовым, А.Н. Толстым, А.С. Ященко, создали по образцу петроградского Дома Искусств берлинский Дом Искусств (Белый стал членом его Совета). Собрания проходили в кафе «Ландграф» (Landgraf, Kurfürstenstrasse, 75). См.: *Beyer T.* The Russian House of the Arts and Writers' Club: Berlin 1921—1923 / Russian Berlin: Publishers and Writers. Berlin, 1987. С. 9—38.

[2] Ср.: «От кого-то я узнала, что в кафе “Ландграф” на площади Нолендорф раз в неделю проводятся русские литературные вечера под названием “Дом Искусства”. Однажды меня пригласили на вечер, где я должна была выступить с докладом о петроградском Цехе поэтов и о “Звучащей раковине” (так называли себя студисты Гумилева). Кафе было переполнено. Председательствовал поэт Минский. Это был среднего роста, с довольно значительным брюшком, добродушный человек с лысиной, обрамленной седыми локончиками. Рядом с ним в президиуме сидела пожилая переводчица госпожа Венгерова. Стоя посреди зала, я рассказывала о творчестве петроградских поэтов, о “Доме Искусства” в Петрограде, о Гумилеве, о его студии. Рассказала и об аресте и гибели Гумилева, о смерти Блока. После доклада я прочитала несколько своих стихотворений петроградского периода» (Из воспоминаний Веры Иосифовны Лурье / Публ. Р. Герра // Континент. 1990. № 62. С. 243).

[3] Ср.: «Итак, Белый подошел ко мне и попросил принести ему для литературного журнала “Эпоха”, редактором которого он являлся, мои стихи. Издавал журнал Абрам Вишняк. <...> Вишняк, однако, заявил, что в его журнале мои стихи напечатаны не будут. Это было большим разочарованием. Только что я испытала такой восторг и такую гордость! В утешение Вишняк обещал подарить мне флакон духов, от чего я, разумеется, с возмущением отказалась. В 22 года я была еще наивной и очень гордой. Во всяком случае, так началась моя дружба с Андреем Белым» (Там же).

[4] Вариант этого эпизода, записанный Верой Лурье на последнем листе мемуаров:

«12 лет тому назад: накуренное, душное помещение кафэ [неуютного]. Много народу, много известных писателей, художников, общественных деятелей. Я только что из Петрограда. Мне все ново в этом Берлинском “Доме Искусства”. Вдруг, задвигав [заколыхав] тяжелой красной портьерой, кто-то входит. Я его видела раньше только на фотографиях,

---

[i] См.: Из воспоминаний Веры Иосифовны Лурье / Публ. Ренэ Герра // Континент. 1990. № 62. С. 243; *Лурье Вера.* Воспоминания / Публ. Г. Поляка // Новый журнал. Декабрь. 1996. С. 165–166.

но узнаю сразу – это Андрей Белый. И перед ним я буду читать свои стихи, перед ним, перед автором “Петербурга” у меня чувство неловкости и волнения...

Андрей Белый продвигается ко мне, идет слегка бочком, на нем черный сюртук и на месте галстука черный огромный [атласный] шелковый бант. А на лице улыбка единственная, неповторимая, чуть растерянная, чуть детская, и глаза, небольшие и глубоко всаженные, светлые, светятся внутренним светом. Подходит ко мне, просто совсем представляется, жмет руку: “принесите, – говорит, – стихи для журнала!” [Я остаюсь стоять на месте ошеломленная.] Я так ошеломлена, что не нахожу слов для ответа. И помню, осталось у меня после этого вечера, когда я впервые видела Андрея Белого и говорила с ним, чувство настоящего благоговения и... большой гордости».

[5] KaDeWe (аббревиатура от «Kaufhof des Westens» (*нем.*) – «Универсальный магазин Запада») – крупнейший универсальный магазин Берлина; основан в 1907 г., находится на Wittenberg Platz.

[6] Белый жил на Passauer Strasse, 3, в квартире бывшей жены Эугена д’Альбера (1864–1932). Ср. в его письме матери от 6 марта 1922 г.: «Внешне я очень хорошо устроился; хозяйка, очень культурная дама, профессор пения, M-me d’Albert, жена (вторая и бывшая) известного пианиста д’Альбер, за мной хорошо ухаживает» (цит. по: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 237).

[7] Ср.: «Там он писал свои воспоминания о Блоке. В то время я бывала у него почти ежедневно. Дома он носил на голове обыкновенно черную ермолку. Он легко мерз и пил много горячего чаю. Читал мне вслух свои воспоминания о Блоке <...>. Он мне также много рассказывал о юноше Блоке и о своей дружбе с ним, о том, как он, Белый, полюбил жену Блока, о том, как потом они с Блоком отошли один от другого. Белый также много говорил о творчестве Блока и о происхождении Незнакомки. В эту же эпоху он объяснил мне значение и смысл своей книги “Глоссолалия”, как раз появившейся в печати. Белый был антропософом. Об этом движении он тоже говорил со мною. Помнится мне, как однажды я застала Бориса Николаевича совершенно больным и расстроенным, на мои вопросы, что с ним случилось, он рассказал мне совершенно серьезно, что так как в Дорнахе сгорел купол антропософского храма, в котором была заложена его голова, то теперь с ним должно непременно случиться большое несчастье. Так суеверен он был» (*Лурье Вера.* Воспоминания / Публ. Г. Поляка) // Новый журнал. Декабрь. 1996. С. 165–166). Или: «В то время Белый работал над “Воспоминаниями о Блоке”, переделывал и сокращал свой “Петербург”, писал книгу “Глоссолалия”, мало понятную для рядового читателя. Мне же Белый так ясно и подробно изложил ее смысл, что я смогла написать на книгу рецензию, опубликованную в “Днях”, что сильно изумило моих знакомых» (Континент. С. 244). См. рецензию Веры Лурье на «Глоссолалию» в газете «Дни» (1922. 12 ноября. С. 12).

[8] В начале мая 1922 г. Белый по совету врача переезжает в пригород Берлина Цоссен (Zossen) и живет там два месяца. Ср.: «Несколько раз ездила и я в Цоссен. Тогда туда ходил еще паровоз, который тащился целый час. Путь от станции до дома, в котором жил Белый, пролегал по полю и был обсажен фруктовыми деревьями. От всего этого времени остались в памяти невзрачный домишко, холодная пустая комната, седая и бесцветная, как и ее платье, хозяйка дома» (Континент. С. 245). Или: «Однажды весною Андрею Белому все надоело. Берлин и окружающие его люди, и он исчез с берлинского горизонта. После долгих исканий мне удалось разыскать его в Цоссене, в маленьком местечке, час езды поездом от Берлина. Там он поселился в двухкомнатном домишке у простой пожилой нем-

ки. Несколько раз я его там навещала. Помнится, что от вокзала надо было еще идти довольно долго по раскаленному от солнца пыльному деревенскому шоссе» (Новый журнал. С. 166).

[9] Адрес «Stubenrauchstrasse 68 bei Lai» Белый указывает в своей кн. «Одна из обителей царства теней» (С. 63).

[10] Мемуаристка путает книгу стихов М.И. Цветаевой «Разлука» (М.; Берлин: Геликон, 1922) со сборником Белого «После разлуки: Берлинский песенник» (Пб.; Берлин: Эпоха, 1922). См. рецензию Веры Лурье на сб. «После разлуки» в «Новой русской книге» (1922. № 10. С. 12). Ср. также запись в *РД* о мае 1922 г.: «Видаюсь часто с В. Лурье <...>, Мариной Цветаевой: пишу рецензии и фельетон (в газеты). Под конец месяца овладевает личное лирическое настроение: начинаю писать стихи цикла “После разлуки”». (Л. 113 об.). Белый получил сборник «Разлука» от Цветаевой в мае 1922 г. и написал на него рецензию для газеты «Голос России» (1922. 21 мая. № 971. С. 7–8). См. историю этой встречи поэтов в: *Beyer T.* Marina Cvetaeva and Andrej Belyj: Razluka and Posle Razluki // Wiener Slawistischer Almanach. 1995. № 35. S. 97–132. (http://community.middlebury.edu/3beyer/articlespdf/CvetaevaART.pdf).

[11] На Балтийском побережье, в Свинемюнде (Swinemünde), немецком курорте на острове Узедом, Белый отдыхал с начала июля до начала сентября 1922 г. В 1945 г. территория перешла к Польше, переименована в Свиноуйсьце (Świnoujście).

[12] Ср.: «Однажды Белый поехал в Свинемюнде, курортный городок на Балтийском море. Я последовала за ним. В городке было кафе, которое охотно посещали отдыхающие, по вечерам публике предлагались небольшие концерты типа варьете. Однажды во время выступления фокусника со сложными математическими трюками Белый, поднявшись со своего места, хладнокровно развенчал фокусы незадачливого артиста, математически доказав публике его обман. Мне показалось это слишком жестоким. (Континент. С. 245).

[13] Вернувшись в Берлин 6 сентября 1922 г., Белый поселился вместе с В.Ф. Ходасевичем, Н.Н. Берберовой и другими в пансионе Крампе (Crampe Pension) на Viktoria-Luise-Platz, 9. Ср.: «После Свинемюнде я с Белым уже мало встречалась. Приехала из Москвы одна антропософка, его большой старый друг, и у него не было ни интереса, ни времени со мною встречаться. Незадолго до его отъезда на родину я увидела его на улице, он обрадовался, звал зайти. (Новый журнал. С. 167); «Наши отношения начали сходить на нет с приездом из Москвы антропософки Васильевой, будущей жены Белого» (Континент. С. 245).

[14] Ср.: «Как-то, придя к нему, застаю его в очень расстроенном состоянии. “Что случилось, Борис Николаевич?” Оказывается, в Дорнахе произошел пожар, сгорел купол Гетеанума, а в нем, как утверждал Белый, находилась его голова, и теперь ему предстояло или тяжело заболеть, или даже умереть. Как я ни старалась убедить его в нелепости этих опасений, он долго не мог успокоиться» (Континент. С. 245). Белый написал о произошедшем пожаре статью «Гетеанум» (Дни. 1923. 27 февраля. С. 6–7). См. также ее републикацию: «Andrej Belyj’s “Geteanum”» (Andrej Belyj Society Newsletter. 1984. III. P. 18–27) и на сайте: http://community.middlebury.edu/3beyer/BelyBull/index.html).

[15] Bahnhof Berlin Zoologischer Garten (Bahnhof Zoo) на Hardenbergplatz, 8. Один из вокзалов Берлина, находится рядом со знаменитым зоопарком (Zoo), с 1884 г. принимал поезда дальнего следования, с 2006 г. используется только для пригородных и внутригородских поездов.

[16] Книги с дарственными надписями Белого были проданы В.О. Лурье и находятся в частных собраниях. У нее в 1984 г. остался лишь оттиск из журнала «Современные записки» (1922. № 12. С. 99–115) с отрывком из повести «Преступление Николая Летаева» (глава «Агуро-Маздао») с автографом: «Милой Вере Иосифовне Лурье, в знак искренной любви, Андрей Белый, 8 января 1923 года». Я благодарен Ренэ Герра, который сделал фотокопию автографа на книге «Глоссолалия»: «Дорогой милой Вере Иосифовне Лурье, с большой любовью, Андрей Белый, 25 сентября Берлин 22 года».

[17] Н.Н. Берберова цитирует это письмо в мемуарах: «Дорогой Борис Николаевич, честное слово мне давно надоело сердиться. Отчего Вы не приходите в Клуб писателей? Отчего Вы такой недобрый? Раньше Вы сами говорили, что я хорошая, а как только я немножко раскапризничалась, сразу рассердились, как будто я взрослая – на самом деле право я только глупый ребенок, искренне к Вам привязанный. Скучаю я о Вас очень и не меньше о всех вещах в Вашей комнате, я так привыкла за время Вашей болезни хозяйничать и чувствовать себя у Вас, как дома. Мне было невыносимо, что кто-нибудь имеет право быть ближе к Вам, за это не надо на меня, Борис Николаевич, сердиться. Мне эти дни особенно без Вас грустно, как раз с тех пор, как мы познакомились и я все помню по дням и часам... Милый, хороший Борис Николаевич, простите, что я пишу Вам такой вздор, но я абсолютно писать не умею, как Ваше здоровье? Надеюсь, совсем хорошо. Раньше хотела просто к Вам забежать, но побоялась. Вера» (*Берберова Н.* Курсив мой. Автобиография: В 2 т. N-Y., 1983. Т. 1. С. 190–191). Местонахождение письма неизвестно. Среди бумаг Н.Н. Берберовой в архиве Йельского университета его нет. Упоминаемый в письме «Клуб писателей» был основан в Берлине в ноябре 1922 г.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Томаса Байера (США)

ОЛЬГА РЕСНЕВИЧ-СИНЬОРЕЛЛИ

СМЕРТЬ АНДРЕЯ БЕЛОГО

«L'Italia Letteraria» (Roma)
21 января 1934 — XII г.[1]

В первых числах января в Москве умер известный поэт Андрей Белый (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева), бывший, вместе с Александром Блоком, основателем русского символизма.

В конце прошлого века символистское движение возникло почти во всех странах Европы как реакция на дух позитивизма XIX века с его материализмом в философии и натурализмом в искусстве. Повсеместно оно ознаменовалось углублением и обострением художественного опыта, утонченностью видения. Это была новая форма поэтической речи, которая восстанавливала методические и пластические энергии, чтобы расцвести заново в старинном забытом блеске.

Новое мировосприятие в западных странах испытывало доминирующее влияние науки и основывалось на средствах концептуально рационального мышления. Романтический символизм живет ностальгией по иному, отличному от существующего миру — но не живет в *таком* мире; поэтому его творения — это лишь отражения иного мира, полученные в зеркале художественных видений, подверженные опасности трансформироваться в блестящую игру пустыми символами и аллегориями[2].

У французов было осознание того, что их творчество — поздний, возможно, последний цветок старой цивилизации. Защищаясь от варваров, в страхе перед сумерками цивилизации они прятались в своей изысканной исключительности, в гордом одиночестве.

Русские символисты родились в век, когда русская поэзия достигла своего апогея в Пушкине. Их пути, предначертанные духовным развитием России, остались неподвластны влиянию поэзии западного «fin de siècle»[3]. В своих устремлениях они не отрывались от собственного народа, но искали в осознании сверхэмпирического национального единства источники для творчества и в мистическом опыте народа — критерий истинности своего духовного пути. Русские символисты не только знали о существовании духовного мира, — но жили в нем; мир ультраэмпирический, мир духовный был для них конкретным мистическим опытом: их творения стали тому живыми свидетельствами, манифестациями иного мира.

Белый и Блок оба родились в 1880 году: Блок — в Петербурге, Белый — в Москве. Блок, внук ректора Университета[4], изучал филологические науки в Петербурге[5]; Белый, сын прославленного профессора математики, изучал точные науки в Москве. Они не были знакомы лично, но каждый по-своему работал в общем направлении, поднимал одни и те же вопросы, жил в одной и той же вере. Они много читали, обсуждали самые трудные философские проблемы. Оба, поклонники и

последователи Владимира Соловьева, преклонялись перед Вечной женственностью в образе Софии, горели желанием жить мистической жизнью, были воодушевлены энтузиазмом, наивностью и мудростью отроков, глядящих на мир в первый раз и видящих все в истинном свете чистыми глазами влюбленных.

Зная стихи друг друга, Блок и Белый испытывали взаимный интерес и дружеские чувства[6]. Как-то раз каждый из них решил послать другому письмо; письма были отправлены обоими в один и тот же день[7], и с тех пор родилась дружба, которая, несмотря на некоторые легкие тени, несмотря на сложившиеся по-разному судьбы, оставалась живой вплоть до смерти Блока (1921).

В 1903 году к Блоку и Белому присоединился Вячеслав Иванов, вернувшийся из-за границы. Он был более взрослым, более зрелым и опытным, но воодушевлялся юношеским пылом той же самой веры. Вскоре он стал главой новой поэтической школы, согласно которой поэт должен был быть своего рода жрецом, провозвестником вечной истины, которую только он в состоянии понять и претворить в чувственные образы, или, как определяет Иванов, в мифы. С приходом большевистской революции дороги трех поэтов разошлись навсегда.

«Все, кто приближался к Белому, даже в то время, когда он делал первые шаги в искусстве, чувствовали в нем дыхание гения, — пишет его современник, критик Владимир Познер, — чувствовали, что удается ему или нет создавать шедевры, — он гений, у него есть все атрибуты гениальности: неуравновешенность, откровения и неудачи, недостаток вкуса, отсутствие таланта, бессилие перед материальной стороной жизни. При этом его синий, ясный и одновременно растерянный взгляд заставляет поверить, что вся земля, включая лицо писателя, создана из однообразно-тусклой материи, и есть на ней лишь два отверстия в иной мир — глаза Андрея Белого»[8].

«Все, мной написанное, — единый роман в стихах: содержание же романа — *мое искание правды*, с его достижениями и падениями», — признавался Андрей Белый[9]. Длинный роман его короткой жизни включает в себя пять десятков произведений[10]. Он начался в 1904 году с тома лирики «Золото в лазури» — книги светящегося, радостного ожидания, слегка омраченного сомнением автора в своей избранности.

В цикле «Прежде и теперь» идиллически представлен мир высшего общества, мелкой буржуазии и крестьянства в изображении почти марионеточном. Автор заявляет: «Доминирующий лейтмотив этого цикла — взгляд на действительность как на стилизованную картину; прошлое и настоящее кажутся одинаково далеки для себя потерявшей души; все только — маски; <...>. Лирический субъект этого отдела — постепенно себя сознающий мертвец»[11].

Следующие остановки на крестном пути к прочному мировоззрению — это «Пепел», четыре «Симфонии» и, в 1910 году, грандиозный роман «Серебряный голубь»[12] — первая часть трилогии «Восток или Запад?»[13] — развернутое, страстное и гениальное проникновение в русскую душу и в народную жизнь, пророческое предвидение революции[14].

Дарьяльский, герой романа, русский интеллектуал, «попировав на всех интеллектуальных пирах Европы», испробовав все последние философские течения, от марксизма до оккультизма, возвращается на родную землю, к народу[15]. Он встречается с мистической сектой «Голубей», с Матреной, «рябой бабой», исконной

душой народа, которая заставляет его забыть невесту Катю и европейскую науку. «Чистая Катя, с глазами не знаешь или они серые, или зеленые... Но когда поднимает взгляд, он отталкивает, такой простой и стеклянный. И ты идешь, идешь на Запад, но возвращаешься к Востоку»[16].

Дарьяльский погибает от рук сектантов.

После этого романа Белый уехал за границу. До того он писал, опираясь на природную силу своего таланта, теперь же чувствовал необходимость укрепить свое мировоззрение. Он поехал в Тунис, в Сицилию, в Голландию, где познакомился с кем-то, кто направил его к Рудольфу Штейнеру[17]. Он уехал в Швейцарию, жил в Дорнахе, где был застигнут войной и оставался почти до ее конца. Он[18] принимал участие в строительстве дорнахского храма; пережил глубокое потрясение, когда храм был разрушен пожаром[19]. Встреча со Штейнером не оказала благотворного влияния на его дух: ему не удалось найти в этом учении крепкой основы для своей веры.

Он пишет вторую часть трилогии – роман «Петербург», в котором автобиографично, как есть, изображает иссушенность и пустоту собственного внутреннего мира, – подобно тому, как в «Серебряном голубе» описывал свою полноту и мистическое напряжение.

В дальнейшем его произведения – это лирические картины, живописующие довоенную Россию. Исключение составляет поэма «Христос воскрес», опубликованная в 1918 году, в которой личное чувство сливается с национальным и в собственной судьбе поэт узнает судьбу своего несчастного народа. Поэма завершается гимном веры в то, что от пролитой крови и от ужасов войны Россия воскреснет, как Жена, облеченная солнцем, которая победила змея[20].

Я встретилась с Белым в сентябре 1923 года в Берлине, накануне его возвращения в Россию[21]. Помню взгляд его искрящихся, как молнии, синих глаз, которые порой казались фосфоресцирующими. Помню жаркий взволнованный голос, говорящий о Микеланджело, о сотворении Человека; слова достигали памяти и запечатлевались в ней благодаря не столько их логическому смыслу, сколько оживленному ритму и пылкой убежденности этого голоса.

Никогда мне не было так ясно, как теперь, насколько о себе он писал в стихотворении «Друзьям» (1907):

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Не смейтесь над мертвым поэтом:
Принесите ему венок[22].
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок

Цветы на нем побиты.
Образок полинял.
Тяжелые плиты.
Жду, чтоб их кто-нибудь снял.

Любил только звон колокольный.
И – закат.
Отчего мне так больно, больно!
Я не виноват.

Пожалейте, придите;
Я навстречу венкам метнусь.
О, любите меня, полюбите –
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь –
Вернусь...

Перевод с итальянского И.Б. Делекторской

Послесловие

Публикуемый некролог является, насколько нам известно, единственным некрологом Андрею Белому, напечатанным в Италии. Автор некролога, Ольга Ресневич (в замужестве Синьорелли; 1883–1973), была в те годы довольно известной переводчицей[i]. На ее счету переводы на итальянский язык Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова и многих современных писателей, таких как Блок, Вяч. Иванов, Есенин, Вс. Иванов, Леонов и др. Латышка по происхождению, она в 1904 г. переехала в Италию, где получила медицинское образование сначала в Сиене, потом в Риме. Вместе с мужем, Анджело Синьорелли, известным врачом и любителем современного искусства, О. Ресневич жила все 1910-е и 1920-е в Риме в Palazzetto Bonaparte, недалеко от Porta Pia, и их дом был одним из наиболее знаменитых литературных салонов итальянской столицы: его посещали крупнейшие писатели, художники, музыканты не только Италии, но и всей Европы.

На творчество Белого Ольга Ресневич-Синьорелли обратила внимание в самом начале 1910-х на фоне ее общего интереса к русскому символизму. Она первая занялась переводом на итальянский язык произведений Андрея Белого. В 1921 г. она опубликовала в журнале «Russia», издававшемся славистом и переводчиком Этторе Ло Гатто в Риме с перебоями с 1920 г. по 1925 г., фрагменты романа «Серебряный голубь»[ii]. Вскоре после этого О. Ресневич-Синьорелли вошла с Белым, жившим в то время в Германии, в контакт: послала ему свой перевод и, пользуясь посредничеством Нины Петровской, с которой дружила и состояла в переписке, предложила перевести на итальянский язык «Воспоминания о Блоке», публиковавшиеся в берлинском журнале «Эпопея»[iii]. Белый ответил ей благодарственным

---

[i] О деятельности Ольги Ресневич-Синьорелли см.: *Garetto Elda.* Materiali sull'emigrazione russa // Europa Orientalis. 1991. № 10. P. 383–428; *Garetto Elda.* Olga Resnevich Signorelli (1883–1973) // I russi e l'Italia / A cura di V. Strada. Milano: Scheiwiller. 1995. P. 203–208; *Гаретто Эльда.* Из архива О.И. Ресневич-Синьорелли // Russian Literature. 2005. LVIII–I/II. С. 75–83.

[ii] См.: «Il colombo d'argento di Andrej Belyj, Il Villaggio di Tzielebievo. Traduzione e introduzione di Olga Resnevic» в журнале «Russia» (1921. № 4. P. 61–73). В 1924 г. в Италии появились еще два перевода Андрея Белого: в том же журнале «Russia» (1924. № 1. P. 27–36.) Ло Гатто публикует перевод статьи «Ибсен и Достоевский» (*Andrea Bjelyj.* Ibsen e Dostoevskij). Несколько стихотворений Белого вошли в антологию «Antologia dei poeti russi del XX secolo» (a cura di R. Naldi Olkienizkaja; ed. Frat. Treves. Milano, 1924).

[iii] См.: *Гаретто Эльда.* Из архива О.И. Ресневич-Синьорелли.

письмом, дав принципиальное согласие на проект, но в то же самое время подчеркнув необходимость существенных сокращений текста полного варианта его мемуаров о Блоке[i].

Личное знакомство Ольги Ресневич-Синьорелли с Белым произошло перед самым его возвращением из Берлина в Москву. Две книги Белого с дарственными надписями ей, хранящиеся в частном архиве наследников Синьорелли в Риме, позволяют нам точно определить дату этой встречи: 24 сентября 1923 г. Имеются в виду «Записки чудака» с дарственной надписью «Ольге Ивановне[ii] Синьорелли, в знак искренного расположения от Андрея Белого. Берлин, 24 сентября <19>23» и экземпляр сборника «После разлуки» с надписью «Ольге Ивановне Синьорелли, в знак искреннего расположения и признания от Андрея Белого. Берлин, 24 сентября <19>23»[iii].

Хотя перевод «Воспоминаний о Блоке» на итальянский язык не осуществился, связи между Ольгой Ресневич-Синьорелли и Андреем Белым не прерывались практически до конца его жизни. Так, уже в 1933 г. он отправил ей текст доклада «Культура краеведческого очерка», прочитанного на собрании краеведов при Оргкомитете Союза советских писателей и напечатанного в «Новом мире» (1933. № 3. С. 257–273)[iv].

* * *

Некролог Андрею Белому был опубликован за подписью «Ольга Ресневич» в еженедельнике «L'Italia Letteraria» (Литературная Италия) 21 января 1934 г. Еженедельник «L'Italia Letteraria» выходил в Риме (1929–1936) и являлся продолжением миланского литературного альманаха «La Fiera letteraria» (Литературная ярмарка) (1925–1928); в альманахе участвовали писатели Курцио Малапарте (1898–1957), Массимо Вонтемпелли (1868–1960) и Коррадо Паволини (1898–1980). В 1930-е журнал «L'Italia Letteraria» помещал и другие статьи О. Ресневич-Синьорелли о русской культуре[v].

Вместе с некрологом Белому О. Ресневич-Синьорелли поместила в журнале также несколько фрагментов из романа «Серебряный голубь» (из 4-й и 7-й глав), взятых из ее ранней публикации 1921 г. в альманахе «Russia».

В собрании внука Ресневич-Синьорелли Винченцо Реккиа сохранилась недатированная машинопись, представляющая собой расширенный (в сравнении с опубликованным) вариант некролога: в него инкорпорированы цитаты из романа «Серебряный голубь» и мемуарные отступления[vi]. Машинопись не датирована. Соблазнительно увидеть в ней черновик некролога, однако, скорее всего, «расширение» некролога было произведено в процессе работы Ольги Ресневич-Синьорел-

---

[i] *Гаретто Эльда.* Из архива О.И. Ресневич-Синьорелли. С. 78–79.

[ii] Недавно обнаружены официальные документы, из которых явствует, что ее отца звали Адольф. Тем не менее по непонятным причинам не только Андрей Белый, но и другие русские называли ее Ольгой Ивановной. Впрочем, и первое ее имя было не Ольга, а Мальвина.

[iii] О ее берлинской встрече с Белым см. также: *Гаретто Эльда.* Из архива О.И. Ресневич-Синьорелли. С. 79–80.

[iv] См.: Там же. С. 79–80.

[v] См: «Da Stanislavskij a Tairov» (От Станиславского к Таирову) (1930. 30 мая) и перевод воспоминаний Станиславского о московских гастролях итальянского актера Сальвини «Ricordo di Salvini al Teatro Grande di Mosca» (1930. 23 октября).

[vi] В настоящее время машинопись находится в Мемориальной квартире Андрея Белого.

ли над воспоминаниями (следует отметить, что она неоднократно то расширяла, то сокращала мемуарные записи). Фрагменты машинописи, дополняющие журнальный вариант некролога, приведены в примечаниях.

* * *

Некролог свидетельствует о хорошей осведомленности переводчицы о символистской эпохе в России, о творчестве Белого и критической литературе о нем. Анализируя творчество Белого вообще и роман «Серебряный голубь» в частности, Ресневич-Синьорелли принимает во внимание сложное соотношение между творческими и философскими исканиями Белого на протяжении всего его жизненного пути. Упоминаются также его сложные отношения с создателем антропософской доктрины Рудольфом Штейнером. Именно это упоминание стало причиной дальнейшего и вполне неожиданного развития сюжета с некрологом.

Приблизительно через месяц после его публикации, 25 февраля 1934 г., О. Ресневич-Синьорелли поместила в том же журнале «L'Italia Letteraria» (№ 12. P. 7) короткую заметку под названием «Дополнительная информация о Белом» – в форме письма к главному редактору журнала Паволини:

> Дорогой господин главный редактор,
>
> Позвольте мне дополнить мою заметку об Андрее Белом («Лит. Ит.», 21 января) этими отрывками из русских газет, в которых приводятся речи, произнесенные представителями советской власти на похоронах поэта Б. Из них следует, что на самом деле он продолжал оставаться антропософом, хотя и не заявлял об этом открыто.
>
> С благодарностью и сердечным приветом,
>
> Ольга Ресневич.

Далее она привела в весьма вольном переводе на итальянский два отрывка из советских газет. Первый отрывок, под заглавием «У гроба А. Белого», – из одноименной заметки А. Кута, опубликованной 10 января в «Вечерней Москве»[i]. Второй – из некролога Л.Б. Каменева, напечатанного тоже 10 января в «Известиях»[ii].

[i] «Вчера вечером <в Оргкомитете ССП> у гроба Андрея Белого перебывали крупнейшие представители советской литературной Москвы. В почетном карауле стояли <имена пропущены> <...> тов. В. Ермилов. Он подчеркнул громадную утрату, какую понесла русская литература в лице покойного поэта, романиста, теоретика искусства. <...> Художник, связанный с течениями русского буржуазного декаданса и с религиозными мистическими настроениями и отражавший их в своем творчестве, бывший учеником главы антропософов Рудольфа Штейнера, он в то же время сумел в ряде своих замечательных произведений показать подлинный лик буржуазного общества. < как например> в своем замечательном романе "Москва"».

[ii] «Андрей Белый – поэт, <...> был прежде всего мечтателем. Вся его работа проникнута поисками единого, целостного миросозерцания. Его пытливая и беспокойная мысль жила мечтой по некоем синтезе. <...> Такая система существовала <...>. Это была система пролетарского социализма <...> Белый остался чужд этой единственной системе, которая могла бы удовлетворить его неизбывную жажду единого синтетического мировоззрения. Отсюда его трагедия. <...> Поиски его оказались бесплодны! Индивидуалист от природы, глухорожденный к истине социализма, он то и дело попадал на ложные пути.<...> Увы! Это продолжалось не пять, а тридцать лет – от начала литературной деятельности и до ее конца. <...> Мистические тяготения и интеллигентский индивидуализм вновь захлестнули сознание поэта и отдали его в плен секты антропософов. Он искал бога и нашел... Рудольфа Штейнера! <...> Андрей Белый был и оставался человеком старого, гибнущего мира. Его стремление объявить себя одним из ранних предтеч и строителей социалистической культуры неправомерно и необоснованно. В вопросах общего мировоззрения он заканчивал линию Гоголя и Достоевского, а не зачинал линию социализма». У Каменева: «а не зачинал новое».

Объяснение этому «дополнению» мы нашли в переписке самой Ресневич с художницей, переводчицей, штейнерианкой Е.Ю. Григорович[i] и с их общим знакомым, антропософом Марко Спаини[ii].

Е.Ю. Григорович пишет Спаини 31 января 1934 г. из Милана:

> Дорогой Спаини, наконец в моем распоряжении имеются сведения, опубликованные в русской (советской и эмигрантской) печати, доказывающие, что А. Белый оставался до самой смерти верен Р. Штейнеру и антропософии. Некоторые сожалеют о его «ошибке», каждый со своей точки зрения, но никто не отказывает покойному в нерушимой прочности его антропософского мировоззрения, от которого он не только не отрекался, но, напротив, исповедовал его открыто, несмотря на запрет последних лет в России примыкать к антропософии. Учитывая авторитет Белого, ему это не запрещали и списывали на эксцентричность. Прилагаю некоторые переведенные мною фрагменты из советской печати, которых достаточно, чтобы продемонстрировать, что Белому, напротив, удалось найти прочную базу для своей веры в учении Рудольфа Штейнера.
>
> Есть также другая важная неточность в очерке Ольги Ресневич, касающаяся сочинений Белого, последовавших за романом «Петербург». Помимо «Христос воскрес» и «лирических картин» довоенного общества, Белый опубликовал серию очерков в антропософском духе (например, «Кризис мысли», «Вячеслав Иванов», воспоминания о Р. Штейнере и первом Гетеануме и т.д.), книгу по эвритмии (имеющуюся у меня «Глоссалолию»); затем его воспоминания об антропософии и наконец большой роман, озаглавленный «Москва», который завершает трилогию. Не понимаю, как в очерке Ольги Ресневич могли возникнуть такие значимые (важные) недоразумения. Возможно, она хотела упомянуть (намекнуть на) лишь острый, но краткий кризис Белого в 1923 г. в Берлине – кризис скорее психологический, чем духовный, о котором говорилось и за пределами круга антропософов? Но как можно делать окончательные выводы по поводу мировоззрения человека, прожившего еще 11 лет после своей встречи с О.Р. в Берлине в 1923, – человека, чьи взгляды и сочинения оставались почти неизвестными за пределами узкого круга его личных друзей! Или это какая-то лакуна чисто типографического характера?
>
> Как бы то ни было, не вызывает сомнений, что госпожа Ресневич будет опечалена, узнав о своей невольной ошибке, и найдет способ исправить ее. Поскольку речь идет не о ее отношении к антропософии – каждый волен иметь свои собственные взгляды, – но о точном посмертном изображении Белого. Что бы он сказал, если бы, как написано в стихотворении, цитируемом О.Р., «быть может, не умер», если бы сегодня «проснулся», «вернулся»!..
>
> Но даже мертвый он страдает от того, как искажается память о нем. И – «ждет», чтобы «сняли» эту «плиту», чтобы «принесли венок»...

---

[i] Елена Юстиниановна Рыбачкова, в замужестве Григорович (Варшава,13.02.1872 – Милан, 19.06.1953) в 1905–1906 гг. жила в Петербурге, где посещала «башню» Вяч. Иванова. Кроме того, сблизилась с террористическим движением, была знакома с Б. Савинковым. Дружила с Бальмонтом и его семьей, время от времени жила с ними во Франции. Была знакома с Андреем Белым и М. Волошиным. Была в Италии в 1910-е и вновь в начале 1920-х. В начале 1930-х Григорович окончательно переезжает в Италию, сначала в Лигурию, затем в Милан, где жила до самой смерти.

[ii] См.: Archivio Signorelli, Fondazione Cini, papki Marco Spaini, Elena Grigorovich.

Распоряжайтесь этим моим письмом так, как сочтете нужным.
С сердечным приветом,
любящая Вас,

Елена Григорович.

2 февраля 1934 г. Спаини переслал это письмо Ольге Синьорелли, сопроводив его советом:

Пересылаю Вам письмо Григорович по поводу Вашей статьи о Белом.

Думаю, что у Вас будет возможность поговорить о нем и исправить или лучше – дополнить сведения, содержащиеся в Вашей статье, касательно его отношений с антропософией и со Штейнером.

Белый, конечно, будет Вам благодарен за эту поправку в своей новой жизни, поскольку он покинул землю, будучи всецело приверженцем антропософского идеала.

Синьорелли не замедлила с ответом:

Дорогой друг, спасибо за письмо госпожи Григорович и за отрывки, переведенные из советских газет. Я послала эти отрывки в своем письме к Паволини – с просьбой опубликовать их в «Литературной Италии». Я сделала это ради долга справедливости по отношению к *воле* Белого, целиком доверяя чувству духовной свободы госпожи Григорович.

Среди знакомых мне штейнерианцев госпожа Григорович – одна из немногих, в ком я нашла в высшей степени то понимание и то духовное милосердие, которое исходит из сочинений Учителя <...>. Госпожа Григорович знала Штейнера, знала Белого, она подлинно верует, она – одна из тех, кто нашел «прочную основу» в учении Штейнера <...>.

После этого эпизода интерес Ольги Синьорелли к личности и творчеству Андрея Белого не иссяк. С 1947 г. по 1950 г. она печатала в «Литературном словаре» В. Бомпиани краткие эссе о романах «Серебряный голубь», «Котик Летаев» и «Москва»[i]. А в 1960–1970-х, используя в том числе и прежние материалы, написала (скорее надиктовала на магнитофон) свои мемуары.

---

[1] Цифра XII обозначает 12 год введенного Б. Муссолини нового календаря так называемой фашистской эры. За точку отсчета был взят 1922 год, ознаменовавшийся маршем на Рим, осмысленным мифологически, в контексте древнеримской истории. По аналогии с Древним Римом использовались римские цифры.

[2] В машинописи из семейного архива внука О. Ресневич-Синьорелли Винченцо Реккиа указано, что эта мысль была высказана В.И. Ивановым.

[3] Конец века (*фр.*)

---

[i] Dizionario letterario Bompiani delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature. 9 vv / Valentino Bompiani editore. Milano. 1947–1950.

[4] Дедом А.А. Блока по материнской линии был известный ботаник Андрей Николаевич Бекетов (1825–1902), в 1876–1884 гг. ректор Петербургского университета.

[5] В 1898 г. Блок поступил на юридический факультет Петербургского университета, в 1901 г. поступил на филологический факультет, славяно-русское отделение которого закончил в 1906 г.

[6] Первые публикации стихов обоих поэтов состоялись в 1903 г., но уже после того, как началась их переписка. Поклонником поэзии Блока Белый стал в 1901 г., прочитав его стихи в списках, хранящихся в семье М.С. и О.М. Соловьевых.

[7] Далее в машинописи из архива В. Реккиа: «...нас потянуло друг к другу: письмами мы перекликнулись, – писал Белый. – Письма, встретясь в пути, перекрестились; крестный знак писем стал символом перекрещенности наших путей, – от которой впоследствии было и больно, и радостно мне; крест, меж нами лежащий, бывал то крестом побратимства, то шпаг, ударяющих друг о друга: мы и боролись не раз, и обнимались не раз». Здесь с некоторыми неточностями цитируются «Воспоминания о Блоке» Андрея Белого. (см.: *О Блоке 1997*. С. 44). Блок и Белый, не будучи лично знакомы, отправили (соответственно 3 и 4 января 1903 г.) друг другу письма, положившие начало их дружбе. См.: Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903–1919 / Публ., предисл. и коммент. А.В. Лаврова. М., 2001. С. 15–23.

[8] См. в книге Владимира Александровича Познера (1908–1975) «Panorama de la littérature russe contemporaine» (préface de Paul Hazard. Paris: Éditions Kra, 1929. P. 174): «Tous ceux qui ont approché Bély, même à ses débuts, ont senti en lui un souffle de génie. Qu'il réussisse ou non à créer des œuvres durables, c'est un homme de génie, il en a tout: les déséquilibre, les révélations et les échecs, le manque de goût, l'absence de talent, l'impuissance en face des faits matériels de la vie, et aussi le regard d'un bleu limpide et hagard à la fois qui fait croire que toute la terre, le visage de l'écrivain y compris, est faite d'une seule matière uniformément terne et qui ne comporte que deux déchirures sur un autre monde: les yeux d'Andrei Bely».

[9] Цитата из вступит. заметки Белого «Вместо предисловия» к его сборнику «Стихотворения» (Берлин; Пб.; М.: Изд-во З.И. Гржебина, 1923. С. 9).

[10] Далее в машинописи из архива В. Реккиа: «Его творчество началось с четырех “Симфоний”, которые следовали друг за другом с 1902 по 1908 г. Тема в них развивается не в соответствии с логикой мысли, но сообразно со стремлением выразить скрытый в вещах символ. С этих пор он оставляет изучение естественных наук, математики и философии. Последователь Когена и Риккерта, он испытывает влияние мистики Владимира Соловьева. Публикует обширное исследование, посвященное символизму; потом оставляет теоретические изыскания, чтобы посвятить себя исключительно литературной деятельности. Темперамент огромной жизненной силы (витальности), всегда открытый новому опыту, готовый рвать с прошлым, чтобы начинать сначала, выбирать новые дороги со всей энергией и неистощимым энтузиазмом. Своей философской культуре он придавал тенденцию к трансформированию в абстракции поэтических вдохновений от реальности. Склонный к мистике характер побуждал его искать таинственное значение даже в элементарных событиях жизни. Почти каждый год Белый выпускает новую книгу».

[11] Цитата из вступит. заметки Белого к циклу «Прежде и теперь» в его сб. «Стихотворения» (Берлин; Пб.; М.: Изд-во З.И. Гржебина, 1923. С. 169). Далее в машинописи из архива В. Реккиа: «Белый страстно ищет прочной концепции существования, которая со-

держала бы незыблемые ценности. Эта жажда в конце концов приводит Белого к опыту антропософии Рудольфа Штейнера. На протяжении его крестного пути рождаются многие другие книги. Среди них хотелось бы назвать “Урну”, произведение с мистическим фоном, свидетельство мучительной внутренней борьбы в душе поэта, – и “Пепел”, вышедший в 1907 г., реалистическую книгу, полную социального пессимизма. В конце одного из стихотворений Белый восклицает, обращаясь к своей стране:

“Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!”».

[12] В 1910 г. «Серебряный голубь» вышел отдельной книгой (М.: Скорпион, 1910); в 1909 г. роман печатался в журнале «Весы».

[13] Далее в машинописи из архива В. Реккиа: «за которой следуют “Петербург” и “Москва”. “Серебряный голубь” – своего рода духовная автобиография Белого».

[14] Далее в машинописи из архива В. Реккиа: «трактат, характеризующийся великолепием красок и музыкальностью, не имеющей себе равных в русской литературе».

[15] Далее в машинописи из архива В. Реккиа: «Его встречает безмятежная и душная родная деревня». После приведена цитата из романа в переводе О. Ресневич-Синьорелли: «Еще, и еще в синюю бездну дня, полную жарких, жестких блесков, кинула зычные клики целебеевская колокольня. Туда и сюда заерзали в воздухе над ними стрижи. <…> И жар душил грудь; в жаре стекленели стрекозиные крылья над прудом, взлетали в жар в синюю бездну дня, – туда, в голубой покой пустынь. Потным рукавом усердно размазывал на лице пыль распаренный сельчанин, тащась на колокольню раскачать медный язык колокола, пропотеть и поусердствовать во славу Божью». См.: *Андрей Белый.* Серебряный голубь: Рассказы / Сост., предисл., коммент. В.М. Пискунова. М.: Республика, 1995. С. 17 (глава первая, подглавка «Наше село»).

[16] Видимо, вольный пересказ начала подглавки «Две» третьей главы «Серебряного голубя»: «Катя! Есть на свете только одна Катя; объездите свет, вы ее не встретите больше: вы пройдете поля и пространства широкой родины нашей и далее; в странах заморских будете вы в плену черnooких красавиц, но то не Кати; вы пойдете на запад от Гуголева – прямо, все прямо; и вы вернетесь в Гуголево с востока, из степей азиатских; только тогда увидите вы Катю. Вот какая она – посмотрите же на нее: стоит себе, опустив изогнутые иссиня-темные и как шелк мягкие свои ресницы; из-под ресниц светят светы ее далеких глаз, не то серых, не то зеленых, подчас бархатных, подчас синих; что взор ее исполнен значенья и что взором она говорит вам то, чего сказать словами нельзя – это вы подумаете; но вы увидите, что то – обман, когда поднимет она на вас взор; ничего она не скажет глазами; глаза как глаза; ощупайте взором их – и ваш взор оттолкнется от просто красивого стеклянного ее взгляда, не проникнув в девичью душу <…>» (Там же. С. 79–80).

Далее в машинописи из архива В. Реккиа следовали еще цитаты из романа в переводе О. Ресневич-Синьорелли и ее пояснения: «Следуя за Матреной, работницей столяра, главы секты Серебряного голубя, Дарьяльский остается жить с ними в их грязном жилище, помогая столяру в его работе, предаваясь экстазам сектантской мистики: “…[Матрена,] рябая баба, – читаем в романе, – ястреб с очами безбровыми, не нежным со дна души она восходила цветком, и не вовсе грезой, или зорькой, или медвяной муравкой, а тучей, бурей, тигрой, оборотнем вмиг вошла в его душу и звала; и будила нежных уст ее усмешка пьяную, смутную, сладкую, легкую грусть, и смех, и бесстыдство: так жерло тысячелетнего прошлого, на миг разъятое, воскрешает воспоминанье о том, чего не было в жизни

твоей никогда, будит неведомый, до ужаса знакомый во сне лик; и лик восходит образом небывалого и все же бывшего детства; так вот у тебя какой лик, рябая баба!

Так думал Дарьяльский – не думал, потому что думы без воли его совершались в душе <...>”.

Столяр благосклонно смотрит на отношения своей работницы с интеллектуалом и надеется, что их союз вызовет к жизни духовное дитя. Но после тщетного ожидания, когда опустошенный и не оправдавший надежд Дарьяльский пробует освободиться, сектанты, боясь, что он может их разоблачить, убивают его. Спустя несколько лет, во время революции, нечто аналогичное сбывалось в реальности, как сбылся пожар его деревни, который он видит перед смертью: “Не успели опомниться, как уже грянула целебеевская колокольня; непривычно забила медная медь в вечернюю мглу: быстро сменялся удар за ударом; и когда народ повалил из чайной, в небе стояла черно-багровая мгла, а в ней трещало, шарахалось, прыгало светлое пламя, туда и сюда змеилось и сверкало многим множеством искр; будто мириады красных и золотых ос, спрятанных в улье, вылетели теперь в ночи мглу, чтобы жалить людей, покрывать их смертными красного жала укусами – и роились, свивались, светились в ночь головешки, как кровавые шершни; ясные раскуривались там змеи и быстро-быстро они выползали из-под углов, протягивали свои шеи, шипели и тянулись к соседним избенкам, освещая теперь целебеевский луг <...>”; “Колокольня кидалась медными криками: и туда, и сюда – и туда, и сюда: дон-дон-дон-дон; перекатывались душные дымы, упадая на землю кровавой завесой, из-под которой двуногие тени с криками продолжали бегать взад и вперед; был шип, треск, крик и бессильный детский плач; громким голосом возопила старуха; оголтелые хозяева выскакивали из соседних изб, и летели в дым сапоги, сарафаны, подушки, перины, юбки <...>”; “В этот миг неожиданно осветился луг, будто вспыхнул, да так, что и стоящим вдали стало жарко, а люди, суетившиеся у огня, с криком бросились прочь, закрывая руками закоптелые лица; у смородинника тогда увидали тощенькую фигурку, всю в белом; издали показалась молящаяся фигурка с высоко на огонь воздвигнутым запрестольным крестом; это попик Вукол с развевающимися кудрями вступал теперь в единоборство с огнем Христовой молитвою <...>”» (Там же. С. 22. Глава первая, подглавка «Дарьяльский»; С. 211–212. Глава седьмая, подглавка «О том, что делалось в чайной»).

[17] В Италию, Тунис, Египет, Палестину Белый с Асей Тургеневой ездил в конце 1910–1911 г. С Р. Штейнером он и А.А. Тургенева познакомились в мае 1912 г. На встречу к будущему учителю в Кельн они поехали не из Голландии, а из Бельгии (Брюссель).

[18] Ср. в машинописи из архива В. Реккиа: «Вместе со своей подругой, художницей он...».

[19] Имеется в виду пожар Гетеанума в ночь на 1 января 1923 г. Далее в машинописи из архива В. Реккиа: «“Серебряный голубь” глубоко меня взволновал. Я перевела его и опубликовала некоторые отрывки. Через друзей я переслала копию Белому. Он поблагодарил и прислал мне в ответ свою книгу “Первое свидание” с ласковым и сердечным посвящением. Он написал, что не знает итальянского языка, но его друзья очень хорошо отзывались о моем переводе. Посвящение на книге имело дату: 4 декабря 1922, – то есть канун Рождества. Осчастливленная подарком, я захотела сделать что-нибудь приятное любимому поэту. Я послала ему только что вышедшую “Сикстинскую капеллу” в иллюстрациях. В ответ получила взволнованное письмо, в котором Белый писал, что мой подарок явился ему “как рука, протянутая в момент глубокого отчаяния”. В Рождественскую ночь пожар разрушил Дорнахский храм, с которым у него было связано так много. И теперь ему казалось, будто Микельанджело указал ему новый путь... Вскоре после этого Белый уехал из

Дорнаха. Его подруга не последовала за ним». Белый покинул Дорнах не в 1923 г., а в 1916 г. В указанный период он находился в Берлине.

[20] Ср. строки из поэмы Белого «Христос воскрес»: «Россия, / Страна моя — / Ты — та самая, / Облеченная солнцем Жена, / К которой / Возносятся / Взоры... // Вижу явственно я: // Россия, / Моя, — / Богоносица, / Побеждающая Змия...».

[21] Далее в машинописи из архива В. Реккиа:

«В те дни вся окружающая нас атмосфера казалась будто сошедшей со страниц его произведений. Это был момент сильнейшей инфляции. Обменный курс менялся по четыре раза на дню. Жены служащих ожидали мужей у входа в их конторы, вырывали у них заработок и бежали обменивать его. Курс падал с головокружительной быстротой. 20 ноября 1923 г. доллар стоил четыре тысячи двести миллиардов марок.

Интеллигенция покидала Россию, уезжала за границу. Белый, выжженный изнутри неодолимой ностальгией, готовился вернуться на родину. Он говорил, что счастлив встретиться со мной лично. Повторял то, что уже писал мне, — что был бы рад, если бы я перевела его воспоминания о Блоке, когда они будут закончены. Он подарил мне все свои книги, изданные в последнее время в Берлине.

Он получил тогда гонорар от своих издателей. Его карманы были полны миллионами, которые нужно было тратить. В течение почти целой недели каждый день он приглашал меня и еще трех писателей, его и моих друзей, в лучшие рестораны».

[22] Правильно: «Снесите ему цветок» (см.: *Андрей Белый.* Пепел. СПб.: Шиповник, 1909. С. 183–184). О. Ресневич-Синьорелли приводит стихотворение по-итальянски, в собственном переводе, однако для перевода она, по-видимому, использовала сб. «Стихотворения» (Берлин; Пб.; М.: Изд-во З.И. Гржебина, 1923. С. 112), в котором стихотворение «Друзьям» воспроизведено с ошибкой (два раза «венок» во второй строфе). Здесь мы также воспроизводим пунктуационные особенности гржебинского издания.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Эльды Гаретто (Италия)

Андрей Шишкин (Италия)

ПОЭТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА НА СМЕРТЬ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Мы не знаем, как и от кого первого к Вяч. Иванову пришло известие о кончине Андрея Белого. К середине 1930-х его связи с советской Россией практически оборвались. Но уже 14 января 1934 г. Иванов, начинавший тогда зимний семестр в павийском Колледжо Борромео, получил из Милана письмо от художницы, переводчицы и антропософки Елены Григорович, в котором говорилось: «Я близко чувствовала Б<ориса> Н<иколаевича> между нами в эти дни в Павии, а теперь еще ближе. Путь <он> всегда останется с нами на наших “лестницах”»[1].

В библиотеке Вяч. Иванова в Риме сохранился 55-й выпуск парижских «Современных записок» с посвященными смерти Белого публикациями М. Цветаевой и В. Ходасевича. В конце 1934 г. Вяч. Иванов получил оттиск статьи Ф. Степуна «Памяти Андрея Белого» из следующего, 56 выпуска «Современных записок»[2]. Статья Степуна была близка многим идеям Вяч. Иванова о творчестве автора «Петербурга». Но когда уже через ряд лет Вяч. Иванов откликнулся на смерть Белого, ему больше припомнилось, как кажется, эссе Марины Цветаевой «Пленный дух».

Этот отклик мы находим в первом августовском стихотворении «Римского дневника 1944 г.». Стихотворение известно по публикации О. Дешарт[3].

В ночь звездопад; днем солнце парит,
Предсмертным пылом пышет Лев.
Спрячь голову: стрелой ударит
Любовь небесная – иль гнев.

Был небу мил, кто дали мерил
Кометным бегом – и сгорел;
Кто «золотому блеску верил»,
Поэт, – и пал от жарких стрел.

В бестенный полдень сколько милых
Теней глядится через смерть!
И сколько глаз в твоих светилах
Сверкнет, полуночная твердь!

И скольких душ в огнях падучих
Мгновенный промелькнет привет!
Угаснет пламень искр летучих,
Начальный не иссякнет свет.

А времена в извечном чуде
Текут. За гриву Дева Льва
С небес влачит. На лунном блюде
Хладеет мертвая глава.
2 августа

В Римском архиве Вяч. Иванова сохранилась его первоначальная редакция, в которой «беловский» слой представлен нагляднее, чем в окончательном варианте[4]. Приводим первоначальный вариант стихотворения:

Под знаком Девы солнце парит,
Зной пышет яростней, чем Лев.
Спрячь голову: стрелой ударит
Любовь небесная – иль гнев.

Был небу мил, кто дали мерил
Кометным бегом – и сгорел,
Кто «золотому блеску верил»,
Поэт, – и пал от жарких стрел.

В бестенный полдень сколько милых
Теней глядятся через смерть!
И сколько глаз в твоих светилах
Сверкнет, полуночная твердь!

И скольких душ в огнях падучих
Мгновенный промелькнет привет!
Угаснет пламень искр летучих;
Начальный не померкнет свет.

Но лишь в нетварном убеленье
Земля завидит свой Фавор,
Над полым гробом уж Успенье
Величит ангельский собор.

Заветный день Мадонны Снежной,
Пожар чистилища свяжи
И, след стопы лелея нежной,
Остылый пепел заснежи!
2/5-VIII <19>44.

Формально стихотворение написано на 10-летие смерти Андрея Белого[5]. О композиционном принципе «Римского дневника» сказано в стихотворении, датированном 8 августа. Подобно тому, как взвиваются в простор стаи ласточек в вечерний час, «когда закат оденет полнеба в злато», так душа ныне спешит напутствовать каждый миг «волной лирических отзвучий». «Свет Вечерний» – так назван

и весь поэтический сборник, завершаемый «Римским дневником»[6]. Высокое небо, освещаемое закатным светом, символизирует преддверие последнего пути, с высоты которого можно видеть события и вещи проще, в чем-то отрешеннее или значительнее, в некоей мистической вертикали.

Принцип «отзвучия» в ряде августовских стихотворений осуществлен так: в эпиграф или в сам поэтический текст введен законченный мифопоэтический фрагмент, принадлежащий далекому «собеседнику», с которым затем разворачивается диалог. Таковы стихотворения, обращенные к А. Блоку (№ 6)[7], Хуану де ла Крусу (№ 10)[8], Блаженному Августину (№ 11).

В случае Андрея Белого таким мифопоэтическим фрагментом оказывается его известное стихотворение 1907 г. «Друзьям» («Золотому блеску верил...»). Сам Андрей Белый видел в нем «эпитафию себе»; о том же писал Вл. Ходасевич. М. Цветаева отмечала в своем эссе в «Современных записках»: «Умер Андрей Белый “от солнечных стрел”, согласно своему пророчеству 1907 г.:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел...»[9]

Не исключено, что из цветаевского эссе в ивановский текст, хотя и в видоизмененном виде, пришла идея «*посмертья*» поэта, а ее рассказ о панихиде в парижском Сергиевском Подворье по Андрею Белому — «православных проводах *сожженного*» (курсив мой. — *А.Ш.*) — откликнулся в заключительной ивановской строке, ключевой для смысла всего текста.

Это четверостишие из стихотворения Белого «Друзьям» Вяч. Иванов привел во второй строфе своего стихотворения, но — в соответствии со своей диалогической поэтикой, со смысловым сдвигом. Если Белый говорил о себе «Думой века измерил, / А жизнь прожить не сумел», то Иванов ему противоречит: «Был небу мил кто дали мерил». Своеобразный диалог с Андреем Белым осуществлен и на макроуровне стихотворения: солнечно-огненный танатологический миф — беловское «умереть, чтобы... воскреснуть» — введен в специфический «римский» миф Вяч. Иванова. В «Римском дневнике» ходу мироздания довлеет смена планетных знаков, причем в самом явном и простом значении: на смену римскому знойному Июлю (созвездие Льва) приходит палящий Август (созвездие Девы)[10]. Но, в соответствии с ивановским принципом «от реального к реальнейшему», календарное время подчинено литургическому, в данном случае — римскому церковному календарю. Стихотворение закончено 5 августа, в день одного из самых чтимых римских праздников — In dedicazione S. Mariae ad Nives (Св. Марии Снежной). «По храмовому преданию римской базилики Санта Мария Маджора, Пресвятая Дева сама определила место и размеры будущей церкви знамением снега, выпавшего на холме Эсквилинском в ночь на 5 августа 352 года», — пояснял Вяч. Иванов в другом месте[11]. Молением о снеге к римскому празднику S. Mariae ad Nives это непростое стихотворение завершается:

Заветный день Мадонны Снежной,
Пожар чистилища свяжи
И, след стопы лелея нежной,
Остылый пепел заснежи!

Судьба Андрея Белого в композиции стихотворения, как видим, включена в литургическое время, которое преодолевает смерть, ведет к Преображению. Образы стихотворения полисемичны; помимо литургического значения здесь можно увидеть отсылки к концептам и символам из поэзии Белого, в частности к образу пепла и стихии огня[12]. Само *имя* Белого как бы растворено в тексте: анаграмматически оно присутствует во второй строфе, тематически – в бело-лазурно-золотой цветовой гамме всего стихотворения.

Символисты любили гадать о метафизической белизне бугаевского псевдонима. Метнер писал: «Андрей – по-гречески: мужественный, храбрый, отважный. Итак, смел и бел, соединение дерзновения со спокойствием, духа ратного и благодатного»[13]. «Голова его <Б. Бугаева> построена очень хорошо; она свидетельствует о способности этого колоссального ума со временем уравновеситься, стать “белым”»[14]. Флоренский в набросках рецензии на «Золото в лазури» отмечал: «желто-золотой (мужской) + голубо-лазурный (женский) = белый (синтез) <...>. Золото – Христос. Лазурь – София»[15]. Подобным образом писал и Вяч. Иванов в рецензиях на «Пепел» и «Петербург» Белого: «Поэт, чаявший белой соборности в свете и святой славе»[16], «В белую Фиваиду на русской земле поэт, я знаю, верует»: окказионализмы «белая соборность», «белая Фиваида», конечно, были гаданием о теургической энергии, которой в своей высшей потенции обладает имя писателя. Того же рода и строка о «нетварном убеленье» и преображении («Фавор») в стихотворении 1944 г. Так образ и миф возвращения/преображения/воскрешения получают у Вяч. Иванова новое значение в римском празднике S. Mariae ad Nives, Божией Матери Снежной. Ею оправдан и спасен пепел сгоревшего мира, в символистском контексте стихотворения – сам поэт, его мир и судьба.

---

[1] Архив Вяч. Иванова в Риме. Фонд Е.Ю. Григорович (1872–1960). О ней см.: *Scandurra Claudia.* L'emigrazione russa in Italia: 1917–1940 // Europa Orientalis. XIV. 1995 (2). P. 354.

[2] Оттиск надписан: «На память о А. Белом и Ф. Степуне. <...> Дрезден XI. 34».

[3] *Иванов Вяч.* Свет Вечерний. Oxford, 1962. См.: *Иванов Вяч.* Собр. соч.: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 622–623.

[4] Автограф карандашом. Римский архив Вяч. Иванова. Карт. II. Папка I. Л. 208. То, что «вторая строфа вспоминает Андрей Белого», было указано уже при первой публикации Ольгой Дешарт (см.: *Иванов Вяч.* Свет Вечерний. Oxford. 1962. С. 215).

[5] У Вяч. Иванова можно отметить внимание к «круглым датам». Так, первый раздел его книги «Борозды и межи» (1916) был посвящен статьям о Ф. Достоевском, Л. Толстом и Вл. Соловьеве, сами статьи были сочинены соответственно по поводу 30-летия, годовщины и 10-летия кончины писателей; в связи с этим раздел назывался «Героические тризны».

[6] Как и предчувствовал поэт, увидел свет сборник уже посмертно, в 1962 г. Символично, что за два дня до собственной смерти, 14 июля 1949 г., Вяч. Иванов дорабатывал мифопоэтический автобиографический сонет, начатый четырьмя месяцами ранее, который завершался так:

«И надвое, что было плоть одна, / Рассекла Смерть секирой беспощадной» (*Иванов Вяч.* Свет Вечерний. С. 103. Ср. С. 205).

[7] Ср. разбор № 6 у С.С. Аверинцева в его кн.: «Скворешниц вольных гражданин...». Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами. СПб., 2001 С. 128–130.

[8] См.: *Седано-Сьерра М.Х., Багно В.Е.* Вяч. Иванов и Сан Хуан де ла Крус // Вячеслав Иванов – Петербург – мировая культура. М., 2003. С. 52–60.

[9] См. в наст. изд.

[10] Здесь Иванов следует традиции средневековых латинских часословов.

[11] *Иванов Вяч.* Свет Вечерний. С. 190.

[12] Ср. «“Пепел” – книга самосожжения и смерти: но сама смерть есть только завеса, закрывающая горизонты дальнего, чтоб найти их в ближнем» (Вместо предисловия <к сборнику «Урна»>. Цит. по: *Андрей Белый.* Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 545); «И ты, огневая стихия, / Безумствуй, сжигая меня» и др.

[13] *Лавров А.В.* Андрей Белый в 1900-е годы. М., 1995. С. 147.

[14] Там же. С. 99.

[15] *Флоренский П., свящ.* Сочинения: В 4 т. М., 1994. Т. 1. С. 699. Эта формула должна была быть использована для его критической статьи о «Золоте в лазури» Белого. Сам Бугаев, переживая кризис, «усумнился во всем, что считал ценностью, усумнился в искусстве, в символе, в Боге, в Христе <...>. В результате: запрезирал в себе Андрея Белого, захотел стать Андрюхой Краснорубахиным» – письмо Белого к П. Флоренскому от 14 августа 1905 г. // Контекст–1991. М., 1991. С. 40.

[16] *Иванов Вяч.* Собр. соч.: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 4. С. 618–619.

Андрей Шишкин (Италия)

ЭМИЛИЙ МЕТНЕР И ВЯЧ. ИВАНОВ О СМЕРТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО
(материалы из Римского архива Вяч. Иванова)

В апреле 1934 г. на Страстную пятницу Эмилий Метнер из Цюриха, где он жил уже второе десятилетие, писал Вяч. Иванову в Павию, что в Северной Италии. Письмо начиналось пасхальным приветствием, а заканчивалось, видимо, ответом на вопрос поэта, так:

> О кончине Андрея Белого ничего не могу сказать, т<ак> к<ак> он кончился для меня в 1916 г. Единственное, что меня потрясло, это – известие, будто он за несколько часов до смерти просил прочесть ему стихотворение, по содержанию кот<орого> (как мне его передавали) я не мог не вспомнить тех, что он посвятил мне (это «закатные» и о «старинном друге»). – Потрясло это меня не эстетически-сентиментально, а как предсмертный упрек, что я не *простил* его; года два или три тому назад, когда здесь гостил театр Таирова, одна актриса, Киреевская[1], по поручению Бориса Н<иколаевич>а, говорила со мною о нем и о нашей ссоре; сказала, что Б<орис> Н<иколаеви>ч *ждет* (но *не* просит, т<ак> к<ак> *не* считает себя виновным) моего прощения; ей не удалось уговорить меня; я поручил ей передать ему сердечный привет, но не прощение. – Кончаю. Обнимаю Вас крепко, дорогой
>
> Любящий Вас Э. Метнер[2].

За холодной дистанцированностью и малоуместным каламбуром («о кончине» – «кончился») в этих противоречивых строках стояла драма разрыва[3]. В первые годы XX века московские мифотворцы – Андрей Белый вместе с Эллисом (Кобылинским) и Метнером – основали «братство аргонавтов». Упомянутые здесь поэтические тексты «Золотое руно» и «Старинный друг» (1903) были наиболее значительными стихотворениями в цикле «аргонавтов» в первой книге Белого «Золото в лазури». «Золотое руно» воспринималось современниками как своеобразный пароль «аргонавтов» и их посвятительная клятва[4]. «Старинный друг» повествовал о встрече двух друзей уже за гранью жизни. Мы можем увидеть здесь своеобразную мифопоэтическую дивинацию, попытку предсказания будущего:

Старинный друг, к тебе я возвращался,
весь поседев от вековых скитаний.
Ты шел ко мне. В твоей простертой длани
пунцовый свет испуганно качался.

Ты говорил: «А если гном могильный
из мрака лет нас разлучить вернется?»

А я в ответ: «Суровый и бессильный,
Уснул на веки. Больше не проснется»...

К тебе я вновь вернулся после битвы.
Ты нежно снял с меня мой шлем двурогий.
Ты пел слова божественной молитвы.
Ты вел меня торжественно в чертоги.

Надев одежды пышно-золотые,
мы, старики, от счастья цепенели.
Вперив друг в друга очи голубые,
у очага за чашами сидели.

. . . .
Вдруг видим – лошади в уборе жалком
к чертогу тащат два железных гроба.
Воскресший гном кричит за катафалком:
«Уйдете вы в свои могилы оба»...[5]
. . . .

Мистический сюжет этой дивинации особенным образом прочитывался в 1934 г., на фоне последних, несчастливых, лет жизни Белого и Метнера: встреча двух друзей после разлуки и изгнания, надежда на освобождение от смерти, ее неминуемый приход, бездна времени и вечность, наконец соединение в загробном мире. Но на пороге смерти Белого этот мифопоэтический текст делался как бы «письмом с того света». Можно только догадываться о мыслях, которые вызывали эти строки у «старинного друга», который отказался от примирения.

Между тем в начале века Метнер был ближайшим другом и союзником Белого. Метнер записывал в своем дневнике от 16 сентября 1902 г.: «Борис Бугаев – единственный человек из ныне живущих и мне личных знакомых, который понимает меня до конца... Борис Бугаев по своему духу – самый близкий мне человек, начиная с общих вопросов и кончая интимнейшими настроениями, убеждениями, созерцаниями – у нас одинаково...»[6]. О Метнере этой эпохи Белый вспоминал в своей книге «Начало века» так: «Труд, не написанный им, в сознаньи моем перевертывал свои страницы, играя и краской, и линией правды: в десятилетиях дружбы, в сотнях писем, в тысяче им мне подаренных часов, когда он, немой в большом обществе, но светозарный в своем круге, вписывал свой труд в наши сердца: с деталями, с комментарием к каждой книге; две им написанные книги – “Музыка и модернизм” и “Размышления о Гете” – бледные перепевы им уже сказанного»[7]. В этом же ключе были и другие зарисовки, которые в воспоминаниях составили главку «Эмилий Метнер». Белый следовал здесь принципу описывать современника «не таким, каким он стал, а таким, каким был», – объяснял он в предисловии 1932 г.[8]

Как известно, разрыв произошел в середине 1910-х из-за обращения Белого к антропософии Рудольфа Штейнера. Между прочим, не приняли уход к Штейнеру также и многие другие друзья Белого (например, А.А. Блок или С.М. Соловьев).

Но в случае Метнера расхождение было вынесено на страницы печати. В 1914 г. в издательстве «Мусагет» Метнер издал объемистую — 527 страниц! — книгу «Размышления о Гете. Книга 1. Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма». В ней штейнерианство было представлено как искажение гетеанства.

Белый ответил книгой «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности...» (М., 1917). В ходе последовавшей полемики теоретическое расхождение превратилось в личный конфликт, а затем в смертельную вражду[9]. В 1920-х сам Белый признавался, что пришел к идее «не пощадить» «старинного друга» и, не ограничиваясь защитой «Доктора», «уничтожить метнерово понимание Гете, зная, что этого мне Метнер не простит никогда»[10]. В своей частной переписке Белый мог упоминать Метнера как «умолкшего» друга, кривая жизни которого — «взлет “горé”»[11]; в путевых заметках «Ветер с Кавказа» — сожалеть о потере друга-врага[12]; а в мемуарах — отделить образ «аргонавта» от Метнера эпохи 1913–1916 гг., когда тот стал для поэта «врагом», всадившим поэту «под флагом былой дружбы» «нож в сердце»[13].

Время не притупило чувств и Эмилия Метнера. Разрыв с Белым — почти постоянная тема Метнера в его письмах из Швейцарии к Вяч. Иванову. Уже в первом письме от 6 мая — 23 июня 1925 г. краткий отчет о событиях своей жизни за последние годы Метнер заключал: «Моя “пря” с “meine anthroposophishen Freunde”, вероятно, Вам известна». В других письмах к Иванову имя автора «Золота в лазури» не раз возникало в самых разных контекстах. Метнер, в частности, вспоминал, что был обязан московскому поэту псевдонимом: «Окрестил же Андрей Белый меня для статей в “Золотом руне” Вольфингом» (письмо от 29 апреля 1933 г.). Но Белый после 1916 г. больше не существует для «старинного друга» — «Андрей Белый сам уничтожил свою дружбу со мной» (письмо от 8 июля 1929 г.).

В 1935 г. Метнер вновь вернулся к своему спору с Белым в большой статье на немецком языке 1935 г., посвященной Карлу Густаву Юнгу[14]. В 1917 г. именно Юнг, как сообщается здесь, оказался терпеливым и сочувствующим слушателем многочасовых рассказов Метнера о его разрыве с Белым. Расспрашивая Метнера, Юнг пытался уяснить психологию личности Белого и Штейнера и создать их аналитический портрет[15]. В конце концов Юнг настоял на том, чтобы Метнер подробно записал свое изложение конфликта с Белым. Имеет смысл привести большой фрагмент из статьи 1935 г., никогда полностью не воспроизводившийся на русском языке (перевод с немецкого Марии Каменкович):

> На мою русскую книгу, которая незадолго до начала войны вышла в Москве и, среди прочего, подверглась острой, однако чисто научной критике со стороны антропософов, один русский писатель, который имел большой вес и как поэт, и как мыслитель, еще до войны ставший антропософом, отозвался критикой, крайне для меня болезненной, уснащенной множеством намеков, но под маской притворной научности, — и при этом самого личного свойства.
>
> Эта весьма пространная критика вышла в свет в Москве через три года после выхода моей книги, то есть в то время, когда я не мог ожидать чего-либо подобного и не имел возможности ответить, поскольку все мои связи с родиной были разорваны из-за переворота. Уже одной этой катастрофы было для меня вполне дос-

таточно. Но надо было придти еще одному целенаправленному удару. Если бы этот писатель не был моим ближайшим и доверенным другом на протяжении целых 15 лет, если бы он не был столь знаменит и не был бы известен также и в Западной Европе, мне было бы не так тяжело перенести этот удар.

Мне показалось, что разыгрывается акт моей жизни, который я мог бы назвать «Друг умер, да здравствует друг!» — поскольку я принадлежу к типу людей, которым для их самобытия и самостановления необходимо дружить и пестовать дружбу, а потому они постоянно пребывают в поиске дружбы. Удивительно: мой, если так выразиться, вынужденный разрыв с Андреем Белым и само собой случившееся сближение с Юнгом, который помог мне в этот момент и как психолог, и просто как человек, произошли в течение двух недель в Шато д'О (в 1917 году).

Многое здесь может показаться достаточно поразительным: и жесткие оценки в адрес уже покойного поэта, и утверждение культа дружбы (действительно, в высшей степени присущего русской культуре начала XX века: ср. пары «Вяч. Иванов — В. Эрн» или «П. Флоренский — С. Булгаков»), и осмысление роли Юнга — не столько как практикующего психоаналитика, сколько как творческой личности, равновеликой по значительности Белому. Показательно, что Метнер несколько месяцев медлил с отсылкой этой статьи Вяч. Иванову, а послав ее, счел необходимым специально объясниться:

Шлю Вам наконец оттиск своей статьи из Festschrift. Без малого полгода, что я имею эти оттиски. Но Вам не решался показать по двум причинам:

1) Статья не вышла такою, какою я ее задумал <...> 2) Сомневался из-за абзаца об Андрее Белом. Думаю, что Вы сочтете меня злопамятным, т<ак> к<ак> я-де не простил А. Белому и после его смерти. Но мне необходимо было упомянуть о нем — самая тема требовала этого. Впрочем, да: ему я до сих пор не могу простить ни его штейнерианства, ни его глубоко- и хитро-фальшивой памфлетной критики моей книги... — Но упоминание Андрея Белого в статье об Юнге вполне предметно обосновано, а не лично подсказано каким-то мстительным чортиком.

(Письмо от 9 марта 1936 г.)

Любопытно совпадение: как раз весной 1936 г. Вяч. Иванов убеждал примириться с Метнером третьего «аргонавта» — Эллиса (Л. Кобылинского), тот благодарно воспринял ивановский совет, но запоздал: Метнер умер ранним утром 11 июня в психиатрической клинике в Германии[16].

---

[1] Галина Сергеевна Киреевская (1897–1987) — актриса Камерного театра, член Антропософского общества, хорошая знакомая Белого.

[2] Архив Вяч. Иванова в Риме. Оп. 3. № 141. Далее фрагменты из писем Метнера к Иванову приводятся в тексте без сносок.

[3] Совсем в ином ключе писал Метнер в Москву к Вере Карловне Тарасовой: «Искренность и теплота в отношении ко мне была всегда у А. Белого (с 1902 г.); я знаю, что он любил меня м<ожет> б<ыть> больше, чем Блока и С.М. Соловьева» (письмо от 15 апреля 1934 г.; сообщено М. Юнггреном).

[4] *Лавров А.В.* Андрей Белый в 1900-е годы. С. 115.

[5] *Андрей Белый.* Стихотворения и поэмы. М., 1994. С. 76.

[6] Цит. по: *Андрей Белый.* Стихотворения и поэмы. М., 1994. С. 504 (прим. С.И. и В.М. Пискуновых).

[7] *НВ 1990.* С. 88, 582 (первоначальный вариант текста в прим. 142).

[8] Там же. С. 14.

[9] См.: *Юнггрен М.* Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера. СПб., 2001. С. 114–126, 153–167 и др.; Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 61 (прим. 6).

[10] *Андрей Белый.* Материал к биографии (интимный...) // Минувшее. Т. 8. С. 412, 416. История полемики изложена в комментариях И.Н. Лагутиной в кн.: *Андрей Белый.* Собр. соч.: Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Воспоминания о Штейнере. М., 2000. Здесь же приводятся фрагменты из неопубликованного ответа Метнера Белому.

[11] Письмо к Иванову-Разумнику от 26 июня 1929 г. (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 637).

[12] «Поняли вы, что та твердость – не злоба, а принцип, доказанный всей ситуацией жизни моей» (*Андрей Белый.* Ветер с Кавказа: Впечатления. М., 1928. С. 292). Отмечено в кн.: *Юнггрен М.* Русский Мефистофель. С. 228 (прим. 51).

[13] *НВ 1990.* С. 15.

[14] Bildnis der Persönlichkeit im Rahmen des gegenseitigen Sich Kennenlernens // Die Kulturelle Bedeutung der komplexen Psychologie. Herausg. vom Psychologishen Club Zûrich. Berlin, 1935. Юнг достаточно подробно откликнулся на эту статью в письме к Метнеру от 31 июля 1935 г. См.: *Юнггрен М.* Русский Мефистофель. С. 257–258.

[15] Подобный портрет Белого см. в письме Метнера к Тарасовой от 15 апреля 1934 г. в кн.: *Юнггрен М.* Русский Мефистофель. С. 228–229.

[16] Первая часть письма Эллиса к Иванову (апрель 1936 г.; с пометой «Очень интимно») посвящена разрыву с Метнером (Русско-итальянский архив. II. Salerno. 2002. С. 160–162); при желании в этих страницах можно увидеть параллели с разрывом Метнера и Андрея Белого.

ЭЛЛИС

«МОИ МЕМУАРЫ О А. БЕЛОМ»
Наброски

От автора

Сами собой сложились эти строки в страницы, образы прошлого встали пестрой толпой с совершенной ясностью... Их реалистическая (хронологич<еская> и эмпирическая) буквальность менее занимала меня сравнительно с их психологической правдой.

Если здесь *Dichtung* идет подчас рядом с *Wahrheit*[1] то не в смысле отрицания или изменения *Richtigkeit*[2] того, что было, но в том смысле, что старая, столь дорогая нам мистическая Москва была страной фантастического столько же, сколько и городом историческим, особенно в последние десятилетия до катастрофы, к<ото>рая сама, в свою очередь, одновременно исторична и таинственна (мистична). Она создала связь, единство того, что было до тех пор разъединено, и этим ускорила обнаружение бездны. Москва (и Россия вообще) культурная и политическая не была слита, соединена с Москвой (и Россией) мистической.

Распинание на одном кресте мученичества за свободу и правду представителей Москвы гуманистической (и культурно-политической) и представителей Москвы православной создало эту необход<имую> духовную связь. Их кровь слилась вместе. Это – залог б<олее> светлого будущего, ибо нельзя не верить в не сравнимое ни с чем мистическое значение жертвы, во власть крови безвинно убитых. А. Пушкин создал величайшую трагедию в «Борисе Годунове», дав поэтич<еское> выражение мистич<еской> истине о всемогуществе мученичества, ибо Годунов и Лжедмитрий гибнут о<т> власти убиенного без вины царевича.

На обложке книги «Памяти погибших» – терновый венец[3], но Кто же первый освятил его? Христос! Так<им> образом неминуемы и полит<ические> мученики, <которые,> проливая кровь без оружия и вины, включаются в сонм мистич<еских> страдальцев за правду. Реально-полит<ичес>кая точка зрения здесь недостаточна.

Возврат и смерть кн. Долгорукова, конечно, понятен лишь в свете мистической глубины голоса совести[4], как и уход и смерть Л. Толстого. Этим его личность вырастает над политикой безмерно. Но и обратно, мученич<еская> смерть первых христиан, особенно св. Себастиана, св. Лаврентия и всего так наз<ываемого> «Фиванского легиона»[5] явилась мистической основой возрождения падшей imperium romanum[6] Нерона и Диоклетиана как империи Константина В<еликого>. *Здесь строгая обоюдность*!

Мученич<еская> судьба декабристов заставила забыть нелепость их реально-политич<еских> планов, но превратить в легенду немеркнущий этический идеал, за к<ото>рый они страдали («Рус<ские> женщины» Некрасова). Пролитой невин-

но и безоружно кровью искупляются полит<ические> ошибки партии К.Д.[7], но и для чуждых партий честных лиц морально-мистич<еская> ценность ее культурных представителей вырастает безмерно![8]

Мистич<еская> Москва жила таинственной и глубокой жизнью с эпохи основания Кремля. В Москве все таинственно, и Кремль, и соборы, и Марьина роща, и Сухарева башня, и Новодевичий монастырь. Центр<альной> мистич<еской> фигурой конца прошлого века (Москвы) был Вл. С. Соловьев. Я застал лишь его брата Михаила С<ергеевича> за 1 год до его смерти[9]. У него в доме зародился рус<ский> символизм и мистицизм «Пути»[10], кружка «Арго»[11] и «Мусагета»[12]. Мои мемуары о А. Белом затрагивают этот исходный пункт.

Явь и сон, жизнь и мечта, искусство и мистика так прихотливо переплетаются в мистич<еской> Москве начала 20<-го> в<ека>, что немыслимо характеризовать ее психологически, не вспоминая вещих снов и полуреальных видений вместе с событиями внешней биографии поэтов и мистиков.

Есть воспоминания горькие и грустные, как звуки далекой валторны, это закат умирающего прошлого. Но есть воспоминания живые, подобные свиданию с прошлым, не исчезающим, но преображенным. Вл. Соловьев восклицает в одном стихотворении

> «Ты меня не уверишь ничем,
> Что сгорел этот день без возврата!»[13]

Он верил, что каждый день возвращается в лоно вечности. Добавим, что не весь день, но все то в нем, что жило во времени для вечности. Всякий мученич<еский> венец преображает временное в вечное, каждый миг, посвященный Вечному, останавливается, не ускользает в бездну небытия бесследно.

Мистич<еская> и поэтическая Москва начала века грезила о вечном, жутко и горячо, хотя часто и хаотически, жила для иного мира, и миги эти запечатлелись навсегда.

Я стараюсь здесь просто рассказать о них, втянутый живыми воспоминаниями в мир преображенных образов (не теней) и ликов, составляющих царство «*незабвенного*».

*

Из моих воспоминаний о старой Москве

> Сердце в будущем живет;
> Настоящее уныло:
> Всё мгновенно, всё пройдет;
> Что пройдет, то будет мило.
>
> *А. Пушкин*[14]

> Ты меня не уверишь ничем,
> Что сгорел этот день без возврата!
>
> *Вл. Соловьев*

I
Моя первая встреча с А. Белым

Вместо предисловия

Как горько и как сладко вспоминать! То, что жило когда-то и боролось за право жизни, страдало и радовалось и живило... и вдруг погибло, исчезло, умерло — и отражается лишь бледной тенью в таинственном царстве неуловимых, одаренных новой, но уже порвавшей связь с действительностью, с историей и плотью мира сего, жизнью[15] мучительно оторвано от нас. Между нами, еще прикованными к незыблемой скале видимой действительности, и облаками воспоминаний, плывущими над нашей головой свободно и беспечно, куда им самим захочется, — разрыв, огромное пустое пространство — и потому горько и грустно воспоминание о том, что было здесь на земле и чего никогда уже более здесь не будет.

Однако царство воспоминаний легче, подвижнее-свободнее и светлее, чем мир земной, закованный в три измерения пространства и времени действительности, подобно тому, как и легкий, прозрачный мир облаков ближе к небу и солнцу и потому чище, светлее и прекраснее, чем даже самые высокие вершины земной действительности. Мы же осуждены жить в низких, туманных долинах и редко поднимаемся на вершины гор. Поэтому сладки и светлы для нас даже самые грустные воспоминания!

Однако всего важнее для нас, *о чем* и *ком* мы вспоминаем; если мы вспоминаем не «памятью рассудка», а «*памятью сердца*»[16] и только ту сторону земных, всегда безнадежно-сложных и преходящих явлений, к<ото>рая обращена к вечности и таит в себе как бы светлый залог их преображения, то невольно при созерцании бегущих над нами облаков воспоминаний мы обратим свой взор к будущему, туда, где у порога вечности должно стать иным, совершенным все, что достойно иной жизни, если вся наша жизнь на земле вообще имеет смысл и цель. «*Настоящее уныло*», особенно то настоящее, к<ото>рое стремится загнать нас в туман долин и болот, но если наше «*сердце*» способно «*жить в будущем*», то тогда воистину «*что пройдет, то будет мило*»!

Уйдем же на несколько мгновений от горечи унылого настоящего, вспоминая из всего того, что было мгновенным здесь и что прошло на земле, только то, что...[17]

Пока мы сами живем и действуем на сцене действительности, плывем в потоке временных явлений, сливаясь с иллюзией единственной значимости настоящего, забывая о прошедшем (корне) и не видя будущего (вершины настоящего), мы не можем отделить во всем том, что живет, плывет, дышит и трепещет заодно с нами, подлинного от призрачного, истинного от ложного и просто-временного (преходящего без следа) от временно-вечного, т.е. того, что за своей преходящей, мгновенной видимостью уже таит в себе искру вечного, как залог чуда преображения.

Но вот прерывается быстрый поток жизни, то иссякая в песках безвременья, безжизненной засухи мертвой годины, то жестоко срываясь безумным водоворотом в пропасть исторической катастрофы, то разбиваясь на тысячу ничтожных ручейков ничтожности, — и то, что жило, творило и боролось, вдруг пропадает из этого мира, утопая в глубинах потока или исчезая в легкой пене его. Тогда мы вдруг горько пробуждаемся на берегу его и видим себя в мертвой долине одинокими и забытыми. Тогда невольно обращается все наше потрясенное существо к тому, что

было и чего уже нет, к тому, что хотело быть и дышало и жило, и верило, и боролось. Тогда проносится высоко над мертвой долиной безвременья и изгнанничества светлый поток воспоминаний, легкий, свободный и прозрачный, как караван облаков. Но вглядываясь, мы замечаем с тайной радостью, что в нем воскресло и преобразилось наше прошлое, что многое уже исчезло бесследно, ибо было искони призрачно и ничтожно. Те лики, образы и голоса, к<ото>рые преображаются и снова приходят к нам в этом царстве воспоминаний, становясь на миг нашим вторым настоящим, и суть наше истинное прошедшее. Эти образы прошедшего, что, подобно стае журавлей, высоко парящей в теплую страну при наступлении холодной поры, несутся странной толпой к свету будущего, суть лучшая часть нашей собственной души, ибо пробьет час, и мы сами станем воспоминанием для темной, мертвой долины изгнания и сольемся (если мы окажемся достойны этого) с этой светлой стаей окрыленных образов и дорогих ликов того прошлого, к<ото>рое никогда не проходил<о>, ибо оно «незабвенно» для памяти сердца!

Несколько вступительных замечаний

Судьба связала меня с Борисом Николаевичем Бугаевым (Андреем Белым*) с самого начала его и моей литературной работы, когда только что появился в печати его первый литературный опыт, а именно «Симфония» (драматическая), и подготовлялась к печати, точнее – писалась без мысли о печати, целая кипа стихотворных (и отчасти прозаических) набросков, строф и законченных лирических стихотворений, довольно случайный выбор из к<ото>рых появился под заглавием «Золото в лазури», как первый сборник его стихов (в издательстве «Скорпион»)[19]. С тех пор и до нашей последней встречи в Германии, в Штутгарте в 1913 году, т.е. около года до начала роковой всемирной войны, когда наша[20] разница во взглядах на смысл и цели учения известного оккультиста *Dr. R. Steiner'a* оказалась настолько безусловной и непримиримой, что мы решили порвать всякие взаимные отношения[21], – вся наша личная и литературная жизнь и деятельность прошла в самом тесном общении, в самой непосредственной и активной, идейной и дружеской связи.

Встречались ли мы в интимных, семейных кругах (у М.С. Соловьева[22], у Гр. А. Рачинского[23], у П.И. Астрова[24] и <в> др<угих> домах, являвшихся живыми средоточиями идейной жизни в тихом семейном и дружеском, отчасти даже братском общении), в литературных собраниях или редакциях («Весов», позже «Мусагета» и др.), оказывались ли мы совершенно согласными или выступали как противники по отдельным вопросам – все равно мы шли по одному и тому же пути и к той же общей цели или, по крайней мере, мы искренне верили в это, нам казалось, что это так и есть и иначе и быть не может...

Тогда в живой, подчас страстной, борьбе за то, во что мы смутно, но горячо верили, в стремительном, кипящем потоке настоящего, мало думая о прошлом и часто видя будущее таким, каковым мы желали его видеть, мы слишком мало задавались вопросом о том, что в наших личных отношениях было преходящим, чисто-временным и что коренилось в области более глубокой, незримо таящейся за

* Он сам обыкновенно объяснял символический смысл этого литературного Псевдонима, указывая на то, что Андрей (’Αυδρειος) – победитель и Белый – светлый, чистый, соединяющий воедино все цвета, означает путь к высшему идеалу (прим. Эллиса)[18].

быстро несущимся потоком каждодневной жизни. То все казалось одинаково важным, значительным, символически-знаменательным, то находили времена затишья, потемнения и безнадежности.

Каким различным являлся моему духовному взору весь облик А. Белого в различные эпохи этого немалого периода времени тесной, личной дружбы и общей идейной работы. Он подлежал началу совершенной, загадочной метаморфозы. В самом деле (думается теперь при созерцании облака воспоминаний, целого небосклона минувших образов), была ли то одна и та же личность, одно и то же существо — А. Белый первого — пламенно-мистического, отрочески-наивного, но светлого и душевно-аристократического периода «Симфоний» («драматической» и «героической», или северной), «Золота в лазури» и первых по-утреннему свежих, призывных статей его в «Новом пути», «Мире искусства» и «Весах», и А. Белый, полный отчаяния, безнадежного самоотрицания и совершенного духовного одиночества (сборников стихов) «Пепла», «Урны» и одновременно холодно-интеллектуального (абстрактного) сооружения теоретической системы «символизма», и А. Белый — автор своих хаотически-химерических романов («Серебряный голубь» и «Петербург»)[25], в к<ото>рых изображение русской деревни и рус<ской> столицы ограничивается исключительно сферой религиозного и политического еретичества и насильничества, но где ничего не замечено и не отмечено из царства «св<ятой> Руси» и из мира «России духовной», к<ото>рые оба в их дву-единстве искони являлись количественно малой, но качественно великой и подлинной сущностью земли русской и рус<ской> народной души*... и, наконец, А. Белый — «антропософ» и строит<ел>ь дорнахского капища, сгоревшего самым загадочным образом, словно в опровержение перед глазами всего мира пресловутой «ясновидческой» силы R. Steiner'а, читавшего лекцию (Vortrag) как раз в то время, когда уже начался пожар[26]. Я не говорю уже здесь вовсе о том последнем облике возвратившегося в большевистскую «Россию» и ставшего лояльным служителем ее диктаторов автора последних книг (вроде «Начала века»)[27], в к<ото>рых попирается и отвергается все то, что в лучшие годы исповедывалось с искренней верой и вдохновением... ибо здесь воистину не видно уже вовсе поэта-мистика А. Белого за безымянным и обезличенным «товарищем» красным или еще более озлобленным отрицателем без всякой веры и творческого энтузиазма.

Эти последние метаморфозы лика, бывшего когда-то светлым («белым») и стремившегося к победе над тьмой и неправдой, столь чужды и ложны, почти невероятны для тех, кто знал и не забыл этот прежний, истинный лик А. Белого, что им нет вовсе места в царстве воспоминаний, особенно тех, что из сумрака прошлого обращены к свету будущего.

Но — странное дело — из всех пережитых за более десяти лет чувств и мыслей в общении с А. Белым, из наблюдения столь существенно различных обликов его сохранился в царстве дорогих сердцу воспоминаний («что пройдет, то будет мило») совершенно четко только первый, отрочески-свежий, утренний лик его, столь тесно слившийся с символизмом его имени. Это был светлый, белый лик бескорыстного провозвестника новых чаяний, новых путей столько же эстетического созерцания и отображения высшего мира в потоке бегущей мимо, земной

* Реальность мистическая и историческая этих обоих истинных ликов России доказана тысячами мучеников и изгнанников за правду христ<ианской> веры и политич<еской> свободы (прим. Эллиса).

призрачности, как и мистического ясновидения, в их тесном, неслиянно-нераздельном двуединстве запечатленного названием символизма. Не вождем и учителем, но герольдом, т.е. предвозвестником появления великого вождя и учителя истинного пути выступил он тогда, в начале века[28]. Эта первая пора его выступления может быть определена как пора лиризма и импровизации, пора горячего и самого искреннего искания примирения двух волновавших всю мыслящую и чувствующую Россию (как религиозную, так и культурную, подлинно-гуманистическую Россию), диаметрально-противоположных учений-миросозерцаний Вл. Соловьева и Фр. Ницше[29]. А. Белый мучительно искал синтеза этих двух идейных противников, и ему казалось, что ближе всего к этому выходу из тезы мистического учения Вл. Соловьева о Богочеловеке Христе и богочеловечестве — вселенской церкви и антитезы — полуфантастического видения Фр. Ницше сверхчеловека в символическом образе его Заратустры — стоит идея Мережковского о встрече, борьбе и конечном примирении Богочеловека с человекобогом[30].

Конечно, при толковании как В. Соловьева и Ницше, так и Д. Мережковского (особенно I тома его исследования «Толстой и Достоевский») герольд А. Белый вносил очень много собственного[31], личного, еще не продуманного окончательно, однако это толкование его было столь новым, искренним, пробуждающим и блестящим по форме, что невольно запечатлевались как образ самого герольда, так и целый мир его поэтических грез, многоцветных символов, идей, полу-намеков и мистических прозрений...

Конечно, эта попытка «синтеза» богочеловеческой (христианской) премудрости и «сверхчеловеческой» (люциферианской) соблазнительной и языческой (магической) лже-мудрости* не могла удасться и не удалась, и сам Д. Мережковский со свойственной ему исключительной честностью открыто заявил о невозможности слияния до-христианской мистики с безусловной и совершенно-истинной мудростью христианской в последнем труде своем «Неведомый Иисус» («Jesus der Unbekannte»)[32], написанном незадолго до соединения его со вселенской церковью[33] в 1933 г., в к<ото>ром он исповедует самодовлеющее и не сравнимое ни с чем значение евангелия, как богооткровенной истины.

Тем не менее все эти искания невозможного клада всеобъединяющей истины не были бессмысленны и бесплодны, ибо они были совершенно благородны, чужды приемов насилия и духа ненависти и фанатической нетерпимости к «неверующим» и потому именно привели всех, оставшихся верными этому первому завету бескорыстия и свободы, к цельности истины христианской, что все иные пути были добросовестно испытаны и изменили[34].

Живо вспоминая того первого А. Белого, невольно переносясь в тогдашний духовный мир и жизненную обстановку русской культурной эпохи между смертью Вл. Соловьева и великим кризисом 1905–6 г., я утрачиваю чувство реальности того, что произошло позже в мертвые годы красного ужаса и безумия со многими, достойными лучшей участи...

Разве тогда могло бы прийти на ум кому-либо из нас, называвших себя «русскими символистами» и прежде всего посвящавших все наши силы исканию вечной, запредельной истины и мистического света[35], «Золота в лазури» и «Белой Розы»,

---

* Сущность к<ото>рой заключалась в смешении довольно произвольном дионисизма древней Греции с культом Митры древней Персии (прим. Эллиса).

что через два десятилетия столь очевидная даже малым сим ложь самого грубого безбожия* со всеми его красными ужасами и звериными исступлениями массовой одержимости соблазнит хотя бы единого из нас?

Вот почему в царстве воспоминаний вместе с образами немногих духовно близких и незабвенных, как бы неизменно, незримо сопутствующих мне на внутреннем пути людей, о к<ото>рых хотелось бы рассказать хотя бы самое значительное, как Гр. А. Рачинский, П.И. Астров, С.М. Соловьев, С.Н. Дурылин и др., живет и образ А. Белого, однако лишь первый, светлый и юный образ его, привлекший меня к себе при первой же нашей встрече, о к<ото>ром я расскажу сейчас.

Моя первая встреча с А. Белым

Она состоялась ранней осенью 1913 г. <так!>[36], и воспоминание о ней навсегда осталось самым ярким и дорогим из всего, что было пережито и передумано совместно более чем за десять лет нашей дружбы.

Чтобы понять все значение этой встречи для меня именно в то самое время, когда она имела место, необходимо перенестись в середину знаменательного пятилетия (1900–1905 гг.), когда заложены были зачатки почти всех позже столь трагично развернувшихся духовных и общественных движений русской жизни, зачатки столько же богатые и полные сил, сколь и исполненные роковых противоречий.

Основной, роковой антиномией этого пятилетия была глубокая пропасть между личностью и общественной средой, между индивидуальной духовной жизнью, достигшей огромной напряженности и творческой силы, но в силу оторванности своей от гармонической цельности и связи с русской народной душой и общественной, коллективной личностью, выродившейся в индивидуализм и эстетизм, и общественной мыслью, принимавшей все более и более активный, предреволюционный тон, однако в силу оторванности своей от духовных заветов общественности гуманистической (основанной на определенном идеализме), начавшей резко склоняться к утопизму и материализму. Конкретной формой этого течения стала принявшая самый страстный характер борьба «народничества» и «марксизма», причем именно последний приобрел тогда тон воинствующего материализма («диалектического, или экономического» материализма) и при всем своем стремлении к научности – также и утопизма, призывая рус<скую> действительность сделать прыжок из царства абсолютизма в царство социализма мимо всей эпохи либерализма, парламентаризма и т.п. и внося в идею классовой борьбы чисто русский догматический уклон. Между тем официальная, правительственная политика приобретала все более и более националистический, агрессивный характер, бессознательно подготовляя катастрофу японской войны**.

Однако все эти совершенно противоположные общественные тенденции не проявили еще в это пятилетие явно всех своих сил, и потому столкновение их и катастрофический обще-русский кризис (война – революция – реакция) стали достоянием следующего периода, когда впервые сделана была также и крупная

* Точнее, противобожия, ибо безбожие (атеизм) – в сущности лишь крайняя ступень индифф<ер>ентизма в религии, равнодушия неправедного, но все же мирного. Борьба же фанатическая с идеей Бога много хуже (прим. Эллиса).

** Война с Японией 1904 г. явилась началом нового периода (прим. Эллиса).

попытка внутри самой борьбы за свободу найти равновесие и границу осуществимого.

Пятилетие (1900–1905) было разрозненным и утопичным, ибо искание свободы внутренней отдельной изолированной личностью и борьба за свободу внешнюю (политическую и социальную) не соединились между собой.

Бросая вспять взгляд на самых крупных духовных вождей той поры, невольно изумляешься тому, насколько влияние их идей и личностей было тогда оторвано от общественной сферы.

Вл. Соловьев, трагическая, неожиданная смерть к<оторо>го в 1900 г. и глубоко-пессимистический, исполненный эсхатологической мистики (ожидание конца всемирной истории и смешение его с предчувствием мирового кризиса) тон последнего творения его «Три разговора» (особенно «Повести об Антихристе») заслонили тогда его прежние общественно-теократические идеи и гуманистические тенденции его публицистики (в статьях его в «Вестнике Европы»)[37], занимал и волновал умы (в это пятилетие) более как мистик конца и поэт софиических видений, отрешенных от дел «мира сего»[38].

Л. Толстой, предавшийся после обоих последних творений своих в области искусства (трактата «Что такое искусство?» 1895 г. и романа «Воскресенье» 1898 г.)[39] окончательно чисто-сектантской, ускользающей от широкой народной и общественной среды проповеди, самым характером последней (учением о «непротивлении злу») еще более отдалил себя от всех общественных движений той поры, исключительно думавших о противлении и «классовой борьбе».

Но, бесспорно, ни одно учение не было в состоянии столь безусловно дискредитировать всякую общественность (как церковную, так и социально-политическую), как индивидуализм Фр. Ницше, доведенный им до религиозно-фанатической безусловности и облеченный в гениально-самобытную и чарующую своей поэтически-символической формой проповедь.

Тогда впервые в России прозвучал безумный зов «Заратустры» покинуть все долины «человеческого слишком человеческого», чтобы погибнуть при восхождении на недосягаемые высоты во имя грядущего «сверхчеловека», уже не могущего никогда более сойти с своих высот и создать новую жизнь в долинах человеческого бытия. Пленительная ослепленность молниями, сверкающими из творений Ницше, не давала возможности критической оценки его ученья, парадоксального уже в силу решительной абсурдности центральной фигуры его символики – Заратустры, забывшего об Ормузде, по существу ложной и искусственной фигуры[40], столь же трудно вообразимой, как образ пророка Моисея без Еговы, Гермеса-Тота без Озириса или апостола Иоанна без Христа.

Русское «ницшеанство» сразу же приобрело утрированный, болезненный и ходульный характер, что и вызвало у В. Соловьева его предсмертные филиппики и беспощадные насмешки[41].

В описываемую мною пору имена Вл. Соловьева и Фр. Ницше стали символическими антиподами; противопоставление их идей, поэтических образов и самых личностей сделалось источником, б<ыть> м<ожет>, самых ценных и блестящих построений, размышлений и поэтических созерцаний рус<ских> писателей. Несмотря на множество парадоксальных преувеличений, потрясающее, будящее мысль и волю, пронизывающее грудь действие лучших страниц Ницше должно

было <быть> признано плодотворным. Гораздо вреднее, опаснее было мертвящее душу и внушающее неисцелимое чувство бездны даже среди повседневной обстановки влияние «Fleurs du mal» Бодлэра, ставшего, однако, с самого начала одним из законодателей и главных вождей эстетства и классиком «декадентства» в Европе[42]. Иным оказалось его влияние в России, где оно сосредоточилось преимущественно на меланхолически-пессимистической стороне его поэзии, подобно огромному зеркалу из черного металла отобразившей все действительные ужасы и болезни вырождения городской культуры конца прошлого века и явившейся чудовищным аргументом a contrario[43] в пользу возврата к забытым путям веры в высший мир.

Однако влияние Бодлэра в смысле безграничного эстетического индивидуализма оказалось гибельным для всякого общественного чувства, для всякой идеи социального движения или совершенствования. Он жил и писал для немногих, ужасаясь всякой общ<ественной> среды и проклиная всякое множество.

В этом отношении влияние его вместе с влиянием Ницше явилось целой школой самого крайнего, антисоциального индивидуализма в первую пору «русского декадентства», особенно ярко отразившись на поэзии (за пятилетие 1900–1905) обоих тогда особенно влиятельных поэтов «новой школы» – К. Бальмонта и В. Брюсова[44]. Характерно, что в эту пору К. Бальмонт уже утратил ту нежно-романтическую форму, к<ото>рая дала ему название русского Шелли и нового Фета[45] (особенно в «Тишине» 1898 г.), и предался под влиянием французских «символистов» (особенно Бодлэра) крайностям эстетства и индивидуализма (в «Горящих зданиях» 1900 г. и «Будем как солнце!» – 1903 г.)[46], тогда как В. Брюсов не обрел еще вполне своей прочной и парнасически-стройной формы (скованной им в «Венке» 1905 г.), ища вдохновения преимущественно в темах эротически-утонченных[47].

Преимущественно оба эти поэта внесли особенно откровенный и напряженный тон и стиль эротизма в название «новой школы» – «декадентство». Напротив, название «символизм» обязано было влиянию *Д. Мережковского* и *А. Белого**[48]. Оба они всего более отдали дань влиянию *Ницше.*

Несмотря на диаметрально-противоположный окончательный этап их путей, приведший А. Белого к антропософии R. Steiner'а и к примирению с большевизмом, а Мережковского – к безусловному отрицанию «красной Руси», к вселенской церкви, тогда, в пятилетие, нами вспоминаемое, существовала еще самая тесная связь между ними.

Однако понять самый дух и общий единящий новый тон всех этих столь противоречивых устремлений, составивших тогда один литературный лагерь новаторов под многими именами («модернизма», «декадентства», «символизма», «нового искусства», даже «неоромантизма») можно, только совершенно ясно представив себе, до какой степени все пережитое этими «новыми» людьми в духовно-изолированной сфере их мечтаний и прозрений было одновременно оторвано от общественности и все же совпадало с разразившимся позже внешним кризисом (войны – революции – реакции), предваряло и именно символически (хотя и бес-

* Д. Мережковский назвал свой второй сборник стихов (1892) «Символы», а его философски-мистический трактат «Толстой и Достоевский» (1896–1902) был первой философией символизма (прим. Эллиса).

сознательно) предзнаменовало последний. Это было как бы разыгрывание сценической пантомимы в закрытой зале, вдруг перешедшей в действительную, трагическую катастрофу на огромной, народной площади.

Отсюда парадоксальная полусознательная действенность всей этой пестрой, символической пантомимы «нового искусства» в России начала века, бывшей революцией не только во имя новых ритмов стиха, но и новых движений и самоопределений духа и личности. Это была война против всех старых форм и путей!

С одной стороны, все происходило отрешенно, по слову поэта:

«В башне с окнами цветными
Я замкнулся навсегда»[49], –

с другой стороны, – провозглашены были лозунги нового миросозерцания, могущие быть кратко формулированы так:

А) ты – свободен!

В) мир – прекрасен!

С) творческое цветение личности – безусловно ценно!

Эти лозунги соединяли всех «новых», а в них был вызов обоим «старым» путям, как традиционно-церковному, так и социально-гуманистическому. Одновременно уничтожалась самая идея грехопадения, зла «мира сего» и искупления, а также отметалась и вся идеология социальной совести, сострадания и прогресса.

Поэтому жарки были идейные схватки сторонников «нового пути с представителями религиозной традиции и общественной идеологии.

Особенно жарким стал этот спор с возникновением руководящих журналов в лагере «новых» («Нового пути» в 1903 г. и «Весов» в 1904 г.).

Теперь всем очевидны положительные стороны и заслуги (гл<авным> образом эстетические и формально-культурные) и недостатки этой первой стадии русского «символизма».

Особенно очевидны три больших минуса последней, а именно:

А) отсутствие среди вождей «нового» пути подлинно-гениальных поэтов и мыслителей, т.е. писателей, одаренных высшей и сознательной творческой личностью, непосредственно связанной с царством Духа*;

В) в силу этого и <отсутствие> постоянства (continuum) основной идеи или метода в процессе развития их творчества.

В самом деле, от идейного содержания первого боевого периода «новых» не уцелело ничего существенного в дальнейших путях их вождей. Более того: каждая дальнейшая стадия их путей вырастала в антитезу их первых этапов.

Так, все творчество К. Бальмонта после 1903 г. («Будем как солнце!») было отрицанием его предшествующего пути, парнассизм В. Брюсова (с 1905 г. – «Венок») и особенно его последние романы явились антитезой его первого «декадентского» периода, тридцать лет страстно боровшийся против католицизма Д. Мережковский кончил присоединением к последнему; мы уже говорили о метаморфозах пути А. Белого. Что осталось от первых устремлений З. Гиппиус, А. Блока, В. Иванова?[50]

* Среди новых поэтов не оказалось второго Пушкина, создателя «золотого века рус<ской> поэзии», среди мыслителей и мистиков – второго Вл. Соловьева, учителя вселенской правды (прим. Эллиса).

Эта неустойчивость всех путей русского «символизма» объясняет лучше всего то трагическое обстоятельство, что в года последней катастрофы и великих испытаний России, как политической, так и духовной[51], борцами, мучениками и идейными вождями «св<ятой> Руси» выступили преимущественно представители церкви и традиционно-религиозной мысли, смело воспротивившиеся красному безбожию и разложению всех основ социальной и идейной России.

Вместе с ними геройски погибли те работники на общественной почве, далекие от сверхвременных и «сверхчеловеческих» созерцаний и предвещаний, однако верные заветам честной и здоровой (душевно) человечности и одаренные простым, но непогрешимым, чувством правды. Им было суждено на деле и в жизни осуществить то, что ослепительно-блестяще и восторженно провозглашено было герольдами новых путей в царстве слова, не ставшего (за самыми редкими исключениями) жизненным делом, т.е. нравственным подвигом, спасшим честь России.

Необходимо сознаться также, что вождями русской эмиграции (этого подлинно-русского, культурного мира в западной Европе, и вместе с тем подготовительной школы будущей дух<овной> России), нашедшими пути творческого продолжения лучших традиций прошлого в новой форме, оказались не поэты, но мыслители, оставшиеся безусловно верными христиански-церковной традиции и явившиеся последователями вождей старой до-модернистской России, Вл. Соловьева, Ф. Достоевского, А. Хомякова, исследователями житий великих русских святых (св. Сергия Радонежского, св. Серафима Саровского)[52] и свободные от всякой связи с теософическими и антропософическими лжеучениями*. Даже чисто-художественные и литературные интересы рус<ской> эмиграции и мало-помалу и культурной среды в самой России передвинулись к изучению и глубокому душевному переживанию великого бессмертного наследства «золотого века рус<ской> поэзии», особенно ее величайшего представителя, подлинного гения А. Пушкина[53]. Отрадно, что именно его высшая творческая личность и ее творения становятся снова критерием и прообразом ценностей русской поэзии и ее высоких целей.

Послесловие

Судьба Белого была двенадцать лет тесно сплетена с судьбой Эллиса (настоящее имя и фамилия Лев Львович Кобылинский; 1879–1947), теоретика символизма, поэта, переводчика и одного из самых ярких и противоречивых представителей московского символизма. Их пылкая дружба началась в 1901 г. Вместе они организовали кружок «аргонавтов», собиравшийся в квартире Бугаевых, вместе сотрудничали в журнале «Весы» и вместе стояли у истоков издательства «Мусагет». «Я сейчас еще раз больно почувствовал, что ты для меня, – писал Эллис Белому в 1909 г. – Ты, конечно, мне ближе и дороже всех и всего на свете без всяких оговорок и ограничений» (НИОР РГБ. Ф. 25. Карт. 25. Ед. хр. 31. Л. 6).

В книге «Русские символисты» (М.: Мусагет, 1910) Эллисом впервые в России была предпринята попытка вскрыть философские и эстетические корни европей-

* Стоя на несколько иной, более близкой учению о «свободной, вселенской теократии», Вл. Соловьева <позиции>, я охотно признаю это.

ского и русского символизма. Уже в предисловии он заявил, что «современный символизм», даже в «кризисном его состоянии», является «самым знаменательным идейным событием нашей культурной эпохи»[i], а завершил книгу страстным обоснованием веры в его дальнейшее развитие: «Мы категорически заявляем, что считаем современный “кризис символизма” не существенным, не гибельным, не агонией и смертью его, а лишь последним и необходимым испытанием, наследием первоначальных ошибок его, недостаточно осознанных и исправленных. Мы верим в великое, мировое будущее символизма!»[ii]

Нас не должен удивлять тот факт, что Эллис, который, по меткому выражению Андрея Белого, существовал «в вихре идейных метаморфоз — экономист-пессимист-бодлерист-брюсовед-дантист (от Данте)-оккультист-штейнерист-католик»[iii], недолго оставался на этой позиции. Он начал переоценивать свои взгляды уже к середине 1911 г., уехав в это время за границу и, как тень, следуя повсюду за Рудольфом Штейнером в его лекционных поездках по Европе.

Однако, приобщившись к антропософии ранее Белого, Эллис, в отличие от Белого, вскоре стал ее яростным ниспровергателем и отрекся от своего бывшего «учителя». Это и испортило отношения между Эллисом и Белым, отметившим в «Ракурсе к дневнику» за январь 1913 г.: «Записались в Кельне в А<нтропософское> о<бщество>; ряд крупных разговоров с Эллисом и Поольман-Мой; <...> прощание с Эллисом трогательное, но горькое (уже ясен отход наш друг от друга)».

Окончательный разрыв отношений, сопровождавшийся бурной ссорой, произошел тогда, когда Эллис осенью 1913 г. выпустил в издательстве «Мусагет» философский трактат «Vigilemus!» (на обложке — 1914 г.), содержащий критику идей и личности Штейнера. Подробности последней встречи с Эллисом, произошедшей в конце октября 1913 г., Белый описал в «Материале к биографии», входящем в состав моей публикации «Андрей Белый и антропософия»: «Едем в Штуттгарт, отправляемся в Дегерлох; Эллис прячется от нас; мы имеем объяснение с Поольман-Мой, забираем почти насильно тетрадки у Эллиса; я передаю Поольман: “Если Эллис ко мне не выйдет сию минуту, чтоб объясниться, то пусть знает: я с ним на всю жизнь разрываю все...” Он — не вышел: с этого дня я все отношения с Эллисом прекратил»[iv].

Поиски своего «пути» в конце концов привели Эллиса к «вселенской вере»[v] — католицизму, которому он оставался верен до конца своих дней. С 1919 г. и до са-

---

[i] *Эллис.* Русские символисты. М.: Мусагет, 1910. Цит. по изданию 1996 г., выпущенному в Томске издательством «Водолей» (С. 3).

[ii] Там же. С. 286–287.

[iii] *НВ 1990.* С. 41–42. Об основных этапах идейной эволюции Эллиса см.: *Гречишкин С.С, Лавров А.В.* Эллис — поэт-символист, теоретик и критик (1900–1910-е гг.) // XXV Герценовские чтения. Литературоведение. Л., 1972. С. 59–62; *Willich Heide.* Lev L. Kobylinskij-Ellis: Vom Simbolismus zur ars sacra. Eine Studie über Leben und Werk. Slavistische Beiträge, Bd. 341. München: Verlag Otto Sagner, 1996; *Поляков,Ф.* Чародей, рыцарь, монах. Биографические маски Эллиса (Льва Кобылинского) // Lebenskunst — Kunstleben: Жизнетворчество в русской литературе XVIII–XX вв. / Hrsg. von Schamma Schahadat. München, 1998. С. 125–139.

[iv] Минувшее. Т. 6. С. 357. См. также: *Rizzi Daniela.* Эллис и Штейнер // Europa Orientalis. XIV. 1995. № 2. С. 281–294.

[v] Еще в трактате «Vigilemus!» Эллис определил значение символизма тем, что он «последовательно наметил своим развитием ступени к религии» (С. 48). А в статье о «Парсифале» Рихарда Вагнера оценки символизма, которые Эллис давал в «Русских символистах», получили чисто мистическую окраску в его отрицании «великой», но «опасной формулы», определяющей «символизм, как самостоятельное миросозерцание», и в его ожидании «художника будущего, поэта-рыцаря»: «Всякое соподчинение элементов требует

мой смерти 17 ноября 1947 г. он живет в Швейцарии, в Локарно-Монти. Русская культура, однако, по-прежнему оставалась в поле его внимания: Эллис был погружен исключительно в переводы русских писателей на немецкий язык и немецкоязычные писания о классической русской литературе. Как следует из публикуемого выше текста, прочел он и вышедшую в ноябре 1933 г. книгу «Начало века», в которой Эллису посвящено немало страниц. «Он, кажется, еще жив, что означает: ежегодно умирает в одном аспекте, чтобы воскреснуть в другом», — печально иронизировал Белый-мемуарист[i]. Не исключено, что созданный им шаржированный портрет «икающего Эллиса», «актера, мима», готового «играть ту или иную роль и верить при этом, что роль — убеждение»[ii], впервые побудил Эллиса, в то время жившего уже больше двадцати лет далеко от России, вспомнить о «мистической Москве» своих юных лет. Окончательное же решение обратиться к мемуарам, несомненно, было принято после получения известия о смерти Андрея Белого 8 января 1934 г.

14 марта 1934 г. Эллис приступил к работе, но, написав только начальный набросок «От автора» на обеих сторонах одного листа стандартного формата, на время оставил это довольно странное произведение, содержащее больше общественных, чем литературных размышлений.

25 марта Эллис вернулся к своей задаче и на этот раз написал восемь листов на бумаге большого формата (дата находится на титульном, ненумерованном листе), а 28 марта (дата помещена на листе IX, где повторяется и название «Моя первая встреча с А. Белым») добавил к своему крайне небрежному тексту еще шесть таких же листов. На этом Эллис, «неизменный» только в своей изменчивости, так и не дойдя до встречи с Белым, приостановил работу; второй лист на бумаге большого формата отсутствует, вместо него — упомянутый выше листок стандартного формата. По-видимому, сам Эллис проставил «II» на этом листке с текстом «От автора» и поместил его среди остальных листов, по всей вероятности, намереваясь вернуться к начатому труду, чтобы переделать все написанное.

Сделано это не было. Он лишь написал на обороте листа IX следующее: «Предоставляю эти наброски самой свободной критике и увязыванию в силу необходимости. Л.К.». К кому это было обращено, сказать трудно. Эллис, который много лет занимался литературой профессионально, вряд ли мог считать, что его незавершенный текст может быть в таком виде опубликован. Возможно, что это обращение относилось к потенциальному редактору или издателю, которому Эллис послал свой набросок на просмотр, адресуясь для совета: продолжать или нет.

иерархического завершения их, а всякая иерархия есть строение сверху вниз, а не обратно. Поэтому синтез искусств и идея великого, единого “искусства будущего” должна была привести и привела Вагнера к реальному духовному осязанию последнего всезавершающего элемента невидимой скрепы всего здания, к искусству религиозному» (*Эллис.* «Парсифаль» Рихарда Вагнера // Труды и дни. 1913. № 1–2. С. 27). При этом Эллис все еще настаивал на том, что символизм стоит «на перепутьи»: с одной стороны, «чистое искусство», а «с другой стороны, мы можем пойти путем строгого и последовательного соподчинения всех художественных задач и форм свободному духу единственной живой религии, христианству» (С. 53), однако свой собственный путь он уже выбрал. См. также статьи Эллиса «Умер ли символизм?» (Там же. 1912. № 4–5); «О грехе забвения, о долге дерзания, о первых “рыцарях символизма” и о религиозном искусстве» (Там же. № 6. С. 49–56); «Символизм и идея символизма. Искусство символическое, религиозное и христианское» (Там же. С. 56–62).

[i] *НВ 1990.* С. 46.

[ii] Там же. С. 47, 41.

Если это так, то он, видимо, не получил поддержки и текст был им брошен раз и навсегда. Тем не менее этот незавершенный текст представляет несомненный интерес и как последнее слово Эллиса об Андрее Белом и о символизме вообще, и как его концепция общественного и интеллектуального сознания Москвы (и России) в начале XX века, и как один из самых последних текстов Эллиса на русском языке.

В 1934 г., спустя два десятилетия после разрыва с Белым и под недавним впечатлением от известия о его смерти, Эллис возвращается к размышлениям об их общем прошлом и еще раз постулирует свои религиозные заветы о русской культуре. В истории развития русского символизма он видит трагическое развитие русского общества вообще, оторванного от подлинно религиозного «духа» своего народа. Он акцентирует «глубокую пропасть между личностью и общественной средой» в начале XX века и неспособность русского символизма выявить «рыцаря» на российском пути, приведшем не к «сияющему будущему», а к «катастрофе» большевизма. В 1910 г. именно в «живом единстве» «гениальной личности» Белого Эллис обнаружил возможность существования такого Парсифаля в современности: «<...> миссией А. Белого является соединение нового религиозного откровения с художественной формой современного символизма <...>. Сущность А. Белого — предвестье и предвидение нового человека, грядущего во имя нового Бога, в нем воплощенного, им в себе обнаруживаемого и созидаемого»[i]. Как должен был католик Эллис стыдиться таких, с точки зрения его новой веры кощунственных, слов уже в 1913 г., а особенно в 1930-е, когда, прочитав «Начало века», увидел в Белом изменника ранним идеалам и предателя старых друзей.

Публикуемая рукопись[ii] находится в Бахметьевском архиве Колумбийского университета, в фонде Софии Владимировны Паниной (1871—1957). Возможно, что именно ей и был отправлен текст на просмотр: у нее были близкие отношения с кадетами (она сама была членом ЦК партии), и в их числе с П.Д. Долгоруковым; именно о них Эллис писал в наброске «От автора». Орфография публикуемого документа, написанного по старым правилам, приближена к современной норме, сохранены пунктуация и индивидуальные авторские особенности. Случайные описки исправлены без оговорок. Зачеркнутые фрагменты текста не воспроизводятся, за исключением содержательно значимых. Набросок «От автора» помещен перед основным текстом воспоминаний.

---

[1] Dichtung — вымысел; Wahrheit — действительность (*нем.*). Обыгрывается заглавие книги Гете «Dichtung und Wahrheit» («Поэзия и правда»).

[2] Верность, точность (*нем.*).

[3] Памяти погибших / Под ред. Н.И. Астрова, В.Ф. Зеелера, П.Н. Милюкова, кн. В.А. Оболенского, С.А. Смирнова и Л.Е. Эльяшева. Париж, 1929. «Настоящий сборник посвящается памяти членов партии Народной Свободы, убитых большевиками в период

---

[i] *Эллис.* Русские символисты. Томск: Водолей, 1996. С. 182, 187, 202.

[ii] Впервые опубликована нами в сб.: Писатели символистского круга: Новые материалы / Ред. кол. В.Н. Быстров, Н.Ю. Грякалова, А.В. Лавров. СПб., 2003.

революционной анархии, расстрелянных по распоряжению коммунистической власти, по ее наущению и при ее содействии. <...> Наши идеи временно потерпели поражение, но мы верим, что в новой России они, обновленные, возродятся вновь. Залог их жизненности в том, что за них умирали» (От редакции. С. 5, 7).

[4] Долгоруков Павел Дмитриевич (1866–1927), князь, общественный деятель, один из основателей кадетской партии. После большевистского переворота ему удалось пробраться на юг, где он принимал деятельное участие в организации Белого движения. Продолжал свою борьбу с большевиками в эмиграции (с 1920 г.) и в 1924 г. перешел советско-польскую границу, чтобы «знать подлинное положение и настроения в России» (Памяти погибших. С. 213). Его задержали почти тотчас, но не узнали и вернули назад в Польшу. Во второй раз перешел в СССР через румынскую границу 7 июня 1926 г., пробыл в СССР 40 дней до ареста. Расстрелян после 11 месяцев заключения в харьковской тюрьме. См. статьи в сб. «Памяти погибших»: *Астров Н.* Жизнь и смерть кн. П.Д. Долгорукова (С. 205–220); *Родичев Ф.* Воспоминания о кн. П.Д. Долгорукове (С. 221–229).

[5] В конце III в. Десятый фиванский легион, состоящий из воинов-христиан, отказался подчиниться приказу римского императора и подавить восстание в Галлии, так как среди восставших было много их единоверцев. Все легионеры вместе с семьями и прислугой были казнены, а впоследствии причислены к лику святых – «Сорок тысяч мучеников».

[6] Римская империя (*лат.*).

[7] Конституционно-демократическая партия (партия кадетов).

[8] [Главная ошибка партии К.Д. заключалась в убеждении, что возможно оправдать морально завоевательную войну, ибо оба лагеря мировой войны были агрессивны. Конечно, большевики бесконечно агрессивнее их всех.] (Зачеркнутое примечание Эллиса).

[9] По воспоминаниям Белого, Эллис появился в семействе М.С. Соловьева весной 1902 г. М.С. Соловьев умер 16 января 1903 г.

[10] Петербургский религиозно-философский и литературно-публицистический журнал «Новый путь» (1903–1904).

[11] Кружок «аргонавтов» собирался с 1903 г. в доме Бугаевых; его идеологами были Андрей Белый и Эллис.

[12] Возникновение издательства «Мусагет» в 1909 г. не могло, конечно, находиться ни в какой связи с домом М.С. и О.М. Соловьевых: оба скончались в 1903 г.

[13] Искаженная цитата из стихотворения «У себя» (1899) Вл. Соловьева, последние две строки третьей строфы читаются: «Что погиб его свет без возврата, / В эту ночь не уверишь меня».

[14] Вторая строфа стихотворения «Если жизнь тебя обманет...» (1825).

[15] Далее зачеркнуто: «и действительностью явлений и существ».

[16] См. начало стихотворения «Мой гений» (1815) К.Н. Батюшкова: «О, память сердца! ты сильней / Рассудка памяти печальной».

[17] Фраза не дописана.

[18] Ср. у Белого: «Я не хочу печатать “Симфонию” под моим именем; мы выдумываем псевдоним мне; я предлагаю: “Буревой”, но М<ихаил> С<ергеевич> Соловьев> смеется: “Нет, когда узнают, что автор – вы, то будут смеяться: ‘Это не Буревой, а Бори вой’”... М.С. придумывает мне псевдоним: “Андрей Белый” и делается моим крестным отцом в литературном крещении» (Материал к биографии (интимный...). РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 25 об. – октябрь 1901 г.).

[19] Ср. у Белого: в апреле 1902 г. «выход “Второй симфонии” (от всех таю свой псевдоним); “симфония” нравится Эллису <...>. Решительный разговор с Эллисом, или начало нашей интимной дружбы с ним <...>. Много пишу стихов (иные появились в “Золоте в Лазури”)» (*РД*. Л. 13 об. – 14). Имеются в виду: Симфония (2-я, драматическая) (М.: Скорпион, 1902); Золото в лазури (М.: Скорпион, 1904). В сборнике стихов «Золото в лазури» содержится отдел: «Лирические отрывки в прозе».

[20] Далее зачеркнуто: «безусловная».

[21] Окончательный разрыв отношений произошел в октябре 1913 г. См. об этом в послесловии к публикации.

[22] С Михаилом Сергеевичем Соловьевым (1862–1903), педагогом, переводчиком (Платона), издателем сочинений своего брата Вл. Соловьева, как и со всем семейством Соловьевых, Эллиса познакомил Белый. Семья Соловьевых жила этажом ниже семьи Бугаевых в доме на углу Арбата и Денежного переулка.

[23] Григорий Алексеевич Рачинский (1859–1939) – религиозный философ, редактор, переводчик. В книге «Русские символисты» (М.: Мусагет, 1910) Эллис упоминал «“Религиозно-философское общество имени Вл. Соловьева”, во главе которого стал один из самых глубоких знатоков религиозной философии вообще, в частности учения Вл. Соловьева, известный Г.А. Рачинский...» и дал к этой характеристике следующее примечание: «Г.А. Рачинский редактировал полное собрание сочинений Вл. Соловьева, близким другом и пламенным адептом которого он был с самого начала деятельности последнего. Г.А. Рачинскому же принадлежит труд редактирования 1-го полного собрания сочинений Ф. Ницше и несколько блестящих статей по вопросам философии, среди которых особенно известна его статья об эстетике Вл. Соловьева» (*Эллис.* Русские символисты. Томск: Водолей, 1996. С. 229). Белый познакомился с ним в ноябре 1901 г. См.: *НВ 1990.* С. 102–112.

[24] Павел Иванович Астров (1866–1919) – юрист, член Московского окружного суда, автор статей на церковные и судебные темы. Эллис писал: «<...> совершенно частный кружок, задавшийся одновременно религиозно-освободительными и чисто эстетическими целями, известный под именем “Арго”; во главе этого кружка стал публицист и общественный деятель П.И. Астров; этот кружок просуществовал около пяти лет и издал ряд литературных сборников под заглавием “Свободная совесть”» (*Эллис.* Русские символисты. С. 229). Литературно-философские сборники «Свободная совесть» (кн. 1 и 2) вышли в 1906 г. Ср. запись в *РД* за сентябрь 1904 г.: «Эллис затаскивает меня к Астровым, указывая, что астровский “клуб” и есть нормальная среда для пропагандирования символизма, хотя среда туговатая; но лучше мало-понимающие общественники, чем “гнилые” декаденты. Знакомство с астровским кружком» (Л. 24 об.). См. также: *НВ 1990.* С. 392–398.

[25] «Переходный, колебательный период выразился в “Возврате” или “Третьей симфонии”; антитеза его первого “Да”, великое безнадежно-горькое “Нет” всему, его “разуверение во всем” выявлены им в его “Четвертой симфонии” (“Кубке метелей”) и во втором сборнике его лирики, “Пепел”. “Пепел” <...> одна из великих книг самоотрицания, одиночества и отверженства <...>. В третьей, последней книге лирики, озаглавленной “Урна”, А. Белый является нам все еще пессимистом и поэтом разуверений, но в ней уже мерцает какой-то новый, особенный свет, порой звучат мотивы, никогда ранее им не затрагиваемые» (*Эллис.* Русские символисты. С. 191–192). Эллис назвал роман «Серебряный голубь» «лучшим из всего, написанного в нашей литературе под знаком Гоголя за последний период» (Там же. С. 191).

[26] В 1914–1916 гг. Белый принимал участие в строительстве в Дорнахе Иоаннова здания (Johannesbau) – первоначальное название Гетеанума. «В ночь на первое января <1923 г.> около Базеля, в Дорнахе, сгорело огромное здание, принадлежащее Антропософскому обществу и построенное под руководством известного философа и антропософа Рудольфа Штейнера. Здание было одновременно и помещением высшей школы духовных наук, и театром; в общежитии называли его почему-то "антропософским храмом", хотя ничего общего с храмом оно не имело, за исключением разве что вида: двумя бирюзовыми куполами своими "Bau" (так называли его мы) напоминал мощный храм. <…> ряд интимнейших моральных переживаний меня тесно связывает с его формами, как участвовавшего в некоторой степени в постройке на протяжении двух с половиной лет» (*Андрей Белый.* Гетеанум // Дни (Берлин). 1923. 27 февраля. № 100. С. 6). Вечером 31 декабря 1922 г., приблизительно в 20 часов, Штейнер произносил вступительное слово к эвритмическому представлению «Das Wesen der eurythmischen Kunst. Zu einer Darstellung aus "Faust" I von Goethe: "Prolog im Himmel"» («Сущность эвритмического искусства. К постановке сцены из первой части "Фауста" Гете: "Пролог на небесах"»). Около 22 часов стража заметила дым в одном из залов Гетеанума. В статье «Гетеанум» Белый писал: «<…> почти установлено, что причина пожара – поджог».

[27] Многие в эмиграции (и не только там) видели в шаржированном изображении Белым-мемуаристом своих современников (в том числе Эллиса) и в социологизации его характеристики символизма и духовных исканий начала века уступку конъюнктурным требованиям времени или, как считал Эллис, просто капитуляцию перед большевиками и «служение» новому режиму.

[28] Эллис назвал Белого «третьим вождем нового течения», то есть русского символизма (первые два – К.Д. Бальмонт и В.Я. Брюсов), и, в частности, писал: «А. Белый – намек, знамение, предвестие… Первое знамение будущего явления "новых людей"» (*Эллис.* Русские символисты. С. 183).

[29] Ср. запись в *РД* за ноябрь 1900 г.: «<…> читаю "Чтения о богочеловечестве" Вл. Соловьева. Сильная теор<етическая> дума над сочетанием в душе Соловьева, Ницше, Мережковского» (Л. 8 об.). Эллис назвал Вл. Соловьева и Белого «величайшими нашими мистиками» (Русские символисты. С. 205), а Ницше (1844–1900) и Белого – «двумя провозвестниками будущего» (Там же. С. 182).

[30] Белый в начале века очень увлекался идеями Д.С. Мережковского (1865–1941), но никогда не видел в них некий синтез Вл. Соловьева и Ницше. Сам Эллис смотрел на это иначе: «Вл. Соловьев и Ф. Ницше – эти два спутника, зовущие в разные стороны, два вождя, говорящие на разных наречиях, – долго будут самыми близкими, самыми дорогими учителями А. Белого, как бы двумя перекладинами его креста. Христианская, эсхатологическая мистика и экстатическая религия Диониса, ставшая магией Заратустры, вот два одинаково притягивающие его полюса, две великие вехи пути» (*Эллис.* Русские символисты. С. 218). Там же, без намека на идею «синтеза», он писал только о «догматической символике Д. Мережковского», указав в подстрочном примечании: «См. его II том исследования "Толстой и Достоевский". Мы не опровергаем здесь этого эсхатологического учения, считая его за одно из самых чудовищных, странных и непонятно-возникавших заблуждений наших дней» (Там же. С. 219). О взглядах Белого см.: Фридрих Ницше (1907) // Андрей Белый. Арабески. М.: Мусагет, 1911. С. 60–90; Мережковский (1907) // Андрей Белый. Луг зеленый. М.: Альциона, 1910. С. 134–151.

[31] Публикация книги Мережковского «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь, творчество и религия» началась в № 1/2 «Мира искусства» за 1900 г. и продолжалась в 1901 г. Первый том книги вышел отдельным изданием в марте 1901 г., второй – в мае 1902 г. «Весьма сильно захвачен “Миром искусства” и главным образом печатающимся сочинением Мережковского “Лев Толстой и Достоевский”» (*РД.* Л. 7 об., запись за март 1900 г.). «Пристально изучаю <…> вышедший отдельной книгой том “Лев Толстой и Достоевский” Мережковского» (*РД.* Л. 10 об., запись за июль 1901 г.). В своих мемуарах Белый формулировал основную авторскую идею книги таким образом: «От слова – к действию, к преображению жизни, сознания!» (*НВ 1990.* С. 188).

[32] «Иисус Неизвестный», третья часть «третьей трилогии» Мережковского (первая часть: Тайна Трех. Египет и Вавилон. Прага, 1925; вторая – Тайна Запада: Атлантида – Европа. Белград, 1930), был выпущен белградской «Русской библиотекой» в двух томах (№ 36/37 и № 39/40) в 1932 г. Немецкий перевод книги, «Jesus der Kommende» («Иисус Грядущий»), издан в 1934 г.

[33] Мережковский никогда не переходил в католичество. Ср.: «Можно утверждать, что некоторые компоненты биографического текста Эллиса являлись объектом его сознательной, мифотворческой интерпретации. Аналогичное стремление к “унификации”, “дописыванию” биографии <…> наблюдается у Эллиса и по отношению к другим лицам, которым он придавал статус своих сподвижников. <…> Эллис приписывает Д.С. Мережковскому обращение в католичество (sic)» (*Поляков Ф.* Чародей, рыцарь, монах. Биографические маски Эллиса (Льва Кобылинского) // Lebenskunst – Kunstleben: Жизнетворчество в русской литературе XVIII–XX вв. München, 1998. С. 125).

[34] Так в рукописи.

[35] Далее зачеркнуто: «золотого руна». Ср. у Белого: «Читаю свой реферат “Символизм, как миропонимание” у себя. Он ложится в основу лозунга, провозглашенного Эллисом: “Мы – символисты-аргонавты, ищущие ‘Золотого Руна’ (в пику Брюсову)”; Эллис провозглашает меня лидером; образуются у меня наши аргонавтические, весьма бурные воскресенья <…> я бодрю всех, стараюсь примирить непримиримое, но почти тщетно: вся моя функция – общественная, гармонизаторская: задание – связать противоречивость в целое аргонавтических исканий; на этой почве сближение-пря, дружба-борьба с Эллисом» (*РД.* Л. 19–19 об., запись за октябрь 1903 г.). См. также: *Лавров А.В.* Мифотворчество «аргонавтов» // Миф – фольклор – литература. Л., 1978. С. 137–170.

[36] Любопытная описка: Эллис и Белый простились навсегда в 1913 г., а познакомились в сентябре 1901 г.

[37] «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об антихристе и с приложением» впервые были опубликованы в «Книжках Недели» за 1899 г. и 1900 г. (отд. изд.: СПб., 1900). Соловьев развивает свои теократические идеи главным образом в статьях, собранных в книге «История и будущность теократии», выпущенной в 1887 г. в Загребе, и в ее продолжении «La Russie et l’Eglise Universelle» («Россия и вселенская церковь»), вышедшем в 1889 г. в Париже (на русском в переводе Г.А. Рачинского – М., 1911). Из многочисленных статей, опубликованных Соловьевым в «Вестнике Европы», по-видимому, подразумеваются «Народная беда и общественная помощь» (1891. № 10); «Нравственная философия как наука» (1894. № 11); «Нравственная норма общественности» (1894. № 12); «Уголовный вопрос с нравственной точки зрения» (1895. № 3); «Нравственность и право» (1895. № 11); «Византизм и Россия» (1896. №№ 1 и 4).

[38] «В простой, беспретенциозной книжечке лирики, носящей лаконическое заглавие “Стихотворения Вл. Соловьева”, находится один из самых ранних и благоуханных источников русского символизма. <...> Лирика Вл. Соловьева на своих самых интимных и глубоких страницах воспроизводит символически тот самый сокровенный образ, то первое и последнее Видение, которое является центральным пунктом его мистики <...> первый в русской символической поэзии о Вечно-Женственном, как о мистическом откровении, чуждом всякого фаллизма, заговорил Вл. Соловьев» (*Эллис.* Русские символисты. С. 216–217). Ср. у Белого: «<...> усиленное увлечение музыкой, поэзией Фета, Вл. Соловьева и Лермонтова; все более и более идея Софии и веяние Софии становятся лейт-мотивом жизни: “Подруга юная, тебя не назову я, но ты услышь мой трепетный напев” – лозунг дней» (*РД.* Л. 9 об., запись за февраль 1901 г.). Белый дал такую характеристику этого периода в письме к Иванову-Разумнику от 1–3 марта 1927 г.: «В первом полугодии 1901 года завершение как бы всей эпохи апокалиптической в теме “Софии”: 1) опознанной чрез посредство философии и поэзии Вл. Соловьева, 2) жизненно (см. “Первое свидание”), 3) творчески (“2-я Симфония”)» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 492). Эллис перевел стихи Вл. Соловьева на немецкий: *Solowjew Wladimir.* Gedichte / Ins Deutsche übertragen von L. Kobylinski-Ellis und Richard Knies. Mainz, 1925.

[39] Статья «Что такое искусство?» впервые была напечатана в журнале «Вопросы философии и психологии» (гл. I–V в ноябре–декабре 1897 г., гл. VI –XX в январе–феврале 1898 г.). Первое отд. изд.: *Толстой Л.Н.* Сочинения. Ч. XV. М., 1898. Роман «Воскресение» впервые появился на страницах журнала «Нива» в 1899 г. Роман вышел отдельным изданием в Лондоне в том же году.

[40] Эллис называл «Так говорил Заратустра» «“новой библией“ будущего человечества» и «книгой чисто бессознательных откровений, книгой последней мудрости и пророческого достоинства», а самого Ницше – «боговдохновенным пророком, родившим в недрах своей души почти внезапно новое откровение нового Заратустры, не сознающим всего, о чем он возвещает, заговорившим о самых сокровенных тайнах будущего» (*Эллис.* Русские символисты. С. 209). Белый признавался в «Материале к биографии»: «Но Ницше влечет меня все сильней и сильней; “Заратустра” производит теперь лишь головокружительное впечатление (я и прежде читал его, но он не действовал)» (ноябрь–декабрь 1899 г.; Л. 13 об.); «Проблема “Ницше” начинает меня сближать с Кобылинским» (*РД.* Л. 11, запись за ноябрь 1901 г.). Ормузд (Ормазд) – в иранской (зороастрийской) мифологии величайший из богов, бог света, источник добрых дел и мыслей, противоположность Ариману, богу тьмы.

[41] Имеется в виду статья Вл. Соловьева «Идея сверхчеловека», напечатанная в журнале «Мир искусства» (1899. № 9. С. 87–91).

[42] В 1900-х Эллис был ярым сторонником поэзии и философско-эстетических взглядов Шарля Бодлера (1821–1867), «этого столь же изумительного мыслителя, как и поэта» (*Эллис.* Русские символисты. С. 21). Неполный перевод книги Бодлера «Цветы зла» («Les fleurs du mal», 1857): *Эллис.* Иммортели. Вып. 1-й. Ш. Бодлэр. М., 1904. Белый считал эти переводы «бездарными» (*РД.* Л. 21 об., запись за февраль 1904 г.). Новый вариант перевода: *Бодлэр Шарль.* Цветы Зла / Пер. Эллиса; вступит. ст. Теофиля Готье и предисл. Валерия Брюсова. М.: Заратустра, 1908.

[43] От противного (*лат.*). В логике – довод, почерпнутый из разбора противного предположения.

[44] «Эти три имени <Бальмонт, Брюсов и Белый> и составят самый яркий лозунг русского символизма, представляя собой его первую волну» (*Эллис.* Русские символисты. С. 5).

[45] Фет был «самый чуткий и тонкий из предшественников символизма у нас в России» (Там же. С. 16).

[46] Эллис писал о Бальмонте: «Другим его учителем и вдохновителем в эту эпоху <1890-е> является, бесспорно, Шелли, над изучением и переводом лирических пьес которого тогда уже работал Бальмонт. <...> вообще Шелли не утратил своего влияния на родственного ему русского поэта, который и сам неоднократно признавал на себе его влияние <...> До губительного влияния Ш. Бодлера, смертоносный яд которого никогда не удалось Бальмонту претворить и усвоить <...>, Бальмонт мог быть и был чистым романтиком, нежным» (*Эллис.* Русские символисты. С. 50–51). Бальмонт (Корнеем Чуковским окрещенный Шельмонтом) перевел на русский язык практически все поэтическое наследие П.Б. Шелли (1792–1822). См.: *Шелли.* Сочинения / Пер. с англ. К.Д. Бальмонта. СПб., 1893–1899. Вып. 1–7; *Шелли.* Полное собр. соч. в переводе К.Д. Бальмонта. СПб., 1903–1907. Т. 1–3. Ср. у Белого: «В марте–апреле 1903 года я знакомлюсь с Бальмонтом, которого томиками “Тишина” и “В безбрежности” я увлекался еще гимназистом <...> и символизм в них прокладывал путь; они — синтез романтики с новыми веяниями <...> “Будем как Солнце” — нас книга дразнила; Бальмонт, поэт с песенкой, в “Будем как Солнце” надел хвост павлина» (*НВ 1990.* С. 239).

[47] О Брюсове, которому, как и Бальмонту и Белому, в «Русских символистах» посвящен отдельный очерк, Эллис писал: «<...> главное достоинство лирики Брюсова — ее незыблемая устойчивость и строгая оформленность; общая тенденция ее — интеграция, все более и более совершенная законченность» (С. 110); «<...> из романтика-импрессиониста теперь Брюсов становится великим поэтом-пластиком» (С. 133). Там же Эллис пишет о «глубокой, прекрасной и строгой эротике» Брюсова (С. 156). Упоминается книга Брюсова «Стефанос. Венок. Стихи 1903–1905 гг.» (М.: Скорпион, 1906). См. также: *Лавров А.В.* Брюсов и Эллис // Брюсовские чтения 1973 года. Ереван, 1976. С. 217–236.

[48] В «Русских символистах» Эллис указывает только на «замечательную книгу Д. Мережковского “О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы”», когда подчеркивает его роль в формировании символизма в России: «Тот же Д. Мережковский, первый среди “новых”, первый выступивший с обличением, первый указавший на французскую школу символистов, как на “мечтателей, сила которых в их возмущении”» (С. 61).

[49] Первые две строки стихотворения «В башне» К.Д. Бальмонта из его сб. «Горящие здания» (раздел «Возле дыма и огня»).

[50] «Одинаково мы можем найти опорный пункт в определении “декадентства”, как беспочвенного символизма, прикидывающегося романтизмом, какова, например, в значительной мере истерическая лирика А. Блока, отчасти З. Гиппиус. Последнее объясняет их самоотрицание, их бегство от самих себя, все равно куда <...>. Жизнь в значительной степени не оправдала повышенной оценки А. Белого, сделанной им лирике А. Блока и некоторых других мистиков-поэтов» (*Эллис.* Русские символисты. С. 154). См. также вступит. статью А.В. Лаврова к публикации писем Эллиса к Блоку (Литературное наследство. Т. 92. М., 1981. Кн. 2. С. 273–281). Эллис также писал: «Уже к 1906 г. в русском символизме намечается резкий раскол между двумя школами внутри него, между индивидуалистической школой В. Брюсова и школой “сверх-индивидуалистов”, берущей свое начало от Д. Мережковского и скоро выставившей своим вождем В. Иванова с его теорией “мифотворчества”» (*Эллис.* Русские символисты. С. 231). В середине 1930-х Эллис был в переписке с В.И. Ивановым; см.: Письма Эллиса к Дмитрию Мережковскому и Вячеславу Иванову / Вступ. и

коммент. Федора Полякова; подгот. текста Андрея Шишкина // Русско-итальянский архив. II. Салерно, 2002. С. 141–167.

[51] Так в рукописи.

[52] По всей вероятности, имеются в виду книги: *Зайцев Б.К.* Преподобный Сергий Радонежский. Париж: YMCA-Press, 1925; *Ильин В.Н.* Преподобный Серафим Саровский. Париж: YMCA-Press, 1925 и 1930 (второе издание, переработанное автором). Эллис перевел отрывки из обеих книг. Они опубликованы в составе кн.: *Kobylinski-Ellis Lev.* Heilige aus dem Alten Russland. Minister, 1972 (Aevum Christianum).

[53] Его книга о «религиозном гении России» Пушкине была опубликована после его смерти 17 ноября 1947 г.: *Kobylinski-Ellis Leo.* Alexander Puschkin. Der Religiose Genius Russlands. Olten, 1948 (Kämpfer und Gestalter. T. 4).

Подготовка текста, комментарии и послесловие Джона Малмстада (США)

М.Л. Спивак

ПОМИНОВЕНИЕ ПО-ДОРНАХСКИ: М.Я. СИВЕРС (ШТЕЙНЕР), Н.А. ТУРГЕНЕВА, А.М. ПОЦЦО

14 января 1934 г. в антропософском дорнахском издании «Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht. Nachrichten fûr Mitglieder» (№ 2. 11–14 Jahrgang. S. 7) был опубликован краткий, но яркий некролог:

> **Умер Андрей Белый**
>
> Только что мы получили из Москвы известие, что наш давний член, до самого начала войны трудившийся со всеми здесь, в Дорнахе, – г-н Борис Бугаев – покинул физический план. Ценимый писатель и лирический поэт высокого порыва, он счел при этом своим долгом в годину тягчайшего испытания стоять до конца *в своем* отечестве. Изнуряющие лишения и муки принесли ему безвременную смерть. Знавшие его не забудут пожирающий пламень напора его души. И он принял венец мученика царящих в России условий.
>
> *Мария Штейнер*[1].

Автор некролога – Мария Яковлевна Штейнер, урожденная Сиверс (1867–1948), с 1902 г. ближайшая помощница Р. Штейнера, а с 1914 г. его жена. После смерти Р. Штейнера она стала издателем его наследия, членом Правления Всеобщего Антропософского Общества, духовным лидером дорнахских антропософов.

Она происходила из семьи прибалтийских немцев, родилась во Влоцлавске (Варшавская губерния, ныне Влоцлавек), училась и жила в Петербурге[2]. В возглавляемой Штейнером Немецкой секции Теософского общества ведала многими административными вопросами. Потом помогала Штейнеру в организации Антропософского общества, стала одним из создателей эвритмии и речевой пластики (специальное искусство рецитации).

Зная русский язык и будучи «при Штейнере», Сиверс покровительствовала тем, кто приезжал к нему из России. Андрей Белый и Ася Тургенева не стали здесь исключением. Именно Сиверс устроила им встречу с будущим учителем в мае 1912 г. в Кельне и даже выступала во время этой судьбоносной для писателя встречи переводчиком. Именно Сиверс способствовала вступлению в 1913 г. Белого и Аси на путь антропософского ученичества и их скорому (в 1914 г.) переезду в швейцарскую деревню Дорнах для эзотерических штудий и работы на строительстве Иоаннова здания (Гетеанума)[3].

О роли М.Я. Сиверс (Штейнер) в своем духовном становлении Белый написал в «Материале к биографии (интимном...)»:

> <...> вся огромность Марии Яковлевны открылась мне <...> с октября 1913 года; с этого времени я почувствовал, что между нами возникла особая, непередаваемая

> связь; М.Я. стала являться в моих снах, в моих медитациях; она всегда стояла в центре моей души; я спрашивал советов у образа ее, возникавшего из моих медитаций; и этот образ показывал мне ослепительные духовные горизонты <...> я духовно видел то, что лежало выше меня; я чувствовал себя приподнятым над самим собою; и я знал, что эта приподнятость есть «оккультная» помощь, посылаемая мне Марией Яковлевной, которую я боготворил; она стала для меня одно время всем: сестрой, матерью, другом и символом Софии <...>. Разумеется, в этом непонятном мне обоготворении М.Я. не звучали ноты «влюбленности»; и все же: образ ее был для меня символом Софии...[4]; М.Я. становится в моем внутреннем мире чем-то вроде матери: она является мне в снах; в бодрственном состоянии я часто слышу ее в сердце своем; она как бы во мне живет; и наставляет меня[5].

Первоначально Белый советовался с Сиверс и по вопросам творчества, и по вопросам личной, даже интимной жизни. Однако со временем их отношения стали охлаждаться: еще в Дорнахе Белый стал ревниво подозревать Сиверс в том, что в его разногласиях с женой, «наставница» принимала не его сторону, а сторону Аси...

Окончательный разрыв с Сиверс произошел в марте 1923 г. в Германии. В этот период писатель находился в состоянии крайне нервическом: Ася его бросила, Штейнер, как ему казалось, проявил равнодушие, немецкие антропософы не только не поддержали его, но, напротив, оклеветали, распространив слухи о готовящемся романе-пасквиле на Штейнера («Доктор Доннер»). Сиверс, безусловно, знала и о ругани Белого в адрес Штейнера, и о романе «Доктор Доннер», и о его расставании с Асей. А Белый, в свою очередь, знал о ее резко негативной оценке его берлинских «подвигов». В этой связи, уже приняв решение о возвращении в Советскую Россию, Белый стал искать с ней контакта – в надежде на прощение, понимание и примирение. Сначала, 11 марта 1923 г., передал ей через К.Н. Васильеву (с 1931 г. Бугаеву, вторую жену Белого) «объяснительное» письмо, в котором просил о личной встрече и серьезном разговоре:

> Глубокоуважаемая Мария Яковлевна,
>
> Простите, что этим письмом отнимаю у Вас время. Но мне было бы важно весьма видеться с Вами. Я не знаю, сколько продлится мое пребывание здесь; но при отъезде в Россию мне нужно было бы иметь несколько Ваших советов относительно культурной работы, с которой я неизбежно в России буду связан. Конечно, – у меня есть и личные вопросы, – но не в них дело; я уже 15 месяцев в Германии и доселе не имел случая видеть Вас и Доктора Штейнера; думаю, что необходимость Вас видеть и с Вами говорить для меня имеет не только субъективный смысл, но и объективный.
>
> К.Н. Васильева передавала мне часть разговора с Вами, касающуюся Ваших слов обо мне: с горечью, почти со стоном сказал себе: «Недоразумение, Недоразумение!». Одно – слухи, сплетни, личное; другое – объективные факты. Если бы я был врагом антропософии, я не писал бы то, что я пишу; судите меня по фактам моей общественной деятельности, а не по «*сплетням*» обо мне. Да, мне горько и нелегко; и много горечи я вынес за эти 15 месяцев; у меня было впечатление, что в ито-

ге 5-летней работы в России я оказался просто за порогом О-ва (не я ушел, а меня «ушли»). Как создалось это субъективное впечатление, об этом, если захотите, спросите. Но не «личное» заставляет меня просить свидание с Вами, а «*объективное*» (моя работа в России, куда, вероятно, скоро я попаду).

К.Н. Васильева так добра, что завтра зайдет к Вам за ответом в 4 часа, в Понедельник.

Примите уверение в совершенном почтении,

Борис Бугаев. Воскресенье 11 марта[6].

Вскоре состоялась и долгожданная встреча, однако ожидаемого результата она не принесла, а, наоборот, оставила впечатление травматическое, болезненное, отразившееся спустя пять лет в работе 1928 года «Почему я стал символистом...»:

Далее – мое письмо к мадам Штейнер, пытающейся прилично оформить необходимость мне в этот период стоять вдали от деятелей «*А<нтропософского>. О<бщества>.» (пока!);* но мадам Штейнер, русская немка, в тридцатилетии своего отрыва от русского языка забыла этот язык, вероятно, забыла, потому что она прочла мое письмо как уход от антропософии и Рудольфа Штейнера; к вороху гадостей присоединяя новую для меня и весьма обидную гадость; что я Штейнеру верен, гарантия – моя пятилетняя русская жизнь; в ней я привык быть «*верным*» в деле, а не в доставании себе удостоверительных писем; неужели мадам Штейнер полагала, что я буду бегать за ней вприпрыжку с удостоверительными, меня унижающими карточками: хамом, лакеем, вставшей на задние лапки собачкою, ждущей наград, – я не был; и не собирался делаться. Такое понимание моего письма – пощечина мне <...>. А бегать за мадам Штейнер с унизительными уверениями в «*верности*» и «*преданности*» я не мог; да и не был я в состоянии заниматься такими делами: *я был болен*[7].

В «Воспоминаниях о Штейнере» Андрей Белый вновь изобразил М.Я. Сиверс вполне апологетически, многократно подчеркнув ее огромную роль как в его личной судьбе, так и в жизни Антропософского общества. Однако некоторые высказывания позволяют заподозрить, что в их подтексте – не только восхищение и благодарность, но и подавленная боль незажившей раны:

<...> Мария Яковлевна являлась в иные минуты <...> Дамой с огромной аурой, или неким солнечным диском <...>. Так «Огромная Дама» являлась мечом разделения на две партии – искони: не увидавших М.Я. в ее сиянии, преображении, или ауре, и видавших <...> когда она <...> сияя лазурью глаз и золотом волос, расточала свою милостивую улыбку, которая бывала иногда не улыбкой, а солнышком. Это для «видавших виды»; а не видавшие «видов» видывали иные виды от М.Я.; эти утверждали: «Сухая, чопорная, несправедливая немка!» Это говорили русские; немцы же говорили иначе: «Сухая, чопорная, несправедливая русская!» <...> Думается мне: М.Я. была <...> исключением, не поддавшимся учету, даже антропософскому, и в сверкании своих достижений, и в остро ощущаемых недостатках.

И здесь точка. То, что я пишу, – не характеристика, а отказ от нее, или формула перехода к более мне доступным характеристикам[8].

Видимо, для Сиверс Андрей Белый тоже был не вполне обычным антропософом, тоже казался «исключением, не поддавшимся учету, даже антропософскому». Трудно, конечно, реконструировать, что сама Сиверс на протяжении всего этого времени думала о Белом, но одно яркое свидетельство ее отношения к писателю есть – приведенный выше некролог... Последнее слово в долгих и сложных взаимоотношениях Андрея Белого с Марией Яковлевной Сиверс осталось за ней.

* * *

Помянули Белого и другие соратники по антропософскому движению. Так, «Русская антропософская группа» в Париже поместила в газете «Последние новости» (№ 44 (4710). С. 4; рубрика «Лекции, собрания») объявление о том, что 14 февраля 1934 г. в «8¾ ч. <...> 6 рю Югенс (метро Вавен)» состоится «Вечер, посвященный памяти Андрея Белого». Видимо, одного вечера оказалось недостаточно. 18 апреля 1934 г. в 8½ русские парижане были приглашены туда же на доклад «Значение для нашего времени жизни и творчества А. Белого» (Последние новости. 1934. № 107 (4773). С. 4). Докладчицей была объявлена Наталья Алексеевна Тургенева (1886–1942)[9], старшая сестра А.А. Тургеневой, жившая в то время в Париже и занимавшаяся там антропософской деятельностью.

С Наташей Тургеневой Белый познакомился тогда же, когда и с Асей – в 1905 г. в московском доме их тетки, знаменитой камерной певицы М.А. Олениной-д'Альгейм. Укреплению их связи способствовала не только женитьба Белого на Асе Тургеневой, но и то, что в 1911 г. мужем Наташи стал «бескорыстно-взволнованный, благородно-восторженный – студент»[10] Александр Михайлович Поццо (1882–1941). Юрист по образованию, А.М. Поццо занимался литературно-редакторской работой и, подобно Белому, восхищался искусством М.А. Олениной-д'Альгейм. На этой почве они в конце 1900-х подружились, а потом и породнились, женившись на сестрах Тургеневых[11].

Вслед за Белым и Асей семья Тургеневых-Поццо тоже серьезно увлеклась антропософией, начала ездить в Европу на лекции Р. Штейнера и в конце концов тоже поселилась в Дорнахе. Все четверо активно включились в работу по строительству Гетеанума.

К 1915 г. чувства Белого к Наташе Тургеневой развились и вышли за пределы чисто родственных и чисто дружеских. Наташа стала для него постоянным соблазном и мучительным наваждением. Белый страдал и мучился угрызениями совести: перед женой Асей, перед другом А.М. Поццо и... перед своей духовной наставницей М.Я. Сиверс, хорошо осведомленной о проблемах личной жизни сестер Тургеневых и явно не одобрявшей беловского морального своеволия[12].

Пытаясь прорваться сквозь пелену возникшего отчуждения и хотя бы частично восстановить свою репутацию в глазах Сиверс, чей нравственный авторитет для писателя был в то время еще безусловен, Белый 13 января 1915 г. написал ей письмо, в котором объяснял:

> Мои отношения к людям мне дорогим и близким (к Асе, Наталии Алексеевне Поццо, к Александру Михайловичу Поццо) установились не на основании того или иного круга субъективных переживаний, могущих временно и по-разному овеивать; установились они и не на основании абстрактных, представлений о дружбе, родственности, товариществе, сочленстве в О-ве; установились они не на основании

одной только симпатии, или интимного понимания друг друга, или совместного искания пути жизни, а всего вместе; и кроме того: с каждым по-разному была *радость встречи*; с Наталией Алексеевной Поццо были у меня глубокие и важные разговоры и встречи еще до моего приближения к Асе; с Асей мы связаны нашим совместным путем; Александр Михайлович Поццо, будучи мне *братом* по духовному устремлению, еще с 1902 года был одним из немногих, кто понял мои юношеские устремления в литературе; *целое* наших отношений несу я, как событие дорогое, *ценное* и *огромное* в моей жизни. И потому-то: развитие этих отношений, временные дисгармонии их проношу я в душе, как проблемы, как развитие симфонической темы, не уяснимой извне наложенною программою абстрактного понимания; отношения эти даже в их временных диссонансах, я хочу нести *внутри их*, а не *вне их*, сознавая, что разрешение чего-то мне не внятного тут есть процесс долгой, упорной душевной работы; и если я когда-то писал: «Есть несказанные лица... Есть слова, веющие ветром, – сквозные, как золотое, облачное кружево... Есть слова тишины, в которых слышатся громы неимоверного приближения души к душе... Есть тайная связь всех тех, кто перешагнул за грань оформленного. Они знают друг друга»[13], то я мог бы эти слова приложить к лейтмотивам отношений нас 4-х друг к другу[14].

Вряд ли подобные объяснения смягчили Сиверс. Не способствовали они и налаживанию отношений Белого с Асей, а также с Наташей, которая, очевидно, жаловалась на Белого Сиверс и Штейнеру, и А.М. Поццо. Сложный клубок взаимоотношений четырех антропософов, связанных духовным и семейным родством, будет не распутан – разрублен внешними обстоятельствами. Призванный на военную службу, Белый в августе 1916 г. вернется в Россию; А.М. Поццо тоже. Они вновь подружатся и перед отъездом в Россию даже отправятся в совместное путешествие по Швейцарии. Белый посвятит Поццо несколько стихотворений и одно из них, опубликованное 14 августа 1916 г. в «Биржевых ведомостях», назовет «Товарищу»[15].

Ася и Наташа останутся в Дорнахе... Ася – на всю жизнь. Наташа – на время. Сначала она переедет в Берлин, где будет заниматься эвритмией, а в конце 1920-х – в Париж. Там под руководством М.Я. Сиверс Наташа Тургенева будет организовывать антропософскую работу в среде русской эмиграции. Не исключено, что с М.Я. Сиверс был согласован и ее апрельский доклад о «значении для нашего времени жизни и творчества А. Белого», и проведенный ею в феврале вечер памяти писателя. Неизвестно, о чем говорилось тогда на заседаниях Русской антропософской группы в Париже. Но думается, что на этих заседаниях Белый был помянут не дорнахским наваждением и не берлинским безумием. Или, по крайней мере, не только ими.

Не остался в долгу перед Белым и его «брат по духовному устремлению» А.М. Поццо. После революции ему удалось не только эмигрировать, но и попасть в 1920 г. в Дорнах. Там он некоторое время работал сторожем их совместного детища – Гетеанума. Семейная жизнь с Наташей не сложилась – они расстались. Однако с антропософией А.М. Поццо остался связан до конца своих дней, завоевав авторитет коллег активной миссионерской деятельностью: организовывал антропософскую работу в Литве, Чехословакии, Польше. Будучи в Варшаве, он, как и Н.А. Тургенева, выступил с докладом об умершем друге. Но, в отличие от докла-

да Наташи Тургеневой, содержание выступления А.М. Поццо можно представить по достаточно подробной аннотации, опубликованной в одной из эмигрантских газет:

> **Воспоминания об Андрее Белом**
>
> С большим вниманием была выслушана интересная лекция А.М. Поццо об Андрее Белом. Особенный интерес лекции придавало то, что лектор был не только хорошо знаком с творчеством покойного писателя, но и лично знал Андрея Белого в течение ряда лет.
>
> Своеобразная фигура Андрея Белого еще слишком близка к нам и слишком мало изучена, чтобы можно было вынести о нем окончательное суждение. Это дело истории.
>
> Талантливому лектору удалось нарисовать перед слушателями трагический и нежный образ мятущейся души поэта-мыслителя и любящего сына своей несчастной Родины. Один из самых блестящих учеников Владимира Соловьева, затем горячий поклонник Рудольфа Штейнера (антропософа) и, в конце концов, подневольный гражданин большевицкой страны. Чуткий, своеобразный и тонкий философ среди грубых, тупых, невежественных, но самоуверенных большевицких заправил[16].

Таким образом, память Белого почтили все участники его дорнахской драмы, включая ее главную героиню Асю Тургеневу, чей очерк-некролог публикуется далее.

---

[1] Перевод С.В. Казачкова. Примечания переводчика: «*Физический план* – в герметизме и теософии Е.П. Блаватской: земной мир. *...в годину тягчайшего испытания...* – по всей вероятности, подразумевается не только Первая мировая война, но и предсказанные Р. Штейнером социальные катастрофы 1930–1940-х, которые, по его словам, будут сопровождать начало эры второго пришествия Христа “на облаках небесных” (по толкованию Штейнера – в бесплотной, или эфирной форме). Такой смысл вкладывал в свое решение жить после революции на родине и сам Б. Бугаев. *Пожирающий пламень* (das verzehrende Feuer), – возможно, перекличка с известным библейским выражением (Евр. 12: 29 и др.)».

[2] *Линденберг К.* Рудольф Штейнер: Биография. М., 1995. С. 113.

[3] См. подробнее в кн.: *Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006. С. 41–116 (Глава 2: «Андрей Белый – Мария Сиверс – Рудольф Штейнер»).

[4] *Андрей Белый.* Материал к биографии (интимный...). Минувшее. Т. 8. С. 418.

[5] Там же. С. 58.

[6] См.: *Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 107–116. Это письмо, а также другие письма Белого к Сиверс и книги с его дарственными надписями хранятся в Дорнахе, в архиве Rudolf Steiner Nachlassverwaltung.

[7] *Андрей Белый.* Почему я стал символистом и почему я не переставал им быть на всех фазах моего идейного и художественного развития // Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 480–481.

[8] *Андрей Белый.* Воспоминания о Штейнере / Подгот. текста, предисл. и прим. Ф. Козлика. Paris, 1982. С. 201.

[9] См. ее характеристику в очерке М.И. Цветаевой «Пленный дух» в наст. изд.

[10] *НВ 1990.* С. 109.

[11] Там же. С. 428. В *РД* знакомство с А.М. Поццо датировано 1905 г. (Л. 30 об.), а сближение – 1909 г. (Л. 47 об.).

[12] Подробнее см.: *Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 272–274.

[13] Из статьи «Луг зеленый» (Весы. 1905. № 8), вошедшей в сб. статей Белого «Луг зеленый» (М., 1910). См.: *Андрей Белый.* Критика. Эстетика. Теория символизма. Т. 1. М., 1994. С. 254, 257.

[14] См. полный текст письма, хранящегося в архиве Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, и его анализ в кн.: *Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 91–106. Выделено Белым.

[15] См.: А.М. Поццо («Я слышал те медлительные зовы...» (Дорнах, 1916). В сб. «Звезда» (Пб., 1922) помимо этого стихотворения Белый включил еще два, посвященных А.М. Поццо: А.М. Поццо («Пройдем и мы: медлительным покоем...»; Дорнах, 1916), А.М. Поццо («Глухой зимы глухие ураганы...»; Москва, 1918).

[16] Аннотация выступления А.М. Поццо приводится по газетной вырезке (рубрика «Варшавская хроника»). Название газеты и точная дата публикации нам не известны.

АСЯ ТУРГЕНЕВА

БОРИС БУГАЕВ (АНДРЕЙ БЕЛЫЙ)

Очерк о жизни

Борис Бугаев (род. 1880), сын декана Московского университета, математика Николая Васильевича Бугаева, вырос в среде, связанной через отца с европейскими учеными 80-х и 90-х годов.

Характер воспитания ребенка был трезвый, рационалистический, однако профессора, которые посещали дом отца, неожиданно становились импульсом к созданию мира мифологически-фантастических образов и источником впечатлений, интенсивно воздействующих на всю его жизнь и творчество[1]. В его памяти оставили глубокий след прежде всего Лев Толстой[2] и Владимир Соловьев.

С ними он встречался также в семье Михаила Соловьева, брата Вл. Соловьева[3], у которого он нашел свое пристанище[4]. Племянник Вл. Соловьева Сергей С., впоследствии писатель и священник, а несколько лет спустя и поэт Александр Блок, также состоявший в близком родстве с Соловьевым[5], на протяжении всей жизни оставались его самыми близкими друзьями.

Художественно-религиозные интересы этой семьи позволили ей открыто принять его, что имело огромное значение для развития его живой фантазии и мистических наклонностей. Особенно на рубеже веков — когда ему было под двадцать лет — эти настроения приобрели наиболее интенсивный характер, переходящий в апокалиптические переживания. Он думал, что ощущает сильные изменения в природе. В языке полей, в красках заката он почувствовал предвестие нового духовного откровения[6]. Живущее в народе ожидание нового пришествия Христа стало основной темой его первых поэтических произведений. Его первый художественный опыт посвящен изображению борьбы с Антихристом[7]. Он был потрясен лекцией Соловьева на эту же тему и последующим разговором с поэтом, который подтвердил его предчувствия[8].

Вскоре после этого, быстро друг за другом, умерли братья Соловьевы[9]. Это были единственные люди, которые, благодаря своим художественным предчувствиям, были способны понять опасность экстатического опьянения, грозящего полностью захлестнуть всю жизнь целого поколения молодых людей и предостеречь о ней.

Еще перед своей смертью Михаил Соловьев издал первое произведение Бугаева[10].

Вторая, или Драматическая симфония

В ряде полусерьезных, полуюмористических образов в ней рассказывается о заблуждениях незрелой мистики, которая в эгоистическом тщеславии пытается вторгнуться в область сакрального. Это было предчувствие, которому оказалось не суждено стать предостережением. Но «симфоническая» форма поэзии в прозе

с ритмическим построением предложений и ритмичными повторами отдельных предложений и образов, подобно использованию лейтмотива в музыке, стала определяющей для дальнейших творческих поисков Бугаева. Он достиг уникального владения словом, что порой мешало целостному впечатлению от произведения.

Псевдоним «Андрей Белый» был придуман Михаилом Соловьевым для того, чтобы отчасти предотвратить всеобщее возмущение, которое должно было обрушиться на сына известного ученого после появления такого художественного произведения.

За изданием «Второй симфонии» последовала «Первая, или Северная симфония», немного ранее написанная сказка[11], в которой по-детски предчувствованные христианские мотивы переплетаются со средневековым рыцарством и мифологическим ощущением природы. (Один из образов из этой книги может быть понят как предвидение образов доктора Штейнера.)

Вскоре за ними появился сборник стихотворений «Золото в лазури», выразивший представления и заблуждения того юношеского периода, из-за которых на поэта нацепили ярлык опасного декадента-модерниста.

Группа молодых символистов, ведомых учениками Вл. Соловьева Белым и Блоком, противостояла всем другим литературным направлениям. Белый и Блок воспринимались их приверженцами как пророки новой мудрости откровения Софии, а всеобщее мнение считало их шарлатанами и сумасшедшими.

После «Третьей симфонии» «Возврат», которая содержит мифологически превращенные впечатления от естественно-научных занятий в университете, последовала последняя, «Четвертая симфония» «Кубок метелей» – симптом мистики, зараженной собственным эгоизмом и осознающей эту свою болезнь.

Содержанием его следующих сборников «Пепел» (1906) и «Урна» (1908)[12] – в последней отражается его личная драма, разрешающаяся тоской по смерти, – становятся призрачная действительность, безумие, танец масок, танец смерти, изображение России во власти хаотично-демонических сил и ложным мессианством соблазненное сознание. В предисловии к сборнику «Урна» Белый завершает этот этап своей жизни узнанием, что только розенкрейцеры могут дать ответ на вопрос: Что такое золото и что такое лазурь? – А именно: цвета храма, построенного архитектором Хирамом. Преждевременное восприятие мира в этих цветах – т.е. высшей оккультной школы – отбрасывает в бездну. Но переживание смерти – сожжение – дает надежду на новое обретение этих цветов[13].

1908–1912 гг. Бугаев называет периодом ожидания. Следует погружение в различные литературные и философские течения и прежде всего внимательное изучение русских стихотворных размеров, позволившее ему открыть принцип ритма, идущего параллельно метрическим схемам и ставшее для него адекватным выражением как содержания стихотворений, так и личности поэта и характера эпохи. Впоследствии это изучение будет несколько лет продолжаться кружком молодых поэтов[14].

Его два больших романа, написанных в то время, затрагивают тему опасности Запада и азиатчины в России. В «Серебряном голубе» (1910) молодой поэт, разочаровавшись в модернистских заблуждениях, ищет исцеления в природе и в жизни народа. Его влечет мистика крестьянской души. В тот момент, когда он узнает в ней темные, магические силы и хочет освободиться от них, его убивают как

предателя. На заднем плане, как зритель, выступает старый немецкий мистик[15], обладающий знанием о взаимосвязях судеб, но он не может ему помочь.

Язык отличается образностью и стилизацией, сильно приближенной к народному диалекту.

По своему языку «Петербург» скорее поэтическое произведение, чем роман. Как рок, демоническая тень Петра I правит сотворенным им городом-призраком. Под влиянием темных сил вскипают волны нарастающей мести масс, направленной против режима, застывшего и стремящегося к сохранению традиций прошлого. На этом фоне разыгрывается личная драма человека, которого последствия дуалистического мировоззрения доводят до безумия и толкают на преступление. Его ненависть к отцу, наделенному характерными чертами Победоносцева[16], используется темными оккультистами, выступающими под маской террористов. Находясь в хаотичных и аномальных состояниях, он в конце концов открывает стоящую за западной идеологией обеих партий и общую обеим азиатскую власть, игрушкой которой они являются. Единственная светлая нота — наивная уверенность крестьянского мальчика, прибывшего в город, что он узнает правду от умных людей; его образ, проходящий, подобно тени, между событий, являет собой надежду на высшую человечность.

Этот роман был окончен в то время (1913 год), когда Белый уже нашел антропософию[17]. Ответ на проблемы, затронутые в этом романе, Бугаев искал на неокантианских путях, пытаясь обосновать символ не как отражение духа, но как творчески реальный синтез чувственных и сверхчувственных истин. См. его философский труд «Символизм» и связанные с ним «Луг зеленый», «Арабески».

Ответ на эти устремления был найден Белым только потом в Дорнахе, в период изучения естественно-научных трудов Гете в издании д-ра Штейнера[18]: в понятиях «первообраза» и «метаморфозы форм». Нападки со стороны близких ему литературных деятелей, направленные против «философского дилетантизма и ненаучности» Гетеанского мировоззрения в понимании Рудольфа Штейнера, дали Бугаеву толчок к основательному изучению этих вопросов. См. его полемическую книгу «Гете и Штейнер в мировоззрении современности»[19]. Твердость в мышлении, которую он благодаря этому приобрел, также спасала его чувство истины и надежно вела его сквозь все колебания личных чувств. Его воспоминания о детстве «Котик Летаев»[20], стихи в прозе, относятся еще к этому времени.

В ситуации оторванности от жизни в России из-за начавшейся войны в нем все сильнее росла тоска по России. Призванный в армию только незадолго до революции (как единственный сын он должен был призываться в последнюю очередь), он вернулся в Россию[21] и только в 1921 году снова получил возможность выехать в Германию. В Берлине он издал целый ряд небольших сочинений, главным образом посвященных вопросам современного сознания[22]. После двух лет в эмиграции его снова стало тянуть в Россию, чтобы разделить судьбу своего народа. С большевистским паспортом он больше не мог приехать в Швейцарию, а возможность возврата в Россию он не хотел терять.

В период между 1923 и 1934 годами он издал в России несколько романов и трудов по языкознанию[23]. В этих социальных обстоятельствах он не мог открыто исповедовать свое мировоззрение. Несмотря на это, он еще за несколько лет до своей смерти открыто показал себя антропософом[24], в то время, когда они преследовались, и хотел разделить их судьбу.

Он умер 8 января 1934 г. от последствий солнечного удара, который он перенес летом на юге. Умирая, он просил прочитать эпитафию, написанную им в юности:

Золотому блеску верил
А умер от солнечных стрел
Думой века измерил
А жизни прожить не сумел[25].

Перевод с немецкого Хенрике Шталь (Германия)

Послесловие

Первая жена Андрея Белого – художница, антропософка, эвритмистка Анна Алексеевна Тургенева (1890–1966), или – как все ее называли – Ася, откликнулась на смерть Андрея Белого гораздо менее эмоционально, чем остальные. Из-под ее пера вышел не собственно некролог, а краткий и сухой биографический очерк. О том, что его автор – бывшая возлюбленная и жена (пусть и бросившая Белого), догадаться практически невозможно, так как все личное в некрологе сведено к минимуму, а внимание сконцентрировано на характеристике этапов творческого пути и идейной эволюции Белого-писателя и Белого-антропософа[i].

В 1985 г. этот текст был напечатан В. Федюшиным на немецком языке[ii] по автографу из архива «Наследие Р. Штейнера» (Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung; Дорнах, Швейцария) и снабжен следующим примечанием: «Данные записки были написаны А. Тургеневой по инициативе Марии Штейнер. Сама же она по этому поводу заметила, что ей не удалось точно восстановить в памяти все даты <...>». Можно предположить, что очерк предназначался для публикации[iii]: подобный информационно-ознакомительный материал нередко помещался в советских и зарубежных газетах как пояснение к краткому некрологу (например, он логично смотрелся бы как послесловие к некрологу той же Марии Яковлевны Штейнер-Сиверс – см. в предыдущей статье).

Нам не известно, на каком языке – русском или немецком – изначально очерк был написан (Ася писала на обоих языках) и существовал ли в принципе автограф на русском: наши позднейшие попытки обнаружить его не увенчались успехом. Плохой немецкий язык некролога позволяет предположить, что Ася или изначально писала на немецком, или сама переводила на немецкий с русского. Учитывая важность этого документа для настоящего сборника, мы рискнули дать очерк Аси

---

[i] Впоследствии Ася Тургенева писала о Белом-антропософе в мемуарном очерке «Андрей Белый и Рудольф Штейнер» (альманах «Мосты». 1970. № 15. С. 236–251; републикация в сб.: Воспоминания о Серебряном веке / Сост., авт. предисл. и коммент. Вадим Крейд (М., 1993) и в книге «Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum» (Stuttgart, 1972; в русском переводе: Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гетеанума (М., 2002).

[ii] Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe. 89/90 (Andrej Belyj und Rudolf Steiner: Briefe und Dokumente). Dornach, 1985. S. 53–56.

[iii] Публикация не осуществилась или не была выявлена.

Тургеневой в переводе с немецкого[i], понимая, что может быть потерян стиль, но в надежде, что будет сохранен смысл.

---

[1] Имеются в виду детские впечатления, описанные Белым в автобиографической повести «Котик Летаев» (гл. 2) и мемуарах «На рубеже двух столетий».

[2] См. рассказ Белого о посещениях «толстовского дома в Хамовниках» в 1894–1895 гг.: *НРДС 1989.* С. 328–333 (гл. «Толстые. Ожэ. Авторство. Шопенгауэр»).

[3] Ср.: «<...> приходя к Соловьевым, порою, встречал я Владимира Соловьева за шашками» (*Андрей Белый.* Записки чудака // Андрей Белый. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. М., 1997. С. 320 и далее – гл. «Владимир Соловьев»). См. об этом в «Воспоминаниях о Блоке» (*О Блоке 1997.* С. 32–37 – гл. 1) и в очерке «Владимир Соловьев. Из воспоминаний» в сб. Белого «Арабески» (*Андрей Белый.* Критика. Эстетика. Теория символизма. М., 1994. Т. 2. С. 349–356).

[4] См. подробно о роли семьи Соловьевых в становлении Белого-писателя: *НРДС 1989.* С. 339–368 (гл. «Семейство Соловьевых»).

[5] Мать Блока Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух (урожд. Бекетова, в первом браке Блок; 1860–1923) приходилась двоюродной сестрой матери Сергея Соловьева Ольге Михайловне Соловьевой (урожд. Коваленской; 1855–1903).

[6] Имеется в виду страстное увлечение Белого наблюдением за зорями и закатами, свидетельствовавшими, по его мнению, о наступлении новой эры. Как считал писатель, подтверждение своим юношеским догадкам он нашел у Штейнера. См., напр.: *Андрей Белый.* Записки чудака // Андрей Белый. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. М., 1997. С. 301 (гл. «Памир: крыша света»).

[7] Имеется в виду мистерия «Антихрист», над которой Белый работал в 1899 г. См.: *Андрей Белый.* Антихрист. Набросок к ненаписанной мистерии / Публ., вступит. статья и прим. Д. Рицци. Тренто, 1990. Отрывок из мистерии («Пришедший») Белый читал Соловьевым.

[8] В марте 1900 г. в Петербурге В.С. Соловьев прочел лекцию «О конце всемирной истории», содержание которой активно обсуждалось в Москве (в том числе в семье Соловьевых и Бугаевых). Еще больше поразила Белого соловьевская «Краткая повесть об антихристе», которую автор читал в мае 1900 г. в доме у М.С. и О.М. Соловьевых. Белый был приглашен на этот вечер и тогда же, в мае 1900 г., состоялся его единственный разговор с В.С. Соловьевым. В июле 1900 г. В.С. Соловьев скончался.

[9] М.С. Соловьев умер в 1903 г.

[10] Имеется в виду первая книга Белого «Симфония (2-я, драматическая)», вышедшая в 1902 г. О роли М.С. Соловьева в ее издании под маркой символистского издательства «Скорпион» см.: *НВ 1990.* С. 145; там же – о происхождении псевдонима «Андрей Белый».

[11] Северная симфония (1-я, героическая). М.: Скорпион, 1904). Белый работал над ней в 1900 г.

[12] Сборник «Пепел» вышел в декабре 1908 г. (на титуле – 1909 г.), сб. «Урна» – в 1909 г.

[13] Пересказывается заметка «Вместо предисловия» к сб. «Урна». Ср.:

«Озаглавливая свою первую книгу стихов "*Золото в лазури*", я вовсе не соединял с этой юношеской, во многом несовершенной книгой того символического смысла, который

---

[i] Благодарим Вальтера Куглера, директора архива «Наследие Р. Штейнера» (Дорнах), за разрешение на публикацию.

носит ее заглавие: *Лазурь* – символ высоких посвящений, *золотой треугольник* – атрибут Хирама, строителя Соломонова храма. Что такое лазурь и что такое золото? На это ответят розенкрейцеры. Мир, до срока постигнутый в золоте и лазури, бросает в пропасть того, кто его так постигает, минуя оккультный путь: мир сгорает, рассыпаясь Пеплом; вместе с ним сгорает и постигающий, чтобы восстать из мертвых для деятельного пути.

“*Пепел*” – книга самосожжения и смерти: но сама смерть есть только завеса, закрывающая горизонты дальнего, чтоб найти их в ближнем.

В “*Урне*” я собираю свой собственный пепел, чтобы он не заслонял света моему живому “я”. Мертвое “я” заключаю в “Урну”, и другое, живое “я” пробуждается во мне к истинному. Еще “Золото в лазури” далеко от меня... в будущем. Закатная лазурь запятнана прахом и дымом: и только ночная синева омывает росами прах... К утру, быть может, лазурь очистится...».

[14] Видимо, имеется в виду «Ритмический кружок» при издательстве «Мусагет», в котором Белый вел занятия в 1910–1911 гг.

[15] Имеется в виду приятель Дарьяльского Шмидт.

[16] Сходство сенатора Аблеухова с обер-прокурором Святейшего синода Константином Константиновичем Победоносцевым (1827–1907) отмечали как современники, так и последующие исследователи творчества Белого.

[17] Работа над романом «Петербург» началась в 1911 г. и была завершена в ноябре 1913 г. Однако уже в октябре 1913 г. вышел сб. 1 альманаха «Сирин» с началом романа (гл. 1–3). Сб. 2 вышел в декабре 1913 г., сб. 3 (с последними главами и эпилогом) – в марте 1914 г. В конце октября – начале ноября Белый подарил М.Я. Сиверс первый выпуск «Сирина» и сопроводил подарок письмом, в котором связал отказ от мрачного мировоззрения с обретением антропософии: «Глубокоуважаемая Мария Яковлевна! Осмелюсь Вам поднести начало моего романа “*Петербург*”, только что полученного мною. При этом меня охватывает стыд и страх: до чего темен и беспросветен мой роман; я его писал до встречи с Доктором (первые две трети) в эпоху разуверенья в партиях, людях, литературе. И в этом, может быть, слабое оправдание мне. В архитектонической концепции целого мой роман – вторая часть трилогии “*Восток и Запад*”. Первая часть говорит “*нет*” темному востоку в России; вторая часть говорит “*нет*” искаженному западу. И лишь в третьей части “*Невидимый Град*” должно явиться “*да*”... Вышеозначенное начало романа в сущности – длинная интродукция к фабуле. Еще раз извиняюсь за смелость дать Вам книжку. Остаюсь глубоко преданный и уважающий Вас Борис Бугаев». Подробнее см.: *Спивак М.* Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 70–71. Выделено Белым.

[18] Имеются в виду выпущенные Дж. Кюршнером (Joseph Kürschner) в серии «Немецкая национальная литература» тома «Естественно-научных трудов» Гете с вводными статьями, пояснительными заметками и комментариями Р. Штейнера (см.: *Goethe J.W.* Naturwissenschaftliche Schriften. Mit Einleitungen, Fußnoten und Erläuterungen im Text herausgegeben von Rudolf Steiner. 5 Bände. Photomechanischer Nachdruck nach der Erstaufl. in «Kürschners Deutsche National-Litteratur»: Goethes Werke, Band 33–36.1.2., 1883–1897). Ср. запись Белого о ноябре 1913 г. в «Материале к биографии»: «<...> я никогда не штудировал естественно-научных сочинений у Гете; <...> кроме того: я не читал книг доктора о Гете, ни – вводительных статей к Гетеву тексту. С ноября я раздобываю все, написанное доктором о Гете, раздобываю томы Кюршнеровского издания “Naturwissenschaftliche Schriften” Гете и принимаюсь изучать Гетев текст, примечания доктора, вводительные статьи и его книги, посвященные Гете» (Минувшее. Т. 8. С. 412–413).

[19] Поводом для этого стала возмутившая его монография Э.К. Метнера «Размышления о Гете. Книга I. Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма» (М.: Мусагет, 1914). В 1915 г. в Дорнахе Белый написал полемическое сочинение «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том “Размышлений о Гете”» (опубликовано в Москве в издательстве «Духовное знание» в ноябре 1916 г. (на обложке – 1917 г.)). См. об этом подробнее в кн.: *Тургенева Ася.* Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гетеанума. М., 2002. С. 89–91.

[20] Белый начал работу над «Котиком Летаевым» осенью 1915 г. в Дорнахе по совету Р. Штейнера и закончил осенью 1916 г. уже в Москве. Роль Аси Тургеневой как духовной вдохновительницы его творчества он подчеркнул в посвящении: «Посвящаю повесть мою той, кто работала над нею вместе со мною – посвящаю Асе ее».

[21] Белый выехал из Дорнаха в Россию в августе 1916 г.

[22] Имеется в виду цикл философско-публицистических эссе «Кризис жизни» (Пб., 1918), «Кризис мысли» (Пб., 1918), «Кризис культуры» (Пб., 1920). В Берлине Белый собрал свои «Кризисы» в одну книгу и выпустил в «Издательстве З.И. Гржебина»: *Андрей Белый.* На перевале. [«Кризис жизни», «Кризис мысли», «Кризис культуры»]. Берлин; Пб.; М., 1923.

[23] Романы «Московский чудак», «Москва под ударом», «Маски» и исследование «Ритм как диалектика и “Медный всадник”» (М., 1929).

[24] См. об этом в статье Аси Тургеневой «Андрей Белый и Рудольф Штейнер» (Мосты. 1970. № 15. С. 236–251).

[25] Из стихотворения «Друзьям» (1907).

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

ГЕРМАН ВИЛЬГЕЛЬМ ВАЙСЕНБОРН*

НА СМЕРТЬ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Das Goetheanum (Dornach).
1934. № 4 (13–28 января).

Судно разбито волнами,
вой бури,
рев пучин,
зев бездны,
тянущей в ничто...

Взмыл белокрылый орел –
когтями пурпурно сверкая –
прочь с тону́щего судна:
зов чистоты,
светлой стрелою
звонкий, сверкающий взлет
в мирозданье.

Укрыт –
серебряной стеною
во свете взора доброты.
Венком из звезд сияет пенье...

* Герман Вильгельм Вайсенборн (Hermann Wilhelm Weissenborn; псевдоним Peter Andreas; 1902–1954) – поэт, прозаик, эссеист. Вступил в Антропософское общество в 1924 г.; в 1929–1930 гг. был соредактором антропософского журнала «Der Pfad» («Тропа»); в 1934 г. стал гарантом Антропософского общества; работал в области антропософии, философии, истории культуры. Сведениями о его знакомстве с Белым не располагаем. Да и вряд ли такие встречи могли быть. Стихотворение «На смерть Андрея Белого» было опубликовано в дорнахском журнале «Das Goetheanum: Wochenschrift für Anthtroposophie und Dreigliederung» № 4 (13–28 января) 1934 г. Орел (Adler des Meeres), в данном контексте – это морской орел; так называют различные виды птиц: орлан (буряк, скопа) и др. (см. у Даля).

Перевод с немецкого и публикация С.В. Казачкова

ГЛЕБ СТРУВЕ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ (БОРИС БУГАЕВ)
Некролог

The Times (London).
1934. 26 января.

В 1906 году в письме своему собрату по перу Валерий Брюсов назвал семерых поэтов, которые, по его мнению, составляют священную «гептархию» современной русской поэзии: Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов, Зинаида Гиппиус, Федор Сологуб, Андрей Белый и Александр Блок. И действительно, на этих именах зиждется русский символизм. Но когда Брюсов писал это, он, возможно, полагал, что в веках останется прежде всего его имя — как самое важное и значительное. С другой стороны, в 1906 году у него еще могли быть сомнения по поводу того, включать ли в этот список Блока; возможно, если бы ему не нужны были именно семь имен, Блока он бы не упомянул. Потомки рассудили иначе. Среди семи ведущих символистов величайшим российским поэтом считается Блок; имя самого Брюсова, сколь ни важно оно в истории символизма, отошло на задний план. Однако если Блок был, вне всякого сомнения, величайшим русским поэтом со времен Тютчева и Фета, то Андрей Белый (его настоящее имя Борис Николаевич Бугаев), скончавшийся в России 7 января этого года[1], был наиболее самобытным и разносторонним гением из русских символистов. В его лице современная русская литература потеряла одного из самых видных представителей: он был поэтом, публицистом, философом, теоретиком литературы — он был всем. Его имя часто упоминалось в паре с Блоком, и одно время они были очень связаны узами личной дружбы. Оба представляли религиозно-философское течение в русском символизме (в отличие от эстетического, представленного Брюсовым и Бальмонтом), оба своими поэтическими и философскими воззрениями были во многом обязаны Владимиру Соловьеву и его мистической философии.

Белый, родившийся в 1880 году в Москве, был сыном видного математика, профессора Бугаева. Среди его ранних произведений (написанных до 1910 г.) — три сборника стихотворений, выдвинувших его в первые ряды символистов (их названия: «Золото в лазури», «Урна», «Пепел»), и четыре книги прозы под общим названием «Симфонии». Хотя в своей поэзии Белый шел новыми путями и открывал перед русской поэзией новые формальные возможности, здесь он делил свои нововведения с другими поэтами-символистами. В прозе же его новаторство было более смелым, оригинальным, можно сказать, революционным, и это было целиком его и только его заслугой. Его «Симфонии» построены на принципе музыкальной организации прозы, на сложной системе многократно повторяющихся тем и вариаций и на совершенно новой системе записи. Белый некоторым образом предвосхитил словесные и стилистические эксперименты Джеймса Джойса[2].

«Симфонии» были, безусловно, экспериментом, имеющим огромное значение. Но тот же принцип, тот же метод был применен Белым в его поздних, зрелых романах — «Серебряном голубе» (1910) и «Петербурге» (1916).

«Серебряный голубь», пожалуй, наиболее удачное прозаическое произведение Белого. Источники его — в творчестве Гоголя (Белый был первым в современной русской литературе, кто возродил традиции Гоголя); оно отличается не только удивительной словесной структурой, в нем присутствуют юмор и остроумие, а также особенный, гоголевский реализм. Фоном здесь служат летние пейзажи Центральной России — как и в первом стихотворном сборнике Белого «Золото в лазури». В книге есть динамика и хорошо продуманный сюжет, в центре которого религиозная секта «Белых голубей».

Второй роман Белого, «Петербург», куда более неровен — есть и высоты, до которых поднимается Белый, есть и постыдные провалы. В душе Белого сосуществовали гений и простец, и все его творчество несет печать этой двойственности. Сюжет в «Петербурге» еще более стройный и захватывающий, чем в «Серебряном голубе». Действие происходит во время революции 1905 года, некоторые персонажи, являя собой символистские абстракции из кошмарных снов, очень впечатляют, но истинный герой романа — иллюзорный, ускользающий, фантасмагорический Санкт-Петербург, чью особую душу чувствовали многие великие русские поэты, писатели, художники, и это придает книге уникальность[3].

Из поздней прозы Белого самым оригинальным и примечательным является автобиографический роман «Котик Летаев» (начат в 1915 г., опубликован в 1922 г.[4]) — рассказ о детстве, в котором Белый разрабатывает новые методы передачи подсознательных ощущений и впечатлений. Это его самый смелый эксперимент в манере Джойса. Большая часть поздней поэзии и прозы Белого отражает его страстное увлечение антропософской доктриной доктора Рудольфа Штейнера, учеником которого он стал еще до войны. Поэтический гений Белого проявился и в поэме «Первое свидание», где он восстанавливает атмосферу своей молодости и жизнь интеллектуальной элиты Москвы начала века: это странная смесь особого реализма, удивительных музыкальных эффектов и труднопонимаемого интеллектуализма — вещь, которую никто, кроме Белого, написать не мог бы. Та же атмосфера, но в другой форме воссоздана в мемуарах Белого, несколько томов которых выходили под разными названиями. Это также весьма неровная работа, некоторые характеристики превосходны, некоторые части — например, его «Воспоминания об Александре Блоке» — бесценны для истории символизма, но многое испорчено беспричинными полуполитическими или антропософскими рассуждениями, граничащими с глупостью.

Отношение Белого к революции менялось. На ранних этапах он, так же как Блок и некоторые другие поэты, был заворожен ее стихийным, мессианским аспектом (в результате чего была создана довольно слабая поэма «Христос воскрес»). Он отождествлял революцию с Россией, которую страстно любил; большинство его стихов, особенно из «Пепла», — это стихи о России, представляющие собой любопытную символистскую интерпретацию тем, поднимавшихся Некрасовым. Однако в 1922 году он покинул Россию, стал, по сути, эмигрантом и вернулся лишь год спустя[5].

Белый оказал существенное влияние на послереволюционную русскую литературу, особенно начального периода. Без Белого невозможно представить ни Пильняка, ни многих других современных писателей. Его работы по русскому стихосложению, вошедшие вместе с философско-критическими статьями в сборник «Символизм» (1910), также оставили значительный след и были весьма полезны.

Ни одно из произведений Белого не было переведено на английский, но его творчество хорошо известно в Германии.

Перевод с английского В.В. Пророковой

Послесловие

Глеб Петрович Струве (1898–1985) – историк литературы, критик, поэт, переводчик; публикатор текстов и редактор собраний сочинений ведущих поэтов Серебряного века (Н.С. Гумилева, О.Э. Мандельштама, А.А. Ахматовой, М.А. Волошина и др.), автор фундаментальной монографии «Русская литература в изгнании: опыт исторического обзора зарубежной литературы», вышедшей в 1956 г. в Нью-Йорке[i].

В 1918 г. Г.П. Струве вместе с отцом, философом, экономистом, одним из лидеров партии кадетов, редактором газеты «Русская мысль» (Пб., 1880–1918) Петром Бернгардовичем Струве (1870–1944) покинул Россию. Он окончил Оксфордский университет, в 1922–1924 гг. жил в Берлине, где занимался печатанием «Русской мысли», издание которой было возобновлено П.Б. Струве в эмиграции, потом в Париже. В 1932 г. Г.П. Струве вернулся в Англию и до 1947 г. преподавал русскую литературу в Лондонском университете (The School of Slavonic and East European Studies). Затем переехал в США, где продолжил преподавательскую деятельность в Калифорнийском университете (Беркли) и активно занялся изданием произведений русских писателей начала XX века.

Увлечение Г.П. Струве символистами и, в частности, Блоком и Белым началось еще в ранней юности, в период его учебы в Выборгском коммерческом училище. «<...> мне было лет 14–15, когда я зачитывался Блоком и Белым и не пропускал ни одного номера “Аполлона”», – вспоминал он[ii]. Со статьи-некролога «Памяти А.А. Блока», написанной 26 августа 1921 г. в Париже и напечатанный в «Русской мысли»[iii], началась его карьера журналиста и литературного критика. Кстати, основные оценки творчества Блока, данные Г.П. Струве в 1921 г., повторены им и в некрологе Белому, написанном в период жизни Струве в Лондоне и ориентированном прежде всего на иностранного, британского читателя.

Отношение Г.П. Струве к Белому, в отличие от, например, отношения к Блоку, нельзя назвать апологетическим и пиететным. Как представляется, в оценках Струве-сына можно услышать отголосок давнего конфликта Белого с его отцом П.Б. Струве, отказавшимся в 1912 г. печатать роман «Петербург» в редактируемом им журнале «Русская мысль». «По приезде в Москву “Русской мысли” предоставил

[i] См. издание 3-е, исправленное и дополненное (Париж; Москва, 1999) со вступит. статьей К.Ю. Лаппо-Данилевского (С. 7–17).

[ii] *Струве Г.П.* К истории русской поэзии 1910-х – начала 1920-х годов. Беркли, 1979. С. 15.

[iii] 1921. Кн. VIII–IX (август–сентябрь). С. 273–278.

я до 14-ти печатных листов, возлагая надежды на злополучную 1000; и, увы: 1000 я не получил; получил лишь уклончивые ответы от Брюсова, что роман мой сперва подлежит рассмотрению Струве <...>; от Струве же – получил я письмо, что “Петербург” он не может печатать в журнале; и даже он, Петр Бернгардович, был бы весьма опечален, если бы вообще появился роман где-нибудь <...>. Отказ Струве печатать роман “Петербург” произвел здесь сенсацию <...>», – предавал Белый этот конфликт огласке в опубликованных в Берлине «Воспоминаниях о Блоке»[i]. В последнем томе мемуаров «Между двух революций» Белый посвятил «Инциденту с “Петербургом”» отдельную главу, в которой более подробно описал претензии П.Б. Струве к роману:

> Брюсов <...> говорил, что Струве, приехавший в это время в Москву, имеет очень многое возразить против тенденции «Петербурга», находя, что она очень зла и даже скептична; <...> что «Русская мысль» перегружена материалом и что принятый Струве роман Абельдяева не дает возможности напечатать меня в этом году.

А также высказал свои догадки о причинах такого неприятия:

> <...> в то время я еще не видел, в чем корень ярости Струве на «Петербург»; и только потом стало ясно, что я, как всегда, нетактично дал маху, попавши не в бровь, а в глаз Струве; у меня в романе изображен рассеянный либеральный деятель, на последнем митинге сказавший радикальную речь и тут же переметнувшийся вправо; и по виду своему, и по политической ситуации это был живой портрет Струве, который увидел себя, тогда как у меня не было и мысли его задеть; тем больнее в него я попал; он был в бешенстве; кончилось тем, что он мне на дом лично завез рукопись и, не заставши меня, написал записку, в которой предупреждал: не может быть речи о том, чтобы «Петербург» был напечатан в его органе; более того, он не рекомендует вообще печатать роман где бы то ни было; в этом предупреждении слышалась доля угрозы, что, буде так, он камня на камне не оставит от «Петербурга»; очень жалею, что вскоре я письмо потерял, ибо одно время я хотел его напечатать как предисловие к роману, т.е. принять вызов Струве: пусть-де рассудит нас будущее <...>[ii].

Сам П.Б. Струве мнение о «Петербурге» внятно выразил в письме к В.Я. Брюсову от 12 февраля 1912 г.:

> Спешу Вас уведомить, что относительно романа Белого я пришел к совершенно категорическому *отрицательному* решению. Вещь эта абсолютно неприемлема, написана претенциозно и небрежно до последней степени. Я уже уведомил Белого о своем решении (телеграммой и письмом) – я заезжал к нему на квартиру Вяч. Ив. Иванова, но не застал его там. Мне лично жаль огорчать Белого, но я считаю, что из расположения к нему следует отговорить его от печатания подобной вещи, в которой проблески крупного таланта утоплены в море настоящей белиберды, невообразимо плохо написанной[iii].

---

[i] *О Блоке 1997.* С. 380–381.
[ii] *МДР 1990.* С. 438–439.
[iii] См. прим. А.В. Лаврова: *МДР 1990.* С. 557.

Не исключено, что позиция Струве-отца косвенным образом повлияла и на позицию Струве-сына, заявленную в некрологе: в отличие от всех остальных, писавших в то время о Белом, Г.П. Струве фактически отказал роману «Петербург» в праве считаться вершиной творчества Белого и объявил самым совершенным его произведением роман «Серебряный голубь».

Некролог Белому был опубликован 26 января 1934 г. в лондонской ежедневной газете «The Times» и вскоре перепечатан в журнале «The Slavonic and East European Review» (1934. T. 13. Вып. 37–38. С. 183–185), органе The School of Slavonic and East European Studies при Лондонском университете, в котором с 1932 г. Г.П. Струве работал лектором.

Спустя почти десятилетие свою роль в увековечении памяти Андрея Белого, а также в изучении его жизни и творчества[i] Г. Струве оценивал весьма скромно. «Вы ничего не потеряли, не читав моих статей о Белом. Это были просто написанные для иностранцев некрологи, – писал он Ю.П. Иваску 7 января 1953 г., отмечая, впрочем, и то, что казалось ему не потерявшим актуальности, – но в них я указывал, что Белый, в сущности, многое в Джойсе предвосхитил»[ii].

---

[1] Правильно: 8 января.

[2] Ср.: «Любопытно, между прочим (нам до сих пор не приходилось встречать на это указания), что в русской литературе есть явление во многом родственное и параллельное ирландскому “гениальному похабнику”, как кто-то назвал Джойса. Явление это – Андрей Белый. В свете писаний Андрея Белого многое в произведениях Джойса перестает казаться столь дерзким и новым. <...>. И Белый, и Джойс каким-то концом своим относятся к области патологии литературы» ([*Струве Г.П.*] На вечере «Перекрестка»: Фельзен – Берберова – Поплавский // Россия и славянство. Париж, 1931. 5 декабря (№ 158). С. 4. См. перепечатку фрагмента о Джойсе и Белом в кн.: «Русская Одиссея» Джеймса Джойса. С. 81–82.

[3] Примечание Г.П. Струве в «The Slavonic and East European Review» (1934. T. 13. Вып. 37–38. С. 184): «Гарольд Вильямс, один из первых издателей этого Review, занимавший видное место среди элиты довоенной российской интеллигенции, написал поразительный очерк, посвященный этой теме: Slavonic Review. T. II. № 4. С. 14 и далее». Гарольд Вильямс (Harold Williams; 1876–1928) – английский журналист, лингвист, полиглот, славист, переводчик; с 1906 г. муж публицистки и политического деятеля А.В. Тырковой; долгое время провел в России, был иностранным корреспондентом газеты «The Times» и других зарубежных изданий. После революции вернулся в Англию, в 1921 г. стал заведовать иностранным отделом «The Times». В 1922 г. основал (вместе с B. Pares, R.W. Seton-Watson) журнал «The Slavonic and East European Review».

[4] Струве имеет в виду отд. изд.: Пб.: Эпоха, 1922. До этого «Котик Летаев» печатался в альманахах «Скифы» (Сб. 1. Пг., 1917. С. 9–94; Сб. 2. Пг., 1918. С. 37–103).

[5] Белый уехал из России в 1921 г., вернулся в 1923 г.

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

---

[i] Впоследствии Г.П. Струве не раз высказывался о творчестве Белого и внес вклад в изучение его жизни в Советской России (см., напр.: К биографии Андрея Белого: три документа / Публ. Г.П. Струве // Новый журнал. Кн. 124. Нью-Йорк, 1976. С. 152–162).

[ii] Amherst Center for Russian Culture. Box 6, 25 (архив Ю. Иваска). Сообщено Н.А. Богомоловым.

ДАВИД БУРЛЮК

СМЕРТЬ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Русский голос (Нью-Йорк).
1934. 12 января.

В Москве, в возрасте 54 лет умер выдающийся русский философ-поэт, ученый-энциклопедист Борис Николаевич Бугаев, составивший крупнейшее имя под псевдонимом Андрей Белый.

Канва жизни

Отец поэта — выдающийся ученый, профессор математики Московского университета. В 1891 году А. Белый поступил в частную гимназию Поливанова, в старших классах которой увлекался буддизмом, браманизмом, оккультизмом, в то же время усердно изучая литературу. В это время на А. Белого влияют: Достоевский, Ницше, Ибсен.

Упорно читает Канта, Милля, Спенсера[1]. В университет поступает на естественное отделение, где изучает Дарвина[2].

С 1904 года Андрей Белый сотрудничает в «Весах». С 1910 года сотрудничает с Рудольфом Штейнером[3]. В Россию возвращается в 1916 году; с Октября — А. Белый был близок к А. Луначарскому[4] и В. Ленину. В 1921 году поэт снова в течение пяти лет живет за границей[5].

Андреем Белым написан ряд замечательных книг: «Симфонии» (1902 год), «Золото в Лазури», «Пепел», «Урна», с 1904 года по 1909 год.

Затем <в> 1910 году появился «Серебряный голубь», затем <в> 1913–16 годах — «Петербург» (этот роман в 1928 году был переработан). А затем: «Котик Летаев» и «Москва»[6]. Андрей Белый был представителем мистического символизма[7].

Наука, искусство не могут мыслиться без традиции. А в Андрее Белом традиция нашла для себя баснословное выражение.

Надо указать, что мир, современность могут мыслить глубокосодержательными лишь те, кто способны глядеть на них сквозь увеличительные стекла традиции, опыта (знания) прошлого. «Символизм А. Белого оказался неприемлемым для передового класса, переустраивающего мир», — заявил А. Воронский, написавший очерк об А. Белом для «Литературной Советской Энциклопедии»[8].

Но тот же автор указывает, что А. Белый влиял и влияет на советских поэтов, даже (!) первого периода «Кузницы»[9]; заявления А. Воронского противоречат взаимно. А. Белый, говорит А. Воронский, с предельной отчетливостью отобразил жизнь класса, идущего к гибели.

Андрей Белый — первоклассный художник, добавляет ответственный, партийный советский критик[10].

Смерть Андрея Белого — тяжкая утрата. Вспомним: И. Анненского, Ф. Сологуба, А. Блока, В. Брюсова, Макса Волошина — это великаны одной семьи, семьи

символистов, ушедшие в небытие. Ставшие абстракцией, способной лишь расцветать снова для эфемерной жизни лишь в психике живых, существующих.

Из этой стаи славных, им по плечу, остались ныне в живых лишь: Мережковский, Вяч. Иванов и К. Бальмонт.

Автору этих строк случилось неоднократно слышать А. Белого и поддаваться очарованию удивительных ритмов, пульсаций, живших в Андрее Белом.

Искусство живое – имя этому.

Искусство, вообще, дает возможность читателю (слушателю) видеть мир, мыслить, воображать на базисе перевоплощения в другую особь. Андрей Белый унес с собой великие возможности, источники знания, коими питался в последние годы также избранный сектор Советской новой культуры.

Послесловие

Художник и поэт Давид Давидович Бурлюк (1882–1967), один из основоположников русского футуризма, теоретик и пропагандист нового искусства, вслед за своим другом В.В. Маяковским не стеснялся признавать, что в начале пути пережил увлечение символизмом вообще и творчеством Андрея Белого в частности. Об этом он писал не только в приведенном выше некрологе, но и в позднейших воспоминаниях: «Мы тогда заканчивали свое вступление, продолжая еще учить наизусть вещи символистов: Бальмонта, Брюсова, Белого и др., но в наших сердцах закипала тоска по неизведанному, буянило стремление птенцов, готовых уже выпасть из гнезда»[i].

Белый также вполне уважительно упомянул Бурлюка при описании того впечатления, которое произвела на него Москва после возвращения в 1911 г. из заграничного путешествия: «<...> меня удивила Москва; удивила впервые в ней наметившимся кубизмом <...> в Москве выходила первая книжка, принадлежавшая творчеству футуристов, – “Садок судей”, в которой встретились братья Бурлюки с молодым Маяковским; футуристическая Москва кубистическими разворотами новых фантазий слагала эпоху <...>»[ii].

Как отмечал Бурлюк, свидетелем выступлений Белого он был неоднократно. К наиболее запомнившимся «пересечениям» следует отнести литературный вечер, состоявшийся в конце января 1918 г. на квартире поэта Амари (М.О. Цетлина) и вошедший в историю как «встреча двух поколений поэтов». 28 января газета «Мысль» сообщала читателям, что на этом вечере присутствовали «как представители состарившихся уже течений – Бальмонт, Иванов, Белый и др., так и “дерзатели”, срывающие покров с будущего, – футуристы Маяковский и др. Следует отметить, что столкновение двух указанных крайностей привело к неожиданным результатам – к признанию “стариками” футуриста Маяковского крупным талантом» (1918. 28 января)[iii]. Среди участников и выступавших были также В. Ходасевич, Ю. Балтрушайтис, В. Каменский, А. Толстой, М. Цветаева и др. Главным со-

[i] *Бурлюк Д.* Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения / Публ., предисл. и прим. Н.А. Зубковой; науч. ред. В.Н. Сажин. СПб., 1994. С. 66.

[ii] *МДР 1990.* С. 412.

[iii] Цит. по: *Катанян В.* Маяковский. Литературная хроника. 4-е изд., дополн. М., 1961. С. 94.

бытием вечера стало чтение Владимиром Маяковским новой поэмы «Человек». 29 июня 1919 г., через полтора года после поэтического собрания, Давид Бурлюк в интервью, данном Николаю Асееву для газеты «Дальневосточное обозрение», вспоминал: «<...> происходит исторический турнир, на котором хотя и подняты дружественно забрала, но вечные соперники впервые лицом к лицу видят друг друга»; «Едва кончил Маяковский, с места встал побледневший от переживаемого А. Белый и заявил, что он даже представить себе не мог, что в России в это время могла быть написана поэма столь могучая по глубине замысла и выполнению, что вещью этой двинута на громадную дистанцию вся мировая литература и т.д. К сожалению, мы не можем привести дословно это хвалебное слово, обращенное старым поэтом к Маяковскому, но впечатление у присутствующих от нее осталось настолько сильное, что после окончания этого сплошного дифирамба слушавшие инстинктивно обратились с аплодисментами не к оратору, а к Маяковскому»[i].

Вскоре после описываемых событий Бурлюк оставил Москву; в 1919 г. обосновался во Владивостоке и в 1920 г. перебрался сначала в Японию, а потом, в 1922 г., в США. С просоветской нью-йоркской газетой «Русский голос» его связывало многолетнее и разностороннее сотрудничество, так что опубликование в ней Бурлюком некролога Белому (информационной заметки на второй странице и «Канвы жизни» на четвертой странице) вполне закономерно.

Нетрудно заметить, что некролог Бурлюка написан крайне небрежно и с фактическими ошибками, что, видимо, объяснимо спешкой (это один из ранних некрологов). Остается только пожалеть о том, что вместо собственных впечатлений от выступлений Белого и «пересечений» с ним Бурлюк за основу некролога взял статью А.К. Воронского «Андрей Белый» из официального советского издания — «Литературной энциклопедии» (В 11 т. [М.], 1929–1939. Т. 1. М.: Издательство Коммунистической Академии, 1930. Стлб. 422–429).

В первой части очерка идет откровенное переписывание статьи Воронского, во второй — открытая полемика с ним. И лишь в заключительных абзацах звучит собственный голос Бурлюка.

Примечательно, что в тот же день, 12 января 1934 г., в другой, гораздо более солидной нью-йоркской газете «Новое русское слово» появился еще один некролог:

Умер Андрей Белый (Бугаев)

Москва. — В возрасте 54 лет скончался выдающийся русский философ, поэт и ученый, Борис Николаевич Бугаев, известный под именем (псевдоним) Андрея Белого.

Андрей Белый принадлежал к школе символистов — занимая выдающееся место наряду с К. Бальмонтом, Валерием Брюсовым, Вячеславом Ивановым, Ал. Блоком, Ф. Сологубом и Анненским.

С 1902 по 1917 год А. Белый выпустил ряд поэтических произведений, по которым училось позднейшее поколение поэтов: («Симфонии», «Золото в Лазури», «Серебряный голубь» (1910 год).

---

[i] Там же.

> С 1917 года, после Октября, А. Белый примыкает к А. Луначарскому и В.И. Ленину, но позже уезжает в Германию, где и остается до 1926 года. Возвратившись в СССР, он публикует два тома романа: «Петербург». В последнее время А. Белый плотно спаялся с платформой писателей, признающих и поддерживающих советскую платформу.

Некролог не подписан. Однако даже при беглом прочтении бросается в глаза его сходство с некрологом Бурлюка из газеты «Русский голос»: заявление о близости Белого к Ленину и Луначарскому, ошибка в дате возвращения Белого из Германии в Россию (1926 г. вместо 1923 г.). Объясняется это, скорее всего, тем, что автором обоих некрологов был один и тот же человек (кстати, Бурлюк в «Новом русском слове» также публиковался). Вероятность «заимствования» информации (в том числе и ошибочной) менее вероятна, так как обе газеты опубликовали некрологи одновременно.

И последнее, что важно отметить. Обе газеты вскоре продолжили «беловскую» тему публикацией более развернутых материалов. В обоих случаях это были не оригинальные материалы, а перепечатки. «Русский голос» 30 января 1934 г. поместил сокращенную версию некролога К. Локса «Памяти Андрея Белого», опубликованного 11 января 1934 г. в «Литературной газете», а «Новое русское слово» (4 февраля 1934 г.) — некролог П. Пильского из газеты «Сегодня» (13 января 1934 г.).

---

[1] Эта часть «Канвы жизни» буквально списана из статьи А.К. Воронского «Андрей Белый» в «Литературной энциклопедии» (см.: Литературная энциклопедия: В 11 т. [М.], 1929–1939. Т. 1. М.: Издательство Коммунистической Академии, 1930. Стлб. 422–429): «Отец его, Николай Васильевич Бугаев — выдающийся ученый, профессор математики Московского университета. В 1891 Б. поступает в частную гимназию *Поливанова*, где в последних классах увлекается буддизмом, браманизмом, оккультизмом, одновременно изучая литературу. Особое влияние на Б. оказывают тогда *Достоевский, Ибсен, Ницше*. К этому же приблизительно времени относится и его увлечение *Влад. Соловьевым*. Вместе с тем Б. упорно читает *Канта, Милля, Спенсера*». Александр Константинович Воронский (1884–1937) — политический деятель, литературный критик, издательский работник; организатор и идеолог группы «Перевал».

[2] Белый неоднократно подчеркивал, что эти имена были известны ему с детства: «<...> я рос в обстановке профессоров, среди которых был ряд имен европейской известности; с четырех лет я разбираюсь в гуле имен вокруг меня: Дарвин, <...> Спенсер, Милль, Кант <...>» (*НВ 1990*. С 10–11).

[3] Впервые Белый был на лекции Р. Штейнера 6 мая 1912 г., в том же году он вместе с А.А. Тургеневой принял решение встать на путь антропософского ученичества; в 1914–1916 гг. живет и работает в Дорнахе (Швейцария) на строительстве антропософского центра Гетеанум.

[4] Основанием для утверждения о такой близости к Анатолию Васильевичу Луначарскому (1875–1933) стало, видимо, то, что в 1918–1921 гг. Белый работал в организациях, находившихся в ведении наркома просвещения: вел занятия с молодыми поэтами в Пролеткульте, заведовал теоретической секцией в Тео Наркомпроса и т.д.

[5] В энциклопедической статье Воронского более точно: «В 1910–1911 Б. путешествует по Италии, Египту, Палестине, в 1912 сходится с главой антропософов *Рудольфом Штейнером,* становится его учеником <...>; в Россию возвращается в 1916. После Октября он в московском Пролеткульте ведет занятия по теории поэзии и прозы среди молодых пролетарских писателей. В 1921 уезжает за границу, в Берлин, где живет около двух лет <...>».

[6] «Петербург» в сокращенном и переработанном виде вышел в 1928 г. в московском издательстве «Никитинские субботники» (в двух частях). «Котик Летаев» отдельным изданием был выпущен только один раз (Пб.: Эпоха, 1922), намечавшееся в 1928 г. издательством «Никитинские субботники» переиздание романа не состоялось. Разные части романа «Москва», задуманного в двух томах, выходили в 1926–1932 гг.: две части первого тома «Московский чудак» и «Москва под ударом» (М.: Круг, 1926; М.: Никитинские субботники, 1927 и 1928) и первая часть второго тома – «Маски» (М.: ГИХЛ, 1932). Ср. в статье Воронского: «Далее следуют: <...> роман “Серебряный голубь” (1910), роман “Петербург” (1913–1916), лучшее произведение из всего написанного Б., ныне тщательно вновь переработанное им для нового издания “Никитинских субботников” (1928). После “Петербурга” Б. напечатаны: “Котик Летаев”, “Крещеный китаец” (“Преступление Котика Летаева”), “Эпопея”, наконец – роман “Москва”, еще не законченный».

[7] Ср. в статье Воронского: «Б. в нашей лит-ре является провозвестником особого символизма. Его символизм – символизм мистический».

[8] Ср.: «Символизм Б. неприемлем для передового класса, переустраивающего мир. Он возвращает нас к средневековью <...>» (Там же).

[9] Ср.: «Влияние Б. на современную литературу до сих пор остается очень сильным. Достаточно отметить Бор. Пильняка, Сергея Клычкова, Артема Веселого, – поэтов “Кузницы” первого периода. Правда, это влияние ограничивается больше формальной стороной» (Там же).

[10] Ср.: «Б. с необычайной, мы сказали бы, с предельной отчетливостью и талантом отразил кризис жизни и кризис сознания господствующего до сих пор класса, неуклонно идущего к гибели. Одиночество, индивидуализм, чувство катастрофичности, разочарование в разуме, в науке, смутное ощущение, что идут новые, другие, здоровые, крепкие и бодрые люди, – все это очень типично для эпохи упадка буржуазии. Однако Б. – первоклассный художник» (Там же).

Подготовка текста, комментарии и послесловие Е.В. Наседкиной

ВЕРА БУЛИЧ

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
(Памяти Андрея Белого)

Журнал Содружества (Выборг).
1934. № 4.

В вечерний час воспоминаний,
В час воскрешения теней
Я вижу Петербург в тумане
И в одуванчиках огней...

Бывают воспоминания, которые сопутствуют в течение всей нашей жизни. Они дороги нам по тем или иным причинам, мы любим их вызывать снова и снова в нашей памяти, и наконец, они становятся нашими невидимыми друзьями и уже помимо нашей воли, сами по себе являются нам в «трудную минуту жизни» – ободрением и утешением. Одним из таких невидимых друзей стал для меня и образ Андрея Белого. Может быть, я, никогда лично Андрея Белого не знавшая и видевшая его только один раз, и не имею права говорить о нем. Но часто случается, что первое впечатление от человека, не обоснованное, но интуитивное, остается единственным и – не заслоненное, не искаженное наслоениями позднейших впечатлений – приобретает особую остроту и силу, становясь руководящим на всю жизнь. Именно потому, что воспоминание об Андрее Белом стало для меня гораздо большим, чем простое воспоминание, я и хочу рассказать о нем.

С тех пор прошло уже много лет. Петербург при большевиках. Темные, угрюмые дни: бесконечные очереди, перебегающие из дома в дом – зловещим шепотом – слухи, хлеб, развешенный на почтовых весах с точностью до одного грамма (по 50 гр. на человека), ночами – дежурства на лестнице в темноте и тишине, неосвещенные улицы, шальные пули, сбивающие со стен штукатурку, настороженность, тревога, опустошающее ожидание.

Предложение отца: «Не хочешь ли пойти в университет на лекцию Андрея Белого о ритме?» встречаю с восторгом. Во-первых, радость – наконец увижу настоящего, живого поэта; во-вторых, отдых – хоть на час, хоть на миг, уйти от угрожающей и все подступающей жути так изменившейся жизни. Помню чувство защищенности и уюта, охватившее меня в стенах университета после враждебно подстерегавших улиц. Широкий университетский коридор, уходящий в бесконечность, как взаимное отражение двух противопоставленных зеркал при новогоднем гаданье (невольная детская мысль: вот бы на велосипеде!). Небольшая аудитория, черные незавешенные окна, пугающие темнотой и возможными выстрелами.

Немногочисленная публика, разместившаяся группами. В моем поле зрения — золотая диадема в темных вьющихся волосах петербургской эстетки, не изменившей своим вкусам и в эти тревожные дни. Воспоминания отрывочны, несвязны. Если бы знала тогда, что я в первый и последний раз в университете, все бы вобрала в себя, каждую мелочь унесла в памяти на всю жизнь. Но — беспечность юности: разве знала, что ляжет между мной и Петербургом навеки непереходимая черта?

Запомнилось ясно только: сам Андрей Белый, стихи, которые он читал и которые я благодаря ему навсегда, по-особенному полюбила, и то — смутное, невыразимое, но значительное, что открылось в тот вечер и осталось темным знанием навсегда.

Черная классная доска, куски мела, ломающиеся в нервных пальцах беспрестанно движущейся руки, и формулы, формулы, формулы... «Как?» свое удивление: «математикой доказывать поэзию?» После недавних выпускных экзаменов алгебраические уравнения в моей голове размещены стройными рядами, еще не тронутые временем, и я стараюсь напрячь все внимание, чтобы уловить нить доказательства. Но — или это высшая математика, навсегда для меня недостижимая, или сам Андрей Белый отвлекает мое внимание от сложного вычисления кривой, я перестаю постигать умом и начинаю верить ему на слово. И как не смотреть на него? Маленький, верткий, с вкрадчивыми и в то же время отрывистыми движениями, то сгибающийся и замирающий под какой-то невидимой тяжестью, то перепархивающий своей особенной легкой походкой с места на место, он чем-то напоминает мне птицу или, скорее, летучую мышь. Общее цветовое впечатление от него — светло-серый, от сияния пушистых, пепельных, полуседых волос над высоким лбом, от непрерывного лучистого тока из почти прозрачных голубовато-серых глаз. Глаза смотрят на нас и не видят. Глаза должны видеть окружающее, но Андрей Белый смотрит не глазами, а будто поверх глаз; он видит не данный всем нам мир, а то, что за ним и что значительнее всего известного. В его взгляде — радость тайного видения, одному ему доступного, и просвечивающий блеск безумия.

«Ритм», говорит Андрей Белый: «ритм — душа стиха». И снова мелькает мел в руке, черная доска поворачивается еще нетронутой в своем ночном глянце стороной, чтобы изнемочь под бременем новых белых формул. Он кружится возле нее — он ворожит, колдует, зачаровывает, внушает, убеждает настойчивостью взлетающей руки, горячей проникновенностью голоса, биением своего сердца и сиянием полубезумных ясновидящих глаз. И наконец, как последнее заклинание, уже подводя итоги, уже торжествуя победу ясновидящего и яснослышащего над нами, знающими лишь три земных измерения, Андрей Белый читает стихи. Голос его тих и вкрадчив, как его движения, в нем нет ни пафоса, ни металла, ни богатых модуляций звука, его голос тоже бледно-серых пастельных тонов, но это цвет пепла, под которым тлеют угли, — и он творит чудеса, он преображает стих, вливая в него свое горячее дыхание, созвучное тайной мелодии ритма. Словно хрупкий старинный хрусталь, бережно поднятый осторожной рукой, возносится каждый стих над нами, — и вот слетает тусклая пыль времени, и открываются сияющие грани. Знакомые с детства, заученные наизусть на школьной скамье стихи, привычные и бледные от повторения строки, — неузнаваемо-новыми, яркими образами, полными дыхания, жизни и вдохновения входят снова в мою память, чтобы остаться в

ней такими уже навсегда. И сквозь эти образы сначала глухо, невнятно, потом все явственнее и настойчивее проступает ведущая их поступь неведомой повелевающей силы – ритм. Андрей Белый, как будто от сознания того великого и невыразимого, что владеет им, приподымается, читая, на цыпочки и растет, растет на наших глазах, озаренный откровением свыше.

Он кончил – и перед нами снова маленький, серый, запачканный мелом человек, который суетится у доски, неловко стирая написанное.

В тот вечер не умом, но чувством я поняла тайную силу ритма, я ощутила немую мелодию, стоящую за стихом, несущую и одушевляющую его, и не только стих, но и жизнь, и мир – космическую музыку. Я поняла, что важно не то, что мы видим, а то, что за видимым, незримое и еще не угаданное, и что воплощение этого смутного видения, преображение мира и есть главное в искусстве.

«Но это же четвертое измерение!», – говорила я радостно и возбужденно отцу, спускаясь с ним по университетской лестнице, не обращая внимания на улыбку незнакомого мне профессора, шедшего рядом с нами. – «Это то неизвестное, что еще не всем открыто и доступно, но оно несомненно, нужно только почувствовать его!»

– Ну, это четвертое измерение должно быть вам молодым виднее, а с нас довольно и трех, шутливо сказал отец, улыбаясь на мои восторженные восклицания.

Из черного пролета распахнутой двери пахнуло сырым невским ветром, и мы вышли на набережную.

Ритм владел Андреем Белым. И в своем неустанном порывании в «четвертое измерение», в прислушивании к его разнообразным, прерывистым, неуловимым и порой роковым звучаниям, в стремлении проникнуть в заповедное и овладеть им, он метался в пределах наших земных, трех измерений. Но образ его, сохраненный памятью, в озарении открывающейся ему глубины, образ его, слепого для видимого и зрячего для незримого, сквозящий и в музыкальном бредовом тумане «Петербурга» и в великолепных строках «Первого Свиданья», снова и снова напоминает мне о том, что поэт повинуется лишь велениям своего внутреннего голоса, своей поэтической совести.

И теперь, вспоминая этот вечер, отделенный от меня годами, теперь, когда его человеческие дела и дни окончены, я снова, как и тогда, чувствую к Андрею Белому прилив горячей, живой благодарности.

Гельсингфорс.

Послесловие

Автор публикуемого эссе – поэтесса Вера Сергеевна Булич, представительница первой волны русской эмиграции и того поколения писателей, которые не успели состояться в России. Свое творческое «я» ей приходилось строить из воспитавших ее традиций петербургского Серебряного века и с ориентацией на голоса «блистательного Монпарнаса» русской эмиграции. Писать, не имея прямого контакта с равными себе художниками слова, творящими на родном языке, проторять свой путь в непрестанной борьбе с косностью языкового барьера фин-

ской и шведской литературной среды – все это давалось Булич нелегко. Более того, с середины 1940-х к культурной обособленности добавилась обособленность идеологическая. Стоит пояснить, что послевоенная Финляндия оказалась под политическим давлением Советского Союза. В связи с этим русская диаспора Финляндии оказалась расколота на два лагеря: в одном были сочувствующие, или так называемые «соотечественники», близкие к кругам единственной допускаемой представительными властями СССР культурной организации – РКДС. (Русский культурно-демократический союз), в другом – те, кто считал себя носителем традиций и культурных ценностей имперской России. Вера Булич примкнула к первому течению.

Вера Сергеевна Булич родилась 17 февраля (ст. ст.) 1898 г. в Санкт-Петербурге в семье известного филолога и музыковеда Сергея Константиновича Булича (1859–1921), сподвижника и ученика И.А. Бодуэна де Куртенэ[i]. С.К. Булич был профессором Санкт-Петербургского университета, директором Высших женских (Бестужевских) курсов и первым деканом музыкального отделения Российского института истории искусств. Детство и юность Вера Сергеевна провела в окружении «столбовой» петербургской интеллигенции; в доме Буличей встречались выдающиеся люди науки и искусства, близким другом отца был, в частности, Иннокентий Анненский. Стихи Вера Булич начала писать еще в отрочестве, однако печататься стала уже в эмиграции в 1920-е.

В 19 лет Вера с семьей перешла финскую границу. На некоторое время Буличи обосновались на своей даче в Куолемаярви, на Карельском перешейке. Вскоре после кончины отца, в 1924 г., Вера и ее сестра Софья[ii] отправились в Гельсингфорс в поисках работы. Вера сменила множество занятий. Так, например, она играла в кинотеатре на пианино, служила секретарем у Ивана Шайковича, сербского посла в Финляндии и поэта, с которым была знакома еще по даче, и т.п. Первую книгу – «Сказка о крошечной принцессе» – она выпустила в 1927 г. по-фински в гельсингфорсском издательстве WSOY, подписавшись псевдонимом Vera Bull[iii]. В 1931 г. Шайкович помогает ей напечатать в Белграде по-русски двухтомник сказок.

Впоследствии Вера Булич стала автором четырех поэтических сборников: «Маятник» (Гельсингфорс, 1934), «Пленный ветер» (Таллинн, 1938), «Бурелом» (Хельсинки, 1947), «Ветви» (Париж, 1954). Ее стихи, статьи и эссе публиковались в самых разных периодических изданиях: в «Журнале Содружества», «Новой Русской Жизни», «Русском голосе», «Нови», «Новоселье», «Таллинском Русском Голосе», а также в послевоенном «Русском Журнале». Уже после смерти ее печатали в «Гранях» и «Новом журнале».

С 1930 г. и до самой смерти Булич работала библиотекарем в Славянском отделе Хельсинкской университетской библиотеки, а с 1947 г. еще и в библиотеке

[i] С.К. Булич работал в области русского и славянского языкознания, а также экспериментальной фонетики и был одним из первых организаторов лабораторий по экспериментальной фонетике в Петербурге.

[ii] В семье были еще два брата – Константин и Сергей.

[iii] В 1928 и 1929 гг. сказки из этого сборника (Satu pikkiriikkisestä prinsessasta. Tekijän luvalla suomennettu. Kuvittaja Kerttu Böök. Porvoo) перепечатываются в финских рождественских журналах, издаваемых детской писательницей-сказочницей Анни Сван. В 1934 г. «Сказка о сказке» успешно ставится И.М. Веригиным в Гельсингфорсе. Сказки Булич примыкают к традиции литературной сказки XIX в., Андерсену, Одоевскому, однако ближе всего ей по времени и по женскому восприятию мира сказки Поликсены Соловьевой.

Института культурных связей между Финляндией и СССР[i]. Долгие годы писательница боролась с тяжким недугом и скончалась от рака легких в Хельсинки в 1954 г.

Среди немногих русских писателей в Финляндии Вера Булич, пожалуй, была единственной, кто питал живой интерес к окружающей инородной культурной среде. Она включала ее органически в свое творчество, она читала и говорила по-фински, писала по-шведски, переводила финских и шведских поэтов-модернистов на русский язык. Отсутствие на периферии русского зарубежья собственно литературной среды поощряло Булич самой создавать ее. Так, она была в числе организаторов и активных участников литературно-философского кружка «Светлица», возникшего в Гельсингфорсе в 1930-х и просуществовавшего до самой Зимней войны.

Мемуарное эссе «Четвертое измерение» было написано по заказу В.Ф. Уперова, ответственного редактора «Журнала Содружества», издававшегося с 1933 г. ротапринтным способом в Выборге[ii]. 29 января 1934 г. он писал «г-же В.С. Булич» в Гельсингфорс:

> Глубокоуважаемая Вера Сергеевна.
>
> От имени нашего журнала хочу обратиться к Вам с просьбой: недавно в России скончался писатель Андрей Белый, и мы были бы Вам очень благодарны, если бы Вы представили нам статью о нем.
>
> Было бы очень желательно получить статью ко второму номеру журнала, т.е. к числу 9–10 февраля; если же этот срок покажется Вам слишком коротким, то можно будет отложить статью до мартовского номера.
>
> В надежде на скорый благоприятный ответ, остаюсь всегда готовый к услугам[iii].

Ответ Веры Булич последовал быстро, 4 февраля, но он не был обнадеживающим:

> Многоуважаемый Г-н Уперов,
>
> К моему большому сожалению, я не могу обещать Вам наверное статьи об Андрее Белом. Такая статья, при каких бы то ни было малых размерах, требует большой подготовительной работы, так как А. Белый – большой и очень разносторонний писатель, один из родоначальников нашего русского символизма. Не хотелось бы слишком поверхностно отнестись к этой задаче. Между тем я сейчас совершенно не имею свободного времени и возможности работать – моя мать <...> выписалась из больницы и пробудет у меня большую часть февраля. Если после ее отъезда у меня останется время для работы до 9–10 марта, то я постараюсь сделать, что могу. Но обещать положительно что-нибудь – не в состоянии <...>[iv].

[i] Эта работа естественным образом вовлекала Булич в новую, послевоенную реальность финляндско-советских отношений. Известно также, что ее старшая сестра Софья Булич-Старк состояла в правлении Русского культурно-демократического союза (РКДС существует и поныне).

[ii] «Журнал Содружества» выходил с 1933 г. (как орган, объединяющий бывших учащихся Выборгского русского реального лицея) до 1938 г. После 1935 г. журнал становится объединяющим звеном младшего поколения эмигрантских литераторов, пишущих в странах рассеяния от Прибалтики до Магриба. Подробно см.: Редакционная переписка «Журнала Содружества» (Viipuri) (Выборг) за 1932–1936 гг. с приложением Полной росписи содержания журнала: Из истории русской эмиграции в независимой Финляндии / Сост., вступит. ст., подгот. текстов, коммент. и послесловие А.Г. Тимофеева. СПб., 2010.

[iii] Редакционная переписка «Журнала Содружества»... С. 196.

[iv] Там же. С. 197.

Тем не менее, несмотря на жизненные трудности («и занята, и нездорова, работать для себя могу только по воскресеньям»), Булич заказанный «материал» подготовила. 19 марта она сообщала Уперову:

> <...> мои воспоминания об Андрее Белом, на лекции кот<орого> я однажды в Петербурге присутствовала, – еще не совсем готов. Если ничего не помешает, перепишу его на машинке в среду и в четверг и пошлю Вам. Не поздно?[i].

Эссе «Четвертое измерение» было опубликовано в апрельском номере «Журнала Содружества» (1934. № 4. С. 23–25).

Формально оно стало откликом на смерть Белого. Однако выход «Четвертого измерения» совпадает по времени с появлением (тоже весной 1934 г.) первого поэтического сборника самой Булич – «Маятник»[ii]. Из вошедшего в него стихотворения «Петербург» взяла Вера Булич и эпиграф для своих воспоминаний о Белом. «Четвертое измерение», выполняя функцию и некролога, и мемуаров, является вместе с тем текстом, важным и актуальным для понимания самой писательницы, ищущей самоопределения, своего пути и места в русской поэтической традиции. Начиная с ранних сказок 1920-х, в произведениях Веры Булич звучит тоска по отчему дому, проходит тема заблудившегося ребенка. Эссе о Белом пронизывает то же щемящее воспоминание о безвозвратно утраченных родине, юности, укладе жизни, естественной культурной среде, та же мечта «о себе в прошлом». Есть в нем также и рефлексия по поводу культурной традиции Серебряного века и своего малого места в этой могучей традиции.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Наталии Башмакофф (Финляндия)

---

[i] Там же. С. 198.

[ii] В своем дневнике Булич записывает 16 мая 1934 г.: «В четверг 26 апреля вышел в свет “Маятник”<...>. Было ощущение, как будто от сердца тянутся нити по всем этим белым книжечкам, и сердце чувствовало острую боль от прикосновения чужих пальцев, перелистывающих страницы. Страницы сердца, брошенного на рынок. Ночью прочла книжку в первый и последний раз. С тех пор в нее не заглядываю. От чтения осталось ощущение какой-то жалобной звенящей ноты. Дойдет ли она куда-нибудь, прозвучит ли отзвук, встретит ли отклик в холодном, равнодушном мире? Теперь уже разослана книга повсюду (в Париж, Белград, Ригу, Ревель, Выборг), и в чужих странах за прилавком беззвучно колотятся маленькие черные маятники» (архив Веры Булич: Suomen Kansalliskirjasto, Käsikirjoituskokoelmat Sl.Ms. K 63. Helsinki).

ПЕТР ПИЛЬСКИЙ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Сегодня (Рига).
1934. 13 января.

Замечательная личность. – Пестрота влияния. – Математика и мистика. – Белый в СССР. – Невменяемый и неизменяемый. – Околдован и одержим. – Бессознательное творчество. – Невольные и вольные признания.

Умер интереснейший и странный человек, – по паспорту, Андрей[1] Николаевич Бугаев, умер замечательный русский писатель «Андрей Белый», – философ, теоретик искусства, оригинальный и сложный поэт, мыслитель, всю жизнь напрасно искавший цельности мировоззрения: этого счастья, этого успокоения он так и не нашел.

Андрей Белый был соткан из противоречий, они так и остались непримиримыми до конца его дней. Если б он прожил еще десять и двадцать лет, картина была бы все та же: хаос, разнородность интересов и тяготений, исключительная впечатлительность, в конце концов, растерзанный и перегруженный мозг.

Всю жизнь Андрея Белого разрывали высокие страсти. В своих увлечениях он был женственно отдающимся, влюблялся и плыл, будто вдруг осененный новой последней истиной, и во всех этих устремлениях поражал своей редчайшей искренностью. В ней можно было усумниться только теперь, может быть, в самую последнюю пору. Год тому назад (1932) он заговорил с советских кафедр, и снова, как всегда, с увлечением утверждал свою коренную духовную принадлежность к большевицкой идеологии[2]. Все же и тут он казался до известной степени правдивым. Переломить себя он не мог, и это исповедание Белого было окутано тоже знакомыми старыми туманами. Большевизм – прежде всего, рационализм, но Андрей Белый и в этом толковании остался мистиком и гадателем. И большевизм, и весь марксизм он переживал, как все, – эмоционально. Вот, писатель, имеющий, как никто больше, все права на титул сновидца. О писательстве Белого, его вдохновении можно сказать словами Пушкина: «смутное влеченье чего-то жаждущей души»[3]. Вместе с Сен-Сансом он мог повторить: «сочиняя, я выполняю функцию моей природы, подобно яблоне, приносящей яблоки»[4]. А так как одно время Андрей Белый находился под явным и нескрываемым влиянием Блока, то его самого и всю его поэтическую деятельность позволительно определить тоже словами Блока: он был «гонимым по миру бичами ямба»[5]. Ни на ком так не оправдывается теория вдохновения, как сна, как на этом воистину невменяемом писателе.

Конечно, Андрей Белый отлично знал себя, прекрасно разбирался в сложности и тупиках своей духовной организации, и его последняя книга «Начало века» – редкое и драгоценнейшее свидетельство этого понимания. «Я нарочно создавал

в себе максимум путаницы», — признается он. И потом несколько раз повторяет, упрямо напоминает, как все время он запутывался, путался, приходил и уходил, увлекался, потом остывал, бросался из стороны в сторону, доискивался истины, тщился создать цельность своего мировоззрения, — ничего не выходило[6]. Андрей Белый бился в тисках собственной разбросанности, своей исключительной разносторонности, а эта разносторонность была окрашена многоцветной одаренностью.

Литературные, эстетические, художественные вкусы и пристрастия у Андрея Белого были разбужены еще в детстве. Ребенком он прочел Уланда, Гете, Гейне и — очень характерно! — тут же ознакомился с народными русскими былинами, русскими сказками. Тоже в раннем детстве он упоялся произведениями Шопена, сонатами Бетховена[7], как впоследствии, двадцатидвухлетним молодым человеком, подпал под влияние музыки Метнера[8] и Шумана.

Но все время надо помнить, что Андрей Белый — сын профессора математики Бугаева. Отсюда тоже шли могущественные влияния, а Белый к тому же еще окончил естественное отделение физико-математического факультета. Ясно, какие путаные корни с самых юных лет, с самого детства питали и взращивали эту душу.

Отсветы увлечения математикой остались у Андрея Белого на всю жизнь, они играют и сверкают в его книгах. Очень часто в своих эстетических теориях Андрей Белый прибегает к математическим формулам, поясняет алгеброй свои — тоже хаотические, тоже путаные — размышления[9].

Женственное начало натуры Белого легко его подчиняло многоразличным влияниям. Встречи с Валерием Брюсовым, с Мережковским, потом философия Шопенгауэра, и тут же трактаты Рэскина откладывали, оставляли свой нестираемый след на этом впечатлительнейшем человеке и писателе. В одно и то же время Андрей Белый впитывал в себя Ничше и Достоевского, Ибсена и французский модернизм, зачитывался Владимиром Соловьевым и, конечно, с наслаждением приникал к стихам Фета и Лермонтова. Конечно, и в эту пору его снова захватила музыка: пришло увлечение Григом и Вагнером. Пролетело пять лет, — в сущности очень короткий срок, — и 32-летний Андрей Белый во время своего заграничного путешествия испытал еще одно, притом очень сильное, влияние, — на этот раз оно шло от Рудольфа Штейнера. Андрей Белый стал антропософом. Об этом он потом тоже не раз говорил в своих воспоминаниях[10], — так странно после этих признаний звучали недавние заявления Белого, уверявшего свою большевицкую аудиторию, что он никогда не был мистиком[11].

Смерть ставит человека во весь рост, и сейчас, в эти минуты, как-то особенно странными кажутся уверения Белого: он считал себя чуть ли не предтечей русских социалистических осуществлений, одним из ранних строителей социалистической культуры! С этим течением он сталкивался еще в 1905 г., готов был в нем плыть...[12] но, по всему своему типу, своим умственным привязанностям, идейному багажу, Белый был и остался поклонником, учеником и последователем Канта, — метафизик, теоретик, мистик, природный несомненный и неповторимый символист.

На него и литературные воздействия оказывали самые разнообразные люди, — Блок, Брюсов, как и Некрасов, бельгийские и французские символисты, но и русский народный эпос. Если же говорить об основной писательской линии Андрея

Белого, то можно и следует назвать два имени: Достоевский и Гоголь. Андрей Белый был сложнее того и другого, — сложней и путанней.

И снова — странности, снова — неожиданности: Белый утверждал, что в своем творчестве он только позитивен, только логичен, исходит только из данных своего опыта. Сердился на тех, кто «его осмеивает, как глупо и пусто верещащий телеграфный столб»[13]. Андрей Белый недовольно спрашивал, искренно возмущался:

— Кажется ясно? Мистики никакой тут нет![14]

Но мистика у него была везде, таилась в каждой книге, пронизывала каждое восприятие. Мир ему представлялся хаотичным, как хаотичным был сам Белый, и этот мир никогда у него не стоял в подчинении ни мере, ни числу. Мистик и символист не мог верить и разуму. Для Белого он был слишком жалок, прямолинеен и немощен. Бытие идет и шло, подчиняясь таинственным законам, чьей-то только чувствуемой и непонятной воле. Все, что укладывается в рамки логики, имеет лишь призрачное и условное оправдание. Смысл жизни, смысл истории заключен в надбытном и надземном, — он вне пределов и вне природы человечества.

О Шопене его ученик рассказывает, как ночью в то время, когда композитор писал свой «Полонез», ему вдруг почудилось, что дверь комнаты открывается, и пред ним проходит длинное шествие польских рыцарей и красавиц-полек в старинных национальных костюмах. Это видение преисполнило Шопена таким ужасом, что он выбежал из своей комнаты, как помешанный, и потом всю ночь не мог в нее вернуться[15]. Такие же бредовые и счастливые переживания испытал и Гофман. Образы его фантазии приобретали такую правдоподобность, что он просил жену не покидать его, пока он пишет. И когда я думаю о Белом, мне вспоминаются эти наваждения. Белый был тоже околдован и одержим. Над ним победно властвовали музыка, слово, и в нем он искал таинственный, никем не открытый смысл, им играл: больше всего и преданнейше Андрей Белый возлюбил ритмическую прозу. Читаешь его книги, — и всегда одно и то же ощущение: завороженный!

Большевицкие теоретики, разъяснители творческих тайн, настойчиво отрицают элемент бессознательности. Никто так не убеждает в непознанной власти «бессознательного» начала в творчестве, как Андрей Белый. Он писал, опьяняясь, и опьянялся в процессе писания. Его фразы напевны, его проза несравненно сложней его стихов, в своих прозаических книгах Андрей Белый шаманит.

Тут открывается его удивительная способность, его неисчерпаемость. Валерий Брюсов сказал о нем верно: «Андрей Белый может не бояться, что для него оскудеет источник вдохновения, — для него он неисчерпаем»[16]. Работа этого писателя кажется непрерывной. После себя он оставил чуть ли не 50 книг, — из них первая вышла, когда ему было только 22 года, и в течение следующих 10 лет появилось подряд 10 томов.

Неизменным в своих пристрастиях Андрей Белый пребыл до конца, до последнего своего вздоха, а из этих пристрастий нужно особенно отметить его неутолимую жажду словотворчества. Обычные слова его не удовлетворяли, — он выискивал новые, творил их, добывал нужные ему в данный момент. Важно было передать то, что звучало в слухе.

И так же, как в ранних книгах, так и в написанных при большевиках, мы встречаемся все с тем же старым словотворческим приемом... «Пошло беснование, *гавк*

голосов, *щелк* ладоней, *протоп* каблуков, *разрыв глаз*... пряный *гвоздичник* тащили к столу... в *леты фуражек*, *прицеленных* в нос и в очки. — Кто-то лез его лапить... *Желвастый* профессор дорогу пересек... Сладковатая дама вполне *прощелилась* сквозь фраки с явным желанием *елеепомазаться*». Потом: «*разжиднение* людское», «*двубакий* старик», «*невдоглядь*», «*деры рук*», «*откаблучился*», «*павлятник*», «*неплошь*»... Это все из «Москвы под ударом», — из первой попавшей под руку книги, написанной при большевиках. Ничего не изменилось в Андрее Белом, — появились лишь необходимые, неизбежные признания... он и в них был искренен потому, что был впечатлителен и податлив, женственен и уступчив. Кроме того, в беспредельной широте его общительного и обобщающего ума могло уместиться все, — от Рудольфа Штейнера до Ленина, от Владимира Соловьева до Карла Маркса. Лжецом Андрей Белый не был никогда. Он в советские годы, рядом с заявлениями о своем социализме, не мог и не хотел скрывать многого, решался говорить откровенно о многих щекотливых вещах. Два с половиной года тому назад в Москве вышла книга: «Как мы пишем»[17]. В этой анкете приняло участие 18 беллетристов. Андрей Белый с рискованной правдивостью там признавался: «Я пишу художественную прозу редко, раз в 6—7 лет, ибо фининспектор не станет считаться с моими мотовствами вроде 1) сожженного здоровья, 2) траты времени на прочтение 4-х историй математики, 3) трех дорогостоящих поездок в горы и т.д., и вычтет из нищенского гонорара, — так я буду лучше “халтурить”: писать, как большинство, — кто там разберет, — кто писал, — художник слова, или “стрекун”»[18]. Андрей Белый знал, что халтурные произведения там больше «понравятся». Иронически он высказывал надежду: «В двухтысячном году, в будущем социалистическом государстве его усилия будут исторически оправданы»[19]. Уже тогда Андрей Белый, как бы предчувствовал свой конец. Скорбно и не без тайной злобы он писал: «Так работаю я 5 месяцев без пятидневки; пульс усилен, температура всегда 37,2, т.е. выше нормы. Мигрени, приливы, бессонницы облепили меня, как стая врагов; написано две трети текста, а я не знаю — допишу ли: допишу, если не стащат в лечебницу»[20].

Но нет нужды ни в свидетельствах, ни в доказательствах: Андрей Белый в большевицкой среде был чужеродным телом. Западник, впечатлительная натура, нервный и хрупкий, он, в условиях советской жизни, должен был переживать большие страдания.

Там его едва ли даже понимали, а ценили единицы, и то по чувству литературного долга. Большой, замечательный писатель сник и погиб в безвоздушном пространстве, в пустом красном колпаке с выкачанным воздухом[21].

Послесловие

Петр Моисеевич Пильский (1879—1941) — журналист, литературный и театральный критик, беллетрист и мемуарист. С начала 1900-х активно сотрудничал в газетах и журналах Петербурга, Москвы, а также в провинциальных изданиях. Андрей Белый знал его как по многочисленным статьям, так и по выступлениям в Литературно-художественном кружке: «Сидят на эстраде столь многие, что и не перечислишь. <...> Подбор лекторов: вся Москва, Петербург, Киев, Харьков, Одесса прошли через эстраду “Кружка”; Любошиц, Яблоновский, Ашешев, Чуковский,

Свентицкий, Петр Пильский, Морозов, Волошин, Бальмонт, Брюсов, Глаголь, я <…>»[i]. Пильский, формирование которого было отчасти связано с посещением кружка В.Я. Брюсова в его доме на Цветном бульваре, выступал в 1900-е как защитник принципов нового искусства. Как и Белый, он имел репутацию отчаянного полемиста. Однако в литературных боях Пильский и Белый оказывались, как правило, по разные стороны баррикад, что особенно остро выявилось во время полемики московских и петербургских символистов о «мистическом анархизме»: «Травле меня как “Белого”, а не как символиста я был обязан “друзьям” – символистам; ее истоки – редакция “Ор” (издательство В. Иванова), группировавшаяся вокруг “мэтра” С. Городецкого, Блока, Чулкова, Ауслендера, Кузмина <…>; иные “матерые” символисты на нас натравливали молодежь, репортериков и модных фельетонистов из ресторана “Вена”, как Пильского; стоило последнему что-нибудь на уши нахихикать о Белом, как перо опытного инсинуатора начинало работать, давая тон шавкам <…>»[ii]. В поздних воспоминаниях Белый последовательно причислял Пильского к стану своих недругов и гонителей: «Все боролись со мной в эти месяцы и проклинали меня: Блоки, Иванов, Чулков <…>; в газетах орали: “Собака весовская, бешеный, полусумасшедший, бездарный, испытаннейший скандалист”. <…> Петр Пильский, Измайлов, Игнатов и сколькие прочие <…> только и ждали удобного случая, чтоб доконать окончательно молодого писателя, переживавшего последствия тяжелого горя и едва стоявшего на ногах: от затерзанности <…>»[iii]. Не исключено, впрочем, что недоброжелательность, сквозящая в оценках Пильского Белым-мемуаристом, была обусловлена не столько литературными разногласиями, сколько политической позицией критика – непримиримо, открыто враждебной к советской власти и ее вождям.

В 1918 г. после недолгой отсидки в тюрьме Пильский, нарушив подписку о невыезде, бежал от большевиков сначала на юг (Киев, Херсон, Кишинев), потом (в 1921 г.) в Ригу, а в 1922 г. перебрался в Эстонию (Ревель), где прожил пять лет[iv]. С 1927 г. он окончательно обосновался в Латвии (Рига), где стал постоянным сотрудником газеты «Сегодня» (1919–1940), самой влиятельной русскоязычной газеты Прибалтики и одной из самых авторитетных газет русской эмиграции в целом. Будучи ведущим критиком литературного отдела, Пильский опубликовал в «Сегодня» более 2000 статей, обзоров, рецензий, успевая при этом печататься и в других изданиях, выпускать сборники своих статей, писать собственную художественную прозу и предисловия к книгам других авторов[v].

В эмиграции динамика русского литературного процесса по-прежнему оставалась основной темой его критических работ. «Искажается российская жизнь – искажается и литература. Потрясенность и там и тут, и над обеими нависла тьма. Дороги спутались. Кошмар дел стал кошмаром художественных восприятий, и унылость видений предстала унылостью строк. В русской литературе идет глубокое перерождение. Ясно чувствуются большие внутренние муки, конвульсии, зу-

[i] *НВ 1990.* С. 234.

[ii] *МДР 1990.* С. 175.

[iii] Там же. С. 253.

[iv] *Меймре А.* П. Пильский в Эстонии: 1922 – 1927// Балтийский архив. Таллинн, 1996. Т. 1. С. 202–217.

[v] См. подробный биографический очерк: *Абызов Ю.И., Исмагулова Т.Д.* Пильский Петр Моисеевич // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1999. Т. 4. С. 600–604. Там же указана обширная литература о нем.

бовный скрежет. Рвущая и разрушающая революционная стихия прошла по душам своей страшной и безжалостной стопой, расшвыряла, прогноила, разворотила, избуянила одни сердца, смяла другие, растрепала третьи...»[i] — диагностировал он происходящие в русской культуре перемены к худшему, подкрепляя диагноз анализом произведений, помещенных в сборнике «Московский Альманах» (Берлин: Огоньки, 1922), в том числе и анализом фрагмента «Эпопеи “Я”» («Записок чудака»), в которой, по мнению Пильского, губительные тенденции современности отразились в весьма концентрированном виде:

> И, как общий вывод, общий итог, общий символ — этот заключительный полудневник редактора А. Белого:
>
> — «Я».
>
> Подзаголовок говорит:
>
> — «*Сумасшедшее*».
>
> Хаос... Сумбур... Стихия. Города, длинные дороги, ночные сумятицы, бесцельный бег, толчея и — безумие:
>
> «Мы на пороге образования в нас новых душевных болезней», — говорит Белый в предисловии к своему «Я» (сумасшедшее).
>
> И здесь — то же. И тут — отсутствие лица. И у этого автора — пустыня. И в этом рассказе опять и снова — сумятица, потревоженность, хаос и те же подзаголовки: география («Берген»), места («Перед Бергеном»), «Площадь» и только напрасно одна из глав названа: «Моя биография». Биографии нет.
>
> Но общий итог выражен верно и точно — *«ничто!» — «Нас много...»*
>
> И потом: — «*нет ничего!*»
>
> И еще: — «*никого*»...
>
> И вновь: — навсегда: «*ничего, никого*».

Критикуя деструктивность Белого, Пильский вместе с тем отмечает, сколь значительно и закономерно его влияние на молодую советскую прозу (Б. Пильняк, Вл. Лидин и др.): «А потому, что эти писатели, эти молодые авторы населили свои книги, как и свои души, устремлением к Хаосу, к разлому былой архитектоники, к литературной апропорциональности, они должны были пойти в мятежный, неровный и нервный след Андрея Белого».

Сопоставимо с влиянием Белого, по мнению критика, только влияние другого символиста — А.М. Ремизова:

> Неоспоримо: над всей новой российской беллетристикой веет дух именно этих двух авторов.
>
> И все же это — не школа. Ни у Ремизова, ни у Андрея Белого не может быть истинных последователей. От судьбы они могли бы получить только временных подражателей, литературных учеников без твердого эстетического принципа, без традиций, без определенных нажитых навыков. Это — листья, но это — не корни. Это — не почва, а только веяние. Это — не течение, а поветрие.
>
> Иначе и не может быть.

---

[i] *Пильский П.* Без героя. О новых русских писателях // Балтийский альманах. 1924. № 2. С. 65–69. См. также: www.russianresources.lt/archive/Pilsky/Pilsky_15.html.

> И тот, и другой – и Ремизов, и Белый – не мэтры. Для этого они прежде всего – слишком индивидуальны, слишком и навсегда *одни*.

Любопытно, что, не одобряя ни общих деструктивных тенденций современной прозы, ни ее ориентации на Ремизова и Белого и даже отказывая Ремизову и Белому в звании «мэтров», Пильский тем не менее в финале очерка навечно «резервирует» за обоими прочное место в русской литературе:

> Этих двух писателей будут изучать. Над ними будут думать. К ним не раз еще вернется критика, и их имена на своих страницах не осмелится забыть будущий литературный историк.

Этот панегирик Пильский написал в 1924 г., хотя интонационно он скорее напоминает заключительную часть пристойного некролога: обращает на себя внимание тематическая и перекличка с финалом некролога Белому, написанного Б.Л. Пастернаком, Б.А. Пильняком и Г.А. Санниковым... Надо отметить, что судьбы писателей-символистов находились в поле зрения Пильского-эмигранта. Но все чаще ему приходилось публиковать не рецензии на новые книги, а очерки, поводом к созданию которых становилась смерть. Пильский почтил память А.А. Блока, потом – М.А. Волошина[i], а в 1934 г. дошла очередь и до Белого... Некролог появился в газете «Сегодня» уже 13 января и вскоре, 4 февраля 1934 г., был перепечатан в «Новом русском слове» (Нью-Йорк).

---

[1] Увы, автор некролога забыл, что по паспорту имя Андрея Белого – Борис.

[2] Имеется в виду речь Белого 30 октября 1932 г. на Первом пленуме Оргкомитета Союза советских писателей. Стенограмма выступления могла быть знакома Пильскому по публикации в «Литературной газете» (1932. 11 ноября) или – что менее вероятно – в сб. «Советская литература на новом этапе. Стенограмма Первого пленума Оргкомитета Союза советских писателей (29 октября – 3 ноября 1932 г.)» (М., 1933. С. 69–71).

[3] «Когда б не смутное влеченье / Чего-то жаждущей души, / Я здесь остался б – наслажденье / Вкушать в неведомой тиши» (1833).

[4] Пильский цитирует слова французского композитора Камиля Сен-Санса (1835–1921) из письма к немецкому журналисту М. Левину от 9 сентября 1901 г. по очерку Ромена Роллана «Камилл Сен-Санс» (1901). Ср.: «С годами, когда к нему пришла известность, он ничуть не изменился. Еще недавно он писал одному немецкому журналисту: “я весьма мало чувствителен к критике и к похвалам; отнюдь не потому, что я преувеличиваю свое значение, – но потому, что мне, создающему свои произведения сообразно с функцией своей природы, наподобие яблони, приносящей яблоки, нечего беспокоиться о мнении, которое может быть высказано на мой счет”» (*Роллан Р.* Музыканты наших дней / Пер. Ю.Л. Римской-Корсаковой. Л.: Мысль, 1923. См. также: *Роллан Р.* Собр. соч. / Под общ. ред. проф. П.С. Когана и акад. С.Ф. Ольденбурга. Т. XVI. Л., 1935. С. 320).

[5] Из предисловия А.А. Блока к поэме «Возмездие» (1919): «Я думаю, что простейшим выражением ритма того времени, когда мир, готовившийся к неслыханным событиям, так

---

[i] См. републикацию очерков «Александр Блок. 6 августа 1921 г.» и «Романтический отшельник (Памяти Максимилиана Волошина)» (Публ. Ю.И. Абызова) в сб.: Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике. Т. 5: Материалы к общественной жизни. Литература и искусство. Библиография. Мемуары. Рига. 1999. С. 291–298.

усиленно и планомерно развивал свои физические, политические и военные мускулы, был *ямб*. Вероятно, поэтому повлекло и меня, издавна гонимого по миру бичами этого ямба, отдаться его упругой волне на более продолжительное время» (*Блок А.А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 297).

[6] Как кажется, Пильский в характеристике Белого опирался на предисловие Л.Б. Каменева к мемуарам «Начало века» и даже заимствовал из него. Ср.: «“Я нарочно создавал себе максимум путаницы...”; “В 1904 году я окончательно запутался в своей философской тактике...”; “А с 1905 года, попав в Петербург, я на несколько лет окончательно запутался в кружке Мережковского, идейное общение с которым коренилось в превратном понимании терминологии друг друга”. И так проходит по всей книге: “запутался”, “перепутался”, “путаница”, “путаник”», “моя идейная невменяемость”, “идеологические увечья, себе самому нанесенные”» (см. в наст. изд.).

[7] О своих литературных и музыкальных пристрастиях Белый подробно рассказывал в мемуарах «На рубеже двух столетий» и «Начало века».

[8] Николай Карлович Метнер (1879/1880–1951), композитор и пианист, брат Э.К. Метнера.

[9] Аллюзия на «Моцарта и Сальери» А.С. Пушкина (1830): «Музыку я разъял, как труп. Поверил / Я алгеброй гармонию».

[10] Имеется в виду публикация трех главок из «берлинской» редакции «Начала века» («Бельгия»; «Переходное время»; «У Штейнера») в журнале «Беседа» (1923. № 2. С. 83–127).

[11] Видимо, имеется в виду «Введение» к книге «На рубеже двух столетий».

[12] Об этом Белый писал, в частности, в предисловии «От автора» к мемуарам «Начало века».

[13] Имеется в виду развернутый ответ Белого на вопрос о том, как он работает над созданием своих литературных произведений, в сборнике «Как мы пишем» (Л., 1930. С. 23).

[14] Там же. С. 19.

[15] Ср.: «Совершенно в другом роде написан полонез ор. 40 (A-dur) – самый известный из всех полонезов Шопена. В нем как бы запечатлен отзвук прежнего величия Польши. Один из учеников Шопена рассказывает, что ночью, в то время когда Шопен сочинял этот полонез, ему вдруг почудилось, что двери его комнаты открываются и перед ним проходит длинное шествие польских рыцарей и красавиц-полек в старинных национальных костюмах. Это видение преисполнило Шопена таким ужасом, что он выбежал из своей комнаты как помешанный и потом всю ночь не мог решиться вернуться в нее» (*Давыдова Л.К.* Фр. Шопен: Его жизнь и музыкальная деятельность. Биографический очерк. СПб., 1892. С. 61).

[16] Имеется в виду характеристика, данная В.Я. Брюсовым в статье «Об одном вопросе ритма (По поводу книги Андрея Белого “Символизм”)» (Аполлон. 1910. № 11. С. 52–60). Эту характеристику Брюсов повторил в книге «Далекие и близкие» (М., 1912), в примечании к разделу о сборнике Белого «Урна». Ср.: «Поэт, мыслитель, критик, теоретик искусства, иногда бойкий фельетонист, Андрей Белый – одна из замечательнейших фигур современной литературы. В своем творчестве и в своих суждениях отправляющийся от определенного, тяжелой работой мысли добытого (или, точнее, добываемого) миросозерцания, Андрей Белый может не бояться, что для него, как, например, для Бальмонта, оскудеет источник вдохновения: для него он неисчерпаем» (цит. по: *Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 307).

[17] На самом деле – в Ленинграде.

[18] Как мы пишем. С. 22.

[19] Там же. С. 23.

[20] Там же. С. 22.

[21] Образ из романа-антиутопии Е.И. Замятина «Мы» (1920). Ср.: «В Операционном – работают наши лучшие и опытнейшие врачи под непосредственным руководством самого Благодетеля. Там – разные приборы и, главное, знаменитый Газовый Колокол. Это в сущности старинный школьный опыт: мышь посажена под стеклянный колпак; воздушным насосом воздух в колпаке разрежается все больше... Ну, и так далее. Но только, конечно, Газовый Колокол значительно более совершенный аппарат – с применением различных газов, и затем – тут, конечно, уж не издевательство над маленьким беззащитным животным, тут высокая цель – забота о безопасности Единого Государства, другими словами – о счастии миллионов. Около пяти столетий назад, когда работа в Операционном еще только налаживалась, нашлись глупцы, которые сравнивали Операционное с древней инквизицией, но ведь это так нелепо, как ставить на одну точку хирурга, делающего трахеотомию, и разбойника с большой дороги: у обоих в руках, быть может, один и тот же нож, оба делают одно и то же – режут горло живому человеку. И все-таки один – благодетель, другой – преступник, один со знаком +, другой со знаком –...» (*Замятин Е.* Сочинения. М., 1988. С. 58).

Подготовка текста, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

Людмила Спроге (Латвия)

ОТКЛИКИ НА СМЕРТЬ АНДРЕЯ БЕЛОГО В ЛАТЫШСКОЙ ПРЕССЕ 1934 г.[1]

Андрей Белый для латышской культуры первой трети XX века не являлся столь значимой фигурой, как, например, В. Брюсов, А. Ремизов, Вяч. Иванов, К. Бальмонт, несколько позднее А. Блок, но оригинальность и знаковость его литературной личности никогда не подвергались сомнению.

До периода Первой Латвийской республики (1918 г.) произведения Белого время от времени появлялись на страницах латышской периодики (в основном переводились стихотворения, в 1914 г. в журнале «Druva» («Нива») публикуются фрагменты перевода романа «Петербург»[2]).

С Андреем Белым были лично знакомы латышские литераторы Викторс Эглитис[3], Валдемарс Дамбергс[4], Андрейс Курцийс[5], выдающийся скульптор Карлис Зале[6] и другие деятели культуры и науки Латвии. Рудольфс Эгле[7], работавший с 1917 по 1922 г. в Петроградской Публичной библиотеке, после возвращения в Латвию неоднократно апеллировал к трудам Андрея Белого, особенно когда в 1930-е читал лекции по теории литературы в Латвийском университете.

В начале 1934 г. в латышской прессе появилось несколько откликов на смерть Андрея Белого. По преимуществу это краткие информационные бюллетени, как, например, в девятом номере от 13 января в ежедневной популярной газете «Pēdējā brīdī» («В последний момент»), где на второй полосе была опубликована заметка «Maskavā miris krievu rakstnieks Andrejs Belijs» («В Москве умер русский писатель Андрей Белый»):

> Позавчера в Москве от артериального склероза умер известный русский писатель Андрей Белый. В 1913 г. Белый напечатал роман «Петербург», до этого в 1910 г. вышла первая часть его трилогии «Восток и Запад»[8]. За свою жизнь Белый создал значительное число произведений – романов, поэтических книг и т.п., был и публицистом. Начиная с 1905 г. до войны Белый был представителем социал-демократического направления и одно время сотрудничал с Блоком, с которым они совместно организовали небезызвестные в ту пору «скифские» издания[9]. В первые годы революции Белый временно оторвался от политической активности и некоторый период своей жизни провел за границей[10]. В свое время Андрей Белый стал довольно популярным проповедником мелодизма в поэзии[11]. В последние годы Белый открыто принял коммунистическую идеологию и служил в советской России как пролеткультовец и работник Комиссариата просвещения[12]. Литературное наследие, завещанное Андреем Белым, пребудет вечно[13].

Эта первая в латышской прессе публикация на смерть Андрея Белого была подписана криптонимом R.L.[14]

Почти через две недели в еженедельнике «Latvija» в четвертом номере от 26 января на пятой странице была опубликована подписанная литерами *Е.Т.*[15] заметка: «Miris ievērojamais krievu dzejnieks-simbolists» («Умер известный русский поэт-символист»), где после года рождения, настоящего имени и фамилии указывается на особенное направление в символизме, которое представлял Белый, говорится о его известности как теоретика не только в России, но и за ее пределами, отдельно выделяются его исследования о ритме, предварившие возникновение будущей формальной школы; после перечисления известных поэтических сборников, симфоний, художественной прозы и исследовательских трудов краткая публикация завершается следующей фразой: «Еще следует отметить, что Белый также не был чужд латышским писателям старшего и среднего поколения»[16].

Более объемный, обстоятельный некролог появился в первом, январском номере журнала «Domas» («Думы»). Он был озаглавлен «Andrejs Belijs» («Андрей Белый»), подписан литерой V и открывал журнальную рубрику «Cittautu rakstniecība» («Зарубежное литературное дело»):

> В январе текущего года умер русский писатель Андрей Белый (род. 14.X.1880, настоящее имя – Борис Николаевич Бугаев). Уже с ранней юности Белый представлял собой интересную личность: изучая в Московском университете естественные науки, он в то же время с увлечением постигает мистическое искусство. Мечется от Мережковского и Вл. Соловьева к Дарвину и Миллю, и в 1901 г. выходят первые стихи Белого. После окончания университета Белый сближается с московскими символистами (Бальмонтом, Брюсовым, Блоком, Вяч. Ивановым...[17]

В этом некрологе приводятся биографические факты (порой не всегда точно), перечисляются сборники стихотворений, прозаические произведения, книга «Символизм», статья «Магия слов» и упоминается об антропософских взглядах писателя. Отмечается, что его литературоведческие труды способствуют глубинному проникновению в мастерство Гоголя, Достоевского, Толстого и свидетельствуют о художественной самобытности Белого. Некролог завершается следующими сентенциями:

> Хуже Белому удается отображение новой социальной действительности (деятели революции, рабочие фабрик и заводов, митинги и баррикады). Здесь чувствуется чуждый для Белого мир. Его рабочий, его крестьянин не настоящие, боязливые, неестественные, говорящие на придуманном языке. Здесь молодому поколению писателей нечему научиться. Белый всецело принадлежит к ряду художников-теоретиков. <...> Белый, безусловно, впечатлился новой русской литературой, хотя и формально; кроме того, у него есть многочисленные последователи из молодых писателей, например Борис Пильняк, Артем Веселый, Сергей Клычков и др.

Наибольший интерес представляет некролог известного латышского поэта Яниса Судрабкалнса[18], опубликованный в ежедневной газете «Dienas Lapa» («Ежедневный листок»), издававшейся большим тиражом – «Andrējs Bēlijs – divu pasauļu cilvēks» («Андрей Белый – человек двух миров»):

Недавно почивший русский поэт, романист, теоретик литературы принадлежал к ряду литературных знаменитостей XX века. В единый узел сплелись его жизнь, эпоха, своеобразный талант, нечеловеческое в его искусстве, его замыслы, наброски, думы, переживания. После гениального взлета он сник, и даже чудачествуя в пестром клоунском обличьи, то изрекал громогласно истину, то смутно и немощно лепетал, то есть речь его была «косноязычной», как сказали бы русские.

Андрей Белый родился в 1880 г. Его отец Б.Н. <sic!> Бугаев был известным ученым, профессором математики Московского университета. С детских лет Белого окружала атмосфера науки. В своей книге «На рубеже веков» он описал первые двадцать лет своей жизни. Знаменитая русская профессура из разных областей науки, писатели (Лев Толстой), композиторы (Танеев, Рубинштейн, Серов) были хорошо знакомы с Бугаевым-старшим. Еще в гимназические годы его сын познакомился с трудами Ницше, Соловьева, с философией буддизма, а также с Миллем и Спенсером. В университете он продолжал свое существование в двух духовных сферах. Молодой Бугаев изучал естественные науки, усердно постигал зоологию, углублялся в труды Дарвина, увлекался химией, с другой стороны, он сблизился с поэтами-символистами, с мистиками. В 1903 г. он закончил учебу и тут же поступил на филологический факультет. Подобно пчеле, пьющей нектар из цветов, он впитывал научные знания по всевозможным дисциплинам. Колоссальная эрудиция возвысила его над сверстниками. Если сравнить записки о его путешествии по Востоку[19] с африканским дневником Андре Жида[20], то оказывается, что русский писатель более глубок и более научен по сравнению с французом, который тоже считался у современников писателем-интеллектуалом, но Белый превзошел его в областях самовыражения и признания, то есть там, где и Андре Жид сказал свое весомое слово.

О мистическом символизме, который дал импульс его первому творческому периоду. В этот период у него вышли книги стихов, ритмическая проза, «симфонии», как он сам назвал эту прозу. Тогда же были изданы и теоретические труды («Символизм», 1910 г., полное выражение его эстетических воззрений). Позднее были изданы его большие романы — «Петербург» 1916 г. и более завершенный «Москва». Надо признать, его проза сама по себе потенциально обучала многих. В настоящее время у русских знаменит новаторством своей романной формы американец Джон Дос Пассос[21], но в своей родной литературе они могли бы найти и более страстную борьбу за новую форму прозы. Романы Белого утомляют, его странный текст впечатляет, в пылу битвы не видать ему победы, но творческие искания Белого заслуживают признания. О Белом еще скажут и напишут.

Ряд фантастических книг — это его теоретические труды. Прежде всего это «Ритм и диалектика» (1929 г.), где Белый глубоко, с математической точностью проанализировал пушкинского «Медного всадника». Многие страницы этого исследования напоминают логарифмические таблицы. Трудно пробираться через эту литературоведческую тригонометрию, полюбить ее еще труднее, но в ней — своя ворожба, сумрачная премудрость.

Белый оставил воспоминания об Александре Блоке, творческое наследие которого занимало первостепенное место в его жизни. Всегда важен был для него автор «Стихов о Прекрасной Даме» и «Двенадцати», как видно и из дневника Блока[22].

> За символами Белого – власть туманного хаоса, изредка разрываемого стрелами классической ясности. Всю жизнь он метался между двумя крайностями, между двумя полюсами, между мистицизмом и революцией, между божественным и реальным. Антропософия Рудольфа Штейнера, с которым он познакомился за границей в 1912 г., оказывала влияние на него до конца жизни. У Белого религиозные вымыслы сопровождали реалии переживаемой жизни. Жить было жутко, одиноко, и Белый предавался мистицизму, отдаляясь от творцов новой жизни, но при всей своей антропософии Белый нашел для себя возможным работать в Пролеткульте Советского Союза.
>
> В свое время латышские писатели зачитывались его критическими сочинениями, а также стихами, прозой, симфониями; они восприняли Белого как символиста, хотя больше превозносили Брюсова. С Белым были лично хорошо знакомы многие деятели культуры (Курцийс, скульптор Зале, художник Стрункис[23]), в Берлине вместе с Горьким Белый издавал журнал «Беседа». Интересны будут его воспоминания.
>
> Я. Судрабкалнс[24].

Через несколько месяцев после смерти Андрея Белого в одном из летних номеров латышского литературного журнала «Daugava» («Даугава») вышла рецензия на книгу «Мастерство Гоголя». Ее автор – известный в свое время латышский писатель, публицист Юлийс Розе[25] под заголовком «Книга Белого о Гоголе» («Bēlija grāmata par Gogoļi. Андрей Белый. Мастерство Гоголя. Москва, 1934») пишет о книге как о большом событии в истории культуры:

> Андрей Белый обозначил свой труд как «обобщение» исходного материала, который был задуман составителем гоголевского словаря, поэтико-грамматических элементов гоголевских текстов. А на самом деле исследование Белого содержит гораздо большее. Это тщательно рассмотренные выразительные средства художественного текста, которые знакомят не только с секретами литературной техники великого русского писателя, но также открывают много нового в личности мастера и в общественном значении его произведений. <...>. Основная тенденция книги, созданной на основе аналитической работы над громадным наследием Гоголя, содержит вывод, что Гоголь наиболее значим среди великих русских прозаиков, таких как Толстой, Достоевский, среди них он – первый. <...>. Не только натуральная школа живет в наследии Гоголя, он был декадентом до декаданса, символистом до символизма, футуристом до футуризма. Требование Верлена: «музыка – прежде всего!»[26] – первым реализовал Гоголь. <...>. Книга Белого интересна как труд по истории литературы. Она особенно важна для тех, кто совершенствует и углубляет свои научные знания[27].

Память об Андрее Белом переходит границы некрологов; русский писатель становится символом нескольких эпох, с которыми был напрямую связан литературный путь латышских писателей. Имя Белого, цитаты из его творений (как в оригинале, так и в переводе) становятся достоянием креативной памяти и появятся в дневниках, переписке и в художественных текстах.

[1] Переводы с латышского выполнены автором статьи.

[2] О переводах Андрея Белого на латышский язык и о месте его в рецепции латышскими литераторами Серебряного века русской литературы см.: *Sproģe Ludmila, Vāvere Vera.* Latvie u modernisma aizsākumi un krivu literatūras «sudraba laikmets». Rīga: Zinātne, 2002 («Начало латышского модернизма и русская литература Серебряного века»). С. 43–46, 52, 53, 57, 59, 70, 80, 85, 106, 118, 121, 129, 137,143, 147, 149, 162, 171, 185, 189–191, 193, 195–199, 273–275.

[3] Викторс Эглитис (Viktors Eglītis; 1877–1945) – латышский поэт, писатель, драматург, теоретик, родоначальник латышского символизма, печатался в «Весах», был близок с В. Брюсовым, А. Ремизовым, Вяч. Ивановым, изобразил их в своем романе «Неотвратимые судьбы» (1926). Был знаком с Белым, называл его «Огненный Архангел», оставил мемуары, где есть характеристики Белого; он упоминает имя и произведения Белого в стихах и в переписке с представителями латышской культуры.

[4] Валдемарс Дамбергс (Valdemārs Dambergs; 1886–1960) – латышский поэт, прозаик, драматург, первый переводчик А. Блока на латышский язык. Был близок к русскому символизму, лично знал Белого, о котором упоминает в своей изданной в Дании переписке с В. Эглитисом.

[5] Андрейс Курцийс (Andråjs Kurcijs; 1984–1959) – латышский писатель, переводчик. В 1915 г. составлял подстрочники к стихам латышских поэтов для «Сборника латышской литературы» (Пг., 1917), упоминается в «Дневниках» Блока, которого неоднократно посещал в Петрограде. Знал Белого лично, более близкое знакомство состоялось во время пребывания русского поэта в Берлине, о чем рассказал в частично опубликованных мемуарах «Мой временник», где есть сюжет о дне, проведенном Белым в Риге, о его работе над сборником «После разлуки» и о потере трактата «О Толстом». В архиве А. Курцийса сохранились прижизненные издания Андрея Белого с его пометами, характеризующими его как увлеченного читателя произведений Белого.

[6] Карлис Зале (Kārlis Zāle; 1888–1942) – латышский скульптор, автор знаменитого «Памятника свободы» (1931–1936) и ансамбля Братского кладбища (1924–1936) в Риге.

[7] Рудольфс Эгле (Rūdolfs Egle; 1889–1947) – латышский литературовед, библиограф, переводчик. Изучал художественное творчество и теоретические труды Андрея Белого, что нашло отражение в его курсе университетских лекций. В архиве А. Курцийса сохранились материалы его неизданной книги по теории литературы с обширными ссылками на Белого, см.: *Vāvere V., Sproģe L.* Par kādu Rūdolfa Egles nerealizētu literatūrzinātnisku ieceri («Об одном литературоведческом нереализованном замысле Рудольфса Эгле») // Materiāli par kultūru mūsdienu Latvijas kontekstā. Rīga, 2001. 201–208 lpp.

[8] Имеется в виду роман «Серебряный голубь».

[9] И Блок, и Белый входили в неформальную литературную группу «Скифы», члены которой публиковались в журнале «Наш путь», газете «Знамя труда», сборниках «Скифы». Идеологом группы был Иванов-Разумник; он же был инициатором издания и редактором литературных сборников «Скифы» (Сб. 1 – Пг., 1917; Сб. 2 – Пг., 1918). Белый опубликовал в «Скифах» повесть «Котик Летаев» и был соредактором второго сборника. Блок в сб. «Скифы» не печатался.

[10] Имеется в виду эмиграция в Германию в 1921–1923 гг.

[11] См. статью Белого «Будем искать мелодии» (1922), напечатанную как предисловие к его сб. стихов «После разлуки» (Пб.; Берлин: Эпоха, 1922).

[12] Имеется в виду работа Белого в Театральном отделе Наркомпроса в 1919 г.

[13] Pēdējā brīdī. 1934. № 9 (13 janvārī). 2 lpp.

[14] Возможно, под инициалами сокращено имя сотрудника этого издания – латышского журналиста и писателя Карлиса Лапиньша (Kārlis Lapiņš; 1895–1942), который прожил в России 10 лет, с 1914 по 1924 г.

[15] Автор не установлен.

[16] Latvija. 1934. № 4 (26 janvārī). 5 lpp.

[17] Domas. 1934. № 1. 54 lpp.

[18] Янис Судрабкалнс (Jānis Sudrabkalns; наст. имя и фам. Арвидс Пейне (Arvīds Peine); 1894–1975) – латышский поэт, автор лирического цикла на смерть А. Блока, с юношеских лет друг русской поэтессы и мемуаристки Надежды Павлович; в 1920–1930-е сотрудничал также и в русской прессе Латвии («Сегодня», «Сегодня вечером», переводил В. Брюсова, А. Блока, С. Есенина и др.).

[19] См.: Офейра: Путевые заметки. Часть первая. М., 1921; Путевые заметки. I. Сицилия – Тунис. М.; Берлин: Геликон, 1922; «Африканский дневник» Андрея Белого [Путевые заметки. Часть вторая] / Публ. С. Воронина // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 1991. Т. I. С. 327–454.

[20] *Жид А.* Путешествие по Конго / Пер. с франц. М.: Федерация, 1931.

[21] Джон Родериго Дос Пассос (1896–1970) активно переводился на русский язык начиная с 1919 г.; его популярность возросла после посещения Советского Союза в 1928 г. Здесь, вероятно, имеется в виду роман «Манхэттен», выпущенный в 1927 г. ленинградским издательством «Мысль» в переводе В.И. Сметанича (Стенича) и переиздававшийся в 1930 и 1931 гг.

[22] См.: Дневник Ал. Блока: В 2 т. / Под. ред. П.Н. Медведева. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1928.

[23] Никлавс Стрункис (или Струнтис; Niklāvs Strunke / Struņķis; 1894–1966) – живописец, график, сценограф, витражист, ведущий декоратор Национального театра и Латвийской национальной оперы; с 1944 г. в эмиграции в Швеции, где продолжал свою деятельность художника.

[24] Dienas Lapa. 1934. № 27 (20 janvārī). 4 lpp.

[25] Юлийс Розе (Jūlijs Roze; 1892–1972).

[26] «Музыки прежде всего!» («De la musique avant tout chose») – популярная у русских символистов неточная цитата из стихотворения П. Верлена «Поэтическое искусство» («Art poetique», 1874). Сам Белый неоднократно приводил этот «лозунг Верлэна, требующий музыки слов» *(НРДС 1989.* С. 214) именно в таком виде, – например, в статье «Формы искусства» (*Андрей Белый.* Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 102, 497).

[27] Daugava. 1934. № 27. 666–668 lpp.

АЛЕКСАНДР ДЕХТЕРЕВ

АПОЛОГЕТ СИМВОЛИЗМА

Рассвет (Чикаго).
1934. 27 февраля.

В январе в Москве скончался Андрей Белый, всего 53-х лет от роду. О нем пишут:

«...В самые последние годы Белый жил в бедности, мало участвуя в общей писательской жизни. Его терпели...»[1]

Андрей Белый — весь тайна: живя за рубежом — неожиданно вернулся на родину; не болея (об этом нет еще сведений) — неожиданно умер. Это его, так сказать, последнее. Но и в предыдущей своей жизни Белый не раз поражал таинственностью своих шагов. Еще будучи студентом, сотрудничая в «Весах», «Золотом Руне» и других журналах небольшими заметками, вдруг пишет — один за другим — два больших романа: «Серебряный голубь» и «Петербург». Одновременно выпускает огромный том, посв<ященный> символизму[2], одним из апологетов которого стал с первых же дней возникновения этого ценнейшего литературного течения (вылившегося в литературную эпоху). Пишет стихи.

Ему предрекают большую известность, его носят на руках — литературный Петербург и литературная Москва. И вдруг... все бросает, отправляется в путешествие, чтобы увлечься антропософией, подружиться со Штейнером, строить «Гетенаум»[3] и — не писать ни строчки[4]. Правда, антропософия постепенно изживается, в особенности после пожара «Гетеанума», в особенности после смерти Рудольфа Штейнера[5], но изживается постепенно, с величайшим трудом и величайшей постепенностью, и Белый опять возвращается к художественной литературе, к романам.

Огромное литературное наследство оставил после себя умерший писатель, в котором и в десятилетие не разобраться. О нем будут много писать и на родине и за рубежом, и многое еще нигде не помещенное — появится в печати: статьи, очерки, путевые заметки, наброски литературных произведений, письма и т.д. Так уходит постепенно старая литературная Россия, вскормленная здоровым духом еще здорового, еще счастливого народа. У Белого это здоровье духа мы можем проследить в его первых романах, столь щедро насыщенных богатством языка и образов.

Послесловие

Автор некролога — педагог, прозаик, журналист, церковный деятель Александр Петрович Дехтерев (в монашестве Алексий; 1889–1959). Уроженец Вильны (Вильнюс), еще гимназистом в 1905 г. он дебютировал в виленской печати, участвовал

в журнале для детей «Зорька», в газете «Северо-Западный голос»; издал поэтический сборник «Неокрепшие книги. Стихотворения: 1905–1906» (Вильна, 1906). Окончил Виленскую классическую гимназию (1908), затем Морское училище дальнего плавания в Либаве (Лиепая; 1911); нередко подолгу бывал в родном городе вплоть до оккупации Вильны германскими войсками (август 1915 г.). После перипетий Первой мировой и Гражданской войн оказался сначала в Болгарии, затем в Чехословакии. Работал в учебных и воспитательных заведениях для детей русских эмигрантов (среди прочего руководил интернатом «Моя маленькая Россия» при гимназии в Шумене – той самой, в которой учились, в частности, Г.И. Газданов и Б.Б. Сосинский), писал книги для детей и о детях, участвовал в русской зарубежной печати Польши, США, балканских стран. Рассказы, стихотворения, рецензии, статьи и заметки Дехтерева печатали такие издания, как «За свободу!», «Молва», «Меч» (Варшава), «Возрождение», «Россия и славянство», «Мир и искусство», «Числа» (Париж), «Русский голос» (Львов), «Карпатский свет», «Русский народный голос» (Ужгород), «Рассвет» (Чикаго), «Русский голос» (Белград) и другие газеты и журналы. В 1935 г. стал членом Союза русских писателей и журналистов Чехословакии[i].

Приняв постриг, в 1938 г. в сане иеромонаха назначен настоятелем Ужгородского православного прихода в Прикарпатье. В 1941 г. был определен настоятелем храма Александра Невского в Александрии; в 1946 г. возведен в сан архимандрита. По возвращении в 1949 г. из Египта в СССР был хиротонисан в епископа Пряшевского. В 1955 г. был назначен временным управляющим Виленской епархией, через год утвержден епископом Виленским и Литовским, в 1957 г. возведен в сан архиепископа; спустя два года скончался и был похоронен в родном городе[ii].

С творчеством Андрея Белого Дехтерев должен был познакомиться задолго до Первой мировой войны: в его виленском окружении отчетливо видно общая модернистская ориентация литературных интересов. Она отразилась в дневнике Дехтерева, который он вел с октября 1913 г. по август 1915 г. (с перерывами). Пребывая в октябре–ноябре 1914 г. в Вильне, Дехтерев принимал участие в литературном кружке «Голубая келья». Структура и быт кружка, с «Пресветлым Капитулом» во главе и степенями отрока, брата и магистра, воспроизводили черты монашеского или рыцарского ордена, а целью провозглашалось «отрешение от грубой действительности, поклонение чистому искусству»[iii]. Членами «Голубой кельи» были поэт, эсперантист, художник Владимир Девятнин (сын преподавателя русской литературы и латыни, одного из основоположников литературы на эсперанто Василия Девятнина), поэт Евгений Краснянский, участник сборника «Лепестки» (Вильна, 1910), «неистовый ницшеанец» Людвиг Банцлебен; в кружок,

[i] См.: Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918–1939) / Сост. Зденек Славек, Любовь Белошевская. Praha: Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, 1998. С. 99.

[ii] См. о нем: *Пронин В.* Заслуженный юбилей // Русский голос (Белград). 1933. 3 сентября. № 126; Капитан дальнего плавания (К 30-летию литературной деятельности А.П. Дехтерева) // Русский народный голос. 1938. 24 сентября. № 202; А.П. Дехтерев (По случаю 30-летия литературной деятельности) // Русский голос (Львов). 1938. 25 сентября. № 36 (870); Сорок лет труда на ниве народной // Новая заря (Сан-Франциско). 1946. 23 марта. № 4342; *Булгаков Валентин.* Словарь русских зарубежных писателей / Ред. Галина Ванечкова, Introduction by Richard J. Kneely. New York: Norman Ross Publishing Inc., 1993. С. 3; *Бахметьева Елена.* Три ипостаси Александра Дехтерева // Вильнюс. 1993. № 7. С. 123–136.

[iii] *Дехтерев А.П.* Мой дневник «Борьба с символизмом». Вильно 1913–1914–1915 // Рукописный отдел Библиотеки Академии наук Литвы (далее – РО БАНЛ). Ф. 93. Ед. хр. 15. Л. 23.

по-видимому, входили поэт и эсперантист Георгий Дешкин, впоследствии член правления объединения «Литературный особняк» и участник сборников «неоклассиков», и «великий магистр» Алексей Юркевич, ставший после Гражданской войны актером. Круг чтения и литературные интересы этого кружка характеризуют выписанные в дневник Дехтерева стихотворение «Солнце на вершине мачты...» Ивана Коневского, цитаты из Блока и Ахматовой, а также записи о совместных чтениях и обсуждениях Блока, Андрея Белого, Сологуба, Кузмина (в частности, «Глиняные голубки»), Уайльда, Евреинова (в частности, «Pro scena sua»). В Вильне интерес к модернистским исканиям в русской литературе поддерживался лекциями и литературными вечерами столичных лекторов – противников «позорной и страшной литературы наших дней», таких как П.С. Коган или К.И. Чуковский, и писателей – представителей этой литературы. В частности, значительным событием стал широко разрекламированный вечер Федора Сологуба, А.Н. Чеботаревской и Игоря Северянина в рамках большого гастрольного турне 1913 г. (чему предшествовала скандальная постановка пьесы Сологуба «Заложники жизни» в Вильне в 1912 г.; в 1915 г. началось участие Дехтерева в журнале «Вершины», редактируемом Сологубом). Дважды выступал в Вильне Г.И. Чулков – с лекцией «О смысле жизни и тайне смерти» (1913) и с докладом «Пробуждаемся мы или нет» (1914); в 1914 г. с лекцией «Поэзия как волшебство» приезжал К.Д. Бальмонт[i].

Живя во время войны в Риге, Дехтерев в июне 1916 г. записал в дневнике: «Я весь под впечатлением “Петербурга” Андрея Белого. Петербург, Санкт-Петербург 1905 года нашел в лице Белого художника изумительного». В ноябре того же года появилась запись с отзывом о «Кубке метелей»[ii]. В переписанном в дневник письме одного из виленских знакомых той же поры говорится: «Ты так много и так влюбленно говоришь об Андрее Белом, а я так устал и так болен от шума и суеты повседневной жизни, что, конечно, не могу разделить твоего мнения...»[iii].

В эмиграции Дехтерев возобновил контакты с прежними литературными знакомыми и вступил в переписку с теми писателями, с которыми прежде, по-видимому, лично знаком не был; среди его корреспондентов оказались К.Д. Бальмонт, А.Л. Бем, И.А. Бунин, Г.Д. Гребенщиков, Б.К. Зайцев, А.П. Ладинский, И.С. Лукаш, Вас.И. Немирович-Данченко, М.А. Осоргин, В.Ф. Ходасевич, Е.Н. Чириков, И.С. Шмелев и другие писатели, поэты, журналисты[iv]. Живя в Тырново, Дехтерев сумел в 1924 г. вступить в переписку со знакомым с виленских лет поэтом Г.Ф. Дешкиным, который в первом же письме сообщил о том, что состоит членом правления, управляющим делами и казначеем Всероссийского союза поэтов, членами которого состоят «и Брюсов, и Андрей Белый, и Сологуб, и много, много еще хороших поэтов»[v]. Имя Андрея Белого появилось и в письме из Риги С.Р. Минцлова (27 января 1930 г.), спрашивавшего, где и по какому поводу, как писал ему Дехтерев, Андрей Белый вспоминал о нем[vi].

[i] См. подробнее: *Лавринец Павел.* Вечера литераторов Петербурга в Вильнюсе начала XX века // Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis / Sud. A. Lapinskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. С. 45–56.

[ii] *Дехтерев Александр.* Рига. Странный дневник // РО БАНЛ. Ф. 93. Ед. хр. 17. Л. 91, 141.

[iii] Там же. Л. 95.

[iv] Часть писем по копиям А.П. Дехтерева опубликована: Письма русских писателей А. Дехтереву / Публ. Елены Бахметьевой // Вильнюс. 1993. № 8. С. 111–125.

[v] *Дехтерев А.П.* Наиболее примечательные письма ко мне // РО БАНЛ. Ф. 93. Ед. хр. 230. Л. 9.

[vi] Там же. Л. 30.

Дехтерев, как правило, рукописи одних и тех же своих текстов посылал (с разницей в несколько дней) в различные издания; в особых тетрадях скрупулезно регистрировались отправленные сочинения и публикации. Из тетради «Отправленные рукописи. Вторая тетрадь», начатой в ноябре 1931 г., явствует, что некролог Андрею Белому был послан 9 февраля 1934 г. в «Рассвет» (Чикаго) и «Русскую газету» (Нью-Йорк), 10 февраля – в «Русский голос» (Белград) и «Новую зарю» (Сан-Франциско), 20 февраля – в «Русский голос» (Львов). Дехтерев в той же книге отмечал и публикации отправленных рукописей; из всех перечисленных пометка есть только касательно львовской газеты («Пом<ещено> в № 651»)[i]. В другой тетради «Печать (Мои вещи, помещенные в журналах и газетах). Вторая тетрадь. 1927–1945 годы» отмечена также только львовская публикация: «№ 354. В № 651 “Русского Голоса” (Львов) пом<ещена> моя статья: “Апологет символизма”»[ii]. То же указано и в другом аналогичном перечне[iii].

Очевидно, о публикации в «Рассвете» Дехтерев не знал, не получив номера газеты с некрологом: отосланный одновременно рассказ «Норд-ост» отмечен как опубликованный в «Рассвете» в № 53, статья «Страшное явление» – в № 54, высланная 10 февраля статья «Чудесный старец» – в № 59 и т.д. Отдельные номера газет, должно быть, не доходили в Ладомирову-у-Свиднице, где к тому времени жил Дехтерев, в связи с чем секретарь газеты «Рассвет» Н.М. Новин в письме из Чикаго 14 ноября 1934 г. писал Дехтереву: «Статьи Ваши все были помещены в “Рассвете”. Нам только неизвестно, получаете ли Вы высылаемые Вам газеты?»[iv]

---

[1] *Мих. Ос<оргин>*. Памяти Андрея Белого // Последние новости. 1934. 12 января. № 12 (4678). С. 2. С Осоргиным автор некролога состоял в переписке в 1930–1931 гг.; фрагменты одного из четырех известных писем опубликованы (см.: Письма русских писателей А. Дехтереву / Публ. Елены Бахметьевой // Вильнюс. 1993. № 8. С. 115–116).

[2] *Андрей Белый.* Символизм: Книга статей. М., 1910.

[3] Правильно: «Гетеанум». На строительстве Гетеанума, антропософского центра и «храма Духа», возводившегося в Дорнахе (Швейцария) по проекту Р. Штейнера, Белый работал в 1914–1916 гг. Со Штейнером он встретился в 1912 г.

[4] Это «общее» мнение, бытовавшее в период жизни Белого «при Штейнере», писатель с возмущением и неустанно опровергал. В Дорнахе им был написана книга «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности», повесть «Котик Летаев», начата работа над циклом «Кризисов» и т.д.

[5] Гетеанум сгорел в ночь на 1 января 1923 г., Р. Штейнер умер в 1925 г. Несмотря на конфликт Белого с Антропософским обществом, произошедший во время его берлинской эмиграции (1921–1923), он оставался последователем Штейнера до конца жизни.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Павла Лавринца (Литва)

---

[i] *Дехтерев А.П.* Отправленные рукописи. Вторая тетрадь // Там же. Ед. хр. 12. Л. 37–40.

[ii] *Дехтерев А.П.* Печать (Мои вещи, помещенные в журналах и газетах). Вторая тетрадь. 1927–1945 годы // Там же. Ед. хр. 10. Л. 58.

[iii] *Дехтерев А.П.* Перечисление помещенных рассказов, очерков и статей (II тетрадь). С 1 ноября 1927 года по 1 августа 1958 г. // Там же. Ед. хр. 9. Л. 18 об.

[iv] *Дехтерев А.П.* Наиболее примечательные письма ко мне // Там же. Ед. хр. 230. Л. 122.

Павел Лавринец (Литва)

ЛИТОВСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ АНДРЕЕ БЕЛОМ И ЕГО КОНЧИНЕ[1]

С творчеством Андрея Белого, по всей вероятности, были достаточно хорошо знакомы литовские писатели модернистских ориентаций, особенно те, кто до Первой мировой войны учился в высших учебных заведениях Москвы, Петербурга и других крупных культурных центров России. Поэт Казис Бинкис, один из лидеров авангардистской группировки «Кятури веяй» («Четыре ветра») в межвоенной Литве, вспоминал, как в одном из вильнюсских литературных кружков едва ли не до драки дошло из-за интерпретации стихотворения Андрея Белого, когда мнения собравшихся разделились поровну[2]. Андрей Белый был известен как «практик и теоретик символизма», его «Символизм» внимательно читался[3]. Личное знакомство с русским поэтом связывало Юргиса Балтрушайтиса с начала 1900-х; в квартире Балтрушайтиса в 1916 г. с Андреем Белым, Бальмонтом, Вяч. Ивановым познакомился молодой Балис Сруога, впоследствии известный драматург, поэт, прозаик, критик[4].

Особым эпизодом в отношении литовских писателей и публики к Андрею Белому стало его пребывание в Каунасе в 1921 г., затянувшееся на три недели. Оказавшись, при содействии выдавшего ему визу Балтрушайтиса, в последнюю неделю октября в Литве, Белый в ожидании германской визы прочитал 3, 4 и 6 ноября три лекции («Кризис сознания» и две о художественной форме) в помещении Литовского художественного общества, затем 15 ноября выступил в Городском театре с докладом о Льве Толстом, а на следующий день выехал в Берлин. Судя по современным откликам[5] и позднейшим воспоминаниям, большую часть которых собрал Томас Венцлова[6], на лекциях Андрея Белого присутствовали и общались с ним в Каунасе писатель и критик священник Ю. Тумас-Вайжгантас, поэт и критик Л. Гира и его жена Б. Гирене, поэты, драматурги и критики Б. Сруога и П. Вайчюнас, поэт Ф. Кирша, прозаик, переводчик и фельетонист Ю. Пронскус (Акласмате), поэт и начальник города Каунаса и Каунасского уезда П. Моркус, поэты-авангардисты К. Бинкис, С. Шемерис, Ю. Пятренас, а также Е.Л. Шкляр, А.И. Гидони; по одному из свидетельств, на торжественном ужине в честь Андрея Белого, состоявшемся в квартире Бинкиса, присутствовало около тридцати человек. В те же дни газета «Эхо», редактируемая бывшим «сатириконовцем» А.С. Буховым, среди читателей которой были и литовцы, явно с ведома автора поместила фрагмент из поэмы «Первое свидание» – «Крестов протянутая тень...» и стихотворение «Пробуждение» («Тянулись тяжелые годы...») (№ 269. 13 ноября).

Тогда же в литературном журнале «Скайтимай» («Чтения») под редакцией литературоведа, критика и прозаика В. Креве-Мицкявичюса была напечатана статья о поэзии в большевистской России, подписанная псевдонимом М. Кямшис и представляющая собой развернутое обсуждение, вслед за поэмами Блока «Двенадцать» и «Скифы», поэмы «Христос воскрес» Андрея Белого. Белый назывался здесь од-

ним из лучших стилистов среди русских символистов, «глубоким исследователем самой души стихов» и автором выдающегося своею оригинальностью и пластичностью романа «Петербург»[7]. В последовавшей в продолжение статье об основных идеях советской поэзии с цитатами из стихотворений Белого «Отчаянье» (1908), «Шут» (1911), «Родине» (1917) доказывалась закономерность его пути к «синтезу Христа и революции»[8]. Статьи написаны, по всей вероятности, совместно В. Креве-Мицкявичюсом и М. Баневичем (М.Ф. Подшибякиным)[9]. Позднее в статье Баневича-Подшибякина о новейшей русской поэзии, напечатанной в 1931 г. на русском языке в трудах гуманитарного факультета Каунасского университета Витаутаса Великого, Белый отнесен к тем поэтам-символистам, чье творчество принадлежит истории и не определяет современной поэзии; вместе с тем, по мнению автора статьи, он находился в «кругу современности» как прозаик, был «довольно продуктивным» в начале революционного периода и не был забыт как поэт, свидетельством чему служит переиздание в 1929 г. сборника «Пепел»[10].

В опубликованном в июле 1923 г. в газете «Эхо» очерке Шкляра «Литературный Берлин» Белый был причислен к наиболее выдающимся представителям «российской пишущей братии» в Германии, по сравнению с которым Маяковский – «звезда десятой величины»[11]. Проза Андрея Белого печаталась в журнале «Балтийский альманах», созданном по инициативе Шкляра; два первых номера вышли под его редакцией в Берлине, в декабре 1923 г. и январе 1924 г., затем выпуск был перенесен в Ригу, прервался и возобновился в 1928 г. в Каунасе. Журнал предназначался прежде всего для популяризации литературы балтийских стран, поэтому был хорошо известен литовскому литературному сообществу: в первых же номерах были опубликованы переводы поэзии и прозы Майрониса, А. Венуолиса, Ю. Янониса, В. Креве-Мицкявичюса и пространные перечни литовских писателей, чьи произведения намечались к публикации (в том числе К. Бинкиса, Ю. Савицкаса, Б. Сруоги, Ю. Тислявы), что позволяет с уверенностью предполагать их знакомство с вышедшими номерами. О том, что журнал в Литве был читаем, говорят и хранящиеся в библиотеке Вильнюсского университета переплетенные экземпляры с экслибрисом В. Биржишки, известного историка культуры и библиографа, а также отрицательный отклик в журнале «Кривуле» под редакцией К. Пуйды в номере, вышедшем в марте 1924 г. Аннотация, помещенная в рубрике «Книжные сокровища», которую вел под псевдонимом Л. Страйгис критик и публицист В. Бичюнас, повторяла, в частности, оценки Белого сменовеховской газетой «Накануне» как свадебного генерала, приглашенного в журнал со всяким хламом, отброшенным другими изданиями и собранным по редакционным корзинам[12]. Роль эта заключалась в том, что в первом номере были напечатаны очерки «Из африканских воспоминаний» («Arcadia», «У Сфинкса», «Экваториальная Африка»), вобравшие впечатления от путешествия по Северной Африке в начале 1911 г., а во втором – отрывок «Папа и мама. Из повести "Преступление Николая Летаева"».

Ни одно произведение Белого на литовский язык переведено не было, но в Литве его достаточно хорошо знали, а литовские периодические издания вместе с имевшими распространение в Литве газетами и журналами на русском языке время от времени напоминали о поэте и прозаике.

Белого как теоретика литературы и стиховеда в Литве помнили не только по лекциям 1921 г. Бинкис в статье 1927 г., утверждающей представление о поэтиче-

ском творчестве как работе, для которой необходимо владеть техникой, но не талантом, рекомендовал поэтам, среди прочего, «исследование русского четырехстопного ямба» Белого «и другие работы этого автора по вопросу ритма» (среди другой рекомендуемой литературы – работы по теории поэтического языка А.Н. Веселовского, А.А. Потебни, В.М. Жирмунского, «Мелодика стиха» Б.М. Эйхенбаума, «Как делать стихи» В.В. Маяковского, «Поэтика» Б.В. Томашевского, «Теория прозы» В.Б. Шкловского)[13].

Откликов на смерть Андрея Белого в литовской печати обнаружено два. Первый был опубликован в январском номере литовского ежемесячного литературного, научного и общественного журнала «Жидинис» («Очаг»), выходившего в Каунасе в 1924–1940 гг., сначала под редакцией писателя, критика, литературоведа В. Миколайтиса-Путинаса (до 1932 г.), затем философа С. Шалкаускиса (1932–1934), с 1935 г. – германиста и публициста И. Скрупскелиса, уже с 1933 г. занимавшего должность ответственного редактора при Шалкаускисе. Шалкаускис в 1905–1908 гг. учился на юридическом факультете в Московском университете, участвовал в деятельности Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева; окончив философский факультет во Фрибургском университете, написал докторскую диссертацию по философии Соловьева, позднее в своих работах по философии, эстетике, педагогике опирался, в частности, на Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, А.С. Хомякова, ссылался на Ф.М. Достоевского и цитировал Вяч. Иванова. Журнал под его редакцией не менял своей общей католической и демократической ориентации, противопоставленной клерикализму и радикальному национализму; такой же умеренной была линия журнала в области творчества, предполагавшая неприятие крайностей авангардизма и консервативного традиционализма. Журнал, между прочим, помещал статьи обосновавшегося в Каунасе в 1928 г. Л.П. Карсавина, переводы стихотворений К.Д. Бальмонта и статьи Вяч. Иванова о Юргисе Балтрушайтисе (из «Русской литературы XX века» под редакцией С.А. Венгерова), изложения статей Е.И. Замятина о современном русском театре (из журнала «Osteurора») и Я. Оверманса о большевистской литературе (из журнала «Stimmen der Zeit»), публиковал рецензии на литовские переводы отдельных произведений Н.В. Гоголя, С.Р. Минцлова, А.П. Чехова.

Андрей Белый

8 января в Москве умер русский писатель А. Белый. Он родился в 1880 г., сначала начал писать лирику, пребывая под влиянием Соловьева и символистов. В первых его стихотворениях, насыщенных мистицизмом, видно много родственного с Оскаром Уайльдом, с Ницше, с Метерлинком. Те его стихотворения были написаны малопонятным языком, тонули в каком-то неясном тумане. Поэтому они не скоро проникли в среду читателей, не могли очаровать более широкий их круг. Ближе к действительности он подошел в своем сборнике лирики «Пепел»[14].

С 1910 г. Андрей Белый больше отдался роману[15]. В этой области первым его произведением был «Серебряный голубь», в котором он касается религиозных проблем, мистицизма. Потом он написал едва ли не важнейшее свое произведение «Петербург»[16]. В его творчестве большое место надо уделить «Воспоминаниям о А. Блоке»[17]. В этих воспоминаниях автор весьма удачно освещает русскую литературную жизнь в период 1900–1910-х годов. В своем последнем романе «Москва» он

рассказывает историю знаменитого математика Коробкина, сделавшего гениальные открытия. Как и в других, так и в этом романе полным-полно революционеров, истеричных девиц, странных и извращенных существ. Здесь проходит вся Москва с ее представителями из научных, художественных, политических, народных слоев.

В его романах страсти людей, их интересы бесконечно преувеличены, раздуты, они словно карикатура, но не поверхностная карикатура, а связанная с сутью человека. И в его стиле полно всяческих экспериментов, которые опираются уже не на сам язык, а только на слова. Самый большой недостаток произведений А. Белого тот, что им недостает простоты, в них много чрезмерностей. Поэтому его творчество не есть что-то единое, но, как он сам признавался, только «попытка несовершенными средствами пересказать события», которые случились с ним или его персонажами.

Обладая необычайными дарованиями, Андрей Белый сейчас выглядит не столько тем, кто сам сотворил окончательные достижения, сколько тем, кто своими хорошими сторонами и недостатками был богатым источником, из которого черпали вдохновение многие молодые русские романисты. Из него можно вывести и путь русского футуризма. Поэтому его можно считать не столько творцом больших ценностей, сколько почти гениальным первопроходцем, пролагавшим путь другим.

Andrius Bielyj // Židinys. 1934. № 1 (109), sausis (январь). P. 77–78.

Второй некролог напечатан еженедельным иллюстрированным журналом «Науйойи Ромува» («Новая Ромува»; «ромува» — языческое святилище древних литовцев) в марте. Еженедельник выходил в Каунасе с 1931 г., в 1940 г. был перенесен в Вильнюс и вскоре закрыт советскими властями; в 1994 г. издание было возобновлено. Его инициатором и редактором в межвоенные годы был писатель, критик, эссеист Юозас Кялюотис, стремившийся сплотить молодое поколение литовских писателей и художников в своего рода неокатолическом модернистском активизме. К сотрудничеству были привлечены интеллектуалы старшего поколения (в том числе профессора С. Шалкаускис, Б. Сруога, драматург и философ Видунас (Вилюс Сторпоста), Л. Гира, интенсивно переписывавшийся с К.Д. Бальмонтом в 1928–1930 гг.) и наряду с ними молодые авторы. Одной из целей журнала Кялюотис считал культурную независимость, поэтому «Науйойи Ромува» выступала с критикой прорусской культурной ориентации. Это не мешало журналу обсуждать постановку М.А. Чеховым «Ревизора», публиковать пространные статьи М.В. Добужинского (в частности, об А.Н. Бенуа), печатать рецензии на литовские переводы романов Д.С. Мережковского и С.Р. Минцлова. Переводы фрагментов из «Бесов» и «Честного вора» Ф.М. Достоевского, рассказов Л.Н. Андреева и И.А. Бунина, стихотворений К.Д. Бальмонта, В.С. Соловьева («Милый друг, иль ты не видишь...»), Б.Л. Пастернака (отрывок из поэмы «Лейтенант Шмидт») печатались в еженедельнике наряду с переводами из П. Верлена и У. Уитмена, С. Георге и Р.М. Рильке, Р. Роллана и Т. Манна, К. Гамсуна и С. Пшибышевского, Ф. Мориака и Э.М. Ремарка.

Умер известный русский поэт

8 января с.г. в Москве умер крупный русский поэт и романист Андрей Белый. Его настоящее имя Борис Николаевич Бугаев. Он сын знаменитого проф. Бугаева,

имеющего много заслуг в математике. Андрей Бугаев родился в 1880 г. в Москве. В литературе он известен сборниками поэм («Золото в лазури» 1904 г.) и оригинальными композициями лирической прозы, которые он называет симфониями: «Первая симфония», 1902 г. (издана позднее); «Северная симфония», 1904 г.[18]; «Возврат» (третья симфония), 1904 г.[19]; «Снежная чаша страданий»[20] (четвертая симфония), 1908 г. В это время он подружился с выдающимся поэтом Александром Блоком[21] – память об этой дружбе неизгладимо запечатлена в русской литературе, – и Андрей Белый стал одним из вождей символистского движения, в котором он особенно проявил себя как глубокий критик, в 1910 и 1911 гг. дал три сборника критических сборников[22], позднее писал больше всего прозы, хотя его самая красивая поэма написана в 1921 г.[23] В последние годы своей жизни писал большой роман «Москва» и выпустил несколько книг своих мемуаров, из которых последняя «В начале века» вышла всего несколько месяцев тому назад[24].

Mirė žinomas Rusř poetas // Naujoji Romuva. 1934. № 9 (165), kovo 4 d. (4 марта). P. 213–214.

Оба некролога опубликованы без подписей; выяснение их авторства представляется затруднительным – среди сотрудников двух журналов немалый круг составляли владеющие русским языком и хорошо ориентировавшиеся в русской литературе. Некрологи не содержат каких-либо эксклюзивных сведений об Андрее Белом, которые были бы исключительным достоянием определенного лица или группы лиц либо почерпнуты из какого-то конкретного источника. Наоборот, неточности, в частности хронологические ошибки в заметке из еженедельника «Науйойи Ромува» при верном, в общих чертах, изложении последовательности изданий Андрея Белого, свидетельствуют о том, что автор не опирался на какие-либо достоверные очерки жизни и деятельности Андрея Белого, а полагался на свою собственную память. Материалы литовской печати представляют интерес нюансами оценок и различиями акцентов в моделируемой репутации Андрея Белого.

---

[1] Переводы с литовского выполнены автором статьи.

[2] *Binkis Kazys.* Raštai: septyni tomai. T. 5: Literatūros kritika. Publicistika / Sudarė, įvadą ir paaiškinimus parašė Adolfas Juršėnas. Vilnius: Lumen, 2004. P. 110.

[3] См.: Lietuvių literatūros kritika. I: 1547–1917. Vilnius: Vaga, 1971. P. 581–582.

[4] *Sruoga Balys.* Raštai: septyniolika tomų. T. 8: Liteartūros kritika, 1930–1947 / Parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė. Vilnius: Alma littera, 2002. P. 273.

[5] См.: *Шкляр Евгений.* «Кризис сознания» (Лекция Андрея Белого) // Эхо. 1921. № 264 (323). 8 ноября; *Шкляр Евгений.* Достоевский и Толстой (Лекции А. Белого и А. Гидони) // Эхо. 1921. № 274 (333). 19 ноября; *Šlamas L.* Andrejo Belo paskaitos // Sekmoji diena. 1921. № 34, spalių 23 d. P. 8.

[6] *Venclova Tomas.* Andrejus Belas Kaune // Nemunas. 1971. № 12. P. 22; *Venclova Tomas.* Dar kartą apie A. Belą Lietuvoje // Literatūra ir menas. 1972. № 5, gegužės 13 d. P. 5; *Венцлова Томас.* Андрей Белый в Каунасе // Вильнюс. 1990. № 11 (97). С. 143–146.

[7] *Kemšis M.* Bolševikų dienų poezija Rusuose // Skaitymai. 1921. Kn. 11. P. 95–114.

[8] *Kemšis M.* Sovietų poezijos pamatinės idėjos // Skaitymai. 1921. Kn. 12. P. 91–104.

[9] См. о нем: *Ковтун Асия.* Миколас Банявичюс о русской литературе // Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике. Т. VII. Вильнюс: Русские творческие ресурсы Балтии; Žvaigždžių miestas, 2002. С. 190–199. О принадлежности псевдонима и авторстве этих и других статей в «Скайтимай» см.: *Žukas V.* Dėl pseudonimo M. Kemšis // Literatūra ir kalba. Kn. XVII: Vincas Krėvė-Mickevičius. Vilnius: Vaga, 1981. P. 546–551; *Gudaitis Leonas.* Laiko balsai: Lietuvių literatūrinė spauda 1918–1923 metais. Vilnius: Vaga, 1985. P. 246–255.

[10] *Кемшис М.* Новейшая русская поэзия // Darbai ir dienos. Literatūros skyriaus žurnalas. Humanitarinių Mokslų Fakulteto leidinys (Acta et commentationes ordine philologorum V. M. Universitatis). Kaunas, 1931. II. P. 221–222.

[11] *Шкляр Евгений.* Литературный Берлин (Заметки и впечатления) // Эхо. 1923. № 197, 200 (873, 876). 26 и 29 июля.

[12] *Straigis L. [Bičiūnas V.].* Knygų lobis: «Baltijskij Almanach». № 1 // Krivulė. 1924. № 3. P. 29.

[13] *[Binkis K.].* Vaikų literatūra suaugusiems. Iš «Keturių vėjų» kurijos sekretariato // Keturi vėjai. 1927. № 3. P. 9–12. См. переиздание: *Binkis Kazys.* Raštai: septyni tomai. T. 5: Literatūros kritika. Publicistika. Sudarė, įvadą ir paaiškinimus parašė Adolfas Juršėnas. Vilnius: Lumen, 2004. P. 11–18.

[14] К стихотворениям, написанным малопонятным языком, отнесены, очевидно, прежде всего стихи сборника «Золото в лазури» (М., 1904); книга стихов «Пепел» вышла в 1909 г.

[15] Хронологический отсчет ведется с отдельного издания романа «Серебряный голубь» (М., 1910), публиковавшегося в «Весах» в 1909 г.

[16] В оригинале название романа (1916, 1922) дано в форме «Petrapilis», которая применялась и для передачи переименования «Петроград».

[17] В «Записках мечтателей» (Пг., 1922. № 6) был опубликован краткий вариант мемуаров под заглавием «Воспоминания об Александре Александровиче Блоке», в «Эпопее» (1922–1923. № 1–4) – расширенный под заглавием «Воспоминания о Блоке».

[18] Здесь, видимо, произошла контаминация двух первых «Симфоний»: первой вышла «Симфония (2-я, драматическая)» (М., 1902), вслед за ней – «Северная симфония (1-я, героическая)» (М., 1904).

[19] Книга «Возврат. III симфония» вышла в конце 1904 г., хотя на титуле издания стоит 1905.

[20] Имеется в виду «Кубок метелей» (Перевод названия четвертой симфонии на литовский язык – «Sniego kančių taurė» – отсылает к христианскому образу, восходящему к Новому Завету (Мк. 10: 38–39; 14: 36).

[21] В действительности начало дружбы с Блоком следовало бы отнести к предшествующей эпохе и вести отсчет если не с переписки, начавшейся в январе 1903 г., то с личного знакомства, состоявшегося в январе 1904 г.; на 1907–1909 гг., напротив, приходится конфликт поэтов.

[22] Речь идет о книгах «Символизм» (М., 1910), «Луг зеленый» (М., 1910) и «Арабески» (М., 1911).

[23] Имеется в виду поэма «Первое свидание».

[24] В ноябре 1933 г.

ПАВЕЛ ИРТЕЛЬ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Таллинский русский голос.
1934. 20 января.

Умер Борис Николаевич Бугаев. Это был замечательнейший поэт, столь известный и не признанный, оригинальный и не понятый. Исключительно продуктивный – уже за первые 10 лет 10 томов. По рождению и университету – математик, по природе – музыкант и философ, в литературе – неспокойнейший чудак и выдумщик, по тайне художественного слова – преданный до гроба, рыцарь. Сочетать религиозный склад с пониманием искусства и с точным мышлением, выразить это в жизни, создать цельное гармоническое мировоззрение – вот синтез, которого добивался Андрей Белый, который он определил как символизм. От хаоса переживаний – к ладу в творчестве, вот задачи его. Белый искусству придавал смысл только религиозный, в центр стихосложения ставил требования мелодии[1] (ввел интонационный рисунок фразы), в звучаньи слов искал первобытные божественные значенья[2].

Перу А. Белого принадлежат обширные исследования о русском 4-стопном ямбе, о морфологии ритма русской лирики (первые попытки научной обработки темы)[3]. Нити протянуты от творчества Андрея Белого к творчеству Александра Блока. Оба – «дети страшных лет России»[4]. Два Гамлета – «у очага страшной заразы – иронии»[5]. Как, впрочем, и полагается русским, по Гоголю, Некрасову, Чехову. На реализм Блока в тон отвечает идеализм Белого, исходящий в математическом увлечении в фантастику, в неприемлемое – тут срывы, литературные неудачи Белого. Блок высотами стиха манил будущего поэта-кустаря испытать силы. Белый алгебраическим разложением «поэзии» открывал новые пути формального совершенства.

Но главное: «Мать Россия! Тебе мои песни»[6], исповедовал Б.Н. Бугаев.

Послесловие

Павел Михайлович Иртель (наст. фамилия: Иртель фон Бренндорф), русский поэт[i] и литературный деятель[ii], родился в 1896 г. в Петербурге.

Детство и юность провел в Москве и Симбирске, закончил Симбирский кадетский корпус и в 1913 г. поступил в Михайловское артиллерийское училище в

---

[i] Его единственный поэтический сб. «Стихи» вышел в Париже в 1981 г.

[ii] Подробнее см.: *Исаков С.Г.* Павел Михайлович Иртель // Русская литературная эмиграция и русские писатели Эстонии 1918–1940 гг. Антология / Под ред. проф. С.Г. Исакова. Таллинн, 2002. С. 155–156.

Петербурге. Во время Первой мировой войны служил в тяжелой гвардейской артиллерии. С начала Гражданской войны воевал в Белой армии на юге России. В 1920–1930-х живет в Эстонии. К литературной деятельности обращается с середины 1920-х. В середине 1930-х Иртель – одна из главных фигур в русской литературной жизни Эстонии. С 1932 г. – член редколлегии сборников «Новь», редактирует пятый, шестой, седьмой и восьмой выпуски сборника. Публикует в них стихи, рассказы, очерки, рецензии. Сотрудничает также в газете «Таллинский русский голос» (выходила в 1932–1934 гг.). В 1933–1935 гг. Иртель становится лидером Ревельского цеха поэтов – основного русского литературного объединения в Эстонии того времени. В 1940 г. уезжает в Германию, затем его мобилизуют в немецкую армию. По окончании войны живет в Западной Германии. Умер в Геттингене в 1979 г.

Некролог публикуется по: Таллинский русский голос. 1934. 20 января. № 63. С. 4 (подпись «П.И.»). Работа выполнена при поддержке гранта TFLGR0469.

---

[1] Подразумевается предисловие Андрея Белого «Будем искать мелодии» к его поэтическому сборнику «После разлуки: Берлинский песенник» (Берлин; Пб., 1922).

[2] Речь идет, по-видимому, об основных положениях книги Белого «Глоссолалия» (Берлин, 1922). Ср., напр.: «Звуки – древние жесты в тысячелетиях смысла; в тысячелетиях моего грядущего бытия пропоет мне космической мыслью рука. Жесты – юные звуки еще не сложившихся мыслей, заложенных в теле моем <...>» (*Андрей Белый*. Глоссолалия. Томск, 1994. С. 16–17 – глава 4).

[3] Имеются в виду стиховедческие работы Белого из сб. «Символизм» (М., 1910), в частности: «Опыт характеристики русского четырехстопного ямба» и «Сравнительная морфология ритма русских лириков в ямбическом диметре».

[4] Цитируется третья строка первой строфы стихотворения А. Блока «Рожденные в года глухие...» (1914).

[5] Неточная цитата из статьи Блока «Ирония» (1906); у Блока: «все мы, современные поэты, – у очага страшной заразы. Все мы пропитаны провокаторской иронией Гейне».

[6] Цитируется первая строка четвертой строфы стихотворения Белого «Из окна вагона» (1908), включенного в поэтический сборник «Пепел» (СПб., 1909).

Подготовка текста, комментарии и послесловие Леа Пильд (Эстония)

ЮРИЙ ИВАСК

БЕЛЫЙ
(1880–1934)

Новь (Таллин).
1934. № 6.

Белый – большое событие в русской литературе. Теперь он явно «не созвучен», но его появление и его опыт были необходимы.

I

В поэзии Белого – «ультрамузыкальность» и «антисловесность», в этом смысле он скорее ближе к Бальмонту, чем к Брюсову. Белый, более чем кто-либо из символистов, стремился к напевности в поэзии. В сборнике «После России»[1] Белый пытался превратить стих в песню, и для этого выдвинул особую теорию – мелодизма[2], но проглядел те объективные мелодические элементы, которые имеются и в непесенной поэзии и обнаруживаются в музыкально-выдыхательных ударениях, слышимых в т.н. эмфазах, т.е. восклицательных и вопросительных речениях, а также вводных словах и предложениях. В поэзии Белого музыка съедает слово, между тем в стихах слово должно «делать» музыку.

Белый «омузыкаливал» поэзию и стремился «омузыкалить» и прозу (начиная с «Симфоний») – «инструментовкой» и назойливой ритмичностью.

Но главная задача Белого-прозаика – полная переработка имеющихся речевых материалов – из себя; это его сближает с Гоголем. В своих стилизациях Белый доходил до какой-то последней черты, и это было очень необходимо. Он перебрал все возможности магической стилизованной прозы.

Беловские персонажи – марионетки; такие же ходячие куклы и у Гоголя. Но страшный гоголевский гений (подметили Розанов и Мережковский)[3] создавал почти ничем от жизни не отличимую пародию на жизнь – иллюзию, может быть, более «жизненную», чем сама жизнь. У Белого этого дара «черной магии» – не было. Белый – именно «белый маг», и хоть всю жизнь возился с чертями – черту душу не продал. Белый не сумел оживить свои бредовые призраки. Но у него имелся известный запас «живой воды», которой он кропил мертвые глыбы своей – из себя стилизованной прозы, и тогда, на миг, как будто оживал его призрачный театр марионеток. Беловская «живая вода» – его фантастический гротескный юмор, отдаленно малороссийский, и, по его словам, унаследованный им от отца[4].

«– Среди камышей сидел, заседал, святой простачок Ава с блаженным морщинистым лицом...

Добрый Авушка закидывал длинные удочки, ловя влажную благодать...

Хилым голоском славил камышевую страну...» («Северная симфония». 1900)[5].

А в поэзии (— знаменитые в свое время стихи!) —

Голосил низким басом:
В небеса запустил ананасом... (1904)[6].

Гротескное — особенно удачно в автобиографической поэме «Первое свидание» (1921).

Белый — большой мастер в искусстве волшебно-забавного. Белый — повлиял на многих, например, на нестерпимо фиглярничающего Пильняка, но имеются и более интересные ученики, например, Артем Веселый.

Белый-прозаик — поучителен, хотя вся его художественная проза воспринимается, как — неудача гениального человека. Удачнее (но менее поучительна для писателя) — мемуарная проза Белого, например, его «Воспоминания о Блоке», в которых «главный герой» очерчен очень точно, как-то трезво-честно; это, все-таки, лучший блоковский портрет.

Кстати. — В XX веке — мемуары, заметки, вольные рассуждения, вообще — «около литературы», весче и значительнее самой литературы — так от Розанова до «комментарий» Адамовича[7]. Знаменательны и Временники, Сны и записи «просто так» Ремизова, смешение художественной выдумки с фактической действительностью[8], и, может быть, самое лучшее — книга Бунина — «Божье Древо»[9], — сыроватые, еще не обсохшие материалы этого «писателя для писателей». Старые формы обветшали, «стилизации» давно набили оскомину. Чтобы дать хорошую прозу, нужно забыть о художественной прозе и писать *просто прозу*. Настоящему художнику теперь трудно, но какое раздолье для не-художников, не-выдумщиков, острых и вдумчивых наблюдателей, вроде Герцена, неудачного романиста, или того же Розанова, не понимавшего, как пишут беллетристику. Будущий историк русской литературы напишет: XIX век — «золотой век» русской литературы, а в первые 3—(4?) десятилетия XX века наибольший интерес представляют около-литературные писания... Гениальным представителем этого жанра был Розанов... а затем упомянет и Воронского[10] и авторов вольных рассуждений в «Числах»[11] и многое другое. Итак — около-литературная проза уже существует и даже процветает.

II

Белый, хочется сказать, гениальное явление. Но явление — какого человека?

В каждом человеке нечто неразложимое, неизменное, единая потенция; у каждого — есть общий знаменатель всех разнообразнейших числителей своей жизни. Иван Иванович в 20 лет не похож на Ивана Ивановича в 40 лет, но сделайте усилие: это все тот же Иван Иванович, хотя Пруст, например, приходит к обратному выводу.

Белый — человек, но человека найти в нем не так легко.

Сознавал ли Белый свою — какую-то органическую безответственность, разымчивость?

В «Воспоминаниях о Блоке» он очень метко отождествил себя с Репетиловым[12], а вот характернейшие строчки из «Первого свидания»:

— Из ног случайного повесы
Тянусь — безвесый, никакой:

Меня выращивают бесы
Невыразимою тоской.

Но — не есть ли «никакой» Белый — именно человек Белый, ибо «никакое», «безвесое» в нем — его трагедия, а трагическое — всегда человеческое. Он все стремился воплотить, но сам был — недовоплощенный; отсюда его постоянная суета, взвихренность и неизбежное — лбом об стену.

Белого — «уличали» и еще будут уличать, и сам он себя уличал, разоблачал, и: все, промахиваясь и промахиваясь, тянулся к полной, к последней реальности; и велик был его упор. Сколько потрудился он над воплощением целых легионов нерожденных душ и всеобъемлющих замыслов, — над «томами ненаписанных книг» (его собственное выражение).

Страшная и мучительная тяга к воплощению — в его последних романах (Московская эпопея[13]). —

«И ломая историю пятками, лупит из будущего, к первым мигам сознанья, — Мандро, —

— Эдуард» (— международный авантюрист)[14].

«А он (сумасшедший профессор Коробкин. — *Ю.И.*) повесть себя самого же себе самому, — пересказывал:

— Стал человеком.

И вздернули головы.

Звезды шатались лучами» (Роман «Маски»)[15].

Белый — недовоплотил, но — терзаемый бесами, стремился к настоящему, «белому» воплощению.

Послесловие

Юрий Павлович Иваск[i], русский поэт, эссеист, литературовед, родился 14 сентября 1907 г. в Москве. Отец его — фабрикант эстонско-немецкого происхождения. Мать — русская из купеческого рода. В 1920 г. семья Иваск вернулась на историческую родину в Эстонию. Ю. Иваск учился сначала в русской городской гимназии в Тарту, потом в Таллине, а в 1926 г. поступил на юридический факультет Тартуского университета. В это время он особенно увлекался поэзией русского символизма (З. Гиппиус, В. Иванов, Андрей Белый), философской публицистикой В. Розанова и Н. Бердяева и трудами русских «формалистов». В 1930 г. Ю. Иваск вступает в эпистолярный контакт с А. Ремизовым, а в 1932 г. оканчивает университет. За участие в нелегальном кружке по изучению жизни в СССР Иваск подвергается аресту и высылке в Печоры (тогда принадлежавшие Эстонии). Здесь он поступает на службу в налоговое управление, участвуя одновременно (во время поездок в Таллин) в Ревельском цехе поэтов. В Печорах Иваск создает первый

[i] Подробнее об Иваске см.: *Исаков С.Г.* Юрий Павлович Иваск // Исаков С.Г. Русские в Эстонии. 1918–1940. Историко-культурные очерки. Тарту, 1996. С. 316–319. См. также: *Красавченко Т.Н.* Иваск Юрий Павлович // Литературная энциклопедия зарубежья. 1918–1949. Писатели русского зарубежья. М., 1997. С. 194–196; *Пахмус Т.* Об авторе «Homo ludens» // Иваск Ю. Играющий человек: Поэма. Париж; Нью-Йорк, 1988; Проект «Акмеизм» / Вступит. ст., подгот. текста и коммент. Н.А. Богомолова // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 140–180).

свой поэтический сборник «Северный берег» (Варшава, 1938). Во время Второй мировой войны служил в немецкой армии. В 1944 г. Иваск эмигрирует на Запад; в 1946–1949 гг. изучает славистику в Гамбургском университете, с 1949 г. живет в США. В 1954 г. Иваск получает степень доктора филологии в Гарварде и с этого времени начинает преподавать русскую литературу в некоторых университетах Америки. Начиная с 1969 г. Иваск – профессор Массачусетского университета в Амхерсте. В Америке Иваск издает четыре сборника стихов («Царская осень», 1953; «Хвала», 1967; «Золушка», 1970; «Завоевание Мексики», 1984); подготавливает к печати антологию русской поэзии за рубежом «На Западе» и выпускает в Нью-Йорке журнал «Опыты» (1955–1958). Автор очерков о русской поэзии – «Похвала русской поэзии» (Мосты. 1950. № 5; Новый журнал. 1983. № 150; 1984. № 154, 156; 1985. № 158, 159, 161; 1986. № 162, 165). Ю. Иваск умер в Амхерсте 13 февраля 1986 г.

* * *

В некрологе Ю. Иваска Белому можно проследить легкую полемическую направленност в первую очередь в адрес двух авторов очерков и статей о Белом – Зинаиды Гиппиус и Владислава Ходасевича. Несогласие с предшественниками проявляется на уровне цитатных вкраплений в текст. Так, например, вторая часть статьи отсылает к мемуарному очерку Гиппиус о В.В. Розанове «Задумчивый странник» (ср. у Иваска: «Белый, хочется сказать, гениальное явление. Но явление – какого человека?»; – и у Гиппиус: «Но вот главное: потому что он был до такой степени не в ряд других людей, до такой степени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно назвать “*явлением*” нежели “человеком”»)[i] и заставляет читателя вспомнить многочисленные пореволюционные высказывания Гиппиус по поводу оставшихся в большевистской России литераторов, не принадлежащих уже, с ее точки зрения, к категории «людей» (ср., напр.: «Самый яркий представитель этого нечеловечества – Вас. Розанов. Он стар, болен, а будь он помоложе – не сомневаюсь, первым был бы “октябристом” <...>. Ал. Блок чувствует с ним родственную связь <...>»[ii]; ср. также: «Бедный А. Белый, под аршинными буквами “Вся власть Советам” страстно изнемогает: “Россия, Россия... Стихия, стихия... безумствуй, сжигая меня!..”»)[iii]. Иваск, наоборот, подчеркивает именно «человеческую» суть Андрея Белого.

В конце размышлений о творческих свершениях писателя Иваск, по-видимому, апеллирует к статье Вл. Ходасевича «О символизме» (впервые – «Вести», 1928). Ср. у Иваска: «Белый – недовоплотил, но – терзаемый бесами, стремился к настоящему, “белому” воплощению»; у Ходасевича: «<...> в писаниях самих символистов символизм недовоплощен»[iv]. «Недовоплощеность» символизма, по Ходасевичу, проявилась в излишнем внимании символистских литераторов к жизни и биографии в ущерб творчеству. Так, оценивая вторую часть мемуарной трилогии Белого «Начало века»[v], Ходасевич ставит ему в укор излишнюю со-

[i] *Гиппиус З.* Живые лица. Л., 1991. С. 108.

[ii] «Люди и нелюди»: Из публицистики З.Н. Гиппиус первых послеоктябрьских месяцев / Предисл., публ. и прим. А.В. Лаврова // Литературное обозрение. 1992. № 1. С. 56.

[iii] Там же. С. 62.

[iv] *Ходасевич В.* Собр.соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 175.

[v] Там же. С. 324–325.

средоточенность на собственном «я», отказ от создания «истории символизма». Иваск акцентирует сложность самого процесса «воплощения» и высокий смысл его конечной цели.

Некролог публикуется по: Новь (Таллин). 1934. № 6. С. 57–60. Работа выполнена при поддержке гранта TFLGR0469.

---

[1] По-видимому, подразумевается книга стихов «После разлуки: Берлинский песенник» (Пб.; Берлин, 1922).

[2] Подразумеваются следующие слова Белого из предисловия «Будем искать мелодии» к сборнику «После разлуки»: «<...> *мелодизм* – вот нужная ныне и пока отсутствующая школа среди градации школ; текст музыки, песня, имеет свои правила, не совпадающие с правилами разделения стиха на строчки, строфы и, наоборот, подчиняющие образы, ритмы и звуки мелодическим, интонационным задачам; – *мелодизм* – школа в поэзии, которая хотела бы отстранить излишние крайности и вычуры образов, звуков и ритмов, не координированных вокруг *песенной души лирики* – мелодии <...>» (*Андрей Белый.* После разлуки: Берлинский песенник. С. 10).

[3] Вероятно, имеются в виду статья В.В. Розанова «О Гоголе» (впервые под заглавием «Несколько слов о Гоголе» – в газете «Московские ведомости» (1891. 15 февр.); под тем же названием в 1-м и 2-м изд. книги Розанова «Легенда о Великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского». СПб., 1894; СПб., 1902) и работа о Гоголе Д.С. Мережковского «Судьба Гоголя. Творчество, жизнь и религия». (Новый путь. 1903. № 1–3); отд. изд. – «Гоголь и черт» (М., 1906); 2-е изд. «Гоголь. Творчество, жизнь и религия» (СПб., 1909).

[4] О склонности отца к каламбурам Белый пишет в первой главе книги «На рубеже двух столетий», однако, вопреки мнению Иваска, «юмор» Н.В. Бугаева не связывается здесь с его «малороссийскими» корнями. Ср., напр.: «Стиль каламбуров – Лесков, доведенный до бреда, до... декадентства; иными из них я воспользовался, как художник, ввернув их в “Симфонии” и в “Петербург”» (*НРДС 1989.* С. 67).

[5] Цитируется «Северная симфония (1-я, героическая)», написанная в 1900 г. и впервые опубликованная в Москве (издательство «Скорпион») в 1904 г.

[6] Цитируется четвертая строфа стихотворения Белого «На горах» (1903) из сборника его стихотворений и лирических отрывков в прозе «Золото в лазури» (М., 1904; раздел «Образы»).

[7] Подразумеваются прозаические сочинения В.В. Розанова («Опавшие листья»; отд. изд. впервые – СПб., 1912; «Уединенное»; впервые – СПб., 1913 и др.) и Г.В. Адамовича («Комментарии»; в первой половине 1930-х публиковались в парижском журнале «Числа»; отд. изд. – Вашингтон, 1967), написанные в жанре «фрагмента».

[8] А.М. Ремизов на протяжении почти всей своей жизни вел дневники, записывая в них и свои сны, перерабатывал их и включал в состав собственных художественных произведений. Так, дневники 1905–1906 гг. включены в книгу «Кукха» (1923), а дневник 1917–1923 гг. – в книгу «Взвихренная Русь» (1927).

[9] Имеется в виду книга прозы И.А. Бунина «Божье древо» (Париж, 1931).

[10] Вероятно, подразумеваются следующие издания книг А.К. Воронского: Искусство и жизнь. М.; Пг., 1924; За живой и мертвой водой. Воспоминания. М., 1927; Литературные портреты. В 2 т. М., 1928–1929.

[11] «Числа» – русский эмигрантский журнал, выходил в Париже с февраля 1930 г. по июнь 1934 г. Вероятно, имеются в виду публикации в журнале Н. Оцупа, Б. Поплавского, Г. Ландау и др., созданные в жанре «фрагментарной прозы».

[12] Вероятно, имеется в виду отрывок из второй главы: «<...> был тут – Манилов; “грифята” старалися быть гюисмансистами; С.Л. Кобылинский, конечно же на воскресенья свалился со всеми своими манерами и культом Лотце из доброго старого времени; был Репетилов представлен, но... – Nomina sunt odiosa!» (*О Блоке 1997*. С. 74).

[13] Подразумеваются две части романа Андрея Белого «Москва» (Московский чудак. М., 1926; Москва под ударом. М., 1926) и роман «Маски» (М., 1932).

[14] См. современное издание романа «Маски»: *Андрей Белый.* Москва / Сост., вступит. ст. С.И. Тиминой. М., 1989. С. 722 (глава 10 «В разрыв», подглавка «Из золотого стекла»).

[15] Там же. С. 663 (глава 7 «Сердца волнует», подглавка «Вогнутые бесконечности»). Забавно, что слова «Стал человеком» относятся не к эволюции профессора и вообще не к профессору, а к его умершему псу Томочке.

Подготовка текста, комментарии и послесловие Леа Пильд (Эстония)

ЙОХАННЕС СЕМПЕР

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
(1880–1934)

Looming (Тарту).
1934. № 3.

Голсуорси[1], Мур[2], Георге[3], Вассерман[4], Бар[5], Вильде[6], Энно[7] – одна за другой гаснут литературные звезды. Недавно к ушедшим присоединилась одна из своеобразнейших и крупнейших писательских фигур России – Андрей Белый[8].

Русский символизм, к младшему поколению которого принадлежал названный автор, давно пережил свой закат. Кто же остался? Только Бальмонт со своими безликими отзвуками прошлого и подавшийся профессорствовать куда-то в Италию В. Иванов.

Андрей Белый (точнее – Борис Бугаев) родился в Москве в семье профессора математики. Однако строгая логика цифр не смогла закристаллизовать его душу; ни одно мировоззрение, в том числе им самим выстроенное, ни одна догма, в том числе принудительно предписанная, не смогли укротить его вечно бурлящий дух. Какая-то двойственность сопровождает его по жизни. Уже в гимназии он интересуется позитивистским знанием, читает Дарвина, Спенсера, Милля[9], в то же время с азартом поглощает[10] мудрость йогов, увлекается оккультизмом, исследует буддизм[11]. Вместе с тем у него зарождается интерес к литературе, в которой как раз тон задают Мережковский, Брюсов, Бальмонт.

В университете Белый изучает естествознание, специализируясь по зоологии беспозвоночных[12], – не то чтобы самая неподходящая сфера для будущего символиста. С естествознанием за плечами Белый начинает изучать филологию. Но литературные кружки («Скорпион»[13]) уже поглощают его интересы и предпочтения, уже зреет самобытный поэт-творец. Символистский журнал «Весы» на несколько лет занимает своими заданиями молодого стихотворца и критика[14]. В 1910 г. Белый уезжает в заграничное путешествие – в Италию, Египет, Палестину. Позже происходит ставшая для него решающей встреча с главой антропософов Р. Штейнером[15]. Вместе со своей женой[16] он всей душой отдается таинственной[17] практике «мудрости», оставаясь в Дорнахе с другими иностранцами, которые восхищаются там Штейнером и строят под его руководством знаменитый храм «Гетеанум». В середине войны, в 1916 г. Белый возвращается из Швейцарии в Россию. Здесь он переживает революцию, и недавний антропософ становится приветствующим революцию «скифом» (вместе с Блоком, Ивановым-Разумником, Есениным, Клюевым и другими). В дни большевистской революции его со всеми его умениями впрягают в тьму-тьмущую работы[18], от которой он смог освободиться наконец для заграничной поездки в Берлин[19]. Последние десять лет он живет в России,

работая там как всегда лихорадочно, но все-таки оставаясь в тени, вдали от писателей-«передовиков».

* * *

При перелистывании ранних поэтических сборников Белого («Золото в лазури», «Пепел», «Урна») в глаза бросается символика стихий и эстетика драгоценных камней, которые должны быть знакомы нам по собственной лирике былой эпохи. Солнце, эфир, лазурь, заря, небо, золото, серебро, вино, рубин, сапфир, изумруд, жемчуг, шелк, бархат, пламя – все это становится бута- и метафорикой. А затем врывается струя холода, зимы, метель возбуждает мысли и чувства, грезится снежная дева. Однако в символике Белого метель и пламя – не противопоставленные элементы[20]. Также было бы бессмысленно подходить к его лирике с термометром. Но зато у пламени и метельного вихря один *жест*. Ведь первый признак и основная ценность поэтического искусства Белого – и есть жест. Сознание в стихотворных строках перекручивается, ткань смыслов рвется в клочья и рассеивается в воздухе[21]. Небывалую ранее смелость и размах приобретает словесное искусство. Белому совершенно чужд неподвижный «лес символов» Бодлера[22]: его собственный лес образов и соответствий горит, ветви выворачиваются под порывами ветра, вихри свистят в вершинах.

А вот другая черта: временами в его творчество проникает проселочная удаль, простонародная речь, фраза движется в рубахе навыпуск и в шапке, разудало надвинутой набекрень[23] (поэма «Деревня»[24], «Камаринская»[25] и т.д.). Эта русскость вместе с редкой пластичностью языка с годами растет, и чем дальше, тем более непереводимым становится Белый.

Если стихотворения его первых, упомянутых выше сборников в большинстве своем беспозвоночные и моллюскообразные, остаются в памяти неразличимой массой, некоей атмосферой мистических ожиданий, то его поэмы, как вполне бытописательные, так и автобиографические («Христос воскрес», по настроению близкая известным блоковским «Двенадцати»[26], но независимо возникшая в это же время; «Первое свидание» и др.), по своему внутреннему напряжению и выражению оказываются на очень высоком уровне. Даже если бы мы смогли признать, что по своему складу они «интеллектуальны», то суть этого интеллекта – какая угодно, только не холодная и статичная. Ведь мысль Белого вьюжно-изменчивая, а не застояло-загустелая[27]. В глубине своей души А. Белый динамичен и революционен, окончательно его не удовлетворяет ни одна устоявшаяся и освященная авторитетом форма или формула. Застывшим литературным жанрам и затертым затасканным поэтическим размерам дает он новую жизнь. Благовоспитанно шагающий стих он, не краснея, заставляет спотыкаться, а наглухо застегнутую прозаическую фразу разрушает полностью[28]. С радостью устраивает беспорядок и в ячейках стихотворных жанров. На нить поэзии нанизывает самые что ни на есть прозаизмы, тогда как прозу заставляет, в свою очередь, петь[29]. В поэтическом искусстве он ставит опыты с архитектоническими музыкальными приемами: так вот и рождаются его «симфонии».

Их четыре. Первая носит название «Северная симфония» (1904). На лесной поляне в мраморной башне, отдельно от своего народа, живут король и королева. Королевна[30] спускается к людям[31], чтобы победить мрак. Она побеждает, но и

сама погибает. Неопределенное содержание разделено на математические отрезки предложений, которые все пронумерованы, как в Библии. Отдельные фразы[32] повторяются во всем произведении, словно музыкальные мотивы.

И вторая симфония, «драматическая», построена на тех же приемах. Это сатира, направленная в основном против московских мистиков, которые со своими апокалиптическими ожиданиями «зари» были в большой моде в начале этого века. Читаем:

«2. В каждом квартале жило по мистику; это было известно квартальному.

3. Все они считались с авторитетом золотобородого аскета, готовящегося в деревне сказать свое слово.

4. Один из них был специалист по Апокалипсису. Он отправился на север Франции наводить справки о возможности появления грядущего зверя.

5. Другой изучал мистическую дымку, сгустившуюся над миром.

6. Третий ехал летом на кумыс; он старался поставить вопрос о воскресении мертвых на практическую почву.

7. Четвертый ездил по монастырям интервьюировать старцев»[33].

Когда все уже готовы к апокалиптическим событиям, московским мистикам внезапно приходит сообщение о том, что у Зверя, которого воспитали на севере Франции и который оказался пятилетним карапузом, случилось желудочное расстройство[34], а затем он и вовсе испустил дух, услыхав о своем страшном назначении перед вечностью.

Теперь, позднее, это все кажется насмешкой Кришнамурти[35].

Третья симфония, «Возврат», построена в двух планах: первая часть произведения носит мистико-сказочный облик, действие второй[36] происходит в реальной Москве. Между обеими частями есть, однако, определенные соответствия: «ребенок» из первой части книги оказывается химиком-магистрантом во второй части, друг «ребенка» – крабб – оказывается физиком и т.д. В этом можно почувствовать отзвуки рассказов Э.Т.А. Гофмана[37].

Приемы построения музыкальных произведений заметнее всего проступают в четвертой симфонии «Кубок метелей». Задолго до «Улисса» Дж. Джойса[38] технику мелькания свободных мотивов культивировал Белый[39]. Лейтмотивы иногда приобретают вид почти формулы, которая каждый раз наполняется новым содержанием. Пример. Главный герой спрашивает у распятия, на которое опирается: «Кто может Тебя снять со креста?» Распятый в ответ: «Ну конечно, никто!» Позже в окне вздыхают: «Кто может заснежить все?» Вьюга в ответ: «Ну конечно, я!» Метель – в свою очередь: «Кто убежит от меня? Нет, никто!» Пес, виляя хвостом: «Кто накормит меня? Нет, никто!»[40] и т.д.

* * *

Все лучшее Белый отдал своим романам. Первый из них («Серебряный голубь», 1910) вводит нас в круг идей, давно интересовавших писателя: Восток или Запад? Проблема оформляется серьезно, без попыток изменить избранной форме, в гоголевской стилистической традиции[41]. Студент Дарьяльский, наполненный западной философией и со склонностью к мистицизму, едет на лето в деревню, где сталкивается с «серебряными голубями» – религиозной сектой, устраивающей оргии за занавешенными окнами. Собственные низменные инстинкты затягивают его в

сети безграмотного религиозного безумия и толкают в объятия рябой, но сладострастной столярихи — своеобразной мадонны «серебряных голубей». Все больше погрязая, Дарьяльский наконец пытается освободиться от своего кошмара, вернуться к прежней жизни, но «голуби» убивают его. Восток удушает Запад, темная бездна поглощает ясный разум.

Если этот первый роман написан со сдержанной энергией и чувством меры, то следующий, «Петербург» (1912[42]), с его свободным бегом мыслей, хмельными фразами, нервозностью, раздробленной реальностью, вспышками гениальности в умении художественно оформить вызывает прямо-таки горячечное возбуждение. Здесь и атмосфера 1905 г., и теософия, и насмешка, и фантастика, и сюжетные хитросплетения, и трагизм с гротеском. Местами персонажи предстают[43] ужасными фантомами в какой-то пустоте. В произведении господствует мерзковатое вьюжное настроение, бесцельная гонка. Все слои общества кружатся в странном танце судьбы: начиная с сенатора Аблеухова и вплоть до последнего террориста и провокатора. На долю сенаторского сына выпадает исполнение террористического акта — над собственным отцом[44]. Бомба взрывается в соседней комнате, никого не убив физически, но зато уничтожив отца и сына морально[45].

Проблема «Восток—Запад» появляется и здесь. Аблеуховы по происхождению монголы, их миссия — уничтожение. Визионерски предугадывается в будущем наплыв затопляющих Европу желтых азиатских орд[46].

Позже Белый написал еще ряд романов, таких как двухтомная «Москва» (1926)[47], самый плотный и четкий роман в его творчестве, в котором изображается жизнь и психическое состояние московской интеллигенции военного времени. Здесь мы видим цепкие щупальца немецкой разведки. Вместе с тем роман, соответственно вкусам той эпохи, — идейный: в нем показана гибель науки и культуры в когтях мещанства и капитализма.

Наряду с этими фабульными романами Белый создает и несколько психологически интересных мемуарных романов, таких как «Котик Летаев» и «Записки чудака». В первом предпринимается попытка изобразить формирование сознания из ощущений, восприятий, случайных обрывков детских переживаний. Это произведение — собственно музыкальная поэма, где хмельной бег слов пытается имитировать возникающую из хаоса внутреннюю жизнь. Предложения больше не удерживаются в строгом прозаическом ряду, а рвутся наружу, беспорядочными пятнами разлетаются по страницам.

Внутрь взвинченного сознания вводят читателя и «Записки чудака» (1922), где изображается уход автора от Штейнера и возвращение в Россию. Путевые впечатления беспорядочно чередуются с воспоминаниями о прошлом или же о Дорнахе, где Белый провел несколько лет вместе с женой, которая там и осталась — может быть, навсегда, и где вместе с остальными помогал возводить величественный храм антропософов по планетарным планам самого Штейнера. В течение всей поездки герой неоднократно замечает следующего за ним по пятам некоего чернявого господина в котелке. Наблюдение усиливает манию преследования, толкает душу к болезненно раздутым образам: пересекаются разнообразные символические ряды, антропософские построения, водовороты мысли. Цельность в оформлении отсутствует, произведение представляет интерес как документ человеческой души, а также высоким напряжением стиля.

В числе ценных прозаических произведений назовем еще и воспоминания писателя под общим названием «Конец века». Это детализированные описания московской философской и литературной жизни, положенные на бумагу с редкой наблюдательностью и памятливостью. Здесь В. Соловьев, с которым Белый познакомился незадолго до его смерти, который как некий призрак с длинной бородой оказывал влияние на протяжении всей жизни Белого и от суггестивности которого Белый не мог избавиться даже с помощью противоядия иронии; В. Брюсов со своими капризами и спиритизмом; но прежде всего – духовно родственный ему А. Блок; ряд других фигур эпохи символизма – все они приближены к нам во всем детализированном потоке жизни.

Белый вообще обладает редким умением до последней степени выразительности и крайней интенсивности выписать какую-нибудь черточку[48], какое-нибудь событие. Пусть следующий отрывок из воспоминаний Белого о выступлении Ж. Жореса в Париже[49] проиллюстрирует это его искусство.

* * *

«Вот: все воскликнуло; залпами аплодисментов, как отблеском ясным, весь зал просиял; и Жорес появился из двери, увидясь и шире, и толще себя, с головой, показавшейся вдвое огромней, опущенной вниз; переваливаясь тяжело, он бежал от дверей к перепуганной кафедре, перед которою встал, на нее бросив руки и тыкаясь быстрым поклоном: направо, налево; но вот он короткую руку свою бросил в воздух: ладонью качавшейся угомонял рявк и плеск; водворилось молчанье; тогда, напрягаясь, качаясь, с багровым лицом от усилия в уши врубать тяжковесные свои фразы, – забил своим голосом, как топором; и багровыми, мощными жилами вздулась короткая шея; грамматика не удавалась ему; говорил не изящно, не гладко, пыхтя, спотыкаяся паузами; слово в сто килограммов почти ушибало; раздавливал вес – вес моральный; тембр голоса – крякающий, упадающий звук топора, отшибавшего толстые ветки.

Кричал с приседаньем, с притопом увесистой, точно слоновьей, ноги, точно бившей по павшему гиппопотаму; почти ужасал своей вздетой, как хобот, рукой. К окончанию первой же из живота подаваемой фразы раздался в слона; и мелькало: что будет, коли оторвется от кафедры и побежит: оборваться с эстрады; вот он – оторвался: прыжками скорей, чем шажечками, толстого туловища, продвигался он к краю эстрады; повис над партером, вытягиваясь и грозясь толстой массою рухнуть в толпу; голос вырос до мощи огромного грома, катаясь басами багровыми, ухо укалывая дишкантами визгливой игры на гребенке; вдруг чашами выбросив кверху ладони, он, как на подносе чудовищном, приподымал эту массу людей к потолку: ушибить их затылки, разбить черепа, сквозь мозги перекинуть мосты меж французом и немцем.

Мы кубарями понеслись на космической изобразительности; он, как Зевс, сверкал стрелами в тучищах: дыбились образы; переменялся рельеф восприятий; рукой поднимал континент в океане; рукой опускал континент: в океан; промежуточные заключенья глотал; и, взлетев на вершину труднейшего хода мыслительного, прямо перелетал на вершину другого, проглатывая промежуточные и теперь уж ненужные звенья, впаляя свою интонацию в нас, заставляя и нас интуицией одолевать расстояния меж силлогизмами; мыслил соритами, эпихеремами, и оттого

нам казалось: хромала грамматика и упразднялася логика лишь потому, что удесятерял он ее. <...>

Говорил он периодами: "так как" – пауза; "так как" – вновь пауза долгая; и наконец уже: "то..."; иль:

– "Когда" –

начинал он с поревом, с подлетом руки на притопе, – "то то-то", рисующим инцидент в Агадире, едва не приведший к войне, потому что Вильгельм размахался своей задирательной саблей.

– "Когда" –

брал регистром он выше, и выше метал руку, бороду, топнувши, –

"то-то и то-то", рисующим роли Вальдек-Руссо, Галлифэ, Комба в недавнем конфликте с соседней военной державой.

– "Когда" –

дишкантами летел к потолку, став на цыпочки и перевертываясь толстым корпусом, чтоб бородой и рукою закинуться к хорам и с хоров поддержки искать у протянутой из-за перил головы, –

"то и то-то", рисующие революцию русскую, Витте (и капали капли тяжелого пота на бороду); вдруг с дишкантов в бездну баса:

– "Тогда!" –

и рукой, вырастающей втрое над оцепеневшим партером, как кистью огромною, он дорисовывал выводы.

Выстрелы аплодисментов: всплывала от всех ускользнувшая связь меж "когда"; в той же позе – он ждал: животом – на партер; и потом, отступая, тряся победительно пальцем, от слова до слова свой вызвавший возгласы текст повторял он; повертываясь, переваливаясь, брел под кафедру, пот отирая платком, точно слон к водопою; и с новым периодом снова бросался на нас».

* * *

В своих теоретических статьях (особенно в «Эмблематике смысла»[50]) Белый – этот дотошный исследователь, мыслитель, философ, взросший на Канте, Ласке, Риккерте[51], – пытается воздвигнуть незыблемую ценностную пирамиду[52]. Но каждый догматический удар гвоздя в его мысленных построениях обманчив. Его философская система ставит *строительство* выше *построения*, творчество выше познания, Диониса выше Аполлона. Каждая система должна бы таким образом стать относительной. И действительно, душа Белого не бросает якорь ни в одной догматической гавани. Конечно, острая потребность в абсолюте и логосе побуждает его предполагать наличие некоего Единства, Символа, два земных лика которого и есть познание и творчество. Сам же Символ (с большой буквы) является непознаваемым и несозидаемым[53]. Но кто скажет, что еще и не существующим?[54]

Культура, утверждает Белый, это не знание или сумма знаний и не прогресс, а деятельность по сохранению и взращиванию жизненных сил личности и расы таким образом, чтобы эти силы развивались в творческом преображении реальности. Поэтому в основании культуры – созидающая индивидуальность. Таким образом, культура неизбежно связана с индивидуализмом. Творческое преображение реальности рождается прежде всего в искусстве. Искусство существует не ради

искусства, у него более высокая задача, а именно религиозно-метафизическая – изменить жизнь и быть вместе с тем символом вечного созидания жизни.

Родство такого символизма с немецкой идеалистической философией очевидно.

Но ни одна система или познание (даже «высшее», включая антропософскую мудрость) не удовлетворяют Белого, через все его теоретические построения всегда проносится творческий вихрь. И тогда открываются ущелья, бездны. Вечные истины оказываются игрушками. Даже математика и филология. Первая становится мистикой цифр, вторая – глоссолалией. Размеры и пропорции Гетеанума ощущаются с мистическим трепетом[55] (пятигранные колонны на шестигранном цоколе и пр.[56]), символом столетий становятся горы и долины (I в. – это гора, II–VI <вв.> – спуск в долину и т.д., до 33 года облик века якобы еще не определился и т.п.). В своих статьях Белый умеет применить (иногда даже плодотворно) формулы алгебры, физики и высшей математики к исследованию литературы, но в ценимом выше творческом процессе между незыблемыми утесами цифр открываются бездны, пропасть показывает – язык.

Та же двойственность в культуре. С одной стороны, Восток – мистика, кипящий и мятущийся коренной пласт человеческой сущности, с другой стороны, Запад – как тоненькая корочка над трещиной, в которой, гляди-ка, промелькивает гориллоподобная морда, взмахивая топором над головой.

Дуализм – и в социальной действительности. С одной стороны, это 1905 и 1917 гг.[57] под углом зрения повседневного материализма, с другой стороны, бунт как мистика, выражение первобытного русского начала, скифство, «советы» как «соборность».

С одной стороны, впитавшееся в кровь наследие В. Соловьева и эсхатологические чаяния прочих символистов начала века: прибудет, прибудет Арго с золотым парусом[58] и увезет нас в новый мир! Но при этом Белый достаточно саркастичен по отношению к адвентиствующим ожидателям корабля, равно как и к самому себе, когда говорит: «напрасно прозябание, корабль не придет, не поедет же “прекрасная дама” на пароходе»[59].

Вот так и мечется наш писатель в вихрях своих мыслей и чувств, неугомонный и полный противоречий. Он не может, да и не хочет утвердиться ни на одной твердой почве. Как вечное начало он проецирует свой фиктивный Символ, но и это – по ту сторону сознания.

Очень многими чертами своего душевного склада Белый напоминает А. Жида[60]. Для обоих общее – беспокойство, напряжение мысли, освобождение от догм, предписанных норм и форм, тяга к новым литературным жанрам и опыты в этой области, даже высокая оценка христианской веры, а также ирония как лестница, с помощью которой можно подняться над своими недостатками. В Белом, как и в Жиде, сильна доля немецкости[61]. Оба были опалены лучами Ницше, оба были очарованы Гете[62].

* * *

Юмор Белого – особая история. Это не шутка ради шутки, и не гоголевский смех сквозь слезы, и вовсе не горькая усмешка, а довольно своеобразный род «романтической иронии». Стоит только спуститься вместе с автором в причудливые бездны, как крылатые фразы уже возносят тебя в головокружительные выси, и

вдруг начинает казаться: нет ни высоты, ни бездны – есть лишь длина и ширина[63]. Вместо четвертого измерения оказываешься во втором. Мистика оборачивается мистификацией, кровь – ягодным соком[64]. Юмор Белого означает в первую очередь прыжки из одной перспективы в другую.

Более всего и с бóльшим удовольствием, однако, Белый играет со словом. Он отрезает от него значения и устойчивые ассоциации. Остается лишь движение губ и колебание воздуха. Разъятое на части слово само начинает искать новые смыслы. Возникает новый словесный мир, в котором сам человек оказывается свободным творцом. Словесная магия начинает дразнить автора. Словесная мистика превращается в словесную игру. И наоборот. Что включает в себя, напр<имер>, «я»? Я есть Ich, т.е. I. Ch. – Jesus Christus![65] Антропософская Нэлли[66] произносит где-то: мы – Персевали, проходим сейчас по долинам («percer la vallée»)[67]. Но что будет, если вместо французских ассоциаций мы возьмем эстонские! И у нас имеется свой «лингвист» Лаурий[68], который образует русское «собрат» от эстонского «sõber»[69]. Однако Белый в своем предисловии к книге-каламбуру «Глоссолалия» предостерегает читателя от того, чтобы толковать или научно критиковать его «звуковую поэму»[70]. Сам будучи несравненно ловок в звуковой инструментовке в сфере как стиха, так и прозы, он одобряет очевидную звукопись. Весь его роман «Петербург» выстроен, как он сам утверждает, на созвучиях: л-к-л – пп-пп – лл. Духоту дома символизирует *пп*; *к* же – удушение, удушье в нем, *лл* – лак, блеск и лоск внутри этих *пп*-стен. Владелец такого *пл*-дома носит имя Аполлон Аполлонович Аблеухов, а его сын, который в *пл*-доме испытывает *к*-удушье, Николай Аполлонович... И мы уже догадываемся, почему имя одного из персонажей – Пепп Пеппович Пепп[71].

Мы можем говорить о примате словесного звучания во всем творчестве Белого. На этом звучащем фоне мы часто можем почувствовать необычайное творческое воодушевление автора. Слова из богатого и гибкого русского словарного запаса сеет он щедрой рукою на каждом шагу. Народные слова кружатся в хороводе, корни обычных слов обрастают префиксами и суффиксами, существительные и прилагательные в звуковой метели превращаются в глаголы, и сквозь все это изложение пробивается своеобразный ритм. Фраза нигде не застывает до формулы, наоборот, она сияет, торопится, поет, спешит. Влияние этой фразы на новейшую русскую литературу бесспорно. Наиболее явные его последствия испытывает Б. Пильняк[72].

И наконец: А. Белый влюблен в точку с запятой[73]. Там, где иной поставил бы запятую или даже точку, он предпочитает этот уродливый знак препинания – чтобы в хороводе слов не разжимались так быстро руки.

* * *

Находясь в Германии, я, как и Туглас[74] и Гайлит[75], несколько раз встречался с А. Белым. Первое впечатление от писателя: большое мягкое лицо, вокруг голого темени распушенные пепельные волосы, глаза светлые, рассеянные, временами становятся узкими, как щелочки.

Был случай услышать один его доклад[76]. Едва начав, он, смотри-ка, уже точно пари́т. Уже сбрасывает, как балласт, понятия: сознание, творчество, мир, хаос. Уже находится на недосягаемой высоте. Из-за стола, на котором остался наполовину

выпитый стакан с чаем, он уже давно вышел к слушателям. Зажигает сигарету, которой будет беспрерывно попыхивать. Затем вдруг бросает сквозь дым кому-то из сидящих поблизости вопрос прямо в лицо, а сам ждет: на лице улыбка до ушей, глаза прищурены. Пауза. И тут же[77] вдруг становится серьезным, как бы испугавшись, и начинает сам себе отвечать. Однако и сам ответ – постановка новых проблем. Иногда случается, что нити мысли путаются, слова застревают, но промедление – не голая поправка, а открытие новых шлюзов. Все в его голове пылает: мысли и слова. Ассистируешь, как при родах. И то, что таким образом рождается на свет, иногда оказывается сюрпризом для самой роженицы.

Летом 1923 г. я жил к северу от Берлина, недалеко от Липницзее[78], где отдыхали летом и русские. Председатель Всероссийского Учредительного собрания[79] здесь удил рыбу, часто можно было встретить здесь его соратников по партии[80] и других эмигрантов. Благодаря свойственной русским открытости можно было узнать о прошлом и об интимных подробностях жизни многих русских писателей. Русанов[81] был горазд рассказывать о былых встречах с Тургеневым[82]. От других я слышал, как Сологуб накрывает стол для своей пропавшей без вести жены[83], как Ремизов развешивает на веревке своих куколок, обезьянок и чертиков[84], и о том, как плакал Белый в первые годы революции, когда его заставляли работать в Бог знает каких комиссиях.

Как-то раз сам Белый приехал в гости из Цоссена[85]. С ним еще была какая-то женщина со строгими глазами, говорили – руководительница русских антропософов[86]. Под липницзейскими соснами в говорливой компании я и не заметил, как вечер превратился в ночь. Мы прогуливались по извилистому берегу озера. Оттуда я запомнил только наш разговор о Горьком, в чьем журнале «Беседа»[87] А. Белый сотрудничал, – рукопись каких-то воспоминаний как раз была у писателя в кармане[88]. Но когда из-за темной буковой рощи озеро открылось во всей своей скрытой красоте, Белый остановился. Остальные порывались идти дальше или вернуться, а он поднял воротник, закрывая шею от тумана, и надолго предался созерцанию: с прищуренными глазами, с улыбкой, которая всегда необычайно растягивала его рот. Ему, очевидно, было очень уютно растворяться в созерцании. И мне вспомнилась его ироническая автохарактеристика: «Чувствую себя так: бессознательный[89] буржуй, жаждущий мистического уюта».

<март 1934>

Послесловие

Йоханнес Семпер (22.03.1892 – 21.02.1970) – эстонский поэт, писатель, переводчик, журналист, эссеист, драматург, литературовед и историк литературы. В 1928–1940 гг. преподавал в Тартуском университете эстетику, стилистику и историю французской литературы.

Интерес к Андрею Белому у Семпера возник еще в 1910 г. – в период его учебы на первом курсе романо-германского отделения историко-филологического факультета Петербургского университета, причем это в большей степени был интерес к Белому-теоретику (прежде всего автору книги «Символизм»), чем к Белому-писателю или Белому-поэту. В первом томе воспоминаний «Matk minevikku»

(«Путешествие в прошлое») Семпер объясняет это предпочтение тем, что тогда его «более интересовала философия поэзии, чем сама поэзия, то, что думали о поэзии Тик, Шлегель, Новалис, или о соотношении смысла и слова – Гуссерль или Белый»[i]. Однако интерес Семпера к Белому-теоретику не означал увлеченности умозрительными построениями писателя[ii]. В «Символизме» Белого Семпера привлекло другое: «<...> прежде всего богатая библиография по вопросам, которые представляли для меня интерес, и того более исследование ритма русской поэзии. Здесь уже мы имели дело не с мистикой, а с математикой. Метод был нов, даже увлекателен и подтолкнул меня в собственных интересах исследовать вопрос ритма в стихотворениях Ю. Лийва[iii] и Г. Суйтса[iv], которые были у меня под рукой»[v]. Как бы то ни было, но, согласно воспоминаниям Семпера, своим увлечением символизмом и знанием материала по данной теме он обязан прежде всего книге Белого: «По Ариадниной нити упомянутой библиографии я блуждал по лабиринту, который надолго привлек к себе мои интересы. А именно я сломя голову устремился к исследованию символизма, почти забыв об университетских учебниках. <...> Со временем у меня было собрано так много материала о русских и французских символистах, что этого бы хватило на несколько научных работ, но я был далек от этой мысли»[vi].

Уже в первом выступлении Семпера в эстонской прессе в качестве критика-эссеиста – в статье 1911 г. «Sümbolismus ja Saksa romantismis» («Символизм и немецкий романтизм»)[vii] – Белый упомянут дважды[viii]. Тема статьи возникла у Семпера под влиянием занятий в семинаре по немецкому романтизму у Ф.А. Брауна, бывшего в то время деканом историко-филологического факультета и главой романо-германского отделения (отметим, что одновременно семинар Брауна посе-

---

[i] *Semper Johannes.* Matk minevikku I // Semper Johannes. Teosed. Tallinn, 1978. Kd. 12: Mälestused. Lk. 177. Здесь и далее все переводы с эстонского выполнены Ф. Винокуровым и М. Тамм.

[ii] В воспоминаниях Семпер весьма иронически отзывается о теоретических абстракциях Белого, изложенных в его книге «Символизм»: «Мистикой и заумными мыслями веяло оттуда. Оказывается, основой мира является хаос, он может внезапно выплеснуться и затопить весь наш мир, который создало наше сознание. Наше сознание? А откуда оно само взялось? И потусторонний мир, которые мы предчувствуем через символы, где же он тогда? Нет, такие туманные рассуждения никак не согласовывались с моими мыслями. Мистика была мне чужда» (*Semper Johannes.* Matk minevikku I. Lk. 177).

[iii] Юхан Лийв (1864–1913) – эстонский поэт и прозаик. Один из новаторов эстонской поэзии, привнесших в нее элементы импрессионизма и раннего символизма. Значительную роль в исследовании жизни и творчества Ю. Лийва, создании его литературной репутации, а также в публикации его литературного наследия в 1920–1930-х сыграл Ф. Туглас (автор первой основательной монографии о Лийве). О Тугласе см. далее.

[iv] Густав Суйтс (1883–1956) – эстонский поэт, переводчик и литературовед. В 1917–1919 гг. был членом партии эсеров и принимал активное участие в политической жизни. В 1919–1944 гг. возглавлял кафедру эстонской и общей литературы в Тартуском университете (с 1924 г. – экстраординарный, с 1931 г. – ординарный профессор). В апреле 1944 г. эмигрировал из Эстонии. Один из ведущих эстонских поэтов 1910-х и активный участник культурной жизни Эстонии. Идеолог литературной группировки «Noor-Eesti» («Молодая Эстония»), принимавший активное участие в ее изданиях. Принимал также активное участие в изданиях «Tarapita» и «Looming».

[v] *Semper Johannes.* Matk minevikku I. Lk. 177–178.

[vi] Ibid. Lk. 178.

[vii] *Semper Johannes.* Sümbolismus ja Saksa romantismus // Noor-Eesti. 1911. № 5/6. Lk. 445–467.

[viii] В первый раз – в перечне «важнейших символистов» (наряду с Э. По, Ш. Бодлером, П. Верленом, С. Малларме, Ф.О.М. Вилье де Лиль Аданом, Фр. Ницше, С. Георге, Э. Верхарном, Ж. Роденбахом, О. Уайльдом, Г. Ибсеном, К. Гамсуном, В. Брюсовым, Вяч. Ивановым, К. Бальмонтом) (*Semper Johannes.* Sümbolismus ja Saksa romantismis. Lk. 446); во второй – в связи со статьей «Эмблематика смысла» (Ibid. Lk. 450–451; см. подробнее прим. 50).

щал В.М. Жирмунский). И если книга Белого открыла Semperу символизм, то семинар Брауна, как пишет Семпер, «в деталях открыл <...> новый мир и дал толчок к исследованию символизма, а также к поиску параллелей или же влияний на него ранней немецкой романтики»[i]. Результатом этих исследований стала названная выше статья 1911 г., написанная в рамках работы Семпера в семинаре Брауна. Позднее, в 1919 г., Семпер, переработав ее, опубликовал в своем первом сборнике критических эссе «Näokatted I» – «Маски I» (переработанный вариант получил название «Romantika hing» – «Дух романтики»[ii]).

В этой статье тенденция к вписыванию Белого (и всего русского символизма) в западноевропейский контекст, намеченная в варианте 1911 г., не просто усиливается, но и получает логическое обоснование. Так, в статье 1911 г. Семпер с осторожностью утверждал: «Будучи вдалеке от того, чтобы видеть в символизме некий “неоромантизм”, мы тем не менее можем говорить об одной и той же атмосфере немецкого романтизма и символизма; и вряд ли найдется другое литературное течение, которое стояло бы так близко к символизму, его основным ощущениям, взглядам, как немецкий романтизм»[iii]. В статье 1919 г. он, однако, утверждал уже прямо противоположное: «Во Франции и Бельгии новый романтизм возникает около 1885 года под знаком символизма. <...> Выдвигается целый ряд писателей, от чьих произведений веет романтическим духом и которые, со своей стороны, вносят свою долю в романтическое мироощущение <...>. То же можно сказать и о русской литературе с 1890 по 1910 год – периоде, которому дано имя “неоромантизм”. И здесь я стал бы утверждать, что в России правильный романтизм только в те годы, а не во время Жуковского, достиг расцвета. <...> Русских писателей 1890–1910 годов объединяет, несмотря на различия между отдельными писателями, сходное мироощущение, отрицание традиций, импрессионистический способ выражения»[iv]. В отличие от статьи 1911 г., в работе 1919 г. Белый упомянут Семпером именно как теоретик символизма.

Новый всплеск упоминаний имени Белого в эссеистике Семпера связан с его пребыванием в 1921–1925 гг. в Берлине, где Семпер получал третье по счету высшее образование в Берлинском университете Фридриха Вильгельма (теперь – имени В. Гумбольдта), изучая сравнительное народоведение, философию и эстетику. В Берлине же Семпер получил возможность присутствовать на публичных поэтических выступлениях Белого, что зафиксировал в мемуарах:

> Он не облекал свои стихи в одни и те же «одежды», но в каждом слове, в каждом ритме находил свои оттенки. Он требовал раскрытия облика каждого слова, считая значение слова менее важным, чем звучание слова и форму слова. Своей живой славянской мимикой и жестикуляцией, которые прилеплялись к настроению стихотворения, он умел держать слушателей в напряжении. Выбрасывал в воздух

---

[i] *Semper Johannes.* Matk minevikku I. Lk. 186.

[ii] *Semper Johannes.* Romantika hing // Näokatted: Esseede kogu. I. Tartu, 1919. Lk. 15–42.

[iii] *Semper Johannes.* Sümbolismus ja Saksa romantismis. Lk. 449.

[iv] *Semper Johannes.* Romantika hing. Lk. 20–21. Возможно, столь радикальные изменения в концепции Семпера произошли не без влияния работы Жирмунского (с которым Семпер посещал один семинар) «Немецкий романтизм и современная мистика» (1913; СПб., 1914). Отметим, что имя Жирмунского упомянуто в статье Семпера в числе исследователей немецкого романтизма, которые считали, что «именно эта менее известная эпоха во много раз важнее и глубже поздней романтики» (Ibid. Lk. 18).

> одно слово, делал длинную паузу, затем с забытой на лице улыбкой вперивался прямо в кого-нибудь из слушателей (больше был слушателем того, с чем он выступает, чем слушателем самого себя), смущался внезапно, улыбка исчезала, он серьезнел, чтобы опять выстрелить, как из катапульты, следующим словом или фразой. Однако он не задумывался, не следил за прицельностью полета, но за самим парением слов. Он понимал, как быть в аудитории и среди слушателей как дома, декламируя, курить, без того, чтобы самому обращать на это внимание. Умел опьяняться от представляемых ощущений, всей душой предаваться словам-абстракциям[i].

Описание единственного доклада Белого, на котором присутствовал Семпер в конце 1921 или в начале 1922 г., дано в публикуемой выше статье 1934 г.[ii] Более того, по письмам Семпера можно проследить, насколько сильным было впечатление, произведенное докладом Белого. 10 января 1922 г. он пишет Ф. Тугласу[iii]: «“Тарапите”[iv] снова должен отправить <заказанную ими> работу об одной интересной лекции А. Белого о предполагаемой будущей культуре России, которую он здесь прочитал»[v]. А в письме к Тугласу от 28/29 января 1922 г. сообщает: «Стал писать о Белом, а вышел длинный ряд статей – “О путях русской культуры”, который, однако, отправил в “Päevaleht”, потому что денежно уже сижу на мели и время уже высылать ряды статей в авангард, чтобы затем беззаботно и спокойно работать в своих интересах»[vi]. Написанная под впечатлением от доклада Белого статья Семпера «Vene tulevasest kultuurist» («О будущей русской культуре») была опубликована в №№ 13–15 литературного приложения к газете «Päevaleht» («Дневная газета») «Kirjandus–Kunst–Teadus» («Литература–Искусство–Наука»)[vii].

Одна из частей этой статьи посвящена взглядам «скифов» на настоящее и будущее русской культуры. Здесь же впервые упоминается имя вдохновителя этой статьи – Андрея Белого: «Другая, из того же “народнического” лона вышедшая группа гораздо более рьяно занималась проблемами культуры, анализировала сознание современного человека и общества и пыталась предугадать будущее. Это т.н. скифы, за этим названием скрывались такие писатели, как Иванов-Разумник, Ал. Блок, А. Белый и другие»[viii].

Размышления Белого о будущей русской литературе в рамках «скифства» уже не воспринимаются Семпером как «мистический туман»: «Там, где инстинктивное

---

[i] *Semper Johannes.* Matk minevikku II (Katkendid käsikirjast) // Semper Johannes. Teosed. Tallinn, 1978. Kd. 12: Mälestused. Lk. 295.

[ii] См. подробнее прим. 76.

[iii] Фридеберт Туглас (1886–1971; до 1923 г. Михкельсон) – один из крупнейших эстонских писателей XX в., прозаик, критик, литературовед, переводчик. В ранний период творчества модернист входил в литературное объединение «Noor-Eesti» («Молодая Эстония»). Хорошо был знаком с русской литературой Серебряного века, в том числе и с творчеством Андрея Белого. О возможном влиянии на Ф. Тугласа взглядов Белого на творческий процесс см.: *Undusk Jaan.* Sisu ja vormi dialektikat Friedebert Tuglase käsitluses // Keel ja Kirjandus. 1986. № 3. Lk. 145–146.

[iv] «Тарапита» («Tarapita») – журнал, издававшийся в 1921–1922 гг. (вышло 7 номеров) одноименной литературной группировкой, участниками которой были в числе прочих Ф. Туглас (издатель журнала) и Й. Семпер.

[v] *Väljavõtteid J.* Semperi kirjadest F. Tuglasele Berliinist / Publ. ja kommet. H. Niit // Keel ja kirjandus. 1982. № 3. Lk. 149.

[vi] Ibid. Lk. 150.

[vii] *Semper Johannes.* Vene tulevasest kultuurist // Kirjandus–Kunst–Teadus: Päewalehe erileht. 1922. № 13 (25 märts). Lk. 97–103; Nr. 14 (1 apr). Lk. 108–112; Nr. 15 (8 apr). Lk. 113–115.

[viii] *Semper Johannes.* Vene tulevasest kultuurist // Kirjandus–Kunst–Teadus. 1922. № 14. Lk. 112.

чувство этого гениального русского писателя не совсем хочет его слушаться, там он достает свой острый логический нож и режет им»[i].

Если к «скифству» Белого Семпер относится заинтересованно, то к его увлечению антропософией – иронически (искренне недоумевая, как настолько образованный человек мог очароваться антропософией[ii]). В обоих случаях (и как новатор литературной формы[iii], и как антропософ) Белый оказывается прочно вписанным в западноевропейский контекст.

Знакомство Семпера с Белым состоялось в июне 1923 г. в Вандлице, где, согласно переписке с Тугласом, Семпер отдыхал с начала мая по конец июня 1923 г., периодически наезжая в Берлин[iv]. Однако в доступной нам переписке Семпера с разными адресатами нет ни одного упоминания об этой встрече. Ее описание появится позднее – только в 1934 г.

Несмотря на то что во второй половине 1920-х имя Белого почти не появляется в эссеистике Семпера (едва ли не единственное упоминание – в статье 1928 г. «Christian Morgenstern (1871–1914)» – «Христиан Моргенштерн (1871–1914)»[v]), Семпер живо отреагировал на смерть Белого[vi].

Памяти Андрея Белого был посвящен один из вечеров, организованных в начале 1934 г. Эстонским пен-клубом (председателем которого с 1928 г. был Семпер) в кафе «Central» («Централь»). Краткое описание этого вечера дано в рамках

---

[i] Ibid.

[ii] Впечатление Семпера от Р. Штейнера, интерес к которому был вызван увлечением Белого антропософией, описано в заметке «Kiri “Tarapitale”» – «Письмо в “Тарапиту”» (Tarapita. 1922. № 4. Veerg. 117–121). См. подробнее прим. 15.

[iii] В статье «Lahtised lehed (Masinast ja kunstist)» – «Нескрепленные листки (О машине и искусстве)», рассуждая о литературе как искусстве, Семпер вновь упоминает Белого в уже привычном контексте западноевропейского символизма, сравнивая ритмизованную прозу Белого с прозой П. Фора. См. подробнее прим. 29.

[iv] В письме к Ф. Тугласу от 23 апреля 1923 г. Семпер сообщал: «Сегодня поеду за город снимать летнюю квартиру. Это в паре часов езды в северном направлении – куда-нибудь к озеру. Значит, май и июнь собираюсь прожить то в Берлине, то за городом, зависит от того, какие будут погоды. В конце июля, может, смогу съездить на родину. Письма посылай мне все-таки на старый адрес, ведь хоть я и уеду на дачу, пару раз в неделю буду-таки ездить в город» (F. 245 (F. Tuglas). M. 58:4 (Johannes Semper, sada üheksakümmend kaheksa kirja F. Tuglasele; 2.IX.1917 – 20.X.1969). L. 82/109). А в письме к Тугласу от 4 мая 1923 г., написанном уже из Вандлица, уточнял: «Пиши мне в течение мая и июня по следующему адресу: Wandlitz i./M. Haus Schaefer. J. S.». (F. 245. M. 58:4. L. 83 tg./110).

Кроме того, в адресованной супруге Ф. Тугласа открытке с изображением озера Липницзее («Am Liepnitz-See») от 5 мая 1923 г. Семпер приглашал Эло Туглас в Вандлиц (F. 245. M. 208:6 (J. Semper, kolm kirja Elo Tuglasele; 13.VI.1920 – 5.V.1923). L. 3/3).

[v] Ср.: «Собравшиеся вокруг Рудольфа Штейнера богоискатели, даже русский писатель Андрей Белый (см. его “Записки чудака”), наряду с Гете, Штейнером читали также Хр. Моргенштерна» (*Semper Johannes.* Christian Morgenstern (1871–1914) // Odamees. 1928. № 2. Lk. 58).

[vi] В эстоноязычной прессе сообщения о смерти Белого появились одновременно в двух изданиях 16 января 1934 г. В издававшейся в Ленинграде газете «Edasi» («Вперед»; орган ЦК ВКП(б) и Ленинградского обкома ВКП(б)) кратко сообщалось: «Умер известный русский писатель Андрей Белый» (Teated NSV Liidust // Edasi. 1934. № 9 (16 jaan). Lk. 2). Издававшаяся в Новосибирске газета «Kommunaar» («Коммунар», орган Запсибкрайкома ВКП(б)) откликнулась некрологической заметкой: «*Из Москвы* (ТАСС): 8 января умер один из величайших художников слова дореволюционной России писатель Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев). Будучи одним из наиболее талантливых представителей школы символистов, А. Белый оказал большое влияние на развитие литературной жизни дооктябрьской России.

После Октября А. Белый был сотрудником и организатором Театрального отдела Народного комиссариата просвещения, позже – руководителем литературной студии Московского Пролеткульта. В течение последних десяти лет много трудился на почве советской тематики.

А. Белому принадлежат крупные произведения искусства, значительная часть которых переведена на иностранные языки» (Andrei Belõi // Kommunaar. 1934. № 6 (16 jaan). Lk. 2).

анонимного обзора «Kilde Tartust» («Осколки из Тарту»), опубликованного в № 13 (26 марта) за 1934 г. в газете «Kunst ja kirjandus» («Искусство и литература»):

> Й. Семпер дал образный обзор жизни и творчества А. Белого. Б. Правдин[i] же особенно интересно и со знанием дела исполнил отрывки из его поэтических и прозаических произведений. Много острот породили фрагменты, в которых Белый описывает излишне настойчивые предложения познакомиться от начинающих поэтов и постоянные встречи с формалистом во всем Школовским <sic!>.
>
> Потом делились воспоминаниями о личных встречах с Белым (Туглас[ii], Семпер)[iii].

Логическим продолжением этого вечера стала публикуемая выше статья, посвященная смерти Белого, которая появилась в конце марта 1934 г. в № 3 журнала «Looming» («Творчество»)[iv], издания Союза эстонских писателей. Ответственным и исполнительным редактором журнала с 1930 г. был все тот же Семпер.

Семпер к моменту написания этой статьи уже являлся одной из самых заметных фигур в литературной жизни Эстонии: он был автором шести поэтических сборников, трех сборников новелл, двух книг эссе и статей.

Статья Семпера о Белом (в отличие, например, от некрологической заметки об А. Блоке[v]) не является в строгом смысле некрологом. Автор опустил, например, такие принципиальные для некролога моменты, как дата смерти и причина смерти Белого. Семпер скорее продолжает традицию представления русских писателей эпохи модернизма эстонской публике, начатую при сходных обстоятельствах в том же журнале «Looming» Ф. Тугласом в 1924 г. (публикация в № 9 приуроченной к смерти Брюсова речи «Валерий Брюсов. По поводу его смерти»[vi]) и продолженную Х. Виснапуу[vii] в 1927 г. (статья в № 2 «Воспоминания о Сергее Есенине. По поводу первой годовщины его смерти»[viii]).

Статья Семпера подытоживает и сводит воедино отрывочные высказывания о Белом, разбросанные по эссе, написанным при жизни Белого, а смерть Белого оказывается веским аргументом в пользу того, чтобы развернуто познакомить эстонскую публику с его жизнью и творчеством (при том что произведения Бело-

[i] Борис Васильевич Правдин (1887–1960) – поэт, переводчик, литературовед; в 1930-х преподавал русскую литературу и языки (русский, французский) в Тартуском университете. Член Эстонского пен-клуба с 1933 г. См. о нем: *Исаков С.Г.* Б.В. Правдин – педагог, ученый, поэт // Исаков С.Г. Русские в Эстонии: 1918–1940. Историко-культурные очерки. Тарту, 1996. С. 222–238.

[ii] В своих «Eluloolisi märkmeid» («Биографические заметки») Ф. Туглас отмечал: «Прибыли в Берлин, где остались на долгое время. Часто встречали Семпера, Кивикаса, Таклая, совершили один выезд вместе с Андреем Белым, навещали Вильде» (запись датирована 26 апреля 1922 г.; цит. по: *Tuglas Friedebert.* Eluloolisi märkmeid I: 1906–1944 // Litteraria: Eesti kirjandusloo allikmaterjale. Tartu, 1996. Vih. 11. Lk. 49). Альберт Кивикас (1898–1978) – эстонский писатель и журналист; Яан Таклая (1898–1943) – эстонский журналист.

[iii] Kilde Tartust // Kunst ja kirjandus: Päewalehe kaasanne. 1934. № 13 (26 märts). Lk. 50.

[iv] *Semper Johannes.* Andrei Belõi (1880–1934) // Looming. 1934. № 3. Lk. 327–335.

[v] *Semper Johannes.* Aleksander Blokk † // Tarapita. 1921. № 1. Lk. 23.

[vi] *Tuglas Friedebert.* Valeri Brjussov. Tema surma puhul // Looming. 1924. № 9. Lk. 682–692.

[vii] Хенрик Виснапуу (1890–1951) – эстонский поэт, драматург и литературный критик. Привнес в эстонскую поэзию элементы футуризма и экспрессионизма. В 1944 г. эмигрировал из Эстонии.

[viii] *Visnapuu Henrik.* Mälestusi Sergei Jesseninist. Tema surma esimese aastapäeva puhul // Looming. 1927. № 2. Lk. 179–183.

го на эстонский переведены не были[i]). Семпер основное внимание уделяет творчеству Белого в его многообразии (Белый—поэт, Белый-автор «симфоний», Белый-романист, Белый-мемуарист и наконец Белый-теоретик) и только в последней части дает два мемуарных фрагмента (о берлинском докладе Белого, на котором он был, и о единственной личной встрече в июне 1923 г.).

Ключевым понятием при конструировании Семпером образа Белого является «двойственность»/«дуализм». Семпер проецирует актуальную для Белого оппозицию «Восток–Запад» на личность самого Белого. В трактовке Семпера личность Белого является отражением извечного противостояния Востока и Запада, где Востоком является «скифство», а Западом – символизм. Последовательное вписывание Белого в западноевропейский контекст было принципиальной позицией Семпера, логически вытекающей из представления о литературе русского символизма как о части общеевропейского литературного и культурного процесса и о «скифстве» как о специфическом явлении новой русской культуры.

Статью 1934 г. об Андрее Белом Семпер в 1971 г. включил в свое собрание сочинений[ii], исправив «бросающиеся в глаза небрежности, повторения, длинноты, упрощения»[iii]. Русский перевод этого варианта статьи, выполненный А. Тоотсом, был опубликован в сборнике избранных статей и эссе 1984 г.[iv]

Выше представлен выполненный специально для наст. изд. перевод журнальной публикации 1934 г. с приведенными в примечаниях дополнениями и разночтениями по машинописи с авторской правкой, хранящейся в Эстонском литературном музее (Eesti Kirjandusmuuseum) в Тарту: *Semper Johannes.* Andrei Belõi (1880–1934) // F. 196. M. 28:1 («Looming». 1934. Nr. 3). L. 139–149.

Хотим выразить глубочайшую благодарность С.Г. Исакову и О.Н. Паликовой за помощь в подготовке данной публикации.

Переводы архивных материалов публикуются с любезного разрешения Эстонского литературного музея (Eesti Kirjandusmuuseum, Тарту).

---

[1] Джон Голсуорси (1867–1933) – английский писатель-романист. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1932 г.

[2] Джордж Огастас Мур (1852–1933) – ирландский поэт, прозаик, драматург и критик.

[3] Стефан Георге (наст. имя и фам. Генрих Абелес; 1868–1933) – немецкий поэт-символист.

[4] Якоб Вассерман (1873–1934) – немецкий писатель-романист.

[5] Герман Бар (1863–1934) – австрийский драматург, критик, эссеист.

[6] Эдуард Вильде (1865–1933) – эстонский писатель и драматург. Классик эстонской литературы, основоположник эстонского реализма.

---

[i] Приведенные в статье Семпера фрагменты «драматической симфонии» и второй части мемуарной трилогии являются, по сути, первыми переводами Белого на эстонский язык.

[i] *Semper Johannes.* Andrei Belõi (1880–1934) // Semper Johannes. Teosed. Tallinn, 1971. Kd. 8: Mõtterännakuid II. Artikleid ja esseid. Lk. 115–127. Собрание сочинений Семпера начало выходить еще при его жизни, и самим автором были подготовлены к публикации первые два тома статей и эссе.

[iii] *Semper Johannes.* Saateks // Semper Johannes. Teosed. Tallinn, 1969. Kd. 7: Mõtterännakuid I. Artikleid ja esseid. Lk. 5.

[iv] *Семпер И.* Андрей Белый (1880–1934) // Семпер И. Странствия мысли: Избранные статьи и эссе / Сост. Э. Сийрак; пер. с эст. А. Тоотс. Таллин, 1984. С. 269–280.

[7] Эрнст Энно (1875–1934) – эстонский поэт, в творчестве которого нашли отражение новые тенденции эстонской литературы начала XX в.

[8] Семпер сознательно включает смерть Белого в контекст западноевропейской литературы (и эстонской как ее составной части). Из перечисленных Семпером литераторов двое (Дж.О. Мур и Дж. Голсуорси) скончались еще в начале 1933 г. (Мур – 21, Голсуорси – 31 января), трое (С. Георге, Э. Вильде, Я. Вассерман) – незадолго до смерти Белого (Георге – 4, Вильде – 26 декабря 1933 г., Вассерман – 1 января 1934 г.), а Г. Бар и Э. Энно – после смерти Белого (Бар – 15 января, Энно – 7 марта).

[9] Ср. в автобиографической справке Белого (до 1914 г.), написанной для С.А. Венгерова: «Одновременно я упорно читал Герберта Спенсера, Милля <...>» (*Андрей Белый.* Автобиографическая справка (Из архива «Критико-биографического словаря») // Русская литература XX века (1890–1910): В 2 кн. / Под ред. проф. С.А. Венгерова. М., 2000. Кн. 2. С. 152). Опираясь на нее, А.К. Воронский писал в статье для «Литературной энциклопедии»: «Вместе с тем Б<елый> упорно читает *Канта, Милля, Спенсера*» (*Воронский А.* Белый Андрей // Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1930. Т. 1. Стлб. 422). Герберт Спенсер (1820–1903) – английский философ и социолог; один из родоначальников позитивизма и идеолог социал-дарвинизма. Джон Стюарт Милль (1806–1873) – английский философ-позитивист, экономист и общественный деятель.

[10] В машинописи зачеркнуто: «читает» (F. 196. M. 28:1. L. 139).

[11] Ср.: «За время моего гимназического учения впервые я заинтересовался философией <...>. Особенно повлияли на меня печатавшиеся в то время “Отрывки из Упанишад”. С тех пор я увлекаюсь буддизмом, браманизмом и всем тем, на чем лежит печать ведантистской культуры, а также сравнительно поверхностно увлекаюсь теософией и оккультизмом <...>» (*Андрей Белый.* Автобиографическая справка. С. 152). Отсюда в статье Воронского для «Литературной энциклопедии»: «В 1891 Б<елый> поступает в частную гимназию Поливанова, где в последних классах увлекается буддизмом, браманизмом, оккультизмом <...>» (*Воронский А.* Белый Андрей. Стлб. 422).

[12] Ср.: «С 1899 года до 1903-го я был в Московском университете на естественном отделении математического факультета. <...> я работаю по зоологии беспозвоночных, читаю Дарвина, Делажа, Ферворна и др. <...>» (*Андрей Белый.* Автобиографическая справка. С. 153); см. также в энциклопедической статье Воронского о Белом: «<...> Б<елый> в Московском университете [1899] выбирает естественное отделение математического факультета, работает по зоологии беспозвоночных <...>» (*Воронский А.* Белый Андрей. Стлб. 422).

[13] Ср.: «<...> как итог разговоров, происходивших в соловьевском доме, знакомство с семейством Метнеров, наконец, присоединение к кружку “Скорпиона” <...>» (*Андрей Белый.* Автобиографическая справка. С. 153); см. также в статье Воронского: «Б<елый> <...> входит в кружок “Скорпиона” <...>» (*Воронский А.* Белый Андрей. Стлб. 422). «Скорпион» (1899–1916) – символистское издательство, принадлежавшее меценату и переводчику С.А. Полякову. Издательскую политику «Скорпиона» во многом определял один из его организаторов и руководителей В. Брюсов.

[14] Черновой вариант этого фрагмента: «Журнал символистов “Весы” впрягает его в работу. Там как поэт и критик он борется во имя новых идей, до тех пор пока журнал не прекращает своего существования» (F. 196. M. 28:1. L. 139). Ср.: «С 1904 до 1909 года я сотрудничаю ближайшим образом в журнале “Весы”, где и печатаю почти все статьи свои» (*Андрей Белый.* Автобиографическая справка. С. 154).

[15] Встреча Белого с Р. Штейнером произошла в мае 1912 г. в Кельне. Интерес Семпера к личности Штейнера был вызван увлечением Белого антропософией. Так, напр., впечатление Семпера от публичной лекции Штейнера описано в заметке «Kiri "Tarapitale"» («Письмо в "Тарапиту"»): «Однажды я попал на его лекцию: крупнейший концертный зал Берлина битком набит народом! Совершенная новость для меня. Я читал о Штейнере в последнем романе Андрея Белого ("Я"), в котором он восхищается суггестивным влиянием Штейнера и еще больше личным шармом, который ощущает всякий, кто соприкоснулся с ним, услышал его. До этого я как-то прочитал "Теософию" Штейнера, которая своим продуманным и точным стилем выделялась особо из остальной литературы такого рода. Больше я ничего о нем не знал, да и не интересовался» (*Semper Johannes.* Kiri «Tarapitale» // Tarapita. 1922. Nr. 4. Veerg. 118). В воспоминаниях Семпер иронически отзывался о Штейнере и выражал свое недоумение увлечением Белого антропософией: «Я знал, что Андрей Белый, чьи произведения я с интересом читал, уже долгое время был учеником Штейнера в Швейцарии и одним из строителей его храма Гетеанума, который спланировал сам Штейнер согласно антропософским премудростям, и уже созерцание этого источника некоторых странных ходов мысли русского писателя привело меня к нему на лекцию. На той лекции я был рядом с восторженными фанатиками с горящими глазами. Я начал испытывать жалость к этим несчастным созданиям: они считали Штейнера пророком, который выведет их из земного убожества и отведет в свои небесные области познания. Старая дева Хёнербах (квартирная хозяйка Семпера. – *М.Т.*, *Ф.В.*) была довольна моим скептическим и критическим отношением и говорила, что есть женщины, которые отдаются ему, становятся сумасбродками, убивают себя во имя его. У этого мошенника и бабника, по ее словам, каждая комната была своего цвета, какая-то из них – угольно-черный склеп» (*Semper Johannes.* Matk minevikku II. Lk. 282).

[16] А.А. Тургенева.

[17] В машинописи зачеркнуто «антропософской» (F. 196. M. 28:1. L. 139).

[18] Ср. в автобиографической заметке Белого, опубликованной в январском номере «Новой русской книги» за 1922 г.: «Кроме литературных занятий, почти невозможных, кроме лекций, курсов и т.д., приходилось проделывать ряд служб, как то: пришлось быть помощником архивиста в Русском Архиве (недолго), консультантом по форме и членом Коллегии Литературной Студии Московского Пролеткульта; приходилось служить в Театральном Отделе Наркомпроса (быть членом коллегии исторической, научно-теоретической секции и краткое время быть заведующим научно-теорет. секцией), заведовать краткое время курсами "Дворца Искусств", был членом комитета "Д. И." и одно время организовывать в нем Историко-Археологический отдел; служил я эпизодическим сотрудником Отдела Охраны Памятников Старины, имея поручение извлекать материалы из Музеев по истории коллекций; служил я помощником библиотекаря в Фундаментальной Библиотеке Наркоминдела и т.д. Передо мной стоит калейдоскоп служб, которые все, за исключением Архива, Библиотеки и Пролеткульта, не давали никакого удовлетворения» (Судьба и работы русских писателей, ученых и журналистов за 1918–1922 // Новая русская книга. 1922. № 1. С. 38).

[19] В 1921–1923 гг.

[20] В машинописи зачеркнуто: «к его лирике нельзя подходить с термометром, но с напряжением и душевным порывом» (F. 196. M. 28:1. L. 140).

[21] Далее в машинописи зачеркнуто: «обретает небывалую ранее смелость в концепции стиха» (F. 196. M. 28:1. L. 140).

[22] Отсылка к стихотворению «Соответствия» («Correspondances»; 4-е стихотворение цикла «Сплин и идеал» в сборнике «Цветы зла» в переводе Эллиса – М., 1908): «Природа – строгий храм, где строй живых колонн / Порой чуть внятный звук украдкою уронит; / Лесами символов бредет, в их чащах тонет / Смущенный человек, их взглядом умилен». Самому Семперу принадлежит эстонский перевод этого текста, опубликованный в № 5 журнала «Looming» за 1926 г. (в подборку также вошли переводы стихотворений «Благословение», «Красота», «Дон Жуан в аду», «Авель и Каин»). Отметим, что в своем переводе Семпер использовал несколько иную формулировку: «Käib inimene hiien keset sümboleid» – «Человек гуляет в священной роще среди символов» (*Baudelaire Charles.* Kurja lilledest / Tõlk. J. Semper // Looming. 1926. № 5. Lk. 479). Возможно, формулировка «лес символов» в данном случае отсылает также к фрагменту поэмы Белого «Первое свидание»: «Но верю: ныне очертили / Эмблемы вещей глубины – / Мифологические были, / Теологические сны, / Сплетаясь в вязи аллегорий: / Фантомный бес, атомный лес, / Горюче вспыхнувшие зори / И символов дремучий лес, / Неясных образов законы, / Огромных космосов волна…» (*Андрей Белый.* Первое свидание: Поэма. Берлин: Слово, 1922. С. 14).

[23] Ср. в 6-й части поэмы «Деревня»: «Он надвинул разудало / Шапку на бекрень» (*Андрей Белый.* Стихотворения. Берлин; Пб.; М.: Изд-во З.И. Гржебина, 1923. С. 144). Очевидно, Семпер при работе над статьей пользовался так называемым «гржебинским» изданием стихотворений Белого.

[24] Поэма «Деревня», включенная в подраздел «Глухая Россия» раздела «Пепел» «гржебинского» издания (*Андрей Белый.* Стихотворения. С. 139–151).

[25] Точнее – «Песенка комаринская» (1907); в «гржебинском» издании помещенная в подраздел «Глухая Россия» раздела «Пепел» (*Андрей Белый.* Стихотворения. С. 152–153).

[26] Вскоре после смерти Блока Семпер перевел эту поэму на эстонский язык. Первый вариант перевода был опубликован: *Blok Aleksander*. Kaksteist / Tõlk. J. Semper // Kirjandus–Kunst–Teadus. Päewalehe erileht. 1921. № 33 (26 sept). Lk. 257–261. Второй вариант (с незначительной стилистической правкой) – отд. изд.: *Blok A.* Kaksteist. Petrograd: Eesti Kirjastuse Ühisus, 1922. (Ilukirjandus. № 1). В небольшой заметке к газетной первопубликации Семпер, отмечая актуальность произведения, «которое своим реалистически-метким содержанием и народно-простым тоном привлекло к себе внимание не только в России, но и за границей», подчеркивал, что поэма – «не поверхностная агитационная литература, но произведение искусства с общечеловеческим обликом» (Aleksander Blok. Kaksteist. Lk. 257).

[27] Черновой, зачеркнутый вариант этого предложения: «Мысль в них вьюжит, кипит, получая пищу из подсознания и от властвующего в нем мистического первичного чувства» (F. 196. M. 28:1. L. 140–141).

[28] Черновой, зачеркнутый вариант этого предложения: «Благовоспитанную походку стиха он заставляет спотыкаться, а чинный порядок прозаической фразы он рубит в щепки» (F. 196. M. 28:1. L. 141).

[29] Ср. в статье Семпера «Lahtised lehed (Masinast ja kunstist)» («Нескрепленные листки (О машине и искусстве)»): «Начинается поиск и создание новых слов, ритмическое конструирование фраз, перестройка словесного искусства не только между лесами событий или чувств, но и по-другому: вместе говорят слово и фраза, звук, ритм, мелодия, внутренняя энергия. Почитайте прозаические работы А. Белого и П. Фора: что это – проза или поэзия?» (*Semper Johannes.* Lahtised lehed (Masinast ja kunstist) // Kirjandus–Kunst–Teadus. Päewalehe erileht. 1922. № 26 (3 juuli). Lk. 204).

Черновой, зачеркнутый вариант этого предложения: «В стих втискиваются самые что ни на есть прозаизмы, тогда как прозаическая фраза строится иногда только на звуковом эффекте» (F. 196. M. 28:1. L. 141).

[30] У Семпера – «Королева».

[31] Далее в машинописи зачеркнуто: «по веленью свыше» (F. 196. M. 28:1. L. 141).

[32] В машинописи зачеркнуто: «предложения и отрезки» (F. 196. M. 28:1. L. 141).

[33] Этот фрагмент дается по изд.: *Андрей Белый.* Собрание эпических поэм. Кн. 1: I. Северная симфония. (1-я, героическая); II. Симфония (2-я, драматическая). М.: Изд-во В.В. Пашуканиса, 1917. (Собр. соч. Т. 4). С. 260–261. В оригинале статьи – перевод, выполненный Семпером.

[34] Далее в машинописи зачеркнуто: «Услыхав к тому же о своем страшном назначении, он умер от страха. Вероятно, Кришнамурти растили уже тогда» (F. 196. M. 28:1. L. 142).

[35] Джидду Кришнамурти (1895–1986) – индийский мыслитель, поэт, проповедник, эзотерик. В 1909 г. в возрасте 15 лет вступил в Теософское общество, руководители которого Чарльз Уэбстер Ледбитер и Анни Безант провозгласили его новым мессией и «Звездой Востока». В 1929 г. покинул из-за принципиальных разногласий Теософское общество и стал одиноким «учителем душ». Ср. ироническую характеристику Кришнамурти в написанной для «венгеровского» издания статье Иванова-Разумника 1916 г. «Андрей Белый»: «Восточные теософы – Безант, Ледбитер и их компания – воспитывают теперь (“посвященным” это давно известно) нового “бодисатву”; это некий молодой индус Кришнамурти, коему дано светлое имя “Альцион”; “посвященные” верят, что в лице его является на землю тридцатое, кажется, воплощение Христа. Этот грядущий Христос – а если и не Христос, то вообще великий “Учитель” – является пока... издателем теософского журнала “The Herald of the Star”: таково влияние века машин и печати на современного Мессию! Он еще юн, но скоро его выпустят в мир, если не раздумают и не испугаются своего космического шарлатанства...» (цит. по: *Иванов-Разумник.* Андрей Белый // Русская литература XX века (1890–1910) / Под ред. проф. С.А. Венгерова: В 2 кн. М., 2000. Кн. 2. С. 201).

[36] Далее зачеркнуто: «реалистический» (F. 196. M. 28:1. L. 142).

[37] Ср. в статье Семпера 1919 г. «Romantika Hing» («Дух романтики»): «Американец Эдгар По продолжил ту фантастику, которую начал немецкий романтик Э.Т.А. Гофман, но излагает кошмары и ужасы в математически точном стиле, а не в бесконечной путанице и мешанине фабулы, как Гофман <...>» (*Semper Johannes.* Romantika Hing // Näokatted: Esseede kogu. I. Tartu, 1919. Lk. 20).

[38] Семпер также использует ставшее уже устойчивым сравнение с Джойсом, закрепленное в некрологе Пильняка–Пастернака–Санникова в газете «Известия» за 9 января 1934 г. (см. в наст. изд.).

[39] В машинописи зачеркнут первоначальный вариант этого предложения: «Задолго до техники мелькания свободных мотивов Дж. Джойса в его “Улиссе” это опробовал Белый» (F. 196. M. 28:1. L. 142).

[40] Эти фрагменты даются по изд.: *Андрей Белый.* Кубок метелей. Четвертая симфония. М.: Скорпион, 1908. С. 22–23, 27 (Ч. 1. Подглавка «Мед снежный».), С. 211, 212 (Ч. 4. Подглавка «Песнь из бездны»).

[41] Ср. у Иванова-Разумника: «<...> учителя формы он, ко времени написания романа, пожелал найти в Гоголе. Еще в 1905 году он <...> звал “назад к Гоголю”; и в статьях его этого времени начинает преобладать гоголевская стилистика, о слоге Гоголя он готов написать целое исследование <...>» (*Иванов-Разумник.* Андрей Белый. С. 191); Воронский в сво-

ей статье также отмечал, что «Влияние Гоголя <…> несомненно» (*Воронский А.* Белый Андрей. Стлб. 427).

[42] Роман «Петербург» был завершен в 1913 г.; опубликован в 1913–1914 гг. Неточность, допущенная Семпером в журнальной публикации, была устранена им при подготовке своего «Собрания сочинений» (*Semper Johannes.* Andrei Belõi (1880–1934). Lk. 119).

[43] Далее в машинописи зачеркнуто: «безмолвными» (F. 196. M. 28:1. L. 143).

[44] Далее в тексте машинописи идет: «Однако оснащенную часовым механизмом и заведенную сардинницу сенатор по рассеянности относит в другую комнату. Сына в последний момент охватывает раскаяние, он ищет бомбу, чтобы выбросить ее в реку, но нигде ее не находит» (F. 196. M. 28:1. L. 143).

[45] Ср. в статье Иванова-Разумника: «<…> бомба взрывается ночью в пустом кабинете, убивая духовно и отца, – он думает, что сын хотел его убить, и сына, – он не может разуверить в этом отца» (*Иванов-Разумник.* Андрей Белый. С. 193).

[46] Черновой вариант этого предложения: «Визионерски предугадывается в будущем наплыв желтых азиатских орд, которые затопляют Европу своим хаосом» (F. 196. M. 28:1. L. 143). Ср. в статье Воронского: «Революция 1905 воспринимается Б<елым> в “Петербурге” как нашествие желтых азиатских полчищ, тамерлановых орд, готовых потопить в океанах крови Россию, Запад, культуру» (*Воронский А.* Белый Андрей. Стлб. 425).

[47] Семпер имеет в виду изданные в 1926 г. романы Белого «Московский чудак» и «Москва под ударом» и не упоминает вышедший в 1932 г. роман «Маски». В варианте статьи для собрания сочинений он исправляет эту неточность: «трехтомная “Москва” (1926–1932)» (*Semper Johannes.* Andrei Belői (1880–1934). Lk. 119).

[48] Ср. в статье Воронского: «Б<елый> владеет тайной художественной детали и, может быть, даже злоупотребляет иногда этой способностью, своим чутьем видеть самое мелкое, с трудом отличаемое и улавливаемое» (*Воронский А.* Белый Андрей. Стлб. 428).

[49] Встреча Белого с Жаном Жоресом в Париже в декабре 1906 г. описана в мемуарах «Между двух революций», вышедших отдельной книгой в апреле 1935 г. (на обложке – 1934 г.). Однако исходя из времени написания статьи (март 1934 г.) Семпер опирался на публикацию главы о Жоресе в журнале «Новый мир» (1933. № 10. С. 123–133), предваряющую выход книги. Поэтому этот мемуарный фрагмент приводится по журнальной публикации с указанием не отмеченного в статье Семпера пропуска в цитате.

[50] В работе 1911 г. Семпер уделил этой статье целый фрагмент: «Вряд ли мы найдем символиста, который не видит в себе влечения все объединять и сосредоточить вокруг определенного центра. Но вряд ли найдется и такая точка обзора, с которой можно все гармонически рассмотреть. Пусть так, последнее очень понятно, почти в каждом символисте прорывается желание достичь известного синтеза, который бы нес в себе всю полноту и совершенство. <…> В последнее время Белый кажется занятым великими построениями. В своей работе “Эмблематика смысла” он охватывает гениальным взглядом явления духовного творчества человека и пытается их, т.е. ряд опыта и ряд творчества, в итоге свести в единый воплощенный символ. Но, как он сам говорит, все его построение только “пролегомены пролегомен”, и пока еще о единой теории символизма, которая объединила бы все явления и суть явлений, не может идти и речи. Это задача будущего» (*Semper Johannes.* Sümbolismus ja Saksa romantismus. Lk. 450–451).

[51] В статье «Смысл искусства» (1907), вошедшей в сб. «Символизм», Белый писал: «Теория символизма соприкасается с теорией познания в коренном вопросе: есть ли познание творчество? Или обратно: есть ли творчество лишь особая форма познавательной деятель-

ности? И современная теория познания, выдвинувшая этот вопрос, сделала решительный и неожиданный шаг в сторону символизма. Я говорю о школе Виндельбанда, Риккерта и Ласка, решивших вопрос таким образом, что отныне в *вопросе о примате творчества над познанием теоретики символизма невольно соприкасаются с фрейбургской школой*» (*Андрей Белый.* Символизм: Книга статей. М.: Мусагет, 1910. С. 230).

[52] В машинописи эта часть начиналась позднее вычеркнутыми предложениями: «В каждой публикации чувствуется интенсивная работа ума Белого, как и в стихе и романе. Но его ум не организующий и статичный, а вьюжно-динамичный. Ум перепрыгивает через им самим построенные заборы» (F. 196. M. 28:1. L. 144).

[53] Далее в машинописи зачеркнуто: «Искусство, напр<имер>, может только символизировать этот символ» (F. 196. M. 28:1. L. 145).

[54] Далее в машинописи вписано от руки: «Но во времена Белого еще не интересовались экзистенциальной философией» (F. 196. M. 28:1. L. 145).

[55] Ср. в «Записках чудака» (глава «Льян»): «Когда мы потом заработали (в Дорнахе) над деревянною формой порталов Иоаннова Здания, <...> я вдруг узнавал по градации граней – градации ритмов космической мысли; страну *живомыслия* я узнавал: *Иоанново Здание* стало мне образом феоретических путешествий; и оплотнением мыслелетов, слагающих тело духовной культуры» (*Андрей Белый.* Записки чудака: В 2 т. М.; Берлин: Геликон, 1922. Т. 1. С. 46–47).

[56] Ср. с описанием Гетеанума в «Записках чудака» (глава «Иоанново здание»): «Представьте четырнадцать гранных и мощных колонн <...>; колоннада обходит пространство отчетливым кругом; асимметрично стоит пятигранник колонны, на шестиграннике цоколя; все четырнадцать цоколей, как колонны, из дерева; и отношение углов пятигранников к шестигранникам переменяется всякий раз; по отношению к цоколю ассиметрична колонна, как бы образуя капризнейший сдвиг; сумма сдвигов слагает гармонию <...>» (*Андрей Белый.* Записки чудака. С. 86–87).

[57] В машинописи зачеркнуто: «обстановка, народный бунт 1905 и 1917 гг.» (F. 196. M. 28:1. L. 146).

[58] Ср. со стихотворением Белого «Аргонавты» (1903): «Наш Арго, / Готовясь лететь, золотыми крылами – / Забил» (*Андрей Белый.* Стихотворения. С. 53).

[59] Отсылка к стихотворению А. Блока «Поэт» (1905): «Ему хочется за море, / Где живет Прекрасная Дама. / А эта Дама – добрая? / Да. / Так зачем же она не приходит?, Она не придет никогда: / Она не ездит на пароходе» (*Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 2: Стихотворения. Книга вторая (1904–1908). С. 59).

[60] Семпер пишет в воспоминаниях: «По Ариадниной нити упомянутой библиографии я блуждал по лабиринту, который надолго привлек к себе мои интересы. <...> На этом духовном пути я наткнулся также на А. Жида. Кто-то назвал его произведения раем отчаяния. Отчаяния я в них не нашел, зато нашел опьянение земными плодами, которые опьяняли и меня» (*Semper Johannes.* Matk minevikku I. Lk. 178). Благодаря инспирированному Белым увлечению символизмом Семпер открыл для себя творчество Андре Жида, ставшего «его» автором до такой степени, что вон защитил в Тартуском университете диссертацию на степень магистра «Структура стиля Андре Жида» (André Gide'i stiili struktuur, 1929).

[61] Ср.: «Все, что люблю я на Западе, невольно как-то связано для меня с Германией. Андерсен, Гете, Бетховен и Уланд с первых лет моей жизни посвятили меня в дух германских народностей» (*Андрей Белый.* Автобиографическая справка. С. 152).

[62] Далее в машинописи зачеркнуто: «Белый многое почерпнул от немецких мистиков. В Белом со всей очевидностью обнажается родство славянского и германского динамическо-мистического ощущения жизни» (F. 196. M. 28:1. L. 146).

[63] Далее в машинописи зачеркнуто: «А затем эта шутка сама начинает как-то жить, расти, набухать, сиять, пока, в свою очередь, не лопнет как мыльный пузырь» (F. 196. M. 28:1. L. 146).

[64] Отсылка к стихотворению А. Блока «Балаганчик» (1905): «Вдруг паяц перегнулся за рампу / И кричит: “Помогите! / Истекаю я клюквенным соком! / <…>”» (*Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 2. С. 58), равно как и к реплике Паяца из драмы «Балаганчик» (1906 г.).

[65] Один из излюбленных Белым образов – ср., напр., в «Воспоминаниях о Блоке»: «В испытаниях смертью “Я”, “Ich” распадается в “I” и “ch”; <…> Дамасский свет высекает в распаде “Ich” на “I” и “ch” символ “I.ch”: Iesus Christus» (цит. по: *О Блоке 1997.* С. 408); в предисловии к поэме «Христос воскрес» для «гржебинского» издания: «<…> в этой теме каждое “Я” или Ich становится I.Ch – монограммой божественного “Я”» (*Андрей Белый.* Стихотворения. С. 349); а также развернутый фрагмент (№ 53) в «Глоссолалии» (*Андрей Белый.* Глоссолалия: Поэма о звуке. Берлин: Эпоха, 1922. С. 84–85; на обложке ошибочно набрано «Глоссалолия»).

[66] Героиня «Записок чудака», прототипом которой была А.А. Тургенева.

[67] Ср. в «Записках чудака» (глава «За границей сознания»): «Теперь мы спустилися с гор, пересекаем равнины; мы, Персевали, – которым виденье Мон-Сальвата открылось: на миг. Мы должны годы странствовать, чтобы найти вновь тот Храм… Percé le vallè: Пер-се-валь. Да, мы – Персевали…» (*Андрей Белый.* Записки чудака. С. 159).

[68] Имеется в виду изданная за счет автора книга Аугуста Лаурия «Eestlased. Inimsoo ürgisad ja ürgaja keel. Keele wõti» – «Эстонцы. Прародители человечества и язык правремен. Ключ к языку» (Pärnus, 1926). Лаурий утверждал, что эстонский язык является «первоязыком», «языком, который остался не тронутым вавилонским смешением языков», «языком языков, ключом ко всем языкам» (Ibid. Lk. 78). Несмотря на полную неизвестность автора, его книга не прошла незамеченной в эстонской прессе. Историк Юхан Либе (1904–1947) отмечал, что это произведение «интересно, конечно, не своими результатами, не как концепция, а своими ширящимися мыслительными процессами, интересно как явление» (*Libe Juhan.* August Laurij: Eestlased. Inimsoo ürgisad ja ürgaja keel. Keele wõti. Autori kirjastus, Pärnus, 1926 // Eesti kirjandus. 1927. № 5. Lk. 296).

[69] Sõber (*эст.*) – друг. Имеется в виду следующий фрагмент из книги Лаурия: «Слово “sõbrad” (*эст.* друзья. – *М.Т.*, *Ф.В.*) означает то же самое, что в русском языке “sobrat” (собратъ). В смысле русского языка это: собрат, товарищ, приятель; в немецком языке: Mitbruder, Gefährte; в английским языке: fellow (читай fello), вернее vello или wello; из слова “sõbrad” взято русское “brat” (братъ), т.е. wend или wello, welle. От того же самого корня в нем. яз. Bruder и в англ. яз. brother ([sõ]brud[er], [sõ]broth[er])» (*Laurij August.* Eestlased. Inimsoo ürgisad ja ürgaja keel. Keele wõti. Lk. 72).

[70] Ср. в предисловии к «Глоссолалии»: «Было бы совершенно превратно в “*Глоссолалии*” видеть теорию, собирающуюся кому-то что-то доказать. <…> “*Глоссолалия*” есть звуковая поэма. Среди поэм, мной написанных (“*Христос Воскресе*” и “*Первое Свидание*”), она – наиболее удачная поэма. За таковую и прошу я ее принимать. Критиковать научно меня – совершенно бессмысленно» (*Андрей Белый.* Глоссолалия. С. 9–10).

[71] Иванов-Разумник в статье о романе «Петербург» приводит «слова самого Андрея Белого из одной неизданной его заметки (31 авг. 1921 г.)» (имеется в виду запись из днев-

ника «К материалам о Блоке» – см.: *О Блоке 1997*. С. 465): «...Я, например, знаю происхождение содержания “Петербурга” из *л– к–л – пп–пп – лл*, где “к” звук духоты, удушения от “пп–пп” – давления стен аблеуховского желтого дома; а “лл” – отблески “лаков”, “лосков” и “блесков” внутри “пп” – стен, или оболочки “*бомб*ы” («Пепп Пеппович Пепп»). А “пл”, носитель этой блещущей тюрьмы – А*полло*н А*полло*нович А*бл*еухов; а испытывающий удушье “к” в “п” на “л” блесках есть Ни*кол*ай А*пол*лонович, сын сенатора» (цит. по: *Иванов-Разумник*. «Петербург» // Андрей Белый: pro et contra. СПб., 2004. 2004. С. 614–615).

[72] Ср. в статье Воронского: «Влияние Б<елого> на современную лит-ру до сих пор остается очень сильным. Достаточно отметить Бор. Пильняка <...>» (*Воронский А*. Белый Андрей. Стлб. 429). Кроме того, эта точка зрения была очень распространена в критике 1920–1930-х – ср., напр., выразительное название статьи В. Шкловского «Эпигоны Андрея Белого: II. Борис Пильняк» (см.: *Шкловский В.Б.* Пять человек знакомых. Тифлис, 1927. С. 69–91).

[73] Ср. в предисловии к сб. «После разлуки»: «Прослеживая жизнь знаков, мы видим индивидуализм у писателей: “точка” есть знак прозы Пушкина, “*точка с запятой*” – Толстого; “*двоеточие*” мой знак; “*тирэ*” – знак, излюбленный модернистами» (*Андрей Белый*. Будем искать мелодии // Андрей Белый. После разлуки: Берлинский песенник. Пб.; Берлин: Эпоха, 1922. С. 11).

[74] Фридеберт Туглас – подробнее о нем см. прим. к послесловию.

[75] Аугуст Гайлит (1890/91–1960) – эстонский прозаик. В начале творческого пути испытал влияние модернизма (неоромантизма). С 1922 г. некоторое время проживал в Берлине, где и мог познакомиться с Андреем Белым.

[76] В статье «О будущей русской культуре» Семпер посвятил фрагмент описанию этого доклада: «В своей в Берлине произнесенной речи А. Белый конкретизирует свои взгляды на приведенных явлениях из русской культуры. В нынешней России у среднего человека забрано все, на чем основывалась его прошлая жизнь: вера в стабильность обстановки, мораль, государственность. Сознание у него теперь должно работать каждый миг. Вместо прежних автоматических движений следует постоянно смотреть прямо в глаза жизни. (Раньше нажал на кнопку, дверь распахнулась, теперь же стучись аж до боли в костях; раньше тепло в комнате было под рукой, теперь же тащи дрова, ищи спичку, оббегай полгорода.)

Но во всем этом видимом хаосе начинает пульсировать новая жизнь. Формы у нее еще нет, в старые оболочки она не вмещается. Обычный гражданин исчез вместе со своим “здравым смыслом”. Он просто сметен в сторону, идет ко дну. Другие поднялись из этого хаоса на абстрактные высоты, отрицали настоящее и прокармливались воспоминаниями. Третьи отдались “производству бумаги”, отрицали каждый зеленый росточек, который где-то пророс, и были усердно заняты тем, чтобы залить нивелирующим асфальтом всевозможные, даже самые маленькие всходы.

Из тех же, кто прямо смотрел на жизнь открытыми глазами, кто не утратил своей личности под сиротливыми партийными ярлыками, кто не пал под жестокими тумаками экспериментов, но пробудился для нового сознания, из них народилась и нарождается новая порода людей» (*Semper Johannes*. Vene tulevasest kultuurist // Kirjandus–Kunst–Teadus: Päewalehe erileht. 1922. № 14 (1 apr). Lk. 112; № 15 (8 apr). Lk. 113).

Белый в то время неоднократно выступал с лекциями по проблемам культуры– например, согласно *РД*, в январе 1922 г. были прочитаны: публичная лекция «Культура России» (см.: *Андрей Белый*. Культура в современной России // Новая русская книга. 1922. № 1. С. 2–6) и публичная лекция «Культура духа» (см.: *Андрей Белый*. О духе России и «духе» в России // Голос России. 1922. № 908 (5 марта). С. 5–6).

[77] В машинописи фраза начиналась: «Он бежит обратно на свои позиции за столом» (F. 196. M. 28:1. L. 148).

[78] Озеро, расположенное недалеко от Вандлица (25 км к северу от Берлина), где Семпер отдыхал в мае–июне 1923 г. Опираясь на переписку Семпера, можно предположить, что описанная далее встреча с Белым, вероятнее всего, относится к концу июня 1923 г. См. прим. 85.

[79] Имеется в виду Виктор Михайлович Чернов (1873–1952), один из лидеров партии социалистов-революционеров (с 1902 г.). После Февральской революции занимал пост министра сельского хозяйства во Временном правительстве, в январе 1918 г. был избран председателем Учредительного собрания. В 1920 г. эмигрировал сначала в Эстонию, потом в Чехословакию и Францию.

[80] Имеется в виду партия эсеров. Еще в 1917 г., находясь в Петрограде, Семпер тоже стал членом партии социалистов-революционеров, затем являлся участником социал-революционной партии Эстонии; в 1919–1920 гг. был членом Учредительного собрания Эстонии.

[81] Имеется в виду Николай Сергеевич Русанов (1859–1939) – писатель, журналист, деятель революционного движения (сначала народник, потом эсер).

[82] См. его рассказ о встрече с И.С. Тургеневым в 1880 г.: *Русанов Н.С.* Из литературных воспоминаний // Былое. 1906. № 12. С. 43–46.

[83] Жена Ф.К. Сологуба, писательница и переводчица Анастасия Николаевна Чеботаревская (1876–1921), покончила жизнь самоубийством. Ср., напр., в мемуарах М.А. Зенкевича: «Анастасия Чеботаревская, жена Сологуба, ушла из дому и бросилась в Неву в припадке психического расстройства. Сологуб как сумасшедший бегал по всему городу и расклеивал свои объявления, не верил в ее смерть и каждый день, садясь за стол, накрывал для нее прибор» (*Зенкевич М.* Эльга: Беллетристические мемуары. М., 1991. С. 11–12).

[84] Ср. в мемуарах художника В. Милашевского: «Через всю небольшую комнату, почти всю занятую большим обеденным столом, под потолком были протянуты две веревки или бечевки. <...> На “бечевах” висели или болтались разные корешки, сучочки забавной формы! Странные, вычурные, забавные, смешные и фантастические!

Ремизов их называл “ЧЕРТЯГАМИ”. <...>

Каждый “божок” имел свое название, свое – ИМЯ.

Алексей Михайлович произносил их имена с понижением голоса, с тайной “доверительностью” и благоговейным трепетом!

Разумеется, все это была игра, но игра вдохновенная» (*Милашевский В.* Вчера, позавчера...: Воспоминания художника. М., 1989. С. 156).

[85] Семпер ошибается. В Цоссене (предместье Берлина) Белый жил в 1922 г. (с начала мая по начало июля), а потом перебрался в Берлин. Вероятнее всего, Белый приехал в Вандлиц из Берлина, где проживал с конца июня 1923 г. (Андрей Белый. Хронологическая канва жизни и творчества / Сост. А.В. Лавров // Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. М., 1995. С. 320).

[86] Имеется в виду К.Н. Васильева (с 1931 г. Бугаева), которая была в Германии с января по конец июля 1923 г.

[87] Издававшийся с мая 1923 г. по март 1925 г. М. Горьким в Берлине журнал литературы и науки (вышло 7 номеров).

[88] Белого привлек к работе в журнале Горький, встречи с которым происходили в ноябре–декабре 1922 г. и феврале–марте 1923 г. Белый принимал «ближайшее участие» в

издании журнала до № 4. В «Беседе» были опубликованы его статьи «О “России” в России и о “России” в Берлине» (Кн. 1. С. 211–236) и «Антропософия и д-р Ганс Лейзеганг» (Кн. 2. С. 378–392), а также три главки берлинской редакции мемуаров «Начало века» («Бельгия», «Переходное время» и «У Штейнера» под общим заголовком «Из воспоминаний» (Кн. 2. С. 83–127).

[89] Показательно, что в варианте статьи 1971 г., опубликованном в Собрании сочинений, Семпер заменил «блоковскую» характеристику «teadvusetu» – «бессознательный» (ср. в поэме «Двенадцать»: «Бессознательный ты, право» – цит. по: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1999. Т. 5: Стихотворения и поэмы (1917–1921). С. 18) на более характерную для Белого «iseteadlik» – «самосознающий» (*Semper Johannes.* Andrei Belõi (1880–1934). Lk. 127).

Перевод с эстонского, подготовка текста, комментарии и послесловие
Марии Тамм и Федора Винокурова (Эстония)

Эмил Димитров (Болгария)

СМЕРТЬ АНДРЕЯ БЕЛОГО В БОЛГАРСКОМ КОНТЕКСТЕ[1]

Смерть Андрея Белого нашла сравнительно широкий отклик в болгарской печати. В числе периодических изданий, опубликовавших некрологи русскому поэту-символисту, следует отметить главную литературную газету Болгарии тех лет – «Литературен глас» (1928–1944), в которой был опубликован перевод части воспоминаний Мих. Осоргина[2], напечатанных в парижских «Последних новостях»[3]. И еще – «Славянский календарь» за 1935 г., в котором в «Летописи событий» за январь предыдущего, 1934 г. было отмечено: «Скончался в Москве известный писатель Андрей Белый (Б.Н. Бугаев) в возрасте 53-х лет»[4]. Но это далеко не все; были и другие, оригинальные болгарские некрологи, о которых речь пойдет ниже.

Как объяснить такое внимание в Болгарии к печальному событию? Болгарская литературная публика хорошо знала Белого, но его влияние в Болгарии было несравнимо слабее, чем влияние К. Бальмонта[5] или Ал. Блока[6]. Тем не менее Белого отрывочно переводили с 1909 г.[7] Следует учесть, однако, что в то время в Болгарии перевод не являлся непременным условием известности (или неизвестности) какого-либо русского поэта или писателя. Более значим был вопрос доступности русских книг и периодических изданий. В этом плане важнейшим событием стала первая выставка русских книг, приуроченная к состоявшемуся в 1910 г. в Софии Всеславянскому собору: «У молодых людей она вызвала огромную радость, потому что мы впервые смогли увидеть все новые русские книги, о которых лишь мечтали. Новые журналы, издания разнообразных “библиотек”, произведения самых современных русских писателей – М. Горького, Л. Андреева, И. Бунина, К. Бальмонта, В. Брюсова, А. Белого, А. Куприна и др. – можно было видеть на выставке совсем недолго, потому что самые ценные (или самые модные) из них были расхватаны еще в первые дни»[8].

В начале XX века болгарская культура была связана с русской по принципу «сообщающихся сосудов»: факты стремительно развивающейся русской культуры тотчас же становились фактами и болгарской культуры, но такими фактами, которые были «очищены» от всего случайного и постороннего; «факты» становились «факелами». Русская литература переживалась в Болгарии как источник «парадигм» и «вех», как что-то близкое и понятное, хотя и «иное», как свое «чужое», дававшее чувство потерянной сопричастности всемирной литературе. В этом смысле русская литература имела освобождающее воздействие, продолжала миссию, осуществлявшуюся Россией в Болгарии четверть века назад (1877–1878). При этом русские книги – а следовательно, русские поэты и писатели – находили своих читателей и друзей без промедления: «Немедленно после выхода в свет в Москве, в Петербурге или на Западе мы располагали книгами Горького, Л. Андреева, Бунина, Бальмонта и Брюсова, Куприна, Вересаева и др. <...> В эту эпоху <...> ж<урнал> “Весы”, в котором печатались Ал. Блок, А. Белый, С. Городецкий и другие, имел в Болгарии почти

четверть своих подписчиков»[9]. Даже если мемуарист сильно, хотя и невольно, преувеличивает масштабы распространения «Весов» в Болгарии, есть все основания утверждать, что пропорционально, так сказать, «на душу населения», русские символисты были более популярны в Болгарии, чем в самой России.

Отсюда понятна и естественна известность Белого в Болгарии. Первый случай его влияния можно зафиксировать в 1912 г., когда поэт Христо Цанков, выступавший под псевдонимом Дерижан, опубликовал стихотворение «По пътя на живота» («По дороге жизни»), предварив текст эпиграфом из стихотворения Белого «Один» (1900) «И встает невольно / Скучный ряд годин...»[10].

* * *

Смерть писателя тоже есть *некий текст*; в Болгарии смерть Андрея Белого была осмыслена в трех разных контекстах, обусловленных влиянием трех важных литературно-идеологических течений, характерных в период между двумя мировыми войнами для Болгарии и не только для Болгарии. Речь идет о (нео)славянофильском, литературно-эстетическом и литературно-политическом направлениях, часто перекрещивающихся между собою. В этом смысле можно говорить о трех разных прочтениях творчества Белого в Болгарии, точнее — о трех разных «интересах» к нему.

Во-первых, имя Андрея Белого становится известным в Болгарии в широком контексте славянского движения, имевшего довольно продолжительную и богатую историю в «классической стране славянской культуры». Речь идет не только об упомянутом выше Всеславянском соборе[11] и первой выставке русских книг, но и о том, что журнал «Българска сбирка» («Болгарское собрание»), в котором Белый впервые был напечатан по-болгарски, издавался С.С. Бобчевым (1853–1940)[12], многолетним и бессменным (1903–1940) председателем Славянского общества (Славянско дружество) в Болгарии[13]. Неотъемлемой частью его деятельности было книгоиздательство, организованное вокруг главного периодического издания общества — журнала «Славянски глас» (1902–1940). Отсюда становится понятно, что это издание откликнулось на смерть Белого как бы в «обязательном» порядке:

Андрей Белый[14]

Восьмого января с.г. в Москве, в возрасте 53 лет, скончался выдающийся русский поэт Андрей Белый — псевдоним *Бориса Николаевича Бугаева*, сын знаменитого русского математика и профессора Московского университета Н. Бугаева.

Андрей Белый — русский поэт с мировым именем. Он хорошо известен и в кругах наших поэтов-символистов, потому что А.Б. — один из самых выдающихся и ярких представителей молодого поколения русских символистов. По общему признанию, его поэзия и вообще литературные его вещи носят на себе печать гениальности. Из его сборников стихов упомянем здесь следующие: «Золото в лазури», «Пепел», «Урна», «Первое Свидание». — Прозаические сочинения: квадрилогия «Симфонии» — Первая героическая симфония, Вторая драматическая симфония, Третья симфония («Возврат»), Четвертая симфония («Кубок метелей»); «Серебряный голубь», «*Петербург*», «Котик Летаев» и «*Москва*» в двух частях: I. «Московский чудак» и II. «Москва под ударом». Большинство среди последних упомянутых сочинений носят автобиографический характер.

Белый является и автором множества опытов («эссе»). Мы рекомендуем нашим читателям познакомиться с замечательной характеристикой, которую посвятил покойному поэту его собрат по поэтическому братству и соратник на поэтическом поприще, критик и поэт Влад. Ходасевич – в трех номерах газ. «Возрождение» за февраль 1934 г. (номера от 8, 13 и 15 февраля)[15], как и с воспоминаниями поэтессы Марины Цветаевой[16] «Пленный дух», опубликованными в «Современных записках», кн. 55.

Славянски глас. Год. XXVIII. 1934. № 1. С. 52–53

* * *

Во-вторых, совершенно естественно то, что Белого в Болгарии сразу восприняли как одного из лидеров русского символизма, как создателя новых эстетических форм и литературных приемов. В разные периоды своего творчества у Андрея Белого учились и за ним следовали такие болгарские поэты-символисты, как Гео Милев (1895–1925), Людмил Стоянов (псевдоним Георгия С. Златарева, 1888–1973), Иван Грозев (единственный болгарин – последователь Белого и Р. Штейнера, 1872–1957)[17] и др. В этом же контексте следует упомянуть и о личных встречах молодых болгарских интеллектуалов с деятелями русской культуры той поры. Здесь особо следует отметить поэта, художника и художественного критика Сирака Скитника (псевдоним Панайота Тодорова, 1883–1943)[18] – ученика Л. Бакста и М. Добужинского в 1908–1912 гг., корреспонденции которого о художественной жизни Санкт-Петербурга печатались в журнале «Демократически преглед»[19]. Болгарское «культурное предание» утверждает, что он бывал на «Башне» у Вяч. Иванова; но даже если это всего лишь легенда, глубинная связь болгарского поэта и художника с русским символизмом, проникнутость его творчества веяниями русского (даже сугубо петербургского) «околосимволистского» искусства вне всякого сомнения. Неудивительно, что его именем (точнее, инициалами псевдонима – С.С.[20]) подписан некролог в газете «Литературен свят» («Литературный мир»):

С.С.

Андрей Белый

Восьмого января в Москве скончался Андрей Белый, сын московского профессора математики Н.В. Бугаева, сам – воспитанник физико-математического и филологического факультетов Московского университета. Родившийся в 1880 г., Андрей Белый закончил свое образование в 1906 г., но начал свою писательскую деятельность еще в 1901 году.

В период с 1903 по 1912 гг. Белый был самым увлеченным членом всевозможных русских литературных кружков, активно работал в журналах символистов; он со страстью взялся за изучение религиозных и философских проблем того времени и был близким сотрудником и неистощимым деятелем в «Весах», «Золотом руне», «Критическом обозрении», в издательстве «Мусагет», в кружке «Свободная эстетика», в Московском религиозно-философском обществе и пр.

С 1912 по 1916 г. А. Белый жил за границей, где полностью погрузился в антропософские идеи Рудольфа Штейнера и вступил с ним в тесные отношения. Как активный член Антропософского общества, он выступал с публичными лекциями по всей Европе и бывал в Тунисе, Египте и Палестине. Первые два года войны он провел в Швейцарии, где принял личное участие в воздвижении недалеко от Базе-

ля известного, позднее сгоревшего, антропософского храма «Гетеанум». К войне он относился резко враждебно, что вело к сближению с левыми политическими партиями. Независимо от этого, однако, в 1916 г. он вернулся в Россию и вступил в тесные отношения с Блоком и Ивановым-Разумником (группа «Скифы»), а после революции активно работал в «Вольной философской ассоциации», в «Тео», в московском Пролеткульте и во Дворце Искусств.

В 1921 г. А. Белый снова оказался за границей, где начал работу над своим огромным трудом — многотомной эпопеей о личной жизни и русских событиях. Его неспокойный и бурный темперамент, однако, не смог примириться с послевоенной Европой, и в 1923 году, не закончив свой труд, он снова вернулся в Россию. Последние годы провел в нищете, не участвуя активно в общей писательской жизни. Белый скончался в возрасте 53 лет.

Оценка его творчества и личности — дело слишком сложное; в первую очередь нужно отметить, что оставленное им литературное наследие огромно, а еще значительнее его духовное наследство, сохраненное в воспоминаниях тех, с кем его жизнь была тесно и близко связана.

Андрей Белый не был, разумеется, «советским» писателем[21]; он был русским писателем крупного масштаба и одним из самых выдающихся людей нашего времени.

Литературен свят. София. 1934. № 5. 1 февруари. С. 4.

Слово прощания Сирака Скитника в газете «Литературен свят», как и публикация в газете «Литературен глас» фрагментов мемуарного очерка Осоргина о Белом, есть дань уважения памяти русского символиста со стороны представителей литературно-эстетического направления в болгарской культуре. В данном случае кажется не столь важным, как этот жест почтения и признательности выражен: оригинальной статьей или переводом, ведь сам выбор «чужого» текста также является знаком сомыслия и сопричастности.

* * *

В-третьих, с начала 1920-х к творчеству Белого сильнейший интерес проявляют левые болгарские поэты и писатели, видящие в нем яркого и неожиданного «певца революции». Время толкало к политическому прочтению литературы, и естественно, что в Болгарии, где левые радикальные идеи находили благоприятную почву в среде интеллигенции, творчество Андрея Белого оказалось пригодным как раз для такого «прочтения». В русском скитальце стали видеть желанного «попутчика». О таком «монофоническом» восприятии говорит быстро растущая в 1920-е популярность поэмы Белого «Христос воскрес»[22]. Ее сильное влияние на поэмы Ем. Попдимитрова (1885–1943) «Россия» (1920) и Г. Милева «Сентябрь» (1924) считается общепризнанным литературным фактом[23]. Неудивительно, что как раз это произведение Белого — первая переведенная на болгарский книга поэта[24], а ее издатель — тот же Г. Милев; перевод был встречен тепло, хотя не без критических замечаний[25].

Левые болгарские литераторы, представители литературно-политического направления, тоже достойно проводили Андрея Белого. Часть из них, вроде Л. Стоянова, были ранее символистами. Попрощавшись с одним из своих авто-

ритетнейших учителей, они тем самым разделались со своим собственным прошлым. «Последний рыцарь символизма» – так они характеризовали Белого в шапке посвященной ему и его уходу полосе газеты «Щит». Некролог, подписанный литерой «М», по всей видимости, принадлежал перу известного критика Д.Б. Митова (1898–1932)[26]:

Андрей Белый скончался[27]

Восьмого января в Москве скончался Андрей Белый. Он – сын московского профессора математики Ник. Вас. Бугаева, да и сам учился на физико-математическом и филологическом факультетах Московского университета. Родился в 1880 г., закончил университет в 1906 г., но еще в 1901 г. начал свою писательскую деятельность.

В период 1903–1912 гг. Белый был самым увлеченным членом литературных кружков, работал в символистских журналах, целиком погружался в изучение проблем религии, теософии и эзотеризма, сотрудничал в «Весах», «Золотом руне», «Критическом обозрении», издательстве «Мусагет», участвовал в кружке «Свободная эстетика», в Московском религиозно-философском обществе, в Обществе ревнителей русской словесности и пр.

С 1912 по 1916 г. он почти постоянно жил за границей. Это – период его сильнейшего увлечения идеями основателя антропософии Рудольфа Штейнера, с которым А. Белый состоял в тесных отношениях. В качестве члена антропософского общества он объехал всю Европу ради укрепления связей и выступления с лекциями. До того он был в Тунисе, Епире[28], Палестине. Первые два года войны он провел в Швейцарии (в антропософском «гнезде» Дорнах, недалеко от Бадена[29]), где принял личное участие в воздвижении известного, позднее сгоревшего, антропософского храма «Гетеанум». К войне он относился резко отрицательно, сблизился с Блоком и Ивановым-Разумником (группа «Скифы»), а после революции принял активное участие в «Вольной философской ассоциации», в «Тео», во Дворце Искусств и др.

В 1921 г. А. Белый уехал в Европу. Там он начал свой огромный труд – многотомную эпопею личной жизни и русских событий. Разорванная на отдельные книги, она осталась незаконченной в том виде, в котором была задумана. Человек бурный, вечно неспокойный, он не мог жить в Европе; к тому же и с антропософами Белый не жил в полном согласии. Его берлинская жизнь была кошмаром, и он наконец-то, осенью 1923 г., вернулся в Россию.

Щит. Год. I. 1934. № 18. 24 януари. С. 3.

«Щит» – левая еженедельная газета «о литературе, искусстве и общественной мысли», издававшаяся под редакцией того же Людмила Стоянова, которая открыто выражала свою позицию «в защиту советской культуры»[30] и пристально следила за процессами в литературе и культуре Советского Союза. Кроме некролога, сопровожденного графическим портретом Белого, редакция опубликовала еще перевод (с незначительными сокращениями) статьи К. Локса «Памяти Андрея Белого» и небольшую заметку «Советские писатели об Андрее Белом» (оба материала – из «Литературной газеты» за 11 января 1934 г.[31]), а также стихотворение Белого «Родине» («Рыдай, буревая стихия...») в переводе Н. Хрелкова и А. Тодорова. Следует попутно заметить, что в его биографической части текст опублико-

ванных некрологов в газетах «Щит» и «Литературен свят» — почти один и тот же (ошибки публикации в первой газете были устранены во второй), но выраженная позиция Сирака Скитника резко отличается от просоветской тенденции газеты «Щит». Таким образом, в «споре некрологов» косвенно отражается «спор о наследстве» русского поэта и мыслителя.

В 1920-е дебютировало в литературе поколение, родившееся в начале XX века и не попавшее под прямое воздействие символизма; зато оно было затронуто революционной романтикой и опытами социальной инженерии в стране, традиционно ощущаемой в Болгарии родной, близкой, ближней. «Дети» были намного радикальнее «отцов» и не чувствовали себя связанными правилами литературного этикета: для них почтительность к предкам и к кумирам недавнего прошлого — необязательная добродетель. Тем не менее среди изданий, попрощавшихся с Андреем Белым, встречаем и ярко тенденциозную, партийно-коммунистическую, так сказать, болгаро-советскую газету, «Р.Л.Ф.» («Рабочий литературный фронт»; 1929–1934). Она тоже по достоинству отметила уход поэта: узнала «своего». Это не должно нас удивлять, потому что газета пристально следила за процессами в советской литературе и за организацией «творческих сил» в Союзе писателей. Подводя итоги Первому пленуму Оргкомитета ССП, «Р.Л.Ф.» заблаговременно отметила, что «в Союзе советских писателей будут объединены и писатели вроде Андрея Белого, который тоже будет бороться за осуществление социализма»[32]. На смерть Белого газета опубликовала перевод бойкой статьи А. Болотникова[33] из «Литературной газеты», предварив ее анонимным редакционным вступлением:

Умер Андрей Белый[34]

Восьмого числа сего месяца в Москве скончался известный и в Болгарии русский поэт, писатель и теоретик Андрей Белый (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева). Белый — один из последних представителей русского символизма. Он родился в 1880 г. в семье известного математика, профессора Московского университета. Писатель вырос среди ученых, писателей, художников. Поступивши в Московский университет, он изучал математику и естествознание. Изучал и символизм, к которому он испытывал влечение еще до своего поступления в университет, и вступил в борьбу с Дарвином и Миллем, чьи имена в то время были написаны на знамени русского естествознания. В 1903 году, после окончания университета, Белый сблизился с Бальмонтом, Брюсовым, а позднее — с Мережковским, Вячеславом Ивановым и А. Блоком. В том же году он поступил на филологический факультет, после чего ушел с него и начал сотрудничать в «Весах». В 1910–1911 гг. путешествовал по Италии, Египту и Палестине, стал учеником немецкого философа Р. Штейнера, от поэзии перешел к прозе. В Россию вернулся в 1916 году, а в 1921 г. уехал в Берлин, где оставался 2 года. В последние годы Белый написал серию книг, посвященных многочисленным встречам, знакомствам и дружбе с крупнейшими представителями русской интеллигенции начала нашего века. Он автор и книг по искусству, в которых обосновывается символизм.

Год назад Белый выступил с речью на пленуме Оргкомитета советских писателей — о советской литературе, о роли, которую он играл до сих пор и которую будет играть в будущем, заявивши, что всю силу своего мастерства он отдаст на службу социалистическому строительству. Творчество Белого слишком сложно, и оно

нуждается в объяснении перед нашими читателями, потому что русский символизм (а Белый является его представителем) оказал огромное влияние на болгарских символистов. Вот почему мы переводим посвященную смерти А. Белого статью А. Болотникова, редактора советской «Литературной газеты».

Р.Л.Ф. Год. V. 1934. 28 януари. С. 3.

Можно сказать, что в этом случае, как, впрочем, и во всех остальных, источником сведений о смерти и похоронах Белого были советские или эмигрантские русские периодические издания.

Интересно отметить, что признание болгарскими коммунистами Андрея Белого «своим» имело последствия для возрождения интереса к личности и творчеству русского поэта — в том числе и в России. Напомним, что по неписаным законам социалистической цензуры сочинения «неправильного», не совсем «нашего» писателя (или книгу о нем) следовало сопроводить предисловием-поручительством какого-нибудь идеологически надежного «авторитета». Такое предисловие служило как бы поручительством за ненадежного автора перед властями и прикрывало и «пробивало» все издание. По такому испытанному сценарию вышел в Москве в 1988 г. в издательстве «Советский писатель» первый и не устаревший до сих пор сборник «Андрей Белый: Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации» (сост. Ст. Лесневский, Ал. Михайлов). В этом случае в роли «литературного благодетеля» и идеологического гаранта был использован (посмертно!) известный советский поэт-фронтовик, Герой Социалистического Труда (1979), главный редактор (с 1974 г.) журнала «Новый мир» Сергей Наровчатов (1919–1981). В конце небольшого вступительного «Слова об Андрее Белом» он ссылается на «старого болгарского писателя Христо Радевского»: «Стихи Валерия Брюсова, Андрея Белого, Александра Блока были известны нам и до 1917 года. Их творчество после революции было воспринято нами как новый этап развития, олицетворяющий переход к поэзии новой революционной эпохи. Стихи Андрея Белого: “И ты, огневая стихия, / Безумствуй, сжигая меня, / Россия, Россия, Россия! — / Мессия грядущего дня! —” или Блока: “Мы на горе всем буржуям / Мировой пожар раздуем...” обладали поистине магическим воздействием. Они порождали в наших сердцах и укрепляли веру в очищающую силу революции»[35].

Христо Радевский (1903–1996) принадлежал как раз к тому радикальному поколению в болгарской литературе, у которого уже не было «символистского прошлого», но чье творчество еще с дебюта и под непосредственным влиянием «Великого Октября» определялось требованиями жесткой «партийности». К тому же Хр. Радевский значится среди основателей и редакторов «легендарной» (для болгарских коммунистов) газеты «Р.Л.Ф.». Этим можно объяснить, почему для «социализации» творчества Белого в позднесоветскую эпоху потребовался болгарский поэт. Он оказался как бы авторитетом «второй степени»: авторитетом для советского авторитета Наровчатова, выступившего посредником между властью и цензурой, с одной стороны, и читателями и исследователями русского символиста, с другой. Связанность болгарской литературы с русской в данном случае выступила в форме абсурда и в жанре гротеска.

* * *

В том, что память Андрея Белого почтили (а точнее — успели почтить) болгарские издания самых разных направлений, присутствовал и элемент исторической случайности. В самом начале 1934 г. в Болгарии еще сохранялось хрупкое равновесие между указанными выше тремя идеологическими течениями. 19 мая 1934 г. это равновесие взорвалось: в Болгарии произошел военно-политический переворот, политические партии были распущены, а многие партийные издания (в том числе литературные газеты «Щит» и «Р.Л.Ф.»[36]) запрещены. В условиях установившегося авторитарного режима началась быстрая радикализация и политизация болгарской интеллигенции, и вскоре литературно-политическое направление «съело» остальные. Но это уже совсем другая тема.

Подводя итог сказанному, следует отметить в качестве весьма знаменательного факта не только *наличие*, но и сравнительно большое число болгарских некрологов Андрею Белому. Однако так же знаменательно и *отсутствие* собственно русских некрологов в Болгарии. Таковые, по идее, должны были бы быть: русская колония в Болгарии, хоть и не самая многочисленная и влиятельная, являлась составной частью русского культурного архипелага в рассеянии, и в ее распоряжении находилась соответствующая «культурная инфраструктура»: общественные организации, печатные издания, средства и механизмы влияния и пр.[37] Говоря проще, в Болгарии на смерть Андрея Белого отозвалась болгары, а не «одноплеменники» русские. Почему?

Можем указать на три причины этого знаменательного отсутствия. Во-первых, причина *физическая* — к моменту смерти Андрея Белого (январь 1934 г.) русские периодические издания в Болгарии переживали тяжелейший кризис; как раз в эти дни перестала выходить «главная» газета русской эмиграции в Болгарии — «Голос» (1928–1934), уделявшая почетное место вопросам культуры и литературы. Во-вторых, сказалась и причина *политическая* — на «повестке дня» русской эмиграции были совсем иные вопросы, например годовщина похищения председателя Российского общевоинского союза (РОВС) генерала А.П. Кутепова, проблемы политики, «внутренние дела» эмиграции и пр.[38] К тому же Андрей Белый мог восприниматься в эмигрантской среде (и воспринимался!) как слишком советский для того, чтобы его смерть могла вызвать потрясение среди «правых» русских беженцев. В-третьих, важнейшая причина этой «асимметрии» — сугубо культурная: шествие Духа по миру, для которого «несть эллина и иудея».

Мировое значение русской (да и любой иной) литературы выражается порой неприметно, исподволь: не в патетических, монументальных, а как раз в прозаических жизненных жестах «других». Глубочайший по смыслу культурный жест — это тот, при котором «другие» оплакивают смерть «чужого» им поэта.

---

[1] Переводы с болгарского выполнены автором статьи.

[2] *Осоргин М.* Андрей Белий // Литературен глас. Год. VI. 1934. 18 февраля. № 222. С. 5.

[3] *Осоргин М.* Из цикла «Встречи». 1. Андрей Белый // Последние новости. 1934. 18 января. № 4684. Переводчик не указан; возможно, перевод сделан главным редактором газеты Д. Бабевым.

[4] Славянски календарь за 1935 година. Год. 25. Издава Славянското дружество в България. С. 79.

[5] См.: *Димитров Е.* Константин Балмонт и България // Български месечник. 1998. № 6–7. С. 62–89; *Он же.* Константин Балмонт и българските народни песни // SYMPOSION, или Античност и хуманитаристика. София: Сонм, 2000. С. 260–268; *Он же.* «Лириката на българите е изумителна» (Из писмата на Константин Балмонт до български поети) // Литературен вестник. 2002. № 35. 30 октомври – 5 ноември; *Он же.* Константин Балмонт и Никола Т. Балабанов // Литературни култури и социални митове: Сборник. Т. I. София: Нов български университет, 2003. С. 238–247; *Он же.* Славянский «проект» К. Бальмонта (К. Бальмонт в болгарской литературе и культуре) (Тезисы) // Славянский мир: общность и многообразие. Материалы международной научно-практической конференции (Коломна, 22–24 мая 2007 г.). Часть I. Литературоведение. Коломна, 2007. С. 55–56.

[6] См.: *Даскалова Е.* Александър Блок и България. София: Наука и изкуство, 1980.

[7] Первая публикация: *Бели А.* Фридрих Нитче // Българска сбирка. Год. XVI. 1909. № 1. С. 38–43. Прев. Ив. Грозев. Перевод первой части статьи Белого «Фридрих Ницше» из журнала «Весы» (1908. № 7. С. 45–50; № 8. С. 55–65; № 9. С. 30–39).

[8] *Константинов К.* Път през годините. Изд. 2. София: Български писател, 1966. С. 166–167.

[9] Там же. С. 136–137.

[10] См.: Демократически преглед. 1912. № 2. С. 187.

[11] О нем см.: Втори подготвителен Славянски събор в София. София, 1911.

[12] См.: Стефан Савов Бобчев (1840–1953). Живот и дейност: юбилеен сборник. София, 1999.

[13] О чрезвычайно активной плодотворной деятельности возглавляемого С.С. Бобчевым Славянского общества см.: *Лазарова Е.* Славянското движение в България. София, 1997.

[14] Андрей Белий // Славянски глас. Год. XXVIII. 1934. № 1. С. 52–53. Заметка не подписана, но, по всей видимости, принадлежит перу главного редактора журнала «Славянски глас» Николе Бобчеву (1863–1938, брат С.С. Бобчева). Некролог помещен в постоянной рубрике журнала «Славянски поменик» («Славянское поминание»). В данном номере (С. 51–53) также опубликованы небольшие по объему некрологи Н.М. Могилянскому, доктору А.Г. Бескиду, Вацлаву Стрибарни, А.М. Петряеву, А.Я. Левинсону, Драготину Доимяничу, акад. В.Н. Сиротинину. На отдельной странице журнала (С. 50) опубликован некролог скончавшейся 12 февраля 1934 г. в Софии русской поэтессе Любови Столице (автор – болгарский поэт и переводчик Крум Димитров).

[15] В публ. ошибочно: «1983 г. » и «12» вместо «13».

[16] В публ. ошибочно: «Марина Цветкова».

[17] Неудивительно, что те же имена встречаем среди болгарских переводчиков Белого, см.: Есен / Прев. Г. Милев // Седмична илюстрация. 1913. Год. I. № 1. С. 10; Родина. Тройка / Прев. Л. Стоянов // Славяни. 1945. Год. I. № 5. С. 161; и др.

[18] О нем см.: *Кръстев К.* Сирак Скитник. София, 1974.

[19] *Сирак Скитник.* Литературно-художествени писма: Художествени изложби в Петербург // Демократически преглед. 1912. № 5. С. 647–656.

[20] См.: *Богданов Ив.* Речник на българските псевдоними. София: Петър Берон, 1989. С. 407.

[21] Возможная полемика с заметкой в газете «Правда» (1934. 11 января), завершавшаяся утверждением: «А. Белый умер советским писателем».

[22] *Дудевски Хр.* Влиянието на съветската литература върху две български поеми // Известия на Института за литература. Кн. XIV и XV. София, 1963. С. 149 (исследователь полагает, что поэма «Христос воскрес» стала известна в Болгарии благодаря ее берлинскому изданию (1920 г.) в составе сборника «Россия и Инония»).

[23] Там же. С. 149–152; *Цанев Г.* Страници от историята на българската литература. София, 1953. С. 158.

[24] Христос възкресе. Поема от Андрей Белий / Преведе от руски Н. Хрелков. София: Изд. «Пламък», 1924.

[25] *Н[икола] Ф[урнаджиев]* // Нов път. Год. I. 1924. № 1. С. 383–384.

[26] См.: *Богданов Ив.* Речник на българските псевдоними… С. 381.

[27] *М.* Андрей Белий поч[и]нал // Щит. Год. I. 1934. № 18. 24 януари. С. 3.

[28] Видимо, опечатка вместо «Египте».

[29] Правильно: «Базеля».

[30] *Колевски В.* Верен щит на съветската литература // Известия на Института за литература. Кн. X. София, 1963. С. 4.

[31] См. в наст. изд.

[32] Първият пленум на Оргкомитета на Съюза на съветските писатели // Р.Л.Ф. Год. III. 1932. № 110. 15 декември. С. 4.

[33] *Болотников А.* Андрей Белый // Литературная газета. 1934. 16 января. № 3. С. 2. См. в наст. изд.

[34] Умря Андрей Бели // Р.Л.Ф. (Рабочий литературный фронт). Год. V. 1934. 28 януари. С. 3 (статья А. Болотникова – на стр. 3–4).

[35] Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 7.

[36] Последний номер газеты «Щит» вышел 13 июня 1934 г. (издавалась с 27 сентября 1933 г.), газеты «Р.Л.Ф». – 22 июня 1934 г. (издавалась с 22 октября 1933 г.).

[37] О русской эмиграции в Болгарии см.: Бялата емиграция в България (сб). София: Гутенберг, 2001; *Кьосева Цв.* Руската емиграция в България. София: IMIR, 2002; и др.

[38] Последний номер (№ 470) софийской газеты «Голос» вышел лишь на двух полосах 20 января 1934 г. В нем от имени Фонда спасения Родины опубликован призыв «К русским людям», рассказано о последнем публичном собрании, устроенном 14 января редакцией газеты в Софийском Свободном университете (с участием приехавшего П.Н. Милюкова) по теме: «Может ли эмиграция помочь освобождению России?», опубликована статья «Болгарская историческая литература», написанная главным редактором газеты Г.Ф. Волошиным, и т.д. Немногочисленные другие продолжавшие выходить газеты русской эмиграции в Болгарии, вроде еженедельного органа Русского общетрудового союза в Болгарии «Голос труда», тоже были заняты «своим» и не уделили ни строчки смерти Андрея Белого.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ В ЧЕШСКОЙ ПЕРИОДИКЕ 1934 г.

Проблема рецепции личности и творчества Андрея Белого в чешской культуре и филологии еще нуждается в тщательном изучении. Пока можно отметить лишь работы, появившиеся после смерти писателя.

В 1935 г. пражским издательством «Orbis» была выпущена монография профессора Яна Махала «O symbolismu v polské a ruské literatuře» («О символизме в польской и русской литературе»), в которой автор с присущей ему эрудицией анализирует творчество русских символистов, в том числе и Андрея Белого. Большой интерес к творчеству Белого в своих научных публикациях и университетских лекциях проявлял также знаменитый лингвист, основатель и первый президент Пражского лингвистического кружка Вилем Матезиус. Этот интерес передался ученику Матезиуса Ярославу Шанде, выполнившему знаменитые переводы романов «Серебряный голубь» («Stříbrný holub» — Praha, 1971); «Петербург» («Petrohrad» — Praha, 1970); «Котик Летаев» («Kóťa Letajev» — Odeon, 1967). Переводы «Петербурга» и «Котика Летаева» Я. Шанда сопроводил вступительными статьями, представляющими большую научную ценность: «Symbolický román Andreje Bělého» («Символистский роман Андрея Белого», 1970), «Andrej Bělyj, prozaik světového významu» («Андрей Белый, прозаик мирового значения», 1967). В 1965 г. во втором номере журнала «Dialog» («Диалог») был опубликован доклад Я. Шанды под названием «Andrej Bělyj», который в основных чертах перекликается с его предисловием к роману «Петербург» («Petrohrad»).

В 1968 г. в № 1 журнала «Plamen» («Пламень») появилась статья профессора З. Матаузера «Mystický šašek Andrej Bělyj» («Мистический паяц Андрей Белый»).

В 1980 г. был переиздан, хотя, конечно, небольшим тиражом, роман «Петербург», с предисловием «Duch v pasti» («Дух в западне»). Под предисловием стояла подпись литературного критика Р. Паролека, хотя его настоящим автором был Мирослав Дрозда[1], которому по политическим причинам публиковаться было запрещено. Из-за этого запрета М. Дрозда впоследствии печатал свои исследования о Белом только в заграничных изданиях[2]. Его размышления о творчестве А. Белого позже были собраны в книге «Narativní masky ruské prózy. Od Puškina k Bělému» («Нарративные маски русской художественной прозы: от Пушкина до Белого»), вышедшей уже в 1990 г., то есть после смерти автора

В Словакии в этот период поэтикой Андрея Белого занимался литературовед В. Глошка, однако его исследования в связи с дальнейшим политическим и культурным развитием страны после 1968 г. так и не дождались своего издания.

Подлинный прорыв в изучении творчества Белого, а также в издании его произведений наступил только в 1990-х[3].

* * *

Проведенные по просьбе составителей настоящего сборника поиски откликов на смерть Андрея Белого в чешской печати дали впечатляющие результаты. Было

выявлено 13 статей-некрологов. Десять из них публикуются ниже. Написанный Ф.Г. Жундалеком одиннадцатый некролог, «Умер русский поэт Андрей Белый», обнаружить пока не удалось[4]. Отдельно публикуются два некролога, написанных А.Л. Бемом.

Каждый из представленных ниже 10 некрологов сопровождается биографической справкой о его авторе.

1

Ч. [В. Червинка]

Умер Андрей Белый, русский поэт-символист

Zvon. 1934.
Roč. 34. Č. 21.

В Москве 8 января в возрасте всего 53 лет умер русский поэт-символист Андрей Белый. Андрей Белый (настоящее имя – Борис Николаевич Бугаев), сын знаменитого московского профессора математики, считался одним из ведущих представителей русской довоенной поэзии. Сочетая различные западноевропейские влияния, стремился к новой форме и новой философии символизма. По сравнению с первым романом «Серебряный голубь» (1910) в последующих фантастических романах: «Петербург» (1913) и, главное, «Москва» (1926) в двух томах – наблюдается значительное и интересное развитие формы, но одновременно и большой хаос мысли, вызванный коммунистическим переворотом, которому он попытался добросовестно служить, хотя и был ему внутренне чужд. Писал также воспоминания с крайне субъективной окраской и литературные статьи принципиального характера, порой тяжелодоступным слогом[5].

Биографическая справка

Червинка, Винценц (Červinka, Vincenc; 2.8.1877, Колин – 2.10.1942, Прага) – журналист, редактор, политик, переводчик с русского, литературный критик, автор политических монографий и мемуаров.

Сначала учился медицине, потом занялся журналистикой. Стажировался в Берлине и Петербурге. В 1906 г. в Петербурге работал корреспондентом газеты «Národní listy», выходящей в Праге. По возвращении в Чехию стал редактором этой газеты. В 1915 г. был арестован и приговорен к смертной казни, замененной на шесть лет заключения, а в июле 1917 г. был амнистирован. В 1919 г. Чехословацкий союз в США направил его к Чехословацким легионам в Сибирь, откуда он возвращался через Китай, Индийский океан и Суэцкий канал. В 1918–1921 гг. Червинка был председателем Синдиката чехословацкой печати, а также Общества славянской взаимности. В 1926 г. получил стипендию на научную командировку в Польшу и Литву.

Червинка писал статьи о русской и польской культуре и политике. Собственные впечатления от поездок в США и послереволюционную Россию изложил в своих книгах. Основное его занятие, однако, составляли переводы с русского языка. Он ратовал за точный перевод с сохранением языкового и этнографического колорита. Переводил театральные пьесы Л.Н. Андреева, М.А. Булгакова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и А.Н. Островского, а также прозу В.Г. Короленко, И.А. Бунина,

А.И. Куприна; наиболее ценными считаются его переводы романов А.Ф. Писемского и И.А. Гончарова[6].

Источник: Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 1, A – G. Praha: Academia, 1985.

2

Н. Мельникова-Папоушкова

Умер Андрей Белый[7]

Lidové noviny. 1934. 17 января. Roč. 42. Č. 28.

7 января[8] в Москве умер величайший из нынешних русских поэтов-символистов, а после Александра Блока, пожалуй, величайший русский современный поэт вообще, Андрей Белый. Ему было всего 54 года, что, конечно, не преклонный возраст, но для русского литератора весьма почтенный, ибо неизбежная судьба русского поэта – умирать молодым. При царском режиме такая судьба постигла Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, в Советской России: Блока, Есенина, Гумилева, Маяковского, а теперь и Андрея Белого. Разница только в том, что раньше поэты умирали, затравленные непонимающим и тупым обществом, а сегодня это общество толкает их к самоубийству.

Русский символизм у нас мало известен, особенно в своей младшей и оригинальной форме. Основательно и профессионально занимается им только профессор Махал[9], но опубликовал он в этой области очень мало, и, вероятно, основные результаты его исследований появятся в будущих сборниках. Заметим вкратце, что младший символизм после реализма становится, в свою очередь, оригинальной литературной школой, не имеющей почти ничего общего с одноименным европейским направлением. Тогда как старшие символисты, к примеру, Бальмонт или Брюсов, охотно поддавались щедрому французскому влиянию, А. Блок, А. Белый, М. Волошин, да и В. Иванов старались как можно глубже укоренить идеологические корни в родную землю. В философском, а отчасти и формальном плане их наставником был философ и поэт Вл. Соловьев, учение которого основывалось на понятиях неразделимого единства души и тела, одухотворения мертвой материи, божественного бытия в повседневной жизни. Все эти мотивы мы находим в поэзии и прозе А. Белого, который помимо художественных книг написал также объемный сборник теоретических работ «Символизм». Этот философско-математический труд станет в недалеком будущем основным ключом к направлению, такому кратковременному, но значительному для понимания предвоенной России и первого этапа революции.

Андрей Белый (настоящее имя Борис Николаевич Бугаев), сын знаменитого профессора математики, которого он описал в романах «Петербург», «Котик Летаев» и «Москва», начинает писать еще студентом. К этому периоду следует отнести его сборники стихов «Золото в лазури» и «Первое свидание»[10], а также прозаические произведения, которые, собственно, можно назвать стихотворениями в прозе, к примеру, «Первую героическую симфонию» и «Кубок метелей». Вскоре А. Белый оставляет чистую поэзию, чтобы посвятить себя прозе и вернуться к стихам всего дважды в решительные минуты жизни, когда он чувствует, что свя-

зан с народом, или хочет доказать это себе и окружающим. Первый раз, когда он пишет сборник «Стихи о России»[11], отражающий реакцию на войну лучшей части народа, и второй – поэму «Христос воскрес», своеобразный парафраз «Двенадцати» Блока, сурово и жестко прославляющий большевистский режим.

Что для научной литературы значит книга «Символизм», то для художественной – роман Белого «Петербург», а еще больше – многотомная романная эпопея «Москва». В обоих этих произведениях, несмотря на значительный временной интервал и политическое предисловие ко второй книге[12], властвует душа, побеждающая тело и материю. Это своеобразное продолжение школы Достоевского, даже с точки зрения формы. Хотя в основе сюжета чуть ли не детективная история с убийствами, погонями и призрачными персонажами, в целом это дает до жути правдивую картину действительности. Планы и перспективы в романах настолько переплетены, что неискушенному читателю зачастую трудно понять, где кончается видение и начинается действительность. Но из этого хаоса внезапно перед нами выстраивается единственная реальная жизнь, рядом с которой наше земное существование – всего лишь тусклое и несовершенное отражение в зеркале вечности.

Из последних нехудожественных работ А. Белого следует упомянуть еще две книги воспоминаний: «На рубеже двух столетий» и «Начало века». Обе книги можно было бы назвать безукоризненными мемуарами, если бы чересчур эмоциональный автор не пытался окрасить по-новому, согласно своим принципам, давно минувшие события, которые не могут быть разбужены позднейшими чувствами. Тем не менее я убеждена, что значительная часть собранного им материала, подвергнутая научному и критическому анализу, будет иметь большое значение для воссоздания картины предвоенного литературного общества с его многообразными направлениями и выдающимися личностями: поэтами, художниками или учеными.

Андрей Белый уже не принадлежал к современной русской литературе в полном смысле слова: он был вскормлен другим духом, другим воздухом, но, несмотря на это, русская литература in specie aeternitatis[13] с его смертью понесла большую потерю. А. Белый сказал и написал много, но, вероятно многое осталось лежать в виде рукописей в его столе, тогда как он еще хотел и был в силах творить. Об этом свидетельствует его последний очень драматичный том «Москвы»[14] и второй том воспоминаний «Начало века», оказавшийся интереснее, чем первый. Чешскую общественность следовало бы хотя бы сейчас познакомить с переводами некоторых его основных работ, ведь кроме отдельных стихотворений, публиковавшихся в разных газетах и журналах, и небольшого романа «Серебряный голубь» на чешском еще ничего не выходило[15].

Биографическая справка

Мельникова-Папоушкова, Надежда Филаретовна (Melniková-Papoušková, Naděžda Filaretovna; 23.11.1891, Петербург – 10.7.1978, Прага) – искусствовед, фольклорист, публицист и переводчица.

С юности занималась живописью, училась в Московском университете. Во время Первой мировой войны продолжала изучение славянской словесности, главным образом – сербской и чешской. Благодаря этому познакомилась со многими чеха-

ми. В Чехословакию приехала в конце 1918 г. с мужем – историком Ярославом Папоушеком, который служил в Чехословацком корпусе и был в то время личным секретарем Т.Г. Масарика. Мельникова-Папоушкова полностью влилась в чешскую культурную среду, о чем свидетельствует бомльшая часть ее научного и публицистического творчества. Постепенно центром ее научного интереса сделалась народная материальная культура и прикладное искусство. Она также способствовала распространению русской литературы и театра. В 1930-х и после 1945 г. помимо собственно публицистической деятельности выступала с докладами, лекциями, занималась исследованиями и организовывала выставки. Одновременно преподавала в университетах Праги и Оломоуца народное творчество, русский язык и историю русской культуры. С 1919 г. печаталась в журналах. Переводила с русского и французского[16].

Источники**:** Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace vydané v Československu 1918–1945. Bibliografie s bibliografickými údaji o autorech. Díl 1. Sv. 2. Praha, 1996; Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 3. Sv. 1. M – O. Praha: Academia, 2000.

3

Богумил Матезиус

Цветы на могилу Андрея Белого

Lidové noviny. 1934. 1 февраля. Roč. 42. Č. 56.

Артериосклероз, который несколько дней назад остановил кровообращение и пятидесятитрехлетнее сердце Андрея Белого, выбил перо из рук, необыкновенно нежных и чутких. Потеря Андрея Белого, так мало известного за границами своей родины (разве что в Германии с 1912 г. к нему присматривались несколько внимательней, – большая утрата, однако, для всей мировой литературы. До войны русские литераторы доходили до нас – если, конечно, не были сенсацией – примерно через пять лет после своего появления. Символист Андрей Белый свой первый большой роман «Серебряный голубь» написал в 1910 г., «Петербург» – в 1916 г. и оказался ненароком, но абсолютно закономерно в той пропасти, которая еще долго будет отделять наше предвоенное знакомство с русской литературой от послереволюционного. И все же – даже если не рассматривать значение этого родного и приемного отца новой русской прозы для России и если охотно допустить, что большая часть философских лесов, которые он построил вокруг некоторых своих произведений, сгниют и обвалятся, – от его прозы останутся конструкции настолько безупречно, точно и образцово сбалансированной архитектуры, что подобные им следует искать только у Пушкина и Гоголя. Именно с помощью этих конструкций Андрей Белый преодолевает тот роковой рубеж и глубоко и органично встраивается во время войны в прозу футуристов, а после революции – в стиль авторов уровня Бориса Пильняка, Клычкова и «Серапионовых братьев».

Насколько легко проследить литературную генеалогию Белого, включающую лучшие русские источники: Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого – настолько трудно определить его литературный жанр. Формалисты видят в нем прозаи-

ка-орнаменталиста, марксисты – эпика распада русской буржуазии. Оба этих мнения, на мой взгляд, затрагивают лишь одну сторону этого культурного явления, сходясь в уважении к творчеству Белого. Я же считаю, что литературная друза[17] под названием Андрей Белый представляет из себя амальгаму реализма и романтики. Пусть эту романтику называют антропософией или мистикой, пусть как биографический факт она играла в его жизни какую угодно роль, литературным фактом остается то, что основой его профиля есть и будет мир, увиденный глазами острыми, как у рыси, переданный с фотографической точностью и услышанный ухом, чувствительным, как восковая пластинка. А если мы к этому добавим ироническое толкование почти всех иррациональных эпизодов, мы получим профиль реалиста, поддавшегося на время вопреки собственному инстинкту – если не воли – настроению и моде своего символистского созревания. Впрочем, не сомневаюсь, что каждая будущая школа будет черпать из Белого то, что нужно именно ей, что Белый станет алгоритмом определения масштаба русской прозы – то есть своего рода маркой и пробирным камнем.

Несмотря на кажущуюся сложность и рафинированность его романов, Белый работает с очень простой техникой. Подобно Достоевскому, он выбирает почти сенсационный сюжет, сжатый тесными временными рамками. Этим он добивается динамичности и напряженности действия, которые создают эффектный контраст с его короткими импрессионистически волнистыми – но только волнистыми предложениями.

Этот сюжет Белый растворяет в с виду независимом ряде сцен, эпизодов, ракурсов и перспектив, мастерски и с любовью отшлифованных, перетасованных и переплетенных, которые составляют внешнюю сторону его произведений.

Мне бы хотелось продемонстрировать здесь на примере самого завершенного произведения Белого «Петербург» несколько образчиков его стиля. Белый – мастер так называемого исторического пейзажа: убийство царя Павла I он изображает практически без всяких объяснений (герой видит дворец, в котором произошло убийство), методом, я бы сказал, перевернутого театрального бинокля:

> В роковую ту ночь в те же стекла втекало лунное серебро, падая на тяжелую мебель императорской опочивальни; падало оно на постель, озолощая лукавого, мечущего искры амурчика; и на бледной подушке вырисовывался будто тушью набросанный профиль; где-то били куранты; откуда-то намечались шаги... Не прошло и трех мгновений – и постель была смята: в месте бледного профиля отенялась вдавлина головы; простыни были теплы; опочившего – не было; кучечка белокудерных офицеров с обнаженными шашками наклонила головы к опустевшему ложу; в запертую дверь сбоку ломились; плакался женский голос; вдруг рука розовогубого офицера приподняла тяжелую оконную штору; из-под спущенной кисеи, на окне, в сквозном серебре – там дрожала черная, тощая тень... Где-то били куранты; в отдалении отовсюду топотали шаги.

Потом Белый переворачивает бинокль и вглядывается в детали так, что видит каждый рыжий волосок на руке. Вы только посмотрите, как он играет с отблесками света на воде.

> Розоватое, клочковатое облачко протянулось по Мойке: это было облачко от трубы пробежавшего пароходика; от пароходной кормы холодом проблистала зеленая полоса, ударяясь о берег и отливая янтарным, отдавая – здесь, там – искрою золотой, отдавая – здесь, там – бриллиантом; отлетая от берега, полоса разбивалась о полосу, бьющую ей навстречу, отчего обе полосы начинали блистать роем кольчатых змей. В этот рой въехала лодка; и все змеи разрезались на алмазные струнки; струночки тотчас же путались в серебро чертящую канитель, чтоб потом на поверхности водной качнуться звездами. Но минутное волнение вод успокоилось; воды сгладились, и на них погасли все звезды. Понеслись теперь снова блиставшие водно-зеленые плоскости между каменных берегов. Поднимаясь к небу черно-зеленой скульптурой, странно с берега встало зеленое, белоколонное здание, как живой кусок Ренессанса.

Весь «Петербург», дифирамб туманному фантастическому городу на брегах Невы, сжатой гранитными плитами набережной, буквально пропитан Пушкиным: в нем не только множество цитат и эпитафий, но целые страницы прозаических парафраз пушкинских стихов, главном образом «Медного всадника». В романе, действие которого разыгрывается в революционном 1905 г., есть даже сцена, когда ночью в чердачную мансарду бредящего террориста приходит сам Медный всадник, статуя Петра Великого, какой ее отлил из меди Фальконе на Петровской набережной[18] Невы. Описывая скульптуру, автор весьма смело сравнивает ее с Россией, как Гоголь свою знаменитую тройку:

> С той чреватой поры, как примчался к невскому берегу металлический Всадник, с той чреватой днями поры, как он бросил коня на финляндский серый гранит – надвое разделилась Россия; надвое разделились и самые судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа – Россия.
>
> Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко внедрились в гранитную почву – два задних.
>
> Хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, как отделились от почвы иные из твоих безумных сынов, – хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня и повиснуть в воздухе без узды, чтобы низринуться после в водные хаосы? Или, может быть, хочешь ты броситься, разрывая туманы, чрез воздух, чтобы вместе с твоими сынами пропасть в облаках? Или, встав на дыбы, ты на долгие годы, Россия, задумалась перед грозной судьбою, сюда тебя бросившей, – среди этого мрачного севера, где и самый закат многочасен, где самое время попеременно кидается то в морозную ночь, то – в денное сияние? Или ты, испугавшись прыжка, вновь опустишь копыта, чтобы, фыркая, понести великого Всадника в глубину равнинных пространств из обманчивых стран?
>
> Да не будет!..
>
> Раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, медный конь копыт не опустит: прыжок над историей – будет...

Вот уже три недели прошли с тех пор, как комья промерзшей земли засыпали беспокойное, безрассудное и мудрое сердце русского прозаика, которого судьба поместила на «рубеж двух столетий» – в место и время, когда вздыбились и притирались друг к другу геологические глыбы двух эпох[19].

Биографическая справка

Матезиус, Богумил (Mathesius, Bohumil; 14.7.1888, Прага – 2.6.1952, Прага) – поэт, прозаик, переводчик, историк литературы и выдающийся русист, критик.

Изучал чешский и французский языки в Карловом университете в Праге. Самостоятельно занимался русским языком. Во время Первой мировой войны служил на сербском и итальянском фронте. После возникновения Чехословацкой республики (1918) был редактором литературных журналов и издавал русскую литературу. Был членом Общества за культурное и экономическое сближение с Новой Россией. В 1945 г. ему было присвоено звание профессора русской и советской литературы Карлова университета.

Как поэт Матезиус оказал влияние на многих чешских поэтов, в том числе на Франтишека Грубина, Олдржиха Микулашека и др. Помимо собственного поэтического творчества, занимался переводами. Перевод понимал как парафраз и вариацию на тему оригинала. Переводил древнюю китайскую и японскую поэзию, И.-В. Гете, Э.М. Ремарка и др., но больше всего переводил с русского – А. Блока, В. Маяковского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М. Горького и М. Шолохова. В журналах выходили его переводы В. Хлебникова и А. Ахматовой[20].

Источники: Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2000; Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 3. Sv. 1, M – O. Praha: Academia, 2000.

4

В. Сис

Умер Андрей Белый

Národní listy. 1934.
Roč. 74. Č. 16.

В Москве 8-го числа сего месяца умер поэт Андрей Белый (настоящее имя Борис Н. Бугаев)[21]. Он принадлежал к знаменитой предвоенной триаде символистов, сформировавших выдающуюся литературную группу «Весы». Так же как его соратники Блок и Кузмин, Белый рос и развивался под влиянием соловьевского мистицизма, твердо верил в идею божественности и долго блуждал в туманах русского мессианства. Перейдя от поэзии к прозе, начал испытывать влияние реализма. Это заметно уже в первом его романе «Серебряный голубь». В романе «Петербург» фантазия видений соперничает с реальностью. Белый поддался влиянию реализма, но создал свой новый русский реализм, отличный от Достоевского, а также новую форму русской прозы.

Очередное перерождение поэта было связано с большевистским переворотом. Он поддался хаосу коммунистических идей, был не в состоянии высмеять его, как Блок, наоборот, без колебаний склонил голову пред новыми хозяевами России и убеждал их, что он давно уже идейно с ними, еще с царской России. С точки зрения художественности, его творчество многое потеряло с 1913 г. Испортило его стремление к пропагандистской литературе. В конце концов Белый торжественно отрекся от своего дореволюционного творческого кредо, сформулированного в сборнике статей «Символизм», и целиком поставил свое перо на службу коммунизму. В его двухтомном романе «Москва» (1926), полной противоположности

фантастическому роману «Петербург» (1913), уже гудят одни станки, мечутся бездушные коммунистические рабочие, агитаторы и комиссары, и коммунистические нравы одерживают победу над происками капиталистического шпионажа и измены. В прозе Белого главную роль играет музыка слов, тогда как сюжет и композиция, характеризующие реализм старшей русской прозы, отходят на второй план.

В книгах «Котик Летаев», «Записки чудака» и «Я»[22] преобладают автобиографические черты.

В лице Белого уходит второй после Блока выдающийся представитель бывшего русского символизма[23].

Биографическая справка

Сис, Владимир (Sís, Vladimír; 30.6.1889, Маршов – 2.7.1958, тюрьма в Леопольдове) – политик, редактор, исследователь Балкан.

Возглавлял словацкую редакцию газеты «Národní listy» («Национальная газета»). Основал в Брно газету «Studentská Revue», в 1907–1908 гг. был ее редактором. В 1909–1912 гг. работал зарубежным корреспондентом газеты «Народни листы», затем до 1913 г. – военным корреспондентом с болгарско-турецкого фронта. В 1914 г. в Градце-Кралове против него возбуждается дело за книгу «Новые Балканы», в которой он поддерживал претензии сербов к Боснии и Герцеговине. Он остается в Болгарии, и в 1915 г. как член подпольной чешской организации «Чешская мафия» разработал первый чехословацкий меморандум с требованиями государственной независимости и картой будущего государства, который передал через Софию правительствам стран Антанты. В 1921 г. назначается главой пражской редакции газеты «Moravsko-slezský deník» в Моравска-Остраве, в 1925 г. – главным редактором газеты «Národní noviny» в Брно, газеты «Národní deník» в Братиславе и «Obzor» в Пршерове.

Активно занимался публицистической, литературной и научной деятельностью. Занимался греческой палеографией. В 1910 г. проводил археологические раскопки на Халкидиках, в 1911 г. – на Самосе и близ Искандеруна, в 1917 г. – близ города Филиппы и др. В 1918 г. в Болгарской Академии наук издал каталог греческих рукописей. Его литературная деятельность весьма обширна[24].

Источники: Ottův slovník naučný (1888–1909); Ottův slovník naučný nové doby (1930–1943).

5

Ч. [В. Червинка]

Последнее произведение А. Белого

Národní listy. 1934.
Roč. 74. Č. 61.

По сведениям «Вечерней Москвы», на прошлой неделе (спустя шесть недель после смерти автора – Андрей Белый умер 8 января сего года) в Петербурге была издана книга Андрея Белого под названием «Мастерство Гоголя»[25]. Этот трехсотстраничный критический труд непривычной формы – «серьезный и плодотворный вклад в создающуюся науку о словесном искусстве», как утверждает в своем

заносчивом предисловии Л.Б. Каменев. А. Белый рассматривает в первую очередь образность Гоголя, его сюжеты и стилистические достоинства и делает попытку доказать, какое сильное влияние Гоголь оказал не только на Достоевского, но и на современных поэтов: Ф. Сологуба, А. Блока, самого автора (А. Белого), Маяковского и Мейерхольда[26].

6

— а — [Йозеф Рыбак?]

Умер Андрей Белый

Národní osvobození. 1934. 16 января.
Roč. 11. Č. 12.

В Москве 7 января[27] умер и 10 января был похоронен русский писатель и поэт Андрей Белый. Наряду с Александром Блоком, который больше переводился на чешский язык и вообще более известен в литературных кругах Западной Европы, Андрей Белый был видным представителем символизма в русской литературе. Его литературное наследие представлено прежде всего целым рядом стихотворных сборников, затем серией романов различной степени ценности, в которых поэт с богатой фантазией обработал по большей части автобиографический материал. Кроме того, русская литература получила из-под его пера большое количество эссе, самые выдающиеся из которых собраны в цикле «На перевале»[28]. По образу жизни Андрей Белый был человеком беспокойным, объездил почти всю Европу (побывал и в Праге[29]) и, как мало кто из русских, разбирался в европейской культуре. В книге «На перевале» Белый, в числе прочего, касается вопроса немецкой культуры и развития немецкого духа. Уже двадцать лет назад он приходит к выводам, что немецкий дух лучше всего выражает железный военный шлем, к выводам, которые Белого так тревожили и которые в последнее время приобрели, к сожалению, еще большую справедливую злободневность. В Европе Андрей Белый был долгое время известен скорее как ревностный теософ, чем как литератор, ибо его творчество в переводе с русского на западноевропейские языки много теряет в музыкальности и выразительной силе, как, впрочем, и творчество большинства русских поэтов[30].

Биографическая справка

Рыбак, Йозеф (Rybák, Josef; 1.5.1904, Писек – 15.12.1992, Добржиш) – журналист и коммунистический публицист, поэт, прозаик.

Растет в большой семье, отец погибает в Первую мировую войну. Живут в нужде, овдовевшая мать содержит всю семью. В 1918–1920 гг. прослушивает торговые курсы и работает бухгалтером. В 1922 г. живет и работает в Братиславе, где входит в словацкую культурную среду. В Словакии занимается оформлением книг и иллюстрациями, рисует карикатуры. Еще в Словакии выходит его первое прозаическое произведение.

В 1920-х вступает в Чехословацкую коммунистическую партию. В 1933 г. возвращается в Прагу, где начинает работать в коммунистической печати. Одновременно занимается публицистикой, пишет о левых течениях в кино, театре и изобрази-

тельном искусстве. Теснее всего связан с газетой «Rudé právo», где ведет постоянную культурную рубрику. Занимает различные должности, в том числе в 1951–1954 гг. главного редактора журнала «Nový Život» – органа Союза чехословацких писателей, и газеты «Literární noviny» (1959–1964). В эпоху политической либерализации удаляется от света и издает большинство своих стихотворений, прозаических произведений, воспоминаний, сборников статей и эссе. К политике и культуре снова возвращается в эпоху так называемой нормализации, в 1972 г. В 1977–1982 гг. является председателем нового Союза чехословацких писателей.

Прозаическое и поэтическое творчество Р. основывалось на его концепции пролетарского искусства. Важное место занимала тема бедного деревенского детства и воспоминания о друзьях эпохи между двумя войнами. В его поэзии преобладала тема родного края. К осмыслению собственных жизненных позиций и впечатлений он обращается в 1960-х и в конце жизненного пути, и тогда в его лирике появляется философско-рефлексивная составляющая[31].

Источник: Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl. 3 Sv. 2 P – Ř. Praha: Academia, 2000.

7

— хб — [Вацлав Хаб]

Последнее произведение Андрея Белого

Národní osvobození. 1934. 21 января. Roč. 11. Č. 17.

Как стало известно из «Вечерней Москвы»[32], вот-вот выйдет из печати великий труд Андрея Белого о Гоголе. Белый работал над этой книгой всю жизнь и закончил незадолго до смерти. Кроме этой книги, которая выйдет в ближайшие дни, усопший поэт оставил после себя огромный архив, имеющий необычайное значение для знакомства с историей русской литературы. В архиве более 12 000 страниц рукописей. Незадолго до смерти Андрей Белый передал его писателю В.Д. Бонч-Бруевичу для Государственного литературного музея в Москве, руководителем которого он является. Помимо огромного множества рукописей поэта и шестисот писем великих писателей, ученых и деятелей культуры этот архив содержит сборник лучших стихов Андрея Белого, который покойный поэт сам отредактировал и подготовил для посмертного издания[33].

Биографическая справка

Хаб, Вацлав (Cháb, Václav; 30.3.1895, Чернов у г. Пелгржимов – 9.6.1983, Прага) – редактор, автор исторических, культурологических, социологических работ и художественных произведений, переводчик с русского.

В 1914 г. поступил на юридический факультет, но сразу после поступления поехал работать гувернером в семье графа Туна в Далмации. В 1915 г. был призван на военную службу и послан на Восточный фронт (вскоре перешел на русскую сторону). С 1916 г. служит в Чехословацких легионах, участвует в боях под Бахмачем. После возвращения на родину работал редактором в нескольких легионерских периодических изданиях: «Přerod», «Legionářský směr». В 1935 г. вместе с другими журналистами посетил Советский Союз. Сотрудничал с атеистическим обществом

«Volná myšlenka» и печатался в его издательстве. До 1941 г. был редактором. Во время Второй мировой войны участвовал в Сопротивлении, за что позднее был награжден. Затем до выхода на пенсию служил в Государственном педагогическом издательстве. Тесная дружба связывала его со многими писателями Чехословакии, особенно с Йозефом Коптой, Карелом Новы и Я. Вейссом.

В его художественном творчестве отразились впечатления Первой мировой войны, которую он описывает сдержанно и без прикрас, демонстрируя чутье к деталям и умение предать атмосферу. Особое отношение автора к России, к русской и советской литературе проявилось как в журналистской практике, так и в переводческой деятельности. Он переводил Л.Н. Андреева, В.В. Иванова, Л.Н. Толстого, Вас.И. Немировича-Данченко, Л.Н. Сейфуллину и других[34].

8

вбк [Вацлав Бегоунек]

Умер Андрей Белый

Právo lidu. 1934. 16 января. Roč. 43. Č. 12.

Вслед за Александром Блоком, другом и соратником Белого по поэтической школе символизма, с которым он вместе впитал философское и мистическое влияние Соловьева, уходит следующий представитель символистского направления русской поэзии, направления, которое претерпело такую любопытную метаморфозу в дни большевистской революции и представителей которого постигли в дальнейшем такие разные судьбы. Блока, который встретил революцию монументальной эпопеей «Двенадцать», слопала-таки в конце концов (в 1921 г.) «поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка»[35]. Белый же не замолчал, не сдался даже в дни жесточайшего террора, наоборот, в своей последней книге воспоминаний «На рубеже двух столетий»[36] подверг пересмотру все свое прошлое. Этим он разгневал зарубежных товарищей, которые не могли ему простить, что он отрекся от своего прошлого ради того, чтобы доказать свою давнюю преданность коммунистической идее. Но с реальностью эпохи он смирился на свой лад. И кто вспомнит раннюю поэзию Белого начала века, его пафос и экзальтацию, его ссоры с друзьями, — в том числе с Блоком, — тот не будет удивлен таким положением вещей. Символистский период творчества Белого пронизывает постоянная смутная вера в Мессию, тяготение к вечности, индивидуалистское увлечение идеалом Бога и Искусства (сборники стихов «Золото в лазури», «Пепел» и др.). Более поздний роман «Серебряный голубь» (1910) в идейном плане тоже является плодом эпохи реакции, богатой мистикой, артистизмом, новыми формами и экспериментами. Однако затем в прозе Белого мы уже находим одновременное возрождение реализма, который в сочетании с ярким лирическим тоном и элементами фантастики создает необычайные по содержанию и тяжелые для понимания произведения. Это романы «Петербург» (1913) и «Москва» (1926), сюжетная линия которых теряется в вихре, сотканном из действительности, представлений и снов. Роман «Москва» отдает дань промышленной, производственной теме, облеченной в форму шпионского романа. Эксперимент Белого с двойным методом последовательного и одновременного изображения внешнего и внут-

реннего мира не чужд западноевропейскому роману (например, Жид). На Октябрьскую революцию Белый откликнулся знаменитой поэмой «Христос воскрес» (1918), которая часто сопоставляется с «Двенадцатью» Блока. Позже взаимодействовал с формалистской школой, которой полностью соответствовал по своему всегдашнему бережному отношению к слову и новому выражению. После известной либерализации писательской деятельности в СССР в апреле 1932 г.[37] участвовал в организационной жизни советских писателей, выступал на собраниях и творческих дискуссиях. Из остального творчества Белого приведу еще сборник эссе «Луг зеленый» и книгу «Символизм», в которых изложено дореволюционное творческое кредо Белого, затем произведения «Котик Летаев», «Записки чудака», «Воспоминания о А.А. Блоке», очерк «Армения»[38]. Почти все книги Белого отличает ярко выраженный автобиографический характер.

Андрей Белый (настоящее имя: Борис Николаевич Бугаев) родился в 1880 г., умер 8 января сего года в Москве. На чешском языке в разных изданиях выходили отдельные стихотворения Белого, а его роман «Петербург» считается у нас выдающимся образцом русского дореволюционного романа[39].

Биографическая справка

Бегоунек, Вацлав (Běhounek, Václav; 12.9.1902, Лоуны – 10.12.1980, Прага) – литературный критик и историк, журналист, автор библиографий и сборников.

Изучал чешский и русский языки, позже библиотечное дело. Работал архивистом, писал литературные рецензии. 1942–1945 гг. провел в концентрационных лагерях. После 1945 г. стал редактором газеты «Práce», одновременно писал для журналов «Země sovětů», «Praha – Moskva», «Kulturní politika» и др. Стремился к распространению русской и советской литературы. Также являлся автором ряда библиографий, иногда занимался переводами. Его основной научный интерес – русистика[40].

Источник: Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 1, A – G. Praha: Academia, 1985.

9

Сергей Савинов

Андрей Белый

Rozhledy po literatuře a umění.
1934. Roč. 3.

Доклад Ярмилы Калоусковой[41] в русском литературном кружке 21 апреля был посвящен памяти усопшего русского поэта Андрея Белого. В своем докладе Калоускова познакомила слушателей с мировоззрением А. Белого, каким оно представлено в его произведениях. Это понимание мира как хаоса, в который люди привносят свой порядок, созданный их разумом и, собственно, не отвечающий действительности. Психологическую основу такого взгляда можно найти в детстве поэта, чья сознательная жизнь начиналась в лихорадочном бреду[42]. Впечатления того времени остались самыми сильными на всю жизнь. Поэтому ближе всего ему стал символизм, к которому он примкнул как в теории, так и на практике. Все свое творчество Белый характеризует как искание правды, но эту правду, по его мнению, мы не можем познать разумом, ближе всего мы к ней во сне, в горячке или

экстазе. Поэтому герои большинства его романов склонны к этим состояниям. В «Серебряном голубе» поэт описывает религиозный экстаз сектантов, в «Москве» – эксцентричное общество предвоенной Москвы, в «Петербурге» – кружок анархистов, некоторые члены которого страдают постоянным неврозом страха и неуверенности. Движущая сила всех романов Белого и, по мнению автора, мира вообще – слепая случайность и подсознание человека. Спасение от этого ужаса Белый пытается найти у Бога, как мы можем судить не только по его лирике, но и по тому, что сам он увлекался теософией. В романтико-философской лирике Белого мы находим искание смысла жизни, растерянность и наконец обнаружение выхода в религии, конечно, отнюдь не в узко церковном значении. Особенно это явно в сборниках «Христос воскрес» и «Звезда»[43], где поэт обретает оправдание мира в божественности, хотя тяжело переносит ужас разгорающейся войны. Однако незадолго до смерти пессимизм снова начинает овладевать им[44].

Биографическая справка

Савинов, Сергей Яковлевич (1897, Чугуев, Харьковская губерния – дата и место смерти неизвестны) – русский писатель и журналист; подписывался литерами С.С.

Участвовал в Первой мировой и в Гражданской войне в России, был ранен. С начала 1920-х жил в эмиграции в Праге, потом в Берлине. Окончил Русский юридический факультет в Праге. Был членом Союза русских писателей и журналистов, литературного кружка «Далиборка». Публиковаться начал в 1915 г. Издал ряд рассказов, очерков и фельетонов, в основном о жизни Подкарпатской Руси. Печатался в русских журналах «Русь», «Мысль», «Мир искусства», «Студенческие годы», «Младорусь», «Казачий сполох», «Юный друг» и в газетах «Руль», «Возрождение», «Россия и славянство», «Молва», «За свободу!», «Новое слово» и др. Писал также для чешской прессы, входил в редакционный совет журнала «Slovanská revue».

Занимался поэзией Отокара Бржезины: переводил его стихотворения, писал о нем в сборнике Союза русских писателей «Ковчег» (Прага, 1926). В архиве Музея национальной письменности (Pamatnik narodniho pisemnictvi) хранится его переписка с чешскими писателями (О. Бржезиной, Кржичкой), а также рукописи небольшого объема, принадлежащие главным образом перу русских писателей-эмигрантов, живших в Праге.

Источник: Písemné pozůstalosti (fragmenty). Literární archiv PNP Slovanský ústav. Praha, 1993.

10

Й. Гостовски

Кончина

Slovanský přehled. 1934.
Roč. 26. Č. 2/3.

7 января в Москве умер русский поэт *Андрей Белый*. В его лице* символически отражалось все его творчество: большая голова с остатком развевающихся волос, с глазами, горячечно глядящими из-под сомкнутых бровей куда-то вдаль, – он по-

* См. его портрет в: Slovanský přehled XX. С. 4 (прим. автора).

хож на ослепительную комету, несущуюся с лихорадочным изумлением в бесконечные дали неизведанного пространства. Такие умы раскаляются пылким воодушевлением до самоуничтожения, и Андрею Белому не было суждено долго жить. Родился он в 1880 г. Сегодня все сходятся на том, что его личность и творчество несут печать гениальности. Он был настолько своеобразен, что его сложно втиснуть в рамки какого-то определенного литературного направления. В его произведениях можно найти следы множества влияний. Самых сильных три: в начале его творчества влияние Соловьева, в конце – Гоголя – оба религиозные мыслители, мистики, любители загадочных тайн внутреннего мира человека, пророки. А посредине между ними стоит Достоевский. Белый такой же искатель бога, как они, только при этом революционер. Его мистико-революционная поэма «Христос воскрес» – прекрасное тому свидетельство. Помимо приведенных трех он испытывал еще множество других менее заметных влияний. Это Ницше, Уайльд, Метерлинк, Брюсов, Некрасов и антропософ Рудольф Штейнер, у которого Белый учился во время своего пребывания в Швейцарии.

Белый (настоящее имя: Борис Николаевич Бугаев) писал стихи, прозу и эссе. К его поэтическим сборникам относятся: «Золото в лазури», «Пепел», «Урна», «Первое свидание», проза содержит квадрилогию симфоний: «Первая героическая симфония», «Вторая драматическая симфония», «Третья симфония» («Возврат»), «Четвертая симфония» («Кубок метелей»); далее сюда относятся книги: «Серебряный голубь», «Петербург», «Котик Летаев» и «Москва» в двух томах: 1. «Московский чудак» и 2. «Москва под ударом». Эссе: «Символизм», «Луг зеленый», «Арабески» и «Воспоминания о А.А. Блоке». После его смерти, в конце февраля, был издан последний труд Белого «Мастерство Гоголя». Книга содержит 300 страниц, и Белый в ней касается главным образом сюжетных и стилистических особенностей творчества Гоголя, а также анализирует его значительное влияние на русскую литературу, как на Достоевского, так и на современных писателей, например Ф. Сологуба, А. Блока, Белого, Маяковского и Мейерхольда*.

Все творчество Белого отмечено печатью символизма со всеми его достоинствами и недостатками. Оно патетично, богато крайностями, гиперболами, метафорами, сравнениями, игрой слов, междометиями, ономатопоэтическими словами. Оно пропитано литературным мистицизмом, полно психологизма образца Достоевского; граница между действительным и воображаемым в нем стерта, как у Гоголя или Достоевского (в «Двойнике»), факты и вымысел переплетаются; мир искажается фантазией автора, как в кривых зеркалах; никакого равновесия и перспективы. Белый охотно разбирает внутренний мир человека главным образом в его уродстве, раскрывая трагическое влияние пережитков прошлого, безумия, извращенности. Сметает поверхностный налет цивилизации, представляющий собой что-то искусственное и непрочное, обнажая основу до мельчайшего изгиба. Все это он творит языком, которому в мировой литературе найдется мало

* Архив Белого передан в Центральный музей художественной литературы, критики и публицистики в Москве, которым заведует историк В.Д. Бонч-Бруевич. Помимо рукописей и обширной корреспонденции он содержит оригинальную антологию стихов, которую Белый составил для посмертного издания (прим. редакции)[45].

подобных по своеобразию и оригинальности, граничащей с безделушным чудачеством и лапидарной грандиозностью. Предложения часто обрывисты, многозначны, полны архаизмов и неологизмов, так что переводить Белого — невероятно сложное и неблагодарное дело. Невозможно при этом не потерять то главное, что его отличает: магию и музыкальность языка. Язык Белого можно поместить между Пушкиным и Хлебниковым. В остальном он ближе всего к Блоку. Сравнить между собой эти две самые значительные личности современного русского Парнаса, которые долгое время были якобы чужды и держались друг с другом враждебно, представляется крайне плодотворным.

Белый оказал и оказывает на русскую литературу очень значительное влияние. Его громили и ему подражали, но никто не мог пройти мимо. Он проложил путь формалистской школе, был предшественником футуристов, которые видели в нем своего лидера и в выборе сюжета, в способе оформления и, главное, в стремлении к совершенному овладению языком шли путями, которые им указал Белый[46].

Биографическая справка

Гостовски, Йозеф (Hostovský, Josef; 9.7.1882, Джбанков близ г. Высоке-Мыто — 17.5.1965, Прага) — школьный учитель, славист, литературный критик и историк, переводчик с русского, публицист.

Изучал чешский и немецкий языки сначала в Праге, потом учился в Москве (1911—1912). Во время Первой мировой войны служил на болгарском фронте. Преподавал в гимназии в Праге. Писал очерки, фельетоны и рецензии для разных журналов — собраны в книге «Tragika v životě a díle ruských spisovatelů a jiné články o ruské literatuře» (1925), в том числе очерки о Л.Н. Толстом, Ф.М. Достоевском и Н.А. Некрасове.

После Первой мировой войны писал о советской литературе и о литературе русской эмиграции, с представителями которой в Праге был лично знаком (А.Т. Аверченко, Е.Н. Чириков, Вас.И. Немирович-Данченко, В.Ф. Булгаков и др.).

Источник: Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 2, Sv. 1, H — J. Praha: Academia, 1993.

---

[1] См. упоминание о этом: *Parolek R.* K tvůrčímu typu memoárové trilogie A. Bělého // Bulletin ruského jazyka a literatury XXXII (ineditní autoři a práce z let 1970—88). Praha: OIKOYMENH. S. 207—215 («К творческому типу мемуарной трилогии А. Белого»).

[2] Problém skazu v próze A. Bělého a A. Remizova. Gdańsk, 1982; Peterburgskij grotesk Andreja Belogo». Zagreb, 1981.

[3] См. работы таких авторов, как М. Задражилова — литографированный курс лекций «Русская литература на рубеже XIX—XX вв.» (Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha: UK, Karolinum, 1995) и др.; М. Микулашек — глава «Роман-миф и его нарративные формы в эволюции романа первой трети XX в.» («Román mýtus a jeho narativní podoby v evoluci románu první třetiny 20. Století») в книге «Поиск души произведения в искусстве интерпретации» (Hledání duše díla v umění interpretace. Ostrava: Tilia, 2004); Я. Ворел — книга «Астральная проза Андрея Белого (Astrální próza Andreje Bělého. Ostrava: FF OU, 2007); Д. Кшицова — книга («Метаморфозы поэтического сборника — Генеалогия “Пепла” Андрея

Белого» (Proměny básnické sbírky – Genealogie Popele Andreje Bělého. Brno: MU, 1999). В Словакии творчеством Белого и русским символизмом вообще систематически занимается Эва Малити – см., напр.: *Maliti E.* Symbolizmus ako princíp videnia. Bratislava: SAV, 1996; *Maliti E.* Symbolizmus v kontextach a súvislostiach. Bratislava: SAV, 1999.

[4] *Žundálek František Hanuš.* Andrej Bělyj, ruský básník, zemřel // Vlast (Revue pro kulturu a život). R. 49 (1933–1934). S. 361.

[5] Некролог «Andrej Bělyj, ruský básník-symbolista, zemřel» публикуется по: Zvon: týdeník beletristický a literární (Колокол: беллетристический и литературный еженедельник). R. 34 (1934). Č. 21. S. 296. Подпись: «Č.».

[6] Избранная библиография: Karel Kramář: jeho život a význam. Praha, 1930 («Карел Крамарж: его жизнь и значение»); Moje rakouské žaláře: vzpomínková kronika z let 1914–17. Praha, 1928 («Мои австрийские заточения: мемуарная хроника 1914–17 гг.»); Naši na Sibiři: kapitoly vlastní a cizí. Praha, 1920 («Наши в Сибири: главы родной и зарубежной истории»); Polsko a Rusko. Praha, 1930 (Польша и Россия); Sibiřské děje a postavy («Сибирские события и личности»); Tragédie Ruska. Praha, 1922 («Трагедия России»); Za oceán: listy z Ameriky. Praha, 1921 («За океан: письма из Америки»).

[7] Перед текстом некролога помета о времени поступления материала от автора: «Прага, 16 января».

[8] Правильно: 8 января.

[9] Ян Махал (Jan Hanuš Máchal; 1855–1939) – чешский славист, профессор Карлова университета в Праге.

[10] Не сборник, а поэма, вышедшая отдельной книжкой в 1921 г. в издательстве «Алконост».

[11] «Стихи о России» (Берлин: Эпоха, 1922).

[12] Каждой из трех книг «Москвы» («Московский чудак», «Москва под ударом», «Маски») предпослано небольшое предисловие с «антибуржуазным уклоном».

[13] Sub specie aeternitatis (*лат.*) – под знаком вечности, с точки зрения вечности.

[14] То есть роман «Маски» (1932).

[15] Некролог «Andrej Bělyj zemřel» публикуется по: Lidové noviny (Народная газета). R. 42 (17.1.1934). Č. 28. S. 5.

[16] Избранная библиография: A.A. Blok. Praha, 1925; Barunin i slavjanstvo. Moskva 1917; Československé lidové malířství na skle. Praha, 1938; Kultura květin. Praha, 1931; Lubok neboli ruské lidové tisky. Praha, 1946; Moskevské umělecké divadlo. Praha, 1921; Praha před sto lety. Praha, 1935; Putování za lidovým uměním. Praha, 1941; Rusko z blízka i z dálky. Praha, 1929; SSSR v satiře a humoru. Praha, 1933; Studie z ruské moderní literatury. Praha, 1920; Střepiny: poznámky o ruské literatuře a psychologii. Praha, 1921.

[17] Группа кристаллов, выросших на одном общем основании.

[18] Памятник Петру I работы Этьена Мориса Фальконе был установлен 1782 г. в центре Петровской (с 1820-х – Сенатской) площади, выходящей на Адмиралтейскую набережную.

[19] Некролог «Kytička na hrob Andreje Bělého» публикуется по: Lidové noviny («Народная газета»). R. 42 (1.2.1934). Č. 56. S. 1–2.

[20] Избранная библиография: Verše o mamince, lásce a smrti. Praha, 1918; Lyrické intermezzo. Praha, 1940; Černá věž a zelený džbán. Praha, 1925; Li-Po: dvacet tři parafráze. Praha, 1942; Nové zpěvy staré Číny. Praha, 1940; Nové zpěvy staré Číny: parafráze staré čínské poesie. Praha, 1949; Písně moudrosti a dálek, Praha, 1940; Přehled sovětské literatury, Praha, 1962; Verše

psané na vodu: starojaponská pětiverší. Praha, 1943; Zpěvy modravé Rusi. Praha, 1975; Zpěvy země sovětů: výbor sovětské poesie. Praha, 1945.

[21] В газетной публикации ошибочно «Алексей Белый».

[22] Романы «Котик Летаев» и «Записки чудака» задумывались как части многотомной (незавершенной) автобиографической эпопеи «Моя жизнь» («Я»).

[23] Некролог «Zemřel Andrej Bělyj» публикуется по: Národní listy (Национальная газета). R. 74 (1934). Č. 16. S. 5.

[24] Избранная библиография: Dr. Karel Kramář (1860–1930): život a dílo. Praha, 1930; Grobovete na Trikeri. Sofie 1914; Makedonie: studie zeměpisná, historická, národopisná, statistická a kulturní. Praha, 1914; Nový Balkán: stručný přehled politických dějin balkánských států. Praha, 1924; Nový kapesní slovník jazyka českého a bulharského. Třebíč, 1922; Z bulharského bojiště: dojmy válečného zpravodaje. Praha, 1913.

[25] Книга была издана в Москве, в Государственном издательстве художественной литературы.

[26] Некролог «Poslední dílo A. Bělého» публикуется по: Národní listy (Национальная газета). R. 74 (1934). Č. 61. S. 5. Подпись: «Č.».

[27] Правильно: 8 января.

[28] Имеются в виду трактаты «Кризис жизни», «Кризис мысли», «Кризис культуры», собранные в сб. Андрея Белого «На перевале» (Берлин; Пб.; М.: Изд. З.И. Гржебина, 1923).

[29] В Праге Белый слушал лекции Штейнера в апреле 1914 г.

[30] Некролог «Andrej Bělyj zemřel» публикуется по: Národní osvobození (Национальное освобождение). R. 11 (16.1.1934). Č. 12. S. 5. Подпись: «– á –».

[31] Избранная библиография: Cesta. Praha, 1985; Dlouhé noce. Praha, 1971; Do slunce a do mraků: verše. Praha, 1958; Doba a umění: články, úvahy a polemiky 1925–1938. Praha, 1961; Hodiny pro bosé nohy. Praha, 1978; Julius Fučík. Praha, 1950; Kouzelný proutek. Praha, 1989; Křeslo pro Danta a Beatrici. Praha, 1983; Pole a lesy. Praha, 1928; Slunce a chléb. Praha, 1956; Umění a život: výbor z esejů. Praha, 1981; Začíná století: román. Praha, 1932.

[32] См. заметку А. Кута из газеты «Вечерняя Москва» за 9 января 1934 г. в наст. изд.

[33] Некролог «Poslední dílo A. Bělého» публикуется по: Národní osvobození (Национальное освобождение). R. 11 (21.1.1934). Č. 17. S. 11. Подпись: «– chb –».

[34] Избранная библиография: Bachmač – březen 1918. Praha, 1930, 1948; Bohové, náboženství a kněží. Praha, 1926; Dějiny Anglie od dávnověku do roku 1947. Praha, 1947; Jihočeský selský vůdce Radola: politická reportáž. Praha, 1931; Mariinsk-Kungur: dva obrazy ze sibiřské války. Praha, 1931; Cesta Sovětským svazem. Praha, 1935; Karel Havlíček Borovský. Praha, 1936; Jan Herben. Praha, 1947; L.N. Tolstoj. Praha, 1948; Prezident Edvard Beneš: muž práce a příklad. Praha, 1936.

[35] Из письма А.А. Блока к К.И. Чуковскому от 26 мая 1921 г. См.: *Блок А.А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 537.

[36] Имеется в виду не первая книга мемуаров «На рубеже двух столетий» (1930), а следующая за ней – «Начало века» (1933).

[37] Имеется в виду Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций», упраздняющее ассоциацию пролетарских писателей (РАПП, ВОАПП) и дающее установку на объединение всех писателей, стоящих на платформе советской власти, в единый союз.

[38] Очерк «Армения», написанный по материалам поездки на Кавказ в 1927 г., был напечатан в журнале «Красная новь» (1928. № 8. С. 214–258).

[39] Некролог «Andrej Bělyj zemřel» публикуется по: Právo lidu: časopis hájící zájmy dělníků, maloživnostníků a rolníků (Право народа: журнал, защищающий интересы рабочих, мелких ремесленников и крестьян). R. 43 (16.1.1934). Č. 12. S. 6. Подпись: «vbk».

[40] Избранная библиография: Alexandr Sergejevič Puškin: život, dílo a ohlasy. Praha, 1949; Bibliografie literatury o studentstvu. Praha, 1928; Bibliografie socialismu: soupis knih i revuálních časopiseckých a novinářských článků za rok... Praha, 1933, 1934, 1935; Maxim Gorkij: klasik socialistického písemnictví. Praha, 1951; Naše vězeňská literatura. Praha, 1948; Sovětský svaz v písemnictví Československa: bibliografie. Praha, 1936.

[41] Калоускова Ярмила (Kalousková Jarmila; 31.12.1908, Ростов-на-Дону – 27.4.1989, Прага) – чешский лингвист и синолог; в 1930-е г. преподавала русскую литературу в Карловом университете в Праге.

[42] Имеются в виду болезни, перенесенные Белым в раннем детстве. См. об этом в мемуарах «На рубеже двух столетий» и повести «Котик Летаев».

[43] *Андрей Белый.* Звезда. Новые стихи. Пб.: ГИЗ, 1922.

[44] Andrej Bělyj. Rozhledy po literatuře a umění. R. 3 (1934). S. 62 («Литературный и художественный кругозор»). Подпись: «Савинов».

[45] Имеется в виду сборник «Зовы времен».

[46] Некролог публикуется по: Slovanský přehled (Славянское обозрение). R. 26 (1934). Č. 2/3. S. 86–87.

Перевод с чешского Ксении Тименчик.
Подготовка текстов и биографические справки
Лукаша Бабки (Чехия), предисловие Яна Ворела (Чехия)

А.Л. БЕМ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
(27.X.1880 – 8.I.1934)

Pestrý týden (Praha).
1934. Roč. 9. Č. 6.

Встречу с поэтом Александром Блоком Андрей Белый считал для себя роковой. Об этом он писал в глубоко поэтичной и важной для понимания русского символизма поэме «Первое свидание».

Но Белый даже не мог предположить, что эта встреча двух молодых никому не известных людей окажет какое-то влияние на целую культурную эпоху России. Но на самом деле так оно и случилось. Блок и Белый – в этих именах заключается целая эпоха не только русской литературы, но и культуры в целом.

Блок умер в 1921 г. в трагических условиях русской революции. Автор «Двенадцати» считался певцом революции, и его смерть нашла широкий отзвук у соотечественников. Белый пережил своего ровесника на двенадцать лет. Его смерть 8 января не нашла в России такого отзвука, как в свое время смерть Блока. Лишь небольшая группка русских писателей присутствовала на его похоронах в Москве. Мало кто из младшего русского поколения, сформировавшегося уже в другой атмосфере, представляет себе, что потеряла русская культура со смертью А. Белого.

Он родился в 1880 г. в семье известного университетского профессора математики Николая Бугаева. Собственно, его настоящее имя – Борис Николаевич Бугаев. Сначала учился в Московском университете на естественном отделении, отсюда его знакомство с точными науками и склонность к научному исследованию. Особое влияние на него оказали Ницше, Шопенгауэр, В. Соловьев. Позже стал ревностным антропософом и даже прожил несколько лет в Дорнахе, антропософском центре в Швейцарии. Сделал попытку теоретического сближения учения Штейнера со взглядами Гете[1].

Однако его философские взгляды не встретили в России широкого отклика. Их популярность ограничивалась тесным кружком личных друзей и почитателей. Большее значение имели его теоретические труды по искусству. В 1910 г. они издаются отдельным сборником под названием «Символизм». В нем он пытается подвести теоретическую основу под литературное направление, которое сам представляет. Сегодня этот труд в значительной степени устарел, но в нем заключается главная заслуга Белого перед литературоведческой наукой; ведь он одним из первых обратил внимание на форму и использовал метод подробного эстетического анализа. Наиболее значительным было его научное исследование языка поэзии и прозы. Сам же он в своем творчестве уделяет большое внимание музыкальной стороне языка, и его проза часто едва отличима от поэзии. Язык

Белого вообще крайне изощрен и с трудом поддается переводу на иностранный язык.

«Все, мной написанное, — роман в стихах: содержание же романа — *мое искание правды*, с его достижениями и падениями», — писал Белый о своей поэзии[2]. Путь этого внутреннего развития прослеживается от первого сборника стихов «Золото в лазури» до последнего цикла «После звезды»[3]. Сегодня, когда перед нами вся поэзия Белого, отчетливо виден этот эволюционный характер его творчества. Свое мистическое восприятие России, в которой он видел «Мессию грядущего дня»[4], Белый передал в поэме «Христос воскрес» (1918), часто сравниваемой со знаменитой поэмой Блока «Двенадцать».

Однако наибольшая заслуга Белого перед русской литературой заключается в его романах. «Серебряный голубь» (1910) и «Петербург» (1912) являются значительными этапами в развитии русской прозы в целом. Написанные под влиянием главным образом Гоголя и Достоевского, они продолжают русскую традицию психологически-философского романа. В том, что касается формы, они открывают новые пути развития русского романа в целом. Художественная форма более поздних романов «Москва» и «Маски» даже чересчур выпячена.

Романы «Котик Летаев» и «Записки чудака» носят уже скорее автобиографический характер. От них он переходит к собственным воспоминаниям, придав им импровизированную форму литературных и личных мемуаров. Его «Воспоминания» о Блоке и Брюсове, которые он еще недавно дополнил и обновил[5], являются чрезвычайно важным источником для понимания русского символизма.

В последнее время Андрей Белый все больше предавался воспоминаниям о прошлом. Он написал две книги воспоминаний: «На рубеже» и «Начало века»[6]. Исследователь русской культуры начала XX в. найдет в этих воспоминаниях Белого ценный материал и, что еще важнее, почувствует душную атмосферу русских предвоенных лет, атмосферу, в которой родилась русская революция. Огневая стихия этой революции сожгла Белого, как он сам об этом писал:

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня![7]

ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ СИМВОЛИСТ

České slovo (Praha). 1934.
18 января. Roč. 26. Č. 14.

С Андреем Белым уходит целая эпоха не только русской литературы, но и русской культуры в целом. Будучи членом младшей группы русских символистов, Андрей Белый отличался всесторонней образованностью и большим интересом

к метафизическим и эстетическим вопросам. Испытывал влияние Ницше, Шопенгауэра, В. Соловьева и особенно сильное влияние родоначальника антропософии Рудольфа Штейнера. Из его интереса к Штейнеру рождается работа «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности» (1917). Однако это не самая значительная для России сторона его деятельности. Гораздо большее влияние оказали его теоретические работы по искусству, в особенности книга «Символизм» (1910). В своих взглядах на поэтическое творчество он опирался на учение великого русского языковеда А.А. Потебни[8]. Можно сказать, что молодая русская формальная школа во главе с В. Шкловским возникла как реакция на символистское понимание искусства как «мышления образами»[9], из которого исходил А. Белый. Хотя его теоретические труды в значительной степени уже устарели, заслугой его все же останется то, что он одним из первых в своих литературоведческих работах обратил внимание на форму произведения и применил метод детального эстетического анализа. Он был убежден в отсутствии существенного различия между языком поэта и прозаика, и его научные исследования в этой области дали ценные результаты. Однако его творческая деятельность имеет еще большее значение, чем теория. Проза А. Белого зачастую едва отличима от поэзии, а его язык так тесно связан с музыкальной стороной речи, что без постижения этой связи его вообще невозможно понять. Белый, Хлебников и А. Ремизов – это лаборатория русского литературного языка, в которой воспитывалась и продолжает воспитываться русская литературная молодежь.

Судьба Белого тесно переплетена с судьбой А. Блока. Их сформировала одна среда и связывала многолетняя дружба. Воспоминания Белого о Блоке – важнейший источник для понимания его личности и творчества. Еще несколько месяцев назад Белый переработал и значительно дополнил их[10]. А без его поэмы «Первое свидание» наше представление о русском символизме осталось бы неполным.

Как поэт Андрей Белый не обладал тем лирическим источником, который буквально бил ключом у Блока. Его развитие шло в противоположном направлении. Блок с годами преодолевал свой мистицизм, и его поэзия становилась более объективной и более внятной в языковом отношении. Все поэтическое творчество Белого – это книга его внутреннего развития, его лирическая автобиография, начиная с первого сборника «Золото в лазури» до последнего цикла «После звезды» (см. «Стихотворения» 1923). Несхожесть Блока и Белого лучше всего просматривается в их стихотворениях о России. Поэма Белого «Христос воскрес» (1918) и «Двенадцать» Блока часто сравнивались, однако у Белого ясно видно, что мистическая сторона преобладает над поэтической. Россию он всегда представлял себе как «Мессию грядущего дня».

Наибольшее значение для русской литературы будут иметь, без сомнения, прозаические произведения Белого. Романы «Серебряный голубь» (1910) и «Петербург» (1912) имеют значение не только как идеологические романы, продолжающие традиции Пушкина, а затем и Гоголя и Достоевского, но и как прокладывающие новые пути в развитии русского романа в целом. Романы же «Котик Летаев», «Записки чудака» и «Москва» имеют уже скорее автобиографическое значение, а в отношении формы – даже художественно перегружены.

Смерть Андрея Белого пришла внезапно и неожиданно. Но в каком-то смысле он пережил самого себя. Современная Россия со своим реализмом и примитивиз-

мом в духовном плане была ему, безусловно, чужда. Ему тяжело было приспособиться к новым порядкам, как бы искренне он того ни желал. Со стороны нового литературного течения, которое сегодня охватывает Россию, он также не встречал понимания. «Социалистический реализм» ему, индивидуалисту мистического настроя, казался явлением давным-давно отжившим[11]. Он доживал свою жизнь, вспоминая о своем прошлом и все больше уходя в формальное словесное искусство. В последнее время он часто оставался непонятым и, наверное, даже не хотел, чтобы его понимали. Он умер, проделав огромную работу, прожив жизнь, полную творческих трудов и стремления к совершенству человека и искусства[12].

Перевод с чешского Ксении Тименчик

Послесловие

Альфред Людвигович Бем[i] (1886–1945?) – литературовед, библиограф, литературный критик, публицист, педагог, переводчик. С 1906 г. по 1912 г. учился на историко-филологических факультетах Киевского и Петербургского университетов (в частности, у С.А. Венгерова, В.И. Срезневского, А.А. Шахматова). В дореволюционные годы Бем жил попеременно в Петербурге и в Киеве, занимаясь научной деятельностью (работал ученым хранителем в библиотеке Академии наук, был редактором «Обозрения трудов по славяноведению» и других серийных научных изданий), публикуя литературоведческие и библиографические труды. Годы революции и Гражданской войны Бем провел, скитаясь между Петроградом и Киевом, где осталась его семья.

В ноябре 1919 г., за месяц до занятия Киева войсками Красной Армии, Бем уехал в Одессу. Оказавшись отрезанным от семьи, решил покинуть страну; в январе 1920 г. он выехал на пароходе из Одессы и перебрался через Румынию в Югославию; в ноябре 1920 г. переехал в Варшаву. В январе 1922 г. Бем переселился в Прагу, получив стипендию в рамках «Русской акции» чехословацкого правительства; с сентября 1922 г. он работал лектором по русскому языку в Карловом университете. В конце 1922 г. из Советской России в Прагу переехала жена Бема с двумя дочерьми. С 1923 г. Бем преподавал историю русской литературы в Педагогическом институте имени Я.А. Коменского, затем в Русском народном (свободном) университете. После захвата немцами Чехии в марте 1939 г. Бем лишился работы в закрывшихся учебных заведениях; во время войны он вынужден был сотрудничать с немецкими властями. 16 мая 1945 г. Бем был арестован советскими органами; поводом для ареста послужила, по-видимому, работа в немецком уч-

[i] См.: *Бубеникова М.* Бем // Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918–1940. Писатели русского зарубежья. М., 1997. С. 62–64; *Горяинов А.Н., Робинсон М.А.* Шесть писем А.Л. Бема и о А.Л. Беме // Славяноведение. 1998. № 4. С. 94–104; *Бочаров С.Г., Сурат И.З.* Альфред Людвигович Бем // Бем А.Л. Исследования. Письма о литературе. М., 2001. С. 7–31; *Бубеникова М., Горяинов А.Н.* О невосполнимых потерях: Альфред Людвигович Бем и Всеволод Измайлович Срезневский // Бем А.Л., Срезневский В.И. Переписка 1911–1936. Брно, 2005. С. 7–40; *Белошевская Л.Н., Нечаева В.П.* Альфред Людвигович Бем // «Скит». Прага 1922–1940: Антология. Биографии. Документы / Вступ. ст., общая ред. Л.Н. Белошевской. М., 2006. С. 81–88.

реждении. Его дальнейшая судьба неизвестна; предполагается, что он вскоре погиб в заключении.

Бем входил в состав многочисленных научных, литературных и общественных организаций русской эмиграции («Скит поэтов», Международное общество имени Достоевского, Союз русских писателей и журналистов в Чехословакии, Русское историческое общество, Русское философское общество, Пражский лингвистический кружок и др.). Помимо преподавательской и общественной деятельности Бем вел широкомасштабную научную работу, опубликовав ряд монографий и десятки статей в филологических журналах и сборниках. В центре внимания Бема-исследователя — русская литература XIX века (в частности Пушкин, Гоголь, Достоевский); ученый внимательно следил и за современной русской литературой (как советской, так и эмигрантской). Бем проявил себя как плодовитый литературный критик и публицист, печатая многочисленные журнальные статьи в русской эмигрантской периодике и в немецко- и чешскоязычных газетах и журналах. Библиография (неполная) трудов Бема насчитывает 540 названий[i]. Бем, свободно владевший чешским языком, печатался в ведущих периодических изданиях Чехословакии. Среди них — ежедневная газета «České slovo» (выпускаемая с 1907 г. значительнейшим пражским издательством «Melantrich») и еженедельник «Pestrý týden» (выходил в Праге с 2 ноября 1926 г. по 28 апреля 1945 г.) — один из лучших иллюстрированных журналов межвоенной Чехословакии.

О Белом (с которым он, по всей видимости, знаком не был) Бем опубликовал, наряду с двумя некрологами, также статью, посвященную роману «Петербург» (*-т [Bém A.L.]* Petěrburg Andreje Bélého // České slovo. 1935. 31.3. Roč. 27. Č. 77. S. 16).

Снимки с чешских подлинников настоящих статей Бема любезно предоставил Ph.D. Лукаш Бабка (Lukáš Babka), директор Славянского отделения Национальной библиотеки Чешской Республики, за что выражаем ему нашу искреннюю благодарность.

---

[1] Речь идет о книге Белого «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности» (М.: Духовное знание, 1917).

[2] Из предисловия Белого к сборнику «Стихотворения». Берлин; Пб.; М.: Изд-во З.И. Гржебина, 1923. С. 9).

[3] Речь идет о цикле, завершающем сборник Белого «Стихотворения» 1923 г. (С. 469–506).

[4] Из стихотворения Белого «Родине» («Рыдай, буревая стихия...») 1917 г. Последняя строфа этого стихотворения с данным стихом приводится Бемом в конце статьи.

[5] Здесь речь идет о «Воспоминаниях о Блоке» в берлинской «Эпопее» — расширенной редакции по сравнению с публикацией в «Записках мечтателей».

[6] Точнее: «На рубеже двух столетий» (М.; Л.: ЗиФ, 1930) и «Начало века» (М.; Л.: ГИХЛ, 1933). Третья книга воспоминаний Белого «Между двух революций» появилась в 1934 г.

[7] Некролог «Andrej Bělyj (27.X.1880 – 8.I.1934)» публикуется по: Pestrý týden. 1934. Roč. 9. Č. 6. S. 8. Подпись: «Dr. A.L. Bém».

---

[i] См.: Alfréd Ljudvigovič Bem (1886–1945?): bibliografie / Uspoř. a úvodní studii napsaly M. Bubeníková, L. Vachalovská. Praha, 1995.

[8] О своем отношении к идеям Александра Афанасьевича Потебни (1835–1891) и их значении для построения теории символизма Белый писал неоднократно. См., напр., статью «Магия слов» (1909) в сб. «Символизм» (М., 1910. С. 429–448) или статью «Мысль и язык (философия языка Потебни)» в журнале «Логос» (1910. Кн. 2. С. 240–258) и др.

[9] Ср.: «“Искусство – это мышление образами”. Эту фразу можно услышать и от гимназиста, она же является исходной точкой для ученого-филолога, начинающего создавать в области теории литературы какое-нибудь построение. Эта мысль вросла в сознание многих; одним из создателей ее необходимо считать Потебню. “Без образа нет искусства, в частности, поэзии”, – говорит он. “Поэзия, как и проза, есть прежде всего и главным образом известный способ мышления и познания”, – говорит он в другом месте» (Из основополагающей для Виктора Борисовича Шкловского (1893–1984) статьи «Искусство как прием». Впервые: Сборники по теории поэтического языка. Вып. II. Пг., 1917. С. 3–14; многократно перепечатывалась автором).

[10] По-видимому, речь идет о книге «Начало века» (1933).

[11] Бем, безусловно, не знал о последних творческих планах Белого. Ср. его запись в дневнике от 11 сентября 1933 г.: «Чувствую явное облегчение после пиявок; опять закопошились эмбрионы мыслей, хотелось бы, если здоровье позволит, написать статью на тему “Социалистический реализм”...» (см. в наст. изд.).

[12] Некролог «Poslední ruský simbolista» публикуется по: České slovo. 1934. 18 января. Roč. 26. Č. 14. S. 7. Подпись: «A.L. Bém».

Подготовка текста, комментарии и послесловие Манфреда Шрубы (Германия)

Л. АРНОЛЬДОВ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
Опыт характеристики

Шанхайская заря.
1934. 14 января.

Скончался Андрей Белый. Об этом из Москвы поведал ТАСС.

Лет ему было не мало и непосредственного воздействия на русскую литературу сегодняшних, самых последних дней, он давно уже не имел.

В нем признавали мэтра, законченного мастера, большого художника и яркого, самобытного философа, признавали как в советской литературе (он был лоялен большевикам), так и в эмиграции.

Но от жизни он давно отошел, да и никогда не был в сущности особенно близким к жизни, начав с символизма и кончив нервными исканиями новых путей к раскрытию не столько психологии, сколько психопатии человека.

Белому хотелось обязательно «попробовать» душу человеческую на словесную ощупь.

Белый был разносторонен и разнообразен, — он написал сорок восемь томов.

В его полном собрании сочинений есть все что угодно — стихи, романы, рассказы, исследования в область философии и мистики, труды по этимологии, фонетике, общей филологии, есть даже политические статьи, воспоминания, памфлеты и т.д. и т.д.

Широкая публика знает Андрея Белого, главным образом, по учебникам элементарного курса российской словесности, где Белый неизменно упоминается совместно с Александром Блоком, как один из основоположников раннего символизма.

— Белый, Вячеслав Иванов, Блок, Брюсов, Бальмонт — какое это уже далекое прошлое, не отцы, а деды.

Девяностые годы.

Но если Блок от символизма дошел до пророческих глубин национального сознания, то национальные корни в творчестве Белого ощущались гораздо слабее, что и дало ему возможность, во время революции, сначала метнуться как-то боком в сторону эмиграции, а, потом, открыто, и с детской простотой, пойти снова в стан большевиков, даже без особенных зазывов с их стороны.

Политика впрочем никогда не играла решающей роли не только в творчестве, но и в жизни Андрея Белого, он мог написать патриотический стишок и воспеть красное знамя[1].

Он воспринимал мир отвлеченно философски, в художественных образах, ритмосочетаниях, жил словно всегда в каком-то четвертом измерении — будь то

медитации о судьбах неуемной России или стихи ампирного уклона, или его «Глоссолалия»[2], или даже воспоминания о днях, когда молодой Бугаев (его настоящая фамилия) слушал Ключевского и поклонялся Владимиру Соловьеву.

Происходя из старинной московской культурной семьи[3], воспитавшись среди мыслителей и ученых, живя все время в атмосфере утонченнейшего восприятия утонченнейших идей, он был все-таки как бы не от мира сего.

У него и внешность была не то гейдельбергского «гэлертэра»[4], не то монмартрского поэта — было что-то детски трогательное в облике этого поэта-мыслителя, без основного стержня мысли, талантливейшего литератора, который до смерти не находил себе форму выражения, поэта, которого в славе быстро перегоняли литературные дети, внуки и даже правнуки, романиста, у которого писательского навыка, глаза, мысли, чувства и даже сердца хватило бы чуть не на самого Достоевского, и который, за всю свою долгую плодовитую, исключительно «писучую» жизнь, написал всего только одно достойное внимания и памяти потомков произведение — «Петербург», пророческую историю России.

Человек, который мог так провидеть будущее, как его волшебно угадал Белый, не стал даже Д.С. Мережковским.

И все-таки без Белого у нас и в поэзии не было бы Бориса Пастернака, и в прозе — Пильняка.

Словом, при всем своем таланте, при необъятных знаниях, при уме и трудолюбии, Белый был типичным неудачником в жизни, никчемным и в сущности никому не нужным большим русским писателем.

Его хвалят сейчас большевики главным образом потому, что он к ним пристал с именем, едва ли не самым знаменитым из всех русских писателей и поэтов, которые согласились с ними работать.

Нельзя же его ставить вровень с превознесенной теперь до небес этакой красной знаменитостью, как постылый Серафимович и даже в сравнении с Горьким, несмотря на мировое имя последнего. Белый есть подлинный русский писатель, большой русский поэт и культурнейший, одареннейший человек, психолог, философ и в прошлом даже мистик.

Может быть, кто-нибудь, потом и откроет нам Белого во весь рост, соберет воедино мозаику его творений, покажет нам, в чем он был велик, отделит крупицы подлинного золота от груды шлака.

Но, пока что, мы знаем Белого как автора единственного у него гениального произведения, повести о Петербурге, которая за несколько лет наперед предрекла гибель нашей удивительной столице и отразила не только колорит Петербурга, но и душу его в последние годы перед гибелью, сохранила его запах и даже «вкус»...

Потом, в литературе останется, конечно, и Белый-поэт, большой поэт, бесспорный, не такой, как Блок, — это гений ниже технически и Бунина, и Брюсова, но все-таки один из первых на протяжении около тридцати лет, пока эта поэзия символики и импрессионизма могла волновать, тревожить и будоражить.

При всей своей неуемности и «лишности» Белый указал много новых путей, хотя сам он не имел своего пути, шел по бездорожью и весь был соткан из противоречий, пронизан неудачами, этот странный человек, типично в душе рус-

ский интеллигент, пошедший в услужение к душителям русской национальной интеллигенции, взявший себе псевдоним Белый для того, чтобы умереть в красном стане.

Как и Блок, Белый мучительно любил Россию, понимал и чувствовал ее, как редко кто из символистов мог ее прочувствовать и передать свои чувства в словесных образах: вот на память первое же стихотворение.

Эй, промчались! Кони бойко
Бьют копытом в звонкий лед;
Разукрашенная тройка
Снежной пылью занесет.
Солнце, в дымах сизых кроясь,
Зарумянится слегка.
В крупных искрах блещет пояс
Молодого ямщика.
Будет вечер: Опояшет
Небо яркий багрянец.
Захохочет и запляшет
Твой веселый багрянец.
Ляжет скатерть огневая
На холодные снега.
Загорится расписная
Золотистая дуга.
Кони станут. Ветер стихнет.
Кто там встретит на крыльце?..
И румянец ярче вспыхнет
На обветренном лице.
Сядет в тройку. Улыбнется!
Скажет: «Здравствуй, молодец!»...
И опять в полях зальется
Вольным смехом бубенец[5].

Но Белый умел быть не только символичным.

Он мог, когда хотел, петь старину в очень четких образах.

Хочется, для примера, процитировать, другое его известное стихотворение: «Опала».

Для сохранения места – цитируем в строчку:

> Блестящие ходят персоны, повсюду фаянс и фарфор, расписаны нежно плафоны, музыка приветствует с хор. А в окнах для взора угодный, прилежно разбитый цветник. В своем кабинете дородный и статный сидит временщик. В расшитом камзоле, при шпаге, <в андреевском ордене он.> Придворный, принесший бумаги, отвесил глубокий поклон, – приветливый, ясный, речистый, отдавшийся важным делам, сановник платочек душистый кусает, прижавши к устам. Докладам внимает он мудро. Вдруг, перстнем ударил о стол, и с буклей посыпалась пудра на золотом шитый камзол.

«Для вас, государь мой, не тайна, что можете вы пострадать: и вот я прошу чрезвычайно сию неисправность изъять!..» Лицо утонуло средь кружев. Кричит, раскрасневшись: «Ну, что-ж? Татищев, Шувалов, Бестужев – у нас есть не мало вельмож – коль Вы не исправны, законы блюсти я доверю другим!.. Повсюду, повсюду препоны моим начинаньям благим...» И гневно поднявшись, отваги исполненный, быстро исчез. Блеснул его перстень и шпаги украшенный пышно эфес. Идет побледневший придворный... Напудренный щеголь в лорнет глядит – любопытный, придворный: «Что с вами? Лица на вас нет?.. В опале... Назначен Бестужев...» Главу опустил – и молчит. Вкруг море камзолов и кружев, волнуясь, докучно шумит. Блестящие ходят персоны, музыка приветствует с хор, окраскою нежно плафоны ласкают пресыщенный взор[6].

Белый был одиноким, непонятым, непонятным и давно уже душевно измученным человеком. Одно из его ранних стихотворений хорошо свидетельствует об этом:

Сирый, убогий, в пустыне бреду,
Все себе кров не найду.
Плачу о дне,
Плачу... Так страшно, так холодно мне.
Годы проходят. Приют не найду.
Сирый иду.
Вот и кладбище... В железном гробу
Чью-то я слышу мольбу.
Мимо иду...
Стонут деревья в холодном бреду...
Губы бескровные шепчут мольбу...
Стонут в гробу.
Жизнь отлетела от бедной земли.
Темные тучи прошли.
Ветер ночной
Рвет мои кудри рукой ледяной.
Старые образы стали вдали.
В Вечность ушли[7].

Это стихотворение так и хочется назвать пророческим.

Ветер революции ледяной рукою рвал кудри поэта, который всем своим прошлым и всеми помыслами своими был, конечно, в дореволюционном прошлом.

Сирый, убогий, в пустыне советской литературы «на заказ» брел Андрей Белый, тщетно пытаясь найти себе кров.

Пав на дно услужения, он наверное плакал, во всяком случае ему было и страшно и холодно, слишком чуткa, слишком огромна и ласкова была его душа, душа взрослого ребенка, чтобы слыша из железного гроба России мольбу ее о спасении остаться в глубинах глубин своего сердца равнодушным к этим мольбам:

Жизнь отлетела от бедной земли
Темные тучи прошли.
Старые образы встали вдали
В Вечность ушли.

Умирал поэт, конечно, в царстве старых образов.

И его бескровные старческие губы, наверное, шептали молитву, мольбу к той России, где он родился, где воспитался, которую так трепетно и проникновенно чувствовал и которую потерял, заколоченною в железный гроб коммунизма.

Послесловие

Арнольдов Лев Валентинович (1894 – после 1946) – журналист, редактор, синолог. В правительстве А.В. Колчака был начальником отделения департамента по делам печати, затем директором бюро информации министерства иностранных дел. В 1919 г. уехал на Дальний Восток, публиковался в газетах Хабаровска и Владивостока. В 1920 г. эмигрировал в Харбин, работал в газетах «Русский голос», «Харбинская заря» и др. В 1925 г. поселился в Шанхае, где стал редактором ежедневной газеты «Шанхайская заря» (1925–1940). После смерти в 1932 г. издателя и главного редактора газеты М.С. Лембича занял его место (Подробнее о нем см.: *Хисамутдинов А.А.* Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Библиографический словарь. Владивосток, 2000). Автор книг «Китай, как он есть. Быт и политика. Наблюдения, факты, выводы» (Шанхай, 1933); «Из страны белого солнца: этюды о Китае» (Шанхай, 1934); «Жизнь и революция. Гроза пятого года. Белый Омск» (Шанхай, 1935). Прожив в Китае 15 лет, уехал в Бразилию.

---

[1] Намек на поэму «Христос Воскрес» (Пб.: Алконост, 1918).

[2] Правильно: «Глоссолалия» (Берлин: Эпоха, 1922).

[3] Бугаевых с натяжкой можно назвать «старинной московской культурной семьей». Мать происходила из купеческой семьи Егоровых, училась дома; отец был отправлен дедом писателя в Москву на учебу в гимназическом возрасте.

[4] «Gelehrter» (*нем.*) – книжник, ученый, схоласт; человек, оторванный от реальной жизни.

[5] Стихотворение «Тройка» (1904), включенное Белым в сб. «Пепел» (СПб.: Шиповник, 1909. С. 198–199) и последующие стихотворные сборники (Стихотворения. Берлин; Пб.; М.: Изд-во З.И. Гржебина, 1923. С. 220; Пепел. М.: Никитинские субботники, 1929. С. 129–130). Арнольдов, однако, цитирует стихотворение по тексту первой публикации в «Журнале для всех» (1904. № 7. С. 387) – с незначительными разночтениями в пунктуации и двумя ошибками-описками. Правильно: «Эй, помчались...» в 1-й строке 1-й строфы и «Твой веселый бубенец» в 4-й строке 3-й строфы.

[6] Стихотворение «Опала» из сб. «Золото в лазури» (М.: Скорпион, 1904. С. 63–65; вошло также в сб. «Стихотворения» (С. 175–176)). Арнольдов приводит его с незначитель-

ными разночтениями и описками в пунктуации (явные описки нами исправлены), двумя ошибками (должно быть: «глядит – любопытный, притворный», «окраскою нежной плафоны ласкают пресыщенный взор») и пропуском строки (вставлен в текст в угловых скобках).

[7] Стихотворение «Одиночество» (1900) из сб. «Золото в лазури» (М.: Скорпион, 1904. С. 165).

Подготовка текста Е.В. Наседкиной, комментарии и послесловие М.Л. Спивак

V
POST MORTEM

Е.В. Наседкина

ПОСМЕРТНАЯ МАСКА АНДРЕЯ БЕЛОГО И ЕЕ АВТОР СКУЛЬПТОР С.Д. МЕРКУРОВ

По свидетельству П.Н. Зайцева, «скульптор Меркуров снял маску» с лица Андрея Белого вечером 9 января 1934 г.[1], когда гроб с телом Белого установили в Большом зале Дома литераторов[2]. Это знаковое и статусное событие было отмечено и в официальных сообщениях в печати, правда, имя скульптора искажено: «Скульптор Меркулов <так!> снял маску с лица Андрея Белого»[3]. Ошибка в написании фамилии автора маски будет сопровождать эту работу Меркурова на протяжении многих лет во всех ее блужданиях.

Скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров (1881–1952), народный художник СССР (1943), действительный член Академии художеств СССР (1947), лауреат Сталинских премий (1941, 1951), директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с 1944 г. по 1950 г., известен многими памятниками и монументальными сооружениями, в частности пятнадцатиметровыми статуями Ленина и Сталина на канале Москва–Волга, проектом гигантской статуи Ленина для возводившегося в 1930-е Дворца Советов. Им выполнены памятники Ломоносову, Толстому, Достоевскому, Пушкину. Учился резьбе по камню Меркуров в детстве и ранней юности у армянских каменотесов в городе, где он родился, – Александрополе (с 1924 г. Ленинакан). В 1901 г. Меркуров поступил в Киевский политехнический институт, а в следующем году он уже студент философского факультета Цюрихского университета. Тогда же он начинает заниматься скульптурой – сначала в Цюрихе, а затем совсем оставляет философию, чтобы стать художником, и в 1902–1903 гг. обучается в мюнхенской Академии художеств, совершает путешествие по Италии, в 1905–1907 гг. работает в Париже. В 1907 г. Меркуров возвращается на родину, в Армению, а в 1910 г. перебирается в Москву, активно участвует в художественной жизни, а позже – в разработке плана монументальной пропаганды.

В 1930 г. наряду с другими собратьями по ремеслу скульптору пришлось держать ответ перед комиссией по чистке членов Ассоциации художников революции (АХР), его ответы зафиксированы в протоколе комиссии: «В Мюнхене пробыл года 3–3½, где выполнил скульптуру “Соната Бетховена”, в 1905 г. переехал во Флоренцию, оттуда в Париже несколько лет. В Россию переехал в конце <19>10 г. В 1917 г. первым явился в Совет и предложил свои услуги, и правительство посетило его мастерскую и купило все его произведения. За период революции он сделал несколько памятников как в Москве, так и в провинции»[4]. Благополучно пройдя чистку, Меркуров становится признанным официальным художником и «законодателем официального скульптурного стиля»[5], а также... главным исполнителем посмертных масок известных политиков, писателей, актеров и других известных людей первой половины XX века.

Впрочем, этим древним ремеслом[6] Меркуров начал заниматься еще в дореволюционную пору. Его первой посмертной маской стала маска Католикоса всех армян Мкртича I (Мкртич Хримян), умершего в 1907 г. в Эчмиадзине. Скульптор подробно и не без мрачноватого юмора рассказал в воспоминаниях о том, как это происходило:

«Епископы в черном облачении довели меня до дверей – впустили в комнату и заперли за мною двери.

Я очутился один с покойником. <...>

Приступаю к снятию маски. От волнения забываю проложить нитку для разрезывания формы на два куска. Заливаю гипсом всю голову. <...>

Жду, пока закрепнет гипс. Только сейчас замечаю, что забыл нитку, не разрезал формы и залил всю голову.

Так форму не снимешь. Приходится заднюю часть формы ломать долотом и молотком на куски, здесь же на голове.

Наконец, переднюю часть формы освободил. Стараюсь отделить форму от лица. В волнении залил и бороду, теперь она держит форму.

Покойник – между моими ногами. Одной рукой беру голову сзади, другой – отдираю форму. Наконец, она отделилась от лица и повисла на бороде.

И вдруг...

Покойник ожил!

От ужаса ноги мои ослабели, я сел покойнику на колени. Держу висящую на бороде форму и смотрю в его глаза. Он продолжает на меня смотреть. <...>

Только потом я сообразил, что гипс от кристаллизации согревается и под теплым гипсом замерзшее лицо оттаяло и при снятии формы глаза открылись.

Когда я пришел в себя и хотел слезть, оказалось, что у меня от нервного шока отнялись ноги.

Только утром <...> монотонное чтение монаха: “Все произошло из праха, все возвратится в прах” – вернуло меня к действительности»[7].

Впоследствии Меркуров стал признанным специалистом по выполнению посмертных масок. Большим событием для скульптора, по его признанию, стало снятие посмертной маски с Льва Николаевича Толстого в ноябре 1910 г. Зимой 1924 г. Меркурова поздней ночью вызвали в Горки, где ему пришлось снимать маску с лица умершего Ленина[8].

В 1951 г. большая часть меркуровских масок (свыше восьмидесяти) поступила из мастерской скульптора в Государственную Третьяковскую галерею: маски Толстого, Ленина, Маяковского, Горького и др. Из переданных в ГТГ масок только в 1934 г. было выполнено семь, в том числе маски известного партийного деятеля В.Р. Менжинского[9] и поэта Эдуарда Багрицкого[10]. И это не считая маски Андрея Белого, которую ждала другая судьба.

Техника снятия маски такова: разведенный до жидкого состояния гипс накладывается на смазанное жиром лицо. Твердая масса высохшего гипса легко снимается с лица. Снаружи она выглядит бесформенной, ее внутренность напоминает чашу, стенки которой являются «обратным пластическим отпечатком лица» – это негативная форма будущей маски. В нее заливается воск или гипс – в итоге получается слепок, или «маска, передающая все особенности лица уже в правильном, а не в обратном порядке»[11].

Процесс снятия маски с лица Андрея Белого в деталях описан Ю. Олешей, оказавшимся случайно свидетелем этого события:

> Я присутствовал при том, как скульптор Меркуров снимал посмертно маску с Андрея Белого. В зале Дома литераторов, который тогда назывался Клубом писателей, было еще несколько человек, и мы все столпились у гроба, в котором лежал поэт, обезображенный и, кажется, униженный тем, что голова его была залита гипсом и представляла собой некий белый, довольно высокий холм.
>
> Меркуров, поскольку работал с гипсом, был в халате, и руки его были по-скульпторски испачканы в белом.
>
> Он разговаривал с нами, и было видно, что он чего-то ждет. Поглядывал на часы, отодвигая стянутый тесемками рукав. Вдруг он подошел к белому холму и щелкнул по его вершине пальцем, постучал, отчего холм загудел.
>
> – Готово, – сказал он и позвал: – Федор!
>
> Подошел Федор, тоже в халате, помощник, и снял холм, что не потребовало затраты усилий, – он снялся с легкостью, как снимается крышка коробки. Я не помню, что мы увидели; если начну описывать, то это будет не воспоминание, а нечто сочиненное. Увидели просто лицо мертвого Андрея Белого.
>
> – Вот и маска, – сказал Меркуров.
>
> Маска была еще внутри этого куска гипса, еще, так сказать, в обратном виде, и мы ничего не поняли из того, что понимал скульптор, смотревший во впадину, в кусок гипса, как смотрят в миску.
>
> – Вы ведь снимали маску со Льва Толстого? – спросил кто-то из нас.
>
> – Снимал.
>
> – Ну и что? – вырвалось у спросившего.
>
> – Сильно прилипла борода.
>
> Я вовсе не хочу порочить скульптора, приводя этот как бы цинический ответ. Он совсем и не был в эту минуту циником. Просто он ответил профессионально.
>
> У Меркурова в ателье целая стена была увешана копиями масок, снятых им со знаменитых людей. Я не видел этой стены ни наяву, ни во сне[12].

В гостях у Меркурова побывал К.И. Чуковский и был поражен увиденным. В дневнике, в записи от 24 февраля 1947 г. он описал ателье скульптора:

> <...> С<ергей> Д<митриевич> пригласил меня к себе – посмотреть его новые работы. <...> Приехали мы в его ателье – я чуть не написал: «фабрику». Во дворе засыпанные снегом – бюсты членов Политбюро, огромная панорама-барельеф, фигуры, памятники – очень причудливо – во тьме, в снегу – сказочно <...>. Тут же позолоченный саркофаг Калинина; тут же великолепно обобщенный – очень благородно трактованный Сталин – для Армении: голова гигантской фигуры. Но главное: маски. Он снимал с умерших маски. Есть маска Макса Волошина, Андрея Белого, Маяковского, Дзержинского, Крупской и т.д., и т.д. не меньше полусотни – очень странно себя чувствуешь, когда со стен глядят на тебя покойники, только что бывшие живыми, еще не остывшие (Меркуров снимает маски тотчас же после конвульсий)[13].

Непонятно, о какой маске Белого здесь идет речь, так как известно, что уже летом 1934 г. Меркуров передал маску Андрея Белого через Петра Никаноровича

Зайцева его вдове Клавдии Николаевне Бугаевой. Очевидно, она отправила Меркурову письмо с просьбой отдать ей сделанную работу, а он в ответном письме пригласил ее и П.Н. Зайцева маску забрать:

> <...> меня так закрутило жизнью – что только сейчас собрался Вам ответить:
> Я буду очень рад Вас видеть с Петром Никаноровичем в любое время, удобное Вам. Только позвоните по телефону е–2.37.48 и можно условиться или со мной или с моей женой.
> Искренно преданный памяти Андрея Белого
> С. Меркуров.
> 7 июля 1934 г. Измайлово[14].

Отправился к Меркурову один П.Н. Зайцев. В дневниковых записях он дал полный отчет о выполненном задании:

> Летом 1934 года я, съездив к Меркурову в его студию в Измайлове, получил от него эту маску. На ней я заметил волосы с лица и головы Бориса Николаевича. Этот слепок я, помнится, в тот же вечер сразу завез в Нащокинский переулок и передал Клавдии Николаевне Бугаевой. Она стоит у нее на квартире <...>[15].

Судя по всему, денег за эту работу Меркуров не взял.

Долгие годы маска оставалась у К.Н. Бугаевой, занимавшейся после смерти мужа сначала изучением его наследия, а потом – передачей его архива в государственные хранилища. О необходимости пристроить меркуровскую маску в надежное место она стала думать в последние годы жизни. В этом деле ее другом, помощником и посредником стал ленинградский литературовед, исследователь творчества А. Блока и Андрея Белого Дмитрий Евгеньевич Максимов[16].

В письмах к Максимову она, в ответ на расспросы, сообщала неизвестные подробности о «творческой мастерской» Белого, рассказывала о своей работе по составлению картотек и словников к его произведениям, советовалась, в какие архивы передавать материалы Белого. За годы переписки Дмитрий Евгеньевич стал для Клавдии Николаевны близким человеком[17]: «<...> мы[18] воспринимаем нашу встречу вне рамок “истории литературы”, и очень многое в ней еще не закончено. Надеюсь, что будущее даст нам эту возможность. А до тех пор очень хотелось бы изредка обмениваться такими, по словам Гончарова, “вещественными знаками невещественных отношений”[19]» (письмо К.Н. Бугаевой к Д.Е. Максимову от 2 октября 1945 г.)[20].

К.Н. Бугаева не только обсуждала с Д.Е. Максимовым дела, но и рассказывала о своих чувствах, проблемах и неурядицах. Переживания, связанные со смертью Андрея Белого, занимают немалое место в ее письмах.

Например, в письме от 7 ноября 1947 г.:

> Могила Б.Н. на аллее между Брюсовым и Скрябиным. Приблизительно:
> ____x Брюсов____________
> ______________x__________
> _________________x Скрябин______

> К сожалению, бываю теперь там очень редко. В этом году не была даже в день рождения Б<ориса> Н<иколаевича>, 26 октября. А в этот день там бывает иногда удивительно хорошо – к вечеру. Тихо, задумчиво...

10 декабря 1962 г., в ожидании скорого издания сборника стихотворений Белого, она откровенно жалуется: «Декабрь для меня всегда труден: это время, когда Б<орис> Н<иколаевич> был в клинике. В течение года это как-то отходит. А в эти дни все так живо встает день за днем». В год 30-летия со дня смерти писателя она выражает признательность за добрую память о Белом: «Благодарю вас и всех, кто вспомнил 8 января» (26 января 1964 г.), а накануне следующей годовщины признается: «<...> для меня начинается ежегодный “вневременный” месяц 8/XII – 8/I – дни с Б<орисом> Н<иколаевичем>в клинике» (4 декабря 1964 г.). По завершении траурного месяца она повторяет: «Давно уже хотела поблагодарить Вас за память о 8/I и выразить надежду, что окончание вашей “миссии” (т.е. передача архива в Государственную Публичную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина и пересылка денег. – *Е.Н.*) не будет означать окончание нашей переписки» (27 января 1965 г.).

В это время Максимов хлопочет в Союзе писателей о выплате денежного пособия и авторского гонорара вдове Белого, а Клавдия Николаевна в ответ поручает ему хлопоты по продаже ее архива. Именно тогда она решает передать Максимову ряд материалов Белого и в их числе посмертную маску работы Меркурова. «Кроме маски мне хотелось бы передать в фонд Б<ориса> Н<иколаевича> несколько фотографий, висевших в его комнате и как-то биографически с ним связанных. Напр<имер>, очень хороший портрет Пушкина, подаренный ему друзьями на день его пятидесятилетия, портрет Ломоносова (тоже гравюра) – этого “архангельского хрестьянина”, слова которого “открылась бездна звезд полна” Б.Н. взял как внутренний лейтмотив для Коробкина <...>, затем фотоснимки Арарата, открытки с изображением сфинкса, портрет Л.Н. Толстого и ряд снимков Серебряного Колодезя[21] – их домик, цветник, липовая аллея. – Из “тяжестей” – несколько редакций “Начала века”, начиная с самой полной (берлинской) 1923 г. и затем постепенных ее сокращений вплоть до того ужасного вида, который это “Начало Века” приняло к 1933, когда Б<орис> Н<иколаевич> – уже больной – отказался признать эту книгу своей» (21 мая 1963 г.).

Посмертную маску Белого Клавдия Николаевна хотела устроить в Пушкинский Дом или в Публичную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина. Однако долгое время ей вообще не удавалось передать материалы в Ленинград, так как не случалось надежной оказии для переправки тяжелого, да к тому же и хрупкого груза: «Маску Б<ориса> Н<иколаевича> пока никто не берется отвезти» (9 июня 1963 г.). «Ни маски Б<ориса> Н<иколаевича>, ни фотографий я не могла Вам переслать» (12 июня 1963 г.); «<...> моя цель будет достигнута, если они (рукописи и материалы Белого. – *Е.Н.*) так и останутся дальше у Вас. И я буду просто счастлива, когда удастся доставить Вам “маску” Б<ориса> Н<иколаевича>» (30 июня 1963 г.).

Из ее письма от 22 октября 1963 г. понятно, что задуманное свершилось и маска все же была доставлена из Москвы в Ленинград. Зато возникли новые опасения за ее судьбу: «Дорогой Дмитрий Евгеньевич, оставьте маску у себя сколько хотите, у меня становится тепло на сердце, когда думаю, что она у Вас. – А куда ее

передать? Боюсь, что Пушкинский Дом встретит ее “нелюбезно”. Может быть лучше в Библиотеку, поскольку там есть фонд Б<ориса> Н<иколаевича>». В следующем письме Клавдия Николаевна добавляет: «Тронуло Ваше исключительное отношение к такой дорогой для меня “маске” Б.Н.» (21 ноября 1963 г.).

Через несколько лет тема «маски» снова возникает в их переписке. Отвечая на очередную серию вопросов Максимова, Клавдия Николаевна называет имя скульптора, выполнившего маску: «Маска Б<ориса> Н<иколаевича> сделана скульптором Меркуловым» (15 марта 1967 г.). Чья это была ошибка? Клавдия Николаевна не знала точного имени скульптора? Или записавшая это письмо под диктовку Елена Васильевна Невейнова, близкая подруга, ухаживавшая за К.Н. Бугаевой в последние годы жизни, неверно расслышала фамилию? Или же искаженная фамилия «Меркулов» проникла в письмо Максимову из газетных вырезок, бережно сохранявшихся в домашнем архиве вдовы? Как бы то ни было, меркуровская маска на долгие годы обрела кров и бережного хранителя.

Друг и ученик Максимова А.В. Лавров вспоминал о том, как видел посмертную маску Белого в его доме:

> Дмитрий Евгеньевич до последних лет жизни Клавдии Николаевны Бугаевой был тесно связан с нею, помогал ей, в том числе помогал и в приобретении Петербургской Публичной библиотекой значительной части имевшегося у нее на руках архива Андрея Белого, за который тогда выплатили какую-то достаточно существенную для нищенского существования – совершенно нищенского, как он говорил, – сумму денег. И Клавдия Николаевна в благодарность за это подарила Дмитрию Евгеньевичу хранившуюся у нее посмертную маску Андрея Белого. Дмитрий Евгеньевич иногда с благоговением демонстрировал эту маску. Она у него занимала в его комоде отдельное помещение[22].

К.Н. Бугаевой так и не удалось пристроить «дорогую для нее “маску” Б.Н.» ни в Пушкинский Дом, ни в Государственную публичную библиотеку. Хлопоты продолжились после смерти К.Н. Бугаевой (в 1970 г.) Е.В. Невейновой, ставшей ее наследницей, и Д.Е. Максимовым. После долгих поисков и переговоров маску согласился купить Государственный литературный музей. Вырученные от продажи деньги Д.Е. Максимов передал Е.В. Невейновой, а посмертная маска писателя после десятилетних блужданий снова вернулась в Москву и поступила на место своего постоянного хранения. Это произошло в 1988 г.

К сожалению, ряд вопросов, связанных с посмертной маской Андрея Белого, остается до сих пор нерешенным. Непонятно, сколько масок было сделано Меркуровым. Если Чуковский, как указывалось выше, действительно видел в 1947 г. на стене в мастерской скульптора маску Андрея Белого, то, значит, таких масок было несколько, как минимум две, а может быть, и больше...[23]

Трудно объяснить тот факт, что маска, хранящаяся в ГЛМ, мало подходит под описание маски, увиденной П.Н. Зайцевым в ателье Меркурова и, по его словам, переданной им К.Н. Бугаевой. Зайцев подчеркивает, что на маске «заметил волосы с лица и головы Бориса Николаевича», а значит, это был самый первый слепок с лица Белого. Такие слепки достоверно сохраняют облик умершего и используются художниками при создании портретов.

На маске из ГЛМ никаких волос нет и быть не могло. Она, напротив, отличается чистотой обработки материала и отделкой формы похожа не на первый слепок, а именно на законченный скульптурный портрет, сделанный на основе первого слепка.

Может быть, вслед за первым слепком, отнесенным П.Н. Зайцевым К.Н. Бугаевой, скульптор передал ей и еще одну маску, облагороженную, торжественную? Если так, то масок было больше двух...

Однако на настоящий момент известна только одна посмертная маска Андрея Белого. Впервые она была изъята из деревянного хранительского короба в 2004 г. для показа на выставке «Мгла – лишь ресницами рождаемые пятна...» (посвященной 70-летию со дня смерти писателя) в гостиной Мемориальной квартиры Андрея Белого.

Можно предположить, что две другие маски (та, которую видел Чуковский, и тот первый слепок, который описал Зайцев) когда-нибудь найдутся. Остается также надеяться, что когда-нибудь будет обнаружена и другая работа Меркурова – слепок с руки Андрея Белого. Обычно маску и слепок с руки снимали одновременно[24]. Косвенным подтверждением того, что в случае с Андреем Белым традиция не была нарушена, являются строки Мандельштама, упомянувшего в стихах памяти писателя и «только что снятую маску», и «пальцы гипсовые, не держащие пера»...

---

[1] См. письмо П.Н. Зайцева к Л.В. Каликиной от 11 января 1934 г. в наст. изд.

[2] Помету об этом («9/I») сам он оставил в регистрационном списке художников, рисовавших на похоронах Белого. См. ниже в наст. изд.

[3] Литературная газета. 11 января 1934 г. См. в наст. изд.

[4] Из протокола заседаний комиссии по чистке членов АХР. Ч. 1. 5.03–19.04.1930 г. // РГАЛИ. Ф. 2941. АХР. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 5–6.

[5] *Домогацкая С.П.* Собрание скульптуры первой половины XX века в Государственной Третьяковской галерее // Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания: Скульптура первой половины XX века / Под общ. ред. Я.В. Брука и Л.И. Иовлевой. М., 2002. С. 9 (Серия «Скульптура XVIII–XX веков». Т. 2).

[6] Традиция гипсовой посмертной маски уходит корнями в древнейшие времена: «Лицо человека было самой первой “природной скульптурой”, которую уже в глубокой древности “перевели в материал”, то есть сняли с лица маску, слепок, и затем повторили в материале лицо во всей его похожести. <...> гипсом пользовались для снятия масок с умерших для того, чтобы сохранить потомкам реальный облик великих людей. Плиний писал, что Лисистрат был первым, кто облепил лицо человека и сделал форму, в которую налил воск <...>» (*Ермолаев Н.А.* Посмертные маски // Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания... С. 446).

[7] *Меркуров С.Д.* Записки скульптора. М., 1953. С. 89–90.

[8] Там же. С. 29, 33.

[9] Вячеслав Рудольфович Менжинский (1874–1934) – государственный и партийный деятель, председатель ОГПУ (1926–1934).

[10] Эдуард Георгиевич Багрицкий (наст. фамилия Дзюбин; 1895–1934) – поэт.

[11] *Ермолаев Н.А.* Посмертные маски. С. 446.

[12] *Олеша Ю.К.* Книга прощания / Сост., прим. В. Гудковой. М., 1999. С. 287–288; то же: *Олеша Ю.* Зависть. Ни дня без строчки. Рассказы. Статьи. М., 1999. С. 382–383.

[13] *Чуковский К.И.* Дневник. 1901–1969: В 2 т. М., 2003. Т. 2: Дневник. 1930–1969 («Эпохи и судьбы»). С. 213.

[14] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 127.

[15] См. в наст. изд.

[16] См. его воспоминания: *Максимов Д.Е.* О том, как я видел и слышал Андрея Белого. Зарисовки издали // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 615–636.

[17] 64 письма К.Н. Бугаевой к Д.Е. Максимову за 1936–1969 гг. хранятся в ОР РНБ (Ф. 1136. Ед. хр. 16); значительная часть этого эпистолярного корпуса опубликована А.В. Лавровым в статье «Штрихи к биографии Андрея Белого и К.Н. Бугаевой (по материалам архива Д.Е. Максимова)» // Литература как миропонимание: [Сб. статей в честь М. Юнггрена]. Gõteborg, 2009. С. 179–204. Письма Д.Е. Максимова к К.Н. Бугаевой неизвестны.

[18] Говоря «мы», Клавдия Николаевна имела в виду себя и проживавшую с ней сестру, Елену Николаевну Кезельман.

[19] Выражение Александра Адуева, героя романа И.А. Гончарова «Обыкновенная история» (ч. 1, гл. II).

[20] *Лавров А.В.* Штрихи к биографии Андрея Белого и К.Н. Бугаевой (по материалам архива Д.Е. Максимова). С. 186.

[21] Портреты Пушкина (гравюра Т. Райта, 1837) и Ломоносова (литография), открытка с изображением сфинкса (на обороте открытого письма Белого к А.С. Петровскому из Каира от 17/30 марта 1911 г.) и пять фотографий имения А.Д. Бугаевой Серебряный Колодезь Тульской губернии (1904 г.) хранятся в фонде Белого в ОР РНБ (Ф. 60. Ед. хр. 101). Репродукции с изображением Арарата и с картины И.Е. Репина «Л.Н. Толстой на пашне» поступили в фонд Мемориальной квартиры Андрея Белого.

[22] Из стенограммы круглого стола «Андрей Белый: История и современность» // Андрей Белый в изменяющемся мире. С. 574–575.

[23] Так, например, масок Пушкина первого отлива было выполнено пятнадцать экземпляров.

[24] В Третьяковской галерее, например, хранятся слепки с рук Ленина и Сталина. Слепки с обеих рук Ленина, так же как и его маска, выполнены С.Д. Меркуровым; слепки с лица и обеих рук Сталина снимал скульптор Матвей Генрихович Манизер (1891–1966). Несколько слепков с «писательских» рук хранится и Государственном литературном музее.

Е.В. Наседкина

«ВСЕ ИДЕТ ПО “ЧИНУ”!»: В.А. МИЛАШЕВСКИЙ РИСУЕТ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Один из немногих сохранившихся рисунков, запечатлевших Андрея Белого на смертном одре, – это рисунок В.А. Милашевского.

График, акварелист, иллюстратор Владимир Алексеевич Милашевский (1893–1976) родился в Тифлисе, начал учиться живописи в саратовском Боголюбовском рисовальном училище у В.В. Коновалова (1906–1907), затем в Харькове в студии А.Н. Грота и Э.А. Штейнберга. В 1913 г. поступил на архитектурный факультет петербургской Академии художеств. Работал в «Новой художественной мастерской» у М.В. Добужинского, где его руководителем был А.Е. Яковлев. Впервые его работы были представлены на выставке художников – членов Дома Искусств в Петрограде в 1921 г. В 1921–1922 гг. рисунки Милашевского экспонируются на выставке «Русское искусство» в Америке. В 1924 г. он переезжает в Москву и на следующий год вступает в АХРР (Ассоциация художников революционной России). Во второй половине 1920-х Милашевский вместе со своим старым питерским товарищем художником Львом Бруни принимает участие в выставочной деятельности группы «4 искусства», работает книжным иллюстратором в Государственном издательстве и издательстве «Молодая гвардия».

В 1929–1931 гг. проходят три выставки «Группы 13», объединившей таких художников, как Н.В. Кузьмин, А.Ф. Софронова, Т.А. Маврина и др. Милашевский – признанный лидер группы. Им было разработано понятие «темпа рисования» – стремительного ритма, позволяющего делать мгновенные зарисовки, фиксировать натурные впечатления в динамике, исполнять выразительные легкие линейные рисунки карандашом или акварелью, иногда пером (палочкой или спичкой) и тушью. «В основе его графики <...> лежит своеобразный культ живого *наброска* того, что видит художник вокруг себя», – писал Н.В. Кузьмин о Милашевском[1].

С Андреем Белым Милашевский встречался несколько раз. В мае 1921 г., незадолго до отъезда Белого за границу, Милашевский присутствовал на чтении «Котика Летаева» в ленинградском Доме Искусств:

> Пришел я поздно, сидел где-то в задних рядах <...>. Народу литературного было много. Полон зал... Все, что он читал, мне показалось вычурным... малоправдоподобным и несколько «высосанным из пальца». Причем палец-то сосался лет через пятьдесят после виденного...
>
> Слишком много было такого, что я никак не узнавал себя ребенком в этом «Котике».
>
> Читал он выразительно о малоправдоподобных вещах![2].

Затем была случайная встреча на площади Курского вокзала в период жизни писателя в подмосковном Кучине:

> Я жил тогда в Новогиреево, Белый много дальше меня в дебрях железной дороги, далеко за знаменитой Обираловкой, всемирно прославленной Львом Толстым...[3] Мы оба подошли к остановке трамвая, который должен был везти нас в центр, к Большому театру. Я, конечно, узнал его сразу.
>
> Вид у него был донельзя смешной, жалкий, и его вычурно-нелепое одеяние: потрепанное ватное пальто «с доисторическим каракулем», какая-то ушанка псиного цвета (этот цвет у саратовских собачников называется «муругий»[4]) <...>
>
> Каракуль, поднятый до отказа, был завязан оренбургским женским платком. <...> Женские руки нарядили «старого ребенка». Вне русской нации, вне советской эпохи!
>
> <...>. Но изо всех этих смешных одежных нагромождений, из-под псиной шапки, из-под бабушкина платка сверкал какой-то «серафический» взгляд. Взгляд архангела или пушкинского пророка!

Настоящее знакомство состоялось в 1932 г. в связи с подготовкой к изданию романа Андрея Белого «Маски» (М.; Л.: ГИХЛ, 1932 – вышел в январе 1933 г.). Иллюстрации к роману делал давний друг и соратник Милашевского Николай Кузьмин. Первоначально именно ему главный художник Государственного издательства художественной литературы Н.В. Ильин предложил не только проиллюстрировать книгу, но также сделать портрет автора для размещения на фронтисписе. В «Летописи жизни и творчества Андрея Белого», составленной К.Н. Бугаевой для посмертной книги стихов Белого, отмечено: «1932. Июня 4 и 6. Позирует художнику Н.В. Кузьмину для портрета к “Маскам”. Набросок в trios-quarts (три четверти. – *Е.Н.)* одобряет: “Узнаю автора ‘Масок’” (портрет не напечатан)»[5].

Причина, по которой портрет не был напечатан, раскрывается в мемуарах самого Кузьмина: «Я сделал с Андрея Белого несколько набросков пером. В них было кое-что схвачено: его лобастый череп, белые глаза... Некоторые из них нравились и Белому, и жене его – Клавдии Николаевне, снисходительным, может быть, из деликатности. Сам же я остался недоволен своими портретными набросками и не захотел давать их для воспроизведения»[6].

В результате заказ на портрет был передан Милашевскому, а Белому пришлось позировать снова. Художник не без юмора вспоминал посещение полуподвальной квартиры на Плющихе, где жил писатель:

> Открыл дверь сам Белый, со своим просветленно-внимательным взглядом. Он был одет более по-людски, какая-то курточка, толстовка с карманчиками, отложной воротничок, пай-мальчик! <...>. Подвальный этаж под «первым этажом». Комната метров 16, из нее выкроена прихожая... ящиком, стоящим непосредственно у входной двери. Окна маленькие, под самым потолком <...>.

От завязавшегося разговора и демонстрации Белым Милашевскому своих рисунков писателя и художника отвлекло странное зрелище:

– Опять начинается мой ад! – Борис Николаевич оторвался от швейцарского альбомчика и взглянул вверх, к потолку, в окна.

Тут я заметил, что вплотную к окнам стояли люди впритык друг к другу. Очередь. Нам видны в этих двух окнах были только ноги! Ноги людей из очереди. Какая-то старуха, с ногами как корни корявой ели! На ней были чулки, грязные чулки цвета «охры темной», как говорят художники. Ноги вклинились в какие-то серые опорки, сшитые из старой солдатской шинели времен Перекопа или покорения Крыма. Потом мальчишка с грязными ногами в сандалиях, далее следовал мужчина, очевидно, пожилой, судя по какой-то осадке этих ног. Черно-серые брюки, низ весь проношен и обвис на серых ботинках; обладатель их, вероятно, на «пособии». Потом какая-то бабенка с «развратными» голыми ногами, девчонка с ногами-палочками. Еще, еще и еще!

– Вы знаете, даже великому Босху не под силу было бы выдумать такие кошмарные ноги и их одеяния! Это грязный ад, без пламени, а только с подвальной сыростью! Вы знаете, иногда появляются какие-то ноги, совершенно фантастические по воплощенному в них «кошмару», «мерзкому злу». Ноги ведьмы долго стоят перед глазами, и кажется, что уже нет на свете ни Данте, ни Боттичелли, ни Шекспира, ни Пушкина. Одни эти ноги корявой ведьмы!

Наконец она продвинулась вперед куда-то, прошла правое окно, прошла левое окно! Слава богу, ушла, все остальное это уже не так «сатанински»! Мелкие бесы, чертенята... не больше. К ним можно привыкнуть... – доверительно сообщал Белый. – Иногда кажется, что из-под юбки показывается хвост... Тот спиралевидный хвост – пас – дьявола, как на картине Брейгеля «Зима». И вдруг опять вся очередь подалась назад!

– Это их там милиционер устанавливает, – доверительно сообщает Белый. – Вы ведь заметили, вероятно, когда шли ко мне, что на углу «Молочная».

Ноги сатанихи опять у окна. О! Она, вероятно, привалилась спиной к стене, и эти ноги еще будут маячить долго, пока все молоко не будет распродано.

– Я обычно ухожу в спаленку, – как бы по секрету сообщает Белый, – достоинство в том, что в ней нет окон, можно смотреть просто в потолок, в его трещины! Это успокаивает от видений «лика дьявола»! Переплетения, извивы, трещины – они успокаивают как-то!

В этой раздражающей обстановке работать художнику было затруднительно. Но позировать – еще труднее:

Я стал рисовать... Мне показалось, что Борис Николаевич страдает от этих пробегающих теней по комнате... Страдает не за себя, а за меня!

Вдруг он, не извинившись, вскочил со своего места, прыгнул на шаткую кухонную табуретку и высунул свое лицо в окошко прямо к «икрам»:

– Отойдите же от окна! Прошу, умоляю вас, отойдите от окна на два шага! – истерическим, особым «визжащим» голосом кричал он, и дальше все истеричнее, истеричнее, почти в припадке. – Меня рисует художник! Художник! Художник! Вы слышали хоть раз это слово? Уйдите от окна!

– Борис Николаевич! – я вскочил со своего места, мне показалось, что табуретка покачнулась и он вот-вот упадет на пол в этой истерике (а табуреточка-то давно

тут стоит! – мелькнуло у меня в голове, – не первый раз поди приходится вскакивать).

– Успокойтесь! Успокойтесь, Борис Николаевич. Мне очень хорошо рисовать, я как-то приспособился к этим мелькающим «светотеням»!

Помощь пришла со стороны К.Н. Бугаевой: «Выбежала <...> из темной спаленки, накапала в рюмку валерьяночки». К счастью, «через полчаса очередь мгновенно исчезла. <...> Можно было и рисовать, и беседовать спокойно!»

Подробный рассказ о дальнейшей – спокойной – работе Милашевский не дает, упоминает только о том, что посоветовал Белому обратиться к Горькому за помощью в решении квартирного вопроса, и еще – что «преисполнился <...> симпатией» к Белому[7].

Портретом Милашевского издательство осталось довольно. Кузьмину он также понравился: «<...> на мой взгляд – очень выразительный и схожий»[8]. Со слов Милашевского известна и живая реакция Алексея Толстого: «Андрей Белый! Кто же смог его так нарисовать? Кто из художников смог ухватить всю его “бесноватинку”, все его “ведьмовство”! Уловить, учуять... И главное – остро выразить все это... невесомое... хотя и ощутимое, но ведь никогда и никем не передаваемое, лежащее как бы за пределами пластики! <...>. От этого рисунка исходит какой-то электрический ток!» Более сдержанную оценку дала портрету К.Н. Бугаева: «Глаза и морщинки на лбу немного отражены <...>, но улыбка – не удалась»[9].

Продолжительность описанного в мемуарах Милашевского «сеанса», а также используемая художником техника «быстрого» рисунка позволяют с уверенностью предполагать, что художник выполнил несколько набросков. В «Масках» пятитысячным тиражом был напечатан один. Можно предположить, что оригинал именно этого портрета художник продал впоследствии в Государственный литературный музей. К сожалению, мы не имеем возможности подтвердить это предположение, так как до настоящего времени приобретенный у Милашевского рисунок не сохранился. Художник считал, что вместе с другими его работами портрет был уничтожен по приказу сверху в годы борьбы с «формализмом»[10]. Другой рисунок известен лишь по фотографии, сохранившейся в частном собрании: на нем слегка изменены ракурс и некоторые детали. На обоих портретах под изображением стоит автограф Андрея Белого. Видимо, издательство выбирало из двух предложенных рисунков, при этом не исключено, что оригинал отвергнутого рисунка затерялся в издательском архиве. Местонахождение остальных набросков (если таковые были) также неизвестно.

Сам Милашевский отнесся к работе над портретом Белого для книги явно с бóльшим энтузиазмом, чем к предложению нарисовать писателя в гробу. О его кончине художник узнал во время отдыха «под Москвой в фешенебельном, трудно доступном санатории. Лыжи, ванны, стол для “высших” едоков!» Однако приятное времяпрепровождение было прервано Ольгой Давыдовной Каменевой (урожд. Бронштейн; 1883–1941), сестрой Л.Д. Троцкого и первой женой Л.Б. Каменева. После революции и в 1920-е она занимала весьма высокие государственные посты (руководила Театральным отделом Наркомпроса, возглавляла Всероссийское общество культурной связи с заграницей и т.п.), но после того как начались гонения на ее брата и мужа, она потеряла и посты, и политическое влия-

ние (в 1935 г. она будет выслана из Москвы, потом арестована и расстреляна). Тем не менее ослушаться ее Милашевский не решился:

> К моему столику подошла О.Д. Каменева и сказала: «Вы знаете, Белый умер... Хотите, поедем вместе на гражданскую панихиду в Москву, в Дом писателей?»
>
> Это было неожиданностью. Никто не знал, что Белый чем-то болен, и вдруг смерть!
>
> Мы не едем в машине, а летим, мчимся... Боимся опоздать к гражданской панихиде <...>.
>
> Сидим, молчим. Смотрим, как мелькают избы с уже светящимися окнами.
>
> Я плохо знаю биографию Андрея Белого, так, доносится что-то... зацепляется в мозгах. <...>.
>
> Воображение рисует студента в сюртуке неуловимо зеленого цвета, который у портных назывался царским. Голубой воротник, пуговицы в два ряда... <...>. Потом поэт-символист. Сотрудник журнала «Весы», белоперчаточный поэт... Прозаик, «Петербург». Произведение столь же характерное для той эпохи «меж двух революций», как и «Мелкий бес» Сологуба. Религиозно-философское общество. Я в него вхож не был... из другого теста выпечен!
>
> Храм Духа <...> на горных вершинах Швейцарии. Храм надо было слагать собственными руками людям просветленного духа! Рабочих не нанимали. Белый тоже клал камни...[11]
>
> Потом падение. Берлинский период русской литературы... «Шеренга демонов, а между ними мрак»[12].
>
> Проехали Мытищи. <...> Вот и Москва. Спас на Курьих ножках! В начале древней Поварской, теперь она улица Воровского! Николай Ростов подъезжал к соседнему особняку! Вот он, Дом литераторов.

В Доме литераторов Милашевского ждало тягостное зрелище:

> Высокий зал. Дубовая лестница во второй этаж с модернистическим зигзагом. <...> Стоит гроб посредине купеческо-готической залы. Я стою в почетном карауле. <...> Белый в гробу. Я не очень люблю... это неподвижное лицо, не оживленное взглядом <...>.
>
> Меня обступили писатели! Необходимо зарисовать... <...>.
>
> – Нет, нет! Что вы, что вы, это обязательно нужно, необходимо... <...>.
>
> Я подчиняюсь. Нашлась бумага. Почетный караул сменяется. Я рисую! Все спокойны... так надо! Художник рисует Великого писателя в гробу! Все идет по «чину»!

Трудно поверить, что Милашевский, приглашенный и даже привезенный О.Д. Каменевой на официальные похороны Андрея Белого, не подозревал о том, какую миссию ему предстоит выполнить, и лишь поддался на уговоры обступивших его писателей. В числе многих других художников он зарегистрировался в списке тех, кто пришел в Дом литераторов не только прощаться, но прежде всего работать – рисовать. Однако нет основания сомневаться в искренности оценки художником своей «ритуальной» работы: «Я не люблю этот “не мой” рисунок. Ни разу даже не взглянул на него после окончания! Но это “чин”! Ритуал!»

Тем не менее этой нелюбимой работе повезло больше, чем многим другим работам Милашевского и многим другим зарисовкам, сделанным на похоронах Белого (далеко не всем суждено было дожить до наших дней).

Рисунок Милашевского «Андрей Белый в гробу» (Бум. на картоне, кар. 24,4 x 37,0) хранится в Государственном литературном музее и впервые экспонировался в 2004 г. на выставке «Мгла – лишь ресницами рождаемые пятна...» в Мемориальной квартире Андрея Белого, посвященной 70-летию со дня смерти Андрея Белого.

---

[1] Владимир Алексеевич Милашевский: 1893–1976. Каталог выставки / Сост. Л. Петрова. М.: Советский художник, 1978. С. 10.

[2] См.: *Милашевский В.* Вчера, позавчера... Воспоминания художника. 2-е изд., испр. и доп. М., 1989. С. 282–288. Далее ссылки на это издание даются без указания страницы.

[3] На самом деле станция Кучино, где жил в то время Белый, на три километра ближе к Москве, чем следующая за ней станция Обираловка (с 1939 г. – Железнодорожная), на которой бросилась под поезд героиня романа «Анна Каренина» (ныне обе станции – в черте города Железнодорожный).

[4] Рыже-бурой или буро-черной масти.

[5] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 107. Л. 166. Акварельный портрет Белого, выполненный Н.В. Кузьминым, находится в Государственном литературном музее (Москва). Впервые опубликован: Андрей Белый. Александр Блок. Москва. М., 2005. С. 325.

[6] *Кузьмин Н.* Андрей Белый // Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995. С. 501.

[7] После этого у Милашевского была еще одна встреча с Белым, также описанная в мемуарах: 15 января 1933 г. в Доме Герцена, когда «группа писателей, зная, что он написал исследование о Гоголе, попросила поделиться своими мыслями по поводу постановки Художественного театра “Мертвые души”».

[8] *Кузьмин Н.* Андрей Белый. С. 501.

[9] См. запись К.Н. Бугаевой от 24 декабря 1934 г. в наст. изд.

[10] *Милашевский В.*А. Письмо П.Е. Корнилову. 27 октября 1966 г. // Отдел рукописей Государственного Русского музея. Ф. 145. Оп. 2. Ед. хр. 791. Л. 56.

[11] Дорнах находится в холмистом, а не в горном районе Швейцарии, и Белый на строительстве Гетеанума работал не каменщиком, а резчиком по дереву.

[12] Из стихотворения В.Ф. Ходасевича «С берлинской улицы...» (1923): «Дома – как демоны, / Между домами – мрак; / Шеренги демонов, / И между них – сквозняк».

Е.В. Наседкина

ПИСАТЕЛЬ В ГРОБУ: «ГРУППА ХУДОЖНИКОВ ДЕЛАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ЗАРИСОВКИ...»[1]

В бумагах П.Н. Зайцева, поступивших в Мемориальную квартиру Андрея Белого, сохранился уникальный документ – серый лист грубой бумаги, исписанный с обеих сторон простым грифельным карандашом. Сверху на нем рукой Зайцева написано: «Комитет по устройству похорон Б.Н. Бугаева (А. Белого) просит тт. художников, рисовавших покойного сегодня $9^{\underline{го}}$ января, расписаться и оставить свои адреса». Двадцать художников оставили на нем свои автографы: под датой 9 января расписались Г.А. Назаревская, <*нрзб.* – возможно, Г.В. Мкртчанц>, Е.С. Потехина, К.Г. Дорохов, И.М. Рубанов, М.М. Аксельрод, М.Х. Горшман, А.И. Ржезников, В.П. Беляев, М.В. Лезвиев, А.М. Шабад, Г.А. Ечеистов, В.А. Милашевский, С.Д. Меркуров; под датой 10 января – А.Н. Златовратский, Я.А. Башилов, В.А. Фаворский, Л.А. Бруни, В.Г. Юнг, П.Я. Павлинов.

Двадцать художников в эти скорбные дни, как написал Осип Мандельштам в стихотворении памяти Андрея Белого «Голубые глаза и горячая лобная кость...», «на коленях держали для славных потомков листы, / Рисовали, просили прощенья у каждой черты...»[2].

Имена известные, менее известные и вовсе забытые. Старшие и младшие, учителя и ученики, рисовавшие писателя при жизни и впервые увидевшие его на смертном ложе. Почти все они в разное время состояли членами Московского областного союза советских художников (МОССХ), большая часть из них так или иначе имела отношение к ВХУТЕМАСу–ВХУТЕИНу[3]. Дружеские узы и участие в общих выставках в разное время по-разному соединяли многих из них.

О работе художников над изображением Белого в гробу сообщалось в некрологах: «К выносу тела собралась многочисленная группа писателей, поэтов и литераторов. У гроба – почетный караул, который несут друзья покойного. <...> Группа художников делает последние зарисовки»[4]. Но имена художников не назывались (в официальной прессе было указано только имя скульптора С.Д. Меркурова), как не указывалось и количество их. Несколько фамилий упоминались в письме П.Н. Зайцева к Л.В. Каликиной от 11 января 1934 г.:

> В зале было торжественно и тихо. <...> Зал был пуст. Только около гроба стояло несколько художников, пришедших рано утром и делавших зарисовки. Среди них были: Фаворский, Павлинов, Лев Бруни, скульптор Златовратский, делавший барельеф, и другие. <...> Художники еще продолжали свою работу, а зал стал наполняться народом[5].

Самый знаменитый в списке художников – Владимир Андреевич Фаворский (1886–1964), график и живописец, монументалист и экслибрист, впоследствии

народный художник СССР (1963) и действительный член Академии художеств СССР (1962), а после революции – один из организаторов ВХУТЕМАСа и бессменный руководитель его графического отделения.

Жизненные пути Андрея Белого и В.А. Фаворского не раз пролегали рядом, но пересечения не произошло. Любые соотнесения проходят по касательной, порой очень близко. В Московский университет Фаворский поступил уже после того, как Борис Бугаев покинул его. В 1906 г. они оба находились в Мюнхене, у них были общие знакомые. Художник, скульптор, создатель знаменитых кукольного и теневого театров Иван Семенович Ефимов, приятель Белого по поливановской гимназии и университету, был близким другом и свояком Фаворского. И если среди многочисленных прижизненных портретов Белого нет портрета работы Фаворского, то Ефимов в 1907 г. выполняет портрет-барельеф Белого, который сохранился в музее-мастерской Ефимова и – другой экземпляр – в Государственном Русском музее. Не иллюстрировал Фаворский и произведения Белого. Зато под маркой, выполненной Фаворским, существовало издательство «Узел», главным инициатором и организатором которого был друг Белого П.Н. Зайцев. Позднее же один из учеников Фаворского, гравер и художник Михаил Иванович Поляков (1903–1978), занимался оформлением и иллюстрациями к изданию романа Белого «Петербург» (М.: Гослитиздат, 1935). Фаворский же в 1931 г. оформляет книгу друга Белого писателя С.Д. Спасского «Новогодняя ночь» (Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1932), а впоследствии много общается с ним. Любопытна дневниковая запись Спасского от 10 июня 1934 г.: «Был Фаворский. Как приятно и важно поговорить об искусстве всерьез, по-настоящему с большим знающим мастером. Так говорится с Пастернаком, с Белым, с очень немногими»[6].

В стихотворении «Утро 10 января 1934 г.» Осип Мандельштам описал работу В.А. Фаворского:

А в гуще похорон стоял гравировальщик,
Готовясь перенесть на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик,
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.

В другом варианте:

А посреди толпы, задумчивый, брадатый,
Уже стоял гравер, друг меднохвойных доск,
Трехъярой окисью облитых в лоск покатый,
Накатом истины сияющих сквозь воск.

О рисунке Фаворского Зайцев также рассказал своему адресату Л.В. Каликиной 11 января 1934 г.: «В.А. Фаворский сделал портрет и этот портрет необыкновенно удачно и хорошо отразил его [Белого] в новой тональности последнего дня и в том новом, чем он стал теперь – для всех, кто его знал и любил. Этот портрет Фаворский подарил Кл<авдии> Ник<олаевне> и он будет находиться у нее <...>». На то, что рисунок Фаворского следует искать в архиве вдовы поэта, указывал и

Н.И. Харджиев в комментариях к опубликованному им стихотворению Мандельштама на смерть Белого: «Гравер – В.А. Фаворский, сделавший рисунок “Андрей Белый в гробу” (собрание К.Н. Бугаевой)»[7].

Но ни в одном из архивов, в которых хранятся материалы, переданные К.Н. Бугаевой (или после ее смерти Е.В. Невейновой), рисунка Фаворского не оказалось; не нашелся он и в семейном архиве художника. Однако в фонде Андрея Белого в отделе рукописей Российской государственной библиотеки был обнаружен неизвестный ранее, неподписанный портрет писателя в гробу.

Этот рисунок пастелью, поступивший в НИОР РГБ после смерти К.Н. Бугаевой вместе с другими материалами ее архива, отличается от всех выразительностью и законченностью исполнения. Изображение проникнуто особой пронзительностью и созвучно описаниям «успокоенно-светлого лица» Белого[8] из воспоминаний тех, кто присутствовал при прощании с ним: «Свет падает с верхних стекол. <...> Лицо Бор<иса> Ник<олаевича>, “как медаль” <...>. Удивительный лоб. Лицо вождя. <...> полное содержания и строгой красоты – лицо мыслителя <...>»[9]. Эксперт по творчеству В.А. Фаворского, его внук художник И.Д. Шаховской предполагает, что этот рисунок был выполнен не самим Фаворским, а кем-то из его учеников-живописцев, присутствовавших на похоронах. Однако соблазн приписать его В.А. Фаворскому все же остается...

* * *

Имя Льва Александровича Бруни (1894–1948), графика, акварелиста, иллюстратора, художника театра, близкого друга Фаворского, также не раз встречается в рассказах и мемуарах о траурной церемонии. Так, например, упоминает о нем приехавшая утром 10 января из Ленинграда Н.И. Гаген-Торн: «Припала к его изголовью, пристально всматриваясь... Через какое-то время: – Отодвиньтесь, вы мешаете мне рисовать, – не здороваясь, отвлеченным голосом сказал Лев Бруни. Он стоял, держа на весу папку, и всматривался в лицо Бориса Николаевича»[10]. Выделил его из толпы рисовальщиков и С.Д. Спасский: «Художники (Бруни и др.) рисуют»[11].

Лев Бруни – один их немногих в списке, о знакомстве которого с Белым сохранились документальные свидетельства. Жена художника Нина Константиновна Бальмонт-Бруни, с детства знавшая Андрея Белого, часто бывавшего в доме ее отца, поэта К. Бальмонта, вспоминала известный эпизод, имевший хождение в качестве анекдота: «Я его встретила в Ленинграде под аркой, на Морской, в 20-м году и... так ему обрадовалась... Несколько лет я его не видела... Я везла в коляске своего старшего сына, Ваню, ему было полгода тогда... И Борис Николаевич... Я к нему бросилась, расцеловала его... Он шел в своей накидушке – так воздух вокруг него вращался и звуки издавал... И я говорю: “Борис Николаевич, посмотрите, это мой первенец – Ваня – мой сын”, – и открываю марлю... А Борис Николаевич попятился, как будто увидал змею, и сказал: “Да-да, очень... очень мило, да, и у него уже и глазки прорезались, да?” Как у щенка. И мой сын всегда говорил: “Как он был прав!.. У меня глазки очень поздно прорезались”»[12]. Нина Константиновна также рассказывала, что в 1920 г. по заказу Вольной философской ассоциации Лев Бруни выполнил портрет Андрея Белого: «Он это сделал очень хорошо, мелом и углем

на оберточной бумаге, большой поясной портрет, с большим сходством. Очень интересно был сделан! Я не знаю, что с ним случилось. Тогда еще не было принято фотографировать портреты <...>»[13].

Местонахождение этой работы по-прежнему неизвестно, но портрет Белого в гробу, выполненный Львом Бруни (Бум., кар. 30,4 х 39,0; на изображении справа внизу: «Андрей Белый в гробу. Л.Б.»), сохранился в Литературном музее Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН), куда он поступил от Н.К. Бруни в 1961 г.

* * *

Еще два «ритуальных» портрета находятся в фондах Мемориальной квартиры Андрея Белого: они поступили в составе архива К.Н. Бугаевой.

Один из них (Бум., кар. 28,0 х 19,0) выполнен известным художником, скульптором и экслибристом Павлом Яковлевичем Павлиновым (1881–1966). Павлинов все годы существования ВХУТЕМАСа–ВХУТЕИНа работал рядом с Фаворским как его ассистент по ксилографии и профессор рисования, затем как декан графического факультета. По-видимому, вместе пришли они и на похороны Белого. Можно предположить, что свой рисунок Белого в гробу Павлинов подарил К.Н. Бугаевой тогда же, когда и Фаворский.

Другой портрет был приобретен К.Н. Бугаевой у Александра Дмитриевича Силина (1883–1942). Этого имени нет в списке рисовавших на похоронах художников. На рисунке (Бум., тушь. 28,0 х 19,0) есть подпись «А.С.», но полное имя автора могло бы остаться загадкой, если бы среди прочих архивных материалов не сохранилась его расписка от 14 июня 1934 г. о получении денег за выполнение посмертного портрета Б.Н. Бугаева: «Получено 10 руб. Силин А.». Вероятнее всего, эта сумма была заплачена не за один, а за два рисунка: в архиве Белого в НИОР РГБ (Ф. 25. К. 66. Ед. хр. 12) сохранился еще один, на этот раз акварельный рисунок Силина.

Имя этого художника-графика давно и основательно забыто[14], а начинал он ярко и на похороны Белого пришел не случайно. Силиным был полностью оформлен пятый, майский номер журнала «Весы» за 1907 г. (за исключением традиционных обложки и общего фронтисписа): специальный фронтиспис номера, заставки и концовки к «Незнакомке» А. Блока, к публикации Белого «На перевале. VII. Штемпелеванная калоша» и др. Соседство имен Андрея Белого и Александра Силина в «Весах» встречается не единожды. Во втором, февральском номере за 1908 г. было помещено несколько работ Силина. В этом же номере напечатана статья Белого «На перевале. X. Вольноотпущенник». В автобиографии Силин отмечал свою близость с символистами и воздействие на него творчества Белого: «Желание <...> дать в изоискусстве нечто аналогичное стихам Блока и Анд<рея> Белого, рядом с которыми я печатался в ту пору в журналах “Весы” и “Золотое руно”»[15].

После дебюта в «Весах» «снимки с картин и рисунков Силина воспроизводились в различных московских и провинциальных изданиях <...>. С 1907 г. С<илин> выставлял свои работы <...> на московских и провинциальных выставках, а в 1925 г. на Парижской международной выставке <...>»[16] (Гран-при на которой за гравюры получил Фаворский). В 1926 г. Силин издал сборник собственных экслибри-

сов, среди которых – экслибрис художника Н.В. Кузьмина, будущего иллюстратора «Масок» Андрея Белого.

* * *

Упоминающийся в письме П.Н. Зайцева «скульптор Златовратский, делавший барельеф» – самый старший из «фигурантов» комментируемого списка, можно сказать, специализировался на выполнении настенных барельефов, наиболее известный из которых – государственный герб на фронтоне Большого театра. Но также известны и созданные им скульптурные портреты Пушкина, Чехова, Рахманинова и др.; многие его произведения хранятся в крупнейших отечественных музеях.

Александр Николаевич Златовратский (1878–1960)[17], сын известного писателя-народника Николая Николаевича Златовратского (1848–1911), как и Андрей Белый, был членом Московского литературно-художественного кружка, так что вероятность их личного знакомства очень велика. К сожалению, все наши усилия по разысканию выполненного Златовратским барельефа, рисунка или хотя бы набросков к нему пока не увенчались успехом. Правда, в фондах Государственного литературного музея хранится гипсовый бюст, датируемый 1930-ми и предположительно определяемый как бюст Андрея Белого. Действительно, несмотря на излишнюю атлетичность облика и романтичную пышность кудрей, в строении головы и чертах лица наблюдается отчетливое сходство с Андреем Белым. Автор этой работы неизвестен, и, как кажется, допустимо предположить, что это мог быть А.Н. Златовратский.

* * *

Среди тех, кто зарегистрировался в списке художников 9 января, большой интерес представляет Василий Павлович Беляев (1901–1942)[18], график, живописец, литератор, прославившийся своими «изорепортажами», сделанными во время многочисленных путешествий по отдаленным и малоисследованным местам[19].

Лично Беляев Белого, по-видимому, не знал, но точно был слушателем его публичных лекций после возвращения писателя из Германии в Россию в 1923 г. (в это время сам художник учился на отделении археологии и искусствознания факультета общественных наук Московского университета). Свидетельство тому – серия натурных набросков, сделанных во время лекционных выступлений Андрея Белого в 1924–1925 гг.[20] Беляев запечатлел Белого таким, каким его запомнили многочисленные слушатели: «то сгибающийся и замирающий под какой-то невидимой тяжестью, то перепархивающий <...> с места на место, он чем-то напоминает мне птицу или летучую мышь... Он кружится <...> приподымается, читая, на цыпочки и растет <...>»[21], «в вечном сопроводительном танце сюртучных фалд <...>, в двойном, тройном, четвертном танце: смыслов, слов, сюртучных ласточкиных фалд, ног, <...> всего тела, <...> с отдельной жизнью своей дирижерской спины <...>»[22]. Пятнадцать рисунков Белого-лектора поступили в Государственный литературный музей в 1937 г. в составе серии портретов писателей, видов пушкинских мест и других работ В.П. Беляева. Но портрета Белого на смертном одре среди них не оказалось. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

* * *

Также пока не удалось разыскать «ритуального» рисунка Галины Алексеевны Назаревской (1901–1957) – ее имя стоит первым в зайцевском списке.

Назаревская закончила Строгановское училище[23]. В конце 1920-х ее работы часто выставлялись (например, в 1929 г. она участвовала в Выставке приобретений государственной комиссией произведений изобразительного искусства за 1928–1929 гг. вместе с Милашевским, Беляевым, Аксельродом, Лезвиевым), она входила в различные художественные объединения (например, в Общество художников-общественников – ОХО), но в Союзе художников не состояла. Назаревская занималась преподавательской деятельностью, вела занятия по изобразительному искусству в школах и техникумах, а в 1952 г. защитила кандидатскую диссертацию по педагогике.

Назаревская была хорошей знакомой К.Н. Бугаевой и Андрея Белого, а также П.Н. Зайцева и С.Д. Спасского. Как и все они, Назаревская являлась членом Антропософского общества. Летом 1924 г. во время большого съезда гостей к М.А. Волошину в Коктебель Галина Алексеевна была там одновременно с Белым, о чем тот оставил запись в «Ракурсе к дневнику» от 23 октября 1927 г.: «Был П.Н. Зайцев с Г.А. Назаревской. Разговор о Крыме, Коктебеле, Максе»[24].

В фонде Белого в НИОР РГБ сохранилась ее тетрадь 1947 г. с воспоминаниями о «Борисе Николаевиче Бугаеве (Андрее Белом) – лучшем из людей, которых я в жизни знала и любила, почитая и преклоняясь перед его светлым образом, ведущим людей в будущее <...>» (Ф. 25. К. 40. Ед. хр. 25).

* * *

Итак, восемь из двадцати художников, делавших прощальные зарисовки Андрея Белого, пришли на похороны не случайно, их связывали с Андреем Белым те или иные отношения. Это Фаворский, Бруни, Павлинов, Златовратский, Беляев, Назаревская, а также Милашевский и Меркуров, о которых уже было рассказано ранее. Любопытно понять, как оказались 9–10 января 1934 г. на похоронах писателя остальные художники – Потехина, Шабад, Мкртчанц, Дорохов, Рубанов, Аксельрод, Горшман, Ржезников, Лезвиев, Ечеистов, Башилов, Юнг. Нам не удалось установить прямых пересечений между ними и Белым. Зато эти пересечения существовали между самими художниками: многие из них вместе учились, работали, жили по соседству.

Приведем краткие биографические сведения о них.

Елизавета Сергеевна Потехина (1882–1963) училась в Строгановском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1904 г. она участвовала в выставке группы художников «Алая роза» (организаторы – П.В. Кузнецов и П.С. Уткин, почетные гости – М.А. Врубель и В.Э. Борисов-Мусатов). С этого времени ее работы экспонировались на выставках группы «Голубая роза», а также общества «Бубновый валет», одним из организаторов которого был Р.Р. Фальк. В конце 1930-х Е.С. Потехина выполняла по договорам работы по праздничному оформлению детских садов для дошкольного отдела Центрального Дома художественного воспитания детей, работала в Музее Революции СССР по договорам и выполняла для музея макеты по историко-революционной тематике.

Она была первой женой (1909–1920) и ученицей Роберта Фалька (1886–1958). У Фалька же училась и Галина Назаревская, всю жизнь дружившая с Е.С. Потехиной. По свидетельству последней жены художника, «Галя очень любила всю жизнь Р<оберта> Р<афаиловича>, несмотря на свои многочисленные увлечения», и «помогала Ел<изавете> Серг<еевне> в хозяйстве»[25]. Возможно, именно Назаревская привела Потехину на прощание с Белым.

* * *

В Строгановском училище живописи, ваяния и зодчества обучалась также и Агнесса Марковна (Агнеся Мордуховна) Шабад (1896–1958)[26]. Она училась у Вадима Дмитриевича Фалилеева (1879–1950), одного из крупнейших русских граверов первой четверти XX в., работавшего, в частности, для журнала «Весы». На V государственной выставке картин, состоявшейся в Музее изобразительных искусств в 1918–1919 гг., ее работы были выставлены рядом с работами Потехиной, Софроновой, Фаворского, Фалька. В 1930-х Шабад сотрудничала с ГОСТИМом, выполняла портреты артистов театра. Ее зарисовки театральных персонажей появлялись на страницах периодических изданий. Не исключено, что и на похороны Белого она была делегирована Государственным театром имени Мейерхольда, с которым Белого связывали отношения дружбы и сотрудничества.

В период с 1922 г. по 1930 г. во ВХУТЕМАСе–ВХУТЕИНе училось еще шесть художников, расписавшихся в регистрационном списке: М.М. Аксельрод, М.Х. Горшман, И.М. Рубанов, К.Г. Дорохов, А.И. Ржезников, Г.А. Ечеистов.

Дружба с юных лет связывает первых троих – по Смоленску; они вместе входили во Всебелорусское объединение (ассоциацию) художников (ВОХ; Минск, 1927–1930) при художественной секции Института белорусской культуры. Дорохов, Ржезников и Рубанов – друзья по студенческой скамье. Ржезников – ученик Фалька, остальные учились у Фаворского и Павлинова. Ечеистов – один из самых преданных учеников и последователей Фаворского.

Меер (Марк) Моисеевич Аксельрод (1902–1970), живописец, график и художник театра, в 1921 г. приехал из Минска в Москву, где поступил во ВХУТЕМАС благодаря личному участию В.А. Фаворского, которому понравились его работы. Он учился также у Павлинова, был дружен с Львом Бруни. В 1928 г., окончив ВХУТЕИН, он остался в нем в качестве преподавателя, также работал преподавателем рисунка и в Московском текстильном институте. Еще студентом он был приглашен в общество «4 искусства» и участвовал во всех его выставках – наряду с Фальком, Петровым-Водкиным, Сарьяном и др. Работы Аксельрода экспонировались на зарубежных выставках в Швейцарии, Голландии, Франции и других странах.

Рисунок Аксельрода «Белый А. на смертном одре» (Бум., кар. 22,4 x 30,5) сохранился в фонде Государственного литературного музея (далее – ГЛМ) и впервые был представлен зрителям в 2004 г. на выставке «Мгла, лишь ресницами рождаемые пятна...» в Музее Андрея Белого на Арбате. Кроме рисунка из ГЛМ известно о существовании еще двух – в Государственной Третьяковской галерее и в частном собрании (С.И. Григорьянца). Последний можно было увидеть в 2003 г. в московском Музее М.И. Цветаевой на выставке «Марина Цветаева и художественный контекст Серебряного века». Другой экспонировался на юбилейной выставке

Аксельрода в галерее на Солянке в 2002 г. рядом с аналогичным изображением Валерия Брюсова. О них тогда писали: «Четкие рисунки –"Валерий Брюсов в гробу" и "Андрей Белый в гробу" – словно символизировали подлинное предназначение его искусства: посмертной маски гробящего нас времени»[27].

Ближайший друг Аксельрода и его сосед по дому – Мендель Хаимович Горшман (Михаил Ефремович; 1902–1972), литограф и гравер на дереве, акварелист, иллюстратор, живописец. Он оформил свыше пятидесяти книжных изданий, создал галерею портретов деятелей культуры. Работы Горшмана имеются в ГТГ, ГМИИ, музеях Украины, Белоруссии, Киргизии. В юности вместе с Аксельродом они организовали Революционное объединение художников Белоруссии (РОМБ, Минск, 1930–1932), вместе входили в общество «4 искусства». Всегда неразлучные, они наверняка вместе пришли и на прощание с Белым. Два своих рисунка Белого в гробу Горшман, как и Аксельрод, предложил Государственному литературному музею. В фонде ГЛМ в РГАЛИ[28] сохранился документ – предложение Горшмана о передаче в 1934 г. в Государственный литературный музей двух рисунков «Андрей Белый на смертном одре». Поскольку фонд ГЛМ был закрыт для изучения и мы могли судить только по названию документа в архивной описи, осталось непроясненным, что стоит за словами «предложение о передаче». Были ли работы переданы музею в дар или предложены на закупку, приняты ли музеем или возвращены автору – неизвестно. Но сами рисунки, к сожалению, пока не обнаружены.

О судьбе зарисовок, выполненных на похоронах Белого Константином Дороховым[29], Иосифом Рубановым[30], Ароном Ржезниковым[31] и Георгием Ечеистовым[32], в настоящее время также ничего не известно. Не выявлены и зарисовки графика Владимира Юнга[33] и художника-самоучки Михаила Лезвиева[34].

Преподаватель ВХУТЕМАСа Яков Александрович Башилов (1882–1940)[35] 9 января 1934 г. предложил московскому Литературному музею ряд своих работ: портреты, пейзажи и другие произведения. Вероятно, вскоре к ним был добавлен еще один рисунок – выполненный на следующий день посмертный портрет Андрея Белого. Он сохранился среди работ художника в собрании ГЛМ (Бум., кар., белила; в левом нижнем углу надпись: «Я. Башилов. 10/I 34 г. ул. Воровского, 50») и впервые демонстрировался на выставке в Музее Андрея Белого, посвященной 70-летию со дня смерти писателя.

Одно из имен в списке художников остается неразгаданным: фамилия написана неразборчиво. Представляется вероятным прочтение этой записи как «Г. Мкртчанц» или «Г. Мкртчян» – не самые редкие армянские фамилии, и художников под этими фамилиями известно немало. Возможно, это была театральная художница Галина Мкрчанц[36].

На этом список художников, рисовавших на похоронах Белого, можно считать законченным и подвести «статистические» итоги. Всего в списке двадцать имен. Среди них не только художники, но и скульпторы: А.Н. Златовратский и С.Д. Меркуров. Работы шести «фигурантов» списка удалось обнаружить: рисунки Я.А. Башилова, В.А. Милашевского (ГЛМ), Л.А. Бруни (Литературный музей Пушкинского Дома), П.Я. Павлинова (Мемориальная квартира Андрея Белого) и три рисунка М.М. Аксельрода (ГЛМ, Государственная Третьяковская галерея, собрание С.И. Григорьянца), а также посмертную маску Белого работы С.Д. Меркурова (ГЛМ).

Обнаружены свидетельства и документы, подтверждающие существование в 1934 г. портретов Белого в гробу, выполненных не только В.А. Фаворским, но и М.Х. Горшманом (два рисунка). Авторство одной работы (из собрания НИОР РГБ) остается под вопросом.

В процессе выявления «ритуальных» портретов, к удивлению, было обнаружено, что как минимум три художника, присутствовавшие на похоронах, не зарегистрировались в общем списке. Это А.Д. Силин, о купленных К.Н. Бугаевой работах которого говорилось выше (рисунок тушью в Мемориальной квартире Андрея Белого и акварель в НИОР РГБ), а также С.М. Городецкий (собрание В.П. Енишерлова) и А.И. Нагнибеда (Литературный музей Пушкинского Дома).

Сергей Митрофанович Городецкий (1884–1967), поэт, прозаик, критик, художник, познакомился с Андреем Белым еще в 1905 г. в Петербурге на «башне» у Вячеслава Иванова. Поэзия Андрея Белого, безусловно, оказала воздействие на раннее поэтическое творчество Городецкого, но на протяжении ряда лет отношения поэтов сохраняли полемический характер, в печати они обменивались взаимными рецензиями, порою резкими и нелицеприятными[37]. Городецкий-художник также не обошел вниманием своего оппонента. Известны его карикатурные рисунки, изображающие Белого: например, шарж, подписанный псевдонимом Городецкого «Крючек» (1900-е. Бум., тушь, перо. 23,5 x 15), из Литературного музея Пушкинского Дома или выполненный на листке с записями конспекта лекции «Россия в мировой культуре»[38] набросок из собрания В.П. Енишерлова (1920. Бум., чернила, перо).

Алексей Иосифович Нагнибеда (1908 – нач. 1940-х)[39] не был профессиональным художником (в 1934 г. работал инженером-конструктором московского завода «Авиаприбор»). Вечером 9 января он присутствовал на прощании с Белым и сделал (по-видимому – «для себя») памятный набросок «Андрей Белый на смертном одре» (Бум., итал. кар. 25,3 x 37,4), на котором проставил дату и время («10 часов 9/I 34»). В 1939 г. Нагнибеда передал его в Литературный музей Пушкинского Дома.

* * *

К рассказу о художниках, оставивших памятные изображения Белого на смертном одре, необходимо добавить еще одно имя, не отмеченное в регистрационном списке: Лев Михайлович Алпатов-Пришвин (1906–1957), фотограф, сын писателя Михаила Михайловича Пришвина, тщательно фиксировавший на пленку все происходящее на похоронах Белого.

Безусловно, он был не единственным фотографом на похоронах: то, что «фотографы теснятся с фотоаппаратами», отмечал в дневнике С.Д. Спасский. Сделанные официальными фотографами портреты Белого в гробу в окружении цветов и еловых лап публиковались в газетах; несколько снимков сохранилось. На двух из переданных К.Н. Бугаевой в Российскую национальную библиотеку фотографиях ее пояснительная надпись: «10 января. Снимок Горкома писателей»[40].

Фотографии Льва Алпатова интереснее, эмоциональнее и разнообразнее. Они есть и в РНБ, и в РГАЛИ, и в ГЛМ, и в собрании Мемориальной квартиры Андрея Белого[41]. Их достаточно большое количество объясняется тем, что и Клавдия Николаевна, и сам Алпатов раздавали близким друзьям и знакомым скорбные

фотоснимки на память о последних минутах прощания[42]. Так, известен отклик Иванова-Разумника, благодарившего Алпатова «за присылку фотографий Белого в гробу»[43].

На некоторых фотографиях Алпатова узнаются знакомые лица (например, Г.И. Чулков или М.М.Пришвин, стоящие в почетном карауле) и указаны число и точный час съемки (например: «В 6 вечера 9 января 1934 года. Лев Алпатов»; «Снимок сделан 10-го января в 1 час дня Клавдии Николаевне Бугаевой. Лев Алпатов»)[44].

Фотографированием самой процедуры похорон Алпатов не ограничился. На одном из снимков, сделанном 10 января 1934 г., запечатлен рабочий стол Андрея Белого. На столе разложены рукописи, книги (роман «Маски», словарь В.И. Даля), фотопортрет отца писателя Н.В. Бугаева, очки и письменные принадлежности Белого. Тогда же Алпатов сфотографировал и Клавдию Николаевну, сидящую с книгой в руках возле рабочего стола мужа[45]. 18 и 22 января он вместе с П.Н. Зайцевым и К.Н. Бугаевой был на Новодевичьем кладбище[46] и запечатлел могилу Белого: на заснеженной земле еловые ветки, цветы и прямоугольная плита с надписью: «ПИСАТЕЛЬ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ БУГАЕВ (АНДРЕЙ БЕЛЫЙ) 1880–1934»[47].

---

[1] Благодарю Л.Г. Агамалян, Р.М. Кирсанову, Н.Е. Лаврентьеву, Л.И. Морозову, М.М. Павлову, И.Д. Шаховского за ценные советы и помощь в поиске архивных материалов.

[2] О впечатлениях Мандельштама от похорон Белого см. в наст. изд.

[3] ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) – учебное заведение, созданное в 1920 г. в Москве; в 1926 г. реорганизован во ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт); закрыт в 1930 г.

[4] Похороны Андрея Белого // Правда. 11 января 1934 г. № 11 (5897). См. в наст. изд.

[5] См. в наст. изд.

[6] Дневник поступил в РГАЛИ.

[7] *Мандельштам О.* Стихотворения / Вступит. ст. А.Л. Дымшица; Сост., подгот. текста и прим. Н.И. Харджиева. Л., 1978. С. 299. («Библиотека поэта». Большая серия. 2-е изд).

[8] Из воспоминаний Н.И. Гаген-Торн. См. в наст. изд.

[9] Из дневника С.Д. Спасского. См. в наст. изд.

[10] См. в наст. изд.

[11] См. также упоминание о нем в уже цитировавшемся письме П.Н. Зайцева к Л.В. Каликиной.

[12] Из беседы с Н.К. Бальмонт-Бруни (2 сентября 1969 г.) // Воспоминания об Андрее Белом: Из отдела фонодокументов МГУ / Публ., вступит. ст. М.В. Радзишевской // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 122.

[13] Там же.

[14] Выпускник филологического факультета Московского университета, одновременно учившийся в частной школе живописи художника В.Н. Мешкова, а затем у К.Ф. Юона и И.О. Дудина, где учились многие известные художники того времени (по-видимому, одновременно с Силиным посещал эту школу Роберт Фальк). Позднее Силин занимался преподаванием (читал курс истории искусства в высших учебных заведениях Ростова-на-Дону), театрально-декорационным искусством, экслибрисами, оформлением и иллюстрированием книг (так, А. Силиным и Л. Гудиашвили сделаны заставки в книге переводов Б. Пастернака «Грузинские лирики». М., 1935).

[15] РГАЛИ. Ф. 2943. Оп. 1. Ед. хр. 1593. Л. 30.

[16] *Силин А.Д.* Книжные знаки. Ростов-на-Дону, 1926.

[17] Начал заниматься живописью в гимназии под руководством художника Н.А. Касаткина, в 1905 г. закончил скульптурный класс Академии художеств. Петербуржец по рождению, в 1905 г. начинает свою творческую деятельность в Москве в содружестве с С.Т. Коненковым и А.С. Голубкиной – в 1927 г. на могилу А.С. Голубкиной траурный венок от Общества русских скульпторов (ОРС), возложит именно А.Н. Златовратский. На протяжении 1908–1913 гг., путешествуя по Италии, Германии, Франции, скульптор периодически работал в Париже в мастерских А. Майоля и Ж. Бернара, одновременно с И.С. Ефимовым занимался в Académie de la Grand Chauiere у Э.-А. Бурделя. До 1917 г. он выставлялся в витринах Московского товарищества «Салон», участвовал в художественных выставках в Париже и Дрездене, впоследствии он также экспонент многочисленных выставок, участник разнообразных обществ и комитетов. Златовратский был одним из организаторов Общества русских скульпторов, членом правления МОССХ, принимал участие в деятельности секции по охране памятников искусства и культуры. Также работал и в области монументально-декоративной скульптуры по ленинскому плану монументальной пропаганды (памятник-бюст М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1918; К. Маркса, 1922 – все в Москве), выполнял настенные барельефы (самый известный из них – государственный герб на фронтоне Большого театра). В 1932 г. на XVIII международной выставке искусства в Венеции Советский Союз представляли работы Ефимова, П. Кузнецова, Петрова-Водкина, Фаворского, Златовратского.

[18] Уроженец Рязанской губернии, в 1914 г. поступает в Строгановское художественно-промышленное училище, затем во ВХУТЕМАС, который заканчивает в 1921 г. по живописному факультету, где его учителями были А.М. Родченко, В.В. Кандинский, Р.Р. Фальк и др. Графическому мастерству Беляев обучается у И.Н. Павлова, В.Н. Масютина и В.Д. Фалилеева. В 1919 г. работы Беляева впервые представлены на суд зрителя, в 1922 г. экспонируются на первой русской художественной выставке в Берлине, а в конце 1920-х – на выставках Ассоциации художников-графиков при Доме печати вместе с работами Павлинова, Кузьмина, Милашевского, Юнга и др. На выставке «Гравюра СССР за 10 лет», проходившей в 1927 г. в Музее изобразительных искусств, графика Беляева была представлена рядом с работами Фаворского, Павлинова, Аксельрода, Ечеистова и Силина. В других выставках его работы часто соседствует с произведениями Башилова и Милашевского, Аксельрода и Силина, Назаревской и Лезвиева, Бруни и Меркурова, Софроновой и Фаворского.

[19] Путешествовал по Дальнему Востоку, Бурятии и Монголии, выходил на корабле зверобойной экспедиции в Белое море, побывал на Новой Земле и островах Северного Ледовитого океана. Его рисунки и путевые заметки публиковались в газетах и журналах, он – один из востребованных иллюстраторов народного эпоса (Песни народов Дальнего Севера. М., 1935; и др.).

[20] См. их воспроизведение в кн.: Андрей Белый. Александр Блок. Москва. М., 2005. С. 294–295.

[21] *Булич В.С.* Четвертое измерение. См. в наст. изд.

[22] *Цветаева М.* Пленный дух. См. в наст. изд.

[23] Императорское Строгановское центральное художественно-промышленное училище в 1918 г. было преобразовано в Первые, а Московское училище живописи, ваяния и зодчества – во Вторые свободные государственные художественные мастерские (СВОМАС). Декретом Совнаркома в 1920 г. их объединили во ВХУТЕМАС.

[24] *РД.* Л. 131.

[25] *Щекин-Кротова А.В.* Материалы к портрету сына Фалька. 20.06.1984 // Отдел ркописей Государственного Русского музея. Ф. 155. Ед. хр. 24. Л. 3.

[26] Родилась в Минске, закончила восемь классов женской гимназии в белорусском городе Мстиславе, по окончании семи классов получила серебряную медаль. В 1932 г. вступила в члены АХРР (Ассоциация художников революционной России), в 1946 г. стала членом МОССХ.

[27] *Шевелев И.* Двадцатое письмо к виртуальному другу // Русский Журнал. 2002. 9 октября. См. сайт: http://old.russ.ru/culture/vystavka/20021009_she.html.

[28] РГАЛИ. Ф. 612; ГЛМ. Оп. 1. Ед. хр. 3043. Л. 345.

[29] Константин Гаврилович Дорохов (1906–1980) – живописец и график. В 1923 г. по путевке комсомола был направлен из Смоленска на учебу в Москву, во ВХУТЕИН, годы обучения в котором Дорохов описал в своих «Записках художника» (М., 1974). В 1930-х получили известность его женские портреты. После смерти Дорохова вдова и сын художника передали Смоленскому музею свыше трехсот его произведений.

[30] Иосиф Михайлович Рубанов (Менделевич; 1903–1988) – живописец, мастер портрета. В 1923–1930 гг. учился во ВХУТЕМАСе–ВХУТЕИНе. Институтские рисунки молодого художника были отмечены Фаворским, Павлиновым и другими. По окончании училища Рубанов продолжил преподавание, начатое в годы обучения, в числе прочего руководил различными самодеятельными художественными студиями: в Бауманском районном Дворце пионеров, изостудии ВЦСПС и завода «Каучук» и т.д.

[31] Арон Иосифович Ржезников (1898–1943) – живописец, график, ученик Фалька, друг и сосед Дорохова. Родился в Чернигове в семье сапожника-кустаря, учился в реальном училище. С 1922 г. обучался живописи во ВХУТЕМАСе.

[32] Георгий Александрович Ечеистов (1897–1946) – график, гравер по дереву и живописец, книжный иллюстратор, экслибрист. В 1917 г. учился на отделении резьбы по дереву в Строгановском училище, затем в только что организованных Первых свободных мастерских и во ВХУТЕМАСе–ВХУТЕИНе на графическом факультете, где работал под руководством В.Н. Масютина и В.А. Фаворского. В 1927 г. на юбилейной выставке «Гравюра СССР за 10 лет» его работы демонстрировались вместе с графикой Фаворского, Павлинова, Фалька, Аксельрода, Беляева, Силина и др. Через два года выставка «Графическое и книжное искусство в СССР» прошла в Амстердаме, в ней вместе с Ечеистовым принимали участие художники Аксельрод, Горшман, Милашевский, Павлинов, Фаворский, Юнг. В 1934 г. Ечеистов работал в газете «Известия». В семейном архиве Ечеистовых сведений о судьбе зарисовок с похорон Белого нет (указано М.А. Ечеистовой).

[33] Владимир Григорьевич Юнг (1889–1943) – график, литограф и рисовальщик, уроженец Москвы, в 1916 г. окончил Пензенское художественное училище, с 1921 по 1926 г. обучался на графическом факультете ВХУТЕМАСа, а позднее работал преподавателем литографии в Киевском художественном институте. С 1925 г. его работы нередко экспонировались на крупных художественных выставках как в стране, так и за рубежом, но имя его не часто встречается в книгах по искусству. В 1920–1930-х В.Г. Юнг состоял членом ОСМУ (Объединение современных мастеров Украины; Киев); вероятно, в составе объединения в 1927 г. участвовал в выставке «Искусство народов СССР» в Москве. В 1929 г. он один из участников «Выставки русской графики» в Риге, а затем заметной выставки «Графическое и книжное искусство в СССР», проходившей в Амстердаме, – в одном ряду с Аксельродом, Горшманом, Ечеистовым, Милашевским, Павлиновым, Фаворским и др. В 1930 г. вместе с теми же участниками показывает свои работы на графической выстав-

ке в Данциге. В списках МОССХа в 1935–1942 гг. числится членом союза по графической секции. Умер Владимир Григорьевич в 1943 г., находясь с женой и сыном в эвакуации в деревне Глухарево Омской области. 31 марта 1943 г. бюро графической секции МОССХа приняло решение «о вызове семьи умершего художника Юнг<а> в Москву <...>. Об организации посмертной выставки художника Юнга. Устроить в МОССХе вечер памяти умерших художников». Комиссия по увековечению памяти Юнга, «просмотрев работы оставшиеся после смерти художника», посчитала необходимым устроить выставку его работ.

[34] Биографические сведения о Михаиле Васильевиче Лезвиеве (настоящее имя Петро Водопьян; 1895–1943) в печатных источниках крайне скудны. Более подробную информацию удалось найти в РГАЛИ. В 1931 г. при попытке вступить в члены Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ) Лезвиев сообщил о себе в заявлении следующие любопытные подробности: «Происхождение – крестьянин. Уроженец Гродненской губернии. Социальное положение – работник по найму. Образование – низшее. Образование специальное – был на 1м курсе Киевского художественного института. Трудовой стаж до 1917 г. – учащийся; после 1917 г. – торговый грузчик (Туапсе), учащийся в худ<ожественном> институте и Краснодарский техникум. В партиях – не состоял. <...> состоял [в] группе монументалистов с 28го года в Москве. <...> в 1919 и 20 году был добровольцем в Красной Армии. <...> Пенсия – стипендия Наркомпроса в 1928 и 29 году в размере 30 р. Звание – художник. <...> В каких добровольных обществах состоит – МОПР, ОСОВИАХИМ, друг детей. Член кооперации – член № 467674. <...> Участие в отдельных работах по общей мобилизации – Оформление клуба 1го мая Казанской жел. дороги. Оформление клуба в Гальяновской трудкоммуне и 4х вывесок. Участие в политучебе – занимаюсь на дому. <...> Дополнительные сведения: в 1919–20 был на Воронежских командных пехотных красных курсах. Свидетелями пребывания на курсах являются художники т. Рындин и Петров, проживавшие в то время в г. Воронеже. <...> Постановление монументальной секции – о приеме в РАПХ воздержаться». К этому можно добавить, что в Москве Лезвиев поселился в 1924 г. Монументальные работы художника произвели сильное впечатление на А.В. Луначарского, и по его инициативе Лезвиев стал стипендиатом Наркомпроса. В 1928 г. на персональной выставке в Академии художеств продемонстрировал свои гигантские картины, написанные на холстах и газетных листах. С этой выставки один из многометровых холстов под названием «Смычка города с деревней – призыв к грамотности» (7,5 х 3,19 м) был приобретен Наркомпросом для одного из нижегородских домов культуры (работа не сохранилась). В 1929 г. работы Лезвиева были показаны на выставке молодых дарований в Большом зале консерватории. В конце 1920-х – начале 1930-х входил в Общество художников-самоучек (ОХС), участвовал в 4-й выставке членов ОХС в 1931 г. Его имя иногда встречается рядом с именами художников из нашего списка на различных выставках: так, в 1930 г. его работы выставлены рядом с работами Аксельрода, Беляева, Милашевского, Назаревской и других. С 1932 г. – член Горкома художников. В 1937 г. Лезвиев был репрессирован. Сохранившиеся работы поступили в Львовский изобразительный музей.

[35] Я.А. Башилов закончил Строгановское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1916–1917 гг. он был одним из инициаторов создания и председателем Общества окончивших училище ЖВЗ, позднее – Общества художников московской школы, просуществовавшего до 1925 г. Состоял членом АХРР, из которой исключался и вновь принимался в члены Ассоциации.

[36] Галина Васильевна Мкрчанц (1903–1970) – художник театра, прикладник. Выполняла различные театрально-декорационные работы, в том числе театральный занавес на тему

«Победа» (Трафарет. Репс. 1947), разрабатывала эскизы плательных тканей для промышленного производства.

[37] См., напр.: *Андрей Белый.* Кумир на глиняных ногах [рец. на кн.: *Городецкий С.* Перун. СПб., 1907] // Перевал. 1907. № 8/9. С. 103–104; *Городецкий С.* Дамский поэт // Вестник литературы. 1910. № 1. Стлб. 27.

[38] Андрей Белый. Александр Блок. Москва. М., 2005. С. 275.

[39] А.И. Нагнибеда в 1925–1929 гг. обучался на механическом факультете индустриального техникума в Таганроге, после чего прошел годовой курс буровой механики при Днепропетровском институте. В 1936 г. Нагнибеда сдает экзамены в Московский институт истории, философии и литературы на искусствоведческий факультет. В 1937 г. со второго курса в связи с закрытием института по рекомендации И.Э. Грабаря переводится в Ленинградскую Академию художеств. Специально созванная комиссия рассматривала вопрос о его зачислении в академию в середине учебного года, но признала «подготовку Нагнибеды недостаточной». Комиссия постановила «допустить к вступительным экзаменам в августе 1938 г.» только «при условии дополнительной подготовки» (Протокол экзаменационной комиссии от 1 января 1938 г. // Архив Академии художеств РАН (СПб.). А–74. Оп. 7. 1938**).** В ожидании экзаменов Нагнибеда работает старшим техником-художником в архитектурной мастерской № 2 «Ленизо», в сентябре 1938 г. становится студентом архитектурного факультета Академии художеств. Курс не закончил: погиб во время войны.

[40] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 86. Л. 6–7.

[41] Поступили от потомков Евгения Ивановича Шамурина (1889–1962), известного библиографа, одного из создателей Всесоюзной книжной палаты, составителя «Антологии русской литературы от символизма до наших дней» (1925), автора одного из немногих положительных отзывов на роман «Маски» (подробнее см.: *Черкавская К.Л.* Белый в архиве Е.И. Шамурина // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 38–40; За что Андрей Белый благодарил Е. Шамурина (неизвестный отзыв о романе «Маски») / Публ., вступит. ст. и коммент. К.Л. Черкавской // Москва и «Москва» Андрея Белого. М., 1999. С. 453–460).

[42] Видимо, таким образом эти фотографии оказались у Е.И. Шамурина.

[43] Письмо Иванова-Разумника к М.М. Пришвину от 27 января 1934 г. см. в наст. изд.

[44] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 86. Л. 1–5.

[45] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 95. Фотография воспроизведена на фронтисписе книги «Воспоминания об Андрее Белом» К.Н. Бугаевой (СПб.: Изд-во И. Лимбаха, 2001).

[46] Подробнее об этом см. записи в дневнике П.Н. Зайцева в наст. изд.

[47] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 96.

Е.В. Наседкина

НЕСБЫВШИЙСЯ ПРОЕКТ: ПОСМЕРТНОЕ «СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ» АНДРЕЯ БЕЛОГО

Работа по изучению творческого наследия Андрея Белого началась сразу же после его смерти. Еще во время похоронных мероприятий близкие друзья покойного обсуждали необходимость памятных изданий, среди которых назывались как сборник произведений Андрея Белого, так и воспоминания о нем. Г.А. Санников планировал многотомное посмертное собрание сочинений своего учителя. 11 января Сергей Спасский отметил в дневнике слова О.Д. Форш о необходимости «сборника памяти Б<ориса> Н<иколаевича>»[1].

В тот же день, 11 января, П.Н. Зайцев писал Л.В. Каликиной: «В ближайшие дни будем говорить с издательствами о посмертном издании произведений Б.Н. Идет речь о сборнике воспоминаний, об избранном сборнике стихов... к участию в редактировании<,> естественно<,> будет привлечена К<лавдия> Н<иколаевна>»[2]. Такой разговор состоялся в издательстве «Academia» вечером 18 января, после захоронения урны с прахом. На заседании присутствовали Л.Б. Каменев, К.Н. Бугаева, П.Н. Зайцев, Б.Л. Пастернак, Г.А. Санников, Б.А. Пильняк, А.К. Тарасенков и другие.

По свидетельству известного переводчика Н.М. Любимова, близкого знакомого К.Н. Бугаевой[3], в 1930-х служившего в издательстве «Academia», инициатива издания исходила именно от Каменева: «Каменев слыл меценатом. <...> Он считался знатоком, любителем и отчасти покровителем символистов. Тотчас после смерти Андрея Белого Каменев задумал издать в "Academia" полное собрание его стихотворений»[4].

Заведующий издательством Лев Борисович Каменев, автор предисловий к книгам Андрея Белого «Начало века» и «Мастерство Гоголя», дал согласие на издание книги в довольно большом объеме (50 печ. л.), по вопросам объема тиража и авторского вознаграждения возникли разногласия, подробно зафиксированные в дневнике Зайцева[5]. Самым серьезным, вызвавшим заинтересованное обсуждение участников, оказался вопрос о составе и структуре будущего сборника. Эта дискуссия впоследствии нашла отражение в редакционной статье, сохранившейся в ОР РНБ в верстке «Собрания стихотворений» Андрея Белого: «Перед редакцией стоял трудный вопрос: какого типа должно быть издание, по какому принципу оно должно строиться и какой материал должен лечь в его основу?»[6]

Известно, что Белый, работая над подготовкой собрания своих стихотворений, не только бесконечно переделывал каждое стихотворение, часто до полной неузнаваемости, но и изменял состав стихотворных циклов и разделов. Об этом неоднократно писали и сам Белый[7], и К.Н. Бугаева[8], и исследователи его творчества[9].

Литературовед и библиофил А.К. Тарасенков, входивший в комитет по увековечению памяти Андрея Белого, 11 января 1934 г. написал некрологический очерк «Памяти Андрея Белого»[10] и тогда же набросал в рабочей тетради черновик плана и принципы издания полного собрания стихотворений Белого, которые отстаивал в дальнейшем в качестве члена редколлегии будущего издания[11]. Тарасенков вспоминал: «По моей инициативе в кабинете Каменева в изд<ательстве> “Academia” – совещание по вопросу об издании полн<ого> собр<ания> стихов только что умершего А. Белого. Я сделал сообщение о предполагаемом мною плане издания, настаивая на том, чтобы за основу принять тексты первых изданий “Золота в лазури”, “Урны” и “Пепла”, а последующие редакции поэта дать в примечании. Так – полагал я – будет дан исторический ракурс развития поэта»[12].

Тарасенков зафиксировал возникшие по этому вопросу прения в дневниковых записях:

> Мнения участников совещания (Л.Б. Каменев, Б. Пильняк, Г. Санников, К. Локс, Зайцев, Эльсберг, Пастернак и др.) разделились. Многие стояли за принятие основного текста в редакции позднейших пореволюционных годов (для «Пепла» и «Золота в лазури»). Я тогда задал публично вопрос Пастернаку: «Вот вы, Б<орис> Л<еонидович>, выпустили книгу “Поверх барьеров” в 1917 и 1929 гг. в разных вариантах. Какой вариант Вы считали бы наиболее достойным для своего будущего соб<рания> сочинений?»
>
> Б<орис> Л<еонидович> страшно заволновался, сказал, что очень трудно решить этот вопрос, что в конечном счете обе редакции имеют право на существование, а под конец заявил, что поэзия вообще страшна своей ответственностью перед читателем и что он мечтал бы о таком положении вещей, при котором можно было бы писать стихи, продавать их издательству, но с обязательством последнего, что оно опубликует их лишь после смерти поэта. Все это было сказано, конечно, лишь гипотетически, но отнюдь не в шутку...[13]

Большая часть продуманного Тарасенковым плана не вызвала поддержки других участников издания, но его предложения зафиксированы в редакционной статье к сборнику: «Казалось бы, простейшим выходом было взять сборники “Золото в лазури”, “Пепел”, “Урну” и т.д. и перепечатать их полностью, без изменений, в хронологическом порядке, дав в примечаниях варианты всех последующих обработок. Но этот план при ближайшем рассмотрении оказался совершенно неприемлемым. Дело в том, что автор неоднократно перестраивал свои ранние стихи, подвергая их правке и переработке, часто довольно значительной, а иногда и совершенно изменявшей первоначальный текст»[14].

В значительной степени было учтено замечание Пастернака о праве на существование разных редакций произведения. В итоге обсуждения в основу посмертного сборника был положен составленный Белым план издания тома стихотворений 1925 г.[15], опиравшийся, в свою очередь, на план берлинского сборника стихотворений, выпущенного издательством З.И. Гржебина в 1923 г.[16]

В той же редакционной статье, в которой изложена сложная проблема отбора произведений для включения в посмертное издание, даны и подробная характеристика плана 1925 г., и обоснование выбора именно этого плана, а не другого,

составленного в 1931 г., выражавшего последнюю авторскую волю и также сохранившегося в архиве писателя[17].

План 1925 г. носит характер завещательного распоряжения и начинается так: «Если бы я умер, то просил бы рассматривать некий умопостигаемый том моих стихов, состоящим из следующего материала: – в основу тома берется том избранных стихотворений издания Гржебина со значительными добавлениями <...>»[18].

Черновой набросок этого плана сохранился почти случайно. К.Н. Бугаева с удивлением вспоминала, как спасла его от уничтожения: «До сих пор не понимаю, как случилось, что я сохранила “План 25 года”. <...> *именно этот план был тем, что нам тогда было нужно,* что решило сразу все наши сомнения»[19]. Однако, по мнению публикаторов плана 1925 г. А.В. Лаврова и Дж. Малмстада, сохранившийся текст не полон[20], что подтверждается как сделанным К.Н. Бугаевой примечанием: «На этом “план” обрывается»[21], так и анализом содержания сборника издательства «Academia», в основу которого этот план был положен. Часть изменений состава посмертного сборника Белого по сравнению с берлинским сборником 1923 г. предписана планом 1925 г., другая часть в плане 1925 г. не отражена, но, вероятнее всего, к нему восходит.

* * *

Работа над сборником началась почти сразу после похорон писателя, после переговоров с Л.Б. Каменевым[22]. Основной труд по подготовке материала к печати лег на плечи К.Н. Бугаевой. Клавдия Николаевна в первые же дни после похорон приступила к разбору рукописей мужа и подготовке издания тома его стихов. Ей посильную помощь оказывала сестра Елена Николаевна Кезельман, приезжавшая из лебедянской ссылки на захоронение урны Белого 18 января и продолжившая работу после возвращения из ссылки[23]: сестры на протяжении многих лет вместе сверяли, переписывали рукописи, составляли сотни карточек с подбором рифм, словообразований, пословиц и поговорок, использованных Белым. Но в 1934 г. Кезельман после захоронения урны с прахом вернулась в Лебедянь, а главными помощниками К.Н. Бугаевой стали П.Н. Зайцев и А.С. Петровский.

Клавдия Николаевна писала Е.В. Невейновой 28 января 1934 г.: «Теперь я работаю вместе с Алешей и П<етром> Н<икано>р<овичем> над изданием тома его стихотворений. Academia хочет издать однотомный сборник. На нас лежат: комментарии, дополнения, примечания. Работа большая, а срок короткий (2 месяца)»[24].

В феврале К.Н. Бугаева стала официальной наследницей авторских прав Белого на основании акта о введении в права наследства от 19/II—1934 г. за № 279 Московской Государственной нотариальной конторы.

В это время работа над сборником стихотворений Белого уже шла полным ходом: «Дни заполнены сейчас работой над редактированием предполагаемого Academia’ей сборника стихов Б.Н. Захватывающая, но трудная работа»[25]; «Целые дни сижу над его стихами, сравниваю различные варианты разных изданий. Какая живая, подвижная ткань. Все меняется, ничто не стоит: строки, строфы, отрывки, целые циклы. Точно море волнующееся, и лишь на мгновение выкидывающее волны своих гребешков, чтобы снова рассыпаться и собираться в другую волну»[26].

11 марта 1934 г. издательство направило письмо на имя К.Н. Бугаевой, П.Н. Зайцева и А.С. Петровского о предстоящем заключении договора на издание сборника:

Уважаемые товарищи.

Настоящим издательство ACADEMIA сообщает Вам, что договор с Вами на подготовку к печати собрания стихотворений Андрея Белого, текстологическую редакторскую статью, комментарии и канву жизни и творчества А. Белого, будет заключен в мае с/г., в соответствии с представленным Вами планом.

Зав. издательством Л. Каменев.

Руководитель Редсектора А. Тихонов[27].

Клавдия Николаевна оставшееся до заключения договора время использует на сбор и изучение разных редакций текстов Белого. Она обращается за помощью к литературоведам Б.В. и И.Н. Томашевским: «Не знаете ли Вы, в каких ленингр<адских> архивах могут быть и есть ли где автографы стихов Б.Н. (публ<ичная> библ<иотека>?, Пушк<инский> дом?), а также рукопись “Пепла” из архива “Шиповника”? где может быть этот архив? <...> Нам теперь очень важно это знать в связи с изданием “Собр<ания> стих<отворений>”» (5 марта 1934 г.); информирует их: «Работа над сборником стихов продолжается. И еще много впереди <...>» (27 марта 1934 г.)[28].

9 мая состоялось заключение двух договоров, предполагавших выполнение разных видов работ:

Договор № 113 с издательством «Academia», в лице заведующего издательством Л.Б. Каменева, от <9 мая> 1934 г.: «о предоставлении К.Н. Бугаевой издательству текста для “Собрания стихотворений А. Белого”». Объем не указан, срок – «сдать не позже 15 июня 1934 г.», авторский гонорар – «из расчета по 18.000 руб. при тираже 10000 экз.». Подпись: «зав. издательством Л.Б. Каменев»;

Договор № 114 с издательством «Academia», в лице заведующего издательством Л.Б. Каменева, от 9 мая 1934 г.: «о предоставлении издательству К.Н. Бугаевой, П.Н. Зайцевым, А.С. Петровским («действующими солидарно как в отношении прав, так и обязанностей») «редакторской статьи разм<ером> до 1,5 п.л., комментария реального и текстологического, указателей и канвы жизни и творчества, разм<ером> до 9 п.л. к Собранию стихотворений А. Белого <...>, а также принимают на себя подбор и подготовку к печати текста в размере до 30 п.л.». Срок сдачи текста – не позже 15 июня 1934 г. Авторский гонорар – «из расчета по 480 руб. за п.л. за статью, по 640 руб. за п.л. комментария и по 100 руб. за п.л. текста за подбор и подготовку его к печати. Гонорар между соавторами распределяется в равных частях». Подпись: «зав. издательством Л.Б. Каменев»[29].

Договор был подписан с обеих сторон, сроки указаны жесткие (15 июня 1934 г.), началась упорная кропотливая работа. «<...> работаю целые дни и иногда дня по три не выхожу. И отрываться не хочется <...>», – писала Клавдия Николаевна Невейновой 6 июня.

Казалось бы, все складывается как нельзя лучше. Зайцев сообщает Сергею Спасскому: «Сборник стихов в “Академии” сдан в производственный отдел, но в типографию еще не сдан. Сквозь Редакцию сборник прошел полностью <...>» (15 октября 1934 г)[30]. Но Петр Никанорович поторопился – возникли непредвиденные осложнения.

В фонде издательства «Academia» в РГАЛИ сохранилась издательская переписка с П.Н. Зайцевым, А.К Тарасенковым и другими об издании сборника стихотво-

рений Белого с приложением отзывов о книге, крайние даты документов: 4 августа 1934 г. – 15 мая 1935 г.[31] Эти документы раскрывают напряженный и драматический путь хождения сборника по адским кругам издательской бюрократии.

4 августа 1934 г. Каменев во внутренней рецензии дал проведенной работе и сборнику в целом вполне положительную оценку. Некоторые сомнения у него вызвала только «Летопись жизни» Андрея Белого, причем не ясно, что именно смутило его: внушительный объем или собственно содержание. Приведем полный текст этого отзыва:

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. Собр<ание> соч<инений>.

Со ст<атьей>. Тарасенкова.

Рукопись в полном порядке, готова к сдаче в набор.

Расположение материала вполне целесообразное, соответствующее выработанному плану.

Предисловие «От редакции» – достаточное.

Примечания – строго текстологические и библиограф<ические>.

Возможны сомнения относительно «Летописи жизни». Можно бы обойтись без этого отдела. Но раз он составлен, можно напечатать. Этот отдел – единственный в книге, – который я прошу просмотреть еще т. Эльсберга или Тихонова. Все остальное – не нуждается в дополнительном просмотре.

Остается получить утверждение на включение этой книги в наш план и – сдавать в печать.

4/VIII–34 г.

Л. Каменев[32].

Реакция главного редактора издательства А.Н. Тихонова на предложение Каменева в документах не зафиксирована. «Летопись жизни» поступила на рассмотрение к его заместителю Я.Е. Эльсбергу[33]. В 1929 г. Эльсберг написал статью «Творчество Андрея Белого – прозаика» («На литературном посту». № 11/12. С. 34–52), вызвавшую тогда положительный отклик К.Н. Бугаевой[34]. Теперь именно он курирует подготовку к печати сборника Белого и чутко реагирует на указание начальника: «Надо др<угое> предисловие к летописи Белого, поясняющее <*нрзб.*> характер последней. Э<льсберг>. 27/IX–34»[35]. Его отзыв на «Летопись жизни» – резко отрицательный:

По поводу «Летописи жизни Белого»

В этой летописи меня больше всего смущает то, что она целиком повторяет «самореволюционизирующую» тенденцию мемуаров Белого. Автор летописи и не пытается критически подойти к этим мемуарам, субъективизм которых несомненен. В итоге мы получаем не жизнь Белого, данную на основе объективных фактов, а преломленную через самовосприятие Белого, да и то позднейшее.

Несомненно, что в дальнейшем будут выходить биографические работы о Белом, там такой летописи, но проредактированной, и место.

В нашем сборнике стихов, мне казалось бы, совершенно достаточно дать лаконичную биографическую канву на несколько страниц, дающую только бесспорные объективные факты.

(Я. Эльсберг)[36].

Вскоре резко меняется ситуация в издательстве. В декабре 1934 г. арестовывают Каменева, после чего начинается постепенный, но неотвратимый разгром всего издательства (в результате «Academia» в 1937 г. «слилась» с Гослитиздатом). Движение издательских проектов попадает в зависимость от новой расстановки сил. И все же рабочий процесс до поры до времени идет своим чередом: редакторы-составители работают над комментариями и справочным аппаратом к сборнику, Тарасенков реагирует на замечания издательского редактора и вносит изменения и дополнения во вступительную статью. Об этом свидетельствует его переписка с издательством:

Тарасенков — Эльсбергу:

Ув<ажаемый> Яков Ефимович!

Сообщаю Вам мой новый адрес: Гранатный пер. 2 кв. 57.

Очень Вас прошу сообщить этот новый адрес Надежде Григорьевне <Антокольской>[37], а то она зашлет мне гранки моего предисловия (когда они, между прочим, будут?) на старую квартиру и они там могут пропасть.

Крепко жму руку

Ан. Тарасенков[38].

Н.Г. Антокольская — Тарасенкову:

22 декабря <193>4

Уважаемый Анатолий Кузьмич.

Посылаю Вам корректуру статьи к Стихотворениям А. Белого гранки 1–19 с оригиналом. Срок возврата корректуры 26/XII.

Секретарь Редсектора Антокольская[39].

Тарасенков — Антокольской:

Многоуважаемая Над<ежда> Григорьевна!

Возвращаю Вам гранки моей статьи о Белом.

Все недоуменные вопросы корректора мною учтены (сделан ряд исправлений). Кроме этого я вставил несколько фраз и уточнил некоторые формулировки. Очень прошу, чтобы эти мои поправки были обязательно учтены.

Крепко жму руку.

Ан. Тарасенков.
25/XII–34[40].

К началу 1935 г. гранки дошли до П.И. Лебедева-Полянского[41], и это стало началом конца. 25 января Лебедевым-Полянским был написан отзыв, заклеймивший как статью Тарасенкова, так и все биографически-библиографические материалы сборника и фактически приговоривший книгу Белого к небытию.

А. БЕЛЫЙ. Собрание стих<отворений>.
ОТЗЫВ

Это – страшная книга. В ней 1263 стр<аницы> + 48 стр<аницы> вступительной статьи + Автобиография А. Белого. Стихи А. Белого занимают 743 страницы, остальное (577) страниц вспомогательный материал[42].

Книгу эту *издавать не следует*, а в данном виде тем более. Если «Academia» [не] остановится перед производственными затратами, то следует *заменить* «Вступительную статью» А. Тарасенкова; совершенно *изъять*: Летопись жизни и творчества А. Белого, – Список периодических изданий и сборников, в которых участвовал А. Белый, – Библиографию произведений А. Белого, – и м<ожет> б<ыть> Алфавитный указатель. *Примечания* следует *значительно сократить*.

Книга в том виде, как она представлена, очевидно, предназначается для *весьма узкого* круга читателей. Для тех, кто просто захотел бы познакомиться с поэзией А. Белого, данный фолиант не нужен. Этот кирпич просто тяжело носить и держать в руках и цена этого кирпича будет непременно довольно высокая.

1) *Статья А. Тарасенкова не дает ни общественного, ни политического облика Белого.* Анализ поэтического материала автору не под силу, он даже не в силах сколько-нибудь подойти к нему. Общественный облик Белого не разработан, донельзя общ, тускл, сер, неинтересен. И совершенно ничего не дает читателю, для которого предназначена книга. Да и написана статья скучно, без достаточного знания А. Белого и истории русского символизма. Вся статья – пересказ стихов сборника, пересыпанный весьма общими, всем известными характеристиками отдельных книг А. Белого.

2) «Летопись жизни и творчества А. Белого» не следует так рано после смерти выпускать. Со дня смерти едва-едва прошел год. Написана «Летопись» так, что нуждается в очень сильной редакционной работе. Есть ряд серьезных опущений как из жизни в СССР, так и за границей. Ряд событий из жизни А. Белого рассказан наполовину. Политическая сторона жизни А. Белого не вскрыта и даже затушевана. «Летопись» написана не вполне объективно. *Печатать в таком виде совершенно нельзя.*

3) в «Списке периодических изданий, в которых участвовал А. Белый» *пропущены белоэмигрантские* издания, в которых сотрудничал поэт[43]. Эти пропуски, учитывая характер «Летописи», надо признать не случайными.

4) То же самое следует сказать и о «Библиографии 1916–1934 г.» Составитель ссылается на отсутствие зарубежных газет в московских библиотеках. Мне точно известно, что они есть.

Если «Academia» будет издавать книгу, то выпустить книгу в таком виде: Вступительная статья (обязательно новая) и стихи. *Меня как редактора прошу не помечать.*

25/I–35. Лебедев-Полянский[44].

Работа над сборником не была остановлена сразу, но ход и характер ее изменился. Вступительная статья Тарасенкова подверглась редактуре, но все же была включена в сборник. Остались также «Список периодических изданий и сборников, в которых участвовал А. Белый», «Библиография произведений А. Белого» и «Алфавитный указатель». Примечания, занимавшие в машинописи 247 страниц, вошли с сокращениями, заняли примерно четверть тома (183 страницы). Но полностью была изъята из верстки «Летопись жизни и творчества А. Белого», до сих пор так и не опубликованная полностью.

Из директив издательства:

27 января 1935:

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР

Во изменение ранее данных указаний, издание А. БЕЛОГО можно верстать лишь начиная с текста. Статьи (Тарасенкова и редакторскую) просим задержать версткой, и вернуть нам гранки. Они пойдут с римской пагинацией.

Зам. Руководителя Редсектора (Я. Эльсберг).
Секретарь (Антокольская).

9 февраля 1935:

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР

Набор «Летописи жизни и творчества А. Белого» необходимо приостановить. Таким образом непосредственно вслед за комментарием должна набираться Библиография. Оригинал «Летописи» просим вернуть нам.

Зам. Руководителя Редсектора (Я. Эльсберг[45]).
Секретарь (Антокольская).

20 февраля 1935:

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР

По указанию ГЛАВЛИТа впредь до особенного распоряжения подпись к печати листов 4–15 БЕЛОГО настоящим аннулируется.

Зам. Зав. Издательством (Беус[46]).

1 апреля 1935:

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР

Сообщаем, что книгу БЕЛОГО нужно матрицировать. Статья пойдет с римской пагинацией. Просьба дать на подпись к матрицированию всю верстку.

Зам. Руков. Редсектора (Эльсберг).
Секретарь (Гордеева[47]).

И, наконец, без даты:

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР

Просим матрицирование кн<иги> БЕЛОГО приостановить, гранки срочно сдать в Редсектор.

Зам. Руков. Редсектора (Эльсберг)[48].

Еще 27 марта Эльсберг сообщил Тарасенкову, что «Белый находится на просмотре у т. Янсона», сменившего Каменева на посту заведующего издательством «Academia»[49]. В итоге «просмотра» судьба сборника кардинально изменилась: 5 мая 1935 г. издательство «Academia» направило официальное письмо за № 212 директору Гослитиздата Н.Н. Накорякову[50]:

Уважаемый Николай Никандрович!

В дополнение к устным переговорам, просим Вас принять от Издательства «Academia» в ваше Издательство издание сочинений А. БЕЛОГО. При просмотре издательского плана «Academia» в КУЛЬТПРОПЕ ЦК у тов. КИРПОТИНА[51], последним было указано, что издавать стихи БЕЛОГО в «Academia» не целесообраз-

но, т.к. автор не может быть отнесен к кругу классиков. Вместе с тем тов. Кирпотин указал, что КУЛЬТПРОП ЦК не будет возражать против издания стихов БЕЛОГО в ГОСЛИТИЗДАТЕ.

В соответствии с этим просим Вас принять от нас это издание, возместив нам производственные расходы.

С товарищеским приветом

Зав. издательством (Я. Янсон)[52].

15 мая рукопись была передана в Гослитиздат с сопроводительным письмом:

Тов. Беспалову[53].

В связи с направлением Вам рукописи БЕЛОГО сообщаем, что после отзыва П.И. Лебедева-Полянского, была переработана статья тов. Тарасенкова и изъята Летопись жизни Белого.

Зам. Руков. Редсектора (Эльсберг).
Секретарь (Гордеева)[54].

Ни в издательстве «Academia», ни в Государственном литературном издательстве почти полностью подготовленный к печати сборник стихотворений Андрея Белого так и не был издан.

Его типографская верстка сохранилась в фонде Белого в отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге[55]. На обложке сверху написано рукой К.Н. Бугаевой: «Верстка стихов 1934 года. Полный экземпляр», на листах верстки стоят штампы: «Корректура / Тип<ография> “Красный пролетарий”». Первый корректорский штамп датирован 28 января 1935 г., последний штамп проставлен 20 июня 1935 г.

На первом развороте приведены сведения об издании:

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА Под общей редакцией А.Н. Тихонова **АНДРЕЙ БЕЛЫЙ** 1880–1935	АНДРЕЙ БЕЛЫЙ **СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ** *Подготовка текста и комментарии К.Н. Бугаевой, П.Н. Зайцева и А.С. Петровского Ст. Ан. Тарасенкова*
ACADEMIA Москва – Ленинград	ACADEMIA 1935

Нельзя не заметить вкравшуюся ошибку: в датах жизни писателя указан год смерти ошибочно – 1935. Это год планируемого выхода книги в свет.

Таким образом, посмертный сборник стихотворений Андрея Белого издательством «Academia» планировался к выходу в свет в 1935 г. в серии «Русская литература», издающейся под общей редакцией А.Н. Тихонова. В редакционную группу вошли К.Н. Бугаева, П.Н. Зайцев и А.С. Петровский. Кроме них, значительную работу по составлению библиографии творчества Белого проделал библиограф и друг Белого Д.М. Пинес (к тому времени арестованный, а после – расстрелянный), чья роль была особо отмечена в редакционной статье: «в основу печатаемой библиографии положены материалы, полученные от Д.М. Пинеса, которому редакция приносит свою глубокую благодарность»[56].

Оформление книги – суперобложка и переплет – должен был выполнить художник Н.В. Кузьмин, о чем свидетельствует указание на обороте титульного листа, а также «предварительный расчет расходов по книге», сохранившийся в издательских документах: художнику Кузьмину за «переплет и супер» полагалось вознаграждение в 600 рублей[57]. Среди материалов к сборнику стихотворений 1935 г. нет никаких следов работы Кузьмина над этой книгой. Но в фонде хорошо с ним знакомого литературоведа Н.С. Ашукина[58] в РГАЛИ имеется эскиз обложки к сборнику стихотворений Андрея Белого, автором эскиза в описи числится Н.В. Кузьмин, датирован он предположительно «после 1924 г.»[59]. Вероятнее всего, датировка ошибочна и эскиз относится к сборнику Белого 1935 г., поскольку первое и единственное при жизни Белого его сотрудничество с Кузьминым состоялось в 1932 г., когда художник иллюстрировал роман «Маски».

Сборник открывается литературно-критическим обзором «Поэзия Андрея Белого», написанным А.К. Тарасенковым, вступительной статьей «От редакции» и «Автобиографией» Андрея Белого. Основной корпус книги составляет собственно «Собрание стихотворений» с объемным разделом «Примечания», завершают том справочные материалы: «Список периодических изданий и сборников, в которых участвовал Андрей Белый», «Библиография произведений Андрея Белого», указатели алфавитный и иллюстраций.

Среди подготовительных материалов сборника в фонде писателя в отделе рукописей РНБ сохранились редакционная статья (со значительной авторской правкой и изменениями, частично учтенными в верстке), примечания и комментарии к стихотворениям (со вставками К.Н. Бугаевой, вошедшими в верстку), алфавитный указатель, перечень иллюстраций и оглавление[60]. Статьи Тарасенкова среди этих материалов нет, но она была обнаружена нами в РГАЛИ, причем в двух редакциях: в фонде издательства «Academia»[61] и в фонде А.К. Тарасенкова[62]. Это две машинописи, имеющие правку и некоторые разночтения. Правка внесена Тарасенковым чернилами поверх машинописного текста, при этом содержание правки в обеих машинописях по большей части совпадает, но имеются и отличия, порой значительные. Некоторые из этих поправок учтены в верстке сборника, но немалая часть в верстку не попала.

В обе машинописи (из фонда издательства и из фонда Тарасенкова) вставлено по восемь листов, отличающихся от общего массива как форматом бумаги, так и шрифтом. Эти вставки – свидетельство попытки Тарасенкова политически «улучшить» статью, следуя указаниям редакции, дать критическую оценку символизму как буржуазному течению, а заодно и самой российской буржуазии, не способной «породить художников жизнеутверждающего реалистического склада». Главный вывод вставного фрагмента оказался таков: «Тесный союз русской буржуазии с

крепостниками-феодалами – вот основное, что определяло собой политическую физиономию буржуазного искусства этого времени...». Несмотря на то что для большей убедительности здесь привлекаются цитаты из сочинений Ленина, текст не был включен в верстку статьи. То ли обличительный пафос не показался достаточно убедительным для цензоров, то ли работа над книгой уже была к тому времени приостановлена.

Тарасенков, искренне чтивший Андрея Белого и, по-видимому, вначале стремившийся написать объективную аналитическую статью о творчестве поэта, оказался вынужденным стать автором критической статьи, выдержанной, в конечном счете, в духе каменевских предисловий к «Началу века» и «Мастерству Гоголя». Итоги творческого пути писателя были оценены таким образом:

> Но Андрею Белому последних лет не хватало многого – и прежде всего овладения теорией революционного марксизма, включения в созидательную практику пролетариата. Андрей Белый остался типом старого кабинетного ученого, художника и мыслителя. На окончательный разрыв со своим прошлым у него не хватило сил. В искренности его советских настроений за последние годы не может быть сомнений. Но какая-то странная аберрация ослепляла Андрея Белого: ему все еще до последних лет жизни включительно (а умер он в январе 1934 года после победоносного окончания первой пятилетки) все еще казалось, что символизм – литературно-общественное течение, которому он отдал лучшие годы своей жизни, отдал массу сил и энергии, – был в какой-то мере «революционным» по отношению к породившему его буржуазно-дворянскому строю царской России. Это было роковым заблуждением большого художника, не сумевшего объективно подойти к своей собственной деятельности на прежних исторических этапах. Андрей Белый пробовал искать новую художественную форму, выработать новый литературный язык в своих романах. Но та нарочитая усложненность виртуоза, которая с таким техническим блеском развернута, например, в романе «Москва», объективно мешала ему создать правдивые и ясные произведения. Круг читателей Андрея Белого постепенно сужался. Это было большой и мучительной трагедией писателя, не сумевшего найти выхода в большой литературный стиль эпохи – социалистический реализм.
>
> Поэзия Андрея Белого, не уступающая по силе своей художественной выразительности его прозе, тем не менее, несомненное явление социального ущерба, декаданса. Но современный читатель не может пройти мимо нее, – чересчур большую культурную ценность представляет блестящая стихотворная техника Андрея Белого, чересчур яркую и впечатляющую картину дореволюционной России – и в особенности духовного облика ее интеллигенции – дает она. Эта поэзия в целом чужда по своему стилю и настроениям социалистической культуре. Задача наших критиков и исследователей выяснить, какие ее стороны возможно критически использовать и усвоить. Но ясно, что эту поэзию нельзя просто зачеркнуть и забыть. Ее надо тщательно, но критически изучать[63].

Обзорная статья А.К. Тарасенкова «Поэзия Андрея Белого», написанная для посмертного сборника стихотворений Белого, не была напечатана при жизни автора.

В 1956 г., уже после смерти Тарасенкова, она – в новой, измененной редакции – вошла в сборник его критических статей «Поэты» наряду со статьями о Маяковском, Твардовском, Исаковском, Н. Тихонове, К. Симонове, В. Инбер, Л. Первомайском, А. Блоке и И. Бунине[64]. Этот, опубликованный вариант статьи содержит серьезные разночтения по сравнению с версткой сборника 1935 г.: в него не вошли резкие идеологические оценки личности и творчества Белого.

Статья «От редакции», написанная К.Н. Бугаевой, П.Н. Зайцевым и А.С. Петровским[65], объясняла читателям большое культурное значение подготовленного сборника стихов Белого:

> Посмертное «Собрание стихотворений» Андрея Белого, выпускаемое ныне издательством «Academia», является первым собранием, с возможной полнотой представляющим его поэтическое творчество.
>
> Издание стихов Андрея Белого испытало примечательную в своем роде судьбу. В отличие от его современников – Брюсова, Блока и других символистов, стихи которых не раз переиздавались еще при их жизни в отдельных изданиях или полных собраниях, – сборники стихов Андрея Белого, за единичными исключениями, не перепечатывались вовсе, хотя автор неоднократно, в ряде лет, перерабатывал и готовил их для разных издательств.
>
> Впервые мысль о таком издании возникла еще в 1911–1912 годах, когда книгоиздательство «Мусагет», где Андрей Белый был одним из главных редакторов, намечало выпустить его стихи отдельным собранием. Но автор, занятый другими работами, не успел приготовить их к печати, и издание не осуществилось <...>[66].
>
> Стихи А. Белого – редкое явление на книжном рынке. Его первые сборники – библиографическая редкость. Сборник 1923 года вышел за границей. В СССР поступила небольшая часть тиража, и книга быстро разошлась.
>
> Значительное поэтическое наследство писателя мало доступно для читательских кругов. Новому читателю Андрей Белый известен больше как автор романов «Москва», «Петербург», «Серебряный голубь», известен как мемуарист, стиховед и исследователь литературы. Многообразная творческая личность Андрея Белого – прозаика, мыслителя и исследователя литературы – заслонила в сознании читателей образ крупнейшего поэта эпохи символизма и замечательного мастера стиха.
>
> Не будет ошибкой сказать, что новому читателю Андрей Белый как поэт почти не известен.
>
> Задача настоящего издания – открыть новым читательским кругам Андрея Белого как поэта, дать достаточно полный и точно выверенный текст и в пределах одного тома представить облик поэта во всем многообразии его творческих путей – от юношеских стихов «Золота в лазури» до поздних стихов редакции «Пепла» 1929 года[67].

На стадии верстки редакционная статья также подверглась правке: были исключены некоторые места, внесены незначительные стилистические изменения[68].

«Автобиография» Андрея Белого для посмертного сборника поэзии составлена из двух частей, взятых из двух различных источников.

Первая часть – из автобиографии Белого 1929 г., написанной им «для действовавшей в то время при Академии наук СССР комиссии “Научные учреждения и

научные работники СССР"»[69]. В ней «Белый намеренно выдвигает на первый план именно "научные" аспекты своего становления и творческой деятельности <...>»[70]. Безусловно, «научный аспект» не опубликованной тогда биографии писателя привлекал и редакцию посмертного сборника. Вероятно, имел значение для составителей сборника и следующий аргумент: «Краткая сводка автобиографических данных, выдержанных, главным образом, в свете научных интересов Белого и помещенных к тому же в справочнике Академии наук, могла служить <...> своего рода "прикрытием" в случае новых гонений или нападок на него в официальной советской печати»[71]. Правда, гонителей, как мы знаем, это не остановило.

Вторая часть «Автобиографии» – из автобиографии, написанной 12 ноября 1932 г. по предложению издательства «Федерация» для невышедшего сборника «Сто портретов советских писателей»[72].

Сам сборник состоит из девяти частей, в свою очередь, поделенных на разделы[73]. Шесть частей сборника представляют собой в той или иной степени переработанные разделы берлинского сборника стихотворений 1923 г., что согласуется с взятым за основу сборника «Планом 1925 г.». Седьмая – это поэма «Первое свидание»[74]. Восьмая – «Дополнения к сборникам стихов» «Золото в лазури», «Пепел» и «Урна», стихотворные отрывки из прозаических произведений и «Стихотворения, не вошедшие в сборники».

За стихотворениями следует обширный раздел «Примечания», в котором приводятся сведения о первой публикации произведений, о републикациях, истории создания, варианты и редакции.

После «Примечаний» помещены справочно-библиографические материалы: «Список периодических изданий и сборников, в которых участвовал Андрей Белый» и «Библиография произведений Андрея Белого»[75]. Конечно, эти списки не являются исчерпывающими. Их неполноту Лебедев-Полянский расценивал как намеренно «не случайную». Похоже, цензор был не совсем несправедлив. Понятно, что наличие «белоэмигрантских изданий» в библиографических списках автора вряд ли бы встретило одобрительную оценку марксистской критики, тем не менее ряд зарубежных изданий с публикациями Белого был назван («Голос России», Берлин, 1922; «Знамя», Берлин, 1921–1922; «Современные записки», Париж, 1923; «Новая русская книга». Берлин, 1922; и др.).

Завершают книгу алфавитный указатель и список иллюстраций, содержание которого оставалось постоянным. Идея «составить альбом снимков памяти»[76] Белого обсуждалась друзьями К.Н. Бугаевой со дня его похорон. Выбор же иллюстраций, по-видимому, определялся в первую очередь наличием фотоматериалов в личном архиве Клавдии Николаевны. Было отобрано восемь фотографий Белого разных периодов жизни, начиная с детства и до последнего десятилетия. Затем две фотографии имения Бугаевых Серебряный Колодезь[77], связанных с началом творческой биографии поэта. Из портретов Андрея Белого были отобраны два – Остроумовой-Лебедевой (1924) и Петрова-Водкина (1932). Именно эти портреты вдова признавала наиболее удачными[78]. Также предполагалось воспроизведение двух автографов – из книг «Пепел» и «Звезда»[79].

Подготовленная К.Н. Бугаевой «Летопись жизни и творчества Андрея Белого»[80] в верстку книги не попала. Возможно, исключили ее не только по рекомендации Лебедева-Полянского, но и из-за ее немалого объема – 180 машинописных

страниц. Однако и без «Летописи...» сборник вышел весьма увесистый (около 800 стр.).

Стоит добавить, что, завершая редакционную статью, составители «Собрания стихотворений» Андрея Белого выражали признательность тем, кто сочувствовал и помогал в подготовке сборника к изданию. Нам также представляется необходимым к этим словам присоединиться:

> Редакция приносит благодарность: Н.С. Ашукину, М.Д. Бекетовой, Л.Д. Блок, И.М. Брюсовой, Н.И. Гаген-Торн, Р.В. Иванову, Е.Н. Кезельман, Н.П. Киселеву, А.М. Кожебаткину, М.Я. Козыреву, М.М. Кореневу, И.Ф. Масанову, Н.Г. Машковцеву, В.О. Нилендеру, Б.Л. Пастернаку, Р.Я. Пинес, И.Н. Розанову, С.С. Розанову, Г.А. Санникову, С.Д. Спасскому, И.Н. и Б.В. Томашевским, А.М. Чачикову, Е.И. Шамурину[81], оказавшим ей содействие в ее работе советами, справками и предоставлением рукописей и печатных материалов[82].

ПРИЛОЖЕНИЕ

Андрей Белый

Автобиография
(из посмертного «Собрания стихотворений» 1935 г.)[83]

Борис Николаевич Бугаев (литературный псевдоним «Андрей Белый») родился в 1880 году, 26 октября нового стиля; мать – Александра Дмитриевна, урожденная Егорова; отец – профессор математики и декан физико-математического факультета Московского университета Николай Васильевич Бугаев, автор многих специальных работ в области аритмологии и математического анализа, член чешской Академии Наук и член-корреспондент русской Академии, председатель Математического общества в Москве и многолетний редактор «Математического сборника».

Среда юности, отрочества и детства – университетская; крестная мать – вдова профессора химии, Николая Эрастовича Лясковского[84]; крестный отец – профессор Сергей Алексеевич Усов[85], друг отца, путешественника Северцева[86], писателя Писемского[87]; в первые годы детства часто видал покойного академика И.И. Янжула[88], нашего соседа по квартире, М.М. Ковалевского[89], профессора Н.И. Стороженко, в доме которого бывал постоянно с четырехлетнего возраста (друг детей Н.И.)[90] до самой смерти Стороженко; ряд профессоров эпохи восьмидесятых-девяностых годов прошел перед моими глазами; и я отцом с детства был посвящен, так сказать, «точной науке». Отец воспитывал ребенка в духе позитивизма; мать привила с детства любовь к музыке, а гувернантка-немка чтением мне стихов Уланда, Гете и Эйхендорфа привила любовь к поэзии; с немецкой поэзией и с немецкой музыкой (Шуман, Шуберт, Бетховен) я познакомился прежде, чем с русскими классиками[91].

Художественная линия матери и строго научная отца с ранних лет сказались, как раздвоение ребенка; я переживал эстетику и фантастику, как замкнутый в себе мир; и так же переживал научные объяснения отца; увлечения поэзией и естествоз-

нанием перебивают друг друга; четырехлетний я увлекаюсь зоологическим атласом; мне читают вслух зоологию Поля Бера[92]; с десяти до двенадцати длится страстное увлечение естествознанием; я читаю Кайгородова, М. Богданова, Диксона («Перелетные птицы»)[93] и мечтаю стать естественником; одновременно: Диккенс и Гоголь поражают мое воображение.

В 1891 году я поступил в первый класс частной гимназии Л.И. Поливанова[94]; Поливанов становится огромным авторитетом; с первого до восьмого класса гимназии длится восторг мой перед удивительным педагогическим талантом Льва Ивановича Поливанова; он открывает мне тайны грамматики; научает любить Жуковского, Пушкина; и поднимает в душе культ Шекспира и Шиллера; одно время, под влиянием того же Поливанова, я увлекся поэтикой Аристотеля; учение о драме последнего одно время я знал наизусть.

В гимназии я учусь хорошо только первые годы; потом главная учеба — не гимназия, а чтение на стороне; к урокам я отношусь с полной рассеянностью, но много читаю дома; под влиянием отца читаю «Историю философии» Льюиса, а в старших классах «Логику» Милля и «Историю индуктивных наук» Уэвеля[95]; но личные мои философские интересы влекут меня от позитивизма к немецкому идеализму; я изучаю эстетику Шиллера, Гегеля и, главным образом, Шопенгауэра, философская система которого меня волнует в юности; в восьмом классе читаю «Критику чистого разума», но понимаю едва ее.

С седьмого класса гимназии во мне пробуждается огромный интерес к художественной литературе; но и модернистов и классиков читаю одновременно; так: период знакомства с Толстым и Достоевским есть период увлечения Ибсеном, Гауптманом, Зудерманом, а потом и Метерлинком и французскими символистами; а увлечение живописью начинается прямо с левейших течений; мое художественное развитие идет, так сказать, вспять: гимназистом я увлекаюсь французскими импрессионистами, Россетти, Врубелем; потом увлекаюсь итальянским примитивом; позднее старогерманской живописью; и лишь зрелым мужем прихожу к Микель-Анджело и к Рафаэлю. Странно совмещаю я одновременное чтение Рёскина и Белинского.

До личного знакомства с тогдашними «символистами» (Брюсова я помню хорошо гимназистом-поливановцем; когда я был в младших классах, он нашу гимназию кончал), с седьмого класса гимназии я сам прихожу к символизму; символизм мне является конкретным синтезом двух меня разрывающих линий: моей тезы (мир науки) и моей антитезы (мир фантастики); в символизме ищу я сомкнуть ножницы двух линий жизни, двух противоречивых устремлений.

Поддержку своим художественным стремлениям я нахожу в квартире Михаила Сергеевича Соловьева, сына историка; он, его жена, О.М. Соловьева, сильно влияют на меня, расширяя мой кругозор; через Соловьева я заинтересовываюсь всем новым; с сыном Михаила Сергеевича, Сергеем Михайловичем (внуком историка) я дружу: в доме у Соловьевых встречаюсь с философом Владимиром Соловьевым[96], профессором Сергеем Николаевичем Трубецким[97], В.Я. Брюсовым, Д.С. Мережковским, поэтессой Allegro[98]; у Соловьевых я узнаю о Блоке, еще гимназисте, дальнем родственнике С.М. Соловьева (через мать)[99].

М.С. и О.М. Соловьевы остаются мне и старшими друзьями и руководителями моих эстетических стремлений до самой смерти (в 1903 году): им я, еще гимназис-

том, читаю свои первые стихотворные опыты; они позднее одобряют мои юношеские «Симфонии»; даже М.С. Соловьев печатает под фирмой «Скорпион» мою «Симфонию» (2-ю, драматическую).

В 1899 году я кончаю гимназию Поливанова и поступаю на естественное отделение физико-математического факультета, который кончаю в 1903 году; я слушаю лекции профессоров: Н.А. Умова (физика), Сабанеева, А.Н. Реформатского, Н.Д. Зелинского (химия), Вернадского (минералогия и кристаллография), Зографа, Мензбира, Тихомирова (зоология), Анучина (антропология и этнография), А.П. Павлова (геология и палеонтология), Лейста (минералогия), Виноградова (аналитическая геометрия), Карузина (анатомия), Горожанкина, Голенкина, Тимирязева (ботаника), Мороховца (физиология)[100].

Сначала я увлекаюсь зоологией простейших и некоторое время работаю у профессора Зографа; потом главный предмет занятий – химическая лаборатория (качественный, количественный анализ, органическая химия); но кандидатское сочинение пишу проф. Д.Н. Анучину (тема «Об оврагах»)[101].

За время прохождения курса естественных наук окончательно определяется мой интерес к философии и к эстетике; и я решаю поступить на филологический факультет.

За это время, в связи с философией естествознания, читаю: Дарвина, Геккеля, Ферворна, Катрфажа, Делажа, Оствальда, Гельмгольца, Вундта и т.д.; и занимаюсь философией: (Вундт, Геффдинг, Гартман, Кант, Лейбниц, Гербарт, Вл. Соловьев, Спенсер, Ницше)[102]. Слежу за всеми журналами, особенно интересуюсь группой писателей «Мира искусства», «Скорпиона», «Нового пути» (читаю Мережковского, Волынского, Минского, Розанова, Шестова, «Проблемы идеализма» и т.д.); с 1901 года знакомлюсь с Брюсовым, Бальмонтом, Гиппиус, Перцовым, Мережковским и т.д.

В 1903 году умирает мой отец, умирают М.С. и О.М. Соловьевы. Я кончаю университет. В 1902 году выходит первая моя книга «Симфония»; я начинаю сотрудничать в журналах «Новый путь», «Мир искусства». С 1903 года начинается усиленная переписка с А.А. Блоком, с которым встречаюсь в 1904 году.

С 1904 года и кончая 1909-м, принимаю деятельное участие в журнале «Весы»; сперва, как постоянный сотрудник, потом, как член редакционной коллегии и, наконец, как заведующий отделом теоретических статей (с 1909 г.); принимаю деятельное участие в организации московского Религиозно-философского общества, О<бщест>ва свободной эстетики и ряда других обществ; с 1907 до 1910 года состою членом совета О<бщест>ва свободной эстетики; с 1908 года – член Общества любителей российской словесности; с 1909 года – член петербургского Общества ревнителей художественного слова.

За этот период определяется круг изучаемых философов (методология, теоретические знания – Риккерт, Кант, Когэн, Риль[103] и т.д.); сближаюсь с кружком молодых философов (Фохт, Шпет, Степун, Яковенко, Гессен[104]); читаю много публичных лекций; поддерживаю живое общение с группой писателей, организующихся около кн<игоиздательст>ва «Путь» (М.О. Гершензон, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Е.Н. Трубецкой и т.д.).

С 1909 до 1913 года член совета и один из редакторов кн<игоиздательст>ва «Мусагет», а также редактор журнала «Труды и дни» (с 1912 до 1913 года); с 1908 до 1912 года усиленно работаю в сфере стиховедения и руковожу ритмическим

кружком, сгруппированным при кн<игоиздательст>ве «Мусагет». <С> 1905 до 1908 изучаю социологическую литературу (Маркс, Меринг, Каутский, Зомбарт, Штаммлер, Форлендер, Бебель[105] и т.д.).

С 1909 года изучаю литературу «мистиков» и много читаю книг по «теософии» (Блаватская, Шюре, Штейнер, Мид, Безант[106] и т.д.).

С 1912 до конца 1916 года живу за границей (в Мюнхене, Штуттгарте, Берлине, Христиании, Базеле, в Дорнахе и т.д.); принимаю участие в постройке «Гетеанума» (Высшая школа духовных наук), строимого около Базеля.

К моменту Октябрьской революции меня занимали моральные и социальные кризисы буржуазной культуры. Резкое отрицание войны вызвало сочувствие к социальной революции; двойственность политики временного правительства с мая 1917 года определила сочувствие программе Ленина; Октябрьская революция отразилась переменой фронта культурной работы.

К 1910 году, разочарованный в буржуазной Москве, я прекратил чтение лекций; в 1912 году и вовсе уехал из России (до конца 1916 г.); с Октябрьской революции начинается ряд моих лекционных, курсовых и других выступлений, а также интенсивная работа в кружках, которая длится до конца 1921 года (времени отъезда в Берлин по личным делам)[107].

До революции я принципиально удалялся от служб; с революции начинается ряд служб и обязанностей в Пролеткульте (лектор, консультант), в Тео Наркомпроса (заведующий теоретической секцией), во «Дворце искусств» (член совета, член-основатель, заведующий археологическим отделом), в Вольно-философской ассоциации (председатель, член совета, лектор курсов), в организационных заседаниях «Лито»; в «Лито» (лектор), в охране памятников старины (собирание материала по движению коллекций в эпоху французской революции), в разработке программы Института театральных знаний (Ленинград), в ленинградском «Доме искусств» (лектор), в Ленинградском отделе управления (лектор, кратковременно), в библиотеке ленинградского отдела Наркоминдела, в организации Союза поэтов в Ленинграде (1921 г.), в организации Союза писателей, членом правления которого состоял (в 1918 году), и т.д.

Полагая, что писатель революционной эпохи должен работать с массой и поднимать ее культурный уровень, я посвящаю ряд лекций (публичных) проблемам культурной революции и участвую в организации лекций, диспутов и бесед на эту тему, как председатель Вольно-философской ассоциации, за несколько лет до провозглашения лозунга культурной революции. Разработку тем культурной революции переношу я и в берлинский «Дом искусства», членом совета которого состою в 1922–1923 годах.

Но интенсивная лекционная, служебная работа отразилась на уменьшении литературной продукции в первой пятилетке после Октябрьской революции. Вернувшись в СССР в конце 1923 года, я прекращаю лекционную деятельность, желая наверстать пробел в литературной работе; меня мало печатают в эти годы. Причина: несправедливый и крайне резкий по форме разгром моей литературной физиономии Троцким[108], отразившийся на издательствах и той части критики, которая подхватила оценку Троцкого и находилась под влия<нием руко>водителей тогдашнего РАПП'а (группы «напостовцев»).

Тем не менее с 1926 года мне удается печатать отдельные книги.

Я считаю себя до сих пор *писателем в «становлении»*, ибо мой девиз – девиз Гете: *«Кто, постоянно стремясь, двигается, того мы можем освободить»* (Гете); я – не имею готовых форм; до Октября придя к выводу, что буржуазная культура летит в пропасть («Петербург», «Арабески»[109]), с Октябрьской революции я анализирую корни кризисов: социальных и познавательных (серия моих *«Кризисов»*[110]).

До революции моя тематика – гибель буржуазного общества; революция подсказала мне новую тему: себяощущение лучших кадров дореволюционной интеллигенции, пришедших к необходимости революционного сознания, но недоосознавших корней социальной борьбы.

Герой мной задуманной тетралогии, два тома которой уже написаны[111], подсказан мне революцией: это профессор, ученый мирового масштаба, плененный буржуазными предрассудками; в четвертом томе должен явиться новым типом ученого, участвующим в строительстве социализма.

Чем глубже культурная революция, тем шире горизонты, тем более писатель, поднимая читателя до себя, перерабатывается сам ростом запросов, к нему идущих, что не может не изменить *качественно* его стиль; стиль становится живой *интонацией*, взывающей к *произнесению вслух*.

Революция стиля есть результат изменения границ меж формами (поэзией, прозой, лирикой, эпосом и т.д.); в первую очередь революция сказывается на ритме, отражающем динамику трудовых процессов. Жизнь в далеких этапах внеклассового общества ликвидирует «писателя» в старом смысле; его роль в будущем – действовать не пером, а всем существом, строя в себе и других нового *«человека»*, высвобождая в жизнь новые творческие энергии; писатель должен стать искрой к взрыву этих энергий.

Роль писателя в социалистическом будущем неизмеримо больше, чем ныне думают; и потому ему трудно себя заново конкретно переоборудовать «с головы и до ног».

Бережно следует подходить к лаборатории писательского сознания, которое подобно начиненной бомбе; неумелое прикосновение к нему часто ведет к фатальной деформации до... саморазрыва.

Это вытекает из особой сложности процессов, подготовляющих революцию культуры, завершающую социализм.

Андрей Белый.

---

[1] См. его дневник в наст. изд.

[2] См. в наст. изд.

[3] Николай Михайлович Любимов (1912–1992) – переводчик, автор мемуаров, лауреат Государственной премии СССР (1978) за перевод художественной прозы; был репрессирован, в ссылке познакомился и близко сошелся с Д.М. Пинесом, по рекомендации которого по возвращении в Москву познакомился с К.Н. Бугаевой.

[4] *Любимов Н.М.* Неувядаемый цвет: Книга воспоминаний: В 3 т. М., 2004. Т. 2. С. 25.

[5] См. в наст. изд.

[6] *Андрей Белый.* Собрание стихотворений. М.; Л.: Academia, 1935 // ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 40. Л. 62.

[7] См., напр., предисловие Белого к не изданной при его жизни книге стихов «Зовы времен» (*Андрей Белый.* Стихотворения и поэмы: В 2 т. / Вступит. ст., подгот. текста, сост., прим. А.В. Лаврова, Дж. Малмстада. СПб.; М., 2006. Т. 2. С. 168–174).

[8] *Бугаева К.Н.* Воспоминания об Андрее Белом. СПб., 2001. С. 227–248 (глава «Стихи»).

[9] См., напр., «Очерк истории и формирования публикации стихотворных книг Андрея Белого» Дж. Малмстада (*Андрей Белый.* Стихотворения и поэмы. М., 2006. Т. 1. С. 41–73).

[10] См. в наст. изд.

[11] «Ориентировочный план подбора стихов» в рабочей тетради Тарасенкова (РГАЛИ. Ф. 2587. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 3):

«Андрей Белый

Золото в лазури. М., 1904. “Скорпион”. 253 стихотворения с общим количеством (прибл<изительно> в 3300 стр.)

Пепел. СПб., 1909. “Шиповник” = 101 стих. (прибл<изительно> 3700 строк)

– “ “ – 2-е изд. М., 1925. “Никит<инские> субб<отники>”

Урна. М., 1909. “Гриф” 63 стих. (около 2000 строк)

Христос Воскрес. П. 1918. “Алконост” (прибл<изительно> 600 строк)

Королевна и рыцари. П., 1919. “Алконост”. 10 стихов. (прибл<изительно> 750 строк)

Первое свидание. П. 1921. Алконост. (прибл<изительно> 1600 строк)

– « “ – Берл<ин>. 1922. “Слово” [повтор]

Стихи о России. Берл<ин>. 1922. “Эпоха” [повтор «Пепла» и «Звезды»]

После Разлуки. П.-Берл<ин>. 1922. “Эпоха”. 16 стих<отворений> (прибл<изительно> 1200 строк)

Звезда. П. 1922. ГИЗ. 48 стих<отворений> (прибл<изительно> 900 строк)

Стихотворения. Берл<ин>–П., М. 1923. Изд-во З.И. Гржебина [в основном повторяет предшеств<ующие> книги. Новых стихов из него придется не больше 500–600 строк]

3 поэмы, прибл<изительно> 500–550 строк.

Итого прибл<изительно> 14–15000 строк.

Издание полного собр<ания> стихотв<орений> А. Белого должно содержать около 14000 строк стихов из сборников, около 3000 строк стихов вариантов и редакций

{всего 17000 строк 600 стр. текста}

......? ... различных лет. стихов из архива ......

Вступительная статья 2 печ. листа = прибл<изительно> 50 стр.

Биография ½ печ. листа = прибл<изительно>12 стр.

Комментарии 2 печ. листа = прибл<изительно> 50 стр.

Библиография 1 ½ печ. листа = прибл<изительно> 38 стр.

Итого 750 стр».

В той же папке, названной «Работа над Андреем Белым. 1934 год», вместе с подготовительными материалами к статье предполагавшегося сборника вложен некролог из «Правды» от 11 января 1934 г. – видимо, в качестве идеологической инструкции.

[12] *Тарасенков А.* Пастернак. Черновые записи. 1930–1939 // Воспоминания о Б. Пастернаке / Сост., подгот. текста, коммент. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. М., 1993. С. 151–152.

[13] Там же.

[14] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 40. Л. 26.

[15] План издания тома стихотворений 1925 г. см.: Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. Т. 2. С. 564–565. Оригинал находится в ОР РНБ (Ф. 60. Ед. хр. 29).

[16] *Андрей Белый.* Стихотворения. Берлин; Пб.; М.: Изд-во З.И. Гржебина, 1923.

[17] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 40. Л. 25–31.

[18] *Андрей Белый.* Стихотворения и поэмы. Т. 2. С. 564.

[19] См. в наст. изд.

[20] См.: *Андрей Белый.* Стихотворения и поэмы. Т. 1. С. 68; см. также: Т. 2. С. 564–565.

[21] Там же. Т. 2. С. 565.

[22] См. дневниковые записи П.Н. Зайцева в наст. изд.

[23] См. в наст. изд.

[24] См. в наст. изд.

[25] Письмо к Б.В. и И.Н. Томашевским от 22 февраля 1934 г. См. в наст. изд.

[26] Письмо к Е.В. Невейновой от 17 февраля 1934 г. См. в наст. изд.

[27] Мемориальная квартира Андрея Белого. Александр Николаевич Тихонов (псевдоним Серебров; 1880–1956) – писатель, издательский работник (работал в издательстве «Федерация»; заведовал издательством «Всемирная литература» и т.п.); с 1929 г. главный редактор издательства «Academia».

[28] Мемориальная квартира Андрея Белого.

[29] Мемориальная квартира Андрея Белого. В фонде издательства в РГАЛИ (Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 2) сохранился еще один финансовый документ: «Предварительный расчет. Расходы по книге “Стихотворения Андрея Белого”»:

«По договору – дог. № 113 от 34 г.

Бугаевой, как наследнице, 30 л. по 600 р. 18000. – 60% – 10800 р.

По договору дог. № 114 от 34 г.

Бугаевой, Зайцеву и Петровскому

Подбор и подгот. текста 30 л. по 100. –	3000. –
Комментарии 9 л. по 640. –	5760. –
Статья 1,5 л. по 480. –	720. –
	9480. – 60% 5688. –
	Кузьмину, художн<ику>.
Переплет	250. –
Супер	350. –– 100% 600. –
	Документ<альный> материал
Тарасенкову 100%	66. –
Статья 2,2 по 400. – 100%	880. –
Редакция (серийная, аппаратная и литературная)	1230. –
Вычитка и корректура	600. –
Переписка на машинке	900. –
Итого:	20.764.–

Ст. бухгалтер (Степанов)».

[30] Частное собрание.

[31] РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 22. 29 л.

[32] РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 1.

[33] См. о нем в прим. к дневниковым записям П.Н. Зайцева в наст. изд.

[34] «В “На ... посту” вышла статья Э<льсберга> о Б.Н.: очень, очень приемлемая. Ни одного “хе-хе”, тон серьезный, написана дельно. Мне такой суховатый, “научный” подход говорит больше, чем “симпатизирующие”, но жидковатые излиянья Воронского. И как ни

парадоксально, но в статье Э<льсберга> понимания “Белого” в известном разрезе больше. Цитаты приведены очень умно. А сравнение, например, образа Мандро и Лизаши с Катериной и Колдуном в “Страшной мести” – даже поразило <…>» (*Бугаева* (*Васильева*) *К.Н.* Дневник 1929 года / Предисл., подгот. текста и прим. Е.В. Наседкиной // Лица: Биографический альманах. Т. 9 / Ред.-сост. М.М. Павлова и А.В. Лавров. СПб.: Феникс, 2002. С. 187).

[35] РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 4.

[36] Там же. Л. 9.

[37] Надежда Григорьевна Антокольская (1900–1985) – секретарь издательства «Academia», художница, сестра поэта П.Г. Антокольского (личным секретарем Л.Б. Каменева в издательстве была Л.А. Фейгина, см.: *Крылов В.В., Кичатова Е.В., Попов В.А.* Издательство «Academia». Люди и книги. 1921–1938–1991. М., 2004. С. 67). Н.И. Гаген-Торн описывает встречу с ней в тюрьме: «Из <…> провалов памяти блестят тревожные темные глаза Надежды Григорьевны Антокольской, видятся ее крепко сжимающие друг друга ладони. Фамилия ли остановила внимание (внучатая племянница скульптора и сестра поэта Павла Антокольского) или уж очень интеллигентски знакомы были интонации ее голоса? <…> Меньше всего она подходила для тюрьмы. Увидеть бы ее в издательстве, приветливо разговаривающей с авторами, несущей корректуру; на концерте бы увидеть с гладко зачесанной, серебрящейся в темных волосах сединой или за чайным столом под низкой лампой – было бы так естественно и знакомо. <…>. Вина ее была в том, что она работала в свое время в издательстве секретарем у Каменева, а когда его арестовали и все отвернулись – приютила его семилетнего ребенка, пока не нашлись родные. После многих лет – наступила за это расплата. Ее допрашивали, выпытывали о связях с Каменевым, обвиняли в пособничестве врагу народа. Она возвращалась с допросов ошеломленная, не с испугом даже – с недоумением: “Что это значит? Что будет дальше со всеми нами?”» (*Гаген-Торн Н.И.* Memoria / Сост., предисл., послесл. и прим. Г.Ю. Гаген-Торн. М., 1994. С. 104–105).

[38] РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 5.

[39] Там же. Л. 6.

[40] Там же. Л. 7.

[41] Павел Иванович Лебедев-Полянский (наст. фамилия Лебедев; 1881–1948) – критик, издательский работник; в 1917–1919 гг. правительственный комиссар литературно-издательского отдела Наркомпроса, с 1922 по 1931 г. заведующий Главлитом; с 1934 г. занимал пост заведующего сектором русских классиков в Гослитиздате.

[42] В издательской корректуре-верстке стихотворения занимают стр. 71–541 (ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 40. Л. 36–306); на стр. 7–48 (Л. 4–24 об.) – статья А.К. Тарасенкова; на стр. 49–61 (Л. 25–31) – статья «От редакции»; на стр. 63–70 (Л. 32–35 об.) – автобиография Белого; из «вспомогательного материала» вошла только часть: примечания – на стр. 542–724 (Л. 306 об. – 397 об.), библиографические списки и указатели – на стр. 725–775 (Л. 398–423).

[43] В корректуре указаны зарубежные издания: «Wiadomosci Literackie» (Warszawa, 1933), «Голос России» (Берлин, 1922), «Die Drei» Monatsschrift (Stuttgart, 1922), «Знамя». Временник <литературы и политики> (Берлин: изд-во «Скифы», 1921–1922), «Современные записки» (Париж, 1923), «Струги» (Берлин: изд-во «Манфред», 1923), «Эпопея». Литературный ежемесячник под ред. Андрея Белого (М.; Берлин: кн-во «Геликон», 1922–1923).

[44] РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 11–11 об.

[45] Там же. Л. 12, 14.

[46] Григорий Яковлевич Беус (1889–1938) – публицист и редактор; в 1920-е сотрудничал с журналом «Красный библиотекарь»; в 1936 г. направлен ЦК ВКП(б) в Казань (член обкома ВКП(б) Татарии, главный редактор газеты «Красная Татария»); в 1937 г. арестован, вскоре расстрелян.

[47] Возможно, Полина Ивановна Гордеева (1907 –?), осужденная в июле 1935 г. вместе с Л.Б. Каменевым по так называемому «Кремлевскому делу» (в материалах дела фигурирует как старший библиотекарь библиотеки ЦИК СССР).

[48] РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 16, 25, 27.

[49] Там же. Л. 24. Яков Давидович Янсон (1886–1938) – партийный деятель, дипломат; с 1935 г. и до ареста в 1937 г. – зав. издательством «Academia»; расстрелян.

[50] См. о нем в прим. к дневнику Андрея Белого в наст. изд.

[51] В 1932–1936 гг. – зав. сектором художественной литературы ЦК ВКП(б). В мемуарах В.Я. Кирпотин не упоминает о своей причастности к судьбе посмертного сборника Белого, имя которого называет только в связи с его выступлением на Первом пленуме Оргкомитета советских писателей: «<…> Белый вскоре умер (в январе 1934 года), речь его на пленуме оказалась последним публичным выступлением, лебединой песней» (*Кирпотин В.Я.* Ровесник железного века. М., 2006. С. 209).

[52] РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 28.

[53] Иван Михайлович Беспалов (1900–1937) – критик, редактор; с 1934 г. главный редактор Гослитиздата; расстрелян.

[54] РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 29.

[55] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 40. Андрей Белый. Собрание стихотворений. М.; Л.: Academia, 1935. Корректура-верстка. 434 л.

[56] Там же. Л. 31.

[57] РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 2.

[58] Сохранилось письмо к Николаю Сергеевичу Ашукину (1890–1972), написанное К.Н. Бугаевой 23 июля 1936 г.: «Многоуважаемый Николай Сергеевич, поджидала Вас все это время. Очень жаль, что Вы не пришли. Мне со своей стороны хотелось бы Вас расспросить о разных вещах в связи с моей работой над материалами Б.Н. Теперь у меня освободились и предвыходные дни. Приходите. С 5 до 8-ми, 9-ти я бываю всегда в Новодевичьем у Б.Н. Без этого не могу. А дневные часы приходится выходить по делам. Но если бы Вы написали, то конечно я могла бы остаться. В ближайшее время у меня занято пока днем 25 и 26-ое. Всего лучшего. Буду ждать Вас или какого-нибудь извещения от Вас. К. Бугаева» (РГАЛИ. Ф. 1890. Оп. 3. Ед. хр. 210). По-видимому, здесь речь идет о работе К.Н. Бугаевой над обзором «Литературное наследство Андрея Белого» для тома «Литературного наследства» (М., 1937. Т. 27/28. С. 575–638), в издании которого также принимал участие Ашукин.

[59] РГАЛИ. Ф. 1890. Оп. 3. Ед. хр. 609 (Кузьмин Н. Эскиз обложки к сборнику стихотворений А. Белого. Бум., тушь, перо).

[60] ОР РНБ. Ф. 60. Оп. 1. Ед. хр. 39. 345 л.

[61] РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 382.

[62] РГАЛИ. Ф. 2587. Оп. 1. Ед. хр. 12. Существуют и другие варианты статьи, также сохранившиеся в фонде Тарасенкова в РГАЛИ, а именно беловой автограф статьи в тетради (Ф. 2587. Оп. 1. Ед. хр. 11. 67 л.; дата: «22 июля 1934») и черновые наброски к статье (Там же. Ед. хр. 13. 78 л.; дата: «Июль 1934»). Среди черновиков сохранились подготовительные материалы для работы над статьей о Белом: несколько некрологов, набросок

плана издания полного собрания стихов Андрея Белого, список необходимых журналов и литературно-критических статей, выписки из книг Белого и рабочие заметки, использованные в дальнейшем в статье. В конце вложены семь рукописных листов (Л. 68–74) с черновым текстом для вставки в уже законченную статью. Текст этих вставок в черновом автографе в основном совпадает с текстом на вставленных листах обеих машинописей.

[63] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 40. Л. 24 об.

[64] *Тарасенков А.К.* Поэты. М.: Советский писатель, 1956. С. 275–319.

[65] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 40. Л. 25–31.

[66] Далее кратко пересказывается история издания различных поэтических сборников Белого, в более развернутом виде представленный впоследствии в обзоре «Литературное наследство Андрея Белого» (Литературное наследство. М., 1937. Т. 27/28. С. 575–638). Также см.: *Малмстад Дж.* Очерк истории и формирования публикации стихотворных книг Андрея Белого (*Андрей Белый.* Стихотворения и поэмы. Т. 1. С. 41–73).

[67] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 39. Л. III.

[68] Там же. Ед. хр. 39. Л. I–XVII.

[69] Новонайденная автобиография Андрея Белого / Вступит. ст., публ. и прим. К.М. Азадовского и А.В. Лаврова // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 81–92. Оригинал «Кратких биографических сведений» хранится в Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук (ПФА РАН. Ф. 155).

[70] Там же. С. 81–82.

[71] Там же. С. 83.

[72] Издание сборника не состоялось, а написанная для него «Автобиография Андрея Белого» впервые была опубликована Дж. Малмстадом в приложении к переписке Белого и П.Н. Зайцева (Минувшее. Т. 15. С. 364–368). Черновой автограф этой автобиографии хранится в ОР РНБ (Ф. 60. Оп. 1. Ед. хр. 35), кроме того, в РГАЛИ имеется ее копия рукой К.Н. Бугаевой и машинопись (Ф. 53. Оп. 3. Ед. хр. 18). В публикации Малмстада есть незначительные расхождения с «Автобиографией» в сборнике 1935 г. Они в основном касаются написания строчных и прописных букв в названиях ряда организаций, разбивке на абзацы. Кроме того, два фрагмента в публикации вынесены в сноски, причем один из них не вошел в верстку сборника.

[73] Ф. 60. Ед. хр. 40. Л. 36–229.

[74] Это также соответствует плану 1925 г.; в сборнике 1923 г. поэма была напечатана отдельными фрагментами в разных разделах книги.

[75] Эти разделы были подготовлены редакционной группой при участии Д.М. Пинеса.

[76] См. в наст. изд.

[77] Старогальская волость, Ефремовский уезд, Тульская губерния.

[78] См. в наст. изд.

[79] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 40. Л. 423; Ед. хр. 39. Л. 317.

[80] *Бугаева К.Н.* Андрей Белый. Летопись жизни и творчества с указанием использованных для нее источников. Авторизованная машинописная копия (ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 107).

[81] В верстке отсутствует имя В.В. Гольцева, имевшееся в подготовительной машинописи, фамилия Шамурина ошибочно написана – «Шамарин» (Л. XVII).

[82] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 40. Л. 31. Среди не упоминавшихся выше в примечаниях лиц: Николай Петрович Киселев (1884–1965) – историк книги, библиограф; с 1914 по 1917 г. секретарь издательства «Мусагет»; Александр Мелентьевич Кожебаткин (1884–1942) –

издатель и библиофил; в 1910 г. создал в Москве частное издательство «Альциона»; Михаил Яковлевич Козырев (1882–1942) – писатель; Иван Филиппович Масанов (1884–1945) – историк, библиограф; Николай Георгиевич Машковцев (1887–1962) – искусствовед, антропософ; Иван Никанорович Розанов (1874–1959) – литературовед, специалист по истории русской поэзии, библиограф, книговед; Сергей Сергеевич Розанов (1886 – ?) – историк, литературовед; Александр Михайлович Чачиков (Чачикашвили; 1893–1941) – поэт, переводчик.

[83] ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 40. Андрей Белый. Собрание стихотворений. М.; Л.: Academia, 1935. Корректура-верстка. С. 63–70 (Л. 32–35 об.).

[84] Николай Эрастович Лясковский (1816–1871) – ученый-химик, профессор Московского университета; его вдова – Мария Ивановна Лясковская (урожд. Варгина; 1828–1910).

[85] Сергей Алексеевич Усов (1827–1886) – зоолог, археолог, искусствовед, профессор Московского университета.

[86] Николай Алексеевич Северцов (1827–1885) – знаменитый зоолог и путешественник.

[87] Алексей Феофилактович Писемский (1821–1881) – писатель, близкий друг С.А. Усова.

[88] Иван Иванович Янжул (1846–1914) – экономист и статистик, профессор Московского университета, с 1895 г. действительный член Академии наук, жил в том же доме на углу Арбата и Денежного переулка, что и Бугаевы (в кв. № 8).

[89] Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) – социолог, историк, юрист, этнограф; профессор Московского и Петербургского университетов; с 1914 г. действительный член Академии наук.

[90] О детях историка западных литератур, шекспироведа, профессора Московского университета Николая Ильича Стороженко (1836–1906) Марии, Александре и Николае см.: *НРДС 1989*.

[91] Здесь и далее подробно см. в мемуарах «На рубеже двух столетий» и в кн. *Андрей Белый*. Линия жизни (сост. М.Л. Спивак, И.Б. Делекторская, Е.В. Наседкина. М., 2010).

[92] Поль Бэр (1833–1886) – французский естествоиспытатель; вероятно, имеется в виду его книга «Первые понятия о зоологии», многократно переиздававшаяся в России (СПб., 1877; СПб., 1894 и др.).

[93] Речь идет о книгах ботаника Дмитрия Никифоровича Кайгородова (1846–1924) «Из царства пернатых» (СПб., 1893); зоолога Модеста Николаевича Богданова (1841–1888) «Мирские захребетники» (СПб., 1884); английского орнитолога Чарлза Диксона (1858–1926) «Перелет птиц. Опыт установления закона периодических перелетов птиц» (пер. с англ. Е.П. Шереметевой; под ред. Дм. Кайгородова. СПб., 1895).

[94] Лев Иванович Поливанов (1839–1899) – литературовед-пушкинист, педагог, основатель и директор частной гимназии в Москве на Пречистенке.

[95] Речь идет о книгах английских философов Джорджа Генри Льюиса (1817–1878) «История философии в биографиях» (1845–1846); см.: *Льюис Д.Г.* История философии. СПб., 1892; под разными заглавиями («История философии от начала ее в Греции до настоящего времени», «История философии в жизнеописаниях») многократно, начиная с 1860-х, переиздавались в России; Джона Стюарта Милля (1806–1873) «Система логики» (1843; см., напр.: *Милль Дж. С.* Система логики. Т. 1–2. СПб., 1865–1867); Вильяма Уэвелла (1794–1866) «История индуктивных наук от древнейшего до настоящего времени» (1837; см.: русский перевод М.А. Антоновича и А.Н. Пыпина с 3-го англ. изд. Т. 1–3. СПб., 1867–1869).

[96] Весной 1901 г. в квартире Соловьевых состоялся единственный и значительный для Белого его разговор с философом В.С. Соловьевым.

[97] Князь Сергей Николаевич Трубецкой (1862–1905) – философ, публицист, общественный деятель.

[98] Allegro – псевдоним поэтессы Поликсены Сергеевны Соловьевой (1867–1924).

[99] Имеется в виду Ольга Михайловна Соловьева. Об этом подробно см. в мемуарах Белого (*НРДС 1989*; *О Блоке 1997*).

[100] Перечислены профессора Московского университета: физик-теоретик Николай Алексеевич Умов (1846–1915); химик Александр Павлович Сабанеев (1843–1923); химики-органики Александр Николаевич Реформатский (1864–1937) и Николай Дмитриевич Зелинский (1861–1953); основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии Владимир Иванович Вернадский (1863–1945); зоологи Николай Юрьевич Зограф (1854–1919), Михаил Александрович Мензбир (1855–1935) и Александр Андреевич Тихомиров (1850–1931); географ, этнограф и археолог Дмитрий Николаевич Анучин (1843–1923); геолог Алексей Петрович Павлов (1854–1929); метеоролог и геофизик Эрнст Егорович Лейст (1852–1918); математик Корнелий Никитич Виноградов; анатом Петр Иванович Карузин (1864–1939); ботаники Иван Николаевич Горожанкин (1848–1904) и Михаил Ильич Голенкин (1864–1941); биолог Климент Аркадьевич Тимирязев (1843–1920); физиолог Лев Захарович Мороховец (1848–1918). Подробно о годах учебы и юности Белого см. в мемуарах «На рубеже двух столетий» и «Начало века».

[101] Белый работал над кандидатским сочинением «О происхождении оврагов в Средней России» в 1902 г. (см.: *НРДС 1989*. С. 424–425).

[102] Эрнст Геккель (1834–1919) – немецкий биолог; Макс Ферворн (1863–1921) – немецкий физиолог; Жан Луи Арман Катрфаж де Брео (1810–1892) – французский зоолог и антрополог; Ив Делаж (1854–1920) – французский зоолог; Вильгельм Фридрих Оствальд (1853–1932) – немецкий физик, химик, философ, основатель «энергетизма»; Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц (1821–1894) – немецкий физик, физиолог, психолог; Вильгельм Вундт (1832–1920) – немецкий психолог, физиолог, философ; Харальд Геффдинг (1843–1931) – датский философ и психолог; Эдуард фон Гартман (1842–1896) – немецкий философ; Иоганн Фридрих Гербарт (1776–1841) – немецкий философ, психолог, педагог.

[103] Алоиз Риль (1844–1924) – немецкий философ-кантианец.

[104] Борис Александрович Фохт (1875–1946), Густав Густавович Шпет (1878–1937), Федор Августович Степун (1884–1965), Борис Валентинович Яковенко (1884–1948), Сергей Иосифович Гессен (1887–1950).

[105] Франц Меринг (1846–1919) – немецкий историк, критик, теоретик литературы, один из руководителей левого крыла германской социал-демократии, автор «Истории германской социал-демократии» (Т. 1–4. СПб., 1906–1907); Карл Каутский (1854–1938) – один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и II Интернационала; Вернер Зомбарт (1863–1941) – немецкий экономист, автор двухтомного исследования «Современный капитализм» (русские переводы: М.: Изд-во С. Скирмунта, <1904–1905>; М.: Изд-во Д.С. Горшкова, 1903–1905); Рудольф Штаммлер (1856–1938) – немецкий теоретик права, автор социально-философского исследования «Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории» (СПб., 1898); Карл Форлендер (1860–1928) – немецкий философ, теоретик «этического социализма»; Август Бебель (1840–1913) – один из основателей и вождей германской социал-демократической партии и II Интернационала.

[106] Елена Петровна Блаватская (1831–1891) – писательница и общественная деятельница, основательница Теософского общества (1875); Эдуард Шюре (1841–1929) – француз-

ский оккультист, драматург и романист, член парижского «Теософического общества Востока и Запада», позднее – приверженец антропософии; Джордж Роберт Стоу Мид (1863–1933) – английский теософ, личный секретарь Блаватской, специалист по истории раннего христианства и гностицизма; Анни Безант (1847–1933) – английская писательница и общественная деятельница, последовательница Блаватской, в 1907 г. возглавила Теософское общество.

[107] Белый выехал в Берлин 20 октября 1921 г. с целью восстановить отношения с А.А. Тургеневой и встретиться с Р. Штейнером; возвратился в Москву 26 октября 1923 г.

[108] Имеется в виду резкокритическая статья Льва Давидовича Троцкого (1879–1940) «Андрей Белый» в газете «Правда» (1922. 1 октября), завершающаяся словами «Белый – покойник, и ни в каком духе он не воскреснет». Ср.: «Я вернулся в свою "*могилу*" в 1923 году, в октябре: в "*могилу*", в которую меня уложил Троцкий, за ним последователи Троцкого, за ними все критики <...>. Я был "*живой труп*"; <...> журналы – закрыты для меня; издательства – закрыты для меня <...>» (*Андрей Белый.* Почему я стал символистом... // Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 483).

[109] *Андрей Белый.* Арабески. Книга статей. М.: Мусагет, 1911.

[110] См.: «На перевале. I. Кризис жизни» (Пб.: Алконост, 1918), «На перевале. II. Кризис мысли» (Пб.: Алконост, 1918), «На перевале. III. Кризис культуры» (Пб.: Алконост, 1920).

[111] Профессор Иван Иванович Коробкин – герой романа «Москва», задуманного Белым как тетралогия. Написаны были два тома; первый том «Москвы» вышел в двух частях: «Московский чудак» и «Москва под ударом» (сначала в издательстве «Круг» в 1926 г., затем в издательстве «Никитинские субботники» в 1927 г.), второй том – «Маски» – увидел свет в 1933 г. в ГИХЛе (на обложке – 1932 г.).

Список сокращений

Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка – Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., вступит. ст. и коммент. А.В. Лаврова и Дж. Малмстада; Подгот. текста Т.В. Павловой, А.В. Лаврова, Дж. Малмстада. СПб., 1998.

Андрей Белый: Проблемы творчества – Андрей Белый: Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации / Сост. Ст. Лесневский, Ал. Михайлов. М.: Советский писатель, 1988.

МДР 1934 – Андрей Белый. Между двух революций. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1934.

МДР 1990 – Андрей Белый. Между двух революций / Подгот. текста и коммент. А.В. Лаврова. М.: Художественная литература, 1990.

НВ 1933 – Андрей Белый. Начало века. М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1933.

НВ 1990 – Андрей Белый. Начало века / Подгот. текста и коммент. А.В. Лаврова. М.: Художественная литература, 1990.

НРДС 1930 – Андрей Белый. На рубеже двух столетий. М.; Л.: ЗиФ, 1930.

НРДС 1989 – Андрей Белый. На рубеже двух столетий / Вступит. ст., подгот. текста и коммент. А.В. Лаврова. М.: Художественная литература, 1989.

О Блоке 1997 – Андрей Белый. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи / Вступит. ст., сост., подгот. текста и коммент. А.В. Лаврова. М.: Автограф, 1997.

РД – Андрей Белый. Ракурс к дневнику (январь 1899 г. – 3 июня 1930 г.). Автограф. 166 л. // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100.

* * *

АХРР – Ассоциация художников революционной России

ВХУТЕИН – Высший художественно-технический институт

ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастерские

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ГИХЛ – Государственное издательство художественной литературы

ГЛМ – Государственный литературный музей

ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

ГМП – Государственный музей А.С. Пушкина

ГРМ – Государственный Русский музей

ГТГ – Государственная Третьяковская галерея

ИМЛИ РАН – Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской Академии наук

ИРЛИ РАН – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук

МОПР – Международная организация помощи борцам революции

МОССХ – Московский областной союз советских художников

НИОР РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки

ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки

РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей

РАПХ – Российская ассоциация пролетарских художников

РАХ – Российская Академия художеств

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства

Указатель имен

СОДЕРЖАНИЕ

V. POST MORTEM

СМЕРТЬ АНДРЕЯ БЕЛОГО
(1880—1934)

Сборник статей и материалов:
документы, некрологи, письма, дневники, посвящения, портреты

Редактор *В. Нехотин*
Дизайнер *Е. Поликашин*
Корректоры *Л. Белова, О. Семченко, М. Смирнова*
Компьютерная верстка *С. Пчелинцев*

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства:
129626, Москва,
абонентский ящик 55

тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: http://www.nlobooks.ru

Формат 70×100 $^1/_{16}$. Бумага офсетная № 1.
Печ. л. 60,5. Тираж 1000. Заказ №

Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфический комплекс
“Ульяновский Дом печати”»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Мы надеемся, что и весь этот сборник, по форме кажущийся собранием голосов давно ушедшей эпохи, будет воспринят не как извращенное копание в трупном прошлом, а как обращение к будущему. В знаменитом некрологе Пастернака, Пильняка и Санникова, опубликованном в газете «Известия» 9 января 1934 г., за кратким рассказом о жизни и творчестве Андрея Белого следует вывод и одновременно призыв: «Все это – поле для больших воспоминаний и изучений...». Думается, что эти слова не потеряли актуальности и сегодня. Для «больших изучений» и собрана эта книга. Напомним, что о сборнике, посвященном памяти Андрея Белого, в январе 1934 г. мечтали друзья покойного, но их мечтам тогда не суждено было сбыться. Можно рассматривать настоящее издание как реализацию той давней мечты в новых исторических условиях. Эта книга – дань уважения Андрею Белому и всем тем, кто берег память о нем.

ISBN 978-5-444-80055-3

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ